This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

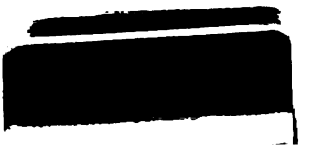
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

UC-NRLF
$B 81 415



Полное собраніе сочиненій

Д. В. ГРИГОРОВИЧА.

Изданіе К. Т. Мартынова.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Дм. Вас. Григоровича.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1890.

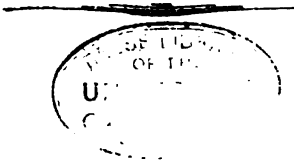
ПРОСЕЛОЧНЫЯ ДОРОГИ.

РОМАНЪ БЕЗЪ ИНТРИГИ.

1852—1853.

Д. В. Григоровича.

Часть вторая.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА Н. Г. МАРТЫНОВА.
1890.

PRESERVATION
COPY ADDED
ORIGINAL TO BE
RETAINED

APR 1. 4 19

ИЗДАНІЕ

Въ типографіи В. Безобразова и Комп. (Вас. Остр., 8 л., № 45).

Оглавленіе

второй части.

Стр.

I. Могущая служить достовѣрнымъ и въ то же время единственнымъ матеріаломъ для пополненія многихъ библіографическихъ замѣтокъ 1

II. Дальнѣйшія похожденія «Непризнанной Индѣйки» со включеніемъ литературнаго вечера. 16

III. Судьба сталкиваетъ два нѣжныя сердца, созданныя одно для другаго. Порфирій Павловичъ знакомится съ однимъ гостепріимнымъ семействомъ и наслаждается истиннымъ счастіемъ. 33

IV. Васильковъ и Миловзоровъ, предводительствуемые Аристархомъ Ѳедоровичемъ, ищутъ развлеченій сначала въ одномъ инструментальномъ концертѣ, потомъ въ одномъ клубѣ. Здѣсь же фактически доказывается извѣстная истина, что великіе люди могутъ попадать въ просакъ ничѣмъ не хуже послѣдняго смертнаго 55

V. Одинъ интересный молодой человѣкъ ѣдетъ къ одной великосвѣтской дамѣ, которая даетъ блистательные вечера по пятницамъ, а оттуда въ Петровскій паркъ, гдѣ встрѣчаетъ веселую компанію. 75

VI. Путевыя впечатлѣнія Ивана Дормидоновича Бобохова и пребываніе его въ родительскомъ домѣ 97

VII. Предлагаетъ на разсмотрѣніе любопытный вопросъ о томъ: слѣдуетъ ли утверждать положительно, что молодое поколѣніе далеко опередило старое. — Фантастическое и вовсе неожиданное появленіе одного стариннаго знакомаго 110

VIII. О томъ, какъ процвѣтаютъ Ханскіе-Пруды, и что подѣлываетъ Карачаевъ 127

IX. Аристархъ Ѳедоровичъ, сопровождаемый Порфиріемъ Павловичемъ и Аполлономъ Егоровичемъ, возвращается къ домашнему очагу. 141

X. Непредвидѣнное обстоятельство сталкиваетъ Аристарха Ѳедоровича съ такими лицами, о которыхъ онъ вовсе даже и не думалъ. 155

170698

Стр.

XI. Душевныя качества Аристарха Ѳедоровича заглушаютъ въ немъ на время чувства злобы и ненависти. Онъ является утѣшителемъ страждущихъ и проливаетъ съ ними горькія слезы 174

XII. Доказывающая, между прочимъ, самымъ очевиднымъ образомъ, что человѣкъ умный, тонкій и практическій можетъ извлекать выгоды изъ самыхъ ничтожныхъ обстоятельствъ 186

XIII. Жалкіе комары и мошки стараются затмить лучезарный блескъ величаваго солнца. Веселая игра въ фанты, повергающая одного господина въ глубочайшее отчаяніе. 198

XIV. Служащая продолженіемъ предшествующей 212

XV. Путешествія по проселочнымъ дорогамъ сопряжены часто съ большими неудобствами; тѣмъ не менѣе, однако-жъ, благодаря этимъ самымъ неудобствамъ, одинъ знаменитый мужъ попадаетъ въ весьма веселое и пріятное общество 224

XVI. Посмѣявшись отъ души надъ жалкими смертными, великій человѣкъ направляетъ стопы свои къ одному господину, столько-же богатому, сколько эксцентрическому . . . . . .

XVII. Представляетъ достовѣрный отчетъ о первыхъ дѣйствіяхъ и первыхъ впечатлѣніяхъ Аристарха Ѳедоровича въ губернскомъ городѣ Черноряжскѣ . . . 260

XVIII. Аристархъ Ѳедоровичъ присутствуетъ на одномъ балѣ и выноситъ оттуда самое невыгодное мнѣніе въ отношеніи къ человѣчеству и касательно хозяевъ дома въ особенности 275

XIX. Подвиги черноряжскаго Геркулеса-Ирокла приводятъ въ неописанный восторгъ одного изъ героевъ этой исторіи, тогда какъ другой герой обнаруживаетъ къ нимъ совершеннѣйшее равнодушіе. Самоотверженіе стариннаго друга. 285

XX. Подмостки, на которыхъ столько лѣтъ красовался Аристархъ Ѳедоровичъ, начинаютъ трещать, подламываться, наконецъ падаютъ и увлекаютъ за собою великаго мужа 308

XXI. Аристархъ Ѳедоровичъ, свергнутый силою обстоятельствъ съ высоты своего величія, перестаетъ, кажется, выпучивать грудь и становится обыкновеннымъ смертнымъ 321

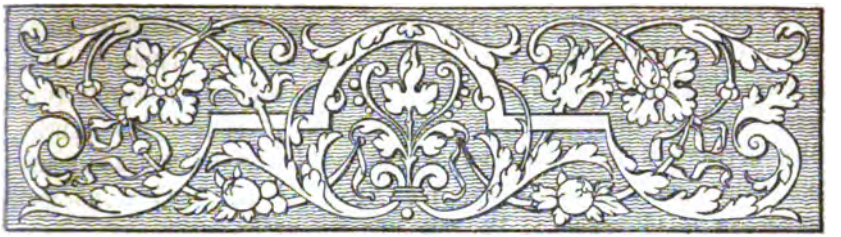
XXII. Заключеніе. 330

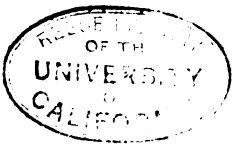
ПРОСЕЛОЧНЫЯ ДОРОГИ.

РОМАНЪ БЕЗЪ ИНТРИГИ.

ЧАСТЬ II.

(1853 г.).





I,

могущая служить достовѣрнымъ и въ то же время единственнымъ матеріаломъ для пополненія многихъ библіографическихъ замѣтокъ.

Жилъ-былъ когда-то въ Москвѣ весьма-почтенный и кроткій старичокъ, по имени Тирсисъ Ивановичъ Ястребиловъ. Этотъ старичокъ, вмѣстѣ съ супругою своей Клавдіей Ильиничной, представлялъ трогательную картину неизмѣнной любви и счастія. Сила любви, говорятъ, испытуется въ критическихъ случаяхъ жизни. Если только за этимъ дѣло стало, то довольно привести одинъ примѣръ, чтобъ доказать, что Филемонъ и Бавкида, Дафнисъ и Хлоя и вообще всѣ знаменитые любовники, какъ миѳологическіе, такъ равно и древне-историческіе, были попросту водевильные герои въ сравненіи съ супругами Ястребиловыми.

Вотъ вамъ это доказательство:

Тирсисъ Ивановичъ и Клавдія Ильинична питали въ душѣ непреодолимое влеченіе бесѣдовать съ музами, или, говоря грубымъ слогомъ, оба преслѣдуемы были въ равной степени демономъ стихотворства. (Вскормленные музами, взращенные Аполлономъ, оба они, благодаря общему покровителю, Минервѣ, не

замедлили подать другъ другу руки и пошли къ алтарю Гименея). Съ первыхъ же дней своего супружества, Тирсисъ Ивановичъ показалъ неслыханный примѣръ самопожертвованія: готовясь предать тисненію превосходное свое посланіе „Къ Хлоѣ“, онъ встрѣтилъ на столбцахъ одного дѣтскаго альманаха посланіе жены, подъ названіемъ: „Къ Другу души моей“; посланіе написано было тайкомъ, съ тою цѣлью, чтобъ доставить пріятный сюрпризъ мужу. Тирсисъ Ивановичъ рѣшился не печатать своего посланія, изъ опасенія затмить какъ-нибудь громадный успѣхъ посланія „Къ Другу души моей“. Клавдія Ильинична печатала, нужно замѣтить, съ двадцатилѣтняго возраста; имя ея извѣстно уже было во многихъ дѣтскихъ альманахъ; довольно уже того, что, выйдя замужъ, она перемѣнила свою фамилію на имя, неуспѣвшее еще прославиться въ литературѣ. (Тирсисъ Ивановичъ ничего еще тогда не выпускалъ въ свѣтъ, хотя могъ сотнями считать произведенія своей юности). Но это, собственно говоря, еще ничего. Слѣдовало только объявить въ выноскѣ, что Клавдія Ястребилова ни кто иная, какъ авторъ „Маргаритокъ“ и проч. и проч.; такъ и поступила она по поводу посланія „Къ Другу“, и читатели дѣтскихъ альманаховъ, встрѣчавшіе всегда съ любовью имя автора „Маргаритокъ“, успокоились разъ навсегда. Но вотъ въ чемъ задача: какія страшныя недоразумѣнія возникнутъ между этими самыми читателями, когда, рядомъ съ любезнымъ именемъ, встрѣтятъ они другое имя, во всемъ подобное первому? Мы знали К*** Ястребилову, а теперь явился еще какой-то Т*** Ястребиловъ! Пойдутъ догадки, сравненія; кто этотъ Т*** и кто лучше пишетъ — К*** или Т*** Ястребиловы? Затѣется, чего добраго, жаркая полемика въ журналахъ; скажутъ, пожалуй, что Т*** Ястребиловъ пишетъ лучше К***, и это естественнымъ образомъ огорчитъ Клавдію Ильиничну, которая не знала прежде соперниковъ. И кто же этотъ соперникъ — ея собственный мужъ—ужасно!... Нѣтъ, прочь такая мысль! Пускай имя Клавдіи продолжаетъ сіять лучезарнымъ блескомъ на страницахъ дѣтскихъ альманаховъ; пускай украшаетъ оно столбцы всевозможныхъ газетъ!

Тирсисъ Ивановичъ, натянувшій уже всѣ струны своей лиры и готовый ударить по нимъ всею силой вдохновенной десницы, рѣшился принести въ жертву самого себя, свое вдохновенье

и свою лиру; преисполненный такой безпримѣрно-великодушной мысли, онъ далъ себѣ слово ревностно трудиться въ глуши своего кабинета и не печатать до тѣхъ поръ, пока будетъ печатать жена его. И — страшно вымолвить, почтенный читатель, именно страшно вымолвить — впродолженіе тридцати-пяти лѣтъ... да-съ, тридцати-пяти лѣтъ, кроткій Тирсисъ Ивановичъ работалъ въ тиши своего кабинета, творилъ каждый день, и ничего не печаталъ!... Намъ ничего неизвѣстно насчетъ того, проливалъ ли онъ въ тиши своего кабинета горькія слёзы надъ молчаливыми струнами своей лиры, или, наоборотъ, выносилъ судьбу свою съ стоическимъ хладнокровіемъ. Принимая въ соображеніе постоянный меланхолическій видъ его, слѣдуетъ предположить, что послѣднее было несовсѣмъ справедливо. Судя по собственнымъ своимъ чувствованіямъ и зная по опыту, какъ горько жить въ разлукѣ со славой, тогда-какъ она только и ждетъ случая, чтобъ броситься къ вамъ въ объятія, Тирсисъ Ивановичъ принялъ намѣреніе протягивать руку каждому поэту, который, по какимъ-либо обстоятельствамъ, не могъ занять мѣсто на Парнасѣ безъ посторонней помощи. Нѣтъ возможности пересчитать всѣхъ денегъ, выданныхъ Тирсисомъ Ивановичемъ разнымъ собратамъ, неимѣвшимъ средствъ обогащать свѣтъ своими твореніями; еще менѣе можно пересчитать всѣ книги, брошюрки и томики, изданные на счетъ Ястребилова: для этого потребовались бы цѣлые каталоги. Достаточно сказать, что прежде, чѣмъ имя Тирсиса Ивановича, выставленное передъ „Полнымъ Собраніемъ“ его сочиненій, прогремѣло въ литературномъ мірѣ, онъ извѣстенъ уже былъ какъ меценатъ, страстный любитель отечественной словесности и ревностный поощритель всего пишущаго, печатающаго и издающаго. Несмѣтныя полчища лириковъ, элегистовъ, прозаиковъ всякаго рода и поэтовъ во всѣхъ возможныхъ родахъ тянулись караванами, подобно факирамъ, отправляющимся на поклоненіе въ Мекку, по направленію къ чертогамъ Тирсиса Ивановича и Клавдіи Ильиничны. Литературные вечера двухъ супруговъ, имѣвшіе быть каждый понедѣльникъ, пріобрѣли давно заслуженную популярность. Объ этихъ раутахъ и вечерахъ говорилось очень-часто въ газетахъ. Все это, естественнымъ образомъ, должно было разливать благодатный бальзамъ на меланхолію кроткаго Тирсиса Ивановича, который, нѣтъ сомнѣнія, зачахъ бы въ тиши своего кабинета безъ живитель-

ной извѣстности. Названіе покровителя искусствъ утѣшало его, подкрѣпляло его силы и давало ему необходимую энергію для того, чтобъ скрывать свои творенія отъ свѣта.

Въ эти тридцать-пять лѣтъ каждодневнаго, постояннаго, безпредѣльнаго самопожертвованія со стороны супруга, Клавдія Ильинична не переставала услаждать читателей дѣтскихъ альманаховъ мелодическими звуками своей вдохновенной лиры. Но, увы! вѣчнаго ничего нѣтъ; всему суждено имѣть свой конецъ! На пятьдесятъ-пятомъ году отъ рожденія, Клавдія Ильинична чувствовала, что вдохновеніе стало посѣщать ее рѣже и рѣже; умъ и сердце работали между-тѣмъ безпрерывно, чувствуя сильнѣйшую потребность высказываться; рѣчь бѣжала съ языка сама собою, и совсѣмъ-тѣмъ, все вмѣстѣ — мысль, ощущенія сердца и рѣчь никакъ не могли сочетаться въ одинъ стройный, звучный аккордъ! Разъ только, именно въ день празднованія золотой свадьбы, душа Клавдіи Ильиничны обрѣла вновь свою творческую силу, да и то потому лишь, что была потрясена тридцати-пятилѣтними впечатлѣніями. То была, впрочемъ, послѣдняя пѣснь лебедя! Пѣснь эта, напечатанная въ одномъ изъ первоклассныхъ альманаховъ, подъ названіемъ „Другу, поднесшему автору букетъ незабудокъ“ и очевидно посвященная Тирсису Ивановичу, извѣстна всему просвѣщенному міру, и потому нѣтъ никакой надобности распространяться о колоссальныхъ ея достоинствахъ. Скажемъ только словами одной газеты, что Клавдія Ильинична покинула литературное поприще въ эпоху полнаго развитія своего могучаго поэтическаго таланта. Это обстоятельство, какъ и слѣдовало ожидать, произвело самыя гибельныя послѣдствія на дѣтскіе альманахи того времени; читатели, не встрѣчая болѣе имени любимаго своего поэта, отказались напрямикъ подписываться; издатели другихъ книгъ, неподозрѣвавшіе настоящей причины упадка альманаховъ, запуганные, чтобъ и ихъ не постигла такая же участь, остановили свои работы; библіографическіе отдѣлы журналовъ, за недостаткомъ пищи, отощали страшно; поднялся ропотъ въ читающей публикѣ; уныніе овладѣло издателями, и Богъ-вѣсть, чѣмъ бы все это кончилось, еслибъ не явилось одно обстоятельство, которое, подобно Атласу, вынесло на плечахъ своихъ распадающійся міръ тогдашней литературы. Кроткій Тирсисъ Ивановичъ, молчавшій впродолженіе тридцати-пяти лѣтъ, выпустилъ

разомъ сорокъ-восемь томовъ своихъ сочиненій, украшенныхъ портретомъ автора. Все ожило, встрепенулось и заговорило. Примѣръ неслыханный, небывалый! Господинъ, выступающій на литературное поприще съ сорока-восьмью компактными томами! Имя Ястребилова появилось во всѣхъ библіографическихъ отдѣлахъ, запестрѣло во всѣхъ повременныхъ изданіяхъ, зарябило на столбцахъ всѣхъ возможныхъ газетъ; многія почтенныя особы, хранившія упорное молчаніе, подобно Тирсису Ивановичу, поощренныя теперь его примѣромъ, подарили свѣтъ своими твореніями, какъ-бы желая показать этому свѣту, что и у нихъ точно также время не проходило даромъ. Бумажныя фабрики ожили; типографскіе станки, покрывшіеся-было паутиной, работали денно и нощно; полки книжныхъ лавокъ затрещали и погнулись подъ спудомъ „Полныхъ Собраній“. Но переворотъ, произведенный Ястребиловымъ въ литературномъ мірѣ, ровно ничего не значитъ въ сравненіи съ переворотомъ, совершившимся въ душѣ самого автора: изъ меланхолическаго старичка, возсѣдавшаго недвижно въ вольтеровскихъ креслахъ и погруженнаго постоянно въ тихое раздумье, сдѣлался вдругъ старичокъ-живчикъ, неостающійся ни минуты на одномъ мѣстѣ, бѣгающій, суетящійся и ни въ какомъ случаѣ ненапоминающій прежняго Тирсиса Ивановича. Онъ не читалъ прежде газетъ и журналовъ, за исключеніемъ тѣхъ развѣ случаевъ, когда говорилось о его литературныхъ вечерахъ или превозносились до небесъ стихотворенія Клавдіи Ильиничны, но теперь не пропускалъ ни одной печатной строчки, и трудно передать волненіе почтеннаго старичка, когда глаза его встрѣчали отзывы о „Полномъ Собраніи“. Отзывы — какъ это весьма часто случается — имѣли, по поводу одного и того же предмета, совершенно различные характеры; такъ, напримѣръ, если въ одномъ журналѣ нападали безъ пощады на оды Ястребилова, другой журналъ находилъ какое-то особенное удовольствіе превозносить ихъ до небесъ, указывая въ то же время весьма ловко на тупую непонятливость враждебнаго журнала, который не умѣлъ оцѣнить достоинствъ, бросающихся въ глаза послѣднему школьнику; казалось даже въ иныхъ случаяхъ, что „Полное Собраніе“ сочиненій Тирсиса Ивановича служило враждебнымъ журналамъ только предлогомъ для того, чтобъ осыпать другъ друга эпиграммами и указывать читателямъ на прорахи того и другаго. Мы привели это единственно къ тому, чтобъ

выразить, въ наивозможно болѣе короткихъ словахъ, душевное состояніе автора, принужденнаго читать о себѣ отзывы, произносимые въ одно и то же время въ разныхъ журналахъ. Въ подтвержденіе того, что подобное состояніе хуже всякой каторги, стоило лишь взглянуть на Тирсиса Ивановича, который исхудалъ въ три мѣсяца, какъ щепка, и утратилъ въ эти три мѣсяца душевное спокойствіе.

Перенесемся теперь въ кабинетъ автора „Полнаго Собранія“ — кабинетъ, заслуживающій вниманія, потому-что теперь нѣтъ уже почти такихъ кабинетовъ.

Представьте себѣ огромную, четырехъугольную комнату, обставленную кругомъ частыми полками, которыя завалены классиками; тамъ и сямъ мелькаютъ бюсты древнѣйшихъ классиковъ, бронзированные мухами; полъ устланъ зеленымъ, полинялымъ — ну, словомъ, классическимъ сукномъ; широкій столъ, занимающій середину комнаты, покрытъ такимъ же зеленымъ сукномъ; на немъ возносятся, въ лирическомъ безпорядкѣ (выраженіе чисто-классическое), свертки, бумаги, развернутые фоліанты съ красными и мраморными обрѣзами, изъ которыхъ выглядываетъ безчисленное множество закладокъ; тутъ же виднѣется исполинская чернильница античной формы, античные карманные часы, имѣющія большое сходство съ маленькимъ, приплюснутымъ глобусомъ, и рядомъ съ ними синіе, классическіе очки, обшитые зеленой кожей. Полдюжины старыхъ, вольтеровскихъ креселъ окружаютъ столъ, надъ которымъ во всякое время болтается на мѣдной цѣпи лампа, прикрытая зеленымъ колпакомъ и напоминающая своей фигурой древне-греческіе свѣтильники; жидкій, желтоватый свѣтъ проникаетъ съ трудомъ сквозь запыленныя окна и штофныя гардины, привѣшенныя въ то время еще, когда знакомый читателю гайдукъ носилъ на рукахъ своихъ дѣдушку Тирсиса Ивановича. Нигдѣ незамѣтно малѣйшаго слѣда какого-нибудь эфемернаго украшенія; въ одномъ только мѣстѣ, а именно на стѣнѣ, противъ сѣдалища Тирсиса Ивановича, виситъ въ миніатюрной, новомодной рамкѣ клокъ волосъ Клавдіи Ильиничны, тѣсно-сжатый между шлифованнымъ стекломъ и голубой бумажкой; но и это украшеніе имѣетъ характеръ чисто-античный: во-первыхъ, уже потому, что въ волосахъ Клавдіи Ильиничны сильно пробиваетъ сѣдина; во-вторыхъ, клокъ волосъ поднесенъ Ястребилову въ день празд-

нованія золотой свадьбы и уже этимъ самымъ невольно долженъ переносить къ давно-прошедшимъ временамъ.

Затхлый, спертый воздухъ наполнялъ этотъ кабинетъ, который, безъ большаго преувеличенія, можно бы сравнить съ отжившимъ тѣломъ допотопнаго чудовища, еслибъ не оживляли его во всякое время дня и ночи непрерывный скрипъ пера, шелестъ бумаги и наконецъ пискъ и шорохъ мышей, глодавшихъ фоліанты.

Классическій видъ кабинета довершался какъ-нельзя-лучше крошечною фигуркою Тирсиса Ивановича, который суетливо расхаживалъ взадъ и впередъ, попирая своими классическими, бархатными сапожками классическое, зеленое сукно, устилавшее классическій полъ. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ сухощавыхъ, сгорбленныхъ старичковъ, которые не старѣютъ отъ времени, но только засушиваются. Лицо его было схоже, какъ двѣ капли воды, съ лицомъ больнаго ребенка, и только бѣлые какъ снѣгъ волосы, спускавшіеся неправильными косяками вдоль щекъ, напоминали, что вы имѣете дѣло съ семидесятилѣтнимъ старичкомъ; черты его дышали добродушіемъ и добротою невыразимыми; черные, безпокойные глазки и вострый, красный носикъ оживляли физіономію, придавая ей вмѣстѣ съ тѣмъ выраженіе суетливой озабоченности. Тоненькія, тщедушныя ноги его казались болтавшимися въ узенькихъ черныхъ панталонахъ, запрятанныхъ въ бархатные сапожки; жиденькій галстукъ едва-едва прикрывалъ его шею, окруженную безконечно-длинными и страшно-накрахмаленными воротничками рубашки изъ тончайшаго голландскаго полотна; коротенькій жилетъ исчезалъ въ складкахъ сѣраго, длиннополаго сюртучка, украшеннаго по бокамъ исполинскими карманами. Расхаживая взадъ и впередъ по кабинету, старичокъ останавливался поминутно передъ знакомымъ уже намъ гайдукомъ.

— Ну, такъ какъ же, Гаврилычъ? какъ же ты говоришь, что... а? что, бишь, ты сказалъ, а? произносилъ Тирсисъ Ивановичъ, устремляя свѣтлые, черные глазки въ мутные, сѣровато-молочные глаза собесѣдника.

Вопросъ очевидно вызванъ былъ продолжавшимся повѣствованіемъ о приключеніяхъ нынѣшняго утра.

Крупныя, фіолетовыя губы и сѣдыя брови Гаврилыча раз-

двинулись; онъ покрутилъ головою и сказалъ голосомъ, который казался выходившимъ изъ погреба или склепа:

— А тоже, батюшка, что вечоръ было, то и сегодня: „Покупать, говоритъ, не покупаютъ, а читать, говоритъ, берутъ охотно—берутъ“, говоритъ...

— Такъ читать-то, говоритъ, берутъ, а? берутъ читать, читать берутъ? заговорилъ Тирсисъ Ивановичъ, принимаясь снова сѣменить своими бархатными сапожками и потирая съ неимовѣрною быстротою своими ладонями:—и все, говоришь ты, тотъ же самый господинъ, что̀ приходилъ недѣлю тому назадъ, когда я посылалъ тебя за экземплярами; да полно тотъ ли? Ты видѣлъ ли его?...

— Какъ же, батюшка, видѣлъ, три раза видѣлъ:—тотъ самый...

— Тотъ самый, гм! перебилъ Тирсисъ Ивановичъ, неожиданно останавливаясь:—да, ну, а каковъ онъ изъ себя, этотъ господинъ? Ты говорилъ, кажется: высокій, худощавый—а? примолвилъ онъ, устремляя на дядьку живые, нетерпѣливые глазки.

— Да вѣдь я ужъ докладывалъ вамъ, батюшка, возразилъ Гаврилычъ съ отчаяннымъ выраженіемъ лица:—я говорилъ вамъ: невзрачный, малорослый, крѣпкій такой, чернявый...

— Да, невзрачный, гм! невзрачный, невзрачный, пробормоталъ Тирсисъ Ивановичъ, поспѣшно ковыляя къ письменному столу.

Онъ взялъ какой-то клочокъ бумаги, внимательно прочелъ начертанныя на немъ каракули, бережно положилъ бумажку на прежнее мѣсто и еще усерднѣе принялся расхаживать по кабинету, нашептывая себѣ подъ-носъ: — Дрянковъ, Дрянковъ... я что-то не слыхалъ этой фамиліи: Дрян-ковъ, Дрянк-овъ, Др-янковъ... нѣтъ, рѣшительно не слыхалъ.

Наступило молчаніе, прерываемое шарканьемъ бархатныхъ сапожковъ по зеленому сукну.

Убѣдившись окончательно, что фамилія Дрянкова была ему неизвѣстна, Тирсисъ Ивановичъ снова остановился передъ дядькой и снова потеръ руками.

— Такъ какъ же, Гаврилычъ? читаютъ, говоришь ты? — и охотно читаютъ—а?—а?...

— Читаютъ, батюшка, читаютъ, я вамъ вѣдь докладывалъ, отвѣчалъ гайдукъ, тоскливо свѣшивая голову и опуская руки.

— Хорошо, Гаврилычъ, спасибо! Ступай съ Богомъ... А

вечеркомъ, смотри, не забудь опять сходить въ книжную лавку; спроси, не продали ли хоть одинъ экземпляръ... Въ четыре или пять часовъ много воды утечетъ; можетъ быть, вотъ мы стоимъ тутъ съ тобой да толкуемъ, а тамъ въ эту самую минуту кто-нибудь и покупаетъ... и покупаетъ... а? Не сходить ли тебѣ теперь? какъ ты думаешь?... Нѣтъ, впрочемъ, все равно, зайдешь вечеркомъ, такъ тогда разскажешь... Да спроси, не являлись ли еще охотники читать? Скажи Ивану Петровичу, чтобъ всѣмъ, кто только пожелаетъ, всѣмъ давалъ читать безъ малѣйшаго затрудненія, и, если найдетъ нужнымъ, ставилъ бы отданныя книги на мой счетъ — пускай ихъ читаютъ, очень радъ; для того и книги пишутся... Ступай съ Богомъ, Гаврилычъ, заключилъ Ястребиловъ, ласково обращаясь къ дядькѣ, который во все время этого монолога глядѣлъ съ какою-то безотрадною тоскою на полъ!

Оставшись наединѣ, Тирсисъ Ивановичъ потеръ руками и разразился такимъ добродушно-веселенькимъ смѣхомъ, что постороній наблюдатель могъ бы почувствовать истинное наслажденіе, еслибъ только удалось ему подмѣтить въ эту минуту радостное лицо кроткаго старичка.

Веселенькій смѣхъ добродушнаго старичка, вылетѣвшій изъ груди его при мысли, что читаютъ и даже очень охотно читаютъ „Полное Собраніе“ сочиненій, не успѣлъ еще замолкнуть, какъ снова на порогѣ кабинета показался Гаврилычъ.

На этотъ разъ крупное лицо дядьки ухмылялось; по всему видно было, что онъ намѣревался сообщить теперь какую-нибудь пріятную вѣсть.

— Что ты, Гаврилычъ, а?—а? спросилъ Тирсисъ Иванычъ, поспѣшно направляясь къ дядькѣ.

— Да вотъ, батюшка, тотъ самый, что вы спрашивать-то изволили, вотъ, что все читать-то беретъ...

— Да; ну, что-жъ такое?

— Дожидается въ залѣ...

— Какъ, тотъ самый... Дрянковъ?...

— Такъ точно-съ.

— Ахъ, Божей мой! просить, принять, сказать, что очень радъ! воскликнулъ Тирсисъ Ивановичъ, суетливо выступая за гайдукомъ. У дверей кабинета онъ остановился и принялся потирать ладонями, между тѣмъ, какъ на лицѣ его проступали

всѣ признаки живѣйшей радости, смѣшанной съ нетерпѣніемъ и любопытствомъ.

Радушіе Тирсиса Ивановича, нужно замѣтить, извѣстно было всей Москвѣ, точно такъ же, какъ его рауты и литературные вечера. Любовь къ наукѣ, поэзіи и искусству занимала въ его сердцѣ такое обширное мѣсто, что не оставляла тамъ малѣйшаго закоулочка для спѣси и гордости. Онъ охотно протягивалъ руку всякому, кто отличался чѣмъ-нибудь на художественномъ поприщѣ; словомъ, Тирсисъ Ивановичъ былъ настоящій меценатъ; но Дрянковъ сомнѣвался въ возможности существованія такого человѣка...

Наружность Аполлона Егоровича подтверждала, что онъ досихъ-поръ еще питалъ въ душѣ свои сомнѣнія. Соображаясь съ другими лицами, игравшими передъ ними роль покровителей искусства, и увѣренный, что Тирсису Ивановичу будетъ такая же точно нужда до его костюма, онъ облачился въ черный фракъ Василькова и почелъ даже необходимымъ напялить на руки замшевыя бѣлыя перчатки, которыя представляли по изящному завиточку на концѣ каждаго изъ его пальцевъ. Сердобольно-умильный видъ, принятый Дрянковымъ при входѣ въ кабинетъ, показывалъ окончательно, что онъ не зналъ Тирсиса Ивановича и невѣрно судилъ о немъ. Аполлонъ Егоровичъ остановился у порога, отвѣсилъ низкій поклонъ и потупилъ глаза въ зеленое сукно.

— Здравствуйте, здравствуйте, милый мой! зд-ра-вст-вуйте! заговорилъ Тирсисъ Ивановичъ, шаркая своими бархатными сапожками и кивая головой:—здравствуйте! очень радъ васъ видѣть! заключилъ онъ, протягивая ему руку и разсматривая его съ восторженнымъ напряженіемъ. Услышавъ мягкій, нѣжный голосокъ Ястребилова, Аполлонъ Егоровичъ поднялъ глаза: добродушіе, написанное въ чертахъ Тирсиса Ивановича, ободрило его; со всѣмъ тѣмъ онъ не рѣшился еще покинуть свой сердобольный видъ и, наклонивъ униженно голову, произнесъ робкимъ голосомъ:

— Извините, милостивый государь, если я осмѣлился потревожить васъ... Я знаю, сколько драгоцѣнны минуты ваши, и если рѣшился я причинить вамъ безпокойство, отнять у васъ одну изъ этихъ драгоцѣнныхъ минутъ, такъ сдѣлалъ это единственно потому, что зналъ безграничное снисхожденіе ваше къ

бѣднымъ собратамъ-труженикамъ, которые посвятили свою жизнь на служеніе искусству...

Во время этого велерѣчиваго монолога, очевидно обдуманнаго и сочиненнаго наканунѣ, лицо Тирсиса Ивановича переполнилось невыразимою нѣжностью.

— Такъ вы поэтъ, собратъ? воскликнулъ онъ, протягивая ему обѣ руки.

— То-есть, я не пробовалъ писать стиховъ... хотя увѣренъ, что, руководимый какимъ-нибудь могучимъ талантомъ, могъ бы въ скоромъ времени... сказалъ Дрянковъ, пристально всматриваясь въ собесѣдника:—впрочемъ, поэзія вездѣ и всюду-съ, и основываясь на этомъ, я точно также... мой удѣлъ — проза, я прозаикъ! примолвилъ онъ съ скромною улыбкой.

— Очень радъ, милый мой, очень радъ съ вами познакомиться! Садитесь, пожалуйста. Я самъ писалъ много въ прозѣ и даже очень люблю ее: проза — дитя разума и мышленія; поэзія — дочь сердца и вдохновенья... я высказалъ эту прекрасную мысль въ двадцать-восьмомъ томѣ моего собранія...

— Я имѣлъ счастіе прочесть этотъ томъ, и... и!...

— А! такъ вы развѣ читали мои сочиненія? перебилъ Тирсисъ Ивановичъ, любознательно всматриваясь въ лицо собесѣдника, переминая нетерпѣливо бархатными сапожками и потирая ладонями.

— Читалъ-съ, все читалъ, и скажу вамъ — не примите это, Бога-ради, за презрительную лесть: я человѣкъ простой, откровенный, сужу по впечатлѣніямъ сердца—скажу вамъ, прибавилъ онъ, удачно измѣняя интонацію своего голоса и также удачно придавая своему лицу восхищенное выраженіе: — скажу вамъ, я въ восторгѣ, въ энтузіазмѣ!... До-сихъ-поръ не могу опомниться! Вы написали такую книгу, которая можетъ читаться цѣлую жизнь... нѣтъ, цѣлой жизни не достанетъ, чтобъ изучить и прочесть ее.

Аполлонъ Егоровичъ нехотя высказывалъ, однакожъ, сущую правду. Дѣйствительно, жизни человѣческой, если исключить время, употребляемое на отдыхъ, ѣду, дѣла, развлеченія— далеко не достало бы не только для изученія, но даже для прочтенія „Полнаго Собранія“. Дрянковъ могъ бы прибавить къ этому, что Тирсисъ Ивановичъ воздвигъ себѣ памятникъ, и опять-таки сказалъ бы сущую правду, потому что сорокъ-восемь

компактныхъ томовъ, какъ хотите, представляли въ массѣ цѣлый мавзолей; но онъ ограничился слѣдующимъ:

— Да-съ, я не могу опомниться! И, можетъ-быть, это самое состояніе души моей заставило меня забыть дерзость своего поступка и обратиться къ вамъ съ просьбой... просьбой, которую не осмѣливаюсь и произнести... заключилъ онъ, приподнимаясь съ мѣста, отвѣшивая поклонъ и робко опуская глаза на бархатные сапожки, которые казались пляшущими.

— Пожалуйста, прошу васъ, говорите, милый мой, говорите, очень радъ! съ участіемъ подхватилъ старичокъ, заботливо усаживая гостя на прежнее мѣсто: — очень радъ, если могу быть вамъ полезнымъ; не стѣсняйтесь; готовъ служить вамъ всѣмъ сердцемъ...

— Милостивый государь, сказалъ съ горделивымъ достоинствомъ Аполлонъ Егоровичъ и выпрямилъ грудь: — милостивый государь, я человѣкъ бѣдный; дарованіе и надежды — все мое богатство! Не имѣя средствъ пріобрѣсти въ свою собственность драгоцѣнныя сочиненія ваши, я рѣшился... да, я рѣшился прибѣгнуть къ вамъ и просить васъ снизойти къ мольбамъ человѣка, жаждущаго просвѣщенія, и снабдить его, если это только возможно, однимъ экземпляромъ...

— Ахъ, милый мой, я очень радъ! очень, очень радъ! Вы доставляете мнѣ этимъ большое удовольствіе; я сейчасъ же напишу въ книжную лавку, сію минуту... Садитесь, садитесь, милый мой... проговорилъ добродушный старичокъ, подбѣгая къ столу и принимаясь выводить каракули на клочкѣ бумаги.

— И по этой запискѣ мнѣ отдадутъ „Полное Собраніе“? восторженно воскликнулъ Дрянковъ, думавшій покурить еще немножко опіумомъ, чтобъ удобнѣе приступить потомъ къ настоящей причинѣ своего визита.

— Сію же минуту, безъ малѣйшаго замедленія. Читайте, милый мой, учитесь, вы еще молоды; слушайте совѣтовъ людей опытныхъ, слѣдуйте ихъ примѣру; трудитесь, милый мой, трудитесь! нѣжно говорилъ старичокъ, между-тѣмъ какъ Дрянковъ пристально всматривался въ бархатные сапожки и сохранялъ видъ трогательнаго умиленія.—Но, стало-быть, прибавилъ кроткій Тирсисъ Ивановичъ, нѣжно взявъ его за руку:—стало-быть, вы еще не прочли всѣхъ томовъ? Садитесь, садитесь,

милый мой. Разскажите-ка, что̀ именно вы читали... заключилъ онъ съ живостью.

Аполлонъ Егоровичъ пересчитывалъ наобумъ дюжину томовъ.

— А-а! такъ вы, значитъ, милый мой, не читали еще драматическихъ произведеній... воскликнулъ старичокъ, улыбаясь такимъ образомъ, какъ будто сдѣлалъ въ эту минуту одно изъ самыхъ удивительныхъ открытій, какія когда-либо выпадали на долю человѣческой премудрости.

— Нѣтъ-съ, читалъ, возразилъ Дрянковъ съ увѣренностью, которая сильно, однакожъ, противорѣчила робкимъ взглядамъ этого интереснаго сорокалѣтняго молодаго человѣка: — читалъ. Къ несчастью, не зная содержанія остальныхъ томовъ, не могу сказать вамъ, читалъ ли я всѣ драматическія произведенія; но я съ восхищеніемъ прочелъ одну трагедію...

— Какую? какую? Не „Синеусъ и Труворъ“?

— Нѣтъ-съ, „Мазидъ и Зенеибъ“.

— А-га! Ну, что-жъ? какъ вамъ нравится? спросилъ Тирсисъ Ивановичъ, потирая руками.

— Превосходно! Какое могущество! какая сила! повѣрите ли, я даже наизусть выучилъ многія мѣста! сказалъ Дрянковъ, между тѣмъ, какъ бархатные сапожки выбивали дробь по зеленому сукну: — впрочемъ, иначе и быть не можетъ: этотъ звучный, серебряный стихъ невольно врѣзывается въ память. Ахъ, какъ поразительна эта сцена, когда свирѣпый Мазидъ, умертвивъ Агул-Абаса, встрѣчаетъ кроткаго Зенеиба и признается ему въ своемъ проступкѣ... — „Здорово, Сенеибъ!“ говоритъ Мазидъ. — „Здорово, братъ Мизидъ!“ говоритъ Зенеибъ. Потомъ они молчатъ; Зенеибъ разспрашиваетъ Мазида о подробностяхъ убійства, и Мазидъ сознается во всемъ. — „Я вонзилъ кинжалъ въ его сердце!“ говоритъ онъ: „почетши себя обиженнымъ однимъ взглядомъ, который бросилъ онъ на милую Оглану, я лишилъ его жизни! Онъ умеръ! А я... я не пораженъ еще мечомъ правосудія! Не знаю, какое внутреннее побужденіе заставило меня бѣжать казни, которую весьма заслужилъ я... Зенеибъ! я прибѣгаю скрыться въ нѣдра дружества...

Тому не страшенъ смерти часъ,
Чью душу дружба согрѣваетъ,
Чьи взоры дружба закрываетъ;

Онъ слышитъ въ сердцѣ сладкій гласъ:
„И тамъ, вдали за облаками,
Ты будешь съ милыми друзьями!“

— Превосходно! заключилъ Дрянковъ съ величайшей энергіей.

— Превосходно! воскликнулъ старичокъ, невольно обуреваемый порывами восторга.

Худощавыя щеки его и острый носикъ горѣли, какъ въ лихорадочномъ пароксизмѣ. Во время чтенія послѣднихъ стиховъ онъ суетливо расхаживалъ вокругъ стола и наконецъ остановился передъ Дрянковымъ:

— Да, милый мой, да! вы прекрасно прочли эти стихи, благодарю васъ! сказалъ онъ съ восхищеніемъ. — А помните ли вы то мѣсто трагедіи, когда является Пансофій, аѳинскій мудрецъ, и говоритъ Мазиду...

Тутъ кроткое лицо Тирсиса Ивановича приняло строгое выраженіе; онъ отступилъ три шага назадъ, простеръ впередъ руку и, моргая своими черными, блестящими глазками, прочелъ дрожащимъ голосомъ:

Замѣна счастія—отрада въ скорбный часъ,
Надежда никогда не покидаетъ насъ,
На язвы тяжкія цѣлебный льетъ бальзамъ.
Спокойствіе—ея послѣдуетъ стопамъ!

— Восхитительно! сказалъ Дрянковъ.

— Превосходно! превосходно! восторженно воскликнулъ Тирсисъ Ивановичъ, бѣгая вокругъ стола. — Ну, а то мѣсто, напримѣръ, примолвилъ онъ, останавливаясь внезапно передъ собесѣдникомъ:—то мѣсто, когда Мазидъ...

— Хочетъ отравить себя? перебилъ Дрянковъ, принимая на себя объясненіе могучей сцены, чтобъ скорѣе повести ее къ концу и приступить къ собственному своему объясненію: — и когда Пансофій, желая отвлечь его отъ такого поступка, разсказываетъ ему притчу... превосходную...

— Да; но вы знаете ли ее наизусть? Я вамъ прочту ее, перебилъ старичокъ, утопавшій въ сладостныхъ ощущеніяхъ: — я вамъ прочту ее: — „Нѣтъ ничего постояннаго подъ небесами, другъ Мазидъ, говорилъ ему Пансофій:—кедры ливанскіе уступаютъ усиліямъ Борея, и горы, которыхъ вершины угрожаютъ самой тверди небесной, могутъ низвергнуться во глубину земли,

если будетъ на то воля Аллаха. Нѣкогда размышлялъ я о коловратностяхъ земнаго, подлуннаго бытія. Благотворительная Пери поднесла мнѣ чашу съ усыпительнымъ питіемъ, и я увидѣлъ во снѣ персидскаго царя Гензабела, побѣжденнаго султаномъ Желт-Гединомъ...“

— Восхитительно! произнесъ нетерпѣливо Дрянковъ.

— Не правда ли? Очень радъ, молодой мой другъ! очень радъ, что вамъ это нравится! Ну, а что вы скажете о сатирахъ и афоризмахъ, которые помѣщены въ томъ же томѣ?

— Какъ тѣ, такъ и другіе произвели на меня сильнѣйшее впечатлѣніе, отвѣчалъ Дрянковъ, опасаясь, однакожъ, стать въ тупикъ и этимъ самымъ повредить успѣху своего дѣла; а дѣло состояло въ томъ, чтобъ склонить Тирсиса Ивановича принять на свой счетъ изданіе „Непризнанной Индѣйки“ — дѣло, какъ видите, очень важное!

— Да; но мнѣ любопытно было бы знать, какія именно изъ сатиръ вамъ больше понравились?...

— Названія не помню... вотъ эта:

«Желѣзо не блеститъ, какъ ржа его съѣдаетъ,
«И меркнетъ умъ тогда, какъ сердце упадаетъ...»

— Впрочемъ, всѣ превосходны!...

— Ну, а эта, милый мой, перебилъ восхищенный старичокъ: — эта:

Во всякомъ молодцѣ
Довольно суеты;
Во всякомъ мудрецѣ
Довольно простоты?...

и онъ устремилъ на него вопросительный взглядъ, исполненный живѣйшаго нетерпѣнія.

— Превосходна и эта, замѣтилъ Дрянковъ.

— Ну, а что вы скажете объ афоризмахъ?

На этотъ разъ Аполловъ Егоровичъ испугался не на шутку: онъ, какъ на зло, не только не читалъ афоризмовъ, но не могъ даже ясно опредѣлить значенія этого слова.

Къ-счастію, добродушный старичокъ не дождался отвѣта; онъ подбѣжалъ къ полкѣ, вынулъ какой-то толстый томъ и заговорилъ, перелистывая его на столѣ:

— Да, вы найдете тутъ, милый мой, много глубоко-задуманныхъ мыслей. Вотъ эта, напримѣръ: афоризмъ сто-сорокъ-девятый, литера М—міръ: „Міръ—гигантскій муравейникъ, въ которомъ каждый муравей гонится слоня-голову за счастіемъ и никогда не обрѣтаетъ его...“ Или, да... афоризмъ девяносто-третій, литера Ч—человѣкъ: „Человѣкъ то же, что большой ребенокъ! Человѣкъ останется всегда человѣкомъ, то-есть большимъ ребенкомъ!...“ Какъ это вамъ нравится?

— О, безподобно! какая глубина! воскликнулъ Аполлонъ Егоровичъ, начинавшій уже терять надежду приступить къ своему дѣлу:—но я долженъ вамъ сказать, однакожъ, что самое сильное и вмѣстѣ съ тѣмъ полезное впечатлѣніе произвела на меня арабская повѣсть ваша, подъ названіемъ „Замаръ и Геллагё“; это, можетъ-быть, потому, впрочемъ, что она дала мнѣ возможность исправить недостатки моей повѣсти, повѣсти, которую, къ-счастью, я не успѣлъ еще отдать въ печать...

— Очень радъ, очень радъ, молодой мой другъ! Какія же мѣста наиболѣе понравились вамъ изъ „Замаръ и Геллагё“? спросилъ старичокъ, нетерпѣливо придвигаясь къ Дрянкову.

— Тѣ именно-съ, изъ которыхъ я могъ научиться авторской замашкѣ, необходимой для повѣствовательнаго рода... Повѣсть моя не очень длинна; я раздѣлилъ ее на главы, для удобства читателя, подхватилъ Дрянковъ скороговоркой: — и я почелъ бы себя весьма счастливымъ, еслибъ вы удостоили ее просмотрѣть... ваши совѣты...

— Очень радъ, мой милый, очень радъ! Молодые люди вообще самонадѣянны и рѣдко слушаютъ совѣтовъ людей опытныхъ. Очень радъ найдти въ васъ исключеніе, что дѣлаетъ вамъ большую честь. Ну, такъ какая же это повѣсть?

— Она у меня съ собою-съ; я оставилъ ее въ передней, и если вы позволите... произнесъ обнадеженный Дрянковъ, поспѣшно приподнимаясь съ своего мѣста.

— Пожалуйста, пожалуйста, принесите ее сюда, милый мой: мы прочтемъ ее, пересмотримъ, а тамъ и напечатаемъ. Если у васъ нѣтъ знакомыхъ, или нужно будетъ ходатайство посторонняго лица — очень радъ буду взять на себя такой трудъ...

При такомъ неожиданномъ оборотѣ дѣла сердце Дрянкова забилось такъ сильно, что онъ не могъ даже сдѣлать шага впередъ, не могъ проговорить благодарственнаго слова и огра-

ничился тѣмъ только, что приложилъ руку къ груди и поклонился.

Въ эту самую минуту кто-то постучалъ въ дверь, и вслѣдъ за тѣмъ дрожащій голосъ, дѣлавшій явныя усилія, чтобъ казаться мелодическимъ, произнесъ слѣдующія слова:

— Могу ли я войдти къ тебѣ, мой милый поэтъ?...

— Это жена моя—первый поэтическій талантъ своего времени! восторженно произнесъ Тирсисъ Ивановичъ, подбѣгая къ собесѣднику: — къ несчастію, она ужъ ничего теперь не печатаетъ. Можешь войдти, мой ангелъ, очень можешь войдти! заключилъ онъ, натирая до-красна ладони и впиваясь глазами по направленію къ двери.

Дверь отворилась — и на порогѣ ея показалась Клавдія Ильинична.

Ястребилова представляла изъ своей особы безконечно-длинную, невообразимо-худощавую, желтоватую даму, и могла служить совершеннѣйшимъ контрастомъ мужу, человѣку, какъ вѣдомо, крошечному, микроскопическому, могущему свободно умѣститься въ высокомъ чепцѣ своей супруги. Лицо ея, украшенное тусклыми глазами, задумчиво глядѣвшими въ небо, сѣроватыми усиками на верхней губѣ и орлинымъ носомъ, было такъ худощаво, что каждый разъ, когда она смотрѣла въ зеркало, или каждый разъ, какъ на нее смотрѣли посторонніе глаза — всѣмъ равно представлялось, вмѣсто лица, одно острое лезвіе. Два сѣдые, но тщательно-закрученные тирбушона украшали ея щеки и свѣшивались на костлявыя ея плечи, подобно двумъ вѣткамъ плакучей березы; общій видъ ея былъ столько же гордъ, сухъ, величавъ и надменъ, сколько кротокъ, добродушенъ и смиренъ казался видъ супруга.

Тирсисъ Ивановичъ поцѣловалъ женину руку и провелъ ее заботливо къ вольтеровскому креслу.

— Это, мой ангелъ, рекомендую тебѣ: — господинъ Дрянковъ: — читалъ мое „Полное Собраніе“... собратъ по литературѣ, самъ пишетъ прекрасныя повѣсти... нѣжно произнесъ супругъ.

— Очень рада познакомиться, сухо сказала Клавдія Ильинична, бросая на своего знакомаго инквизиторскій взглядъ, который имѣлъ явное намѣреніе пронизать его насквозь и дознаться этимъ способомъ, читалъ ли онъ „Маргаритки“ и другія великія

произведенія безсмертной дамы съ усиками и сѣдыми тирбушонами, возсѣдавшей теперь въ вольтеровскихъ креслахъ.

Аполлонъ Егоровичъ отвѣсилъ низкій поклонъ, проклиная судьбу, пославшую сюда, такъ некстати, первый поэтическій талантъ своего времени.

— За пять минутъ до твоего появленія, другъ мой, господинъ Дрянковъ читалъ отрывки изъ моего „Мазида", началъ Тирсисъ Ивановичъ мягкимъ голосомъ, доходившимъ прямо до глубины сердца.—Господинъ Дрянковъ прекрасно читаетъ стихи и доставилъ мнѣ большое удовольствіе... Ахъ, пожалуйста, милый мой, прочитайте теперь какое-нибудь стихотвореніе жены моей; вы, вѣрно, помните ихъ наизусть: ей будетъ это весьма пріятно, промолвилъ неожиданно старичокъ, кивая одобрительно Дрянкову и бросая лучезарную улыбку на Клавдію Ильиничну.

Инквизиторскій взоръ Клавдіи Ильиничны устремился еще пристальнѣе на новаго знакомаго.

— „Я пропалъ!" подумалъ Аполлонъ Егоровичъ, но въ ту-жъ секунду оправился и, закручивая витушки замшевыхъ перчатокъ на оконечностяхъ своихъ пальцевъ, пробормоталъ голосомъ дѣтской невинности:

— Къ несчастію, я такъ смущенъ въ настоящую минуту, такъ смущенъ... что не могу припомнить ни одного изъ знаменитыхъ стихотвореній, которыя...

— Те... ахъ какая досада! какъ это жаль... тее... сс... Въ такомъ случаѣ, съ живостью подхватилъ Тирсисъ Ивановичъ:— прочитайте намъ безподобное ея стихотвореніе „Къ Другу, поднесшему автору букетъ незабудокъ", стихотвореніе, которое всѣ мы называемъ „послѣднею пѣсней лебедя"; всѣ знаютъ и помнятъ его, даже крошечныя дѣти...

— Но, можетъ-быть, оно незнакомо мсьё Дрянкову, точно такъ же, какъ и другія мои пьесы?... сухо сказала Ястребилова, выражая на желтомъ лицѣ презрительно-саркастическую улыбку.

Послѣдовала продолжительная пауза, впродолженіи которой несчастный Дрянковъ неистово теребилъ завитки своихъ замшевыхъ перчатокъ.

Погибла „Непризнанная Индѣйка"! подумалъ Аполлонъ Егоровичъ, и мысль эта придала ему столько бодрости, что онъ рѣшился наконецъ отвѣчать:

— Къ несчастію... я... я...

— Какъ, вы не знаете „Послѣдней пѣсни нашего лебедя“? воскликнулъ съ изумленіемъ кроткій старичокъ.

— Я долженъ объявить вамъ, сударыня... произнесъ Дрянковъ отчаянно-разстроеннымъ тономъ: — это всего только недѣля... да-съ, недѣля, какъ я пріѣхалъ изъ Архангельска... мѣста моего рожденія... Я сирота, прибавилъ онъ, опуская глаза и чувствуя въ эту минуту необходимость возбудить чѣмъ-нибудь сочувствіе въ сердцѣ строгой дамы: — впрочемъ, сударыня, заключилъ онъ, я много уже слышалъ о томъ знаменитомъ стихотвореніи, но... но не успѣлъ еще пріобрѣсти его...

— Что-жъ говорятъ обо мнѣ въ Архангельскѣ? надменно спросила Ястребилова.

— Я читалъ отзывъ въ тамошней газетѣ: — всѣ, всѣ-съ въ энтузіазмѣ! отвѣчалъ, ободряясь, Дрянковъ.

— Да, милый мой, да.... Ну, а не слыхали ли вы тамъ чего-нибудь о моемъ „Полномъ Собраніи“?... спросилъ, въ свою очередь, Тирсисъ Ивановичъ, обнаруживая необычайное участіе.

— Къ сожалѣнію, я былъ уже въ дорогѣ изъ Архангельска, когда получено было извѣстіе о выходѣ въ свѣтъ „Полнаго Собранія“... но пріятель писалъ мнѣ, что оно принято было съ восторгомъ...

Тутъ въ кабинетѣ снова послышался веселенькій смѣхъ добродушнаго старичка, смѣхъ, сопровождаемый потираніемъ ладоней и выбиваніемъ дроби по зеленому сукну бархатными сапожками.

Послѣдовала кратковременная пауза, послѣ которой Клавдія Ильинична начала медленно приподыматься съ своего кресла; подыманью этому, весьма похожему на то, когда въ театрѣ выступаютъ изъ-подъ пола привидѣнія, казалось, конца не было; наконецъ первый поэтъ нашего времени благополучно укрѣпился на ногахъ, повернулся спиною къ гостю и сказалъ Тирсису Ивановичу:

— Ты не забылъ, однакожъ, что мы обѣдаемъ сегодня у Хивинскихъ?... скоро четыре часа...

Заключивъ эту сентенцію легкимъ наклоненіемъ головы по направленію къ Дрянкову, Клавдія Ильинична поплыла изъ

классическаго кабинета, потряхивая чепцомъ и поправляя тирбушоны.

Ясно, что въ настоящую минуту было-бъ столько же неумѣстно, сколько и неделикатно толковать о „Непризнанной Индѣйкѣ“; съ другой стороны, согласитесь сами, весьма горько было-бъ удалиться, не подкрѣпивъ себя хоть какой-нибудь надеждой; на этомъ основаніи Аполлонъ Егоровичъ вычросилъ позволеніе явиться на слѣдующее утро, и, получивъ на то полное согласіе, получивъ, въ добавокъ, портретъ, которымъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, спѣшилъ снабжать своихъ знакомыхъ авторъ „Полнаго Собранія“, онъ разстался съ кроткимъ старичкомъ, давъ себѣ слово устроить завтра же судьбу „Непризнанной Индѣйки“.

II.

Дальнѣйшія похожденія «Непризнанной Индѣйки» со включеніемъ литературнаго вечера.

Къ сожалѣнію, мы знаемъ весьма немного подробностей насчетъ того, какъ велъ впослѣдствіи дѣла свои Аполлонъ Егоровичъ и какими способами устроивалъ онъ судьбу своей повѣсти. Изъ жалкихъ источниковъ, дошедшихъ до насъ, явствуетъ, однакожъ, что онъ являлся нѣсколько дней сряду въ классическій кабинетъ Ястребилова, декламировалъ съ большимъ успѣхомъ оды Тирсиса Ивановича, говорилъ наизусть сатиры и афоризмы, и разъ даже, въ присутствіи Клавдіи Ильиничны, прочелъ съ необыкновеннымъ воодушевленіемъ нѣсколько пьесъ изъ „Маргаритокъ“, со включеніемъ извѣстнаго всему міру стихотворенія „Къ Другу, поднесшему автору букетъ незабудокъ“. Намъ положительно извѣстенъ одинъ лишь результатъ его совѣщаній съ кроткимъ старичкомъ, именно: „Непризнанная Индѣйка“, исправленная и значительно-пополненная Ястребиловымъ, отдана была симъ послѣднимъ въ печать и въ скоромъ времени появилась въ свѣтъ, украшенная зеленой оберткой и именемъ автора, вытисненнымъ крупными буквами на заглавномъ листѣ.

Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что въ богатой и даровитой натурѣ Аполлона Егоровича поэтическій элементъ преобладалъ

сильнѣйшимъ образомъ надъ остальными элементами — это ясно какъ день, и даже странно было бы питать на этотъ счетъ какія-нибудь сомнѣнія. Но... но человѣкъ, какъ глубокомысленно замѣчаетъ Тирсисъ Ивановичъ (смотри „Полное Собраніе Ястребилова“, томъ третій, отдѣлъ афоризмовъ, литеру Ч.), человѣкъ всегда человѣкъ, и на этомъ основаніи, въ душѣ Дранкова таилась точно также немалая частица положительныхъ стремленій. Онъ смотрѣлъ на свое произведеніе, въ одно и то же время, съ двухъ совершенно противоположныхъ точекъ зрѣнія: съ одной стороны, „Непризнанная Индѣйка“ представлялась ему колоссальнымъ памятникомъ, который ослѣпитъ своимъ блескомъ глупцовъ, неумѣвшихъ оцѣнить его, и гордецовъ, обращавшихся съ нимъ, какъ съ обыкновеннымъ проживальщикомъ; съ другой стороны, та же „Непризнанная Индѣйка“ принимала видъ драгоцѣннаго рудника, который хотя и не далъ еще ни одной щепотки золота, тѣмъ не менѣе сулилъ цѣлыя горы этого металла. Въ первую точку зрѣнія Дранковъ старался поставить Аристарха Ѳедоровича (и не знаю, на сколько успѣлъ онъ въ томъ), во вторую — Василькова (и въ этомъ случаѣ успѣлъ совершенно). Все это сдѣлано было, разумѣется, не безъ основанія.

Аполлону Егоровичу требовалось занять денегъ у Порфирія Павловича, и вотъ именно по какому случаю: Тирсисъ Ивановичъ и Клавдія Ильиничны пригласили Дранкова на литературный вечеръ, имѣющій быть въ понедѣльникъ, и Дранкову слѣдовало явиться въ лайковыхъ перчаткахъ и лакированныхъ сапогахъ. Такъ предписывалъ, по крайней мѣрѣ, этикетъ литературныхъ вечеровъ — этикетъ, за которымъ строго наблюдала Клавдія Ильинична.

Иначе, впрочемъ, и быть не могло. Литературные вечера Ястребиловыхъ пользовались популярностью, и — прибавимъ отъ себя — заслуженною популярностью. Допускать безъ различія каждаго встрѣчнаго, какъ замѣчалось объ этомъ разъ Тирсисъ Ивановичъ, значило-бъ уронить вечера въ общемъ мнѣніи: а общее мнѣніе заключалось въ томъ, что къ Ястребиловымъ являлись одни лишь „избранные“. Съ другой стороны, весьма легко могло статься, что какой-нибудь неварачий господинъ занимаетъ видное мѣсто на художественномъ поприщѣ и удостоивается, по всей справедливости, великой чести присутство-

вать на вечерахъ. Задача была, слѣдовательно, такого рода: требовалось сочетать въ одну общую гармонію блескъ славныхъ именъ съ наружнымъ блескомъ и придать всему нѣкоторый аристократическій оттѣнокъ, который, какъ извѣстно, составляетъ необходимѣйшее условіе литературныхъ вечеровъ. Строгое соблюденіе этикета, въ отношеніи къ наружному только виду, достигало въ совершенствѣ такой цѣли. Чтобъ дать легкое понятіе о высокомъ значеніи ястребиловскихъ литературныхъ вечеровъ, считаю нелишнимъ привести здѣсь отзывъ одной газеты: „Дарованія служатъ украшеніемъ сихъ мѣстъ (гласила газета), и кисть апеллесова, и лира орфеева, и звуки амфіоновы, искусства минервины, попремѣнно окружаютъ тамъ своими обольщеніями; начатки Помоны и Флоры обогащаютъ сіе жилище и составляютъ роскошь пиршествъ знаменитаго мецената и амфитріона. Вкусъ вездѣ царствуетъ, разумъ все услаждаетъ, веселье все оживотворяетъ, радушіе все оживляетъ, удовольствія стекаются сюда во множествѣ — и дружба знаетъ путь къ сему жилищу..."

Изъ этого явствуетъ, что Аполлонъ Егоровичъ долженъ былъ непремѣнно явиться въ бѣлыхъ перчаткахъ и лакированныхъ сапогахъ.

Все увѣнчалось вождѣленнымъ успѣхомъ: сердобольный Порфирій Павловичъ далъ денегъ, и въ назначенный понедѣльникъ, часовъ въ десять вечера, Дранковъ очутился на литературномъ вечерѣ.

На днѣ его шляпы виднѣлась свернутая въ трубку „Непризнанная Индѣйка", взятая съ предусмотрительною цѣлью сократить нетерпѣніе многочисленнаго общества, которое, нѣтъ сомнѣнія, собралось единственно для того, чтобъ послушать чтеніе самого автора.

Литературные вечера происходили всегда на половинѣ Клавдіи Ильиничны, въ большой комнатѣ, игравшей роль парадной гостиной, но въ сущности весьма схожей съ кабинетомъ рѣдкостей въ китайскомъ вкусѣ. Стѣны, обитыя полинялой штофной матеріей, украшены были кронечными рѣзными полочками изъ орѣховаго дерева, которыя уставлены были фарфоровыми куколками, китайскими уродцами, ящичками, раковинами, чучелами колибри, минералами, издѣліями изъ точенаго дерева, серебра и слоновой кости, чашками, старинною бронзой, хрусталемъ, что все вмѣстѣ, благодаря лампамъ, покрытымъ цвѣтными бумажными колпаками и воздвигнутымъ на маленькихъ круглыхъ сто-

ликахъ, разбросанныхъ по всей гостиной, производило самый фантастическій эффектъ.

Къ несчастью, Аполлонъ Егоровичъ, при всемъ своемъ стараніи, никакъ не могъ дать себѣ яснаго, удовлетворительнаго отчета въ общемъ эффектѣ, какой должна была производить гостиная; густая толпа замуравливала комнату вплоть до самой двери; и хотя изъ этой двери онъ могъ любоваться потолкомъ завѣтной гостиной, но потолокъ естественнымъ образомъ не имѣлъ для него большаго значенія въ настоящую минуту; попытка его—пробраться впередъ не имѣла никакого счастливаго результата: онъ былъ малъ ростомъ; въ дверяхъ стояли, какъ на зло, колоссальные особы съ непомѣрно-широкими спинами, и спины эти представляли всякій разъ такое сильное сопротивленіе, что, волею-неволею, надо было оставаться у двери комнаты, предшествовавшей гостиной. Окинувъ недовольнымъ взоромъ эту комнату и увидѣвъ, что мебель ея покрыта была шляпами гостей, Аполлонъ Егоровичъ разсудилъ весьма основательно, что и ему не мѣшало бы точно также освободить свои руки отъ лишней амуниціи; къ тому же шляпа была новая, принадлежала ему собственно, и во всякомъ случаѣ не слѣдовало ее подвергать участи васильковскаго фрака, участи весьма-плачевной, если принять въ соображеніе непреклонное намѣреніе Дрянкова пробиться съ „Непризнанной Индѣйкой“ сквозь толпу и стать на самое видное мѣсто гостиной. Шляпа поставлена на столъ рядомъ съ другими шляпами, и безсмертный проживальщикъ тронулся впередъ. Не знаю, способствовала ли тому волшебная сила „Непризнанной Индѣйки“, помѣстившейся въ фрачномъ карманѣ, но какъ только Дрянковъ подошелъ къ двери, толпа пришла въ неописанное волненіе, заходила во всѣ стороны и доставила ему случай юркнуть въ гостиную. Минуту спустя, онъ уже и самъ не радъ былъ, что не остался въ сосѣдней комнатѣ: какимъ-то непонятнымъ случаемъ толстыя спины снова очутились передъ нимъ, дружнымъ напоромъ высадили его изъ толпы и вдругъ притиснули къ какимъ-то ступенькамъ. Оглянувшись назадъ, Дрянковъ увидѣлъ одно изъ тѣхъ возвышеній, какія дѣлаются подлѣ оконъ, вѣроятно, для удобнѣйшаго созерцанія уличныхъ видовъ; тутъ находились два кресла, поставленныя одно противъ другаго, и между ними миніатюрный рабочій столикъ.

Секунда — и Аполлонъ Егоровичъ стоялъ уже на возвышеніи; другая секунда употреблена была на то, чтобъ окинуть бѣглымъ взглядомъ гостиную.

Прежде всего представилась ему довольно-обширная перспектива изъ хохловъ, коковъ, завитковъ и лисинъ, которая оканчивалась яркимъ пятномъ свѣта; въ этомъ пятнѣ, на голубомъ штофномъ диванѣ съ позолотою, сидѣла Клавдія Ильинична съ своими сѣдыми тирбушонами, усами и орлинымъ носомъ и Тирсисъ Ивановичъ въ темномъ фрачкѣ; оба они сидѣли рядышкомъ, какъ женихи во время свадебнаго пира; такое сравненіе подтверждалось длиннымъ, сухощавымъ старикомъ въ черномъ фракѣ, бѣломъ, дрябломъ жилетѣ, бѣломъ галстукѣ и висячемъ жабо, сидѣвшимъ по правую руку Тирсиса Ивановича, и толстою дамой, съ краснымъ лицомъ и голубыми цвѣтами въ чепцѣ, сидѣвшею по правую руку Клавдіи Ильиничны. Старичокъ и дама сохраняли почтенный видъ посаженаго отца и посаженой матери. Подлѣ виднѣлось еще нѣсколько дамъ и кавалеровъ, но толпа почти заслоняла ихъ. Аполлонъ Егоровичъ могъ различать только прически, чепцы, наколки и цвѣты на чепцахъ и наколкахъ; главное же вниманіе его обращено было на овальный столъ, находившійся передъ супругами Ястребиловыми; столъ покрытъ былъ ковромъ; на немъ лежали двѣ раскрытыя книги, освѣщенныя высокою лампой. Толпа продолжала междутѣмъ волноваться; во всѣхъ концахъ раздавались восклицанія: „Превосходно! поразительно! Какая сила! Сколько чувствъ! Какое могущество!“ Изъ слѣдующихъ восклицаній Дрянковъ узналъ, что Тирсисъ Ивановичъ прочелъ первыя два дѣйствія изъ своего „Мазида“ и намѣренъ приступить къ чтенію послѣднихъ трехъ дѣйствій.

Внезапно Тирсисъ Ивановичъ кашлянулъ, оглянулъ общество блестящими глазками и, положивъ руку на лежавшую передъ нимъ книгу, добродушно улыбнулся. Посаженый отецъ нетерпѣливо замахалъ руками, крикнулъ: „шт! шт!“; общество разразилось единодушнымъ шипѣньемъ, и вдругъ въ гостиной воцарилось молчаніе. Тирсисъ Ивановичъ кашлянулъ вторично, и началось чтеніе „Мазида“.

Не должно удивляться восторженному участію, какое принимало общество въ чтеніи „Мазида“: никто еще изъ присутствовавшихъ не зналъ этой трагедіи, и всѣмъ было одинаково

пріятно, и даже лестно нѣкоторымъ образомъ, услышать ее въ первый разъ изъ устъ самого автора. Простительно было не раздѣлять такихъ чувствъ одному Аполлону Егоровичу, да и то потому лишь, что онъ не только читалъ „Мазида“, но зналъ его наизусть. Онъ нетерпѣливо опустился на одно изъ креселъ, положилъ локоть на миніатюрный столикъ и предался самымъ безотраднымъ размышленіямъ. Поводомъ къ такимъ размышленіямъ было то, что чтеніе трехъ дѣйствій (особенно, если принять въ соображеніе безпрерывные залпы рукоплесканій и восторженные выходки посаженаго отца) продлится далеко за полночь и ему останется, а, можетъ быть, и вовсе даже не останется времени на чтеніе „Непризнанной Индѣйки“. Переходя постепенно отъ одной мысли къ другой, Дряниковъ перенесся къ той отдаленной эпохѣ, когда, въ школѣ еще, запала ему первый разъ идея его повѣсти, потомъ, какъ развилась эта идея, какъ начала осуществляться, осуществилась — и мало-по-малу овладѣло имъ такое раздумье, что онъ не слыхалъ, какъ пробило одиннадцать часовъ и какъ, затѣмъ, пробила полночь.

Страшный трескъ, гулъ и крики вызвали его къ дѣйствительности.

Толпа волновалась еще сильнѣе прежняго; пятьдесятъ рукъ били въ ладоши; цвѣты на дамскихъ прическахъ колыхались; посаженый отецъ неистово размахивалъ руками, закидывалъ одну ногу на другую, перевертывался въ своихъ креслахъ, конвульсивно потряхивалъ головою и кричалъ разбитымъ голосомъ, покрывавшимъ всеобщій гулъ: „Нѣтъ, я не могу... я не въ силахъ... это дѣйствуетъ на мои нервы! Превосходно! Я не въ состояніи! я потрясенъ! Верхъ совершенства!“ Тирсисъ Ивановичъ озиралъ всѣхъ съ лучезарною улыбкой, и на устахъ его дрожалъ веселенькій смѣхъ; передъ нимъ лежала закрытая книга.

Въ эту самую минуту въ дверяхъ гостиной показался старый гайдукъ съ серебрянымъ подносомъ, уставленнымъ чашками; за нимъ выступали такіе же гайдуки съ такими же подносами. Побуждаемый, съ одной стороны, голодомъ, начинавшимъ завывать въ желудкѣ, съ другой — явною необходимостью воспользоваться всеобщею суматохой, чтобъ пробраться на видное мѣсто, Аполлонъ Егоровичъ спустился съ возвышенія и поспѣшилъ захватить на-лету чашку и какой-то эфирный бисквитъ...

Аполлонъ Егоровичъ, должно замѣтить, привыкъ выпивать вечеромъ въ Ханскихъ-Прудахъ добрые два стакана чаю и закусывать дюжиною сухарей или полновѣсною булкой, и потому въ головѣ его, безпрерывно мыслящей, невольно явилось сравненіе между стаканомъ Ханскихъ-Прудовъ и чашкою литературнаго вечера, въ которой заключался всего одинъ глотокъ; эпирный бисквитъ хотя и издавалъ весьма ароматическій, аппетитный запахъ, но также могъ служить скорѣе закуской откормленной канарейкѣ, чѣмъ голодному человѣку, прослушавшему, въ добавокъ, три дѣйствія классической трагедіи. Такія сравненія, естественнымъ образомъ, пробудили въ немъ желаніе протянуть руку къ другой чашкѣ, потомъ къ третьей и т. д., до безконечности, и онъ думалъ уже привести въ исполненіе свою мысль, разсчитывая весьма основательно, что будетъ еще время пробраться впередъ, потому-что присутствующіе, по всѣмъ вѣроятіямъ, должно-быть, голодны и постараются продлить чайную церемонію; но, къ великому его ужасу, общество снова заволновалось; двѣ широкія спины очутились снова передъ нимъ и дружно принялись высаживать его къ возвышенію. Въ то же время въ ушахъ его прозвенѣлъ дружный хоръ восторженныхъ восклицаній: „Тише! тише! шт! тише! Клавдія Ильинична будетъ читать свою пьесу: „Къ Другу, поднесшему автору букетъ незабудокъ“. Это — послѣдняя пѣснь нашего лебедя! послѣдняя пѣснь незабвеннаго поэта! шт! шт!“ Оглушенный говоромъ, стиснутый двумя спинами, Дрянковъ сдѣлалъ отчаянный прыжокъ и очутился снова на возвышеніи. Не мало удивился онъ, однакожъ, когда увидѣлъ, что оба кресла были заняты: на первомъ красовался толстенькій господинъ апатическаго и самаго недовольнаго вида; на второмъ сидѣлъ востроносый, худощавый господинъ съ длинными черными волосами, наводившими лоскъ на воротникъ его чернаго фрака. Аполлонъ Егоровичъ укрѣпился на верхней ступени, вынулъ изъ кармана „Непризнанную Индѣйку“ и положилъ ее съ неподражаемою небрежностью на миніатюрный столикъ, между двумя креслами; въ ту же минуту онъ почувствовалъ въ лѣвой рукѣ чью-то мокрую руку и обернулся: передъ нимъ стоялъ вертлявый, бѣлокурый авторъ „Заоблачныхъ Трелей“.

— Ахъ, какъ я радъ, какъ радъ, что встрѣтился съ вами! воскликнулъ вертлявый поэтъ:—я давно замѣтилъ васъ, но ни-

какъ не могъ пробраться — такое многочисленное, блестящее общество!... Можете вы мнѣ уступить подлѣ себя крошечное мѣсто?...

Дрянковъ пожалъ мокрую руку и отодвинулся.

— Я совершенно счастливъ, что встрѣтилъ васъ, продолжалъ поэтъ: — вчера еще прочелъ я вашу прекрасную повѣсть: прекрасно! прекрасно! Послѣдняя сцена въ состояніи исторгнуть слёзы изъ каменнаго сердца...

— Очень вамъ благодаренъ, отвѣчалъ Дрянковъ, отодвигаясь немного въ сторону, чтобъ два господина, сидѣвшіе въ креслахъ, удобнѣе могли слышать похвалы его произведенію: — не знаете ли, примолвилъ онъ, наклонясь къ уху нѣжнаго собесѣдника: — кто эти два господина, которые подлѣ насъ?...

— Толстенькій, это — Шишкинъ, пишетъ повѣсти; другой — поэтъ Пендринъ: замѣчательные таланты! отвѣчалъ шепотомъ авторъ „Трелей“, который не былъ знакомъ съ Шишкинымъ и Пендринымъ, но очевидно горѣлъ желаніемъ познакомиться съ ними, потому-что впивался въ нихъ заискивающими, подобострастными глазами. — Ахъ, кстати о поэзіи! подхватилъ онъ: — читали ли вы мои „Заоблачныя Трели“? Скажите мнѣ откровенно ваше мнѣніе... скажите прямо, я дорожу вашими совѣтами... Не правда ли, все это очень слабо, юно, можно даже сказать... безцвѣтно? Я самъ знаю свои недостатки...

Вертлявый авторъ „Заоблачныхъ Трелей“ принадлежалъ къ числу тѣхъ скромныхъ поэтовъ, которые унижаютъ достоинство своихъ произведеній единственно съ тою цѣлью, чтобъ дать только этимъ способомъ поводъ къ толкамъ и разсужденіямъ о вышеупомянутыхъ произведеніяхъ; они охотно выслушиваютъ совѣты, умоляютъ не щадить ихъ и быть съ ними по-возможности искреннѣе; все это, разумѣется, насколько не мѣшаетъ имъ окрысиваться и питать въ душѣ непримиримую вражду къ тѣмъ наивнымъ существамъ, которыя произносятъ искреннія сужденія.

Не знаю, извѣстны ли были всѣ эти подробности Аполлону Егоровичу, но онъ поспѣшилъ изъявить свое удивленіе къ необычайной даровитости автора „Заоблачныхъ Трелей“, и съ этой минуты сердце вертляваго поэта переполнилось живѣйшей симпатіей къ „Непризнанной Индѣйкѣ“, которая, по словамъ

его, должна была стоять на ряду съ лучшими произведеніями нашего времени.

— Я отчасти согласенъ съ вами, скромно отвѣчалъ Дрянковъ: — и потому самому мнѣ хотѣлось бы прочесть ее нынче передъ многочисленнымъ собраніемъ...

— Ахъ, какъ было бы это хорошо! Съ какимъ наслажденіемъ прослушалъ бы я ее еще разъ!... Но, къ несчастью, мы, вѣрно, лишимся этого удовольствія: сейчасъ начнетъ читать Клавдія Ильинична, а за нею — я это навѣрное знаю — Куликовъ прочтетъ свое посланіе „Къ замку на Воробьевыхъ горахъ“ — геніальная вещь! да, впрочемъ, и головушка-то геніальная. Посмотрите, посмотрите, вотъ онъ! сказалъ нѣжный поэтъ съ какою-то дикою восторженностью, которая, во всякомъ случаѣ, была оригинальнѣе его „Заоблачныхъ Трелей“.

Дрянковъ взглянулъ по направленію, куда указывали умильные глазки собесѣдника, и увидѣлъ, неподалеку отъ голубаго дивана, Леокадія Куликова, который, запустивъ правую руку за жилетъ и наклонивъ голову, сидѣлъ въ мрачномъ раздумьи.

— Скажите, пожалуйста, кто эта дама, которая сидитъ подлѣ Клавдіи Ильиничны? спросилъ Аполлонъ Егоровичъ, кивая на посаженую мать.

— Не-уже-ли вы ее не знаете? Марья Ивановна Валдайская, геніальнѣйшая женщина, авторъ „Симфоній“ и редакторъ извѣстнаго „Дѣтскаго Альманаха“, гдѣ помѣщена „послѣдняя пѣснь лебедя“...

— А тотъ старичокъ, что̀ сидитъ подлѣ Тирсиса Иваныча?

— Ахъ, удивительный, необыкновенный старичокъ! восторженно отвѣчалъ поэтъ. — Это отецъ Клавдіи Ильиничны...

Но едва Дрянковъ получилъ это объясненіе, какъ старикъ быстро вскочилъ съ своего мѣста и захлопалъ въ ладоши.

— Шт! шт! господа! messieurs! „Пѣснь лебедя“ въ рукописи! „послѣдняя пѣснь нашего лебедя!“ прошу покорнѣйше слушать! закричалъ онъ, бросаясь со всѣхъ ногъ въ кресла, размахивая руками и впиваясь глазами въ Клавдію Ильиничну, которая, между-тѣмъ, медленно приподымалась съ тетрадкою въ рукахъ.

— Шт! шт! послышалось во всѣхъ концахъ гостиной.

— Шт! шт! подхватили задніе ряды.

— Шт! повторилъ какой-то непомѣрно-толстый господинъ, находившійся подлѣ возвышенія. При этомъ онъ повернулъ круглое лицо свое, украшенное кудрями сѣдоватыхъ волосъ.

Такъ-какъ лицо это принадлежало одному изъ тѣхъ колоссовъ, которые вытѣснили всѣхъ своими спинами, то Дрянковъ обратился съ разспросами къ нѣжному собесѣднику.

— Не-уже-ли вы его не знаете? возразилъ тотъ шопотомъ: — Торкватъ Арменниновъ... одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ современныхъ поэтовъ — геніальная голова! авторъ „Опытовъ“, „Опытовъ юной музы“, „Опытовъ воркованій юнаго голубка“ — страшный талантъ!

— Но скажите, пожалуйста, отчего же онъ пишетъ одни „Опыты“? спросилъ едва-внятно Дрянковъ: — онъ, кажется, уже человѣкъ немолодой...

— А въ томъ-то и штука: онъ этимъ способомъ надулъ всѣхъ критиковъ, которые, какъ вамъ извѣстно, преслѣдуютъ съ закоснѣлою злобою поэтовъ. Критики убѣждены, что Торкватъ Арменниновъ молодой человѣкъ, только-что выступающій на литературное поприще, и потому отзываются о немъ съ величайшимъ снисхожденіемъ... „Опыты“, поощряемые такимъ образомъ всѣми журналами, расходятся въ страшномъ количествѣ... я вамъ говорю: геніальная головушка! Да чего же лучше, посмотрите, какъ она сформирована: вы отсюда можете видѣть его лобъ... взгляните, взгляните, вотъ отсюда вамъ будетъ удобнѣе — каковъ лобъ, а?...

— Да, дѣйствительно лобъ очень замѣчательный, пробормоталъ Аполлонъ Егоровичъ.

Начало чтенія „послѣдней пѣсни лебедя“ прекратило бесѣду; нѣжный поэтъ обратился весь въ слухъ и зрѣніе; что же касается до Дрянкова, то онъ навелъ въ уголъ глаза на Шишкина и Пендрина, которые продолжали сидѣть на своихъ креслахъ, перекидываясь время отъ времени отрывчатыми фразами.

— Я ничего не читаю! говорилъ поэтъ Пендринъ, потирая переносицу.

— И прекрасно дѣлаешь, отвѣчалъ тѣмъ же тономъ нувеллистъ Шишкинъ, потирая желудокъ.

Послѣдовало молчаніе.

— Въ настоящее время рѣшительно ничего невозможно читать, продолжалъ Пендринъ.

— Я совершенно раздѣляю такое мнѣніе, отвѣчалъ Шишкинъ.

Послѣдовало молчаніе.

— Было время, началъ поэтъ Пендринъ: — являлись у насъ замѣчательныя произведенія людей съ истиннымъ талантомъ, писали тѣ, другіе, писалъ и ты, я все читалъ тогда; было, братецъ, что́ и читать... но вѣдь ты ужъ не пишешь?...

— Нѣтъ...

— Ну, я ничего не читаю: все дрянь и не сто́итъ вниманія...

Послѣдовало продолжительное молчаніе.

— Я въ точно такомъ же положеніи, шепнулъ нувеллистъ Шишкинъ:— былъ у насъ Пушкинъ, Лермонтовъ, ты писалъ, я съ жадностью пожиралъ ваши стихи... но вѣдь ты ужъ ничего не пишешь?...

— Нѣтъ, отвѣчалъ Пендринъ.

— Ну! я ничего и не читаю: все дрянь, не сто́итъ вниманія — бездарность! отвѣчалъ Шишкинъ

Громкій взрывъ рукоплесканій обратилъ вниманіе Аполлона Егоровича на ту часть гостиной, гдѣ происходило чтеніе.

— Нѣтъ, я не могу, я не въ силахъ! это дѣйствуетъ на мои нервы! геніально! я не въ состояніи! я не могу выдержать! верхъ совершенства! кричалъ отрывчатымъ голосомъ отецъ Клавдіи Ильиничны, кувыркаясь въ своихъ креслахъ, конвульсивно потряхивая головой и дергая съ какимъ-то энтузіазмомъ кончики своего жабо.

— Превосходно! превосходно! раздалось въ толпѣ.

— Неподражаемо! воскликнулъ Тирсисъ Ивановичъ, цѣлуя съ восторгомъ женину руку. (Другая рука великаго поэта покоилась между ладонями Валдайской, знаменитаго редактора „Дѣтскаго Альманаха“).

— Неподражаемо! неподражаемо! я просто не въ состояніи! верхъ совершенства! это дѣйствуетъ на мои нервы! кричалъ отецъ Ястребиловой, между тѣмъ, какъ сама Клавдія Ильинична торжественно обводила общество лезвіемъ своего орлинаго носа.

Внезапно Марья Ивановна Валдайская выпустила руку ве-

ликаго поэта, приложила батистовый платокъ къ глазамъ своимъ и исчезла въ сосѣднія двери.

— Кажется, этой дамѣ... какъ бишь ее... редактору альманаха, сдѣлалось дурно... произнесъ Дрянковъ, наклонясь къ автору „Заоблачныхъ Трелей“, который посылалъ нѣжныя улыбки издателю „Лермонтовской Шпоры“, стоявшему въ отдаленьи.

— Кто? она, Валдайская? нѣтъ, ничего; она удалилась въ сосѣднюю комнату, чтобъ высказать въ звучныхъ, прекрасныхъ стихахъ впечатлѣнія, произведенныя на нее чтеніемъ Клавдіи Ильиничны... Всякій разъ, когда читаютъ Ястребиловы, она даритъ насъ своими геніальными экспромтами... увидите... Черезъ часъ какой-нибудь, какъ только кончится чтеніе „лебедя“; она вернется съ безподобными стихами. Страшный талантъ! проговорилъ вертлявый поэтъ, пожимая руку Дрянкова.

Вертлявый поэтъ говорилъ сущую правду. Какъ только голосъ Клавдіи Ильиничны замолкъ посреди грома рукоплесканій, въ гостиной показалась Марья Ивановна Валдайская; въ рукахъ ея находился листъ бумаги, исписанный со всѣхъ четырехъ сторонъ.

Мало-по-малу Аполлонъ Егоровичъ пришелъ къ тому печальному заключенію, что слѣдовало отложить всякую надежду прочесть въ этотъ вечеръ „Непризнанную Индѣйку“, и потому принялся внимательно наблюдать физіономію Леокадія Куликова, который съ той самой минуты, какъ началось чтеніе экспромта, не переставалъ хмурить брови, глядѣть на часы и обнаруживать всѣ признаки самаго глубокаго отчаянія.

Новый взрывъ рукоплесканій.

Геніальный отецъ Клавдіи Ильиничны вставалъ съ своего мѣста и объявлялъ, что чтеніе неподражаемаго экспромта подѣйствовало сильнѣйшимъ образомъ на его нервы; затѣмъ онъ раскланялся и началъ прочищать себѣ дорогу въ толпѣ, которая тѣснилась къ дверямъ.

— А вотъ и очередь Куликова! посмотрите, посмотрите, мсьё Дрянковъ: вотъ онъ приподнялся съ своего мѣста. Эхъ, славная головушка! Взгляните на него, взгляните! Но куда же это всѣ идутъ? Что же это такое?... Надѣюсь, мсьё Дрянковъ, вы останетесь слушать „Посланіе къ замку на Воробьевыхъ го-

рахъ"? говорилъ вертлявый поэтъ, схватывая за руку собесѣдника и порываясь внизъ.

Дрянковъ не сдѣлалъ никакого возраженія: его молчаніе служило несомнѣннымъ знакомъ полнѣйшаго согласія.

— Извините меня, заговорилъ нувеллистъ Шишкинъ, вставая неожиданно съ креселъ и притрогиваясь къ рукѣ вертлявого поэта: — вы часто бываете у Ястребиловыхъ?

— Я не пропускаю ни одного литературнаго вечера, восторженно отвѣчалъ поэтъ.

— Скажите, пожалуйста, что здѣсь... ужинаютъ? подхватилъ Шишкинъ.

— Нѣтъ-съ, никогда; помилуйте, до того ли!... Ахъ, Боже мой, отчего же всѣ уходятъ?... какая досада!... Мсьё Дрянковъ, посмотрите, посмотрите, какъ вдругъ поблѣднѣлъ Куликовъ, что съ нимъ? Пойдемте поскорѣе къ нему, заключилъ скороговоркою авторъ „Заоблачныхъ Трелей", бросаясь въ толпу.

Но Аполлонъ Егоровичъ остался на нижней ступени возвышенія, и это дало ему возможность явственно разслышать, какъ нувеллистъ Шишкинъ сказалъ поэту Пендрину:

— Знаешь, братецъ, съ этими литературными вечерами такъ отощаешь, что тебя скоро отецъ родной не узнаетъ!...

— Я совершенно согласенъ съ тобою, отвѣчалъ Пендринъ, потирая переносицу.

Аполлонъ Егоровичъ раздѣлялъ точно также это мнѣніе; и такъ-такъ оба писателя направились къ двери, то онъ послѣдовалъ ихъ примѣру, не встрѣтивъ на этотъ разъ ни малѣйшаго препятствія со стороны толстыхъ спинъ.

Вступивъ въ сосѣднюю комнату, Аполлонъ Егоровичъ направился прямо къ тому мѣсту, гдѣ оставилъ свою шляпу. Но каковъ былъ его ужасъ, когда, вмѣсто новой шляпы, увидѣлъ онъ расплюснутый, неуклюжій картузъ, который могъ только помѣститься на исполинской головѣ Торквата Арменинова!

Этимъ кончился литературный вечеръ и вмѣстѣ съ нимъ столичныя похожденія „Непризнанной Индѣйки".

III.

Судьба сталкиваетъ два нѣжныя сердца, созданныя одно для другаго. Порфирій Павловичъ знакомится съ однимъ гостепріимнымъ семействомъ и наслаждается истиннымъ счастіемъ.

А между тѣмъ много утекло воды въ первомъ нумерѣ аристократической гостинницы, которую продолжаетъ украшать своимъ присутствіемъ великій человѣкъ изъ Горшкова. Были происшествія всякаго рода, но всѣ эти происшествія, каково бы ни было ихъ значеніе въ этой правдивой исторіи, должны непремѣнно блѣднѣть и меркнуть передъ однимъ событіемъ, главнымъ актеромъ котораго былъ, однакожъ, не Балахновъ, а сердобольный другъ его, Порфирій Павловичъ. Дѣло вотъ въ чемъ: гастрономическія увеселенія, которымъ предавался Васильковъ со всею неумѣренностью пылкаго темперамента, расшатали его нѣжную натуру, развинтили его члены и свернули его на бокъ. Вотъ ужъ третьи сутки, какъ Порфирій Павловичъ не встаетъ съ своего дивана, наполняя одну изъ комнатъ перваго нумера болѣзненными стонами.

Обстоятельство это, конечно, не имѣетъ само по себѣ большой важности; но если принять въ соображеніе гибельное дѣйствіе, какое могли произвести на непривычный желудокъ частыя возліянія лампопо́, безпрерывные тосты въ честь Аристарха Ѳедоровича, порціи жирнаго поросенка съ тертымъ хрѣномъ (любимое блюдо Василькова), если принять въ соображеніе непрерывный рядъ бѣлыхъ ночей, проведенныхъ Порфиріемъ Павловичемъ посреди удовольствій, столько же разнообразныхъ, сколько и одуряющихъ — невольно придешь въ справедливое изумленіе передъ тѣмъ, какъ могъ еще Порфирій Павловичъ не сойдти въ преждевременную могилу, и какъ, вообще, что ни говорятъ, крѣпка и могуча человѣческая природа.

Совсѣмъ противнаго мнѣнія былъ на этотъ счетъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

Съ той минуты, какъ физическіе недуги пригвоздили Василькова къ дивану, Балахновъ не переставалъ подтрунивать

надъ его слабостью, называлъ его бабой и многими другими эпитетами игриво-юмористическаго характера.

— Стыдись, братецъ, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, входя на третье утро въ комнату больнаго и садясь въ кресло, подлѣ его изголовья: — стыдись, любезный, какъ тебѣ не совѣстно сокрушаться духомъ отъ такой бездѣлицы!... Засорилъ желудокъ — вотъ и все тутъ; съ кѣмъ этого не случается!... Небось не умрешь!... Вотъ другое дѣло, еслибъ ты, напримѣръ, сломалъ себѣ ногу, или карета проѣхала бы по твоему тѣлу... ну, я, конечно, ничего бы не сказалъ тогда... а это вздоръ, пустяки!...

— Меня, Аристархъ Ѳедоровичъ, не столько сокрушаетъ болѣзнь, сколько мысль объ этой несчастной встрѣчѣ съ Фанаріей Петровной, отвѣчалъ Васильковъ печально-разстроеннымъ тономъ. — Охъ! я былъ тогда въ такомъ видѣ... все, все это случилось въ Петровскомъ паркѣ... теперь весь уѣздъ узнаетъ... станутъ говорить Богъ знаетъ что... надо смотрѣть съ точки, Аристархъ Ѳедорычъ... Это ужасно!...

— Ты опять за свои пустяки, любезнѣйшій! Во-первыхъ, говорить ничего не будутъ, потому что всякій знаетъ, что ты со мной; довольно, надѣюсь, моего присутствія, чтобъ оградить и предохранить тебя отъ дурныхъ предположеній, могущихъ произойдти въ противномъ случаѣ, сказалъ съ достоинствомъ Балахновъ: — а во-вторыхъ, еслибъ даже и стали болтать о тебѣ всякій вздоръ, что-жъ изъ этого? „На чужой ротокъ не накишешь платокъ“, говоритъ мудрая пословица славныхъ нашихъ прадѣдовъ. Взводятъ небылицы и не на такихъ, братецъ, тузовъ, какъ ты... Огорчаюсь ли я, напримѣръ, сплетнями уѣзда? Пускай судятъ, рядятъ и толкуютъ — все это вздоръ! Человѣкъ долженъ только страшиться суда собственной своей совѣсти, примолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, выпрямляя грудь и горделиво поднимая голову. — Твоя совѣсть чиста... чиста ли твоя совѣсть? заключилъ онъ, строго взглянувъ на больнаго.

— Кажется, я ничего не сдѣлалъ такого... пробормоталъ Васильковъ, испуская глубокій вздохъ.

— А когда такъ, стало-быть, и сокрушаться нечего. Мой совѣтъ: выбрось всю эту дурь изъ головы и пошли, какъ я еще вчера говорилъ, за докторомъ.

— За докторомъ? Нѣтъ, Аристархъ Ѳедорычъ, ни за что

на свѣтѣ! воскликнулъ Васильковъ, придавая своимъ испуганнымъ глазамъ неслыханные размѣры.

— Это что еще?...

— Ни за что въ свѣтѣ!... повторилъ Васильковъ, прикутываясь халатомъ.

— Ты, братецъ, попросту, кажется, рехнулся, сказалъ Балахновъ, разсѣянно всматриваясь въ кончики своихъ сапогъ.

— Нѣтъ, Аристархъ Ѳедорычъ, клянусь! Надо смотрѣть съ точки на тотъ предметъ, простоналъ Порфирій Павловичъ:— посудите сами: придетъ незнакомый, чужой человѣкъ, безъ всякаго участія, пропишетъ рецептъ... какое ему до меня дѣло? Охъ! я охотно лечился въ Горшковѣ у Карла Готлибовича... тотъ пріятель... и я его знаю, и онъ меня знаетъ... это совсѣмъ другое дѣло: довѣренность, дружба... вы сами знаете, для больнаго это всего дороже...

— Ха, ха, ха! Нѣтъ, какъ я вижу, ты того... повихнулся, любезнѣйшій! А впрочемъ, слушать тебя нечего... Эй, Сидоръ! крикнулъ Балахновъ, поворачиваясь къ двери:—Сидоръ, продолжалъ онъ, когда явился камердинеръ:—ступай и отыщи сейчасъ же доктора. Болѣзнь Порфирія Павловича совсѣмъ не такъ опасна, чтобъ нужны были первые столичные медики; спроси просто доктора; здѣсь, я полагаю, всякій знаетъ... А ты, любезный, выбрось эту дурь изъ головы, примолвилъ онъ, поворачиваясь къ Василькову, лицо котораго сохранило такое выраженіе, какъ будто готовились произвести надъ нимъ самую трудную операцію.—Стыдись быть столь слабодушнымъ! Надѣюсь увидѣть тебя къ вечеру бодрымъ душой и тѣломъ, толстымъ, румянымъ и совершенно-здоровымъ .. Теперь, покуда, прощай, любезный; у меня сегодня кой-какія дѣла, заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, поспѣшно направляясь къ двери.

Оставшись наединѣ, Порфирій Павловичъ испустилъ протяжный вздохъ и окинулъ комнату глазами, выражавшими безотрадную грусть.

Равнодушіе, съ какимъ говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, его насмѣшки, невниманіе—все это ложилось тяжелымъ бременемъ на чувствительную душу нѣжнаго Порфирія Павловича. Того ли слѣдовало ожидать отъ друга? Принимая въ соображеніе собственныя свои чувства и обсуживая здраво и ясно, какъ сталъ бы онъ дѣйствовать въ случаѣ, еслибъ Балахновъ очутился на

его мѣстѣ, Васильковъ имѣлъ полное право огорчиться при мысли, что Аристархъ Ѳедоровичъ не просиживалъ ночей у его изголовья, не утѣшалъ его, не обнаруживалъ передъ нимъ каждый часъ, каждую минуту знаковъ трогательнаго, дружескаго участія, что̀ въ настоящую минуту было бы для Василькова дѣйствительнѣе всякихъ микстуръ, припочекъ и катаплазмовъ. „Дружба познается въ несчастіи“. Изреченіе это, забытое Васильковымъ вскорѣ послѣ того, какъ онъ пересталъ упражняться прописями, ярко отразилось теперь въ мозгу его и частью разъяснило передъ нимъ настоящую причину равнодушія Балахнова. Мысли, одна другой печальнѣе, зароились въ головѣ его, тяжело-опущенной на пеструю, ситцевую подушку. Все, впрочемъ, къ тому способствовало: невозмутимая тишина царствовала въ нумерѣ (Сидоръ исчезалъ всякій разъ, какъ уѣзжалъ Аристархъ Ѳедоровичъ; Дрянковъ пропадалъ по цѣлымъ суткамъ съ тѣхъ поръ, какъ вышла въ свѣтъ его повѣсть), наружность самой комнаты, въ которой всѣ украшенія замѣнялись коленкоровою шторой, изображавшей два дерева, раздѣленныя лиловымъ ручьемъ, и выведенная на этой шторѣ надпись:

«Ручей два древа раздѣляетъ;
Но вѣтви ихъ...» и т. д.,

конечно, могли только раздражать въ настоящемъ случаѣ Василькова, точно такъ же, какъ надпись на зеленой оберткѣ „Непризнанной Индѣйки“, лежавшей передъ нимъ на столикѣ, вмѣстѣ съ огаркомъ, переломленными щипцами и пустымъ кошелькомъ. „Другу и благопріятелю, П. П. Василькову, въ изъявленіе глубокаго сочувствія, наполняющаго душу автора“, гласилъ Аполлонъ Егоровичъ, непоказавшій совсѣмъ-тѣмъ Василькову кончика своего носа съ той самой поры, какъ занялъ у него денегъ, и очевидно — теперь ужъ это ясно — смѣявшійся въ душѣ надъ чувствами дружбы.

Такъ размышлялъ Порфирій Павловичъ, какъ вдругъ въ дверяхъ появился Сидоръ.

— Порфирій Павловичъ, сказалъ онъ:—дохтуръ дожидается въ гостиной.

Меланхолическое лицо Василькова приняло внезапно такое страшное выраженіе, что Сидоръ выюркнулъ изъ двери и по-

бѣжалъ за докторомъ, питая въ душѣ увѣренность, что если больному нужна помощь, такъ, разумѣется, въ настоящую минуту.

Когда докторъ вошелъ въ комнату, больной лежалъ пластомъ, закутанный герметически со всѣхъ сторонъ халатомъ.

— Подними, милый мой, штору, сказалъ докторъ, обращаясь къ Сидору.

Слова эти произнесены были такимъ нѣжнымъ, можно даже сказать, чувствительно-трогательнымъ голосомъ, что Порфирій Павловичъ невольно раскрылъ правый глазъ и приложилъ его къ одной изъ халатныхъ щелей. Мало-по-малу, лѣвый глазъ его послѣдовалъ примѣру своего товарища, и вскорѣ вся голова Порфирія Павловича вынырнула изъ-подъ халала.

— Какъ вы себя чувствуете? спросилъ докторъ, приближаясь къ паціенту и устремляя на него меланхолическій взоръ.

— Очень хорошо, докторъ, клянусь, какъ честный человѣкъ! отвѣчалъ Васильковъ, успокоенный нѣсколько наружностью врача.

Наружность врача была въ-самомъ-дѣлѣ такова, что сразу дѣйствовала самымъ успокоительнымъ образомъ на больнаго и даже пробуждала въ немъ самыя пріятныя чувства. Представьте себѣ молодаго человѣка, лѣтъ тридцати, средняго роста, съ синими глазами томнаго свойства и бѣлымъ, полнымъ лицомъ. Бѣлокурые, плоскіе, тщательно приглаженные волосы спускались двумя неправильными полукругами вдоль пуховыхъ его щекъ, украшенныхъ рыжеватыми бакенбардами, которые, очевидно, должны были закутываться на каждую ночь платкомъ и умасливаться каждое утро душистымъ фиксатуаромъ, чтобъ сохранить свой лоскъ и изящную форму. Одежда доктора показывала въ немъ человѣка высоко-цѣнившаго дарованную ему природою красоту и умѣвшаго извлекать изъ каждой туалетной принадлежности такія выгоды, которыя выставляли эту красоту въ самомъ рельефномъ видѣ.

— Хотя я лечу однѣхъ дамъ... это моя спеціальность, пролепеталъ медикъ такимъ сладкимъ голосомъ, какъ-будто выпрашивалъ взаймы денегъ:—но мнѣ было бы весьма пріятно, еслибъ всѣ мужчины удостоивали меня точно такъ же своею довѣренностью. Надѣюсь, моя наружность не внушаетъ вамъ никакого опасенія, примолвилъ онъ, медленно приподнимая томные глаза на паціента.

— Помилуйте, докторъ, совершенно напротивъ! произнесъ Васильковъ, между тѣмъ, какъ медикъ вынималъ изъ кармана черепаховый гребешокъ, на поверхности котораго вдѣлано было маленькое зеркальцо.

— Мнѣ весьма пріятно слышать это, проговорилъ женоподобный врачъ, бросая привѣтливую улыбку на зеркальцо: — очень даже пріятно это слышать. Въ нашемъ званіи наружность имѣетъ... имѣетъ большое значеніе. Первое впечатлѣніе больнаго, при взглядѣ на доктора, рождаетъ тотчасъ же симпатію или антипатію, и чрезъ то самое ускоряется или замедляется ходъ болѣзни... это ужъ невольно. Я сужу по опыту: всѣ дамы, которыхъ я имѣлъ счастіе пользовать, при моемъ появленіи падали въ обморокъ, но потомъ, при первомъ взглядѣ —все это тотчасъ же проходило; онѣ охотно протягивали мнѣ свои руки...

Сказавъ это, докторъ положилъ въ карманъ зеркальцо, пощупалъ Василькову пульсъ, поглядѣлъ на его языкъ и объявилъ, что нѣтъ никакой опасности, что надо стараться, по-возможности, болѣе развлекать себя, ибо главная причина болѣзни происходитъ не столько отъ физическаго разстройства, сколько отъ сильнаго душевнаго потрясенія, имѣвшаго прямое дѣйствіе на сердце.

— Можетъ-быть, другіе прописали бы вамъ микстуры или посадили бы васъ на строгую діэту; но я считаю это совершенно лишнимъ въ настоящемъ случаѣ, прибавилъ мелодически докторъ:—главное: старайтесь окружить себя людьми, которые вамъ особенно-милы или дороги: общество искреннихъ друзей...

Васильковъ испустилъ протяжный вздохъ.

— Если у васъ нѣтъ здѣсь такихъ людей, поспѣшно подхватилъ докторъ, взявъ руку больнаго и выразивъ на лицѣ своемъ трогательное участіе: — ищите развлеченій. Я полагаю, что дамское общество... или, напримѣръ, прогулка по Петровскому парку, или вечеръ, пріятно проведенный въ театрѣ, принесли бы вамъ несомнѣнную пользу.

— Ахъ, докторъ! воскликнулъ Порфирій Павловичъ, пожимая съ горячностью его руку:—я чувствую, что отъ однихъ словъ вашихъ мнѣ ужъ дѣлается легче! Да, вы изволили совершенно справедливо замѣтить: мнѣ именно грустно, такъ, знаете, тоска какая-то, унынie... кругомъ ни одного человѣка,

ни одного добраго пріятеля... Извините, докторъ, если я осмѣлюсь спросить ваше имя и отчество... я такъ радъ, право...

— Аполлинарій Ильичъ Миловзоровъ, отвѣчалъ докторъ пріятнымъ голосомъ.

— Какъ, можетъ ли быть, Миловзоровъ? Ахъ, Боже мой, какой счастливый случай!... Вѣдь я, Аполлинарій Ильичъ, знаю вашихъ сестрицъ: мы познакомились въ нашемъ уѣздномъ городѣ Горшковѣ... такъ точно, онѣ говорили мнѣ, что у нихъ есть братецъ, докторъ въ Москвѣ! воскликнулъ Васильковъ, восторженно хлопая глазами.

— Такъ это вы изволили съ ними встрѣтиться? пролепеталъ Миловзоровъ, бросая привѣтливую улыбку.

— Какъ! неужели онѣ писали вамъ о нашей встрѣчѣ? вскричалъ Васильковъ, обуреваемый порывами душевнаго восторга.

— Писали и даже очень много-съ. Вы были, кажется, столь обязательны, что купили имъ лошадокъ?...

— О, помилуйте, что-жъ это такое!... Это, это... это, Аполлинарій Ильичъ, такая ничтожная услуга! Я почитаю себя счастливымъ ужъ тѣмъ, что удалось хоть чѣмъ-нибудь доказать свою... свою преданность, перебилъ Васильковъ, подпрыгивая на диванѣ.

— Съ ними, долженъ я вамъ сказать, случилась послѣ того маленькая непріятность, меланхолически произнесъ Миловзоровъ.

— Ахъ, Боже мой! что такое? спросилъ Васильковъ, обнаруживая неподдѣльное участіе въ каждой чертѣ своего лица.

— Представьте, онѣ не могли доѣхать до дома: лошади эти околѣли на дорогѣ, такъ что сёстры принуждены были купить другихъ...

— Что-жъ это такое? Я, просто, не понимаю, краснѣя, произнесъ Порфирій Павловичъ, при чемъ физіономія его выразила несомнѣнные признаки глубочайшей скорби и досады:— я, впрочемъ, прибавилъ онъ, поправляя свои волосяные волюты: — я хорошо знаю эту статью и глядѣлъ тогда во всѣ глаза... я, кажется, никакъ не могъ ошибиться, потому что въ то время, какъ полкъ нашъ стоялъ на травяномъ продовольствіи, я исправлялъ должность ремонтера, и лошади были у меня всегда отличныя... Вѣрно, кучеръ вашихъ сестрицъ, или

что-нибудь такое... во всякомъ случаѣ, мнѣ весьма больно слышать это. Надѣюсь, ваши сестрицы не сердятся... я не виноватъ, клянусь вамъ, не виноватъ!

Миловзоровъ поспѣшилъ успокоить Василькова, сказавъ ему при этомъ, что сёстры не только не сердятся, но даже съ восхищеніемъ припоминаютъ горшковскую встрѣчу. Такое извѣстіе, какъ и слѣдовало ожидать, подѣйствовало на Порфирія Павловича самымъ благопріятнымъ образомъ; онъ объявилъ, въ свою очередь, что никогда, до гробовой доски, не забудетъ горшковской ярмарки, доставившей ему случай познакомиться съ милыми и любезными сестрицами Аполлинарія Ильича.

Такія объясненія должны были завязать между докторомъ и паціентомъ пріятную бесѣду. Черезъ полчаса Миловзорову извѣстно уже было во всѣхъ подробностяхъ несчастное сусловское происшествіе, и онъ убѣдился, разъ навсегда, что вѣрно угадалъ болѣзнь Василькова, приписавъ главное основаніе ея не столько причинамъ физическимъ, сколько душевнымъ потрясеніямъ, имѣвшимъ прямое дѣйствіе не сердце. Впослѣдствіи Миловзоровъ любилъ приводить этотъ фактъ, какъ несомнѣнный признакъ своей проницательности.

Затѣмъ Аполлинарій Ильичъ сообщилъ своему паціенту весьма много любопытнаго о самомъ себѣ, сказалъ, что онъ точно также женатъ, что жена его — настоящій ангелъ, а тесть и тёща — честнѣйшіе и добрѣйшіе люди, какіе когда-либо существовали на свѣтѣ. Тесть и тёща (которыхъ Миловзоровъ называлъ „боперчикъ“ и „бельмерочка“) пользовались превосходнымъ состояніемъ, доставшимся имъ отъ покойнаго отца, торговавшаго бронзой, старымъ фарфоромъ, картинами и драгоцѣнною древнею мебелью. Послѣ этого Миловзоровъ почелъ нелишнимъ объяснить паціенту, почему, при огромномъ состояніи тестя и тёщи, занимается онъ практикой. Изъ словъ его оказалось, что практика была ему столько же полезна, сколько необходима; съ точки зрѣнія пользы — она доставляла ему развлеченіе; необходима была она потому именно, что доставляла случай отучать жену отъ неумѣстной ревности. Миловзорова была страшно ревнива, не давала мужу ступить шага, преслѣдовала его всюду и настоятельно требовала, чтобъ мужъ ни подъ какимъ предлогомъ не лечилъ дамъ. Аполлинарій Ильичъ, конечно, не былъ виноватъ въ томъ, что природа даровала ему

красоту; не виноватъ былъ онъ также и въ томъ, что страждущія дамы посылали преимущественно за нимъ...

Порфирій Павловичъ не находилъ въ душѣ своей ничего такого, что могло бы противорѣчить мнѣнію данъ въ отношеніи къ милому доктору. Онъ былъ отъ него въ восхищеніи; мало того: на другое утро, когда Аполлинарій Ильичъ явился въ его комнату, онъ объявилъ, что готовъ пролежать цѣлый годъ въ постели, лишь бы пользоваться постоянно обществомъ такого медика. Общество самого Порфирія Павловича, слѣдуетъ предполагать, доставляло такое же точно наслажденіе Миловзорову. Онъ являлся аккуратно каждое утро, просиживалъ цѣлые часы сряду и, смотрясь въ зеркальцо, повѣствовалъ разныя занимательныя исторіи, пересыпанныя безчисленнымъ множествомъ фактовъ, изъ которыхъ каждый доказывалъ неоспоримымъ образомъ, что наружность его играла всегда самую важную роль въ удачныхъ его леченіяхъ...

Должно отнести, однакожъ, къ чести Миловзорова, что главный предметъ интересныхъ исторій составляли все-таки его жена, тесть и тёща. Мало-по-малу, передъ Васильковымъ раскрылась панорама такого семейнаго счастья, что сердце его замирало отъ сладостнаго трепета. Изъ дальнѣйшихъ источниковъ, дошедшихъ до насъ чрезъ Порфирія Павловича, узнаемъ мы, что Андрей Андреевичъ Бычковъ (тесть Миловзорова) и Марья Кузьминична Бычкова (тёща) были въ самомъ дѣлѣ достойны того, чтобы зять превозносилъ ихъ до небесъ. Доброта тестя и тёщи явствуетъ изъ слѣдующихъ двухъ фактовъ: 1) до женитьбы своей, Аполлинарій Ильичъ былъ не что иное, какъ бѣдный студентъ медицинскаго факультета, приходившій давать уроки русскаго языка купеческой дочкѣ. Слѣдуя неизбѣжному рóку, Бычкова почувствовала вдругъ непреодолимое влеченіе къ Миловзорову. Непреодолимое влеченіе, само собою разумѣется, должно было обратиться въ непреоборимую страсть. Дочка упала въ ноги къ отцу и матери, заливаясь слезами; отецъ и мать взглянули на дочь, потомъ на Миловзорова, который плакалъ въ углу, потомъ сами зарыдали, потомъ слезы всѣхъ четверыхъ смѣшались въ одинъ общій потокъ, и потомъ, не взирая на то, что все богатство молодаго человѣка заключалось въ однихъ бакенбардахъ, назвали его своимъ сыномъ. Пораженные умомъ, способностями, ученостью и красотою зятя, тесть и тёща еже-

часно благодарили судьбу, даровавшую ихъ дочкѣ такого феникса. Дочка, съ своей стороны, была также очень счастлива, за исключеніемъ развѣ тѣхъ случаевъ, когда Аполлинарій объявлялъ, что, такъ-какъ непредвидѣнныя обстоятельства поглотили деньги, выданныя тестемъ на мѣсячные расходы, то ему необходимо будетъ прибѣгнуть къ практикѣ, спеціальность которой заключалась, какъ уже извѣстно, въ леченіи страждущихъ дамъ; жена спѣшила снабжать его требуемою суммой и этимъ способомъ всегда возвращала мужа къ домашнему очагу. 2) Значительный проигрышъ въ карты, сдѣланный Миловзоровымъ въ первый годъ его супружества, нисколько не унизилъ его во мнѣніи тестя и тёщи. Пораженные сначала этимъ извѣстіемъ, старики вошли въ комнату зятя съ твердымъ намѣреніемъ прочесть ему наставленіе; но, увидѣвъ слезы на щекахъ его, тотчасъ же упали духомъ, прослезились сами, и тутъ же обѣщали забыть прошлое и ни въ какомъ случаѣ даже не упоминать о немъ.

Слушая все это, Порфирій Павловичъ умилялся душою; послѣ всего этого было бы дико съ его стороны — именно дико и даже нелѣпо — не чувствовать сильной потребности сойдтись, сдружиться и сблизиться съ почтеннымъ семействомъ Миловзорова.

Случай не замедлилъ представиться... Здѣсь не мѣсто входить въ ученыя изслѣдованія, защищать или оспаривать многочисленныя медицинскія теоріи, или вдаваться въ умозрительныя разсужденія на счетъ того, производитъ ли дѣйствительно наружность медика болѣе или менѣе благодѣтельное вліяніе на разстроенный организмъ паціента; къ тому же намъ нѣтъ до этого ровно никакого дѣла; обязанность наша состоитъ исключительно къ томъ, чтобъ выставлять одни факты и результаты; а результатъ былъ такого рода, что Миловзоровъ поставилъ Василькова на ноги въ самомъ скоромъ времени и не далѣе какъ недѣли чрезъ три явился съ нимъ въ театрѣ.

Тутъ только увидѣлъ Порфирій Павловичъ, какъ могущественна была въ самомъ дѣлѣ красивая наружность медика-друга. Слѣдя внимательно за дамскими биноклями, онъ убѣдился, что они преимущественно маневрировали вокругъ лоснящихся бакенбардъ Миловзорова. Порфирій Павловичъ пригладилъ собственныя свои бакенбарды и испустилъ глубокій

вздохъ. Причина такого вздоха заключалась въ томъ, что въ душѣ его, вслѣдствіе естественнаго сцѣпленія идей, пробужденныхъ внѣшними предметами, возникло глубокое сожалѣніе на счетъ того, зачѣмъ онъ въ свое время не избралъ карьеры медицинской; такія безотрадныя размышленія, конечно, не мѣшали ему вращать глазами по направленію каждаго хорошенькаго личика. Одно лицо, глядѣвшее изъ бенуара, особенно поразило его: оно составляло неотъемлемую принадлежность молоденькой женщины, въ голубомъ, кисейномъ токѣ съ серебряными кисточками; дама, казалось, была въ большомъ волненіи: полная грудь ея вздымалась сильнѣйшимъ образомъ и глаза впивались, какъ стрѣлы, въ бакенбарды Миловзорова, который обводилъ между-тѣмъ томнымъ взоромъ другія ложи. Сердобольный Порфирій Павловичъ почелъ своею обязанностью обратить вниманіе Аполлинарія Ильича на бенуаръ.

— Это жена моя... нѣжно пролепеталъ Миловзоровъ.

— Ахъ, помилуйте, да это просто красавица! Аполлинарій Ильичъ, я считаю васъ счастливѣйшимъ человѣкомъ въ свѣтѣ, сказалъ Васильковъ, приковывая исполинскіе зрачки свои къ голубому току.

Миловзвровъ наклонился къ уху собесѣдника и проворковалъ голосомъ, который захлебывался въ патокѣ:

— И... и влюблена въ меня до безумія!...

— А тотъ почтенный старичокъ, что сидитъ за нею? спросилъ Васильковъ, подавляя завистливый вздохъ.

— Мой тесть — добрѣйшій человѣкъ въ мірѣ... Позвольте мнѣ имѣть удовольствіе познакомить васъ съ ними? Обоимъ будетъ весьма пріятно.

— Ахъ, Боже мой, а мнѣ и подавно! воскликнулъ Васильковъ, горячо пожимая руку новаго друга и обтягивая отвороты своего сюртучка.

Они вышли въ корридоръ и, секунду спустя, очутились подлѣ бенуара, дверь котораго была уже отворена супругою Миловзорова.

— Agrippine, рекомендую тебѣ друга моего, Порфирія Павловича Василькова, о которомъ я такъ много говорилъ тебѣ, нѣжно сказалъ Аполлинарій Ильичъ.

— Весьма пріятно... я такъ много ужъ слышала... что... что... право...

— Мм... мм... пробормоталъ Порфирій Павловичъ, ободряя себя легкимъ кашлемъ.

Такая же рекомендація воспослѣдовала съ тестемъ, коротенькимъ пузанчикомъ самаго веселаго, привѣтливаго вида, закупореннымъ въ круглый фракъ табачнаго цвѣта. Добродушное лицо Бычкова изобразило всѣ признаки живѣйшаго нетерпѣнія, которые проглянули даже во всѣхъ его движеніяхъ; припрыгивая на кончикахъ носковъ, какъ танцмейстеръ или воробей, и потирая ладони, онъ схватилъ обѣ руки Порфирія Павловича и заботливо усадилъ его подлѣ себя; затѣмъ поспѣшилъ засыпать его вопросами о томъ, какимъ образомъ сошелся онъ съ Аполлинаріемъ, какъ вообще нравился ему Аполлинарій, и, не дожидаясь отвѣта, объявилъ напрямикъ, что Аполлинарій—изумительное совершенство человѣческой природы и представляетъ въ одномъ цѣломъ счастливое сочетаніе красоты, ума и всѣхъ возможныхъ достоинствъ.

Между-тѣмъ Миловзоровъ и жена его стояли подлѣ двери бенуара и продолжали шептаться. Сущность консультаціи между двумя супругами осталась для Василькова непроницаемою тайной; по движеніямъ ихъ, онъ могъ судить, однакожъ, что объясненіе не лишено было нѣкоторой энергіи. Миловзорова, убѣжденная повидимому какими-то неотразимыми доказательствами своего супруга, отпустила его, наконецъ, въ кресла, усѣлась на свое мѣсто и еще пристальнѣе впилась въ него глазами.

Порфирій Павловичъ остался въ бенуарѣ и, слово за слово, такъ разговорился съ тестемъ своего друга, что тотъ потребовалъ отъ него обѣщанія пріѣхать завтра обѣдать.

Въ отвѣтъ на это, сердобольный владѣтель Сусловки съ чувствомъ пожалъ сначала правую руку веселаго старичка, потомъ лѣвую, потомъ обѣ вмѣстѣ, и на другой день, во второмъ часу, бережно звонилъ уже у двери двухъ-этажнаго каменнаго дома, выкрашеннаго розовой краской. Навстрѣчу ему вышелъ молодой, бѣлокурый лакей въ синемъ фракѣ съ плоскими, свѣтлыми пуговицами, очевидно блиставшими когда-то на груди Аполлинарія Ильича; фракъ этотъ замыкался напереди холстиннымъ фартукомъ, ниспадавшимъ до колѣнъ, обтянутыхъ сѣрыми брюками съ темными лампасами; лѣвая рука лакея вооружена была тряпкой, бумажкой съ толченымъ кирпичомъ и мѣднымъ шандаломъ.

— Дома господа? спросилъ Васильковъ такимъ тономъ, какъ-будто хотѣлъ затѣмъ прибавить: — „Если я помѣшалъ, другъ мой, ты мнѣ прямо скажи: а сейчасъ же уйду — это ничего!“

— Дома-съ, дома; пожалуйте, сударь, пожалуйте, поспѣшно отвѣчалъ лакей, обнаруживая такую же точно неподдѣльную радость, какъ Робинзонъ при встрѣчѣ съ Пятницей: — всѣ дома, сударь, всѣ до одного, продолжалъ онъ, принимаясь освобождать плечи гостя отъ пальто: — а мы ужъ, признаться, сударь, и не думали увидѣть васъ. Всякій день слышимъ, Аполлинарій Ильичъ изволятъ говорить: господинъ Васильковъ, господинъ Васильковъ!... Что, думаемъ — то-есть мы про-себя, примѣрно, такъ думаемъ — что, думаемъ, хоть бы разъ взглянуть на нихъ — а вотъ вы и пожаловали! заключилъ словоохотливый слуга, оглядывая съ восхищеніемъ гостя.

— Благодарствуй, дружокъ, благодарствуй. Я самъ очень радъ, произнесъ Порфирій Павловичъ, тронутый словами слуги, изъ которыхъ онъ ясно видѣлъ, что Миловзоровъ, увлекаемый дружбой, произносилъ поминутно его имя.

— А ужъ какъ они-то, сударь, будутъ вамъ рады, какъ родному! подхватилъ гостепріимный лакей. — Сегодня утромъ, и то разъ съ двадцать объ васъ вспоминали...

— Я надѣюсь, голубчикъ, всѣ здоровы? вымолвилъ Васильковъ, единственно съ тою цѣлью, чтобъ скрыть волненіе, произведенное въ немъ такими милыми для сердца словами.

— Нѣтъ, сударь, возразилъ слуга: — какъ на бѣду-съ, Аполлинарій Ильичъ изволили заболѣть сегодня.

— Боже мой! что съ нимъ? спросилъ Васильковъ.

— Да зубы-съ; у нихъ это часто бываетъ; повѣрите ли, сударь, щака-то вотъ эвдакая! сказалъ слуга, показывая на полуаршинъ отъ своей собственной скулы: — теперь, однако, полегче стало... изволили заснуть.

— Ахъ, Боже мой! такъ какъ же?... я, можетъ быть, помѣшалъ?... Ты, голубчикъ, пожалуйста, скажи мнѣ, я сейчасъ уйду, это ничего...

— Помилуйте, какъ можно, сударь! наши господа и нивѣсть какъ за это разсердятся... Пожалуйте, пожалуйте; они приказали просить васъ; съ утра еще наказывали! поспѣшилъ

возразить слуга, вводя гостя въ маленькую прихожую, наполненную сильнымъ утюжнымъ запахомъ.

Порфирій Павловичъ не успѣлъ обтянуть отвороты своего сюртука и навести ладонью лоскъ на шляпѣ, какъ ужъ дверь сосѣдней комнаты протяжно скрипнула, медленно отворилась, и на порогѣ ея показался тесть.

Затаивъ дыханіе, онъ чуть-слышно выступалъ на цыпочкахъ и, бережно подобравъ коротенькія фалды табачнаго фрака, поджавъ губы и наклонивъ голову, появился въ передней. Увидѣвъ гостя, онъ сначала быстро простеръ къ нему толстенькія свои руки, сдѣлалъ даже прыжокъ, и потомъ вдругъ, какъ-бы опомнившись, снова поднялся на цыпочки, проворно оглянулся назадъ и съ таинственно-лукавымъ видомъ приложилъ указательный палецъ къ носу. Послѣ такого маневра, Андрей Андреевичъ (такъ звали тестя) подкрался къ Василькову, облобызалъ его въ обѣ щеки и шепнулъ ему мимоходомъ въ оба уха: — „А нашъ Аполлинарій только-что прилегъ отдохнуть!“

Порфирій Павловичъ поспѣшилъ также приподняться на цыпочки и приложить указательный палецъ къ носу.

Примѣру его мгновенно послѣдовалъ и лакей въ синемъ фракѣ.

— Шт... шш... произнесъ Андрей Андреевичъ, съ испугомъ оглядываясь назадъ: — какъ жаль, Порфирій Павлычъ, что вы не пожаловали къ намъ десятью минутами раньше! таинственно шепнулъ онъ: — вы услышали бы, что сказалъ Аполинарій... онъ сказалъ (тутъ лицо тестя приняло восхищенное выраженіе), онъ сказалъ, что къ вечеру зубы его перестанутъ болѣть! Матвѣй, присовокупилъ едва внятно старикъ, обращаясь къ слугѣ: — слышалъ ты, что сказалъ Аполлинарій Ильичъ?....

— Никакъ нѣтъ-съ... шепнулъ лакей.

— Шт... шш... зашипѣлъ Андрей Андреевичъ, грозя пальцемъ: — онъ сказалъ, что сегодня къ вечеру зубы его непремѣнно перестанутъ болѣть! Прошептавъ это, старичокъ обхватилъ руку Василькова и, соблюдая всю возможную осторожность, чтобъ не шаркнуть какъ-нибудь по полу сапогомъ, ввелъ его въ маленькую уютную комнату.

Тутъ, подлѣ окна, въ мягкихъ вольтеровскихъ креслахъ, сидѣла жена Бычкова, крошечная старушка съ добродушною,

но нѣсколько серьезною физіономіей, украшенной круглыми очками, и прямо противъ нея, въ другихъ креслахъ, покоилась жена Миловзорова, роскошная дама съ бѣлыми льняными волосами, маслистыми голубоватыми взорами и красноватымъ лицомъ. Издали, въ театрѣ, напримѣръ она могла казаться весьма эффектною дамой. Обѣ встали съ своихъ мѣстъ, подняли указательный палецъ и, привставъ на цыпочки, радушно встрѣтили гостя.

— Заснулъ? шепнулъ Андрей Андреевичъ, подмигивая на сосѣднюю дверь.

— Кажется... отвѣчали обѣ женщины.

— Шт-ш-ш... подхватилъ старикъ:—вы ужъ знакомы съ дочерью, Порфирій Павлычъ; а вотъ и старуха моя, позвольте васъ познакомить: это тотъ самый господинъ Васильковъ, котораго такъ полюбилъ нашъ Аполлинарій...

— Знаю, знаю, едва-слышно проговорила старушка: — очень, очень пріятно съ вами познакомиться... мы такъ много слышали о васъ отъ нашего Аполлинарія, что давно желали съ вами познакомиться... Прошу покорнѣйше садиться...

Миловзорова повторила приглашеніе, и Порфирій Павловичъ сѣлъ на стулъ, не сдѣлавъ ни малѣйшаго шума, что̀ очевидно доставило величайшее удовольствіе тремъ членамъ гостепріимнаго семейства.

— Андрей Андреичъ, начала старушка, наклонясь къ мужу:—сообщилъ ли ты нашему дорогому гостю о томъ, что сказалъ передъ ихъ приходомъ Аполлинарій?...

— Какъ же, какъ же, сообщилъ! отвѣчалъ старикъ съ такимъ видомъ, какъ-будто дѣло касалось какого-нибудь важнаго предмета, нетерпящаго отлагательства.

— Да-съ, я уже имѣлъ удовольствіе слышать, шепнулъ въ свою очередь Порфирій Павловичъ, прикладывая къ груди поля своей шляпы: — я уже слышалъ... Боюсь, однакожъ, чтобъ не ошибся Аполлинарій Ильичъ: у меня точно также болѣли разъ зубы... это было въ то время-съ, какъ полкъ нашъ стоялъ на травяномъ продовольствіи... и повѣрите ли, я мучился двѣ недѣли!

Въ эту самую минуту, за сосѣднею дверью послышался шорохъ, и вслѣдъ за тѣмъ сладкозвучный голосъ пролепеталъ:

— Бопе́рчикъ, это вы?...

— Боже мой, мы его разбудили! съ отчаяньемъ воскликнулъ старикъ.

— Нѣтъ, онъ, должно-быть, самъ проснулся, сказала дочь.

— Нѣтъ, вѣрно мы его разбудили! подхватила старушка, суетливо подымаясь съ креселъ.

Но Миловзоровъ показался ужъ въ комнатѣ. Пуховыя щеки его рдѣли самымъ яркимъ румянцемъ, котораго не могли даже затмить красный халатъ изъ канауса, подбитый тафтою, и пунцовыя бархатныя туфли, вышитыя блестками и шелкомъ.

При видѣ посторонняго лица, Миловзоровъ отступилъ шагъ назадъ и проворно захлопнулъ дверь, но, услышавъ голосъ Василькова, мгновенно появился въ комнатѣ.

— Порфирій Павловичъ! Боже мой, какъ я счастливъ! съ нѣжностью воскликнулъ онъ, принимаясь обнимать гостя, между-тѣмъ, какъ остальные члены семейства съ умиленіемъ смотрѣли на эту сцену. — Ахъ, Боже мой, что же это такое? подхватилъ онъ, обращаясь съ тоскливымъ укоромъ къ тестю: — бопѐрчикъ, Agrippine, зачѣмъ не разбудили вы меня, не сказали, что пріѣхалъ Порфирій Павлычъ?... Гость нашъ не можетъ минуты остаться безъ трубки, а вы заставили его дожидаться!... Пойдемте ко мнѣ, Порфирій Павлычъ, пойдемте курить! А вы, бопѐрчикъ, распорядитесь, пожалуйста, скорѣй насчетъ обѣда... Agrippine и maman вамъ помогутъ. Гость нашъ, живая въ провинціи, вѣрно, привыкъ рано обѣдать, заключилъ Миловзоровъ.

И, не слушая возраженій гостя, который увѣрялъ, что ему совершенно все равно, когда бы ни обѣдать, Миловзоровъ повлекъ его въ сосѣднюю комнату.

Комната эта, которую тесть и тёща прозвали кабинетомъ Аполлинарія, не отличалась, однакожъ, ничѣмъ особеннымъ отъ будуара молодой купчихи. Она раздѣлялась пополамъ зеленою шелковою занавѣсью, которая держалась на точеныхъ кольцахъ изъ краснаго дерева, скользившихъ на лакированной палкѣ изъ того же дерева; въ первой половинѣ, между двумя окнами, возносилось трюмо съ вызолоченными арабесками, и по бокамъ его, противъ оконъ, стояли два стола, покрытые бѣлою кисеей, подбитою розовой тафтою; поверхность столиковъ усѣяна была безчисленнымъ множествомъ стекляночекъ, баночекъ, флаконовъ, пилочекъ для ногтей, ножницъ, ящичковъ съ пудрой, рубашеч-

ныхъ пуговокъ, драгоцѣнныхъ булавокъ, разложенныхъ симметрически, или сверкавшихъ въ перламутровыхъ раковинахъ, и множествомъ другихъ бездѣлушекъ, въ числѣ которыхъ бросались особенно въ глаза фарфоровая чернильница, золотой ножичекъ съ голубымъ фарфоровымъ черенкомъ и стальныя перья съ такими же фарфоровыми ручками; тутъ вытягивались также стройными рядами принадлежности бритвеннаго несессера; мягкій коверъ покрывалъ полъ; эластическій диванъ и такія же кресла окружали стѣны, украшенныя литографіями самаго нѣжнаго содержанія. Словомъ, еслибъ въ этой комнатѣ, издававшей сильнѣйшій запахъ пачули, не находилось въ числѣ принадлежностей несессера трехъ бритвъ, то никто не догадался бы, что тутъ жилъ членъ медицинскаго факультета.

Миловзоровъ подалъ Василькову стеклянный ящичекъ съ тоненькими папиросами, обернутыми въ розовую бумагу.

— Извините меня, Порфирій Павлычъ, пролепеталъ онъ, запахиваясь халатомъ: — если я въ вашемъ присутствіи приведу въ порядокъ свой туалетъ...

— Аполлинарій Ильичъ, энергически воскликнулъ Васильковъ, прислоняя къ коробкѣ папиросу и поспѣшно подходя къ медику:—Аполлинарій Ильичъ, исполните ли вы мою сердечную, можно сказать, душевную просьбу?...

— Ахъ, все, что хотите, Порфирій Павлычъ! для васъ я все готовъ сдѣлать, все, все...

— Нѣтъ, дайте мнѣ слово, честное слово!

— Даю!

— Въ такомъ случаѣ, Аполлинарій Ильичъ, съ чувствомъ сказалъ Васильковъ и горячо пожалъ при этомъ протянутую ему руку:—Аполлинарій Ильичъ, вы не должны снимать вашего халата... нѣтъ, ни подъ какимъ предлогомъ! Я прошу, умоляю васъ объ этомъ: я не хочу, чтобъ вы стѣснялись чѣмъ-нибудь въ моемъ присутствіи... я у васъ не гость и не хочу быть гостемъ: я просто добрый знакомый, такъ, пришелъ повидаться съ вами... вы окажете мнѣ величайшую дружбу, если останетесь весь день въ халатѣ; я буду видѣть изъ того, что вы меня хоть сколько-нибудь любите...

Аполлинарій Ильичъ отвѣчалъ, что если въ томъ только состоитъ просьба, онъ готовъ, въ угоду дорогому гостю, проходить всю свою жизнь въ халатѣ. И слова его, продиктованныя

симпатіей, проникнуты были такою искренностью, что Порфирій Павловичъ объявилъ, въ свою очередь, что онъ, съ своей стороны, готовъ сдѣлать то же самое.

Къ несчастію, бесѣда двухъ пріятелей, подававшая надежду быть весьма-интересною, прекратилась въ самомъ началѣ появленіемъ Андрея Андреевича, его жены и дочери, которые пришли объявить, что кушанье подано.

За столомъ служили извѣстный уже лакей, въ синемъ фракѣ, и вмѣстѣ съ нимъ какая-то молоденькая, смазливая горничная, съ которой, почему-то, во все продолженіе обѣда не спускала пытливыхъ глазъ мадамъ Миловзорова, сидѣвшая наискось отъ мужа. Подавая блюдо, лакей и горничная громогласно дѣлали разныя замѣчанія самаго веселаго и непринужденнаго свойства; такъ, напримѣръ, лакей сказалъ Василькову: „Кушайте, сударь, кушайте на здоровье... дай вамъ Богъ вѣкъ водить хлѣбъ-соль съ нашими хозяевами!...“ Смазливая горничная почла своею обязанностью прибавить: „Наши хозяева вамъ оченно-рады, особливо Аполлинарій Ильичъ!“ при семъ глаза ея встрѣтились съ глазами Аполлинарія Ильича, но тотчасъ же должны были разбѣжаться въ разныя стороны, благодаря проницательному взгляду г-жи Миловзоровой, которая поблѣднѣла. Васильковъ замѣтилъ, что вниманіе тестя и тёщи обращено было исключительно на зятя; старики не спускали съ него глазъ, выбирали для него лучшіе куски и подобострастно слѣдили за каждымъ его движеніемъ. Отъ вниманія его не ускользнуло такъ же, какъ Аполлинарій Ильичъ, соскучившійся, вѣроятно, тѣмъ, что жена не переставала слѣдить пытливымъ взоромъ за эволюціями смазливой горничной, началъ приходить постепенно въ раздражительное состояніе, подъ-конецъ страшно раскапризничался, объявилъ, что все дѣлается не по немъ, что никто не хочетъ принять въ соображеніе его разстроеннаго здоровья, и проч. и проч. — обстоятельство, мгновенно распространившее грусть на лицахъ тестя и тёщи. Оба принялись сначала увѣщевать зятя и вдругъ единодушно напали на дочь, которая, въ свою очередь, начала оправдываться и кончила наконецъ тѣмъ, что залилась слезами. Нѣтъ сомнѣнія, что сцена, начавшаяся подъ такими печальными обстоятельствами, не остановилась бы на этомъ, еслибъ не прекратило ее окончаніе обѣда.

— Порфирій Павлычъ, сказалъ Миловзоровъ съ печально-разстроеннымъ тономъ: — пойдемте въ мой кабинетъ... Я такъ огорченъ, такъ огорченъ... вы сами должны понять это...

— Другъ мой, успокойся... ты разрываешь намъ сердце! произнесъ тесть, дѣлая сверхъестественныя усилія, чтобъ казаться спокойнымъ, и бросая въ то же время укоризненный взглядъ на дочь, которая обливалась слезами, сидя на сосѣднемъ стулѣ.

— Порфирій Павлычъ, шепнула тёща, притрогиваясь къ плечу гостя: — Порфирій Павлычъ, примолвила она, подавляя болѣзненный вздохъ: — успокойте нашего Аполлинарія... Порфирій Павловичъ объявилъ, что въ этомъ состоитъ его обязанность. Бросивъ еще разъ тоскливый взглядъ на плачущую Миловзорову, онъ обхватилъ рукою Аполлинарія Ильича и медленно повелъ его въ кабинетъ.

Сознавая всю важность порученія, Порфирій Павловичъ принялся тотчасъ же утѣшать своего друга и вызвался даже быть парламентеромъ между нимъ и его женою. Но каково же было изумленіе Василькова, когда увидѣлъ онъ, что выраженіе тоски и скорби, отпечатанное на прекрасномъ лицѣ Миловзорова, исчезло и замѣнилось улыбкою, лишь-только онъ очутился въ кабинетѣ! Изумленіе Порфирія Павловича обнаружилось въ обширнѣйшихъ размѣрахъ, когда Миловзоровъ предложилъ ему часамъ къ шести прогулку въ Марьину рощу. Приписывая такую внезапную перемѣну могущественному вліянію дружбы, Васильковъ направился къ двери, сгарая желаніемъ успокоить радостною вѣстью добродушное семейство; но Аполлинарій Ильичъ остановилъ его, сказавъ, что это совершенно лишнее, ибо тёща и жена, по соображеніямъ его, должны были находиться теперь въ своихъ спальняхъ.

— Можетъ быть, и вамъ угодно отдохнуть, Порфирій Павлычъ? заключилъ Миловзоровъ.

Васильковъ отвѣчалъ, что онъ не прочь отъ такого предложенія, тѣмъ болѣе, что обѣдъ былъ необыкновенно сытенъ и чувствовалась даже нѣкоторая тяжесть въ желудкѣ.

Пять минутъ спустя, Миловзоровъ лежалъ за занавѣсью на роскошной двухспальной постели, а Порфирій Павловичъ покоился на эластическомъ диванѣ противъ трюмо. Но сонъ бѣжалъ отъ исполинскихъ глазъ Василькова: все видѣнное и

слышанное имъ, естественнымъ образомъ, должно было вызвать въ душѣ его цѣлый рядъ размышленій и сравненій. Мысли его, смѣняясь одна другою, привели его постепенно къ воспоминанію о Сусловкѣ, и тутъ въ головѣ его завязалась нить тягостныхъ сравненій между судьбою Миловзорова и его собственною судьбою.

Да, жизнь Аполлинарія Ильича была именно такая, о которой такъ сладко мечталъ Порфирій Павловичъ въ то время еще, когда, суетясь въ маленькомъ домикѣ на берегу живописной рѣчки, перевязывалъ голубыми бантами занавѣски брачной постели! Что же вышло, Боже, что вышло?... Нѣтъ, Порфирій Павловичъ никогда не наслаждался истиннымъ счастіемъ! Онъ былъ горемычнымъ сиротою, съ дѣтства обреченнымъ влачить дни свои въ тоскливомъ одиночествѣ.

Нельзя опредѣлить навѣрное, сколько времени посвящено было сердобольнымъ Васильковымъ на размышленія; заподлинно извѣстно только то, что, часа полтора спустя послѣ обѣда, дверь кабинета скрипнула, и на порогѣ ея показался сначала тесть, потомъ его жена, а за ними Миловзорова.

Всѣ трое стояли на цыпочкахъ и держали указательные пальцы на правой сторонѣ носа.

Застигнутый врасплохъ, Порфирій Павловичъ быстро вскочилъ съ дивана, застегнулъ сюртукъ и поправилъ волосы.

— Тсс... тсс... произнесъ тесть, таинственно указывая на занавѣсъ и поджимая губы.

— Что? успокоился ли нашъ Аполлинарій? шепнула тёща.

— Успокоился-съ... я сдѣлалъ все, что было въ моихъ силахъ... и теперь заснулъ, отвѣчалъ едва-внятно Васильковъ, наклоняясь преимущественно къ женѣ своего друга.

— Шт...ш...ш... пойдемте посмотрѣть на него... шепнулъ тесть, нетерпѣливо мигая глазками и становясь на цыпочки.

— Что это ты, Андрей Андреичъ, никакъ съума сошелъ? возразила тёща:—ты, вѣрно, хочешь разбудить его...

— Жена, шепнулъ тесть, обводя восторженнымъ взглядомъ присутствовавшихъ: — сдѣлаемъ ему сюрпризъ. Агриппина спрячется за оконную занавѣсь, а мы скажемъ Аполлинарію, что она уѣхала въ Сокольники, заключилъ онъ, лукаво прищуривая лѣвый глазъ и прикладывая ладонь къ губамъ, которыя тряслись отъ внутренняго смѣха.

Мысль эта была единодушно одобрена; Agrippine скрылась за гардиной; тесть, тёща и Васильковъ, томимые ожиданіемъ, присѣли на диванъ.

— Порфирій Павлычъ, это вы? мелодически произнесъ Миловзоровъ, поворачиваясь на своихъ пуховикахъ.

— Мы его разбудили! съ испугомъ шепнулъ старикъ.

— Нѣтъ, Аполлинарій Ильичъ, здѣсь ваши papa и maman... отозвался Васильковъ, хитро подмигивая старикамъ. Миловзоровъ показался изъ-за занавѣси, и Порфирій Павловичъ увидѣлъ, къ великому своему изумленію, что лицо его было на этотъ разъ еще печальнѣе, чѣмъ во время обѣда.

— Мы разбудили тебя! воскликнули тесть и тёща, устремляя на зятя умоляющіе взгляды.

— Что-жъ дѣлать! возразилъ Миловзоровъ заунывнымъ голосомъ.

— Прости насъ, мой другъ, мы сдѣлали это невольно!... простонали тесть и тёща.

— Помилуйте, папенька, замѣтилъ съ явною раздражительностью зять: — что-жъ, вы имѣете полное... да, скажу, полное право входить въ мой кабинетъ, когда вамъ угодно!...

Послѣдовала пауза.

— А знаешь ли ты, мой другъ, началъ Андрей Андреевичъ, подмигивая женѣ и Василькову: — въ то время, какъ ты отдыхалъ, съ нами случилось маленькое несчастье...

— Какъ! что вы говорите? воскликнулъ Миловзоровъ, отъискивая глазами мягкій стулъ.

— Да, другъ мой, Agrippine твоя уѣхала въ Сокольники! подхватилъ тесть, багровѣя отъ удовольствія.

— Боже мой! закричалъ Миловзоровъ, падая въ кресла и бросая косвенный взглядъ на гардину, гдѣ спрятана была жена:— Боже мой, что здѣсь со мною дѣлаютъ! Зачѣмъ она уѣхала? подхватилъ онъ, бросая вторичный взглядъ на гардину. О, я несчастнѣйшій изъ всѣхъ мужей на свѣтѣ!... Агриппина меня не любитъ!...

— Другъ мой, люблю! люблю! люблю! обожаю! вскрикнула жена, выскакивая изъ-за гардины и бросаясь къ мужу. Но Миловзоровъ закрылъ лицо руками и опустилъ голову.

— Вотъ, вѣчныя твои глупыя затѣи! сказала тёща, потрясая руками передъ Андреемъ Андреевичемъ, который сидѣлъ какъ

преступникъ: — что ты надѣлалъ! Ты напугалъ его! Успокойся, Аполлинарій, успокойся Вога ради!... Агриппина, скорѣй стаканъ свѣжей воды!

Но Аполлинарій Ильичъ, къ великому отчаянью тестя и тёщи, никакъ не успокоивался и, вѣроятно, не успокоился бы до самаго вечера, безъ горячаго содѣйствія Порфирія Павловича, который съ неподражаемымъ великодушіемъ принялъ на себя выдумку сюрприза, причинившаго такое сильное потрясеніе на слабонервный организмъ женоподобнаго медика.

Аполлинарій Ильичъ поцѣловалъ жену, обнялъ тестя, тёщу, сказалъ, что теперь все прошло, пожалъ руку Василькову и закурилъ папироску.

— Ангелъ мой Аполлинарій, другъ души моей! подобнаго тебѣ нѣтъ въ цѣломъ свѣтѣ! воскликнула Миловзорова, всматриваясь въ лицо мужа.

— Красавецъ! красавецъ! палата! архивъ! восторженно воскликнулъ тесть.

— Красавецъ! радость наша! повторила тёща, всплеснувъ руками.

Аполлинарій Ильичъ окончательно повеселѣлъ и успокоился. Онъ объявилъ, что намѣренъ поѣхать прогуляться съ гостемъ куда-нибудь за городъ. Извѣстіе это возбудило тотчасъ же поводъ къ горькимъ упрекамъ со стороны Миловзоровой, и, безъ всякаго сомнѣнія, между нею и мужемъ произошла бы маленькая сцена, еслибъ не потушили ее заблаговременно тесть и тёща, сказавъ, что ревность ея неумѣстна, что свѣжій воздухъ необходимъ ея мужу, и что, во всякомъ случаѣ, развлеченія принесутъ огромную пользу разстроеннымъ нервамъ Аполлинарія. Этимъ способомъ водворено было согласіе между супругами.

Agrippine поручила своего мужа попеченію Василькова. Васильковъ далъ обѣщаніе, что исполнитъ въ-точности всѣ эти порученія, предписанныя ему, сверхъ-того, обязанностями дружбы, и, напутствуемый благодарностью всѣхъ членовъ семейства, уѣхалъ съ Миловзоровымъ въ Марьину рощу.

IV.

Васильковъ и Миловзоровъ, предводительствуемые Аристархомъ Ѳедоровичемъ, ищутъ развлеченій сначала въ одномъ инструментальномъ концертѣ, потомъ въ одномъ клубѣ. Здѣсь же фактически доказывается извѣстная истина, что великіе люди могутъ попадать въ просакъ ничѣмъ не хуже послѣдняго смертнаго.

Привязанность Порфирія Павловича къ гостепріимному семейству Аполлинарія Ильича не имѣла бы, конечно, той силы, еслибъ Аристархъ Ѳедоровичъ обнаружилъ, съ своей стороны, ревность или явную досаду, или, напримѣръ, хоть разъ сказалъ бы Василькову: „За что, любезнѣйшій, предпочелъ ты мнѣ Миловзорова?...“ Умиленный Порфирій Павловичъ, нѣтъ сомнѣнія, раздѣлилъ бы тогда пополамъ свое сердце и отдалъ бы одну часть одному другу, другую другому. Но дѣло въ томъ, что Аристарху Ѳедоровичу было повидимому совершенно все равно; онъ не измѣнилъ ни на волосъ обращенія своего съ Васильковымъ, за исключеніемъ, развѣ, того, что пересталъ доставлять ему удовольствія; равнодушіе его простиралось до такой степени, что онъ ни разу не обратился даже къ нему съ упрекомъ — обстоятельство, которое, естественнымъ образомъ, должно было огорчать чувствительную душу владѣтеля Сусловки.

Разъ только въ голосѣ и движеніяхъ Аристарха Ѳедоровича промелькнуло что-то похожее на прежнее задушевное расположеніе.

Это было утромъ, часу въ двѣнадцатомъ. Порфирій Павловичъ входилъ въ комнату Балахнова, чтобъ пожелать ему счастливаго дня и всевозможныхъ успѣховъ.

— Здравствуй, любезнѣйшій, здравствуй! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, полируя въ то же время крошечной щеткой патентованные свои зубы: — бррр... буу... а скажи-ка ты мнѣ, милый мой, что ты намѣренъ дѣлать сегодня? промолвилъ онъ, взявъ изъ рукъ Сидора полотенце и обтирая имъ дипломатическій лобъ свой.

— Я думалъ, Аристархъ Ѳедоровичъ, навѣстить... Миловзо-

ровыхъ... отвѣчалъ Васильковъ такимъ тономъ, какимъ Аполлинарій Ильичъ Миловзоровъ возвѣщалъ женѣ, что пойдетъ врачевать дамъ, когда имѣлъ въ виду возбудить ея ревность.

— Васъ, кажется, попросту, бѣсъ веревочкой связалъ! весело произнесъ Балахновъ, возвращая Сидору полотенце. — Скоро ли, скажи намилость, перестанешь ты няньчиться съ своими Миловзоровыми?... Право, на васъ смотрѣть даже завидно... особенно мнѣ; вѣдь ты, братецъ, совсѣмъ почти забылъ меня... такъ, или нѣтъ?

— Нѣтъ, Аристархъ Ѳедорычъ... но я встрѣчаю тамъ каждый разъ такой радушный, привѣтливый пріемъ... выразительно отвѣчалъ Порфирій Павловичъ.

— А что же, развѣ ты не встрѣчаешь здѣсь такого же точно радушнаго пріема?... перебилъ Балахновъ, обнаруживая въ эту минуту столько благороднаго достоинства, что Васильковъ невольно припомнилъ всѣ благодѣянія, оказанныя ему въ Ханскихъ-Прудахъ, и устыдился въ глубинѣ души своей.—Кажется, въ этомъ отношеніи тебѣ, братецъ, грѣшно на меня сѣтовать, продолжалъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ возраставшимъ величіемъ:—я дѣлаю все, что могу, чтобъ столичная жизнь казалась тебѣ по возможности пріятною и разнообразною... Да вотъ, чего же лучше, не далѣе, какъ сегодня, хотѣлъ я похитить тебя у твоихъ пріятелей и вести съ собою...

— Аристархъ Ѳедоровичъ... вы знаете... я... всегда душевно радъ... Это единственное мое желаніе, клянусь! пролепеталъ Васильковъ, краснѣя до ушей и чувствуя сильнѣйшее угрызеніе совѣсти, какъ человѣкъ, явно-уличенный въ черной неблагодарности.

— Ну, хорошо, хорошо! Я никогда, братецъ, не сомнѣвался въ искренности твоихъ чувствъ, сказалъ Балахновъ, потрепавъ его по плечу. — Итакъ, рѣшено: ты даришь мнѣ нынѣшній день? Дѣло, видишь ли, вотъ въ чемъ: мы поѣдемъ сегодня въ концертъ къ этому выскочкѣ Бобохову... кстати посмотри-ка на аффишку; кажется, объявлено въ два часа... аффишка на столѣ, подлѣ чайнаго прибора... прочти-ка, прочти, что тамъ такое?...

Аффишка возвѣщала, что такого-то числа, въ такой-то залѣ, въ два часа пополудни, данъ будетъ инструментальный кон-

чертъ музыкантами одного изъ извѣстнѣйшихъ дилеттантовъ. Затѣмъ поименованы были артисты: г. Габріельскій, г. Паганиновъ и г. Серенадинъ — прозвища, очевидно, изобрѣтенныя знаменитымъ дилеттантомъ.

— Хвастунъ! изъ Гаврилки сдѣлалъ какого-то Габріельскаго, да и думаетъ удивлять публику; нашелъ дураковъ! презрительно замѣтилъ Балахновъ, когда кончилось чтеніе аффишки. — Туда же дилеттантъ! ха! ха! ха! потѣха! право, потѣха!... А потомъ изъ концерта, если хочешь, поѣдемъ въ клубъ обѣдать, продолжалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, презрительно отталкивая аффишу и садясь за чайный приборъ. — Одинъ, братецъ, я сегодня не тронулся бы съ мѣста; самъ не знаю: скучно какъ-то... Съ тобой я посмѣюсь, разсѣюсь и, надѣюсь, излечусь къ вечеру отъ хандры.

— Я, конечно, очень радъ, Аристархъ Ѳедоровичъ, но... пролепеталъ съ неловкостью Васильковъ.

— Что еще?

— Я обѣщалъ, далъ слово пріѣхать обѣдать сегодня къ...

— Къ Миловзорову, подхватилъ, смѣясь, Балахновъ: — ну такъ, я это зналъ! Не-ужъ-то ты дня не можешь прожить безъ него?... Смѣшно, братецъ, право, смѣшно; а впрочемъ, сдѣлай вотъ что: пригласи его отъ меня съ собою; я буду очень радъ; онъ добрый малый — и оба вы развлечете меня...

Этимъ способомъ уничтожены были всѣ препятствія, могущія встрѣтиться со стороны Василькова. Онъ написалъ Миловзорову записочку, тотъ не замедлилъ явиться, и въ половинѣ втораго, послѣ легкаго завтрака, предложеннаго гостепріимнымъ Аристархомъ Ѳедоровичемъ, всѣ трое поѣхали въ концертъ.

Бобоховъ распорядился отлично. Воодушевленный тою блистательною ролью, которую предстояло ему играть въ концертѣ, онъ наялъ огромную залу въ домѣ одного вельможи, находив, нагося за-границей. Потолокъ залы и полукруги надъ дверьми расписаны были музыкальными аттрибутами; правая сторона ея представляла нескончаемые ряды старинныхъ, закоптѣлыхъ картинъ въ золотыхъ рамахъ; лѣвая состояла изъ однихъ стеколъ, наподобіе оранжереи, и установлена была чахлыми, но тѣмъ не менѣе дорогими растеніями. Дно залы украшалось возвышеніемъ, обтянутымъ краснымъ сукномъ; на немъ располагался полукругомъ многочисленный оркестръ, нанятый Бобоховымъ для акком-

панимента домороценнымъ виртуозамъ. Стройные ряды креселъ и стульевъ тянулись съ одного конца залы до другаго.

— Что, милый мой, не начинался еще концертъ?

Съ такимъ вопросомъ Балахновъ обратился къ швейцару, стоявшему у входа съ булавой. Получивъ отрицательный отвѣтъ, Аристархъ Ѳедоровичъ, сопровождаемый своими тѣлохранителями, вступилъ торжественно въ комнату, предшествовавшую концертной залѣ. Комната освѣщалась единственнымъ круглымъ окномъ изъ потолка и, подобно сосѣдкѣ своей, украшалась растеніями и картинами.

Первый предметъ, поразившій Балахнова, былъ Аѳанасій Никитичъ Степанчиковъ, стоявшій въ отдаленномъ углу и толковавшій о чемъ-то съ двумя черными фраками и еще третьимъ господиномъ съ унылымъ лицомъ и такими толстыми губами, какъ-будто наканунѣ искусали ихъ комары или ужалили пчелы.

Видъ Степанчикова невольно пробудилъ въ Аристархѣ Ѳедоровичѣ самыя непріятныя воспоминанія; но, по своему обыкновенію, онъ тотчасъ же овладѣлъ собою, не показалъ ни малѣйшаго признака досады и ограничился тѣмъ только, что презрительно прищурилъ глаза и произнесъ вполголоса: „плутъ!...“

— Ахъ, ужаснѣйшій, мсьё Балахновъ! неожиданно отозвался Миловзоровъ.

— А вы почемъ его знаете? небрежно спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— О, и очень хорошо его знаю-съ: это извѣстнѣйшій аферистъ Степанчиковъ. Онъ нѣсколько разъ обманывалъ моего тестя, честнѣйшаго старика, когда тотъ занимался еще торговыми операціями, пролепеталъ Аполлинарій Ильичъ.

— Ахъ, еслибъ вы знали только, Аристархъ Ѳедоровичъ, какой честнѣйшій и добрѣйшій старичокъ ихъ тесть! энергически подхватилъ Порфирій Павловичъ, моргая своими исполинскими глазами на величаваго мужа и пожимая въ то же время руку красивому эскулапу.

Но Аристархъ Ѳедоровичъ не обратилъ никакого вниманія на замѣчаніе Василькова: проницательный взглядъ его снова устремился на Степанчикова и его собесѣдниковъ. Любопытство Балахнова возросло до невѣроятной степени, когда онъ узналъ въ послѣднихъ—музыкантовъ Бобохова; такъ точно, онъ не ошибался: эти три физіономіи мелькали въ оркестрѣ выскочки въ

то время, какъ онъ обѣдалъ въ Голодаевкѣ. Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ и внимательно принялся разсматривать какую-то картину. Никто не сомнѣвается, что можно созерцать картину и въ то же время не пропускать ни одного слова изъ того, что говорится подлѣ. Такой фактъ краснорѣчивѣйшимъ образомъ подтвердилъ нашъ герой, который не только разслышалъ, какъ Степанчиковъ ободрялъ трехъ музыкантовъ, обѣщая имъ золотыя горы въ томъ случаѣ, если они отличатся, но увидѣлъ, увидѣлъ своими глазами, какъ аферистъ скрѣпилъ слова свои тремя ассигнаціями, искусно вложенными въ коренастыя ладони трехъ виртуозовъ.

— Что бы это значило? подумалъ Балахновъ, провожая глазами трехъ музыкантовъ и Степанчикова, направлявшихся въ концертную залу:—тутъ, вѣрно, кроется какая-нибудь штука; въ противномъ случаѣ, съ чего бы сталъ этотъ старый плутъ снабжать деньгами бобоховскихъ музыкантовъ... А впрочемъ я очень радъ: пускай подцѣпитъ онъ на чемъ-нибудь выскочку и проучитъ его хорошенько!

Заключивъ свою филантропическую сентенцію снисходительнымъ наклоненіемъ головы по направленію къ Василькову и Миловзорову, которые стояли передъ картиною, изображавшею нимфу, Аристархъ Ѳедоровичъ вступилъ въ залу и, принявъ спокойно величавую осанку, помѣстился въ первомъ ряду.

Въ эту самую минуту, въ сосѣдней комнатѣ раздался громкій говоръ, сопровождавшійся не менѣе громкимъ хохотомъ, и, секунду спустя, въ дверяхъ залы показались блистательный Тохтамышевъ, изящный Чиндаласовъ, почтенный Петръ Степановичъ Краповъ и много еще другихъ джентльменовъ. Въ этой толпѣ особенно рѣзко бросалась въ глаза фигура Бобохова.

Нестройный шопотъ, посреди котораго ясно можно было разслышать: „Бобоховъ... Бобоховъ... его музыканты... самъ училъ ихъ!...“ Балахновъ окинулъ пытливымъ глазомъ залу и, увидѣвъ, на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ слышался шопотъ, престарѣлаго Корнея и еще другихъ лицъ, замаскированныхъ приличной одеждой, вполнѣ соотвѣтствующей случаю, заключилъ весьма основательно, что они посажены были самимъ выскочкою съ цѣлью обращать на него вниманіе почтеннѣйшей публики.

Цѣль была достигнута: Бобоховъ обратилъ на себя всеоб-

щее вниманіе, хотя, къ сожалѣнію, эффектъ былъ не совсѣмъ удовлетворителенъ. Почтенный Петръ Степановичъ Крановъ, какъ человѣкъ солидный, отсталъ вскорѣ отъ шумныхъ своихъ собесѣдниковъ и усѣлся въ одинъ изъ заднихъ рядовъ; остальная часть толпы разсыпалась по первому ряду.

Аристархъ Ѳедоровичъ очутился между Тохтамышевымъ и Бобоховымъ.

— Чрезвычайно пріятно встрѣтиться съ вами здѣсь... заговорилъ восхищенный Бобоховъ, обращаясь къ Балахнову: — между нами очень рѣдко можно найдти дилетанта, dilètan, не правда ли?... Очень радъ, что вы любитель музыки...

— Да, люблю музыку... разумѣется, въ томъ только случаѣ, когда она хороша... возразилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, дѣлая удареніе на послѣднія слова и косясь иронически на Тохтамышева.

Тохтамышевъ отвѣтилъ выразительнымъ движеніемъ бровей.

— Надѣюсь, что сегодня, по-крайней-мѣрѣ, вы будете довольны... суетливо подхватилъ выскочка: — удивительные таланты! Габріельскій и Паганиновъ прекрасныя скрипки, можно сказать замѣчательныя! Но они ровно ничего не значатъ передъ Серенадинымъ: это талантъ первоклассный. Вы увидите, я распорядился нарочно такъ, что онъ будетъ играть послѣднимъ pour bon bouch...

— И очень хорошо сдѣлали...

— Вы одобряете... чрезвычайно пріятно! сказалъ Бобоховъ, иронически подмигивая Тохтамышеву на величаваго сосѣда. Тохтамышевъ отвѣтилъ выскочкѣ тѣмъ же выразительнымъ движеніемъ бровей, какимъ обмѣнялся прежде съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ насчетъ самого Бобохова. Въ то же время въ первомъ ряду кто-то нетерпѣливо захлопалъ въ ладоши; звукъ этотъ, дружно подхваченный въ другихъ рядахъ, наполнилъ вскорѣ всю залу.

— Всеобщее нетерпѣніе... не пора-ли начинать? произнесъ Бобоховъ, обнаруживая восторженное волненіе.

— Я думаю, что такъ; давно бы, кажется, пора, отвѣчалъ Тохтамышевъ, протягивая ноги съ такимъ комфортомъ, какъ-будто намѣревался провести на своемъ мѣстѣ нѣсколько часовъ пріятнаго сна.

Выскочка привсталъ съ кресель, пошептался съ капельмейстеромъ, и, минуту спустя, оркестръ заигралъ увертюру.

— Изъ Лючіи, Lutchi, превосходная вещь! произнесъ Бобоховъ.

— Да, вещь хорошая, отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, пристально наблюдая обрюзглое лицо Степанчикова, который стоялъ за возвышеніемъ и, дѣлая ободрительные жесты, шептался съ тремя концертистами, скрывавшимися покуда за оркестромъ.

— А вотъ и очередь Паганинова! произнесъ вполголоса выскочка, припрыгивая на своемъ мѣстѣ.

— А!

— А!

— А!... разразилось въ разныхъ концахъ перваго ряда. Но восклицанія эти, сопровождаемыя въ первомъ ряду удушливымъ смѣхомъ, тотчасъ же заглушились звонкими рукоплесканіями заднихъ рядовъ.

— Славно принимаютъ вашего виртуоза! сказалъ Балахновъ, поворачиваясь назадъ и стараясь навести глаза выскочки на то мѣсто, гдѣ сидѣлъ престарѣлый Корней.

Бобоховъ ничего не отвѣчалъ и показалъ видъ, что въ настоящую минуту вниманіе его поглощено исключительно появленіемъ Паганинова, который, отвѣсивъ низкій поклонъ, залился тотчасъ же на своей скрипкѣ, безъ предварительныхъ приготовленій. Могло статься, что игра Паганинова была весьма достопримѣчательна, что въ ней „виртуозность подчинялась классицизму, и наоборотъ, и сверхъ того проглядывали поминутно явные признаки романтизма, смѣшаннаго съ непостижимымъ развитіемъ механизма“, какъ выразился одинъ знатокъ на столбцахъ одной газеты; но профаны, и въ томъ числѣ большая часть публики, остались того мнѣнія, что физіономія скрипача была несомнѣнно-достопримѣчательнѣе его игры.

Паганиновъ былъ человѣкъ средняго роста, съ лицомъ мрачнаго вида, черными щетинистыми волосами и крупнымъ носомъ, гдѣ, казалось, основала свою резиденцію красная краска, умѣренно распредѣляемая у другихъ смертныхъ по различнымъ частямъ физіономіи.

Каждый разъ, какъ наступалъ трудный пассажъ, глаза виртуоза впивались въ оконечность пальцевъ, и волосы его отъ страшной натуги становились торчмя, какъ у ежа; но какъ только смычокъ выдѣлывалъ adagio, глаза его мгновенно обра-

щались къ потолку и закатывались подъ лобъ, а губы покидали середину лица, чтобъ улыбнуться правому уху.

Полчаса спустя, мѣсто Паганинова заступилъ Габріельскій, маленькій, узенькій человѣчекъ, бѣлокурое лицо котораго во все время игры сохранило самое странное выраженіе.

Удушливый хохотъ снова раздался въ первомъ ряду, но снова заглушился громкими рукоплесканіями заднихъ рядовъ, и Габріельскій покинулъ возвышеніе съ такимъ же точно тріумфомъ, какъ его предшественникъ.

— Славно! молодецъ! замѣтилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, посылая одобрительный кивокъ удалявшемуся скрипачу.

— Вамъ нравится? чрезвычайно пріятно! поспѣшно заговорилъ Бобоховъ:—но эти два еще ничего; совѣтую вамъ послушать Серенадина. Конечно, не всякій можетъ оцѣнить достоинство его игры: для этого нужно особенное развитіе, знаете, general baz... Но я смѣло скажу, что такого кларнета нѣтъ у насъ... одно жаль: онъ, знаете, робокъ, чрезвычайно робокъ, но, надѣюсь, вы поддержите его?... надо, знаете, не мѣшаетъ... поощрять таланты...

Слова Бобохова прерваны были появленіемъ Серенадина. Крошечные, узенькіе глазки придавали физіономіи кларнетиста плачущее выраженіе, а страшная блѣдность лица показывала величайшее смущеніе.

Оркестръ грянулъ интродукцію.

— Это интродукція, introductie, поспѣшилъ подсказать Бобоховъ, суетливо озираясь направо и налѣво.

— Прекрасно! вымолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, устремляя любопытный взоръ на Степанчикова, который дѣлалъ изъ-за угла одобрительные жесты кларнету.

Интродукція умолкла, воцарилась тишина. Серенадинъ сдѣлалъ шагъ впередъ, приложилъ кларнетъ къ губамъ и принялся дуть изо всей силы безъ всякаго результата.

Инструментъ оставался нѣмъ, какъ рыба. Бобоховъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе; Степанчиковъ почесалъ ухо; въ первомъ ряду послышался смѣхъ, заглушенный тотчасъ же, впрочемъ, громкими рукоплесканіями со стороны престарѣлаго Корнея.

Снова воцарилась тишина.

На этотъ разъ кларнетъ издалъ какой-то странный звукъ,

весьма похожій на то, когда разрываютъ кусокъ клеенаго гостинодворскаго каленкора.

Послышался сильный, единодушный взрывъ хохота.

— Нѣтъ, тутъ что-нибудь такое... это инструментъ... зеленѣя, произнесъ Бобоховъ, обращаясь съ пояснительнымъ видомъ къ сосѣдямъ:—интродукцію! играйте интродукцію, шепнулъ онъ, махая въ оркестръ и бросая взгляды на Серенадина, который продувалъ инструментъ, выбивая ускоренный тактъ угловатыми своими колѣнями.

Интродукція кончена. Виртуозъ дѣлаетъ шагъ впередъ, прикладываетъ инструментъ къ губамъ и снова издаетъ странный звукъ. Раздается взрывъ хохота, отъ котораго звенятъ стёкла обширной залы. Серенадинъ кашляетъ совершенно безнадежнымъ образомъ и осматриваетъ съ видомъ глубокаго отчаянія клапаны своего кларнета.

— Интродукцію! интродукцію! продолжалъ нашептывать Бобоховъ.

Интродукцію играютъ въ третій разъ, но многія особы перваго ряда обнаруживаютъ явное намѣреніе не дослушать окончанія концерта. Тохтамышевъ, Чиндаласовъ покидаютъ свои мѣста; концертъ между тѣмъ продолжается. Серенадинъ, развинтившій нѣсколько разъ сряду свои клапаны, наполняетъ теперь залу звонкими, раскатистыми трелями, къ совершенному удовольствію Бобохова... Затѣмъ наступаетъ антрактъ.

— Я вамъ говорилъ, что виноватъ былъ инструментъ; не правда ли, какой замѣчательный талантъ? Вамъ нравится? чрезвычайно пріятно! Но куда же дѣвались эти господа? Они, вѣрно, ушли курить. Я распорядился нарочно, чтобъ была особая комната; я люблю confor. Надѣюсь, вы останетесь до конца? теперь всѣ трое будутъ играть вмѣстѣ trio: чрезвычайно пріятно, если вы останетесь! говорилъ Бобоховъ.

— Непремѣнно, непремѣнно, отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, посылая въ то же время знаменательный сигналъ Василькову и Миловзорову.

Полный удовлетвореннаго самолюбія, Бобоховъ разгуливаетъ по залѣ и улыбается публикѣ. Аристархъ Ѳедоровичъ летитъ, между тѣмъ, въ наемной каретѣ вмѣстѣ съ своими тѣлохранителями и благополучно достигаетъ дверей одного клуба.

— Вы здѣсь членъ-съ? лепеталъ сладостнымъ голосомъ кра-

сивѣйшій изъ всѣхъ докторовъ, вынимая изъ боковаго кармана гребешокъ, украшенный зеркальцемъ.

— Всегдашній и всенепремѣннѣйшій! самодовольно отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, подымаясь съ нѣкоторою торжественностью по ступенямъ парадной лѣстницы клуба.—Я здѣсь дома и покорнѣйше прошу васъ, господа, помнить, что вы мои гости и, слѣдовательно, ничѣмъ не должны стѣснять себя въ этихъ стѣнахъ, гдѣ все должно дышать веселостью, примолвилъ онъ съ очаровательною любезностью.—Ну, что, Степанъ? что новаго, любезный? заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обращаясь къ ливрейному лакею, который встрѣтилъ его на лѣстничномъ парапетѣ.

— Меня зовутъ-съ Матвѣемъ, отвѣчалъ лакей, представляя его вниманію записную книгу.

— Ахъ, да, я забылъ... Ну, что, Матвѣй? что дѣлается?... вымолвилъ съ безпечною развязностью Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Сейчасъ только сѣли кушать... отвѣчалъ Матвѣй, отворяя двери.

— А, ужъ обѣдаютъ! Ну, пойдемте, пойдемте, господа, добро пожаловать; столовая раскрываетъ передъ вами свои гостепріимныя объятія... весело сказалъ Балахновъ, подымаясь впередъ и самодовольно выпучивая грудь. Трудно передать выраженіе того сановито-грандіознаго спокойствія, съ какимъ Аристархъ Ѳедоровичъ вступилъ въ обѣденную залу. Скажемъ только, что Васильковъ и даже Миловзоровъ, не смотря на всю красу свою, казались подлѣ него въ эту торжественную минуту какими-то жалкими пигмеями, незаслуживающими рѣшительно никакого вниманія.

Занявъ свое мѣсто, Балахновъ окинулъ орлинымъ взглядомъ общество. Посѣтителей было много. Какъ правая сторона стола, такъ и лѣвая, представляли самую разнообразную панораму изъ лбовъ, завитковъ, коковъ, лысинъ, бакенбардъ и носовъ всѣхъ возможныхъ цвѣтовъ и размѣровъ. Общество хранило невозмутимое молчаніе; каждый сидѣлъ, глубокомысленно наступивъ брови, и занятъ былъ, казалось, разрѣшеніемъ какого-то многосложнаго и крайне-головоломнаго вопроса, очевидно вызваннаго созерцаніемъ тысячерублеваго супа и подовыхъ пирожковъ, появившихся на каждомъ кувертѣ. Задумчиво-торжественное выраженіе на всѣхъ лицахъ ясно передавало общую мысль, какою одушевлены

были въ настоящую минуту присутствовавшіе; каждый, казалось, хотѣлъ сказать: „Милостивые государи! мѣ всѣ собрались сюда въ этотъ день для того, чтобъ произвести нашъ приговоръ о достоинствѣ сей знаменитой стерляжьей ухи и слѣдуетъ изъ того...“ Но что слѣдуетъ изъ того, этого ни подъ какимъ видомъ не доказывали физіономіи присутствовавшихъ. Впрочемъ, Аристарху Ѳедоровичу было совершенно все-равно: иныя мысли, иныя соображенія тѣснились въ дипломатической головѣ его, обращавшейся попеременно то къ одному концу стола, то къ другому, смотря потому, куда устремлялись глаза, жадно искавшіе чего-то, или кого-то.

Обѣдъ приближался уже къ концу, когда Аристархъ Ѳедоровичъ почувствовалъ на лѣвомъ плечѣ прикосновеніе чего-то жесткаго; онъ обернулся — и немало удивился, увидѣвъ передъ собою лакея, державшаго подносъ съ стаканомъ шампанскаго.

— Это что? спросилъ онъ.

— Отъ господина Тохтамышева, отвѣчалъ лакей, почтительно наклоняясь.

Балахновъ взялъ стаканъ, быстрымъ взглядомъ окинулъ присутствовавшихъ и, отыскавъ на концѣ стола блистательнаго Тохтамышева, сидѣвшаго между изящнымъ Чиндаласовымъ и почтеннымъ Краповымъ, послалъ ему очаровательную улыбку, сопровождаемую неменѣе очаровательнымъ наклоненіемъ головы.

Вслѣдъ затѣмъ, онъ велѣлъ подать бутылку шампанскаго, налилъ стаканъ и послалъ его Тохтамышеву.

Аристархъ Ѳедоровичъ внимательно слѣдилъ за лакеемъ до-тѣхъ-поръ, пока тотъ не остановился подлѣ Тохтамышева. Улучивъ минуту, когда Тохтамышевъ вооружался стакановъ, Аристархъ Ѳедоровичъ снова выдвинулся впередъ и послалъ ему одну изъ самыхъ лыбезныхъ улыбокъ, какія когда-либо украшали человѣческое лицо.

Страшный грохотъ трехсотъ стульевъ возвѣстилъ окончаніе обѣда.

Аристархъ Ѳедоровичъ такъ проникнутъ былъ чувствомъ собственнаго достоинства, такъ высоко цѣнилъ самого себя, что не заботился о томъ, что могли сказать люди, встрѣчавшіе его въ обществѣ какого-нибудь ничтожнаго Миловзорова и еще болѣе ничтожнаго Василькова. Всякій благоразумный человѣкъ могъ, конечно, понять, что Аристархъ Ѳедоровичъ та-

скаетъ съ собою такихъ людей, какъ Васильковъ и Миловзоровъ, изъ одной лишь прихоти, такъ-себѣ, можетъ-статься, для забавы, а, можетъ-статься, по внушенію безграничнаго снисхожденія, свойственнаго скучающимъ богачамъ и эксцентрическимъ людямъ. По этому самому, не стѣсняясь нимало присутствіемъ Порфирія Павловича и Миловзорова, выступавшихъ по бокамъ его, Аристархъ Ѳедоровичъ пошелъ прямо къ Тохтамышеву, который, съ своей стороны, направлялся къ нему, держа подъ одну руку Чиндаласова, подъ другую — Петра Степановича Кранова.

— Мсьё Балахновъ! сказалъ Тохтамышевъ, протягивая ему неоцѣненную свою руку: — позвольте познакомить васъ съ моимъ пріятелемъ Чиндаласовымъ. Оба вы, если не ошибаюсь, принадлежите одной и той же губерніи и, вѣроятно, прежде еще встрѣчались...

— Да, я уже имѣлъ удовольствіе встрѣчать васъ, мсьё Балахновъ, въ нашемъ уѣздномъ городѣ, но не имѣлъ досихъ-поръ случая познакомиться съ вами... весело произнесъ Чиндаласовъ, выпучивая грудь и пожимая руку великому человѣку изъ Горшкова.

— Благодарю васъ, благодарю, мсьё Чиндаласовъ! возразилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, проявляя на величавой своей физіономіи выраженіе любезности и радушія и отвѣчая горячимъ пожатіемъ руки: — безъ содѣйствія мсьё Тохтамышева, весьма легко могло случиться, что мы остались бы чужды другъ другу, несмотря на то, что встрѣчаемся на выборахъ и связаны даже нѣкоторымъ образомъ общими интересами... Вы, кажется, постоянный житель столицы: вы измѣнили, мсьё Чиндаласовъ, нашимъ мирнымъ селамъ, нашимъ безпредѣльнымъ, необъятнымъ полямъ и простору, въ пользу древней, почтенной старушки-Москвы... Впрочемъ, такъ поступаете не вы одни, примолвилъ онъ, бросая на собесѣдника обворожительно-любезную улыбку: — такъ поступаютъ почти всѣ молодые люди нашего скромнаго, уѣзднаго міра; всѣ побросали своихъ пенатовъ, всѣ дезертировали и такъ искусно скрыли слѣды своего побѣга, что ихъ даже и не отыщешь. Въ провинціи носятся слухи, будто всѣ мало-мальски богатые люди нашего уѣзда эмигрировали въ Москву; а между тѣмъ вотъ ровно три мѣсяца, какъ живу я въ Москвѣ, и въ эти три мѣсяца встрѣтилъ васъ однихъ...

Куда же, спрашивается, дѣвались остальные?... заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ безпечно-веселымъ тономъ, приправленнымъ пытливымъ взглядомъ, устремленнымъ на собесѣдника.

— Что мы стоимъ, господа? воскликнулъ Тохтамышевъ, обрѣзывая сигару: — мсьё Балахновъ, Чиндаласовъ, пойдемте варить нашъ обѣдъ, какъ говорится...

Аристархъ Ѳедоровичъ изъявилъ величайшую готовность, и всѣ трое направились къ двери обѣденной залы.

— А, мсьё Миловрозовъ! какими судьбами?... произнесъ Чиндаласовъ, обращаясь къ красивому врачу, который стоялъ у дверей вмѣстѣ съ Васильковымъ и курилъ тоненькую дамскую папироску, обернутую въ розовую бумажку...

Аполлинарій Ильичъ покраснѣлъ до ушей, пробормоталъ какой-то несвязный отвѣтъ и, взявъ подъ-руку Порфирія Павловича, курившаго трубку, послѣдовалъ за остальною компаніей.

Минуту спустя, компанія расположилась въ небольшой комнатѣ, украшенной полдюжиною зеленыхъ столовъ и диванами; тутъ, въ числѣ многихъ лицъ, бросалась особенно рѣзко въ глаза почтенная, спокойная наружность Петра Степановича Крапова.

Тохтамышевъ потребовалъ шампанскаго—и Аристархъ Ѳедоровичъ потребовалъ шампанскаго; Тохтамышевъ потребовалъ тончайшихъ сигаръ—и Аристархъ Ѳедоровичъ потребовалъ тончайшихъ сигаръ.

— Итакъ, сказалъ Балахновъ, улыбаясь Чиндаласову: — разъясните же мнѣ, наконецъ, вы, который постоянно живете въ Москвѣ, куда могли дѣться наши губернскіе львы?... По-крайней-мѣрѣ, я не встрѣтилъ ни одного изъ нихъ во все время пребыванія моего въ столицѣ...

— Мудренаго ничего нѣтъ, возразилъ Чиндаласовъ, пуская клубъ дыма: — Сердинъ и Крановичъ, пріѣхавъ изъ провинціи, пробыли здѣсь всего двѣ недѣли и уѣхали въ Петербургъ; Serge Старобѣльскій живетъ, какъ вамъ, я думаю, извѣстно, безвыѣздно въ своихъ „Золотыхъ-Привольяхъ“, поглощенный весь въ созерцаніе своихъ гнѣдыхъ рысаковъ и саврасыхъ скакуновъ...

— Какъ же это? перебилъ Балахновъ:—мнѣ сказали, будто Старобѣльскій уѣхалъ нынѣшнее лѣто на московскія скачки!...

Я даже собирался навѣстить его, но не сдѣлалъ этого единственно потому, что нигдѣ его не встрѣчаю...

— Э, помилуйте! ничуть не бывало! живетъ преспокойно въ своихъ „Золотыхъ-Привольяхъ“. Что-жъ касается до другихъ, Окатовъ, напримѣръ...

— О, я этого и не считаю! живо перебилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, потирая переносицу.

— Ну, кто тамъ у насъ еще изъ особенно-богатыхъ?... Да, Бирюковъ...

— Ну, а этотъ куда дѣвался? съ участіемъ спросилъ Балахновъ: — мнѣ сказывали, что онъ уѣхалъ въ Москву для консультаціи съ здѣшними докторами, по случаю болѣзни его брата...

— Ха! ха! ха! разразился Чиндаласовъ: — кто могъ вамъ дать такое ложное извѣстіе? Бирюковъ, Бирюковъ поѣдетъ для консультаціи! Онъ не предприметъ поѣздки, которая будетъ ему чего-нибудь стоить... Развѣ вы его не знаете?...

— Да, онъ-таки скупенекъ, нечего сказать, замѣтилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Еще бы! подхватилъ Чиндаласовъ: — еще бы!

— Тохтамышевъ! сказалъ Петръ Степановичъ Краповъ, подходя къ разговаривавшимъ: — не хочешь ли составить партію?

— Охотно, отвѣчалъ Тохтамышевъ, безпечно раскачивая ногой: — но кто-жъ будетъ моимъ партнеромъ? Отыщи партнера, и я сяду...

— Вы играете, мсьё Чиндаласовъ? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Играю и даже люблю играть, не смотря на то, что, во время послѣднихъ выборовъ, получилъ порядочный урокъ отъ Крановича и Сербина...

— И, не смотря на этотъ урокъ, будете все-таки играть на слѣдующихъ выборахъ? смѣясь, произнесъ Балахновъ, горѣвшій желаніемъ узнать, будетъ ли присутствовать собесѣдникъ на выборахъ.

— Всенепремѣнно! смѣясь, возразилъ Чиндаласовъ: — я обѣщалъ даже реваншъ Крановичу и Сербину.

— Въ такомъ случаѣ, любезно перебилъ Балахновъ: — въ ожиданіи этого реванша, не хотите ли состязаться со мною?...

— Очень радъ. Партія, слѣдовательно, готова. Тохтамышевъ! крикнулъ Чиндаласовъ, обращаясь къ свояку Бобохова, стоявшему подлѣ стола; — ты играешь съ Краповымъ противъ меня и мсьё Балахнова.

— Пре-к-расно, о-о-чень радъ! отвѣчалъ Тохтамышевъ, между-тѣмъ, какъ кончики драгоцѣнныхъ его пальцевъ, державшіе сигару, тотчасъ же принялись разыгрывать извѣстное allegro.

„Дѣло въ шляпѣ“, подумалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, направляясь къ игорному столу: „Чиндаласовъ любитъ играть; проигрываю ему пятьсотъ рублей, и этимъ способомъ пріобрѣтаю его на свою сторону; сверхъ того, пріобрѣтаю его друзей, Крановича и Сербина, которымъ также своевременно проиграна будетъ маленькая сумма — наша возьметъ!“

Въ то время, когда Аристархъ Ѳедоровичъ усаживался за карты, составляя въ дипломатической головѣ своей глубокія комбинаціи хитросплетеннаго свойства, Миловзоровъ увлекалъ своего сердобольнаго друга въ сосѣднюю комнату.

— Много ли денегъ взялъ съ собой Аристархъ Ѳедоровичъ, ты не знаешь? спросилъ Аполлинарій Ильичъ съ нѣкоторою поспѣшностью.

— Нѣтъ, не знаю; а что?

— Онъ погибъ, навѣрное погибъ!

— Какъ! что такое?... возразилъ Васильковъ, вращая глазами, выражавшими испугъ.

— И ничего не знаешь ты объ этихъ господахъ?... И ничего не знаешь даже объ этой комнатѣ, откуда мы сейчасъ вышли?... продолжалъ Миловзоровъ, увлекая своего друга въ диванную.

— Ничего, клянусь!

— Ужасно! ужасно! Одинъ видъ этой комнаты пробуждаетъ во мнѣ страхъ, вымолвилъ Миловзоровъ съ такимъ выраженіемъ, отъ котораго всѣ члены Порфирія Павловича проникнись невольнымъ трепетомъ.

— Ее зовутъ особымъ именемъ! шепнулъ Миловзоровъ.

— Какимъ? — вотъ все, что могъ произнести Васильковъ.

— Адская комната! проговорилъ Миловзоровъ, таинственно наклоняясь къ уху своего собесѣдника.

— Можетъ ли быть?... шепнулъ Васильковъ, озираясь на стороны.

— Я тебя увѣряю. Что-жъ касается до этихъ господъ, это первые игроки въ мірѣ; играютъ страшно: это тѣ самые, что́ выиграли у меня пятнадцать тысячъ въ полчаса! тѣ самые — Чиндаласовъ и тотъ старый Краповъ; случай необыкновенный! Такъ все это хитро было подведено, что всякій бы попался на моемъ мѣстѣ...

— Какъ же это было? спросилъ Васильковъ, тронутый минувшимъ горемъ одного друга и въ то же время обуреваемый страхомъ при мысли, что другой другъ его подвергался неминуемой опасности.

— Однажды вечеромъ — это случилось, душка моя, четыре года тому назадъ, вскорѣ послѣ моей свадьбы — присылаетъ за мной какой-то больной... началъ Миловзоровъ, усаживая на диванъ взволнованнаго Василькова: — я являюсь. Вводятъ меня въ спальню; вижу: лежитъ больной, вотъ этотъ самый Чиндаласовъ, душка моя, что́ играетъ теперь съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ. Передъ постелью столъ, а за этимъ столомъ сидятъ Тохтамышевъ, тотъ же самый, и Краповъ... замѣтилъ ты его?...

— Охъ! простоналъ Порфирій Павловичъ, томимый страшнымъ предчувствіемъ.

— Оба они, то-есть Тохтамышевъ и Краповъ, играли въ карты. Больной разсказываетъ мнѣ, между-тѣмъ, о своей болѣзни — а болѣзни, надо тебѣ сказать, душка моя, ровно никакой у него не было; попросту, голова болѣла. Слово за слово, больной, то-есть Чиндаласовъ, и говоритъ мнѣ: — „Докторъ, говоритъ, смотрю я на ваше прекрасное лицо, смотрю и не могу наглядѣться... (ты знаешь, душка моя, всѣ говорятъ мнѣ почему-то то же самое); ваша физіономія кажется мнѣ самою счастливою. Послушайте, говоритъ, не согласитесь ли вы поиграть за меня?... Пріятели пришли развлечь меня, а мнѣ, между-тѣмъ, сдѣлалось еще скучнѣе, потому-что „глазъ видитъ, да зубъ неймётъ“... это было его собственное выраженіе. Вижу, люди такіе пріятные, любезные. „Отчего-жъ, говорю, весьма буду радъ“. Вотъ, душенька, я и сѣлъ съ ними...

— Охъ! простоналъ Порфирій Павловичъ. Вздохъ этотъ вызванъ былъ тяжелымъ воспоминаніемъ проигрыша въ сто цѣлко-

вых, сдѣланнаго имъ въ то время еще, когда полкъ его стоялъ на травяномъ продовольствіи.

— И представь, душенька, счастіе дѣйствительно повезло мнѣ, продолжалъ Миловзоровъ: — такъ повезло, что, въ какихъ-нибудь полчаса, я выигралъ у Тохтамышева и Крапова двѣсти-пятьдесятъ цѣлковыхъ! Мнѣ стало ужасно досадно, что я игралъ на чужія деньги: выигрышъ принадлежалъ Чиндаласову. Не знаю, догадался ли онъ, только когда я сталъ отдавать ему деньги, онъ и говоритъ мнѣ: „Мнѣ, право, говоритъ, совѣстно брать деньги, которыя вы одни выиграли; а впрочемъ, все это, говоритъ онъ, можно поправить: приходите завтра и будемъ играть пополамъ; необыкновенное счастіе ваше ручается мнѣ за успѣхъ.“ Денегъ мнѣ не нужно было; ты знаешь, душка, боперочка и бельперочка ни въ чемъ мнѣ не отказываютъ; но я былъ увѣренъ, что выиграю, и самъ поймешь, какъ билось мое сердце, когда я думалъ, что вдругъ принесу имъ тысячъ, этакъ, тридцать или сорокъ!... Мнѣ хотѣлось сдѣлать имъ пріятный сюрпризъ. Боперчикъ только-что подарилъ мнѣ тогда ломбардный билетъ въ пятнадцать тысячъ; я взялъ этотъ билетъ (нарочно никому не сказалъ слова) и на слѣдующій вечеръ отправился къ Чиндаласову. Смотрю: онъ лежитъ по-прежнему въ постели, и показалось мнѣ тогда, что онъ въ самомъ-дѣлѣ боленъ (потомъ уже узналъ я, душка, что все это была штука); по-прежнему сидятъ Тохтамышевъ и Крановъ. Чиндаласовъ далъ мнѣ денегъ, я сѣлъ играть и... сказать ли тебѣ?... да, скажу, душка, вполчаса они обыграли меня до-чиста: пятнадцать тысячъ какъ не бывало! Тутъ они и забастовали. Я бы до-сихъ-поръ ничего не подозрѣвалъ съ ихъ стороны, еслибъ не одинъ пріятель, также докторъ, съ которымъ они сыграли такую же штуку: зазвали его къ себѣ, Чиндаласовъ прикинулся больнымъ, пригласилъ его въ долю, тотъ сѣлъ; въ первый день повезло счастіе, а на другой день его обыграли точно такъ же, какъ меня... Я тебѣ говорю: это ужасные люди!...

— Аполлинарій! воскликнулъ Васильковъ, воодушевленный какою-то энергическою мыслью: — надо спасти Аристарха Ѳедоровича!...

Миловзоровъ изъявилъ совершеннѣйшую готовность слѣдовать за своимъ другомъ. Васильковъ обвилъ правою рукою лѣвую

руку красиваго медика, и оба направились смѣлыми стопами въ адскую комнату.

По мѣрѣ приближенія къ цѣли, рѣшимость и отвага, отражавшіяся на энергическихъ лицахъ двухъ пріятелей, постепенно слабѣли, слабѣли и наконецъ замѣнились явнымъ смущеніемъ; въ сосѣдней комнатѣ Миловзоровъ обнаружилъ желаніе закурить папироску и такъ долго продлилъ эту церемонію, что Порфирій Павловичъ, курившій черезъ каждыя пять минутъ, почувствовалъ потребность затянуться, въ свою очередь, табачнымъ дымомъ и потребовалъ трубку; вступивъ въ третью комнату, Миловзоровъ почелъ не лишнимъ сообщить задушевному другу, что подвигъ, предпринятый ими, требовалъ большой осторожности и особенно-сильнаго присутствія духа и находчивости; на этомъ основаніи рѣшено было, съ общаго согласія, отправиться въ буфетъ и выпить, для бодрости, по стакану портвейна.

Въ четвертой комнатѣ Васильковъ спросилъ у доктора, не зналъ ли онъ еще какихъ-нибудь подробностей насчетъ Чиндаласова и его пріятелей? Докторъ отвѣчалъ, что ему извѣстна только ссора, происшедшая между Чиндаласовымъ и какимъ-то господиномъ, который, желая заступиться за брата, обыгранаго Чиндаласовымъ, намекнулъ послѣднему о его неправильной игрѣ; больше ничего онъ не зналъ о Чиндаласовѣ. — Мнѣніе мое, сказалъ Миловзоровъ, останавливаясь въ великомъ смущеніи подлѣ двери завѣтной комнаты: — мнѣніе мое такого рода, что намъ не слѣдуетъ даже показывать ни въ какомъ случаѣ, что мы принимаемъ участіе въ Аристархѣ Ѳедоровичѣ; мы сядемъ на диванъ противъ него и молча будемъ подавать ему знаки глазами: онъ пойметъ! Порфирій Павловичъ отвѣчалъ энергическимъ пожатіемъ руки; затѣмъ оба пробрались въ игорную комнату, усѣлись въ отдаленный уголъ и принялись наблюдать Аристарха Ѳедоровича, окруженнаго толпою игроковъ и любопытныхъ.

Въ эту минуту Аристархъ Ѳедоровичъ достоинъ былъ наблюденія со стороны кого бы то ни было: изъ разговора оказывалось, что онъ проигрывалъ нѣсколько тысячъ, и совсѣмъ-тѣмъ на величавомъ лицѣ его не обнаруживалось ни малѣйшаго обличительнаго признака внутренней тревоги. Пурпуровые кружки, горѣвшіе яркимъ пламенемъ на благородныхъ его ла-

нитахъ и принимавшіе издали видъ накапаннаго краснаго сургуча, доказывали только, вмѣстѣ съ каплями пота, что Аристархъ Ѳедоровичъ не былъ привыченъ къ жаркой атмосферѣ адской комнаты.

— Прекрасно, мсьё Чиндаласовъ, пре-вос-ходно! ха! ха! ха! говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, вынимая съ особеннымъ великолѣпіемъ бумажникъ изъ боковаго кармана: — чудесно! А впрочемъ, наше дѣло еще не кончено: надѣюсь, вы не забыли, что дали мнѣ слово навѣстить меня до выборовъ въ губернскомъ городѣ и привезти съ собою Сербина и Крановича?... Партія наша, слѣдовательно, еще не кончена и отлагается впредь до другаго случая...

— Разумѣется, отвѣчалъ изящный Чиндаласовъ, разсѣянно запрятывая въ карманъ балахновскія деньги: — что-жъ касается до даннаго слова, я сдержу его и въ назначенный день явлюсь къ вамъ съ Сербинымъ и Крановичемъ...

— Благодарю! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, величественно приподымаясь съ своего мѣста и протягивая руку собесѣднику: — а ужъ насчетъ Ханскихъ-Прудовъ и думать нечего — съ этой стороны не ждите вы никакой пощады... ха! ха! ха!... Какъ только завидятъ васъ — стой! Запремъ коляску, запремъ лошадей, а самихъ заполоним точно такъ же, какъ дѣлывали въ старину наши предки... Надѣюсь, вы надолго останетесь въ губернскомъ городѣ послѣ выборовъ? Что тамъ дѣлать? Скука смертная...

— Ну, нѣтъ, я съ вами не совсѣмъ согласенъ; во-первыхъ, тамъ бездна хорошенькихъ...

Аристархъ Ѳедоровичъ залился веселымъ смѣхомъ и погрозилъ съ очаровательною граціею пальцемъ на своего собесѣдника.

— Серьезно, я вовсе не шучу, повторилъ Чиндаласовъ: — хорошенькихъ бездна!...

— Не знаю, мсьё Балахновъ, много ли у васъ хорошенькихъ, сказалъ Тохтамышевъ: — но, во всякомъ случаѣ, мнѣ, также, какъ и Крапову, хотѣлось бы узнать объ одной особѣ вашего губернскаго города, красоту которой превозноситъ до небесъ нашъ пріятель, Чиндаласовъ.

— Кто-жъ такая? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, лукаво прищуривая глаза.

— Вы, вѣрно, знаете, или видѣли по-крайней-мѣрѣ... нѣкто Кошкина. Чиндаласовъ увѣряетъ, что такой хорошенькой женщины не встрѣтишь даже въ цѣлой Москвѣ, продолжалъ Тохтамышевъ, не замѣчая конвульсивныхъ движеній, производимыхъ бровями Аристарха Ѳедоровича.

— И, конечно, такое мнѣніе найдетъ живой отголосокъ въ мсьё Балахновѣ, если онъ только видѣлъ мадамъ Кошкину, сказалъ Чиндаласовъ.

— Къ сожалѣнію, я не знакомъ съ ними, отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ тѣмъ невозмутимо благороднымъ спокойствіемъ, которое составляло самую рѣзкую и замѣчательную черту въ его высокой натурѣ.

— Жаль, мсьё Балахновъ, очень жаль! произнесъ Тохтамышевъ: — основываясь на вашемъ приговорѣ, я хотѣлъ удостовѣриться, достойна ли она похвалъ нашего друга Чиндаласова, который... ха! ха! ха!... чтобъ угодить ей, обѣщалъ держать сторону ея мужа во все время выборовъ...

Въ эту минуту Аристарху Ѳедоровичу сдѣлалось очень-неловко; мрачное облако затмило его взоры. Но это продолжалось всего одну секунду; секунду спустя, черты великаго дипломата приняли свое обычное величавое спокойствіе.

— А! такъ вы намѣрены держать сторону Кошкина?... разсѣянно вымолвилъ онъ, проникаясь мгновенно глубочайшимъ презрѣніемъ и непримиримою ненавистью къ Чиндаласову и его пріятелямъ.

— Да, весело отвѣчалъ Чиндаласовъ: — и сдѣлаю это съ величайшимъ удовольствіемъ; самъ я не принимаю никакого участія въ выборахъ: пускай себѣ торжествуетъ мсьё Кошкинъ!...

— Мы это еще увидимъ! чуть было не крикнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Пускай себѣ торжествуетъ мсьё Кошкинъ, пусть будетъ по-вашему! произнесъ онъ удушливымъ голосомъ, производившимъ какое-то странное дребезжанье, какъ-будто въ его горлѣ засѣлъ кустъ крыжовника. Сказавъ эти слова, Аристархъ Ѳедоровичъ раскланялся съ Чиндаласовымъ и, горделиво забинувъ голову, вышелъ изъ комнаты.

Васильковъ и Миловзоровъ быстро послѣдовали за нимъ. Рѣшивъ въ своемъ сердцѣ, что это была самая благопріятная минута для предостереженія Аристарха Ѳедоровича насчетъ

страшной опасности, какой подвергался онъ въ обществѣ Чиндаласова, они стремительно пробѣжали длинную амфиладу комнатъ. Усердіе ихъ оказалось, однакожъ, безполезнымъ:

Аристарха Ѳедоровича ужъ не было въ клубѣ.

V.

Одинъ интересный молодой человѣкъ ѣдетъ къ одной великосвѣтской дамѣ, которая даетъ блистательные вечера по пятницамъ, а оттуда въ петровскій паркъ, гдѣ встрѣчаетъ веселую компанію.

Утромъ на другой день, послѣ блистательнаго концерта, ознаменованнаго странными звуками Серенадина, въ пятый нумеръ гостинницы, занимаемой Бобоховымъ, вошелъ извѣстный аферистъ Аѳанасій Никитичъ Степанчиковъ. Престарѣлый Корней поспѣшилъ доложить барину, и такъ-какъ отвѣтъ оказался вполнѣ-удовлетворительнымъ, минуту спустя, Степанчиковъ входилъ въ гостиную.

Послѣ обычныхъ привѣтствій, бесѣда между мильонщикомъ и флегматическимъ толстякомъ началась слѣдующимъ образомъ:

— Что вамъ угодно? спросилъ Бобоховъ, усаживаясь на диванѣ и приглашая гостя занять мѣсто на сосѣднемъ стулѣ.

— Я пришелъ къ вамъ, сударь мой, поговорить насчетъ землицы, которую привелось пріобрѣсти у васъ, мѣсяца три назадъ, прохрипѣлъ Степанчиковъ, устремляя глаза на собесѣдника и полируя въ то же время ладонью правой руки ворсъ порыжѣвшей своей шляпы.

— Что-жъ вамъ угодно? нетерпѣливо повторилъ выскочка:— дѣло, кажется, кончено.

— Я самъ полагалъ, что оно кончено, а на повѣрку, сударь мой, выходитъ, что несовсѣмъ: въ купчей, которую вы изволили тогда принять на себя, находится маленькое недоразумѣніе...

— Объяснитесь! сказалъ Бобоховъ, закидывая назадъ голову.

Толстякъ поставилъ шляпу на сосѣдній стулъ, вынулъ изъ боковаго кармана табакерку, угостилъ носъ щепотью табаку и снова устремилъ глаза на собесѣдника.

— Изволите видѣть, началъ онъ, укрѣпляясь окончательно на стулѣ и дѣлая пояснительныя движенія пальцами: — изволите видѣть: я, какъ вамъ, полагаю, извѣстно, купилъ землю не для себя; купилъ я ее по порученію одного богатаго господина и, слѣдственно, долженъ отвѣчать за каждую бездѣлицу... изволите видѣть: въ купчей означено, сверхъ земли, тридцать-одна душа; такъ или нѣтъ-съ?... Въ числѣ ихъ оказывается маленькій недочетъ-съ; изволите видѣть, какъ это произошло: скупивъ имѣнья у прежняго владѣльца, вы изволили заниматься формированіемъ оркестра... Похвальная мысль-съ, сударь мой; вчера еще я могъ убѣдиться, съ какимъ успѣхомъ вы привели ее въ исполненіе... Итакъ-съ, вы изволили заниматься формированьемъ оркестра и для этой цѣли потребовали изъ отдѣльныхъ вотчинъ, прилежащихъ къ большому вашему имѣнью... Голодаевка, кажется... такъ точно-съ — потребовали способныхъ людей. Изъ справокъ оказывается, что три дворовыя души, о которыхъ я упоминалъ, которыя числятся въ купчей и которыхъ нѣтъ у меня на лицо — находятся теперь въ вашемъ оркестрѣ...

— Я что-то не совсѣмъ этому вѣрю, сказалъ Бобоховъ, презрительно прищуривая глазки.

— Такъ точно-съ! возразилъ Степанчиковъ съ необычайною флегмою: — такъ точно-съ; если вамъ угодно будетъ заглянуть вотъ сюда-съ, приполвилъ онъ, вынимая изъ кармана нѣсколько сложенныхъ листовъ: — вы сейчасъ же убѣдитесь во всемъ; изволите видѣть: вотъ купчая, а вотъ и ревизская сказка; тутъ найдете вы даже имена трехъ вышеупомянутыхъ музыкантовъ.

— Что мнѣ смотрѣть!... Помилуйте, это совершеннѣйшая нелѣпость. Какъ! я упомянулъ въ купчей, говорите вы — трехъ музыкантовъ, которыхъ я самъ, лично, постарался усовершенствовать?... Этого быть не можетъ!...

— Такъ точно-съ... возразилъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ Степанчиковъ: — и я требую, сударь мой...

— Вы требуете... странно! перебилъ Бобоховъ.

— То-есть требую собственно не я-съ, а покупщикъ имѣнья вашего. Вы извольте взглянуть, сказалъ Степанчиковъ, раскрывая бумаги и подчеркивая ногтемъ три имени, курсиво-прописанныя въ сказкѣ.

— Какъ, Серенадинъ? вскричалъ, зеленѣя, Бобоховъ: — три музыканта, на образованіе которыхъ пошли огромныя суммы... три виртуоза, которыми вчера еще восхищалась вся публика... и... и...

— Что-жъ дѣлать! равнодушно сказалъ Степанчиковъ, покручивая сережку, украшавшую его правое ухо.

— Какъ, что дѣлать? Что дѣлать!... ха! ха! залился выскочка тѣмъ смѣхомъ, который называется обыкновенно „желтымъ“:—ха! ха!... И вы серьезно думаете, что я уступлю этому господину Паганинова, Габріельскаго и Серенадина?

— Такъ точно-съ, отвѣчалъ съ убійственною флегмою Степанчиковъ.

— Что значитъ ваше „такъ точно“? такъ точно!... Знайте, что я смѣюсь надъ всѣмъ этимъ! запальчиво сказалъ выскочка, быстро приподнимаясь съ своего мѣста и принимаясь размахивать руками...

— Смѣйтесь, сударь мой, смѣйтесь! смѣйтесь сколько угодно! подхватилъ Степанчиковъ, отодвигаясь вмѣстѣ со стуломъ.

Мы уже сказали, что лицо Аѳанасія Никитича увѣнчано было бѣлыми, какъ снѣгъ, волосами, обстриженными подъ гребенку и принимавшими издали видъ бѣлой ермолки; точность, какой слѣдовали мы во все продолженіе этой правдивой исторіи, заставляетъ насъ сознаться, что въ ту самую минуту, какъ Бобоховъ принялся размахивать руками, на лицѣ Степанчикова обозначилась пріятная улыбка и вмѣстѣ съ тѣмъ сѣрые глаза его заискрились веселымъ блескомъ.

— Смѣйтесь, сударь мой! повторилъ Степанчиковъ: — съ своей стороны, я буду имѣть честь извѣстить васъ, отъ имени покупщика вашей деревни, что если вы воспротивитесь удовлетворить его миролюбивымъ образомъ, онъ принужденъ будетъ обратиться куда слѣдуетъ, сударь мой: подастъ прошеніе... И такъ какъ всѣ права на нашей сторонѣ въ настоящемъ случаѣ...

— Нѣтъ, на вашей сторонѣ или на сторонѣ этого господина, какъ вы его называете, рѣшительно нѣтъ никакихъ правъ! воскликнулъ выскочка, останавливаясь передъ собесѣдникомъ, который продолжалъ покручивать сережкой: — во-первыхъ, съ васъ потребуютъ отчетъ, зачѣмъ не сказали вы мнѣ ни слова

прежде о томъ, что не достаетъ въ купчей трехъ человѣкъ, и объявили мнѣ объ этомъ спустя три мѣсяца...

— Полноте, сударь вы мой! сказалъ съ разстановкою Степанчиковъ: — мало ли у меня дѣла! за всѣмъ не присмотришь; до сего времени и покупщикъ не заглядывалъ въ вашу купчую; а какъ заглянули, такъ я вотъ и пришелъ къ вамъ... вотъ и все тутъ!

— А я вамъ скажу, что вы знали очень хорошо все это дѣло! вскричалъ Бобоховъ: — вы знали, что, продавая имѣнье, я проглядѣлъ нечаянно въ купчей трехъ музыкантовъ, и нарочно ничего тогда не сказали!... Да, вамъ извѣстно было, что я намѣренъ былъ истратить на нихъ огромныя суммы и сдѣлать изъ нихъ знаменитыхъ виртуозовъ... вы все это знали и даже разсчитывали на это... И теперь, какъ три виртуоза получили громкую извѣстность, вы хотите отнять ихъ у меня!... Такъ можетъ поступить только тотъ... да, тотъ, кто... приговорилъ Бобоховъ, осаживая къ двери... Да, вы просто поступили со мною...

— Извольте продолжать, сударь мой, извольте! подхватилъ Аѳанасій Никитичъ, громко сморкаясь: — вы, кажется, сударь мой, изволили выразиться...

— Да, я сказалъ, поспѣшилъ перебить Бобоховъ: — я сказалъ, что вы поступили со мною... да... совсѣмъ... очень даже не хорошо!... Я никого не боюсь, и наведите хоть тысячу, хоть три тысячи свидѣтелей, я все-таки повторю, что не уступлю вамъ трехъ музыкантовъ... Это явная нелѣпица, безсмыслица, чепуха!... и я... я совѣтую вамъ, милостивый государь, быть со мною осторожнѣе!... присовокупилъ онъ, разгорячаясь: — да, совѣтую вамъ, милостивый государь, быть со мною осторожнѣе! подхватилъ запальчивый юноша, значительно понижая голосъ: — вы забываете, съ кѣмъ имѣете дѣло! Я никогда, слышите ли, никогда никому не позволю шутить съ собою, да будетъ это вамъ извѣстно!

— Какой же, батюшка вы мой, шутникъ! возразилъ Степанчиковъ: — я только хотѣлъ сказать вамъ, что, принимая въ уваженіе ваше пристрастіе къ вышереченнымъ тремъ музыкантамъ, готовъ, пожалуй, отъ имени господина, купившаго у васъ имѣніе, предложить вамъ мировую, полюбовную сдѣлку...

— Не хочу я никакихъ полюбовныхъ сдѣлокъ!... ха, ха, ха!... мировыя сдѣлки съ вами! Это, просто, смѣшно!... Вы поступили

со мною какъ... какъ... хи, хи, хи!... сдѣлка, сдѣлка, хи, хи, хи! подхватилъ выскочка, стараясь принять насмѣшливый видъ: — любопытно было-бъ знать, однакожъ, какая это сдѣлка?...

— Угодно вамъ выслушать?...

— Да, пожалуй, хи, хи!... да; но только нельзя ли, пожалуйста, кончить скорѣе?

— Съ моимъ большимъ удовольствіемъ: угодно вамъ будетъ вознаградить покупщика наличными деньгами?

— Сколько же онъ хочетъ? презрительно спросилъ Бобоховъ.

— Семь тысячъ.

— Семь тысячъ?... воскликнулъ, зеленѣя, Бобоховъ.

— Такъ точно-съ, возразилъ неумолимый Степанчиковъ: — а въ случаѣ, если нѣтъ у васъ наличной суммы, мы напишемъ, пожалуй, вексель... за поручительствомъ Аркадія Андреевича Тохтамышева...

— У меня всегда есть деньги! гордо воскликнулъ Бобоховъ. — Я не знаю, откуда, кто могъ сказать, съ чего вы взяли, что я стану подписывать векселя!

— Такъ, стало-быть, вы, сударь мой, не согласны? спокойно произнесъ Степанчиковъ, посылая въ носъ щепоть табаку.

— Я удивляюсь, да, я не постигаю, какъ вы можете предлагать мнѣ такія сдѣлки! запальчиво воскликнулъ выскочка, принимаясь снова размахивать руками:—вы забываете, кажется, съ кѣмъ имѣете дѣло.

— Эге-ге-ге, батюшка! большой форсъ на себя берете, медленно сказалъ Степанчиковъ, нагибаясь, чтобъ приподнять шляпу: — очень горячи, да-съ, хотя и не больно какой знатный вельможа...

Бобоховъ сдѣлалъ жестъ рукою, хотѣлъ что-то сказать, но взглянулъ на толстаго аферіста и ограничился тѣмъ только, что указалъ ему торжественно на дверь и вышелъ въ сосѣднюю комнату.

— Мое почтеніе, сказалъ ему во слѣдъ Степанчиковъ, выражая насмѣшливую улыбку: — мое почтеніе-съ; буду имѣть честь извѣстить васъ, сударь мой, что завтра же подано будетъ, куда слѣдуетъ, прошеніе... Желаю оставаться благополучно...

Всякому понятно, я думаю, какихъ усилій потребовалось со стороны Бобохова, чтобъ выдержать равнодушно окончаніе этой

сцены и вести себя истинно джентльменскимъ образомъ. Такое умѣнье владѣть собою сдѣлало-бъ даже честь самому Аристарху Ѳедоровичу. Но всякій, я думаю, знаетъ также, что страсти, подавляемыя такимъ образомъ въ глубинѣ сердца, пріобрѣтаютъ свойство пороха, который тѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ, чѣмъ тѣснѣе пространство, въ которомъ его заключили. Такое свойство сосредоточенныхъ страстей замѣчаемъ мы теперь въ Бобоховѣ, который явился въ гостиную, какъ только шаги Степанчикова умолкли въ корридорѣ. Ничего не можетъ быть свирѣпѣе выскочекъ, приведенныхъ въ раздраженное состояніе, и особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда напоминаютъ имъ ихъ далеко-неаристократическое происхожденіе. Выскочки въ тѣхъ случаяхъ—то же, что разбогатѣвшіе петербургскіе сапожники изъ нѣмцевъ, которые готовы, кажется, пронзить васъ шиломъ, если вы осмѣлитесь назвать ихъ „сапожниками“. Гроза, нависнувшая надъ пятымъ нумеромъ аристократической гостинницы, прошла, однакожъ, безъ особенныхъ послѣдствій; все дѣло ограничилось нѣсколькими „эй!“, приправленными лаконическимъ приказаніемъ подавать немедленно карету.

Пять минутъ послѣ этого, Бобоховъ летѣлъ къ свояку своему, блистательному Тохтамышеву. Тохтамышевъ жилъ великолѣпно, и жилъ, нужно замѣтить, совершеннѣйшимъ холостякомъ. Въ то самое утро въ кабинетѣ его — отличнѣйшемъ кабинетѣ, съ патé и диванами, обтянутыми краснымъ сафьяномъ — было очень весело. Тутъ находились Чиндаласовъ, почтенный Петръ Степановичъ Краповъ, много еще другихъ джентльменовъ, принадлежащихъ той же компаніи. Въ ту самую минуту, какъ Бобоховъ входилъ въ переднюю, стѣны квартиры потрясались единодушнымъ хохотомъ.

— Аркадій Андреевичъ только-что изволили уѣхать, сказалъ съ увѣренностью лакей.

— Онъ уѣхалъ, можетъ быть, для другихъ... Но развѣ ты меня не знаешь? произнесъ выскочка, причемъ физіономія его представила ровную, глянцовитую поверхность желтаго лица, украшеннаго по бокамъ рыжеватыми бакенбардами.

— Помилуйте, какъ не знать-съ! очень хорошо знаю-съ! возразилъ лакей, заслоняя слегка дорогу:—но Аркадій Андреичъ, какъ я вамъ уже докладывалъ, изволили уѣхать...

Тутъ въ отдаленіи послышался новый взрывъ хохота, кото-

рый раздался съ порекликами въ оскорбленномъ сердцѣ выскочки; онъ показалъ, однакожъ, что ничего не замѣтилъ и спросилъ разсѣянно:

— Когда же онъ будетъ дома?...

— Не могу знать; они ничего не изволили говорить... отвѣчалъ лакей, отворяя дверь на улицу.

— Скажи, по-крайней-мѣрѣ, что я былъ! вымолвилъ Бобоховъ глухимъ голосомъ.

Чрезвычайно непріятно! Къ счастію еще, что въ ту самую минуту, когда выскочка садился въ карету, на троттуарѣ толпилось много народа, и онъ могъ вознаградить себя, крикнувъ кучеру громкимъ голосомъ: „къ Тохтамышевой!“

Тохтамышевъ и жена его не жили вмѣстѣ. Не могу сказать вамъ навѣрное, въ какой именно день и по какому именно случаю произошло несогласіе между ними. Людская молва и толки потеряли кредитъ съ незапамятныхъ временъ; и всякій мало-мальски опытный человѣкъ знаетъ, какъ опасно довѣрять тому, что говорятъ люди. Не ручаясь за справедливость нижеприведенныхъ строкъ, мы скажемъ, однакожъ, что иные говорили, будто „разстройство“ между супругами произошло вскорѣ послѣ того, какъ приданое купеческой дочки (нынѣ Тохтамышевой) обратилось въ тщательно-закругленный ноль; другіе, болѣе скромные изслѣдователи чужихъ дѣлъ приписывали разстройство несогласію характеровъ: супруга настоятельно требовала, чтобъ мужъ возилъ ее на балъ въ Дворянское Собраніе и посѣщалъ съ нею всѣ возможныя гостиныя; мужъ, съ своей стороны, не любилъ всего этого; руководимый истиною, онъ не разъ даже говорилъ женѣ, что самъ не имѣетъ никакого доступа въ гостиныя, никогда не посѣщалъ ихъ, ибо съ юнаго возраста ограничилъ визиты свои клубомъ, креслами театра и почтеннымъ Петромъ Степанычемъ Краповымъ; но жена противилась внимать голосу истины и настаивала на своемъ. Третьи, напротивъ того, обвиняли во всемъ мужа: они положительно утверждали, будто Тохтамышевъ смотрѣлъ на жену не иначе, какъ на мѣшокъ съ деньгами, и разстался съ этимъ мѣшкомъ именно въ то самое утро, когда не оказалось въ немъ гроша. Что до меня касается, я рѣшительно почитаю такіе слухи пустыми сплетнями, возведенными людскою злобою до небывалыхъ размѣровъ. Дѣло, мнѣ кажется, очень просто и объясняется

само собою: Тохтамышевъ любитъ шумъ, блескъ; жена его любитъ скромное уединеніе, и потому, не желая, вѣрно, мѣшать другъ другу, они согласились жить въ разныхъ квартирахъ.

Склонность къ уединенію заставила Тохтамышеву поселиться вовсе не на Сивцовомъ Вражкѣ, какъ говорилъ Бобоховъ, но въ отдаленнѣйшемъ захолустьи Москвы и нанять три комнаты вовсе не въ домѣ графа Волынскаго, какъ повѣствовалъ опять-таки Бобоховъ, но въ домѣ весьма невзрачной наружности, принадлежавшемъ какой-то старой купчихѣ.

Могло также статься, что „салонъ“ троюродной сестры Бобохова, которую называлъ онъ, вѣроятно, для краткости, сестрою, не представлялъ также обращика современной роскоши, доведенной до тончайшей аристократической изысканности: аристократическая роскошь и тонкая изысканность салона сосредоточивались въ чахломъ диванѣ, въ видѣ S, обитомъ когда-то красною байкой съ черными разводами...

Прислуга Тохтамышевой была также не очень многочисленна; мажордомъ, грумъ, камеристки и проч. олицетворялись въ одномъ образѣ старой подслѣповатой кухарки.

Видъ этой кухарки сильнѣйшимъ образомъ оскорблялъ и даже возмущалъ джентльмена Бобохова. Когда она отворила ему дверь въ то достопамятное утро, о которомъ идетъ рѣчь, онъ не взглянулъ даже на нее и ограничился тѣмъ только, что произнесъ отрывисто:

— Дома?

— Дома-съ, пожалуйте...

Выскочка бросилъ пальто и вступилъ въ „салонъ“ съ какимъ-то рѣшительнымъ, въ высшей степени развязнымъ и даже наглымъ видомъ, съ какимъ входятъ обыкновенно разбогатѣвшіе выскочки къ бѣднымъ родственникамъ.

— Здравствуйте, сестрица! сказалъ онъ, снисходительно протягивая руку хозяйкѣ дома, выходившей къ нему навстрѣчу изъ противоположной двери.

Общее впечатлѣніе, производимое наружностью Тохтамышевой, было какъ-то неудовлетворительно, какъ-то неполно, словно не доставало чего-то; а не доставало именно голубаго шелковаго платочка, плотно повязаннаго на головѣ, брилліантовыхъ серегъ въ ушахъ, румянъ на щекахъ, турецкой шали на плечахъ — словомъ, всего того, чѣмъ любуемся мы, встрѣчая перваго мая

въ Сокольникахъ богатыхъ купчихъ, самодовольно возсѣдающихъ въ роскошныхъ коляскахъ, запряженныхъ щегольскою четверкою сѣрыхъ и украшенныхъ на запяткахъ „малымъ“ изъ гостинаго двора.

— Ахъ, братецъ, какъ я рада! сказала Тохтамышева, обнаруживая тѣмъ не менѣе явную неловкость и смущеніе. — А я, признаться, думала, что васъ ужъ нѣтъ въ Москвѣ... На-дняхъ, я писала вашей матушкѣ и даже пеняла на васъ... Затѣмъ, смутившись окончательно, она попросила его войдти въ сосѣднюю комнату.

— Скажите, братецъ, давно ли видѣлись съ вашей маменькой? Здорова ли она?... Я такъ давно не получаю отъ нея писемъ... спросила Тохтамышева.

— Не знаю; я также давно не получалъ отъ нея писемъ, небрежно отвѣчалъ выскочка.

Не смотря, однакожъ, на то, что „братецъ“ выказалъ при этомъ признаки величайшаго нетерпѣнія, сестра засыпала его вопросами о роднѣ и кончила свои разспросы не прежде, какъ когда Бобоховъ объявилъ наотрѣзъ, что онъ рѣшительно ничего не знаетъ о своихъ родственникахъ.

Тохтамышева перемѣнила тотчасъ же разговоръ и спросила братца, не хочетъ ли онъ завтракать.

— Мегсі, я только-что отъ Шевалье, отвѣчалъ выскочка, самодовольно запрятывая руку въ отверстіе бѣлаго жилета.

— Въ такомъ случаѣ, вы не хотите ли завтракать, Аполлосъ Васильичъ? вымолвила Тохтамышева, обращаясь къ какому-то вошедшему въ это время господину, который отвѣчалъ наклоненіемъ головы.

При имени „Аполлосъ Васильичъ“ Бобоховъ вспомнилъ исторію одного весьма богатаго человѣка, проигравшаго когда-то до послѣдней нитки все свое состояніе; кой-какіе признаки въ наружности господина служили Бобохову несомнѣннымъ доказательствомъ, что это былъ именно тотъ господинъ.

— Я пріѣхалъ къ вамъ, сестрица, однакожъ, за дѣломъ, сказалъ выскочка, когда завтракъ былъ поданъ и послѣ того, какъ Аполлосъ Васильевичъ выпилъ залпомъ рюмку водки: — дѣло, разумѣется, ничтожное, чрезвычайно даже забавное, если хотите, но совсѣмъ тѣмъ, оно ставитъ меня въ непріятное по-

ложеніе... то-есть не то, чтобъ непріятно, а такъ, знаете, досадно...

— Что-жъ такое? спросила Тохтамышева.

— Всего забавнѣе то, что кашу эту заварилъ мнѣ, разумѣется нечаянно, Arcadie... Arcadie... Этакая вѣтреная голова! продолжалъ Бобоховъ. — Видите ли, въ чемъ дѣло: мнѣ хотѣлось продать одно изъ моихъ помѣстій, которое мнѣ страшно надоѣло; я обратился къ Arcadie; тотъ, разумѣется, самъ не зная кого рекомендуетъ, приводитъ ко мнѣ въ Hôtel, гдѣ я всегда останавливаюсь, какого-то господина. Въ этомъ имѣніи — и самъ не знаю, какъ это случилось — управляющіе мои не досмотрѣли, что ли, записаны были три музыканта... вы, можетъ быть, слыхали о нихъ? Ну, вотъ тѣ самые, что давали на-дняхъ концертъ, вся Москва тамъ была! присовокупилъ онъ, закуривая папироску. Теперь, представьте же, что случилось: покупщикъ имѣнія требуетъ отъ меня этихъ музыкантовъ... онъ подалъ даже просьбу на меня по этому случаю... хи-хи-хи!... Разумѣется, все это вздоръ, пустяки; но мнѣ, знаете, хотѣлось бы проучить хорошенько этого господина; не мѣшаетъ, знаете, учить такихъ людей. Нѣтъ ли у васъ въ виду какого-нибудь дѣловаго человѣка, знаете, пройдохи какого-нибудь, который бы, за извѣстную плату (я денегъ не пожалѣю), повернулъ бы дѣло такимъ образомъ, чтобъ три музыканта остались въ моихъ рукахъ?... Вы, я знаю, имѣли разныя дѣла, и я былъ бы вамъ чрезвычайно благодаренъ. Ужасно хочется наказать этого господина!... Нѣтъ, скажите мнѣ, каковъ Arcadie? Arcadie-то каковъ?

— Да вы бы обратились къ...

— Къ Arcadie? подхватилъ Бобоховъ:—да, конечно; но я долженъ вамъ сказать, сестрица, что послѣ этой исторіи, хотя, разумѣется, невольной съ его стороны, я имѣю полное право на него сердиться... мы даже, хи-хи! да, мы въ маленькихъ контрахъ... хи-хи-хи!...

— Къ сожалѣнію, я, право, никого не знаю, возразила Тохтамышева, приподнимаясь на своихъ пяткахъ, чтобъ закурить папиросу, предложенную ей Бобоховымъ. — Аполлосъ Васильичъ, не знаете ли вы кого-нибудь? присовокупила она, пристально устремляя глаза на другаго собесѣдника.

— Ахъ, сдѣлайте милость, сообщите, если вы знаете! чрез-

вычайно было бы пріятно! заговорилъ Бобоховъ, пуская длинную струю дыма.

Аполлосъ Васильевичъ медленно повернулъ голову, окинулъ Бобохова насмѣшливымъ взглядомъ и пустилъ нѣсколько густыхъ клубовъ дыма.

— Если вамъ нуженъ пройдоха, какъ вы говорите, вымолвилъ онъ наконецъ, какъ-бы нехотя: — мнѣ остается пожалѣть, что вы „въ контрахъ“ (тутъ лицо стараго игрока озарилось саркастической улыбкой)... что вы въ контрахъ съ Тохтамышевымъ: онъ вѣрно не замедлилъ бы вамъ представить такого человѣка.

— О, разумѣется! съ увѣренностью перебилъ Бобоховъ, не понимавшій насмѣшливаго тона Аполлоса Васильевича: — но согласитесь, что, послѣ всего этого, мнѣ не хотѣлось бы обратиться къ Arcadie... а дѣло, между-тѣмъ, не терпитъ промедленія: чего добраго, покупщикъ имѣнія въ самомъ дѣлѣ возьметъ свое, если не предупредить его...

— Весьма можетъ быть, пробормоталъ Аполлосъ Васильевичъ, взглядывая въ окно.

— Какъ жаль, право, братецъ, если васъ разлучатъ съ вашими музыкантами!

— Помилуйте, сестрица, чрезвычайно даже непріятно, то-есть, разумѣется, не столько для меня, сколько для моего оркестра — первый оркестръ въ губерніи!...

— Да вотъ, чего же лучше! произнесъ Аполлосъ Васильевичъ, снова поворачиваясь къ выскочкѣ: — не знаете ли вы или не слыхали ли по-крайней-мѣрѣ объ извѣстномъ аферистѣ Степанчиковѣ? Обратитесь къ нему: онъ устроитъ вамъ что хотите... за деньги, конечно.

— Какъ! Степанчиковъ! да помилуйте, это тотъ самый, что отнимаетъ у меня музыкантовъ! воскликнулъ Бобоховъ.

— Съ чѣмъ васъ и поздравляю! произнесъ Аполлосъ Васильевичъ.

Тутъ поставилъ онъ на окно трубку, которую курилъ до того времени, положилъ голову на спинку кресель и залился протяжнымъ смѣхомъ.

— Что вы хотите этимъ сказать? воскликнулъ Бобоховъ, обижаясь не на шутку непринужденнымъ обращеніемъ гостя.

Онъ подпрыгнулъ на своемъ креслѣ и заморгалъ глазками,

по направленію къ Аполлосу Васильевичу; но Аполлосъ Васильевичъ не обратилъ на него, повидимому, ни малѣйшаго вниманія и продолжалъ смѣяться.

При этомъ лицо щепетильно-раздражительнаго выскочки мгновенно перекрылось зловѣщею зеленью; и безъ сомнѣнія, легко могла бы возникнуть маленькая сцена, если-бъ не поспѣшила предупредить все это хозяйка дома.

— Вы не знаете, отчего смѣется Аполлосъ Васильичъ, произнесла она, подходя къ Бобохову, стоявшему уже съ шляпою въ рукѣ: — Аполлосъ Васильичъ смѣется, братецъ, оттого, что этотъ Степанчиковъ сдѣлалъ ему когда-то точно такую же исторію...

— Да-съ, любезнѣйшій мсьё Бобоховъ, исторію, во всемъ сходную съ вашей! подхватилъ злосчастный игрокъ, поворачиваясь къ выскочкѣ, окидывая его съ головы до ногъ насмѣшливымъ взглядомъ и не стараясь даже скрыть саркастической улыбки. — Я продалъ ему когда-то одну изъ своихъ усадьбъ, усадьбу, которая мнѣ также надоѣла... онъ, разумѣется, обманулъ меня; виноваты, кажется, были мои управляющіе: не досмотрѣли! А такъ-какъ Степанчиковъ рекомендовалъ мнѣ былъ господиномъ Arcadie, какъ вы его называете, то понимаете, что я точно также имѣю маленькіе контры съ вашимъ свояkомъ; ну, словомъ, исторія, во всемъ сходная съ вашей...

Какъ ни простъ былъ Бобоховъ, онъ понялъ, однакожъ, что Тохтамышевъ, рекомендуя ему Степанчикова, поступилъ несовсѣмъ-опрометчиво, какъ это могло казаться съ перваго взгляда: Тохтамышевъ, какъ всѣ игроки, могъ нуждаться въ такомъ пройдохѣ, каковъ былъ Степанчиковъ, могъ занимать у него деньги, могъ даже задолжать ему сильнѣйшимъ образомъ и могъ также, за неимѣніемъ процентовъ, или въ вознагражденіе за одолженіе, доставить Степанчикову выгодныя дѣла. Все это весьма даже легко могло статься. Выскочка слышалъ даже кое-что объ этомъ стороною и въ свое время, но не обратилъ тогда должнаго вниманія, приписавъ такіе слухи изобрѣтеніямъ завистниковъ блистательнаго Тихтамышева. Теперь не оставалось и малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что Arcadie въ дѣлѣ Габріельскаго, Паганинова и Серенадина игралъ несовсѣмъ-невинную роль; выходило на повѣрку, что онъ попросту надулъ любезнаго своего свояка... Чрезвычайно непріятно! Бобоховъ понялъ также,

очень хорошо понялъ, что Аполлосъ Васильевичъ подтрунивалъ надъ нимъ сильнѣйшимъ образомъ, обнаруживалъ даже къ нему какое-то оскорбительное презрѣніе, и это обстоятельство, смѣшанное съ досадою, возникшею вслѣдствіе предъидущаго открытія, взорвало до такой степени выскочку, что онъ нѣсколько минутъ стоялъ какъ ошеломленный громомъ и не могъ произнести ни слова.

— Прощайте, честь имѣю кланяться, проговорилъ онъ, когда, наконецъ, послѣ многихъ судорожныхъ потрясеній, получилъ опять способность говорить.

— Какъ, братецъ, вы ужъ ѣдете?... сказала Тохтамышева, обнаруживая на лицѣ своемъ выраженіе грустнаго сожалѣнія, принимаемое обыкновенно въ такихъ случаяхъ за „я васъ не задерживаю“. — Вы, должно-быть, теперь очень заняты по вашему дѣлу... Прошу васъ только, братецъ... вы, разумѣется, заѣдете на обратномъ пути изъ Москвы въ городъ Малиновъ, чтобъ навѣстить вашу маменьку — прошу васъ, не забыть поклониться отъ меня.

— Помилуйте, сестрица, это дѣло... хи-хи-хи! я совсѣмъ не занятъ; это пустяки, нестоющія вниманія. Что-жъ касается до вашего порученія, я, вѣроятно, не въ состояніи буду исполнить его: я не поѣду къ маменькѣ... я долженъ спѣшить въ свои помѣстья...

Проговоривъ все это скоро и сдѣлавъ почему-то особенное удареніе на словѣ маменька, выскочка отступилъ къ двери и бросилъ презрительный взглядъ на Аполлоса Васильевича.

Но Аполлосъ Васильевичъ не обращалъ уже на него ни малѣйшаго вниманія: закинувъ одну ногу на другую, утопивъ спину въ кресло, онъ глядѣлъ въ окно и курилъ съ превеликимъ комфортомъ свою трубку.

Выскочка сдѣлалъ принужденный поклонъ сестрѣ, которая провожала его, и поспѣшно юркнулъ въ прихожую.

Спускаясь съ лѣстницы, Бобоховъ подавилъ, однакожъ, въ своемъ сердцѣ всѣ непріятныя чувства и рѣшился провести остатокъ дня, какъ можно веселѣе, гдѣ-нибудь за городомъ. Къ этому побудило его, во-первыхъ, то, что день былъ праздничный и, по всѣмъ соображеніямъ, въ загородныхъ мѣстахъ сосредоточится фешенебельный, модный свѣтъ древней столицы; во-вто-

рыхъ, въ загородныхъ мѣстахъ находятся отличные вокзалы, гдѣ можно пообѣдать за самую умѣренную цѣну.

На этомъ основаніи, онъ избралъ Петровскій паркъ и, развалившись въ каретѣ по образцу столичныхъ денди, приказалъ везти себя немедленно къ Тріумфальнымъ Воротамъ.

Еслибъ мы поставлены были въ завидное положеніе нѣкоторыхъ фельетонистовъ, которые считаютъ непремѣнною обязанностью принимать къ сердцу интересы трактирщиковъ и слѣдить за успѣшнымъ процвѣтаніемъ загородныхъ гуляній, мы ни подъ какимъ видомъ не пропустили бы удобнаго случая упомянуть здѣсь о Ярѣ, трактирщикѣ Петровскаго парка. Мало того: мы не преминули бы сказать ему похвальное слово; мы сказали бы, напримѣръ, что почтенный Иванъ Ивановичъ Яръ — чародѣй, ухитрившійся соединить въ саду своего заведенія природу юга съ природою сѣвера, что гуляющіе по Петровскому парку, благодаря распоряженію почтеннаго Ивана Ивановича, могутъ посѣщать волшебный садъ съ своими семействами и пользоваться всѣми удовольствіями за самую умѣренную цѣну (тутъ, разумѣется, выставили бы мы съ подобающею ловкостью прейсъ-курантъ разнымъ напиткамъ и карту роскошныхъ яствъ); кстати, не приминули бы мы посовѣтовать нашимъ читателямъ отвѣдать тѣхъ жареныхъ почекъ, которыя такъ искусно приготовляетъ почтенный Иванъ Ивановичъ, сообщивъ при этомъ, что ничего не можетъ быть пріятнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ здоровѣе—кушать жареныя почки подъ сѣнью широко-раскидистыхъ древесныхъ вѣтвей. Затѣмъ, послѣдовалъ бы непремѣнно легкій біографическій очеркъ почтеннаго старичка Яра; исчисливъ всѣ свойства филантропической души этого старца и убѣдившись хорошенько, что читатели наши прольютъ обильные потоки слезъ надъ поразительно трогательными фактами благотворительности, мы перешли бы къ описанію самаго Петровскаго парка... Но, не имѣя счастія принадлежать къ вышеупомянутымъ фельетонистамъ и не видя, слѣдовательно, никакой необходимости распространяться о Петровскомъ паркѣ съ тою единственною цѣлью, чтобъ обратить всеобщее вниманіе на почтеннаго Яра, мы ограничимся одною истиною. Истина эта заключается въ томъ, что какъ Яръ, такъ равно и самый Петровскій паркъ не представляютъ ничего особенно разительнаго. Дорожки, бѣлыя тумбы по бокамъ, кусты и березы направо и налѣво и пыль—состав-

ляютъ отличительныя свойства этого гулянья. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, по праздникамъ здѣсь бываетъ очень людно. Въ шесть часовъ становится уже тѣсно; въ семь — дѣлается рѣшительно непроходимо, благодаря экипажамъ, которые тянутся непрерывною нитью по главнымъ дорожкамъ. Въ восемь — толпа начинаетъ рѣдѣть. Въ девять — паркъ превращается въ пустыню... Главный путь веселья — противъ вокзала, огромнаго сѣраго зданія, расположеннаго между театромъ и группою сѣрыхъ домиковъ, гдѣ съ шести часовъ вплоть до восьми раздается бряцанье гитары... Пространство между театромъ и вокзаломъ, и именно та часть, которая предназначается для пѣшеходовъ, попирается преимущественно ногами моднаго свѣта. Въ этотъ вечеръ, о которомъ пойдетъ теперь рѣчь, погода была чудеснѣйшая и, благодаря этому обстоятельству, толпилось превеликое множество гуляльщиковъ; всѣ они тѣснились на вышеозначенномъ пространствѣ, лорнировали направо и налѣво, раскланивались съ особами, рисовавшимися въ экипажахъ, или сидѣли въ болѣе или менѣе-живописныхъ и интересныхъ положеніяхъ на зеленыхъ скамейкахъ, окаймлявшихъ дорогу.

Подлѣ одной изъ такихъ скамеекъ стоялъ господинъ, который невольно обращалъ на себя вниманіе посторонняго наблюдателя; всего замѣчательнѣе то, что въ костюмѣ этого господина не было ничего особенно рѣзкаго и бросавшагося въ глаза, за исключеніемъ, развѣ, высокаго волосянаго галстука, туго притянутаго къ шеѣ помощью стальной пряжки, блестѣвшей надъ воротникомъ чернаго сюртука; физіономія его была бы также весьма-обыкновенною, еслибъ не отличали ее высокое мыслящее чело и ослѣпительный рядъ бѣлыхъ зубовъ лучшей вагенгеймовской работы; но, какъ хотите, въ наружности этого господина, въ высшей степени величавой, было что-то такое, что невольно заставляло предполагать присутствіе той обаятельной, могучей силы, которую распространяютъ вокругъ себя великіе люди и вообще избранныя натуры. Сейчасъ можно было сказать, что этотъ человѣкъ проникнутъ глубокимъ сознаніемъ высокаго своего превосходства надъ толпою.

Аристархъ Ѳедоровичъ Валахновъ (конечно, это былъ онъ), привлеченный на видное мѣсто гулянья разными обстоятельствами, въ числѣ которыхъ главную роль играло желаніе скрыться отъ Василькова и Миловзорова, не переставалъ слѣдить за

проѣзжавшими, наблюдалъ пѣшеходовъ и въ то же время внимательно прислушивался ко всему, что говорилось вокругъ. Съ нѣкоторыхъ поръ, однакожъ, вниманіе его исключительно обращалось на господина, одѣтаго съ невыразимою щепетильностью, который, за нѣсколько минутъ предъ тѣмъ, выпрыгнулъ изъ наемной коляски и расположился на скамейкѣ вмѣстѣ съ нѣсколькими молодыми людьми.

— Нѣтъ; да знаете ли вы, что̀ особенно хорошо въ Парижѣ, говорилъ щепетильно одѣтый господинъ, находившій особенное удовольствіе произносить слова нараспѣвъ, озираться на стороны и называть Парижъ мѣстечкомъ и городкомъ: — хороша въ мѣстечкѣ прислуга... такой расторопности я нигдѣ не видывалъ; бывало, утромъ встанешь, смотришь въ окно, а ужъ мой грумъ, Benjamin, сидитъ въ фаэтонѣ; крикнешь: Benjamin — „Sieur-l'comte!“ мигнуть не успѣешь — проснулся, стоитъ на вытяжкѣ и держитъ за удила лошадь...

— Ахъ, это, должно быть, превосходно! какая жизнь! какая жизнь! воскликнули молодые люди, окружавшіе разсказчика.

Вмѣстѣ съ этимъ восклицаніемъ Аристархъ Ѳедоровичъ услышалъ за спиною слѣдующее:

— Какой онъ графъ! все вретъ. Онъ просто недоросль изъ дворянъ!

Но Аристархъ Ѳедоровичъ не обратилъ на это замѣчаніе особеннаго вниманія и, вдумываясь въ мірскую суету, продолжалъ въ то же время слушать болтовню сосѣда.

— Да, господа, было попито въ городкѣ! повѣствовалъ щепетильно одѣтый господинъ: — сто тысячъ! чтобъ знали, покрайней-мѣрѣ, что sieur l'comte проѣзжаетъ. Да. Мнѣ нѣтъ дѣла до всѣхъ этихъ поклоненій Дюпре, Лаблашу и прочимъ. Бывало, боленъ; позвалъ ихъ всѣхъ къ себѣ, сунулъ денегъ — поютъ до поздняхъ пѣтуховъ! За деньги рады все сдѣлать! Sieur l'comte — да!... заключилъ, воодушевляясь, щепетильно одѣтый болтунъ.

Не знаю въ достовѣрной степени, на сколько Балахновъ раздѣлялъ мысли и мнѣнія этого господина; не знаю даже, приходились ли ему по сердцу такія мысли и мнѣнія; заподлинно извѣстно только, что едва послышались послѣднія эти слова, взоръ его устремлялся все пристальнѣе и пристальнѣе на говорившаго; онъ кашлянулъ, выпрямилъ грудь, и, нѣтъ сомнѣ-

нія, завязалъ бы пріятную бесѣду съ сосѣдями, еслибъ не помѣшали этому Васильковъ и Миловзоровъ, которые вдругъ, откуда ни возьмись, появились подлѣ зеленой скамейки.

Аристархъ Ѳедоровичъ отступилъ шагъ назадъ, и брови его нахмурились.

— Ахъ, Боже мой, Аристархъ Ѳедорычъ! а мы искали васъ, искали! Весь паркъ кругомъ обѣжали; вотъ и Аполлинарій то же скажетъ!... воскликнулъ Порфирій Павловичъ, порываясь къ великому мужу и вращая разомъ во всѣ стороны большими своими глазами, очевидно потерявшими уже точку опоры:— Ахъ, какъ весело! какъ весело! Мы веселимся до упаду... Что это!... это просто какая-то волшебная Голландія! продолжалъ онъ, восторженно обращаясь ко всѣмъ окружавшимъ. — Вотъ и Аполлинарій то же скажетъ. Но безъ васъ, Аристархъ Ѳедорычъ, мы никуда не пойдемъ! Безъ васъ намъ веселье не въ веселье; вотъ и Аполлинарій то же скажетъ...

— Безъ васъ намъ веселье не въ веселье, пробормоталъ Миловзоровъ, сонливо раскачивая головою и переминая ногами.

— Вѣрю, вѣрю, что вамъ здѣсь очень весело; веселитесь, ха-ха-ха! веселитесь; очень радъ, что могъ доставить вамъ удовольствіе, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обращаясь преимущественно къ щепетильно одѣтому господину, который разглядывалъ съ любопытствомъ Василькова и Миловзорова: — веселитесь; но только нельзя ли вамъ, мои милые, веселиться безъ меня? Я вамъ не товарищъ, промолвилъ онъ презрительно-равнодушнымъ тономъ и снова снисходительно усмѣхнулся.

— Нѣтъ, Аристархъ Ѳедорычъ, безъ васъ мы шагу не сдѣлаемъ! воскликнулъ Васильковъ съ чувствомъ оскорбленной дружбы: — ни за что въ свѣтѣ!...

Вдругъ Порфирій Павловичъ отпрянулъ назадъ, устремилъ испуганные глаза на какую-то точку, находившуюся, очевидно, за спиною Балахнова, затрясся всѣмъ тѣломъ и поблѣднѣлъ какъ полотно. Аристархъ Ѳедоровичъ быстро обернулся и, къ великому своему ужасу, увидѣлъ шагахъ въ восьми Фанагорію Петровну, которая выступала, переваливаясь съ ноги на ногу и посылая направо и налѣво очаровательныя улыбки изъ-подъ голубой шляпки, украшенной райскою птицей; ей, повидимому, было очень жарко; обстоятельство это подтверждалось тѣмъ, что пунцовая шаль ея свѣшивалась граціозно до самой земли. По-

зади Фанагоріи Петровны, въ почтительномъ разстояніи, шествовалъ старый управитель, облаченный въ темнозеленую ливрею. Наблюденіе Аристарха Ѳедоровича простиралось ровно на столько, чтобъ убѣдиться, была ли это точно любезная сосѣдка; убѣдившись въ этомъ, на что, разумѣется, потребовалась съ его стороны одна секунда, онъ тотчасъ же повернулся спиною къ сосѣдкѣ и, выпрямивъ величественно грудь, замаршировалъ ускореннымъ шагомъ впередъ по дорогѣ.

Достигнувъ поворота, Аристархъ Ѳедоровичъ остановился, желая навести наглядным образомъ справки касательно того, куда могли скрыться Васильковъ и Миловзоровъ, но въ самую эту минуту позади его раздался шелестъ туго накрахмаленныхъ юбокъ и вслѣдъ за тѣмъ женскій, задыхающійся голосъ произнесъ:

— Аррристархъ Ѳедорычъ!... Ахъ, Боже мой... Аррристархъ Ѳедорычъ!...

Но Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ видъ, какъ-будто ничего не слышитъ и не замѣчаетъ, и, удвоивъ шаги, закинувъ голову, замаршировалъ впередъ, пробираясь то по троттуару, то по самой дорогѣ, смотря по тому, какъ измѣнялось направленіе его пути встрѣчными толпами гуляющихъ.

Нетерпѣливый и рѣшительный въ своихъ движеніяхъ, Балахновъ не замедлилъ обогнуть значительную часть парка и, къ великому своему удовольствію, очутился недалеко отъ прежняго своего мѣста, а именно подлѣ дверей вокзала. Разсуждая весьма основательно, что не слѣдовало ни въ какомъ случаѣ подвергать себя новымъ встрѣчамъ, могущимъ только компрометировать его особу, и проклиная въ душѣ прогулку и вмѣстѣ съ нею свое добродушіе и снисхожденіе, онъ поднялся на лѣстницу, заплатилъ за входъ и вступилъ въ обширную залу, прорѣзанную со всѣхъ четырехъ сторонъ окнами и дверьми, которыя были запружены посѣтителями. Въ залѣ находилось также довольно много народа; тутъ курили, ходили, разговаривали, тѣснились вокругъ маленькихъ столовъ, покрытыхъ скатертями и украшенныхъ пустыми бокалами шампанскаго, симметрически разставленными противъ каждой тарелки. Аристархъ Ѳедоровичъ подошелъ къ одному изъ такихъ столовъ, сѣлъ на порожнее мѣсто и подозвалъ слугу.

— Чего изволите-съ?

— Стаканъ лимонаду! сказалъ Балахновъ, обтирая дипломатическій лобъ свой.

Но едва успѣлъ онъ произнести эти слова, какъ за спиною его кто-то крикнулъ хриплымъ голосомъ:

— Че-ла-екъ! три стакана лимонаду!

Аристархъ Ѳедоровичъ повернулся въ ту сторону — и не мало удивился, увидѣвъ, что три стакана лимонада потребованы были однимъ господиномъ.

То былъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати, въ свѣтлозеленомъ фракѣ съ мѣдными охотничьими пуговицами; волосы его свѣшивались длинными, жиденькими прядями по обѣимъ сторонамъ исхудалаго лица, покрытаго веснушками и сохранившаго выраженіе совершеннѣйшаго идіотизма. Передъ нимъ стояла бутылка шампанскаго и стаканъ, наполненный тою же влагой. Зеленый фракъ потребовалъ вина, очевидно, для того только, чтобъ упитывать скатерть, потому-что, не прикасаясь губами къ стакану, поминутно подливалъ изъ бутылки. Въ ту минуту, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ обернулся, незнакомецъ пролилъ значительную часть шампанскаго на столъ, пристально взглянулъ на него и самодовольно улыбнулся.

— Какое есть мороженое? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обращаясь къ слугѣ послѣ того, какъ тотъ поставилъ лимонадъ.

— Ананасъ, фисташка, земляника, лимонъ-съ...

— Хорошо, любезный, дай мнѣ порцію ананаса.

— Че-ла-екъ! десять порцій ананаса! закричалъ зеленый фракъ, бросая значительный взглядъ на величаваго сосѣда.

Балахновъ вопросительно посмотрѣлъ на слугу.

— Молодой Пузакинъ-съ, шепнулъ слуга, принимая подносъ.

— Постой, любезный; мороженое, вѣрно, у васъ не очень хорошо, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, останавливая слугу ради смѣха и желая посмотрѣть, чѣмъ можетъ кончиться сцена: — принеси-ка ты мнѣ лучше стаканъ чаю... слышишь?...

— Че-ла-екъ! прокричалъ на этотъ разъ съ какимъ-то азартомъ г. Пузакинъ: — десять стакановъ чаю!

— Съ лимономъ, произнесъ Балахновъ.

— Съ лимономъ! подхватилъ Пузакинъ, бросая торжествующій взглядъ на сосѣда.

Аристархъ Ѳедоровичъ отвернулся къ двери и засмѣялся;

но почти въ ту же секунду лицо его приняло величавое и даже строгое выраженіе. Причина такой внезапной перемѣны заключалась въ томъ, что въ дверяхъ показалась фигура Аполлона Егоровича Дрянкова. Обстоятельство это, какъ каждый легко себѣ представитъ, не произвело бы на Балахнова никакого дѣйствія, еслибъ Дрянковъ былъ одинъ; но дѣло въ томъ, что Дрянкова сопровождало нѣсколько молодыхъ людей, въ числѣ которыхъ особенно бросались въ глаза: вертлявый, бѣлокурый юноша, молодой человѣкъ съ встрепанными черными волосами и блуждающимъ взоромъ и еще какой-то мрачный господинъ. Проникнутый заранѣе тою мыслью, что Дрянковъ, вѣрно, не пропустилъ случая прихвастнуть новымъ товарищамъ дружбою съ знаменитымъ владѣльцемъ Ханскихъ-Прудовъ, Аристархъ Ѳедоровичъ принялъ строгій видъ единственно съ тою цѣлью, чтобъ сразу опредѣлить въ мнѣніи молодыхъ людей настоящія свои отношенія къ Дрянкову и показать имъ то неизмѣримое разстояніе, какое можетъ находиться между проживальщикомъ и его благодѣтелемъ. На этомъ основаніи, выждавъ минуту, когда Дрянковъ и его спутники выровнялись со столомъ, Аристархъ Ѳедоровичъ кивнулъ Дрянкову головой и сказалъ снисходительно покровительствующимъ тономъ:

— А, и ты здѣсь! зачѣмъ пожаловалъ, любезный?...

Маневръ этотъ не удался, однакожъ, Аристарху Ѳедоровичу: товарищи Аполлона Егоровича, вмѣсто того, чтобъ остановиться съ почтеніемъ, стремительно бросились къ Пузакину, который, какъ только завидѣлъ ихъ, вскочилъ съ своего мѣста и, потрясая въ воздухѣ стаканомъ, прокричалъ троекратное „ура!“ Что-жъ касается до Дрянкова, онъ пробормоталъ Аристарху Ѳедоровичу какой-то несвязный отвѣтъ, выпрямился и, придавъ лицу своему экспрессію, преисполненную чувства собственнаго достоинства, послѣдовалъ тотчасъ же за своими товарищами.

Аристархъ Ѳедоровичъ презрительно усмѣхнулся и покосился на сосѣдній столъ.

— Ваня! закричалъ молодой человѣкъ съ блуждающимъ взоромъ, обращаясь къ Пузакину: — Ваня, рекомендую тебѣ одного изъ знаменитыхъ нашихъ писателей: господинъ Дрянковъ! заключилъ онъ, восторженно указывая на автора „Непризнанной Индѣйки“.

— Шампанскаго! воскликнулъ Пузакинъ, протягивая правую руку писателю, тогда какъ лѣвая рука его размахивала въ воздухѣ.

Аполлонъ Егоровичъ взглянулъ на Балахнова и покраснѣлъ отъ удовольствія.

— Ваня, промолвилъ мрачный господинъ: — завтра же посылай взять двадцать экземпляровъ...

— „Непризнанной Индѣйки“... геніальная вещь! подсказалъ вертлявый юноша.

— Уррра! прокричалъ Пузакинъ. — Милостивый государь, присовокупилъ онъ, неожиданно обращаясь къ Балахнову: — не прикажете ли бакальчикъ, такъ, знаете, для компаніи?...

— Благодарю васъ, отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ явнымъ пренебреженіемъ. Затѣмъ онъ поспѣшилъ приподняться съ своего мѣста, подмигнулъ лакею, подошелъ къ буфету, расплатился и вышелъ на крыльцо.

Но такъ ужъ, вѣрно, написано было въ книгѣ судебъ, что Аристархъ Ѳедоровичъ долженъ былъ неминуемо встрѣтить въ этотъ вечеръ всѣхъ своихъ знакомыхъ. Едва ступилъ онъ на первую ступень лѣстницы, какъ прямо, носъ къ носу, столкнулся съ Бобоховымъ.

— Ахъ, мсьё Балахновъ! чрезвычайно пріятно!... произнесъ выскочка самодовольно.

— Гуляете? разсѣянно спросилъ Балахновъ.

— Какое гулянье, помилуйте! Я весь день отыскиваю Тохтамышева и не могу найдти его! Не знаю, право, куда дѣвалась эта разсѣянная голова. Ахъ, кстати: не видали ли вы его въ вокзалѣ?...

— Нѣтъ, сухо отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, причемъ брови его нахмурились и на лицѣ его проступила краска негодованія.

— Представьте, что онъ со мной надѣлалъ... разумѣется, все это вышло нечаянно: бѣдный Arcadie самъ не подозрѣвалъ этого; чрезвычайно непріятно, тѣмъ неменѣе... Извольте видѣть... Тутъ Бобоховъ принялся сообщать сосѣду извѣстную исторію о трехъ музыкантахъ.

— Согласитесь, чрезвычайно непріятно! А впрочемъ, хи-хи-хи!... разумѣется, все это вздоръ и пустяки! Не далѣе, какъ сегодня утромъ, я завернулъ къ сестрѣ Тохтамышевой; нынче,

какъ нарочно, пятница — пріемный день, народу съѣхалось множество, почти вся аристократія. Я разсказалъ кой-кому свою исторію, и всѣ, конечно, поспѣшили обнадежить меня; всѣ единодушно сказали, чтобъ я успокоился насчетъ этихъ музыкантовъ, которые ни подъ какимъ видомъ не могутъ отойдти отъ меня. Мнѣ хотѣлось бы только сообщить все это Тохтамышеву: такой, знаете, добрый, простой малый; онъ ужасно огорчится, если не предупредить его, что дѣло это не будетъ имѣть для меня никакихъ послѣдствій... Какъ вы думаете, мсьё Балахновъ, вѣдь неправда ли, не можетъ быть никакихъ послѣдствій?...

— Я ничего этого не знаю, холодно сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ. Тутъ онъ остановился, и на тонкихъ губахъ его показалась едва-замѣтная улыбка, выразившая, однакожъ, очень ясно удовольствіе удовлетворенной мести.—Я знаю только, продолжалъ онъ: — знаю... (тутъ лицо его приняло внезапно такое спокойно-величественное выраженіе, что выскочка невольно опустилъ глаза) знаю, что еслибъ вы имѣли тогда дѣло только со мною, васъ, безъ сомнѣнія, не постигли бы всѣ эти непріятности... Зачѣмъ не продали вы мнѣ тогда имѣнія?

Выскочка, пораженный внезапнымъ величіемъ горшковскаго мужа, не смѣлъ возобновить разговора впродолженіе нѣсколькихъ секундъ, и уже не прежде, какъ черты Балахнова разгладились до степени физіономіи обыкновеннаго смертнаго, произнесъ:

— Чрезвычайно сожалѣю...

— И сожалѣйте, сожалѣйте! вы вправѣ сожалѣть! подхватилъ Балахновъ, возвышая голосъ и выпрямляя грудь: — сожалѣйте, потому-что, имѣя дѣло съ благородными людьми, пріобрѣтаешь ихъ доброе расположеніе; а добрымъ расположеніемъ честныхъ и благородныхъ людей пренебрегать не должно!... Да, впрочемъ, что объ этомъ толковать! что прошло, того не воротишь! Скажите-ка лучше, долго ли располагаете вы остаться еще въ бѣлокаменной?... заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обводя спокойнымъ взоромъ толпы гулявшихъ.

— Не знаю-съ, недѣлю, дня четыре, день, можетъ-быть, какъ вздумается; я, знаете, ни въ чемъ не люблю стѣснять себя: я люблю комфортъ, confor; а вы, мсьё Балахновъ, долго еще здѣсь останетесь?...

— Не думаю; время разстаться съ бѣлокаменной Москвою; пора домой, пора наконецъ...

— На выборы... подсказалъ Бобоховъ: — да и мнѣ также не мѣшаетъ поспѣшить... Я, какъ вы знаете, обѣщалъ свой голосъ Кошкину...

— Поѣзжайте, поѣзжайте! произнесъ, блѣдиѣя, Аристархъ Ѳедоровичъ, между-тѣмъ, какъ глаза его заискрились такимъ свѣтомъ, котораго не могли даже затмить лучи заходящаго солнца: — поѣзжайте, отдайте вашъ голосъ кому угодно... Въ этомъ каждому предоставляется полная свобода... Замѣтьте, однакожъ, почтенный мой, примолвилъ онъ, закидывая назадъ голову и возвышая постепенно голосъ, причемъ всѣ черты его лица приняли снова величественное выраженіе гордости и рѣшительнаго презрѣнія: — замѣтьте себѣ, что прямизна и безпристрастіе — чувства благороднѣйшія, должны въ этихъ случаяхъ управлять совѣстью каждаго изъ насъ... Будьте здоровы!...

Проговоривъ все это твердымъ, рѣшительнымъ голосомъ и бросивъ на выскочку выразительный, полный и могущественный взглядъ, Аристархъ Ѳедоровичъ медленно спустился съ лѣстницы вокзала и вскорѣ исчезъ въ толпѣ, которая замѣтно начинала рѣдѣть на дорожкахъ Петровскаго парка.

VI.

Путевыя впечатлѣнія Ивана Дормидоновича Бобохова и пребываніе его въ родительскомъ домѣ.

Не взирая, однакожъ, на огромныя связи и безпредѣльное покровительство аристократическихъ особъ, посѣщавшихъ въ пріемные дни салонъ госпожи Тохтамышевой, не смотря даже на то, что всѣ эти особы почли непремѣнною своею обязанностью успокоить Бобохова и обнадежить его въ благополучномъ результатѣ исторіи, затѣянной по поводу Габріельскаго, Паганинова и Серенадина, Степанчиковъ не замедлилъ наклеить Бобохову такой страшный носъ, такой носъ, который настращалъ выскочку и надѣлалъ ему много безпокойствъ. На третій день послѣ вышеописанныхъ происшествій, Бобоховъ получилъ изъ своего квартала billet-doux, въ которомъ ясно зна-

чилось, что полиція, предупрежденная своевременно нѣкіимъ Афанасьемъ Никитинымъ, сыномъ Степанчиковымъ, обязывала подпискою нѣкоего Ивана Дормидонова, сына Бобохова, не вывозить до времени изъ Москвы трехъ музыкантовъ въ томъ случаѣ, если самъ онъ пожелаетъ оставить эту столицу. Такое ограниченіе, согласитесь сами, должно было подѣйствовать самымъ непріятнымъ, можно даже сказать, чрезвычайно непріятнымъ образомъ на человѣка, проникнутаго сознаніемъ собственнаго своего значенія и любившаго притомъ комфортъ, confort! Главная непріятность состояла въ томъ, что обстоятельство это ясно убѣждало Бобохова въ необходимости удовлетворить Степанчикова семью тысячами. Взвѣсивъ въ пустой головѣ своей выгоды и невыгоды такого положенія, Бобоховъ рѣшился удовлетворить Степанчикова; для этого неизбѣжно надлежало ему ѣхать въ городъ Малиновъ, надлежало даже ѣхать какъ можно скорѣе и повидаться съ матушкой. Такой внезапный припадокъ сыновней любви возбуждаемъ былъ, съ одной стороны, тѣмъ, что въ карманѣ его не имѣлось необходимыхъ денегъ; съ другой стороны, Бобоховъ имѣлъ полное право разсчитывать на слабость материнскаго сердца, которое, нѣтъ сомнѣнія, тронуто будетъ сильнѣйшимъ образомъ, если принять въ соображеніе, что сынъ впродолженіе цѣлыхъ двухъ лѣтъ ни разу не заглядывалъ къ матери, не смотря на близкое разстояніе между Горшковымъ и Малиновымъ. По этому поводу, онъ принялся тотчасъ же приводить себѣ на память разныя интересныя исторійки извѣстнаго сорта и даже отрывчатыя фразы, посредствомъ которыхъ всего успѣшнѣе можно было бы подѣйствовать на старушку. Штука въ томъ, что старушка была весьма умная старушка и далеко не принадлежала къ числу тѣхъ матерей, которыя умиляются при одномъ взглядѣ на родимое дѣтище. Бобоховъ не могъ судить о первомъ; что-жъ касается до втораго, онъ судилъ о немъ по опыту. Всякій разъ, когда представлялся ему случай рисоваться передъ товарищами и затѣмъ овладѣвала имъ мысль выставлять на показъ свои джентльменскія свойства — свойства, заключавшіяся, по мнѣнію Бобохова, въ томъ, чтобъ подтрунивать надъ самыми естественными душевными побужденіями, отвергать въ себѣ присутствіе всякаго добропорядочнаго чувства и краснѣть за родныхъ потому только, что они не князья и не графы — онъ называлъ старушку простой, но хит-

рой купчихой, придавая ей въ то же время и другія, болѣе или менѣе рѣзкія особенности.

Убѣждаясь заранѣе въ успѣхѣ своей поѣздки и вызывая на лицѣ своемъ цѣлый рядъ лучезарныхъ улыбокъ, которыя ясно свидѣтельствовали, что онъ даже не сомнѣвался въ могущественномъ вліяніи сантиментальныхъ исторій на сердце матери, Бобоховъ отдалъ приказаніе, чтобъ къ завтрашнему утру все было готово къ отъѣзду. Остальная часть дня посвящена была имъ на укрощеніе непріятнаго чувства, возбуждавшагося въ душѣ его тѣмъ, что приведется, можетъ статься, прожить нѣсколько дней въ ненавистномъ Малиновѣ.

При всемъ томъ, на другое утро, послѣ полученія полицейскаго billet-doux, выскочка покинулъ аристократическую гостинницу и выѣхалъ въ одну изъ заставъ древней столицы.

Утро было чудеснѣйшее. Наступалъ одинъ изъ тѣхъ сѣрыхъ, но теплыхъ и сухихъ дней, которые составляютъ неотъемлемую принадлежность сентября мѣсяца и дѣлаютъ изъ него чуть ли не самую поэтическую эпоху года въ нашемъ отечествѣ. Знойный воздухъ лѣта, напитанный тяжелыми испареніями, застилавшими горизонтъ, очищенный теперь первыми холодными утренниками, получаетъ прозрачность и легкость необыкновенную; отдаленнѣйшіе предметы, и даже самый горизонтъ, рисуются теперь чисто и ясно. Запоздалыя птицы чирикаютъ какъ-то тоскливо, въ разладъ, и рѣдко нарушаютъ невозмутимую тишину, смѣнившую суетливый, шумный говоръ лѣта, когда повсюду раздавался скрипъ навьюченныхъ снопами телѣгъ, серебряное ржаніе жеребенка, жужжаніе косъ, голоса поселянъ, и все это, сливаясь въ одинъ общій нестройный, но тѣмъ неменѣе привлекательный гулъ, съ трескомъ кузнечика, звонкими хорами птицъ, пѣснями жницъ, наполняло оживленную, движущуюся окрестность. Теперь все молчитъ и какъ-бы предается мирному, сладкому отдыху послѣ тяжкаго, дневнаго труда.

Хорошо ѣхать въ такой день по русской дорогѣ. Я утверждаю это положительно, хотя не берусь объяснить того впечатлѣнія, какое производятъ на душу тихія картины осени: знаю только то, что, по поводу ихъ, душа обрѣтаетъ ясность и спокойствіе, которыхъ ни въ какомъ случаѣ не дастъ никакой городъ въ свѣтѣ, какъ бы онъ ни былъ великолѣпенъ.

Съ Бобоховымъ тѣмъ неменѣе, однакожъ, происходило совсѣмъ другое. Съ каждымъ поворотомъ колеса, душа его наполнялась тревожно безпокойнымъ чувствомъ. Читатель долженъ припомнить, что городъ Малиновъ, куда направлялся теперь выскочка былъ его родиной; въ Малиновѣ протекло его дѣтство. Въ этомъ городѣ народонаселеніе состояло преимущественно изъ купцовъ, и матушка Бобохова, равно какъ покойный отецъ его, занимали въ немъ съ незапамятныхъ временъ самое видное и почетное мѣсто; сыну, слѣдовательно, благодаря такой популярности, не предстояло ровно никакой возможности озадачивать тамъ кого-бы то ни было своимъ аристократизмомъ: здѣсь въ памяти каждаго живо еще рисовался Ваня Бобоховъ, шествующій по воскреснымъ днямъ въ соборъ, въ сопровожденіи тятеньки, который плавно выступалъ, разглаживая свою бѣлую, окладистую бородку...

Желая, вѣроятно, заглушить бурный потокъ безпокойныхъ мыслей быстрымъ движеніемъ экипажа, Бобоховъ принялъ рѣшительное намѣреніе пролетѣть, какъ можно скорѣе, пространство между ненавистнымъ Малиновымъ и Москвою. Чтобъ скорѣе достигнуть такой цѣли, онъ лично выскакивалъ на каждой станціи изъ кареты, снабжалъ ямщиковъ приличными эпитетами, размахивалъ неистово руками, топалъ ногами и грозилъ смотрителямъ выразить свое неудовольствіе въ почтовой книгѣ; причемъ каждый могъ вдоволь любоваться фуражкой съ краснымъ околышемъ, появившейся почему-то на головѣ выскочки вскорѣ послѣ московской заставы. Во все продолженіе дороги онъ не переставалъ высовывать свои щеки то изъ одного окна кареты, то изъ другаго, не переставалъ кричать „пошелъ!“ и укротилъ свое негодованіе повидимому тогда только, когда, наконецъ, на другой день къ вечеру, началъ показываться городъ Малиновъ.

Здѣсь онъ приказалъ остановиться, разспросилъ у ямщика, можно ли миновать главныя улицы и обогнуть лугами значительную часть города. Получивъ утвердительный отвѣтъ, онъ отдалъ строжайшее приказаніе Корнею, чтобъ тотъ ни подъ какимъ видомъ не смѣлъ кланяться съ знакомыми лицами; затѣмъ Бобоховъ опустилъ шторы и поѣхалъ далѣе.

Малиновъ показывался весьма живописно, не смотря на то, что располагался на мѣстности такой же гладкой и ровной, какъ

ландкарта, на которой означенъ онъ едва видною точкою. Благодаря обширной хлѣбной торговлѣ, производимой обывателями, городъ замыкался со всѣхъ сторонъ безчисленнымъ множествомъ вѣтряныхъ мельницъ, которыя въ настоящую минуту неистово размахивали своими рѣшетчатыми крыльями. Солнце садилось въ отдаленномъ плоскомъ горизонтѣ прямо за городомъ, и зеленовато-прозрачное небо, исполосованное на закатѣ длинными синими тучами, принимало издали видъ безграничной рѣки, по которой идетъ ледъ; форштаты или слободки, примыкавшія къ городу съ двухъ противоположныхъ концовъ, окутались уже черною матовою тѣнью; между-тѣмъ, самъ Малиновъ, потопленный фруктовыми садами, весело выглядывалъ изъ фіолетоваго тумана макушками своихъ церквей и бѣлыхъ каменныхъ домовъ, освѣщенныхъ съ лѣваго бока огненными пятнами заката; верхнія стёкла оконъ и желѣзныя кровли сверкали ослѣпительнымъ блескомъ, дѣлавшимся ярче и ярче по мѣрѣ того, какъ синія тучи опускались къ горизонту. Свѣжій вечерній вѣтеръ пощипывалъ носъ престарѣлому Корнею, возсѣдавшему на козлахъ, и доносилъ до его старческаго слуха отдаленные звуки колокола, возвѣщавшіе окончаніе всенощной.

Корней, а за нимъ и ямщикъ, сняли шапки и перекрестились.

„Пошелъ!“ глухо раздалось позади.

Карета, заключавшая въ себѣ драгоцѣнную особу Бобохова, достигнувъ вѣтряныхъ мельницъ, круто свернула влѣво и поѣхала лугами. Съ этой стороны мѣстность была совершенно открыта; послѣдніе лучи солнца мягко скользили по травѣ, обращая пыль, поднятую возвращающимся стадомъ, въ золотое кудрявое облако, изъ середины котораго фантастически высовывались головы и ноги животныхъ, наполнявшихъ окрестность дружнымъ блеяньемъ; картина оживлялась группами богомольцевъ, тащившихся по окраинѣ дороги. Всѣ они, выравнивалсь съ каретой, останавливались и отвѣшивали поклоны; ямщикъ переносилъ возжи въ лѣвую руку, приподымалъ правою рукою шапку и встряхивалъ головой; Корней кивалъ слегка направо и налѣво.

„Пошелъ! пошелъ!“ глухо раздавалось за зелеными шторами экипажа.

Лошади, почуявъ родимое стойло, дружно встрепенулись,

замахали хвостомъ и понеслись крупною рысью. Вскорѣ копыты ихъ застучали по мосту и зазвенѣли по мостовой. На улицахъ было людно и весело. Почти у каждыхъ воротъ толпились мѣщанки, прикутанныя въ цвѣтныя нанковыя шубейки, подбитыя зайчикомъ; дѣти бѣгали въ-запуски по всѣмъ направленіямъ, насовываясь иной разъ весьма неудачно на толстаго купца въ синемъ длинномъ кафтанѣ, медленно выступавшаго съ тростью въ одной рукѣ, съ клѣтчатымъ платкомъ въ другой; лавки запирались; желтые, долговязые прикащики кланялись мимо проходившимъ хозяевамъ; кумушки пронзительно перекликались и живо тараторили отдѣльными кучками по серединѣ улицы; въ верхнихъ окнахъ мелькали бѣлыя бороды, багровыя лица и мѣдные самовары, пускавшіе струи пара... Оживленіе было повсюду; нѣсколько трактировъ, изъ оконъ которыхъ, украшенныхъ цвѣтными ставнями, вылетали плачевные звуки органа — свидѣтельствовали достаточно о промышленномъ состояніи города...

„Пошелъ! пошелъ!“ раздавалось изъ кареты.

Согласно наставленію, данному Бобоховымъ еще на половинѣ дороги, карета его не остановилась у подъѣзда матушкина дома, а въѣхала прямо на мощеный дворъ, отличавшійся необыкновенною чистотою; его обступали со всѣхъ сторонъ каменные сараи, службы и кладовыя, наполненныя всякимъ добромъ, и преимущественно бочками съ огурцами, арбузами, осетриной, бѣлугой, грибами, которыхъ насаливала богатая старуха въ началѣ каждаго года для домашняго обихода. Надъ крышами амбаровъ и конюшень высоко поднимались полукруглыя макушки яблонь и грушъ, усѣянныхъ плодами.

Бобоховъ выпрыгнулъ съ необыкновенною поспѣшностью изъ кареты и, не обращая никакого вниманія на двухъ-трехъ старухъ, выбѣжавшихъ къ нему на встрѣчу, поднялся на маленькое крылечко, а оттуда юркнулъ въ сѣни.

— Эй! крикнулъ онъ недовольнымъ голосомъ. Запыленный съ ногъ до головы Корней почтительно остановился въ дверяхъ.

— Спросить, пусты ли нижнія комнаты!...

— Пустёхоньки, батюшка, пустёхоньки, Иванъ Дорифонычъ!... воскликнула одна изъ старухъ, радостно протискиваясь

между Корнеемъ и косякомъ двери: — пожалуйте. Сколько лѣтъ, батюшка... какъ помолодѣли!...

— Хорошо, хорошо, ступай! нетерпѣливо возразилъ Бобоховъ, поворачиваясь спиною и быстро направляясь къ клеенчатой двери, которая вела въ означенныя комнаты, занимавшія нижній этажъ дома.

— Иванъ Дормидонычъ... проговорилъ Корней, когда баринъ вступилъ въ покои.

— Что такое? крикнулъ Бобоховъ, не любившій вообще, чтобъ люди позволяли себѣ подымать голосъ въ его присутствіи.

— Сказываютъ, сударь, маменьки... дома нѣту... изволили уѣхать на богомолье...

Извѣстіе это озадачило сильнѣйшимъ образомъ выскочку. Матушка его имѣла обыкновеніе отправляться на богомолье цѣлымъ домомъ, шествовать пѣшкомъ и, по этому самому, оставаться въ отлучкѣ долгое время.

— Когда она уѣхала? спросилъ Бобоховъ, бросая на столъ фуражку съ краснымъ околышемъ.

— Третьяго дня-съ...

— Съ кѣмъ?... спросилъ выскочка, обнаруживая сильное безпокойство...

— Съ сестрицами... Анной Дормидоновной, Раисой Дормидоновной и Варварой Дормидоновной. Черезъ недѣлю изволятъ, говорятъ люди, назадъ пожаловать...

Обстоятельство это окончательно взорвало выскочку. Мысль, что эти три сестры, давнымъ-давно замужнія и обремененныя дѣтьми, увиваются подлѣ матери, ухаживаютъ за ней, имѣя въ виду корыстолюбивыя цѣли, возмутила сильнѣйшимъ образомъ душу Бобохова, судившаго всегда о чувствахъ сестёръ своихъ по собственнымъ своимъ чувствамъ. Такая мысль давно его безпокоила. Главная причина его двухлѣтней разлуки съ матерью заключалась именно въ томъ, что онъ возненодовалъ на бѣдныхъ родственницъ, которыми окружила себя старушка, вопреки убѣжденіямъ сына. По его соображеніямъ, родственницы должны были неминуемо отнимать у него часть наслѣдства, и предположеніе это основывалось на томъ, что старушкѣ предоставлено было располагать наслѣдствомъ по своему произволу. „Недоставало только сестёръ; онѣ получили свою долю — чего-жъ имъ

еще надо? Зачѣмъ онѣ поминутно ѣздятъ къ матери? Такъ, нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія: пользуясь отсутствіемъ брата, онѣ согласились не покидать матери, окружить ее вниманіемъ и этимъ способомъ заставить старушку окончательно охладѣть къ сыну, который не заботился даже извѣщать ее письмами!“

Съ такими похвальными и болѣе или менѣе честными помыслами вступалъ жалкій выскочка въ отеческій домъ.

Съ другой стороны, Бобохова не мало также бѣсило и то, что приведется прожить цѣлую недѣлю въ ненавистномъ Малиновѣ, гдѣ каждый почти купчикъ приходился ему сродни; совсѣмъ тѣмъ, онъ рѣшился дождаться возвращенія матери. Не сомнѣваясь нимало, что всѣ городскіе бѣдняки, облагодѣтельствованные старушкой, и родственники преимущественно, поспѣшатъ наводнить домъ, какъ скоро узнаютъ о пріѣздѣ Ивана Дормидоновича, Бобоховъ принялъ намѣреніе подрѣзать сразу дерзкій замыселъ: онъ замкнется въ отдаленныхъ комнатахъ и попросту, безъ церемоній, велитъ сказать, что никого не хочетъ видѣть. Онъ обратился уже къ Корнею, чтобъ передать ему свою непреклонную волю, какъ вдругъ на порогѣ комнаты показалась сгорбленная фигура старичка въ длинномъ гороховомъ сюртукѣ.

Старикъ былъ лысъ совершенно, и только нѣсколько желтоватыхъ волосъ, зачесанныхъ съ праваго уха на лѣвое, украшали глянцовитое его темя; красненькое, туповатое, отчасти даже глуповатое лицо его выкупалось какъ нельзя лучше выраженіемъ безграничнаго добродушія, разлитаго во всѣхъ чертахъ и свѣтившагося даже сквозь мутныя стёкла круглыхъ мѣдныхъ очковъ, сидѣвшихъ у него на носу.

Это былъ учитель Бобохова и многочисленныхъ сестёръ его. Старуха Бобохова, привыкнувшая къ учителю и движимая, сверхъ того, чувствомъ благодарности, оставила его въ своемъ домѣ послѣ того, какъ разсѣялись дѣти; она дала ему комнату и снабжала его всѣмъ нужнымъ для жизни; съ годами, Семенъ Панкратьевичъ (такъ звали старика) сдѣлался своимъ, роднымъ человѣкомъ; семейство купчихи почиталъ онъ своимъ собственнымъ семействомъ — и мудренаго тутъ ничего нѣтъ: дѣтей носилъ онъ почти на рукахъ, а съ старухою прожилъ въ одномъ домѣ тридцать-пять лѣтъ сряду.

Увидѣвъ прежняго своего питомца, Семенъ Панкратьевичъ

простеръ впередъ руки и заковылялъ поспѣшно къ Бобохову, который между-тѣмъ не трогался съ мѣста и нетерпѣливо пощипывалъ усики.

— Ваня!... Ваничка!... дружокъ ты мой!... Ахъ, Господи, Господи!... вотъ наконецъ-то надоумилъ тебя Создатель!... Какъ же это ты два-то года-то... а? слышь: цѣлыхъ два года, шутка! два года не навѣщалъ насъ! радостно говорилъ старикъ, обнимая своего питомца и горячо цѣлуя его въ обѣ щеки.

— Хорошо, хорошо... здравствуйте, Семенъ Панкратьичъ, хорошо!... бормоталъ сквозь зубы Бобоховъ, корчась въ объятіяхъ старика и слегка отклоняя его рукою:—хорошо!... Только знаете ли что, Семенъ Панкратьичъ... примолвилъ онъ, освобождаясь изъ рукъ учителя и прищуривая свои глазки.

— Ваня... хи-хи-хи!... Ваничка... хи-хи...

— Я, знаете, кажется, немножко выжилъ изъ Ваничекъ... знаете, странно какъ-то: Ваничка, хи-хи-хи...

Радостное чувство, наполнявшее въ эту минуту душу старика, не дало ему возможности замѣтить взглядовъ и холодности питомца; онъ продолжалъ суетиться вокругъ него и пожимать ему руки.

— Какъ не выжить-то! какъ не выжить! Вѣдь тебѣ, голубчикъ, скоро тридцать лѣтъ! восклицалъ онъ: — да будь тебѣ хоть сорокъ, хоть пятьдесятъ лѣтъ, для меня все одно: все же ты останешься для меня Ваничкой; я вѣдь на рукахъ тебя носилъ!... Ну, слава тебѣ, Господи, что ты вздумалъ навѣстить насъ. Ужъ какъ я радъ, какъ радъ-то!...

— Я также очень радъ... проговорилъ разсѣянно Бобоховъ.

Тутъ онъ подошелъ къ столу, положилъ на фуражку часы свои, разстегнулъ жилетъ и пробормоталъ подъ носъ: — ты! ты! какъ это мило, наивно, naiff, naive!...

— Нѣтъ, Ваничка, продолжалъ старикъ, потряхивая головою и восторженно всплескивая руками: — нѣтъ, какъ ужъ, я чай, маменька-то рада будетъ, какъ она будетъ рада! Какъ обрадуются тебѣ сестрицы!... Повѣришь ли, словно сердце ихъ чуяло: всю недѣлю, все время передъ богомольемъ, все о тебѣ говорили...

Тутъ старикъ пустился въ объясненія, не замѣчая, что питомецъ не думалъ даже о томъ, чтобъ его слушать.

— А знаете ли что, почтеннѣйшій Семенъ Панкратьичъ?

наконецъ сказалъ Бобоховъ, нетерпѣливо поворачиваясь къ старику: — вотъ, видите ли... я, конечно, очень радъ васъ видѣть, но вы сами знаете: я усталъ; дорога скверная... Чрезвычайно непріятно съ вами разстаться; но, право, чувствую необходимость отдохнуть...

— А чайку-то? какъ же? неужь-то ты не накушаешься прежде чайку?... Какъ это можно! что ты, что ты! я сейчасъ же велю нашей кухаркѣ, Акулинѣ, поставить самоваръ...

— Нѣтъ, не безпокойтесь; у меня есть для этого свой камердинеръ; къ тому же, я вечеромъ никогда не пью чаю... возразилъ Бобоховъ, слѣдуя за учителемъ съ тою цѣлью, чтобъ удобнѣе было выпроводить его: — итакъ, прощайте, почтенный Семенъ Панкратьичъ, доброй ночи, до завтра. Надѣюсь завтра вы навѣстите меня?...

— Завтра! Ахъ ты, чудакъ Дормидонычъ, право, чудакъ Дормидонычъ! Да какъ же! чѣмъ свѣтъ прибѣгу къ тебѣ! Шутка, два года не видались!...

— Чрезвычайно благодаренъ... Я долженъ только предувѣдомить васъ, что, такъ какъ я чудакъ, я встаю не раньше двѣнадцати часовъ...

— А Богъ съ тобой, спи хоть до пяти, мнѣ какое дѣло? Я все-таки приду, погляжу, все ли тебѣ приготовили, за всѣмъ ли присмотрѣли...

— Благодарю васъ... у меня для этого есть свой камердинеръ.

— А мнѣ какая нужда до твоего камердинера? Я самъ за всѣмъ хочу приглядѣть! вѣдь не въ чужой домъ какой заѣхалъ... А что, Ваничка, а ну-ка, ну-ка, скажи-ка ты мнѣ: я чай, радъ, что Богъ привелъ побывать дома, а? свой уголокъ-то лучше? а?... вымолвилъ старикъ, схватывая руку питомца, причемъ глаза его, выглянувшіе поверхъ очковъ, принялись лукаво подмигивать.

— Какъ же, какъ же... я тронутъ до слёзъ. Прощайте, почтенный Семенъ Панкратьичъ, сказалъ Бобоховъ, отворяя ногою дверь прихожей.

— Прощай, Ваничка. Я и забылъ, что тебѣ отдохнуть-то надо, заболтался... спи хорошенько, Христосъ съ тобой...

— Доброй ночи! сухо отвѣчалъ Бобоховъ, захлопывая дверь.

Фамильярность старика не могла быть ни въ какомъ случаѣ

оскорбительна Бобохову; но тѣмъ не менѣе она показалась ему совершенно лишнею и неумѣстною. „Что за Ваничка! Ваничка!... Скучно, однако-жъ, если онъ будетъ надоѣдать мнѣ такимъ образомъ каждый день!... Ваничка!...“ думалъ Бобоховъ, направляясь въ заднюю комнату, гдѣ приготовлена была для него постель и гдѣ дожидался его Корней. Повторивъ камердинеру, чтобъ ни подъ какимъ видомъ не смѣлъ подпускать къ двери родственниковъ, Бобоховъ потонулъ въ перинѣ и приказалъ взять свѣчку. Не взирая на усталость послѣ дороги, онъ долго не могъ заснуть: тревожно-безпокойныя мысли, возбужденныя загадочнымъ поведеніемъ сестеръ, которыя, бывъ замужемъ и имѣя свое собственное семейство, не переставали навѣщать старухумать, возникали вереницами въ головѣ выскочки и не давали ему покоя. Подъ вліяніемъ такихъ мыслей, первая ночь, проведенная въ отеческомъ домѣ, была не изъ самыхъ пріятныхъ ночей Бобохова.

Все это способствовало къ тому, что на другой день онъ всталъ дѣйствительно очень поздно. Напившись чаю и отдѣлавшись отъ Семена Панкратьевича подъ тѣмъ предлогомъ, будто ему необходимо было писать дѣловыя письма, Бобоховъ принялся расхаживать по всѣмъ нижнимъ комнатамъ, проклиная обстоятельства, заставившія его пріѣхать въ Малиновъ.

Жизнь Малинова не представляла въ самомъ дѣлѣ ничего особенно интереснаго чоловѣку, непринимавшему дѣятельнаго участія въ хлѣбной торговлѣ; тѣмъ менѣе могла она доставить удовольствія Бобохову, который, кромѣ того уже, что считалъ себя поставленнымъ въ фальшивое положеніе, не смѣлъ выглянуть изъ двери, боясь натолкнуться на какую-нибудь мучную бороду, которая, чего добраго, бросится обнимать его на улицѣ и назоветъ во всеуслышаніе племянничкомъ! Бобоховъ скучалъ страшно, къ совершенному отчаянію Семена Панкратьевича, который тщетно изощрялъ всю свою умственную силу, чтобъ пріискать какое-нибудь развлеченіе своему питомцу. На третій день, послѣ своего пріѣзда, выскочка рѣшился уже, въ ожиданіи матушкина возвращенія, отправиться въ Голодаевку, какъ вдругъ одно совершенно неожиданное обстоятельство измѣнило его намѣреніе. Въ то самое утро, какъ мысль уѣхать въ Голодаевку достигала уже до степени убѣжденія, въ квартирѣ выскочки появился содержатель кочующей труппы актёровъ.

Услышавъ о пріѣздѣ г. Бобохова въ городъ Малиновъ, содержатель театра почелъ за непременнѣйшій долгъ засвидѣтельствовать ему свое почтеніе; наслышанный также весьма много о покровительствѣ, какое оказывалъ Иванъ Дормидоновичъ въ прежнее время другимъ труппамъ, появлявшимся въ Малиновѣ, содержатель театра питалъ въ душѣ своей лестную надежду, что Иванъ Дормидоновичъ, какъ меценатъ и, сверхъ того, извѣстный покровитель и поощритель искусства, не оставитъ точно также безъ вниманія настоящую труппу, которая почтетъ за особенное счастіе имѣть своимъ покровителемъ извѣстнаго знатока и дилетанта.

— Вы не ошиблись, я точно dilettan... и всегда покровительствую артистамъ! сказалъ Бобоховъ. — Что-жъ вы хотите, однако-жъ, чтобъ я для васъ сдѣлалъ?...

— Отъ васъ, отъ васъ однихъ, сударь мой, зависитъ успѣхъ нашихъ представленій! съ горячностью воскликнулъ антрепренёръ, прикладывая скомканную шляпу свою къ сердцу, наподобіе того, какъ это дѣлаютъ театральные любовники, когда клянутся въ вѣчной любви: — вашъ оркестръ пользуется давно заслуженною извѣстностью; слава о немъ гремитъ по всѣмъ окрестнымъ уѣздамъ и губерніямъ! такого оркестра — не почитайте это за лесть, я человѣкъ искренній — не найдешь даже въ Москвѣ... Все это заставляетъ предполагать меня, что если-бъ вы дозволили вашему оркестру принять участіе въ нашихъ спектакляхъ...

— Все это прекрасно, перебилъ Бобоховъ, разваливаясь въ креслахъ: — но оркестръ мой находится въ одномъ изъ моихъ помѣстій... а, впрочемъ, это еще ничего. Когда думаете начать спектакли? заключилъ онъ тономъ снисходительнаго покровительства.

Спектакли должны были начаться не ранѣе недѣли. Впрочемъ, все зависѣло отъ Бобохова; антрепренёръ вторично возлагалъ на него всѣ свои надежды.

Послѣдовала пауза, впродолженіе которой Бобоховъ раздумывалъ очень серьёзно о томъ, посадить ли антрепренёра, или заставить его простоять въ почтительномъ уничиженіи передъ своимъ кресломъ. Наконецъ, чувство жалкаго снисхожденія къ бѣдному актёру взяло рѣшительный перевѣсъ въ сердцѣ Бобохова надъ барственною гордостью: онъ пригласилъ антрепре-

нёра занять мѣсто на сосѣднемъ стулѣ. Тутъ начались разспросы о томъ, многочисленна ли труппа, какія именно лица входятъ въ составъ ея, находится ли достаточное количество костюмовъ, декорацій, бутафорскихъ вещей и приведено ли все это въ надлежащій порядокъ. Разспросы эти сдѣланы были съ тою единственною цѣлью, чтобъ поразить антрепренёра глубокими свѣдѣніями дилетанта по части театральнаго управленія. Отвѣты оказались вполнѣ удовлетворительными. Бобоховъ объявилъ, что, принимая въ уваженіе хорошій порядокъ труппы и, благо не было у него въ настоящую минуту никакихъ особенныхъ занятій, приметъ, пожалуй, на себя трудъ надзирать за ходомъ спектаклей и снабдить труппу оркестромъ.

— Вы понимаете, я не хочу, да и не могу себя компрометтировать, примолвилъ онъ, пыжась и надуваясь какъ кузнечный мѣхъ: — если я рѣшаюсь принять участіе въ нашемъ театрѣ, я хочу, слѣдовательно, чтобъ все было хорошо. На этомъ основаніи принесите мнѣ, почтеннѣйшій, во-первыхъ, списокъ пьесъ: я самъ сдѣлаю выборъ репертуара; потомъ присылайте мнѣ сказать каждый разъ, когда начинаются репетиціи: я лично буду на нихъ присутствовать... Что-жъ касается до оркестра, я пошлю за нимъ немедленно.

Антрепренёръ, засѣвшій въ Малиновкѣ съ своею труппою, какъ ракъ на мели, задолжавшій кругомъ и неимѣвшій рѣшительно никакой надежды выпутаться изъ скверныхъ обстоятельствъ, невидѣвшій даже возможности дать спектакля, за неимѣніемъ въ Малиновѣ оркестра, покорился волѣ дилетанта и разсыпался даже передъ нимъ въ благодарственныхъ монологахъ.

Съ уходомъ антрепренёра дано было Корнею приказаніе ѣхать въ Голодаевку и черезъ три дня, никакъ не позже, явиться обратно въ Малиновъ съ оркестромъ. Отъ Малинова до Горшкова считалось сорокъ верстъ, отъ Горшкова до Голодаевки — двадцать. Приготовленія къ отъѣзду должны были занять никакъ не болѣе двухъ часовъ. Бобоховъ не терпѣлъ возраженій. Корней отправился. Дѣло въ томъ, что въ головѣ Бобохова мелькнула слѣдующая счастливая мысль: малиновскіе купцы народъ тугой и подозрительный; они, пожалуй, готовы забрать себѣ въ голову, что Иванъ Дормидоновичъ прячется отъ нихъ, чтобъ скрыть какія-нибудь неблагопріятныя обстоя-

тельства. Заинтересованные его затворничествомъ, они, чего добраго, начнутъ наводить справки и пронюхаютъ въ самомъ дѣлѣ настоящія, плохія обстоятельства Ивана Дормидоновича. Надлежало послѣ всего этого показаться Малинову, но показаться во всемъ великолѣпіи; надлежало развернуться передъ этимъ ненавистнымъ городомъ, привыкшимъ, по какому-то предразсудку, причислять Бобохова къ своимъ членамъ; нѣтъ, пускай же увидятъ эти Малиновцы, пускай убѣдятся они хорошенько, какая неизмѣримая дистанція существуетъ между ними и человѣкомъ образованнымъ, просвѣщеннымъ, развитымъ! Озаренный такою мыслью, Бобоховъ обратилъ прежде всего вниманіе свое на аффишку. Три дня, проведенные имъ за перомъ и бумагой, произвели одинъ изъ тѣхъ chef-d'oeuvres, который надолго останется капитальнымъ образчикомъ въ коллекціи оригинальныхъ объявленій. Во главѣ аффиши значилось, между прочимъ, что малиновскій театръ обратилъ на себя съ нѣкоторыхъ поръ особенное вниманіе г. Б***, одного изъ извѣстнѣйшихъ знатоковъ искусства и дилеттантовъ, diléttan, и что теперь, слѣдовательно, не остается ужъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что публика приметъ такое же точно участіе въ процвѣтаніи малиновскаго театра, который, благодаря этимъ двумъ высокимъ покровителямъ, не замедлитъ стать на ряду съ первоклассными театрами нашего отечества.

Аффиша, прибитая къ углу огромнаго мучнаго сарая, вмѣщавшаго въ себѣ театръ, произвела, какъ каждый легко представитъ себѣ, сильное дѣйствіе на Малиновцевъ.

VII

предлагаетъ на разсмотрѣніе любопытный вопросъ о томъ: слѣдуетъ ли утверждать положительно, что молодое поколѣніе далеко опередило старое.—Фантастическое и вовсе неожиданное появленіе одного стариннаго знакомаго.

Въ Малиновѣ всѣ заговорили о Ванѣ Бобоховѣ и предстоящемъ спектаклѣ. Оркестръ, между-тѣмъ, пріѣхалъ; начались репетиціи. Бобоховъ былъ, однакожъ, не совсѣмъ дово-

ленъ; главная причина его неудовольствія заключалась въ томъ, что оркестръ, безъ Паганинова, Габріельскаго и Серенадина, неминуемо долженъ былъ утратить блистательную свою славу.

Бобоховъ былъ страшно не въ духѣ. Въ одну изъ самыхъ мрачныхъ минутъ его, въ комнату вбѣжалъ Семенъ Панкратьевичъ.

— Ваничка, новость! пріятная, другъ мой, новость! воскликнулъ старикъ: — ты жаловался, дружокъ мой, что нѣтъ у тебя капельмейстера: не тужи; я нашелъ тебѣ капельмейстера!

— Вы? хи-хи-хи!... хорошъ, должно быть! сказалъ Бобоховъ, закидывая руки за фалды фрака и насмѣшливо прищуривая глазки.

— Ей-Богу, Ваничка, нашелъ капельмейстера! я не шучу; самъ сказывалъ мнѣ: „я, говоритъ, управлялъ петербургскими музыкантами“. Такой, знаешь, расторопный, ловкій, говорливый такой... съ усердіемъ описывалъ старикъ, бившійся изо всей мочи, чтобъ разсѣять своего питомца.

— Гдѣ-жъ вы его встрѣтили?

— А видишь ли, дружокъ: пошелъ я на почту посмотрѣть, нѣтъ ли чего отъ маменьки; спрашиваю—нѣтъ, говорятъ, никакихъ, говорятъ, нѣтъ писемъ...

— Хорошо, хорошо; что-жъ дальше?

— Экой ты какой, Ваничка, нетерпѣливый! Погоди, все разскажу: ну, вотъ, и выхожу я съ почты: такъ, знаешь, скучно какъ-то стало; подходитъ ко мнѣ какой-то молодой человѣкъ, такой опрятный, учтивый: „вы, говоритъ, куда, позвольте васъ спросить?“—„Домой, говорю, пора обѣдать“.—„Ну“, говоритъ, „и я съ вами, позвольте проводить васъ?“ — „Очень, говорю, радъ!“ Такой, знаешь, учтивый, внимательный... Слово за словомъ, разговорились; тутъ и узналъ я, что онъ музыкантъ. „Управлялъ“, говоритъ, „оркестрами въ Петербургѣ, а теперь ѣду получать наслѣдство...“

— Отчего-жъ вы не привели его прямо ко мнѣ?

— Да я не смѣлъ обезпокоить тебя, дружокъ мой; видишь ты вѣдь какой...

— Ну, хорошо, хорошо! нетерпѣливо перебилъ Бобоховъ:— дѣло въ томъ, что надо сію же минуту послать отыскать его...

— Зачѣмъ? что тебѣ безпокоиться! Я спросилъ, гдѣ квартируетъ онъ, и, если хочешь, сейчасъ же приведу его къ тебѣ...

— Да, такъ сдѣлайте же это какъ можно скорѣе, Семенъ Панкратьичъ; отправляйтесь сейчасъ же; пожалуйста, только не забудьте то, о чемъ говорилъ вамъ надняхъ, то-есть не называйте меня: Ваничка, Ваня и другими милыми именами при постороннихъ: я этого терпѣть не могу, проговорилъ питомецъ, подталкивая старика за плеча: — да не забудьте, что черезъ какіе-нибудь два часа начнется спектакль; мѣшкать нѣчего...

Извѣстіе это, хотя еще не совсѣмъ вѣрное, обнадежило нѣсколько Бобохова; онъ рѣшился переговорить съ капельмейстеромъ и, въ случаѣ, если тотъ окажется способнымъ, завербовать его, не медля ни минуты, въ свой оркестръ.

Бобоховъ крикнулъ „эй!“ и приказалъ Корнею подавать одѣваться; надлежало обратить на этотъ разъ особенное вниманіе на туалетъ. Малиновцы, которые, нѣтъ сомнѣнія, наполнятъ весь театръ, должны убѣдиться съ перваго взгляда въ необъятной дистанціи, какая существуетъ между ними и человѣкомъ образованнымъ, „развитымъ“ и просвѣщеннымъ. По этому поводу на сцену явились: черный фракъ съ краснымъ фуляромъ въ боковомъ карманѣ, синіе панталоны и бѣлый жилетъ неизмѣримой длины. Смотрясь въ зеркало и раздувая щеки, Бобоховъ расправлялъ уже кончики галстука, долженствовавшіе свести съ ума малиновскихъ купчихъ, когда въ сосѣднихъ комнатахъ послышались неожиданно шаги и голоса.

— Пожалуйте, батюшка, просимъ покорно; Иванъ Дормидонычъ будетъ очень радъ, говорилъ Семенъ Панкратьевичъ.

— Чувствительно благодаренъ... Роскошь!... богатство!... мильоны!... видно сразу!... Весьма пріятно... просвѣщеніе, тонкій вкусъ... весьма пріятно!... подхватывалъ отрывчатый голосъ.

Бобоховъ окинулъ себя самодовольно съ головы до ногъ и вышелъ на встрѣчу.

Онъ увидѣлъ тогда высокаго, статнаго, живаго малаго съ бѣлокурыми завитками на головѣ, сѣрыми быстрыми глазами, бѣлыми зубами и полными румяными щеками. На незнакомцѣ былъ желтый поношенный нанковый сюртукъ съ обсѣченными рукавами, падавшими на кисти рукъ; черный ветхій галстукъ и широкіе нанковые шальвары довершали костюмъ его; въ лѣвой рукѣ незнакомца виднѣлась замасленая фуражка; въ правой держалъ онъ хлыстикъ, которымъ выводилъ въ воздухѣ

фантастическіе іероглифы и безпрестанно похлопывалъ по шальварамъ.

Незнакомецъ выступалъ медленно, подгибая колѣна; но какъ только Бобоховъ показался въ дверяхъ, онъ сдѣлалъ три граціозные прыжка впередъ и пристукнулъ каблукомъ.

— Вотъ, Ванич... Иванъ Дормидонычъ, вотъ, другъ мой, тотъ самый господинъ, о которомъ я говорилъ тебѣ... сказалъ старый учитель, поспѣшно ковыляясь къ выскочкѣ.

— Хорошо, знаю, отвѣчалъ Бобоховъ, поворачиваясь къ нему спиною и обращаясь къ незнакомцу.

— Честь имѣю рекомендоваться, заговорилъ незнакомецъ, расшаркиваясь:—Попельковскій, Ардаліонъ Александрычъ... очень радъ познакомиться... много слышалъ... могу судить... самъ получилъ блестящее воспитаніе... обстоятельство, тётка... процессъ... все пропало! Тутъ Попельковскій стукнулъ еще разъ каблукомъ и ударилъ хлыстикомъ по шальварамъ.

— Очень радъ, сказалъ Бобоховъ, пристально осматривая незнакомца рысьими глазками. Вы, сказывали мнѣ, управляли оркестромъ въ Петербургѣ.

— Могу похвастать... восемь оркестровъ — много заботы!... Впрочемъ, вы не думайте... мои товарищи знаменитые люди! А впрочемъ, что за дѣло!...

Тутъ Попельковскій выставилъ лѣвую ногу впередъ, вытянулъ лѣвую руку и быстро провелъ по ней нѣсколько разъ хлыстикомъ, какъ-будто разыгрывалъ на скрипкѣ.

— Какими же оркестрами вы управляли? недовѣрчиво спросилъ Бобоховъ.

— Пруженкевича... Невзорова... много было... но остался... умоляли... не могу: ѣду получать наслѣдство... Въ театрѣ акомпанировалъ Рубини... на віолончели... славный пѣвецъ!... ѣли вмѣстѣ устрицы... лихой малый!... позвольте сѣсть?... безъ запинки отвѣчалъ Попельковскій.

— Садитесь! сказалъ покровительствующимъ тономъ Бобоховъ. — Вы, безъ сомнѣнія, должны были слышать о моемъ оркестрѣ?...

— Слышать! ха-ха-ха! всѣ говорятъ!... слава... огромная извѣстность... артисты... сами учили... дѣлаете гигантскую честь...

— Да, я самъ ихъ училъ и, могу сказать, образовалъ да-

же нѣкоторыхъ виртуозовъ, возразилъ выскочка, причемъ профиль его заслонился щеками: — въ Москвѣ я давалъ надняхъ блистательный концертъ; всѣ знатоки объявили единодушно, что мои музыканты лучше театральныхъ, primo, prim. Мой своякъ, Тохтамышевъ, выпросилъ у меня главнаго солиста, который управлялъ всегда моимъ оркестромъ, и потому самому я теперь безъ капельмейстера. Если у васъ нѣтъ теперь мѣста, я охотно переговорю съ вами... Но я впередъ предувѣдомлю васъ, что я очень взыскателенъ: я требую отъ капельмейстера фундаментальнаго знанія, генерал-баса, général-baze... Сверхъ того, такъ, по-крайней-мѣрѣ, я полагаю, капельмейстеръ долженъ знать всѣ инструменты...

— Гляжу я на тебя, Ван... Иванъ Дорофеонычъ, и дивлюсь, право, замѣтилъ Семенъ Панкратьевичъ, всплескивая руками:—гдѣ это ты всему этому научился?...

— Позвольте вамъ замѣтить, мой почтеннѣйшій, замѣчаніе ваше вовсе неумѣстно, перебилъ питомецъ, бросая строгій взглядъ на старика:—пожалуйста, не перебивайте насъ; видите, здѣсь заняты дѣломъ... вы сдѣлали бы мнѣ большое удовольствіе, если-бъ сходили въ театръ и спросили, скоро ли начнется представленіе...

— Экой ты какой... вотъ ужъ и разсердился!... Ну, ну, полно! сейчасъ схожу... отвѣчалъ старикъ, суетливо направляясь къ двери.

— Ну-съ; итакъ, что вы скажете на-счетъ моихъ требованій? спросилъ Бобоховъ, бросая значительный взглядъ на Попельковскаго.

— Безподобно!... я то же говорю... всѣ инструменты... лучше быть нельзя!

— Да, всѣ инструменты, но чтобъ однимъ какимъ-нибудь капельмейстеръ владѣлъ въ совершенствѣ — это необходимо, примолвилъ выскочка съ видомъ знатока.

— Превосходно!... рекомендуюсь: віолончель... люблю... страсть... что-жъ дѣлать?... слабость!... давалъ концерты... Неистовствуетъ весь Петербургъ... Попельковскій! всѣ знакомы!... Машутъ платки... дамы улыбаются... Графиня прослезилась... Ничего... шалишь, думаю, ударилъ смычкомъ!... слышу: фальшивая нота... адъ и ничтожество!... бацъ! разбиваю въ дребезги віолончель!... заплатилъ три тысячи... перваго мастера: Бе-

ни... Пени... забылъ! Графиня вскрикиваетъ... обморокъ... ничего!... Покидаю залу... смятеніе... уѣхалъ... Очень радъ заняться вашимъ оркестромъ!... всѣхъ затминъ...

— Скажите же, напримѣръ, какія полагаете вы условія?...

— Условія, ха-ха-ха!... э! трынь-трава!... добрый малый!... очень радъ познакомиться... Вы, я вижу, образованный человѣкъ... сойдемся... я человѣкъ: „пуръ ла компани"!... отлично!... сказалъ Попельковскій, привскакивая съ мѣста, ударяя хлыстикомъ по шальварамъ и протягивая руку. Въ самую эту минуту въ дверяхъ появился Корней.

— Иванъ Дормидонычъ, сказалъ онъ, вытягиваясь по швамъ:—тотъ ахтеръ, что заправляетъ кіатромъ, приказалъ сказать, что васъ дожидаются... пора начинать, говоритъ...

— Ахтеръ! кіатръ... болванъ! Когда выучитесь вы говорить полюдски? Хорошо, ступай! проговорилъ Бобоховъ.—Кстати, примолвилъ онъ, обращаясь къ Попельковскому: — пойдемте со мной въ театръ; тамъ услышите вы мой оркестръ и, слѣдовательно, сами увидите, до какой степени онъ подвинутъ, и что остается еще сдѣлать.

— Будьте увѣрены... чистосердеченъ, какъ артистъ!... все пойдетъ какъ по маслу; увидимъ... ухо не обманетъ... глазъ также... говорилъ Попельковскій, направляясь за Бобоховымъ, который шелъ въ прихожую.

— Пальто! крикнулъ выскочка.

Корней подалъ пальто и вручилъ барину шляпу и желтыя перчатки.

— А я-то въ чемъ пойду?... спросилъ неожиданно Ардаліонъ Александровичъ, съ удивленіемъ оглядывая Бобохова.

— Какъ въ чемъ?...

— Превосходное пальто!... нѣтъ ли шинели?... забылъ въ гостинницѣ... холодно... могу простудиться...

— Эй! крикнулъ Бобоховъ, значительно подмигивая Корнею.

Корней поспѣшилъ вытащить изъ-за двери свою собственную шинель и подалъ ее гостю.

— Негодится... въ лакейской... знаете, неловко... извѣстность!... укажутъ пальцемъ... Нѣтъ ли получше?... дайте вашу... чрезвычайно буду благодаренъ!...

Бобоховъ, нѣсколько озадаченный безцеремоннымъ обраще-

ніемъ артиста, приказалъ тѣмъ не менѣе подать ему свою дорожную шинель.

Пять минутъ спустя, Бобоховъ и Попельковскій входили въ театръ.

Въ ту самую минуту, какъ выскочка, проникаясь мыслью о томъ страшномъ эффектѣ, какой произведетъ на Малиновцевъ его появленіе, ухватился за ручку двери театральной залы, позади его послышался суетливый топотъ нѣсколькихъ ногъ и вслѣдъ затѣмъ нѣсколько задыхавшихся голосовъ прокричало: „Иванъ Дормидонычъ! Иванъ Дормидонычъ!“

Бобоховъ быстро отступилъ шагъ назадъ, одернулся—и остолбенѣлъ.

Въ сѣняхъ толпилось довольно много народу; посреди этой толпы, состоявшей большею частью изъ лавочниковъ и малиновскихъ лабазниковъ, бросались въ глаза Семенъ Панкратьевичъ, двѣ старухи и еще какой-то долговязый малый съ клинообразною бородкой, исправляющій должность разсыльнаго въ домѣ купчихи Бобоховой; всѣ четверо размахивали руками, протискивались сквозь толпу и надсаживали горло, призывая Ивана Дормидоновича; наконецъ, они выбрались впередъ и, не обращая, разумѣется, вниманія на толпу, которая вперила любознательные взоры на Бобохова, прокричали въ одинъ голосъ: Иванъ Дормидонычъ! Ваня... Ваничка, батюшка! маменька сейчасъ пріѣхала! мамаша пріѣхала!...

Бобоховъ вздрогнулъ; желчь и досада закипѣли ключомъ подъ его джентльменскимъ жилетомъ и приступили къ горлу. Первымъ движеніемъ его было броситься въ залу и показать видъ, что онъ не замѣтилъ даже четырехъ вѣстниковъ, но въ ту-жъ секунду измѣнилъ свое намѣреніе: мысль, что Семенъ Панкратьевичъ и его спутники вернутся за нимъ въ залу и возвѣстятъ въ присутствіи публики новость, приковала его на мѣстѣ; онъ быстро нагнулся къ старому учителю, судорожно стиснулъ ему руку и прошипѣлъ въ ухо: „Ступайте скорѣй домой, скажите матушкѣ, что я сейчасъ буду!“—„Скорѣй, Ваничка! скорѣй же, смотри, другъ мой! мамашенька дожидается!“ крикнулъ старикъ.

Но Бобоховъ не слыхалъ ужъ послѣднихъ словъ: онъ выступалъ между рядами скамеекъ и стульевъ, замѣнявшихъ партеръ и ложи, причемъ пожелтѣвшія щеки его мгновенно выра-

зили совершеннѣйшее довольство самимъ собою, какъ-будто убѣдился онъ съ перваго взгляда, что никто здѣсь не можетъ сравниться съ его особой. Удушливый шопотъ пробѣжалъ по мучному сараю; въ то же время изъ-за занавѣски кто-то махнулъ платкомъ — и оркестръ грянулъ увертюру.

— Всѣ поклоняются... отдаютъ честь... почетъ, слава... превосходно!... вы заслуживаете!... проговорилъ Попельковскій, слѣдовавшій по стопамъ Бобохова.

Достигнувъ перваго ряда, гдѣ съ утра еще воздвигнуто было особенное кресло для Бобохова, выскочка прислонился къ досчатымъ периламъ и показалъ свое лицо публикѣ; замѣтивъ въ весьма недалекомъ разстояніи нѣсколько родственныхъ бородъ, Бобоховъ поспѣшилъ обратиться къ оркестру и сѣлъ въ кресла. Попельковскій, непропустившій между-тѣмъ случая подигнуть двумъ-тремъ купеческимъ дочкамъ, помѣстился на сосѣднемъ стулѣ.

— Послушайте, сказалъ выскочка, наклоняясь къ уху Ардаліона Александровича: — сейчасъ пріѣхала моя матушка; я долженъ непремѣнно видѣться съ нею по одному весьма важному дѣлу... Прослушайте какъ можно внимательнѣе оркестръ и приходите завтра для окончательныхъ переговоровъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ же?... я приду лучше послѣ театра... дѣла... время дорого!...

— Дѣло въ томъ, что я, вѣроятно, поздно просижу у матушки...

— Все равно... я подожду... ночная бесѣда... свѣтлѣй голова... велите только... ужинъ... рано обѣдаю... музыка пробуждаетъ аппетитъ... сильное потрясеніе... слабые нервы...

Бобоховъ кивнулъ пальцемъ турецкому барабану:

— Господинъ этотъ вернется съ вами домой. Сказать Корнею, чтобъ подавалъ ужинъ.

— Да вотъ еще что, подхватилъ Попельковскій: — прикажите сбѣгать въ лавку... купить сигаръ... смотрите только одинъ сортъ: Бѣлобородова... другихъ не курю... Мечтательность... наслажденіе... лѣзутъ мысли... играетъ вдохновеніе...

Бобоховъ не дослушалъ, однакожъ, послѣдней просьбы своего сосѣда; онъ приподнялся съ мѣста, кивнулъ ему головой, юркнулъ въ боковую дверь сарая и очутился на улицѣ.

Сѣрыя осеннія сумерки окутывали уже городъ, когда Бобоховъ подошелъ къ родительскому дому. Тамъ, во второмъ

этажѣ, на половинѣ, занимаемой старухой, бѣгали огоньки и мелькали тѣни. Но эти тѣни и огоньки не возбудили отраднаго чувства въ душѣ выскочки; напротивъ, они, казалось, омрачали лицо Бобохова; по-крайней-мѣрѣ, взглянувъ на него въ настоящую минуту, никто не предположилъ бы, что онъ готовится на свиданіе съ матерью и родными сёстрами, съ которыми не видался нѣсколько лѣтъ. Было ли то угрызеніе совѣсти, невольно родившееся въ черствомъ сердцѣ Бобохова, или смущеніе, овладѣвающее каждымъ человѣкомъ передъ свиданіемъ съ людьми, въ присутствіи которыхъ чувствуешь себя виновнымъ, или, наконецъ, нетерпѣливое, но тѣмъ неменѣе, тягостное волненіе, предшествующее свиданію съ близкими сердцу послѣ долгой разлуки?... Нѣтъ! По поводу этихъ огней и тѣней въ головѣ Бобохова возникали самыя черныя мысли, и ни одна искра теплаго чувства не проникала въ его сердце. Жалкій, но, къ несчастію, часто встрѣчающійся образчикъ тѣхъ молодыхъ людей мѣщанскаго происхожденія, которые, помощью денегъ, заползаютъ въ чужія сани, комически рискуютъ на новомъ своемъ мѣстѣ, и считаютъ себя въ правѣ презирать честное сословіе своихъ предковъ, забывая, что сами они, какъ тунеяды, безъ воспитанія, образованія и нравственныхъ правилъ, во-сто разъ ниже всякаго честнаго ремесленника!

Бобоховъ прошелся нѣсколько разъ по своимъ комнатамъ, стараясь придать своему лицу такое выраженіе, которое уничтожило бы всякое подозрѣніе о томъ, что въ самомъ дѣлѣ происходило въ душѣ его; онъ достигъ этого въ совершенствѣ; ибо нѣтъ на свѣтѣ такого глупца, который не вмѣщалъ бы въ себѣ изрядной доли лукавства и хитрости. Затѣмъ, онъ повторилъ Корнею приказанія, отданныя въ театрѣ турецкому барабану, касательно Попельковскаго, вышелъ изъ своихъ комнатъ и поднялся во второй этажъ.

Прислуга купчихи Бобоховой, состоявшая преимущественно изъ старухъ и бѣдныхъ проживалокъ, обступила выскочку и разсыпалась передъ нимъ въ поздравительныхъ, подобострастныхъ привѣтствіяхъ, какъ только онъ вступилъ въ прихожую, неуспѣвшую еще освободиться отъ кулечковъ, узелковъ и мѣшечковъ, сопровождавшихъ старуху во все время богомолья; но выскочка прошелъ мимо съ неподражаемымъ равнодушіемъ, смѣшаннымъ даже съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ насмѣшливаго презрѣ-

нія; онъ ограничился тѣмъ лишь, что спросилъ: „гдѣ матушка?“ и, получивъ въ отвѣтъ, что матушка изволятъ кушать чай въ спальнѣ, направился быстрыми шагами въ эту комнату.

Старуха Бобохова рѣдко выходила изъ своей спальни. Окруженная съ ранняго утра до поздняго вечера бѣдными родственницами, проживалками, облагодѣтельствованными сиротами, которыя предупреждали малѣйшія ея желанія, она могла прожить очень хорошо, не вставая даже съ мѣста. Впрочемъ, спальня называлась этимъ именемъ только по привычкѣ; въ сущности въ ней сосредоточивались гостиная, пріемная, образная, столовая — словомъ, всевозможныя отдѣленія дома. Изъ этого не слѣдуетъ, однакожъ, заключать, что спальня должна была отличаться роскошью или комфортомъ; совсѣмъ напротивъ: все было до невѣроятности скромно и просто, за исключеніемъ задней стѣны, уставленной плоскими шкапами изъ краснаго дерева. Противоположная стѣна занята была почти исключительно старомоднымъ диваномъ, нѣсколькими разнокалиберными креслами и комодомъ, выложеннымъ мѣдными полосками и бляхами. Противъ дивана стоялъ массивный овальный столъ, покрытый синею ярославскою скатертью, изображавшею двухъ голубковъ, которые пили изъ одной чашки. Налѣво отъ дивана, по сосѣдней стѣнѣ, лѣпилась огромная дубовая постель, завѣшенная ситцевымъ пологомъ съ широкими разводами; окна противъ постели выходили въ садъ и заслонялись до половины вѣтвями деревъ.

Въ настоящую минуту, то-есть въ то время, какъ Бобоховъ приготовлялся къ свиданію, матушка его спокойно сидѣла на диванѣ, украшенномъ подушками всѣхъ возможныхъ формъ и размѣровъ; тутъ были подушки, шитыя шелкомъ по глазету, бархату и атласу, подушки, шитыя шерстью въ гладь и подъ такъ-называемый бархатный швовъ съ изображеніемъ борзыхъ собакъ, албанцевъ, подпирающихся ружьемъ съ голубымъ куркомъ, турокъ, одалисокъ съ четыреугольными ртами и носами, и т. д. Всѣ эти произведенія, поднесенныя въ разное время бѣдными сиротками и проживалками, жившими въ домѣ богатой купчихи, служили слабымъ, но тѣмъ не менѣе несомнѣннымъ знакомъ ихъ глубокой признательности. Проживалки и сиротки, наводнившія спальню съ той самой минуты, какъ Бобохова вернулась съ богомолья, располагались теперь вокругъ овальнаго

стола, на которомъ пыхтѣлъ и шипѣлъ дюжій мѣдный самоваръ. На диванѣ, по обѣимъ сторонамъ старухи, сидѣли ея дочери, изъ которыхъ особенно отличалась старшая, высокая, плечистая, сорокалѣтняя женщина, съ лицомъ необыкновенно открытымъ, умнымъ и веселымъ. Посреди этого многочисленнаго женскаго сборища бросался въ глаза Семенъ Панкратьевичъ съ своими круглыми очками, лысиною и длиннополымъ гороховымъ сюртукомъ. Онъ поминутно отрывался отъ своего стакана, подбѣгалъ къ единственному окну, глядѣвшему на улицу, или къ двери, прислушивался, присматривался и какъ-будто ждалъ кого-то, причемъ подслѣповатая физіономія его выражала всѣ признаки живѣйшаго нетерпѣнія. Обманутый каждый разъ въ своихъ ожиданіяхъ, онъ возвращался къ своему стакану и, прихлебывая чай, бросалъ украдкою безпокойный взглядъ на старуху Бобохову, которая казалась совершенно спокойною. Спокойствіе это, смѣшанное съ нѣкоторою холодностью въ общемъ выраженіи лица, такъ рѣзко, такъ положительно обозначалось въ чертахъ старухи, что, казалось, ни въ какомъ случаѣ не могло уже замѣниться другимъ выраженіемъ; въ ея черныхъ какъ смоль глазахъ, глядѣвшихъ проницательно изъ-подъ густыхъ бровей, свѣтилось болѣе ума, чѣмъ чувства; широкій лобъ, угловатое, сухое очертаніе губъ, подбородка и носа придавало желтому лицу старухи характеръ энергіи. Не смотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, старуха держалась прямо, и члены ея отличались крѣпостью и полнотою. Она была вся въ черномъ. Черный коленкоровый платокъ плотно обвязывалъ ея голову; такой же капотъ исчезалъ на половину подъ черными бумажнымъ платкомъ, покрывавшимъ плечи старухи. Взглянувъ на нея, нельзя было предположить, чтобъ она могла быть матерью джентльмена Бобохова. Впрочемъ, умная старуха сама изъявляла не разъ на этотъ счетъ свое удивленіе. Дѣло въ томъ, что она принадлежала къ числу тѣхъ рѣдкихъ матерей, которыя любятъ дѣтей своихъ безпристрастно, умѣютъ отличать умныхъ отъ глупыхъ, дурныхъ отъ хорошихъ, и охотно отдаютъ послѣднимъ ту часть своего сердца, которой, по ихъ мнѣнію, не заслуживаютъ первые. Ваня Бобоховъ, благодаря своему джентльменству, научившему его презирать свое происхожденіе, гнушаться родныхъ и стыдиться своего семейства, пользовался самою ничтожною частичкою материнскаго сердца, и въ этомъ нисколько, однакожъ,

не были виноваты сёстры, старавшіяся, напротивъ того, склонить сердце старухи въ пользу брата.

Когда Бобоховъ вошелъ въ спальню, всѣ приподнялись съ своихъ мѣстъ и пошли къ нему на встрѣчу, за исключеніемъ старухи-матери, которая ограничилась тѣмъ только, что внимательно устремила на сына пронзительные глаза свои. Глаза эти, казалось, съ первой же секунды смутили джентльмена; считая, однакожъ, неличнимъ показать при этомъ случаѣ какъ можно больше спокойствія и даже хладнокровія, онъ сдѣлалъ видъ, будто не замѣчаетъ окружавшихъ его родственницъ и знакомыхъ, прошелъ мимо сестёръ, какъ-будто послѣднія были невидимки, и, повернувшись спиною къ Семену Панкратьевичу, въ отвѣтъ на его радостное восклицаніе, поспѣшно направился къ дивану.

— Здравствуйте, матушка! сказалъ онъ, прикладываясь къ рукѣ матери:—какъ вы себя чувствуете?... очень радъ, что васъ вижу... Надѣюсь, что вы здоровы?... прибавилъ онъ, очевидно, пріискивая фразы.

— Здравствуй, батюшка, произнесла невозмутимо спокойно старушка:—живу какъ видишь; здорова, слава Богу; благодаря добрымъ дѣткамъ, которыя навѣщаютъ меня, не забываютъ старуху-мать, живу счастливо и покойно.

— Чрезвычайно пріятно, перебилъ Бобоховъ, торопливо придвигая сосѣдній стулъ и усаживаясь противъ матери, спиною къ сёстрамъ, которыя стояли посреди спальни, озадаченныя невниманіемъ брата:—чрезвычайно пріятно, подхватилъ онъ, понижая голосъ: — все это время заваленъ былъ ужаснѣйшими дѣлами... секунды не было свободной... насилу вырвался... чрезвычайно сожалѣю, что не засталъ васъ... Нарочно летѣлъ, думалъ повидаться съ вами; такъ скакалъ, что двѣ отличнѣйшія лошади пали дорогой...

— И-и-и, мой батюшка! зачѣмъ же было такъ спѣшить? недовѣрчиво сказала старуха и покачала головой: — не Богъ вѣсть, какъ давно не видались, всего два года, только два года... продолжала она съ иронією, между-тѣмъ, какъ глаза ея съ сожалѣніемъ устремлялись на сына: — коли столько времени не заглядывалъ къ матери, такъ не зачѣмъ, право, было и торопиться; днемъ раньше, днемъ позже, не все ли это равно?... напрасно только лошадей поморилъ... Да что-жъ ты, батюшка,

али сестёръ-то не примѣтилъ? Встань, хоть поклонись имъ; онѣ, вѣдь, кажись, немножко сродни тебѣ...

— Ахъ, чрезвычайно пріятно! пробормоталъ Бобоховъ, приподымаясь со стула, церемонно расшаркиваясь, но не трогаясь съ мѣста. Двѣ младшія сестры поспѣшили сдѣлать шагъ впередъ, но въ ту-жъ секунду остановлены были старшей, которая нетерпѣливо загородила имъ дорогу и, ставъ между ними и братомъ, бросила на послѣдняго взглядъ, полный негодованія и гордости.

Бобоховъ шаркнулъ во второй разъ и что-то пробормоталъ сквозь зубы.

— Что-жъ ты, батюшка, стоишь? Удостой тронуться съ мѣста да подойдти къ сестрамъ... или, можетъ статься, это у васъ тамъ не въ модѣ...

— Помилуйте... напротивъ того... мнѣ чрезвычайно пріятно... пробормоталъ выскочка, зеленѣя и принужденно подвигаясь впередъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ же тебѣ безпокоиться, братецъ? Пожалуйста, садись и продолжай не обращать на насъ никакого вниманія, сказала старшая сестра, смягчая по возможности свой голосъ, очевидно, съ тою цѣлью, чтобъ сцена эта была какъ можно менѣе чувствительна старухѣ: — не лучше ли поступать прямо и высказать откровенно настоящія твои чувства къ сёстрамъ. Откровенность въ этихъ случаяхъ, какъ она ни горька, все же лучше лжи. Пожалуйста, садись и успокойся; мы очень хорошо знаемъ твою непріязнь, незаслуженную, впрочемъ, и съ своей стороны, два года назадъ, сдѣлали все, что можно, чтобъ заслужить твою довѣренность и дружбу; къ несчастью, какъ видно, мы этого до-сихъ-поръ еще не удостоились; будемъ стараться заслужить современемъ милостивое твое снисхожденіе, а покуда намъ больно только то, что все это происходитъ передъ маменькой и можетъ огорчить ее... продолжала она, окинувъ насмѣшливо брата, который ёжился, пыхтѣлъ, отдувался и во все это время не переставалъ улыбаться, надѣясь скрыть этимъ способомъ свою неловкость. — Очень рада, нетерпѣливо подхватила она, покрываясь краской негодованія, но совсѣмъ тѣмъ стараясь придать своему голосу веселую интонацію: — очень рада, что слова мои доставляютъ тебѣ удовольствіе... Не желая, однакожъ, разрушить такое счастливое расположеніе духа, что

весьма легко было бы случиться, если-бъ я продолжала эту пріятную бесѣду, я лишу себя на время удовольствія сидѣть съ тобою въ одной комнатѣ. Анюта, Раиса, заключила она, обращаясь къ двумъ сестрамъ и вслѣдъ за тѣмъ къ остальнымъ женщинамъ, находившимся въ спальнѣ: — я думаю, всѣмъ намъ не мѣшало бы сдѣлать то же самое; любезный братецъ мой, я полагаю, не найдетъ особеннаго удовольствія въ нашемъ обществѣ — пойдемте...

— Но отчего же, Варвара Дормидоновна? какъ же это?... Ваничка очень радъ...

— Э! полноте, почтенный и добрый мой Семенъ Панкратьичъ! произнесла Варвара Дормидоновна, взявъ руку старика: — вамъ неизвѣстны обычаи модныхъ, такъ называемыхъ истинно порядочныхъ людей: присутствіе друзей и родственниковъ мѣщанскаго круга можетъ только смущать ихъ; то для нихъ горьче ревеню. Пойдемте...

И, взявъ подъ руку стараго учителя, кивнувъ головою сестрамъ и проживальщицамъ, которыя стояли уже у двери, она покинула спальню.

Во время этихъ объясненій, старуха сидѣла, скрестивъ на груди руки. Умное, выразительное лицо ея, устремленное сначала на сына, выражало какъ-будто горькое состраданіе; но теперь оно глядѣло въ другую сторону и обращено было къ полу; угловатыя черты старухи, освѣщенныя съ боку свѣчкой, рѣзко выступали изъ мрака и казались еще суровѣе и строже; черная одежда ея сливалась почти съ густою тѣнью, бросаемой спиною и плечами; лицо старухи было неподвижно, и только въ черныхъ съ просѣдью бровяхъ, тѣсно сдвинутыхъ подъ широкимъ, морщинистымъ лбомъ, изрѣдка пробѣгало судорожное движеніе. Она, повидимому, не замѣчала сына, который, между-тѣмъ, расхаживалъ быстрыми шагами изъ угла въ уголъ, стараясь подавить злобу, кипѣвшую въ его груди по поводу выходки старшей сестры.

Мало-по-малу, старуха снова обратила свои черные глаза на сына и минуты двѣ слѣдила за всѣми его движеніями. Холодное, угрюмое выраженіе на лицѣ ея показало, что послѣдняя надежда вразумить сына, направить его на должный путь — угасла уже въ сердцѣ матери. Не было ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что Бобоховъ, подвизаясь на джентльменскомъ

поприщѣ, постарался уже обогатить свою біографію такими фактами, которые ясно доказывали матери, что не было никакой надежды на его исправленіе. Расхаживанье взадъ и впередъ не мѣшало ему, однакожъ, наблюдать за матерью. Замѣтивъ, что взглядъ ея обращенъ былъ съ нѣкоторыхъ поръ на его особу, онъ поспѣшилъ замаскировать свое бѣшенство, скорчилъ грустную физіономію и, сдѣлавъ выразительный жестъ къ двери, куда ушли сёстры, сказалъ наивнымъ голосомъ:

— Я, право, не понимаю, матушка, за что онѣ на меня сердятся...

Старуха усмѣхнулась и покачала головою. Улыбка эта показала Бобохову, что попытка его стать въ выгодное положеніе посредствомъ пошлой выходки нисколько не удалась: старуха, очевидно, подсмѣивалась надъ нимъ; сознаніе собственнаго своего безсилія и ничтожества возмутило самолюбиваго выскочку до невѣроятной степени, и, не будучи уже въ состояніи скрывать на этотъ разъ настоящаго чувства, онъ проговорилъ отрывисто:

— А впрочемъ... не мудрено догадаться, отчего онѣ сердятся... Имъ досадно, что я сюда пріѣхалъ.. Онѣ меня не ждали... да-съ. Я, можетъ быть, отнялъ у нихъ мѣсто... подлѣ васъ. Онѣ, кажется, совсѣмъ поселились въ вашемъ домѣ.

— Э, батюшка мой! за что имъ на тебя сердиться? возразила спокойно и какъ-бы нехотя старуха:—ты имъ ни въ чемъ не помѣха.

— Помилуйте, я въ этомъ нисколько не сомнѣваюсь! воскликнулъ выскочка, нетерпѣливо усаживаясь въ кресло:—странно было бы въ этомъ сомнѣваться... Онѣ такъ часто здѣсь бываютъ, такъ часто доказываютъ вамъ любовь свою... вы такъ твердо увѣрены въ ихъ чувствахъ... что, конечно, ничто уже не можетъ повредить имъ въ вашемъ мнѣніи... О, онѣ боготворятъ васъ! обожаютъ! подхватилъ онъ иронически. — Знаете, матушка, какъ пріятно, когда льстятъ, неправда ли? Сейчасъ, знаете, такъ и чувствуешь, что все это правда... особенно если льстить хитро и ловко... чрезвычайно пріятно!

— Ахъ ты, сынокъ ты мой любезный! И взаправду, экія онѣ какія!... насмѣшливо вымолвила старуха: — вотъ, вѣдь, что значитъ старость-то! Изъ ума, батюшка, выжила!

— Смѣйтесь, сколько угодно, а я все-таки скажу, что онѣ

льстятъ... и... и конечно... Впрочемъ, вы сами очень хорошо знаете причины... пробормоталъ, задыхаясь, Бобоховъ.

— Какія же это, батюшка, причины? Я что-то въ толкъ не возьму...

— Вы сами очень хорошо знаете...

— О-о! какъ же ты, голубчикъ мой, какъ я посмотрю, глубоко плаваешь! Гдѣ это ты научился такому мастерству? Скажу я тебѣ за это вотъ что: ужъ, полно, не мѣришь ли ты сестёръ своихъ своимъ аршиномъ?... Смотри, только не обмѣрься, не обманулъ бы тебя какъ-нибудь твой аршинъ! Не всѣ люди равны. Вотъ ты, примѣрно, мой батюшка, совсѣмъ иное дѣло...

— Конечно, я не льщу! произнесъ Бобоховъ, свирѣпо пощипывая свои усики.

— Кто про то говоритъ! кто про то говоритъ, мой голубчикъ! Ты сынъ примѣрный и человѣкъ, притомъ, правдивый! А хочешь ли, я скажу тебѣ, зачѣмъ ты сюда пожаловалъ? присовокупила старуха, пристально вглядываясь въ смутившееся лицо сына, и, не дожидаясь отвѣта, прибавила: — пріѣхалъ ты вотъ зачѣмъ: денегъ, знать, понадобилось...

— Кто-жъ это вамъ сказалъ? произнесъ Бобоховъ, быстро привскакивая на своемъ мѣстѣ.

— Самъ, батюшка, научилъ догадываться, подсмѣиваясь, возразила старуха: — самъ научилъ! Съ той поры, какъ вышелъ ты въ отставку, этому скоро шесть лѣтъ, былъ ты у меня три раза, и все затѣмъ же. Пора, я чай, догадаться, мой батюшка, зачѣмъ ты навѣщаешь мать!... Ну, а на это скажу я тебѣ вотъ что — скажу то же, что говорила прошлый разъ: денегъ я тебѣ не дамъ; а не дамъ затѣмъ, что есть у меня, окромѣ тебя, много дѣтей, которымъ деньги подлинно нужны; есть, окромѣ того, на свѣтѣ много бѣдныхъ и неимущихъ, много сиротъ безъ крова и старыхъ людей безъ пристанища... А ты, мой батюшка, благодаря отцовскому наслѣдію, обзавелся вотчинами, сталъ бариномъ, живешь хорошо, роскошничаешь, въ картишки играешь... Чего-жъ тебѣ еще надо?... Нѣтъ, батюшка мой, нѣтъ; денегъ я тебѣ не дамъ! заключила старуха такимъ саркастическимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшительнымъ тономъ, передъ которымъ всѣ надежды Бобохова исчезли такъ же быстро, какъ привидѣнія, заслышавшія пѣніе пѣтуха. Увидѣвъ себя, сверхъ-того, осмѣяннымъ, разбитымъ и

предупрежденнымъ во всѣхъ своихъ планахъ и намѣреніяхъ шестидесяти-лѣтней старухой, старухой простаго происхожденія, непонимавшей дендизма, чуждой при томъ эстетическаго развитія и нечитавшей даже русскихъ журналовъ, выскочка, джентльменъ быстро вскочилъ съ своего мѣста и неистово заморгалъ своими рысьими глазками.

Онъ убѣдился, что продолжать бесѣду было бы совершенно напрасно, и, основываясь на этомъ, ограничился тѣмъ только, что шаркнулъ сапогомъ и пробормоталъ:

— Чрезвычайно сожалѣю... оставайтесь въ пріятномъ заблужденіи... покойной ночи!

— И тебѣ, батюшка, желаю того же, спокойно возразила старуха, не поворачивая даже головы своей.

Но Бобоховъ былъ уже за дверью и нетерпѣливыми стопами направлялся къ лѣстницѣ, ведшей въ нижній этажъ.

— Чтобъ завтра же чѣмъ свѣтъ были готовы лошади! я ѣду въ Голодаевку!...

Съ такимъ рѣшительнымъ приказаніемъ обратился къ Корнею Бобоховъ, какъ только очутился въ своей собственной прихожей.

Затѣмъ онъ хлопнулъ дверью, прошелъ всѣ остальныя комнаты и, вступивъ въ спальню, крикнулъ „эй!“

Встревоженная физіономія Корнея показалась въ дверяхъ.

— Гдѣ-жъ капельмейстеръ? спросилъ Бобоховъ.

— Изволитъ почивать-съ...

— Дали ли ему ужинать?

— Какъ-же-съ... Только, Иванъ Дормидонычъ, осмѣлюсь доложить... не могли сыскать ботвиньи съ бѣлугой...

— Это еще что значитъ?... какой ботвиньи?...

— Они изволили приказывать ботвинью съ бѣлугой... изволили оченно сердиться... Мнѣ, говорятъ, нужна ботвинья съ бѣлугой для цвѣта лица...

— Пошелъ вонъ! крикнулъ Бобоховъ, но въ ту же секунду остановился и прибавилъ:—разбудить его чуть свѣтъ и сказать, чтобъ принесъ свои вещи сюда; сказать ему, что я беру его съ собой.

Часа два или три Бобоховъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, изрѣдка проводя рукою по своимъ щекамъ, которыя дрожали во все это время какъ желе; наконецъ онъ угомонился

и легъ въ постель. Ничего неизвѣстно о томъ, какъ провелъ онъ эту ночь и какіе сны низлетали на его голову. Достовѣрно то лишь, что въ шесть часовъ онъ былъ уже на ногахъ.

— Готовы ли лошади? спросилъ Бобоховъ, какъ только Корней показался въ дверяхъ.

— Все готово-съ.

— А капельмейстеръ?

— Изволили уѣхать еще въ пятомъ часу...

— За вещами?

— Никакъ нѣтъ-съ... Увидѣли въ окнѣ становаго, сѣли съ нимъ въ телѣжку и уѣхали... приказали кланяться...

Пять минутъ послѣ этого извѣстія, сопровожденнаго рядомъ энергическихъ возгласовъ, Бобоховъ усаживался въ карету.

Въ ту самую секунду, какъ дверцы кареты захлопывались, изъ угловаго окна верхняго этажа, раскрытаго быстрымъ движеніемъ руки, выставилась заспанная голова Семена Панкратьевича.

— Ваничка!... Ваня!... куда ты?... постой! экой ты какой!... дай хоть проститься! погоди меня... Ваня! Ваня! Ваничка!... кричалъ старикъ, отчаянно размахивая руками.

— Пошелъ! глухо раздалось въ каретѣ.

И экипажъ, подхваченный свѣжей четверкой, мгновенно оставилъ за собою крыльцо бобоховскаго дома.

VIII

о томъ, какъ процвѣтаютъ Ханскіе-Пруды, и что подѣлываетъ Карачаевъ.

Въ Ханскихъ-Прудахъ все, между-тѣмъ, обстояло благополучно. Солнце, попрежнему, продолжало показываться каждое утро на горизонтѣ, и каждое утро, если только часамъ къ шести или семи небо не заслонялось тучами, золотые лучи, скользнувъ въ окна, освѣщали Павла Петровича Карачаева, который около этого времени уже непремѣнно расхаживалъ съ озабоченнымъ видомъ по залѣ, наблюдая за порядкомъ древняго дома.

Павелъ Петровичъ страшно захлопотался. Онъ считаетъ

непремѣнною своею обязанностью лично присутствовать каждое утро при перестановкѣ мебели въ гостиной, при выбиваніи пыли, сниманіи паутины и чисткѣ половъ; затѣмъ, онъ обыкновенно освѣдомляется, проснулась ли Лизавета Семеновна и дѣти, и, каковъ бы ни былъ отвѣтъ, бѣжитъ стремглавъ къ Фіонѣ Ивановнѣ и сообщаетъ ей, что пора ставить самоваръ и приготовлять все нужное для чайной церемоніи. Онъ считаетъ также не лишнимъ заглянуть каждое утро въ кухню и сообщить повару, чтобъ онъ держалъ ухо востро; пользуясь случаемъ, онъ передаетъ то же самое остальнымъ членамъ многочисленной дворни.

Спокойствіе и благоденствіе балахновскаго семейства составляютъ теперь главную и въ то же время единственную цѣль настоящаго бытія Карачаева.

Когда въ хозяйствѣ Ханскихъ-Прудовъ происходитъ какой-нибудь случай, который, по соображеніямъ предусмотрительнаго Павла Петровича, можетъ причинить неудовольствіе Лизаветѣ Семеновнѣ, Карачаевъ поспѣшно свываетъ въ извѣстный флигель дворню, со включеніемъ десятскаго и старосты, подымаетъ сжатые кулаки надъ своею головою и, яростно сверкая воспаленными глазами, объявляетъ громовымъ голосомъ, что первый, кто осмѣлится потревожить барыню этимъ непріятнымъ извѣстіемъ, будетъ имѣть дѣло съ нимъ. — „Пріѣдетъ Аристархъ Ѳедоровичъ — вѣдайтесь съ нимъ! Его дѣло разбирать все это...“ говоритъ Павелъ Петровичъ, постепенно смягчаясь, и вдругъ, свирѣпѣя мгновенно, прибавляетъ: — „а если кто изъ васъ осмѣлится потревожить этимъ вздоромъ Лизавету Семеновну, если я узнаю это — берегись! вотъ она штука-то въ чемъ!“ Когда же Карачаевъ доволенъ которымъ-нибудь изъ людей, онъ даетъ ему полтинникъ изъ собственнаго кошелька... Люди были очень довольны такимъ распоряженіемъ, и особенно Моисей Акишевъ, который приходилъ поминутно въ умиленное состояніе каждый разъ, когда въ людской произносили съ похвалою имя Павла Петровича. Карачаевъ принялъ на себя роль покровителя и успокоителя Лизаветы Семеновны въ буквальномъ смыслѣ; онъ рѣшительно отказывался слушать ее каждый разъ, когда она просила его успокоиться, увѣряя, что ей хорошо, что она довольна, какъ нельзя болѣе, настоящимъ своимъ положеніемъ. Разъ даже, по поводу подобнаго замѣчанія, онъ оскор-

бился сильнѣйшимъ образомъ и пребывалъ мраченъ до-тѣхъ-поръ, пока Лизавета Семеновна, догадавшись, вѣроятно, о причинѣ его меланхоліи, не поспѣшила протянуть ему руку. Тогда Карачаевъ пришелъ въ неописанную ярость противъ самого себя: — „Какъ! вы, вы извиняетесь еще передо мной послѣ всего этого! Не смотрите на меня, Лизавета Семеновна, я этого не заслуживаю, я олухъ — и больше ничего! вы, вы говорите мнѣ изъ участія, а я, я принялъ слова ваши въ обиду, оскорбился, нелегкая меня возьми совсѣмъ; можетъ быть, даже огорчилъ васъ... Нѣтъ, выгоните меня вонъ, послѣ этого, и больше ничего!“ При всемъ своемъ вліяніи, Лизавета Семеновна никакъ не могла, однако-жъ, принудить Карачаева накинуть на плечи просторный нанковый казакинъ вмѣсто извѣстнаго фрака, въ которомъ очевидно было ему крайне-тѣсно и неловко; въ этомъ единственномъ случаѣ слова ея были для Карачаева проповѣдью въ пустынѣ; никакія убѣжденія не помогали, и черный фракъ, какъ ничѣмъ несокрушимый утесъ, разбивающій въ дребезги все то, что къ нему подступаетъ, горделивво появлялся каждый день на широкой спинѣ Павла Петровича. Причины, побудившія Карачаева облачиться въ черный фракъ съ той самой минуты, какъ принялъ онъ на себя трудъ охранять спокойствіе балахновскаго семейства, рѣшительно неизвѣстны; дѣло въ томъ, что, во время отсутствія Аристарха Ѳедоровича, онъ являлся не иначе, какъ во фракѣ. Знаменитый фракъ этотъ, съ узенькими фалдами, на манеръ ласточьихъ крыльевъ или рыбьяго хвоста, прежде еще производилъ на локтяхъ легонькую трескотню, приводившую въ смущеніе своего владѣльца; но теперь фракъ былъ окончательно уже близокъ къ разрушенію, и потому каждый вечеръ задавалъ, можно сказать, труднѣйшую работу Павлу Петровичу: тамъ отвалилась пуговица, здѣсь образовалась щель... словомъ, не было такого дня, который не наносилъ бы новой раны несчастному фраку; и такъ-какъ Иванъ (такъ-называемый карачаевскій Иванъ) давнымъ-давно покинулъ уже Ханскіе-Пруды вмѣстѣ съ Глафирой, то Павелъ Петровичъ самъ принужденъ былъ наблюдать за своимъ гардеробомъ и заниматься портняжнымъ искусствомъ — обстоятельство, сильно затруднявшее человѣка, небравшаго прежде иголки въ руки. Разлука съ Иваномъ была тягостна Карачаеву не въ одномъ только этомъ отношеніи; въ

Лѣто промелькнуло почти незамѣтно, особенно для Балахновой, которая рѣшила въ своемъ сердцѣ, что эта пора, четыре мѣсяца были счастливѣйшими во всей ея жизни. Но счастье въ этомъ случаѣ, какъ и всегда, было не очень продолжительно. Мало-по-малу, сѣрыя тучи стали чаще и чаще застилать ясное, голубое небо; непроницаемый туманъ окуталъ поля и дальній горизонтъ. Полились дожди. Наступила суровая, холодная осень. Потянулись длинные вечера и сумерки съ аккомпаниментомъ заунывнаго вѣтра и шума дождя, ниспадавшаго съ кровель и барабанившаго въ окна...

— Павелъ Петровичъ, что̀ съ вами?... Вы какъ-будто не въ духѣ все это время; вѣрно, у васъ есть на душѣ что-нибудь такое, что вы отъ меня скрываете... Это, право, не хорошо... съ друзьями такъ не дѣлаютъ... говорила съ нѣкоторыхъ поръ Лизавета Семеновна, пристально разглядывая вытянутое, комически-нахмуренное лицо Карачаева.

— Кто?... я?... écouté: даю вамъ честное слово... отвѣчалъ обыкновенно Карачаевъ, у котораго, благодаря такому нѣжному участію къ его расположенію духа, начинали вдругъ прыгать и смѣяться всѣ черты лица.

— Полноте, полноте! весело подхватывала Балахнова: — не хотите ли вы, въ самомъ дѣлѣ, увѣрить меня, что вамъ очень весело въ Ханскихъ-Прудахъ?... Нѣтъ, вы меня не обманете. Къ тому же я, право, не вижу никакой надобности, чтобъ вы... именно вы стали меня обманывать; хотите, я вамъ разскажу, что съ вами; вы, попросту, скучаете, мой добрый Павелъ Петровичъ...

Карачаевъ приподнималъ голову, причемъ на лицѣ его можно было прочесть выраженіе глубокаго огорченія.

— Пожалуйста, дайте мнѣ договорить, продолжала Балахнова, прикасаясь рукою къ рукѣ Карачаева, чтобы удержать его на мѣстѣ: — да, вамъ скучно, и я нахожу это весьма естественнымъ: не сами ли вы говорили мнѣ это, что какъ только наступаетъ осень, сентябрь, вы не можете сидѣть на мѣстѣ: васъ такъ вотъ и манитъ въ поле съ охотниками?... Отчего же, скажите пожалуйста, нынче вы лишаете себя этого удовольствія? Я знаю, вы страстный охотникъ; вы сами это говорили, и, наконецъ, я слышала это отъ вашихъ пріятелей и знакомыхъ. Даю вамъ слово, я не нахожу въ этомъ ничего

предосудительнаго; поѣзжайте съ Богомъ, прошу васъ объ этомъ. Къ тому же вы даже получили нѣсколько приглашеній; охота развлечетъ васъ и разсѣетъ; а тамъ, опять пріѣдете, разумѣется, къ намъ, разскажете ваши впечатлѣнія, ваши похожденія...

— Позвольте, Лизавета Семеновна, écouté, перебилъ Карачаевъ уныло, вращая своими воспаленными бѣлками:—я все это очень хорошо понимаю... я вамъ надоѣлъ, прискучилъ... нѣтъ, сдѣлайте милость, ей-Богу, такъ! Не говорите мнѣ, я самъ знаю. Ну, что я такое? никакого обращенія; съ дѣтства былъ брошенъ, не получилъ ровно никакого воспитанія... я понимаю: ну, какая я для васъ компанія!...

— Э, э! Павелъ Петровичъ! какъ вамъ не стыдно говорить такія пустяки! Я, признаюсь, никакъ этого отъ васъ не ожидала, сказала Балахнова, съ живостью взявъ руку Карачаева: — даю вамъ честное слово, что мнѣ въ голову не приходили такія мысли. Неужели вы въ самомъ дѣлѣ могли подумать, что я просила васъ ѣхать на охоту для того, чтобъ отъ васъ избавиться?... Какъ же вы дурно знаете меня послѣ этого! Я держалась и держусь всегда обычая прямо высказывать свои чувства. Если-бъ присутствіе ваше было для меня тягостно, я дала бы вамъ это почувствовать и, конечно, нашла бы средство удалить васъ... Ну, полноте же, мой добрый Павелъ Петровичъ! дайте мнѣ вашу руку и дайте мнѣ вмѣстѣ съ тѣмъ слово, что вы вѣрите, что я васъ искренно люблю и уважаю.

— Лизавета Семеновна, ваше слово... клянусь вамъ честью!... воскликнулъ смущеннымъ голосомъ Карачаевъ. Тутъ онъ, неизвѣстно почему, разстегнулъ верхнія пуговицы фрака, провелъ нѣсколько разъ по лысинѣ, неловко повернулся въ креслахъ и побагровѣлъ до ушей.

— Клянусь честью... я вамъ вѣрю! подхватилъ онъ, воодушевляясь: — но только, Бога-ради, écouté: я останусь съ вами и не поѣду, да и не хочу ѣхать на охоту... Что мнѣ съ ними! Въ душѣ, сказать по совѣсти, я не люблю охоты! Ну, сами посудите, что тутъ: какой-нибудь зайчишка, гонятъ, кричатъ... Потомъ кутежъ, пьянство... Богъ съ ними! Клянусь вамъ, какъ этакъ, вотъ, отвыкнешь на покоѣ отъ всего этого, да охватишь свое существо, такъ, словно, даже совѣстно ста-

нетъ. Мнѣ у васъ здѣсь такъ хорошо, какъ въ раю; а если скука, хандра, знаете, нападаетъ, такъ, право, отъ того, что вспоминаешь старое житье-бытье... Нѣтъ, Богъ съ ними, не поѣду на охоту! заключилъ Карачаевъ, рѣшительно махнувъ рукою.

Послѣ этихъ разговоровъ, повторявшихся довольно часто, Карачаевъ впадалъ въ ничѣмъ несокрушимую веселость, проводилъ цѣлые вечера, играя съ дѣтьми, и былъ такъ счастливъ, какъ только можетъ быть счастливымъ человѣкъ.

Въ сумерки Лизавета Семеновна садилась за фортепіано, и Павелъ Петровичъ, обвѣшенный дѣтьми, которыя лѣзли ему на шею и на голову, слушалъ ее въ какомъ-то экстазѣ, причемъ правая нога его — по привычкѣ, вѣроятно — не забывала отбивать ускоренный тактъ. Игра на фортепіано была единственнымъ его развлеченіемъ; утро и бо́льшую часть вечера Балахнова проводила въ спальнѣ съ дѣтьми. Карачаеву не съ кѣмъ было перемолвить слова; онъ былъ совершенно одинъ. (Прокисай Захаровичъ, вскорѣ послѣ отъѣзда Аристарха Ѳедоровича, исчезъ изъ Ханскихъ-Прудовъ и предпочиталъ слоняться по уѣзду, проживать нынѣче въ одномъ домѣ, завтра въ другомъ, чѣмъ остаться почти наединѣ съ Фіоной Ивановной). Не смотря, однакожъ, на привычку находиться всегда въ шумномъ обществѣ, Карачаевъ продолжалъ отказываться постоянно отъ приглашеній окрестныхъ сосѣдей, которые поминутно звали его въ отъѣзжее поле. Онъ объявилъ наотрѣзъ, что не тронется изъ Ханскихъ-Прудовъ до-тѣхъ-поръ, пока не вернется Аристархъ Ѳедоровичъ, и твердо убѣжденъ былъ, говоря это, что долгъ чести и признательности обязываетъ его не покидать Лизаветы Семеновны и дѣтей ея. И нѣтъ сомнѣнія, онъ не отступилъ бы на волосъ отъ такого убѣжденія, еслибъ въ одно ненастное, холодное сентябрьское утро не подали ему письмо. Письмо было отъ Барабанчикова. Карачаевъ, если припомнитъ читатель, былъ въ ссорѣ съ Барабанчиковымъ по тому поводу, что Барабанчиковъ отказалъ ему дать взаймы денегъ для награжденія Ивана; но такъ-какъ Барабанчиковъ извѣщалъ стараго своего друга, что на охотѣ сломалъ себѣ ногу и лежитъ при смерти, то Карачаевъ разсудилъ, что такое важное дѣло не терпитъ ни малѣйшаго отлагательства, что присутствіе его необходимо у Барабанчикова, и что, наконецъ, ка-

кихъ-нибудь восемь часовъ отлучки изъ Ханскихъ-Прудовъ ни въ какомъ случаѣ не могутъ нарушить спокойствія Лизаветы Семеновны. На этомъ основаніи, онъ приказалъ тотчасъ же осѣдлать лошадь, извѣстилъ обо всемъ Балахнову и, забывъ непріязненныя чувства къ прежнему пріятелю, пустился въ путь, не взирая на то, что вѣтеръ ломалъ деревья, мокрый снѣгъ валилъ хлопьями, а впереди предстояло сорокъ верстъ слишкомъ.

Карачаевъ, какъ уже извѣстно, былъ человѣкъ характера слабаго и легко-увлекающагося. Вмѣсто предполагаемыхъ восьми часовъ, онъ пробылъ въ отлучкѣ двои сутокъ. На третье утро Карачаевъ вернулся въ Ханскіе-Пруды. Взглянувъ на него въ ту минуту, какъ онъ въѣзжалъ на дворъ, можно было подумать, что другъ дѣтства, Барабанчиковъ, приказалъ долго жить, или наконецъ, самого Карачаева постигло какое-нибудь страшное горе. Онъ нетерпѣливо соскочилъ съ лошади, бросилъ поводья кучеру и, свирѣпо почесывая мокрый затылокъ, направился быстрыми шагами въ прихожую. — „Гдѣ барыня?“ спросилъ онъ отрывисто. Получивъ въ отвѣтъ, что барыня въ дѣтской, Карачаевъ заморгалъ глазами, сдѣлалъ шагъ впередъ, но въ ту же секунду измѣнилъ свое намѣреніе и вступилъ въ свою комнату, ту самую, гдѣ онъ и Васильковъ слушали нѣкогда чтеніе „Непризнанной Индѣйки“. Тутъ, закинувъ руки за спину, принялся онъ расхаживать взадъ и впередъ, проявляя на озабоченномъ лицѣ своемъ необычайное волненіе и произнося время отъ времени энергическія проклятія. — „Гдѣ Лизавета Семеновна?“ спросилъ онъ, выходя снова въ переднюю и забывъ, что былъ уже извѣщенъ объ этомъ. На этотъ разъ Карачаевъ не надѣлъ чернаго фрака, а какъ былъ, въ нанковомъ казакинѣ, вымоченномъ дождемъ, прошелъ мимо изумленной Фіоны Ивановны и вступилъ въ дѣтскую.

Въ дѣтской было очень весело, не смотря даже на то, что окна, до половины залѣпленныя снѣгомъ, съ трудомъ пропускали дневной свѣтъ. Дѣло въ томъ, что на этотъ разъ солнечные лучи замѣнялись отличнѣйшимъ образомъ ярко-топившеюся печкой, которая обливала стѣны, бѣлыя постельки и деревья, расписанныя на стѣнахъ розовымъ свѣтомъ. Балахнова сидѣла на низенькомъ табуретѣ, прямо противъ огня; Володя расположился на полу и, положивъ голову на колѣни матери, глядѣлъ на пылавшіе уголья; остальныя дѣти прыгали и рѣз-

вились вокругъ табурета, и веселыя лица ихъ, освѣщенныя пурпуровымъ заревомъ печки, казались еще миловиднѣе.

Есть что-то отрадное, успокоительное въ подобныхъ картинахъ! При видѣ ихъ, душа обрѣтаетъ какое-то полное, сознательное спокойствіе и невольно отдыхаетъ отъ всевозможныхъ суетныхъ треволненій жизни. На тѣхъ даже, кому рѣшительно недоступна поэтическая сторона нашего существованія, картины эти производятъ всегда сильное впечатлѣніе, хотя тѣмъ именно, что представляютъ рѣзкій контрастъ, съ дико-завывающею мятелью, унылымъ воемъ вѣтра и стужею, прохватывающею васъ насквозь. То же самое, или почти то же самое, было съ Карачаевымъ. Войдя въ комнату, онъ невольно отступилъ шагъ назадъ и остановился у двери. На лицѣ его, озабоченномъ и нахмуренномъ, проступило, однакожъ, выраженіе тоскливаго смущенія, похожаго на то, когда боишься потревожить сладкій сонъ ребенка и чувствуешь вмѣстѣ съ тѣмъ, что это необходимо сдѣлать. Увидѣвъ Павла Петровича, дѣти съ радостнымъ восклицаніемъ бросились къ нему на встрѣчу.

— Мама, мама! Карачаевъ пріѣхалъ! Карачаевъ! — Здравствуй, Карачаевъ, здравствуй! закричали они въ одинъ голосъ, прыгая вокругъ него или цѣпляясь за фалды нанковаго его казакина.

Карачаеву сдѣлалось окончательно неловко; отвѣчая торопливыми ласками на ласки дѣтей, онъ свирѣпо потиралъ въ то же время широкую свою лысину, покрытую нѣтомъ, моргалъ глазами, потряхивалъ головою, переминался на одномъ мѣстѣ, причемъ въ каждомъ изъ его движеній обозначалось сильное волненіе.

— Дѣти, сказала Балахнова, послѣ того, какъ поздоровалась съ Карачаевымъ: — не безпокойте Павла Петровича: онъ, кажется, очень усталъ послѣ дороги...

— Нѣтъ... помилуйте, Лизавета Семеновна, это ничего... я очень радъ, проговорилъ Карачаевъ, дѣлая надъ собою явное усиліе и принимаясь снова ласкать дѣтей.

Послѣдовала кратковременная пауза, впродолженіе которой Балахнова окинула любопытнымъ взглядомъ вошедшаго. Взгляда этого достаточно ужъ было, чтобъ убѣдиться, что съ Карачаевымъ произошло что-нибудь необыкновенное. Отсутствіе фрака, замѣненнаго на этотъ разъ казакиномъ, съ котораго Кара-

чаевъ не позаботился даже отряхнуть воду, подтверждало краснорѣчивѣйшимъ образомъ такое предположеніе. Зная въ совершенствѣ экспансивную, сообщительную натуру Карачаева и не сомнѣваясь нимало, что онъ поспѣшитъ передать ей свои горести, она придвинула къ печкѣ стулъ, пригласила его занять подлѣ себя мѣсто и начала разспрашивать его о результатахъ поѣздки.

— Ну, что, скажите, пожалуйста, какъ нашли вы вашего пріятеля? сказала она.

— Ничего, Лизавета Семеновна, слава-Богу; опасности нѣтъ никакой... все это вздоръ и пустяки! мрачно отвѣчалъ Карачаевъ.

— Взглянувъ на васъ, признаюсь, я думаю совсѣмъ другое... Скажите же мнѣ, Бога-ради, что̀ съ вами, Павелъ Петровичъ? произнесла Балахнова съ участіемъ.

— Ничего, такъ... знаете... проговорилъ Карачаевъ, дѣлая очевидныя усилія, чтобъ казаться спокойнѣе: — а впрочемъ, знаете, écouté, Лизавета Семеновна, прибавилъ онъ, багровѣя и знаменательно подмигивая на дѣтей: — мнѣ надо бы поговорить кой-о чемъ съ вами...

Тонъ, съ какимъ произнесены были послѣднія эти слова, и выраженіе на лицѣ Карачаева заставили тотчасъ же предположить Балахнову, что тутъ скрывалось какое-нибудь несчастіе, лично до нея касавшееся.

— Дѣти, оставьте насъ на минуту, подите играть въ залу, сказала она измѣнившимся голосомъ.

— Не думайте, однакожъ, голубушка Лизавета Семеновна, что я хочу сообщить вамъ что-нибудь особенно важное, съ поспѣшностью подхватилъ Карачаевъ, когда веселые голоса дѣтей раздались въ сосѣдней комнатѣ: — ей-Богу ничего, такъ; успокойтесь... все это я зналъ заранѣе... фу! заключилъ онъ, принимаясь обтирать лобъ.

Балахнова почувствовала въ эту минуту, что сердце ея забилось еще сильнѣе.

— Вы слышали что-нибудь о моемъ мужѣ!... сказала она, блѣднѣя.

— Ничего, клянусь вамъ честью! Онъ здоровъ и даже надняхъ будетъ здѣсь, успокойтесь... фу! Эхъ, я дуракъ, болванъ! зачѣмъ я началъ все это! воскликнулъ Карачаевъ, внезапно

вскакивая съ своего мѣста, и, замаршировавъ по комнатѣ, принялся долбить себя кулакомъ въ голову.

— Полноте, Павелъ Петровичъ, перестаньте! вы должны были передать мнѣ все, что знаете, изъ участія ко мнѣ. Умоляю васъ всѣмъ, что есть священнаго, не скрывать отъ меня ничего! произнесла Балахнова, живо схватывая руку собесѣдника. — Полноте, сядьте, говорите; видите, я совершенно спокойна... Вы знаете меня слишкомъ давно... вы должны знать также, что я ко всему ужъ привыкла... заключила она, садясь на стулъ и усаживая его подлѣ себя.

— Нѣтъ, голубушка моя Лизавета Семеновна, вы не можете къ этому привыкнуть, вы не должны привыкать къ этому! воскликнулъ Карачаевъ съ запальчивостью: — это, просто, глупость, извините меня, именно глупость! Этакъ, какъ хотите, а дѣлать нельзя, да и дѣлать этого никто не станетъ, имѣя дѣтей, семейство... это просто... это... это какъ Гирей, знаете, сидитъ себѣ, въ устахъ шипитъ или пищитъ у него янтарь, и знать никого не хочетъ! какъ говоритъ этотъ Пушкинъ въ своемъ „Бахчисарайскомъ Фонтанѣ“... Что это такое въ самомъ дѣлѣ? Не думаетъ ли Аристархъ Ѳедоровичъ что сосѣди, съ которыми онъ перессорился, обезпечутъ его дѣтей и жену... или станутъ вносить въ Опекунскій Совѣтъ проценты всякій разъ, какъ онъ будетъ перезакладывать такимъ образомъ свое имѣніе... Эхъ, жаль, досадно, что я не умѣю писать этихъ комедій! подхватилъ онъ съ глубочайшимъ отчаяніемъ: — я бы выставилъ этихъ людей, которые изъ-за прихоти какой-нибудь... изъ-за того, чтобъ блистать да выставляться передъ другими, готовы разворить и пустить по міру собственное свое семейство!...

— Что-жъ случилось? проговорила Балахнова задыхающимся голосомъ.

Такой рѣшительный вопросъ поставилъ, казалось, Карачаева въ совершеннѣйшій тупикъ. Онъ заморгалъ воспаленными глазами, побагровѣлъ и, проклиная себя въ душѣ за то, что зашелъ слишкомъ далеко, принялся обдумывать средство, какъ бы, по возможности, поберечь Лизавету Семеновну, или, по-крайней мѣрѣ, смягчить то, о чемъ слѣдовало ей разсказать. На этомъ основаніи, онъ разстегнулъ воротникъ своего казакина, потомъ снова застегнулъ его, и наконецъ пробормоталъ несвязно:

— Нѣтъ, écouté, это собственно ничего... успокойтесь... я погорячился...

— Павелъ Петровичъ... умоляю васъ! говорите мнѣ прямо... вы разрываете мнѣ сердце... произнесла Балахнова, едва переводя духъ.

Лицо Карачаева представило въ эту критическую минуту панораму самыхъ рѣдкихъ физіономическихъ феноменовъ. Онъ, очевидно, поступилъ неосторожно и зашелъ слишкомъ далеко; скрывать долѣе истину, значило усилить только безпокойство бѣдной женщины; но какъ открыть ей горестную вѣсть? Счастливая мысль представить все въ аллегоріи мелькнула въ головѣ его; онъ быстро вскочилъ съ своего стула, еще поспѣшнѣе вынулъ изъ кармана единственный свой клѣтчатый платокъ и, показывая его въ какомъ-то замѣшательствѣ Балахновой, произнесъ скороговоркой:

— Вотъ, изволите видѣть, платокъ, вотъ онъ... вы его видите... а вотъ (тутъ Карачаевъ скомкалъ платокъ и бросилъ его въ печь), а вотъ его и нѣтъ, сгибъ, сгорѣлъ — вотъ то же самое сдѣлалъ и Аристархъ Ѳедорычъ: онъ перезаложилъ свое имѣніе! заключилъ Павелъ Петровичъ, выразительно разводя руками и поднимая брови.

Но тутъ Карачаевъ мгновенно остановился. Взглянувъ на Балахнову, которая, при послѣднихъ словахъ, закрыла лицо руками и горько заплакала, онъ послалъ себѣ въ голову такой ударъ, который легко могъ бы сбить съ ногъ любаго быка; затѣмъ онъ бросился къ ней и, стараясь придать своему взбудораженному лицу спокойное выраженіе, проговорилъ скороговоркою:

— Лизавета Семеновна, я... я все это не такъ вамъ представилъ, успокойтесь, ради Бога!... Ecouté: я вамъ разскажу все, какъ было; можетъ быть, мнѣ все это наврали: вы знаете уѣздныя сплетни... Я погорячился, не сообразилъ этого... а вы... эхъ, эхъ! послушайте: не сами ли вы говорили мнѣ, что не слѣдуетъ вѣрить всему тому, что болтаютъ въ уѣздѣ? подхватилъ онъ, принимаясь дѣлать какіе-то поясните́льные знаки пальцами, наклоняя впередъ багровое лицо и выкатывая зрачки, какъ-будто намѣревался проглотить за одинъ разъ свою собесѣдницу: — опасность вовсе не такъ велика, какъ вы думаете; я погорячился потому только, что мнѣ, понимаете, досадно. Аристархъ Ѳедоровичъ перезаложилъ только свои двѣсти душъ!

продолжалъ онъ успокоительнымъ тономъ; а впрочемъ, и это, можетъ быть, однѣ лишь сплетни; всякому слуху не вѣрь... Вы сами знаете... Къ тому же, слухи эти распространяетъ этотъ... этотъ... желто-фіолетовый господинъ Кошкинъ, который говоритъ, будто писалъ ему объ этомъ какой-то... какъ бишь его... да, Чиндаласовъ, изъ Москвы... Вздоръ, пустяки! Aristarque никогда не игралъ въ карты по большой... успокойтесь! Я, впрочемъ, ужъ распорядился, Лизавета Семеновна: я велѣлъ передать Кошкину, что если онъ не будетъ держать языкъ на привязи, такъ найдется одинъ вексель... вы понимаете, которымъ мы зажмемъ ему ротъ! заключилъ Павелъ Петровичъ, очевидно, мѣшаясь и сбиваясь въ своихъ успокоительныхъ доводахъ и объясненіяхъ.

— Бѣдныя, бѣдныя мои дѣти! сказала Балахнова, медленно отнимая руку отъ лица и задумчиво глядя на угасавшій уголь, между-тѣмъ, какъ крупныя слёзы лились по блѣднымъ щекамъ ея.

— Нѣтъ, голубушка моя, Лизавета Семеновна, у нихъ есть еще кусокъ хлѣба. Я все это устрою. Вотъ тутъ залѣзла счастливая мысль! воскликнулъ Карачаевъ, ударивъ себя по лбу: — успокойтесь, ради Бога! И сказать, что у меня было когда-то сто тысячъ, которыя разлетѣлись по пустякамъ! подхватилъ онъ, отчаянно размахивая руками: — впрочемъ, вы не думайте, нѣтъ, я совсѣмъ не то хотѣлъ сказать, поспѣшно заговорилъ онъ, взглянувъ на лицо Балахновой, мгновенно вспыхнувшее: — совсѣмъ не то, голубушка моя, Лизавета Семеновна... я хотѣлъ, то-есть, сказать, что какъ, то-есть, пропадаютъ иногда деньги; такъ ни за что... на сущій вздоръ!... заключилъ Павелъ Петровичъ, передвигая пальцами и наклоняя голову, какъ-будто передъ кѣмъ извинялся.

Въ эту самую минуту въ сосѣдней комнатѣ послышались бѣготня и дѣтскіе голоса.

Карачаевъ не успѣлъ повернуться къ двери, какъ дѣти вбѣжали ужъ въ спальню съ крикомъ:

— Мама, папа ѣдетъ! папа ѣдетъ!

Невозможно передать эффекта, произведеннаго этими словами на двухъ собесѣдниковъ. Карачаевъ отступилъ, какъ-будто передъ нимъ упалъ громъ.

— Че-е-во? Быть не можетъ! произнесъ онъ, опомнившись.

— Павелъ Петровичъ, сказала Балахнова, приподымаясь съ своего стула и поспѣшно схватывая его за руку: — прошу васъ не говорить ему ни слова: до поры до времени, онъ не долженъ знать, что намъ все ужъ извѣстно. Надѣюсь, вы сдѣлаете это для меня?...

Карачаевъ мрачно насупилъ брови и наклонилъ голову.

— Дѣти, произнесла Балахнова, обращая къ нимъ спокойное, хотя блѣдное лицо свое: — пойдемте встрѣчать отца!... И, сопровождаемая дѣтьми и Карачаевымъ, который продолжалъ сохранять такой же точно мрачный видъ, какъ-будто хоронилъ свое собственное счастіе, быстрыми шагами направилась въ залу.

IX.

Аристархъ Ѳедоровичъ, сопровождаемый Порфиріемъ Павловичемъ и Аполлономъ Егоровичемъ, возвращается къ домашнему очагу.

Въ то время, какъ Лизавета Семеновна, дѣти и Карачаевъ выходили въ залу, Аристархъ Ѳедоровичъ въѣзжалъ на дворъ. Въ окнахъ видно было, какъ дорожная коляска его, окруженная дворовыми людьми, приближалась къ крыльцу. Коляска, не смотря на ненастную погоду, была открыта. Аристархъ Ѳедоровичъ, сидѣвшій на возвышеніи, сдѣланномъ изъ подушекъ, величественно, но привѣтливо раскланивался направо и налѣво, и по движенію губъ его можно было сказать безошибочно, что онъ произносилъ: „благодарю!“ Порфирій Павловичъ, сидѣвшій подлѣ, направлялъ свои исполинскіе зрачки въ одно и то же время на всѣ предметы и посылалъ суетливые поклоны. Одинъ Аполлонъ Егоровичъ Дрянковъ, помѣщавшійся на козлахъ, съ узелкомъ подъ мышкой, — узелкомъ, въ которомъ заключалась оттиснутая „Непризнанная Индѣйка“ вмѣстѣ съ экземплярами „Заоблачныхъ Трелей“, „Пелопонезо-Таврическихъ мелодій“ и „Шпоры Лермонтова“, хранилъ невозмутимое спокойствіе и, задравъ кверху лицо свое, ни съ кѣмъ не кланялся... Въ общемъ, все это напоминало торжественный въѣздъ Александра Македонскаго въ Вавилонъ.

Наконецъ, коляска остановилась у подъѣзда. Минуту спустя,

великій человѣкъ изъ Горшкова вступалъ уже въ домъ своихъ предковъ. Въ залѣ встрѣтили его жена, дѣти, Карачаевъ, Фіона Ивановна и вся дворовая челядь, сбѣжавшаяся со всѣхъ возможныхъ концовъ.

— Друзья мои, проговорилъ растроганнымъ голосомъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обнимая жену: — друзья мои, Порфирій Павлычъ, и ты, Карачаевъ! друзья мои! молю Провидѣніе, чтобъ оно ниспослало вамъ такую жену и такихъ дѣтей; дай Богъ, чтобъ вамъ привелось когда-нибудь вкушать въ сей юдоли плача и скорбей такія сладостныя минуты: онѣ возвышаютъ душу и сердце. Благодарю еще разъ и всѣмъ сердцемъ восклицаю: благодарю васъ, друзья мои!...

Тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ, растроганный и прослезившійся, вторично обнялъ жену и, кивая черезъ ея плечо всѣмъ остальнымъ лицамъ, находившимся въ залѣ, проговорилъ еще разъ „благодарю“.

— Ну, вотъ я и дома! Опять съ вами, друзья мои! заключилъ Балахновъ, выпрямляя грудь и показывая всѣмъ свои вагенгеймовскіе зубы:

Когда-жъ пространствуешь, воротишься домой,
И дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ!

сказалъ великій Грибоѣдовъ, и сказалъ истинную правду! примолвилъ онъ, принимаясь снова ласкать дѣтей, между-тѣмъ, какъ Васильковъ и Дрянковъ здоровались съ хозяйкою дома. Аристархъ Ѳедоровичъ былъ необыкновенно веселъ, не смотря даже на то, что въ дипломатической головѣ его постоянно работала мысль о томъ, что поѣздка его въ Москву сопряжена была большею частью съ неудачами и не принесла почти никакого результата. Въ то время, какъ перетаскивали подушки и чемоданы, онъ успѣлъ сказать каждому привѣтливое слово, успѣлъ спросить: „что слышно въ уѣздѣ?“ и, получивъ на этотъ счетъ кой-какія свѣдѣнія, обратился шутливо къ вдовѣ Чивадзи:

— А гдѣ-жъ Прокисай? я что-то его не вижу.

— Почемъ же я знаю-съ?... Я не нянька его... язвительно прошипѣла Фіона Ивановна, нетерпѣливо поправляя косынку, перевязывавшую больную щеку, и придерживая пальцемъ непокорную фигу.

— Что-жъ такъ? Вѣрно, опять измѣнилъ, злодѣй! Опять, вѣрно, у Ковуркиныхъ? сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, лукаво подмигивая вдовѣ, которая спѣшила скрыться. Ха! ха! ха!... залился Аристархъ Ѳедоровичъ и, повернувшись неожиданно къ женѣ, взялъ ее за обѣ руки. — Ну, Лизанька, сказалъ онъ добродушно шутливымъ тономъ: — я долженъ сообщить тебѣ одно происшествіе, которое, нѣтъ сомнѣнія, растерзаетъ твое супружеское счастіе. Плачь, плачь надъ сердцемъ своего мужа: оно заполонено m-me Камышевской, родною сестрою m-me Балаклѣевой, которую ты видѣла не разъ въ нашемъ губернскомъ городѣ... Происшествіе необычайное, случай необыкновенный. Я долженъ тебѣ сказать прежде всего, что я спасъ ей жизнь, даровалъ существованіе... но скромность смыкаетъ мнѣ уста; пусть Васильковъ — онъ былъ свидѣтелемъ всего — разскажетъ тебѣ это событіе, гдѣ Промыслъ излилъ на меня новый потокъ щедротъ своихъ! заключилъ Балахновъ, пожимая женину руку и самодовольно направляясь въ кабинетъ.

Васильковъ, у котораго давно ужъ зудѣлъ языкъ сообщить подробности этого драматическаго событія, исполнилъ съ наслажденіемъ просьбу своего величаваго друга. Изъ словъ его оказалось, что Аристархъ Ѳедоровичъ заѣхалъ по дорогѣ къ г-жѣ Камышевской, и что г-жа Камышевская, преисполненная признательности къ вниманію Аристарха Ѳедоровича, повезла именитаго своего гостя на маленькихъ дрожкахъ по всѣмъ частямъ своего хозяйства. Слѣдовало проѣхать черезъ плотину, чтобъ попасть на скотный дворъ. На плотинѣ дрожки опрокидываются; г-жа Камышевская падаетъ въ воду, и Аристархъ Ѳедоровичъ, движимый безпримѣрнымъ чувствомъ великодушія, вытаскиваетъ ее на берегъ здравою и невредимою.

Въ каждомъ событіи, какъ бы велико оно ни было, находятся всегда двѣ стороны; и показавъ одну сторону чуднаго спасенія г-жи Камышевской и безпримѣрнаго великодушія Аристарха Ѳедоровича, мы непремѣнно должны показать и другую. Поѣздка къ г-жѣ Камышевской входила въ составъ дипломатическаго плана Балахнова,—плана, обдуманнаго еще въ Ханскихъ-Прудахъ, до поѣздки великаго человѣка въ Москву. Дѣло въ томъ, что госпожа эта приходилась родной сестрой госпожѣ Балаклѣевой, мужъ которой игралъ одну изъ самыхъ первыхъ ролей въ губернскомъ городѣ, гдѣ должны были происходить

выборы. Аристархъ Ѳедоровичъ давно уже заигрывалъ съ Балаклéевымъ, но, по какому-то странному, дикому предубѣжденію, Балаклéевъ обнаруживалъ всегда къ великому человѣку холодное равнодушіе. Можете представить себѣ послѣ этого восторгъ великаго дипломата, когда, можно сказать, сама судьба доставила ему случай возбудить въ душѣ всѣхъ Балаклéевыхъ вѣчную признательность за чудное спасеніе любимой сестры.

Спасеніе г-жи Камышевской не имѣло въ себѣ, собственно говоря, ничего особеннаго; все произошло самымъ обыкновеннымъ образомъ; тѣмъ не менѣе, однакожъ, событіе это, выходя изъ устъ Аристарха Ѳедоровича, пріобрѣло такую яркость и выпуклость, что сдѣлалось вскорѣ извѣстнымъ цѣлой губерніи и приняло даже подъ конецъ характеръ чисто-лирическій. Прибавьте къ этому, что скромность самого героя не позволяла ему распространяться слишкомъ много объ этомъ предметѣ. Вотъ, между-прочимъ, какую форму приняло это событіе въ знаменитой записной книжкѣ великаго горшковскаго мужа и, вслѣдъ за тѣмъ, въ письмѣ, адресованномъ имъ на имя Балаклéева: „...Добрая и возвышенная душа ваша, вѣрно, воздохнетъ къ Провидѣнію съ признательностью“, писалъ Аристархъ Ѳедоровичъ на второй страницѣ своего письма. „Шестаго сентября, въ седьмомъ часу вечера, прекраснаго, хотя холоднаго, завлеченные сею погодою, по докладу старосты о чрезвычайно сильной водѣ, угрожавшей плотинамъ и мельницѣ, я, пріѣхавъ въ село Пруженцóво навѣстить многоуважаемую сестрицу вашу, и она отправились вмѣстѣ осмотрѣть оныя, въ дрожкахъ, на отличной и смирной лошади, преслѣдуемые старостою; спустились благополучно съ горы—и, не найдя ужъ на плотинѣ ничего снѣгу (утромъ шелъ мокрый снѣгъ, именуемый въ простонародьи „дряпнéю“), сострадая тяжести лошади отъ чрезмѣрной грязи, я сошелъ съ дрожекъ, а сестрица ваша взяла возжи и шагомъ ѣдетъ впередъ, а мы съ старостою, разумѣется, отъ лошади поотстали, можетъ-быть, шаговъ на десятокъ. И вижу сзади, что на мосту, подъ коимъ спускъ воды, отъ сильнаго стремленія ревущей, вдругъ дѣлается лошади дурнота и въ одно мгновеніе она съ него бросается прямо въ спускъ воды, ниже моста, на 3 аршина, а вдоль девять съ половиною аршинъ и гдѣ глубина неизмѣрима!!! Отъ силы удара и собственнаго механизма тяжести дрожекъ и лошади (добрый конь!) въ ту же минуту утопъ въ этой страш-

ной пропасти, а дрожки, съ безстрашной сестрицей вашей, черезъ него переброшенные, въ водѣ накрыли ее!!!... Испуганный этою неизбѣжною гибелью, я бѣгу стремглавъ къ мосту, успѣвая на побѣгѣ сбросить замшевыя перчатки, дабы онѣ, намокнувъ, не скользили и не мѣшали мнѣ дѣйствовать руками, разсчитываю каждую терцію времени въ страхѣ, чтобъ она не захлебнулась подъ дрожками, гдѣ ее ужъ и не видно, съ моста бидаюсь подъ нихъ и, непостижимымъ милосердіемъ Неба, схватываю прямо ея руку, и вынурнувъ вверхъ, плыву къ берегу, силясь ее успокоить словами. Староста во все это время взывалъ къ народу, который, сбѣжавшись съ берега, у водопада, принимаетъ свою добрую госпожу на руки, коимъ я, дабы не выдернули рукъ, подавалъ ее снизу, опершись на какую-то глыбу глины; какъ вдругъ съ нея скользаю и окунаюсь вновь въ самую глубину, гдѣ, по счастью, тѣмъ же благимъ Промысломъ спасенный, попадаю на сваю, разбиваюсь жестоко, но сею же удержанный, выкарабкиваюсь и — вытащенъ людьми!!! Въ этомъ положеніи насъ уносятъ въ домъ, и тамъ, покровительствуемые Небомъ, всѣми способами отогрѣты. Но не менѣе того, хотя благополучно живы, а безъ различныхъ потрясеній не остались, особенно сестрица ваша, показавшая въ этомъ случаѣ безпримѣрную неустрашимость. Буди во всемъ слава и благодареніе Небесамъ, даровавшимъ человѣколюбіе людямъ!...“ Но дѣло вовсе не въ краснорѣчіи Аристарха Ѳедоровича; даже злѣйшіе враги его сознавались чистосердечно, что не знали ему въ этомъ отношеніи соперниковъ: въ цѣлой половинѣ уѣзда не было человѣка, который своевременно не прибѣгнулъ бы подъ защиту могущественнаго слова любимаго своего оратора, и наоборотъ, въ другой половинѣ уѣзда трудно было съискать существо, которое не испытало бы на себѣ гибельнаго и всесокрушительнаго дѣйствія, производимаго, въ случаѣ надобности, ораторскими способностями великаго мужа. Это фактъ. Сила, слѣдовательно, не столько въ краснорѣчіи, сколько въ томъ благотворномъ, нравственномъ вліяніи, какое произведено было на Аристарха Ѳедоровича случаемъ, происшедшимъ съ г-жею Камышевской. Случай этотъ придалъ тройную силу потухавшей энергіи знаменитаго Аристарха Ѳедоровича. „Балаклѣевы теперь мои!... Наша возьметъ!...“ повторялъ поминутно Аристархъ Ѳедоровичъ, ударяя Василькова по плечу въ то

время, какъ они возвращались въ Ханскіе-Пруды. Это обстоятельство достаточно объясняетъ, кажется, веселое расположеніе духа нашего героя. Благодаря этому счастливому расположенію, невольно заглушавшему въ немъ сознаніе собственнаго своего величія, онъ былъ необыкновенно разговорчивъ и во все продолженіе дня не переставалъ обнаруживать заботливое участіе къ женѣ, которая жаловалась на страшную головную боль. Карачаевъ мрачно глядѣлъ на всѣ эти сцены и не произносилъ слова. Онъ не отвѣчалъ даже на шутливыя замѣчанія Балахнова, ходилъ взадъ и впередъ, судорожно хмурилъ брови и, казалось, ждалъ чего-то. Васильковъ и Дрянковъ, не смотря на долгую съ ними разлуку, какъ-будто вовсе не существовали въ этотъ день для Карачаева.

Тѣмъ не менѣе, однакожъ, какъ только наступила ночь и Аристархъ Ѳедоровичъ, распрощавшись съ членами своего семейства, ушелъ спать, Карачаевъ направился нетерпѣливыми шагами въ комнату проживальщиковъ. Онъ далъ себѣ слово выѣдать отъ Василькова и Дрянкова, на сколько справедливы были слухи, носившіеся въ уѣздѣ о томъ, будто Балахновъ перезаложилъ свое имѣніе. Достигнуть этого было легче, чѣмъ думалъ Карачаевъ. Васильковъ и Дрянковъ, связанные съ нѣкоторыхъ поръ тѣснѣйшими узами дружбы, передали Карачаеву во всѣхъ подробностяхъ столичное житье-бытье и высказали, сами того не замѣчая, все, о чемъ хотѣлъ знать Карачаевъ. Къ такимъ откровеніямъ сильнѣйшимъ образомъ способствовало также и то, что въ памяти обоихъ разсказчиковъ живо еще представлялись тѣ случаи, которые навлекли на нихъ когда-то справедливый гнѣвъ и угрозы Карачаева — угрозы, которыя, при малѣйшемъ упрямствѣ съ ихъ стороны, весьма легко могли быть приведены въ исполненіе.

— Хорошо, мнѣ нѣтъ никакого дѣла до Миловзорова и до другихъ чертей, съ которыми ты свелъ тамъ дружбу! сурово сказалъ Карачаевъ, обращаясь къ сердобольному Порфирію Павловичу, начинавшему чувствительное повѣствованіе о дружбѣ своей съ докторомъ: — знакомься съ кѣмъ хочешь. Дѣло въ томъ, что на-дняхъ я заѣзжалъ къ женѣ твоей — вотъ въ чемъ дѣло...

Порфирій Павловичъ поблѣднѣлъ.

— Нѣчего, братъ, глаза-то выпучивать, какъ словно пяте-

рыхъ проглотилъ да шестымъ поперхнулся, продолжалъ неумолимый Карачаевъ: — дѣло въ томъ, что я заѣзжалъ къ ней: она больна и больна очень опасно. Слышишь ли ты это, Порфирій?

— Антониночка!... плаксиво простоналъ Васильковъ.

— Все это, братъ, финтифлюшки; нечего гримасничать; не въ томъ сила: сила въ томъ, что ты завтра же долженъ къ ней ѣхать — вотъ въ чемъ она, штука-то!

— Странно, однакожъ! пробормоталъ Дрянковъ, сидѣвшій на постели: — ты, братецъ, распоряжаешься...

— Че-е-во? грозно произнесъ Карачаевъ, вращая воспаленными бѣлками на безсмертнаго автора „Непризнанной Индѣйки“.

Аполлонъ Егоровичъ замолчалъ и повернулся спиною.

— Вотъ такъ-то лучше будетъ, сказалъ Карачаевъ: — ѣду, ѣду, не свищу, а наѣду—не взыщи! Ну, а мы завтра же съ тобой поѣдемъ, Порфирій. Ты долженъ примириться съ женою; я все это устрою...

— Охъ, Павелъ Петровичъ... другъ мой!... Къ несчастію... робко проговорилъ Васильковъ.

— Что еще?... Какое несчастіе? Никакого нѣтъ несчастія. Ты самъ всему виною: кислилъ, мямлилъ, самъ долженъ все поправить...

— Совсѣмъ не то, душка моя... я не про то... Примириться съ Антониночкой я сейчасъ готовъ, но... къ несчастію, мнѣ никакъ этого нельзя сдѣлать...

— Это что еще? запальчиво крикнулъ Карачаевъ.

— Да ты не сердись, Павелъ, выслушай прежде, сказалъ Васильковъ, уныло разводя раковыми глазами: — я готовъ примириться съ Антониночкой, готовъ сойдтись съ ней... но, но гдѣ-жъ мы жить-то будемъ?...

— Какъ гдѣ? вотъ вопросъ! а въ Сусловкѣ?

— Я продалъ Сусловку Аристарху Ѳедорычу... Вчера, какъ проѣзжали черезъ Горшковъ, совершили купчую...

— Ну, продалъ или не продалъ, это все равно; дѣло въ томъ, что на полученныя деньги ты купишь себѣ домъ или помѣстье — вотъ въ чемъ штука-то! Если хочешь, поручи мнѣ; я все это тебѣ устрою... Деньги получилъ?

— Аристархъ Ѳедорычъ сказалъ, что могу получить ихъ когда захочу...

— Ну, и ладно! Завтра, слѣдовательно, мы ѣдемъ къ Антонинѣ Васильевнѣ! рѣшительно сказалъ Карачаевъ.

Затѣмъ онъ оставилъ комнату проживальщиковъ, прошелъ въ залу и часа три ходилъ изъ угла въ уголъ, свирѣпо почесывая затылокъ.

Первый предметъ, поразившій взоры Аристарха Ѳедоровича, когда, возставъ отъ сна, расположился онъ въ вольтеровскихъ креслахъ, былъ Карачаевъ.

— А! защитникъ и покровитель дома сего! милости просимъ! весело воскликнулъ великій горшковскій мужъ.—Позволь, братецъ, еще разъ поблагодарить тебя хоть за то, что ты не оставлялъ въ одиночествѣ жены моей...

— Не за что, братецъ! недовольнымъ голосомъ отвѣчалъ Карачаевъ: — я почелъ своею обязанностью успокоить Лизавету Семеновну... Конечно, не всякій, братъ, понимаетъ то, что... ну, да не въ этомъ дѣло; я пришелъ отдать тебѣ отчетъ...

— Какой отчетъ? въ чемъ?

— Отчетъ — и больше ничего! отрывисто сказалъ Карачаевъ, косясь въ сторону.

Аристархъ Ѳедоровичъ взглянулъ на лицо мрачнаго собесѣдника и залился звонкимъ хохотомъ.

— Че-е-во? Смѣяться тутъ нечего! запальчиво крикнулъ Карачаевъ: — тебѣ говорятъ дѣло, вотъ и все тутъ.

— Да полно, полно, взбалмошная голова ты этакая! скоро ли ты угомонишься?... Ну, какіе тутъ отчеты ты еще затѣялъ? какіе отчеты? произнесъ Балахновъ, дружески положивъ обѣ руки на плечи Карачаева и слегка раскачивая его.—Садись-ка лучше, да разскажи, что и какъ. Ну, что, напримѣръ, толкуютъ въ уѣздѣ? Не слыхалъ ли чего-нибудь о предстоящихъ выборахъ? Вѣдь всего, братецъ, три какія-нибудь недѣли осталось... три недѣли! заключилъ онъ торжественно.

— Я, братъ, ничего этого не знаю, да, признаться, и знать не хочу; мое дѣло сторона, нетерпѣливо перебилъ Карачаевъ:— я, братецъ, хотѣлъ поговорить тебѣ объ одномъ очень важномъ дѣлѣ, которое случилось во время твоего отсутствія, примолвилъ онъ такимъ тономъ, который ясно показывалъ рѣшитель-

ное намѣреніе быть до конца вѣрнымъ роли строгаго, дѣловаго докладчика.

— Важное дѣло... ба!... Ну какое же это, какое важное дѣло? Я слушаю, произнесъ, подсмѣиваясь, Аристархъ Ѳедоровичъ.

Карачаевъ нахмурилъ брови и, косясь на окно, продолжалъ:

— Ты, вѣроятно, уже слышалъ, что Розалія Владиміровна Саранаева...

— А, такъ вотъ оно въ чемъ важное-то дѣло! Ха, ха, ха!... да, въ самомъ дѣлѣ... ха, ха! все это очень важно...

— Конечно, не всякій можетъ понимать то, что... запальчиво воскликнулъ Павелъ Петровичъ: — ну, да Богъ съ тобой! Не въ томъ штука; штука въ томъ, братецъ ты мой, что какова бы она ни была, она требуетъ назадъ свои деньги, прибавилъ Карачаевъ, смягчаясь и нытливо устремляя на Балахнова воспаленные бѣлки свои.

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, признаюсь, любезнѣйшій, новость же ты мнѣ сообщилъ, нечего сказать! А впрочемъ, кстати, такъ-какъ ужъ рѣчь зашла объ этой интересной особѣ, прибавилъ Балахновъ, принимая вдругъ степенный видъ: — я хотѣлъ вчера еще поговорить съ тобою на этотъ счетъ. Скажи, пожалуйста, Павелъ Петровичъ, въ какихъ ты съ ней отношеніяхъ?

— Я, братецъ?... Да такъ... ничего... возразилъ Карачаевъ, потирая лысину.

— Ну, такъ вотъ, видишь ли, въ чемъ дѣло, подхватилъ Аристархъ Ѳедоровичъ: — сдѣлай мнѣ въ такомъ случаѣ одолженіе... Дурища эта, пожалуй, чего добраго, заберетъ себѣ въ голову чортъ знаетъ что такое и начнетъ болтать всякій вздоръ на мой счетъ: окажи дружбу, съѣзди къ ней и передай ей отъ меня, что она получитъ свои деньги въ самомъ короткомъ времени... Живетъ она у попадьи въ Горшковѣ, какъ мнѣ сказывали вчера, когда я проѣзжалъ черезъ этотъ городъ. Не сомнѣваюсь въ твоемъ расположеніи; я увѣренъ, что ты не откажешься исполнить это порученіе какъ нельзя лучше, заключилъ Балахновъ, полагавшій не безъ основанія, что, за три недѣли до выборовъ, каждый неблагопріятный слухъ, даже со стороны дѣвицы Саранаевой, можетъ повредить ему.

Возложить на Карачаева какое-нибудь трудное, деликатное

порученіе и показать ему при томъ, что на него, какъ на человѣка дѣловаго и расторопнаго, полагаются совершенно, значило польстить ему въ высшей степени. Выслушавъ Аристарха Ѳедоровича, онъ мигомъ расправилъ брови и сказалъ миролюбиво:

— Помилуй, душа моя, Aristarque, я самъ то же говорю: непремѣнно разболтаетъ чортъ знаетъ что такое...

— Итакъ, ты ѣдешь въ Горшковъ?

— Позволь, душа моя... я не могу покуда дать тебѣ рѣшительнаго отвѣта; я прежде подумаю... сказалъ Карачаевъ, значительно насупивая брови.

Тутъ Карачаевъ приподнялся съ своего мѣста и, попросивъ Балахнова, чтобъ онъ не мѣшалъ ему, минутъ пять ходилъ по кабинету съ закинутыми за спину руками.

— Изволь, душа моя, чтобъ тебѣ доказать... я ѣду! воскликнулъ наконецъ Карачаевъ съ такою горячею готовностью, какъ-будто дѣло шло о спасеніи человѣческой жизни.

— Я, братецъ, никогда не сомнѣвался въ твоемъ расположеніи, произнесъ Балахновъ, театрально протягивая ему руку: — только вотъ что, любезный, нельзя ли сдѣлать это какъ можно скорѣе, нынѣче, напримѣръ? а?...

— Ну, да, душа моя, конечно, сейчасъ же; зачѣмъ откладывать? Что дѣло, то дѣло! проговорилъ Павелъ Петровичъ, суетливо застегивая свой нанковый казакинъ. — Будь спокоенъ, я все это устрою!

Выходя изъ кабинета, онъ встрѣтилъ Василькова и Дрянкова, которые шептались у двери.

— Ты, вѣрно, за деньгами? спросилъ Карачаевъ у Порфирія Павловича.

— Да...

— Ну, хорошо; такъ получи же ихъ и дожидайся меня здѣсь. Я завтра вернусь назадъ, а послѣ-завтра мы отправимся къ Антонинѣ Васильевнѣ, приложилъ рѣшительно Павелъ Петровичъ и, не дожидаясь никакихъ объясненій, поспѣшно направился въ залу.

Четверть часа спустя, Карачаевъ летѣлъ въ Горшковъ.

Аполлонъ Егоровичъ, отпустивъ Василькова въ кабинетъ Аристарха Ѳедоровича, стоялъ, между-тѣмъ, въ концѣ корридора, выжидая возвращенія сердолюбиваго своего друга.

Съ нѣкоторыхъ поръ, а именно съ того самаго времени,

какъ Васильковъ продалъ Сусловку и долженъ былъ получить отъ Балахнова восемь тысячъ, въ поэтической душѣ Аполлона Егоровича возникла сильная потребность сблизиться съ мягкою, нѣжною душою Порфирія Павловича. Съ прискорбіемъ сознался онъ, что въ этомъ благородномъ побужденіи, точно такъ же, какъ большею частію во всѣхъ человѣческихъ побужденіяхъ, былъ замѣшанъ... не то, чтобъ гнусный разсчетъ, а такъ-себѣ, скромное эгоистическое соображеніе. Въ прежнее время Аполлонъ Егоровичъ не видѣлъ для себя ничего оскорбительнаго въ званіи „проживальщика“: онъ находилъ весьма естественнымъ жить на чужой счетъ, ничего не дѣлая, и позволялъ человѣческому достоинству возмущаться тогда лишь, когда щелчки благотворительнаго Аристарха Ѳедоровича принимали слишкомъ явный и рѣшительный характеръ.

Теперь обстоятельства перемѣнились. Согласитесь сами: рука, начертавшая безсмертныя страницы „Непризнанной Индѣйки“, могла ли унизиться до того, чтобъ принимать подаянія? Нѣтъ, ни въ какомъ случаѣ! Аполлонъ Егоровичъ не могъ оставаться въ Ханскихъ-Прудахъ, въ качествѣ проживальщика; это ни съ чѣмъ несовмѣстно. Присосѣдиться, напримѣръ, хоть къ Василькову и жить на его счетъ въ качествѣ друга — это совсѣмъ другое дѣло. Въ этомъ послѣднемъ положеніи авторское и вмѣстѣ съ нимъ человѣческое достоинство Аполлона Егоровича не находило для себя вовсе ничего предосудительнаго.

Переходя постепенно отъ одной свѣтлой мысли къ другой, Аполлонъ Егоровичъ заключилъ уже, весьма основательно, что ему не будетъ стоить никакого труда уговорить Василькова избрать мѣстомъ жительства губернскій городъ, какъ вдругъ Васильковъ показался въ дверяхъ кабинета, и Дрянковъ полетѣлъ къ нему на встрѣчу.

Въ исполинскихъ глазахъ Порфирія Павловича проглядывало на этотъ разъ такое рѣшительное намѣреніе выскочить изъ своихъ впадинъ и лицо его выражало столько испуга, что Аполлонъ Егоровичъ счелъ непремѣнною своею обязанностью схватить друга за руку и спросить: что случилось?

Порфирій Павловичъ не отвѣчалъ; онъ ограничился выразительнымъ покатіемъ руки и повлекъ Дрянкова, черезъ корридоръ, на противоположный конецъ залы. Тутъ Порфирій Павловичъ остановился и, убѣдившись хорошенько, что слова его

не могутъ быть услышаны Аристархомъ Ѳедоровичемъ, обратился лицомъ къ двери кабинета и произнесъ взволнованнымъ голосомъ:

— Такъ-то вы покупаете имѣнія?... а? Такъ вотъ какъ покупаете вы имѣнія!... заключилъ онъ, вращая съ зловѣщимъ видомъ своими зрачками.

— Что случилось?... Я заранѣе смущенъ, проговорилъ Аполлонъ Егоровичъ: — ты знаешь, какое участіе принимаю я въ этомъ дѣлѣ... Говори скорѣе...

— Ужасно!... ужасно! Ахъ, я никогда не ожидалъ этого отъ Аристарха Ѳедоровича... я считалъ его своимъ благодѣтелемъ! воскликнулъ съ трогательнымъ отчаяніемъ Васильковъ.

— Напрасно! я всего ожидалъ отъ него; отъ него все станется... Говори скорѣе!

— Охъ, пойдемъ въ твою комнату, все разскажу! простоналъ сердобольный Васильковъ, между-тѣмъ, какъ лицо Дрянкова выражало высшую степень тревожной раздражительности.

— Ну? произнесъ Аполлонъ Егоровичъ, когда оба они очутились подъ лѣстницею, въ комнатѣ проживальщиковъ.

— Я просилъ у него деньги за Сусловку.

— Ну?... повторилъ нетерпѣливо Дрянковъ.

— Онъ на это вынимаетъ изъ ящика какія-то бумаги... Смотрю... охъ, что-жъ бы ты думалъ?

— Ну?...

— Списки: на извощика дано Василькову такого-то числа столько-то, на театръ столько-то, на платье столько-то, въ Троицкомъ трактирѣ за обѣдъ столько-то... Охъ, могъ ли я думать!

— Вотъ новость! произнесъ Дрянковъ, сжимая кулаки и стискивая зубы: — да вѣдь не самъ ли онъ таскалъ тебя въ Троицкій трактиръ?...

— Кто бы могъ это думать! снова простоналъ Васильковъ: — я вѣрилъ въ его дружбу... Повѣришь ли, все пересчиталъ, все, все до копѣйки... всего шесть тысячъ... Остается мнѣ получить за Сусловку двѣ тысячи...

— Ну?...

— Сказалъ, что теперь денегъ нѣтъ, что на-дняхъ отдастъ, а покуда, говоритъ, живи у меня въ Ханскихъ-Прудахъ.

— Плутъ!

— Охъ, не говори! Просто, просто, душа моя, меломанъ какой-то...

— Нѣтъ, воскликнулъ Дрянковъ, яростно взъерошивая волосы на головѣ своей: — нѣтъ, Порфирій! ты не долженъ оставаться минуты въ этомъ домѣ... Я также не останусь и поѣду съ тобою...

— Я тоже думаю, произнесъ убитымъ голосомъ Порфирій Павловичъ:—Богъ съ нимъ! Поѣдемъ къ барышнямъ Кокуркинымъ: онѣ меня всегда любили... Боже мой, Боже мой! что со мной будетъ? Какъ покажусь я теперь Антониночкѣ и Фанагоріи Петровнѣ! заключилъ Васильковъ, дико блуждая глазами.

— Зачѣмъ же тебѣ имъ показываться? Рѣшительно не-зачѣмъ. Вѣдь ты не хочешь примириться съ женою, не хочешь? Ты самъ говорилъ мнѣ это... Полно, братецъ, полно въ самомъ дѣлѣ плясать подъ дудочку Карачаева... и что такое? какое, наконецъ, имѣетъ онъ право?... Итакъ, ты сейчасъ же ѣдешь къ Кокуркинымъ. Ты не ошибся въ нихъ: онѣ въ самомъ дѣлѣ тебя любятъ; тамъ найдемъ мы покуда пріютъ и убѣжище. Ты знаешь, Карачаевъ къ нимъ не ѣздитъ... А ты, примолвилъ Дрянковъ, обращаясь неожиданно къ двери съ поднятыми кулаками:—о, погоди, ханжа и благотворитель рода человѣческаго! ты еще поплатишься!

Заключивъ эту сентенцію энергическимъ жестомъ, Аполлонъ Егоровичъ представилъ своему другу всю необходимость покинуть Ханскіе-Пруды до возвращенія Карачаева. На этомъ основаніи, съ обѣихъ сторонъ рѣшено было отправиться какъ можно поспѣшнѣе и, главное, отправиться тайкомъ, чтобъ не было малѣйшихъ слѣдовъ побѣга и Карачаевъ не могъ бы никоимъ образомъ отыскать ихъ временнаго убѣжища.

Часа за три до обѣда, въ Ханскихъ-Прудахъ не было уже помину о двухъ пріятеляхъ.

Васильковъ, конечно, и самъ не подозрѣвалъ того непріятнаго и вполнѣ затруднительнаго положенія, въ какое поставилъ онъ Аристарха Ѳедоровича неумѣстною своею просьбою о выдачѣ денегъ за Сусловку. Всякому мало-мальски образованному человѣку извѣстно уже въ совершенствѣ, что такія просьбы, даже при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ должника, не имѣютъ сами по себѣ ничего особенно привлекательнаго, способнаго пробудить въ человѣкѣ хорошее расположеніе духа.

Все это справедливо въ высшей степени и подтверждается какъ нельзя лучше безчисленнымъ множествомъ должниковъ, которые, изъ опасенія, вѣроятно, утратить игривое расположеніе духа, дали себѣ разъ навсегда честное слово никогда не платить своихъ долговъ. Не слѣдуетъ думать, однако-жъ, чтобъ Аристархъ Ѳедоровичъ Балахновъ принадлежалъ къ числу такихъ джентльменовъ. Во все продолженіе этого длиннаго и вполнѣ утомительнаго разсказа нами управляла одна лишь истина, и благородное чувство это заставляетъ насъ сказать, что Аристархъ Ѳедоровичъ не могъ принадлежать къ вышеупомянутымъ джентльменамъ, во-первыхъ, уже потому, что, живя постоянно въ деревнѣ, во многомъ долженъ былъ отстать отъ просвѣщеннаго вѣка. Шутки въ сторону, Аристархъ Ѳедоровичъ, въ самомъ дѣлѣ, не могъ удовлетворить требованіямъ Порфирія Павловича. Предоставляю дѣло это на ваше собственное усмотрѣніе.

Если до-сихъ-поръ въ сердцѣ вашемъ не возникло никакого сомнѣнія на-счетъ того, что черезъ три недѣли должны непремѣнно начаться губернскіе выборы, вы, конечно, согласитесь, что изъ семи тысячъ, находящихся теперь въ карманѣ Аристарха Ѳедоровича, шесть, по-крайней-мѣрѣ, должны быть употреблены на то, чтобъ поддержать себя достойнымъ образомъ въ губернскомъ городѣ, гдѣ слѣдовало происходить выборамъ. Хорошо. Теперь второе: слѣдовало ли Аристарху Ѳедоровичу до выборовъ задать обѣдъ и блистательный праздникъ тѣмъ сосѣдямъ, которые имѣли счастіе стоять подъ его знаменами, или не слѣдовало задавать? Конечно, слѣдовало; это указуетъ даже здравая логика, какъ лично выражался самъ великій человѣкъ изъ Горшкова. Изъ этого явствуетъ, что Балахновъ, имѣя всего семь тысячъ, никакимъ образомъ не могъ и даже не долженъ былъ удовлетворять Порфирія Павловича. Ничтожные смертные должны всегда отстраниться и давать дорогу великимъ людямъ!

Такъ думалъ, впрочемъ, самъ Аристархъ Ѳедоровичъ, и съ этой стороны не можетъ быть никакихъ возраженій.

Вмѣстивъ въ дипломатической головѣ своей статью объ обѣдѣ и блистательномъ празднествѣ, Аристархъ Ѳедоровичъ заперся въ своемъ кабинетѣ и написалъ до пятидесяти пригласительныхъ писемъ, которыя отданы были на другой день Мои-

сею Акишеву, съ порученіемъ развезти ихъ какъ можно скорѣе по назначенію.

Мѣшкать было нечего; обѣдъ и празднество назначались черезъ недѣлю, и до того времени Аристарху Ѳедоровичу слѣдовало еще навѣстить Старобѣльскаго, Корнонолѣя Семеновича Бирюкова и другихъ тузовъ, съ которыми читатель познакомится въ слѣдующихъ главахъ.

X.

Непредвидѣнное обстоятельство сталкиваетъ Аристарха Ѳедоровича съ такими лицами, о которыхъ онъ вовсе даже и не думалъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ написалъ весьма скоро пригласительныя письма на обѣдъ и празднество, долженствовавшія окончательно привлечь на его сторону бо́льшую часть обывателей Горшковскаго уѣзда и этимъ самымъ доставить ему вѣрный способъ восторжествовать на предстоящихъ выборахъ надъ толпою. Развивая и соображая въ душѣ своей всѣ стороны этой истинно высокой цѣли, онъ рѣшился начать какъ можно скорѣе свои визиты. Надлежало еще вернуться заблаговременно домой, успѣть распорядиться съ обѣдомъ, обдумать рѣчи, въ которыхъ, при существующихъ обстоятельствахъ, каждое слово должно будетъ имѣть свое значеніе, и вслѣдъ затѣмъ, по окончаніи обѣда и празднества, успѣть явиться во́-время въ губернскій городъ.

Утромъ, на третій день послѣ своего пріѣзда въ Ханскіе-Пруды, неутомимый дипломатъ снова сидѣлъ въ дорожной колескѣ.

Сидоръ, возсѣдавшій, по обыкновенію, на козлахъ рядомъ съ молодчикомъ-кучеромъ, распѣвавшимъ „Не-бѣ-лы-та-снѣги!“, не отрывалъ глазъ отъ колеи, боясь пропустить какъ-нибудь невзначай поворотъ съ большой дороги на проселокъ, который долженъ былъ привезти его барина къ Старобѣльскому, предмету настоящаго путешествія. Не взирая на страшную грязь и слякоть, Аристархъ Ѳедоровичъ ѣхалъ очень скоро. Убаюканный сначала національной пѣснью кучера, потомъ собственными

своими грёзами, онъ весь ушелъ мало-по-малу въ безпредѣльную глубину собственной души своей. Прикутавшись почти съ головою въ енотовую шубу, забившись въ мягкій уголъ экипажа, онъ мысленно созерцалъ страшную уѣздную драму, въ которой готовился играть главную роль — роль тріумфатора, и при этомъ умственный взоръ его, подобно орлу, носящемуся на высотахъ недосягаемыхъ, окидывалъ однимъ разомъ безконечную панораму Горшковскаго уѣзда съ его деревнями, лѣсами, рѣками, помѣщичьими домами, усадьбами и дорогами, какъ столбовыми, такъ равно и проселочными...

И кто бы могъ подумать, взглянувъ издали на коляску Аристарха Ѳедоровича, мелькавшую чуть видною точкою посреди темныхъ, необъятныхъ полей, кто бы могъ подумать, что эта ничтожная точка вмѣщала въ себѣ человѣка, мысли котораго были между-тѣмъ такъ возвышенны, колоссальны и могучи?... Никто не былъ въ состояніи даже подозрѣвать этого. Въ доказательство приведемъ нѣсколько сужденій прохожихъ, которые, къ сожалѣнію, были единственными свидѣтелями проѣзда великаго человѣка: то были, по бо́льшей части, каменьщики, шерстобиты и плотники, возвращавшіеся съ заработковъ восвояси. Всѣ они, при видѣ коляски, нырявшей поминутно въ лужахъ и котловинахъ, останавливались, смотрѣли ей во слѣдъ съ недоумѣвающимъ видомъ, указывали на нее пальцемъ и начинали слѣдующую бесѣду: „Глядь-ка-сь, ребята, никакъ вѣдь вонъ это баринъ ѣдетъ...“ — „Кому же и быть? вѣстимо, баринъ!“ — „Эхъ вы, догадчики! догадливы больно — баринъ! Нужда его какая неволитъ развѣ тащиться по эвтакой дорогѣ!... Вишь: стыть, грязь, сиверка... баринъ! Должно быть купецъ какой запоздалъ, сердечный, съ товаромъ.“ — „Анъ баринъ!“ — „Анъ нѣтъ!“ — „Анъ баринъ!“ — „Анъ нѣтъ!“ — „Полно, дядя Ѳедосѣй, ну чего ты глотку-то деретъ неразглядѣвши; ты погляди: вишь и кучеръ на козлахъ, и человѣкъ, должно-быть господскій, да и экипажъ-то барскій!...“ — „И то, ребята — обознался маленько!“ — „Вотъ такъ ужъ подлинно, братцы, охота пуще неволи!“ замѣчалъ другой: „небось вѣдь вотъ и вотчина чай есть, и домъ, и угодье всякое... Эхъ, былъ бы я баринъ, да меня, кажись, ничѣмъ бы сюда теперь не заманили; стыть, грязь! Подлинно охота пуще неволи! Сидѣлъ бы дома на лежанкѣ; тутъ барыня ходитъ красовитая такая... прислуга

тебѣ всякая... чего бы, кажись, еще надоть? А то вонъ, вонъ, поглядит-ка, братцы — вонъ, на-силу лошади тащатъ; того и смотри, шину оставитъ, либо сядетъ по ступицу... Ну, ужъ, подлинно, ребята, какъ передъ Богомъ: охота пуще неволи!..“ Такимъ же почти образомъ толпа объясняетъ себѣ или обсуживаетъ грандіозно-сложные замыслы великихъ людей! Жалкіе смертные! жалкія сужденія!... Впрочемъ, что толковать объ этомъ! общій удѣлъ великихъ людей — быть непонятными... Коляска, между-тѣмъ, давно ужъ свернула съ большой дороги и ѣхала проселкомъ. Тутъ нить размышленій Аристарха Ѳедоровича, до-сихъ-поръ строго-послѣдовательная, стала прерываться чаще и чаще, по случаю страшныхъ, окончательно нестерпимыхъ толчковъ, претерпѣваемыхъ коляской и вслѣдъ затѣмъ, по естественному закону отраженія, самой особой Балахнова. Были минуты, когда коляска ложилась на бокъ, заставляя Аристарха Ѳедоровича принимать почти горизонтальное положеніе; были минуты, когда коляска подпрыгивала, неожиданно опрокидывалась на другой бокъ и перебрасывала Аристарха Ѳедоровича въ противоположный уголъ съ такою быстротою, что онъ не успѣвалъ ухватиться руками за фартукъ — обстоятельство, причинявшее каждый разъ дипломатической головѣ его сильную контузію. Являлись опять-таки минуты, въ которыя коляска принимала такое сильное наклоненіе впередъ, что знаменитый путешественникъ принужденъ былъ упираться со всею силою ногами, чтобъ не покатиться на дно кузова. Разъ даже онъ выглянулъ изъ-подъ кожанаго фартука, чтобъ лично убѣдиться въ степени справедливости словъ Сидора и кучера, увѣрявшихъ, будто они точно ѣдутъ по дорогѣ. Аристархъ Ѳедоровичъ убѣдился, что они точно ѣхали по дорогѣ. Коляска только-что миновала послѣднія избы какой-то деревушки и приближалась къ маленькому и невзрачному господскому дому, который съ тоскливымъ видомъ глядѣлся въ прудъ. Дорога проходила подлѣ самаго дома. Окинувъ быстрымъ взоромъ окружавшую мѣстность, Аристархъ Ѳедоровичъ мгновенно откинулся на дно коляски, опустилъ фартукъ, приказалъ остановиться и подозвалъ камердинера.

— Что это такое? Это, кажется, Тросновка?... торопливо спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Тросновка, сударь, та самая, гдѣ изволятъ жить Фуколъ

Ивановичъ, отвѣчалъ Сидоръ, приподымая шляпу, украшенную галуномъ.

— Фу! я и забылъ совсѣмъ, что придется проѣзжать мимо... Дорога идетъ, кажется, подлѣ самаго дома?...

— Такъ точно-съ, поѣдемъ мимо самыхъ оконъ... Прикажете остановиться?

— Олухъ! я затѣмъ приказалъ остановиться, чтобъ сказать тебѣ, чтобъ проѣхать мимо дома какъ можно скорѣе. Вели гнать во весь духъ; а если случится, что узнаютъ коляску и побѣгутъ въ догоню, — сказать, что ѣдете одни. Ступай!

Сидоръ надѣлъ шляпу и сѣлъ на козлы.

— Гей, гой! охъ вы, соколики! у — у! залился лихачъ-кучеръ — и коляска понеслась во весь духъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ, между-тѣмъ, высунулъ голову изъ енотоваго воротника и, приложивъ глазъ къ щели кожанаго фартука, глядѣлъ съ презрительно-сострадательнымъ видомъ на приближавшійся домикъ; выровнявшись съ окнами, въ которыхъ мелькнуло тотчасъ же нѣсколько любопытныхъ головъ, онъ снова откинулся въ уголъ и, утонувъ въ шубѣ, подумалъ: — „Жалкія созданія! зачѣмъ вы существуете? Бремените только мать сыру-землю, да небо коптите!... Гдѣ цѣль земнаго бытія вашего?... Ничтожество!

«Вамъ чувствъ высокихъ не дано,
Отъ колыбели до мог-л...»

Но Аристархъ Ѳедоровичъ не докончилъ; внезапно раздался трескъ: колесо съ обломаннымъ концомъ оси отлетѣло въ сторону, коляска грохнулась о земь и выбросила своего величаваго владѣльца въ грязную лужу, противъ самыхъ оконъ невзрачнаго домика.

Одни великія, сверхъ-естественныя событія, какъ, напримѣръ, измѣна Кошкина, или потеря долины въ состояніи были потрясать могучій духъ Аристарха Ѳедоровича, или возмутить величаво стройный потокъ мыслей въ дипломатической головѣ его; но часъ бываетъ неровенъ: на этотъ разъ произошло какое-то особенное исключеніе, потому, можетъ статься, что быстрота и неожиданность паденія не дали ему возможности сообразиться съ мыслями и овладѣть собою.

Аристархъ Ѳедоровичъ быстро прыгнулъ на ноги, еще бы-

стрѣе окинулъ взоромъ окна дома, выпрямилъ грудь, но, не встрѣтивъ уже никого въ окнахъ, повернулся къ нимъ спиною и, бѣшено заскрежетавъ патентованными зубами, взглянулъ на окружавшіе его предметы.

Коляска съ отломленною заднею осью неуклюже лежала въ грязи; мигачъ-кучеръ барахтался въ постромкахъ, стараясь удержать лошадей, которыя исчезали въ клубахъ сѣдаго пара и наполняли воздухъ нетерпѣливымъ храпомъ и фырканьемъ. Сидоръ, оконтуженный со всѣхъ возможныхъ сторонъ и ошеломленный, вдобавокъ, исполинскимъ скачкомъ, стоялъ безъ шляпы, дико хлопалъ глазами, полузалѣпленными грязью, и съ недоумѣвающимъ видомъ разводилъ руками. Тросновскіе мужики, бабы, ребятишки и дворовые люди сбѣгались со всѣхъ концовъ и становились полукругомъ позади коляски наподобіе того, какъ это дѣлаетъ въ театрѣ свита Фортинбраса, или римскіе трибуны въ то время, когда на авансценѣ совершается какое-нибудь кровавое дѣло.

Картина поразительная, достойная кисти великаго мастера и, пожалуй, даже самого Калины!

Первымъ движеніемъ Сидора, когда онъ пришелъ въ себя, было броситься къ барину и освободить его, помощью ладони, отъ толстыхъ слоевъ грязи, облипавшихъ его гордую грудь и темнозеленые панталоны. Все это было дѣломъ одной секунды; но и секунды этой достаточно было Аристарху Ѳедоровичу, чтобъ вполнѣ овладѣть собою.

— Сидоръ! сказалъ онъ послѣ того, какъ камердинеръ снова вооружился своей шляпой, а обступившіе люди рѣшились, наконецъ, поставить на ноги кучера: — сейчасъ же найми у здѣшнихъ мужиковъ подводы, вели увязать на нихъ коляску и немедленно отвези ее въ Ханскіе-Пруды. Какъ пріѣдешь, распорядись, чтобъ тотчасъ же сварили ось, а завтра утромъ быть здѣсь съ коляской. Дома скажите, что я, слава Богу, здоровъ и невредимъ. Благодарите Творца: одно небесное милосердіе могло избавить насъ отъ гибели. Благодарю! заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обращаясь къ обступившему его народу.

Тутъ онъ обратилъ снова величественное лицо свое къ дому и, замѣтивъ въ одномъ изъ оконъ какую-то фигуру, поспѣшилъ выпрямить грудь и послать рукою привѣтливый знакъ, выражав-

шій, чтобъ о немъ не безпокоились, что онъ, слава Богу, здоровъ и невредимъ.

Затѣмъ, снисходительно улыбаясь направо и налѣво, побрелъ онъ ровнымъ шагомъ къ маленькому крылечку, которое устроено было въ переднемъ углу зданія.

Крылечко, сѣни, равно какъ и весь домъ Фукола Ивановича казались заплѣсневѣлыми отъ старости и сырости; но Балахновъ не обратилъ на это никакого вниманія: онъ входилъ въ домъ бѣднаго человѣка и, слѣдовательно, думалъ только о томъ счастіи, какое доставитъ его посѣщеніе скромнымъ жителямъ убогаго жилища.

При входѣ въ переднюю, глазамъ Балахнова предстала слѣдующая картина: босая дѣвчонка, въ затрапезномъ платьишкѣ, съ головою, встрепанною, какъ старый вѣникъ, стояла подлѣ конника и употребляла неимовѣрныя усилія, чтобъ разбудить коренастаго парня. Парень сидѣлъ какъ турокъ, поджавъ подъ себя исполинскія босыя ноги; свѣсивъ на грудь голову, украшенную бѣлокурыми волосами, онъ спалъ крѣпкимъ сномъ; темновато-бурая рубашка и желтоватые нанковые панталоны составляли одежду заспаннаго дѣтины; черныя нитки, переброшенныя черезъ его шею, ножницы, игла въ лѣвой рукѣ, лохмотья, разбросанные вокругъ, турецкая поза и, наконецъ, наперстокъ, сверкавшій на пальцѣ правой руки, свидѣтельствовали краснорѣчиво, что парень занимался весьма успѣшно портняжнымъ искусствомъ.

Какъ только Аристархъ Ѳедоровичъ показался въ передней, дѣвчонка отскочила отъ конника и съ оторопѣвшимъ видомъ пустилась въ бѣгство.

Гость посмотрѣлъ направо, посмотрѣлъ налѣво, потомъ, потерявъ, видно, терпѣніе, толкнулъ парня и сказалъ:

— Любезнѣйшій!

Парень тряхнулъ волосами, поднялъ голову и устремилъ на гостя мутный взоръ, исполненный глубочайшей меланхоліи.

— Любезный, проснись! пора! повторилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, пославъ вторичный толчокъ.

Парень тряхнулъ волосами, спустился съ конника и принялся освобождать гостя отъ шубы.

— Дома Фуколъ Иванычъ? громко спросилъ Балахновъ,

обращаясь преимущественно къ особамъ, которыя, по всѣмъ соображеніямъ, должны были находиться въ дальнихъ покояхъ.

— Никакъ нѣтъ-съ, пролепеталъ парень, неуспѣвшій еще прійдти въ полное сознаніе.

— Гдѣ же онъ?

— Не могу... о-о-о... не могу знать! отвѣчалъ парень, приложивъ ладонь ко рту: — барышня дома, да молодая барыня дома...

— Ольга Фуколовна? спросилъ Балахновъ.

— Да-съ, онѣ, отвѣчалъ парень и отворилъ дверь въ залу.

Комната, въ которую вступилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, была не многимъ больше прихожей: два окна, на извѣстную ужъ дорогу, два окна на дворъ и сараи. Крошечныя эти окна, о четырехъ стеклахъ, украшались, однакожъ, гардинами: одна половина окна задрапировывалась краснымъ камлотомъ, другая — миткалемъ; стрѣлки не доходили до верхней части оконъ и оставляли между гардинами и верхнимъ косякомъ изрядное пространство, сквозь которое можно было любоваться плаксивымъ небомъ — обстоятельство, заставлявшее предполагать, что въ общей сложности не достало нѣсколькихъ аршинъ камлота; оно, въ самомъ дѣлѣ, такъ и было; многія особы совѣтовали дочерямъ Фукола Ивановича раздрапировать окна миткалемъ, котораго находилось у нихъ въ волю, но дочери Фукола Ивановича, проникнутыя, съ одной стороны, явною необходимостью слѣдовать модѣ, воодушевляемыя, съ другой стороны, примѣромъ богатыхъ сосѣдей, поставили на своемъ и украсили окна дешевенькимъ пурпуромъ. Какъ бы тамъ ни было, пурпуръ этотъ, хотя дешевенькій, производилъ, въ совокупности съ другими предметами комнаты, такой же точно эффектъ, какъ желтыя франтовскія перчатки на ободранномъ нищемъ; красныя занавѣски и рядомъ съ ними прокисшія стѣны, черныя картинки въ черныхъ рамкахъ и закоптѣлый, треснувшій потолокъ, ощеливавшій драни, производили на васъ впечатлѣніе тѣхъ франтовъ съ Невскаго проспекта и Тверскаго бульвара, которые, не взирая на то, что судьба даровала имъ косую, рябую физіономію и щетинистые рыжіе волосы, кокетливо повязываютъ на шею щегольскіе яркихъ цвѣтовъ галстуки. Изъ картинокъ сохранилась та только, на которой изображалась груша въ учетверенномъ видѣ; внизу можно было явственно различить под-

пись: „груша бонъ-кретьенъ“. Ко второму окну, налѣво, примыкало огромное старомодное кожаное кресло; подлѣ столика; на немъ кружка, покрытая конвертомъ, футляръ очковъ, зеленый глазной зонтикъ домашняго издѣлія; на окнѣ шерстяной колпакъ, календарь, пузырекъ съ чернилами и бумажка съ горкою сушеной малины — это любимое мѣсто Фукола Ивановича. Весь уголъ позади креселъ оклеенъ синей сахарной бумагой, для предохраненія старческой головы хозяина дома отъ сквозныхъ вѣтровъ и ревматизма. На небольшихъ столикахъ, расположенныхъ противъ другихъ оконъ, возвышаются горки пробнаго овса, гречихи, ржи и кукурузы; мебель состоитъ изъ кожаныхъ стульевъ, съ высокими полуобломанными спинками; тутъ лѣпится также длинный диванъ, обитый кожей и утыканный когда-то гвоздями съ мѣдными головками, но гвозди теперь всѣ почти ужъ выпали и на мѣстѣ ихъ представляются отверстія.

Кромѣ всѣхъ этихъ предметовъ, въ комнатѣ находился еще высокій молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати. Его блѣдные, длинные волосы, зачесанные къ вискамъ и заложенные за уши, открывали крошечное, болѣзненное лицо, безъ всякаго опредѣленнаго содержанія. Юноша былъ, казалось, въ сильномъ волненіи и курилъ изъ черешневаго чубука, такого же длиннаго и сухощаваго, какъ ноги его владѣльца, прикрытыя клѣтчатыми панталонами съ штрибками и въ обтяжку.

Молодой человѣкъ былъ свидѣтелемъ несчастнаго паденія; онъ видѣлъ такъ же, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ направился къ дому и, слѣдовательно, ожидалъ съ секунды на секунду появленія въ залу, но совсѣмъ тѣмъ, при видѣ Балахнова, смутился и обнаружилъ даже сильную робость.

— А, мсьё Ивановъ, здравствуйте! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ ласково-покровительственнымъ тономъ, между-тѣмъ, какъ юноша неловко расшаркивался: — здравствуйте! Получилъ сейчасъ скорбное извѣстіе о томъ, что почтеннѣйшаго и премногоуважаемаго Фукола Иваныча нѣтъ дома; сожалѣю, весьма сожалѣю!...

Тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ поспѣшилъ улыбнуться и продолжалъ:

— Если не ошибаюсь, вы, кажется, не узнаете меня, мсьё Ивановъ? Стыдно, молодой человѣкъ, стыдно! А я такъ васъ

помню, помню очень хорошо; помню, какъ вы были еще вотъ этакимъ, примолвилъ онъ, показывая на аршинъ отъ полу и прислушиваясь чуткимъ ухомъ къ вознѣ и шелесту туго-накрахмаленныхъ юбокъ, раздававшемуся за сосѣднею стѣною.—Ну, такъ какъ же вы думаете, молодой человѣкъ, кто я такой, а? заключилъ Балахновъ, становясь передъ юношею и пристально всматриваясь въ его лицо.

— Какъ же-съ... я помню-съ... вы... Аристархъ Ѳедоровичъ Балахновъ... проговорилъ застѣнчивый юноша такимъ глухимъ голосомъ, какъ-будто во рту у него была каша.

Вмѣсто отвѣта, Аристархъ Ѳедоровичъ протянулъ ему съ театральною пантомимою руку.

Въ эту самую минуту дверь изъ залы въ другія комнаты отворилась и, выпустивъ молодую даму средняго роста, быстро захлопнулась, наподобіе театральныхъ дверей, которыя, какъ извѣстно, захлопываются такъ скоро единственно для того, чтобъ скрыть отъ взоровъ публики хламъ, наполняющій заднюю часть сцены.

Молодая дама, появившаяся такъ неожиданно, представляла изъ себя довольно-миловидную особу и могла бы съ большимъ успѣхомъ привлекать взоры каждаго, если-бъ страшное количество туго-накрахмаленныхъ юбокъ, воздымавшихся и качавшихся, наподобіе воздушнаго шара, готоваго пуститься за облака, не безобразило ея стройнаго стана; лицо ея, оживленное парою голубыхъ глазъ, приподнятыхъ нѣсколько къ небу — какъ-будто она въ-самомъ-дѣлѣ слѣдила за воздушнымъ полетомъ юбокъ въ заоблачныя пространства—могло-бы также быть очень-мило, если-бъ не мѣшала этому неуклюже-фантастическая прическа, состоявшая изъ маленькихъ буколь и локоновъ, подобранныхъ къ вискамъ.

Дама была ни кто иная, какъ старшая дочь Фукола Ивановича, вышедшая три года тому назадъ замужъ за помѣщика Чибезова.

— Мсьё Балахновъ, ахъ, Боже мой! воскликнула она съ такимъ изумленіемъ, какъ будто вовсе не ожидала, не думала и не гадала застать гостя въ залѣ: — какой счастливый случай доставляетъ намъ удовольствіе видѣть васъ у себя? Боже мой, Боже мой! какъ быстро летитъ время! Давно ли я была еще

ребенкомъ... а теперь!... Сколько лѣтъ, сколько зимъ мы съ вами не видались! Какъ мило, какъ любезно съ вашей стороны...

— Сударыня, перебилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, раскланиваясь съ той свѣтской непринужденностью, которая была ему такъ свойственна:—не случай привелъ меня къ вамъ, нѣтъ, не случай, сударыня, а сама судьба предугадала, такъ сказать, живѣйшее стремленіе моего сердца... Сегодня утромъ я сѣлъ въ коляску и приказалъ кучеру дать волю лошадямъ: пусть, сказалъ я, везутъ онѣ меня туда, куда влечетъ меня мое сердце... Мы прискакали прямо къ вашему дому; противъ вашихъ оконъ коляска моя разбивается въ дребезги—и я благословляю судьбу, даровавшую мнѣ случай пожать вамъ ручку... заключилъ онъ, приводя въ дѣйствіе слова свои. Жолчь и бѣшенство Аристарха Ѳедоровича имѣли похвальное свойство мгновенно утихать въ присутствіи хорошенькихъ образчиковъ прекраснаго пола и нерѣдко вели за собою потоки цвѣтистыхъ фразъ, исполненныхъ обворожительной любезности. Такъ грозныя бури величественныхъ южныхъ морей, утихая при первыхъ лучахъ яснаго солнца, быстро уносятъ сѣдыя свои волны отъ берега, усыпая его драгоцѣнными, серебристыми раковинами...

— Ахъ, Боже мой, коляска ваша сломалась! что я слышу! Вы упали, ушиблись, можетъ быть? воскликнула съ испугомъ молодая дама; но, успокоенная Балахновымъ, который просилъ пріюта на эту ночь, она подхватила скороговоркою: — Боже мой, что вы говорите: пріюта! Какъ вамъ не стыдно, г. Балахновъ! Весь нашъ домъ къ вашимъ услугамъ... А каково! папеньки то нѣтъ, какъ на зло! Представьте, уѣхалъ сегодня утромъ; онъ будетъ въ отчаяньи...

— Благодарю. Кстати, какъ его ноги? съ трогательнымъ участіемъ спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Благодарю васъ, г. Балахновъ. Ноги его въ томъ же почти безнадежномъ положеніи и, представьте, со всѣмъ тѣмъ, онъ не перестаетъ хлопотать, ѣздить, безпокоиться! Вотъ сегодня, напримѣръ, мы всѣ упрашивали его остаться дома — нѣтъ, не послушалъ, поѣхалъ, и какъ-бы вы думали, зачѣмъ? Верстахъ въ двадцати отъ насъ живутъ два несчастные сосѣда: Свищовъ Кондей Иванычъ и Полушкинъ Проклъ Иванычъ; впрочемъ, вы ихъ знаете; Свищовъ и Полушкинъ опять поссорились — это случается съ ними каждый день, какъ вамъ из-

вѣстно; ну и пусть бы ихъ—такъ нѣтъ, папенька, узнавъ объ этомъ, тотчасъ же поѣхалъ мирить ихъ, а самъ, повѣрите ли, всѣ эти дни жаловался ногами и ревматизмами... Услышавъ о его положеніи, я и мужъ нарочно пріѣхали изъ деревни навѣстить его; и что-жъ? при всемъ нашемъ стараніи, не могли удержать его не ѣздить къ Свищову; онъ, какъ-будто, далъ, право, какой-то обѣтъ примирять всѣхъ ссорящихся и готовъ, кажется, лишь бы достигнуть своей цѣли, не щадить собственнаго своего здоровья...

Молодая дама проговорила все это безъ одышки и не чувствуя, повидимому, ни малѣйшей усталости. Все это происходило единственно изъ привычки, изъ старанія поддержать репутацію любезной дамочки, репутацію, полученную въ первый же мѣсяцъ замужества; она болтала безъ умолку, и, проболтавъ такимъ образомъ три года сряду, языкъ ея естественнымъ образомъ дошелъ ужъ до того, что не чувствовалъ ни малѣйшаго утомленія.

— Ахъ, Боже мой! я, однакожъ, заболталась, сказала она съ неподражаемою наивностью: — я забыла представить вамъ моего кузена, мсьё Балахновъ; мой cousin, Ваничка Ивановъ.

— Мы ужъ знакомы, отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, вторично протягивая руку застѣнчивому юношѣ:—я зналъ его еще вотъ этакимъ, примолвилъ онъ, улыбаясь и снова приподымая руку на аршинъ отъ полу.

— Ахъ, и въ самомъ дѣлѣ! вы должны были видѣть его у тётушки Пульхеріи Андревны! Помните тётушку Пульхерію Андревну, мсьё Балахновъ? Какая была милая, любезная, ласковая, привѣтливая старушка!... А вотъ, мсьё Балахновъ, сестра моя Любочка: вы также должны помнить ее еще ребенкомъ... произнесла Чибезова, обращаясь къ двери.

— Помню ли я ее, Господи твоя воля! чуть на рукахъ не носилъ! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, стараясь придать лицу своему восторженное выраженіе и протягивая обѣ руки восемнадцатилѣтней брюнеткѣ съ зеленымъ лицомъ, одѣтой въ черное каленкоровое, траурное платье. — Боже, какъ перемѣнилась, похорошѣла! продолжалъ великій горшковскій мужъ, пожимая пухленькія руки дѣвушки, которая присѣдала.—А помните ли, какъ у тётушки вы подбѣгали ко мнѣ и говорили: „дяденька, дай конфектку?“ а? ха, ха!...

Дѣвушка зардѣлась, сказала: „помню-съ“ и отошла къ окну.

Аристархъ Ѳедоровичъ замѣтилъ взглядъ, которымъ обмѣнялись зеленоватая брюнетка и ея троюродный братецъ, замѣтилъ, какъ мгновенно оживился юноша, и заключилъ тотчасъ же, что оба они должны были быть неравнодушны другъ къ другу. Онъ никакъ только не могъ понять причины, побудившей молоденькую дѣвушку надѣть траурное платье.

Ольга Фуколовна сообщила, между тѣмъ, Аристарху Ѳедоровичу, что остальныя ея сёстры: Соничка, Лидочка и Вѣрочка, которыхъ онъ долженъ былъ точно также помнить дѣтьми, уѣхали гостить къ одной сосѣдкѣ, и пригласила гостя занять мѣсто въ большихъ креслахъ; но гость отказался, сказавъ, что это мѣсто принадлежитъ ей по праву, какъ хозяйкѣ, и поспѣшилъ взять стулъ.

Слушая съ подобающимъ вниманіемъ несмолкаемую болтовню хорошенькой Чибезовой, Аристархъ Ѳедоровичъ не пропускалъ, однако-жъ, случая бросать украдкой взгляды на зеленую брюнетку и ея кузена. Онъ замѣтилъ, что оба они сначала какъ-будто дулись другъ на друга; молоденькая дѣвушка часто отворачивалась къ окну, при чемъ на лицѣ кузена проступали каждый разъ признаки глубокаго отчаянія; мало-по-малу, черные глаза дѣвушки стали чаще и чаще обращаться къ кузену, который началъ постепенно обнаруживать признаки восторженнаго состоянія; потомъ оба вдругъ повеселѣли, придвинули другъ къ другу стулья и стали шептаться; потомъ Аристархъ Ѳедоровичъ увидѣлъ, какъ дѣвушка приподнялась неожиданно съ своего мѣста, вышла изъ залы, и какъ, пять минутъ послѣ того, снова вернулась въ залу, но ужъ въ розовомъ каленкоровомъ платьѣ.

Невинные эти маневры, приводившіе на память Аристарху Ѳедоровичу ту блаженную эпоху, когда онъ былъ еще юношею, страдалъ и влюблялся, занимали его въ высшей степени, и, увлеченный такими воспоминаніями, онъ, безъ сомнѣнія, продолжалъ бы оставаться глухимъ слушателемъ любезной своей собесѣдницы, если-бъ рѣчь ея не зашла случайно о предметѣ дѣйствительно достойномъ интереса.

— Представьте себѣ, мсьё Балахновъ, сказала неожиданно словоохотливая Ольга Фуколовна: — представьте, старшій

братъ Кормонолѣя Степаныча Бирюкова, Изосимъ Степанычъ, умеръ...

— Можетъ ли быть? воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обнаруживая на этотъ разъ, въ своемъ голосѣ и движеніяхъ, неподдѣльное участіе.

— Серьёзно. Что-жъ тутъ удивительнаго? человѣку было за восемьдесятъ. Мнѣ сказывали объ этомъ барышни Кокуркины... онѣ все знаютъ... Ахъ, кстати, вы знаете, у нихъ послѣ-завтра вечеринка, по случаю именинъ Вѣры Андреевны; вы получили приглашеніе, но, должно быть, разъѣхались съ посланнымъ; сегодня утромъ онъ поѣхалъ отъ насъ прямо къ вамъ...

— Когда умеръ Изосимъ Степанычъ, вы знаете? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ необычайною живостью.

— Третьяго дня... Я, впрочемъ, признаться, не очень его жалѣю; хоть это и грѣхъ, но что же дѣлать!... Онъ, говорятъ, былъ такой скряга, фи! Представьте, мнѣ сказывали, что когда онъ умиралъ, это было ночью, и подали свѣчку — онъ сказалъ, чтобъ затушили скорѣй свѣчку, что можно умереть и безъ огня... Фи, фи, какой гадкій!...

„Слава Богу, я не опоздалъ на похороны; они, по всѣмъ вѣроятіямъ, будутъ происходить завтра!“ думалъ между-тѣмъ Аристархъ Ѳедоровичъ, продолжая улыбаться собесѣдницѣ. Развивая мысль о томъ, что въ настоящемъ, разстроенномъ положеніи Кормонолѣя Степаныча легче будетъ на него подѣйствовать, склонить на свою сторону и уговорить ѣхать въ губернскій городъ на выборы, великій дипломатъ рѣшился отложить визитъ къ Старобѣльскому и ѣхать завтра же утромъ къ Бирюкову. „Сверхъ того, по случаю похоронъ, къ Бирюкову, вѣрно, съѣдется много народа, и авось удастся затащить кого-нибудь на обѣдъ и празднество, а тамъ человѣкъ мой—не отвертится!“ заключилъ мысленно Аристархъ Ѳедоровичъ, озаренный потокомъ счастливыхъ мыслей.

Съ этой минуты, рѣчь Аристарха Ѳедоровича закипѣла живымъ ключомъ, и любезность его приняла характеръ самый игривый и обворожительный. Онъ не роптал ужъ на судьбу, забросившую его въ домикъ жалкихъ смертныхъ.

Оставшись наединѣ съ застѣнчивымъ кузеномъ (Ольга Фуколовна и ея сестра покинули залу подъ тѣмъ предлогомъ,

будто слѣдовало имъ сдѣлать распоряженія касательно чайной церемоніи), Аристархъ Ѳедоровичъ приподнялся съ своего мѣста, подошелъ къ юношѣ и, потрепавъ его дружески по плечу, сказалъ съ веселымъ видомъ:

— Ну, такъ какъ же, молодой другъ мой? не думаемъ ли мы поѣхать на предстоящіе выборы — а?...

— Я бы очень хотѣлъ-съ...

— Желаніе похвальное! Вашу руку, молодой человѣкъ! Въ нынѣшній вѣкъ не во всѣхъ молодыхъ людяхъ найдешь такое благородное стремленіе... Къ тому же, вы, если не ошибаюсь, имѣете право на одинъ голосъ... Вѣдь у васъ, кажется, поимнится мнѣ, сто душъ?

— Нѣтъ-съ, тридцать...

— Ба! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, значительно осматривая юношу и потирая переносицу: — ну, да что до этого. Была бы охота ѣхать. Мы можемъ устроить слѣдующее: я соберу двухъ-трехъ молодыхъ людей, у которыхъ одинаковое съ вами состояніе, составится въ сложности душъ сто, и тогда выберемъ изъ васъ представителя этихъ ста душъ, который будетъ имѣть право на одинъ голосъ... Я вамъ обѣщаю: вы будете этимъ представителемъ... Лестное назначеніе для молодаго человѣка вашихъ лѣтъ!... А вотъ что: пріѣзжайте-ка ко мнѣ въ будущую пятницу обѣдать; мы переговоримъ объ этомъ; ручаюсь, что вамъ будетъ очень весело; хорошенькихъ гибель... Вѣдь мы любимъ хорошенькихъ — а? Ну, такъ по рукамъ — въ пятницу? заключилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, похлопывая по рукѣ юноши съ неописаннымъ добродушіемъ.

— Очень пріятно-съ, отвѣчалъ юноша такимъ печально-разстроеннымъ тономъ, который невольно высказывалъ, что онъ снова поссорился съ своей кузиной. Такое предположеніе не замедлила подтвердить молоденькая кузина, появившаяся въ эту минуту въ дверяхъ съ грустно-нахмуреннымъ лицомъ; траурное платье, снова замѣнившее мѣсто розоваго, не оставляло въ этомъ ужъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Въ то же время на порогѣ показалась Чибезова, и зала, на минуту спокойная, снова наполнилась несмолкаемою болтовнею, перебиваемою время отъ времени веселымъ смѣхомъ именитаго гостя.

Пять минутъ спустя, встрепанная дѣвчонка, будившая заспаннаго парня, поставила на столъ свѣчи — обстоятельство,

тотчасъ же сообщившее мрачной комнатѣ видъ веселый и уютный. Видъ комнаты сдѣлался еще веселѣе, когда показался самъ заспанный дѣтина съ огромнымъ самоваромъ въ рукахъ, который пищалъ и шипѣлъ, пуская ему въ лицо струи сѣдаго пара. Самоваръ поставленъ на столъ; заспанный дѣтина удалился; маленькое общество, подъ предсѣдательствомъ Ольги Фуколовны, расположилось вокругъ стола. Во время этихъ приготовленій, зеленая брюнетка успѣла уже повеселѣть, а за ней, конечно, повеселѣлъ и застѣнчивый кузенъ. Затѣмъ снова явилось на сцену розовое платье. Аристархъ Ѳедоровичъ лукаво подмигнулъ старшей сестрѣ на молодую чету и засмѣялся; засмѣялась и старшая сестра; засмѣялась, наконецъ, и молодая чета. Разговоръ сдѣлался на минуту общимъ.

— Одно мнѣ только очень непріятно, мсьё Балахновъ, воскликнула неожиданно Чибезова: — ужасно, ужасно непріятно: зачѣмъ нѣтъ теперь съ нами моего Поля! Вѣдь надо же, право, было ему уѣхать!... Такая досада!... Мнѣ, просто, плакать хочется!... примолвила она, придавая своему лицу выраженіе дѣтской досады.

— Мнѣ кажется, кузиночка, онъ сказалъ, что вернется назадъ сегодня вечеромъ, робко пробормоталъ юноша.

— О, какъ бы я была счастлива! наивно воскликнула Чибезова, возводя голубые глаза свои къ потолку: — но нѣтъ, нѣтъ, это мечта, одна лишь воздушная мечта!... Онъ, вѣрно, заигрался гдѣ-нибудь въ карты... Представьте, мсьё Балахновъ: поѣхалъ на два дня, и вотъ теперь пятый день не возвращается! Такой, право, гадкій! О, я ужасно, ужасно на него зла!...

— Сударыня, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, любезно наклоняя голову: — всѣ мужчины таковы; они никогда не цѣнятъ тѣхъ благъ, которыя даруетъ имъ Провидѣніе, и, сверхъ-того, они никогда не держатъ своихъ обѣщаній, что, такъ сказать, истина, аксіома, подтвержденная вѣками...

— О, нѣтъ, нѣтъ, мсьё Балахновъ! прошу васъ не нападать на моего Поля; мой Поль — исключеніе; онъ вовсе не похожъ на всѣхъ васъ, мужчинъ, безжалостныхъ эгоистовъ! воскликнула Чибезова съ дѣтскою игривостью:—нѣтъ-съ: мой Поль совсѣмъ не такой; мой Поль ангелъ! примолвила она страстно, прижимая носовой платокъ къ груди своей: — о, мсьё Балахновъ!

заключила она восторженно, что можетъ быть возвышеннѣе, что можетъ быть священнѣе того чувства, когда жена обожаетъ своего мужа?...

— Скажите лучше, сударыня, вдохновенно произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ: — что, вообще, можетъ быть возвышеннѣе чувства любви; я разумѣю любовь въ обширномъ значеніи этого высокаго слова, любовь, подхватилъ онъ: — чувство благороднѣйшее, святѣйшее изъ всѣхъ, вложенныхъ Творцомъ въ сердце человѣческое:

„А кто любилъ, кто былъ любимымъ,
Тотъ въ свѣтѣ семъ не даромъ жилъ,
Не даромъ землю бременилъ!“

Юноша пожалъ украдкою подъ столомъ руку своей кузины; Чибезова схватила руку Аристарха Ѳедоровича.

— О, мсьё Балахновъ, mercі, сто кратъ mercі! ваши слова освѣжили мнѣ душу. О, какъ вы хорошо понимаете чувства!... Пожалуйста, не откажите мнѣ... нѣтъ, вы не откажете, напишите мнѣ въ альбомъ все, что вы сейчасъ сказали...

Аристархъ Ѳедоровичъ самодовольно улыбнулся и сдѣлалъ глубокій, молчаливый поклонъ.

Черезъ минуту на столѣ явился альбомъ, величиною съ ладонь, весь почти исписанный мелкимъ почеркомъ, испещренный сердцами, бабочками и жертвенниками; кузенъ поспѣшилъ поставить передъ гостемъ стклянночку съ чернилами; Чибезова отыскала чистую страничку; маленькое общество тѣсно прижалось къ именитому гостю и вперило любопытные глаза на бѣлый листъ альбома.

Аристархъ Ѳедоровичъ провелъ рукою по высокому лбу, задумался, потомъ улыбнулся и начерталъ слѣдующее незабвенное изреченіе:

„ЧУВСТВО ЛЮБВИ!...

„Любовь — чувство благороднѣйшее, святѣйшее изъ всѣхъ „вложенныхъ Творцомъ въ сердце человѣческое — чувство, ко„торое, какъ по всему видно, становится рѣже и рѣже въ „свѣтѣ, которое, увы! вскорѣ будетъ пылать въ сердцахъ „только немногихъ избранныхъ, а прочимъ извѣстно будетъ „лишь по сказаніямъ минувшихъ вѣковъ. Преданія и развалины

„священной старины, завѣты родительскіе, игры дѣтскихъ лѣтъ, „мечтанія юношескія — все это истребляется тлетворнымъ ды„ханіемъ эгоизма, все поглощается гнуснымъ разсчетомъ, какъ „цвѣтущіе города и сёла покрываются истребительною лавою, „составляющею на нихъ, по охлажденіи, ровную поверхность! „Близкіе наши потомки станутъ читать въ книгахъ повѣсть о „быломъ, незнакомомъ имъ вѣкѣ Астреи; они не будутъ вѣрить, „чтобъ онъ когда-либо существовалъ; другіе станутъ осыпать „его насмѣшками и клеймить презрѣніемъ!... Едва ли немногіе „избранные будутъ питать въ сердцѣ огнь священный! Но, мо„жетъ быть, все клонится къ лучшему, только не для насъ, за„поздалыхъ въ мірѣ гостей изъ протекшихъ временъ!...“

Аристархъ Ѳедоровичъ положилъ перо, изумленнымъ взоромъ обвелъ присутствовавшихъ и задумчиво улыбнулся.

Альбомъ быстро переходилъ изъ рукъ въ руки.

— Мегсі, мсьё Балахновъ, сто кратъ mercі! восторженно произнесла Чибезова, овладѣвъ въ свою очередь альбомомъ: — ахъ, какъ это очаровательно! воскликнула она, прижавъ альбомъ къ груди своей и дѣлая нѣсколько прыжковъ: — но, послушайте, мсьё Балахновъ, теперь вы должны мнѣ написать какіе-нибудь стихи: я до страсти люблю стихи; это будетъ служить мнѣ памятью нынѣшняго вечера...

— Мсьё Балахновъ, робко произнесъ кузенъ:—кузина Лиза проситъ васъ также написать ей какіе-нибудь стихи.

— Пожалуйста... сказала, краснѣя, кузина Лиза.

— Mesdames, я былъ бы очень радъ, но, къ несчастію, я не владѣю стихомъ, отвѣчалъ привѣтливо Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Я вамъ не вѣрю! вымолвила Чибезова, кокетливо наклоняя голову.

— Серьёзно...

— Ахъ, какъ это жаль! Представьте, мсьё Балахновъ, мой Поль — совершенно напротивъ: онъ рѣшительно можетъ только писать одними стихами! Стихи, между-прочимъ, вы сами знаете, писать очень трудно; для этого нужно имѣть особый даръ. Сколько у насъ извѣстныхъ писателей, которые не могутъ писать стиховъ! Самъ Пушкинъ, говорятъ, писалъ стихи съ ужаснымъ трудомъ. А мой Поль—совершенно напротивъ: все это у него такъ легко, такъ непринужденно... Впрочемъ, и онъ можетъ только писать по вдохновенію... Знаете, иногда даже онъ

меня пугаетъ: вдругъ просыпается посреди ночи; въ глазахъ какой-то особый блескъ. — „Ольга!“ говоритъ, и, знаете, говоритъ какъ-то странно: „Ольга“, говоритъ, „бери чернильницу, перо, бумагу, садись и записывай!“ Самъ закуриваетъ трубку, начинаетъ ходить по комнатѣ, а стихи, между-тѣмъ, такъ и льются, такъ и льются, повѣрите, едва-едва успѣваю записывать! Иногда нѣсколько большихъ страницъ въ полчаса... удивительный даръ!... Да вотъ чего же лучше, въ этомъ альбомѣ есть много его стиховъ... Постойте, я вамъ покажу... вотъ, вотъ, смотрите!

Аристархъ Ѳедоровичъ прочелъ:

Ты просишь написать въ альбомъ!
Скажи, зачѣмъ? И для чего?
Повѣрь мнѣ, въ почеркѣ нѣмомъ
Не сыщешь ровно ничего!
Ищи ты въ сердцѣ лишь однимъ
Письменъ живаго вдохновенья!...

— Очень, о-о-очень мило! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— А вотъ это, мсьё Балахновъ, посмотрите...

Аристархъ Ѳедоровичъ прочелъ:

Хоть и маленькій домо̀чекъ
Некрасивъ, да какъ же быть!
Съ тобой, милый голубочекъ,
Безъ заботъ можно прожить...

— Много чувства... сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, перелистывая одну за другой странички альбома.

Внезапно лицо великаго человѣка, сохранявшее до-сихъ-поръ величавое спокойствіе, проявило необычайное волненіе: въ глазахъ его засверкалъ огонь негодованія: на одной изъ страничекъ альбома онъ явственно прочелъ ненавистную фамилію Окатова.

— Скажите, пожалуйста, Ольга Фуколовна, сказалъ онъ, стараясь подавить волненіе: — что это за Elise Okatoff? Не дочь ли это того Окатова, я разумѣю нашего сосѣда, который заклеймилъ свое имя безчисленнымъ рядомъ гнусныхъ поступковъ?...

— Ахъ, да, мсьё Балахновъ, это та самая! то-есть она ужъ теперь не Окатова, а Мурзи-Менасова... Мы воспитывались вмѣстѣ въ одномъ пансіонѣ... Бѣдная, несчастная Elise!...

— Несчастная, говорите вы? Но отчего же она несчастная? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ такимъ живымъ участіемъ, какъ-будто Elise Мурзи-Менасова была сто разъ его дочь.

— Да, мсьё Балахновъ, несчастнѣе ея нѣтъ женщины въ свѣтѣ. Родные ея, увлеченные тѣмъ, что она будетъ женою богача, выдали ее замужъ за человѣка, который погубилъ ее... ужасная исторія!...

— Сударыня, воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ: — я нисколько этому не удивляюсь; отъ почтеннаго ея батюшки можно ожидать всего, что угодно... заключилъ онъ, торжественно подымая руки.

— Если васъ такъ интересуетъ судьба моей подруги, произнесла Чибезова: — я, пожалуй, могу сообщить вамъ всю ея исторію... Мы до-сихъ-поръ въ перепискѣ; надняхъ еще я получила письмо, въ которомъ описываетъ она свое несчастіе... О, это цѣлый романъ, ужасный романъ!

Трудно описать волненіе, овладѣвшее при этихъ словахъ Аристархомъ Ѳедоровичемъ; нужна была вся сила его могучей воли, чтобъ скрыть дикую радость, бушевавшую въ величавой груди его: письма, облитыя слезами несчастной Elise Okatoff, обратятся въ рукахъ Аристарха Ѳедоровича въ обоюдо-острый кинжалъ, посредствомъ котораго онъ пронзитъ отцовское сердце Николая Степаныча! Аристархъ Ѳедоровичъ благословилъ на этотъ разъ судьбу, забросившую его въ жилище жалкихъ смертныхъ.

Онъ взялъ письма изъ рукъ романической Ольги Чибезовой, и такъ-какъ было ужъ около полуночи, то не замедлилъ вскорѣ остаться наединѣ въ залѣ, которая предназначалась ему для ночлега.

Пять минутъ, проведенныя заспаннымъ дѣтиной въ укладываніи перинъ на кожаный диванъ, въ навьючиваніи подушекъ и раскладываніи двухспальнаго, тяжеловѣснаго одѣяла, показались Балахнову продолжительнѣе цѣлой недѣли. Освободясь отъ одежды и убѣдившись хорошенько въ томъ, есть ли щипцы и достанетъ ли свѣчки, онъ выслалъ парня, который безъ этого приказанія не преминулъ бы повалиться на полъ и тутъ же заснулъ богатырскимъ сномъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ придвинулъ свѣчу, пересмотрѣлъ числа

и мѣсяцы, означенныя на письмахъ, привелъ ихъ въ послѣдовательный порядокъ и съ жадностью принялся читать драгоцѣнныя странички.

XI.

Душевныя качества Аристарха Ѳедоровича заглушаютъ въ немъ на время чувства злобы и ненависти. Онъ является утѣшителемъ страждущихъ и проливаетъ съ ними горькія слезы.

На другое утро Аристархъ Ѳедоровичъ не вдругъ воспрянулъ отъ сна, какъ это дѣлаютъ многія особы его пола, которыя, какъ только придутъ въ сознаніе, то тотчасъ же раскрываютъ глаза, сбрасываютъ одѣяло, вскакиваютъ на ноги, зовутъ хриплымъ голосомъ человѣка и требуютъ сапоги или трубку. Пробужденіе великаго человѣка совершалось постепенно и во всемъ схоже было съ его усыпленіемъ наканунѣ, когда, послѣ прочтенія драгоцѣнныхъ писемъ, отдался онъ наконецъ Морфею, убаюкивая себя сладостными грёзами вѣрной мести. Въ физическомъ отношеніи, пробужденіе его было необыкновенно сладостно и весьма близко подходило къ состоянію человѣка, котораго оттаиваютъ въ теплой, ароматической ваннѣ. Глаза его оставались закрытыми, но улыбка бродила уже на тонкихъ губахъ, выставляя напоказъ сверкавшія оконечности зубовъ лучшей вагенгеймовской работы; высокое чело его было ясно, какъ майское утро; безпрерывное движеніе продольной морщины, помѣщенной немного выше бровей, показывало, между-тѣмъ, что воспріимчивый умъ великаго дипломата успѣлъ ужъ приподнять всѣ свои шлюзы и работалъ всѣми своими шестернями.

Первой мыслію его было: выпросить, во что бы ни стало, у Чибезовой письма несчастной Мурзи-Менасовой, второю мыслію: послать эти письма Николаю Степановичу. Какой-то великій знатокъ человѣческаго сердца, кажется, даже Ларошфуко, сказалъ слѣдующее: „Человѣкъ находитъ какую-то тайную отраду въ несчастіи лучшаго своего друга...“ На этомъ основаніи слѣдуетъ заключить, что душа человѣческая должна чувствовать

неизъяснимое наслажденіе, коль скоро дѣло идетъ о несчастіи злѣйшаго врага. Это ужъ само-собою разумѣется.

Мысль о пересылкѣ писемъ Окатову такъ живительно подѣйствовала на Аристарха Ѳедоровича, что онъ раскрылъ глаза.

Первый предметъ, поразившій его, былъ Сидоръ, который стоялъ въ дверяхъ, держа въ одной рукѣ круглую свою шляпу съ галуномъ и кокардой, въ другой — зеленый кожаный сакъ, вмѣщавшій въ себѣ кой-какія туалетныя принадлежности, сопровождавшія всюду блистательнаго владѣльца Ханскихъ-Прудовъ.

— Что коляска? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Готова-съ.

— Надежна ли?

— Точно такъ-съ.

— Да полно, такъ ли?

— Такъ точно-съ.

— Что кучеръ?

— Слава Богу-съ.

— А дома что? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, какъ-бы спохватившись.

— Слава Богу-съ.

— Успокоились?

— Такъ точно-съ.

— Хорошо. Который часъ?

Сидоръ поспѣшилъ вынуть изъ боковаго кармана серебряную луковицу, привѣшенную къ бисерному шнурку бирюзоваго цвѣта, и сказалъ, что скоро девять.

— Давай одѣваться! вымолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, поспѣшно сбрасывая одѣяло. Напяливъ носки на ноги своего барина и набросивъ на его плечи халатъ, Сидоръ придвинулъ къ нему стулъ съ маленькимъ корытцемъ, игравшимъ въ домѣ Фукола Ивановича роль таза, и принялся выкладывать на сосѣдній столъ разные предметы, заключавшіеся въ сакѣ. Затѣмъ онъ вооружился старымъ соусникомъ, наполненнымъ водою (несообразная тросновская дворня — такъ, по-крайней-мѣрѣ, увѣрялъ Сидоръ — имѣла самое темное и сбивчивое понятіе касательно умывальника) и оросилъ вельможныя руки своего господина.

Во все это время заспанный дѣтина стоялъ въ дверяхъ, слѣдя съ какимъ-то притупленнымъ, полудикимъ любопытствомъ за всѣми этими приготовленіями. Но лишь только Аристархъ

Ѳедоровичъ взялъ со стола щеточку и приступилъ къ чисткѣ своихъ блестящихъ зубовъ, заспанный дѣтина выступилъ впередъ, расширилъ изумленные глаза и проявилъ, въ остальныхъ чертахъ своего лица, такое движеніе, какъ-будто передъ нимъ свершилось какое-то чудо.

— Что́ ты? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, показывая ему ротъ, наполненный углемъ.

— Оченно, сударь, занятно! чтой-то за диковинка, право! отвѣчалъ парень, задумчиво качая головою.

— Что? развѣ ты не видалъ никогда зубныхъ щетокъ? смѣясь, сказалъ Балахновъ.

— Нѣтъ, сударь, не приводилось, отвѣчалъ парень, подходя къ столу, гдѣ разложены были щеточки, пилочки, и проч. и проч.: — что это за чудеса такія! Оченно, сударь, занятно! примолвилъ онъ, прикасаясь пальцемъ къ каждой вещи.

— Такъ, стало, ты въ первый разъ, любезный, видишь, какъ люди чистятъ себѣ ротъ? смѣясь, произнесъ великій мужъ.

— Впервые-съ; не приводилось, отвѣчалъ парень съ любезностью, осклабляя зубы.

— Развѣ никто у васъ здѣсь этимъ не занимается?

— Никто-съ! съ увѣренностью отвѣчалъ дѣтина.

Весь этотъ разговоръ происходилъ вполголоса; но, при послѣднемъ отвѣтѣ заспаннаго парня, Аристархъ Ѳедоровичъ не могъ ужъ выдержать и разразился тѣмъ густымъ хохотомъ, какимъ смѣются обыкновенно люди солидные, когда бываютъ очень веселы.

Черезъ четверть часа туалетъ великаго мужа былъ конченъ.

— Сидоръ, сказалъ онъ: — распорядись, чтобъ черезъ полчаса лошади были готовы; я выѣду ровно въ десять... Да разспросить хорошенько дорогу въ Сычевку; я ѣду отсюда къ Кормонолѣю Семенычу Бирюкову. Ступай!...

Сидоръ поспѣшилъ навьючить на плечи любознательнаго парня перину, подушки, халатъ и одѣяло, и, уложивъ въ сакъ остальные предметы туалета, вышелъ исполнять приказанія своего барина.

Какъ только зала съ пурпуровыми гардинами представила свой обыденный видъ, на порогѣ показался долговязый кузенъ Ивановъ.

— Какъ изволили почивать?... не безпокоили ли васъ?... промямлилъ юноша принужденнымъ голосомъ.

— Благодарю! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, протягивая ему руку и заключая, по отчаянно-печальному лицу собесѣдника, что онъ, вѣрно, успѣлъ уже поссориться съ зеленолицей брюнеткой.

Черное каленкоровое платье брюнетки, неожиданно появившейся въ эту минуту вмѣстѣ съ романтической Чебезовой, окончательно убѣдило его въ этомъ предположеніи.

Послѣ обычныхъ привѣтствій съ той и другой стороны и послѣ того, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ произнесъ краткій, но краснорѣчивый монологъ, въ которомъ благодарилъ дочерей почтеннѣйшаго и многоуважаемаго Фукола Ивановича за радушіе и гостепріимство, на столѣ снова появился самоваръ.

Маленькое общество расположилось пить чай. Госпожа Чебезова начала разговоръ прямо съ писемъ подруги своей Мурзи-Менасовой; болтовня ея, вытекая на этотъ разъ изъ обильнаго источника и приправленная, сверхъ того, воспоминаніями всякаго рода, не дала ей возможности перевесть духъ впродолженіе цѣлой четверти часа.

— Сударыня, перебилъ наконецъ Аристархъ Ѳедоровичъ, начинавшій уже терять терпѣніе: — я мужчина... и могу сказать, что достаточно владѣю своими чувствами; но письма эти... да, сознаюсь съ обычною своею откровенностью, скажу съ тою искренностью и приязнью, которыя всегда отличали меня, письма эти исторгли изъ моихъ глазъ горячія слезы... слезы участія и состраданія, и вмѣстѣ съ тѣмъ слезы ненависти... Къ чему лукавить? Да, скажу, слезы ненависти... и да падутъ онѣ на голову презрѣннаго отца, погубившаго изъ тщеславія свое собственное дѣтище!... Ольга Фуколовна, промолвилъ онъ нѣжнорастроганнымъ голосомъ и протянулъ при этомъ руку Чебезовой: — Ольга Фуколовна, у меня будетъ къ вамъ большая просьба...

— О, говорите, говорите, мсьё Балахновъ!... для васъ я все готова сдѣлать! восторженно воскликнула романтическая дама, горячо пожимая руку великаго мужа и устремляя голубые, блестящіе глаза на потолочныя щели.

Аристархъ Ѳедоровичъ ловко приступилъ къ своей просьбѣ, развивая ту счастливую мысль, что, такъ-какъ письма несчаст-

ной подруги представляютъ рядъ поразительно трогательныхъ картинъ, преисполненныхъ глубокихъ, назидательныхъ мыслей, то ему хотѣлось бы прочесть ихъ десять, двадцать разъ для того, чтобъ врѣзать, запечатлѣть ихъ навсегда въ своемъ сердцѣ. Какъ уже сказано, дипломатическій мозгъ Аристарха Ѳедоровича могъ создавать и развивать въ одно и то же время двѣ совершенно противоположныя мысли; развивая одну мысль явно, во всеуслышаніе, онъ могъ, безъ большаго затрудненія, развивать умственно совершенно противоположную идею. Въ настоящемъ случаѣ, мысленное сужденіе Аристарха Ѳедоровича было слѣдующее: онъ возьметъ у Чибезовой письма и сдѣлаетъ съ нихъ копію; подлинникъ отправитъ къ Окатову, а копію препроводитъ Ольгѣ Фуколовнѣ при письмѣ, въ которомъ краснорѣчиво и подробно изложитъ несчастный случай, уничтожившій подлинникъ посредствомъ всесокрушающаго пламени ярко топившагося камина... случай, прибавитъ онъ, происшедшій единственно отъ невниманія слуги. „Впрочемъ“, заключитъ Аристархъ Ѳедоровичъ, „я надѣюсь, вы извините меня: въ памятникахъ, подобныхъ тому, какой ввѣрили вы моей неосторожности, дорога не ничтожная бумага и выведенныя на ней буквы, нѣтъ — дорога душа человѣка, выразившаяся помощью этихъ ничтожныхъ буквъ, и, слѣдовательно, въ посланной вамъ копіи (сдѣланной мной для вящшаго наслажденія), найдете вы все то, что нашли бы въ самомъ оригиналѣ“.

Не прозрѣвая въ простотѣ романтической души своей затаенныхъ, умственныхъ мыслей Аристарха Ѳедоровича, госпожа Чибезова изъявила полное согласіе вручить ему письма, и великій мужъ, распростившись съ радушными хозяевами и напомнивъ еще разъ долговязому кузену объ обѣщаніи пріѣхать въ пятницу въ Ханскіе-Пруды, умѣстился комфортабельно въ колискѣ. Бросивъ затѣмъ на воздухъ послѣднее прости Тросновкѣ и прихлопнувъ ладонью по свертку писемъ, умѣстившемуся въ боковомъ его карманѣ, Аристархъ Ѳедоровичъ вскорѣ скрылся изъ виду.

Такъ-какъ въ послѣднюю ночь дождя не было, то грязь на дорогахъ успѣла уже значительно окрѣпнуть; пронзительный, студеный вѣтеръ видимо сушилъ колеи и придавалъ легкость лошадямъ и колесамъ; благодаря сочетанію этихъ счастливыхъ обстоятельствъ, коляска поѣхала ровно и быстро.

Около полудня Аристархъ Ѳедоровичъ въѣзжалъ ужъ въ Сычовку, имѣніе Бирюкова.

Балахновъ не былъ у Бирюкова съ того самаго времени, когда находился еще въ куповствѣ и дружбѣ со всѣмъ уѣздомъ, когда всѣ къ нему ѣздили и самъ онъ ко всѣмъ ѣзжалъ, и когда, наконецъ, коварный свѣтъ и людская ядовитая, шипящая злоба не успѣли еще ожесточить его въ высшей степени благородной натуры, и потому нѣтъ ничего мудренаго, если изъ памяти его нѣсколько изгладился наружный видъ бирюковскаго дома, расположеніе деревни и окружающей ее мѣстности.

Движимый чувствомъ того любопытства, какое ощущаемъ мы при видѣ давно покинутыхъ предметовъ, онъ отбросилъ кожаный фартукъ и принялся глядѣть на Сычовку.

Мглистыя, темныя поля сталлись на необозримое пространство и замыкали сѣрый горизонтъ со всѣхъ четырехъ сторонъ; большое село въ нѣсколько улицъ расползалось неуклюже, какъ ракъ, завязнувшій въ тинѣ; коричневый цвѣтъ избушекъ, вымоченныхъ предшествовавшими дождями, едва-едва отдѣлялъ ихъ отъ почвы, и только по мѣрѣ приближенія къ деревнѣ, когда кровли домовъ стали показываться надъ линіею горизонта, можно было опредѣлить ихъ очертаніе. Въ сторонѣ, подлѣ кладбища, плиты котораго были единственными свѣтлыми пятнами этой картины, возвышалась ветхая, старинная церковь, окруженная массивными кирпичными столбами и оградой; издали еще слышался мѣрный, однообразный, глухой звукъ колокола, который то пропадалъ, то протяжно гудѣлъ, вторя унылому вою вѣтра, гулявшаго на раздольи. Въ деревнѣ было пусто; кой-гдѣ попадался мальчишка, тащившійся въ отцовскомъ полушубкѣ, или старая, хилая бабёнка, выбѣгавшая къ заваленкѣ, чтобъ заткнуть вѣтошью волоковое окно, извергавшее клубы синеватаго дыма. По мѣрѣ приближенія къ дому, стали показываться крытые дранью навѣсы, исполинскіе сѣрые бревенчатые сараи съ множествомъ крошечныхъ дверей и перекосившимися лѣсенками; ограда двора, перехваченная кое-гдѣ плетнемъ, носила на себѣ всѣ признаки окончательнаго запустѣнія. Казалось, тутъ никто не жилъ впродолженіе многихъ лѣтъ. Дворъ заставленъ былъ, однакожъ, на-половину тарантасами, крытыми дрожками, старомодными каретами, рыдванами; тутъ ходили по всѣмъ возможнымъ направленіемъ кучера, бросавшіе потомъ корки тощимъ

борзымъ собакамъ, которыя, поджавъ хвостъ, быстро улепетывали съ полученнымъ кускомъ въ какой-нибудь темный уголъ и жадно глотали добычу. Кормонолѣй Степановичъ и покойный братъ его, Изосимъ Степановичъ, были страстные охотники. Домъ, расположенный направо, представлялъ безконечно длинное, плоское, бревенчатое зданіе въ одинъ этажъ. Подлѣ крыльца толпились человѣкъ триста мужиковъ; всѣ они стояли безъ шапокъ, равно какъ и другая толпа, состоявшая изъ дворовыхъ. Послѣдніе стояли въ нѣкоторомъ разстояніи и отдѣлялись отъ первыхъ длинными носилками, обтянутыми чернымъ сукномъ; четыре лакея, въ старомодныхъ, черныхъ фракахъ, съ крепомъ на плечахъ, держали въ рукахъ дымившіеся факелы. Не смотря на такое многочисленное сборище, на дворѣ было почти такъ же глухо, какъ посреди поля; какъ тутъ, такъ и тамъ молчаніе прерывалось лишь разнообразнымъ звукомъ колокола, который уныло гудѣлъ на далекое пространство.

Грустное чувство, невольно закравшееся въ великую душу Аристарха Ѳедоровича, ровно, однакожъ, ничего не значило въ сравненіи съ тѣми чувствами, какія овладѣли имъ при входѣ въ темную прихожую. Въ передней тѣснились люди пріѣзжихъ сосѣдей, и первый предметъ, поразившій Аристарха Ѳедоровича, были Сѣвка и Прошка, гайдуки и, вмѣстѣ съ тѣмъ, неразлучные спутники Николая Степановича Окатова. Огонь негодованія засверкалъ въ глазахъ великаго мужа, и на ланитахъ его мгновенно показались тѣ багровые кружки, похожіе на лепешечки краснаго сургуча — вѣрные, но, смѣло можно сказать, единственные обличители его внутренняго волненія. Нѣтъ сомнѣнія, что волненіе его могло бы усилиться и распространить багровые кружки по всему пространству ланитъ, если-бъ не случилось одно обстоятельство, которое заставило его тотчасъ же овладѣть собою.

Въ ту самую минуту, какъ глаза Аристарха Ѳедоровича устремились вторично на Сѣвку и Прошку, въ дверяхъ залы показалась старшая сестра покойника.

То была дѣвствующая старушка лѣтъ пятидесяти, сморщенная, сгорбленная, необычайно добродушная, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, такого жалкаго и печальнаго вида, что, казалось, трауръ былъ для нея совершенно излишнимъ украшеніемъ. Она вышла, вѣ-

роятно, для того, чтобъ отдать кой-какія приказанія, но вздохи и слезы заглушали ея голосъ.

Увидѣвъ ея, Аристархъ Ѳедоровичъ быстро протискался впередъ, подошелъ къ ней, медленно поклонился и сказалъ медленно торжественнымъ голосомъ:

— Анна Семеновна! слезы не помогутъ; долгъ каждаго изъ насъ покориться волѣ Провидѣнія. Осушите ваши слезы. Память покойнаго моего родителя, друга покойнаго Изосима Семеныча, принудила меня пріѣхать къ вамъ и утѣшить васъ и вашего почтеннаго братца въ эту скорбную минуту вашей жизни...

Горькія рыданія были сначала отвѣтомъ; мало-по-малу, Анна Семеновна успокоилась и, взявъ за руку гостя, проговорила:

— Благодарю васъ, Аристархъ Ѳедоровичъ... Да, покойный вашъ батюшка былъ его другомъ... вы его также знали... Вотъ... заключила она, вводя Балахнова въ холодную залу.

Противъ окна, на столѣ, лежалъ покойникъ. Въ сосѣдней комнатѣ слышался говоръ многихъ голосовъ.

— Вотъ... повторила, рыдая, старушка, протягивая руку къ гробу.

— Анна Семеновна! сказалъ наконецъ Аристархъ Ѳедоровичъ, стоявшій нѣсколько секундъ съ понурою головою: — чувства, долженствующія наполнять въ эту минуту сердце человѣка, не передаются словами...

Онъ вздохнулъ и промолвилъ вкрадчивымъ голосомъ:

— Но гдѣ же Кормонолѣй Семенычъ?...

— О-охъ! простонала старушка, отрывая мокрый платокъ отъ глазъ: — помогите намъ, ради Бога, уговорить его проститься съ покойникомъ. Вы знаете, Аристархъ Ѳедорычъ, слышали, по крайней мѣрѣ, какъ братецъ боялся всегда покойниковъ... Мы всѣ, сколько насъ здѣсь ни есть... я, сестра Варвара, гости даже, старались его уговорить... Нѣтъ, заперся въ своемъ кабинетѣ, дрожитъ всѣмъ тѣломъ, когда напоминаютъ ему объ этомъ... О-охъ! А между-тѣмъ, вы сами знаете, время уходитъ; народъ ждетъ... Уговорите его отдать послѣдній долгъ...

— Анна Семеновна! даю вамъ слово употребить все возможное, все зависящее отъ человѣка... сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, прислушиваясь къ говору, раздававшемуся въ сосѣдней комнатѣ. Пойдемте! прибавилъ онъ, переведя дыханіе и дѣлая сверхъестественныя усилія, чтобъ подавить волненіе.

Проникнуть въ кабинетъ Бирюкова можно было не иначе, какъ пройдя тѣ комнаты, въ которыхъ находились гости. Аристархъ Ѳедоровичъ подалъ руку Аннѣ Семеновнѣ и, выпрямивъ грудь, медленнымъ, ровнымъ шагомъ вошелъ въ гостиную.

Тутъ было человѣкъ до двадцати сосѣдей. Въ первыя двѣ секунды Аристархъ Ѳедоровичъ не могъ, однакожъ, дать себѣ яснаго отчета въ томъ, сколько именно лицъ находилось въ гостиной; всѣ лица и фигуры смѣшались вмѣстѣ; ему показалось даже, какъ-будто присутствовавшіе, при появленіи его, стали кружиться; сквозь этотъ туманъ, покрывшій на минуту его глаза, онъ не замедлилъ, однакожъ, различить два пучка сѣдыхъ завитковъ, торчавшихъ по обѣимъ сторонамъ круглой головы; различилъ плотный, раздвоенный подбородокъ и вслѣдъ затѣмъ ненавистную фигуру Окатова. Николай Степановичъ сидѣлъ въ самомъ дальнемъ углу; на широкомъ лицѣ его обозначались такіе рѣзкіе, положительные признаки смущенія и страха, которые, очевидно, должны были укрѣпиться задолго еще до пріѣзда Аристарха Ѳедоровича въ Сычовку. Впрочемъ, онъ и не смотрѣлъ на Балахнова; наклонивъ на бокъ голову, онъ разсѣянно слушалъ Семена Семеновича Кошкина, который, не имѣя, вѣроятно, большаго желанія встрѣтить взглядъ Аристарха Ѳедоровича, также наклонялъ на бокъ свой лоснящійся черный паричокъ и что-то нашептывалъ на ухо Окатову. Если-бъ посторонній наблюдатель могъ видѣть въ настоящую минуту лицо Аристарха Ѳедоровича, онъ никакимъ образомъ не могъ бы понять, какъ достало у него столько мужества, чтобъ ограничиться одною презрительной улыбкой. Правда, багровые кружки на щекахъ его горѣли какъ уголья и, могло статься, распространились бы далеко за предписанные предѣлы обыкновеннаго румянца, но это ничего не значило. Онъ отвелъ глаза въ другую сторону и... и... встрѣтился прямо съ глазами Солонѣева и его дяди, которые обмѣривали его съ саркастическимъ видомъ. Грудь Аристарха Ѳедоровича, готовая въ эту минуту треснуть и разлетѣться въ дребезги, и тутъ-таки не утратила на волосъ своей величавой, горделивой округлости. Онъ навелъ глаза прямо на дверь слѣдующей комнаты и, гордо приподнявъ благородное чело, медленно повелъ впередъ свою спутницу, которая тихо всхлипывала, нимало не подозрѣвая той страшной драмы, какая свершалась подъ самымъ ея носомъ.

Они прошли въ кабинетъ.

Комната эта представляла рѣзкій контрастъ съ остальными покоями, имѣвшими большое сходство съ затхлыми, пустыми сараями. Она напоминала тѣ складочные амбары, куда сваливаютъ, безъ всякаго порядка, домашній скарбъ и хламъ, негодный ужъ ни для какого употребленія: сундуки, плошки, плетушки, старое платье, свертки холста, списки и счеты, нацарапанные на синей бумагѣ и насунутые на стѣнные гвозди; пыль, мѣрка съ овсомъ, кой-какія принадлежности охоты: сѣдла, ружья, патронташи, арапникъ, мѣдный позеленѣвшій рогъ; затѣмъ бутылки, стклянки, заплатанные мѣшки, ветошь и проч. и проч. — все это лежало ворохами на грязномъ полу, лѣпилось вдоль стѣнъ и громоздилось на длинныхъ полкахъ, сдѣланныхъ топоромъ изъ сосновыхъ досокъ. Въ комнатѣ три окна: два изъ нихъ наглухо заколочены досками, третье до половины замазано мѣломъ. Блѣднозеленый, жидковатый свѣтъ, струившійся изъ верхнихъ стеколъ, падалъ косымъ лучомъ на старика лѣтъ семидесяти, который сидѣлъ, скрестивъ на груди руки и покачиваясь изъ стороны въ сторону. То былъ Кормонолѣй Семеновичъ Бирюковъ, младшій братъ и наслѣдникъ покойника. Онъ сидѣлъ сгорбившись; но длинныя костлявыя ноги его показывали, что онъ долженъ быть высокаго роста; сѣдые, желтоватые волосы спускались косяками по обѣимъ сторонамъ угловатой головы, отличавшейся какой-то странной конструкціей; худое, изрытое лицо, земляного цвѣта, оживлялось сѣрыми, быстрыми глазами. На немъ былъ ветхій халатъ, подпоясанный бумажнымъ платкомъ; другой платокъ, тоже очень неказистаго вида, обматывался вокругъ шеи его, на подобіе веревки; исполинскія ступни Кормонолѣя Семеновича болтались въ туфляхъ... Подлѣ стояла младшая сестра его Варвара Семеновна — живая копія съ старшей сестры Анны Семеновны; кромѣ нея, былъ еще какой-то незнакомый Балахнову господинъ — высокій человѣкъ, лѣтъ тридцати-пяти, съ черными волосами, черными усами и черными бакенами, человѣкъ солиднаго и степеннаго вида.

Время, употребленное Аристархомъ Ѳедоровичемъ для достиженія кабинета, ужъ достаточно было ему для того, чтобъ овладѣть собою, если не совсѣмъ, то на столько, по-крайней-мѣрѣ, чтобъ войдти въ роль утѣшителя родственниковъ покойника. Поклонившись незнакомому господину (при этомъ онъ

почему-то закрылъ глаза), отвѣсивъ затѣмъ низкій, сострадательный поклонъ плакавшей Варварѣ Семеновнѣ и приблизившись къ Бирюкову, который продолжалъ мотать головой, онъ сказалъ съ разстановкою:

— Пріѣзжаю... и чтожъ?... Не удалось мнѣ пожать въ послѣдній разъ ту почтенную руку, которую такъ любилъ пожимать покойный отецъ мой...

Бирюковъ устремилъ на Балахнова безпокойные, сухіе глаза и воскликнулъ разбитымъ голосомъ:

— Кого мы лишились?... друга, брата!... Изосимъ! приговорилъ онъ, закрывая лицо руками и снова качая головой: — Изосимъ, на что ты мнѣ оставилъ столько богатства? Пожилъ бы лучше! Я бы тебѣ лучше все отдалъ... все бы оставилъ!...

— Что дѣлать, дядюшка! воля Божія! холодно проговорилъ незнакомый господинъ.

Комната наполнилась рыданіемъ двухъ сестеръ, прерываемымъ стонами и охами Бирюкова.

— Полноте, Кормонолѣй Семенычъ! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ увѣщевательнымъ тономъ: — не возмущайте слезами души покойника: — душа его носится еще межъ нами, и отчаянье ваше можетъ только омрачить послѣднее пребываніе ея въ сей странѣ плача и скорбей... Дадимте ей отлетѣть съ миромъ и отрадой! скажемъ послѣднее прости земному праху и проводимъ его до послѣдняго жилища... Но едва произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ эти слова, Бирюковъ поднялъ голову, затрясся всѣмъ тѣломъ, попятился съ испугомъ назадъ и началъ что-то мямлить.

— Вотъ... мямлилъ онъ, между прочимъ, очевидно, стараясь повернуть разговоръ: — вотъ, Аристархъ Ѳедорычъ, благодѣтель, вотъ племянникъ мой... познакомься... Мясоитяновъ... Андрей Иванычъ... познакомься, благодѣтель... Пріѣхалъ изъ Петербурга... побывать въ имѣніи...

Аристархъ Ѳедоровичъ поклонился господину Мясоитянову и радушно протянулъ ему руку.

— Очень знаю-съ, сказалъ великій дипломатъ: — имѣнье ваше, Бѣлые-Ключи, въ тридцати верстахъ отъ меня. Весьма пріятно познакомиться...

Балахновъ зналъ, какъ ужъ извѣстно, топографію и статистику своего уѣзда, какъ свои пять пальцевъ. Проговоривъ все это съ нѣкоторою торопливостью, вознаграждаемою, впрочемъ,

довольно искусно горячимъ пожатіемъ руки, дипломатъ обратился снова къ Бирюкову и принялся увѣщевать его отдать послѣдній долгъ покойнику. Напрасно Кормонолѣй Семеновичъ заминалъ рѣчь и моталъ головой: Аристархъ Ѳедоровичъ былъ неумолимъ. Поддерживаемый двумя сестрами и племянникомъ, онъ умолялъ старика внять голосу убѣжденія, умолялъ его воздать послѣдній долгъ бреннымъ останкамъ, хотя изъ одной благодарности; но такъ-какъ и это не помогло, то онъ обратился къ угрозамъ: въ поразительно-краснорѣчивыхъ выраженіяхъ изобразилъ онъ передъ старикомъ терзанія совѣсти, какія ожидаютъ его, въ случаѣ неисполненія послѣдняго долга, и наконецъ, попавъ вдругъ на счастливую мысль, сказалъ ему, что оскорбленная тѣнь усопшаго Изосима Семеновича будетъ являться по ночамъ упрекать неблагодарнаго брата. Послѣднее, казалось, всего успѣшнѣе подѣйствовало на Бирюкова; нѣсколько секундъ сидѣлъ онъ молча; мутные, сѣрые глаза его обводили присутствовавшихъ, а беззубыя челюсти его производили глухую стукотню; наконецъ онъ застоналъ, заохалъ, приподнялся съ своего мѣста, какъ-бы порываясь впередъ, но остановился и закрылъ лицо руками. Аристархъ Ѳедоровичъ быстро переглянулся съ племянникомъ и оба ухватили Бирюкова подъ руки; сёстры бросились впередъ и отворили кабинетныя двери. Балахновъ и племянникъ, не взирая на то, что старикъ упирался ногами, не замедлили привести его въ гостиную. Сосѣди, движимые, кто участіемъ, а кто любопытствомъ, послѣдовали гурьбою за Бирюковымъ.

Очутившись въ залѣ, Кормонолѣй Семеновичъ быстро отвернулъ лицо отъ покойника и закрылъ руками. Балахновъ и племянникъ продолжали между тѣмъ вести его.

Въ трехъ шагахъ отъ гроба они оставили старика и отошли въ сторону.

Кормонолѣй Семеновичъ все еще держалъ ладони на лицѣ своемъ; мало-по-малу, однакожъ, онъ расправилъ пальцы, между которыми показались слезы, робко взглянулъ на брата и вдругъ отчаянно простеръ руки впередъ.

— Изосимъ! братъ! вскричалъ онъ съ воплемъ истиннаго отчаянья, всплеснулъ руками, закачался и грохнулся на землю.

Аристархъ Ѳедоровичъ и солидный племянникъ подняли его;

къ нимъ присоединились еще два какіе-то господина, и всѣ четверо понесли старика въ кабинетъ.

Когда они вернулись, гробъ былъ уже заколоченъ наглухо; подлѣ него, въ общей группѣ, толпились мужички, дворовые и кое-кто изъ сосѣдей. По данному знаку, гробъ подняли; послышалось затаенное рыданіе двухъ сестеръ; толпа заволновалась и повалила за гробомъ.

— Пойдемте! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, прикладывая указательный палецъ къ глазамъ и посылая грустную улыбку племяннику.

— Пойдемте, сказалъ племянникъ, надѣвая теплыя перчатки.

Они вышли на дворъ.

XII,

доказывающая, между прочимъ, самымъ очевиднымъ образомъ, что человѣкъ умный, тонкій и практическій можетъ извлекать выгоды изъ самыхъ ничтожныхъ обстоятельствъ.

Мѣрный звукъ колокола звучалъ чаще и явственнѣе; говоръ толпы, тянувшейся длинною, волнистою плетеницей за воротами, смѣшивался въ одинъ глухой шумъ, изъ котораго вырывались по временамъ восклицанія. Въ отдаленьи, посреди черной улицы, вздрагивало кое-гдѣ пламя факеловъ. Свинцовое небо, исполосованное хребтами сизыхъ тучъ, сѣяло мелкій, рѣденькій дождикъ, который, подобно сѣрому крепу, застилалъ окрестность. Звуки колокола становились слышнѣе и слышнѣе.

Въ группѣ сосѣдей, провожавшихъ гробъ, не было, однакожъ, видно печальнаго лица; разговоръ ихъ, вертѣвшійся, большею частью, на дѣлахъ чисто житейскихъ, не имѣвшихъ ровно никакого отношенія къ настоящему случаю, не отличался также ничѣмъ особенно трогательнымъ.

— А что, Василій Степанычъ, сѣяли ли вы нынче гречиху?“ — „Сѣялъ; а вы сѣяли?“ — „Сѣялъ...“ — „Э-хе, хе!...“ — „Что-жъ вы хотите, скряга!“ — „Конечно, такъ; но съ другой стороны...“ — „Что съ другой стороны?... Э, помилуйте, просто скупой человѣкъ: держится зубами за гривенникъ, а изъ рукъ

цѣлковый пропадаетъ!“ — „Сярга былъ отъявленный!...“ — “Помилуйте, да Кормонолѣй во сто кратъ хуже покойника!“ — „Разумѣется!“ — „Двѣсти душъ на его долю...“ — „А сёстры?...“ — „Вздоръ!“ — „Четырнадцатая часть!“ — „Нѣтъ, покойникъ предоставилъ на волю Кормонолѣя...“ — „Можетъ ли быть?... гм! фю, фю, фю... поздравляю ихъ въ такомъ случаѣ!“

Аристархъ Ѳедоровичъ и солидный племянникъ шли въ нѣкоторомъ разстояніи отъ толпы.

— Давно вы пожаловали въ наши края? спросилъ любезнымъ, но, повидимому, очень разсѣяннымъ тономъ Балахновъ.

— Пять дней всего...

— И долго останетесь?

— Послѣ выборовъ, я думаю...

Тутъ лицо Аристарха Ѳедоровича выразило вдругъ столько благородства, что, будь я живописецъ, я начерталъ бы его тутъ же, между этими строками; но нѣтъ, будь я первымъ живописцемъ въ мірѣ, все-таки не былъ бы я въ состояніи передать съ подобающею точностью величавыя черты знаменитаго мужа.

— Вы, слѣдовательно, ни съ кѣмъ здѣсь еще не знакомы? спросилъ знаменитый мужъ.

— Нѣтъ, дядюшка представилъ меня Окатову.

— Окатову! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, пріостанавливаясь:—а впрочемъ, продолжалъ онъ, ускоряя шагъ:—что-жъ мудренаго! лѣта Кормонолѣя Семеныча... его положеніе... все это извиняетъ его...

— Вы находите, слѣдовательно, что дядюшка дурно сдѣлалъ, познакомивъ меня съ Окатовымъ?

— На это позвольте отвѣчать вамъ вопросомъ: знаете ли вы, кто такой этотъ О-ка-товъ?

— Нѣтъ, не имѣю ни малѣйшаго понятія.

— Первый негодяй во всемъ здѣшнемъ краю!

— Можетъ ли быть?

— Первый плутъ!

— Что вы говорите...

— Обманщикъ!

— Не-уже-ли?

— Съ нимъ опасно даже говорить...

— Вы меня удивляете!...

— Губитель родной дочери... очаровательнаго созданія, при-

несеннаго въ жертву самолюбію алчнаго отца, заклеймившаго свое имя безчисленнымъ рядомъ гнуснѣйшихъ поступковъ...

— Да это просто ужасъ!... проговорилъ Мясоитяновъ, нахмуривая брови.

— Да, сударь мой, ужасъ, ужасъ и ужасъ! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ: — доказательства у меня здѣсь, въ боковомъ карманѣ этого сюртука.

— Какія доказательства?...

— Письма несчастной дочери... письма, способныя разорвать на части самое каменное сердце... Послушайте, мсьё Мясоитяновъ, прибавилъ Балахновъ, самъ замѣтивъ, что ужъ слишкомъ далеко зашелъ, и стараясь обуздать свои порывы: — не обвиняйте меня въ пристрастіи, нѣтъ, гнусная клевета и ядовитая, шипящая злоба чужды меня; каждый благородный человѣкъ невольно долженъ содрогаться при одномъ имени Окатова...

— Скажите! а я думалъ, что онъ очень добрый человѣкъ, и даже сбирался къ нему ѣхать...

— Нѣтъ, позвольте ужъ мнѣ вамъ этого не дозволить! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ съ очаровательною любезностью:— позвольте мнѣ таки рѣшительно вамъ этого не дозволить!...

Тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ засмѣялся, пожалъ въ нѣсколько пріемовъ руку солиднаго Мясоитянова и продолжалъ:

— Вы здѣсь человѣкъ новый, никого не знаете, и, слѣдуя, такимъ образомъ, рекомендаціямъ Кормонолѣя Семеныча, можете провести три недѣли пребыванія своего въ уѣздѣ въ обществѣ людей... то есть, по-крайней-мѣрѣ, очень скучно... Обязанность наша, то-есть старожиловъ края, не допустить до этого... Надѣюсь, мсьё Мясоитяновъ, вы сдѣлаете мнѣ честь пожаловать ко мнѣ... Мы постараемся о томъ, чтобъ, покидая нашъ край, вы увезли, по-крайней-мѣрѣ, хорошее впечатлѣніе... Пріѣзжайте ко мнѣ въ пятницу на будущей недѣлѣ запросто отвѣдать нашего хлѣба-соли...

Племянникъ Бирюкова молча поклонился.

Изъ числа помѣщиковъ, собравшихся у Бирюкова, двое только не пошли провожать покойника: Николай Степановичъ Окатовъ и Семенъ Семеновичъ Кошкинъ, сдѣлавшійся съ нѣкоторыхъ поръ любимымъ и въ то же время единственнымъ гостемъ „Большихъ-Солей“. Впрочемъ, достаточно ужъ было, что

Николай Степановичъ рѣшился пріѣхать въ домъ, гдѣ находился покойникъ. Геройскій подвигъ этотъ, конечно, не замедлитъ занять важное мѣсто въ бесѣдахъ его съ госпожею Бускé и господиномъ Бускé, — бесѣдахъ, которыя ограничивались до-сихъ-поръ изображеніемъ страшной качки, постигшей Николая Степановича, при переѣздѣ его изъ Петербурга въ Кронштадтъ. Какъ только тѣло Изосима Семеновича было вынесено, дыханіе Николая Степановича замѣтно стало ровнѣе и свободнѣе; онъ вышелъ изъ своего угла, провелъ себя нѣсколько разъ ладонью по груди, какъ-будто хотѣлъ сказать: „Ни-ко-лай Сте-па-ничъ Ока-а-товъ!“ и, кликнувъ Прошку, приказалъ подать воды со льдомъ. Воды было въ волю въ домѣ Бирюкова. Опорожнивъ безъ малаго полграфина, Николай Степановичъ почувствовалъ себя облегченнымъ отъ огромной тяжести и, взявъ подъ руку Кошкина, вышелъ въ залу, гдѣ начинали накрывать на столъ.

— Нѣтъ, скажите, пожалуйста, Николай Степанычъ, каковъ нашъ пріятель-то?... а? Я все о немъ; право, никакъ не могу... сказалъ Кошкинъ, поправляя очки.

— Дуракъ! лаконически возразилъ Николай Степановичъ, самодовольно запрятывая раздвоенный свой подбородокъ въ густыя складки бѣлаго галстука.

— Нѣтъ, послушайте, этого никакъ, однакожъ, нельзя сказать, примолвилъ Кошкинъ, сморщивая лицо свое: — Балахновъ уменъ, но умъ, знаете... такой... Представьте, что онъ со мной на-дняхъ сдѣлалъ. Лѣтъ восемь назадъ, узналъ онъ, что мнѣ нужны деньги; хоть я и не заикнулся ему объ этомъ, однакожъ онъ самъ вызвался и далъ мнѣ взаймы... такъ, бездѣлицу, тысячи двѣ или три... О долгѣ этомъ онъ не упоминалъ мнѣ нѣсколько лѣтъ, совсѣмъ было забылъ его... какъ вдругъ узнаю, что Балахновъ передалъ мой вексель какому-то забіякѣ Карачаеву, который живетъ у него, и который, какъ мнѣ сказывали, хлопочетъ теперь о томъ, чтобъ подать ко взысканію... А? какъ вамъ нравится эта выходка? Конечно, все это дѣлается изъ благороднаго чувства мести...

— Низкій человѣкъ! проговорилъ Окатовъ.

— Ну, вотъ это другое дѣло, противъ этого я слова не скажу. Хотѣлъ бы я знать, за чѣмъ онъ сюда пожаловалъ? Ужъ, вѣрно, не спроста... Вѣрно, онъ не сталъ бы подвергать себя

по-напрасну встрѣчѣ съ вами... А замѣтили ли вы, какъ онъ смутился, когда увидѣлъ васъ? замѣтили ли вы этотъ взглядъ?...

Николай Степановичъ самодовольно покрутилъ головой.

— А надо сознаться, продолжалъ Кошкинъ, вводя собесѣдника въ гостиную и усаживаясь подлѣ него: — надо сознаться, этой долиной вы рѣшительно таки уходили его... хи, хи, хи... именно уходили! Съ той поры Ханскіе-Пруды значительно опустѣли; хозяинъ пріунылъ... а всему виною вы; ей Богу вы, Николай Степанычъ! По этому случаю, скажу я вамъ, кто-то постарался даже состряпать маленькій памфлетецъ... Впрочемъ я, кажется, ужъ говорилъ вамъ объ этомъ.

— Нѣтъ.

— Можетъ ли быть?... О, въ такомъ случаѣ послушайте.

Семенъ Семеновичъ кашлянулъ и проговорилъ писклявымъ голосомъ болонки, которой ущемили хвостъ:

Сеянъ виной большаго зла:
Простона погубилъ безъ всякія причины.
Простонъ для всѣхъ держалъ богатый столъ и вины;
Простона очень жаль, но больше жаль стола!

— Сеянъ — это вы, Николай Степанычъ.

— Какъ, какъ... какъ? безъ причины, столъ... Простона... какъ? ха, ха, ха!... воскликнулъ Окатовъ, восторженно взъерошивая пучки сѣдыхъ завитковъ на вискахъ своихъ.

Кошкинъ повторилъ памфлетъ, отысканный имъ въ какой-то старинной книгѣ.

— Ха, ха, ха, ха! залился Николай Степановичъ.

— Хи, хи, хи!... закатился Кошкинъ, прикладывая платокъ къ лицу своему.

Шумъ, раздавшійся въ эту минуту въ залѣ, возвѣстилъ окончаніе похоронъ.

Окатовъ и Кошкинъ поспѣшили выйдти на встрѣчу гостямъ.

Въ дверяхъ столкнулись они носъ къ носу съ племянникомъ Бирюкова.

— Что? кончено?... произнесъ Кошкинъ, качая чернымъ своимъ паричкомъ и придавая желтенькому лицу своему плаксивое выраженіе.

— Кончено, сухо сказалъ Мясоитяновъ.

— Вы, кажется, изволили провожать покойника вмѣстѣ

съ Балахновымъ? сказалъ Семенъ Семеновичъ вкрадчивымъ голосомъ.

— Какъ! вмѣстѣ съ этимъ... съ этимъ?... проговорилъ Николай Степановичъ.

— Развѣ вы имѣете сказать что-нибудь противъ него? спросилъ удивленный Мясоитяновъ.

— Эгоистъ! твердо и рѣшительно произнесъ Окатовъ.

— Кляузникъ и... и человѣкъ не совсѣмъ чистый! подхватилъ Кошкинъ.

Мясоитяновъ остолбенѣлъ.

— Невѣжа! сказалъ Окатовъ.

— Опасный человѣкъ! замѣтилъ Кошкинъ.

Мясоитяновъ глядѣлъ съ изумленіемъ то на того, то на другаго.

— Самая рѣзкая черта въ этомъ человѣкѣ — лицемѣріе, продолжалъ Кошкинъ. — Онъ женатъ... и жена его сущій ангелъ, женщина въ полномъ смыслѣ достойная уваженія... Что-жъ? нужно взглянуть на жизнь этой женщины, чтобъ повѣрить на дѣлѣ, что̀ такое Балахновъ.

— Настоящій лицемѣръ! приполвилъ Окатовъ.

— Опаснѣйшій человѣкъ, и опасный тѣмъ именно, что уменъ и демонски хитеръ, и лукавъ въ добавокъ! Къ тому же и говоритъ красно: обворожитъ, заговоритъ, очаруетъ... а на повѣрку выходитъ: запуталъ васъ въ какое-нибудь кляузное дѣло...

— Когда-жъ ко мнѣ? перебилъ неожиданно Окатовъ, закидывая назадъ голову и протягивая руку Мясоитянову.

— Постараюсь... на-дняхъ... отвѣчалъ племянникъ Бирюкова, посылая мысленно къ нечистому и Окатова, и Балахнова, и давая себѣ слово не заглядывать во всю жизнь ни къ тому, ни къ другому.

Полчаса спустя, гости усѣлись за столъ, во главѣ котораго расположились сёстры Бирюкова, пріѣхавшія въ Сычовку для того только, чтобъ отдать послѣдній долгъ покойному брату и получить затѣмъ съ живаго брата какую-нибудь частичку наслѣдства, въ которой обѣ онѣ очень нуждались.

Гости ѣли вообще очень мало. Обѣдъ былъ такого рода, что могъ, развѣ, придти по вкусу людямъ, питавшимся три мѣсяца къ ряду одними кореньями. Блюда состояли исключительно изъ баранины и овощей, приправленныхъ въ собственномъ

соку. Вина, наливокъ, водицъ, шипучекъ и прочихъ сладостей не было; всѣхъ ихъ замѣнялъ жиденькій квасъ и вода изъ громоваго колодца. Все это содѣйствовало къ тому, что гости вскорѣ встали изъ-за стола и еще скорѣе начали разъѣзжаться.

Улучивъ свободную минуту, Аристархъ Ѳедоровичъ (багровыя пятна не сходили съ его величественныхъ ланитъ во все продолженіе обѣда) подошелъ къ сестрамъ Бирюкова.

— Милостивая государыня, Анна Семеновна и милостивая государыня, Варвара Семеновна, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ привѣтливо родственнымъ тономъ: — по праву, данному мнѣ дружбой покойнаго моего родителя съ покойнымъ братцемъ вашимъ Изосимомъ Семеновичемъ, я требую, чтобъ вы сдѣлали изъ меня исключеніе противъ остальныхъ, здѣсь присутствующихъ сосѣдей вашихъ. Долгъ повелѣваетъ мнѣ остаться въ вашемъ домѣ, не покидать васъ въ эту, поистинѣ скорбную минуту и излить въ сердце ваше (позвольте въ этомъ надѣяться) лучъ отрады и утѣшенія... Почтенный братецъ вашъ, Кормоноліи Семенычъ, требуетъ особеннаго попеченія.

— Ахъ, Боже мой, Аристархъ Ѳедорычъ! воскликнули обѣ сестры: — мы только-что хотѣли просить васъ объ этомъ... не покидайте насъ!... Мы не посмѣли бы безпокоить васъ, еслибъ племянникъ нашъ Мясоитяновъ оставался при братѣ... Но племянникъ долженъ ѣхать сейчасъ же домой въ Бѣлые-Ключи: завтра утромъ его вводятъ во владѣніе имѣніемъ.

Въ эту самую минуту степенный племянникъ подошелъ къ тёткамъ и сталъ съ ними прощаться.

— Итакъ, въ пятницу? сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, радушно протягивая руку и показывая ему рядъ лучшихъ патентованныхъ зубовъ.

— Въ пятницу, отвѣчалъ загадочнымъ тономъ Мясоитяновъ.

Затѣмъ онъ раскланялся и вышелъ въ переднюю.

Было уже около семи часовъ вечера. Гости разъѣхались всѣ до единаго, кромѣ Аристарха Ѳедоровича, который расхаживалъ теперь медленными шагами по залѣ и гостиной. Сёстры Бирюкова, утомленныя дневными хлопотами и впечатлѣніями, давно отправились на покой; Кормонолій Семеновичъ, по словамъ людей, также предавался отдыху. Домъ былъ погруженъ въ мертвое молчаніе; въ комнатахъ было темно. (Ключи отъ свѣчъ находились у Бирюкова — такъ, по-крайней-мѣрѣ,

объявилъ Сидоръ, который, при всемъ стараніи своемъ, не могъ отыскать во всемъ домѣ ни одного огарка).

Аристархъ Ѳедоровичъ продолжалъ ходить, потирая время отъ времени высокое чело свое, въ которомъ гомозились блистательные планы и соображенія. Изрѣдка останавливался онъ, чтобъ взглянуть на мѣсяцъ, который, прокравшись изъ-за черныхъ тучъ, озарялъ трепетно-серебристымъ лучемъ бревенчатыя стѣны залы.

Гдѣ-то въ отдаленьи, и Богъ-вѣсть въ какомъ отдаленьи, пробило восемь часовъ.

Звукъ этотъ почему-то непріятно отозвался въ душѣ Аристарха Ѳедоровича.

Всякій испыталъ на себѣ то тяжелое состояніе духа, когда, посреди мрака и пустыни, какой-нибудь внѣшній неодушевленный предметъ вызоветъ васъ къ дѣйствительности и напомнитъ вамъ ваше одиночество. Когда смолкли послѣдніе звуки и наступила тишина могилы, Аристархъ Ѳедоровичъ вдругъ почувствовалъ это одиночество. Онъ прошелъ взадъ и впередъ по комнатѣ, стараясь овладѣть нитью предшествовавшихъ размышленій; но мысли его никакъ не укладывались въ желанный порядокъ, а, напротивъ, стремились съ какою-то неотразимою силой къ инымъ предметамъ. Тутъ почему-то явилась неожиданно блѣдная, печальная жена, тихо склонившаяся надъ маленькою дѣтскою постелькой... Тамъ промелькнула какая-то фигура съ завитками Окатова, глазами Василькова, носомъ Сараманаевой, ухватками Карачаева... Тамъ пришелъ почему-то въ голову степенный племянникъ Бирюкова... И снова все исчезло, чтобъ уступить мѣсто непрошеннымъ и незваннымъ воспоминаніямъ, которыя, одно за другимъ, укладывались тяжелыми плитами въ смущенной душѣ Аристарха Ѳедоровича. Имъ словно овладѣла какая-то неловкость; что-то похожее на упрекъ, на совѣсть, вкрадывалось постепенно въ его мужественное сердце...

— Сидоръ! крикнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ. Звукъ его голоса пробѣжалъ, какъ эхо, по пустымъ покоямъ.

Онъ остановился и приложилъ руку къ сердцу.

— Что за ребячество! проговорилъ онъ, наконецъ, обтирая ладонью высокій лобъ, покрытый каплями пота.

Онъ вышелъ въ переднюю, ощупью отыскалъ Сидора, растолкалъ его, отправился въ комнату, назначенную ему для ноч-

лега, и вскорѣ заснулъ богатырскимъ сномъ. На другое утро Аристархъ Ѳедоровичъ изволилъ пробудиться отъ своего сна несравненно раньше обыкновеннаго. Облачившись въ халатъ и вычистивъ затѣмъ вагенгеймовскіе зубы, Аристархъ Ѳедоровичъ подошелъ къ маленькому обломанному сосновому столику и сѣлъ на соломенный стулъ съ проткнутымъ дномъ.

Накушавшись чаю съ медомъ (Кормонолѣй Семеновичъ и покойный братъ его, Изосимъ Семеновичъ, сахару не употребляли), Аристархъ Ѳедоровичъ одѣлся на скорую руку и прямо пошелъ въ извѣстный уже кабинетъ Кормонолѣя Семеновича.

Онъ засталъ хозяина сидящимъ противъ досчанаго стола, заваленнаго всякою дрянью; тутъ были: и оберточная бумага, и пробки, и подковы, и тарелка съ бараньею костью, и блюдечко съ крупною солью, и объѣдки пирога, сложенные въ кучку, и запыленная свинцовая чернильница съ обглоданнымъ перомъ, и ржавые гвозди, и графинъ съ желтовато-мутной водой; тутъ же находилась и толстая тетрадь изъ синей бумаги съ надписью: „приходъ“, и рядомъ съ нею другая маленькая тетрадка, съ надписью: „расходъ“. Между этими вещицами, столько же полезными, сколько необходимыми, виднѣлась старомодная шкатулка изъ карельской березы, которая, въ настоящую минуту, составляла, казалось, главный предметъ наблюденій Бирюкова. Шкатулка была раскрыта; на днѣ ея виднѣлись мѣшечки изъ замши и холста, вязанные кошельки и крошечные узелочки; все это представляло довольно привлекательную округленность.

Первое движеніе Кормонолѣя Семеновича, когда заслышалъ онъ шумъ въ дверяхъ, было закрыть шкатулку; но, увидѣвъ Аристарха Ѳедоровича, онъ тотчасъ же отложилъ такое намѣреніе и, покачавъ головою, пропустилъ пальцы правой руки между пальцами лѣвой и промямлилъ сострадательнымъ голосомъ:

— Вотъ, благодѣтель, посмотри, осталось послѣ брата Изосима... О-охъ, кого мы лишились! подхватилъ онъ, неопредѣленно водя глазами по угламъ и стѣнамъ кабинета: — кого мы лишились! друга, брата, благодѣтеля! Изосимъ, на что оставилъ ты мнѣ столько богатства? пожилъ бы лучше! я бы тебѣ все отдалъ, все оставилъ!...

„Толкуй! знаемъ мы, братъ, тебя!“ подумалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, отвѣчая на слова Бирюкова глубокимъ вздохомъ.

— О-охъ! примолвилъ Бирюковъ: — вотъ, благодѣтель, присовокупилъ онъ, вынимая дрожащими руками кошелекъ изъ шкатулки: — вотъ...

Тутъ Бирюковъ бережно высыпалъ деньги въ шкатулку, приложилъ кошелекъ къ губамъ, заплакалъ, застоналъ, положилъ его на столъ подлѣ шкатулки и, прикоснувшись къ пустому кошельку пальцемъ, примолвилъ плаксивно:

— Это душенькѣ моей, сестрицѣ Аннѣ... на память... Вздохнувъ два-три раза, онъ вынулъ другой кошелекъ, высыпалъ изъ него тѣмъ же порядкомъ деньги въ шкатулку, поцѣловалъ его и, заливаясь слезами, вымолвилъ:

— А этотъ душенькѣ моей, сестрицѣ Варварѣ... на память... Положивъ кошелекъ на столъ, Бирюковъ поспѣшно закрылъ шкатулку, медленно повернулъ ключъ и, прислушавшись къ звону замка, заморгалъ на Аристарха Ѳедоровича своими сѣрыми глазами.

— Да, почтеннѣйшій и премного-уважаемый Кормонолѣй Семенычъ, сказалъ наконецъ Аристархъ Ѳедоровичъ, соскучившись хныканьемъ Бирюкова и сгорая желаніемъ приступить какъ можно скорѣе къ главной, настоящей цѣли своей поѣздки въ Сычовку: — да, конечно, все это очень тяжело и грустно... Но если принять въ соображеніе преклонныя лѣта Изосима Семеныча, недуги и страшныя хлопоты, заботы, безпокойства... Впрочемъ, съ этой стороны, придется васъ теперь пожалѣть, мой почтенный Кормонолѣй Семенычъ! Оно, разумѣется, братецъ оставилъ вамъ кое-что; но посудите сами: какія заботы обрушатся теперь на васъ по поводу ввода васъ во владѣніе имѣніемъ Изосима Семеныча! Вы жили до-сихъ-поръ въ раздѣлѣ; имѣнье покойника переходитъ въ ваши руки; пойдутъ бумаги, списки, записки, переписки, и наконецъ, эти несчастныя двѣ тяжбы, затѣянныя вашимъ братцемъ съ сосѣдями... Сколько переговоровъ, заботъ, и особенно денегъ!... Прибыль съ убыткомъ въ одномъ кошелькѣ живутъ, какъ говорится...

Во время этого монолога, Бирюковъ ломалъ свои костлявые пальцы и отчаянно моталъ головой.

— Охъ! произнесъ онъ: — знаю, благодѣтель, все знаю... голова идетъ кругомъ...

— Дѣла Изосима Семеныча были запутаны, продолжалъ съ возраставшей энергіей Аристархъ Ѳедоровичъ: — онъ, какъ вамъ

извѣстно, любилъ заводить тяжбы; говоря откровенно, онъ оставилъ вамъ больше расхода, чѣмъ прибыли...

— О-о-охъ, благодѣтель! знаю, все знаю!... простоналъ Бирюковъ и, наклонившись внезапно къ уху Балахнова, примолвилъ шопотомъ: — Да вотъ, пришелъ Изосимъ ко мнѣ прошлаго года, просить деньжонокъ, я ему и далъ... а послѣ оказалось, что прошлый годъ денегъ-то было у него больше моего... Вотъ вѣдь онъ какой!...

— По-моему, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ: — вамъ бы нуженъ былъ теперь человѣкъ опытный, знающій отлично дѣла, и, сверхъ того, человѣкъ такого рода, на котораго можно было бы положиться вполнѣ... Такой человѣкъ, который принялъ бы на себя обязанность распутать дѣла, переговорить съ Земскимъ Судомъ — и не изъ видовъ какихъ-нибудь, а единственно изъ участія къ вамъ, мой почтенный Кормонолѣй Семенычъ...

— Благодѣтель ты мой! воскликнулъ Бирюковъ: — ну, что ка-бы ты-то... Охъ, вѣкъ сталъ бы за тебя молить Бога!... Утѣшь старика!... Твой покойный батюшка ѣдалъ вѣдь нашу хлѣбъ-соль...

— Вотъ объ этомъ-то я и хотѣлъ переговорить съ вами. Вы знаете, на меня положиться можно; Нилъ Степанычъ Лукьяновъ... да и вообще всѣ, отъ которыхъ зависитъ нѣкоторымъ образомъ ваше дѣло, всѣ мнѣ съ-руки; дѣло закипитъ, слѣдовательно, у насъ живо. Вы знаете, не въ первый разъ приходится мнѣ протягивать руку помощи, и слышали, что всякій разъ дѣйствовалъ я успѣшно...

— Благодѣтель, знаю... охъ, знаю! дѣлецъ ты, дока! Вотъ вѣдь и Софью-то Алексѣевну ты выпуталъ... Благодѣтель, утѣшь старика!... говорилъ Бирюковъ, пожимая руки Балахнову.

— Извольте, готовъ... весело сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ: — только вотъ что, почтеннѣйшій Кормонолѣй Семенычъ: за все это я, съ своей стороны, потребую также маленькую услугу...

Бирюковъ выпустилъ руку собесѣдника и началъ что-то мямлить.

— Услуга, впрочемъ, ничтожная, поспѣшно подхватилъ Аристархъ Ѳедоровичъ. — Видите-ли: я возьму на себя всю вашу переписку касательно ввода во владѣніе, приведу въ порядокъ ваши бумаги, такъ-что вамъ это ничего не будетъ стоить, а

вы... вы дайте мнѣ слово пріѣхать черезъ двѣ недѣли на выборы...

— Въ губернскій городъ?

— Да, въ Черноряжскъ, и, сверхъ того, обѣщайте мнѣ вашъ голосъ...

— Благодѣтель! воскликнулъ Бирюковъ, думавшій, что Аристархъ Ѳедоровичъ станетъ просить у него Богъ-вѣсть чего: — благодѣтель!... повторилъ онъ, пожимая ему руку.

— Итакъ, рѣшено: вы ѣдете на выборы, даете мнѣ вашъ голосъ, а я, взамѣнъ этого, возьму на себя переписку вашихъ бумагъ и ходатайство по дѣлу о вводѣ во владѣніе...

— Ты говоришь: черезъ двѣ недѣли?

— Черезъ двѣ недѣли.

— Пріѣду, благодѣтель, вотъ какъ Богъ-святъ, пріѣду!...

Въ эту минуту въ кабинетѣ появился старый, сгорбленный лакей съ перекосившимися ногами, калмыцкимъ лицомъ и коротко обстриженными бѣлыми волосами.

— Что ты, Лёвушка? спросилъ съ безпокойствомъ Кормонолѣй Семеновичъ.

— Сестрицы просятъ позволенія войдти къ вамъ, сказалъ сѣдой Лёвушка.

— Скажи, чтобъ пришли... Да вотъ что, Лёвушка, вели-ка тѣмъ-то негодлямъ-кучерамъ вывести... да, вывести тѣхъ лошадокъ, что я говорилъ... не забудь и хомутики надѣть... Охъ! отъ братца на память имъ, душенькамъ... заключилъ Бирюковъ, обращаясь къ Балахнову.

Минуты двѣ спустя, вошли сёстры. Полились слёзы, послышались вздохи, и снова все умолкло, благодаря краснорѣчію Аристарха Ѳедоровича.

— Сестрицы, сказалъ наконецъ Бирюковъ: — пойдемте; мнѣ надо съ вами переговорить кой-о-чемъ. Пойдемъ и ты, благодѣтель, Аристархъ Ѳедоровичъ.

Бирюковъ, шаркая туфлями по полу и запахивая халатъ, вышелъ изъ кабинета, сопровождаемый сёстрами и гостемъ.

Обогнувъ гостиную, залу и переднюю, онъ вывелъ ихъ на крыльцо.

Противъ крыльца стояли двѣ ободранныя, тридцатилѣтнія клячи, украшенныя столѣтними хомутами; два конюха, изъ опа-

сенія, вѣроятно, чтобъ клячи не повалились на земь, держали ихъ очень усердно подъ-уздцы.

— Вотъ, сказалъ Бирюковъ, указывая сестрамъ на клячь: — вотъ возьмите... Тутъ онъ поспѣшно закрылъ лицо лѣвою рукою и, отчаянно махая правою, воскликнулъ:

— Не я дарю, нѣтъ! братъ, братъ Изосимъ, покойникъ даритъ вамъ на память!... Аристархъ Ѳедоровичъ поспѣшилъ успокоить взволнованныя чувства Кормонолѣя Семеновича и, взявъ его подъ руку, повелъ въ кабинетъ, куда не замедлили явиться сёстры, плакавшія теперь навзрыдъ...

Повторивъ Бирюкову вышеприведенный договоръ и снабдивъ, въ добавокъ, сестеръ его кой-какими душеспасительными истинами, Аристархъ Ѳедоровичъ пожелалъ имъ всѣмъ счастія и спокойствія, раскланялся и скоро покинулъ Сычовку.

XIII.

Жалкіе комары и мошки стараются затмить лучезарный блескъ величаваго солнца. Веселая игра въ фанты, повергающая одного господина въ глубочайшее отчаяніе.

Въ то время, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ разъѣзжалъ въ своей коляскѣ, мысленно созерцая великую уѣздную драму, въ которой готовился играть роль тріумфатора, и въ то время, какъ умственный взоръ его обнималъ безграничную панораму уѣзда съ его деревнями, сёлами, большими и проселочными дорогами, въ этомъ самомъ уѣздѣ ходили неблагопріятные слухи о томъ, что дѣла Аристарха Ѳедоровича разстроиваются, что... Ханскіе-Пруды перезакладываются и приходятъ въ упадокъ, что Аристархъ Ѳедоровичъ не платитъ своихъ долговъ, что сосѣдъ его, Порфирій Павловичъ Васильковъ, на-дняхъ еще, былъ жертвою несостоятельности Аристарха Ѳедоровича, и что та же самая несостоятельность отразилась жесточайшимъ образомъ въ поступкѣ великаго мужа съ дѣвицей Розаліей Владиміровной Сараманаевой, и проч. и проч. и проч.

Всѣ эти сплетни — которымъ трудно пріискать названіе на языкѣ человѣческомъ, но которыя, тѣмъ не менѣе, подобно свирѣпому потоку, грозили затопить въ скоромъ времени весь

уѣздъ — проистекали, однако-жъ, изъ очень чистаго, свѣтлаго и мирнаго источника.

Источникомъ этимъ былъ маленькій, уютный и вполнѣ живописный домикъ барышень Кокуркиныхъ.

Домикъ этотъ составлялъ честь, славу и украшеніе небольшой деревушки Веселыя-Горки, принадлежавшей восьмерымъ владѣтелямъ, изъ которыхъ два, а именно: Кондей Ивановичъ Свищовъ и Проклъ Ивановичъ Полушкинъ, уже знакомы читателю. Благодаря своимъ одиннадцати душамъ, барышни Кокуркины занимали въ Веселыхъ-Горкахъ самое видное, почетное мѣсто и составляли нѣкоторымъ образомъ центръ, вокругъ котораго любили группироваться не только владѣтели Веселыхъ-Горокъ, но даже большая часть мелкихъ сосѣдей и сосѣдокъ ближайшихъ деревушекъ. Отличительное свойство трехъ сестеръ заключалось въ томъ, что онѣ никакъ не могли жить безъ гостей. Пріятная, веселая бесѣда была для нихъ такою же точно естественною потребностью, какъ вода для рыбы, воздухъ для человѣка. Земное существованіе Кокуркиныхъ, можно смѣло сказать, ограничивалось исключительно двумя цѣлями: принимать у себя гостей, или самимъ ѣздить въ гости. Нельзя утверждать положительно, чтобъ такая потребность проистекала у Кокуркиныхъ единственно изъ любви, или сочувствія къ ближнему, или человѣчеству вообще. Если говорить правду, ближній самъ по себѣ занималъ даже ничтожное мѣсто въ сердцѣ трехъ барышень; на ближняго смотрѣли вообще какъ-то не совсѣмъ доброжелательно и, при случаѣ, готовы были на него насплетничать, или, какъ говорится въ провинціи, обернуть къ нему слушателя лицомъ въ лѣсъ, а затылкомъ въ поле; но стоило ближнему лишь явиться къ барышнямъ въ качествѣ гостя—онъ дѣлался тотчасъ же въ ихъ глазахъ чѣмъ-то неприкосновеннымъ, ни дать ни взять, какъ у арабовъ Большой Степи. Для гостя ничего не было дорогаго въ домѣ Кокуркиныхъ. Его усаживали на лучшее мѣсто, истощали предъ нимъ весь запасъ привѣтливыхъ фразъ и любезностей и уступали ему самыя мягкія перины; все это подтверждается фактами; такъ, напримѣръ, въ домѣ находился всего-на-все одинъ фаянсовый умывальникъ; совсѣмъ-тѣмъ драгоцѣнный этотъ предметъ роскоши поступалъ всегда въ полное, исключительное распоряженіе гостя; нѣсколько лѣтъ тому назадъ, сёстры выстe-

гали соединенными силами превосходнѣйшій ситцевый халатъ, предназначавшійся исключительно для тѣхъ особъ мужскаго пола, которыя случайно заночевывали подъ ихъ кровлею, и т. д. Что-жъ касается собственно до угощенья — гостепріимство барышень не знало никакихъ предѣловъ и доходило часто до полнѣйшаго самоотверженія. Барышни слыли во всемъ уѣздѣ первыми мастерицами варить варенья, сберегать плоды на зиму, солить грузди и рыжики, дѣлать водицы, перегонять разныя сладкія, горькія и болѣе или менѣе желудочныя настойки; всего этого наготовляли онѣ великое множество. Кто бы повѣрилъ, однако-жъ, что во все продолженіе года хозяйки не прикасались ни къ одному грибку, не съѣдали ни одной ложки варенья? Все сберегалось для гостей; сами Кокуркины пользовались мастерскими издѣліями своихъ рукъ тогда лишь, когда издѣлія эти оказывались неудачными или обнаруживали впослѣдствіи очевидную порчу. Послѣ всего сказаннаго, трудно было бы не остолбенѣть отъ удивленья, если-бъ въ маленькомъ домѣ Кокуркиныхъ оказался недостатокъ въ обществѣ.

Въ одинъ осенній, сырой вечеръ, общество барышень было какъ-то особенно многочисленно. Къ этому, впрочемъ, сильнѣйшимъ образомъ способствовала веселая Вѣра Андреевна, та самая, что̀ похожа на откормленнаго дрозда, увеличеннаго въ полторы тысячи разъ; не довольствуясь тѣмъ, что въ домѣ ея находились ужъ гости, она отправилась тотчасъ послѣ обѣда вербовать еще кой-кого изъ ближайшихъ сосѣдей. Цѣль ея была, разумѣется, достигнута: Вѣра Андреевна не замедлила вернуться домой въ сопровожденіи двухъ дамъ: Капитолины Лукиничны Дядиньковой и Лукерьи Ѳоминичны Крепышовой. Нельзя сказать, чтобъ послѣдняя была драгоцѣннымъ пріобрѣтеніемъ для общества Кокуркиныхъ и особенно для Вѣры Андреевны, искавшей прежде всего въ гостяхъ своихъ ничѣмъ несокрушимой веселости. Лукерья Ѳоминична Крепышова была два лѣтъ тридцати-двухъ, мрачнаго и крайне-несообщительнаго свойства; носилась достовѣрная молва, что она дала даже обѣтъ молчанія и приписывали такую рѣшимость съ ея стороны несчастной любви, приключившейся, будто-бы, десять лѣтъ тому назадъ. Лукерья Ѳоминична влюбилась, изволите видѣть, въ одного пріѣзжаго изъ столицы, который, какъ на зло, въ это самое время женился на одной богатой вдовѣ. Вотъ съ

этой-то минуты, какъ по-крайней-мѣрѣ говорили, она замкнула свои уста и сердце. Не слѣдуетъ, однакожъ, никакимъ образомъ не слѣдуетъ удивляться послѣ всего сказаннаго, что Лукерья Ѳоминична отказывалась съ той поры отъ многихъ выгодныхъ партій и упорствовала оставаться дѣвственницей. И въ самомъ дѣлѣ, странно было бы съ ея стороны и даже неумѣстно выйдти за какого-нибудь жалкаго сосѣда — своего брата, тогда-какъ она питала ужъ разъ въ душѣ слабую надежду быть столичной барыней. Все это было совершенно справедливо; но было также справедливо и то, что другая дама, приглашенная Вѣрой Андреевной, представляла самый рѣзкій контрастъ съ Лукерьей Ѳоминичной. Капитолина Лукинична Дядинькова была живая, тороторливая вдова лѣтъ сорока, преисполненная юркости. Капитолина Лукинична принадлежала къ разряду дамъ съ весьма обширными познаніями; ей было извѣстно въ совершенствѣ все то, что за послѣднія десять лѣтъ совершилось въ Горшковскомъ уѣздѣ; она проникала, казалось, въ сокровеннѣйшіе закоулки сердецъ самыхъ отдаленныхъ жителей губерніи; мельчайшія событія, случившіяся за пятьдесятъ верстъ и болѣе, были ей такъ же хорошо извѣстны, какъ-будто произошли передъ ея глазами; она все знала, и многіе помѣщики уѣзда не даромъ называли ее „Горшковскимъ Вѣстникомъ“. Наружность ея была, однакожъ, обманчива — обманчива въ томъ именно смыслѣ, что не заставляла предполагать въ Капитолинѣ Лукиничнѣ съ перваго взгляда ничего особенно геніальнаго. Все почти ограничивалось рыженькими веснушками, бойко вздернутымъ носомъ и рыжими волосами, тщательно гофрированными на вискахъ и подобранными на затылкѣ въ пучокъ, величиною съ грецкій орѣхъ. Но дѣло вовсе не въ наружности.

Капитолинѣ Лукиничнѣ стоило только показаться въ маленькой залѣ Кокуркиныхъ, гдѣ расположилось общество, чтобъ завладѣть нитью разговора; не прошло и пяти минутъ послѣ ея появленія, какъ она успѣла ужъ затронуть за живое почти всѣхъ присутствовавшихъ, сообщивъ имъ кучу новостей, изъ которыхъ весьма многія имѣли самое близкое отношеніе къ слушателямъ.

Надлежитъ теперь сказать два слова о томъ, гдѣ происходила бесѣда и кто такіе были присутствовавшіе.

Бесѣда происходила въ небольшой низенькой комнатѣ о двухъ окнахъ, обставленной кругомъ сосновыми стульями, выкрашенными темною краской; стѣны, выбѣленныя мѣломъ, не представляли рѣшительно никакихъ украшеній, если не взять въ разсчетъ темныхъ кружковъ, находившихся немного повыше спинокъ стульевъ и отпечатанныхъ напомаженными затылками нѣсколькихъ сотенъ гостей. Это была зала, куда преимущественно собиралось общество, ибо въ гостиной съ большимъ трудомъ умѣщались четыре человѣка.

У перваго окна, недалеко отъ двери передней, сидѣла Варвара Андреевна — старшая Кокуркина; противъ нея находился овальный столъ, заставленный тарелками съ вареньемъ, моченными яблоками и каленными орѣхами; вокругъ стола располагались слѣдующія замѣчательныя особы: на самомъ почетномъ мѣстѣ, подлѣ Варвары Андреевны, сидѣла Капитолина Лукинична и рядомъ съ нею молчаливая Лукерья Ѳоминична Крепышова; къ нимъ примыкала веселая цвѣтущая Вѣра Андреевна, первая хороводница, первая затѣйница всѣхъ возможныхъ увеселеній и первая танцовщица своего уѣзда. Насупротивъ, по ту сторону стола, располагался Павелъ Павловичъ Чибезовъ, мужъ хорошенькой дочери Фукола Ивановича, мастеръ сочинять замысловатыя исторіи юмористическаго свойства и писать экспромтомъ стихи и басни. То былъ господинъ лѣтъ тридцати-пяти, небольшаго роста, съ физіономіей, преисполненной необычайнаго движенія даже и тогда, когда онъ ничего не говорилъ; лицо его было, казалось, исключительно составлено изъ однихъ лишь черныхъ, прыгающихъ, свѣтящихся глазъ и блестящихъ зубовъ; тщедушно-хрупкіе члены господина Чибезова и зеленоватая, болѣзненная блѣдность лица его заставляли предполагать, что онъ опорожнилъ въ молодости своей безчисленное множество стклянокъ съ декоктомъ и разными другими цѣлебными спеціями; хриплый, шипящій голосъ его подтверждалъ краснорѣчивѣйшимъ образомъ такое предположеніе; подлѣ Чибезова сидѣлъ Аполлонъ Егоровичъ Дрянькovъ, творецъ „Непризнанной Индѣйки“, извѣстный ужъ теперь не только читателю, но даже всякому мало-мальски знающему грамотѣ. У втораго окна сидѣла стыдливая, застѣнчивая Надежечка Кокуркина и подлѣ нея, на разстояніи четверти аршина, красовался сердобольный Порфирій Павловичъ Васильковъ

огромные глаза, составлявшіе исключительную принадлежность Василькова, страстно впивались въ опущенныя рѣсницы Надѣженьки, тридцати-пяти-лѣтняя грудь которой обозначала неописанное волненіе. Въ маленькой залѣ находилось еще одно существо, никѣмъ незамѣченное, никому, повидимому, ненужное, но которое мы ни подъ какимъ видомъ не можемъ пропустить отъ вниманія читателя; существо это — Прокисай Захаровичъ Копковъ, бѣдный проживальщикъ Ханскихъ-Прудовъ, обратившій, какъ говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, Фіону Ивановну въ „страдательный глаголъ“, и самъ, въ свою очередь, обращенный въ тотъ же страдательный глаголъ невозмутимою холодностью младшей Кокуркиной. Прокисай Захаровичъ былъ вовсе не изъ числа тѣхъ людей, которые рвутся напроломъ и бушуютъ, подобно огнедышащей горѣ, какъ скоро страсть закрадывается въ ихъ душу; совсѣмъ нѣтъ! Прокисай Захаровичъ могъ бы страдать молча и безропотно десять, двадцать лѣтъ, еслибъ, напримѣръ, сказали ему, что, по прошествіи этого срока, сердце обожаемой имъ особы забьется исключительно для него одного; но присутствіе такого страшнаго соперника, каковъ былъ Порфирій Павловичъ, очевидные успѣхи, какіе дѣлалъ этотъ соперникъ въ сердцѣ Надѣженьки, отнявъ у Прокисая Захаровича всякую надежду, сразили его окончательно. Ему оставалось только сидѣть въ почтительномъ разстояніи у двери и дѣлать безотрадныя наблюденія надъ счастливою четою. По мѣрѣ того, какъ пространство между Васильковымъ и Надѣженькой сокращалось, лицо Прокисая Захаровича становилось длиннѣе и выражало всѣ признаки глубочайшаго отчаянія; нѣтъ сомнѣнія, что оно обратило бы на себя вниманіе присутствовавшихъ, еслибъ взоры ихъ не были обращены въ настоящую минуту на лицо Аполлона Егоровича, которое было почти такъ же мрачно и длинно, какъ лицо Прокисая Захаровича.

— Полноте, Аполлонъ Егорычъ, какъ вамъ не стыдно огорчаться такими пустяками; вы человѣкъ умный; къ тому же, никто, разумѣется, не повѣрить этому, говорила разсудительно-спокойнымъ тономъ старшая Кокуркина. — Капитолина Лукинична, Лукерья Ѳоминична, сдѣлайте милость, крыжовничку! неожиданно заключила она, поднося двумъ сосѣдкамъ тарелку съ вареньемъ.

— Нѣтъ, знаете, Варвара Андреевна, это... это просто возмутительно! воскликнулъ Дрянковъ, нетерпѣливо проводя рукою по вихрамъ своимъ.

— Ну, вотъ есть чѣмъ возмущаться! живо подхватила средняя сестра: — говорятъ вамъ, никто этому не повѣритъ: слава Богу, неужто вамъ этого недовольно! Полно вамъ въ самомъ-то дѣлѣ хмуриться; всякій знаетъ, что Бобоховъ лгунъ, хвастунъ... и больше ничего!

— Я готовъ подтвердить это тысячью исторій, тысячью фактовъ! энергически замѣтилъ Чибезовъ, поспѣшно вынимая изо рта чубукъ и окидывая быстрымъ взглядомъ присутствовавшихъ.

— Нѣтъ, какъ хотите, это... это просто возмутительно! повторилъ мрачный Аполлонъ Егоровичъ.

— Послушайте, Аполлонъ Егорычъ, начала, въ свою очередь, рыженькая Капитолина Лукинична, которая, нужно замѣтить, была единственной виновницей отчаянныхъ выходокъ и злобнаго выраженія, отпечатаннаго на лицѣ знаменитаго повѣствователя: — послушайте: я передала вамъ только то, что говорила мнѣ вчера жена горшковскаго аптекаря и еще кое-кто изъ общихъ нашихъ знакомыхъ: за вѣрность слуховъ я не ручаюсь; очень можетъ быть, что Бобоховъ и не думалъ даже распространять слухи, будто помогалъ вамъ писать ваше сочиненіе... не правда ли, Лукерья Ѳоминична?

Лукерья Ѳоминична Крепышова была истиннымъ другомъ Капитолины Лукиничны, что и явствуетъ изъ того, что исторія ея любви извѣстна была всему уѣзду; сверхъ того, Капитолина Лукинична жила на-хлѣбахъ у Лукерьи Ѳоминичны, и это послѣднее обстоятельство, взятое вмѣстѣ съ упорною молчаливостью истиннаго друга, доказываетъ, почему Капитолина Лукинична обращалась преимущественно къ г-жѣ Крепышовой въ тѣхъ случаяхъ, когда надлежало возбудить къ себѣ довѣріе постороннаго лица.

Приведенная въ крайнюю необходимость удовлетворить отвѣтомъ свою нахлѣбницу, Лукерья Ѳоминична сказала:

— Да... конечно... и снова погрузилась въ молчаніе.

— Извольте видѣть, и Лукерья Ѳоминична то же говоритъ! живо подхватила Капитолина Лукинична, разводя руками передъ Дрянковымъ.

— Помилуйте, Капитолина Лукинична, за кого же вы меня принимаете? за олуха, непонимающаго даже тѣхъ людей, посреди которыхъ привелось ему жить?... нетерпѣливо воскликнулъ Дрянковъ: — я слишкомъ хорошо знаю Бобохова, и вѣрю, что онъ въ состояніи сказать, будто помогалъ мнѣ писать повѣсть! О, вы не знаете, отъ него все можно ожидать!

— Я, съ своей стороны, готовъ подтвердить это тысячью исторій и сотнями фактовъ! подтвердилъ еще энергичнѣе Чибезовъ.

— Тсс... что же это такое? господа... Павелъ Павлычъ... оставьте все это; вотъ варенье, вишня, крыжовникъ; Аполлонъ Егорычъ, возьмите моченое яблоко и забудьте все это... Капитолина Лукинична, Капитолина Лукинична, охота было вамъ заводить рѣчь объ этомъ! заговорили въ одинъ голосъ старшія Кокуркины.

— Извольте, чтобъ доставить вамъ удовольствіе, я возьму яблоко, но ужъ извините меня, если я повторю, что Бобоховъ лгунъ, нестоющій вниманія!... въ этомъ не сомнѣвается и, конечно, не можетъ сомнѣваться ни одинъ порядочный человѣкъ!... Да вотъ, чего же лучше, подхватилъ Аполлонъ Егоровичъ, поворачиваясь неожиданно ко второму окну: — Порфирій Павлычъ служилъ съ нимъ когда-то и можетъ подтвердить вамъ слова мои...

Порфирій Павловичъ быстро оторвалъ глаза свои отъ рѣсницъ Надёженьки, еще быстрѣе откинулся въ сторону и закинулъ правую ногу на лѣвую.

— Виноватъ, сказалъ онъ съ безпечною веселостью: — виноватъ, я не вслушался хорошенько...

— Дѣло идетъ о Бобоховѣ, лгунъ онъ или нѣтъ? нетерпѣливо возразилъ Дрянковъ.

— Да... конечно... если хочешь... но, впрочемъ, надо судить съ точки... я не видался съ нимъ почти съ того времени, какъ полкъ нашъ стоялъ на травяномъ продовольствіи...

Сказавъ это, Порфирій Павловичъ окинулъ разсѣяннымъ взглядомъ присутствовавшихъ и, убѣдившись, что Дрянковъ, а за нимъ и всѣ остальные, сѣли къ нему кто бокомъ, кто спиною, снова припалъ къ туго-напомаженной головѣ Надёженьки, причемъ лицо его приняло мгновенно такое разслабленное, таю-

щее выраженіе, какъ-будто превратилось въ воскъ, а голова собесѣдницы — въ ярко-пылающую печку.

— Да, барышни, вы правы, совершенно правы, говорилъ между-тѣмъ Аполлонъ Егоровичъ, постепенно воодушевляясь: — дѣйствительно, было бы смѣшно, скажу болѣе: было бы глупо и безразсудно съ моей стороны возмущаться словами какого-нибудь Бобохова — словами, порожденными мелочною завистью, хвастовствомъ и злобою... Бобоховъ! безграмотный Бобоховъ помогалъ мнѣ! Хорошъ сотрудникъ, нѣчего сказать! Съ такимъ помощникомъ я, вѣрно, не получилъ бы пяти тысячъ за мою „Непризнанную Индѣйку"!...

— Пять тысячъ! воскликнула съ изумленіемъ Варвара Андреевна.

— Пять тысячъ! подхватила Вѣра Андреевна, всплеснувъ руками.

— Пять тысячъ! повторила Капитолина Лукинична Дядинькова, откидываясь на спинку стула и вперяя удивленные глазки на Аполлона Егоровича, который смѣло встрѣтилъ направленные на него взгляды и значительно раздулъ ноздри.

— Помилуйте, mesdames, что-жъ тутъ такого удивительнаго? сказалъ съ необычайною живостью г. Чибезовъ: — я могу привести вамъ, если хотите, тысячу фактовъ, изъ которыхъ вы увидите, что сочинители получаютъ даже больше пяти тысячъ! Былъ у меня одинъ пріятель, который получилъ разъ восемьнадцать тысячъ; другой получилъ десять тысячъ, третій... все это, какъ честный человѣкъ, ничего не значитъ! промолвилъ онъ съ видомъ знатока: — главное дѣло, сударыни, не въ деньгахъ, продолжалъ г. Чибезовъ, приводя въ движеніе тощіе мускулы своего лица: — совсѣмъ не въ деньгахъ! Я знаю навѣрное и даже могу разсказать вамъ сотню исторій, которыя покажутъ, что нѣтъ на свѣтѣ такого сочинителя, который не былъ бы душевно радъ отдать даромъ свое произведеніе. Главная цѣль вдохновеннаго человѣка — слава, извѣстность. Я сужу по себѣ. Если-бъ я написалъ какое-нибудь дивное твореніе и мнѣ сказали бы: возьми милльонъ съ тѣмъ, что сожгутъ твое твореніе и разлучатъ тебя со славой, я отказался бы напрямикъ, какъ честный человѣкъ, отказался бы! Я увѣренъ, что Аполлонъ Егоричъ, какъ человѣкъ съ вдохновеніемъ, раздѣляетъ мое мнѣніе! довершилъ Чибезовъ, задыхаясь отъ черезчуръ

сильнаго напряженія ввалившейся груди его и пересохнувшаго горла.

Во время этого жаркаго монолога, прерываемаго такими быстрыми движеніями глазъ, рукъ и ногъ, какъ-будто Чибезовъ защищался отъ цѣлаго легіона непріятелей, Аполлонъ Егоровичъ расправлялъ вихры и неистово раздувалъ ноздри; съ окончаніемъ монолога, Дрянковъ кашлянулъ, гордо обвелъ глазами присутствовавшихъ и, положивъ коренастую ладонь на руку собесѣдника, произнесъ съ чувствомъ:

— Благодарю васъ, Павелъ Павлычъ, вы меня поняли!

Тутъ Аполлонъ Егоровичъ обратился къ дамамъ и, выразивъ на лицѣ своемъ скромную улыбку, принялся распространяться о колоссальномъ успѣхѣ „Непризнанной Индѣйки“, успѣхъ которой, если вѣрить словамъ даровитаго автора, вознаградилъ его вполнѣ за всю горечь, испытанную имъ во время долгаго, тернистаго литературнаго поприща. Аполлонъ Егоровичъ привелъ въ справедливое изумленіе своихъ слушателей разсказами о томъ, какъ общество писателей, не зная, чѣмъ выказать свою признательность творцу „Непризнанной Индѣйки“, поднесло ему собраніе сочиненій всѣхъ членовъ общества, и, въ подтвержденіе сказаннаго, выбѣжалъ изъ залы, порылся минутъ пять въ чемоданчикѣ и возвратился съ брошюрками: „Пелопонезо-таврическихъ Мелодій“, „Заоблачныхъ Трелей“ и проч. и проч. Затѣмъ Аполлонъ Егоровичъ передалъ вѣрно и подробно о томъ, какъ не было ему рѣшительно никакого прохода въ Петровскомъ паркѣ, какъ поминутно дребезжала въ ушахъ его собственная его фамилія, произносимая сотнями голосовъ, какъ многія знатныя дамы, завидя его издали, останавливали свои кареты и восторженно направляли на него лорнетки; какъ редакторы всевозможныхъ газетъ и журналовъ убѣждали его подарить имъ нѣсколько драгоцѣнныхъ строчекъ, предоставляя на его волю выборъ сюжета и, вмѣстѣ съ тѣмъ, предоставляя ему назначить за свой трудъ какія угодно условія. Предшествовавшія слова Дрянкова могли возбуждать недовѣріе, но это послѣднее доказательство успѣха его повѣсти мигомъ разсѣяло всѣ сомнѣнія, и съ этой минуты на него стали смотрѣть, какъ на что-то выходящее изъ разряда обыкновенныхъ смертныхъ.

— И послѣ этого вы можете огорчаться тѣмъ, что гово-

ритъ какой-нибудь Бобоховъ! воскликнули въ одинъ голосъ присутствовавшіе, за исключеніемъ несчастнаго Прокисая Захаровича, который сидѣлъ по-прежнему у двери и продолжалъ наблюдать съ отчаянно-зловѣщимъ видомъ Василькова и Надёженьку.

Внезапно Павелъ Павловичъ Чибезовъ, ходившій быстрыми шагами по залѣ, подбѣжалъ къ столу съ вареньемъ и, размахивая руками, проговорилъ съ необычайнымъ воодушевленіемъ:

— Конечно, Аполлонъ Егорычъ не долженъ огорчаться словами этого Бобохова; но, во всякомъ случаѣ, какъ честный человѣкъ, слѣдуетъ проучить Бобохова!... У меня блеснула счастливая мысль!... Я сейчасъ сочинилъ нѣсколько стиховъ на Бобохова! Мы перепишемъ эти стихи, запечатаемъ ихъ въ пакетъ и пошлемъ въ Голодаевку отъ неизвѣстнаго — превосходно! Итакъ, знаете, случайно, неожиданно блеснула такая мысль... право, даже странно какъ-то...

— Что вы! что вы, Павелъ Павлычъ! какъ, вотъ въ это время?... въ одну минуту какую-нибудь вы успѣли сочинить?! сказала, всплеснувъ руками, Вѣра Андреевна.

— Да-съ, у меня, знаете, все это вдругъ! возразилъ Чибезовъ, заливаясь самодовольнымъ смѣхомъ, причемъ глаза его засверкали еще пуще прежняго: — такъ, знаете, со мной всегда бываетъ: и не думаешь, вдругъ засверкаютъ мысли! Иногда ночью, знаете, спишь, вдругъ мысль! бужу жену: „садись, говорю, пиши подъ диктовку“; закуриваю трубку, хожу по комнатѣ... не успѣваетъ записывать...

— Ахъ, Боже мой! вотъ ужъ подлинно-то талантъ!...

— Ха, ха, ха, ха!... а... а... залился Чибезовъ, сверкая восторженно глазами.

— Такъ что же вы такое сочинили на Бобохова, Павелъ Павлычъ? скажите намъ, скажите... ахъ, какъ это весело и пріятно! нетерпѣливо проговорила Вѣра Андреевна.

Павелъ Павловичъ не заставилъ себя дожидаться; онъ отпрянулъ шагъ назадъ, кашлянулъ и, устремивъ на присутствовавшихъ быстрые глаза, въ которыхъ сверкали молніи, произнесъ безъ одышки — и съ такою поспѣшностью, что слышались только окончанія словъ — слѣдующіе стихи:

Въ Перми разъ жилъ съ румяною женою
Богатый, удалой купецъ,

Онъ торговалъ желѣзною рудою,
И прижилъ сына наконецъ!...

. . . . . .

— Ахъ, какъ мило! Какой умъ! И какъ это все скоро! Прекрасно! Прекрасно! воскликнули дамы, когда импровизаторъ запнулся и остановился.

— Когда я расположенъ, клянусь вамъ, это у меня всегда такъ бываетъ! сказалъ Чибезовъ, одолѣваемый хриплымъ кашлемъ. — Итакъ, Аполлонъ Егорычъ, мы спишемъ эти стихи и пошлемъ ихъ къ Бобохову.

— Завтра же. Благодарю васъ...

— О, это будетъ ему горче ревеню! ручаюсь, ночь не будетъ спать!

— Бѣдный Бобоховъ!

— Ахъ, несчастный!

— Впрочемъ, клянусь честью, онъ этого вполнѣ заслужилъ.

— Сплетникъ и негодяй! подхватилъ Дрянковъ: — хуже всего то, что сплетни, распускаемыя имъ на мой счетъ, могутъ дойдти до Балахнова... вотъ это-то, признаться, болѣе всего меня и возмущаетъ.

— Отчего-жъ такъ?

— Балахновъ чувствовалъ ко мнѣ всегда и постоянно непримиримую ненависть, гордо сказалъ Дрянковъ: — я никогда не льстилъ ему, не поклонялся и всегда говорилъ правду въ глаза. Онъ будетъ очень радъ воспользоваться сплетнями этого Бобохова, чтобъ повредить мнѣ въ мнѣніи людей, которые, изъ угожденія ему, никогда не отдавали мнѣ должной справедливости...

— Пускай это случится, я буду очень радъ! вскричалъ Чибезовъ: — у меня, клянусь честью, давно вертится въ головѣ басня на Балахнова... Пускай онъ только попробуетъ оклеветать Аполлона Егорыча, мы пошлемъ ему эту басню!

— О, какой вы злой, Павелъ Павлычъ!... Съ вами, просто, опасно быть знакомымъ... Вы, чего добраго, и на насъ напишете что-нибудь... произнесли старшія Кокуркины.

— На этотъ счетъ, барышни, вы можете быть спокойны! возразилъ съ горячностью Чибезовъ: — особы, которыхъ я люблю и уважаю, никогда не будутъ предметомъ моего пера!... Гос-

подинъ Балахновъ совсѣмъ другое... я давно ищу случая запустить шпильку господину Балахнову.

— За что же такъ?...

— У меня найдется на этотъ счетъ тысяча причинъ и исторій!...

— И у меня также! мрачно замѣтилъ Дрянковъ.

— Полноте, полноте, господа! Вы, право, кажется, слишкомъ ужъ нападаете на Аристарха Ѳедорыча! весело воскликнула Вѣра Андреевна: — Аристархъ Ѳедорычъ... конечно, гордъ... но... разумѣется... если хотите... но, во всякомъ случаѣ, онъ прелюбезный человѣкъ и въ его домѣ очень пріятно... онъ очень, очень милый человѣкъ...

— Гм! гм! произнесла Капитолина Лукинична сомнительнымъ тономъ.

Взоры всѣхъ устремились мгновенно на Капитолину Лукиничну, но она сдѣлала видъ, какъ-будто ничего не замѣчаетъ, и, глядя въ окно, разглаживала весьма усердно гофрированные бандо рыженькихъ волосъ своихъ.

— Конечно, Аристархъ Ѳедорычъ премилый человѣкъ, продолжала неувѣреннымъ голосомъ толстая Вѣра Андреевна: — а впрочемъ, я не знаю, можетъ быть, съ нимъ случилось еще что-нибудь, можетъ быть, это из-вѣ-стно Капитолинѣ Луки-нич-нѣ?...

— Какъ, мнѣ? отчего же мнѣ именно? сказала Капитолина Лукинична голосомъ невинности: — я ничего не знаю, право ничего...

— Полноте, полноте, голубушка, Капитолина Лукинична, этого быть не можетъ, вы все знаете!...

— Ей-Богу же ничего не знаю! съ увѣренностью возразила Капитолина Лукинична: — я полагаю, что вамъ, Варвара Андреевна, и вамъ, Вѣра Андреевна, извѣстно болѣе моего: вы такъ часто бываете въ Ханскихъ-Прудахъ. Я знаю только то, что знаютъ всѣ, весь уѣздъ, вся губернія.

— Что же такое? спросили присутствовавшіе, придвигаясь ближе.

— Не знаю, вѣрить ли этому. Говорятъ, будто Аристархъ Ѳедорычъ, въ бытность свою въ Москвѣ, перезаложилъ Ханскіе-Пруды, и теперь у него ничего не остается, кромѣ неоплатныхъ долговъ...

— Это такъ вѣрно, сударыня, воскликнулъ Дрянковъ: — такъ вѣрно (вы знаете, дѣла Балахнова извѣстны мнѣ, какъ

свои пять пальцевъ); не даромъ прожилъ я въ его домѣ почти четыре года! Да-съ, съ минуты на минуту надо ожидать его гибели... помяните меня, если черезъ нѣсколько мѣсяцевъ не пуститъ онъ по міру жену и дѣтей...

— Охъ! вздохнули всѣ дамы, не исключая даже безсловесной Крепышовой.

— Человѣкъ безъ чувства и сердца! неистово прокричалъ пылкій Чибезовъ.

— Главное дѣло еще не въ томъ-съ! продолжалъ Дрянковъ съ возраставшимъ жаромъ: — главное дѣло въ томъ, что онъ предательскимъ образомъ вовлекъ въ свои запутанныя обстоятельства многихъ изъ бывшихъ его друзей... Да вотъ чего же лучше, вотъ вамъ живая жертва балахновскаго пронырства, спросите его... подхватилъ Дрянковъ, неожиданно поворачиваясь къ Василькову, который быстро оторвалъ глаза отъ рѣсницъ Надѣженьки, обдернулъ жилетъ и привсталъ съ мѣста.

— Виноватъ, сказалъ Порфирій Павловичъ, разсѣянно взбивая свои волосяныя пряди: — виноватъ, я не вслушался хорошенько...

— Я хотѣлъ напомнить этимъ дамамъ твою исторію съ Балахновымъ...

— Да, Аристархъ Ѳедорычъ обошелся со мной вовсе не подружески, проговорилъ Порфирій Павловичъ, мысли и чувства котораго были заняты въ это время одною Надѣженькой.

— А что вы скажете, напримѣръ, объ исторіи съ Сараманаевой? продолжалъ Дрянковъ съ торжествующимъ видомъ.

— Ахъ, да, ужасная исторія, подхватили дамы.

— Черная исторія! воскликнулъ Чибезовъ, вызывая на лицѣ своемъ цѣлый рядъ неистово-рѣзкихъ выраженій.

— Да, Аристархъ Ѳедорычъ поступилъ съ Розаліей Владиміровной несовсѣмъ благородно...

— Скажите: низко, отвратительно! снова воскликнулъ нервозный Чибезовъ, размахивая руками съ такою быстротою, какъ будто Аристархъ Ѳедоровичъ стоялъ передъ нимъ и онъ принялъ твердое намѣреніе разбить его въ дребезги.

— Скажите, пожалуйста, что же будетъ теперь дѣлать Лизавета Семеновна?...

— Я вамъ говорю: пойдетъ по-міру...

— Охъ! простонала Варвара Андреевна.

— Бѣдная, несчастная Лизавета Семеновна! сказала Вѣра Андреевна съ такимъ чувствомъ, какъ-будто Балахнова была сто разъ ея сестрою.

— Говорятъ однако-жъ, будто... пробормотала несвязно Капитолина Лукинична.

— Что такое?...

— Нѣтъ... такъ... я хотѣла спросить про Карачаева...

— Вы развѣ слышали что-нибудь?...

— Нѣтъ, право ничего... я хотѣла только спросить: правда ли, что Карачаевъ жилъ въ Ханскихъ-Прудахъ въ то время, какъ Аристархъ Ѳедорычъ былъ съ вами въ Москвѣ?

— Правда, совершенная правда-съ. Повѣрьте мнѣ: Балахнову совершенно все-равно!... Онъ давно принесъ Лизавету Семеновну въ жертву своему эгоизму. Да вотъ, Варвара Андреевна знаетъ, какова ея жизнь...

— Охъ! простонала вмѣсто отвѣта Варвара Андреевна, возводя глаза къ потолку.

— Что до меня касается, сказала средняя Кокуркина: — я сожалѣю болѣе всего о дѣтяхъ. Скажите, пожалуйста, чѣмъ виноваты невинныя малютки?...

— Бѣдныя дѣти! сказала со вздохомъ Варвара Андреевна.

— Жалкія малютки! подхватила Капитолина Лукинична.

— Достойны всякаго состраданія сироты! произнесъ, въ свою очередь, Дрянковъ.

— Нѣтъ, скажите лучше; несчастныя дѣти! воскликнулъ съ отчаяньемъ Чибезовъ:—несчастныя дѣти!...

— Именно такъ: несчастныя и вполнѣ несчастныя дѣти! подтвердили въ одинъ голосъ всѣ присутствовавшіе.

XIV,

служащая продолженіемъ предшествующей.

Вмѣстѣ съ этимъ восклицаніемъ, въ которомъ весьма легко могли прозвучать двѣ-три ноты истиннаго соболѣзнованія о судьбѣ дѣтей Балахнова, въ залѣ показалась горничная, извѣстная въ Веселыхъ Горкахъ подъ названіемъ „Агашеньки“. Горничная эта — дочь мрачнаго Кузьмы, кучера Кокуркиныхъ. Бѣлокуро-

рыжеватые волосы Агашеньки были тщательно расчесаны, намаслены и прилизаны; но голова ея, сверкавшая какъ полированное золото, далеко не соотвѣтствовала, однако-жъ, затасканному платью изъ скромной полосушки, которое, въ свою очередь, окончательно уже не могло соотвѣтствовать обуви, состоявшей исключительно изъ однихъ толстыхъ, шерстяныхъ чулокъ, прорванныхъ на пяткахъ. Агашенька могла, такимъ образомъ, напоминать въ цѣломъ одну изъ аллегорическихъ статуй древности, у которой голова была золотая, туловище желѣзное, а ноги глиняныя. Агашенька, не мѣшаетъ замѣтить, ходила бо́льшею частью босикомъ; чулки надѣвались тогда лишь, когда предстояло являться въ залѣ или гостиной, чтобъ, во-первыхъ, соблюсти приличіе, во-вторыхъ, сохранить полъ въ надлежащей чистотѣ — обстоятельство, за которымъ строго наблюдали сами хозяйки.

— Что ты, Агашенька? спросили старшія барышни.

— Кондей Ивановичъ и Софья Кузьминична прислали батрака...

— Ѳектиску?

— Ѳектиску-съ. Приказали кланяться и приказали спросить: будете ли вы нынче до́ма: оченна желаютъ васъ видѣть...

— До́ма! до́ма! вскрикнула Вѣра Андреевна, припрыгивая на стулѣ при мысли, что къ вечеру маленькая зала окончательно запру́дится гостями. — Скажи: оченно рады; приказали, дескать, кланяться и приказали просить къ себѣ!...

Агашенька юркнула въ переднюю.

— Кстати о Свищовыхъ. Скажите намилость, что, какъ они теперь?... все еще ссорятся съ Полушкиными?... спросилъ Чибезовъ.

— Какъ прежде было, такъ и теперь: ссорятся безпрестанно; только и слышишь объ этомъ...

— Ха, ха, ха! залился Чибезовъ, приводя въ движеніе черты своего лица.

— Просто ужасти, да и только! проговорила, въ свою очередь, рыженькая Капитолина Лукинична: — хоть бы, право, людей-то постыдились; хоть бы, наконецъ, постыдились ближайшихъ сосѣдей: домъ Лукеріи Ѳоминичны, какъ вамъ извѣстно, находится между ихъ домами — и что-жъ? повѣрите ли, день-день-

ской слышишь однѣ только перебранки... такое, право, неудовольствіе!... вотъ хоть бы вчера, напримѣръ...

— А что, развѣ вчера опять что-нибудь случилось? спросили Кокуркины.

— Ужъ будто вы ничего не слыхали?...

— Нѣтъ, голубушка, ничего не знаемъ...

— Ужасти, ужасти, что было такое!... заговорила Капитолина Лукинична: — началось, съ чего начинаются у нихъ обыкновенно всѣ ссоры: Софья Кузьминична повздорила за что-то съ Матреной Васильевной Полушкиной... кажется, что за куръ Матрены Васильевны, которыя влетѣли въ огородъ Свищовыхъ... Вдругъ, что же мы слышимъ съ Лукерьей Ѳоминичной: прибѣгаетъ къ намъ полушкинская Анисья... знаете, та, что мужъ умеръ на Святой — прибѣгаетъ и говоритъ: „Матушки-барышни, говоритъ, одолжите ушатъ воды. Кондей Иванычъ поссорились, говоритъ, съ Прокломъ Иванычемъ и не подпускаютъ Прокла Иваныча и людей его брать воду въ прудѣ; а прудъ-то, матушка,“ говоритъ Анисья, „сами знаете, принадлежитъ Свищовымъ. Какъ быть?“ Это насъ, признаться сказать, изумило! особливо Лукерью Ѳоминичну. — „Что ты, врешь?!“ говоримъ мы Анисьѣ. — „Право, матушки-барышни,“ говоритъ она, „извольте хоть сами поглядѣть.“ Мы подошли къ окну... и что-жъ бы вы думали? видимъ: стоитъ Кондей Иванычъ у берега, машетъ руками и не подпускаетъ къ пруду полушкинскихъ бабъ...

— Ха, ха, ха!... а... а... снова залился Чибезовъ: — превосходно! какъ честный человѣкъ, превосходно! Позвольте, у меня блеснула по этому случаю счастливая мысль, неожиданно примолвилъ онъ, придавая задумчивое выраженіе своему лицу и принимаясь тереть лобъ: — сейчасъ, сію минуту... отлично!

Тутъ Чибезовъ съ жадностью припалъ губами къ чубуку, затянулся дымомъ и, впиваясь сверкавшими глазами въ присутствовавшихъ, принялся отхватывать скороговоркою:

Вотъ два сосѣда жили,
Знакомство межъ собой водили.
Одинъ изъ нихъ, маститый воронѣгій конь...
Другой. . . . . .

Но въ ту самую минуту, какъ Павелъ Павловичъ сталъ приходить въ то раздраженное состояніе, какое овладѣваетъ

каждымъ импровизаторомъ въ минуты поэтическаго вдохновенія, минуты, весьма-близкія къ помѣшательству, слово замерло на устахъ его и онъ долженъ былъ остановиться.

Дѣло въ томъ, что въ это время въ маленькой прихожей послышался ужаснѣйшій шумъ, возвѣстившій прибытіе семейства Свищовыхъ.

Чибезовъ сдѣлалъ полунетерпѣливый, полуугрожающій жестъ, поставилъ трубку на окно и заходилъ изъ угла въ уголъ; гостепріимныя барышни поспѣшно приподнялись съ своихъ мѣстъ; Капитолина Лукинична пригладила волосы; Порфирій Павловичъ откинулъ голову отъ плеча Надѣженьки; Прокисай Захаровичъ испустилъ протяжный, безотрадный вздохъ и направилъ глаза на дверь передней. Могучій басъ Кондея Ивановича раздавался между-тѣмъ за дверью:

— Здравствуйте, барышни, говорилъ онъ, снимая мѣховые сапоги, которые, при паденіи своемъ на полъ, производили звукъ пудовой гири: — здравствуйте, вотъ и мы къ вамъ!...

— Здравствуйте, барышни, вотъ и мы къ вамъ! послышался вслѣдъ за тѣмъ слабый голосъ госпожи Свищовой.

— Здравствуйте, барышни, вотъ и мы къ вамъ! проговорили еще слабѣе дочери Кондея Ивановича, находившіяся покуда еще въ сѣняхъ.

— Милости просимъ! милости просимъ! закричали Кокуркины съ такимъ же радостнымъ выраженіемъ, какъ матросы Колумба, когда увидѣли берега Америки.

— Вотъ и я на лицо! Уфъ, уфъ! запыхался совсѣмъ, уфъ? забасилъ съ одышкою Кондей Ивановичъ, появляясь въ дверяхъ и расшаркиваясь. — Ба, ба, ба! гостей-то у васъ, гостей-то! продолжалъ онъ, растопыривая руки. — Ну, матушка Вѣра Андреевна, уфъ, уфъ! честь имѣю, матушка, поздравить васъ съ наступающимъ днемъ вашего рожденія!

— Честь имѣю поздравить васъ съ наступающимъ днемъ вашего рожденія! произнесла въ отдаленіи Софья Кузьминична Свищова.

— Честь имѣемъ поздравить васъ съ наступающимъ днемъ вашего рожденія! проговорили еще дальше дочери Кондея Ивановича, снимавшія салопы.

Кокуркины разсыпались въ благодарностяхъ и тутъ же изъявили желаніе видѣть у себя завтра на праздникѣ семейство

почтеннаго сосѣда, на что, конечно, получили тотчасъ же согласіе; затѣмъ онѣ пошли на встрѣчу Софьи Кузьминичны и ея дочекъ, между которыми особенно отличалась старшая, полная, какъ огурчикъ и цвѣтущая, какъ піонъ,—словомъ, та самая, что̀ принимала граціозныя позы передъ Бобоховымъ въ саду Аристарха Ѳедоровича.

Въ мелкомъ провинціальномъ обществѣ поцѣлуи находятся еще до-сихъ-поръ въ сильнѣйшемъ употребленіи. Дамы, даже такія, которыя за глаза уничтожаютъ другъ друга, рѣшительно не могутъ встрѣтиться безъ того, чтобъ не обмѣняться тремя жаркими поцѣлуями. Какъ только Софья Кузьминична и дѣвицы Свищовы переступили порогъ прихожей, въ залѣ послышался батальный огонь звонкихъ поцѣлуевъ, приправленный густымъ чмоканьемъ, производимымъ толстыми губами Кондея Иваныча на пухлыхъ рукахъ Кокуркиныхъ и остальныхъ дамъ.

— А! а, а, а! здорово, братъ Порфирій Павлычъ! голосилъ Кондей Ивановичъ, между-тѣмъ, какъ дамы любезничали и продолжали цѣловаться: — давненько, братъ, уфъ, уфъ! давненько не видались! Павелъ Павлычъ, здравствуй! Ну, братецъ, уфъ, уфъ, какого, скажу, кобелька я тебѣ припасъ, спасибо скажешь!... Здорово, Дрянковъ... у-у-у-и... Прокисай здѣсь! Здравствуй, молодецъ! Ну, что, гитару-то, я чай, привезъ съ собою?... Привезъ! ой-ли?! ну ладно! ай-да молодцы, право-слово молодцы! заключилъ Свищовъ, похлопывая въ ладоши и не замѣчая холодности, съ какою приняты были его безцеремонныя выходки Дрянковымъ и Чибезовымъ. Въ первыя пять минутъ общество находилось въ самомъ смѣшанномъ, неопредѣленномъ состояніи и, какъ это водится обыкновенно, не знало, гдѣ и какъ расположиться. Чай, поданный Агашенькой и еще какою-то нечесаною дѣвчонкой съ исполинскими шерстяными чулками, замѣнявшими башмаки, усадилъ присутствовавшихъ. Старшая Кокуркина, Свищова и Кондей Ивановичъ отправились въ гостиную. Молодежь, которой въ совокупности было, по-крайней-мѣрѣ, лѣтъ триста, расположилась въ залѣ. Павелъ Павловичъ Чибезовъ выступилъ тогда на сцену и явился во всемъ своемъ блескѣ; поддерживаемый Дрянковымъ, онъ сыпалъ остроты, бо̀льшую часть которыхъ приводилось ему, неизвѣстно по какимъ причинамъ, нашептывать на-ухо однимъ мужчинамъ, импровизировалъ стихи и басни и такъ расходился подъ-конецъ,

что хриплымъ кашлемъ своимъ и перхотой покрылъ говоръ, шушуканье и смѣхъ остальныхъ собесѣдниковъ и собесѣдницъ.

Впиваясь глазами въ пурпуровыя губки Надѣженьки, сложенныя въ видѣ тѣхъ сердецъ, которыя рисуютъ надъ жертвенниками въ альбомахъ; отданный весь, душою и тѣломъ, предмету своего созерцанія, страстный Порфирій Павловичъ не замѣчалъ пытливыхъ глазъ Прокисая Захаровича, непропускавшихъ ни одного движенія влюбленныхъ; уши Порфирія Павловича, въ которыхъ звенѣли колокола каждый разъ, какъ Надѣженька обращала на него глаза свои, были глухи къ отчаяннымъ вздохамъ несчастнаго Копкова. Съ эгоизмомъ, свойственнымъ всѣмъ влюбленнымъ, Порфирій Павловичъ не обратилъ бы вниманія на Прокисая Захаровича даже и въ томъ случаѣ, еслибъ зналъ, что Копковъ умретъ завтра же отъ измѣны Надѣженьки. Ни воспоминанія о Сусловкѣ и маленькомъ домикѣ на берегу живописной рѣчки, ни даже извѣстіе, что Антониночка лежитъ въ настоящую минуту въ злѣйшей чахоткѣ, ничто уже не въ силахъ было остановить пылкаго Василькова. Любящія души, разъ обманутыя, не охладѣваютъ, но только переносятъ избытокъ своего огня къ лицу болѣе достойному. На этомъ основаніи, Порфирій Павловичъ и самъ не зналъ, какъ случилось, что онъ безъ памяти влюбился въ младшую Кокуркину. Нетерпѣливый и взыскательный, онъ требовалъ, чтобъ сердце Надѣженьки дѣлало такіе же быстрые успѣхи, какъ его собственное. Сорокъ разъ на день Васильковъ приходилъ въ отчаяніе и сорокъ разъ въ необузданный восторгъ. Въ исторіи новой любви своей, какъ и всегда, впрочемъ, Васильковъ имѣлъ болѣе причинъ огорчаться, чѣмъ радоваться. На этотъ разъ, источникъ всѣхъ его бѣдствій заключался въ природной молчаливости Надѣженьки. При существующихъ обстоятельствахъ, Порфирій Павловичъ приписывалъ эту молчаливость необъяснимой холодности. Проговоривъ своей возлюбленной за утреннимъ чаемъ все то, что говорено было наканунѣ, Порфирій Павловичъ началъ приставать, чтобъ она, въ свою очередь, сказала ему что-нибудь. „Что же мнѣ вамъ сказать, ей-Богу, не знаю; я вамъ все уже сказала...“ произносила Надѣженька, пришепетывая, опуская рѣсницы и дѣлая изъ губъ своихъ сердце. „Какъ, не-уже-ли ни одного слова, не-уже-ли ровно ничего не находите сказать мнѣ?“ шепталъ Порфирій Павловичъ, уныло вращая своими гла-

зами. „Ни одного слова!“ повторилъ онъ окончательно безотраднымъ голосомъ: — „не-уже-ли вы не чувствуете той потребности... не-уже-ли вы мнѣ такъ-таки ничего не скажете?“ Надѣженька опускала рѣсницы и молчала. Тогда Порфирій Павловичъ дѣлалъ отчаянные жесты, быстро вскакивалъ съ мѣста и начиналъ расхаживать по комнатѣ съ такимъ видомъ, какъ-будто черезъ часъ предстояло ему разстаться съ жизнью. Въ такихъ переговорахъ проходили у нихъ часто цѣлые вечера и даже дни.

Въ описываемыя нами сумерки, послѣ двухъ-трехъ словъ любви, на которыя Порфирій Павловичъ не получилъ ожидаемаго отвѣта, влюбленнымъ овладѣла внезапно одна изъ самыхъ мрачныхъ меланхолій. Онъ откинулся на спинку стула, спустилъ руки, свѣсилъ голову и, не замѣчая Вѣры Андреевны, которая входила въ залу со свѣчами, пробормоталъ вполголоса:

— Зачѣмъ ввѣрился я... о! зачѣмъ я ввѣрился этимъ прекраснымъ, но обманчивымъ чертамъ!... нѣтъ, не стоитъ жить, я не жилецъ здѣшней жизни! не стоитъ жить!... не стоитъ жить! повторилъ Порфирій Павловичъ, обращаясь неожиданно къ входившей Вѣрѣ Андреевнѣ.

Вѣра Андреевна остановилась, нагнулась къ влюбленной группѣ и, окинувъ ласковымъ взглядомъ сестру и перваго мазуриста, шепнула выразительно:

— Живите! живите! живите!

Порфирій Павловичъ взглянулъ на Надѣженьку, Надѣженька взглянула на Порфирія Павловича; оба улыбнулись, заговорили, помирились—и съ этой минуты до окончанія вечера ничто уже не могло сравниться съ восторженнымъ настроеніемъ Василькова.

Вѣра Андреевна, между-тѣмъ, поднявъ подсвѣчники въ уровень съ головою, торжественно направлялась къ остальнымъ гостямъ, которымъ Чибезовъ импровизировалъ какую-то сатиру на провинціальную жизнь вообще и на ея скуку въ особенности.

— Господа кавалеры, барышни! что это вы разсѣлись по уголкамъ, какъ старички, право, какіе-нибудь! воскликнула Вѣра Андреевна, ставя на столъ подсвѣчники, причемъ толстыя, румяныя щёки ея задрожали какъ студень: — нѣтъ, я этого рѣшительно не могу допустить, во-первыхъ, какъ хозяйка здѣшней хижины, а во-вторыхъ... во-вторыхъ... ну, да какъ себѣ тамъ хотите... продолжала она, обращая къ присутствовавшимъ веселое, беззаботное лицо свое: — сестрица Варвара, Капитолина

Лукинична, Софья Кузьминична и Кондей Иванычъ засѣли въ „преферанецъ“, а мы давайте-ка танцовать!

— Вѣра Андреевна, какъ честный человѣкъ, цѣлую ваши ножки! воскликнулъ Чибезовъ, прикладывая ладонь къ губамъ и припрыгивая на одной ногѣ.

— Весело! ахъ, весело! воскликнули барышни Свищовы.

— Ну, и прекрасно, очень-рада! Музыка у насъ подъ рукою: Прокисай Захарычъ привезъ съ собою гитару, сказала Вѣра Андреевна. — Прокисай Захарычъ, голубчикъ, поиграйте намъ! примолвила она, подходя къ несчастному проживальщику, который вскочилъ, какъ пружинная кукла.

— Ей-Богу, не могу-съ, Вѣра Андреевна... право, нельзя-съ... застѣнчиво пробормоталъ Копковъ.

— Да отчего же?... что же такое?...

— Всѣ струны порвались... разстроена-съ совсѣмъ-съ... проговорилъ Копковъ, бросая изподтишка выразительный взглядъ на Надѣженьку, которая, къ сожалѣнію, не замѣтила его, потому-что слушала внимательно страстное воркованье Василькова.

— Ахъ, Боже мой, какая досада! Но что же мы будемъ дѣлать завтра? неужто мы останемся безъ музыки? съ испугомъ сказала Вѣра Андреевна. — Прокисай Захарычъ, подумайте, голубчикъ, вѣдь завтра день моего рожденья!

— Къ завтрому какъ-нибудь наладимъ, произнесъ Копковъ, подавленный горькимъ сознаніемъ своего ничтожества.

— То-то, то-то, голубчикъ, подумайте объ этомъ и не посадите насъ на мель! подхватила Вѣра Андреевна, успокоившись. — Ну, господа кавалеры и барышни, на нѣтъ и суда нѣтъ; танцовать нельзя. Давайте, по-крайней-мѣрѣ, играть въ какую-нибудь игру... нельзя же такъ сидѣть цѣлый вечеръ!...

— Вѣра Андреевна, снова цѣлую ваши ножки! воскликнулъ Чибезовъ, закашливаясь отъ черезчуръ сильнаго напряженія голоса.

— Но въ какую же игру мы будемъ играть, въ какую? въ какую? жмурки? гулючки? прятки?... закричали Свищовы.

— Нѣтъ, барышня, я думаю вотъ въ какую: давайте играть въ „да и нѣтъ“; это нынче въ большой модѣ: всѣ играютъ, и игра-то веселая такая...

Предложеніе было принято съ восторгомъ; всѣ встали съ своихъ мѣстъ, расположили стулья амфитеатромъ и снова усѣ-

Импровизація Павла Павловича привела всѣхъ въ истинный, неподдѣльный восторгъ. Не мѣшаетъ здѣсь замѣтить, что въ мелкомъ и провинціальномъ обществѣ сочувствіе къ печатной литературѣ и особенно къ стихамъ ровно ничего не значитъ сравнительно съ сочувствіемъ къ доморощенной, скорописной, словомъ, своей поэзіи. Стишки разныхъ двоюродныхъ братцевъ, вдохновленныхъ франтовъ въ венгеркѣ, возбуждаютъ несравненно болѣе восторга, чѣмъ стихи даже первоклассныхъ поэтовъ. Въ провинціяхъ каждый кружокъ пользуется преимуществомъ имѣть своего любимаго поэта; такой поэтъ пользуется огромною славой; и хотя въ общемъ мнѣніи онъ не такъ „цвѣтистъ“, напримѣръ, какъ Пушкинъ, написавшій „Кавказскаго Плѣнника“, и не такъ „боекъ“, какъ Лермонтовъ, сочинившій „Демона“, но ужъ, во всякомъ случаѣ, стихи его веселѣе, забавнѣе и способнѣе возбудить восторгъ, чѣмъ стихи вышеупомянутыхъ поэтовъ, которые описываютъ все какія-то страсти да ужасти.

— Господа! чей фантъ вынется, что тому дѣлать? продолжала Вѣра Андреевна, между-тѣмъ, какъ Чибезовъ простывалъ отъ волненія и отиралъ потъ на лбу.

— Мѣрить ленты! мѣрить ленты! настаивалъ страстный Васильковъ.

— Ну, что это, право, какіе вы, Порфирій Павлычъ... ишь какой сластунъ, право... А по-моему вотъ что: чей фантъ, тому разыгрывать затворника и выспрашивать у каждаго секреты! прибавила Вѣра Андреевна, радостно подпрыгивая отъ своей выдумки.

Всѣ согласились. Вѣра Андреевна пошарила въ ридикюлѣ и вынула платокъ Надѣженьки.

Порфирій Павловичъ неистово захлопалъ въ ладоши, и всѣ послѣдовали его примѣру.

— Ну, Надечка, ангелъ мой, ступай въ переднюю... спрячься, душечка, подъ шубы и салопы, а мы будемъ приходить къ тебѣ поодиночкѣ разсказывать свои секреты! проговорила Вѣра Андреевна, нѣжно взглядывая на свою любимицу и поправляя ей косынку.

Надѣжечка съузила свои губы, зардѣлась, застыдилась и пошла въ лакейскую, сопровождаемая новымъ взрывомъ восторженныхъ рукоплесканій.

— Кто первый пойдетъ къ затворнику? вопросъ этотъ, вырвавшійся неожиданно изъ устъ Вѣры Андреевны, возвратилъ мгновенно тишину и спокойствіе. Возникъ ужаснѣйшій споръ о томъ, кому идти первому, кому послѣднему; наконецъ рѣшили бросить жеребій. Жеребій выпалъ на долю Чибезова, и онъ отправился; за Чибезовымъ пришла очередь Свищовымъ, потомъ Вѣрѣ Андреевнѣ, потомъ молчаливой дѣвицѣ Крепышовой, Дрянкову, Василькову и наконецъ Прокисаю Захаровичу. Какъ только Порфирій Павловичъ юркнулъ въ прихожую, Прокисай Захаровичъ, томимый какимъ-то мрачнымъ предчувствіемъ, подошелъ къ двери и скрылся за ту половинку, которая была отворена въ залу.

— Прокисай Захарычъ... э—э! что это вы?... Смотрите, вы, кажется, хотите подслушать чужіе секреты! воскликнула Вѣра Андреевна, грозя ему пальцемъ.

— Нѣтъ-съ... жду своей очереди... проговорилъ Копковъ, выставляя изъ-за двери взбудораженное лицо.

— Прокисай Захарычъ, извольте пожаловать къ намъ... вы подсматриваете! закричали Свищовы.

— Нѣтъ-съ... пробормоталъ Копковъ, прикладывая поспѣшно глазъ къ скважинѣ.

Внезапно Прокисай Захаровичъ позеленѣлъ: убійственный звукъ поцѣлуя прозвучалъ въ ушахъ его, и все на минуту помутилось и зашаталось передъ нимъ. Онъ схватилъ себя обѣими руками за голову, потерялъ балансъ, половинка двери откинулась—и Прокисай Захаровичъ кубаремъ покатился на землю.

— Ахъ, Боже мой! воды! воды! Прокисаю Захарычу дурно! Агашенька, Ѳеклушка, воды! прокричали десять голосовъ.

На крикъ сбѣжались Кондей Ивановичъ и остальные гости; изъ дверей дѣвичьей высыпали горничныя; всѣ окружили и начали поднимать Копкова.

— Ничего-съ... это такъ, голова закружилась... пробормоталъ съ болѣзненнымъ стономъ Прокисай Захаровичъ.

Кроткій и покорный даже въ эту роковую минуту своей жизни, минуту, которая окончательно рѣшила судьбу его, Копковъ выпилъ нѣсколько стакановъ воды и успокоился. Минутъ пять послѣ того, игра, въ которой принялъ на этотъ разъ участіе самъ Кондей Ивановичъ, продолжалась, къ всеобщему удовольствію.

Но ужъ съ этой минуты до окончанія вечера Прокисай Захаровичъ не принималъ ни въ чемъ участія. Передъ глазами его „мѣрили ленты, становились въ статую“, стояли на одной ногѣ, онъ не могъ преодолѣть болѣзненныхъ ощущеній своего сердца и оставался ко всему равнодушенъ. Занимательные анекдоты, тысячи смѣшныхъ фактовъ и исторій, которыя струились во время ужина изъ краснорѣчивыхъ устъ вдохновеннаго Чибезова, не въ силахъ были даже вырвать улыбки у Прокисая Захаровича.

Какъ только семейство Свищовыхъ отправилось во-свояси, онъ тотчасъ же ушелъ спать въ приготовленную для него у Кокуркиныхъ комнатку. Но сонъ бѣжалъ съ упорствомъ отъ глазъ Прокисая Захаровича. Онъ лежалъ какъ на угольяхъ и чувствовалъ, съ замираніемъ сердца, что Надёженька погибла для него невозвратно. Вмѣстѣ съ этою мыслью, деревушка Веселыя-Горки и домикъ Кокуркиныхъ окутались передъ нимъ зловѣщимъ туманомъ, посреди котораго возникла, какъ привидѣніе, грозная фигура Фіоны Ивановны. Прокисай Захаровичъ затрепеталъ всѣмъ тѣломъ, опустилъ глаза и поспѣшно скрылся подъ одѣяломъ.

Ворочаясь съ боку на бокъ, терзаясь совѣстью, раскаяніемъ и угрызеніями всякаго рода, Прокисай Захаровичъ рѣшился провести завтрашній день—день рожденія Вѣры Андреевны—въ домѣ Кокуркиныхъ, рѣшился поиграть въ послѣдній разъ на гитарѣ и уѣхать въ Ханскіе-Пруды съ тѣмъ, чтобъ никогда ужъ не возвращаться въ Веселыя-Горки.

— Богъ съ ними!...

Такова была послѣдняя и, можетъ статься, первая опредѣленная мысль, созрѣвшая, когда бы то ни было, въ головѣ несчастнаго приживальщика.

XV.

Путешествія по проселочнымъ дорогамъ сопряжены часто съ большими неудобствами; тѣмъ не менѣе, однако-жъ, благодаря этимъ самымъ неудобствамъ, одинъ знаменитый мужъ попадаетъ въ весьма веселое и пріятное общество.

Аристархъ Ѳедоровичъ, если только припомнитъ читатель, выѣхалъ отъ Бирюкова около полудня. Отъ „Сычовки“ Кор-

монолѣя Семеновича, до „Золотыхъ-Прудовъ“ Старобѣльскаго, куда долженъ былъ теперь направиться нашъ герой, считалось верстъ тридцать. Никто, впрочемъ, не могъ поручиться за вѣрность такихъ показаній. Иные утверждали, что отъ „Сычовки“ до „Золотыхъ-Прудовъ“ тридцать-пять верстъ, другіе — тридцать, третьи—двадцать-пять, и т. д. Что-жъ касается до дурныхъ или хорошихъ свойствъ дороги и до того, много ли будетъ мостовъ, деревушекъ, поворотовъ и какіе именно повороты слѣдуетъ принять, чтобъ не сбиться съ пути, понятія были еще неопредѣленнѣе. Дѣло извѣстное: ѣхать по проселкамъ безъ проводника или маршрута—то же, что пуститься по морю безъ компаса и магнитной стрѣлки! Слѣдствіемъ всего этого было то, что Аристархъ Ѳедоровичъ, послѣ двухъ-трехъ часовъ ѣзды, окончательно сбился съ дороги. Пожуривъ, какъ водится въ такихъ случаяхъ, кучера и слугу, Аристархъ Ѳедоровичъ рѣшился лично наблюдать за проселкомъ; на этомъ основаніи, онъ отстегнулъ кожаный фартукъ коляски, высунулъ на воздухъ голову и приказалъ направиться къ виднѣвшейся неподалеку деревушкѣ.

Деревушка была, въ полномъ смыслѣ слова, жалкая деревушка; она состояла изъ шести-семи лачужекъ, расположенныхъ въ рядъ, по глинистому, грязному косогору. Сѣрыя брёвна, мокрые ворохи соломы съ сидѣвшими кое-гдѣ галками, тусклый цвѣтъ осенняго неба и самый грунтъ почвы, бурый, слизистый, изрытый копытами коровъ и клячей, придавали картинѣ какой-то плаксивый и вовсе непривлекательный видъ. Подъ косогоромъ, шагахъ въ десяти отъ ближайшей избушки, изгибался оврагъ съ крутыми берегами, обросшими кустарникомъ, между корнями котораго журчалъ мутный потокъ.

Достигнувъ мостика, который, какъ казалось, служилъ единственнымъ сообщеніемъ между этой деревушкой и остальнымъ крещенымъ міромъ, Аристархъ Ѳедоровичъ приказалъ остановиться. Сдѣлавъ затѣмъ два-три замѣчанія, касательно двухъ-трехъ дыръ, обращавшихъ мостъ въ рѣшето, онъ направилъ глаза свои на окна избушекъ.

Наблюденія великаго человѣка не замедлили увѣнчаться успѣхомъ.

Онъ вскорѣ различилъ въ одномъ изъ волоковыхъ оконъ

голову бабы, которая какъ-будто спала, но совсѣмъ тѣмъ пристально разсматривала проѣзжавшихъ.

— Эй, баба! баба! закричалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, размахивая рукою, вооруженною фуляромъ.

Та, къ которой обращалось воззваніе, тряхнула головой, минуты двѣ молча глядѣла на проѣзжавшихъ и, въ заключеніе, повернула лицо въ совершенно противоположную сторону; все это сдѣлала она съ такимъ видомъ, какъ-будто дѣло касалось вовсе не до нея, а исключительно до ея сосѣдки.

— Эй, баба! баба! баба! повторилъ еще громче Аристархъ Ѳедоровичъ.

Баба снова тряхнула головой, снова устремила глаза на проѣзжавшихъ и вдругъ, выразивъ на лицѣ своемъ всѣ признаки крайняго замѣшательства, быстро спрятала голову и еще быстрѣе захлопнула окно.

— Эка дурища! право, дурища! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, мгновенно опуская руку, которая поднялась было для того, чтобъ производить пояснительные жесты: — ну, чего она испугалась, чего?... чего? дура, право, дура!... Эй, баба! баба! баба! заговорилъ вдругъ съ необычайною поспѣшностью Балахновъ, обращаясь къ другому окну, изъ котораго медленно показывалась другая голова.

На этотъ разъ глазамъ его предстало желтое, сморщенное старушечье лицо.

— Эй, тётка, послушай! повторилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, высовываясь изъ коляски.

— Чего надыть? отозвалась старуха.

— Далече ли отсюда до „Золотыхъ-Прудовъ“?

— Асинька?

— До „Золотыхъ-Прудовъ“ далече ли?

— Далече, касатикъ.

— А сколько?

— Да кто ее знаетъ!

— Фу, никакого толку не добьешься! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, съ досадою потирая переносицу.—Эй, тётка, подхватилъ онъ, обратившись снова къ старухѣ:—нѣтъ ли у васъ здѣсь какого-нибудь мужика? кликни-ка его сюда; авось онъ знаетъ дорогу.

— Нѣтъ, родимый, окромя малыхъ ребятъ никого нѣтути; съ обозомъ поѣхали...

— Не знаешь ли ты, по-крайней-мѣрѣ, какъ проѣхать въ „Золотые-Пруды“?

— Въ „Золоты-те-Пруды-то“?

— Да, да, да... въ „Золотые-Пруды“...

Тутъ старуха словно оживилась. Она высунулась по самую грудь изъ окошка и, размахивая правою рукою, принялась пояснять дорогу. По словамъ ея, Аристарху Ѳедоровичу слѣдовало ѣхать по тому самому проселку, по которому онъ ѣхалъ прежде; не слѣдовало только, никакъ не слѣдовало, пропускать старой березы на правой рукѣ и поворота; вотъ этотъ-то поворотъ и долженствовалъ привести путешественника прямо-пряхонько въ „Золотые-Пруды“.

Воодушевляемая воспоминаніями, которыя, при этомъ удобномъ случаѣ, зашевелились въ головѣ ея, старуха исчислила даже мельчайшія примѣты проселка.

— Вотъ только верстъ-то сколько, не припомню, касатикъ; продолжала словоохотливая тётка: — не то двадцать, не то болѣе; мужики сказываютъ: двадцать, да кто ихъ знаетъ! самой-то, родимый, не приводилось ѣздить! заключила она спокойно-разсудительнымъ тономъ, который соотвѣтствовалъ какъ нельзя болѣе почтенной сѣдинѣ ея и зрѣлымъ лѣтамъ.

„Ну, да что тутъ, не въ верстахъ дѣло“, подумалъ Балахновъ, закутываясь въ шубу, „лишь бы знать дорогу, а тамъ, рано ли, поздно ли, авось доберемся какъ-нибудь до Старобѣльскаго... Пошелъ! заключилъ онъ громко: — да смотрѣть, не зѣвать у меня и не пропускать березы и поворота!“

Сказавъ это, Балахновъ погрузился самымъ комфортабельнымъ образомъ на дно коляски и, минуту спустя, покатилъ по проселку.

Мыслительныя силы Аристарха Ѳедоровича, какъ ужъ извѣстно, находились всегда въ напряженномъ состояніи; не было минуты во все продолженіе сознательной жизни нашего героя, когда бы силы эти утрачивали свою упругость и оставались безъ возвышенныхъ занятій. Мысли Аристарха Ѳедоровича, направленныя сначала на Старобѣльскаго, но сбитыя потомъ на серединѣ дороги вопросами о неудобствахъ путешествія по проселкамъ, нимало не испугались двойной работы. Аристархъ

Ѳедоровичъ думалъ о Старобѣльскомъ и въ то же время размышлялъ съ большимъ успѣхомъ о проселкахъ. Переходя постепенно отъ одного предмета къ другому, Балахновъ соединилъ наконецъ оба эти предмета въ одно цѣлое и ужъ съ этой минуты сталъ разрѣшать вопросы о проселочныхъ дорогахъ не иначе, какъ ставъ въ положеніе Старобѣльскаго.

По его мнѣнію, Старобѣльскому, какъ богачу и притомъ человѣку бездѣтному и безсемейному, ничего не стоило разровнять дороги отъ главныхъ пунктовъ уѣзда (въ томъ числѣ и Ханскихъ-Прудовъ, разумѣется) до своей вотчины; ничего не стоило ему приказать поправить на свой счетъ мостишки, завалить фашинникомъ дыры и придѣлать, для окончательной безопасности проѣзжающихъ, перила на этихъ мостахъ. „Въ этомъ случаѣ“, думалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, „конечно, никто изъ насъ не былъ бы на него въ претензіи; всякій, напротивъ того, принесъ бы ему свою искреннѣйшую признательность! Хоть бы я, напримѣръ: да пожелай онъ только перестроить у меня въ Ханскихъ-Прудахъ всѣ мосты или выровнять дороги! Строй, строй, сколько хочешь строй, хочешь, изъ чугуна или мрамора, что-жъ такое, очень радъ! Вотъ и все тутъ!“ Далѣе, по соображеніямъ Горшковскаго дипломата, что стоило, напримѣръ, богатому Старобѣльскому поставить на всѣхъ перекресткахъ уѣзда маленькія пирамиды или обелиски, или, пожалуй, если не то и другое, такъ хоть столбы съ обозначеніемъ верстъ и направленія, какое слѣдуетъ принять для достиженія въ „Золотые-Пруды“?—Эхъ! „Золотые-Пруды“, „Золотые-Пруды“—эхъ! эхъ! думалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, саркастически улыбаясь и выразительно потряхивая головою: — хороши вы, „Золотые-Пруды“, великолѣпны, что говорить! да ты-то, братъ, Старобѣльскій... эхъ! хе-хе... возишься ты, братъ, съ одними лошадьми, да съ конюхами; ну, кому ты нуженъ? Какая польза въ твоемъ богатствѣ? какая польза твоимъ соотечественникамъ? Эхъ, дали бы мнѣ твои „Золотые-Пруды“, дали бы мнѣ твои средства, не то было бы, любезнѣйшій: я показалъ бы всѣмъ вамъ, какъ надо жить! Всѣ сосѣди тѣснились бы въ моихъ живописью украшенныхъ палатахъ! продолжалъ онъ: — весь уѣздъ сбѣгался бы на мои пиршества, которымъ подобныхъ не нашли бы въ записяхъ давнопротекшихъ временъ!...

На этомъ самомъ мѣстѣ мысли Аристарха Ѳедоровича были прерваны толчкомъ коляски, которая неожиданно остановилась.

— Что тамъ еще? спросилъ онъ тономъ человѣка, котораго пробуждаютъ въ минуту сладкаго сновидѣнія.

— Пріѣхали, сударь, къ березѣ, отвѣчалъ смущеннымъ голосомъ Сидоръ, почтительно приподымаясь одною рукою на козлахъ, тогда какъ другая рука его приподымала шляпу, обшитую галуномъ.

— Ну, такъ что-жъ такое, что пріѣхали? Вѣдь тебѣ сказала старуха, что тутъ будетъ поворотъ. Сворачивай и пошелъ!

— Поворота-то тутъ, сударь, три и всѣ три дороги идутъ вправо; по которой ѣхать, я и самъ не знаю! добавилъ Сидоръ, обращаясь съ сокрушеннымъ видомъ къ старой березѣ.

— Какъ? вскричалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, покрываясь краской негодованія и ударяя съ такою силою по кожаному фартуку, что принужденъ былъ тотчасъ же приложить кулакъ къ собственнымъ губамъ своимъ.

— Ну, что-жъ мы теперь будемъ дѣлать? не стоять же на мѣстѣ! сказалъ Балахновъ, овладѣвая собою: — надо же на что-нибудь рѣшиться; надо куда-нибудь ѣхать, хоть до ближайшей деревушки. А что, не видать тамъ какой-нибудь деревни?

— Никакъ нѣтъ-съ, отвѣчалъ Сидоръ, поворачиваясь во всѣ стороны съ быстротою флюгера, который не успѣлъ еще заржавѣть.

Сидоръ говорилъ сущую правду: нигдѣ не было замѣтно признака деревушки; совершеннѣйшій пустырь распространялся какъ по правую сторону коляски, такъ равно и по лѣвую; спереди и сзади тянулись такія же точно темныя, гладкія поля, которыя, подобно морю, убѣгали въ необозримую даль и терялись за горизонтомъ. Весь этотъ земляной океанъ оживлялся одною лишь старою березой, которая стояла пригорюнясь на перекресткѣ и сбрасывала послѣдніе листья свои, уносимые тотчасъ же вѣтромъ.

Наши путешественники, очевидно, находились въ положеніи пальчика-мальчика и его братцевъ, затерянныхъ посреди глухаго, непроходимаго лѣса. Такія сокрушительныя и отчаянныя положенія постигаютъ, впрочемъ, слишкомъ-часто отважнаго смертнаго, покушающагося пуститься по лабиринту проселочныхъ

дорогъ; каждому почти приводилось испытывать то же, что испытывалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, и потому-то считаю лишнимъ долго распространяться объ этомъ слишкомъ обыкновенномъ предметѣ.

— Вотъ, сударь, сказалъ, наконецъ, Сидоръ, когда коляска уже готова была тронуться съ мѣста и покатиться на произволъ судьбы: — вотъ, сударь, кто-то идетъ; никакъ мужикъ; спросить бы у него...

— А, ну, славу-Богу! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ не безъ внутренняго удовольствія: — кричите ему, чтобъ шелъ скорѣе! заключилъ онъ, бросаясь нетерпѣливо въ глубину коляски.

Сидоръ и кучеръ принялись попеременно надсаживать горло; минутъ десять продолжалась эта перекличка, и столько рвенія приложено было со стороны обоихъ слугъ, что Аристархъ Ѳедоровичъ, выведенный наконецъ изъ всякаго терпѣнія, приказалъ имъ замолчать.

Мужикъ приближался, между-тѣмъ, ровнымъ, валкимъ шагомъ и, повидимому, не торопился.

То былъ малый лѣтъ тридцати, приземистаго и крайне-несообщительнаго вида, съ крошечными сѣрыми глазками, глядѣвшими изподлобья; на плечѣ его покоилась палка, а на концѣ палки болтались лапти.

Вскорѣ онъ поровнялся съ коляской.

— Скажи-ка, любезный, какой поворотъ взять, чтобъ пріѣхать въ Золотые-Пруды? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, выглядывая изъ-подъ кузова.

— Да сами-то вы отколѣ? спросилъ парень, встряхивая лаптишками.

— Отколѣ бы ни были, это все равно; скажи только, куда намъ проѣхать въ Золотые-Пруды?

— А далече отселева эвти „пруды-те“? спросилъ парень.

— Такъ, стало, ты не знаешь? произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Не знаю! равнодушно отвѣчалъ парень.

— Фу! вскричалъ Балахновъ, сжимая кулаки, но тотчасъ же овладѣлъ собою и подхватилъ спокойнѣе: — не знаешь ли, по-крайней-мѣрѣ, куда проѣхать до ближайшей деревни?

— Какъ не знать! По которой дорогѣ ни поѣзжай, вездѣ будутъ деревни.

— А до которой будетъ ближе?

— Пожалуй, что и всѣ не больно далече, отвѣчалъ парень, поправляя шапку.

— Пошелъ направо! крикнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, снова бросаясь на дно коляски и укутываясь съ головою въ шубу, чтобъ скрыть слѣды негодованія, которые отпечатывались теперь самыми яркими красками на величественномъ лицѣ его.

Часъ спустя послѣ этой сцены, глазамъ Сидора и кучера предстало большое село; еще полчаса — и коляска очутилась на широкой улицѣ, расположенной, по всѣмъ признакамъ, на топкомъ болотѣ, потому-что, какъ только коляска поровнялась съ первой избушкой, колёса ушли по самую ступицу. Къ счастью еще, на встрѣчу попалась толпа мужиковъ, возвращавшихся съ молотьбы, что доказывалось длинными цѣпами, торчавшими, какъ ружья, на плечѣ каждаго мужика.

Немедля ни минуты, Аристархъ Ѳедоровичъ приступилъ къ разспросамъ. Забабуринскіе мужики (село называлось Забабурино) оказались столько же услужливыми, сколько встрѣченный парень былъ несообщителенъ и двѣ первыя бабы безтолковы. Они тотчасъ же окружили коляску и принялись объяснять дорогу съ такимъ единодушіемъ, что Аристарху Ѳедоровичу представилось въ первую минуту, будто онъ присутствуетъ на мірской сходкѣ. Забабуринскіе мужики говорили всѣ вмѣстѣ, кричали, размахивали руками, перебивали другъ друга, такъ что не было рѣшительно никакой возможности выпутать одного яснаго и дѣльнаго показанія.

— Эхъ, братецъ ты мой! ласково говорилъ одинъ, обращаясь къ кучеру:—вамъ и незачѣмъ было сворачивать направо, ѣхали бы прямо...

— Э! прямо! прямо! восклицалъ другой: — а куда бы они прямо-то пріѣхали? ну, куда? куда?...

— Въ Семяникино...

— То-то въ Семяникино! а на что ихъ благородію ѣхать въ Семяникино? я чай, на Глиновскую-Слободку...

— Дядя Андрей, а дядя Андрей, дай я-те скажу: на Сосновку ближе, право, ну, ближе. Изъ Сосновки въ Голопятово, изъ Голопятова въ Дроздовку, а изъ Дроздовки пойдетъ прямая дорога въ Золотые-Пруды — рази не знашь?...

— И то на Глиновскую-Слободку ближе!...

— Эй, кучеръ, братъ! послушай, что я тебѣ скажу: поѣзжай назадъ; какъ пріѣдешь къ той березѣ-то, направо не сворачивай, смотри не сворачивай, а пропусти еще поворотъ, да тамъ прямо и ступай съ Богомъ!

— Да кто васъ посылалъ-то туда? Кто дорогу-то указывалъ?

— Баба! въ одинъ голосъ и съ одинаковымъ нетерпѣніемъ отвѣчали кучеръ и Сидоръ.

Въ толпѣ раздался хохотъ.

— Эхъ, кого послушали!

— Баба! ну, вѣстимо, что мудренаго!

— Двадцать верстъ сказывали! эхва! да и въ сорокъ не вопрешь!

— Мѣрила, знать, баба клюкой, да махнула рукой!

Послышался новый взрывъ хохота.

Нѣтъ сомнѣнья, что Аристархъ Ѳедоровичъ не сталъ бы такъ долго слушать болтовню мужиковъ и не замедлилъ бы положить конецъ всей этой болтовнѣ, еслибъ мысли его не перешли внезапно на другой предметъ. Разсудивъ, не безъ основанія, что начинало уже смеркаться, и что, слѣдовательно, прійдется пріѣхать къ Старобельскому поздно ночью, онъ рѣшился пожертвовать еще однимъ днемъ и отложить поѣздку до слѣдующаго утра.

Хотя часть губерніи, по которой разъѣзжалъ теперь нашъ герой, была ему нехорошо извѣстна, Аристархъ Ѳедоровичъ, если припомнитъ читатель, распространялъ ужъ кругъ своихъ честолюбивыхъ дѣйствій за предѣлы Горшковскаго уѣзда, топографія котораго была ему такъ же хорошо знакома, какъ его пять пальцевъ; онъ разсчелъ однакожъ, что отъ Забабурина до Горшкова было не очень далеко. Забабурино лежало почти на самой границѣ Горшковскаго уѣзда. Балахновъ принялъ намѣреніе поѣхать немедленно въ Горшковъ, переночевать на извѣстномъ уже постояломъ дворѣ, взять надежнаго проводника и завтра же утромъ, часамъ къ двѣнадцати, прибыть въ Золотые-Пруды. На этомъ основаніи Аристархъ Ѳедоровичъ приказалъ выѣхать на большую дорогу; минутъ десять спустя, онъ благополучно миновалъ улицу, благодаря услужливымъ забабуринцамъ.

Успокоенный на этотъ разъ прямизною дороги, Аристархъ

Ѳедоровичъ свернулся на подушкахъ коляски, приподнялъ мѣховой воротникъ, опустилъ кожаный фартукъ, уложилъ ноги, крякнулъ нѣсколько разъ и погрузился въ то полусонливое, полусладкое состояніе, какое овладѣваетъ каждымъ путешественникомъ, когда колёса вязнутъ въ грязи, словно въ пуховикѣ, землю окутываютъ сумерки, а на небѣ висятъ сизыя тучи, которыя, того и смотри, обратятся въ мелкій, холодный дождикъ... Дождикъ дѣйствительно не замедлилъ пойдти. Сначала онъ какъ-будто жалѣлъ своихъ капель, но потомъ зарядилъ дружною дробью и полилъ, какъ изъ ведра. Къ полнѣйшему отчаянію Сидора, вѣтеръ, сдѣлавшійся къ ночи еще сильнѣе, началъ посылать, время отъ времени, цѣлые снопы воды на его голову. Онъ принялъ наконецъ твердое намѣреніе защитить хоть сколько-нибудь свою одежду отъ такой напасти; предстояло одно, впрочемъ, средство, да и то весьма слабое: надлежало повернуться спиною къ дождю, вѣтру и кучеру, подобрать подъ себя ноги, скорчиться и съежиться до крайне возможной степени. Такъ и сдѣлалъ Сидоръ. Кучеръ, съ своей стороны, находившійся съ камердинеромъ не совсѣмъ въ миролюбивыхъ отношеніяхъ, продолжалъ между-тѣмъ помахивать кнутомъ и посвистывать. Изрѣдка лишь поглядывалъ онъ на Сидора, насмѣшливо потряхивалъ головой и, выбравъ удобную минуту, пригибался всѣмъ корпусомъ къ лошадямъ, чтобъ дать дождю полную возможность погулять по спинѣ своего недоброжелателя. Потомъ онъ снова принималъ перпендикулярное положеніе и снова принимался покрикивать и посвистывать. Такого рода продѣлки повторялись, впрочемъ, до той лишь поры, пока сумерки позволяли еще различать предметы; но когда ночь окутала небо и землю, когда не стало видно не только лошадей, но и спины Сидора, кучеръ махнулъ еще разъ кнутомъ и, положившись вполнѣ на разсудительность коренника и правой пристяжной, немедленно погрузился въ сладкій сонъ.

Съ этой минуты дорожная коляска Аристарха Ѳедоровича поѣхала медленнѣе и ужъ окончательно исчезла во мракѣ ночи.

Не могу опредѣлить съ точностью, сколько разъ разсудительный коренникъ и подруга его, разсудительная пристяжная, останавливались и сколько сдѣлали они верстъ съ той минуты, какъ заснулъ возница; знаю только, что, по прошествіи довольно длиннаго срока, кучеръ и Сидоръ были внезапно про-

буждены страшнымъ крикомъ, раздавшимся передъ самой мордой коренника, который фыркалъ и упирался передними ногами.

— Стой! стой! неистово кричалъ какой-то хриплый голосъ.

— Ишь куда лѣзете! закричали еще громче Сидоръ и балахновскій кучеръ, принимаясь дергать возжами, суетиться, какъ будто весь этотъ случай произошелъ единственно отъ оплошности сидѣвшаго противъ нихъ кучера.

— Сворачивай съ дороги, ну, ну, ну!... басилъ, между-тѣмъ, незнакомый кучеръ.

— Долой съ дороги! Прочь! надрывался хриплый голосъ.

Минуты двѣ обѣ коренныя стояли плотно упершись лбами. Никто не хотѣлъ уступить другъ другу колеи; обстоятельство это показывало, впрочемъ, опытность обоихъ кучеровъ: выѣхать изъ колеи, значило засѣсть навѣрняка въ такую грязь, изъ которой не вытащить экипажа десяткомъ лошадей.

— Что тамъ такое? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, протирая глаза и поспѣшно высовываясь изъ-подъ фартука.

— Кто ѣдетъ? крикнулъ еще неистовѣе хриплый голосъ.

— Помѣщикъ Балахновъ, отозвался Сидоръ.

— Ба-лах-новъ! повторилъ Аристархъ Ѳедоровичъ густымъ, но сдержаннымъ басомъ.

Но не успѣлъ онъ произнести этого слова, какъ въ противоположномъ экипажѣ раздался такой истерически-восторженный хохотъ, отъ котораго вздрогнули разомъ люди и лошади; вслѣдъ затѣмъ кто-то прыгнулъ на землю и поспѣшно зашлепалъ по грязи. Секунду спустя, незнакомецъ подбѣжалъ къ коляскѣ, смѣлою рукою отстегнулъ фартукъ и, просунувъ голову во внутрь экипажа, залился новымъ восторженнымъ хохотомъ.

— Карачаевъ? сказалъ удивленный Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Я, душа моя, Aristarque! я! я!... Ну, братъ, самъ Богъ тебя послалъ! воскликнулъ Карачаевъ. Я въ восхищеніи, что мы встрѣтились. Спасибо, дружище! Спасибо, ребята, молодцы, удружили! подхватилъ онъ, обращаясь неожиданно къ Сидору и кучеру.

Тутъ Павелъ Петровичъ поспѣшно спряталъ руки подъ мокрую шинель, пошарилъ въ карманахъ и, вынувъ наобумъ двѣ мелкія монеты, протянулъ ихъ балахновскимъ людямъ, прибавивъ: „спасибо, ребята, спасибо, удружили!“

— За что же, Павелъ Петровичъ, помилуйте, сударь, за что же?... бормотали люди.

— Бери, когда даютъ! бери! ну! нетерпѣливо крикнулъ Карачаевъ.—Ну, братъ, душа Aristarque, какъ радъ, какъ радъ, что тебя встрѣтилъ! подхватилъ онъ, снова просовывая голову въ коляску, причемъ поля его войлочной шапки пустили цѣлую струю воды на колѣна Аристарха Ѳедоровича: — повѣришь ли, écouté: вѣдь вотъ второй день мечусь какъ угорѣлый по всему уѣзду и тебя отыскиваю!...

— Какъ! Что такое? Развѣ дома случилось что-нибудь? перебилъ Балахновъ.

— Нѣтъ, душа моя, нѣтъ, нѣтъ, успокойся, ничего не случилось! съ живостью сказалъ Карачаевъ.—Лизавета Семеновна, дѣтки — всѣ, слава Богу, здоровы, все обстоитъ благополучно; я вѣдь, братъ, ты знаешь, маху не дамъ, за всѣмъ самъ присматривалъ, все хорошо, слава Богу!...

— Что-жъ тебя понудило меня отыскивать съ такимъ рвеніемъ? спросилъ Балахновъ.

— Нѣтъ, ты, душа моя, скажи мнѣ прежде, куда ты теперь намѣренъ ѣхать?

— Въ Горшковъ...

— Ну, нѣтъ, братъ, атанде-съ, дудки! этому не бывать! Мы сейчасъ же отсюда ѣдемъ къ Кокуркинымъ! Сегодня день рожденія Вѣры Андреевны; я вѣдь, братъ, затѣмъ тебя и отыскивалъ!

— Коли затѣмъ только, такъ я скажу тебѣ, что напрасно безпокоился.

— Че-е-во?

— Напрасно безпокоился, повторилъ Балахновъ.

— Какъ, напрасно безпокоился? это отчего? спросилъ недовольнымъ голосомъ Карачаевъ.

— Оттого, что я къ Кокуркинымъ не поѣду!

— Нѣтъ, поѣдешь! я тебѣ говорю, что поѣдешь! воскликнулъ Карачаевъ, мгновенно разгорячаясь и принимаясь дѣлать неистовые жесты: — поѣдешь, я тебѣ говорю, или, иначе, это будетъ съ твоей стороны очень нехорошо: слышишь ли! Какъ! онѣ прислали тебѣ приглашеніе, оказываютъ тебѣ всякія учтивости, а ты не поѣдешь! Четвертаго дня, какъ только ты уѣхалъ, онѣ прислали нарочнаго въ Ханскіе-Пруды съ пригла-

шеніемъ! заключилъ Карачаевъ, переходя внезапно къ убѣдительному тону.

— Какъ бы то ни было, любезный, сказалъ небрежно-насмѣшливымъ тономъ Аристархъ Ѳедоровичъ: — а я не поѣду; не поѣду, во-первыхъ, потому, что не вижу надобности, во-вторыхъ, погода скверная да и поздно, въ-третьихъ, чувствую себя вовсе нерасположеннымъ...

— Че-е-во? А ты думаешь я расположенъ? Ты думаешь, мнѣ весело на душѣ, а? Ты думаешь, мнѣ пріятно было слоняться двои сутки, да мокнуть на дождѣ? а? а? Но я дѣлалъ это, имѣя въ виду отыскать тебя и повезти къ Кокуркинымъ, которымъ ты не отдавалъ визита болѣе года,—вотъ она штука-то въ чемъ! Этого требуетъ учтивость, деликатность, да! Ты думаешь, что ты и Богъ знаетъ что за птица! остальные всѣ дрянь, меркатель какая-нибудь! Къ тебѣ всѣ станутъ ѣздить, потѣшать твое самолюбіе, а ты будешь лежать-себѣ сложа руки, какъ этотъ... какъ бишь его?... богдыханъ, или султанъ у этого Пушкина, который лежитъ-себѣ на софѣ, кругомъ всѣ раболѣпствуютъ, тѣснятся... а у него въ зубахъ янтарь шипитъ... Вотъ она штука-то въ чемъ... Нѣтъ, братъ, нѣтъ, этого, братъ... да...

Весь этотъ монологъ Аристархъ Ѳедоровичъ выслушалъ очень разсѣянно. Въ головѣ его внезапно сверкнула мысль, что у Кокуркиныхъ, по случаю рожденія толстой Вѣры Андреевны, могло съѣхаться изрядное количество мелкихъ сосѣдей; что авось-либо удастся ему пріобрѣсть въ общей сложности еще одинъ лишній голосъ и что, слѣдовательно, не поѣхать ли ему лучше на вечеръ къ „барышнямъ“, чѣмъ провести безплодную ночь на постояломъ дворѣ уѣзднаго города?

— Полно пустяки-то молоть, произнесъ онъ, обратясь вдругъ къ Карачаеву: — скажи-ка лучше, насколько мы отъ Горшкова и сколько верстъ, слѣдовательно, до Веселыхъ-Горокъ?

— Помилуй, братецъ, отъ Горшкова верстъ десять, а до Веселыхъ-Горокъ всего три версты, я думаю и того не будетъ! воскликнулъ съ живостью Карачаевъ: — повернемъ назадъ, полверсты всего, а тамъ, по проселку, двѣ съ половиной... какое! двухъ верстъ не будетъ! заключилъ онъ, снова орошая, помощью своей шляпы, ноги Балахнова.

— Ну, Богъ съ тобой, быть по-твоему: поѣдемъ къ Ко-

куркинымъ! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, снисходительно улыбаясь.

— Ну, да, душа моя, разумѣется, такъ. Спасибо, я, братъ, признаться, никогда не сомнѣвался въ твоемъ благородствѣ! восторженно закричалъ Карачаевъ, простирая руки, чтобъ обнять своего пріятеля, и поливая его въ то же время какъ изъ лейки.

— Я надѣюсь, однакожъ, любезнѣйшій, ты поѣдешь въ своемъ экипажѣ? произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ: — въ противномъ случаѣ, чего добраго, здѣсь произойдетъ наводненіе...

— Фу! извини, душа моя, я и забылъ совсѣмъ, что съ меня льетъ какъ изъ жолоба! Конечно, я поѣду въ своей телѣжкѣ!... Ну, да что объ этомъ; коли дѣло, такъ дѣло: ѣдемъ, Аристархъ Ѳедоровичъ, ѣдемъ! Ты, братъ, очень обрадуешь барышень!... Завернись покрѣпче, смотри, дьявольски холодно!... Я поѣду впереди; мой Васютка укажетъ дорогу... Ну, ребята, сворачивай — и за мной! да смотрѣть въ оба и не отставать!

Тутъ Карачаевъ закрылъ кожаный фартукъ, взялъ подъуздцы коренную Балахнова, поворотилъ коляску, причемъ раза два чуть не грохнулся въ лужу, потомъ сѣлъ въ свою телѣжку, закричалъ: „съ Богомъ!“ и поѣхалъ впередъ.

Съ того мѣста, гдѣ произошла встрѣча, было дѣйствительно не болѣе трехъ или четырехъ верстъ до Веселыхъ-Горокъ. Наши путешественники не замедлили въѣхать въ околицу и, минутъ пять спустя, увидѣли передъ собою маленькій домикъ Кокуркиныхъ, въ которомъ всѣ окна свѣтились самымъ радостнымъ, привѣтливымъ блескомъ.

Коляска бултыхнулась послѣдній разъ въ лужу и остановилась у крыльца.

Когда Аристархъ Ѳедоровичъ и Карачаевъ вошли въ переднюю, глазамъ ихъ предстала слѣдующая картина: направо возвышалась до самаго потолка гора изъ шубъ, салоповъ, мѣховыхъ сапогъ и старенькихъ, помстасканныхъ шерстяныхъ платковъ, которыми въ мелкомъ провинціальномъ кругу окутываютъ голову барышни и дамы, отправляющіяся на балъ; прямо, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ располагалась дверь въ комнаты, возвышалась другая гора, но только состоящая вся изъ спинъ, затылковъ, ногъ кучеровъ, лакеевъ и остальныхъ членовъ дворни,

головы которыхъ просунуты были въ залу, откуда излетало брацанье гитары.

— Позволь поблагодарить тебя еще разъ, душа моя, что ты пріѣхалъ! неожиданно сказалъ Карачаевъ, съ чувствомъ пожимая руку своего друга и торопливо принимаясь обчищать свое платье. Аристархъ Ѳедоровичъ улыбнулся, приподнялъ брови и отдалъ себя въ полное распоряженіе Сидора. Шепнувъ затѣмъ камердинеру, чтобъ не распрягали лошадей, но только засыпали бы имъ корма, Балахновъ принялъ ту величаво-вельможную осанку, которая такъ отличала его всегда въ обществѣ мелкихъ сосѣдей, протискался, благодаря заботливому усердію Карачаева, сквозь гору спинъ, и, выпучивъ грудь, улыбаясь и кивая направо и налѣво, вошелъ въ залу.

Трудно представить себѣ эффектъ, произведенный его появленіемъ. Мнѣ кажется даже, если не ошибаюсь, одинъ видъ его мигомъ разсѣялъ въ сердцахъ всѣхъ присутствовавшихъ даже самыя подозрѣнія, относительно тѣхъ пунктовъ, въ которыхъ еще наканунѣ обвиняли его съ такимъ рвеніемъ. Единодушный, неподдѣльный восторгъ изобразился на всѣхъ почти лицахъ. Звуки гитары тотчасъ же умолкли. Барышни прокричали въ одинъ голосъ „ахъ!“ и бросились къ Балахнову на встрѣчу; Порфирій Павловичъ Васильковъ, стоявшій подлѣ двери съ Надёженькой, удостоился первый подойти къ Аристарху Ѳедоровичу и протянулъ ему руку съ такимъ видомъ, какъ-будто былъ одолженъ имъ неоплатными суммами и въ вѣкъ не могъ съ нимъ расквитаться; Кокуркины надрывались въ произнесеніи именитому гостю благодарственнаго монолога; вдохновенный Чибезовъ, которому Балахновъ пожалъ съ особенною любезностью руку, восторженно сверкалъ глазами, между-тѣмъ, какъ Свищовъ и Полушкинъ, стоявшіе по сторонамъ великаго человѣка и покуда еще незамѣчаемые имъ, отвѣшивали поклоны. Одинъ Аполлонъ Егоровичъ (въ этомъ слѣдуетъ отдать ему справедливость) не обнаружилъ увлеченья; онъ коротко и сухо шаркаетъ сапогомъ и, мрачно насупивъ брови, отходитъ тотчасъ же въ сторону. Но Аристархъ Ѳедоровичъ не замѣчаетъ Дрянкова; онъ наклоняетъ голову, говоритъ „благодарю!“, снисходительно пожимаетъ руки и добродушно улыбается. Хозяйки дома настаиваютъ на томъ, чтобъ именитый гость расположился въ гостиной. — „Помилуйте, Аристархъ Ѳедорычъ“, говорятъ

онѣ въ одинъ голосъ, „тамъ вамъ будетъ покойнѣе... Какъ же это можно, чтобъ вы сидѣли на этомъ стулѣ? этого мы никакъ не дозволимъ, во-первыхъ, какъ хозяйки, а во-вторыхъ... во-вторыхъ, въ гостиной мягкій диванъ и вамъ будетъ несравненно-покойнѣе!...“ Но Аристархъ Ѳедоровичъ говоритъ, съ свойственною ему скромностью, что онъ рѣшительно не видитъ, почему онъ лучше другихъ, находящихся здѣсь добрыхъ и честныхъ людей, и напрямикъ отказывается отъ гостиной. Тогда барышни обставляютъ гостя непроходимою стѣною тарелокъ съ вареньемъ и разными съѣстными издѣліями своихъ рукъ. Новыя лица обступаютъ и окружаютъ Аристарха Ѳедоровича. Аристархъ Ѳедоровичъ наклоняетъ голову, говоритъ „благодарю!“, снисходительно пожимаетъ руки и добродушно улыбается, не забывая въ то же время дѣлать свои наблюденія касательно тѣхъ лицъ, которыя, въ общей сложности, могутъ составить на выборахъ одинъ лишній голосъ. Взоръ его случайно падаетъ на Чибезова — и онъ вторично протягиваетъ ему руку. Такое лестное отличіе производитъ на нервознаго Чибезова необыкновенно-сильное впечатлѣніе. Пріемъ великаго человѣка пробуждаетъ въ Чибезовѣ сознаніе собственнаго достоинства; въ эту минуту пылкій Чибезовъ готовъ привести тысячу фактовъ и исторій, изъ которыхъ видно, какъ дважды-два — четыре, что Аристархъ Ѳедоровичъ величайшій и благороднѣйшій мужъ своего уѣзда; ядовитая сатира, приготовленная наканунѣ Чибезовымъ на этого самаго мужа, забыта, забыта совершенно; въ эту минуту Чибезовъ готовъ сочинить въ пользу Аристарха Ѳедоровича панегирикъ и заклеймить сатирой ближайшихъ своихъ знакомыхъ. Онъ располагается поддѣ Балахнова и принимаетъ видъ человѣка съ возвышенными понятіями.

Аристархъ Ѳедоровичъ бросаетъ на окружающихъ благосклонную улыбку, обличающую внутреннее сознаніе превосходства и силы; затѣмъ онъ обнаруживаетъ надежду, что не будетъ служить помѣхою для всеобщаго веселья и проситъ продолжать танцы.

Прокисай Захаровичъ беретъ два-три аккорда на гитарѣ — и пары устанавливаются.

Карачаевъ выступаетъ впереди всѣхъ, почтительно ведя за руку старшую изъ барышень. Варвара Андреевна ни подъ ка-

кимъ видомъ не соглашалась танцовать; она увѣряла Карачаева, что ужъ двадцать лѣтъ не танцуетъ; но Павелъ Петровичъ, проникнутый непреклонною мыслью, что учтивость требуетъ непремѣнно пригласить прежде другихъ старшую хозяйку дома, настоялъ на своемъ; онъ даже разсердился не на шутку, когда Варвара Андреевна замѣтила, что онъ приглашаетъ ее, вѣроятно, для смѣха. Движенія Павла Петровича преисполнены необычайной важности, спокойствія, и, по всей справедливости, удивляютъ присутствующихъ, непривыкшихъ встрѣчать его въ такомъ степенномъ видѣ. Еще въ началѣ, при первомъ появленіи своемъ, онъ успѣлъ изумить всѣхъ, отказавшись на-отрѣзъ налить рому въ свой чай и ограничившись ложкою морса. Въ первую минуту рука его дѣйствительно протянулась-было къ графину, но пальцы его, какъ-будто удерживаемые какою-то мыслью, отъ которой покраснѣли даже его лобъ и щеки, долго не рѣшались обхватить горлышко графина, и, наконецъ, съ какою-то отчаянною рѣшимостью, схватили бутылку съ морсомъ. Поступки эти и солидный видъ Карачаева изумили даже Аристарха Ѳедоровича.

Прокисай Захаровичъ исторгаетъ изъ своей гитары плачевно-меланхолическіе звуки, возвѣщающіе начало кадрили.

— Чаще! чаще! вы слишкомъ тихо играете, Прокисай Захарычъ; скорѣе! что это вы! такъ танцовать нельзя; чаще, говорятъ вамъ! восклицаютъ танцующіе, внезапно останавливаясь послѣ первыхъ двухъ прыжковъ и устремляя глаза на проживальщика.

Прокисай Захаровичъ смущается, обливается потомъ и, въ припадкѣ замѣшательства, принимается осматривать свою гитару. Онъ хотя и рѣшился, твердо рѣшился отказаться отъ Надѣженьки и завтра же утромъ покинуть Веселыя-Горки, но, совсѣмъ тѣмъ, никакъ не можетъ равнодушно взирать на счастливаго соперника; игра его находится въ совершенной зависимости отъ степени любезности Надѣженьки съ Васильковымъ. Игра его замираетъ и слабѣетъ каждый разъ, какъ Надѣженька улыбается, и наоборотъ, частитъ онъ немилосердно, когда лицо Порфирія Павловича проявляетъ тоску и взоры соперника уныло обращаются къ потолку.

— Ну, что-жъ ты, братецъ, тебя ждутъ! говоритъ Карачаевъ, выразительно подымая брови и становясь на первую позицію.

Во все продолженіе кадрили Карачаевъ представляетъ изъ себя образчикъ самаго предупредительнаго, учтиваго и деликатнаго кавалера; ноги его забрызганы кое-гдѣ грязью, но совсѣмъ тѣмъ не измѣняютъ первой позиціи; онъ тщательно обходитъ дамъ, безпрестанно останавливается, раскланивается, поворачиваетъ во всѣ стороны свою лысину, извиняется, кричитъ: „pardoné!“ мало того: онъ считаетъ своимъ долгомъ извиняться и кричать „pardoné“ каждый разъ, какъ кто-нибудь изъ кавалеровъ дѣлаетъ маленькую оплошность. Лицо Павла Петровича, важное и спокойное, обнаруживаетъ неудовольствіе тогда лишь, когда встрѣчается съ лицомъ Василькова; Карачаевъ начинаетъ слѣдить за каждымъ движеніемъ Порфирія Павловича.

Но Порфирій Павловичъ ничего не видитъ; упоенный счастіемъ, онъ впивается страстными глазами въ рѣсницы Надѣженьки, наклоняетъ голову къ ея уху и шепчетъ ей сладостнымъ голосомъ:

— О, какъ-бы я хотѣлъ быть мухой, чтобъ порхать вокругъ этихъ роскошныхъ плечъ...

Губы Надѣженьки принимаютъ мгновенно видъ сердца и щеки ея, и безъ того уже красныя, наливаются чистѣйшимъ пурпуромъ; она подымаетъ наконецъ голову, съуживаетъ глазки и, лукаво грозя пальцемъ, шепчетъ своему кавалеру:

«Кто чаще всѣхъ твердитъ: люблю!
Тотъ меньше всѣхъ любить умѣетъ!»

Глаза Карачаева устремляются еще пристальнѣе на Василькова.

— Прокисай Захарычъ, вы, просто, спите, голубчикъ! чаще! чаще! чаще! говорятъ вамъ! восклицаетъ веселая Вѣра Андреевна, подпрыгивая отъ нетерпѣнія на одномъ мѣстѣ.

Кадриль кончилась.

Глаза Карачаева все-таки продолжаютъ слѣдить за эволюціями Василькова; улучивъ минуту, когда танцоры окружали Аристарха Ѳедоровича, Карачаевъ подошелъ къ Василькову, взялъ его за руку, отвелъ въ гостиную и вдругъ неожиданно прижалъ его въ уголъ.

— Чѣмъ бы здѣсь бѣсноваться, ты бы лучше съѣздилъ къ женѣ! сказалъ онъ, грозно насупивая брови: — она больна и лежитъ въ постели... ты думаешь, я не знаю твоихъ шашень... а?

— Да... что-жъ ты замѣчаешь?... я... я... пробормоталъ Васильковъ.

— Колпакъ и больше ничего! произнесъ Карачаевъ. Тутъ онъ презрительно толкнулъ Василькова и вышелъ въ залу.

Съ этой минуты, восторженное настроеніе Порфирія Павловича смѣнилось глубочайшей меланхоліей; на замѣчанія, которыми осадили его по поводу такой перемѣны, онъ опускалъ только голову и говорилъ уныло вопросительнымъ тономъ:

— Когда я умру, кто придетъ на мою могилу?!...

— Полноте, полноте, Порфирій Павлычъ, что это за вздоръ за такой! восклицала веселая Вѣра Андреевна, Христосъ съ вами! Во-первыхъ, если-бъ и случилось такое несчастіе, мы не только посѣтили бы вашу могилу, но усыпали бы ее цвѣтами и выплакали надъ нею всѣ свои слёзы... но все это пустяки! Прошу васъ быть веселымъ и не забывать, что сегодня день моего рожденія!... Въ ожиданіи вашей могилы, надѣюсь, вы не откажете мнѣ танцовать со мною мазурку... Видите, я сама васъ приглашаю!

Радостныя привѣтствія и особенно мазурка оживили Порфирія Павловича, но не надолго; послѣ первыхъ двухъ скачковъ, которые привели въ справедливое восхищеніе всѣхъ поклонниковъ перваго мазуриста Горшковскаго уѣзда, глаза Василькова случайно встрѣтили грозный взглядъ Карачаева, и уже съ этого времени онъ впалъ въ такую меланхолію, противъ которой не подѣйствовали даже плѣнительныя улыбки младшей Кокуркиной.

Наблюдая всѣ эти сцены и подсмѣиваясь надъ ними въ глубинѣ необъятной души своей, Аристархъ Ѳедоровичъ не пропустилъ, однакожъ, случая употребить съ пользою сосѣдство Чибезова; онъ успѣлъ освѣдомиться о числѣ душъ Чибезова, успѣлъ замѣтить ему, что число его душъ, въ совокупности съ душами Свищова и Полушкина, составляетъ довольно круглое число, имѣющее полное право на одинъ голосъ; успѣлъ обѣщать этотъ голосъ растроганному Чибезову и, конечно, не преминулъ пригласить его въ пятницу на обѣдъ, сказавъ ему при этомъ, что если онъ не привезетъ съ собою жены, то пусть лучше и не является. Затѣмъ, великій дипломатъ дождался окончанія мазурки, приподнялся съ своего мѣста и началъ раскланиваться.

Обстоятельство это привело въ истинное отчаяніе радушныхъ хозяекъ дома.

— Какъ, Аристархъ Ѳедорычъ! нѣтъ, нѣтъ, мы этого никакъ не допустимъ! День такой сегодня, что вы должны остаться! Сегодня Вѣрочкинъ праздникъ! Нѣтъ, нѣтъ, этого никакъ нельзя! говорили барышни, обступая именитаго гостя, между-тѣмъ, какъ Карачаевъ, стоявшій позади всѣхъ, моргалъ глазами и кивалъ ему головою, съ видомъ укора.

— Къ сожалѣнію, не могу принять радушнаго приглашенія вашего, говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ: — благодарю, благодарю отъ чистаго сердца! Я долженъ ѣхать въ Горшковъ; вы знаете, въ пятницу, черезъ три дня, у меня обѣдъ, на которомъ надѣюсь васъ видѣть; между прочимъ, я долженъ еще сдѣлать два визита — это необходимо!

— Успѣете еще, успѣете! воскликнули въ одинъ голосъ барышни и за ними всѣ присутствовавшіе. Ну, хорошо, мы васъ отпустимъ, вы поѣдете, но только не иначе, какъ послѣ послѣдняго вечерняго дѣйствія! Ужъ какъ хотите, а мы безъ ужина васъ не отпустимъ!

— Благодарю, благодарю отъ чистаго сердца, но...

— Нѣтъ, нѣтъ, вы останетесь; мы всѣ просимъ васъ объ этомъ... Господа, барышни... Что же это такое? Аристархъ Ѳедорычъ не хочетъ дождаться послѣдняго вечерняго дѣйствія!... Кондей Иванычъ! Проклъ Иванычъ! Софья Кузьминична! Павелъ Петровичъ... уговорите Аристарха Ѳедорыча. Но Павелъ Петровичъ стоялъ уже подлѣ Балахнова и, дергая его за рукавъ, шепталъ ему въ ухо:

— Вѣдь это, братецъ, позволь тебѣ сказать, просто невѣжество! ну, чего ты ломаешься?... Обидѣть ты хочешь ихъ, что ли? Ты думаешь, что если это мерканталь, такъ ты можешь себѣ... это, просто, братецъ, извини, невѣжество съ твоей стороны!...

Тонъ, съ которымъ прошептаны были эти слова, доказывалъ ясно, что еще одна секунда сопротивленія — и Павелъ Петровичъ разразится громомъ на всю залу.

Аристархъ Ѳедоровичъ улыбнулся, шутливо потрепалъ Карачаева по плечу и, одобрительно кивнувъ головой, объявилъ, что готовъ раздѣлить трапезу, столь радушно предложенную.

Столы не замедлили явиться и общество сѣло ужинать.

Послѣднее вечернее дѣйствіе не ознаменовалось ничѣмъ особенно замѣчательнымъ. Пробки съ шипучкой и водицами по-

минутно хлопали въ потолокъ, провозглашались тосты въ честь новорожденной, причемъ новорожденная дѣлала каждый разъ книксенъ, а старшая сестра ея проливала нѣсколько слезъ; Кондей Ивановичъ пробовалъ всѣхъ напитковъ и опустошалъ всѣ соусники, что не мѣшало его супругѣ запрятывать въ свой ридикюль разнаго рода съѣстные предметы; вдохновенный Чибезовъ неистово сверкалъ глазами и принялся уже читать какой-то экспромтъ, блеснувшій въ головѣ его, при взглядѣ на новорожденную, но закашлялся, захрипѣлъ и вышелъ, наконецъ, изъ-за стола, чтобъ откашляться въ прихожей; Аристархъ Ѳедоровичъ благосклонно кивалъ головою и смѣялся густымъ, добродушнымъ смѣхомъ; словомъ, было необычайно весело за ужиномъ у Кокуркиныхъ!

Два только человѣка: Порфирій Павловичъ и Карачаевъ представляли два темныя пятна посреди этой улыбающейся картины. Васильковъ случайно посаженъ былъ противъ Карачаева, и этимъ объясняется отчасти его мрачное настроеніе; что-жъ касается до Павла Петровича, лицо его, важное и спокойное, напоминало выраженіе тѣхъ физіономій, которыя являются посреди шумнаго сборища единственно съ тою лишь цѣлью, чтобъ исполнить свою обязанность. Во все время ужина онъ не прикоснулся ни къ одному напитку и пилъ одну только воду, при чемъ въ глазахъ его отражалось всякій разъ присутствіе какой-то назойливой мысли, а на губахъ бродила широкая улыбка самодовольствія. Но общество, увлекаемое всеобщею радостью, принимавшею самые широкіе размѣры по случаю исчезновенія со стола изрядная количества шипучки, не обращало ни малѣйшаго вниманія на двухъ задумчивыхъ рыцарей.

По окончаніи ужина, Аристархъ Ѳедоровичъ обнаружилъ желаніе выкурить сигару, но, въ сущности, это была только хитрость, придуманная имъ съ тѣмъ, чтобъ удалить подозрѣнія о его отъѣздѣ. Выбравъ удобную минуту, когда хозяйки дома, главныя лица общества, и особенно Карачаевъ, развлеклись какимъ-то предметомъ, онъ поспѣшно выюркнулъ изъ залы и, нѣсколько минутъ спустя, благополучно достигъ коляски, которая тотчасъ же покатила по дорогѣ къ Горшкову.

XVI.

Посмѣявшись отъ души надъ жалкими смертными, великій человѣкъ направляетъ стопы свои къ одному господину, столько же богатому, сколько эксцентрическому.

На другой день утромъ Сидоръ привелъ проводника, одинъ видъ котораго, въ высшей степени смѣлый и рѣшительный, не оставлялъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что онъ въ совершенствѣ знаетъ дорогу изъ Горшкова въ Золотые-Пруды. Благодаря такому счастливому обстоятельству и, сверхъ-того, морозу, который, какъ извѣстно, быстро и успѣшно исправляетъ дороги, Аристархъ Ѳедоровичъ очутился къ полудню на землѣ Старобѣльскаго.

Нимало не намѣреваясь совершить торжественный въѣздъ въ сопровожденіи проводника, сидѣвшаго на какой-то клячонкѣ, Балахновъ заплатилъ ему условленную плату и отослалъ его назадъ; затѣмъ, онъ велѣлъ кучеру и Сидору оправиться, привести въ порядокъ одежду, обчистить коляску, тщательно осмотрѣть лошадей, обтянуть хомуты и проч. и проч. Когда все это было исполнено надлежащимъ образомъ, Аристархъ Ѳедоровичъ поправилъ волосяной свой галстухъ и приказалъ ѣхать ровною рысью по направленію къ высокой каменной церкви, бѣлѣвшейся въ отдаленіи.

Аристархъ Ѳедоровичъ не былъ въ Золотыхъ-Прудахъ лѣтъ восемь или девять, съ того времени, когда отецъ настоящаго владѣльца не думалъ еще умирать и находился въ полномъ вожделѣнномъ здравіи. Пріѣзжая на поклонъ въ Золотые-Пруды (покойникъ занималъ, по своему положенію и богатству, первое мѣсто въ губерніи), Балахнову удалось встрѣтить раза два молодаго Старобѣльскаго, служившаго тогда въ кавалерійскомъ полку и пріѣзжавшаго въ отпускъ. Но съ того времени, какъ можете себѣ представить, много утекло воды; старикъ умеръ, сынъ вступилъ во владѣніе имѣніемъ, вышелъ въ отставку, поселился въ наслѣдственной вотчинѣ и, какъ сказывали, до того пристрастился къ деревенской жизни, что никуда рѣшительно не выѣзжалъ.

Воображеніе нашего героя, переносясь къ былому, старалось припомнить черты молодаго Старобѣльскаго съ тѣмъ, чтобъ, помощью ихъ, нарисовать себѣ въ наивозможно-вѣрныхъ краскахъ наружность человѣка, съ которымъ предстоитъ теперь вести бесѣду. Но сколько ни напрягалъ онъ пружинъ мыслительнаго своего органа, воображеніе измѣняло ему; черты Старобѣльскаго представляли совершеннѣйшій хаосъ, въ которомъ умственный взоръ горшковскаго дипломата отыскивалъ дюжины носовъ, глазъ, губъ и подбородковъ самаго темнаго и неопредѣленнаго очертанія. Не имѣя съ этой стороны ни малѣйшаго успѣха, умственный взоръ Аристарха Ѳедоровича старался проникнуть во внутренній міръ Старобѣльскаго, старался припомнить, не было ли у него какихъ-нибудь особенныхъ склонностей, привычекъ и проч.; но и съ этой стороны, точно также, воображеніе не оказало никакого успѣха. Балахновъ принадлежалъ именно къ числу тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые, подобно нѣкоторымъ драгоцѣннымъ камнямъ, принимаютъ цвѣтъ предмета, съ которымъ находятся въ соприкосновеніи. Онъ былъ знатокъ человѣческаго сердца и въ объясненіяхъ своихъ, вмѣсто того, чтобъ держать собесѣдника за пуговицу сюртука, какъ это дѣлаютъ многіе люди, предпочиталъ держать собесѣдника за слабую его струнку. Въ чемъ же состояла слабая струнка Старобѣльскаго?... Аристархъ Ѳедоровичъ долго думалъ и все-таки не могъ придти къ желанному результату. Случай, этотъ помощникъ всѣхъ великихъ открытій, вывелъ его изъ затрудненія. Онъ встрѣтилъ на полѣ табунъ матокъ изъ завода Золотыхъ-Прудовъ, и ужъ съ этой минуты мысли его потекли стройнымъ порядкомъ; этотъ табунъ навелъ его на мысль, что Старобѣльскій питалъ сильное пристрастіе къ лошадиной породѣ и сосредоточивалъ даже всю свою дѣятельность на конскомъ заводѣ. Такія данныя, безъ всякаго сомнѣнія, были бы недостаточны для обыкновеннаго смертнаго, но Аристархъ Ѳедоровичъ остался ими очень доволенъ. Принимая въ соображеніе страсть Старобѣльскаго, онъ создалъ тотчасъ же маленькій планъ, какъ успѣшнѣе подѣйствовать на умъ и сердце богатаго сосѣда. Положившись во всемъ остальномъ на свою проницательность и умѣнье разпознавать людей съ перваго взгляда, онъ углубился въ уголъ коляски и приказалъ прибавить рыси.

Коляска успѣла, между-тѣмъ, проколесить изрядное про-

странство. Ужъ церковь и большая часть села остались влѣвѣ; со всѣхъ сторонъ подымались каменныя, безконечно-длинныя и тщательно выбѣленныя зданія, съ остроконечными кровлями и рядами крошечныхъ, полукруглыхъ оконъ извѣстной архитектуры, оконъ, которыя служили несомнѣннымъ доказательствомъ, что конскій заводъ обращалъ на себя особенное вниманіе владѣльца; копошенный запахъ, охватившій нашихъ путешественниковъ при самомъ въѣздѣ въ околицу, краснорѣчиво подтверждалъ такое доказательство, свидѣтельствуя вмѣстѣ съ тѣмъ объ огромномъ количествѣ лошадей, которыя должны были находиться въ Золотыхъ-Прудахъ. На соломенныхъ кровляхъ сараевъ, избушекъ и построекъ для дворни мелькали то-и-дѣло мертвыя лошадиныя головы, замѣнившія, какъ видно, въ этомъ краю скворечницы, рѣзные деревянные пѣтушки и прочія обыкновенныя украшенія деревянныхъ кровель; такія же точно головы попадались весьма часто въ зубахъ тощихъ борзыхъ собакъ, которыя, распустивъ хвостъ, носились взадъ и впередъ съ своею добычей; съ каждымъ поворотомъ колеса попадались конюхи и коновалы съ сѣдлами, уздечками и попонами; лошадиное ржанье, топотъ коннтъ, глухо раздававшіеся за стѣнами, приводили Аристарху Ѳедоровичу на память кавалерійскіе маневры. Миновавъ кузницу, въ которой непрерывный гулъ мѣховъ ясно показывалъ обиліе работы, Аристархъ Ѳедоровичъ въѣхалъ въ каменныя ворота и очутился, наконецъ, на такъ-называемомъ красномъ дворѣ.

Красный или барскій дворъ занималъ огромное пространство; съ трехъ сторонъ его обступили выбѣленныя мѣломъ конюшни; съ той стороны, къ которой обращено было лицо Аристарха Ѳедоровича, подымался высокій, двухъэтажный дубовый домъ, на каменномъ фундаментѣ, одинъ изъ тѣхъ домовъ, которые строились въ концѣ прошлаго столѣтія богатыми помѣщиками; тутъ былъ и фасадъ съ колоннами, и бельведеръ съ оранжерейными рамами, и широкая терраса, спускавшаяся ступенями въ садъ, разбитый когда-то въ англійскомъ вкусѣ, но въ настоящую минуту представлявшійся пустынней, заросшей полынью и крапивой; за этимъ садомъ виднѣлся другой, состоявшій исключительно изъ одинѣхъ столѣтнихъ, сивоватыхъ елей, которыя, казалось, мрачно и уныло смотрѣли на все окружающее.

Всѣ эти предметы хотя и напоминали Балахнову прежняго знакомаго, но, совсѣмъ тѣмъ, въ настоящую минуту мало занимали нашего героя. Вниманіе его устремлялось на дальнюю часть двора, куда выходило боковое крылечко дома и посреди которой былъ водруженъ столбъ; подлѣ этого столба находилась группа изъ пяти-шести конюховъ; одни хлопали арапниками, другіе держали конецъ веревки, которую натягивала лошадь, бѣгавшая и скакавшая вокругъ столба; за кругомъ, описываемымъ на землѣ копытами лошади, виднѣлась другая, болѣе значительная группа конюховъ, также хлопавшихъ арапниками; въ сторонѣ отъ всѣхъ стоялъ высокій мужчина, у котораго, впрочемъ, не было арапника; выставивъ правую ногу впередъ, погнувшись назадъ всѣмъ корпусомъ, онъ пристально наблюдалъ за эволюціями лошади и ограничивался тѣмъ только, что пощелкивалъ языкомъ каждый разъ, какъ животное проносилось мимо.

Аристархъ Ѳедоровичъ узналъ въ немъ тотчасъ же Александра Степановича Старобѣльскаго.

Онъ приказалъ остановиться, ловко выпрыгнулъ изъ коляски и пошелъ къ Старобѣльскому тѣмъ твердымъ, но ускореннымъ шагомъ, который составляетъ принадлежность людей очень довольныхъ собою. При видѣ гостя, Старобѣльскій не обнаружилъ ни радости, ни досады, ни даже удивленія; онъ сохранилъ такое же точно сонливое равнодушіе, какъ-будто видѣлъ передъ собой пріятеля, который вышелъ за минуту передъ тѣмъ, чтобъ закурить трубку; онъ не измѣнилъ даже на волосъ своего положенія. Дождавшись минуты, когда дрессируемая лошадь пронесется мимо, и пощелкавъ ей вслѣдъ языкомъ, онъ медленно повернулся къ Аристарху Ѳедоровичу, еще медленнѣе приподнялъ мѣховую шапку и устремилъ на него выпуклые, безжизненные глаза.

Аристархъ Ѳедоровичъ остановился и также приподнялъ фуражку, причемъ лицо его казалось сіявшимъ отъ восторга и добродушія.

— Вы, конечно, не узнаёте меня, Александръ Степанычъ? сказалъ онъ, раскланиваясь съ обворожительной любезностью.

— Мм... нѣтъ... протянулъ флегматическимъ басомъ Старобѣльскій.

— Балахновъ... произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ тономъ

человѣка, который думаетъ сдѣлать пріятнѣйшій сюрпризъ. Старобѣльскій сонливо приподнялъ шапку, также сонливо поклонился; во всей наружности его не проявилось ни малѣйшаго движенія, и только глаза отрывались каждую секунду, чтобъ слѣдить за бѣгомъ лошади.

— При жизни покойнаго вашего батюшки, Степана Петровича, я часто бывалъ въ Золотыхъ-Прудахъ, началъ Аристархъ Ѳедоровичъ:—скажу безъ лести, но съ грустью въ сердцѣ, съ грустью, возбужденною сладкимъ воспоминаніемъ: покойный Степанъ Петровичъ питалъ ко мнѣ истинно дружеское расположеніе... Смѣю надѣяться, что достойный наслѣдникъ почтеннаго и знаменитаго Степана Петровича пойдетъ, въ отношеніи ко мнѣ, по стопамъ благороднаго своего родителя!... добавилъ дипломатъ, откидываясь назадъ и протягивая обѣ руки съ увѣренностью искренняго душевнаго чувства.

— Очень радъ... пробормоталъ Старобѣльскій съ такимъ видомъ, который ясно показывалъ, что ему было совершенно все-равно. Разговаривая такимъ-образомъ, Аристархъ Ѳедоровичъ продолжалъ осматривать фигуру Старобѣльскаго съ большимъ участіемъ.

То былъ высокій, худощавый, заспанный мужчина съ необычайно-широкими, хотя бѣлыми и нѣжными ладонями; лицо Старобѣльскаго, пропитанное выраженіемъ лѣни, дошедшей до крайнихъ своихъ предѣловъ, отличалось отсутствіемъ какого бы то ни было оживленія; губы его были безкровны; тонкія, правильныя, изящно-нарисованныя черты лица его могли бы составлять въ общемъ прекрасную, благородную наружность, еслибъ не вредила всему какая-то опухлость, какое-то размягченіе и желтизна мясистыхъ частей — обыкновенное слѣдствіе лежачей жизни и бездѣйствія. Ему было, однако-жъ, никакъ не болѣе тридцати-пяти или, много-много, тридцати-семи лѣтъ; онъ былъ, что называется, мужчина въ полномъ соку и цвѣтѣ лѣтъ. Фигура его имѣла постоянно-наклоненное, въ высшей степени вялое, меланхолическое положеніе; онъ, казалось, всегда думалъ о чемъ-то, хотя не было никакой возможности прочесть на его лицѣ, лбу и въ глазахъ отпечатокъ какой-нибудь положительной мысли.

Въ настоящую минуту, какъ и всегда впрочемъ, на немъ былъ коричневый суконный казакинъ, подбитый сѣрыми мерлуш-

ками, плотно перетянутый ременнымъ поясомъ, выложеннымъ серебряными бляхами съ чернью. Черный галстукъ, завязанный по-военному, и синіе широкіе шаровары, запрятанные въ сапожки съ вострыми носками, загнутыми по-турецки, довершали его одежду. Лѣвая рука его держала трубку съ огромнымъ, вычурнымъ янтаремъ на концѣ.

Какъ мы уже сказали, неподалеку отъ Старобѣльскаго находилась группа конюховъ, вооруженная бичами и арапниками; но зоркій и проницательный взглядъ Аристарха Ѳедоровича умѣлъ отыскать въ этой группѣ четырехъ человѣкъ, одежда и аттрибуты которыхъ ясно показывали, что они не принадлежали къ кучерскому сословію: то былъ, во-первыхъ, мальчикъ, съ старымъ шелковымъ кисетомъ и всѣми принадлежностями для чистки и набиванія трубки; потомъ еще мальчикъ, державшій обѣими руками серебряный подносъ съ колотымъ сахаромъ; потомъ какой-то коренастый малый съ красными щеками, нѣчто въ-родѣ форрейтора, съ залихватскими, вертлявыми пріемами и такимъ наглымъ взглядомъ, который тотчасъ же напомнилъ Аристарху Ѳедоровичу Попельковскаго; было, наконецъ, еще одно существо, удостоившееся обратить на себя особенное вниманіе нашего героя: существо это имѣло два горба, спереди и сзади, и, сверхъ-того, прихрамывало немилосерднѣйшимъ образомъ на лѣвую ногу; лицо этого человѣка, заостренное, какъ у лисицы, и почти такое же желтое, не оставалось ни минуты въ покоѣ и производило, одну за другой, самыя страшныя гримасы; уродливое туловище, какъ-бы повинуясь движеніямъ физіономіи, ёжилось, принимало комическія позы, между тѣмъ, какъ кривая нога выкидывала разныя, болѣе или менѣе, забавныя колѣнца. Онъ былъ въ замасленомъ жабо и во фракѣ. Въ рукахъ его находилась большая двѣнадцати-струнная гитара; каждый разъ, какъ костлявые пальцы горбуна прикасались къ струнамъ, лицо его, а за нимъ и все туловище, переполнялись корчами; онъ выставлялъ впередъ хромую ногу, мурлыкалъ какую-то пѣсню и вытягивалъ лицо по направленію къ Старобѣльскому, обнаруживая явное намѣреніе разсмѣшить его.

Для всѣхъ этихъ наблюденій Аристарху Ѳедоровичу достаточно было, разумѣется, одного бѣглаго взгляда.

Онъ кашлянулъ и поспѣшилъ завязать разговоръ.

— Вы, Александръ Степанычъ, сколько я замѣчаю, большой охотникъ до лошадей? началъ Балахновъ.

— Да, я охотникъ, сказалъ разсѣянно Старобѣльскій.

— Впрочемъ... ну да, конечно... разумѣется! съ живостью подхватилъ Аристархъ Ѳедоровичъ: — обладая такимъ заводомъ, какъ вашъ, весьма естественно сдѣлаться охотникомъ... Впрочемъ, и то сказать надо: вѣдь благороднѣйшее животное, это — лошадь! Я всегда удивлялся, право, за что льва величаютъ благороднѣйшимъ четвероногимъ? Это несправедливо, совершенно несправедливо! Лошадь заслуживаетъ несравненно болѣе такой эпитетъ... Посмотрите, ну, посмотрите, Бога-ради... посмотрите! добавилъ онъ восторженно, указывая Старобѣльскому на лошадь, бѣгавшую на кордѣ.

— Добрый конь! сказалъ Старобѣльскій...

— Какая грація! сила! могущество! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Неудивительно, вымолвилъ Старобѣльскій: — Полканъ, отецъ этой лошади, тотъ самый Полканъ, что выигралъ прошлаго года второй призъ на московской скачкѣ...

Аристархъ Ѳедоровичъ обнаружилъ восторженное желаніе увидѣть Полкана.

— Эй, Костыль! забасилъ Старобѣльскій, медленно поворачиваясь къ конюхамъ.

Изъ ближайшей группы выскочилъ дюжій, приземистый кучеръ, съ черными волосами, черными глазами и такими толстыми губами, которыя занимали почти третью часть лица.

— Вывести Полкана! произнесъ Старобѣльскій.

Тутъ Старобѣльскій обратился къ другой группѣ, стоявшей у столба, сказалъ, чтобъ перестали гонять лошадь, и приказалъ подвести ее къ себѣ.

— Какое ей прозвище? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Побѣда! отвѣчалъ Старобѣльскій, подзывая мальчика, державшаго подносъ съ сахаромъ.

— Ужъ подлинно, что такъ! настоящая побѣда! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, когда два конюха подвели взнузданную лошадь: — о, Побѣда, Побѣда, милая Побѣда, Побѣдушка! подхватилъ онъ, осторожно поглаживая лошадь и пощелкивая языкомъ, между-тѣмъ, какъ Старобѣльскій давалъ лошади сахаръ.

— Александръ Степанычъ, Сан...дръ... Ст...чъ! зашипѣлъ неожиданно горбунъ, подходя къ Старобѣльскому и принимаясь производить самыя страшныя кривлянья.

— Пошелъ, дуракъ! сказалъ Старобѣльскій, не обращая на него ни малѣйшаго вниманія.

— Сндръ... Ст...пчъ!... продолжалъ шипѣть горбунъ, поддерживая одною рукою гитару, тогда какъ другая рука его протягивалась къ барину:—а мнѣ-то что-жъ сахарку?... молодую-то лошадь холите, а что-жъ старой-то клячѣ... и старой клячѣ сахарку пожалуйте, сударь...

— Пошелъ, дуракъ! повторилъ тѣмъ же однообразнымъ тономъ Старобѣльскій.

Горбунъ сдѣлалъ жалкую гримасу, закатилъ глаза подъ лобъ, вытянулъ голову по направленію къ барину и, прильнувъ къ его поясу, запѣлъ тоненькимъ, дрожащимъ голосомъ:

Берточка! милочка!...
Тра-та-та, тра-та...

— Пошелъ, дуракъ! повторилъ Старобѣльскій, не измѣняя на волосъ прежней интонаціи, между-тѣмъ, какъ дворня и конюхи скалили зубы, фыркали отъ удовольствія и подмигивали другъ другу.

— Поставить Побѣду въ конюшню! сказалъ Старобѣльскій. — Не угодно ли вамъ, мсьё Балахновъ, пройдти въ домъ? промолвилъ онъ флегматически, обращаясь къ гостю.

— Очень радъ; это будетъ тѣмъ пріятнѣе для меня, что каждый шагъ, каждый предметъ перенесетъ меня, такъ сказать, къ тѣмъ незабвеннымъ временамъ, когда покойный Степанъ Петровичъ удостоивалъ меня своей дружбы... отвѣчалъ Балахновъ, выступая за сосѣдомъ и соображая въ то же время, что бы значило, что большая часть конюховъ и дворни направляются въ комнаты вслѣдъ за своимъ бариномъ.

Вступивъ въ переднюю, Аристархъ Ѳедоровичъ увидѣлъ знакомый ему рядъ комнатъ, обитыхъ старымъ, полинялымъ штофомъ или оштукатуренныхъ подъ фальшивый мраморъ.

— Я живу наверху, сказалъ Старобѣльскій, приглашая гостя подняться по дубовой лѣстницѣ съ массивными точеными балясами.

Стѣны, окружавшія лѣстницу, оклеены были обоями, изобра-

жавшими похожденія Телемака на островѣ Калипсо; потолокъ расписанъ былъ гирляндами изъ розъ, посреди которыхъ красовались бѣлые голубки съ голубыми ленточками на шеѣ. Пыль и паутина покрывали углы и карнизы этого входа, отъ котораго пахло цѣлымъ столѣтіемъ. Комната Старобѣльскаго располагалась непосредственно послѣ небольшой прихожей и выходила тремя окнами на ту часть двора, гдѣ, нѣсколько минутъ назадъ, гоняли на кордѣ Побѣду. Внутренній видъ этой комнаты не лишенъ былъ нѣкоторой оригинальности. На одной стѣнѣ красовался конеръ и на этомъ коврѣ висѣли въ безпорядкѣ: калмыцкая нагайка, башкирская уздечка, тунгузскій мохнатый колчанъ съ обломанными стрѣлами, мѣдный рогъ, два-три кинжала, казацкое сѣдло и проч.; надъ печкой висѣлъ портретъ Полкана, котораго держалъ за узду извѣстный ужъ губастый конюхъ; картина была, впрочемъ, написана извѣстнымъ Сверчковымъ. Промежутки между окнами заняты были полочками съ блиставшими на нихъ серебряными кубками, блюдами и другими призами, выигранными на скачкахъ лошадьми Старобѣльскаго. За исключеніемъ этихъ предметовъ, не было ничего достойнаго вниманія, если не считать, однако-жъ, остова дяди Полкана, довольно искусно сохраненнаго и укрѣпленнаго въ доску, выкрашенную подъ цвѣтъ зелени. Полдюжины англійскихъ литографій, изображавшихъ болѣе или менѣе знаменитыхъ скакуновъ; диванъ, покрытый обношеннымъ зеленоватымъ сафьяномъ, пара такихъ же креселъ, столъ изъ краснаго дерева, на немъ раскрашенная статуэтка лошади, гербовая фамильная печать, два-три конверта съ пятью печатями, „Руководство къ верховой ѣздѣ“ и еще другая брошюрка въ пять страницъ „О различныхъ способахъ вылѣчиванія сапа и прочихъ конскихъ болѣзней“ — довершали общій видъ этой комнаты.

Изумленіе Аристарха Ѳедоровича возросло до неимовѣрной степени, когда увидѣлъ онъ, что толпа, сопровождавшая его по лѣстницѣ, вошла въ кабинетъ и расположилась у двери. Впереди всѣхъ выступалъ горбунъ, непереставшій бренчать на своей гитарѣ.

— Зачѣмъ пускаете вы сюда этого дурака?...' сказалъ Старобѣльскій, очевидно, съ тѣмъ только, чтобъ сказать что-нибудь.— Эй, Грызловъ! промолвилъ онъ, поворачиваясь къ двери.

Изъ толпы выскочилъ сѣдоволосый старецъ, въ синемъ фракѣ и бѣломъ миткалевомъ галстукѣ.

— Что, жаворонокъ пѣлъ? заботливо спросилъ Старобѣльскій.

— Никакъ нѣтъ-съ...

— Странно... отчего-жъ онъ не поетъ?

— Не могу знать-съ...

— Хорошо, ступай...

— Что это за жаворонокъ? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, сообщая своему голосу интонацію дѣтскаго добродушія.

— Нѣтъ... такъ... третьяго-дня принесли жаворонка... отвѣчалъ не-хотя Старобѣльскій.

— И онъ не поетъ? съ жалостливымъ участіемъ спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Нѣтъ...

«Не поетъ... жаворонокъ...
Не поетъ... Берточка, милочка!...

зашипѣлъ неожиданно горбунъ, прихрамывая и закатывая глаза подъ лобъ.

— Пошелъ, дуракъ! произнесъ Старобѣльскій.

— Странно... я, право, не постигаю, отчего-жъ, въ самомъ дѣлѣ, не поетъ этотъ жаворонокъ!... сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ; а впрочемъ, знаете что, прибавилъ онъ наивно: — я слышалъ, имъ не мѣшаетъ иногда подсвистывать...

Но Старобѣльскій, неизвѣстно почему, перемѣнилъ разговоръ и обратилъ вниманіе гостя на призы. Вытягивая каждое слово на три аршина, онъ сообщилъ гостю подробную исторію о томъ, какая лошадь выиграла какой призъ, на сколько шаговъ опередила свою соперницу; разсказалъ затѣмъ весьма интересную біографію одной гнѣдой кобылы, по имени Юнона, и заключилъ біографію трогательнымъ повѣствованіемъ о томъ, что эта самая Юнона приводилась внучатной сестрой дяди Полкана, остовъ котораго Аристархъ Ѳедоровичъ видѣлъ теперь передъ собою.

Аристархъ Ѳедоровичъ запылалъ страстнымъ желаніемъ увидѣть, какъ можно скорѣе, Юнону.

— Эй, Костыль! крикнулъ Старобѣльскій. Явился губастый конюхъ.

— Сказать, чтобъ вывели Юнону, сонливо продолжалъ Ста-

робѣльскій. — Постой, какъ будешь въ конюшнѣ, загляни-ка, кстати, что подѣлываетъ Побѣда... Ступай!

Минутъ пять спустя, губастый Костыль объявилъ, что Юнону сейчасъ выведутъ.

— Ну, а Побѣда что? спросилъ Старобѣльскій.

— По-прежнему, сударь: хрипитъ и бьетъ копытами...

— А!... ну, такъ постой же... есть ли у ней овесъ?

— Какъ же, сударь, только-что засыпали.

— Ну, такъ сходи же опять на конюшню... возьми у ней двѣ пригоршни овса — смотри, такъ только, чтобъ она не видала, заботливо прибавилъ Старобѣльскій: — и всыпь эти пригоршни въ стойло козлу. Ступай! заключилъ онъ, проявляя на губахъ задумчивую улыбку и приглашая гостя къ окну, за которымъ раздавались ужъ фырканье и нетерпѣливый топотъ копытъ.

Въ то время, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ расточалъ похвалы неподражаемымъ свойствамъ Юноны, сѣдовласый камердинеръ Старобѣльскаго и еще два какіе-то лакея внесли въ кабинетъ столъ, покрытый скатертью и снабженный всѣмъ нужнымъ для обѣда.

Хозяйствомъ Старобѣльскаго завѣдывала какая-то Анна Егоровна, да еще старая его нянька, которая, сверхъ своей должности, обязана была являться каждое утро съ тѣмъ, чтобъ сдѣлать питомцу проборъ на головѣ и разсказать ему сказку — и потому нѣтъ ничего удивительнаго, если обѣдъ Старобѣльскаго доставилъ голодному Аристарху Ѳедоровичу новый случай къ изумленію; главнымъ поводомъ къ изумленію послужилъ, впрочемъ, самъ хозяинъ, который не переставалъ освѣдомляться о томъ, что подѣлываетъ та или другая лошадь, какъ ведетъ себя козелъ; приказывалъ овесъ, данный козлу, пересыпать украдкою Полкану, потомъ измѣнялъ неожиданно свою строгость въ отношеніи къ козлу и т. д. Разъ, впрочемъ, одинъ только разъ, хозяинъ дома обратился къ гостю съ вопросомъ о томъ, пробовалъ ли онъ когда-нибудь лошадиное мясо, на что Аристархъ Ѳедоровичъ объявилъ съ сожалѣніемъ, что никогда не удавалось.

Послѣ того, какъ мальчикъ, приставленный къ табачному кисету, подалъ гостю и хозяину трубки, Старобѣльскій пригла-

силъ Аристарха Ѳедоровича прогуляться въ конюшню; гость изъявилъ живѣйшую готовность.

И хорошо сдѣлалъ, очень даже хорошо сдѣлалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, потому-что конюшни Старобѣльскаго представляли дѣйствительно нѣчто весьма замѣчательное въ своемъ родѣ.

Перегородки, обозначавшія стойла, были сдѣланы изъ лакированнаго дуба; повсюду воздвигались точеные столбы изъ такого же дерева, увѣнчанные мѣдными шарами, сіявшими, какъ золото; на каждомъ столбѣ висѣла мѣдная доска, коротко, но краснорѣчиво извѣщавшая о томъ, передъ какою лошадью имѣете вы честь находиться, сколько ей лѣтъ, кто такіе были ея предки и проч. Лошади (а ихъ было около двухсотъ) блистали — словно ихъ заодно покрыли лакомъ вмѣстѣ съ стойлами. Тщательно убитый и посыпанный пескомъ полъ, красныя рубашки кучеровъ, пурпуровыя попоны, пестрые банты, вплетенные въ гривы нѣкоторыхъ любимыхъ лошадей Старобѣльскаго — все это зарябило страшнѣйшимъ образомъ въ глазахъ Аристарха Ѳедоровича. Показавъ гостю отдѣленіе скаковыхъ лошадей, Старобѣльскій провелъ его въ отдѣленіе рысаковъ, иноходцевъ и, такъ называемыхъ, троечныхъ скакуновъ. Аристархъ Ѳедоровичъ увидѣлъ, что, при окончаніи каждаго отдѣленія, тамъ, гдѣ былъ выходъ, устроено было особенное мѣсто, обшитое коврами, снабженное двумя отличными диванами, столомъ, лампою, — словомъ, всѣмъ, нужнымъ для комфортабельнаго отдыха; будуары эти, какъ разсказывалъ впослѣдствіи Балахновъ, служили дѣйствительно любимымъ мѣстопребываніемъ Старобѣльскаго. Изъ отдѣленія троечныхъ скакуновъ Аристархъ Ѳедоровичъ перешелъ въ отдѣленіе кобылъ, кормившихъ сосуновъ; проникнулъ даже въ лазаретъ. Затѣмъ пошли въ отдѣленія хомутовъ, уздечекъ и подсѣдельниковъ, отдѣленіе бѣговыхъ дрожекъ и щегольскихъ казанскихъ телѣжекъ, отдѣленіе саней и возжей, и т. д. Но сколько бы ни было отдѣленій, будь ихъ хоть вдвое, втрое, вчетверо больше, Аристархъ Ѳедоровичъ и тутъ не истощилъ бы своего запаса восторженныхъ восклицаній и похвальныхъ монологовъ въ честь достойнаго потомка покойнаго Степана Петровича! Аристархъ Ѳедоровичъ полагалъ... нѣтъ, онъ твердо увѣренъ былъ, что до-сихъ-поръ ничѣмъ нельзя было удивить его, что всѣ предметы, какъ внутренняго, такъ и внѣшняго міра, были ему равно извѣстны; но онъ горько ошибался; да, къ чему лу-

кавить! онъ горько ошибался! Онъ чистосердечно сознался Старобѣльскому, что не только не встрѣчалъ, но даже во снѣ не видывалъ ничего такого, что могло бы хоть сколько-нибудь уподобиться величію его конюшень!

Рѣчь Аристарха Ѳедоровича звучала такою искренностью, въ ней было столько истиннаго, неподдѣльнаго добродушія и восторга, что, слушая ее, Старобѣльскій проявилъ оживленіе и на безцвѣтныхъ губахъ его сохранилась улыбка до того самаго времени, какъ оба они переступили порогъ дома.

Ихъ давно ужъ ожидалъ чай.

— Эй, Грызловъ! сказалъ Старобѣльскій, входя въ кабинетъ.

Явился сѣдоволосый камердинеръ.

— Что, жаворонокъ пѣлъ? спросилъ Старобѣльскій, дѣлая на лбу своемъ двѣ-три морщины.

— Пѣлъ, сударь, только потихоньку...

— Не-ужъ-то?...

— Точно такъ-съ: пѣлъ, но только потихоньку, повторилъ Грызловъ.

Морщины, появившіяся на лбу Старобѣльскаго, мигомъ исчезли и на губахъ его снова появилась улыбка.

Ничего неизвѣстно о томъ, что подумалъ въ эту минуту Аристархъ Ѳедоровичъ; неизвѣстно также, какое благопріятное предзнаменованіе заключалось для Аристарха Ѳедоровича въ улыбкѣ Старобѣльскаго; достовѣрно одно, что вмѣстѣ съ этой улыбкой лицо великаго человѣка мгновенно просіяло, какъ-будто мысль, зародившаяся мгновенно въ головѣ его, была зажженною свѣчкой, а самое лицо приняло свойство лучшаго бемскаго стекла. Онъ свирѣпо потеръ ладонями, какъ-будто готовился исторгнуть изъ нихъ пламя, устремилъ проницательный взглядъ на собесѣдника, кашлянулъ и сказалъ голосомъ, исполненнымъ невообразимой пріятности:

— А знаете ли что, мой почтеннѣйшій Александръ Степанычъ, если сказать правду — таково, впрочемъ, всегдашнее мое обыкновеніе — вѣдь я пріѣхалъ къ вамъ за дѣломъ...

— Очень радъ... протянулъ флегматически Старобѣльскій.

— Изволите видѣть: я пріѣхалъ къ вамъ за добрымъ совѣтомъ... и надѣюсь, скажу болѣе, увѣренъ, что вы, Александръ Степанычъ, не откажете въ этомъ совѣтѣ тому, который нѣкогда — зачѣмъ не могу сказать: теперь? — пользовался

дружбой достойнаго родителя вашего... Такъ ли, Александръ Степанычъ?... добавилъ великій человѣкъ, протягивая собесѣднику руку.

Старобѣльскій отвѣтилъ лѣнивымъ пожатіемъ и сонливо наклонилъ голову въ знакъ одобренія.

— Я въ этомъ не сомнѣвался! торжественно произнесъ Балахновъ: — и такъ, я долженъ сказать вамъ прежде всего, что давно имѣю намѣреніе завести конскій заводъ!

Аристархъ Ѳедоровичъ устремилъ пристальный взглядъ на собесѣдника и продолжалъ, воодушевляясь:

— Да, я имѣю это намѣреніе! Для этой цѣли я объѣздилъ всѣ заводы нашей губерніи... Долженъ ли сказать вамъ... да, я скажу, скажу съ тою искреннею прямизною, которая всегда меня отличала, скажу, что ничего не нашелъ въ этихъ заводахъ удовлетворительнаго. Пріѣхалъ я тогда въ Золотые-Пруды pour la bonne bouche, какъ говорится... Но вы сами знаете, какое впечатлѣніе произвело на меня вездѣ царствующее здѣсь великолѣпіе породъ и образцовый порядокъ! Основываясь на этомъ, я рѣшился, во-первыхъ, произвести закупку всѣхъ матокъ въ вашемъ заводѣ; во-вторыхъ, испросить у васъ совѣтовъ для первоначальнаго устройства обширнаго предпріятія, цѣль котораго не столько спекулятивная, разумѣется, сколько та именно, чтобъ удовлетворить собственному задушевному стремленію... Я самъ страстный коннозаводчикъ, Александръ Степанычъ! заключилъ Балахновъ тономъ торжественной откровенности.

— Что-жъ, очень радъ! вымолвилъ Старобѣльскій, лѣниво протягивая руку къ стакану.

— Я въ этомъ не сомнѣвался! воскликнулъ дипломатъ, горячо пожимая ему руку. — Предметъ, какъ видите, достоинъ того, чтобъ посвятить ему нѣкоторое время... примолвилъ Балахновъ, снова устремляя проницательный взглядъ на сосѣда.

— Конечно... протянулъ Старобѣльскій.

— Безъ сомнѣнія! подтвердилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

Тутъ великій человѣкъ кашлянулъ и придвинулся къ собесѣднику.

— Изволите ли видѣть, въ чемъ дѣло: предпріятіе, касательно завода, хочется мнѣ начать какъ можно скорѣе, до зимы, а такъ-какъ времени остается мало, и притомъ намъ, какъ

вамъ извѣстно, предстоитъ еще прожить на выборахъ безъ-малаго три недѣли, то просьба моя будетъ заключаться въ слѣдующемъ: Александръ Степанычъ, не откажите удѣлить мнѣ нѣсколько часовъ въ губернскомъ городѣ... Тамъ, на свободѣ, мы переговоримъ обо всемъ и заключимъ всѣ условія... досказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, проникая испытующимъ взглядомъ въ мельчайшіе изгибы души своего собесѣдника.

— Пріѣзжайте ко мнѣ лучше послѣ выборовъ... сказалъ Старобѣльскій.

— Но отчего же не можемъ сговориться мы въ губернскомъ городѣ?... вѣдь время-то, время не терпитъ, Александръ Степанычъ! произнесъ Балахновъ, и при этомъ голосъ его замѣтно вздрогнулъ.

— Я не поѣду на выборы, отвѣчалъ Старобѣльскій, проникнутый теперь, какъ и прежде, безпредѣльной сонливостью.

— Какъ?... воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ тономъ человѣка, подъ которымъ неожиданно проламывается мостъ.

— Я никогда не ѣзжу на выборы, сказалъ Старобѣльскій, медленно поднимая глаза на портретъ Полкана.

— Какъ... ка-а-а-къ? (тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ поставилъ на столъ стаканъ, изъ опасенія пролить на столъ остатокъ чая): — такъ вы рѣшительно не поѣдете на выборы? примолвилъ онъ, дѣлая особенное удареніе на слово „рѣшительно“, чтобъ въ вопросѣ его не оказалось ни малѣйшаго недоумѣнія.

— Рѣшительно не поѣду! подтвердилъ Старобѣльскій.

Но Аристархъ Ѳедоровичъ все еще не вѣрилъ словамъ своего сосѣда и продолжалъ отшучиваться до-тѣхъ-поръ, пока тотъ окончательно не отнялъ у него послѣдней надежды.

— Ай да Александръ Степанычъ! ну, ужъ нечего сказать, не подозрѣвалъ я, признаться, въ васъ такого равнодушія! Ха! ха! добродушно заливался Аристархъ Ѳедоровичъ, между-тѣмъ, какъ багровые кружки замѣтно начинали проступать на щекахъ его, а нижняя губа, выступая впередъ, выражала презрѣніе и жалость. — Ну, скажите же, по-крайней-мѣрѣ, какъ вы распорядились на этотъ счетъ?... Кому отдали вы свой голосъ? Послушайте, ха, ха! отдайте его мнѣ... право... хи, хи, хи!... залился онъ снова, чтобъ скрыть волненіе, которое, подобно антонову огню, разбѣгалось невольно по всѣмъ его членамъ.

— Къ сожалѣнію... произнесъ Старобѣльскій.

Аристархъ Ѳедоровичъ обмеръ.

— Къ сожалѣнію, не могу, подхватилъ Александръ Степановичъ: — на-дняхъ писалъ ко мнѣ Окатовъ... и я отдалъ ему свой голосъ.

Не успѣлъ Старобѣльскій произнести роковыя эти слова, какъ уже багровые кружки разлились и мигомъ охватили благородную физіономію нашего героя. Онъ зашатался, проворно опустилъ правую руку, чтобъ предостеречь себя отъ паденія, но при всемъ томъ, имѣлъ все еще столько твердости духа, что остался въ перпендикулярномъ положеніи и даже протянулъ лѣвую руку къ стакану, какъ-бы ни въ чемъ не бывало!

Во все это время Старобѣльскій сидѣлъ на диванѣ и, сонливо опустивъ голову, глядѣлъ съ видомъ печальнаго раздумья на остовъ Полканова дѣда. Мысли его, попавъ разъ на этотъ замогильный предметъ, блуждали въ немъ до-тѣхъ-поръ, пока Аристархъ Ѳедоровичъ не вызвалъ ихъ въ дѣйствительный міръ слѣдующими словами:

— Прощайте, мой почтеннѣйшій!

Къ несчастію, послѣднія слова, сказанныя Аристархомъ Ѳедоровичемъ Старобѣльскому, не сохранились для назиданія потомства.

Конюхи, и въ томъ числѣ хромой горбунъ, провожавшій гостя до крыльца, увѣряли, однако-жъ, что послѣднія слова великаго человѣка, когда онъ сѣлъ въ коляску (разумѣется, они не поняли глубокаго значенія этихъ словъ), состояли изъ слѣдующихъ отрывковъ: „Пропалъ день!... драгоцѣнное время!... обѣдъ въ пятницу!... идіотъ!... черезъ недѣлю выборы... авось!... уповаю!... наша возьметъ!“ и т. д.; но какъ бы то ни было, справедливы ли показанія кучеровъ и конюховъ или не справедливы, слова эти останутся, безъ сомнѣнія, драгоцѣнными памятниками въ исторіи горшковскаго краснорѣчія...

XVII

представляетъ достовѣрный отчетъ о первыхъ дѣйствіяхъ и первыхъ впечатлѣніяхъ Аристарха Ѳедоровича въ губернскомъ городѣ Черноряжскѣ.

18... неизвѣстнаго и притомъ вовсе неинтереснаго года — такого года, который, по какому-то странному стеченію

обстоятельствъ, не ознаменовался ни землетрясеніями, ни затмѣніями, ни историческими событіями, ни даже сильными морозами и мятелями — въ послѣднихъ числахъ октября, въ губернскомъ городѣ Черноржскѣ происходило необычайное оживленіе. Изъ этого ясно, кажется, слѣдуетъ, что вышеозначенный годъ могъ утратить свое значеніе для одного лишь ученаго міра. Что-жъ касается до обыкновенныхъ смертныхъ, онъ, безъ сомнѣнія, возбудитъ въ каждомъ заслуженное удивленіе и, сверхъ-того, глубокое сочувствіе. О черноржскихъ жителяхъ и говорить нечего: достойный годъ этотъ изгладилъ изъ ихъ памяти всѣ остальныя воспоминанія и, само собою разумѣется, никогда не перестанетъ служить любимымъ предметомъ разговора. По-крайней-мѣрѣ, тамошніе старожилы о сю пору еще указываютъ на него съ гордостью; экспромпты, сочиненные черноржскими бардами въ честь этого славнаго года, не перестали еще пользоваться всѣми преимуществами самой свѣжей новости; черноржскія кумушки, мамушки и вдовушки, живущія на форштадтахъ въ перекосившихся домикахъ, повѣствуютъ о немъ на всѣхъ перекресткахъ, какъ о вчерашнемъ событіи. Такъ по-настоящему оно и слѣдуетъ.

Дѣло въ томъ, что въ этотъ достопамятный годъ въ Черноржскѣ происходили губернскіе выборы. Всякому, я полагаю, извѣстно, что выборы имѣютъ такое же точно значеніе въ жизни губернскихъ городовъ, какъ именины, день рожденія, крестины или свадьба въ существованіи смертныхъ. Благотворное вліяніе выборовъ можно сравнить только съ дѣйствіемъ іюльскаго ливня на пересохнувшую ниву: какъ тутъ, такъ и тамъ, каждый цвѣтокъ, каждая травка получаетъ первобытную свою свѣжесть и приподнимаетъ голову. Все оживаетъ тогда въ губернскомъ городѣ; даже такіе господа, которымъ прежде въ тягость было набить трубку помощью собственныхъ рукъ, проявляютъ во всѣхъ членахъ своего организма необычайную суету и прыткость.

Недѣли еще за три до назначеннаго срока, Черноржскъ, какъ-бы повинуясь тайному дѣйствію волшебнаго жезла, мгновенно измѣнилъ свою повседневную наружность. По всѣмъ улицамъ: по Никольской, Московской, Дворянской и т. д. потащились тарантасы, рыдваны, щегольскія коляски и другіе болѣе или менѣе затѣйливые экипажи на всемъ этомъ; рѣзко

проступали слѣды долгаго, труднаго странствія по проселкамъ; подножки и кузовы забрызганы были грязью, колёса переплетены веревками; искалѣченныя, хотя новыя оси, лопнувшія шины и сломанныя втулки ясно свидѣтельствовали о неоднократныхъ поправкахъ, произведенныхъ ненадежными подорожными кузнецами. Изъ-подъ кожаныхъ фартуковъ, отверстій, щелей и оконъ экипажей выглядывали физіономіи, принадлежавшія особамъ всѣхъ половъ и возрастовъ; кое-гдѣ высовывались углы и крышки коробковъ, картонокъ для дамскихъ шляпъ, узелковъ, шкатулокъ, бауловъ; торчали также кое-гдѣ подушки, одѣяла, полосатые тюфяки. Усталость, изнеможеніе проступали на всѣхъ лицахъ безъ исключенія; но все это постепенно сглаживается выраженіемъ того радостнаго нетерпѣнія, какое испытываетъ каждый смертный, когда, утративъ уже надежду, достигаетъ наконецъ обѣтованной цѣли. Взоры многихъ съ безпокойствомъ устремляются въ отдаленныя части улицъ, стараясь встрѣтить, какъ можно скорѣе, слугу, посланнаго за недѣлю прежде, съ тѣмъ, чтобъ пріискать удобную квартиру. Движеніе тарантасовъ увеличивается и поражаетъ своимъ бряцаньемъ непривычный слухъ черноряжскихъ мѣщанокъ, которыя принимаютъ, повидимому, твердое намѣреніе не покидать воротъ своихъ домиковъ. Иначе, впрочемъ, и нельзя сдѣлать: многія за мѣсяцъ еще отдали свои покойчики, клѣтушки и даже самоваръ и корову въ наемъ пріѣзжимъ помѣщикамъ. Народонаселеніе Черноряжска увеличивается съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ. Вмѣстѣ съ этимъ увеличивается, безъ сомнѣнія, и цѣна на самые потребительные припасы: сѣно, овесъ, куры, яйца, овощи получили вдругъ сверхъестественное значеніе. Торговля принимаетъ самые широкіе размѣры; столовое вино вздорожало неимовѣрно; сахаръ отпускается въ учетверенномъ и даже ушестеренномъ количествѣ; то же самое происходитъ съ чаемъ и другими колоніальными продуктами. Купцы не успѣваютъ отмѣривать ленты на чепцы и кисею на платья. Аптека приняла также свои мѣры въ отношеніи наивозможно-болѣе поспѣшной дистиллировки о-де-колона, розовой и мятной воды и другихъ спецій, общеупотребительныхъ въ дамскомъ туалетѣ. Заѣзжая прислуга показывается чаще и чаще въ распивочныхъ, штофныхъ и трактирахъ, гдѣ, за парою чая или другимъ болѣе крѣпительнымъ напиткомъ, прислушивается

къ разсказамъ половаго, повѣствующаго о текущихъ новостяхъ, предстоящихъ увеселеніяхъ, только-что отстроенномъ театрѣ и проч. Черезъ дворы поминутно перебѣгаютъ вертлявыя горничныя съ утюгами, шемизетками, юбками и крахмаломъ, взятымъ въ лавочкѣ; исполинскія кисти на фуражкахъ писцовъ и протоколистовъ замелькали въ воздухѣ и въ трактирахъ. Народонаселеніе продолжаетъ между-тѣмъ усиливаться, и вмѣстѣ съ нимъ усиливается, разумѣется, пестрота и движеніе. Ужъ многіе экипажи наполнили дворы и, за неимѣніемъ мѣста, высунулись кое-гдѣ изъ воротъ на улицу. Слышно ужъ, что въ гостинницахъ и на постоялыхъ дворахъ не остается порожняго уголка. Черноряжскъ наполняется какъ улей. Чаще и чаще начинаютъ появляться на улицахъ коляски и кареты, въ которыхъ сидятъ разодѣтыя дамы, отправляющіяся дѣлать визиты. Мужчины также отправляются дѣлать визиты; но лица ихъ при этомъ далеко не выражаютъ того легкомыслія, той безпечности, какая видна на лицахъ женъ и дочерей: лица мужчинъ отличаются глубокомысліемъ и носятъ всѣ признаки сильной головоломной работы; шопотъ, многозначительное подмигиванье, таинственное движеніе бровей тотчасъ же даютъ знать о важности предстоящаго событія. Въ ожиданіи этого событія, визиты заступаютъ, повидимому, мѣсто всѣхъ дѣлъ и помышленій. Вмѣстѣ съ визитами каждый домъ въ Черноряжскѣ, каждая почти квартира обращаются въ маленькій департаментъ иностранныхъ дѣлъ. И тогда какъ въ черноряжскихъ гостиныхъ раздаются веселые голоса женъ и дочерей, въ кабинетахъ слышится густой дѣловой гулъ мужей, отцовъ, братьевъ и дѣдовъ, которые съ безпристрастіемъ, свойственнымъ вообще человѣческому роду, толкуютъ о томъ или другомъ сосѣдѣ, созидаютъ проекты, планы, рѣшаютъ самые многосложные вопросы, опрокидываютъ навзничь дивныя соображенія, обдуманныя на досугѣ, или въ тяжелое время безсонной ночи, оспариваютъ запутанныя предложенія и, нимало не задумываясь, излагаютъ въ краснорѣчивѣйшихъ формахъ такія дипломатическія тонкости, которымъ позавидовалъ бы самъ Талейранъ.

Но всѣ эти планы, проекты, мысли, все это броженіе умовъ, происходившее въ Черноряжскѣ, показалось бы слабымъ, младенческимъ, ничтожнымъ и нестоющимъ вниманія, сравнительно

съ тѣмъ, что совершалось въ это время въ головѣ одного Аристарха Ѳедоровича. Оно дѣйствительно такъ и было.

Вотъ ужъ третій день, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ поселился въ Черноряжскѣ. Поселился онъ на главной улицѣ и занялъ бельэтажъ огромнаго каменнаго дома. Богатый купецъ, владѣлецъ дома, еще мѣсяцъ тому назадъ, извѣщенъ былъ письмомъ, въ которомъ Балахновъ просилъ уступить ему на время выборовъ бельэтажъ, съ тѣмъ, чтобъ, по истеченіи срока найма, вознаградить владѣльца весьма значительною суммой. Купецъ, побѣжденный задаткомъ, искусно-вложеннымъ между страничками письма, изъявилъ полнѣйшее согласіе, и бельэтажъ, украшенный балкономъ, съ котораго можно было обозрѣвать весь Черноряжскъ, остался такимъ-образомъ за Балахновымъ.

Мы застаемъ Аристарха Ѳедоровича за письменнымъ столомъ. Отпечатокъ глубокихъ думъ сіяетъ, какъ звѣзда, на благородномъ челѣ горшковскаго дипломата. Передъ нимъ листъ бумаги, испещренный именами, увы! тѣхъ немногихъ особъ, которыя обѣщали ему свой голосъ; по лѣвую руку возвышается пачка дѣловыхъ писемъ, календарь и яркихъ цвѣтовъ фуляръ; по правую руку находится его знаменитая записная книжка. Одинъ изъ ящиковъ стола раскрытъ съ тою предусмотрительною цѣлью, чтобъ, въ случаѣ неожиданнаго визита, успѣть скрыть въ немъ списокъ голосовъ. Нечего и говорить, что пачка дѣловыхъ бумагъ и писемъ, такъ эффектно воздвигнутая по лѣвую руку, избѣгнетъ этой участи.

Намъ неоднократно представлялись случаи изумляться тому необычайному мужеству, съ какимъ Аристархъ Ѳедоровичъ переносилъ борьбу съ злѣйшими обстоятельствами жизни, такими обстоятельствами, передъ которыми человѣкъ, неодаренный особенной организаціей, непремѣнно склонилъ бы гордую голову и разсыпался въ дребезги. Было ли то дѣйствительно мужество, или умѣнье владѣть собою, основывалось ли то на упругости душевныхъ и сердечныхъ свойствъ, или, наконецъ, не было въ самомъ дѣлѣ такихъ крутыхъ обстоятельствъ, которыя были бы въ состояніи сокрушить нашего героя — все это такіе вопросы, которые рѣшить очень трудно. Обязанность наша ограничивается покуда изложеніемъ фактовъ; основываясь на этомъ, мы скажемъ, что никогда еще, быть можетъ, не встрѣчали нашего героя въ такой тревогѣ. Мысли его были устремлены, повиди-

мому, въ одно и то же время на всѣ возможные пункты губернскаго города, театра настоящихъ его дѣйствій. Продольная морщина, помѣщенная на высокомъ лбу его, проявляетъ нетерпѣливое движеніе всякій разъ, какъ у подъѣзда или даже въ отдаленіи раздается звукъ какого-нибудь экипажа.

— Сидоръ! кричитъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

Въ дверяхъ временнаго кабинета показывается Сидоръ, въ синемъ фракѣ, обшитомъ позументомъ, и красномъ жилетѣ съ свѣтлыми пуговицами; платье это, заказанное въ Москвѣ и хранимое до времени въ Ханскихъ-Прудахъ, обращаетъ на себя всякій разъ вниманіе Аристарха Ѳедоровича.

— Тамъ, братецъ, кажется, кто-то проѣхалъ?... смотри, не къ намъ ли?... говоритъ онъ, кивая головой къ окну.

— Никакъ нѣтъ, сударь, мимо... отвѣчаетъ Сидоръ.

Продольная морщина, приведенная въ движеніе бровями, которыя сильно нахмуриваются, принимаетъ видъ опрокинутаго ужа надъ глазами Аристарха Ѳедоровича; онъ нетерпѣливо отсылаетъ Сидора и еще сильнѣе задумывается.

И въ самомъ дѣлѣ, въ эти три дня никто еще не посѣтилъ Аристарха Ѳедоровича. Былъ одинъ лишь старичокъ — Пшеницынъ съ сыномъ, долговязымъ Ѳедей; но его, разумѣется, считать нечего, точно такъ же, какъ Попельковскаго, Ардаліона Александровича, котораго Аристархъ Ѳедоровичъ не удостоилъ даже принять. Что же касается до Балаклеева и другихъ, болѣе или менѣе значительныхъ городскихъ лицъ, которымъ Балахновъ сдѣлалъ визитъ на второй же день пріѣзда своего въ Черноряжскъ, всѣ они ограничились тѣмъ только, что остановились у подъѣзда Аристарха Ѳедоровича, вручили Сидору карточку съ загнутымъ угломъ и, не сказавъ слова, уѣхали дальше. Пріемъ госпожи Балаклеевой, не смотря на то, что Аристархъ Ѳедоровичъ изобразилъ ей въ краснорѣчивыхъ выраженіяхъ трогательное повѣствованіе о спасеніи сестры ея, былъ необычайно холоденъ; впрочемъ, Балахновъ встрѣтилъ у нея Софью Алексѣевну Окатову, и холодность пріема объяснилась сама собою. Кормонолѣй Степановичъ Бирюковъ, на котораго сильно разсчитывалъ теперь нашъ герой, не пріѣзжалъ еще; пріятели Чиндаласова, Крановичъ и Сербинъ, которымъ Аристархъ Ѳедоровичъ, согласно задуманному плану, долженствовалъ проиграть въ карты, также не пріѣзжали. Мясоитяновъ, солидный племянникъ Би-

рюкова, не былъ даже въ Ханскихъ-Прудахъ, въ пятницу, на знаменитомъ обѣдѣ (сказать мимоходомъ, обѣдъ этотъ далеко не достигъ своей цѣли). Все это было въ высшей степени скверно и неблагопріятно, но Аристархъ Ѳедоровичъ все еще обнадеживалъ себя мыслью, что ожидаемыя лица пріѣдутъ не сегодня, такъ завтра — и все пойдетъ, какъ по маслу.

Хуже всего, по мнѣнію Балахнова, было то, что Окатовы готовятся дать балъ тотчасъ же послѣ бала Балаклеевыхъ. Вотъ этого-то бала онъ никакъ не могъ переварить. Онъ твердо былъ увѣренъ, что окатовскій балъ будетъ чѣмъ-то въ родѣ конгресса, на которомъ, весьма легко можетъ статься, рѣшится его собственная судьба, точно такъ же, какъ судьба всѣхъ его приверженцевъ. Прибытіе Вирюкова, Мясоитянова, Сербина, Крановича и другихъ не будетъ ли въ этомъ случаѣ безполезно? При всемъ томъ, духъ Аристарха Ѳедоровича былъ еще бодръ; великій человѣкъ все еще не терялъ надежды выйдти побѣдителемъ изъ многотрудныхъ обстоятельствъ. Впрочемъ, Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ уже всѣ необходимыя распоряженія, чтобъ хоть сколько-нибудь предотвратить зло окатовскаго бала. Надлежало, во что бы ни стало, задать балъ или празднество, которое заставило бы говорить весь городъ и затмило бы все видѣнное донынѣ въ Черноряжскѣ. Съ первыми слухами о праздникѣ Окатова, Аристархъ Ѳедоровичъ послалъ въ Ханскіе-Пруды письмо съ нарочнымъ. Въ письмѣ ясно значилось, что Лизавета Семеновна должна немедленно прибыть въ Черноряжскъ; вмѣсто объясненій, Аристархъ Ѳедоровичъ написалъ только: „Взять всѣ бальныя платья и также для визитовъ; перчатки и цвѣты найдешь въ Черноряжскѣ...“ Внизу, вмѣсто постскриптумъ, Аристархъ Ѳедоровичъ просилъ захватить всѣ бумаги, касающіяся женинаго и дѣтскаго имѣнія; бумаги эти, писалъ онъ, необходимы для справокъ, касательно общаго положенія дѣлъ имѣнія въ Опекунскомъ Совѣтѣ.

Вотъ и все. Аристарха Ѳедоровича бѣсило, слѣдовательно, то только, что Окатовъ опередитъ его. „А впрочемъ, посмотримъ! думалъ онъ: — постараемся пригнать такимъ образомъ, чтобъ задать балъ наканунѣ самыхъ выборовъ... Свѣжее впечатлѣніе всегда сильнѣе дѣйствуетъ... Посмотримъ, гм! да, посмотримъ!...“ Въ одну изъ тѣхъ минутъ, когда Аристархъ Ѳедоровичъ, проникнутый насквозь такою утѣшительною мыслію,

потиралъ себѣ руки, Сидоръ доложилъ, что пришелъ Иванъ, служившій когда-то у Карачаева, пришелъ вмѣстѣ съ Калиною, и оба просятъ позволенія повидаться съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ.

— Хорошо, скажи, чтобъ вошли, произнесъ Балахновъ, улыбаясь при мысли, что Иванъ и Калина, извѣщенные, по всѣмъ вѣроятностямъ, людьми Окатова о предстоящемъ балѣ, сообщатъ ему кой-какія подробности: — скажи, чтобъ вошли, повторилъ онъ.

Минуту спустя, въ дверяхъ показалась веселая, добродушная физіономія карачаевскаго Ивана.

Онъ былъ во фракѣ; изъ-подъ его пестраго жилета, украшеннаго бронзовой цѣпочкой съ застежкою, изображавшею сердце, гордо выпучивалась туго-накрахмаленная манишка; въ лѣвой рукѣ его находилась шляпа, въ правой держалъ онъ свертокъ печатныхъ листовъ. Наружность Ивана отражала вообще довольство, достигшее высшихъ предѣловъ.

— Здравствуйте, сударь! сказалъ Иванъ, свободно раскланиваясь и почтительно закладывая за спину руку, вооруженную шляпой: — осмѣлился, сударь, обезпокоить васъ своимъ поклономъ... все ли вы, сударь, въ добромъ здоровьи?...

— Спасибо, любезный, спасибо, вымолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, покачиваясь въ креслахъ. — Ну, а гдѣ-жъ Калина?... мнѣ сказывали, что и онъ пришелъ...

— Здѣсь, сударь... произнесъ хриплый голосъ въ сосѣдней комнатѣ, при чемъ изъ-за половинки двери показались фалды затрапезнаго казакина и исполинскіе, загнутые вверхъ носки сапогъ.

— Добро пожаловать, Калина Васильичъ! шутливымъ тономъ крикнулъ Балахновъ: — дайте на себя взглянуть...

Калина медленно, словно не-хотя, вошелъ въ кабинетъ, отвѣсилъ сухой поклонъ, сталъ у двери и мрачно нахмурилъ брови. Въ наружности горшковскаго живописца произошли значительныя перемѣны: брови его и волоса посѣдѣли совершенно; клюковный носъ его изсиза-бирюзоваго цвѣта перешелъ въ ярко-малиновый и принялъ издали такой видъ, какъ-будто на него налѣпили листокъ краснаго маку.

— Здравствуй, старина! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, и вдругъ разразился смѣхомъ.

При этомъ глаза Калины исчезли окончательно подъ бровями.

— Здравія желаю, ваше благородіе! проговорилъ онъ самымъ недовольнымъ тономъ.

— Ну, что, какъ поживаешь?...

— Ничего, ваше благородіе, подхватилъ художникъ тѣмъ же обиженнымъ тономъ: — живемъ, слава Богу... чужаго хлѣба не ѣдимъ!...

— Гдѣ же ты живешь? спросилъ Балахновъ.

— Я нездѣ найду мѣсто, потому что, ваше благородіе, я все могу сполнить, все могу, подтвердилъ Калина голосомъ язвительнаго укора.

— Калина Васильичъ живетъ, сударь, покуда у меня, сказалъ Иванъ. — Я, какъ полагаю, извѣстно вамъ изъ газетъ, открылъ здѣсь театръ... такъ вотъ Калина Васильичъ насчетъ, то-есть, кулисъ и декорацій... всѣ эти дѣла у него на рукахъ... Хлопотъ, сударь, какъ вы изволите знать, много; безъ Калины Васильича мы не знали бы, что и дѣлать; здѣсь, сударь, не столица...

Калина расправилъ брови, развелъ руками и произнесъ словоохотливо:

— Извѣстно, что не столица... какая столица!... поди-ка поищи... У насъ, сударь, живетъ также при труппѣ... тотъ, бишь... знаете, ваше благородіе...

— Кто такой? разсѣянно спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Нѣтъ, сударь, Калина Васильичъ хотѣлъ вамъ сказать на-счетъ своей дочери... изволите помнить, что̀ Палашкой-то звали? заговорилъ съ поспѣшностью Иванъ, толкая сзади Калину и давая ему знать глазами, что онъ чуть-было не проболтался: — такъ и она, сударь, также находится при труппѣ, продолжалъ Иванъ съ увѣренностью: — покуда еще, конечно, ничего не дѣлаетъ, учится только; но, авось, Богъ дастъ, выучится, произойдетъ нашу науку, выпустимъ на сцену и станетъ доставать хлѣбъ старику своему... Сами изволите видѣть, человѣкъ ужъ въ лѣтахъ, не молодой, пора ему на покой! заключилъ Иванъ, указывая на Калину.

Калина стоялъ потуня голову и потиралъ ладонью глаза, въ которыхъ навертывались слезы.

— А дѣвчонка рѣзвая, славная такая, подхватилъ Иванъ: — ужъ на что, кажется, сударь, наше ремесло, очень трудное,

терпѣнія много надо, да и доброй воли также; а она старается; нечего сказать, дѣвочка славная!

Калина провелъ рукою по глазамъ и сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Ничего нѣтъ хорошаго! проговорилъ онъ, махнувъ рукою: — какъ есть, ваше благородіе, хорошаго ничего въ ней нѣтъ... проку не вижу никакого!...

— Полно, Калина Васильичъ, возразилъ Иванъ: — говоришь ты, братецъ, противъ своей совѣсти!... Вотъ вѣдь и Адольфъ Карлычъ говорилъ тебѣ то же самое...

— Какой это Адольфъ Карлычъ? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, начинавшій уже, повидимому, терять терпѣніе.

— А это, сударь, прежній мой товарищъ, изъ компаніи Вейнерта; можетъ быть, слышали по газетамъ? Его всѣ знаютъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ; любимецъ, можно сказать, всей публики!... Первымъ силачомъ считается послѣ Карла Карлыча Рапо; на масляницу онъ уѣдетъ въ Москву, а до того времени, помня старую дружбу, нанялся у меня представлять Геркулеса; въ досужее время обучаетъ онъ кой-кого изъ ребятъ... вотъ также и дочь Калины Васильича... Да вотъ, сударь, не угодно ли вамъ взглянуть на афишу; я, признаться, затѣмъ и пришелъ... Надѣюсь, сударь, вы удостоите посѣтить наши представленія?... Все здѣшнее дворянство у меня бываетъ!... заключилъ Иванъ, поспѣшно развертывая афишу и подавая ее Аристарху Ѳедоровичу.

— Спасибо, любезный, спасибо! непремѣнно приду. Когда же у васъ представленія?... я разумѣю въ какіе дни и часы?...

— Извольте прочесть... на афишѣ все сказано, произнесъ Иванъ, самодовольно выпрямляясь и разводя рукою.

Аристархъ Ѳедоровичъ кашлянулъ и прочелъ сквозь зубы:

„И. О. ИВАНОВЪ,

съ обществомъ, состоящимъ изъ восьми человѣкъ, втеченіе октября мѣсяца будетъ имѣть честь дать:

Большія чрезвычайныя представленія

въ двухъ отдѣленіяхъ:

1. Отдѣленіе.

(доселѣ здѣсь невиданное).

АФРИКАНСКО-ИНДІЙСКО-СИРІЙСКІЯ ИГРЫ

(съ новыми декораціями).

1) Соперничество людей съ лягушками. 2) Испанскій столъ. 3) Желѣзныя руки представитъ знаменитый Адольфъ Мейеръ. 4) Помпейская колонна, представленная г. Ивановымъ. 5) Пирамида Индійцевъ. 6) Прогулка съ пятью человѣками на двухъ плечахъ. 7) Мельница, представленная г. Ивановымъ.

2. Отдѣленіе.

(доселѣ здѣсь невиданное).

АКАДЕМІЯ ЖИВЫХЪ КАРТИНЪ И ГАЛЛЕРЕЯ НОВЫХЪ И ДРЕВНИХЪ ОБРАЗЦОВЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ ВАЯНІЯ:

1) Гнѣвъ Геркулеса (антикъ) Г. А. Мейеръ и Ивановъ.
2) Грація (антикъ) Г-жа Глафира Пшеславская.
3) Божества Олимпа (антикъ): Юпитеръ (Г. Ивановъ), Аполлонъ (Г. Ардаліонъ П***), Венера (Г-жа Глафира Пшеславская...“

— Ба! да ужъ не жена ли твоя? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, отрывая глаза отъ афиши и устремляя ихъ на Ивана.

— Такъ точно-съ, отвѣчалъ Иванъ, который не могъ замѣтить насмѣшливой улыбки на лицѣ Аристарха Ѳадоровича, потому что во все время чтенія афиши держалъ голову кверху и самодовольно прищуривалъ глаза.

— Любопытно, очень любопытно. Ну, а что-жъ я не вижу имени Калины?... Неужъ-то онъ не участвуетъ въ картинахъ и не представляетъ какого-нибудь антика? продолжалъ шутить Балахновъ.

— Чего-съ? произнесъ Калина, покачивая головой съ выраженіемъ укоризны: — нѣтъ, ваше благородіе, старъ я сталъ для эвтакого дѣла... Э-эхъ! вотъ, примолвилъ онъ, постукивая себя по сѣдой головѣ: — семьдесятъ лѣтъ не помѣха, то-то-же, ваше благородіе...

Калина хотѣлъ еще что-то примолвить, но махнулъ рукой и отвернулся къ двери съ такимъ видомъ, который ясно высказывалъ слѣдующую мысль: „Что говорить съ пустымъ человѣкомъ!“

— Непремѣнно приду! непремѣнно! вымолвилъ Балахновъ, кладя афишу на столъ.

— Сдѣлайте такое ваше одолженіе, сударь! подхватилъ

Иванъ, раскланиваясь и разводя шляпой.—О насъ, сударь, писали во всѣхъ газетахъ, и всѣ господа, которые были на нашихъ представленіяхъ, остались весьма довольны... Да вотъ, сударь, если вамъ будетъ угодно взглянуть сюда... присовокупилъ онъ, ставъ на одну ногу и развертывая на согнутомъ колѣнѣ другой печатный листъ: — это напечатано въ здѣшнихъ вѣдомостяхъ... извольте взглянуть...

— Хорошо, хорошо, я посмотрю послѣ... проговорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Вотъ ужъ, сударь, сдѣлайте милость, прочтите теперь... сдѣлайте такое ваше одолженіе!... примолвилъ Иванъ убѣдительнымъ тономъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ умѣлъ, какъ ужъ извѣстно, извлекать выгоды изъ ничтожнѣйшихъ обстоятельствъ. Желая употребить съ пользою визитъ Ивана и Калины, онъ рѣшился подавить въ себѣ чувство нетерпѣнія и расположить къ себѣ гостей своихъ. Основываясь на этихъ данныхъ, онъ благосклонно взялъ поданный ему листъ и съ снисходительностью, свойственною въ такихъ случаяхъ, прочелъ вслухъ слѣдующую статейку:

„Нигдѣ не скучно видѣть необыкновенные феномены природы или искусства; но на конной площади, въ только-что отстроенномъ театрѣ, и особенно при великолѣпіи декорацій, они принимаютъ характеръ болѣе величественный, болѣе привлекательный и, слѣдовательно, сильнѣе дѣйствуютъ на воображеніе и мысли зрителя даже самаго обыкновеннаго; словомъ: подвиги нашихъ Геркулесовъ, Иванова и Мейера въ Черноряжскѣ, увеселяютъ зрителей гораздо болѣе, нежели гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ; а тѣмъ изъ нихъ, которые при всякомъ удобномъ случаѣ пользуются еще запасомъ памяти, обогащенной классическимъ воспитаніемъ, сіи подвиги напоминаютъ въ Черноряжскѣ о немейскомъ подвигѣ Геркулеса-Иракла, одѣвшемъ мощныя рамена свои безсмертнымъ трофеемъ знаменитой побѣды, одержанной надъ лютѣйшимъ изъ владыкъ лѣсныхъ.

„Въ самомъ дѣлѣ, кажется, что силы нашихъ двухъ Иракловъ еще болѣе развились на свѣжемъ воздухѣ Черноряжска и что, подобно древнему Самсону, Ивановъ и Мейеръ могли бы, кажется, взнесть на нашу прирѣчную гору врата Газы.

„Привыкши удивляться собственно силѣ новыхъ нашихъ

Иракловъ, ужъ смотришь равнодушнѣе на дѣйствіе ихъ мускуловъ; но все-таки невозможно надивиться тому, какимъ образомъ члены этихъ силачей — съ виду довольно тщедушныхъ и малорослыхъ — не разлетятся въ дребезги отъ тяжестей, которыя падаютъ на нихъ, какъ на вражескія батареи... Вотъ вопросъ, и физіологія этого вопроса была бы въ изъясненіи своихъ законовъ чрезвычайно любопытна для науки. По-крайней-мѣрѣ, любопытство нашей публики до-сихъ-поръ еще не слабѣетъ. Таковы преимущества людей и вещей, ознаменованныхъ печатью рѣдкости!“

— Славно! прекрасно! о—очень... очень хорошо! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ. — Непремѣнно пріѣду: это дѣйствительно достойно вниманія... да.... непремѣнно пріѣду... Ну, кстати объ увеселеніяхъ, примолвилъ онъ, опрокидываясь въ кресло и закидывая одну ногу на другую: — нѣтъ ли у васъ, въ Черноряжскѣ, еще чего-нибудь?... не готовятся ли, напримѣръ, какіе-нибудь праздники, обѣды?... Вы, я чай, и особенно ты, Иванъ, должны были что-нибудь слышать?... Ты, вѣдь, ходишь по всѣмъ домамъ съ афишками, долженъ, слѣдовательно, быть свѣдущъ насчетъ того, что дѣлается въ городѣ... Разсказывай, любезный, разсказывай!...

— Много, сударь, всего готовится, добродушно отвѣчалъ Иванъ: — будутъ, какъ слышно, и балы, и обѣды... Много готовится всякаго веселья! Говорятъ, ни въ одномъ году не было такихъ приготовленій въ Черноряжскѣ... Вотъ вы, я чай, слышали: господа Балаклеевы задаютъ балъ — никакъ въ четвергъ, на будущей недѣлѣ...

— Знаю, знаю... торопливо проговорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ. Ну, а еще что?... Мнѣ сказывали... Окатовъ?...

— Да-съ, и они также: говорятъ, балъ будетъ диковинный!... Всю квартиру передѣлывали, даромъ что наемная; да вотъ, Калина Васильичъ вамъ лучше скажетъ, онъ тамъ былъ...

— Ба! зачѣмъ же понадобился Калина?

— Призывали кое-гдѣ подкрасить, кое-гдѣ вновь расписать потолокъ залы, отвѣчалъ Иванъ, подталкивая декоратора черноряжскаго театра.

— Ну, разсказывай, разсказывай, Калина Васильичъ! ласково произнесъ Балахновъ.

— Да что разсказывать, вымолвилъ Калина: — призывали

да и все тутъ!... я свое дѣло всегда могу сполнить, вотъ что! потому что я, ваше благородіе, все могу! арабескъ ли, другое что... все могу!... подхватилъ онъ съ увѣренностью.

Но Аристархъ Ѳедоровичъ, зная по опыту, что Калина, попавъ разъ на эту тему, пойдетъ развивать ее до безконечности, снова обратился къ Ивану и осадилъ его вопросами.

— Однимъ словомъ сказать, балъ, сударь, будетъ на удивленье, — такъ всѣ говорятъ, повѣствовалъ Иванъ. — Вотъ теперь, сказываютъ, въ одномъ только у нихъ остановка...

— Въ чемъ же, въ чемъ? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, поворачиваясь въ своемъ креслѣ.

— Въ цвѣтахъ, сударь.

— Въ какихъ цвѣтахъ?

— Извѣстно, сударь, въ обыкновенныхъ; здѣсь, изволите ли видѣть, верстахъ въ пяти находятся оранжереи, которыя принадлежатъ графинѣ... имя не запомню... живетъ она за границей; господинъ Окатовъ отнесся къ управителю: не можетъ ли, то-есть, дать цвѣтовъ въ наймы для бала; а управитель дорого очень проситъ, такъ у нихъ идутъ теперь переговоры...

При этомъ восторженная улыбка озарила лицо Аристарха Ѳедоровича и онъ поспѣшилъ отвернуться къ окну, чтобъ скрыть ее отъ своихъ собесѣдниковъ. Давъ себѣ слово послать немедленно или самому поѣхать къ управителю и порѣшить съ нимъ, во что бы ни стало, статью о цвѣтахъ — онъ осадилъ Ивана новыми вопросами въ отношеніи къ окатовскому балу.

— Ну, хорошо, любезный; спасибо тебѣ; спасибо и тебѣ, Калина, что навѣстилъ меня, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, когда любопытство его насытилось въ полной мѣрѣ.—Въ театръ я непремѣнно пріѣду... Ну, а теперь... теперь мнѣ покуда некогда, прощайте! заключилъ онъ, дѣлая выразительный жестъ рукою.

— Виноватъ, сударь, если я обезпокою васъ своею просьбою... проговорилъ Иванъ, снова приподымая колѣно и свертывая на немъ статью черноряжскихъ вѣдомостей.

— Что такое? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, обнаруживая на этотъ разъ явное нетерпѣніе.

— Я хотѣлъ, сударь, спросить у васъ о Павлѣ Петровичѣ... Вамъ, я полагаю, извѣстно, гдѣ они теперь находятся: здоровы ли они и въ какомъ живутъ положеніи?...

— Живетъ онъ у меня, покуда, въ Ханскихъ-Прудахъ, здоровъ, какъ быкъ... ну, что еще?

— Да ничего, сударь, покорно васъ благодарю; съ меня и этого достаточно; знаю, по-крайней-мѣрѣ, что они здоровы и покойны... Признаться сказать, очень бы хотѣлось взглянуть на нихъ; да вотъ и жена моя, если вы изволите припомнить, Глафира, также о немъ вспоминаетъ... И то, сударь, сказать надо: трудно и забыть-то его...

— Ну, хорошо, хорошо! перебилъ Аристархъ Ѳедоровичъ:— обо всемъ этомъ ты придешь поговорить завтра или въ другое утро; теперь мнѣ некогда, прощайте!... примолвилъ онъ, вставая и выразительно указывая гостямъ на дверь временнаго кабинета. Какъ только шаги Ивана и Калины замолкли, Аристархъ Ѳедоровичъ позвалъ Сидора и приказалъ ему немедленно съѣздить за управителемъ, о которомъ упомянулъ Иванъ. „Если ему нельзя пріѣхать сей же часъ, сказалъ Балахновъ: — такъ передай ему отъ моего имени, чтобъ онъ оставилъ за мною цвѣты; что я согласенъ дать назначенныя имъ деньги и что завтра же утромъ пусть пріѣдетъ за задаткомъ... да смотри, не болтать; чтобъ никто не зналъ объ этомъ!“ заключилъ онъ строгимъ тономъ. Остатокъ дня посвященъ былъ различнымъ планамъ и соображеніямъ. Въ числѣ новостей, сообщенныхъ Иваномъ, заключалось извѣстіе о томъ, что Солонеевъ и его богатый дядя, пріѣхавшіе ужъ въ Черноряжскъ, даютъ передъ выборами блистательный обѣдъ; это то же не мало занимало Аристарха Ѳедоровича по той именно причинѣ, что и ему, слѣдовательно, представлялась теперь крайняя необходимость противопоставить обѣду Солонеева свой собственный обѣдъ. Иначе и быть не могло. На слѣдующее утро, статья о цвѣтахъ была окончательно рѣшена между управителемъ графини и Аристархомъ Ѳедоровичемъ, къ совершенному удовольствію обѣихъ сторонъ. Оставалось теперь заняться другими, не менѣе важными статьями — касательно предстоящаго бала и обѣда; надлежало переговорить заблаговременно съ мебельщиками, нанять повара, оффиціантовъ, устроить такъ, если это возможно, чтобы скупить такое количество стеариновыхъ свѣчъ, которое могло бы поставить въ затруднительное положеніе Окатова, и проч. и проч. Аристархъ Ѳедоровичъ принялся дѣятельно за работу. Съ этого дня кабинетъ его представлялъ по утрамъ сборище

купцовъ, лакеевъ и подрядчиковъ; всѣ, можно сказать, выходили отъ него очень довольными; каждый получалъ или задатокъ, или на водку, съ тѣмъ, однако-жъ, чтобъ не болтать лишняго. Впродолженіи этого дѣятельнаго и вполнѣ заслуженнаго періода своей жизни, Аристархъ Ѳедоровичъ получилъ пригласительный билетъ на балъ къ Балаклеевымъ; но, занятый своими планами и соображеніями, онъ не обратилъ тогда на него особеннаго вниманія. Тревожное безпокойство, овладѣвшее Аристархомъ Ѳедоровичемъ въ первые дни пріѣзда его въ Черноряжскъ, было, повидимому, совершенно вытѣснено изъ сердца. Изрѣдка лишь, когда возвращался онъ домой и спрашивалъ: „Пріѣзжалъ ли кто нибудь безъ меня?“ и когда Сидоръ отвѣчалъ: „Никто не бывалъ-съ!“ — брови его хмурились и на лицѣ проступало неудовольствіе; но вообще это продолжалось недолго. Онъ питалъ твердую увѣренность, что какъ только пріѣдутъ его приверженцы, все пойдетъ какъ по маслу. Главный разсчетъ его основывался на Лизаветѣ Семеновнѣ: вмѣстѣ съ ея появленіемъ и, особенно, послѣ того, какъ она объѣздитъ съ визитомъ черноряжскихъ барынь, общественное положеніе его приметъ, естественнымъ образомъ, самый благопріятный колоритъ. Въ ожиданіи этого счастливаго переворота, онъ послалъ въ Ханскіе-Пруды еще два письма, содержаніе которыхъ было равносильно содержанію первыхъ двухъ писемъ.

XVIII.

Аристархъ Ѳедоровичъ присутствуетъ на одномъ балѣ и выноситъ оттуда самое невыгодное мнѣніе въ отношеніи къ человѣчеству и касательно хозяевъ дома въ особенности.

Время, между-тѣмъ, бѣжало, по своему обыкновенію, подъ гору, увлекая за собою дни, часы, минуты и секунды, съ такою быстротою, что Аристархъ Ѳедоровичъ пришелъ даже въ нѣкоторое изумленіе, когда насталъ, наконецъ, знаменитый четвергъ, долженствовавшій сдѣлаться еще знаменитѣе, благодаря балу Балаклеева. Это обстоятельство набросило нѣсколько капель холодной воды на разгорѣвшуюся голову великаго мужа.

Онъ заперся въ кабинетѣ, никого не приказалъ пускать и мысленно погрузился въ созерцаніе предстоящаго бала. Появленіе Аристарха Ѳедоровича, безспорно, должно будетъ произвести громадный эффектъ—это не подлежитъ сомнѣнію. Главный вопросъ состоялъ, слѣдовательно, въ томъ только: какого рода будетъ этотъ эффектъ—благопріятный или неблагопріятный? Настоящія обстоятельства требовали, разумѣется, самаго благопріятнаго эффекта. Это было бы ясно грудному младенцу. Мало того, появленіе Аристарха Ѳедоровича долженствовало заронить искру стыда и раскаянія въ сердца враговъ его, заставить ихъ содрогнуться при мысли, какъ опрометчиво поступали они, идя постоянно наперекоръ возвышеннымъ стремленіямъ благороднаго Балахнова.

Сознавая всю важность такого предмета, Аристархъ Ѳедоровичъ принялся обдумывать каждое движеніе, каждый шагъ, каждое слово, которому суждено излиться изъ краснорѣчивыхъ устъ его. Затѣмъ, онъ обратилъ исключительное вниманіе на дамъ; зная, какимъ авторитетомъ пользуются нѣкоторыя изъ нихъ въ домашнемъ быту, онъ поспѣшилъ обогатить свой умъ запасомъ риторическихъ фигуръ и оборотовъ самаго обворожительнаго свойства. Фигуры эти заняли въ мозгу его совершенно особенное отдѣленіе, двери котораго предназначалось раскрывать одинѣмъ только особамъ прекраснаго пола.

Часовъ въ десять вечера Аристархъ Ѳедоровичъ вышелъ изъ своего кабинета, вооруженный съ головы до ногъ, какъ Минерва. Наружная броня его, состоявшая изъ чернаго фрака, черныхъ панталонъ, высокаго, бѣлаго, непомѣрно туго накрахмаленнаго галстука и такого же жилета, казалась столько же надежною, сколько нравственное его вооруженіе.

Музыка гремѣла ужъ полнымъ оркестромъ, къ великому удовольствію танцоровъ и вящшему наслажденію уличной черни, которая мѣсила грязь подъ окнами балаклеевскаго дома, когда Аристархъ Ѳедоровичъ вступилъ въ большую залу.

То была пространная бѣлая комната, освѣщенная безчисленнымъ множествомъ свѣчъ (къ какому бы разряду ни принадлежали провинціальные балы, блестящее освѣщеніе играетъ всегда главную роль); въ дверяхъ, расположенныхъ направо и налѣво, открывались перспективы другихъ комнатъ, заставленныхъ ломберными столами и запруженныхъ посѣтителями. Но въ первую

минуту Аристархъ Ѳедоровичъ ничего не могъ различить. Ослѣпительный блескъ огней, грохотъ оркестра и его собственное волненіе сильно къ тому способствовали. Ему показалось, что онъ упалъ съ неизмѣримой высоты въ будущее море кисейныхъ юбокъ, наколокъ, цвѣтовъ, локоновъ, фраковъ, завитковъ, батистовыхъ платковъ, лакированныхъ сапогъ и дамскихъ атласныхъ башмаковъ. Онъ поспѣшилъ, однакожъ, овладѣть собою и грудь его мгновенно приняла свою всегдашнюю величавую выпуклость. Первый предметъ, поразившій глаза Аристарха Ѳедоровича, былъ Солонеевъ, не дядя Солонеевъ, но племянникъ, заклятый врагъ его, танцовавшій съ хозяйкою дома. Госпожа Балаклеева принадлежала къ разряду такихъ дамъ, у которыхъ преждевременное развитіе стана и другихъ частей корпуса совершилось съ очевиднымъ ущербомъ для ногъ; лицо ея, пухлое и румяное, отличалось необыкновенною свѣжестью и веселостью; послѣднее обстоятельство приписывала она всегда своей беззаботной жизни и особенно тому, что не имѣла дѣтей; при этомъ мысль была та, разумѣется, что очень хорошо не имѣть дѣтей въ тѣхъ случаяхъ, когда необходимо скрывать настоящее число лѣтъ. Пораженный довольно непріятно первымъ впечатлѣніемъ, Аристархъ Ѳедоровичъ обратилъ глаза въ другую сторону; но второе впечатлѣніе было чуть ли еще не непріятнѣе перваго. Онъ увидѣлъ, что хорошенькая Анна Васильевна Кошкина танцовала съ хозяиномъ дома. Анна Васильевна (такъ, по-крайней-мѣрѣ, показалось Балахнову) кокетничала нестерпимымъ образомъ съ Балаклеевымъ; она поминутно наклоняла на бокъ голову съ тою очевидною цѣлью, чтобъ кавалеръ ея могъ любоваться ея шейкой; небрежно бросалась на стулъ, причемъ маленькая ножка ея, обутая въ атласный башмачекъ, выглядывала какъ-бы невзначай изъ-подъ платья; Анна Васильевна вызывала на лицѣ своемъ цѣлый рядъ очаровательныхъ улыбокъ, и черными, блестящими глазками окутывала своего танцора. Балаклеевъ вертѣлся, пыхтѣлъ, улыбался и не оставался минуты въ покоѣ; всему этому, какъ ясно замѣтилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, конечно, способствовала Анна Васильевна Кошкина. — „Со стороны Балаклеева плохая надежда... съ этой стороны почти все пропало!“, подумалъ Балахновъ, подавляя болѣзненное ощущеніе въ своемъ сердцѣ. Мысль эта укрѣпилась еще сильнѣе,

когда Аристархъ Ѳедоровичъ увидѣлъ неподалеку Семена Семеновича Кошкина, который корчилъ свое лицо и дѣлалъ, помощью своихъ золотыхъ очковъ, телеграфическіе знаки женѣ, знаки (Аристархъ Ѳедоровичъ не сомнѣвался въ этомъ), имѣвшіе цѣлью поощрить кокетство Анны Васильевны. Кошкинъ стоялъ, облокотившись на спинку стула и, въ минуты свободныя отъ таинственной пантомимы, униженно нашептывалъ что-то на-ухо Софьѣ Алексѣевнѣ Окатовой, сидѣвшей на сосѣднемъ стулѣ. Гордый, величавый видъ Окатовой пробудилъ въ сердцѣ Аристарха Ѳедоровича сознаніе ничтожества собственной жены.— „Этой женщинѣ слѣдовало бы быть не Окатовой, а Балахновой“, подумалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, „а Балахнову слѣдовало бы имѣть женою не Лизавету Семеновну, а Софью Алексѣевну!“ Роскошныя плечи Окатовой, урожденной княжны Жирофле-Никитской, не удостоивали даже повертываться къ Кошкину и сохраняли неподвижность мрамора; движенія ея ограничивались помахиваніемъ пушистаго вѣера изъ страусовыхъ перьевъ съ зеркальцемъ посерединѣ; презрительная, надменная улыбка была на губахъ ея, когда она слушала Кошкина, и та же презрительная улыбка обращалась ко всему, что окружало ее. Вниманіе Аристарха Ѳедоровича удвоилось, когда Балаклеева, выбравъ свободную минуту, подошла къ Окатовой. Балаклеева наклоняется и шепчетъ ей что-то на-ухо. Семенъ Семеновичъ также наклонился и сказалъ, повидимому, что-то очень забавное, потому-что обѣ дамы засмѣялись, причемъ Балаклеева обвела глазами залу и сдѣлала какой-то предостерегательный знакъ. Аристархъ Ѳедоровичъ замѣтилъ тогда, что глаза Кошкина и обѣихъ дамъ стали медленно и какъ-бы машинально обращаться въ его сторону. Онъ поспѣшилъ принять равнодушный видъ, не забывъ выпучить грудь и представить изъ всей своей фигуры образецъ благородства и привлекательной сановитости.

— Здравствуйте, мсьё Балахновъ, bonjour, или, лучше сказать: bon „soiar“... чрезвычайно пріятно! послышалось неожиданно за его плечами. Но Аристархъ Ѳедоровичъ, узнавъ голосъ Бобохова, и зная, съ другой стороны, что его наблюдаютъ, не тронулся съ мѣста, не пошевелилъ волоскомъ, чтобъ не испортить впечатлѣнія, которое должна была пробуждать въ эту минуту его благородная наружность.

Онъ поневолѣ принужденъ былъ, однакожъ, поклониться выскочкѣ, когда безконечно-длинный бѣлый жилетъ и львиные бакенбарды Бобохова очутились передъ его глазами.

— Чрезвычайно пріятно... когда вы пріѣхали? заговорилъ Бобоховъ, прищуривая свои рысьи глазки.

— Недѣли полторы... отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, наводя уголъ глаза на ту часть залы, гдѣ сидѣла Окатова, и продолжая олицетворять неподвижный типъ благородства.

— А я пріѣхалъ всего только нынѣче утромъ, прямо изъ Москвы, подхватилъ Бобоховъ. — Ахъ, знаете, мсьё Балахновъ, я привезъ чрезвычайно непріятную новость: нашъ общій знакомый, мой другъ Чиндаласовъ, очень боленъ...

— Весьма сожалѣю, разсѣянно сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ: — ну, а не знаете ли вы что-нибудь о пріятеляхъ Чиндаласова: Сербинѣ и Крановичѣ? Скоро они пріѣдутъ сюда?... Вѣдь они, какъ сказывалъ мнѣ Чиндаласовъ, собирались сюда на время выборовъ? промолвилъ онъ, обращая въ первый разъ глаза свои на выскочку.

— Помилуйте, какъ же мнѣ не знать этого! Сербинъ и Крановичъ задушевные мои пріятели... Я могу сказать вамъ положительно, что они отложили намѣреніе пріѣхать въ Черноряжскъ оба остались въ Москвѣ и не отходятъ отъ Чиндаласова...

При этомъ извѣстіи, Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе, и лицо его утратило на минуту величаво-благородное выраженіе. — „Сербинъ и Крановичъ ускользнули изъ рукъ... еще двумя меньше!...“, подумалъ онъ.

— Я слышалъ... началъ опять Бобоховъ: — я слышалъ, мсьё Балахновъ, что вы на-дняхъ даете балъ?

Аристархъ Ѳедоровичъ вздрогнулъ, какъ будто его окатили ведромъ холодной воды.

— Балъ! я даю балъ! произнесъ онъ, стискивая вагенгеймовскіе зубы, чтобъ пріудержать восклицаніе изумленія, готовое вырваться изъ груди его: — да, дѣйствительно, я даю балъ; но кто-жъ вамъ сказалъ объ этомъ? присовокупилъ онъ спокойнѣе.

— Помилуйте, всѣ говорятъ объ этомъ... весь городъ; я объѣздилъ нынѣче утромъ всѣ здѣшніе салоны — и вездѣ слышалъ о вашемъ балѣ.

Аристархъ Ѳедоровичъ ясно увидѣлъ, что купцы, подрядчики и офиціанты, которымъ строго предписано было держать языкъ за зубами, не сдержали своего обѣщанія и протрубили о его балѣ по всему Черноряжску. При этой мысли, негодованіе забушевало самымъ неистовымъ образомъ въ груди его. Но дѣлать было нѣчего; сказанное слово — не воробей, не поймаешь. Аристархъ Ѳедоровичъ рѣшился вознаградить себя слухами о томъ, что говорилось, по-крайней-мѣрѣ, о будущемъ его балѣ; основываясь на этомъ, онъ обратился къ Бобохову и произнесъ слѣдующую предварительную рѣчь:

— Надѣюсь видѣть на этомъ балѣ сосѣда своего, Ивана Дормидоныча Бобохова?...

— Ахъ, помилуйте... чрезвычайно пріятно...

Аристархъ Ѳедоровичъ протянулъ собесѣднику руку и примолвилъ:

— Ну, что-жъ, скажите, говорятъ о моемъ балѣ?...

Но, къ сожалѣнію, Аристархъ Ѳедоровичъ остался при своемъ вопросѣ. Въ самую эту минуту, кадриль кончилась и Бобоховъ побѣжалъ стремглавъ приглашать даму.

Аристархъ Ѳедоровичъ поспѣшилъ отойдти къ рѣзной жардиньеркѣ, уставленной цвѣтами, отчасти для того, чтобъ дать мѣсто дамамъ, но преимущественно съ тою цѣлью, чтобъ занять выгодное мѣсто и рельефнѣе выставить свою фигуру. Замѣтивъ, что хозяйка дома направлялась въ его сторону, онъ закинулъ правую руку за спину, граціозно перегнулъ корпусъ и, уткнувъ свой носъ въ кустъ левкоя, принялся вдыхать въ себя его запахъ съ видомъ страстнаго любителя цвѣтовъ.

Когда госпожа Балаклеева была уже въ трехъ шагахъ, Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ очаровательный жестъ пріятнаго изумленія и поклонился; при этомъ ясно, однако-жъ, значилось, что поклонъ этотъ не имѣлъ ровно никакого отношенія къ Солонееву, который поддерживалъ руку Балаклеевой. Но Солонеевъ не замѣтилъ этого маневра, потому-что самъ глядѣлъ совершенно въ противоположную сторону.

— Вы, кажется, очень любите цвѣты, мсьё Балахновъ?... сказала госпожа Балаклеева такимъ безцеремонно-выразительнымъ тономъ, который ясно показалъ, Аристарху Ѳедоровичу, что Балаклеева намекала ему на цвѣты, такъ ловко перехваченные имъ у Окатовыхъ.

Буря негодованія закипѣла въ груди горшковскаго дипломата, но совсѣмъ тѣмъ, лицо его осталось такъ же прекрасно и спокойно, какъ гладкая поверхность моря, облитая лучами заходящаго солнца.

— Можно ли не любить цвѣтовъ? сударыня, сказалъ онъ съ выраженіемъ любезности, какою могъ только располагать: — цвѣты — это, такъ сказать, эмблема женщины! добавилъ онъ съ граціознымъ наклоненіемъ головы.

Разговоръ, поддержанный такъ удачно Аристархомъ Ѳедоровичемъ, принялъ бы, конечно, болѣе широкіе размѣры, если-бъ не помѣшала этому Софья Алексѣевна Окатова; въ ту минуту, какъ Балахновъ дѣлалъ напряженіе, чтобъ приподнять шлюзы того мозговаго закоулка, гдѣ хранились риторическія фигуры, Софья Алексѣевна очутилась между нимъ и Балаклеевой; поровнявшись съ Балахновымъ, она повернулась къ нему спиною и, величественно размахивая своимъ страусовымъ вѣеромъ, прошла мимо, какъ-будто вовсе не замѣтила его присутствія, какъ-будто Аристарха Ѳедоровича вовсе и не было на свѣтѣ. Сдѣлавъ два-три шага, она повернула назадъ голову и подала дружелюбный знакъ Солонееву, который тотчасъ же послѣдовалъ за нею, увлекая хозяйку дома. Аристархъ Ѳедоровичъ ясно различилъ тогда, въ толпѣ, черный, лоснящійся паричокъ Кошкина; Семенъ Семеновичъ не замедлилъ очутиться между вѣеромъ Окатовой и цвѣтущимъ лицомъ Балаклеевой.

Аристархъ Ѳедоровичъ почувствовалъ досаду, какой, вѣрно, не испытывалъ еще ни одинъ смертный отъ сотворенія міра.

— Bon soir, cher мсьё Балахновъ! неожиданно воскликнулъ хозяинъ дома, останавливаясь передъ гостемъ: — comment vous... ah! pardon! pardon! заговорилъ онъ, снова проносясь молніею мимо Аристарха Ѳедоровича, и покатилъ, какъ кубарь, по направленію Анны Васильевны Кошкиной, которая показалась въ дверяхъ залы.

Патентованные зубы Аристарха Ѳедоровича невольно притиснули нижнюю губу и каблукъ праваго сапога его оставилъ неизгладимый знакъ на дубовомъ паркетѣ залы; сухой хрящъ раздавшійся въ то же время за спиною знаменитаго мужа, возвѣстилъ краснорѣчиво, что новая шляпа его послужила главнымъ проводникомъ электрическому сотрясенію. Эффектъ, на который такъ разсчитывалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, былъ по-

терянъ. Никто не обращалъ на него малѣйшаго вниманія. Противъ истины такого горестнаго факта не могло быть возраженія. Аристархъ Ѳедоровичъ ошалѣлъ совершенно, если смѣемъ привести такое грубое слово для выраженія того душевнаго состоянія, въ которое повергло великаго человѣка поведеніе Балаклеева, Окатовой и прочихъ.

Оркестръ между-тѣмъ заигралъ новую кадриль; танцовавшіе заняли свои мѣста; все вокругъ задвигалось, засуетилось и кисейныя платья снова заволновались, какъ пестрое море.

Но Аристархъ Ѳедоровичъ, успѣвшій уже овладѣть собою, мало обращалъ теперь вниманія на поверхностные предметы внѣшняго міра. Онъ уже вдумывался въ мірскую суету, вдумывался въ сложные вопросы, касательно мелочности человѣческаго общества; вдумывался еще сильнѣе въ ограниченность и страшное ничтожество нѣкоторыхъ лицъ, вертѣвшихся теперь передъ нимъ, какъ куклы. Все въ немъ, какъ нельзя яснѣе, подтверждало, что въ настоящую минуту онъ дѣйствительно питалъ глубокое презрѣніе ко всѣмъ этимъ людямъ. Философскія истины, развиваемыя по этому поводу въ дипломатической головѣ Балахнова, не замедлили оправдаться новыми фактами и — странное дѣло! надо же, чтобъ это случилось въ ту самую минуту, можетъ статься, когда Аристархъ Ѳедоровичъ, снова переполненный сознаніемъ своего превосходства, задумалъ ужъ протянуть руку ничтожному человѣчеству и примириться съ жалкою, но, увы! существующею дѣйствительностью!

Вотъ какъ это было:

Наступилъ промежутокъ между танцами; Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ шагъ впередъ, чтобъ завязать разговоръ съ хозяйкою дома, какъ вдругъ въ дверяхъ залы показались два молодые человѣка, которые мгновенно приковали вниманіе Балаклеевой, а за нею и вниманіе всѣхъ присутствовавшихъ. Одинъ изъ нихъ былъ какой-то графъ, какъ оказалось тотчасъ же изъ сосѣдняго шопота; другой былъ князь. Оба только-что пріѣхали изъ Петербурга и, узнавъ о балѣ, поспѣшили представиться Балаклеевымъ, съ которыми были еще прежде знакомы.

Аристархъ Ѳедоровичъ, затушеванный такимъ неумѣстнымъ появленіемъ, подавилъ, однако-жъ, досаду и, пробравшись сквозь толпу, занялъ выгодное мѣсто.

Хозяйка дома, поспѣшившая на встрѣчу пріѣзжимъ, была въ восторгѣ; хозяинъ дома забылъ, повидимому, на этотъ разъ Анну Васильевну Кошкину и радостно пожималъ руки новымъ гостямъ.

При этомъ, каблукъ Аристарха Ѳедоровича сдѣлалъ новый знакъ на паркетѣ и шляпа его получила новое, значительное углубленіе на самой макушкѣ.

— Вы не танцуете? спросила по-французски госпожа Балаклеева, обращаясь къ графу.

— Mille pardons, m'ame... я даже пригласилъ даму; къ сожалѣнію, всѣ дамы ангажированы до девятой кадрили, отвѣчалъ графъ.

— А вы, князь? спросила госпожа Балаклеева, обращаясь къ другому гостю.

— Mille pardons, m'ame... къ сожалѣнію, меня постигла участь графа; я точно также не могу танцовать раньше девятой кадрили...

— Ахъ, Боже мой, да это предосадно! воскликнула Балаклеева:—впрочемъ, все это можно исправить... attendez...

Тутъ госпожа Балаклеева выступила на середину залы, оглянулась направо и налѣво и, обращаясь къ группамъ танцоровъ, сказала съ любезною непринужденностью:

— Messieurs et mesdames, мы только-что танцовали третью кадриль... будемте танцовать теперь девятую, а потомъ опять четвертую, пятую и т. д. n'est ce pas?... Eh bien c'est accordé! заключила она, подходя къ двумъ молодымъ людямъ и протягивая имъ руки.

Балаклеевъ поспѣшилъ дать знакъ музыкантамъ; оркестръ заигралъ девятую кадриль вмѣсто четвертой; танцоры заняли свои мѣста, и вскорѣ графъ и князь заколыхались между остальными танцорами.

Аристархъ Ѳедоровичъ былъ сраженъ вниманіемъ и предпочтеніемъ, какія оказывались двумъ молодымъ людямъ; его окончательно скомканная шляпа доказывала теперь ясно, что презрѣніе къ человѣческому роду укрѣпилось въ немъ навсегда.

Скрестивъ на груди руки, выставивъ немного правую ногу впередъ, онъ глядѣлъ на вертѣвшуюся, прыгавшую толпу и невольно напоминалъ своею фигурой ту странную литографію,

гдѣ, между двумя плакучими березами, изображена тѣнь Наполеона, задумчиво созерцающая собственную свою гробницу.

Но такова была энергія и твердость этого истинно достойнаго мужа, что онъ и тутъ-таки находилъ случай занимать самыя выгодныя мѣста залы. Каждый разъ, какъ оркестръ умолкалъ и наступали промежутки, онъ становился всегда между графомъ и княземъ; неимовѣрно выпучивъ грудь и горделиво закинувъ голову, онъ думалъ завладѣть хоть приступомъ всеобщимъ вниманіемъ. Но старанія Аристарха Ѳедоровича не имѣли ни малѣйшаго успѣха.

Всеобщее вниманіе все-таки исключительно устремлялось на двухъ молодыхъ людей, и взоры присутствовавшихъ перебѣгали отъ одного къ другому, какъ-будто между ними находилось совершенно пустое пространство.

Потерявъ, наконецъ, всякое терпѣніе, Аристархъ Ѳедоровичъ направился въ смежныя комнаты, но съ этой стороны... нѣтъ, я не могу продолжать... рука измѣняетъ мнѣ... Кто опишетъ его ужасъ, когда увидѣлъ онъ въ дверяхъ двухъ лютѣйшихъ враговъ своихъ, Окатова и дядю Солонеева, которые дружелюбно разговаривали, держа другъ друга подъ руку.

Какъ! Аристархъ Ѳедоровичъ глазамъ не вѣрилъ: какъ! Окатовъ и Солонеевъ помирились! Помирились эти два бывшіе когда-то врага, и помирились въ такое время... Все кончено! подумалъ дипломатъ, враги торжествуютъ! тутъ ужъ не поможетъ Бирюковъ!

Къ такому горестному заключенію привели его возмутительныя событія нынѣшняго вечера.

Какъ нѣкогда ярко-горѣвшій свѣтильникъ, который уже потухаетъ, но передъ тѣмъ трещитъ и лучезарно вспыхиваетъ, Аристархъ Ѳедоровичъ выпучилъ грудь и гордо поднялъ голову... Напрасно, однакожъ, бодрился великій мужъ изъ Горшкова; духъ его видимо ужъ сокрушился. Чувствуя приближеніе роковаго кризиса, Аристархъ Ѳедоровичъ поспѣшилъ оставить домъ Балаклеевыхъ. Свѣжій воздухъ морозной осенней ночи произвелъ благодѣтельное дѣйствіе на разгоряченный организмъ владѣтеля Ханскихъ-Прудовъ. Буря, клокотавшая въ груди его, уступила, мало-по-малу, мѣсто кроткой меланхоліи. Такъ всегда бывало съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ. Вернувшись домой, онъ заперся въ своемъ кабинетѣ, опустился въ кресла, подперся

локтемъ правой руки, и съ этой минуты грустное, сосредоточенное раздумье окончательно овладѣло его мозгомъ.

— За что все это? за что?.. Что я имъ сдѣлалъ? воскликнулъ наконецъ Аристархъ Ѳедоровичъ, поднявъ неожиданно голову и воздѣвъ руки къ потолку, съ выраженіемъ истинной глубокой скорби.

Такой порывъ былъ, однако-жъ, не продолжителенъ.

Духъ смиренія снова овладѣлъ нашимъ героемъ. Онъ опустилъ голову на локоть, медленно придвинулъ къ себѣ знаменитую записную книжку и, обмакнувъ перо, начерталъ нетвердою рукой слѣдующія слова:

„Если люди отказываютъ въ справедливомъ возмездіи за добродѣтели ваши, то не ропщите, но утѣшайте себя цѣлительною мыслью, что вы заслужили оное!“

Послѣ этого Аристархъ Ѳедоровичъ значительно успокоился. Совсѣмъ тѣмъ онъ долго еще не могъ сомкнуть глазъ. Сонъ овладѣлъ имъ тогда лишь, когда послѣдніе звуки каретъ, развозившихъ гостей Балаклеева, окончательно замолкли въ опустѣлыхъ улицахъ Черноряжска.

XIX.

Подвиги черноряжскаго геркулеса-иракла приводятъ въ неописанный восторгъ одного изъ героевъ этой исторіи, тогда какъ другой герой обнаруживаетъ къ нимъ совершеннѣйшее равнодушіе. Самоотверженіе стариннаго друга.

Сонъ Аристарха Ѳедоровича былъ очень тревоженъ. Звукъ экинажей, давно уже смолкнувшій, не переставалъ раздаваться въ ушахъ его во все продолженіе этой длинной, мучительной ночи. Безалаберныя, фантастическія грёзы осаждали поминутно его дипломатическій мозгъ. То казалось ему, что онъ снова присутствуетъ на балаклеевскомъ балѣ: Аристархъ Ѳедоровичъ съ изумленіемъ видитъ, какъ Нилъ Степановичъ Лукьяновъ завладѣлъ теперь возвышеніемъ, предназначеннымъ для оркестра. „Что это значитъ?“ спрашиваетъ Аристархъ Ѳедоровичъ. „Значитъ то, мой почтеннѣйшій и премногоуважаемый Аристархъ

Ѳедоровичъ, что людская клевета и ядовитая шипящая злоба мѣшали отдавать вамъ должную справедливость!“ торжественно говоритъ Лукьяновъ. „Ахъ, Боже мой! нѣтъ, мы никакъ не допустимъ, чтобъ вы, Аристархъ Ѳедорычъ, стали дожидаться послѣ этого девятой кадрили!“ восклицаетъ госпожа Балаклеева. Господинъ Балаклеевъ, который, неизвѣстно почему, сталъ вдругъ худощавъ и тощъ какъ флейта, даетъ знакъ Нилу Степановичу. Нилъ Степановичъ стучитъ по животу, расписанному наподобіе турецкаго барабана, бренчитъ пальцами по губамъ, и Аристархъ Ѳедоровичъ танцуетъ девятую кадриль съ Кошкиной. „Повѣрьте, мсьё Балахновъ, я никогда не прощу себѣ свое заблужденіе, говоритъ очаровательнымъ голосомъ Анна Васильевна:—съ этой минуты, я и мужъ мой...“ Но тутъ голосъ Кошкиной начинаетъ слабѣть, наколка изъ цвѣтовъ на головѣ ея принимаетъ неожиданно видъ бѣлой косынки, а сама она превращается въ Фіону Ивановну. „Зачѣмъ ты здѣсь?“ спрашиваетъ Аристархъ Ѳедоровичъ, нахмуривая брови и бросая грозный взглядъ на экономку. Фіона Ивановна дѣлаетъ очевидныя усилія, чтобъ принесли свое оправданіе, но вареная въ молокѣ фига, которую носитъ она постоянно за щекою для смягченія флюса, мѣшаетъ ей пошевелить языкомъ. Аристархъ Ѳедоровичъ быстро удаляется, но глаза его повсюду встрѣчаютъ плюшевые жилеты изумруднаго цвѣта, наподобіе того, какой видѣлъ онъ въ Москвѣ у Чиндаласова. То чудилось ему, что онъ находится въ ночное время посреди необъятнаго глухаго пустыря. Страшные раскаты грома не умолкаютъ ни на минуту; дождь льетъ ливнемъ, вѣтеръ только-что снесъ его шляпу и яростно играетъ полами его сюртука. Мало-по-малу, въ отдаленіи начинаетъ показываться какое-то бѣлое пятно... ближе, ближе, и вдругъ, посреди пустыря, возникаетъ домъ Окатовыхъ. На балконѣ появляется Софья Алексѣевна съ своимъ страусовымъ вѣеромъ, украшеннымъ круглымъ зеркальцемъ. Аристархъ Ѳедоровичъ видитъ себя цѣликомъ въ томъ маленькомъ зеркалѣ и начинаетъ съ безпокойствомъ ощупывать свою грудь и голову, желая убѣдиться, занимаетъ ли онъ въ дѣйствительности такое маленькое мѣсто на землѣ. Но ужъ на балконѣ показались Кошкинъ, Окатовъ, Солонеевъ-дядя и Солонеевъ-племянникъ; всѣ они указываютъ пальцемъ на Аристарха Ѳедоровича и разражаются единодушнымъ хохотомъ; хохотъ этотъ тотчасъ же объ-

ясняетъ Балахнову причину грома, слышаннаго имъ за минуту. Аристархъ Ѳедоровичъ свирѣпо скрежещетъ патентованными зубами — и все исчезаетъ, за исключеніемъ зеркальца, въ которомъ долго еще видитъ онъ свое изображеніе въ самомъ уменьшенномъ видѣ. Потомъ Аристархъ Ѳедоровичъ ясно слышитъ, какъ скрипнула дверь временнаго его кабинета. „Кто тамъ?“ спрашиваетъ онъ. Нѣтъ отвѣта, но дверь продолжаетъ междутѣмъ скрипѣть; слухъ его различаетъ шарканье и стукъ нѣсколькихъ сапогъ. Онъ дѣлаетъ неимовѣрное напряженіе, чтобъ привстать съ постели, но напрасно: члены не повинуются ему, и только послѣ многихъ усилій удается ему раскрыть глаза. Кровь застываетъ въ жилахъ Аристарха Ѳедоровича. Онъ видитъ, какъ въ двери кабинета вошли, одинъ за другимъ, Кошкинъ, Окатовъ и оба Солонеева. „Тссс... господа“, говоритъ Кошкинъ, прикладывая указательный палецъ къ губамъ и таинственно прищуривая лѣвымъ глазомъ: — „мы застаемъ его теперь въ самую благопріятную минуту... не будите его!...“ — „Ну, вотъ, очень нужно съ нимъ церемониться!“ восклицаетъ дядя Солонеева: — „уничтожить его, такъ уничтожить!“ — „Конечно, уничтожать, такъ уничтожать!“ мужественно подтвердилъ Окатовъ. „Но куда-жъ мы его дѣнемъ?“ — „Ничего нѣтъ проще, господа“, подалъ голосъ Солонеевъ-племянникъ: — „мы спрячемъ его въ ту долину, гдѣ, помните, построилъ онъ скотный дворъ: тамъ нѣкогда стоялъ домъ моихъ предковъ!“ — „Нѣтъ, господа, не согласенъ!“ запищалъ Кошкинъ, потрясая чернымъ, лоснящимся парикомъ: — „я былъ его другомъ и, помнится даже, говорилъ рѣчь въ день его рожденія... изъ этого ясно слѣдуетъ, что, прежде чѣмъ уничтожу его, я долженъ выкурить трубку...“ — „Прекрасно! прекрасно... и знаете ли что? мы закуримъ трубку его волосянымъ галстукомъ!!...“ — „Нѣтъ, господа, опять не согласенъ“, подхватилъ Кошкинъ: — „отъ галстука произойдетъ чадъ, а вотъ мы закуримъ трубку его записной книжкой, вотъ она штука-то въ чемъ!“ — „Вотъ она штука-то въ чемъ!“ повторили въ одинъ голосъ всѣ присутствовавшіе. — „Да, вотъ она штука-то въ чемъ!“ закричалъ громче всѣхъ Карачаевъ: — „мнѣ какое дѣло, что онъ спитъ! Пора вставать! Скоро одиннадцать часовъ!“

Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ сверхъестественное усиліе, приподнялся на кровати, протеръ глаза — и проснулся.

Карачаевъ дѣйствительно расхаживалъ взадъ и впередъ по кабинету, пуская направо и налѣво длинныя струи дыма изъ своего коротенькаго чубука. Нанковый казакинъ его, перетянутый ременнымъ поясомъ, ветхіе мокрые сапоги, всклокоченные волосы, измятое, багровое лицо — ясно свидѣтельствовали, что онъ только-что совершилъ далекое путешествіе на открытомъ, холодномъ воздухѣ. Сидоръ стоялъ въ дверяхъ и шопотомъ упрашивалъ Павла Петровича не безпокоить барина.

— Карачаевъ!... Какими судьбами?!... ну, что жена?... гдѣ она, гдѣ?!... Когда пріѣдетъ?!...

Такими вопросами разразился Аристархъ Ѳедоровичъ, какъ только получилъ ясное сознаніе, что все видѣнное и слышанное имъ происходило не на яву.

— Здравствуй, душа моя! сказалъ Карачаевъ, мгновенно опуская чубукъ и подходя къ постели.

— Гдѣ Лизавета Семеновна?... скоро ли она сюда пріѣдетъ? повторилъ Балахновъ, выказывая признаки сильнѣйшаго нетерпѣнія.

Вопросъ этотъ, очевидно, поставилъ Карачаева въ сильное затрудненіе. Онъ заморгалъ глазами, побагровѣлъ и суетливо пригладилъ свои рѣденькіе волосы.

— Не знаю, душа моя... не могу тебѣ сказать, когда она пріѣдетъ... отвѣчалъ онъ, стараясь придать своему голосу какъ можно больше увѣренности.

— Какъ! такъ ты, стало-быть, не изъ Ханскихъ-Прудовъ? воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, выражая досаду въ каждой чертѣ своего лица.

— Нѣтъ, душа моя... вотъ ужъ недѣли полторы, какъ я слоняюсь по уѣзду... были, братъ, кой-какія дѣла... довершилъ Карачаевъ съ самымъ неловкимъ видомъ.

— Такъ ты, стало-быть, ничего не знаешь о томъ, получила ли жена мои письма?

— Нѣтъ, при мнѣ не получала она никакихъ писемъ... впрочемъ, я говорю тебѣ, душа моя, что вотъ уже полторы недѣли, какъ я не былъ въ Ханскихъ-Прудахъ, поспѣшно присовокупилъ Карачаевъ, принимаясь тереть лицо ладонью, чтобъ скрыть свое замѣшательство.

Тутъ онъ отвернулся, подбѣжалъ къ окну и сталъ съ поспѣшностью набивать трубку.

— Хорошъ, любезнѣйшій, нечего сказать! вымолвилъ Балахновъ недовольнымъ тономъ: — сказалъ, что не оставишь ни на минуту моего дома, что будешь неотлучно находиться при женѣ, а между-тѣмъ, не успѣлъ я уѣхать, какъ ужъ пошелъ рыскать по уѣзду—хорошъ другъ, нечего сказать! Можно послѣ этого въ чемъ-нибудь на тебя положиться!...

— Помилуй, душа моя, Aristarque! écouté: клянусь честью, нельзя было сдѣлать иначе! воскликнулъ Карачаевъ, подбѣгая къ постели: — ты знаешь, что никто такъ не любитъ и не уважаетъ Лизавету Семеновну, какъ я! Ужъ на этотъ счетъ, братъ... какъ тамъ себѣ хочешь!... Впрочемъ, всѣ, слава Богу, здоровы; успокойся, душа моя, всѣ здоровы, и дѣти, и сама Лизавета Семеновна... я за всѣмъ, братъ, самъ наблюдалъ... можешь быть увѣренъ! подхватилъ онъ, обтирая одною рукой потъ, струившійся по лицу, тогда какъ другая рука горячо пожимала руку собесѣдника.

— Хорошо, хорошо, любезнѣйшій! ты, видно, такъ же, какъ и другіе, хорошъ только на словахъ... произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, махнувъ рукой.

— Фу! да тебѣ вѣдь говорятъ... запальчиво воскликнулъ Карачаевъ.

— Ладно, братъ, ладно! перебилъ Балахновъ, напяливая халатъ: — ну, да что объ этомъ говорить! Скажи-ка лучше, не слыхалъ ли чего-нибудь о Бирюковѣ?

— Нѣтъ, братецъ, ничего не слыхалъ; я былъ совершенно въ другомъ концѣ уѣзда! Съ этой стороны, братъ, я могу сообщить тебѣ печальную новость!

— Что-жъ такое? произнесъ Балахновъ, обнаруживая безпокойство.

— Да то, братецъ, что эта бѣдная Василькова приказала долго жить! сказалъ Карачаевъ, закрывая глаза и опуская голову.

— Да, ну, это, конечно... пробормоталъ Аристархъ Ѳедоровичъ, мгновенно расправляя брови.

— Конечно, братъ, тебѣ это все равно... ты, вѣдь, братецъ... извѣстно... ну, да что объ этомъ!... выразительно сказалъ Карачаевъ: — я сообщилъ это извѣстіе единственно для того, чтобъ объяснить тебѣ причину моего отсутствія изъ Ханскихъ-Прудовъ; надо же было кому-нибудь устроить похороны

и наблюдать за тѣмъ, чтобъ все это произошло какъ слѣдуетъ... Фанагорія Петровна въ Москвѣ; этотъ зюзя Васильковъ раскисъ совсѣмъ... Ну, я и поѣхалъ... больше вѣдь некому!...

— Такая заботливость, конечно, дѣлаетъ тебѣ величайшую честь! разсѣянно сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Ну, вотъ, братъ, честь! ужъ и честь! Что-жъ такое?... просто: такъ себѣ! Надо же было кому-нибудь распорядиться... Я зналъ Антонину Васильевну, жалѣлъ о ней... ну, понимаешь, я и поѣхалъ... пробормоталъ Карачаевъ, моргая глазами и разводя толстыми своими пальцами.

— Какъ ты себѣ тамъ хочешь, а это все-таки дѣлаетъ тебѣ честь, продолжалъ Балахновъ, подходя къ письменному столу и опускаясь въ кресло: — во всемъ этомъ одно только обстоятельство кажется мнѣ довольно страннымъ...

— Что-жъ такое? спросилъ Карачаевъ, тревожно двигая бровями.

Смущеніе Карачаева начинало даже забавлять Аристарха Ѳедоровича. Карачаевъ, очевидно, совѣстился, что, вопреки обѣщанію не покидать Лизавету Семеновну во все время отсутствія Аристарха Ѳедоровича, не переставалъ рыскать по уѣзду. Аристархъ Ѳедоровичъ не сомнѣвался въ вѣрности своей догадки. „Жалкій, но добрый и честный парень“, снисходительно подумалъ Балахновъ: — „смущеніе и совѣстливость дѣлаютъ въ этомъ случаѣ величайшую честь его сердцу“. Такое размышленіе не мѣшало ему, однако-жъ, засыпать Карачаева вопросами, ставить его въ затруднительное положеніе. Аристархъ Ѳедоровичъ находился въ это утро въ желчномъ настроеніи духа.

— Вотъ видишь ли, братецъ, похороны, сколько мнѣ извѣстно, могутъ занять два дня, ну, положимъ, три, но ужъ никакъ не болѣе, продолжалъ Балахновъ: — желательно было бы знать, безцѣннѣйшій мой Павелъ Петровичъ, гдѣ вы провели остальное время?...

— Че-е-во? произнесъ Карачаевъ, багровѣя какъ клюква и сильно потирая лысину.

— Ты забылъ, вѣроятно, что остается еще цѣлыхъ восемь или девять дней...

— Да ты скажи мнѣ одно только, запальчиво крикнулъ Карачаевъ: — что ты за допросчикъ такой? Я развѣ обязанъ отдавать тебѣ отчетъ въ своемъ поведеніи? а?... Впрочемъ, если

ты непремѣнно хочешь знать... и особенно, если это доставляетъ тебѣ удовольствіе, изволь, я скажу тебѣ... подхватилъ онъ, мгновенно смягчая голосъ, между-тѣмъ, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ корчилъ презрительную улыбку: — изволь, я скажу тебѣ: я былъ все это время у Барабанчикова... Нелегкая опять угораздила его свалиться съ лошади и сломать себѣ ногу... Онъ при смерти... Не бросить же его такъ, на произволъ... я поскакалъ въ Горшковъ за докторомъ... Потомъ... извѣстно... извѣстно... то да се... ну, время, конечно, и прошло!... Эхъ! да что толковать съ тобой о такихъ вещахъ! Ты, вѣдь, братецъ, извини, а извѣстно ужъ... Тебѣ все равно!... для тебя все прахъ, меркантель! мелюзга!... Оно, можетъ статься, и такъ по-вашему, да по-нашему не такъ, — вотъ она штука-то въ чемъ! Ну, и баста, значитъ! и говорить, значитъ, нечего! Покуримъ-ка, братецъ, трубочку... да écouté: вели-ка подать чаю, это будетъ лучше; съ дороги-то, знаешь, оно не мѣшаетъ, страхъ продрогъ! Вѣдь нынѣче, самъ знаешь, не іюль мѣсяцъ! заключилъ Карачаевъ, очевидно, стараясь замять рѣчь касательно предшествовавшихъ обстоятельствъ.

Для полнѣйшаго достиженія такой цѣли, онъ подсѣлъ еще ближе къ Аристарху Ѳедоровичу и завязалъ разговоръ о предметахъ совершенно постороннихъ. Онъ принялся разспрашивать о текущихъ новостяхъ, освѣдомился мимоходомъ о днѣ, назначенномъ для выборовъ, передалъ впечатлѣнія свои при въѣздѣ въ Черноржскъ и не умолкалъ ни на минуту во все продолженіе завтрака. Аристархъ Ѳедоровичъ, между-тѣмъ, давно ужъ не слушалъ своего собесѣдника; онъ, повидимому, совсѣмъ даже забылъ о немъ; тяжелыя воспоминанія вчерашняго дня, возникая, мало-по-малу, въ головѣ его, вытѣснили минутную, раздражительную веселость. Повернувшись бокомъ къ Карачаеву, упершись локтемъ, онъ не отрывалъ задумчиваго взора отъ окна. Но чѣмъ мрачнѣе становилось лицо Аристарха Ѳедоровича, тѣмъ сильнѣе болталъ Карачаевъ. Изрѣдка останавливался онъ, обнаруживая желаніе вычистить или продуть трубку; но въ сущности останавливался онъ съ тою единственною цѣлью, чтобъ устремить на Аристарха Ѳедоровича пристальный, испытующій взглядъ; въ эти минуты каждый легко могъ прочесть въ глазахъ Карачаева чувство негодованія, которое мгновенно, впрочемъ, уступало мѣсто чувству истиннаго, задушевнаго, но

тревожнаго участія. Ясно было въ эти минуты, что въ душѣ Карачаева хранилась какая-то тайна, которая имѣла прямое, но далеко неблагопріятное отношеніе къ Аристарху Ѳедоровичу. Вотъ это-то послѣднее обстоятельство и заставило, можетъ статься, Карачаева такъ усердно заботиться о томъ, чтобъ разсѣять Аристарха Ѳедоровича. Перебравъ тощій запасъ веселыхъ анекдотовъ, Карачаевъ перешелъ къ прежнему своему Ивану, къ женѣ его Глафирѣ, мысленно перенесся въ черноряжскій театръ, изобразилъ двѣ-три комическія сцены изъ быта провинціальныхъ актеровъ, при чемъ залился звонкимъ дребезжащимъ смѣхомъ — все было напрасно: Аристархъ Ѳедоровичъ продолжалъ глядѣть въ окно и съ каждой минутой становился мрачнѣе и мрачнѣе.

Карачаевъ замолкъ и принялся потирать свою лысину, при чемъ глаза его ни на минуту не покидали Аристарха Ѳедоровича.

Минутъ пять длилось молчаніе.

— Знаешь ли что я скажу тебѣ, душа моя, началъ наконецъ Карачаевъ, придвигаясь вмѣстѣ со стуломъ къ собесѣднику: — скажу тебѣ, что съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались послѣдній разъ, я замѣчаю въ тебѣ, братецъ, большую перемѣну! Худѣешь ты, что ли... или, можетъ статься, чувствовалъ себя несовсѣмъ здоровымъ во все это время, а только, братъ, какъ хочешь, я замѣчаю въ тебѣ страшную перемѣну... Именно, что-то такое, знаешь... какъ бы это сказать?... Ну, словомъ: и тотъ ты, да не тотъ! заключилъ Карачаевъ, поясняя пальцами то, чего не могъ сказать языкомъ.

Вмѣсто отвѣта, Аристархъ Ѳедоровичъ повернулъ лицо въ другую сторону, приподнялся съ креселъ и, подавивъ вздохъ, началъ расхаживать по кабинету.

Минуты двѣ Карачаевъ слѣдилъ глазами за Балахновымъ, потомъ всталъ, забросилъ руки за спину и также началъ ходить по кабинету.

— Эхъ, э-эхъ, душа моя! неожиданно заговорилъ Карачаевъ, выравниваясь съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ и стараясь попасть съ нимъ въ ногу: — эхъ, душа моя, охота тебѣ, право!... Ну, что изъ этого? Ну, самъ ты посуди... Ecoute: я, конечно, не могу давать тебѣ совѣтовъ... я прошу только, послушай, душа моя, вникни, разсуди самъ хорошенько... ну что во всемъ

этомъ!... вѣдь это, братецъ ты мой, не что иное, какъ прахъ! дымъ! и больше ничего! примолвилъ онъ, выпустивъ облако табачнаго дыма и выразительно разрѣзавъ его ладонью.

Аристархъ Ѳедоровичъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе локтемъ и продолжалъ ходить по кабинету.

— Воля твоя, душа моя! заговорилъ опять Карачаевъ, останавливаясь и приподымая брови: — воля твоя, дѣлай, какъ знаешь! Совѣтовать тебѣ не могу. Мнѣ хотѣлось только, чтобъ ты вникнулъ, да, именно такъ: вникнулъ! Да вотъ чего же лучше, если ты мнѣ не вѣришь, самъ посмотрись въ зеркало! Я говорю это тебѣ по дружбѣ; подойди, взгляни на себя!... Я готовъ отдать голову на отсѣченіе, готовъ держать какое угодно пари, что все это не спроста; вотъ она штука-то въ чемъ! Скрывайся, братъ, сколько хочешь, а я готовъ прозакладывать хоть сейчасъ послѣдній казакинъ, что всему этому причиной какія-нибудь непріятности!

— Какія непріятности?... какія? гдѣ онѣ, эти непріятности? вскричалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, неожиданно останавливаясь и приподымая голову.

Тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ окончательно повернулся къ Карачаеву и, приподнявъ сжатые кулаки, продолжалъ съ возраставшимъ бѣшенствомъ:

— А вотъ я задамъ балъ! задамъ обѣдъ! пріѣдетъ жена, пріѣдетъ Бирюковъ, соберутся остальные — такъ я имъ покажу, какія у меня непріятности! довершилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, опуская кулаки и принимаясь снова маршировать по кабинету.

Карачаевъ не отвѣчалъ на это ни слова; но, выбравъ минуту, когда Аристархъ Ѳедоровичъ повернулся къ нему спиной, опустилъ голову, раздулъ губы и сдѣлалъ безнадежный жестъ рукою.

— Ты совсѣмъ не такъ меня понялъ, сказалъ онъ, когда Балахновъ обернулся къ нему лицомъ: — совсѣмъ не такъ, братецъ... Я хотѣлъ сказать, что ты принимаешь все это слишкомъ къ сердцу, и оттого такъ себя разстроиваешь... вотъ что! Не вѣришь — взгляни въ зеркало. Вотъ этимъ-то самымъ ты, братъ, и вредишь себѣ. Я увѣренъ, что всѣ замѣтили въ тебѣ такую перемѣну, и, что всего хуже, замѣтили тѣ именно, передъ которыми тебѣ слѣдуетъ быть молодцомъ! Право, такъ! Самъ знаешь, сейчасъ скажутъ: „Э-э-э!“ — повѣрь мнѣ... На твоемъ

бы мѣстѣ, я старался казаться веселѣе, молодцоватѣе, чѣмъ когда-нибудь, убѣдительно продолжалъ Карачаевъ, между-тѣмъ, какъ Аристархъ Ѳедоровичъ покручивалъ головой, выпрямлялся, выпучивалъ грудь и приглаживалъ волосы: — конечно, такъ, душа моя, Aristarque, конечно, такъ: на-те, молъ, на зло же вамъ, радуйтесь! Я показывался бы всюду: на гуляньяхъ, на вечерахъ, въ собраніи... старался бы всячески себя разсѣять... а ты что? сидишь себѣ въ кабинетѣ, ломаешь себѣ голову и, право, écouté: только вредишь себѣ! Ну, вотъ хоть бы теперь! Ну, отчего бы, напримѣръ, не съѣздить тебѣ въ театръ?... Вѣдь вонъ афишка-то, я ее видѣлъ; представленіе чудесное! Да не въ томъ вовсе сила; дѣло не въ представленіи! А такъ, пошелъ бы разсѣяться; и я пошелъ бы съ тобою для компаніи; повидался бы кстати съ Ванюшей; пошли бы, взяли билеты, сѣли бы, посмѣялись и на людей посмотрѣли — право, ну, душа моя, Aristarque!

Съ окончаніемъ этого монолога, Аристархъ Ѳедоровичъ успѣлъ ужъ овладѣть собою; грудь его получила величавую выпуклость; голова гордо закидывалась назадъ.

— Все это прекрасно, любезнѣйшій, сказалъ онъ съ вельможественнымъ видомъ: — надѣюсь, однако-жъ, что прежде чѣмъ идти въ театръ, ты перемѣнишь нѣсколько свой костюмъ!...

— Ха, ха, ха! восторженно залился Карачаевъ: — неужто ты думалъ, что я въ этомъ... нѣтъ, братъ, я взялъ съ собой фракъ... чай, онъ у меня тамъ въ чемоданчикѣ... Эй, Сидоръ!... если нѣтъ, я самъ схожу... одѣвайся же, душа моя, скоро, вѣдь, часъ, и если идти, такъ идти, заключилъ онъ, суетливо направляясь къ двери.

Какъ ни былъ ничтоженъ Карачаевъ въ глазахъ Аристарха Ѳедоровича, однако-жъ онъ рѣшился послѣдовать его совѣту и далъ себѣ слово показываться всюду съ сіяющимъ, торжествующимъ лицомъ передъ глазами враговъ своихъ.

Основываясь на этомъ, онъ приказалъ Сидору подавать одѣваться.

— Ну, вотъ я и готовъ, душа моя! сказалъ Карачаевъ, появляясь въ кабинетѣ и принимаясь дѣлать развязные жесты, при чемъ послышался тотъ легонькій трескъ, который сопровождалъ всегда Карачаева, когда онъ находился въ черномъ своемъ фракѣ.

— Мы пойдемъ пѣшкомъ, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Ну, и ладно, что дѣло, то дѣло; погода стоитъ прекрасная. Идемъ же, душа моя, идемъ!... подтвердилъ Карачаевъ, усердно напяливая огромныя коричневыя перчатки съ завитками на концахъ пальцевъ.

Четверть часа спустя, оба заворачивали за уголъ Никольской и выходили на площадь. Лѣвый полукругъ той площади былъ занятъ, такъ называемымъ, лѣтнимъ садомъ, который во всякое время года сохранялъ видъ отрѣзаннаго чорствaго ломтя, но въ настоящую эпоху представлялъ мерзлую пустыню, украшенную зелеными кольями. Въ правомъ полукругѣ, между двумя рядами маленькихъ досчатыхъ навѣсовъ съ баранками, жемками, изюмомъ и стручками, располагался театръ. То было досчатое, сѣрое зданіе, неотличавшееся ничѣмъ отъ балагановъ, которые воздвигаются на площадяхъ о масляной и святой.

— Ай да Ваня! ай да Иванъ Емельянычъ! воскликнулъ Карачаевъ: — я, братецъ, никогда, впрочемъ, не сомнѣвался въ немъ; погляди, погляди, какую, братъ, выстроилъ штуку; молодецъ! ей-Богу, молодецъ!... Но, что это? кажется, ужъ начали... я слышу музыку... приполвилъ онъ, ускоряя шагъ.

Глухіе звуки тромбона и кларнета дѣйствительно раздавались ужъ за стѣнами балагана.

Аристархъ Ѳедоровичъ и Карачаевъ вошли въ сѣни. Тутъ съ одной стороны находилась маленькая дверь въ спектакльную залу, охраняемую долговязымъ, оборваннымъ малымъ съ подбитымъ глазомъ; съ противоположной стороны продѣлано было четыреугольное окно съ надписью на косякѣ: „касса“; въ этомъ окнѣ суетился совершенно лысый старичокъ съ птичьимъ носомъ и мѣдными очками, вздернутыми на лобъ.

Передъ кассой стояли старичокъ Пшеницынъ и долговязый Ѳедя.

— Какъ вамъ угодно, а мы никакъ, никакъ не можемъ этого сдѣлать! Сами взгляните... помилуйте, возможное ли это дѣло! говорилъ, размахивая руками, плѣшивый кассиръ.

— Да какъ это такъ?... какъ же это?... полно, благодѣтель, нельзя ли? умоляющимъ голосомъ произнесъ старикъ Пшеницынъ.

— Никакъ нельзя-съ!

— Да что-жъ это такое?... Я самъ читалъ на афишѣ...

да это... это, просто, мошенничество! съ отчаяніемъ воскликнулъ Пшеницынъ.

— Мошенничества тутъ нѣтъ никакого, а просто, нельзя, да и все тутъ! возразилъ плѣшивый кассиръ.

— Что у тебя тутъ такое? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, подходя къ Пшеницыну.

— Ахъ, благодѣтель, батюшка Аристархъ Ѳедоровичъ, сколько лѣтъ, сколько зимъ не видались!... воскликнулъ Пшеницынъ, прикладывая руки къ колѣнямъ и кланяясь...

— О чемъ у васъ дѣло? перебилъ Балахновъ.

— Охъ, родной, благодѣтель вы мой! да вотъ, просто, мошенничество, чистое мошенничество... Кланяйся, дурашка, подхватилъ неожиданно Пшеницынъ, толкая долговязаго Ѳедю, который шаркнулъ сапогомъ и поглядѣлъ изподлобья на Балахнова.

— Въ чемъ же дѣло? повторилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Да вотъ, благодѣтель, заговорилъ Пшеницынъ, указывая на кассира: — я отдалъ ему полтинничекъ за себя, да четвертачокъ за Ѳедю, а онъ не пускаетъ его... „Нѣтъ, говоритъ, и за него надо полтинничекъ...“ просто, мошенничество! Самъ, вѣдь, читалъ, благодѣтель, въ ихней афишѣ, сами вѣдь отпечатали, что съ малолѣтныхъ берутъ половину, а теперь не пускаютъ...

— Да какой же онъ малолѣтный, сами извольте взглянуть! съ отчаяніемъ воскликнулъ кассиръ.

— Ну, полно, братецъ, хлопотать объ этомъ; я возьму Ѳедѣ билетъ, сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ. — Дай четыре билета, примолвилъ онъ, бросая депозитку кассиру.

— Благодѣтель ты мой!... Кланяйся же, дурашка, благодари... что стоишь! разразился Пшеницынъ, принимая билеты и подталкивая Ѳедю. — Хотѣлось, отецъ мой, потѣшить парня-то, подхватилъ онъ, радостно хлопая глазами: — вѣдь опредѣленъ, благодѣтель, опредѣленъ писцомъ въ здѣшнюю палату.

— Ба! сказалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Ей-Богу, право!... и все, вѣдь, благодѣтели постарались: Николай Степановичъ Окатовъ и Солонеевъ — ей-Богу такъ!...

Аристархъ Ѳедоровичъ тотчасъ же повернулся къ нему спиной. Нимало не намѣреваясь войдти въ спектакльную залу вмѣстѣ съ Пшеницынымъ и долговязымъ Ѳедею, онъ рѣшился выждать, пока оба они усядутся на свои мѣста.

— А что, давно началось представленіе? спросилъ Балахновъ для препровожденія времени.

— Только-что начали, сударь, почтительно отвѣчалъ кассиръ, проводя рукою по лбу, причемъ очки его тотчасъ же упали на носъ и приняли свое обыкновенное мѣсто.

— Скажите, пожалуйста, батюшка, нельзя ли мнѣ повидаться теперь какъ-нибудь съ Иваномъ Емельяновичемъ? спросилъ Карачаевъ, который во все продолженіе предыдущей сцены возился съ своими коричневыми перчатками.

— Я полагаю, сударь, онъ теперь одѣвается... а впрочемъ, можно сейчасъ узнать... да вотъ, кстати, кто-то идетъ со сцены, отвѣчалъ кассиръ: — эй! кто тамъ? вы, Иванъ Емельянычъ? заключилъ онъ, уходя во внутрь углубленія.

Вмѣсто отвѣта кто-то засвисталъ.

— А, это вы, Ардаліонъ Александрычъ! сказалъ кассиръ. — Что, Иванъ Емельянычъ еще не одѣвались?

— Геркулесъ-Ираклъ... сейчасъ на сцену... гремитъ музыка... сверкаютъ блестки... раздаются рукоплесканія! протрещалъ Попельковскій, неожиданно появляясь въ кассѣ и размахивая, какъ крыльями, полами затасканной шинели — обстоятельство, которое позволяло различать его фигуру, до половины обтянутую, въ трико тѣлеснаго цвѣта, тогда какъ другая половина казалась горѣвшею отъ позумента и пурпуровыхъ лохмотьевъ.

— А, такъ вотъ ты куда попалъ, каналья! Наконецъ-то я нашелъ тебя, разбойникъ! э-ге!... нѣтъ, братъ, теперь ты отъ меня не уйдешь! закричалъ Карачаевъ, мгновенно свирѣпѣя и бросаясь впередъ.

Но Попельковскій успѣлъ ужъ исчезнуть, какъ привидѣніе, заслышавшее пѣніе пѣтуха, и мѣсто его заступилъ плѣшивый кассиръ.

— Помилуйте, сударь, сказалъ кассиръ, слегка отклоняя Карачаева, который силился пролѣзть въ отверстіе кассы: — что вы? что вы? здѣсь не позволено... вы дѣлаете шумъ...

— Ты съ ума сошелъ, любезнѣйшій! говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, толкая Карачаева: — съ тобой, просто, никуда нельзя показаться, срамъ, братецъ, срамъ!...

— Ну, да все равно! произнесъ Карачаевъ, высовывая багровое лицо изъ кассы и запальчиво моргая глазами: — онъ отъ

меня теперь не уйдетъ! Нѣтъ, не уйдетъ! И развѣ Ваня не знаетъ, кто онъ такой?... и какъ вы держите у себя этакого негодяя! да онъ... да я его... чортъ возьми, не отвертится теперь! Какъ только кончится представленіе, я тотчасъ же его сцапаю!... о! я буду его преслѣдовать! буду, во что бы то ни стало! Ну, душа моя, Aristarque, пойдемъ въ залу! заключилъ Карачаевъ, проводя ладонью по лбу, покрытому каплями пота.

Первый предметъ, поразившій Карачаева, когда онъ вошелъ въ залу, былъ Иванъ, который держался вверхъ ногами и ходилъ въ этомъ положеніи по сценѣ.

Карачаевъ бросился стремглавъ на свое мѣсто, наступилъ на нѣсколько носковъ, сказалъ „pardon, pardoné“ и мгновенно превратился весь въ восторгъ.

Не дожидаясь ни времени, ни срока, онъ захлопалъ въ ладоши и такъ неистово крикнулъ: „Браво, Ивановъ!“, что Аристархъ Ѳедоровичъ принужденъ былъ толкнуть его подъ-бокъ.

Но Карачаева въ минуты отчаянныхъ и восторженныхъ порывовъ удержать было трудно. Онъ не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на толчки Аристарха Ѳедоровича и во все продолженіе „перваго отдѣленія“ не переставалъ кричать и хлопать въ ладоши. Наконецъ „первое отдѣленіе“ кончилось и занавѣсь опустилась. Но это обстоятельство далеко не укротило Павла Петровича; восторженность его тутъ только, повидимому, приняла всю свою силу.

Онъ быстро вскочилъ со стула, оглянулъ партеръ и, подмигивая безъ различія во всѣ стороны, произнесъ: „Ну-ка, господа, Иванова-то подхватывайте!“

Затѣмъ онъ повернулся лицомъ къ сценѣ, втянулъ въ себя какъ можно болѣе воздуху и потрясъ залу криками:

— Иванова! Иванова! кричалъ Карачаевъ, подмигивая то тому, то другому зрителю: — И-ва-но-ва!

Занавѣсь поднялась и Ивановъ показался на сценѣ.

— Браво! брависсимо... брр...аво! Молодецъ, Ивановъ! браво, Ваня! Молодецъ! захрипѣлъ Карачаевъ, напирая на оркестръ, выкатывая глаза, размахивая руками и хлопая въ ладоши съ такою силою, что коричневыя перчатки его разлѣзлись въ клочки.

— Посмотрите на этого господина, онъ, кажется, намѣре-

вается насъ всѣхъ прибить, сказалъ по-французски какой-то молодой человѣкъ, стоявшій неподалеку.

— Не бойтесь, этого не случится! отвѣчалъ Карачаевъ, обращаясь неожиданно въ ту сторону и посылая послѣдній восторженный знакъ удалявшемуся Ивану:—только въ другой разъ совѣтую вамъ быть поосторожнѣе! заключилъ онъ, поворачиваясь къ нему спиной.

— А, здравствуй братъ, Иванъ Дормидонычъ! что такъ поздно? весело сказалъ Карачаевъ, протягивая руку Бобохову, который только-что вошелъ въ кресла.

— Здравствуйте... чрезвычайно пріятно! пробормоталъ Бобоховъ, небрежно протягивая Карачаеву указательный палецъ и руководствуясь въ этомъ случаѣ, какъ и всегда, джентльменскимъ примѣромъ Тохтамышева. Но Карачаевъ отскочилъ на три шага и заморгалъ глазами.

— Че-е-во? сказалъ онъ: — че-е-во? ахъ ты, выскочка! заговорилъ онъ, понижая голосъ, но такъ, однакожъ, что слышно было каждое слово: — съ чего это ты взялъ? а? Тебѣ дѣлаютъ честь, подаютъ руку, а ты вздумалъ мизинцы протягивать... а? ахъ ты, буржуа-жантильйомъ этакой!... да съ чего это ты взялъ, а? продолжалъ Карачаевъ, грозно насупивая брови, между-тѣмъ, какъ Бобоховъ раздувалъ позеленѣвшія щёки и боязливо оглядывался на всѣ стороны: — а впрочемъ, постой, братъ, я очень радъ, что съ тобой встрѣтился... Я слышалъ, что ты хвасталъ тѣмъ, будто помогалъ сочинять Дрянкову повѣсть... а? такъ или нѣтъ? отвѣчай мнѣ, я тебѣ говорю: такъ или нѣтъ? Мнѣ самъ Дрянковъ разсказывалъ это у Кокуркиныхъ... Ты лгать вздумалъ... ахъ ты, сочинитель! ну, тебѣ ли быть сочинителемъ! Стоитъ только взглянуть на тебя, чтобъ этому не повѣрить! Погоди, братъ, я еще допеку тебя, буржуа-жан... выскочка ты этакой! проговорилъ Карачаевъ, провожая глазами Бобохова, который поспѣшно пробирался между рядами стульевъ, стараясь достичь, какъ можно скорѣе, противоположной двери.

Въ эту минуту поднялась занавѣсь. Отличное расположеніе духа тотчасъ же возвратилось къ Карачаеву; онъ занялъ свое мѣсто, снова задѣлъ нѣсколько носковъ и снова обратился весь въ восторгъ, который, казалось, ждалъ только удобнаго случая высказаться.

Случай этотъ не замедлилъ представиться.

Во время первой живой картины: гнѣвъ Геркулеса, въ которой главную роль занимали Адольфъ Мейеръ и Ивановъ, Карачаевъ, хотя и съ усиліемъ, но все еще владѣлъ собою; но когда, вслѣдъ затѣмъ, появилась картина: Грація, и глазамъ его предстала Глафира, — Карачаевъ разразился новыми рукоплесканіями, которыя были чуть ли не яростнѣе прежнихъ.

— Какова, братецъ, а? какова наша Глафира Львовна? нѣтъ, ты мнѣ скажи только: какова, а? сказалъ онъ, обратившись къ Аристарху Ѳедоровичу.

— Хороша, хороша!... не мѣшало бы имъ, однакожъ, поторопиться... отвѣтилъ Балахновъ, дѣлая видъ, будто Карачаевъ былъ для него совершенно посторонній человѣкъ.

— Ну, вотъ, погоди, сейчасъ начнутъ! произнесъ Павелъ Петровичъ, быстро поворачиваясь къ сценѣ.

Третья картина все еще не показывалась.

Прошла еще минута, потомъ еще и еще, третьей картины какъ не бывало.

За сценой слышалась между-тѣмъ бѣготня и суматоха; можно даже было различать отрывочныя восклицанія: „Гдѣ?... какъ? куда? бѣда! все пропало!...“

Публика начинала терять терпѣніе; посреди хлопанья въ ладоши, раздавался нетерпѣливый шопотъ; кто-то застучалъ даже каблуками.

Карачаевъ грозно посмотрѣлъ въ ту сторону и хотѣлъ ужъ что-то сказать въ оправданіе случившагося промедленія, но, услышавъ за спиною знакомый голосъ, поспѣшилъ обратить лицо свое къ сценѣ.

Глаза его прямехонько встрѣтили Ивана, который почтительно раскланивался. Лицо Ивана было блѣдно и волосы его, тщательно завитые, свѣшивались теперь въ безпорядкѣ. Карачаевъ началъ-было съ того, что захлопалъ и закричалъ: „Браво, Ивановъ!“; но въ отвѣтъ на это публика зашикала немилосерднымъ голосомъ.

— Почтеннѣйшая публика... сказалъ Иванъ разстроеннымъ голосомъ: — честь имѣю извѣстить, что, по причинѣ внезапной болѣзни одного изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, мы не можемъ... никакъ не можемъ продолжать живыхъ картинъ... но вмѣсто нихъ... прибавилъ Иванъ съ глубокимъ поклономъ на

всѣ три стороны залы: — мы будемъ имѣть честь показать вамъ новыя гимнастическія упражненія.

Карачаевъ снова захлопалъ и закричалъ: „Браво, Ивановъ!“, но снова заглушенъ былъ шиканьемъ.

Шиканье сопровождало Ивана до самыхъ кулисъ и не умолкало даже тогда, когда опустили занавѣсь.

— Я знаю, что̀ все это значитъ! сказалъ Карачаевъ, наклоняясь къ Аристарху Ѳедоровичу и подмигивая ему съ видомъ взаимнаго соучастія: — я догадываюсь... всему этому причиной эта каналья Попель... Клипель... Кококской... фу, какъ бишь его! Все это онъ надѣлалъ... Я сейчасъ бѣгу на сцену... сверну ему шею... мерзавецъ!... Смотри, не уходи безъ меня! довершилъ онъ, поспѣшно направляясь къ выходу, причемъ задѣлъ еще нѣсколько носковъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ, безъ сомнѣнія, не обратилъ бы вниманія на просьбу Карачаева и не сталъ бы дожидаться гимнастическихъ упражненій, еслибъ не побуждали его къ тому весьма важныя причины. Дѣло въ томъ, что за стуломъ его находился какой-то толстенькій, суетливый и совершенно незнакомый господинъ, который повѣствовалъ своему сосѣду городскія новости и, между-прочимъ, излагалъ весьма краснорѣчиво подробности окатовскаго бала. Балъ долженъ былъ происходить въ вечеръ того же дня, и слухи о немъ имѣли, слѣдовательно, для Балахнова самый живой интересъ. Любопытство Аристарха Ѳедоровича приняло, однако-жъ, характеръ самаго глубокаго вниманія, когда, посреди шопота толстенькаго господина, услышалъ онъ неоднократно повторенную фамилію Бирюкова. Къ сожалѣнію, онъ ничего болѣе не услышалъ. Любопытство его возбуждено было тѣмъ сильнѣе, что онъ ждалъ Бирюкова съ минуты на минуту. Потерявъ, наконецъ, всякое терпѣніе, онъ перегнулся черезъ спинку стула и, обратясь къ толстенькому господину, сказалъ съ свойственною ему одному любезностью:

— Вы, кажется, изволили сейчасъ упомянуть фамилію Бирюкова, милостивый государь: скажите, что онъ, пріѣхалъ?

— Пріѣхалъ-съ, отвѣчалъ толстякъ, заботливо наклоняясь впередъ:—но, къ сожалѣнію... позвольте спросить: онъ не родственникъ ли вашъ?

— Нѣтъ.

— Въ такомъ случаѣ, я могу вамъ сообщить истинно прискорбное извѣстіе...

— Что-жъ такое? спросилъ Балахновъ, перевертываясь на стулѣ.

— Кормонолѣй Семенычъ пріѣхалъ вчера въ ночь... а сегодня... да-съ, сегодня на зарѣ умеръ...

— Умеръ! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, почувствовавъ, что кровь застыла въ его жилахъ: — умеръ... да... но какъ же это случилось? повторилъ онъ, мгновенно овладѣвая собою.

— Изволите ли видѣть: Кормонолѣй Семенычъ былъ, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, скупенекъ... ну-съ, вотъ и отправился онъ на выборы; его, знаете, дорога-то и запугала... Мнѣ разсказывала все это его сестрица, которая теперь при немъ; испугался онъ больше всего дороговизны на дорогахъ и постоялыхъ дворахъ... не выѣзжалъ, знаете, двадцать лѣтъ; „какъ, думаетъ, ограбятъ, совсѣмъ ограбятъ...“ Запуганный, знаете ли, этой мыслью, взялъ да и приказалъ повару сдѣлать яичницу во сто яицъ... да всю дорогу ею одною и питался... Время, знаете, сырое, человѣкъ преклонный... у него, знаете, это, и вышло разстройство... И никто даже не подозрѣвалъ этого... всю дорогу ни разу не пожаловался... напротивъ, хвалилъ эту яичницу... И только подъѣзжая къ Черноряжску, открылось, знаете, у него это воспаленіе... Въ ночь былъ очень дуренъ, къ утру хуже... а сегодня приказалъ долго жить!... вотъ какъ-съ!

Послѣ такого извѣстія, гимнастическія упражненія не могли ужъ, конечно, представить большаго интереса Аристарху Ѳедоровичу. Полный тревожнаго, мрачнаго опасенія за свои планы и смутно сомнѣваясь за удачный результатъ, онъ поспѣшилъ выбраться изъ залы.

У выхода онъ наткнулся на Карачаева.

— Такъ и есть, душа моя, такъ и есть! я вѣдь тебѣ говорилъ: всему виноватъ этотъ Попли... или... кокскій... да, Попельковскій! произнесъ Карачаевъ съ необычайнымъ воодушевленіемъ: — представь, братецъ: убѣжалъ! Скрылся... и... и костюмъ унесъ съ собою! и костюмъ! слышишь ли, костюмъ, я тебѣ говорю! Воръ! негодяй! О, я буду его преслѣдовать! Пойду хоть въ тартарары! Не убѣжитъ онъ отъ меня, не увернется!... Но куда же ты, братецъ? погоди! Сейчасъ начнутъ второе отдѣленіе... Иванъ сказалъ мнѣ, что оно будетъ во сто кратъ великолѣпнѣе прежняго.

— Я иду домой, нетерпѣливо отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, выходя на площадь.

— Ну, вотъ вздоръ какой! погоди, душа моя! Къ тому же, Иванъ приглашалъ меня къ себѣ послѣ представленія... Ахъ, братъ, ты не повѣришь, какъ онъ и жена его обрадовались! Такіе, право, добрые, радушные люди... Я хотѣлъ попросить тебя дождаться окончанія, и тогда пошли бы мы къ нимъ вмѣстѣ... Они, Богъ знаетъ, какъ бы тебѣ обрадовались...

— Ахъ, оставь меня, братецъ, въ покоѣ! съ досадою воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

Карачаевъ остановился какъ вкопанный, и лицо его приняло мгновенно самое недовольное выраженіе.

— Что-жъ ты гнушаешься моимъ предложеніемъ, что ли? вскричалъ онъ, двигая бровями:—а! когда такъ...

Но тутъ Карачаевъ взглянулъ на Аристарха Ѳедоровича и, замѣтивъ на лицѣ его слѣды глубокой грусти, тотчасъ же подбѣжалъ къ нему, взялъ его за руку и сказалъ, мгновенно измѣняя интонацію:

— Я, душа моя, приду скоро... ты только не безпокойся... Э! все это перемелется — мука будетъ... все это вздоръ! и, повѣрь мнѣ, хорошо кончится!

Сказавъ это, Карачаевъ оставилъ Аристарха Ѳедоровича; минуты двѣ онъ слѣдилъ за нимъ глазами; наконецъ, покрутя головой, махнулъ рукой и вернулся въ театръ.

Аристархъ Ѳодоровичъ пришелъ домой въ самомъ мрачномъ расположеніи духа. Сидоръ подтвердилъ ему горестное извѣстіе о смерти Бирюкова. Злостныя обстоятельства, очевидно, умножались, росли и грозили заслонить дорогу Аристарху Ѳедоровичу. Бирюковъ, Бирюковъ — эта необходимая спица въ томъ могучемъ колесѣ, которое должно было переломать ноги врагамъ Аристарха Ѳедоровича — умеръ! Аристархъ Ѳедоровичъ ясно видѣлъ, что смерть Кормонолѣя Семеновича увлекала за собою звѣзду его славы, которая и безъ того ужъ начинала блѣднѣть и опускаться къ горизонту. Да, Бирюковъ умеръ! дѣйствительно умеръ! Отъ искры Москва загорѣлась. Яичница была причиною, что Аристархъ Ѳедоровичъ лишался лучшей своей опоры! Конечно, перемелется — все мука будетъ; все обратится въ прахъ и тлѣнъ! Но, въ ожиданіи такого результата, что остается? рядъ безцвѣтныхъ годовъ, подточенныхъ сознаніемъ своего без-

силія и торжествомъ враговъ, перспектива новыхъ огорченій и затѣмъ могила на скромномъ деревенскомъ погостѣ!... Голова Аристарха Ѳедоровича горѣла; лихорадочный жаръ пробѣжалъ по его жиламъ. Онъ, безъ сомнѣнія, могъ утѣшить себя тѣмъ, что не сегодня, такъ завтра пріѣдетъ Лизавета Семеновна; что денегъ съ женинаго имѣнія, которое давно уже рѣшился онъ перезаложить или даже продать въ крайнемъ случаѣ, будетъ совершенно достаточно для того, чтобъ задать рядъ ослѣпительныхъ праздниковъ; что дѣло, слѣдовательно, еще не проиграно. Съ другой стороны, онъ содрогался при мысли, что весь городъ, всѣ, отъ мала до велика, знаютъ ужъ объ его намѣреніяхъ; всѣ говорятъ объ его балѣ и приготовленіяхъ... И что-жъ, если вдругъ, Боже упаси! явятся какія-нибудь непредвидѣнныя обстоятельства, которыя помѣшаютъ исполненію всѣхъ этихъ плановъ?... Что скажетъ тогда городъ? Что скажутъ подрядчики, оффиціанты?... Нѣтъ, нѣтъ! все это вздоръ, пустяки, безсвязный бредъ встревоженнаго воображенія. Дѣло еще не кончено и надо подождать результата. Тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ снова овладѣлъ собой и снова началъ себя обнадеживать.

Карачаевъ, вѣрный, какъ и всегда, своему нраву, опоздалъ явиться къ назначенному сроку. Онъ пробылъ у Ивана почти весь день и пришелъ домой уже тогда, когда подавали свѣчи. Карачаевъ засталъ Аристарха Ѳедоровича въ совершенно-спокойномъ расположеніи духа; по-крайней-мѣрѣ, такъ показалось ему. Обстоятельство это, какъ и слѣдовало ожидать, значительно развеселило Павла Петровича и мигомъ развязало ему языкъ.

— Ну, братецъ, какъ мнѣ жаль, что ты не пошелъ со мной къ Ивану... ну, словомъ, братъ, очень жаль! Ей-Богу, право! заговорилъ онъ, усаживаясь противъ Балахнова и закуривая трубку: — ты представить себѣ не можешь, что̀ это за добрые и честные люди!... и этотъ Мейеръ, который у нихъ живетъ... и другой еще у нихъ есть, Петръ Захарычъ, ну, вотъ кассиръ-то, котораго мы видѣли... все это, братъ, отличнѣйшіе и добрѣйшіе ребята... Ecoute: ты не повѣришь, братецъ, какъ я весело и пріятно провелъ съ ними время! И живутъ, знаешь, такъ мило, ей-Богу, право! Твоей Глафиры узнать нельзя, просто, невозможно... Вездѣ такъ чистенько, уютно: и ширмочки, и утюжокъ, и канареечка въ клѣткѣ виситъ... все

это, братъ, такъ, знаешь, миленько и чистенько... Да вотъ какъ: не будь я въ теперешнемъ моемъ положеніи — то-есть какое мое положеніе? ты понимаешь, я совсѣмъ не на то намекаю; не будь у меня, попросту, моихъ знакомыхъ, пріятелей, не будь у меня дружескаго угла — я, ей-Богу, съ радостью сталъ бы жить съ ними... Ей-Богу такъ! Ну, самъ посуди: что это такое? вѣдь это, признаться, братъ, все вздоръ, дребедень, пустяки, продолжалъ онъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ ничего не отвѣчалъ; задумчивые глаза его и продольная морщина на лбу ясно доказывали, что мысли его находились за тридевять земель отъ предмета карачаевскаго разговора.

— Ну, а на-счетъ, братецъ, этого Пли... Пло... кок... Попельковскаго, снова заговорилъ Карачаевъ, причемъ голосъ его возвысился на цѣлую октаву, а лицо изобразило всѣ признаки сильнѣйшаго негодованія: — скажу тебѣ, что я принялъ рѣшительное намѣреніе стереть его съ лица земли! Все припомню ему... припомню и бирюзоваго голубка, котораго утащилъ онъ тогда у этой несчастной Васильковой — все припомню! все! все!

— Послушай, Карачаевъ, я хотѣлъ поговорить съ тобой объ одномъ дѣлѣ... неожиданно перебилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, какъ-бы пробуждаясь отъ своей задумчивости. Тутъ Аристархъ Ѳедоровичъ провелъ ладонью по лбу, всталъ съ мѣста, прошелся нѣсколько шаговъ и снова остановился передъ Карачаевымъ.

— Дѣло, братецъ, большой важности и требуетъ отъ тебя всего твоего вниманія... скажу болѣе: требуетъ отъ тебя жертвы! примолвилъ Аристархъ Ѳедоровичъ, положивъ руку на плечо собесѣдника и пристально всматриваясь въ его лицо.

— Изволь, братецъ, я готовъ... ты знаешь, душа моя, Aristarque, что я...

— Стой! словъ мнѣ не надо... мнѣ нужно дѣло, любезный, дѣло, слышишь ли? сказалъ Балахновъ рѣшительнымъ голосомъ.

— Ну, да, разумѣется, душа моя... я иначе и не понимаю твоихъ словъ... Дѣло, такъ дѣло; я готовъ, отвѣчалъ Карачаевъ, поспѣшно вставая съ мѣста и запрятывая свою трубку въ самый темный уголъ, какъ-будто она могла быть весьма опаснымъ свидѣтелемъ въ предстоящемъ объясненіи.

— Садись и слушай! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, указывая ему торжественнымъ жестомъ на стулъ.

Карачаевъ суетливо усѣлся на указанное мѣсто и каждая черточка на лицѣ его мгновенно приняла строгое, внимательное и въ высшей степени дѣловое выраженіе.

— Прежде всего я долженъ тебѣ сдѣлать слѣдующій вопросъ, началъ Аристархъ Ѳедоровичъ: — скажи мнѣ откровенно, прямо, безъ обиняковъ, чувствуешь ли ты ко мнѣ истинное, душевное расположеніе? добавилъ онъ, протягивая руку Карачаеву, который схватилъ ее поспѣшно и пожалъ съ такою силою, что захрустѣли всѣ суставчики собесѣдника.

— Хорошо! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, поглаживая покраснѣвшую ладонь: — теперь слушай, вотъ въ чемъ дѣло...

Карачаевъ нагнулъ на бокъ голову и нахмурилъ глубокомысленно брови.

— Ты знаешь, братецъ, что вотъ ужъ полторы недѣли, какъ я жду сюда Лизавету Семеновну, продолжалъ Аристархъ Ѳедоровичъ: — почему я выписываю ее сюда... что̀ заставило меня безпокоить ее, подхватилъ онъ, стараясь смягчить свое выраженіе, потому-что Карачаевъ былъ страхъ раздражителенъ въ отношеніи ко всему, что касалось Лизаветы Семеновны — все это выходитъ изъ настоящаго предмета нашего разговора; дѣло въ томъ, что я жду ее, что присутствіе ея здѣсь необходимо, что у нея находятся, въ добавокъ, бумаги, которыя почти такъ же необходимы, какъ сама она... Но ты самъ видишь, что время проходитъ, а жены, между-тѣмъ, нѣтъ-какъ-нѣтъ... Писемъ я отъ нея точно также не получаю... словомъ, я теряюсь въ догадкахъ... Ужъ не больна ли она? или не случилось ли съ нею, или дѣтьми, какого-нибудь несчастія?... словомъ, безпокойство мое на этотъ счетъ доходитъ до крайнихъ предѣловъ...

Во время этого предварительнаго монолога, дѣловое лицо Карачаева сбрасывало постепенно выраженіе притупленнаго вниманія и съ каждой секундой все болѣе и болѣе хмурилось; въ глазахъ его, сначала глубокомысленно опущенныхъ къ полу, но устремленныхъ теперь въ тотъ уголъ, гдѣ находилась трубка, ясно можно было прочесть, что тайна, которую хранилъ онъ въ глубинѣ души своей, готова была вырваться изъ груди его. Онъ сдѣлалъ, однакожъ, усиліе и ограничился только сухимъ кашлемъ.

— Ну, хорошо, что-жъ дальше? сказалъ онъ, не подымая глазъ на Аристарха Ѳедоровича.

— Дальше будетъ то именно, о чемъ я хотѣлъ просить тебя, началъ Балахновъ таинственнымъ голосомъ: — изъ всѣхъ близкихъ, знакомыхъ и преданныхъ мнѣ людей, ты одинъ, на котораго я могу возложить это порученіе... Твоя искренняя привязанность къ женѣ...

— Да, я люблю, почитаю, уважаю, глубоко уважаю Лизавету Семеновну!... Ну, что-жъ дальше? нетерпѣливо сказалъ Карачаевъ.

— Безпокойство, касательно этого непонятнаго, упорнаго молчанія съ ея стороны, должно, слѣдовательно, занимать точно также маленькое мѣсто въ твоемъ добромъ сердцѣ...

— Ну, ну, ну! выполвилъ еще нетерпѣливѣе Карачаевъ.

— Послушай, любезный другъ, поѣзжай въ Ханскіе-Пруды, узнай все обстоятельно и привези жену какъ можно скорѣе сюда...

Волненіе и неловкость обозначились въ эту минуту съ такою силою во всей фигурѣ Карачаева, что Аристархъ Ѳедоровичъ усомнился на минуту въ привязанности Карачаева къ своей особѣ.

— Тебѣ, можетъ быть, въ тягость такое порученіе? спросилъ Балахновъ тономъ человѣка, который, очевидно, желаетъ услышать благопріятный отвѣтъ.

— Помилуй, братецъ, я не думалъ даже объ этомъ... Изволь, я готовъ!... чтобъ доказать тебѣ мое расположеніе... я готовъ ѣхать въ Ханскіе-Пруды... Полтораста верстъ для меня ровно ничего не значитъ; сѣлъ, завернулся въ шинель: „пошелъ!“ да и баста! и вся недолга! Изволь, братецъ, я ѣду хоть сейчасъ!

— Благодарю, милый мой, благодарю! Я никогда, впрочемъ, не сомнѣвался въ твоей дружбѣ! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, заключая Карачаева въ объятія.

Затѣмъ онъ тотчасъ же принялся дѣлать ему инструкцію, главный смыслъ которой заключался въ томъ, чтобъ привезти какъ можно скорѣе Лизавету Семеновну, и, въ особенности, не забыть сказать ей, чтобъ она захватила тѣ бумаги, о которыхъ было уже говорено въ письмахъ.

Карачаевъ слушалъ всѣ эти наставленія съ явнымъ невни-

маніемъ и пренебреженіемъ; но когда Аристархъ Ѳедоровичъ вышелъ изъ кабинета, чтобъ сдѣлать кой-какія распоряженія для скорѣйшаго отправленія Карачаева, Павелъ Петровичъ пришелъ внезапно въ неописанную ярость.

— Такъ! я поѣду!... Полтораста верстъ для меня ничего не значатъ!... Поѣду, не все равно, не сегодня, такъ завтра узнаешь... не миновать тебѣ, добрый отецъ... все узнаешь... вотъ она штука-то въ чемъ!... Такъ, такъ, голубушка моя, Лизавета Семеновна, такъ! не выдавайте себя, не жалѣйте! чего жалѣть?... Его не проймешь, голубушка моя, ни калиной, ни хворостиной!... заключилъ онъ, моргая глазами и свирѣпо почесывая лысину.

Минутъ десять спустя, сѣрый нанковый казакинъ красовался ужъ на плечахъ Карачаева, а черный фракъ его занималъ свое обычное мѣсто въ маленькомъ чемоданчикѣ. Немного погодя, стукъ удалявшейся телѣжки возвѣстилъ объ отправленіи Карачаева.

Аристархъ Ѳедоровичъ позвалъ Сидора, который выходилъ на крыльцо провожать Павла Петровича...

— Что, какова погода? спросилъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— Такая-то дрянная, сударь... что Боже упаси...

— Какая дрянная?

— Да чичерь, сударь...

— Какой чичерь? дуракъ!

— Чичерь, сударь... снѣгъ, дождь... крупа... вѣтеръ такой... зги не видно!...

— Хорошо, ступай!

Аристархъ Ѳедоровичъ завернулся въ халатъ, погрузился въ мягкое кресло, вытянулъ ноги и улыбнулся при мысли, что сомнѣнія его, въ отношеніи къ привязанности Карачаева, были далеко неосновательны.

XX.

Подмостки, на которыхъ столько лѣтъ красовался Аристархъ Ѳедоровичъ, начинаютъ трещать, подламываться, наконецъ падаютъ и увлекаютъ за собою великаго мужа.

Прошла недѣля послѣ событій, описанныхъ въ предыдущей главѣ. Не много, кажется, но времени этого было уже достаточно, чтобъ произвести опустошительное дѣйствіе въ величе-

ственной физіономіи знаменитаго горшковскаго дипломата. Уже на пятый день послѣ отъѣзда Карачаева, багровые кружки появились на благородныхъ ланитахъ Аристарха Ѳедоровича; въ короткій промежутокъ послѣдующихъ двухъ дней багровые кружки успѣли распространиться по всему лицу его, которое, отражая такимъ-образомъ зарево внутренняго пожара, значительно осунулось и похудѣло.

Продолжительность этой зловѣщей красноты опредѣляла всегда, какъ ужъ извѣстно, степень внутренняго разстройства великаго человѣка. Ясно было, слѣдовательно, что разстройство великаго человѣка достигло уже высшаго своего предѣла.

Могло ли быть иначе?

По всѣмъ разсчетамъ и соображеніямъ Аристарха Ѳедоровича, ему слѣдовало бы быть теперь наканунѣ своего бала; онъ твердо увѣренъ былъ, что къ этому времени, благодаря визитамъ жены, общественное положеніе его окончательно упрочится; такую же точно увѣренность питалъ онъ въ отношеніи къ бумагамъ, которыхъ ожидалъ вмѣстѣ съ женою; бумаги эти давно должны были снабдить его роскошными принадлежностями для предположеннаго бала и обѣда. Такъ думалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, но не такъ вышло на самомъ дѣлѣ.

Лизавета Семеновна не ѣхала; бумагъ какъ не бывало; балъ находился на степени простаго проекта; общественное положеніе было сомнительнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Въ этомъ крайнемъ случаѣ, Аристархъ Ѳедоровичъ имѣлъ полное право разсчитывать хоть на отвѣтъ отъ Лизаветы Семеновны или Карачаева. Но отвѣта не было. Ханскіе-Пруды хранили упорное молчаніе; а между-тѣмъ роковое утро, къ которому столько лѣтъ стремились всѣ помыслы Аристарха Ѳедоровича, приближалось съ непостижимою быстротою.

До начала выборовъ оставалось всего-на-все пятеро сутокъ! прошло еще два дня, два адски-мучительные дня.

Ханскіе-Пруды не подавали признака жизни.

Пурпуръ замѣтно началъ сбѣгать съ величественнаго лица Аристарха Ѳедоровича, оставляя на немъ, по мѣрѣ исчезновенія, слѣды той лимонной желтизны, которая не предвѣщаетъ ничего добраго.

Прошелъ еще день, потомъ еще день, потомъ третій, и, наконецъ, до выборовъ остались всего одни сутки.

Ханскіе-Пруды молчали попрежнему.

Смотритель оранжерей, котораго переманилъ Балахновъ у Окатова, подрядчики, обнадеженные задатками, оффиціанты и поваръ осадили его со всѣхъ сторонъ докучливыми разспросами о срокѣ бала и обѣда. Аристархъ Ѳедоровичъ, пожелтѣвшій уже окончательно, ничего не отвѣчалъ; онъ приказалъ не принимать ихъ, подъ предлогомъ легкой простуды. Ясно было, что балъ и обѣдъ не могли ужъ никакимъ образомъ осуществиться. Счастье еще, что Аристархъ Ѳедоровичъ не слышалъ сарказмовъ, расточаемыхъ по этому поводу на его счетъ Балаклеевыми и другими, болѣе или менѣе значительными обывателями Черноряжска. Одна мысль о возможности неблагопріятныхъ толковъ приводила его въ неописанное бѣшенство. Впрочемъ, какъ въ этомъ случаѣ, такъ равно и во всѣхъ случаяхъ его жизни, отдадимъ Аристарху Ѳедоровичу должную справедливость.

Онъ все еще крѣпился, не падалъ духомъ и даже употреблялъ гигантскія усилія, стараясь подавить въ груди своей яростные порывы желчи. Но какъ хотите, въ минуты, подобныя тѣмъ, какія переживалъ теперь нашъ герой, трудно, почти невозможно сохранить невозмутимое равнодушіе. Были мгновенія, когда чувствовалъ онъ, что желчь приступала къ горлу и давила его; были мгновенія, когда кровь бушевала въ жилахъ Аристарха Ѳедоровича; наступали также минуты, когда онъ ровно ничего не могъ сдѣлать, чтобъ потушить пламень негодованія, который, вопреки всѣмъ усиліямъ, исторгался изъ его глазъ, какъ изъ люковъ театра, когда тамъ представляютъ пожаръ.

Все это, разумѣется, нимало не помѣшало наступить роковому утру, назначенному для начала выборовъ.

Такъ-какъ Аристархъ Ѳедоровичъ не смыкалъ глазъ впродолженіе трехъ послѣднихъ ночей, было бы то совершенно лишнимъ распространяться о томъ, какъ поднялся онъ съ постели въ это достопамятное утро.

Достаточно сказать, что около восьми часовъ онъ вылилъ себѣ на голову три умывальника холодной воды, а часамъ къ девяти приказалъ подавать одѣваться.

Не мѣшаетъ также замѣтить, что, не смотря на вышеналоженныя критическія обстоятельства, великій человѣкъ хранилъ въ душѣ непреклонное намѣреніе ѣхать на выборы; онъ не

сомнѣвался, что присутствіе его все еще должно будетъ произвести сильный переворотъ въ мысляхъ черноражскихъ обывателей.

Аристархъ Ѳедоровичъ стоялъ передъ зеркаломъ и приступалъ уже къ подвязыванію галстука, какъ вдругъ на улицѣ послышался звонкій хлескъ копытъ и почти въ ту же минуту подъ самыми его окнами остановилась тройка.

При этомъ пальцы Балахнова, и безъ того уже несовсѣмъ покорные, выпустили галстукъ; онъ быстро подошелъ къ окну и выглянулъ на улицу.

При видѣ Карачаева, вылѣзавшаго изъ телѣжки съ чемоданомъ подъ мышкою, губы Аристарха Ѳедоровича вздрогнули и лицо поблѣднѣло, какъ известь.

Онъ не успѣлъ еще придти въ себя, какъ Карачаевъ очутился уже въ кабинетѣ.

— Здравствуй, братецъ, сказалъ Карачаевъ съ самымъ спокойнымъ, обыкновеннымъ видомъ: — да что съ тобою? что ты, братецъ?! подхватилъ онъ мгновенно, измѣняя интонацію: — успокойся, душа моя, ничего не случилось, клянусь тебѣ честью! всѣ, слава Богу, здоровы: и Лизавета Семеновна, и дѣтки также! заключилъ онъ, подбѣгая къ собесѣднику и протягивая къ нему обѣ руки.

Но Аристархъ Ѳедоровичъ поспѣшилъ спрятать руки за спину, отступилъ три шага и бросилъ на Карачаева сокрушающій взглядъ.

— Я не объ этомъ тебя спрашиваю! сказалъ онъ глухимъ, задыхающимся голосомъ: — я спрашиваю тебя... гдѣ жена?...

— Лизавета Семеновна въ Ханскихъ-Прудахъ, братецъ, отвѣчалъ Карачаевъ такимъ тономъ, какъ-будто дѣло касалось самаго обыкновеннаго предмета.

— Что же все это значитъ? вскричалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, задыхаясь отъ бѣшенства.

— Полно, братецъ, ну, что ты изъ себя выходишь?... успокойся! вотъ тебѣ кресло, садись; садись, говорю тебѣ; все узнаешь... заботливо отвѣчалъ Карачаевъ.

— Ну... произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, бросаясь на указанное ему мѣсто.

Карачаевъ поспѣшилъ занять сосѣдній стулъ, причемъ лицо его тотчасъ же приняло строгое и въ высшей степени дѣловое выраженіе.

Сжавъ свои узенькія губы патентованными зубами, скрестивъ судорожно руки на груди, Аристархъ Ѳедоровичъ подавилъ, казалось, въ себѣ на минуту порывы бѣшенства и приготовился слушать съ подобающимъ терпѣніемъ.

— Ну, что-жъ все это значитъ? повторилъ онъ.

— Значитъ то, братецъ, что Лизавета Семеновна сюда не будетъ... выразительно сказалъ Павелъ Петровичъ.

— Ка-а-акъ! вскричалъ Балахновъ, ударя кулакомъ по столу и быстро вскакивая съ мѣста.

— Полно, братецъ... ну, что ты, въ самомъ дѣлѣ... началъ-было Карачаевъ, но Аристархъ Ѳедоровичъ прервалъ его.

— А письма мои? произнесъ онъ.

— Письма твои получены всѣ до единаго... но Лизавета Семеновна все-таки не могла пріѣхать... На это, я тебѣ скажу, есть, братецъ, причины... примолвилъ Карачаевъ, разстегивая съ озабоченнымъ видомъ крючки своего наиковаго казакина и вынимая письмо: — на, читай! заключилъ онъ, нахмуривъ брови.

Аристархъ Ѳедоровичъ вырвалъ письмо изъ рукъ его, сломалъ печать и принялся читать.

Карачаевъ поспѣшилъ отодвинуть стулъ, всталъ и, съ свойственною ему скромностью, отошелъ въ сторону. Глаза его пристально устремились, однако-жъ, на Аристарха Ѳедоровича; онъ, повидимому, напрягалъ все свое вниманіе, чтобъ прослѣдить за впечатлѣніями, которыя должны были обозначиться въ чертахъ Балахнова при чтеніи письма. Выраженіе постепенно возраставшаго неудовольствія на лицѣ Карачаева доказывало, что онъ былъ чрезвычайно недоволенъ впечатлѣніями Аристарха Ѳедоровича. Но когда Аристархъ Ѳедоровичъ разорвалъ письмо въ мелкіе клочки, затопалъ ногами и разразился бранью, и особенно, когда, посреди этихъ неумѣренныхъ изліяній злобы, неоднократно произнесено было имя Лизаветы Семеновны, неудовольствіе Карачаева переступило всѣ границы и мигомъ превратилось въ самое сильное негодованіе. Съ именемъ Лизаветы Семеновны, произнесеннымъ безъ должнаго уваженія, Карачаевъ забушевалъ, какъ прорванная плотина, и слова его, подобно осколкамъ, сброшеннымъ въ потокъ, запрыгали съ неудержимою быстротою.

— Такъ, стало-быть, ты находишь, что Лизавета Семеновна поступила не такъ, какъ слѣдуетъ? воскликнулъ онъ,

багровѣя, какъ свекла, и не спуская грозныхъ, моргавшихъ глазъ съ Аристарха Ѳедоровича, который расхаживалъ по кабинету, судорожно подергивая бровями. — Что-жъ должна была она сдѣлать по-твоему? а? а? подхватилъ Карачаевъ, все болѣе и болѣе разгорячаясь: — она должна была пріѣхать сюда, отдать тебѣ бумаги и, ради прихоти твоей, лишить дѣтей... а?... Я, вѣдь, все знаю, братъ, все знаю!... Я, конечно, въ твои дѣла мѣшаться не смѣю, а правду тебѣ скажу, всегда скажу, потому-что люблю, уважаю, почитаю Лизавету Семеновну, и дѣтокъ люблю... привыкъ, привязался и желаю всѣмъ имъ добра; вотъ она штука-то въ чемъ! да! всю правду выскажу тебѣ,... Правда эта, признаться, давно сидитъ у меня вотъ здѣсь, да случая только не было! приговорилъ онъ, ударяя себя кулакомъ въ грудь: — ты привыкъ, чтобъ тебѣ всѣ кланялись и льстили, да я, братъ, не Кокуркины и не Свищовъ; вотъ она штука-то въ чемъ! Мнѣ, братъ, все равно!... Знаешь ли, отъ кого ты получилъ это письмо? Знаешь ли, кого ты бранилъ сейчасъ, а? Ты бранилъ самую благородную женщину, какая только есть на свѣтѣ! Стыдись, братецъ, стыдись! Это говорю тебѣ я, Карачаевъ, стыдись!...

Аристархъ Ѳедоровичъ остановился и непреклоннымъ жестомъ указалъ Карачаеву на дверь.

— Это ты мнѣ указываешь на дверь? я и самъ знаю, гдѣ она! вскричалъ Карачаевъ съ возраставшимъ жаромъ: — не безпокойся, уйду; уйду, когда надо будетъ; а до того выскажу тебѣ всю подноготную; сказалъ, что выскажу — и выскажу, хоть ты тутъ тресни! Всегда скажу, что ты слишкомъ, братъ, возмечталъ о себѣ, вотъ что! Ну, что ты, взаправду, о себѣ думаешь? что ты такое? а? Ученый, что ли? Будь ты заслуженный какой, сдѣлай ты полезное дѣло, будь ты хоть знатнаго рода, или будь у тебя какое-нибудь особое воспитаніе или образованіе... вотъ тогда могъ бы ты считаться лучше другихъ... Да и то не долженъ бы показывать этого! А то что въ тебѣ: знаешь только ты, братъ, выпучивать грудь, озадачивать какого-нибудь кисляка Василькова, да строчить ябеды... да и то, слышалъ я, безграмотныя, такъ что всякой писецъ изъ земскаго суда лучше напишетъ; вотъ что!

— Ты забываешься! я велю вывести тебя вонъ! вскричалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, дѣлая угрожающій жестъ.

— Меня! меня вывести! нѣтъ, братъ, молода еще, въ Саксоніи не была! запальчиво крикнулъ Карачаевъ: — а впрочемъ, позови Сидора — я при немъ выскажу тебѣ все, что надо: мнѣ, вѣдь ты знаешь, все равно! Да, братъ, да, да, возмечталъ ты о себѣ слишкомъ много! вотъ что! Такъ возмечталъ, что всѣ кажутся тебѣ какою-то перкантелью... и даже Лизавета Семеновна, которой, между-тѣмъ, ты башмака не стоишь! Вотъ она штука-то въ чемъ! Пріѣдетъ куда-нибудь или дома у себя: развалится на диванѣ, задеретъ ноги, да и думаетъ, чортъ знаетъ, что онъ такое! Ну, что ты хочешь этимъ сказать? что? Ну, что ты хотѣлъ сказать, когда, двѣ недѣли тому назадъ, послѣ твоего обѣда, разлегся при всѣхъ на диванѣ: „о-о, я спать хочу!“ кого ты этимъ озадачилъ? Всѣ сказали, что ты невѣжда; вотъ что! Нечего глаза-то выпучивать, меня этимъ не испугаешь; я всегда скажу, что ты мизинца, подошвы, да еще старой, истасканной подошвы Лизаветы Семеновны не стоишь! Мы всѣ, да, всѣ, сколько насъ ни есть, уважаемъ и почитаемъ ее, какъ добрую и благородную женщину... а ты... ну, братъ, ты еще покуда погоди! Почему никто до-сихъ-поръ еще не сказалъ о тебѣ добраго слова? а? Потому что ты мѣшаешься во всякое дѣло, лѣзешь всюду, гдѣ безъ тебя обойдутся и гдѣ тебя вовсе не спрашиваютъ!... И добро бы имѣлъ на это право какое, а вѣдь у самого пушокъ на рыльцѣ, да еще, можетъ статься, больше чѣмъ у тѣхъ, кого ты чернишь; вотъ что! Ты одинъ правъ, всѣ виноваты; это, братъ, что-то мудрено!... Вотъ она штука-то въ чемъ! Я, вѣдь, правду говорю! Помнишь, ты читалъ мнѣ одно письмо, не помню только, къ кому оно было... кажется, къ Соломееву... ты очернилъ его, да и говорилъ потомъ: „теперь обращу строгій взглядъ на себя!“ Я помню, какъ ты тамъ себя выставлялъ, любо-дорого слушать!... Нѣтъ, ты, въ самомъ дѣлѣ, не шутя, обрати-ка этотъ строгій взглядъ на себя, посмотри-ка, каковъ ты есть на самомъ дѣлѣ, такъ и увидишь, можетъ статься...

— Сидоръ! бѣшено вскричалъ Аристархъ Ѳедоровичъ, бросаясь, съ пѣной у рта, къ двери.

Но Сидоръ стоялъ ужъ въ дверяхъ, и не успѣлъ Аристархъ Ѳедоровичъ произнести слова, какъ онъ выступилъ впередъ и сказалъ:

— Вы изволили, сударь, посылать кучера къ подъѣзду собранія, онъ пришелъ; всѣ съѣзжаются, сударь...

— Одѣваться! одѣваться! воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ, кидаясь къ зеркалу и, въ замѣшательствѣ, забывая присутствіе Карачаева и все, что сейчасъ происходило.

— Какъ! прохрипѣлъ Карачаевъ, дѣлая шагъ впередъ: — и послѣ всего этого ты все-таки хочешь ѣхать!... Ступай! ступай! стремись, поѣзжай... заключилъ онъ, схватывая шапку и направляясь вонъ изъ кабинета, причемъ плюнулъ въ уголъ и яростно хлопнулъ дверью.

Нѣтъ никакой возможности передать словами того, что совершилось въ эту послѣднюю четверть часа въ величавой груди Аристарха Ѳедоровича. Въ этомъ случаѣ было бы даже совершенно излишнимъ прибѣгать къ аллегоріи; никакое до-сихъ-поръ извѣстное аллегорическое сравненіе не нашло бы здѣсь мѣста. Предоставимъ, слѣдовательно, на время, Аристарха Ѳедоровича самому себѣ и обратимся къ Карачаеву, который маршируетъ быстрыми шагами по деревяннымъ тротуарамъ города Черноярска.

Было бы также не легко опредѣлить состояніе, въ какомъ находились взволнованныя чувства Павла Петровича; наружность и движенія его показывали, впрочемъ, что въ простомъ и безхитростномъ сердцѣ Павла Петровича происходила страшная суматоха. Глазами моргалъ онъ точно такъ же, какъ во время объясненія съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ, и лицо его было красно по-прежнему. Руками онъ такъ размахивалъ, какъ будто пробивался сквозь густую толпу или разрушалъ стѣны ненавистной тюрьмы, изъ которой давно ужъ хотѣлъ высвободиться. Но какой одушевленный или неодушевленный предметъ стремились уничтожить грозные жесты Карачаева? — неизвѣстно. Были ли они обращены на несчастныя обстоятельства, которыя со всѣхъ сторонъ обступили Балахнова, или на самого Балахнова? — опредѣлить также весьма трудно. Не обращая, повидимому, ни малѣйшаго вниманія на то, что происходило вокругъ, Карачаевъ дошелъ такимъ-образомъ до конца Никольской и переходилъ ужъ въ Дворянскую улицу, какъ за спиною его раздались неожиданные крики: „пади! пади! берегись!“ Обернувшись, Карачаевъ увидѣлъ коляску Аристарха Ѳедоровича и въ коляскѣ самого Аристарха Ѳедоровича. Ни-

мало не безпокоясь, онъ медленно, шагъ за шагомъ, отошелъ въ сторону; выждавъ минуту, когда окно экипажа поровнялось съ его лицомъ, онъ ограничился лишь тѣмъ, что поспѣшно повернулся спиною къ Аристарху Ѳедоровичу.

Встрѣча эта произвела, однакожъ, тотъ хорошій результатъ, что прояснила хаосъ, въ который до того времени повергнуты были мысли Павла Петровича. Съ этой минуты онъ исключительно уже занялся изслѣдованіемъ характера и поступковъ Аристарха Ѳедоровича.

Павелъ Петровичъ былъ возмущенъ до глубины души. Иначе, впрочемъ, и быть не могло. Во все продолженіе пути изъ Ханскихъ-Прудовъ до Черноряжска, Карачаевъ, обдумывалъ наставительную рѣчь, которую хотѣлъ произнести передъ Балахновымъ, и которая такъ неожиданно превратилась въ рядъ грубыхъ упрековъ. Но, какъ бы то ни было, сущность наставительной рѣчи все-таки ярко выступала наружу; Павелъ Петровичъ высказалъ все, что лежало у него на душѣ. Онъ нимало не сомнѣвался, что помощью рѣчи своей расшевелитъ до глубины души Аристарха Ѳедоровича, пробудитъ въ немъ стыдъ и совѣсть, разоблачитъ его безсиліе, укажетъ ему все ничтожество честолюбивыхъ уѣздныхъ замысловъ и возвратитъ его наконецъ къ обязанностямъ. Что-жъ вышло на повѣрку? Вышло, что, послѣ произнесенія этой рѣчи, Аристархъ Ѳедоровичъ не только не почувствовалъ раскаянія и угрызенія совѣсти, но какъ-бы сильнѣе еще укрѣпился въ своихъ честолюбивыхъ замыслахъ, которые, очевидно, должны были погубить его.

Полный самыхъ тревожныхъ мыслей, Карачаевъ вернулся въ квартиру Балахнова.

Весьма любопытно было бы знать, сколько шаговъ и даже сколько верстъ сдѣлалъ Карачаевъ, разгуливая взадъ и впередъ по кабинету Аристарха Ѳедоровича; вышла бы также не менѣе любопытная цифра, если-бъ сосчитать число трубокъ, выкуренныхъ имъ въ это достопамятное утро. Къ сожалѣнію, то и другое осталось неизвѣстнымъ. Мы положительно знаемъ только, что моціонъ и трубки не произвели благодѣтельнаго вліянія на взволнованныя его чувства. Онъ видимо начиналъ ужъ тяготиться своимъ положеніемъ, и, желая, вѣроятно, разсѣяться во что бы то ни стало, взялъ шапку и снова вышелъ на улицу.

Было ужъ около двухъ часовъ пополудни. Улицы Черно-

ряжка представляли картину самаго полнаго оживленія; все показывало, что въ эту минуту въ городѣ происходило или произошло что-то необычайное. Карачаевъ тотчасъ же смекнулъ въ чемъ дѣло; онъ ускорилъ шаги и направился къ дому Собранія.

Онъ находился ужъ недалеко отъ своей цѣли, какъ, поднявъ неожиданно голову, увидѣлъ дрожки и пару рыженькихъ ватокъ, которыя только-что оставили, повидимому, крыльцо Собранія. Въ дрожкахъ сидѣлъ, покачиваясь изъ стороны въ сторону, толстый Нилъ Степановичъ Лукьяновъ.

— Стой! стой! стой! закричалъ Карачаевъ, поспѣшно вынимая изъ кармана извѣстный клѣтчатый платокъ съ прорѣхою посерединѣ и размахивая имъ по воздуху.

Нилъ Степановичъ положилъ жирную руку свою на шею кучера — и дрожки остановились.

— Батюшки-свѣты, кого я вижу! Павелъ Петровичъ! вотъ говорятъ: въ одинъ день двѣ радости не живутъ! Какими судьбами? воскликнулъ Лукьяновъ, протягивая руки и перегибаясь всѣмъ корпусомъ на правую сторону дрожекъ, которыя издали при этомъ жалобный пискъ.

— Здравствуйте, здравствуйте, Нилъ Степанычъ! сказалъ Карачаевъ, пожимая ему руки:—вы теперь изъ Собранія?

— Да...

— Стало-быть, Собраніе кончилось?...

— Кончилось, любезный Павелъ Петровичъ, кончилось! Добрый конецъ — всему вѣнецъ, какъ говорится... хе... хе... хе .. Видите, всѣ ужъ разъѣзжаются!

— Вижу, вижу..: ну, а скажите-ка, пожалуйста, Нилъ Степанычъ... я хотѣлъ спросить васъ, что Аристархъ Ѳедорычъ? проговорилъ Карачаевъ, переводя одышку на каждомъ словѣ.

Нилъ Степановичъ выразительно подмигнулъ Карачаеву на кучера, приложилъ указательный палецъ къ уху и снова перегнулся черезъ дрожки.

— Ухайдакали! шепнулъ онъ.

— Какъ такъ?

— Да такъ — ухайдакали! повторилъ Лукьяновъ, выразительно приподнявъ брови: — забаллотировали въ чистую; накидали ему видимо-невидимо черняковъ .. просто, осрамился! Ни-то, ни-сё, кипѣло, да и то прогорѣло, говорится... самъ накликалъ...

То же самое, я вамъ скажу, случилось, десять лѣтъ назадъ, съ покойнымъ моимъ шуриномъ, то-есть сыномъ отца моей жены...

— Вѣдь я жъ говорилъ ему не ѣздить! я говорилъ ему! воскликнулъ Карачаевъ.

— И я говорилъ ему то-же самое! подхватилъ Лукьяновъ:— я говорилъ ему еще передъ началомъ баллотировки: — „преимногоуважаемый Аристархъ Ѳедоровичъ“, говорилъ я ему...

— Кого же избрали?

— Солонеева! шепнулъ Лукьяновъ.

— А еще?

— Балаклеева...

— А кто перебилъ дорогу Аристарху Ѳедорычу?

Тутъ Нилъ Степановичъ оглянулся на всѣ стороны площади, приложилъ толстыя свои губы къ уху Карачаева и прошепталъ:

— Кошкинъ...

Карачаевъ свирѣпо почесалъ затылокъ.

— А что, Нилъ Степанычъ, произнесъ Карачаевъ, указывая рукою на Собраніе и съ трудомъ подавляя безпокойство:— вы не знаете, Аристархъ Ѳедорычъ все еще тамъ?

— Нѣтъ, мой почтеннѣйшій, сейчасъ только-что уѣхалъ... мы выѣхали почти въ одно время; теперь онъ долженъ быть дома.

— Въ такомъ случаѣ, прощайте, Нилъ Степанычъ! проговорилъ Карачаевъ.

— Куда-жъ вы?... Погодите, Павелъ Петровичъ... я хотѣлъ предложить вамъ партійку къ вечеру...

— Нѣтъ... нельзя... ей-Богу... дѣла... въ другой разъ, отвѣчалъ Карачаевъ, нетерпѣливо моргая глазами.

И, не дожидаясь возраженій Нила Степановича, онъ пустился безъ оглядки по направленію къ купеческому дому, занимаемому Балахновымъ.

Минутъ пять спустя, онъ былъ ужъ на лѣстницѣ. Вступивъ въ переднюю, которая въ настоящую минуту была пуста, онъ бросилъ шапку, торопливо пригладилъ лысину и поспѣшилъ войдти въ кабинетъ.

— Я, вѣдь, тебѣ говорилъ, душа моя, Aristarque! я, вѣдь, говорилъ тебѣ! воскликнулъ онъ, простирая впередъ руки,—но въ ту же секунду остановился, пораженный неожиданнымъ зрѣлищемъ.

Аристархъ Ѳедоровичъ, въ полномъ облаченіи, лежалъ безъ признака жизни на диванѣ. Сидоръ и кучеръ стояли по бокамъ его недвижно, какъ столбы, глубоко вколоченные въ землю.

— Что же вы? закричалъ Карачаевъ, бросаясь къ дивану: — развѣ вы не видите, что ему надо развязать галстукъ!...

— Бѣги за докторомъ... жи-ва-а! бѣги скорѣй... ты, Сидоръ, или нѣтъ... ты, Василій... спросить лучшаго доктора... сказать, что большая опасность... жи-ва-а-а! продолжалъ кричать Карачаевъ, освобождая Аристарха Ѳедоровича отъ остальной одежды. Карачаевъ забылъ ужъ происшествіе утра; онъ ухаживаетъ теперь за Балахновымъ, какъ-будто тотъ былъ сто разъ его любимымъ братомъ.

Какъ только кучеръ вышелъ, Павелъ Петровичъ услалъ Сидора за холодной водой и, оставшись наединѣ, ударилъ себя кулакомъ въ голову и заходилъ, какъ угорѣлый, по кабинету. Внезапно онъ остановился передъ Балахновымъ, простеръ надъ нимъ руки и прокричалъ голосомъ, полнымъ глубокаго отчаянія:

— Я же говорилъ тебѣ, душа моя, Aristarque!... я говорилъ тебѣ!... Въ эту самую минуту Сидоръ вошелъ съ водой, и Карачаевъ поспѣшилъ отвернуться къ окну.

— Вотъ что! воскликнулъ онъ, когда капли воды, брошенныя имъ на лицо Аристарха Ѳедоровича, не произвели никакого дѣйствія: — вотъ что... промолвилъ онъ, обнаруживая сильнѣйшіе признаки безпокойства: — Васька ни за что, ни за что не найдетъ доктора... Пробѣгаетъ попустому... Вѣрно такъ! фу! на, держи кувшинъ, я самъ пойду! заключилъ онъ, стремглавъ выбѣгая изъ кабинета.

Черезъ полчаса Карачаевъ, покрытый потомъ и едва переводя духъ отъ усталости, явился въ сопровожденіи доктора.

— Ну, что, докторъ? спросилъ онъ, когда тотъ осмотрѣлъ Аристарха Ѳедоровича.

— Надо какъ можно скорѣе пустить ему кровь, флегматически отвѣчалъ медикъ.

— Сидоръ... бѣги скорѣе за цирюльникомъ! жива-а! тащи его за шиворотъ, или нѣтъ! стой! ты не найдешь... я самъ лучше сбѣгаю! прибавилъ онъ, пускаясь въ догонку за камердинеромъ.

Въ передней Карачаевъ остановился, снова стукнулъ себя

въ голову и бросился развязывать маленькій чемоданчикъ, стоявшій подлѣ печки; вышвырнувъ на полъ все, что находилось въ чемоданчикѣ, онъ отыскалъ старенькій бумажникъ, вынулъ ободранную трехрублевую депозитку, тщательно уложенную между двумя бумажками, и суетливо возвратился въ кабинетъ.

— Вотъ, докторъ, пробормоталъ онъ, багровѣя, какъ клюква, и неловко подавая ему деньги: — вотъ... Послушайте, докторъ, примолвилъ онъ, отводя его къ окну и указывая ему на больнаго: — надѣюсь, вы ничего не скажете... écouté: какъ честный человѣкъ, вы ничего не должны разсказывать о томъ, что съ нимъ случилось!...

— Помилуйте, это до меня не касается... Меня призвали — я пришелъ; а до остальнаго мнѣ нѣтъ дѣла...

— Какъ честный человѣкъ?

Докторъ утвердительно кивнулъ головой.

— Вотъ еще что, сказалъ Карачаевъ, когда онъ и докторъ очутились въ прихожей: — можно ли отвезти его въ такомъ положеніи домой?

— Можно; но только надо поторопиться; завтра, можетъ статься, будетъ ужъ поздно... По всѣмъ вѣроятіямъ, у него откроется горячка...

— Не можетъ быть!

Докторъ утвердительно кивнулъ головой.

Карачаевъ, всплеснувъ руками, отчаянно замоталъ головой и побѣжалъ за цырюльникомъ.

Кровопусканіе принесло Аристарху Ѳедоровичу очевидную пользу. Онъ раскрылъ глаза, сдѣлалъ усиліе, чтобъ приподняться на диванѣ, и попробовалъ даже выпучить грудь.

— Что я имъ сдѣлалъ? воскликнулъ Аристархъ Ѳедоровичъ разбитымъ, дребезжащимъ голосомъ: — за что все это?... Кошкинъ!... Солонеевъ!... злодѣи!...

Но едва произнесъ онъ эти слова, лицо его покрылось смертельною блѣдностью, вагенгеймовскіе зубы притиснули нижнюю губу и онъ снова повалился на диванъ.

Принявъ такія выходки за первые пароксизмы начинавшейся горячки, Карачаевъ послалъ тотчасъ же кучера за подорожной, а самъ, съ помощью Сидора, поспѣшилъ приступить къ укладкѣ чемодановъ.

Въ ту же ночь голубая коляска Аристарха Ѳедоровича

выѣхала изъ Черпоряжска въ сопровожденіи телѣжки съ сидѣвшимъ въ ней Карачаевымъ, который курилъ трубку и хмурилъ брови съ крайне озабоченнымъ видомъ.

XXI.

Аристархъ Ѳедоровичъ, свергнутый силою обстоятельствъ съ высоты своего величія, перестаетъ, кажется, выпучивать грудь и становится обыкновеннымъ смертнымъ.

Итакъ, Аристархъ Ѳедоровичъ палъ! Это несомнѣнно. Слѣдуетъ ли заключать, однако-жъ, что онъ послѣ этого не заслуживаетъ нашего уваженія? Ничуть не бывало. Что говорить: Аристархъ Ѳедоровичъ палъ, обнаруживая слабости, свойственныя самымъ обыкновеннымъ смертнымъ; въ паденіи его не было даже ничего геройскаго, ничего такого, что вызвало бы на размышленіе или возбуждало удивленіе, подобное тому, напримѣръ, какое возбуждаютъ въ насъ гладіаторы древняго Рима, которые, при послѣднемъ издыханіи, все еще гордо держали голову и умирали, стараясь сохранить повозможности величественно-граціозную позу. Все это совершенно справедливо. Справедливо, можетъ статься, и то также, что многія достойныя особы, многія слабонервныя, чувствительныя дамы, готовыя проливать обильные потоки слезъ при видѣ раздавленнаго комара, пройдутъ теперь мимо Аристарха Ѳедоровича, не удостоивъ его сострадательнымъ взглядомъ. Но смѣю увѣрить, всѣ эти особы поступятъ въ такомъ случаѣ весьма необдуманно. Величественный дубъ, сломанный грозою, занимаетъ на землѣ такое же точно пространство, какое занималъ онъ прежде въ вышинѣ! Развѣ обломки колосса Родосскаго (еслибъ таковые находились) не должны были пробуждать въ насъ изумленія? Намъ стоило бы только исчислить здѣсь заслуги Аристарха Ѳедоровича, какъ дипломата и оратора, представить всеобщему вниманію глубину его мыслей и проектовъ, выставить въ вѣрныхъ, но безпристрастныхъ краскахъ неисчислимыя его добродѣтели, чтобъ мгновенно возвратить ему высокое мнѣніе всѣхъ благомыслящихъ людей. Но... но мы не сдѣлаемъ этого; не сдѣлаемъ потому именно, чтобъ не нанести удара той необычайной скром-

ности, которая такъ отличала всегда нашего героя на поприщѣ жизни.

Ограничимся лучше продолженіемъ разсказа:

Аристархъ Ѳедоровичъ, благодаря неусыпной заботливости Карачаева, совершилъ незамѣтно свой переѣздъ изъ Черноряжска въ Ханскіе-Пруды. Они пріѣхали ночью. Карачаевъ нарочно разсчитывалъ на позднее время, чтобъ не потревожить мирныхъ обитателей древняго дома. Такая предосторожность оказалась, впрочемъ, лишнею: Сидоръ передалъ свои опасенія женѣ, та поспѣшила сообщить роковое извѣстіе какой-то дворовой женщинѣ, дворовая женщина побѣжала къ Фіонѣ Ивановнѣ, Фіона Ивановна побѣжала къ старой нянѣ, старая няня разбудила Лизавету Семеновну, которая, спустя минуту, очутилась въ кабинетѣ, къ великому недоумѣнію предусмотрительнаго Павла Петровича.

Недоумѣніе его мгновенно уступило, однако-жъ, мѣсто глубочайшему отчаянію, когда Лизавета Семеновна, остановившись передъ постелью мужа, закрыла лицо руками и горько заплакала. Онъ тотчасъ же принялся ее уговаривать, увѣрять, что все это ничего не значитъ, что черноряжскій докторъ справедливо пользуется заслуженной извѣстностью, что онъ объявилъ положеніе Аристарха Ѳедоровича далеко неопаснымъ и кончилъ тѣмъ, наконецъ, что сталъ умолять Лизавету Семеновну вытолкать его вонъ изъ Ханскихъ-Прудовъ, въ томъ случаѣ, если онъ говорилъ неправду. Все это мало, повидимому, подѣйствовало на Лизавету Семеновну, и ночь, проведенная ею у изголовья мужа, была не изъ самыхъ спокойныхъ въ ея жизни.

Съ разсвѣтомъ послали за Карломъ Готлибовичемъ Газенпотомъ, горшковскимъ эскулапомъ.

Газенпотъ подтвердилъ слова своего собрата и вмѣстѣ съ тѣмъ подтвердилъ слова Карачаева.

Съ того же дня въ древнемъ домѣ наступила тишина. Было такъ тихо, какъ въ то время, когда Аристархъ Ѳедоровичъ занимался сочиненіемъ знаменитыхъ своихъ писемъ, или когда его не было дома; впрочемъ, самъ Карачаевъ наблюдалъ за этимъ; всякій зналъ, слѣдовательно, очень хорошо, что горе тому смертному, у котораго дерзнули бы заскрипѣть сапоги. Онъ потребовалъ себѣ прежде всего полное, безконтрольнее наблюденіе надъ Аристархомъ Ѳедоровичемъ; въ первыя двѣ недѣли

онъ рѣшительно не отходилъ отъ постели больнаго. Послѣ этого срока, Аристархъ Ѳедоровичъ началъ обнаруживать признаки къ выздоровленію. Тогда только Карачаевъ рѣшился сдѣлать нѣкоторыя отступленія въ отношеніи къ роли сидѣлки, которую такъ настоятельно на себя принялъ. Отступленія эти заключались въ слѣдующемъ: какъ только замѣчалъ онъ, что Аристархъ Ѳедоровичъ приходитъ въ сознаніе и готовится раскрыть глаза, онъ поспѣшно приподымался съ мѣста, бѣжалъ изъ кабинета, стучалъ въ дверь къ Лизаветѣ Семеновнѣ и, производя пальцами какіе-то таинственные знаки, посылалъ ее къ мужу. Затѣмъ, бережно затворивъ дверь кабинета за Лизаветой Семеновной, онъ уходилъ на цыпочкахъ въ залу или поднимался наверхъ, къ Фіонѣ Ивановнѣ, съ которой находился теперь въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ.

Эти дружескія отношенія основывались единственно на томъ, что съ нѣкоторыхъ поръ дурное и постоянно сварливое расположеніе духа экономки получило значительное улучшеніе. Благопріятная перемѣна замѣтна была не только въ нравѣ Фіоны Ивановны, но распространялась даже на ея физіономію. Когда Карачаевъ дѣлалъ ей на этотъ счетъ замѣчанія, она отвѣчала всегда, что сама видитъ въ себѣ перемѣну и приписываетъ ее постепенному облегченію отъ несноснаго флюса, съ которымъ провозилась столько лѣтъ. Слушая ее, Карачаевъ улыбался и недовѣрчиво потряхивалъ головой. Онъ давно ужъ догадался, въ чемъ состояло дѣло; на второй же день послѣ пріѣзда своего изъ Черноряжска, онъ засталъ Прокисая Захаровича въ комнатѣ экономки. Фіона Ивановна, извѣщенная, вѣроятно, во-время о продѣлкахъ Надѣженьки Кокуркиной и Василькова, поспѣшила воспользоваться случаемъ и снова завладѣла Копковымъ. Румянецъ и даже нѣкоторая полнота, появившіяся на щекахъ Прокисая Захаровича, мягкая перина, замѣнившая его тюфячокъ, и сдобныя лепешечки съ фестончиками, неускользнувшія отъ вниманія Карачаева, подтвердили какъ нельзя лучше его догадки. Онъ не передавалъ, однакожъ, своихъ замѣчаній и ограничивался тѣмъ только, что въ душѣ подтрунивалъ надъ счастливою четою. Поговоривъ минутъ десять съ Копковымъ или вдовою Чивадзи, Карачаевъ снова возвращался къ своимъ обязанностямъ сидѣлки. Нерѣдко въ то время, какъ подходилъ онъ къ кабинету, за дверью слышался нетерпѣливый, разбитый

голосъ Аристарха Ѳедоровича, прерываемый нѣжнымъ голосомъ Лизаветы Семеновны, который весьма часто заглушали рыданія. Тогда Карачаевъ убѣгалъ въ гостиную, багровѣлъ, принимался размахивать руками и разражался яростными монологами, которые обращались, по большой части, къ тиціановской нимфѣ, доставшейся Балахнову отъ его предковъ.

Порывы эти мгновенно утихали, какъ только въ дверяхъ гостинной показывалось заплаканное, печальное лицо Лизаветы Семеновны.

— Не унывайте, голубушка моя, Лизавета Семеновна, не унывайте!.. главное дѣло, не поддавайтесь ему ни за что, не поддавайтесь—и все будетъ хорошо! говорилъ Карачаевъ, суетливо подбѣгая къ ней: — дѣлайте, какъ я вамъ говорю; послушайтесь меня, голубушка вы моя: куйте желѣзо, пока горячо, то-есть говорите ему всю правду, всю подноготную, ничего не скрывайте... Пускай все узнаетъ! Вы еще не говорили ему, что Ханскіе-Пруды велѣно описывать? Нѣтъ? ну, и не надо; сдѣлайте это, когда онъ совершенно выздоровѣетъ... а я покуда его подготовлю... Главное дѣло, не унывайте, голубушка моя, не робѣйте... Вотъ я вчера собрался съ духомъ и сообщилъ ему о кой-какихъ дурныхъ обстоятельствахъ по хозяйству... онъ хоть бы пикнулъ; вѣдь это добрый знакъ, голубушка моя, Лизавета Семеновна... чего робѣть? э! помилуйте! Авось, Богъ дастъ, мы все это устроимъ! онъ, я замѣчаю, начинаетъ уже поддаваться... Нѣтъ, перемѣна въ немъ большая; все это, я вамъ скажу, сильно его подкузьмило.., то-есть... фу!.. Ну, да все равно, перевернуло, что ли! Главное дѣло, я вамъ говорю, не унывайте... исподоволь, знаете: сегодня слово, завтра слово... Авось, Богъ дастъ, все устроимъ!...

Проговоривъ все это безъ одышки, Карачаевъ провожалъ Лизавету Семеновну до дверей дѣтской, возвращался въ кабинетъ и снова садился у изголовья больнаго.

Выздоровленіе Аристарха Ѳедоровича совершалось медленно.

Снѣгъ давно уже покрывалъ поля; морозъ давно ужъ оковалъ пруды съ плававшими на нихъ искусственными лебедями; мятели и вьюги занесли сугробами пирамиды, обелиски и вычурныя заставы, украшавшія Ханскіе-Пруды. Аристархъ Ѳедоровичъ все еще не могъ приподняться съ постели, хотя владѣлъ ужъ полнымъ сознаніемъ.

Мало-по-малу силы его начали возвращаться и Газенпотъ, являвшійся по два раза въ недѣлю аккуратно, объявилъ, что недѣли черезъ четыре Аристархъ Ѳедоровичъ будетъ совершенно здоровъ.

И дѣйствительно, мѣсяцъ спустя, Аристархъ Ѳедоровичъ могъ ужъ прогуливаться по кабинету безъ помощи Карачаева.

Было превосходное зимнее утро. Вокругъ балахновскаго дома трещалъ морозъ, а въ самомъ домѣ трещали еще немилосердѣе печки, затопленныя Моисеемъ Акишевымъ, тѣмъ самымъ бѣлокурымъ лакеемъ, который преклонился когда-то передъ геніемъ Калины и талантами карачаевскаго Ивана. Но яркое пламя печки дѣлалось незамѣтнымъ передъ лучами солнца, которые врывались въ окна балахновскаго кабинета, освобожденныя уже отъ зеленыхъ занавѣсокъ. Аристархъ Ѳедоровичъ сидѣлъ въ широкихъ вольтеровскихъ креслахъ насупротивъ письменнаго стола; Карачаевъ сидѣлъ по другую сторону стола и не сводилъ моргающихъ глазъ съ собесѣдника. Наблюденія Павла Петровича ограничивались съ нѣкоторыхъ поръ одними и тѣми же выводами: онъ убѣждался съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе, что выборы дѣйствительно подкузьмили Аристарха Ѳедоровича и произвели въ немъ разительную перемѣну.

— Ну, что, душа моя, какъ ты сегодня себя чувствуешь? спросилъ Карачаевъ.

— Совершенно хорошо, отвѣчалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— А не чувствуешь ли ты этакъ... знаешь, аппетита? а?

— Да, таки порядочно...

— Превосходно! поздравляю, братъ; значитъ, ты совсѣмъ здоровъ! Карлъ Готлибовичъ разрѣшилъ тебѣ курицу... Ну, братъ, скажу тебѣ, какую ужъ зато мы курицу тебѣ дадимъ сегодня, такъ просто!... я самъ сейчасъ былъ на кухнѣ... ты знаешь, я вѣдь вездѣ самъ, за всѣмъ, братъ, присматриваю...

— Благодарю! благодарю! произнесъ Аристархъ Ѳедоровичъ, протягивая Карачаеву руку.

— Вотъ славно! Ха, ха, ха! благодарю! воскликнулъ Павелъ Петровичъ:—да за что ты меня благодаришь-то? Ха, ха, ха! благодаритъ, какъ-будто я въ самомъ дѣлѣ что-нибудь сдѣлалъ... Нѣтъ, братъ, если надо кого благодарить тебѣ, такъ не меня—я что?—надо благодарить Лизавету Семеновну! Вотъ это другое дѣло! примолвилъ онъ, придавая лицу своему серьез-

ное выраженіе: — да, братъ, ее долженъ ты благодарить, ее, которая ухаживала за тобою, какъ за малымъ ребенкомъ; отъ постели твоей не отходила, ночи не спала,—вотъ она штука-то въ чемъ! Я вотъ что скажу тебѣ: не будь Лизаветы Семеновны, ты бы теперь не разговаривалъ со мною, а знаешь ли... да, лежалъ бы тамъ, куда всѣ мы, рано или поздно, отправимся,— вотъ дѣло-то въ чемъ! заключилъ онъ, сдѣлавъ выразительный жестъ.

При этомъ упоминѣ показался на блѣдномъ лицѣ Аристарха Ѳедоровича; онъ медленно отвернулся отъ собесѣдника, подперся ладонью, задумался и покраснѣлъ еще сильнѣе прежняго.

Карачаевъ кашлянулъ и, сдѣлавъ видъ, какъ-будто ничего не замѣчаетъ, подошелъ къ окну и принялся глядѣть на дворъ; совершеніе снѣжныхъ бугровъ нимало, повидимому, не мѣшало Карачаеву отодвигаться постепенно отъ окна и приближаться къ дальнему углу кабинета; достигнувъ угла, онъ украдкою пробрался вдоль стѣны и поспѣшно вынырнулъ въ дверь. На все это потребовалось безъ малаго минутъ десять; но за то одной секунды было достаточно Карачаеву, чтобъ добѣжать до спальни Лизаветы Семеновны.

— Голубушка моя, заговорилъ онъ, когда на стукъ его вышла Балахнова: — ступайте къ нему скорѣе, ступайте съ Богомъ! Я уловилъ, кажется, самую удобную минуту! Другой, можетъ статься, не будетъ: я его подготовилъ... все хорошо... Ступайте... смотрите только, не унывайте, голубушка моя... Скажите ему напрямикъ; теперь бояться нечего: онъ совершенно здоровъ! Такъ-таки возьмите, укрѣпитесь, да и скажите ему всю подноготную: объявите ему сначала о векселяхъ, которые поданы ко взысканію, а потомъ бухните... то-есть объявите о томъ, что Ханскіе-то Пруды описывать велѣно... ну, и то, помните, о чемъ мы толковали съ вами... все это передайте ему и постарайтесь уговорить, усовѣстить его... авось, можетъ статься... Богъ-дастъ... а я въ это время, помните, какъ я говорилъ, дѣтокъ подготовлю... какъ только онъ этакъ поддастся, я съ дѣтками-то и брякну...

— Нѣтъ, этого не надо, сказала Балахнова, которая, несмотря на взволнованное состояніе души своей, все-таки не могла удержаться отъ улыбки, слушая предположеніе Карачае-

ва: — дѣти будутъ въ этомъ случаѣ совершенно лишнія... мы, можетъ быть, и безъ нихъ обойдемся...

— Эхъ, какія вы, право, голубушка моя! перебилъ Павелъ Петровичъ: — ужъ вы сдѣлайте божескую милость, предоставьте мнѣ распорядиться... вы поспѣшите только въ кабинетъ, а ужъ остальное я самъ берусь устроить!...

Сказавъ это, онъ суетливо пригладилъ лысину и побѣжалъ въ дѣтскую.

Немного погодя, онъ возвратился въ залу. Строгое, дѣловое выраженіе отпечатывалось болѣе, чѣмъ когда-нибудь, на лицѣ Павла Петровича. Закинувъ руки за спину, онъ принялся расхаживать взадъ и впередъ, прислушиваясь время-отъ-времени къ отрывчатому, затаенному говору, который выходилъ изъ растворенныхъ дверей кабинета. Какъ только въ залѣ или въ концѣ корридора показывался кто-нибудь изъ людей, Карачаевъ дѣлалъ выразительные жесты, отсылалъ назадъ и поручалъ сказать, чтобъ никто не осмѣливался подходить къ крыльцу дома впредь до его приказанія. Въ этихъ занятіяхъ и въ расхаживаніи взадъ и впередъ по залѣ прошло у него часа два времени. Разговоръ въ кабинетѣ замѣтно между-тѣмъ оживлялся, и вмѣстѣ съ нимъ оживлялся и самъ Карачаевъ; шагъ его ускорился и съ каждымъ новымъ поворотомъ приближался онъ на вершокъ къ кабинетной двери. Маневры Карачаева оправдывались тѣмъ, что въ послѣднія десять минутъ онъ явственно услышалъ свою собственную фамилію, неоднократно произнесенную Аристархомъ Ѳедоровичемъ. Онъ почувствовалъ, наконецъ, что ужъ не можетъ владѣть собою; онъ подошелъ къ кабинетной двери, остановился и затаилъ дыханіе.

— Да, намъ суждено ошибаться... и, что всего хуже, ошибаться въ лучшихъ друзьяхъ нашихъ, говорилъ Аристархъ Ѳедоровичъ спокойнымъ, но меланхолическимъ голосомъ: — ну, полно же, перестань, не плачь... (тутъ Павелъ Петровичъ не узналъ даже голоса Аристарха Ѳедоровича — до того показался онъ ему мягокъ), время исправитъ все... и, можетъ быть, откроетъ даже нѣкоторымъ людямъ, всегда на меня злобствовавшимъ, чистоту моихъ... ну, да что объ этомъ!... Теперь предстоитъ заняться другими дѣлами... Ты совершенно справедливо замѣтила, что я никогда не умѣлъ цѣнить достойнымъ образомъ Карачаева... дѣйствительно, подъ грубою его оболочкой скры-

вается честнѣйшая душа и благороднѣйшее сердце; поэтому-то, хотя обстоятельства мои очень дурны, я позабочусь прежде всего заплатить ему свой долгъ... пятнадцать тысячъ для Карач...

Но едва произнесъ онъ эти слова, какъ ужъ Карачаевъ очутился въ кабинетѣ.

— Какъ!... мнѣ?... долгъ... Че-е-во? закричалъ Павелъ Петровичъ, обнаруживая замѣшательство въ каждой чертѣ побагровѣвшаго лица: — мнѣ возвратить долгъ! мнѣ! Карачаеву! Что-жъ, за кого ты меня считаешь? за негодяя, за безчувственнаго скота?! Нѣтъ, чортъ побери... извините, голубушка моя, Лизавета Семеновна! да, чортъ возьми! не будетъ сказано, что Карачаевъ... Постой, я-жъ тебѣ докажу это!... заключилъ онъ, и вдругъ, сломя голову, выбѣжалъ изъ кабинета.

Онъ миновалъ залу, опрокинулъ въ передней два стула и бросился въ маленькую комнатку съ кривымъ зеркальцемъ, гдѣ нѣкогда спалъ съ Васильковымъ. Тутъ Карачаевъ раскрылъ чемоданчикъ, вытрясъ на полъ все свое имущество, отыскалъ извѣстный уже читателю бумажникъ, вынулъ изъ него какую-то бумагу и съ тою же поспѣшностью вернулся въ кабинетъ.

Балахновъ и жена его быстро приподнялись съ своихъ мѣстъ.

— Стой! стойте и вы, голубушка моя, Лизавета Семеновна? закричалъ Карачаевъ, торжественно протягивая впередъ руку:— такъ ты хочешь уплатить мнѣ мой вексель? а? Ты думаешь, можетъ-быть, что Карачаевъ дни и ночи сокрушается объ этомъ векселѣ... Сокрушается о томъ только, какъ-бы запрятать эти деньги въ карманъ? а? а?... Нѣтъ, не будетъ этого сказано; нѣтъ!... На же тебѣ! на тебѣ! на вотъ тебѣ! заключилъ Карачаевъ, разрывая вексель на безчисленное множество кусковъ.

— Что ты сдѣлалъ? вскричалъ Аристархъ Ѳедоровичъ.

— А вотъ что сдѣлалъ, подхватилъ Карачаевъ, посылая носкомъ сапога лохмотья векселя въ уголъ:—вотъ что сдѣлалъ! Не нужно мнѣ твоихъ денегъ, не хочу я ихъ, ничего не хочу, ничего мнѣ не надо! Ну, самъ ты разсуди... нѣтъ, позвольте, голубушка моя, Лизавета Семеновна, дайте мнѣ ему все высказать: ну, самъ разсуди, что я, семейный человѣкъ, что ли? Кому мнѣ оставлять послѣ себя? Зачѣмъ мнѣ деньги? зачѣмъ добро? разсуди, душа моя, Aristarque, куда мнѣ все это? Зачѣмъ?! Мнѣ, скажу

тебѣ, одно только нужно: дай ты мнѣ какой-нибудь чуланчикъ, или уголъ, ну, вотъ хоть тотъ подъ лѣстницею, гдѣ жилъ Дрянковъ,— больше мнѣ ничего не надо! Я привыкъ къ вамъ... привыкъ къ тебѣ... люблю и почитаю Лизавету Семеновну пуще родной матери... привыкъ къ дѣткамъ твоимъ... продолжалъ Карачаевъ, моргая глазами и прикладывая попеременно то правый указательный палецъ къ лѣвому глазу, то лѣвый указательный къ правому глазу: — останусь я съ вами, поселюсь въ этомъ углу и пробуду тамъ до-тѣхъ-поръ, пока не стукнетъ меня кондрашка, или не вынесутъ ногами впередъ...

И долго еще говорилъ Карачаевъ; ничто ужъ, повидимому, не могло остановить его; монологъ его, приправляемый морганьемъ, прикладываніемъ пальцевъ къ глазамъ и другими болѣе или менѣе выразительными движеніями, выросталъ, какъ потокъ во время ливня.

Внезапно онъ остановился, взглянулъ на Лизавету Семеновну, которая во все это время дружески улыбалась ему, потомъ взглянулъ на Аристарха Ѳедоровича, сидѣвшаго въ креслахъ и задумчиво склонившаго голову, потомъ снова обратилъ глаза свои на Лизавету Семеновну и, подмигнувъ ей съ видомъ взаимнаго соучастія, быстро скрылся изъ кабинета.

Минуту спустя, онъ снова появился въ дверяхъ, обвѣшанный дѣтьми, ни дать, ни взять, какъ извѣстная античная статуя, изображающая рѣку Нилъ.

— Аристархъ Ѳедорычъ, взгляни-ка сюда, душа моя, полюбуйся! закричалъ Карачаевъ.

И, не дожидаясь отвѣта, подбѣжалъ къ Аристарху Ѳедоровичу и облѣпилъ его дѣтьми.

Минута была торжественная, по-крайней-мѣрѣ, не менѣе торжественная, какъ та, когда Аристархъ Ѳедоровичъ выслушивалъ поздравительныя рѣчи дѣтей въ день своего рожденія. На этотъ разъ, однакожъ, разсудокъ не сказалъ ему, что сердечные порывы несовмѣстны съ строгой торжественностью иныхъ случаевъ. На этотъ разъ Аристархъ Ѳедоровичъ не выпучилъ величественно грудь и не сказалъ даже: „благодарю!“ Онъ попросту посадилъ дѣтей на колѣни и принялся цѣловать ихъ поочереди.

— Ура! голубушка моя, Лизавета Семеновна! ура-а! вос-

кликнулъ Карачаевъ посреди тишины, воцарившейся въ кабинетѣ: — ура! повторилъ онъ и, бросившись со всѣхъ ногъ къ Аристарху Ѳедоровичу, принялся обнимать его.

XXII.

Заключеніе.

Прошло полтора года послѣ происшествій, описанныхъ въ этой, безспорно, слишкомъ ужъ длинной исторіи. Полтора года, конечно, не бездѣлица, но смѣю увѣрить читателя, что Горшковскій уѣздъ все тотъ же. Онъ ни на волосъ не измѣнился противъ прежняго. Все тѣ же поля, сливающіяся въ необозримой дали съ такими же точно полями; тѣ же березки, бугорки, кочки и кустарники, оживляющіе кое-гдѣ горизонтъ; та же большая горшковская дорога, которая, попрежнему, никакъ не можетъ отдохнуть отъ докучливыхъ проѣзжающихъ; тѣ же проѣзжающіе, которые съ крикомъ и бранью врѣзываютъ свои колёса по самую ступицу въ ея рыхлую старческую грудь; тѣ же рѣки, ручейки и овражки; тѣ же дырявые мостишки; тѣ же избушки; тѣ же проселки, словомъ, все то же!

Измѣнились только люди или, вѣрнѣе сказать, измѣнились обстоятельства людей: кое-кто овдовѣлъ, кое-кто женился, кое-кто прикупилъ пашни, кое-кто осиротѣлъ, а у кое-кого оказалось приращеніе въ семействѣ. Даже тутъ, какъ видите, очень мало перемѣны. Основываясь на этомъ, я готовъ поручиться чѣмъ угодно, что если-бъ какому-нибудь наблюдателю вздумалось заглянуть, по прошествіи этого года, въ Горшковскій уѣздъ, и затѣмъ явилось бы желаніе передать свои впечатлѣнія, ему неизбѣжно пришлось бы повторить исторію проселочныхъ дорогъ, чего я отъ души не желаю ни ему, ни читателю. По-крайней-мѣрѣ, что до меня касается, я рѣшительно не вижу большой перемѣны въ Горшковскомъ уѣздѣ по прошествіи этого срока. Сколько не оглядываюсь, сколько ни напрягаю зрѣнія, всюду встрѣчаю однѣ и тѣ же лица, и наблюденія мои ограничиваются тѣмъ только, что нѣкоторыя изъ нихъ похудѣли, тогда какъ другія потолстѣли.

Въ числѣ послѣднихъ особенное вниманіе обращаетъ на себя Прокисай Захаровичъ Копковъ.

Боже, какъ потолстѣлъ Прокисай Захаровичъ! Если-бъ не продолговатое лицо, которое осталось все тѣмъ же продолговатымъ, его рѣшительно можно было бы принять за другаго человѣка. Я, право, не знаю, что дѣлала Фіона Ивановна съ тѣхъ поръ, какъ вышла за него замужъ? должно полагать, она кормила его однѣми только сдобными лепешками; сюртучокъ травяно-зеленаго свѣта окончательно ужъ не сходился на томъ мѣстѣ, гдѣ находилась нѣкогда талія Прокисая Захаровича. Носится, однакожъ, достовѣрная молва, будто Фіона Ивановна не только не балуетъ своего мужа, но даже держитъ его въ ежовыхъ рукавицахъ. Она, конечно, позволяетъ ему сидѣть у окна, бренчать на гитарѣ, вырѣзывать бумажныхъ козловъ, пѣтушковъ, лошадокъ и ничего даже не говоритъ, когда онъ налѣпливаетъ ихъ на окна; но, что касается до того, напримѣръ, чтобъ пойдти погулять, Прокисай Захаровичъ и думать объ этомъ не смѣетъ.

Видите ли вы этотъ маленькій деревянный домикъ, расположенный на углу горшковской площади и выходящій главнымъ фасомъ на каланчу и съѣзжій дворъ? Домикъ этотъ принадлежалъ прежде горшковскому аптекарю, но теперь принадлежитъ Фіонѣ Ивановнѣ. Она купила его на тотъ трудовой капиталъ, который скопила впродолженіе многихъ лѣтъ, управляя хозяйствомъ Балахновыхъ. Видите ли вы теперь въ одномъ изъ отворенныхъ оконъ этого домика голову Прокисая Захаровича, мелькающую между двумя горшками съ чахлыми бальзаминами? Вы не можете не замѣтить также, что водянистые глаза Копкова съ какою-то жадностью устремляются на противоположный конецъ площади и повидимому никакъ не могутъ оторваться отъ паперти собора, запруженной народомъ. Прокисай Захаровичъ словно ожидаетъ чего-то, и нетерпѣніе его возрастаетъ съ каждой минутой. Внезапно голова его исчезаетъ за бальзаминами.

— Фіона Ивановна, душенька! Фіона Ивановна, пожалуйте сюда! Скорѣе, скорѣе, душенька! кричитъ Прокисай Захаровичъ, снова просовывая голову между бальзаминами.

Почти въ то же время въ окнѣ показывается Фіона Ивановна; въ наружности ея не произошло почти никакой перемѣны, за исключеніемъ, развѣ, правой щеки, которая освободилась наконецъ отъ несноснаго флюса и пришла въ уровень съ лѣвою щекою.

— А что, развѣ ѣдутъ? спрашиваетъ Фіона Ивановна.

— Ѣдутъ, душенька, ѣдутъ!... отвѣчаетъ Прокисай Захаровичъ, сторонясь, чтобъ дать мѣсто женѣ.

Оба высовываются по поясъ изъ окна. Прежде всего, передъ глазами обоихъ супруговъ предстала исполинская старомодная карета съ красными колесами и желтыми дверцами. Въ каретѣ сидѣла младшая дочь Фукола Ивановича. Она всегда слыла брюнеткой, но теперь, благодаря бѣлому подвѣнечному платью, бѣлому кисейному вуалю и вѣнку изъ бѣлыхъ искусственныхъ розъ, казалась еще смуглѣе. Рядомъ съ нею помѣщалась жена Нила Степановича Лукьянова, дама бодрая, могучая, почти такая же толстая, какъ самъ Нилъ Степановичъ. Насупротивъ ихъ сидѣлъ долговязый Ѳедя, исправлявшій должность шафера; новый вицмундирчикъ ясно свидѣтельствовалъ, что Ѳедя занималъ ужъ штатное мѣсто въ Черноржской Палатѣ. Послѣ кареты показалась коляска, запряженная тройкой, обвѣшенной бубенчиками и мѣдными бляхами, ярко блестѣвшими на солнцѣ; первое мѣсто занималъ молодой, троюродный кузенъ дочерей Фукола Ивановича; волненіе проглядывало во всѣхъ чертахъ его физіономіи; плоскіе волосы его были запрятаны за уши. Должность жениховыхъ дружекъ занимали: горшковскій почтмейстеръ и секретарь изъ Горшковскаго Земскаго Суда. Слѣдомъ за ними, въ качествѣ почетныхъ гостей, ѣхали Фанагорія Петровна и Нилъ Степановичъ. Фанагорія Петровна только-что освободилась отъ траура, наложеннаго на нее смертью Антониночки. Она была всегда того мнѣнія, что трауръ вовсе не шелъ къ ея лицу и потому воспользовалась первымъ удобнымъ случаемъ, чтобъ снять съ себя креповый чепецъ и замѣнить его розовою шляпкой, съ райской птицей на верхушкѣ; она была въ восхищеніи отъ Нила Степановича; въ короткій промежутокъ переѣзда черезъ площадь, онъ успѣлъ уже сдѣлать значительные успѣхи въ слабомъ сердцѣ перезрѣлой вдовы. Фанагорія Петровна картавила, принимала меланхолическія позы и возводила глаза къ небу, какъ въ тѣ минуты, когда прислушивалась къ пѣнію соловья. За Лукьяновымъ и Фанагоріей Петровной слѣдовали дрожки; на дрожкахъ помѣщались: Павелъ Павловичъ Чибезовъ и еще шаферъ невѣсты, землемѣръ Севастьяновъ; лицо Павла Павловича проявляло необычайное движеніе; глаза и зубы его сверкали; видно по всему, что онъ

съ трудомъ удерживаетъ истокъ рифмъ, которыя сами собою зарождаются въ поэтической душѣ его; но это собственно ничего; нѣтъ сомнѣнія, что какъ только окончится свадебный балъ, Павелъ Павловичъ заставитъ жену писать подъ диктовку, и новыми блестящими импровизаціями вознаградитъ себя за минутное молчаніе. Послѣ Чибезова и Севастьянова показался старичокъ Пшеницынъ; повеселѣвшее, почти беззаботное, лицо его служило несомнѣннымъ доказательствомъ, что мысль о томъ, будто Ѳедя долженъ непремѣнно умереть до полученія перваго чина, уже не тревожила чадолюбиваго сердца преклоннаго родителя. За Пшеницынымъ ѣхало множество другихъ лицъ. Въ свадебномъ поѣздѣ не доставало только самого Фукола Ивановича и дочери его, романтической Чибезовой. Мудренаго тутъ ничего нѣтъ: вотъ ужъ шесть мѣсяцевъ, какъ Фуколъ Ивановичъ окончательно лишился употребленія своихъ ногъ. Онъ не покидаетъ креселъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда узнаетъ о ссорѣ своихъ сосѣдей; впрочемъ, миротворная дѣятельность почтеннаго старца находитъ съ нѣкоторыхъ поръ обильную пищу въ кругу собственнаго своего семейства. Вдохновенное состояніе Павла Павловича Чибезова, возрастая съ каждымъ днемъ, требуетъ все болѣе и болѣе простора и рѣшительно мѣшаетъ ему жить въ ладахъ съ романтическою женою. Должно полагать, что кругъ миротворной дѣятельности почтеннаго старца распространится еще значительнѣе послѣ брака младшей дочери; бывъ еще дѣвицей, она по двадцати разъ въ день переодѣвалась изъ розоваго платья въ черное, въ ознаменованіе ссоры съ долговязымъ кузеномъ; чего же слѣдуетъ ожидать, когда пройдетъ медовый мѣсяцъ и наступятъ супружескія отношенія?... Но это, покуда, еще впереди. Въ то время, какъ свадебный поѣздъ тянулся по улицамъ Горшкова, Фуколъ Ивановичъ сидѣлъ въ креслахъ и занимался устройствомъ своего домика; почтенный старецъ, естественнымъ образомъ, не могъ приглядѣть за всѣмъ, оставаясь на одномъ мѣстѣ; ему слѣдовало передвигаться изъ одного конца дома въ другой; для этой цѣли позванъ былъ заспанный дѣтина, который, сверхъ своихъ должностей портнаго, слуги и конюха, получилъ еще должность передвигателя креселъ съ той минуты, какъ Фуколъ Ивановичъ лишился ногъ. И въ то время, какъ заспанный дѣтина передвигалъ почтеннаго старца изъ одной комнаты въ дру-

гую, романтическая Чибезова занималась приготовленіемъ собственнаго своего туалета; хлопотала подлѣ красныхъ камлотовыхъ занавѣсокъ, украшавшихъ маленькія окна; симметрически разставляла горшки съ геранью; суетливо перебѣгала въ комнату, назначенную для молодыхъ, и дѣлала, повидимому, все возможное, чтобъ придать самый приличный видъ свадебному балу, который подавалъ надежду быть весьма эффектнымъ.

Я твердо увѣренъ, однако-жъ, что, не смотря на весь свой эффектъ, балъ Фукола Ивановича далеко отстанетъ отъ бала Кокуркиныхъ; я говорю о томъ знаменитомъ балѣ, который данъ былъ въ Веселыхъ Горкахъ въ ознаменованіе того, что минуло десять мѣсяцевъ послѣ брака Василькова и Надѣньки. Я былъ вообще всегда того мнѣнія, что ничего не можетъ быть лучше вечеринокъ, даваемыхъ гостепріимными барышнями. Вы, безъ сомнѣнія, нигдѣ не встрѣтите бо́льшаго радушія со стороны хозяевъ; нигдѣ не найдете такого непринужденія и ужъ, конечно, нигдѣ не увидите такого веселья, не смотря на то, что все почти ограничивается двумя комнатами, блюдечками съ вареньемъ и брянчаньемъ на шести-струнной гитарѣ. Удивительнѣе всего то, что вечеринки эти слѣдуютъ непосредственно одна за другой и почти не прерываются впродолженіе года. Мы никакъ не можемъ разрѣшить причины такого необузданнаго стремленія къ увеселенію самихъ себя и своихъ ближнихъ. Происходитъ ли это стремленіе отъ того, что три барышни живутъ въ Веселыхъ Горкахъ?... Но, съ другой стороны, Веселыя Горки могли получить свое названіе потому именно, что въ нихъ поселились три барышни; рѣшительно непонятно! Страсть къ вечеринкамъ проистекала, всего вѣроятнѣе, изъ врожденнаго гостепріимства трехъ барышень. Принимая въ соображеніе такое похвальное свойство, мы въ правѣ заключить, слѣдовательно, что слухи о томъ, будто Кокуркины сплетницы — не имѣютъ никакого основанія; такія обвиненія, конечно, могли только вырваться изъ оскорбленной груди Фіоны Ивановны, да и то въ минуту сильнѣйшаго негодованія противъ барышень, которыя, скажемъ мимоходомъ, ни въ чемъ не были виноваты. Если-бъ барышни занимались сплетничаньемъ, къ нимъ, безъ сомнѣнія, не съѣзжалось бы такое множество сосѣдей и вечеринки ихъ далеко не пользовались бы такою славой. Въ доказательство можно привести балъ, данный въ честь Порфирія

Павловича и Надѣженьки. Кого только не было на этомъ балѣ! Тутъ были: Кондей Ивановичъ Свищовъ и Проклъ Ивановичъ Полушкинъ, Софья Кузьминична Свищова съ своими дочерьми и ридикюлемъ, Матрена Васильевна Полушкина съ чадами и также съ ридикюлемъ. Говорятъ, будто два почтенныя семейства живутъ съ нѣкоторыхъ поръ въ совершеннѣйшемъ ладу. Утверждать положительно не смѣю. Достовѣрно только то, что Кондей Ивановичъ дозволяетъ теперь полушкинскимъ бабамъ подходить безпрепятственно къ своему колодцу, а Проклъ Ивановичъ ничего не говоритъ, когда индѣйки и куры Кондея Ивановича перелетаютъ въ его огородъ. Въ числѣ гостей находился также Аполлонъ Егоровичъ Дрянковъ. Онъ, сказываютъ, собирается писать новую повѣсть; въ ожиданіи этого, почтенный труженикъ переселился къ одному богатому помѣщику и проживаетъ у него съ превеликимъ комфортомъ. Второе произведеніе даровитаго Дрянкова будетъ называться: „Тунеядцы“ — „Лежебокіе“ — „Проживальщики“, физіологическій очеркъ. Основываясь на томъ, что предметъ этотъ въ совершенствѣ знакомъ автору, можно надѣяться, что новое произведеніе его далеко оставитъ за собою первое. На балѣ находились также: рыженькая Капитолина Лукинична Дядинькова, подруга ея, безсловесная Лукерья Ѳоминична Крепышева и Розалія Владиміровна Сараманаева, которая, послѣ полученія своихъ пяти тысячъ отъ Аристарха Ѳедоровича, купила клочокъ земли въ Веселыхъ Горкахъ и поселилась въ сосѣдствѣ трехъ барышень. Словомъ, тутъ присутствовали почти всѣ старые знакомые, не выключая Агашеньки. Мѣсто гитариста занималъ на этотъ разъ Проклъ Ивановичъ Полушкинъ, и, говорятъ, съ большимъ успѣхомъ. Нечего и говорить, разумѣется, что посреди всего этого сборища первое мѣсто принадлежало Порфирію Павловичу Василькову. Голубая венгерка его, съ шелковымъ іероглифомъ на спинѣ, мелькаетъ во всѣхъ концахъ залы, повинуясь движенію ногъ, которыми Порфирій Павловичъ сѣменитъ подъ тактъ музыки. Къ сожалѣнію, онъ не можетъ танцовать съ молодою женою; интересное положеніе Надѣженьки заставляетъ ее сидѣть на одномъ мѣстѣ — обстоятельство, которое нимало не мѣшаетъ ей съуживать губки на подобіе сердецъ, изображаемыхъ въ альбомахъ. Спустя каждыя пять минутъ, можно видѣть Порфирія Павловича цѣлующаго руку жены; остальное время посвящено

имъ веселой, радушной Вѣрѣ Андреевнѣ, которая восторженно припрыгиваетъ при одной мысли, что завладѣла на весь вечеръ первымъ мазуристомъ Горшковскаго уѣзда. Изрѣдка, и только въ антрактахъ, Порфирій Павловичъ урывается изъ залы и бѣжитъ полюбоваться на голубые банты, украшающіе занавѣски брачной постели, ни-дать-ни-взять, какъ дѣлывалъ онъ это въ маленькомъ домикѣ на берегу живописной рѣчки. Затѣмъ возвращается онъ къ женѣ, наклоняется къ ея уху, шепчетъ ей: — „Мимоцька, Пипоцька, Фифоцька... вамъ глюсно, Шишечка!“ и снова сѣменитъ ногами подъ тактъ музыки. Порфирій Павловичъ находится въ полномъ восторгѣ; къ этому, слѣдуетъ замѣтить, не мало способствуетъ письмо Аполлинарія Ильича Миловзорова, полученное наканунѣ. Миловзоровъ поздравляетъ Василькова съ бракомъ; Васильковъ носится всюду съ этимъ письмомъ, провозглашаетъ Аполлинарія Ильича лучшимъ, неизмѣннымъ своимъ другомъ и даетъ клятвенное обѣщаніе повезти жену, при первомъ удобномъ случаѣ, къ сестрамъ красиваго медика, съ которыми познакомился случайно на постояломъ дворѣ въ Горшковѣ. Въ письмѣ Миловзорова описывается, между прочимъ, весьма трогательно о томъ, какъ хоронили на-дняхъ одного почтеннаго старца, Тирсиса Ивановича Ястребилова, сочинившаго будто бы сорокъ четыре тома трагедій и афоризмовъ. Вѣсть относилась, впрочемъ, болѣе къ Дрянкову, и Дрянковъ тутъ же объявилъ, что смерть почтеннаго старца нанесла, по всѣмъ вѣроятіямъ, сильнѣйшій ударъ Леокадію Куликову, автору „Пелопоннезо-Таврическихъ Мелодій“ и знаменитому сотруднику „Парнасской Звѣзды“. Пользуясь удобнымъ случаемъ, мы скажемъ, что жена Миловзорова, его боперчикъ и бельмерочка пользуются вожделѣннымъ здравіемъ и съ каждымъ днемъ все сильнѣе и сильнѣе влюбляются въ своего зятя. Благодаря тому же письму, присутствовавшіе на балѣ Кокуркиныхъ узнали, что нѣкто, по имени Бобоховъ, купилъ огромный каменный домъ, находящійся подлѣ дома Миловзорова; Аполлинарій Ильичъ прибавилъ, что этотъ Бобоховъ живетъ настоящимъ бариномъ. Въ послѣднемъ пунктѣ мы сильно сомнѣваемся. Мы твердо увѣрены, что Бобоховъ, буржуа-жантильйомъ, какъ говоритъ Карачаевъ, и останется мѣщаниномъ во дворянствѣ опять до окончанія жалкаго своего вѣка. Почти такую же точно увѣренность питаемъ мы въ отношеніи къ тому, что, рано

или поздно, новый домъ Бобохова и другія его имѣнія перейдутъ во владѣніе его свояка, великолѣпнаго Тохтамышева, изящнаго Чиндаласова и почтеннаго, солиднаго Петра Степановича Крапова. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что дѣла трехъ друзей идутъ въ послѣднее время что-то плохо.

Для пополненія всѣхъ этихъ свѣдѣній, частью почерпнутыхъ на балѣ Кокуркиныхъ, частью полученныхъ изъ собственныхъ наблюденій, намъ необходимо сообщить здѣсь кое-что по поводу Ханскихъ-Прудовъ и личности главнаго героя повѣсти.

Извѣстно намъ изъ достовѣрныхъ источниковъ, что солнце по-прежнему восходитъ каждое ясное утро на плоскомъ горизонтѣ Ханскихъ-Прудовъ; по-прежнему окрашиваетъ золотымъ пурпуромъ бельведеръ, верхушки березъ, кровли флигелей и стѣны древняго дома; попрежнему, подымаясь выше и выше, шагаетъ оно каждый день черезъ заборъ, озаряетъ клумбы сада, лужайки, сучья деревъ и желтыя дорожки, молчаливо спускавшіяся въ густую, темнозеленую листву акацій... Но намъ извѣстно также, что съ нѣкоторыхъ поръ золотые лучи не скользятъ ужъ по досчатымъ обелискамъ, пирамидамъ, столбамъ, минаретамъ. Всѣ эти предметы, какъ-бы связанные тайною, но тѣмъ не менѣе живою, непосредственною нитью съ Аристархомъ Ѳедоровичемъ, не пережили славы своего владѣльца. Паденіе Аристарха Ѳедоровича увлекло за собою пирамиды и обелиски. Вензеля и обелиски, выведенные искусною рукою Калины, частью смытые дождемъ, частью совсѣмъ уничтоженные, не останавливаютъ ужъ путника; доски, служившія обшивкою фантастическимъ сводамъ, запуганныя, вѣроятно, морозами, поспѣшили разбѣжаться по крестьянскимъ дворамъ; иныя поступили на дрова, иныя по сію мору еще лежатъ пластомъ на землѣ и корчатся въ предсмертныхъ судорогахъ. Знаменитый столбъ, возвѣщавшій разстояніе отъ Ханскихъ-Прудовъ до Италіи и Парижа, ужъ не существуетъ; не существуетъ также намалеванный кучеръ въ красной рубахѣ съ балалайкой въ рукахъ, украшавшій помѣщеніе для дворовыхъ. Досчатая баба, черпавшая воду у колодца, канула въ вѣчность; на поверхности водъ ужъ не видать лебедей. Вообще говоря, наружный видъ Ханскихъ-Прудовъ не напоминаетъ уже прежняго своего величія. Съ которой бы стороны ни ѣхалъ путешественникъ: по большой ли горшковской дорогѣ, со

стороны ли окатовской долины, или по проселку, Хансkіе-Пруды представляются ему самой обыкновенной деревней. Значительная перемѣна произошла точно также въ наружности самого Аристарха Ѳедоровича. Я вовсе не хочу сказать этимъ, что Аристархъ Ѳедоровичъ кажется теперь самымъ обыкновеннымъ смертнымъ. Въ мысляхъ моихъ не было даже ничего подобнаго. Я хотѣлъ только сказать, что лицо Аристарха Ѳедоровича похудѣло и осунулось, что худоба эта въ совокупности съ порѣдѣвшими волосами измѣнили его; немало также измѣняло его отсутствіе патентованныхъ вагенгеймовскихъ зубовъ, которые, одинъ за другимъ, перешли теперь въ маленькій ящикъ изъ карельской березы, хранимый въ письменномъ столѣ Аристарха Ѳедоровича. Но что изъ этого?... дипломатическій лобъ, благодаря порѣдѣвшимъ волосамъ, кажется еще выше; продольная морщина надъ бровями врѣзалась глубже и еще краснорѣчивѣе свидѣтельствуетъ объ энергіи знаменитаго мужа; узенькія губы, величественная осанка, улыбка, выражавшая сознаніе превосходства и вмѣстѣ съ тѣмъ неподражаемое добродушіе — все это сохранилось попрежнему. На всѣхъ этихъ признакахъ, какъ на подписи древняго мрамора, ясно можно прочесть исторію славнаго, но, увы!... исчезнувшаго существованія. Мы ничего не можемъ сказать о томъ, напримѣръ, какіе перевороты произвело время въ душѣ нашего героя; „чужая душа — темный лѣсъ“, говорится; къ тому же душа Аристарха Ѳедоровича такъ необъятна! Принимая въ соображеніе равнодушіе, съ какимъ взираетъ Аристархъ Ѳедоровичъ на дѣла своихъ ближнихъ и вообще на весь Горшковскій уѣздъ, должно полагать, что и въ этомъ отношеніи онъ точно также измѣнился. Съ невозмутимою холодностью выслушиваетъ онъ разсказы о томъ, что Солонеевъ получилъ наслѣдство послѣ дяди и задаетъ пиры, куда сбѣгаются всѣ жители уѣзда; что Окатовъ находится на самой дружеской ногѣ съ Солонеевымъ и не шутя предлагаетъ ему продать долину, лежащую близъ Ханскихъ-Прудовъ; что Софья Алексѣевна Окатова окончательно ужъ переселилась въ Петербургъ съ возлюбленнымъ сыномъ и госпожею Буске въ придачу; что Семенъ Семеновичъ Кошкинъ, благодаря, вѣроятно, кокетству хорошенькой жены, занялъ порядочный кушъ у Балаклеева, купилъ у Старобѣльскаго дюжины двѣ матокъ и намѣревается завести конскій заводъ, и проч., и проч., и проч.—все это, повидимому, не

производитъ на Аристарха Ѳедоровича ни малѣйшаго впечатлѣнія. Не мѣшаетъ также замѣтить, что способъ выраженія Аристарха Ѳедоровича, столь же краснорѣчивый, сколько цвѣтистый и напыщенный, также нѣсколько измѣнился; правда, досихъ-поръ еще говоритъ онъ: „благодарю!“ или: „во время кратковременнаго пребыванія моего замѣчено мною...“ и т. д. вмѣсто того, чтобъ сказать: „я замѣтилъ“; но такой способъ изъясненія дѣлается съ каждымъ днемъ рѣже и рѣже. Аристархъ Ѳедоровичъ рѣшительно никуда не выѣзжаетъ и ведетъ вообще жизнь самую однообразную. Дни свои проводитъ онъ въ кабинетѣ; хозяйствомъ своимъ занимается почти такъ же мало, какъ прежде; впрочемъ, съ-тѣхъ-поръ, какъ эта часть перешла въ полное распоряженіе Карачаева, все идетъ какъ по маслу, и Балахновъ можетъ быть спокоенъ: у него не пропадетъ не только доска, но даже зерно хлѣба. Павелъ Петровичъ, сопровождаемый Медоромъ, поспѣваетъ всюду; въ припадкѣ усердія, онъ нерѣдко даже самъ принимается колотить въ караульную доску.

Каждый разъ, когда наступаетъ теплый хорошій вечеръ, Аристархъ Ѳедоровичъ выходитъ изъ кабинета и располагается на террасѣ. Въ этихъ случаяхъ всегда почти можно встрѣтить подлѣ него лицо Лизаветы Семеновны, лицо блѣдное, но оживленное теперь счастіемъ и все еще прекрасное, прекрасное какъ тихая, свѣтлая заря осенняго вечера. Лизавета Семеновна безпрепятственно проходитъ теперь изъ своей комнаты на террасу. Дѣло въ томъ, что комната ея находится рядомъ съ гостиной, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда былъ будуаръ. Прежняя ея спальня, расположенная подлѣ дѣтской, поступила ужъ во владѣніе гувернантки, отличной нѣмки, которую всѣ любятъ въ домѣ, отъ мала до велика.

Аристархъ Ѳедоровичъ очень любитъ проводить свои вечера на террасѣ, любитъ устремлять задумчивые глаза свои на дальніе берега прудовъ, свидѣтелей минувшей роскоши и величія. Но рѣдко обнаруживаетъ онъ свои впечатлѣнія и еще рѣже распространяется о дняхъ своей славы. Изрѣдка лишь, да и то въ видѣ шутки, обращается онъ къ Карачаеву, добродушное лицо котораго не замедляетъ показаться на террасѣ.

— Посмотри, говоритъ Аристархъ Ѳедоровичъ, отгоняя

рукою докучливыхъ мухъ и мошекъ: — вотъ что значитъ старость: мухъ не могу отогнать, тогда какъ прежде отъ людей, бывало, отбивался...

— Э! вотъ вздоръ какой, душа моя! восклицаетъ Карачаевъ: — людей много на свѣтѣ, ото всѣхъ не отобьешься! Ну, что, самъ посуди, écouté: что вышло изъ того, что ты отбивался? фукъ — и больше ничего! Повѣрь мнѣ, все это дребедень... То ли дѣло теперь, самъ посмотри, заключилъ Карачаевъ, простирая руку къ прудамъ, отражавшимъ золотыя облака, подрумяненныя закатомъ: — смотри: тишь да гладь, да Божья благодать! Вотъ она штука-то въ чемъ!...

Но какъ бы въ опроверженіе словамъ Карачаева, изъ густой аллеи внезапно подымались звонкій хохотъ и веселые крики; на дорожкахъ показывалась шумная толпа дѣтей и веселые голоса ихъ, повторяемые эхомъ сосѣднихъ холмовъ, оглашали смолкнувшую на минуту окрестность...

Но вотъ, мало-по-малу, все снова погружается въ молчаніе. Солнце скрылось и послѣдніе лучи его потухли за горизонтомъ. Воздухъ свѣжѣетъ. Синія тѣни сбѣгаютъ по холмамъ и затопляютъ росистыя долины... Темныя массы деревъ сливаются, мало-по-малу, съ мѣстностью... Еще минута, и Ханскіе-Пруды исчезнутъ и совершенно изгладятся въ непроницаемомъ мракѣ ночи...

Увы! такъ все изглаживается и исчезаетъ на семъ свѣтѣ!

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

Полное собраніе сочиненій

Д. В. ГРИГОРОВИЧА.

Н. Г. Мартыновъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Дм. Вас. Григоровича.

ТОМЪ ПЯТЫЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1890.

ПОВѢСТИ, РОМАНЫ
и
ОЧЕРКИ.

1852—1853 ГГ.

Д. В. Григоровича.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе книгопродавца Н. Г. Мартынова.
1890.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

1852. Свадебная долина. Разсказъ 1

1853. Зимній вечеръ. Повѣсть 25

— Рыбаки. Повѣсть 113

СМЕДОВСКАЯ ДОЛИНА.

РАЗСКАЗЪ.

Подъ именемъ „Сме́довской лощинки“ поселяне западной и гористой части К*** уѣзда разумѣютъ небольшую долину, соединяющую двѣ старыя водяныя мельницы, построенныя на самомъ берегу рѣчки Смедвы. Отъ одной мельницы до другой считается верстъ пять. Но если оставить проселокъ, который проходитъ гдѣ-то вѣрхомъ, спуститься въ долину и идти берегомъ, слѣдуя теченію рѣчки — пройдешь, безъ сомнѣнія, верстъ восемь или девять, прежде чѣмъ достигнешь до второй мельницы. Смедва, по мѣрѣ приближенія своего къ Окѣ, въ которую впадаетъ она за второй мельницей, становится уже и врѣзывается постепенно глубже и глубже въ свои берега. Какъ бы сознавая скорую кончину свою и сожалѣя о ней, она изгибается на всевозможные лады, изламывается подъ самыми острыми углами, стараясь пробѣжать по возможности большее пространство и налюбоваться вдосталь на живописные холмы, которые смотрятся въ ея свѣтлыя воды. И въ самомъ дѣлѣ, побывавъ разъ между этими веселыми, улыбающимися холмами, чувствуешь къ нимъ непреодолимое влеченье. Скаты долины, то крутые и покрытые яркою листвой орѣшника, изъ которой выбѣгаютъ кое-гдѣ кудрявые, темно-зеленые дубки, то выступающіе длинными глинистыми языками, усыпанными камнями и перерѣзан-

ными овражками, то появляющіеся выемками, въ родѣ амфитеатра, и плотно затканные мелкимъ голубоватымъ кустарникомъ, — слѣдуютъ на всемъ протяженіи своемъ прихотливой линіи, которую описываетъ рѣчка. Въ иномъ мѣстѣ долина расширяется, открывая лугъ, исполосованный серебряной лентой; мягкая, сочная и лоснящаяся зелень этихъ луговъ поддерживается круглый годъ весеннимъ разлитіемъ Смедвы и стокомъ дождевой воды съ сосѣднихъ холмовъ; кое-гдѣ высятся сѣрые, остроконечные наметы сѣна, сберегаемые для зимы; тутъ же, невдалекѣ, пасутся спутанныя лошади; нерѣдко увидите вы бѣлую, костлявую клячу, которая спитъ, положивъ кудлатую голову на красноватыя жерди, окружающія сѣно, между тѣмъ, какъ жеребенокъ, повернувшись къ ней спиною и вытянувъ узенькую шейку, заливается звонкимъ ржаньемъ, въ полномъ убѣжденіи, что потерялъ мать. Въ иномъ мѣстѣ бока долины сходятся такъ близко, такъ тѣсно сжимаютъ рѣчку, что длинныя вѣтви перекосившихся ветелъ и орѣшниковъ, покрывающихъ берегъ, переплетаются между собою, образуя надъ водою рѣшетчатые, фантастическіе своды.

Природа средней полосы Россіи рѣдко представляетъ совокупленіе мѣстности, которая бы въ общей сложности могла назваться великолѣпной панорамой; все ограничивается обыкновенно нѣсколькими лощинами, обросшими лѣсомъ и оживленными ручьемъ, или безконечною гладью полей и луговъ съ разбросанными кое-гдѣ деревушками. Вся прелесть этихъ видовъ заключается не столько въ общемъ ихъ очертаніи, сколько въ деталяхъ и тѣхъ мелкихъ эпизодахъ, которые попадаются на каждомъ шагу, но совсѣмъ тѣмъ рѣдко группируются въ одну гармоническую картину.

Смедовская долина усѣяна такими эпизодами. Особенно живописною казалась мнѣ всегда лѣвая сторона ея: она подымается крутымъ, полукруглымъ хребтомъ, покрытымъ кудрявою, роскошною зеленью, и высоко планируетъ надъ лѣвою стороною. Тутъ открываются поминутно свѣтлыя расщелины, старые овраги, обросшіе нѣжной травкой и цвѣтами, исполосованные длинными тѣнями осинъ и березъ, между стволами которыхъ сверкаютъ на солнцѣ угловатые камни и бѣлый плитнякъ, служившіе когда-то дномъ потока; попадаются обвалы, обнажаю-

щіе пестрые пласты песку, глины и охры; крупные и мелкіе корни полу-оторванныхъ, висящихъ въ воздухѣ кустовъ сползаютъ на эти обрывы косматою бахромою, набрасывая кое-гдѣ зубчатую, черную тѣнь. Пространство между краемъ берега и подошвою ската пересѣкается безпрестанно ключами; то тихо и почти незамѣтно пробираются они въ длинной, густой травѣ или лозникѣ, изъ котораго наши рыбаки плетутъ верши; то звонко журчатъ между камнями, скатывая ихъ въ видѣ маленькихъ плотинъ, снова разрушая свою работу, и вдругъ исчезаютъ подъ кустомъ или провалившимся, полусгнившимъ мостикомъ; то разливаются они на довольно большое пространство, дѣлятся на безчисленное множество тоненькихъ рукавовъ, образуя безчисленное множество островковъ, покрытыхъ изумрудною тиной, золотыми макушками куриной слѣпоты или сплошною голубою скатертью мелкихъ незабудокъ... Однимъ словомъ, я не знаю ничего живописнѣе этого мѣста.

Узенькая тропинка, изгибающаяся по лѣвой сторонѣ Смедовской долины, составляетъ любимую мою прогулку; часто безъ всякой видимой цѣли я отправляюсь изъ Хлыщевки (такъ величаютъ первую мельницу) и направляюсь къ Емельяновкѣ, второй мельницѣ, гдѣ Смедва впадаетъ уже въ Оку. Въ Емельяновкѣ славное молоко и превосходный черный хлѣбъ, который кажется еще превосходнѣе послѣ восьми верстъ прогулки; истребивъ того и другого въ достаточномъ количествѣ, я располагаюсь обыкновенно на скамьѣ подлѣ плотины, болтаю съ дюжими батраками и не менѣе дюжимъ хозяиномъ мельницы и смотрю, какъ спускается солнце за темные сосновые лѣса по той сторонѣ Оки; смотрю, какъ на рѣку выбѣгаютъ тоненькія лодочки рыбаковъ, какъ зажигаются огоньки въ чуть видныхъ деревушкахъ... Затѣмъ я прикутываюсь теплѣе въ шинель и возвращаюсь въ Хлыщевку противоположною стороною долины. Кругомъ все уже стихло и смолкло, кромѣ ручьевъ, которые катятся въ Смедву; изрѣдка крикнетъ коростель или дикая утка, притаившаяся въ береговой осокѣ; сладко прислушиваюсь я къ чуть внятному лаю собаки, къ мѣрному звяканью въ караульную доску, съ отдаленному шуму запоздалой крестьянской телѣжки, скачущей гдѣ-то по пыльному проселку; гляжу не нагляжусь на темные берега рѣки, обрамленные крутыми скатами

долины, посеребренными полнымъ мѣсяцемъ, который медленно плыветъ по темно-синему звѣздному небу.

Разъ какъ-то, въ концѣ іюля, часовъ около шести по полудни, я шелъ по той самой тропинкѣ, о которой сказалъ выше. Солнце замѣтно уже склонилось къ западу, такъ что тропинка, ручьи и весь лѣвый скатъ окутывались тѣнью; совсѣмъ тѣмъ, было, однакожъ, очень жарко; правая сторона долины, облитая косыми лучами солнца, сообщала, казалось, теплоту самымъ тѣнистымъ частямъ противоположнаго берега; тонкій запахъ шиповника, кашки, медуницы и другихъ полевыхъ цвѣтовъ, смѣшиваясь съ запахомъ сырой почвы и тонкихъ лужаекъ, окаймляющихъ ручьи, разливался въ воздухѣ съ приближеніемъ вечера. Круглыя, величественныя облака, сверкающія какъ перламутръ или кованое серебро, медленно бродили по небу, открывая безконечныя перспективы съ синимъ, прозрачнымъ дномъ; съ каждой секундой долина принимала новые оттѣнки; густой, мѣстами темнозеленый, мѣстами темносиній колоритъ тѣнистой стороны отдѣлялъ ее рѣзче и рѣзче отъ пылающаго неба и бѣлыхъ облаковъ; лѣвая сторона окрашивалась между тѣмъ пурпуромъ, и не было, казалось, точки, которая не находилась бы въ движеніи; желтая тѣнь овраговъ быстро бѣжала по откосу, превращаясь въ розовую и фіолетовую; смолистые стволы деревъ превращались въ золото и ярко сверкали между листьями, бросавшими коричневыя, сквозныя тѣни. Вѣтеръ не трогалъ ни однимъ листикомъ, или, лучше сказать, его вовсе не было. Картина оживлялась безчисленнымъ множествомъ стрижей—маленькихъ птичекъ въ родѣ ласточекъ; вырываясь изъ своихъ кругленькихъ норокъ, которыми пробуравлены крутые берега Смедвы, они зигзагами рѣзали воздухъ; изрѣдка, въ вышинѣ показывался коршунъ; вытянувъ неподвижно зубчатыя крылья свои и управляясь однимъ хвостомъ, онъ водилъ плавные круги надъ долиной.

Я былъ уже на половинѣ пути, когда слуха моего неожиданно коснулось протяжное мычаніе и хлясканье копытъ по влажной почвѣ, возвѣщавшіе, что неподалеку, за какимъ-нибудь откосомъ, находилось стадо. И въ самомъ дѣлѣ, сдѣлавъ двадцать или сорокъ шаговъ, я увидѣлъ стадо, расположившееся по обѣимъ сторонамъ широкаго ручья, шумно вырывавшагося

изъ кремнистаго углубленія, обросшаго высокимъ орѣшникомъ, дикой малиной, душистымъ зорникомъ; хмѣль и ежевичникъ переплетали ихъ тонкіе прутья; вѣтка хмѣлю, упавшая однимъ концомъ въ воду, трепетно вздрагивала, сбрасывая свои желтые цвѣточки въ струйки ручья, быстро изгибавшіяся между плитнякомъ. Крутой скатъ долины углублялся въ этомъ мѣстѣ на довольно значительный полукругъ и былъ какъ-будто приплюснутъ сверху: послѣднее обстоятельство позволяло двумъ-тремъ лучамъ солнца проникать въ углубленіе, пронизывать сочную листву, превращая иной листъ въ сплошное золото, тогда какъ другой сквозилъ и принималъ яркій цвѣтъ изумруда; стадо лежало въ тѣни; и только въ одномъ мѣстѣ лучъ солнца сквозилъ по ребрамъ пестрой коровы и случайно захватывалъ бѣлую голову ея сосѣдки, которая, подогнувъ подъ себя ноги и вперивъ изумленный взоръ на какой-то неизвѣстный предметъ, молчаливо жевала жвачку.

Пастухъ сидѣлъ неподалеку на камняхъ, прикрытыхъ коричневыми лохмотьями сермяжнаго полукафтанья; онъ представлялъ типъ тѣхъ сухопарыхъ, костлявыхъ старичковъ, которымъ нѣтъ никакой возможности опредѣлить съ точностію лѣта. Черты его исчезли въ безчисленномъ множествѣ тонкихъ морщинокъ, усѣявшихъ его лицо и даже шею, — смуглую, шероховатую, какъ древесная кора; волосы старика, коротко обстриженные на макушкѣ, въ видѣ шапочки, спускавшіеся длинными неправильными космами на лобъ и затылокъ, были между тѣмъ черны, какъ у молодого парня. Въ рѣдкой, чахлой бородкѣ пастуха сильно пробивалась сѣдина. По одной сторонѣ его лежала плетеная берестовая котомка, и рядомъ съ нею порыжѣвшая шляпа съ темнобурымъ носовымъ платкомъ и продолговатою тавлинкою изъ березовой коры. По другой сторонѣ виднѣлось нѣсколько связокъ лыкъ, колодка съ начатымъ лаптемъ и воткнутымъ въ него кочадыкомъ. Старикъ прервалъ свою работу, чтобы приняться за полдникъ, состоявшій изъ огромнаго сукроя чернаго хлѣба, который онъ пережевывалъ съ большимъ трудомъ, перенося поминутно откушенный кусокъ съ одной щеки въ другую; онъ ѣлъ, однакожъ, съ большимъ аппетитомъ; противъ него, у самыхъ ногъ, сидѣла маленькая паршавая собаченка, съ исполинскими бровями; она не спу-

скала глазъ съ хозяина и каждый разъ, какъ тотъ подносилъ кусокъ хлѣба ко рту, свѣшивала голову то въ одну сторону, то въ другую, немилосердно болтая въ то же время хвостомъ.

Я подошелъ ближе. Заслышавъ шаги, собака быстро приподнялась съ мѣста и съ видомъ крайней озабоченности побѣжала впередъ; не подозрѣвая встрѣтить меня за сосѣднимъ кустомъ, она вихремъ откинулась назадъ и, метаясь, какъ полоумная, вокругъ пастуха, залилась неистовымъ лаемъ, причемъ шерсть ея стала дыбомъ и заходила во всѣ стороны.

— Сизой! Сизой! закричалъ старикъ, потрясая въ воздухѣ рукою, вооруженною хлѣбомъ.—Сизой!.. экой шальной какой, право шальной! Цыцъ! говорятъ; вотъ я-те, погоди!... Ничего, батюшка, ничего, подхватилъ онъ, обращая ко мнѣ доброе лицо свое:—ступай, не бойся: не тронетъ; она не злющая, не кусается...

Сизой заливался съ возрастающей энергіей. Я подошелъ къ пастуху и попросилъ кусокъ хлѣба для собаки.

— Э-э-э? батюшка, нѣтъ, отъ чужого не возьметъ, ни за что не возьметъ! Хоть ты голодомъ мори ее, не возьметъ! Ужъ такая-то нравная собаченка, такой-то жиденокъ, что и-и-и... Сизой! Сизой! вишь шавель какая! Цыцъ, котенокъ! О-о-о, погоди, погоди, постой, вотъ я-те порасхожу, заключилъ старикъ, нагибаясь къ землѣ и дѣлая видъ, какъ-будто схватываетъ палку.

Сизой остановился, поглядѣлъ недовѣрчиво на хозяина, медленно перешелъ ручей, принялъ наблюдательную позу и, убѣдившись наконецъ, что рука пастуха ощупывала только землю, разразился новымъ лаемъ.

— Вотъ поди-жъ ты, даромъ что песъ, а все смыслитъ! сказалъ старикъ, осклабляя беззубыя десны свои и лукаво прищуриваясь: — вѣдь вотъ знаетъ же, что не трону... Такой вороватой собаченки, кажись, я и не видывалъ... Привычлива больно; въ стадѣ съ ней и товарища не надыть: другой разъ въ лугахъ либо на пару́ коровы разбѣгутся, особливо изъ молодыхъ, небывалыхъ въ стадѣ; укажи только: Сизой! глянуть не успѣешь— всѣхъ въ кучу согналъ. Такая-то, право, смышленая, даромъ что отъ земли не видишь!...

Сказавъ это, старикъ, приложивъ ладонь ко лбу, въ видѣ

зонтика, оглянулъ стадо, погрозилъ еще разъ Сизому, сѣлъ на камень и снова принялся за полдникъ. Я расположился подлѣ него на травѣ, и мы разговорились. Изъ словъ старика оказалось, что онъ нанимался пастухомъ въ деревушкѣ, находившейся верстахъ въ трехъ отъ Емельяновской мельницы.

— Самъ-то я не оттолева, примолвилъ онъ:—я изъ Крапиловки: вотъ какъ въ городъ-то ѣдешь, вправо видна бѣлая церковь... большое село такое на самомъ берегу Оки... Да ты, я чай, Крапиловку-то знаешь?

Я отвѣчалъ утвердительно.

— Приволье у насъ большое—не то, что здѣсь, продолжалъ словоохотливый старикъ: — лѣсу-ли, пашни-ли, всего много; да и земелица-то не здѣшней чета... вишь, одни кругояры да глина, примолвилъ онъ, указывая на противоположный скатъ долины, позолоченный солнцемъ.—а луга-то какіе? У насъ лугомъ-то идешь, идешь... версты четыре пройдешь, а все конца ему нѣтъ! Супротивъ нашей Крапиловки и мѣста такого не найдешь— всѣмъ взяла. Вотъ развѣ что насчетъ народа... ну, нашъ поплоше будетъ здѣшняго...

— Чѣмъ-же?...

— Бѣдовый! такой-то народъ, и-и-и, Боже упаси! Вѣстимо, коли нашъ братъ отошелъ отъ пашни да пристадъ къ этимъ фабрикамъ, добра ждать нечего. Безъ малаго въ двадцать лѣтъ такъ перебаловались всѣ, что житья не стало. Да вотъ, примѣрно, хошь бы мой парнюха—одинъ только и есть,— звали его Мишаха — Михайло — не было бы фабрикъ, не было бы и горя! Баловалъ, баловалъ да и добаловался; самъ, почитай, пропалъ, да и бабенку свою погубилъ; а все народъ сбилъ съ толку...

— Что-жъ съ нимъ такое случилось?

— Что случилось: самъ въ бурлаки пошелъ, вотъ ужь второй годъ скоро будетъ, а меня на старости лѣтъ пустилъ чуть не по міру... Кабы не онъ, такъ я рази сталъ бы такъ-то наниматься въ чужихъ людяхъ? У меня въ Крапиловкѣ-то свой домъ есть... Да, прибавилъ онъ послѣ молчка:—было времячко, не чаялъ, не гадалъ, что будетъ онъ у меня такъ-то стоять пустехонекъ; на все, знать, воля Божья: сколько ни живи, не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь...

Старикъ покачалъ головою и остановился. Онъ бросилъ остатокъ хлѣба Сизому, который лежалъ, вытянувъ голову на переднія лапы, уложилъ колодку и лапоть въ котомку, засунулъ лыки за поясъ, понюхалъ табаку и сталъ приготовляться въ дорогу. Натянувъ на плечи полукафтанье, онъ опустился на колѣни у берега ручья, распахнулъ ладонью руки воду и припалъ къ ней губами; утоливъ жажду, онъ перекрестился, надѣлъ шляпу и кликнулъ собаку:

— Сизой, время домой идти... ась? ну, что, глупый, хвостомъ-то размахался? вѣстимо пора; вишь солнышко-то гдѣ, и не видать отселева... ступай, сдѣлай-ка вотъ тамъ распорядокъ!... заключилъ пастухъ, указывая рукою на двухъ-трехъ коровъ, гулявшихъ въ отдаленіи у рѣки.

Сизой полетѣлъ стрѣлою. Немного погодя, стадо поднялось съ мѣста и, разсѣявшись по кустамъ, начало взбираться по крутому скату долины. Пастухъ перебросилъ за спину котомку, взялъ палку, и мы пошли слѣдомъ, по узенькой тропинкѣ, мѣстами заслоненной орѣшникомъ. Съ этой минуты Сизой уже исчезъ изъ виду; до насъ долеталъ лишь голосъ его, раздававшійся то тутъ, то тамъ, смотря потому, въ какую сторону направлялось стадо.

Вскорѣ мы достигли вершины ската; тропинка сливалась незамѣтно съ широкимъ проселкомъ, изрытымъ глубокими колеями, который тянулся по одному направленію съ долиной; очутившись на немъ, съ трудомъ вѣрилось, однакожъ, чтобы поблизости могли находиться какіе-нибудь признаки живописнаго мѣстоположенія; справа, съ той стороны, откуда мы поднялись, горизонтъ замыкался кустами; слѣва разстилались неоглядныя глинистыя и худо обработанныя поля; передъ нами клубилось облако пыли, поднятое стадомъ и зарумяненное косыми лучами солнца.

Нѣкоторое время мы шли молча. Я думалъ о томъ, какъ бы завести разговоръ о сынѣ и снохѣ старика. Иногда бываетъ такъ, что ничтожнѣйшій намекъ на какое нибудь событіе возбуждаетъ самый сильный интересъ; въ другое время слушаешь съ невозмутимымъ равнодушіемъ происшествіе, дѣйствительно заслуживающее вниманія не знаю, происходитъ ли это вслѣдствіе болѣе или менѣе хорошаго расположенія духа, или по другимъ причинамъ,—знаю только, что два-три слова, сказанныя

старикомъ по поводу его сына, возбудили сильнѣйшимъ образомъ мое любопытство. Я хотѣлъ уже приступить къ разспросамъ, какъ вдругъ, совершенно неожиданно, старикъ предупредилъ меня: болтливый, какъ всѣ старики, долго жившіе въ одиночествѣ, онъ видимо радовался встрѣчѣ съ собесѣдникомъ; быть-можетъ, бѣднякъ по цѣлымъ днямъ никого не видалъ, кромѣ Сизаго.

— Такъ ты, говоришь, знаешь Крапиловку-то?... сказалъ онъ, вѣроятно, съ цѣлью возобновить бесѣду.

— Какъ-же! не разъ даже приводилось бывать.

— Когда жъ ты тамъ былъ? спросилъ онъ, устремивъ на меня нетерпѣливые глаза.

— Нынѣшнею весною...

— Да, въ эту пору у насъ привольное житье! съ живостью перебилъ старикъ: — особливо, коли ты засталъ водополье — и, чай, видѣлъ, какъ наши-то по рѣкѣ погуливаютъ; вѣдь вотъ круглый годъ сидятъ за станомъ да челнокомъ постукиваютъ, а какъ разольется моремъ-океаномъ наша Ока, верстъ на семь отъ берега до берега, такъ, небось, работу-то пустую побросаютъ: кто за бредень, кто за вершу, кто за что гораздъ... Какъ фабрикъ этихъ у насъ не было, всѣ мы, отъ мала до велика, этимъ рукомесломъ промышляли; у каждаго, бывало, своя лодка; а кто позажиточнѣе, такъ по двѣ, либо по три... И то сказать надо, въ тѣ поры и рыбы-то было какъ-то побольше: бывало день-деньской все на водѣ да на водѣ; ину пору ночь-то въ лодкѣ проспишь; житье было знатное, не то, что здѣсь: ну, что тутъ: буераки, крутояры, глина... промолвилъ онъ такимъ тономъ, какъ-будто Смедовская долина была степь и отстояла отъ Оки на цѣлую тысячу верстъ.

Старикъ прошелъ молча нѣсколько шаговъ, потомъ обратился ко мнѣ совершенно неожиданно и сказалъ:

— А я такъ вотъ ужъ давно въ Крапиловкѣ-то не бывалъ... зимой, объ масляной будетъ два года.

— Что жъ такъ?

— Да такъ, охоты нѣтъ! отвѣчалъ онъ, тряхнувъ головой съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ! — иной разъ, какъ словно и потянетъ тебя: „сходи да сходи“, а придешь — вотъ хошь-бы въ прошлую святую — придешь, такая-то тоска припадетъ къ тебѣ, — лучше бы и не ходилъ! Промежъ чужихъ людей живешь

глазъ-то тебѣ никто не колетъ, а какъ придешь къ своимъ, такъ словно каждый тебя позоритъ... Вѣстимо, послѣ того, что̀ въ нашей семьѣ приключилось, не только на людей, да и на домъ-то на свой зазорно смотрѣть... А все нашъ народъ виною, особливо вотъ эти фабричные ребята... у-у-у, Боже упаси! Кабы не они, мой бы Мишаха-то жилъ-бы о-сю пору въ дому, жилъ бы ладно и безобидно съ женою... да и я бы, на старости лѣтъ, на мѣсто того, чтобы стадо гонять, няньчился бы съ ихними ребятенками, въ свободное время ловилъ бы рыбу въ Окѣ,—и жили бы мы, лиха не чая.

— Что̀-жъ такое сдѣлалъ твой Михайло, что тебѣ совѣстно изъ-за него показаться въ Крапиловкѣ? спросилъ я.

— А что̀ сдѣлалъ?... вѣстимо недоброе дѣло; да онъ что̀: только въ бурлаки пошелъ, да годикъ потосковалъ; а вотъ жальчѣе всего его бабенку: та совсѣмъ пропала, загубилъ ее, лучше бы ей не рождаться...

Я сталъ упрашивать пастуха разсказать мнѣ во всѣхъ мелочахъ и подробностяхъ исторію его сына. Старикъ не долго отнѣкивался; онъ, можетъ-статься, самъ былъ очень радъ высказать то, что̀, въ продолженіе многихъ лѣтъ, не находило случая высвободиться изъ груди его.

— Этому теперь лѣтъ пятокъ будетъ, началъ онъ: — жилъ я тогда своимъ домкомъ; хозяйки у меня не было: померла еще съ-молоду. Оставила она меня одного съ Мишуткой. Въ ту пору нашъ народъ сталъ впервые заводиться станами, да брать работу на фабрикахъ. Вотъ и говорятъ мнѣ: „дядя Савелій— говорятъ—что ты своего Мишутку держишь въ домѣ? отпусти его пряжу или шпули мотать: вѣдь онъ малъ, малъ, а въ годъто все добудетъ тебѣ рублишковъ десять... отпусти его!“ Хоть и нужда, признаться, была, а такія слова куда пришлись мнѣ не по-сердцу. Какъ—думаю себѣ—примѣрно вотъ такъ-то самъ съ собою раздобариваю—какъ, и дѣды наши, и отцы наши, и прадѣды наши были рыбаками, фабричнымъ дѣломъ не промышляли, и дѣло-то, думаю, самое пустое, да и самъ-то я весь свой вѣкъ съ бреднемъ либо съ вершей возился, а парнюху моего такъ бы и отпустить на фабрику! Нѣтъ, думаю, погодите молъ: супротивъ нашего рыбацкаго рукомесла не найдешь другого; привыкъ я къ нему съизмаленьку; да и рука у меня счаст-

ливая; нѣтъ, думаю, не пущу Мишутку, ни за что не пущу на фабрику, пропадай они совсѣмъ съ ихъ деньгами. Сталъ я такъ-то думать, а они опять приступали: „отпусти да отпусти“, ловъ — говорятъ — годъ отъ году плоше да плоше, да и то сказать надо, помощь въ немъ нивѣсть какая... Время было въ тѣ поры больно тугое, вижу, всѣ у насъ, не токмо взрослые, — и малые сидятъ за работой, что, думаю, должно быть ужь такія времена пришли; думалъ, думалъ, да и свернулъ на ихнее: отдалъ Мишутку на фабрику богатому сосѣду — Карномъ звали. Сталъ онъ у меня шпули мотать. Что говорить напраслину? на первыхъ порахъ я въ немъ худого ничего не видалъ; парнишка былъ со смысломъ, толковый такой; сталъ онъ у меня подрастать; живетъ годъ на фабрикѣ, живетъ другой, посадили его за станъ; еще годика два прошли... Ну, тутъ ужъ прошло совсѣмъ не то. Глядишь, мой парнюха то съ дѣвками забавляется, то въ трубочку покуриваетъ, то подерется съ кѣмъ... Знамо, человѣкъ молодой, что увидалъ, то и самому надо дѣлать! Недаромъ говорятъ: за добромъ идти, что за кладомъ: три версты пройдешь, да умаешься, а худое-то подъ рукой лежитъ: вокругъ него народъ все избалованный, — и табашники, и пьяницы, и сволочь всякая фабричная... чѣмъ бы къ добру наставить, сами потачку даютъ! Мнѣ опосля говорили: „Чего-жъ ты самъ-то смотрѣлъ!“ Чего смотрѣлъ, чего смотрѣлъ... Чего мнѣ смотрѣть! Я нешто мало говорилъ? иной разъ и за вихоръ возьмешь,— да впрокъ не пошло; вѣстимо, дѣтище-то свое — не чужое: одна рука бьетъ, а другая гладитъ; о-охъ, спохватился я, да ужъ поздно: вижу, совсѣмъ избаловался мой Мишакъ. Вотъ то-то, глупая-то дурость моя... Что ты станешь дѣлать!... Вотъ, батюшка, какъ я тогда сказалъ тебѣ, этому будетъ назадъ лѣтъ пять. Мишкѣ моему было годковъ осемнадцать. Сижу я разъ подъ-вечеръ, приходитъ ко мнѣ Карпъ Ивановъ, а Мишка жилъ ужъ не у него, у другого хозяина, — приходитъ, и давай выговаривать: — „Уйми — говоритъ — дядя Савелій, парня, ой уйми — говоритъ — провѣдалъ я, бѣгаетъ онъ за моей дѣвкой; мотри, не было бы худо!“ — „Вѣстимо, молъ, Карпъ Ивановичъ, хорошее-ли это дѣло... я — говорю — потачки ему не дамъ!“ Потолковали да и разошлись. Въ тотъ же вечеръ разсказалъ я все Мишкѣ: куда тебѣ! и руками и ногами! отпирается; знать —

говоритъ, — не знаю, вѣдать — говоритъ — не вѣдаю, бабы — говоритъ — натолковали да и все тутъ! И такъ, безстыжій, такъ вотъ въ глаза прямо и смотритъ. Я ему вѣру и далъ и жилъ я, ничего не чаялъ, пока не приключился грѣхъ... Что ты станешь дѣлать!... Прибѣжалъ Карпъ, прибѣжала жена его, подняли крикъ, содомъ такой. „Что, братцы — говорю я имъ — крикомъ дѣла не поправишь; мы — говорю — съ васъ ничего не просимъ; отдайте намъ дѣвку, отдайте — говорю; по крайности хоть сраму на себя не приметe...“ Покричали, покричали, да потомъ и положили. Сыграли свадьбу и перевезли молодую въ мой домишко. Мишутка мой какъ словно притихъ; день-деньской работаетъ, изъ дому не вызовешь; въ одну зиму три основы справилъ. Я, признаться, не ждалъ большого добра отъ нашей молодой, а вышло другое: баба вышла такая, что лучше, кажись, и не надыть: смирная, покорная, и ужъ такъ-то полюбился ей мой парень, такъ полюбился, что только и наровитъ, какъ бы ему угодить въ чемъ. Ей полюбился мой Мишутка, а она мнѣ добре по нраву пришлась: такая-то была добрая да ласковая бабёнка. Прожилъ я съ ней зиму и такъ привыкъ, что коли, бывало, уйдетъ куда, ждешь не дождешься: „куда ушла, молъ, наша Параша“, только и на умѣ. Къ исходу весны родила она дочку. Хозяйство наше было не велико, а какъ хозяйка-то слегла на время, — и совсѣмъ некому стало заправлять домомъ. Зазвали мы на ту пору батрачку править домомъ: была она старая дѣвка и проживала на фабрикѣ у Карпа... О-охъ, такая была, такая, что и-и... да кто ее зналъ прежде... опосля только свѣдали... Вотъ, батюшка, съ того самаго времени, какъ поступила она, все пошло у насъ не такъ, какъ было прежде... И что за человѣкъ такой была эта Лукерья, такъ Боже упаси! Мутитъ, дуритъ, и не уймешь ничѣмъ; скажешь слово—бѣда, разлютуется, и пошла, пошла, хошь изъ дому вонъ бѣги. Завладѣла всѣмъ домомъ, а пуще того завладѣла Мишкой... и диковинное это дѣло! старая, кривая, а вѣдь вотъ влѣзла же ему въ душу: обошла она его, либо другое что, а только души въ ней не чаялъ. Что ни день, ссоры да крикъ. Чѣмъ бы за жену вступиться, Мишка во всемъ потакаетъ Лукерьѣ... Я и давай выживать ее изъ дому. Какъ выжилъ, пошло еще хуже: встрѣнется съ нею на улицѣ, либо въ другомъ мѣстѣ, натребенитъ, наплететъ она ему нивѣсть что на жену; придетъ онъ домой—и давай, и давай...

Ужъ я и говорилъ-то ему и стращалъ-то всячески — нѣтъ! ничего не береть. Вижу, Параша моя стала сохнуть; ночи не спитъ, нивѣсть что бормочетъ, днемъ ни съ кѣмъ ни слова не молвитъ... И дожили мы до горя, до такого горя, что и вспомянуть такъ тяжело!... Взяла это она разъ ночью (дѣло было лѣтнее), взяла своего ребенка и сбѣжала съ нимъ нивѣсть куда... На другое утро, хватьпохвать, нѣтъ Параши да и полно! Искали, искали, думали: утопилась, либо другое что; въ городъ объявили, — нигдѣ не нашли: такъ и пропала. Прошелъ годъ — ни слуху, ни духу. Много принялъ я горя въ этотъ годъ. Кажинный день вспоминалъ я нашу бабёнку и больно жалѣлъ о ней; жалѣлъ также и о внучкѣ; тошнёй того было мнѣ смотрѣть на Мишку. Привязался онъ къ этой Лукерьѣ,— словно околдовала она его, словно зельемъ какимъ къ себѣ приворожила; хошь бы разъ вспомянулъ о женѣ! точно ея и не бывало! Ходилъ онъ попрежнему на фабрику. да только жилъ-то не попрежнему: сталъ за частую хмѣльнымъ зашибаться; вмѣстимо, вино— врагъ человѣку; что ни выработаетъ, все пропьетъ, либо проканфуетъ. Всему научила фабричная жизнь, а пуще того — Лукерья. Совсѣмъ сгибъ мой Миняха; я ужъ и рукой махнулъ: вмѣстимо, думается, гдѣ мнѣ, старику, совладать съ нимъ! Такъ было до того времени, какъ случай привелъ намъ провѣдать про жену его и ребенка Вотъ какъ это было. Пріѣзжаетъ къ намъ, въ Крапиловку, подъ осень, купецъ съ краснымъ товаромъ. Карпъ Ивановъ, отецъ Параши, приводился ему какъ-то съ родни. Заночевалъ у него купецъ — человѣкъ былъ старый и кредитный — заночевалъ, да и разсказываетъ: — „Грѣхъ, говоритъ, на душу не приму, заподлинно не знаю, а сдается мнѣ, видалъ я вашу Парашу“; говоритъ гдѣ встрѣтилъ и гдѣ примѣрно видѣлъ;— и мѣсто разсказалъ, гдѣ примѣрно найти ее. Дошла эта вѣсть и до Мишки. Въ началѣ ему какъ словно и нуждушки нѣтъ задурилъ еще пуще; потомъ какъ словно притихъ на время. Вотъ я и говорю ему: „Миша, говорю, дурью позасорилъ ты голову, худымъ товаромъ ты торгъ повелъ... рано ли, поздно ли говорю—Господь тебя покараетъ“—говорю да смотрю на него. Молчитъ. Опять на день либо на два пропадетъ: пьянствуетъ безъ просыпу, словно горе какое у него на душѣ. Другой разъ недѣлю цѣлую изъ дому не выходитъ. Пить не пьетъ, хлѣба въ ротъ не береть; упрется локтями въ столъ, сидитъ—съ мѣста не тронется. Сидитъ онъ такъ-то разъ да и говоритъ мнѣ: „Батюшка,

говоритъ, за что я погубилъ ее!“ Кого, говорю, погубилъ?— „Парашу погубилъ, говоритъ; каюсь, говоритъ, предъ людьми и передъ Господомъ!...“ И сталъ онъ тутъ припоминать свое прежнее житье-бытье: какъ полюбилась ему Параша, и что она ему въ ту пору говорила, — слова, кажись, единаго не пропустилъ... Да вдругъ, батюшка, какъ ударится о земь и давай плакать. — „Нѣтъ, говоритъ, силушки моей нѣтъ, совѣсть замучила... пойду, говоритъ, я къ ней, пойду да приведу домой. Жизнь опостыла мнѣ, покаюсь, говоритъ, предъ людьми и передъ Господомъ!!...“ Я до смерти обрадовался; слава-те, Господи, думаю; помолились мы Богу, а на другой день Михайло мой пошелъ въ дорогу. Шелъ онъ безъ малаго недѣлю, — шелъ словно въ потемкахъ: вѣстимо, дороги-то хорошо не зналъ, да и въ мошнѣ-то всего одинъ полтинникъ. Ну, и нашелъ онъ ее... О-охъ! и вымолвить страшно. Самъ опосля мнѣ все повѣдалъ. Вотъ, батюшка, какъ дѣло было: убѣжала она отъ насъ въ другую губернію и нанялась батрачкой въ домѣ у одного богатаго мужичка. Страха, что ли, боялась она, а только и выдай себя за вдову! Жила такъ-то у нихъ полгода и всѣмъ полюбилась, а пуще того хозяйскому сыну. Что ты станешь дѣлать? Что ужъ, сказывали, ни дѣлалъ онъ: и къ ворожеямъ ходилъ, и къ знахарямъ, да и заманилъ ее,—заманилъ и стали жить все одно, что мужъ съ женою... Вѣдь вотъ какой великій грѣхъ вышелъ! Какъ провѣдалъ Мишаха мой обо всемъ этомъ, „такъ, говоритъ, и грохнулся о земь. Сколько пролежалъ, не помню“. Всталъ и давай караулить. Выждалъ; видитъ, идетъ она на рѣчку; онъ къ ней. „И злобы, говоритъ, въ ту пору, не было у меня никакой; какъ увидѣлъ, словно, говоритъ, отлегло отъ сердца; и она, говоритъ, словно вздрогнула; стоитъ, а сама такъ вотъ вся и трясется...“ Сталъ онъ ей выговаривать: „Знаю, говоритъ, все про тебя, все, говоритъ, знаю; я твой погубитель, я стану отвѣтъ держать за тебя предъ людьми и предъ Господомъ, не поминай, говоритъ, что прошло, пойдемъ со мной!...“ Она не пошла. И говоритъ это она ему: „Губи меня, говоритъ, губи, коли хочешь, а я съ тобой не пойду!“ Пришелъ мой Михайло назадъ въ Крапиловку,— пришелъ весь ободранный, и лица на немъ нѣту. Весь эвтотъ день ходилъ какъ шальной, слова не молвилъ. Такъ пробылъ онъ цѣлую недѣлю; потомъ опять запилъ, загулялъ, и, кажись, конца этому не было. Пьянствовалъ, пьянствовалъ, да и разскажи своимъ товарищамъ-фабричнымъ про жену свою. А тѣ его надоумили: „Подай,

говорятъ, на нее бумагу...“ Онъ и подалъ; а какъ провѣдалъ, что жену привезли да посадили въ нашъ острогъ, чуть съ ума не свихнулся; напала на него хвороба-горячка. Въ это время я не разъ въ острогъ навѣдывался къ Парашѣ. Какъ ни придешь, бывало, плачетъ, либо молится... И велика грѣшница; великій грѣхъ приняла на душу, а все жаль. Судили ее, судили и повезли въ Москву для пересылки. Михайло лежалъ въ больницѣ; я остался дома одинъ какъ перстъ. Тоска такая на меня напала. Ноетъ мое сердце да и полно: словно змѣя какая повилась вокругъ и сосетъ его... Дай, думаю, пойду-ка я въ Москву; погляжу-ка еще разъ на Парашу, да прощусь съ ней. Сборы не Богъ вѣсть какіе были: взялъ хлѣбца, перекрестился, да и пошелъ. Москва, самъ вѣдаешь, не больно отъ насъ далече. Пришелъ туда я въ самыя святки. Спрашиваю, какъ мнѣ повидаться съ ней, съ Парашей-то! „Такое-то, молъ, и такое дѣло прилучилось“. — „Понавѣдайся, говорятъ, въ тюрьму, туда, говорятъ, сродственниковъ-то пусчаютъ.“ Сказали, какъ и куда пройдти. Дорогой купилъ ей на послѣднія крестъ; оставалось всего три гроша; что ихъ жалѣть, думаю, — купилъ ей сайку. Прихожу, спрашиваю, а ее ужъ сдали на Воробьевы горы, въ пересыльный замокъ. „Воскресенье утромъ, говорятъ, отправлять будутъ.“ Дождался воскресенья — и туда; какъ теперь помнится... самъ иду, а сердце-то у меня такъ вотъ и ломитъ, такъ и ломитъ... Прихожу. Большущіе дома такіе настроены, кругомъ заборы да загородь, стоятъ вездѣ часовые. Я къ нимъ. „Маленько, говорятъ, запоздалъ, теперь нельзя, молебствіе идетъ, а вотъ обойди, говорятъ, кругомъ, увидишь ворота, тамъ и жди... скоро поведутъ, и поведутъ въ тѣ ворота...“ Такіе добрые, привѣтливые... „Спасибо, молъ, братцы, что не отогнали, добромъ промолвили...“ Какъ сказали они, такъ и сдѣлалъ. Ощупалъ пазуху: крестикъ тутъ и сайка тутъ; стою и жду. Влѣво отъ меня березовая роща, такъ вотъ вся и шумитъ... Вѣтеръ былъ добре-великъ. По правую руку вся Москва видна; мѣсто высокое, — куды противъ здѣшняго! Въ тѣ поры плохо было только видно: снѣгъ валомъ-валилъ, да и время было пасмурное. Вотъ, слышу, загремѣли ворота! вывели ссыльныхъ; смотрю, и Параша моя тутъ: бѣлехонька какъ известь, лица нѣту, стоитъ, сердечная, словно убитая. Я пододвинулся ближе; а тутъ священникъ стоитъ; я къ нему: „Батюшка, говорю, вотъ, говорю, пришелъ проститься... кре-

стикъ, говорю, принесъ... вонъ та, говорю, бабенка-то, что подлѣ подводы-то... заставь за себя Богу молиться...“ Взялъ онъ у меня крестикъ... я саячки не посмѣлъ отдать: такъ и осталась за пазухой. Подняла Параша голову, увидала меня, да такъ вотъ, батюшка... такъ... такъ вотъ... такъ и залилась, и залилась. „Батюшка, говоритъ, батюшка... о-охъ, помолись за меня, грѣшную...“ да дальше-то ужъ и не выговоритъ ничего. Надѣлъ священникъ на нее мой крестъ, перекрестилъ ее и сталъ уговаривать; потомъ отошелъ, обратился ко всѣмъ да и говоритъ имъ; а они стоятъ всѣ въ рядъ, по обѣимъ сторонамъ солдаты; отошелъ да и говоритъ: „Дѣти, говоритъ, помолитесь Богу и проститесь съ родной землей... проститесь въ послѣдній разъ съ Москвою...“ И чего ужъ, кажись, батюшка, вѣдь вотъ тутъ нивѣсть какого народу не было; другой и душегубецъ, либо разбойникъ какой, а какъ сказалъ онъ имъ это слово, такъ вотъ всѣ навзрыдъ и залились; и меня самого слеза пробила. Тутъ забили въ барабаны, и пошли они въ дальнюю дорогу... Въ тотъ же день пошелъ я домой. Михайло мой въ это время какъ словно маленько поправился; мало-по-малу совсѣмъ сталъ на ноги. Да не въ прокъ пошло ему здоровье. Весну цѣлую ходилъ безъ дѣла, и лѣто также. „Охоты, говоритъ, ни къ чему нѣтъ“, да и все тутъ; что ты станешь съ нимъ дѣлать! Ходилъ онъ такъ-то, почитай, все лѣто, по осени опять загулялъ; курилъ, курилъ да и закабалился въ бурлаки; будетъ этому скоро два года. А все вѣдь, батюшка, коли поглубже плыть въ этомъ дѣлѣ,—все вѣдь фабричная жизнь виновата... Эхъ, кабы не послушался я тогда нашего народа, повелъ бы парня по отцовскому рукомеслу, такъ вѣстимо не то бы и было: наша рыбацкая жизнь простая,—не то, что ихная—фабричная!.. Остался я такъ-то одинъ-одинешенекъ. Добре тоска одолѣла меня. Къ тому и зазорно было какъ-то глядѣть на своихъ-то: опостыла мнѣ Крапиловка. да и домъ-то опостылъ совсѣмъ; землю свою сдалъ я сосѣду, а самъ пошелъ въ наймы къ чужимъ людямъ... Въ Крапиловку почитай что я теперь и не заглядываю; какъ заглянешь туда, самъ спокаешься; ходишь, ходишь потомъ,—словно камень на сердцѣ лежитъ у тебя... Лучше вотъ и не ходить... Богъ съ ними!..

— А что-жъ сталось съ Лукерьей? спросилъ я, послѣ минуты молчанія: —неужто она о-сю пору живетъ въ Крапиловкѣ?

— Нѣтъ, батюшка, давно пропала... померла прошлую весну, послали ее, слышь, въ погребъ: оступилась да и повихни себѣ ногу... нога болѣла, болѣла, пухла да и сгубила ее... Во всемъ, сказывали мнѣ, спокаялась, во всѣхъ лихихъ дѣлахъ своихъ!..

Старикъ снова замолкъ и потупилъ голову.

Мы прошли съ четверть версты, не сказавъ другъ другу ни слова. Во все это время Сизой шелъ подлѣ. Изрѣдка махалъ онъ хвостомъ и забѣгалъ впередъ, чтобы устремить на хозяина желтые зрачки свои, заслоненные вкривь и вкось исполинскими, шаршавыми бровями. Онъ видимо былъ почему-то не въ духѣ; но мрачное расположеніе Сизаго не было, однакожъ, продолжительно. Какъ только стадо свернуло съ дороги влѣво по направленію къ деревнѣ, гдѣ нанимался пастухъ, Сизой залился звонкимъ лаемъ и, распушивъ хвость, полетѣлъ дѣлать распорядокъ, какъ говорилъ дядя Савелій.—Густое облако пыли, не сквозившее уже отъ солнечныхъ лучей, которые только-что потухли на горизонтѣ, скрыло отъ меня и стадо, и Сизаго. Вскорѣ я потерялъ изъ виду и самого дядю Савелья.

Я удвоилъ шагъ, чтобы скорѣе дойти до мельницы. Въ воздухѣ чувствовалась уже свѣжесть, которая свидѣтельствовала, что Ока не очень далеко; дорога начинала опускаться; бока долины понижались, расходились амфитеатромъ и сглаживались съ дальнею мѣстностью. Немного погодя, на огненномъ, постепенно блѣднѣющемъ небѣ обозначилась фіолетовая, слегка зарумяненная линія горизонта; еще нѣсколько шаговъ впередъ—и я увидѣлъ Оку; тамъ выступили луга съ послѣднимъ заворотомъ Смедвы; ближе всего, почти подъ ногами, возносились темныя, неправильныя группы ветелъ; кой-гдѣ, сквозь сучья, проглядывало багровое небо; тутъ же, между стволами ветелъ, чернѣла плотина и на одномъ концѣ ея рисовалась причудливая профиль мельницы съ прилѣпленными къ боку амбаромъ, спускомъ для воды и колесами; на боку лежала опрокинутая лодка. Ветлы съ своими огненными просвѣтами, плотина съ своими шестами, тварнями, растянутымъ бреднемъ и самая мельница цѣликомъ перекидывались въ широкомъ, сверкающемъ прудѣ; на поверхности его, гладкой какъ розовое зеркало, играла рыба и появлялись затѣмъ кружки, которые расширялись и зазубривали дрожащими, серебряными нитками то мѣсто, гдѣ отражалась мельница.

Окрестность между тѣмъ темнѣла, и въ ясномъ, постепенно синѣющемъ небѣ начинали зажигаться звѣзды. До слуха доносились какіе-то неясные, замирающіе звуки... Наконецъ все смолкло и окуталось тѣнью... Въ окнѣ мельницы мелькнулъ огонекъ и заигралъ въ водѣ вмѣстѣ съ звѣздами...

Минуту спустя, я стоялъ уже на плотинѣ и бросалъ прощальный взглядъ на Смедовскую долину.

ЗИМНІЙ ВЕЧЕРЪ.

(ПОВѢСТЬ НА НОВЫЙ ГОДЪ).

I.

СУМЕРКИ.

Я долженъ начать съ сумерекъ: это неизбѣжно. Другіе, на моемъ мѣстѣ, поступили бы, можетъ быть, иначе; это ихъ дѣло; но я не могу принять на себя такой отвѣтственности и начинаю сумерками. Во-первыхъ, я рѣшительно не постигаю, что могло бы быть предосудительнаго въ такомъ началѣ? Во-вторыхъ, я не встрѣчалъ еще смертнаго, который не чувствовалъ бы особеннаго влеченія къ сумеркамъ. Начиная съ людей зрѣлаго возраста, словомъ сказать: людей солидныхъ, степенныхъ, которые сознаются, что нѣтъ высшаго наслажденія, какъ сидѣть въ сумерки передъ каминомъ и, переваривая сытный обѣдъ, прихлебывать въ то же время кофе съ коньякомъ или коньякъ безъ кофе, и кончая молодыми людьми, радостно ожидающими четырехъ часовъ вечера, чтобъ взять подъ мышку портфель и ловко пройтись по Невскому проспекту; кончая даже ничтожнымъ, жалкимъ какимъ-нибудь сверчкомъ, который съ явнымъ нетерпѣніемъ сторожитъ минуту

солнечнаго заката, чтобъ затянуть свою пѣсню — всѣ, рѣшительно всѣ любятъ сумерки!

Но смѣю увѣрить, всѣхъ этихъ причинъ было бы, можетъ статься, еще не довольно, еслибъ точно не предстояла мнѣ самая крайняя надобность начать именно сумерками. Это фактъ, противъ котораго станутъ спорить тѣ только, которые, по какимъ бы то ни было личнымъ причинамъ, не захотятъ вникнуть въ положеніе человѣка, принявшаго на себя обязательство прослѣдить за всѣми періодами длиннаго зимняго вечера. Всякій вечеръ—это ужь несомнѣнно—начинается сумерками, и, слѣдовательно, повѣсть, имѣющая предметомъ изображеніе вечера, неизбѣжно должна начаться съ сумерекъ; самая логика нѣмѣетъ передъ такимъ выводомъ.

И такъ, чтобъ не откладывать дѣла въ долгіе ящики, совѣтую вамъ зажмурить скорѣе глаза, мысленно закутаться въ шинель или шубу, и представить себѣ, что вы прогуливаетесь въ пятомъ часу вечера по петербургскимъ улицамъ.

Сумерки только-что начались. Блѣдно-зеленый закатъ разливаетъ холодный полусвѣтъ на кровли домовъ; мало-по-малу въ глубинѣ улицъ все начинаетъ сѣрѣть и меркнуть; въ потемнѣвшемъ небѣ зажглась ужь первая звѣзда — звѣзда любви, какъ называютъ ее обыкновенно въ провинціи, потому, вѣроятно, кто тамъ любятъ засматриваться на нее барышни... Но петербургскія барышни мало занимаются астрономіей; въ Петербургѣ думаютъ только о Невскомъ проспектѣ—этой звѣздѣ петербургскихъ улицъ! Но это мимоходомъ. Съ каждой секундой дневной свѣтъ замѣтно уступаетъ шагъ сумеркамъ; пѣшеходы съ трудомъ различаютъ черты другъ друга; только и видишь, что бороды, усы и мѣховые воротники, опушенные иневомъ. Страшно-холодно! Такого холоднаго вечера не было еще, кажется, во всю зиму. Закутайтесь плотнѣе въ шубу (этакая, право, отличная выдумка эти шубы!), закутайтесь плотнѣе и ускоримъ шагъ. Предметы путаются, мѣшаются съ темнотою; мы перестаемъ различать бороды, усы и воротники, осыпанные снѣжными иглами. При трепетномъ мерцаніи звѣздъ, которыми осыпалась теперь неизмѣримая глубина небеснаго свода, смутно даже обозначаются верхнія части домовъ съ ихъ кровлями и цѣлымъ милліономъ трубъ, которыя, какъ окаменѣлое море, безмолвно высятся и про-

падаютъ въ пространствѣ... Замѣчаете ли вы, какая тишина овладѣла вдругъ городомъ? Точно сибаритъ, переваривающій свой обѣдъ и заснувшій въ сумерки поредъ каминомъ. Вы различаете отдѣльные звуки; пѣсня извощика-ваньки въ отдаленьи, колоколъ, визгъ колесъ по снѣжной, насквозь промерзнувшей мостовой, чего никакъ не услышишь въ другое время дня, когда тысячи отдѣльныхъ звуковъ сливаются въ одно общее неопредѣленное журчанье, схожее съ звукомъ, который издаютъ морскія раковины, приставленныя къ уху. Городъ, какъ бы утомленный страшною суетою утра, притихъ на минуту и собирается съ свѣжими силами для препровожденія такого же суетливаго, хлопотливаго вечера. Но морозъ никого не разбираетъ, и повѣрьте, всѣ столичные носы, которымъ вздумается въ этотъ вечеръ высунуться на воздухъ, всѣ носы безъ исключенія, начиная съ греческаго носа, которымъ такъ справедливо гордится грантъ, и кончая крупнымъ носомъ лавочника—всѣ почувствуютъ въ равной степени холодъ! Никакъ не менѣе двадцати градусовъ! А говорятъ еще, что въ Петербургѣ теплѣе, чѣмъ въ другихъ сѣверныхъ столицахъ! Хорошо и здѣсь: вы чувствуете на лицѣ что-то похожее на остріе бритвы: такъ и рѣжетъ! брррр!! Къ этому, впрочемъ, надо сказать, сильнѣйшимъ образомъ способствуетъ вѣтеръ. Онъ дѣйствительно принадлежалъ къ числу тѣхъ всемогущихъ, свойственныхъ одному только Петербургу вѣтровъ, который, если стать на перекресткѣ, хоть, напримѣръ, у „Пяти угловъ“, будетъ дуть на васъ со всевозможныхъ концовъ свѣта въ одно и то же время, и, что всего замѣчательнѣе, будетъ дуть непремѣнно до тѣхъ поръ, пока не наградитъ васъ жабой; не говорю о флюсѣ: это само собою разумѣется. Таково ужъ, видно, свойство этого вѣтра.

Все идетъ, однакожъ, своимъ обычнымъ порядкомъ. Сигналомъ городского пробужденія были, какъ и всегда, фонарщики; закутавшись съ головы до ногъ рогожей, придерживая одной рукой складную лѣстницу, другой рукой фонарь, они неожиданно, какъ привидѣнье въ театрѣ, явились на всѣхъ углахъ и тотчасъ же принялись за свое дѣло. Сквозь мракъ, окончательно сгустѣвшій, мелькнули сначала рѣдкіе огоньки, потомъ, какъ бы перескакивая съ мѣста на мѣсто, они разбѣгались по всѣмъ направленіямъ, и наконецъ стали вытягиваться стройными, сверкающими линіями. Казалось издали, какъ-будто исполинская, невидимая рука торопливо

водила огненнымъ перомъ, спѣша обозначить планъ огромнаго города... Нижнія части домовъ поминутно выступали изъ мрака; длинныя волнующіяся тѣни бѣгали по освѣщеннымъ стѣнамъ и, выростая наравнѣ съ кровлями, чуть ли не досягали до краснаго зарева, все шире и шире распространявшагося надъ столицей. Человѣкъ, незнакомый съ Петербургомъ и подъѣзжающій къ нему въ эту минуту, легко могъ подумать, что городъ въ опасности и пылаетъ со всѣхъ концовъ; зарево виднѣлось въ десяти верстахъ: то былъ, однакожъ, отблескъ нѣсколькихъ сотенъ газовыхъ фонарей, которыми каждый вечеръ убирается Невскій проспектъ. Городъ свѣтлѣлъ и оживалъ съ каждою секундой. Толпы народа шумно высыпали на тротуары; экипажи съ своими фонарями, похожими на два глаза, стремительно неслись съ Литейной, Морскихъ, Садовой и проч. и проч. Вскорѣ въ улицахъ стало тѣсно, городской шумъ дѣлался слышнѣе и слышнѣе; можно было думать, что постепенно, одну за другой, отворяли шлюзы исполинской плотины.

Впрочемъ, въ этотъ вечеръ все необходимо должно было шумѣть и волноваться болѣе обыкновеннаго; вечеръ этотъ былъ, безспорно, самый замѣчательный изъ числа трехсотъ-шестидесяти, потому что имъ оканчивался протекшій годъ. Въ ознаменованіе такого важнаго событія, въ каждомъ почти окнѣ, даже самыхъ верхнихъ этажей, горѣли двѣ свѣчки. Но праздничный видъ обывательскихъ оконъ ничего не значитъ передъ окнами магазиновъ; блескъ ихъ ослѣплялъ глаза. Каждое окно въ этотъ достопамятный вечеръ представлялось чѣмъ-то въ родѣ маленькой лондонской выставки; газовое пламя повторялось на серебряныхъ сервизахъ, скользило по фарфору, пронизывало граненый хрусталь играло на золотыхъ и бронзовыхъ издѣліяхъ, освѣщало дорогія ткани, платья, чепцы, шляпки, ленты, дробилось въ стеклянныхъ вазахъ, наполненныхъ драже и конфектами, и ярко выставляло на-показъ безчисленныя бонбоньерки самыхъ затѣйливыхъ формъ, и ужь, конечно, самыхъ недоступныхъ цѣнъ. При видѣ такихъ сокровищъ, деньги сами собою приходили въ движеніе и перевертывались въ карманѣ то копьемъ, то рѣшеткой. Праздничный видъ улицъ привлекалъ на тротуаръ почти все народонаселеніе; мелкіе торгаши, пользуясь освѣщеніемъ изъ оконъ, привлекали въ свою очередь народъ, выставляя на показъ лотки съ яблоками, орѣхами и другими лакомствами. Толпа видимо прибывала. Лица, не имѣвшія ровно никакой надобности выходить за

ворота, даже тѣ, которыя, по разсѣянности, забыли припасти къ зимѣ теплую одежду, и тѣ покидали свои жилища. Толпы мальчишекъ въ пестрядинныхъ халатахъ заграждали дорогу; равнодушные къ холоду (было, однакожъ, какъ я вамъ сказывалъ, двадцать градусовъ мороза), равнодушные къ холоду, они стояли какъ околдованные передъ магазинными окнами. Улицы превращались въ великолѣпное гулянье, чему не мало содѣйствовали экипажи, летѣвшіе по всѣмъ направленіямъ и поминутно подкатывавшіе къ тротуарамъ. Изъ экипажей ловко выпрыгивали дамы въ чернобурыхъ лисицахъ и господа въ бобрахъ и собольихъ шубахъ; нѣсколько секундъ пробирались они между рядами пальто, халатовъ, шинелей, шляпокъ и лицъ сомнительной свѣжести, потомъ входили въ магазины и присоединялись къ другимъ господамъ въ бобрахъ и соболяхъ. Въ толпѣ, гулявшей на тротуарѣ, обнаруживалось тогда еще больше движенія; все жалось и тискалось другъ на дружку, стараясь разсмотрѣть, какъ господа въ бобрахъ и дамы въ чернобурыхъ мѣхахъ выкладывали на конторки бумажники, снабжали лакеевъ покупками, выходили изъ магазиновъ и снова улетали въ своихъ экипажахъ, чтобъ дать мѣсто другимъ каретамъ, другимъ покупателямъ. Радость и довольство сіяли, однакожъ, на всѣхъ лицахъ, какъ на тѣхъ, которыя багровѣли отъ жара внутри магазиновъ, такъ и на тѣхъ, у которыхъ бѣлѣли отъ холода носъ и щеки. Новый годъ! Черезъ пять-шесть часовъ наступитъ новый годъ!.. Хоть новость эта рѣшительно не объясняетъ причину всеобщей радости, но фактъ тотъ, однакожъ, что всѣ лица безъ исключенія казались очень довольны.

При всемъ томъ, справедливость требуетъ замѣтить, что во всей этой толпѣ, гулявшей по Петербургу, самыя веселыя лица, безъ различія сословій и состояній, принадлежали все-таки тѣмъ смертнымъ, которые имѣли счастіе называться отцами семействъ, мужьями, крестными отцами, дѣдушками и влюбленными.

Не мѣшаетъ сказать: въ Петербургѣ, равно какъ и въ другихъ городахъ Европы, существуютъ двѣ знаменитыя эпохи въ году, когда наступаетъ рѣшительное торжество для вышеупомянутыхъ особъ; эпохи эти: Новый годъ и Свѣтлое Христово Воскресенье. За недѣлю до этихъ праздниковъ, Петербургъ перестаетъ ужь быть Петербургомъ, и вдругъ, какъ бы по мановенію волшебнаго жезла, превращается въ Аркадію: жены дѣлаются необычайно любезными и начинаютъ ухаживать за мужьями; дѣти начинаютъ отлично учиться;

дяди, дѣдушки и крестные отцы встрѣчаютъ полные баллы въ школьныхъ рапортичкахъ племянниковъ и внучковъ; влюбленные и ухаживатели всякаго рода, терявшіе надежду на счастіе впродолженіе цѣлыхъ шести-семи мѣсяцевъ, теряютъ теперь голову отъ избытка надеждъ и радостей; словомъ, въ эти блаженные дни идетъ непрерывный обмѣнъ улыбокъ, привѣтливыхъ рѣчей, обворожительныхъ billets doux, заманчивыхъ взглядовъ, трогательныхъ пожатій рукъ, сладко звучащихъ поцѣлуевъ, такъ что вчужѣ беретъ зависть! Самые слуги, кучера, кухарки и дворники дѣлаются вдругъ учтивыми, обнаруживаютъ просвѣщеніе и поражаютъ политичностью тончайшаго свойства; просто золотой вѣкъ! И вотъ всѣ эти отцы, мужья и влюбленные, не зная, чѣмъ бы лучше выразить свою признательность, бѣгаютъ какъ угорѣлые по всѣмъ магазинамъ, покупаютъ платья, шали, дорогую мебель, брилліанты, кареты, шляпки, конфекты, даже дома и орловскихъ рысаковъ. Большинство человѣческаго общества состоитъ изъ отцовъ, дѣдовъ, дѣтей, дядей и влюбленныхъ, и вотъ почему, благодаря яркому освѣщенію, намъ попадаются однѣ только радостныя физіономіи; казалось, каждый несъ въ карманѣ вѣрную росписку въ томъ, что новый наступающій годъ будетъ для него несравненно счастливѣе протекшаго. Да, веселье было на всѣхъ лицахъ безъ исключенія! Веселье проникало всюду: оно разгуливало вмѣстѣ съ вѣтромъ по всѣмъ перекресткамъ и улицамъ, заглядывало подъ каждыя ворота, взбиралось по всѣмъ лѣстницамъ, навѣдывалось во всѣ этажи, въ подвалы, на чердаки; распространялось по всѣмъ городскимъ частямъ и кварталамъ, словомъ, всюду, гдѣ только знали о приближеніи новаго года; а гдѣ-жъ этого не знали?

Что говорить! Въ многочисленной семьѣ петербургскихъ улицъ (семья, вы знаете, не безъ урода) могли, конечно, существовать (и вѣрно существовали) такіе отдаленные, глухіе переулки, гдѣ трудно сыскать малѣйшій признакъ торжества; могли найтись улицы, въ которыхъ приближеніе новаго года ничѣмъ не обозначалось, если не считать плошекъ, выставленныхъ хозяевами мелочныхъ лавочекъ, и тотчасъ же, впрочемъ, погашенныхъ вѣтромъ; но о такихъ захолустьяхъ говорить не стоитъ послѣ Невскаго проспекта. Ну, что въ самомъ дѣлѣ хорошаго въ этихъ далекихъ переулкахъ, куда шумъ заселенной части столицы едва-едва доходитъ чуть внятнымъ гуломъ; гдѣ едва слышатся радостныя восклицанія гуляющей

толпы и трескъ экипажей; гдѣ все безмолвствуетъ, кромѣ вѣтра, который украдкою, какъ воришка, пробирается вдоль заборовъ, раскачиваетъ одинокіе беззащитные фонари и сметаетъ мелкій снѣгъ съ кровель низенькихъ деревенскихъ домиковъ? Куда ни взглянешь— пустырь да пустырь! Дома то и дѣло прерываются заборами, такъ что заборовъ больше, чѣмъ домовъ: домъ, потомъ заборъ; опять домъ и опять заборъ; а тамъ, далеко, какъ словно на другомъ концѣ свѣта, мелькаетъ огонекъ будки. Рѣшительно никакого развлеченія ни для ума, ни для глаза! Изрѣдка, развѣ, пробѣжитъ, поджавъ хвостъ и обнюхивая васъ, жалкая собаченка, потерявшая своего хозяина. Цѣшеходы попадаются рѣдко, а если и попадаются, то все какіе-то несообщительные: запрячетъ руки въ карманъ, уйдетъ съ головою въ воротникъ (хорошо еще, если есть воротникъ); нѣтъ, чтобъ сказать вамъ привѣтливое слово; не освѣдомится даже о вашемъ имени и отчествѣ, что, какъ извѣстно, исполняется въ этотъ вечеръ новаго года всѣми людьми, мало-мальски знакомыми съ приличіемъ и общежитіемъ. Но даже и такіе прохожіе рѣдки.

Позвольте... вотъ снова скрипятъ чьи-то шаги за угломъ, снова кто-то приближается. Перейдемъ на другую сторону тротуара. Вѣрно опять какой нибудь забулдыга? Точно. Вотъ приближается онъ къ фонарю. Онъ не одинъ, однакожъ; съ нимъ мальчикъ. Жалкія фигуры!

Мальчику лѣтъ семь, не больше; продолговатое лицо мальчика миловидно, но въ настоящую минуту безъ всякой пріятности: ни улыбки, ни живого веселаго взгляда, свойственнаго дѣтскому возрасту; одѣтъ онъ, правда, плохо; но неужели такое ничтожное обстоятельство въ силѣ ужь на него дѣйствовать? И то надо сказать, впрочемъ, въ этомъ переулкѣ вѣтеръ, не заслоненный высокими домами и толпою, свирѣпѣетъ безъ милосердія! Холодно, ухъ какъ холодно! Спутникъ мальчика тоже, кажется, не можетъ похвастать гардеробомъ: по всему видно, онъ въ тонкихъ, какъ говорится. Но это собственно ничего; главная причина неудовольствія, отпечатаннаго на лицѣ его, заключается, кажется, въ томъ, что мальчикъ дрожитъ отъ стужи и грозитъ превратиться въ ледяную сосульку. Можетъ такъ, а можетъ и иначе. Во всякомъ случаѣ, человѣкъ въ тонкихъ снялъ съ себя какое-то подобіе шерстяного шарфа, служившее галстукомъ, и плотно обвернулъ имъ шею

мальчика, который во все время, какъ продолжалась эта церемонія, перескакивалъ съ ноги на ногу и дулъ въ маленькіе кулаки свои. Освободивъ себя отъ шарфа, спутникъ мальчика остался въ ветхомъ пальто, такихъ же панталонахъ и картузѣ, изъ-подъ котораго выбивались въ безпорядкѣ длинныя пряди кудрявыхъ, черныхъ, какъ смоль, волосъ.

Тусклый блескъ фонаря даетъ намъ возможность разсмотрѣть лицо его; оно отвѣчаетъ, какъ нельзя лучше, одеждѣ: также изношено и жалко, хотя нѣсколько помоложе платья. Понятно, что съ такимъ костюмомъ и наружностью не слѣдовало показываться на Невскомъ проспектѣ, не говорю отъ двухъ до четырехъ часовъ, но даже въ настоящую пору. Если прибавить, что человѣкъ въ тонкихъ сильнѣйшимъ образомъ хромалъ на одну ногу и носилъ сапоги, имѣвшіе такой видъ, какъ-будто нѣсколько разъ обошли вокругъ свѣта, всякій согласится, что поступалъ онъ даже благоразумно, удаляясь отъ Невскаго проспекта.

И въ самомъ дѣлѣ, какая была ему надобность идти на Невскій? Принимая въ соображеніе жалкій видъ пальто и сапогъ, трудно было предположить, чтобъ владѣтель ихъ имѣлъ возможность зайдти въ англійскій магазинъ и купить японскую вазу, или подняться къ Балю и купить фунтъ конфектъ à la Montpensier для своего спутника. Что-жь касается до того, чтобъ раздѣлять всеобщую радость, потискаться въ толпѣ, поглазѣть на окна магазиновъ, ему также, кажется, не до того было: онъ оставался повидимому совершенно равнодушнымъ къ приближающемуся новому году. Такъ по крайней мѣрѣ говорило блѣдное лицо его, освѣщенное фонаремъ; оно служило, сверхъ того, несомнѣннымъ доказательствомъ, что въ душѣ человѣка въ тонкихъ не находилось даже надежды на то, что новый приближающійся годъ будетъ для него счастливѣе протекшаго года.

II.

ЯША ЖИЛЕТНИКОВЪ.

Было время, мой почтенный читатель, этому не очень давно, когда покрой пальто, фасонъ шляпы, цвѣтъ перчатокъ и блескъ

самомъ имѣли для меня огромное значеніе въ моей публичной жизни. Публичная жизнь моя, нужно вамъ сказать, заключается въ томъ, что я гуляю отъ двухъ до четырехъ часовъ по-полудни каждый день по Невскому проспекту. Не правда ли, такое мелочное чувство недостойно человѣка, имѣющаго нѣкоторое притязаніе на званіе человѣка образованнаго и просвѣщеннаго? Я совершенно съ вами согласенъ. Мало этого: я дошелъ теперь, слава Богу, до того, что мысленно начинаю презирать людей, которые, увидя на улицѣ пріятеля или родственника въ порыжѣвшей шляпѣ, кидаются въ ближайшій магазинъ, чтобъ избѣжать случая пожать ему руку. При всемъ томъ чувствую, что далеко еще не исправился. Такъ, напримѣръ, гуляя по отдаленнымъ переулкамъ Петербурга, даже по Гороховой, Вознесенской, Садовой и прочимъ, я вполнѣ еще владѣю собою: мнѣ въ голову не приходитъ поглядѣть, все ли въ порядкѣ на плечахъ встрѣтившагося пріятеля; но странное дѣло! стоитъ только попасть на Невскій, особенно на солнечную, фешьонебельную сторону,—убѣжденія мои исчезаютъ какъ дымъ; чувство пошлаго, ложнаго стыда овладѣваетъ тотчасъ же слабымъ существомъ моимъ; я готовъ лучш епровалиться сквозь землю, чѣмъ пройдтись рука объ руку съ знакомымъ, у котораго на рукахъ перчатки съ завиточками на концѣ пальцевъ, горбъ на спинѣ, или другой какой-нибудь недугъ, рѣзко бросающійся въ глаза. Знаю, меня нисколько не оправдываетъ множество друзей и пріятелей, которые раздѣляютъ мою слабость—очень хорошо знаю! Но что жъ прикажете дѣлать! странными, непостижимо-странными движеньями подвержена душа человѣческая! Но странная также, неизвѣданная пока еще, тайна заключается, должно быть, и подъ плитами этого тротуара солнечной стороны, тротуара, имѣющаго свойство превращать походку человѣка, его лицо, чувства, образъ мыслей, точку зрѣнія и даже убѣжденія! Какъ видите, я далеко еще не исправился; время отъ времени, все еще нападаютъ на меня самыя непохвальныя, франтовскія какія-то полосы. Такъ, напримѣръ, мнѣ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, дѣлается совѣстно поѣхать на ванькѣ (а между тѣмъ у меня никогда не было кареты; нечего даже и надѣяться; никогда и не будетъ); лицо мое вдругъ принимаетъ тогда выраженіе какой-то комической важности; самодовольство проглядываетъ въ каждомъ моемъ движеніи; сердце, это доброе, впечатлительное сердце, неожиданно охладѣваетъ къ лучшимъ друзьямъ, не имѣющимъ собственнаго экипажа; я измѣняю

даже тогда старинному портному своему, скрывающемуся подъ скромной фирмой: Au pauvre diable, и мысленно даю себѣ слово заказывать платье у столь прославленнаго Шармера, и проч. и проч. Въ такіе несчастные дни я за себя не ручаюсь: я чувствую, что откажусь отъ лучшаго друга, даже въ глухомъ переулкѣ. За доказательствами идти недалеко: мнѣ хотѣлось разсказать вамъ исторію одного старинаго моего пріятеля (съ этою цѣлью принялся я собственно нынѣче за перо), и что-жь? Одна мысль, что знакомый мой принадлежитъ къ сословію оборванцевъ, носитъ картузъ и не только не носитъ голландскаго бѣлья, но даже не имѣетъ манишки, смутила меня совершенно; я запнулся, замялся на первомъ же словѣ. Вмѣсто того, чтобъ прямо, откровенно приступить къ дѣлу, я началъ чуть ли не съ заката солнца, ни дать ни взять, какъ одинъ мужичекъ расиновской комедіи: Les Plaideurs, который начинаетъ съ сотворенія міра, разсказывая о пропажѣ пѣтуха; я водилъ васъ по петербургскимъ улицамъ, приплелъ, ни къ селу ни къ городу, сумерки, показалъ вамъ героя моего сначала подъ фонаремъ, словомъ: изловчался всѣми возможными способами, и все это для того только, чтобъ не сказать вамъ чистосердечно, что въ числѣ моихъ пріятелей находится одинъ оборванный!

Но раскаяваться, говорятъ, никогда не поздно. Основываясь на этомъ, скажу вамъ безъ обиняковъ, что человѣкъ въ тонкихъ, встрѣтившійся намъ въ переулкѣ, пользуется давнишней моей дружбой; я не остановлюсь на такой хорошей дорогѣ и тутъ же объявлю, что онъ никто иной, какъ гаеръ Яша Жилетниковъ!

Но, можетъ быть, не совсѣмъ хорошо извѣстно прямое значеніе слова гаеръ. Въ провинціи, напримѣръ, о гаерахъ знаютъ только по наслышкѣ.

Подъ именемъ гаера, изволите ли видѣть, разумѣютъ смертныхъ обоего пола, которые, по мѣткому простонародному выраженію, ломаются въ балаганахъ на Святой и на Масляной; а въ остальное время года добываютъ насущный хлѣбъ, посѣщая дворы большихъ домовъ, и, при содѣйствіи бубенъ и шарманки, кувыркаются черезъ стулья, ходятъ вверхъ ногами, прыгаютъ лягушкой, пригибаютъ затылокъ къ пяткамъ, и прочее, и прочее.

Гаеры, надо правду сказать, народъ вообще незажиточный; капиталистовъ насчитываютъ между ними весьма мало. Несомнѣнно,

однакожъ, что изъ большого числа злополучныхъ смертныхъ, принадлежащихъ къ гаёрскому сословію, самый злополучный былъ пріятель мой Яша Жилетниковъ.

Жилетниковъ, прошу замѣтить, не фамилія; фамилія Яши затеривается въ мракѣ неизвѣстности; я сомнѣваюсь даже, была ли у него когда-нибудь фамилія. Жилетниковъ — прозвище. Подобно большей части своихъ собратовъ, Яша началъ свое поприще не на подмосткахъ балагана, хотя имѣлъ бы на то полное право, но на подмосткахъ, или на нарахъ портняжнаго заведенія, гдѣ, нѣсколько лѣтъ сряду, сидѣлъ, поджавъ подъ себя ноги, на турецкій манеръ; а такъ какъ курсъ его ученья начался и ограничился шитьемъ однихъ жилетовъ, дальше онъ не пошелъ, его и прозвали Жилетниковымъ.

Я не принадлежу къ тѣмъ людямъ, которые страстно любятъ пускаться въ ученыя изслѣдованія и рѣшаютъ труднѣйшія задачи, хотя сами не твердо еще увѣрены въ разницѣ между магнетизеромъ и импровизаторомъ, часто смѣшиваютъ слово псевдонимъ съ анахронизмомъ, придаютъ ученое значеніе слову Шехеразада, и если впродолженіе вечера разъ произнесутъ слова эксцентризмъ или субъектъ, то думаютъ, что сказали Богъ вѣсть какую мудрость; нѣтъ, я не принадлежу къ такимъ мудрецамъ, и потому не берусь рѣшить причины, заставившей Яшу Жилетникова промѣнять блестящую карьеру портного на шаткое гаерское поприще.

Разумѣется, если смотрѣть съ философской точки зрѣнія, послѣднее ремесло ничуть не хуже перваго; съ этой точки гаерство можетъ даже казаться выгоднымъ: давно ужъ, вѣдь, доказано, что гибкость — великое дѣло! Я увѣренъ, однакожъ, что Яша былъ далекъ отъ подобнаго воззрѣнія; практическая, чисто матеріальная сторона гаерскаго ремесла тоже не занимала его мысли; съ этой точки ремесло гаера ровно никуда негодится!

Хорошо, когда природа, всегда щедрая въ дарахъ своихъ, снабдитъ геркулесовской силой, крѣпкими ногами, которыя не знаютъ усталости; толстою кожей, которая не чувствуетъ холода подъ трико тѣлесно-кирпичнаго цвѣта, и такими здоровыми костями, что если случится шлепнуться со всего маха на мостовую послѣ неудачнаго salto-mortale, то стоитъ только крякнуть да отряхнуться, чтобъ избавиться отъ контузіи. Но что, если природа отниметъ физическіе

дары свои? что, если снабдить узенькою чахоточною грудью, тощими членами? Тогда что?.. И тогда, вирочемъ, ничего не произойдетъ особеннаго; точно также пойдетъ все своимъ чередомъ; надо же какъ-нибудь существовать и съ тощей грудью! Живой примѣръ этого видимъ въ Яшѣ Жилетниковѣ.

При всемъ томъ, Яша никогда не роптalъ на судьбу свою; мало того, хотя иногда не подъ силу было держать на носу стулъ съ сидѣвшимъ на немъ мальчикомъ (тѣмъ самымъ, котораго видѣли мы въ переулкѣ); болѣзненно напрягались тощіе мускулы и дрожали локти, когда приводилось ходить на рукахъ, но публика встрѣчала всегда улыбку на лицѣ Яши Жилетникова. Яша гордился этой улыбкой. Съ однимъ только не могъ онъ никакъ справиться; не будь этого; онъ жилъ бы поживалъ припѣваючи: Яша страшно былъ зябокъ отъ природы; холодъ сокрушалъ его совершенно; стоило появиться десятиградусному морозу, добродушная улыбка мгновенно исчезала съ лица Яши; самое лицо его какъ-будто измѣнялось тогда: скорчивалось, синѣло, зубы начинали щелкать, словомъ: онъ не походилъ на самого себя.

Такая слабость, простительная всякому другому, вовсе не шла, однакожъ, къ человѣку, прямая обязанность котораго заставляла, такъ сказать, красоваться въ трико во всякое время года. Говоря откровенно, тутъ все-таки не могло бы еще быть большой бѣды: мало ли на свѣтѣ благодѣтельныхъ средствъ для предохраненія себя отъ стужи: коньякъ, напримѣръ, согрѣваетъ очень хорошо внутренность; другіе пьютъ ромъ или водку; третьи предпочитаютъ всему пѣнное; но горе въ томъ, что Яша не бралъ въ ротъ ни того, ни другого, ни третьяго; вообще говоря, Яша былъ человѣкъ трезвый, кроткій, смирный. Онъ былъ я вамъ скажу, честный человѣкъ; меня не увлекаетъ пріязнь, я говорю сущую правду. За годъ до настоящаго времени онъ нашелъ, идучи разъ переулкомъ, бумажникъ; въ бумажникѣ находились деньги, и что-жъ? Яша представилъ все въ цѣлости въ полицію, о чемъ было даже напечатано своевременно въ газетахъ. Но о дѣлахъ зрѣлаго возраста послѣ; возвратимся къ дѣтству.

Семи лѣтъ отъ роду, Яша остался круглымъ сиротою; родства большого не было; была одна только мать, да и та торговала яблоками да гнилыми апельсинами на Вознесенскомъ мосту. Наслѣдство,

какъ можете себѣ представить, осталось небольшое: всего, кажется, одна пара затасканныхъ башмаковъ, головной платокъ въ клѣткахъ и дырахъ; платье, пережившее ужь нѣсколькихъ владѣлицъ и купленное первой владѣлицей на Толкучемъ рынкѣ; еще остался лотокъ съ початой дюжиной гнилыхъ апельсиновъ. Трудно рѣшить, что сталось бы съ бѣднымъ мальчикомъ послѣ того, какъ съѣдены были апельсины, еслибъ не явился вдругъ благодѣтель-дворникъ сосѣдняго дома. Петербургскіе дворники пользуются вообще обширнымъ кругомъ знакомства; многіе пользуются даже кредитомъ въ мелочныхъ лавкахъ.

Дворникъ взялъ сироту подъ свое покровительство; и не прошло недѣли послѣ похоронъ яблочной торговки, какъ ужь Яша грѣлъ утюги у портного мастера; то-то было ему тепло тогда!—Но—увы! его вскорѣ оторвали отъ печки и засадили за работу. Портняжное ремесло не далось Яшѣ: онъ былъ къ нему какъ-то, видно, не сроденъ; дойдя до жилета, Яша сталъ въ тупикъ, какъ становятся въ тупикъ нѣкоторые воспитанники, когда дѣло доходитъ до дифференціальнаго вычисленія. Фракъ, пальто, панталоны — все это было также недоступно иголкѣ маленькаго Яши, какъ недоступна квадратура круга уму математиковъ. Яша не увлекался, сднакожъ, примѣромъ товарищей; прогулки по Крестовскому, куреніе табаку, кедровые орѣхи, кутежъ — все это для него не существовало; тогда ужь начиналъ мерещиться ему балаганъ, камзолы, шитые блестками, перья на головахъ дамъ, выѣзжающихъ на балконы балагановъ, люди, бѣгающіе на рукахъ и пляшущіе на канатѣ подъ тактъ турецкаго барабана, и прочее. Самъ онъ говорилъ мнѣ не разъ: „Какъ услышу, говоритъ, шарманку на дворѣ, такъ даже, повѣрите ли, инда поджилки задрожатъ!“ При видѣ гаера, выдѣлывающаго штуки на коврѣ, сердце Яши Жилетникова билось какъ птица, посаженная въ клѣтку. Наконецъ, онъ не выдержалъ: бросилъ жилеты и поступилъ въ труппу какого-то канатнаго плясуна и вмѣстѣ съ тѣмъ акробата. Что прикажете дѣлать съ призваніемъ!

Не стану утруждать васъ описаніемъ, какъ провелъ Яша первые годы пребыванія своего на новомъ мѣстѣ. То была жизнь, преисполненная самыхъ горькихъ испытаній; пересчитать всѣ неудачные скачки Яши, перечесть всѣ случаи, когда онъ могъ сломить шею, такъ же трудно, какъ перечесть числу шкаликовъ на петергофской

гаера), не успѣетъ выкормить одного ребенка, смотришь — ужь и другой въ началѣ! Ясно, что, при такихъ обстоятельствахъ, явились ей нѣкоторыя затрудненія участвовать въ живыхъ картинахъ; не шло какъ-то, знаете. Яша, съ своей стороны, не желая разлучиться съ женою, придумалъ слѣдующее: купить шарманку, купилъ на Апраксинѣ дворѣ старый коверъ и началъ обходить дворы, въ сопровожденіи жены и тестя; Маша играла на шарманкѣ, тесть вторилъ на кларнетѣ, Яша, между тѣмъ, кувыркался на коврѣ — и все шло какъ нельзя лучше; дѣлишки, право, шли очень недурно. Когда подросли дѣти (ихъ было ужь тогда четверо), они также приняли участіе въ представленіяхъ: четырехлѣтняя дочка плясала въ антрактахъ по-русски, шестилѣтній мальчикъ, тотъ самый, котораго видѣли мы въ переулкѣ, ловко ужь взбѣгалъ на голову отцу и даже удачно держался на рукахъ безъ помощи родителя. Но счастье скоротечно. Одинъ шагъ, одно неловкое движеніе, одинъ неудачный прыжокъ—и все пошло прахомъ! Въ одно осеннее, пасмурное утро, Яша Жилетниковъ сломалъ себѣ ногу. Это случилось мѣсяца за три до начала нашего разсказа. Жена его на ту пору была беременна нѣсколькими мѣсяцами. Вернувшись изъ больницы, Яша засталъ страшную тѣсноту въ семействѣ; семейство сѣло на мель, какъ говорится. Жена лежала больная въ постели. Все поддерживалось пока однимъ старикомъ, который добывалъ кое-что, играя на кларнетѣ подъ окнами. Помощь, можете себѣ представить, была незначительная. Нельзя было, никакъ нельзя оставаться въ настоящемъ положеніи. Яшѣ слѣдовало рѣшиться на какое-нибудь предпріятіе, потому что показывать акробатическія штуки съ хромою ногою дѣло положительно невозможное. Случай опять-таки выручилъ Яшу. Выручка заключалась въ томъ, что Яша познакомился съ баньщикомъ, который въ ту пору крайне нуждался въ качальщикахъ. Качальщиками называются люди, которые накачиваютъ въ баняхъ воду. Крайность миновала, но дѣла шли все-таки худо.

Новорожденный (въ самое это время родила Маша), новорожденный окончательно спуталъ всѣ обстоятельства; въ два дня какихъ-нибудь, онъ поглотилъ всѣ деньги, предназначенныя за наемъ квартиры. Доведенный до мата, Яша отправился тогда вмѣстѣ съ старшимъ своимъ мальчикомъ къ знакомому баньщику просить впередъ денегъ. Мы застали его въ ту минуту, когда онъ возвращался отъ баньщика.

Зная хорошо обстоятельства Яши Жилетникова, я могу утвердительно сказать, что въ эту минуту онъ былъ близокъ къ отчаянію. Баньщикъ отказалъ на-отрѣзъ. Не думайте, чтобъ я сталъ осуждать баньщика — совсѣмъ напротивъ. Баньщикъ былъ въ своемъ правѣ; скажу болѣе: онъ былъ совершенно правъ, отказавъ Яшѣ въ деньгахъ.

Жилетниковъ забралъ у него впередъ болѣе цѣлковаго; а цѣлковый, сами знаете, много значитъ для оборотливаго человѣка. Здѣсь цѣлковый, тутъ цѣлковый, тамъ цѣлковый — смотришь — три цѣлковыхъ; три да три составляетъ шесть, шесть да шесть — двѣнадцать, этакъ дойдешь, пожалуй, и до тысячи! Нѣтъ; надо соблюдать счетъ. Мѣсяцъ тому назадъ, вышелъ такой же точно случай: баньщикъ тоже отказалъ Яшѣ. Яша обратился ко мнѣ съ жалобой. „Нѣтъ, Яковъ Петровичъ“, сказалъ я ему: — „говоришь ты не такъ, какъ слѣдуетъ. Ты сколько получаешь въ мѣсяцъ?.. Четыре цѣлковыхъ! Хорошо; ну, такъ соблюдай экономію, своди свои счеты — вотъ и все тутъ; баньщика винить нечего, пеняй на себя!“ Такъ нѣтъ же, поди, не послушалъ! Попадетъ полтинникъ, чѣмъ бы приберечь его, смотришь, купилъ женѣ платочекъ, либо башмаки, да ребятишкамъ по пряничку! То-то молодость! Разсудка своего не имѣетъ, какъ говорилъ одинъ практическій философъ, также изъ моихъ знакомыхъ.

Но прекратимъ всѣ эти размышленія и послѣдуемъ лучше за Яшей и его мальчикомъ.

Не знаю, какъ вамъ, мой читатель, но мнѣ смерть хочется узнать, чѣмъ кончится для Яши Жилетникова вечеръ новаго года. Я теряюсь въ догадкахъ, и не постигаю, на что онъ рѣшится въ стѣсненныхъ своихъ обстоятельствахъ. Такъ вѣдь нельзя, согласитесь сами, надо же на что-нибудь рѣшиться...

III.

ВСТРѢЧА. — ТАИНСТВЕННЫЙ РАЗГОВОРЪ.

Зная теперь зябкія свойства Яши Жилетникова, сами можете себѣ представить, какой страшный холодъ долженъ онъ былъ чув-

ствовать, когда, снявъ съ себя шерстяной шарфъ, единственный, можно сказать, грѣющій предметъ гардероба, остался въ одномъ пальто, картузѣ и панталонахъ. Если изъ памяти мальчика изгладится когда-нибудь это обстоятельство, онъ не достоинъ будетъ названія человѣка; мы смѣло назовемъ его тогда неблагороднымъ животнымъ.

Запрятавъ голую шею въ поднятый воротникъ пальто (Боже, какой воротникъ! безъ признака какой бы то ни было шерстинки), скорчившись подъ одеждой, какъ сухая горошина въ сухомъ стручкѣ, Яша продолжалъ путь. Вѣтеръ завывалъ, какъ собака, озлобленная голодомъ, и какъ собака кусалъ за икры всѣхъ тѣхъ, у кого были такіе же ненадежные сапоги и панталоны, какъ у Яши Жилетникова. Подъ-конецъ Яша предоставилъ даже ноги на произволъ судьбы и занялся исключительно руками: слѣдовало по крайней мѣрѣ хоть ихъ предохранить отъ горькой участи; онъ прибѣгнулъ къ давно извѣстному способу: засунувъ кисть правой руки глубоко за пазуху и давъ ей согрѣться, онъ вынималъ ее на морозъ и поспѣшно пряталъ на ея мѣсто кисть лѣвой руки; этимъ простымъ способомъ все-таки наблюдалось нѣкоторое равновѣсіе, на долю каждой руки выпадало одинаковое число пріятныхъ ощущеній. Мальчикъ, между тѣмъ, бѣжалъ подлѣ въ припрыжку. Съ каждымъ порывомъ вѣтра ребенокъ прижимался къ отцу, сдавливалъ себя локтями и пищалъ, какъ-будто въ него впивались иголки.

Яша торопливо вынималъ изъ-за пазухи кисть руки, наслаждавшуюся тепломъ, и принимался тогда ощупывать ребенку носъ и руки.

— Говорилъ, не ходи! произносилъ сквозь зубы отецъ, но безъ всякаго, однакожъ, сердца или раздраженія: — говорилъ, зазябнешь, такъ нѣтъ же, вотъ, ввязался, пошелъ! „Нѣтъ, тятенька, не боюсь холода!“ подхватилъ Яша, передразнивая ребенка и становясь спиною къ вѣтру, съ цѣлью защищать сына: — вотъ тебѣ и „не боюсь!“ — Эхъ, такъ и жжетъ анаѳемской, бррр... буу-о! заключилъ Яша, снова запрятывая шею и ускоряя шагъ.

Такимъ порядкомъ добрались они до угла сосѣдняго переулка. Тутъ Яша неожиданно остановился.

— Вотъ-те на!.. какъ скоро! воскликнулъ онъ, откидываясь назадъ и увлекая за собою сынишку.

Переулокъ представлялъ, въ самомъ дѣлѣ, поразительную картину; было чему удивляться. Говоря относительно, тутъ было больше шума, блеска и движенія, чѣмъ даже на Невскомъ проспектѣ. Само собою разумѣется, что переулокъ торжествовалъ, благодаря мелочной лавочкѣ. Не будь лавочки, онъ скрывался бы до сихъ поръ въ невѣжественномъ мракѣ и новый годъ прошелъ бы для него незамѣтно. Я всегда горою стоялъ за мелочныя лавочки.

Лавочки то же, что маленькія столицы въ большой столицѣ, маленькіе Петербурги въ большомъ Петербургѣ; вліяніе ихъ на глухіе закоулки такъ же важно, какъ вліяніе столицъ на отдаленныя губерніи.

За полчаса до появленія Яши, огни ни за что не хотѣли показываться въ переулкѣ, ни дать ни взять, какъ щепетильныя дамы, которыя ни подъ какимъ видомъ не явятся первыми на балъ. На томъ бы, вѣрно, и стало дѣло, еслибъ лавочникъ не поспѣшилъ вывѣсить лампы къ дверямъ лавочки; свѣтъ мгновенно распространился по переулку; но тутъ еще не все: вслѣдъ за лампою лавочникъ вынесъ еще пару плошекъ. Минуту спустя, на тротуарѣ передъ лавочкой появились уже гуляющіе. Лавочникъ оставался между тѣмъ у входа и гордо поглядывалъ на стороны. Онъ имѣлъ полное право гордиться даже въ томъ случаѣ, еслибъ не позаботился поддержать честь и славу своего переулка.

Лавочка, освѣщенная снаружи двумя плошками и лампою, представляла зрѣлище, не уступавшее въ великолѣпіи магазинамъ Невскаго проспекта; полагаю даже, вывѣска лавочки давала ей значительный перевѣсъ надъ послѣдними: она изображала двѣ сахарныя головы по бокамъ, золотую греческую чашу съ плодами по серединѣ, банку съ вареной брусникой въ перспективѣ, два лимона и кусочки пастилы, расположенные въ видѣ русской избы. Изъ окна, причудливо разрисованнаго снѣжными узорами, выглядывали яблоки, длинные вкусные хлѣбы, сальныя свѣчи, студень, исполинскія ватрушки, предназначавшіяся преимущественно жившимъ насупротивъ извощикамъ, пироги съ капустой и морковью, пачки нюхательнаго табаку, извѣстнаго подъ именемъ березинскаго и страстно любимаго будочниками, луковицы, снопы чубуковъ, гитара и проч. Отворенная дверь позволяла любоваться бочками съ солодомъ, мукою и огурцами, метлой, конторкой, блистающими мѣдными вѣсами и остро-

конечною головою прикащика, какъ бы сформированной по образцу тѣхъ сахарныхъ головъ, которыя возносились стройными рядами на задней стѣнѣ.

Въ ту минуту, какъ Яша Жилетниковъ остановился за угломъ, гулянье принимало обширнѣйшіе размѣры. Нельзя сказать, чтобъ публика была самая отборная, но нельзя опять-таки сказать и того, чтобъ она состояла исключительно изъ оборванныхъ подмастерьевъ и необразованныхъ водовозовъ; были по большей части все свои обыватели ближайшихъ домовъ; попадались смазливыя горничныя, отличавшіяся тонкимъ вкусомъ и обращеніемъ; лакеи всѣхъ возможныхъ родовъ, начиная съ надменнаго гайдука, завлеченнаго въ эти страны сердечною страстью, и кончая подслѣповатымъ нахмуреннымъ малымъ, возвращающимся изъ сосѣдней булочной съ десяткомъ сухарей; попадались зеленовидныя мѣщанки, проживавшія въ свое удовольствіе; ловкіе писаря, отрывавшіеся поминутно отъ своихъ дамъ, чтобъ юркнуть въ лавочку и возвратиться съ леденцами въ оберточной бумагѣ; виднѣлись кухарки, страстныя охотницы до цикорнаго кофе; слѣдомъ, ужь непремѣнно выступалъ кавалеръ съ выпуклою грудью, усами и тонкой фуражкой; были также и другія личности, достойныя вниманія; но тутъ, какъ и вездѣ, главную часть толпы составляли мальчишки, явившіеся при первомъ намекѣ на иллюминацію. Они молніею проносились по переулку и, какъ шаршавыя ночныя бабочки, кружась и вертясь, тискались подлѣ плошекъ. Во всемъ этомъ было дѣйствительно что-то праздничное, тѣшившее душу; какъ въ многолюдныхъ кварталахъ города, такъ и въ этомъ глухомъ захолустьи всѣ радовались приближенію новаго года. Веселый говоръ, шарканье, писк и хохотъ оглушали лавочника, который все еще продолжалъ гордо стоять подлѣ своей двери. Послѣднее обстоятельство именно и заставило Яшу стоять такъ долго за угломъ. Благодаря блистательной иллюминаціи, лавочнику ничего не стоило увидѣть Яшу въ толпѣ; ничего также не стоило ему взять его за шиворотъ, и онъ непремѣнно бы исполнилъ это, еслибъ Яша, позабывъ совѣты благоразумія, пустился по переулку. Жилетниковъ оставался долженъ лавочнику. Отправляясь къ банщику, онъ имѣлъ неосторожность завернуть къ лавочнику и обнадежить его, что нынче же вечеромъ выплатитъ долгъ. Лавочникъ могъ, слѣдовательно, схватить Яшу за шиворотъ, какъ человѣка невѣрнаго въ своемъ словѣ.

Страшно критическое положеніе! Съ одной стороны вѣтеръ, который уничтожалъ Жилетникова; съ другой стороны лавочникъ, который непремѣнно бы его уничтожилъ. Не приведи Богъ находиться когда-нибудь въ такихъ обстоятельствахъ! Судьба, эта судьба, не оставляющая насъ въ самыхъ крайнихъ случаяхъ жизни, опять-таки выручила Яшу. Онъ приходилъ ужь въ совершенное отчаяніе, какъ вдругъ вѣтеръ сорвался съ кровель, поднялъ съ мостовой міріады снѣжныхъ блестокъ, закружилъ ихъ въ воздухѣ, повернулъ за уголъ, ворвался, какъ бѣшеный, въ переулокъ и задулъ плошки, украшавшія входъ лавочки. Въ толпѣ гулявшихъ произошло страшное смятеніе, сопровождавшееся визгомъ мальчишекъ и возгласами дамъ, которымъ вихрь потревожилъ юбки.

Пользуясь случаемъ, Яша подхватилъ замерзавшаго мальчика и, прихрамывая, прискакивая, пустился безъ оглядки мимо лавочки. Минута—онъ былъ уже на противоположномъ углу и входилъ въ другой переулокъ. Оставалось теперь недалеко до квартиры; но если Яша ускорялъ шагъ, то дѣлалъ это единственно для ребенка. Не Богъ знаетъ какія радости ожидали его дома. Вечеръ новаго года не имѣлъ ничего привлекательнаго для Яши; онъ душевно желалъ, чтобъ его вовсе даже не существовало на свѣтѣ. Первое число января считается обыкновенно крайнимъ срокомъ уплаты долговъ; радуются тѣ только, у кого очищены счеты. Съ стѣсненнымъ сердцемъ, съ обледенѣлыми ногами, Яша приближался къ своему жилищу, когда до слуха его неожиданно долетѣли звуки кларнета, вылетавшіе вмѣстѣ съ вѣтромъ изъ сосѣдней улицы.

— Это дѣдушка! произнесъ мальчикъ, останавливаясь.

Не знаю; но вѣрно то, что звуки лучинушки, сопровождаемые самыми фантастическими переливами, дѣйствительно раздавались по окрестности. Хорошо было съ одной стороны, что звуки эти напоминали нѣкоторымъ образомъ извѣстныя нѣвучія двери Пульхеріи Ивановны и Аѳанасья Ивановича; басы выполняли, правда лучинушку, но тонкія ноты явственно вторили: „ай, батюшки, зябну!“

— Это дѣдушка! дѣдушка! повторилъ мальчикъ съ такимъ радостнымъ выраженіемъ, какъ словно на него пахнуло тепломъ изъ отдушника.

— Ступай домой: скажи матери: — сейчасъ-молъ приду, про-

изнесъ отецъ, поворачиваясь въ ту сторону, откуда слышалась лучинушка: — ступай же скорѣй... зазябъ вовсе, вишь руки-то какъ окоченѣли!...

— Ничего! нѣтъ, ничего... торопливо отвѣчалъ мальчикъ, похлопывая ладонями и припрыгивая: — ничего, право-слово ничего...

— Какой ничего; замерзъ, какъ есть...

— Ей-Богу ничего, пойдемъ къ дѣдушкѣ!

Дѣлать нечего, надо было чѣмъ-нибудь вознаградить ребенка за отсутствіе подарковъ и гостинцевъ, которыми вознаграждаютъ въ этотъ вечеръ другихъ дѣтей; къ тому же, на совѣсти отца лежала елка, которую онъ обѣщалъ къ Рождеству, и которой также не было. Яша молча взялъ сынишку за руку и пошелъ въ ту сторону, гдѣ заливался кларнетъ. Немного погодя, увидѣли они, при свѣтѣ фонаря, низенькаго старичка, который стоялъ передъ окномъ и, переминая ногами, игралъ на кларнетѣ. Окно, задернутое занавѣской, было сильно освѣщено изнутри; надо полагать, топилась въ комнатѣ печка; перебѣгающее пламя и человѣческія тѣни на занавѣскѣ поминутно обманывали старика; каждый разъ, какъ за окномъ обнаруживалось больше движенія, старикъ принимался выдѣлывать самые трудные пассажи; онъ не сомнѣвался, что сейчасъ отворится форточка и къ ногамъ его упадетъ гривенникъ, завернутый въ бумажку; но тѣни скрывались, и снова изъ кларнета слышалось еще сильнѣе прежняго: „ай, батюшки, зябну!“

— Дѣдушка! здравствуй, дѣдушка! неожиданно прокричалъ мальчикъ.

Неоконченная нота пискнула изъ кларнета, и старикъ обернулся; но не успѣлъ онъ опустить инструментъ, какъ внучекъ скрылся подъ полами его фризовой шинели.

— Эхъ, озорникъ какой! чуть съ ногъ не сшибъ! сказалъ старикъ, принимая наклонное положеніе, чтобъ дать больше мѣста подъ шинелью. — Э! да и ты здѣсь, Яша?... промолвилъ онъ, подымая голову.

— Здѣсь, батюшка...

— Ну что, голубчикъ, какъ!... благополучно ли? торопливо спросилъ старикъ.

— Ничего, батюшка... какъ есть, ничего! глухо отвѣчалъ Яша.

— Что ты?

— Напрасно только ходилъ.

— Эхъ, дѣло-то наше! Экая оказія право! Плохо. Яша, плохо, голубчикъ! проговорилъ старикъ, отдувая щеки, что дѣлалъ онъ поминутно, вѣроятно, по привычкѣ дуть въ кларнетъ: — эхъ, фу, фу-у! дѣло такое! стало, такъ ничего и не досталъ?

— Не даетъ; и того, говоритъ, много оченно забрано.

— Эхъ, фу-фу! промолвилъ тесть, запрятывая кларнетъ подъ шинель и не замѣчая второпяхъ, что прижалъ клапаномъ инструмента носъ внучку:—этакая оказія! подхватилъ онъ: —ну и я, того... Ничего то-есть не добылъ! весь кварталъ почитай исходилъ; игралъ, игралъ, одну лучинку разъ сорокъ никакъ проигралъ, никакого толку, фу-фу! только вотъ и досталъ одинъ пятакъ на свѣчку; въ лавочкѣ взялъ, домой снесъ; эхъ-ма! фу, фу, фу! зарѣзала насъ, Яша, нога твоя! какъ есть, всѣхъ зарѣзала она варварка! добавилъ онъ, тряхнувъ головою.

Старикъ поправилъ картузъ, прикрывавшій широкую лысину и нѣсколько пучковъ сѣдыхъ волосъ, и, переваливаясь съ ноги на ногу, чтобъ не задавить бѣжавшаго подъ шинелью внучка, направился къ дому въ сопровожденіи продрогшаго зятя. Пройдя шаговъ десятокъ, кларнетистъ пріостановился, выровнялся съ гаеромъ и пошелъ съ нимъ рядомъ.

— Вотъ теперича, слышь, статья какая: какъ намъ съ квартирой-то быть? началъ старикъ.

Яша ничего не отвѣчалъ; лицо его ушло въ воротникъ пальто, одна рука скрылась въ карманъ; онъ хотѣлъ словно спрятаться въ эту минуту отъ всего свѣта.

— Вѣдь вотъ теперича, Василій Афанасьевичъ сказалъ: „коли не будетъ, говоритъ, денегъ нонеча объ вечеръ, завтра, говоритъ, духу вашего чтобъ не было“... вотъ она статья-то какая, фу, эка! слышь, для новаго-то года. А! подхватилъ старикъ: — оно, положимъ, ништо: что жъ? ну и съѣхали бы! главная причина, Маша слегла—вотъ что! перевезти-то не слободно, нѣтъ силы-воз-

можности; застудишь, вишь какіе холода стоятъ... она-то пуще всего насъ связала, фу, фу, а!

— Все единственно, безъ денегъ и здоровую не перевезешь, отозвался Яша изъ глубины пальто.

— Ну нѣтъ, съ здоровой-то все бы того... повольготнѣе; все какъ бы ни есть перевернулись: пошла бы тогда съ шарманкой; ребятишекъ съ собой взяла бы.

— Было и это, а лучшаго не видали; что ужь тутъ! глухо отозвался Яша.

— Ну нѣтъ, братъ, нѣтъ, повольготнѣе жили противъ теперешняго... такой тѣсноты не видали; хоть за квартиру платили; дѣло на виду: ну что, примѣрно, я одинъ возьму? ходишь, ходишь, вотъ хоть бы сегодня, дуешь, дуешь, инда щеки заболятъ, а придешь ни съ чѣмъ! этакое задалось дѣло! фу, фу!... Ну, такъ какъ же быть-то, а? присовокупилъ старикъ, неужели такъ съ пустыми руками вернемся? хоть ситничка добыть надо.

При словѣ „ситничекъ“ обѣ полы шинели слегка распахнулись и пропустили голову мальчика.

— Купи ситничка, дѣдушка! купи ситничка! проговорилъ ребенокъ.

— Спрячься, холодно! спрячься, говорятъ, сказалъ дѣдъ, съ особенною какою-то торопливостью закрывая полами шинели лицо внучка, который снова почувствовалъ на носу своемъ клапанъ кларнета. Слышь, Яша, продолжалъ старикъ, понижая голосъ, толкая локтемъ зятя и кивая ему головой на спрятаннаго ребенка:— слышь, вѣдь съ утра маковой росинки въ роту не было, какъ есть!.. Я, чай, и тамъ-то пищатъ!.. Эхъ, народили вы на свою голову!.. Теперича вотъ еще статья какая: что намъ съ Васюткой-то дѣлать? груди не беретъ. Ходилъ въ лавочку, просилъ, не даетъ Парфенъ молока въ долгъ, не отпущаетъ.,. что намъ съ Васюткой-то дѣлать?

— А то же... О чемъ говорили вечоръ... то и сдѣлаемъ! отозвался Яша, и вдругъ высунулъ изъ пальто руки и голову съ рѣшительнымъ видомъ человѣка, который видитъ, наконецъ, что всѣ ухищренія напрасны, что не убѣжишь отъ людскихъ преслѣдованій.

— Полно, Яша, полно... что ужь это?... надо найдти, при-

мѣрно, другое средствіе... примирительнымъ тономъ началъ-было старикъ; но Яша перебилъ его:

— Нѣтъ, батюшка, я ужъ на томъ положилъ! сказалъ онъ твердымъ, хотя дрожащимъ голосомъ.

Яша, повидимому, не обращалъ уже вниманія на стужу; онъ шелъ, открывъ руки и голую шею на вѣтеръ.

— Нѣтъ, Яша, право можно найдти окромя другое средствіе, подхватилъ старикъ, сильнѣе еще прежняго отдувая свои щеки:— что̀ ужь это!... извернемся лучше какъ-нибудь... вѣдь жаль, Яша, право жаль.

— А мнѣ и подавно... какъ быть!

— Ничего изъ того не будетъ, никакого, то-есть, облегченія... лишнія слезы однѣ — право такъ, фу, фу! Одно возьми въ разсужденье: развѣ другимъ ребятишкамъ легче будетъ черезъ это? Что пятерымъ ѣсть нечего, что четверымъ — все одна статья. Эхъ, фу, фу, эхъ, народили вы ихъ на свою голову!

— Точно, легче не будетъ, сказалъ Яша послѣ минуты молчанія: — точно; по крайности, хошь одинъ изъ моихъ дѣтей голодать не станетъ; хошь одинъ да будетъ счастливѣе! Авось, поможетъ, Богъ дастъ, возьмутъ, взмилуются, беречь станутъ... Ноньче же день такой, подъ новый годъ... Подумаютъ, на счастье послалъ Господь, ну и возьмутъ, оберегать станутъ.

— Эхъ, хе! вотъ-те и новый годъ!... чѣмъ бы радоваться, тѣшиться... Эхъ, фу! фу, а!

— А насчетъ человѣка, о комъ мы вечоръ говорили, продолжалъ Яша, пропустившій мимо ушей восклицаніе тестя:—человѣкъ хорошій, надежный, тоже вотъ и достатки большіе имѣетъ, что̀ ему! не даромъ идетъ о немъ слава по всему кварталу.

— Что̀ говорить! возразилъ тесть тономъ раздумья: — человѣкъ хорошій, это точно; а все жаль, Яша! фу, фу! а человѣкъ, то-есть, лучше быть нельзя; точно, хорошій человѣкъ! Больше ста разъ, можетъ статься довелось мнѣ играть у него на дворѣ: только заигралъ — сейчасъ тебѣ гривенникъ высылаетъ... И не то, примѣрно, есть другіе господа, играть оченно заставляютъ, то-есть, безперечь; нѣтъ, говоритъ, ступай, братецъ; самъ изъ форточки покажется; игры,

говорить, мнѣ твоей не надобно... такъ, ни за что дастъ гривенникъ; баринъ чего ужь лучше!

Яша ничего не отвѣчалъ; у старика также, видно, отпала охота разговаривать; оба шли молча до тѣхъ поръ, пока мальчикъ, выглядывавшій время отъ времени изъ своей засады, окончательно не оторвалъ носа отъ клапана, мѣшавшаго ему глядѣть на улицу, и не закричалъ:

— Пусти меня, дѣдушка, домой пришли!

— Тсс... тише, не шуми! сказалъ старикъ, снова набрасывая полу шинели на голову внучка: — надо изловчиться, примѣрно, какънибудь, пройдти такъ легонько... промолвилъ онъ, наклоняясь къ зятю: — главная причина, слышь, не повстрѣчаться бы намъ съ Васильемъ Аѳанасьевичемъ: оченно сердить ноньче; ужь коли да провѣдаетъ что — денегъ нѣтъ, велитъ съѣзжать съ квартиры, это ужь безпремѣнно!... Завтра, можетъ статься, для новаго-то года какънибудь посовѣстится... А мы тѣмъ временемъ извернемся.. Завтра съ утра пойду играть, авось что и добуду; малую толику выплатимъ ему за квартиру, онъ, слышь, того и обождетъ!

Проговоривъ все это съ явнымъ намѣреніемъ обнадежить зятя, старикъ опустилъ ладонь къ тому мѣсту шинели, гдѣ скрывалась голова внучка, чтобъ, въ случаѣ надобности, тотчасъ же зажать ему ротъ и, бережно ступая по снѣгу, вошелъ подъ ворота вмѣстѣ съ Яшей.

Домъ выходилъ на уголъ двухъ переулковъ; то было каменное, но одноэтажное и неоштукатуренное зданіе, принадлежавшее вдовѣ какого-то Дроздова, что можно было прочесть, при дневномъ свѣтѣ, на желтомъ ярлыкѣ, прибитомъ надъ воротами. Къ этому дому примыкали, одинъ за другимъ, еще четыре дома, но ужь деревянные и глядѣвшіе своими низенькими окнами прямо на распивочную, расположенную въ сосѣднемъ переулкѣ. Ворота каменнаго, передового зданія служили единственнымъ сообщеніемъ съ другими владѣніями вдовы Дроздовой. Чтобъ попасть въ дальній домъ, вмѣщавшій квартиру гаера, слѣдовало пройдти длинный-предлинный дворъ, ограниченный справа четырьмя деревянными домами, слѣва заборами; дно двора замыкалось тѣми же барочными досками, просверленными дырами.

Въ лѣтнее время дворъ Дроздовой походилъ еще на что нибудь: трава и крапива росли въ изобиліи; въ заднемъ углу возвышалось даже какое-то деревцо; и дѣти обывателей могли дышать свѣжимъ воздухомъ, какъ только очищалась помойная яма, что происходило ровно разъ въ мѣсяцъ. Но лишь только наступалъ ноябрь съ своими вѣтрами и снѣгами, дворъ дѣлался окончательно ужь ни на что непохожимъ: учитель словесности и чистописанія, жившій на хлѣбахъ у самой хозяйки. не даромъ называлъ ея дворъ Кавказомъ Дарьяльскаго ущелья. Снѣгъ съ кровель сметали во внутрь двора, и снѣжные бугры возвышались со всѣхъ сторонъ, какъ волны окаменѣлаго Ледовитаго моря; всякій жилецъ выносилъ сюда все, что находилъ лишнимъ въ хозяйствѣ; кромѣ того, выкатывалъ бочки, корчаги, корыта; веревки съ висѣвшимъ бѣльемъ, протянутыя отъ кровель до забора, распространяли повсюду темноту полярныхъ ночей. Еслибъ Яша и его тесть не были здѣшними обывателями, и еслибъ, въ добавокъ, не раскидывалось надъ ними ясное морозное небо, усѣянное ярко блиставшими звѣздами, они, вѣрно, не нашли бы дороги. На дворѣ царствовала мертвая тишина, изрѣдка прерываемая звяканьемъ колокольчика, возвѣщавшаго, что въ распивочную сосѣдняго переулка навѣдывались гости.

Къ тишинѣ этой вскорѣ, однакожь, примѣшалось какое-то шипѣнье, очевидно выходившее изъ дальнихъ сѣней. Сдѣлавъ еще нѣсколько шаговъ, старый кларнетистъ увидѣлъ на полу сѣней огненную звѣзду, а немного повыше круглое, одутловатое лицо, освѣщенное трубою закипавшаго самовара.

— Эхъ, нелегкая его возьми, онъ... шепнулъ старикъ, невольно дѣлая шагъ назадъ и тотчасъ же приводя въ дѣйствіе опущенную ладонь, то-есть зажимая ротъ внучку, изъ предосторожности, чтобъ тотъ какъ-нибудь не выдалъ.

— Анна Ивановна, это вы? раздался почти въ то же время въ сѣняхъ гнусливый голосъ, старавшійся казаться пріятнымъ.

— Гм! гм! откашлянулся старикъ.

— Что его бояться! пускай гонитъ съ квартиры, квартира его!... пробормоталъ Яша, который, подобно всѣмъ людямъ, обнаруживающимъ робость и нерѣшительность въ мелочахъ жизни, сдѣлался вдругъ необыкновенно храбръ въ минуту истинной опасности.

— Анна Ивановна, вы ли это? повторилъ голосъ.

— Нѣтъ, гм! гм!... это я... гм! это мы! отозвался старикъ, приближаясь къ сѣнямъ и опуская руки, причемъ полы шинели распахнулись и пропустили голову мальчика — Поди, Ваня, къ матери, скажи: сейчасъ-молъ будемъ, промолвилъ старикъ, нагибаясь къ внучку, который мгновенно исчезъ въ какой-то темной двери. — Это мы! заключилъ старикъ, окончательно ужь вступая въ сѣни, облѣпленные сверху до низу инеемъ.

Василій Аѳанасьевичъ, человѣкъ средняго роста, средняго возраста, лѣтъ, такъ, подъ-пятьдесятъ, съ лицомъ пухлымъ, но болѣзненнымъ и такимъ зеленымъ, какъ-будто питался онъ однимъ только сѣномъ (меня не удивило бы, еслибъ Василій Аѳанасьевичъ точно питался травою); онъ нюхалъ табакъ, и подъ носомъ его, изрядно опухшимъ, виднѣлись всегда слѣды табачной пыли. Рѣдкіе волосы Василья Аѳанасьевича, зачесанные съ праваго уха на лѣвое, съ явнымъ намѣреніемъ скрыть лысину, были бѣлокуры. Говорятъ, будто лица людей бѣлокурыхъ всегда мягче и пріятнѣе, чѣмъ у брюнетовъ; я съ этимъ несогласенъ; встрѣчаются и бѣлокурыя лица, на которыхъ грубыя человѣческія свойства какъ бы сосредоточили свою резиденцію. За доказательствами идти не далеко... но оставимъ это! Коротенькій халатъ, подпоясанный платкомъ, позволялъ любоваться на груди Василья Аѳанасьевича темнымъ съ свѣтлыми пуговицами жилетомъ, надъ которымъ дрожалъ, какъ студень, жирный подбородокъ. Василій Аѳанасьевичъ былъ золотильщикъ; но въ настоящее время онъ мало занимался ремесломъ своимъ; время уходило на разыскиваніе невѣсты, которая по возможности должна была осуществлять (такъ самъ онъ говорилъ) три достоинства: молодость, красоту и достатокъ. Василій Аѳанасьевичъ нанималъ у Дроздовой весь задній домъ, состоящій изъ четырехъ комнатъ; двѣ комнаты отдавалъ въ наймы, въ остальныхъ двухъ самъ помѣщался. Съ жильцами своими обходился онъ хорошо, то-есть требовалъ только съ ихъ стороны строжайшей акуратности и еще безграничнаго уваженія къ себѣ собственно, какъ къ главному хозяину квартиры. Вообще говоря, онъ человѣкъ обращенія ровнаго, но твердъ въ словѣ; если ужь скажетъ, чтобъ жилецъ черезъ часъ очистилъ квартиру, такъ ужъ поставитъ на своемъ. Онъ никогда не горячился; голосъ его возвышался въ тѣхъ только, рѣдкихъ, впрочемъ, случаяхъ, когда

упрямый, неуважительный жилецъ вынуждалъ его грозить полиціей.

— Гм! гм! это мы, Василій Аѳанасьевичъ, повторилъ старикъ, стараясь придать слову „мы“ какое-то особенно нѣжное выраженье.

— Вижу, братъ, вижу... сказалъ золотильщикъ, окидывая жильцовъ такимъ взглядомъ, что когда онъ снова обратилъ глаза къ самовару, самоваръ зашипѣлъ сильнѣе прежняго:—вижу, подхватилъ онъ:—только этого мало: требуются деньги за квартиру, вотъ что!

— Гм! гм!... изволишь видѣть, Василій Аѳанасьевичъ... оно, то-есть... мы, изволишь видѣть...

— Что тутъ толковать! все одно, не сегодня, завтра надо сказать, нѣтъ денегъ! отрывисто произнесъ Яша.

Василій Аѳанасьевичъ поднялъ голову.

— Какъ же можешь ты это говорить своему хозяину? повторилъ Василій Аѳанасьевичъ съ чувствомъ глубочайшаго достоинства.

— Который цѣлковый мы вамъ должны, тотъ заплатимъ и квартиру очистимъ, а кричать на насъ нечего! возразилъ Яша съ такой горячностью, какой вовсе нельзя было ожидать отъ полузамерзавшаго человѣка; впрочемъ, говорятъ, и ледъ даетъ искру при сильномъ треніи. Такая выходка въ-конецъ ошеломила золотильщика.

— Когда такъ, сказалъ онъ, горделиво запахивая халатъ:— вонъ, ступай вонъ!... не то я позову сюда...

Слово „полиція“ готово уже было сорваться съ языка раздраженнаго Василія Афанасьевича и, нѣтъ сомнѣнія, онъ привелъ бы въ дѣйствіе свою угрозу, еслибъ старикъ не поспѣшилъ остановить его.

— Эхъ, Василій Аѳанасьевичъ, и для такого дня, для новаго-то года?... полно! сказалъ онъ, толкая локтемъ зятя: — мы тебѣ заплатимъ, все до послѣдней копѣечки очистимъ... только маленечко еще... слышь, повремени маленько!... У насъ и разговору примѣрно, матеріи такой не было бы, не случись горя... не сломи Яша ногу...

Мы всегда платили кажись исправно; повремени, по силѣ-возможности; то есть, вотъ какъ: по гробъ жизни благодарить станемъ! Ну хорошо, сгонишь, это примѣрно, ты насъ съ квартиры, ноньче сгонишь; все одно, завтра никто ее не сыметъ; вѣдь также пустая останется!... Дай намъ воздохнуть, поуправиться... завтра новый годъ, авось сотворитъ Господь, для того дня добуду деньженокъ... обожди благодѣтель!

— Зачѣмъ же говорить такъ: „денегъ нѣтъ“, ворчливо возразилъ золотильщикъ, стараясь поддѣлаться подъ тонъ Яши: — ты знать долженъ, кому говоришь; хозяину своему говоришь! не на улицѣ попался человѣкъ, что ты можешь ему говорить такимъ манеромъ! Это, братецъ, не хорошо, подхватилъ онъ наставительнымъ, но ужь смягченнымъ голосомъ: — да, долженъ благодарить, а не то, чтобъ такъ хозяину, потому, выходить, квартира первая вещь, всему голова, заглавіе... И то держу изъ милости, по добродѣтели по своей; давно бы согнать надо по настоящему; потому, выходить, мы нищихъ никогда не держали; васъ держать, выходить, все единственно — страмота одна. Вотъ хоть бы сегодня, безъ васъ Анна Ивановна снесла вамъ хлѣба... что же это такое? какіе же вы жильцы послѣ этого? просто страмота одна съ вами; отчаянный самый народъ и больше ничего!...

— Конечно, поспѣшилъ подхватить старикъ изъ опасенія, чтобъ зять не вмѣшался въ разговоръ и не испортилъ дѣла: — конечно, Василій Аѳанасьевичъ, точно, тѣснота одолѣла... фу, фу... а все же надо, примѣрно, взять въ разсужденье... все же не по своей провинности: нога, вотъ его нога-варварка насъ всѣхъ зарѣзала!... потому мы не какіе-нибудь мазурики... Хоть бы, примѣрно, зять мой, помнишь, прошлый-то годъ бумажникъ нашелъ, съ деньгами нашелъ, вѣдь отдалъ же кому слѣдуетъ, не попользовался... Это значитъ не всякой такъ поступитъ: добавилъ старикъ, не пропускавшій случая приплести исторію найденнаго бумажника.

— А все, главная причина: не долженъ онъ такъ разговаривать съ своимъ хозяиномъ, перебилъ золотильщикъ: — потому квартира всему голова, заглавіе, и хозяинъ квартиры самый выходитъ...

Скрипъ шаговъ, неожиданно раздавшійся на дворѣ, прервалъ рѣчь его.

— Анна Ивановна, это вы? произнесъ онъ, смягчая до крайней степени голосъ.

— Я, Василій Аѳанасьичъ, я самая! отвѣчалъ кисленькій, но не лишенный пріятности голосокъ, какимъ говорятъ обыкновенно старыя дѣвы, не утратившія еще надежды на замужество.

Вслѣдъ за тѣмъ, въ сѣняхъ показалась крошечная, сухопарая женщина съ коротенькими руками, обремененными узлами, съ крошечной головкой, опутанной платкомъ, и крошечнымъ лицомъ, въ которомъ все какъ-то было кругло: и носъ, и щеки, и подбородокъ, и даже ротъ. То была другая жилица золотильщика, но, Боже, какая жилица! образецъ всѣхъ жилицъ! Самъ Василій Аѳанасьевичъ уважалъ Анну Ивановну. Она дѣйствительно заслуживала уваженье: женщина была добрая, платила за квартиру исправно, имѣла даже маленькій капиталъ, въ триста рублей ассигнаціями, нажитый честными трудами. Анна Ивановна занималась, вотъ ужь скоро пятнадцать лѣтъ, вязаньемъ шерстяныхъ носковъ, чепчиковъ и перчатокъ, предназначавшихся для продажи на Апраксиномъ дворѣ, гдѣ пользовалась она голосомъ, вѣсомъ и всеобщимъ уваженіемъ. Такое общественное положеніе дѣлало величайшую честь Аннѣ Ивановнѣ: круглая сирота, безъ связей, безъ подпоры, она всѣмъ была себѣ обязана. Анну Ивановну обвиняли въ гордости и часто происходившей отъ того обидчивости, щепетильности; но всякому покажется такая слабость весьма натуральною, если сказать, что покойный папенька Анны Ивановны содержалъ цырюльню на Владимірской. Содержать цырюльню не всякій можетъ — не бездѣлица; и, какъ хотите, простительно гордиться такимъ родителемъ.

— Здравствуйте, Василій Аѳанасьевичъ! скороговоркою начала Анна Ивановна, перекладывая узелъ съ одной руки на другую: — здравствуйте, Герасимъ Степанычъ, промолвила она, обращаясь къ старику: — добраго вамъ вечера, Яковъ Петровичъ! ухъ, какъ устамши! бѣжала, знаете, изъ лавочки... насилу духъ перевожу... а тутъ, знаете, человѣкъ... ахъ какъ перепугалась... да, знаете, дерзкій такой... о чемъ это вы здѣсь заговаривались?

— Да вотъ, Анна Ивановна, денегъ не отдаютъ за квартиру...

— Просимъ то-есть обождать по-силѣ возможности... хоть до завтра бы, Анна Ивановна, вмѣшался старикъ: — вѣдь все одно, также пустая простоитъ!...

— Полноте, Василій Аѳанасьевичъ, повремените, ваше не уйдетъ; знаете, завтра ужь день такой! сказала Анна Ивановна: — васъ за это во весь годъ Богъ счастьемъ наградитъ; добрымъ дѣломъ начнете годъ, добрымъ и кончится... вотъ также, знаете, покойный мой папенька... содержалъ этта онъ, знаете, цырюльню на Владимірской; ну былъ, знаете, человѣкъ не то, чтобъ какой нибудь... также, знаете, свой капиталъ имѣлъ; такъ разъ, знаете, передъ новымъ годомъ весь долгъ простилъ...

— Для васъ ужь развѣ сдѣлаю уваженье, Анна Ивановна... такъ и быть! Народъ, вотъ видите, оченно отчаянный, вотъ что!...

— Ну хоть для меня! хоть для меня! торопливо сказала дѣвица. Ухъ какъ устамши! Пойду; прощайте; теперь, знаете, некогда. Смотрите же, Василій Аѳанасьевичъ, приходите какъ обѣщали! знаете, этакъ черезъ часочекъ... надо же вмѣстѣ новый-то годъ встрѣтить! я ужь и въ лавочкѣ кое-что взяла; будутъ все знакомые вамъ люди: Андреичъ... знаете, такой еще весельчакъ-то; такъ приходите же!

— Погодите, Анна Ивановна, вотъ что: неловко, какъ словно... У меня, вамъ извѣстно, родственникъ изъ Тихвина гоститъ... сестринъ...

— Это ейный-то мужъ? Иванъ Тихонычъ! такъ что-жь такое? и его зовите!

— Не приходится какъ-то...

— Вотъ вздоръ какой! непремѣнно приведите... такой любезный, обходительный человѣкъ... скажите, оченно дескать рады знакомству.

— Хорошо, скажу, Анна Ивановна; только вотъ, какъ я вамъ говорилъ: пожалуйста, чтобъ не было у васъ дяди Николая... одинъ уговоръ...

— Помилуйте, что вы, что вы! ни за какія благополучія не будетъ! что вы! я и такъ напрямикъ ему отказала... что вы! Онъ,

хоть, знаете, и дядя мнѣ по маменькѣ, ейный братъ, а нечего дѣлать, потому человѣкъ, знаете, невоздержанный, страсти подобно! разстроитъ только нашу пріятную компанію.

— То-то же; пожалуйста, Анна Ивановна, потому оно, знаете, и для квартиры нехорошо; затѣетъ шумъ, драку.

— Нѣтъ, нѣтъ, говорю вамъ — не будетъ! Такъ смотрите же, этакъ черезъ часокъ приходите... Прощайте, Герасимъ Степанычъ, съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ! Прощайте, Яковъ Петровичъ! Поклонитесь Марьѣ Герасимовнѣ, да скажите — навѣщу ее завтра утромъ, безпремѣнно, заключила Анна Ивановна, исчезая въ дверяхъ, расположенныхъ въ дальнемъ углу.

— Что жъ вы здѣсь стоите? спросилъ золотильщикъ, обращаясь къ двумъ оставшимся жильцамъ; — до завтраго вечера обожду... и то больше, что просила Анна Ивановна.

— Ну, благодарствуй, Василій Аѳанасьичъ! отвѣчалъ старикъ: — желаемъ тебѣ, фу, фу! желаемъ встрѣтить счастливо новый годъ!

— Спасибо, спасибо; и вамъ того желаю, торопливо проговорилъ золотильщикъ; при этомъ онъ поднялъ самоваръ и, откинувъ назадъ зеленое лицо свое, въ которое неожиданно устремилась струя горячаго пара, поплелся за Анной Ивановной, бормоча сквозь свои толстыя губы: — Этакой отчаянный народъ, право! такой-то отчаянный, что просто и сказать нельзя!

Старый кларнетистъ и зять его, акробатъ, постояли на мѣстѣ секунды двѣ, потомъ потянулись къ досчатой двери, повѣсили голову и тоже побрели въ свою квартиру.

IV.

СЕМЕЙСТВО АКРОБАТА. ПОХИЩЕНІЕ.

Мнѣ было бы чрезвычайно пріятно ввести васъ теперь, хоть для разнообразія, въ великолѣпную комнату, установленную, не

скажу—мебелью Гамбса или Тура, Лизере или Гальпена, нѣтъ, этого мало, но настоящею неподдѣльною булевскою мебелью; комнату, украшенную, сверхъ того, севрскимъ, саксонскимъ и китайскимъ фарфоромъ, обвѣшанную драгоцѣнными картинами, устланную мягкимъ, какъ пухъ, ковромъ и освѣщенную карселями въ нѣсколько сотъ рублей за штуку, и проч. Но, къ сожалѣнію, я долженъ подавить въ себѣ такое желаніе. Долгъ прежде всего; мы необходимо приносимъ ему иногда въ жертву лучшія наши фантазіи.

Волей-неволей, я снова долженъ буду повѣствовать о другѣ моемъ, Яшѣ Жилетниковѣ. У Жилетникова же, сколько могу судить, не имѣется въ настоящее время не только булевской, но даже гамбсовской мебели; я сильно даже сомнѣваюсь, была ли когда-нибудь у Жилетникова хоть одна самая маленькая, самая ничтожная японская ваза; мнѣ покрайней мѣрѣ никогда не приходилось видѣть у него что-нибудь въ этомъ родѣ. Комната Жилетникова (квартира его состояла изъ одной комнаты) отличалась необыкновенной простотой; никакого лишняго украшенія на стѣнахъ, кромѣ развѣ узоровъ, образовавшихся отъ сырости, да еще трещинъ и впадинъ, происшедшихъ отъ обвалившейся штукатурки; строгая простота служила, казалось, девизомъ Яшѣ Жилетникову: простота въ разстановкѣ мебели, простота на окнѣ, гдѣ располагались просто, безъ всякаго намѣренія пустить пыль въ глаза: горшокъ, муравленая подбитая миска, нѣсколько деревянныхъ ложекъ и глиняная кружка. Мнѣ нравилось всегда, что единственное окно комнаты постоянно завѣшивалось какимъ-нибудь предметомъ изъ гардероба: фартукомъ, платкомъ, иногда даже панталонами; свѣтъ, конечно, нѣсколько заслонялся, но за то Яша Жилетниковъ, его жена, тесть и дѣти не имѣли съ утра до вечера передъ глазами помойной ямы, какъ нарочно расположившейся передъ окномъ. Не знаю, какъ вамъ, но по-моему, одно было не хорошо, именно: отсутствіе тепла; въ настоящую минуту вамъ стоило только дохнуть противъ свѣта сальнаго огарка, чтобъ убѣдиться, какая страшная разница существовала между теплотою вашего дыханія и воздухомъ комнаты. Огарокъ, купленный часъ назадъ, старымъ кларнетистомъ, возвышался на шарманкѣ, поставленной къ окну; шарманка служила столомъ семейству акробата; тутъ обѣдали, ужинали, пили чай; впрочемъ, чаю давно ужь не пили; столъ, какъ видите, былъ съ

музыкой (такіе столы продавались, говорятъ, очень дорого на лондонской и дублинской выставкахъ).

Пламя огарка, придавленное мохнатой шапкой нагара, освѣщало жалкую сосновую кровать съ лежавшей на ней женщиной. Какъ, неужели это та самая Маша, которую видѣлъ я когда-то на сценѣ балагана! Та самая Маша, которой любовался я, когда, бывало, вертѣлась она при блескѣ лампъ на деревянномъ кругѣ въ игривомъ образѣ Венеры, нимфы и тому подобнаго. Куда-жъ дѣвались эти каріе, живые глаза? эти полныя плечи и икры, имѣвшія свойство приводить меня всегда въ неописанный восторгъ? Нѣтъ сомнѣнія, однакожъ, это Маша, жена лучшаго друга моего, Яши Жилетникова! Никто не могъ подмѣнить ее! Я вижу ее теперь въ профиль, вижу рѣдкія пряди бѣлокурыхъ волосъ на преждевременно увядшихъ вискахъ, вижу одну темную впадину вмѣсто праваго глаза, но, несмотря на это, безошибочно узнаю старую свою знакомку.

Никогда еще, во всю ея жизнь, не приводилось ей принимать участія въ такой печальной живой картинѣ! Подлѣ нея лежалъ послѣдній ея ребенокъ, обвернутый въ какое-то бурое тряпье; остальные члены семейства помѣщались тутъ же, на той же кровати; въ ногахъ сидѣлъ знакомый намъ Ваня; раздраированный платкомъ, которымъ больная мать поспѣшила его прикутать, онъ жадно вонзалъ зубы въ хлѣбъ, принесенный Анной Ивановной и оставленный на его долю; подлѣ располагалась сестра его, дѣвочка пяти лѣтъ, но ужь большая мастерица плясать русскую и сохранять равновѣсіе въ тѣхъ случаяхъ, когда отецъ, въ заключеніе спектакля, ставилъ ее себѣ на голову; она совсѣмъ почти исчезла подъ ветхой отцовской шинелью; наружу выглядывали только бѣлокурая, кудрявая головка и круглое личико, подрумяненное холодомъ; тутъ было еще двое дѣтей; но послѣднія окончательно ужь затеривались въ многочисленныхъ складкахъ одѣяла и одежды, брошенной на постель. Изнуренный профиль матери, ея колѣни, голова Вани, кудри его сестры и складки одѣяла, приподнятаго головами двухъ младшихъ дѣтей, бросали на ближайшую стѣну густую зубчатую тѣнь, которая становилась все длиннѣе, по мѣрѣ того, какъ сокращался огарокъ; тѣнь начинала ужь захватывать ветхій трико кирпичнаго цвѣта, принадлежавшій главѣ семейства и висѣвшій на гвоздѣ;

немного подальше, на другомъ гвоздѣ, виднѣлись голубой камзолъ съ оставшимися кой-гдѣ блестками, бубенъ, маленькій кокошникъ и сарафанчикъ — предметы драгоцѣнные, но висящіе безъ употребленія съ тѣхъ поръ, какъ Яша сломалъ себѣ ногу и пятилѣтняя дочь его не участвовала уже въ представленіяхъ. Остальные предметы гардероба частью находились на плечахъ Яши и его тестя, которые еще не возвращались.

Для полноты живой картины, недоставало только тишины; отсутствіе тишины отнимало весь эффектъ: мать безпрестанно кашляла, новорожденный не переставалъ пищать, пятилѣтняя дѣвочка ежилась, другіе два ребенка, какъ самые неблагоразумные въ семействѣ, высовывали поминутно головы и жаловались на стужу. Изъ всѣхъ этихъ звуковъ я предпочитаю, однакожъ, возгласы Вани, который разсказывалъ съ необычайнымъ воодушевленіемъ похожденія свои съ отцомъ. Не смотря на частыя остановки, происходившія единственно оттого, что кусокъ хлѣба въ рукахъ его не былъ еще конченъ, онъ успѣлъ передать о томъ, какъ отправились они съ отцомъ изъ дома; сообщалъ, какъ началъ онъ думать, что умретъ отъ холода, когда пробирались они по темнымъ закоулкамъ своего квартала; какъ достигъ потомъ освѣщенныхъ улицъ, и какъ вдругъ забылъ и вѣтеръ, и холодъ, когда очутился передъ блистающими высокими окнами, заставленными сверху до низу игрушками и лакомствами; онъ слегка только коснулся дерзновенной мысли присвоить себѣ маленькую изъ этихъ игрушекъ, и то потому больше, что вызванъ былъ неумѣренными восторгами пятилѣтней сестры своей; потомъ перешелъ Ваня къ тому, какъ отецъ снова повелъ его темными, холодными переулками; онъ началъ уже разсказывать, какъ вошли они къ баньщику; но въ эту самую минуту въ дверяхъ послышалось топанье, и вслѣдъ за тѣмъ на порогѣ комнаты показались его отецъ и дѣдушка.

Разсказчикъ тотчасъ же остановился: на постели произошло необычное движеніе, точно заколыхалось море, въ которомъ, вмѣсто плавающихъ матросовъ, ныряли маленькія дѣти. Не берусь передать вамъ крика, съ какимъ встрѣчены были вошедшіе; въ этомъ единодушномъ дѣтскомъ возгласѣ было что-то похожее на восторженную писклотню неоперившихся еще птичекъ, когда, завидѣвъ издали мать, высовываютъ онѣ изъ гнѣзда желтенькіе носики, въ

полной увѣренности, что она несетъ имъ гостинецъ. Но сравненіе нейдетъ къ дѣлу; а если и пришлось кстати, то говоритъ въ пользу дѣтей Жилетникова: пискотня маленькихъ птичекъ, привыкшихъ двадцать разъ въ день получать гостинцы, свидѣтельствуетъ только о ихъ нетерпѣніи, неумѣренности, жадности, и ровно ничѣмъ не оправдывается, тогда какъ дѣти Жилетникова имѣли полное право подымать суматоху, потому что, во-первыхъ, никогда еще не получали гостинца; во-вторыхъ, гостинецъ былъ имъ обѣщанъ. Да, дѣдушка Герасимъ обѣщалъ имъ гостинецъ, и я нахожу, что въ этомъ именно заключается главная вина его. Очень нужно было разсказывать, что сегодня новый годъ! что въ новый годъ умныхъ и послушныхъ дѣтей награждаютъ подарками! Хуже всего то, что Яша, думая избавиться какъ-нибудь отъ пискотни и желая дать покой своей женѣ, имѣлъ неосторожность подтвердить слова дѣда; къ довершенію всѣхъ бѣдъ, онъ добавилъ, что непремѣнно принесетъ игрушекъ всѣмъ дѣтямъ безъ исключенія, если только перестанутъ они надоѣдать матери: судите же сами, можно ли было оставаться равнодушнымъ при появленіи отца и дѣда!

Не говорю о пятилѣтней плясуньѣ; одной секунды было достаточно, чтобъ освободиться изъ-подъ шинели, соскочить на земь и броситься къ отцу, но даже другіе два ребенка, присутствіе которыхъ обозначалось до сихъ поръ жалобами и движеніями подъ одѣяломъ, и тѣ побросались съ кровати и облѣпили отца; казалось даже, самъ новорожденный закричалъ звончѣе обыкновеннаго.

Обманутые въ своихъ ожиданіяхъ (отцовскіе карманы тотчасъ же оказались пустыми), ребятишки мгновенно обратились къ дѣду, и хорошо впрочемъ сдѣлали: оглушенный ихъ крикомъ, стѣсненный въ своихъ движеніяхъ, Яша шагу не могъ сдѣлать къ женѣ, которая давно, между тѣмъ, повернула къ нему изнеможенное лицо свое и спрашивала о чемъ-то.

— Гдѣ вы долго такъ были?.. Измучили вы меня совсѣмъ! говорила она слабымъ, но раздраженнымъ голосомъ, свойственнымъ женщинамъ, одержимымъ грудною болью.

— Никакъ нельзя было... не управился... далеко оченно ходилъ, произнесъ Яша, торопливо приближаясь къ постели, между тѣмъ какъ тесть увлекалъ дѣтей въ дальній уголъ.—Ты, Маша, не сумлѣвайся, поспѣшилъ присовокупить мужъ, замѣтивъ слѣды

безпокойства на блѣдномъ лицѣ жены:—ей-Богу не сумлѣвайся... лучше то-есть быть нельзя!.. спроси хоть у батюшки.

— Не сумлѣвайся, Маша, все благополучно! гм! все, какъ есть! подхватилъ старикъ, становясь на цыпочки и бережно укладывая кларнетъ на гвозди подъ потолкомъ, въ такое мѣсто, куда не могли достать дѣти:—лучше быть нельзя! подхватилъ онъ:—и баньщикъ, и... и я вотъ кое-что того... фу, фу, добылъ! и все такое! Полно вамъ кричать-то... ну, что вѣшаетесь! (тутъ онъ неожиданно обернулся къ внучкамъ):—эки какіе, право! сказано: принесъ—чего вамъ еще. А вотъ кто кричать станетъ, да досаждать, тому ничего не дамъ; такъ, ни съ чѣмъ останется! Видите, матери нездоровится... эки право безтыжіе какіе!..

Яша поглядывалъ украдкою на жену. Слова отца повидимому не произвели на нее желаннаго дѣйствія: брови ея слегка дрогнули, глаза съ безпокойствомъ переходили отъ мужа къ отцу; грудь, по которой изгибалась темная, глубокая тѣнь, поднялась, какъ бы стѣсненная мрачнымъ предчувствіемъ и недовѣрчивостью.

— Ты думаешь того... нѣтъ, нѣтъ, не сумлѣвайся! заговорилъ вдругъ Яша съ необычайной живостью; при этомъ онъ снялъ съ себя картузъ, тряхнулъ имъ по воздуху и даже усмѣхнулся; но я былъ всегда того мнѣнія, что Яша Жилетниковъ былъ столько же ловкій акробатъ, сколько плохой актеръ; несмотря на улыбку, лицо его оставалось блѣдно и встревожено, чему не мало способствовали черные волосы, разсыпавшіеся въ безпорядкѣ по плечамъ; въ одномъ развѣ можно было отдать ему справедливость: онъ съ какимъ-то особеннымъ искусствомъ стискивалъ зубы, такъ что не было возможности замѣтить, какъ они щелкали.

— Скажете ли вы наконецъ толкомъ-то: что-жь баньщикъ... далъ ли онъ денегъ? проговорила больная съ бо́льшею еще противъ прежняго раздражительностью.

— Какъ же... то-есть, далъ! возразилъ Яша съ увѣренностью.

— Гдѣ же онѣ?.. покажи...

— Погоди маленько... дай вздохнуть... надо, то-есть, видишь ли... надо обождать немножко... Такъ и сказалъ:—сію секунду, говоритъ, въ наличности не имѣю... повремени часокъ, го-

ворить, возьми впередъ, говоритъ, хоть за цѣлый мѣсяцъ... Ты бы, Маша, пальтомъ моимъ прикуталась; все бы, того, потеплѣе, ей-Богу! добавилъ неожиданно Яша, приводя въ дѣйствіе слова свои.

Въ отвѣтъ на это, жена его закрыла лицо руками и горько заплакала.

— Побойся Бога! эхъ! эхъ! ну о чемъ? заговорили въ одно время Яша и тесть, торопливо подбѣжавшій къ постели:—вѣдь вотъ ты вѣдь какая! не дослушаешь, да и того...

— Эхъ, подхватилъ старикъ:—ну, о чемъ плакать-то? словно махонькая, разсудку, примѣрно, своего не имѣешь... говорятъ, обожди часокъ... вѣдь ждали же, ждали, почитай, цѣлые мѣсяцы...

— Ваня сказывалъ, встрѣтили Василія Аѳанасьича... съ квартиры обѣщалъ согнать... Обманываете вы меня! проговорила Маша, рыдая.

— Ну, вотъ подижь-ты! съ комическою увѣренностью воскликнулъ старикъ:—подижь-ты, о чемъ сокрушается!

— Самое, что ни есть пустяшное настоящее дѣло! прибавилъ Яша, украдкою грозя сыну.

— Слышь, о чемъ сокрушается! Эхъ-ма! подхватилъ старикъ:—слышь, Василья Аѳанасьича повстрѣчали! Да ты спроси сперва-наперва, что было-то? Слава Господу Богу, что еще встрѣтились! Переговорили съ нимъ и все такое... повременить обѣщалъ; то-то вотъ не знамши-то, не спросимши, да въ слезы...

— А денегъ-то все нѣтъ!.. Теперь надо бы молочка ребенку, а гдѣ...

— Все будетъ, все, дай только срокъ! вѣдь я же толкомъ говорю: игралъ ноньче почитай весь вечеръ на кларнетѣ... ну, и выручилъ, и лавочнику заплатилъ; можно сейчасъ взять. А вотъ встрѣтился еще одинъ человѣкъ: „безпремѣнно, говоритъ, что принесу ноньче же вечеромъ“; былъ за нимъ маленькій должокъ, такъ онъ, примѣрно, обнадежилъ; „безпремѣнно, говоритъ, принесу“; о чемъ крушиться-то? Бога только гнѣвишь, право!

Тутъ старикъ толкнулъ локтемъ Яшу, и оба соединенными силами принялись увѣщевать больную. Яша краснорѣчиво распростра-

нился о добродѣтеляхъ баньщика, коснулся, для вящаго эффекта, о стѣсненныхъ обстоятельствахъ этого достопочтеннаго мужа, убѣждалъ жену повременить только часъ, одинъ единственный часъ; говорилъ, что, по прошествіи этого времени, онъ готовъ сломать лѣвую свою ногу, если баньщикъ не принесетъ обѣщанныхъ денегъ. Старикъ, въ свою очередь, съ особеннымъ увлеченіемъ повѣствовалъ о лавочникѣ, о добытыхъ деньгахъ и о случайно встрѣтившемся человѣкѣ, который черезъ часъ обѣщалъ выручить. Изъ словъ дѣдушки Герасима ясно значилось, что если онъ не захватилъ молока для новорожденнаго, такъ единственно потому лишь, что лавочка была биткомъ набита покупателями: никакъ не пробережься, и что ему и Яшѣ не въ терпежь ужь было дожидаться на улицѣ: оба страхъ продрогли; а что, вотъ только немного пообогрѣются, сію-жь минуту пойдутъ въ лавочку, принесутъ все нужное и даже заберутъ кой-чего лишняго.

Не берусь рѣшить, что именно подѣйствовало на больную: краснорѣчивыя ли убѣжденія мужа и престарѣлаго отца, слабый ли лучъ надежды, нежданно прокравшійся въ ея встревоженную душу, или, попросту, ослабѣвшіе ея нервы утомились происшедшею сценой, но только она мало-по-малу успокоилась; она перестала плакать, подавила вздохъ и, прикутавъ спавшаго подлѣ младенца, опустилась на подушку, причемъ верхняя часть ея туловища окончательно исчезла въ густой тѣни, бросаемой спинкой кровати.

Яша медленно отошелъ тогда въ дальній уголъ, сѣлъ на скамью и, уперевъ локти въ колѣни, опустилъ голову въ ладони.

Трудно рѣшить, о чемъ думалъ онъ въ эту минуту. Скорѣе можно поймать на лету одну за другою дюжину ласточекъ, чѣмъ уловить чужія мысли. Принимая въ соображеніе существующія обстоятельства, можно приблизительно догадываться, что Яша думалъ о теплыхъ квартирахъ и жильцахъ, которые блаженствовали, сидя теперь передъ топившейся печкой; думалъ о знакомыхъ гаерахъ, у которыхъ сытыя дѣти, здоровая жена и, въ добавокъ, цѣлыя ноги; думалъ о нѣсколькихъ тысячахъ сытныхъ пироговъ съ капустой и морковью, которые поспѣвали теперь въ печкахъ; думалъ о нѣсколькихъ стахъ котлетахъ (Яша произносилъ всегда: коклеты), которыя жарились теперь въ трактирахъ, и проч. Мысли его, цѣпляясь одна за другую, перешли наконецъ незамѣтно къ бумажнику, найденному

имъ прошлаго года; въ этомъ бумажникѣ, сказывали ему, было около тысячи рублей... Тысяча рублей!... Ну что, если бы?... Но Яша въ ту же секунду подавилъ въ себѣ такую мысль, и съ этой минуты исключительно ужъ занялся будущностью дѣтей своихъ, судьбою новорожденнаго.

Старикъ, между тѣмъ, давно присоединился къ внучкамъ. Онъ усѣлся съ ними на жиденькомъ тюфякѣ, брошенномъ на полу за спинкою кровати и, посадивъ къ себѣ кого на колѣни, кого подлѣ, а кого такъ, просто, поглаживая по головкѣ, разсказывалъ сказку. Это былъ единственный способъ усмирить на время ребятишекъ и заставить ихъ забыть объ обѣщанныхъ гостинцахъ. И въ самомъ дѣлѣ, слушая дѣдушку Герасима, нельзя было не забыться, нельзя было не развѣсить ушей! Чего только не приплеталъ онъ къ своей сказкѣ! Тутъ были и коровы съ золотыми рогами, у которыхъ на одномъ боку помѣщалась баня, на другомъ боку котелъ, такъ что можно было въ одно время и мыться, и париться; были золотыя березы, отягченныя серебряными яблоками; были острова съ медовыми рѣками, наточными ручьями, кисельными берегами и пряничными домами... Чего только не было! Слюнки текли сами собою. И неизвѣстно, до какихъ сластей дошелъ бы наконецъ старикъ, еслибъ, поднявъ какъ-то голову, не встрѣтилъ взгляда Яши, взгляда, сопровождаемаго выразительнымъ движеніемъ головы. Старикъ тотчасъ же замялся.

— Ну, дѣтушки, сказка наша теперь кончена: жили-поживали, да добра наживали и все такое... А я вотъ что скажу вамъ, прибавилъ онъ вкрадчивымъ шопотомъ: — вотъ мы теперь всѣ сколько насъ ни на есть, всѣ, и мать, и отецъ, и я, и вы — всѣ, слышь того... соснемъ маленечко.

— Нѣтъ, нѣтъ, не хотимъ спать! закричали дѣти въ одинъ голосъ.

— Тсс... шт!.. прошипѣлъ старикъ, выглядывая изъ-за спинки постели и устремляя глаза на больную, лежавшую въ забытьи: — тш!.. прислушайте только: вотъ мы того, часочекъ соснемъ, а тамъ, слышь, новый годъ встрѣчать станемъ... времени вѣдь много еще до новаго-то года! Тѣмъ временемъ, я знаю, подойдетъ одинъ человѣкъ, принесетъ денегъ .. А вотъ кто плакать будетъ, прибавилъ старикъ, грозя двумъ младшимъ внучкамъ, которые принялись хны-

кать, тому не будетъ гостинца, право не будетъ! Ну, ребятишки, нут-ка, кто скорѣе заснетъ! Ваня, ты прозябъ, голубчикъ, лягъ-ка, поди, какъ согрѣешься! заключилъ дѣдъ, обращаясь съ особенною заботливостью къ старшему внуку, какъ къ самому смышленому.

— Что-жъ, дѣдушка, коли не хочется, возразилъ Ваня.

— Экой ты, братецъ ты мой, какой! понудь себя маленько... лягъ только, лягъ; я тебя прикутаю. А прійдетъ тотъ человѣкъ — сапоги куплю! Вѣдь твои всѣ прорваны, и на улицѣ-то стыдно показаться, мальчишки и то смѣются. Ну, ребятишки, ляжемъ! Вотъ и я съ вами, только прикутаю.

Сказавъ это, старикъ снялъ съ гвоздя трико, камзолъ, бросилъ ихъ на дѣтей, которыя сбились въ кучку, и вскорѣ самъ присоединился къ нимъ. Магическое слово „сапоги“, которые, можно сказать, были первою несбыточною мечтою семилѣтняго мальчика, произвело на Ваню такое же вѣрное дѣйствіе, какъ слово „гостинецъ“ на его сестеръ и братьевъ; свернувшись кренделемъ подъ лохмотьями отцовскаго гардероба, они закрыли глаза и, обманутые притворнымъ храпѣньемъ дѣда, вскорѣ заснули крѣпчайшимъ сномъ...

— Спятъ? прошепталъ Яша, осторожно приподымаясь съ своего мѣста.

— Угомонились, отвѣчалъ старикъ, отрываясь какъ бы нехотя отъ группы внучковъ и вставая на ноги.—Яша, прибавилъ онъ, подходя къ зятю и взявъ его за руку:—Яша, не-ужь-то, въ самомъ дѣлѣ? Одумайся, подумай, съ ней-то что станется! заключилъ онъ, кивая головою на спавшую дочь.

Въ отвѣтъ на это Яша махнулъ только рукой, потомъ перекрестился и съ видомъ суетливаго какого то замѣшательства приблизился на цыпочкахъ къ кровати; тесть шелъ за нимъ и также крестился.

Увѣрившись, что больная точно спала, Яша тихонько отвернулъ уголъ одѣяла, подъ которымъ лежалъ новорожденный (какъ дрожала въ эту минуту рука Яши, о еслибъ вы только видѣли!) Нужна была необычайная ловкость гаера (я увѣренъ, что никакой другой человѣкъ, кромѣ фокусника, или гаера не справился бы съ такою ловкостью), чтобъ приподнять младенца и не разбудить его.

Одинъ крикъ—и все погибло! но крикъ не раздался, и Яша отошелъ съ младенцемъ къ двери.

Тутъ Яша остановился, пригнулъ заплаканное лицо свое къ ребенку и перекрестилъ его.

— Мочи нѣтъ, силы не хватаетъ, не могу! прошепталъ онъ задыхающимся отъ сдавленныхъ рыданій голосомъ:—возьми ты его отнеси, батюшка... тебѣ все не такъ тяжко... возьми! присовокупилъ онъ, поспѣшно укладывая ребенка на руки старика и, не давъ ему времени опомниться, вывелъ его изъ комнаты.

Очутившись въ сѣняхъ, они остановились и стали прислушиваться. Имъ послышались чьи-то голоса, сопровождаемые хохотомъ. Догадавшись, что весь этотъ шумъ выходилъ изъ квартиры Анны Ивановны, гдѣ, судя по времени, должна была ужь начаться пирушка, старикъ и гаеръ подошли къ двери, выходившей на дворъ.

— Услышатъ... дверь подлѣ... неси... Христосъ съ тобою! Господи! проговорилъ Яша, прикладываясь губами къ тому мѣсту, гдѣ скрывались ножки младенца, и призывая на помощь всѣ свои силы, чтобъ не разразиться воплемъ:—иди, батюшка! иди, Христосъ съ нимъ! счастливѣе будетъ! Ноньче такой день... я затѣмъ больше и ждалъ новаго года... ступай, батюшка!.. Господи!

Вѣтеръ врывался съ такою силою въ растворенныя ворота, что крутилъ снѣгъ даже въ сѣняхъ; морозъ, казалось, еще усилился: духъ захватывало, но Яша Жилетниковъ никакъ не могъ оторваться отъ сѣнной двери и продолжалъ крестить окоченѣвшею рукою младенца и тестя, хотя оба были ужъ давнымъ-давно на улицѣ.

Дѣдушка Герасимъ шелъ между тѣмъ своей дорогой. Дѣдушка Герасимъ былъ человѣкъ старый и, слѣдовательно, опытный, много извѣдалъ онъ на вѣку своемъ всякой всячины и больше всего горестей: приводилось видѣть, какъ умирали собственныя дѣти, привелось хоронить жену, и какъ еще хоронить! безъ гроша денегъ! случалось мерзнуть по цѣлымъ суткамъ и голодать по цѣлымъ недѣлямъ, и проч. и проч. Но всѣ испытанія, такъ по крайней мѣрѣ казалось ему въ настоящую минуту, ровно ничего не значили противъ того, что приводилось теперь испытывать.

Мудренаго нѣтъ: ни разу еще не случалось ему подкидывать

внучковъ; впечатлѣніе было ново, и потому-то самому сильно дѣйствовало. Онъ точно несъ подъ шинелью не младенца, но трехъ-пудовую гирю; колѣни его подгибались сами собою и стучали другъ о дружку немилосерднѣйшимъ образомъ; но хуже всего было то, что на глаза его поминутно набѣгали слезы и застилали зрѣніе, и безъ того ужъ довольно слабое. Это обстоятельство было причиною, что съ нимъ произошло именно то, чего онъ такъ опасался, когда завернулъ за уголъ и вступилъ въ сосѣдній переулокъ.

Противъ самыхъ оконъ Анны Ивановны (квартира золотильщика, если помнитъ читатель, выходила въ переулокъ), дѣдушка Герасимъ столкнулся носъ къ носу съ дядей Николаемъ, родственникомъ Анны Ивановны.

Старикъ хотѣлъ-было прошмыгнуть мимо, но дядя Николай ухватилъ его за шинель и назвалъ по имени. Отступать было поздно. Дядя Николай, освѣщенный съ одной стороны окномъ своей родственницы, съ другой стороны фонаремъ распивочной, представлялъ изъ себя безконечную длинную, сухую, комически мрачную и встрепанную фигуру съ остаткомъ картуза на головѣ, съ остаткомъ синяго длиннополаго кафтана на костлявыхъ плечахъ. Съ перваго же слова легко было догадаться, что онъ только-что вышелъ изъ распивочной и съ пользой провелъ тамъ время.

— Стой! произнесъ густымъ, надорваннымъ басомъ дядя Николай, стискивая пальцами воротникъ на шинели дѣдушки Герасима.—Стой!..

— Да пусти, сдѣлай милость... Ну, чего привязался, недосугъ, возразилъ старикъ, стараясь высвободить одною рукою шинель, тогда какъ другая рука поддерживала внучка.

— Стой!.. ты оттедова... долженъ знать... всѣхъ знать долженъ, какіе такіе у этой вѣдьмы... А я ихъ всѣхъ разобью... потому какъ она меня не пущаетъ... да, потому, выходитъ, всѣхъ разобью! мрачно проговорилъ дядя Николай, грозя кулакомъ въ окно Анны Ивановны, за которымъ раздавались голоса и хохотъ.

— Ну, да хорошо, хорошо, бей, пожалуй, только не держи... право некогда, пусти пожалуйста... сказалъ старикъ, прислушиваясь испуганнымъ ухомъ, не заплакалъ ли внучекъ.

— Погоди, стой!.. слышь, такъ имъ не пройдетъ... я имъ по-

кажу... потому какъ она вѣдьма меня не пустила, да ну я ей... слышь! слышь! крикнулъ вдругъ дядя Николай, окончательно выходившій изъ себя каждый разъ, какъ за окномъ говоръ и хохотъ раздавались слышнѣе.

— Фу ты, братецъ, какой право несообразный! да пусти же, говорятъ недосугъ!-досадливо приговорилъ старикъ, который, безъ сомнѣнія, давно бы урвался, еслибъ не боялся разбудить младенца.

— Стой!.. погоди!.. такъ, говорю, не пройдетъ!.. продолжалъ между тѣмъ бѣсноваться дядя Николай, яростно махая кулакомъ передъ окномъ: — я тебѣ покажу, вѣдьма ты евдакая, ехидная тварь! всѣхъ разобью!.. дамъ знать... слышь? слышь? пируютъ!.. кантуютъ!.. о! о! о!.. съ возраставшимъ гнѣвомъ крикнулъ обиженный дядя Николай, замахиваясь вдругъ обоими кулаками въ окно и какъ бы намѣреваясь разбить его въ дребезги. Онъ тутъ же, однакожь, перемѣнилъ страшное свое намѣреніе; надо полагать: духу не хватало, или чувство мести недостаточно еще созрѣло въ оскорбленной груди дяди Николая; пылая, вѣроятно, яростнымъ нетерпѣніемъ подкрѣпить одно и возбудить другое, онъ выпустилъ вдругъ шинель старика и опрометью, со всѣхъ ногъ, кинулся въ распивочную.

Дѣдушка Герасимъ торопливо подобралъ полы шинели, прикрылъ ими драгоцѣнную свою ношу и, немного, погодя достигнулъ противуположнаго угла переулка.

V.

ВЕЧЕРИНКА У АННЫ ИВАНОВНЫ.

Я смотрю съ невозмутимымъ равнодушіемъ на успѣхи моихъ пріятелей на поприщѣ жизни, искусствъ, наукъ и литературы. Меня не возмущаютъ бѣдняки, получающіе огромное наслѣдство; не возмущаетъ блескъ и великолѣпіе, которыми окружаютъ себя мои знакомые... Разсудокъ ясно говоритъ мнѣ, что завидовать всему этому, въ моемъ положеніи, такъ же нелѣпо, дико и безразсудно, какъ завидовать росту и сановитости страсбургской колокольни. При

всемъ томъ, однакожъ, я никакъ не могу побѣдить въ себѣ чувство зависти при видѣ нѣкоторыхъ общественныхъ положеній. Да, я завидую, напримѣръ, всѣмъ людямъ съ маленькимъ независимымъ состояніемъ, добытымъ собственными трудами; людямъ, живущимъ въ маленькихъ, но комфортабельныхъ и теплыхъ квартирахъ, за которыя выплачены деньги впередъ за весь годъ; людямъ, которые ровно никому не должны и никому не завидуютъ, которые вполнѣ довольны своимъ состояніемъ, довольны своею судьбою и могутъ, къ довершенію всѣхъ этихъ благъ, давать маленькіе вечера и веселые чайки своимъ добрымъ знакомымъ и пріятелямъ, словомъ: я завидую всѣмъ людямъ поставленнымъ въ положеніе... ну хоть бы (далеко идти не за чѣмъ), хоть бы въ положеніе Анны Ивановны. Да, я завидую Аннѣ Ивановнѣ: у нея нѣтъ доходныхъ помѣстьевъ, съ которыми связывается всегда столько хлопотъ. Вотчина ея заключается вся въ правой рукѣ ея; живетъ она въ теплой комнатѣ и платитъ всегда впередъ Василью Аѳанасьевичу; душа ея такъ же чиста, безгрѣшна и покойна, какъ у новорожденнаго младенца; капиталъ ея не великъ, но вѣренъ; доходы небольшіе, но позволяютъ ей давать вечеринки и приглашать къ себѣ такихъ людей, какъ, напримѣръ, Авениръ Михайловичъ, какъ Андрей Андреевичъ, пріятель Авенира Михайловича... Да, я завидую Аннѣ Ивановнѣ, завидую особенно въ послѣднемъ случаѣ, потому что такихъ людей, какъ Авениръ Михайловичъ, прошу замѣтить, немного. Богъ знаетъ, чѣмъ я готовъ пожертвовать, чтобъ хоть разъ, одинъ разъ, зазвать къ себѣ Авенира Михайловича! Но штука въ томъ, что Авениръ Михайловичъ не рѣшится пойти къ встрѣчному-поперечному; такъ и слѣдуетъ, впрочемъ: человѣку, какъ Авениръ Михайловичъ, который съ самаго дѣтства, можно сказать, вертѣлся между одними князьями да графами, согласитесь сами, не совсѣмъ прилично мѣшаться во всякую компанію. Мнѣ будетъ очень пріятно короче познакомить васъ хоть съ наружностью этого достойнаго молодого человѣка: въ настоящую минуту это весьма удобно: въ комнатѣ Анны Ивановны четыре свѣчки, двѣ на комодѣ, двѣ на окнѣ; намъ легко разсмотрѣть со всѣхъ сторонъ ея гостя. Если вамъ случалось любоваться лицами тѣхъ прекрасныхъ молодыхъ людей, которыхъ изображаютъ обыкновенно на вывѣскахъ портныхъ и парикмахеровъ, вамъ нечего описывать лицо

Авенира Михайловича: оно было нѣсколько изношено (художники всегда льстятъ оригиналу), но выигрывало непомѣрно отъ щегольски-закрученныхъ усиковъ, бакеновъ à l'anglaise и завиточковъ на лбу и вискахъ; волосы его подобраны на затылкѣ и съ боковъ на манеръ тѣхъ рыцарскихъ париковъ, въ которыхъ являются на сценѣ статисты. О фракѣ его говорить нечего; три года назадъ, фракъ этотъ красовался сначала на вѣшалкѣ у Шармера, потомъ на плечахъ одного молодого щеголя; въ то время еще всѣ столичные денди восхищались этимъ фракомъ, и даже заказали себѣ точно такіе; жилетъ, травянаго цвѣта былъ, можетъ статься, не соразмѣренъ съ тощею грудью Авенира Михайловича; но Авениръ Михайловичъ сохранялъ его на груди своей какъ предметъ, данный ему на память однимъ толстымъ господиномъ, погибшимъ параличомъ; та же уважительная причина заставляла носить неимовѣрно узенькіе сѣрые панталоны одного молоденькаго богача, умершаго весною чахоткой; впрочемъ, послѣднимъ предметомъ Авениръ Михайловичъ завладѣлъ самопроизвольно: привязанность къ молоденькому богачу увлекала его; ему хотѣлось во что бы то ни стало сохранить у себя память о немъ. Пестрый галстукъ (также чья-то память) лежалъ красивымъ бантомъ на манишкѣ Авенира Михайловича; не различаю отсюда, точно ли манишка у Авенира Михайловича... меня беретъ сомнѣніе, глядя на остроконечные воротнички, выглядывающіе изъ-за галстука и стѣсняющіе пышные бакены à l'anglaise... впрочемъ, могутъ быть и воротнички и манишка. Онъ сидѣлъ, живописно изогнувшись на стулѣ и устремивъ сѣрые глаза свои съ поволокою на Анну Ивановну, выбивалъ пальцами правой руки какой-то маршъ на столѣ, лѣвая нога его лежала на правой и граціозно балансировала,— обстоятельство, позволявшее различать не совсѣмъ надежную подошву. Въ общей сложности, гость Анны Ивановны не могъ назваться безукоризненнымъ франтомъ, не смотря даже на то, что каждая часть его костюма, отдѣльно взятая, принадлежала первымъ столичнымъ щеголямъ: кое-какіе швы пообносились, кое-какіе обшлага лоснились, какъ сафьянъ, кое-гдѣ недоставало пуговицъ; но все это тотчасъ же объяснится, когда я скажу вамъ, что въ настоящее время обстоятельства Авенира Михайловича были весьма плохи; съ кѣмъ, скажите на милость, этого

не случается! Но нѣтъ худа безъ добра: не будь такихъ обстоятельствъ, Авениръ Михайловичъ, весьма вѣроятно, не удостоилъ бы Анну Ивановну своимъ посѣщеніемъ. Онъ началъ за ней ухаживать съ того времени, какъ лишился послѣдняго своего мѣста; онъ думалъ амуры свести съ Анной Ивановной; не прочь даже былъ на ней жениться въ крайней надобности. Не далѣе какъ недѣлю тому назадъ, Авениръ Михайловичъ послалъ ей объяснительное письмо, начинавшееся такимъ образомъ: „Ничто не волнуетъ положеніе жизни, какъ мысль кинувшая быстрый полетъ коихъ душа возноситъ къ заповѣданнымъ чтимымъ благороднымъ очамъ! Душа ясная для васъ свѣтла; сердце благороднаго намѣренія для васъ открыто; помощь обѣщана, слѣдовательно частица надежды воздвигнута!...“ Изъ этого мы смѣло заключаемъ, что Анна Ивановна не прочь была, съ своей стороны, отдать свое сердце Авениру Михайловичу и даже обнадежила его какою-то надеждою.

Многіе утверждаютъ, будто Авениръ Михайловичъ имѣлъ виды не столько собственно на Анну Ивановну, сколько на ея капиталъ; весьма быть можетъ, но удивительнаго ничего нѣтъ: во-первыхъ, Анна Ивановна сама по себѣ не представляла ничего особеннаго, кромѣ того, развѣ, что папенька ея содержалъ когда-то цырюльню на Владимірской; тридцати-пяти лѣтъ, крошечная какъ опенокъ и такая же почти сморщенная—вотъ вамъ и вся Анна Ивановна; во-вторыхъ, Авениру Михайловичу предстояла крайняя надобность привести въ порядокъ свой гардеробъ: къ тому же и человѣкъ онъ еще былъ молодой, красивъ собою, любезенъ: требовалось немножко пожуировать жизнью, повеселить себя. Все это въ порядкѣ вещей, и я не нахожу тутъ достойнаго порицанія, тѣмъ болѣе, что пришлось бы послѣ этого осуждать многихъ моихъ друзей, знакомыхъ, пріятелей, что я никакъ не намѣренъ дѣлать.

Пріятель Авенира Михайловича былъ человѣкъ коротенькій, но толстенькій, черезъ-чуръ даже толстый, потому что сюртукъ его, и безъ того ужь ветхій, грозилъ разъѣхаться на спинѣ своего владѣльца; вы могли бы подумать, что Андрей Андреевичъ косилъ однимъ глазомъ; но это былъ только оптическій обманъ: Андрей Андреевичъ сидѣлъ наискосъ отъ маленькаго столика съ закусками

и съѣстными припасами, взятыми въ лавочкѣ, и такъ какъ онъ не отрывалъ глазъ отъ студня, до котораго былъ большой охотникъ, то, понятно, долженъ былъ косить глазами. Лицо Андрея Андреевича чрезвычайно глупо; самъ онъ, признаться сказать, сильно глупъ; но это ничего: онъ доволенъ собою—и дѣлу конецъ. Оба пріятеля сидѣли подлѣ круглаго стола, уснащеннаго всѣми возможными чайными принадлежностями, посреди которыхъ величественно возносился самоваръ, шипѣвшій и свистѣвшій на всѣ лады. Василій Аѳанасьевичъ и его тихвинскій родственникъ еще не являлись, но угощеніе ужь началось. Анна Ивановна совсѣмъ захлопоталась; она металась, какъ гумиластиковый мячикъ, перебѣгая отъ гостей къ столу, отъ стола къ гостямъ; маленькія щеки ея горѣли, частью отъ близкаго сосѣдства съ самоваромъ, но больше, повѣрьте, отъ присутствія Авенира Михайловича, который не переставалъ глядѣть на нее сѣрыми своими глазами съ поволокой.

— Авениръ Михайловичъ, еще чашечку... ну хоть одну разъединую! говорила Анна Ивановна голосомъ, замирающимъ отъ радостнаго чувства, наполнявшаго ея маленькую грудь.

— Нѣтъ-съ, этого будетъ, зачѣмъ же... Это, позвольте вамъ сказать... а впрочемъ, развѣ для вашего блезиру... извольте, готовъ!

— Ну хоть для меня... Ахъ, какъ вы говорите, просто заслушаешься—опасный человѣкъ! Выкушайте! восторженно возразила Анна Ивановна, покручивая головкой:—я ужь не знаю, что это такое съ вами нонече; вы обыкновенно такіе бываете охотники до чаю, а сегодня трехъ не выкушали... должно быть поздно обѣдали?

— Нѣтъ-съ, признаться сказать, вовсе не обѣдалъ, то-есть, не то, чтобъ... время не дозволяло, притомъ и фриштикалъ оченно поздно.

— Эхъ ты, команъ ву франсе, фимфъ ундъ цванцихъ — андеръ маниръ! неожиданно произнесъ Андрей Андреевичъ, отрывая глаза отъ студня.

Онъ хлопнулъ по плечу пріятеля и залился во все горло.

— Ну, теперь ужь пошелъ, пошелъ! расходился! сказалъ Авениръ Михайловичъ Аннѣ Ивановнѣ, которая ухватилась за бока и упала на стулъ.

— Ахъ, что это, что это... просто уморитъ совсѣмъ.

— Да-съ, я, знаете, вѣдь ужасно какой веселый человѣкъ, ей-Богу! и этакъ разъ, знаете, въ компаніи... началъ было Андрей Андреевичъ, но тутъ же остановился, потому что въ дверяхъ раздался шумъ, и вслѣдъ затѣмъ вошли Василій Аѳанасьевичъ и тихвинскій его родственникъ.

Василій Аѳанасьевичъ былъ въ длиннополомъ сюртукѣ и бѣломъ бумажномъ галстукѣ; одежда тихвинца состояла изъ купеческаго кафтана въ распашку, ситцеваго жилета, сапогъ, издававшихъ дегтярный запахъ, и полосущатыхъ шароваръ, запрятаныхъ въ сапоги. То былъ человѣкъ пожилой, въ пріемахъ его виднѣлись остатки гостинодворской галантерейности; въ голосѣ сохранились еще многія изъ тѣхъ живыхъ нотъ, когда, стоя, бывало, у Щукина, говорилъ онъ, протягивая руку къ лавкѣ:

— Ситцы, нанки, демикатоны, канифасы самые лучшіе, пожалуйте, у насъ покупали!

Однимъ словомъ это былъ еще препріятный человѣкъ, не смотря на свои пятьдесятъ лѣтъ.

— Господа, покорно прошу садиться, сказала Анна Ивановна, послѣ того, какъ гости ея обмѣнялись поклонами и пожатіями рукъ. Иванъ Тихонычъ, прошу покорно, безъ церемоніи, добавила она, обращаясь къ тихвинцу.

— Не извольте безпокоиться, мы сядемъ, не безъ любезности произнесъ тихвинецъ, усаживаясь на край стула, подгибая ноги и покрякивая.

Анна Ивановна бросилась къ чашкамъ и окончательно ужъ превратилась въ гумиластикъ.

Минуту спустя, въ рукахъ гостей появились чашки чаю и куски сахару; за первой чашкой послѣдовала тотчасъ же вторая, тамъ третья; присутствовавшіе не успѣли еще сказать двухъ словъ другъ другу, какъ ужъ самоваръ опустѣлъ совершенно.

— Гм! гм! началъ Василій Аѳанасьевичъ, опрокидывая чашку на блюдечко и придвигаясь вмѣстѣ со стуломъ къ Авениру Михайловичу:—давно не видались мы съ вами.

— Да-съ, давно не имѣлъ авантажу; дѣла, знаете... возразилъ тотъ, перекидывая правую ногу на лѣвую.

— Ну, что, сударь мой, какъ, осмѣлюсь спросить, дѣла ваши? въ послѣдній разъ, помнится, говорили...

— Да какъ вамъ сказать, все на той же точкѣ, перебилъ Авенировъ Михайловичъ.

— Не сыскали еще мѣста?

— Нѣтъ, мѣстовъ много; какъ въ такой обширности Петербурга не быть мѣсть! съ достоинствомъ возразилъ Авенировъ Михайхайловичъ:—да только мѣста, знаете, не такія, потому какъ я служилъ собственно въ княжескихъ домахъ, выросъ, такъ сказать, на паркетѣ, не приходится, понимаете, ко всякому...

— Это какъ есть, сказалъ тихвинецъ глубокомысленно.

— Вы, помнится, сказали, хотѣли къ доктору опредѣлиться? спросилъ Василій Афанасьевичъ.

— Это я такъ, знаете, больше для одного препровожденія времени, можно сказать; мѣсто совсѣмъ не такъ выглядитъ, не стоитъ заниматься.

Тутъ хозяйка дома перебила Авенира Михайловича, явившись съ тарелкой, наполненной финиками.

— Авенировъ Михайловичъ, вы это можете? сказала она, покручивая головкой.

— Почему-жъ не такъ-съ, для васъ можно-съ! съ обворожительною любезностью отвѣчалъ гость, протягивая руку и какъ бы желая обратить особенное вниманіе присутствующихъ на свой указательный палецъ:—привычка, оставшаяся у Авенира Михайловича съ тѣхъ поръ, какъ на этомъ пальцѣ сверкалъ стразовый перстень, но увы! перстень давно ужъ находился въ ученьи, то-есть въ закладѣ.

— Андрей Андреичъ, вы этого можете? сказала Анна Ивановна, поднося финики сосѣду.

— Самое милое купанье-съ, позвольте... заговорилъ Андрей Андреевичъ, запустилъ всю пятерню въ тарелку, поднялся съ

мѣста, всталъ на третью позицію и раскланялся съ комическою важностью.

Всѣ засмѣялись, не выключая золотильщика, въ хохотѣ котораго было что-то похожее на лошадиное ржаніе.

— Ахъ, это просто ужасти!... просто всѣхъ уморилъ... Ахъ!... воскликнула Анна Ивановна:—Иванъ Тихонычъ, вы этого можете? присовокупила она, измѣняя неожиданно интонацію и подходя къ тихвинцу.

— Съ нашимъ удовольствіемъ-съ.

— Анна Ивановна, гдѣ вы брали финики, въ лавочкѣ? спросилъ Василій Аѳанасьевичъ.

— Да-съ; а что, хороши?

— Отмѣнно, настоящій сахаръ.

— То-есть сдѣлайте ваше одолженіе, объѣденіе! промолвилъ Андрей Андреевичъ, снова выкидывая ногами какую-то штуку.

Всѣ засмѣялись.

Въ отвѣтъ на это изъ переулка и, какъ казалось, подлѣ самаго окна Анны Ивановны послышался басистый надорванный голосъ, и кто-то даже застучалъ въ раму.

— Кто-то стучитъ, Анна Ивановна: не къ вамъ ли? сказалъ Авениръ Михайловичъ, оборачиваясь къ окну.

— Должно быть, дядя Николай, сродственникъ Анны Ивановны, сказалъ недовольнымъ голосомъ золотильщикъ.

— Вѣрно онъ, подхватила съ явнымъ огорченіемъ Анна Ивановна:—онъ хоть мнѣ и съ родни по маменькѣ, а я, знаете, не могу его принять, и рада бы, но никакъ, знаете, невозможно; ужасти какой безпокойный человѣкъ!

— Вѣрно сюда-съ заливаетъ, кранкенъ, значитъ? промолвилъ Андрей Андреевичъ, щелкнувъ себя по галстуку и подмигивая всей компаніи.

— Просто, знаете, мѣры нѣтъ, никакой возможности! дошелъ, можно сказать, до самаго безобразія! отвѣчала Анна Ивановна. — главное, очень жаль семейство, знаете, съ самаго дѣтства. Помню,

когда еще папенька содержалъ цырюльню на Владимірской,—потому папенька свой капиталъ имѣлъ,—такъ и тогда ужь очень пилъ; и пустить къ себѣ, принять — разстроить всю компанію. Нѣтъ возможности, я ему и отказала; онъ, должно быть, и ходитъ теперь по нашему переулку, сердится, знаете...

— Выходитъ, примѣрно, человѣкъ разсудка своего не знаетъ, потому больше, сказалъ тихвинецъ, значительно двигая бровями.

— Алаберный самый человѣкъ, и больше ничего, ворчливо проговорилъ Василій Аѳанасьевичъ.

— Мы точно, какъ шли, это, къ вамъ, повстрѣчали какого-то человѣка супротивъ вашихъ оконъ, можно сказать: ужь и тогда былъ на точкѣ степени подъ шефе; должно быть, онъ и есть, произнесъ Авениръ Михайловичъ:—но вы, Анна Ивановна, напрасно себя безпокоите: предметъ такой, знаете, совсѣмъ нестоющій... Ну что, Василій Аѳанасьевичъ, какъ ваши собственныя дѣла? примолвилъ онъ, обнаруживая этимъ неожиданнымъ оборотомъ рѣчи удивительный тактъ и необыкновенную привычку свѣтскаго обращенія: — какъ, сударь мой, ваши собственныя дѣла?

— Да что, все жениться хочетъ! возразила повеселѣвшая Анна Ивановна.

— Что-жъ, доброе дѣло; холостой человѣкъ — сирота, все единственно, сказалъ тихвинецъ.

— И я хочу жениться! такую сыскать себѣ милушку-красоточку — разлюли, маширъ на хаузъ! воскликнулъ Андрей Андреевичъ, чмокнувъ толстыми своими губами.

Каждое движеніе Андрея Андреевича, сопровождавшееся почему-то хохотомъ, произвело точно также и теперь свое необыкновенное дѣйствіе на присутствующихъ.

При этомъ, стукъ въ оконную раму раздавался съ удвоенною силой.

— Ахъ, Боже мой! что же это? просто какое-то наказаніе, разстройство всей компаніи! воскликнула Анна Ивановна, отчаянно всплескивая руками.

— Нѣтъ, Анна Ивановна, что-жъ это въ самомъ дѣлѣ такое? Вѣдь онъ этакъ раму выбьетъ; такъ буйствовать не позволено! Я этакъ и въ полицію схожу, мнѣ не долго, сказалъ раздосадованный золотильщикъ.

— А что-жъ мнѣ дѣлать то? Василій Аѳанасьевичъ! проговорила Анна Ивановна, смущенная до-нельзя поведеніемъ своего родственника.

— Полноте, Анна Ивановна, я вамъ говорю — предметъ совсѣмъ не стоющій.

— Конечно не стоитъ сумлѣнія, подхватилъ тихвинецъ.

Шумъ за окномъ умолкъ, и снова водворилась веселость въ комнатѣ радушной Анны Ивановны.

— Такъ что-жъ, Василій Аѳанасьевичъ, смѣю спросить: зачѣмъ же дѣло стало? Невѣсть въ обширности Петербурга довольно, произнесъ Авениръ Михайловичъ, между тѣмъ какъ пріятель его, Андрей Андреевичъ, снова скосилъ глаза на студень.

— Какъ не быть невѣстамъ, невѣсть много, да все, этакъ, раздумье беретъ, дѣло не пустящее, разсудка требуетъ. А невѣсть много; каждый день смотришь, да все не то, не приходится, началъ золотильщикъ, пожимая губами: — вотъ хотя бы смотрѣлъ теперича въ Семеновскомъ полку; триста рублевъ чистыми деньгами, а все не приходится, не то.

— Что-жъ такъ?

— Да такъ: побочна дочь! съ особеннымъ удареніемъ проговорилъ золотильщикъ:—не приходится! Ну, такъ же глядѣлъ вотъ и въ Гороховой, признаться, и ничего нѣтъ; только дѣвочка, знаете, такая молоденькая, хорошенькая, и можно бы... да одна есть такая статья... Провѣдалъ я кое-что... ну и нельзя никакъ, не приходится... къ тому и денегъ-то нѣтъ, какъ я вамъ сказывалъ; одно къ одному. Глядѣлъ вотъ также третьяго дня на Васильевскомъ островѣ; всѣмъ бы взяла: дѣвочка молоденькая, хорошенькая такая, и приданое также порядочно, все бы хорошо: въ одной вотъ только статьѣ сумлѣнье беретъ...

— Что жъ такое?

— А знаете, бѣльмо на лѣвомъ глазу. Оно бы и ничего,

можно; да наше дѣло хозяйственное, не равно этакъ повздоримъ, не угодимъ въ чемъ, всяко бываетъ; размахнешься какъ нибудь, зацѣпилъ ее по правому глазу—совсѣмъ окривѣетъ; ну что я съ ней тогда стану дѣлать, съ слѣпой-то? Надо обсудить; женитьба не пустяшное дѣло; нѣтъ, никакъ невозможно, не приходится.

— Зачѣмъ же такъ? можно лаской. Пріятное обхожденье лучше всего, сказалъ Авениръ Михайловичъ, умильно поглядывая на хозяйку.

— Нѣтъ, не приходится, прямо возразилъ Василій Аѳанасьевичъ.—Анна Ивановна, промолвилъ онъ, неожиданно обращаясь къ хозяйкѣ и кивая ей головою на водку и закуску:—какъ вы думаете, нюра бы сдѣлать движеніе!

Анна Ивановна торопливо привстала съ мѣста, подошла къ комоду и вооружилась подносомъ.

— Господа, прошу дерзнуть, сказала она, обращаясь съ веселымъ видомъ къ своей компаніи.—Авениръ Михайловичъ, вы этого можете? прибавила она нѣжнымъ голосомъ и подошла къ избранному своего сердца.

Авениръ Михайловичъ былъ очень радъ приглашенію.

— Василій Аѳанасьевичъ, можете? сказала Анна Ивановна, подходя къ золотильщику.

Василій Афанасьевичъ не отказался.

— Иванъ Тихонычъ, вы этого можете?

Тихвинецъ былъ также не прочь. Что-жъ касается до Андрея Андреевича, онъ выпилъ съ величайшею готовностью три рюмки сряду. Обойдя всѣхъ гостей, хозяйка дома поставила водку на столъ и выразительно указала гостямъ на рюмки.

— Вотъ такъ-то будетъ лучше, сказала она съ невыразимою привѣтливостью.

Гости отвѣчали поклономъ и протянули поочередно руки къ рюмкамъ,—обстоятельство, которое не замедлило придать бесѣдѣ характеръ болѣе оживленный.

— Нѣтъ, Василій Аѳанасьевичъ, если этакъ судить, поз-

вольте вамъ сказать, никогда не найдемъ себѣ предмета, началъ Авениръ Михайловичъ: — пожалуй, что и вовсе не женимся. Вотъ я вамъ скажу, видѣлъ я разъ въ театрѣ одну такую ролю, какъ вы изволили разсказывать, точь въ точь. Вотъ тоже одинъ, знаете, человѣкъ сватался, сватался... та не приходится; эта, знаете, негодится, тѣмъ и рѣшилъ свою карьеру: холостякомъ на одной точкѣ остался; отлично было представлено!

— Ахъ, какъ бы мнѣ хотѣлось посмотрѣть на эту ролю! восторженно воскликнула Анна Ивановна: — въ какомъ это тіатрѣ ее показываютъ, Авениръ Михайловичъ?

— Въ Александрынскомъ-съ, а впрочемъ, и на другихъ также. При живности покойнаго князя я каждый день бывалъ въ театрѣ, проговорилъ Авениръ Михайловичъ, украдкою толкая локтемъ Андрея Андреевича, который протягивалъ руку безъ зазрѣнія совѣсти уже къ седьмой рюмкѣ.

— Ахъ, какъ это должно быть пріятно! я такъ вотъ давно ужъ не была въ тіатрѣ! сказала Анна Ивановна: — съ тѣхъ поръ не была, знаете, какъ папенька содержалъ цырюльню на Владимірской, потому, имѣя свой капиталъ, знаете...

— Полноте, Анна Ивановна, ничего нѣтъ хорошаго въ эвтихъ тіатрахъ; все это самое пустяшное дѣло; только какъ бы деньги сманить; какъ есть одинъ обманъ, одно надувательство! промолвилъ Василій Аѳанасьевичъ. — Вотъ я вамъ скажу, чего лучше, была здѣсь одна такая штукарка, Тальеновой звали, такъ вѣдь все потомъ оказалось, всѣхъ надула.

— Что вы?

— Право надула! какъ есть, всѣхъ обмишулила! Всѣ ѣздили смотрѣть на нее, и дворянство, и генералы, и подлинно, говорятъ: подпрыгнетъ это она на воздухъ да такъ съ полчаса и виситъ. Что-жъ бы вы думали? оказалось все внаружу, только денежки даромъ обирала. Стала это она отъѣзжать въ свою нѣмецкую сторону; пріѣзжаетъ на пароходъ, провожаютъ ее господа, смотрятъ, что вы думаете? а это у ней все крылья были подвязаны.

— Нѣтъ, Василій Аѳанасьевичъ, это быть не можетъ! воля ваша, а это не такъ, вмѣшался Авениръ Михайловичъ: — я самъ

сколько разъ видѣлъ Тальони при живности покойнаго князя. Точно, были у ней крылья, только собственно такъ, для одного виду... это не то, совсѣмъ не то: легкость она имѣла такую воздушную, повѣрьте, а ужь на счетъ, то-есть, лучше быть нельзя, настоящей графиней выглядитъ!

— Это такъ точно, справедливо изволили сказать, подтвердилъ тихвинецъ: — отмѣнно отличалась, это ужь на что лучше-съ!

— Ну, братъ, Иванъ Тихонычъ, тебѣ бы лучше не говорить про эвту Тальону; солоно, братъ, она тебѣ пришлась, помнишь?

— Да точно, случилась въ тѣ поры оказія-съ.

— Что же такое, Иванъ Тихонычъ? спросила Анна Ивановна.

— Да вотъ даромъ что зажиточный, возразилъ золотильщикъ, посмѣиваясь: — а по милости ея три дня улицы мелъ!

— Точно, былъ грѣхъ. Главная причина, выходитъ, на счетъ то-есть полиціи. Точно посидѣлъ три дня-съ.

— Ахъ, Боже мой! какъ же это?

— Да такъ-съ, городъ Питеръ, изволите видѣть, оченно то-есть отмѣнно хорошъ-съ, да на счетъ то-есть большую осторожность требуетъ соблюдать-съ. Въ тѣе пору, какъ Тальенова здѣсь была, и говоритъ мнѣ разъ жена, вотъ Василій Аѳанасьевичъ знаетъ-съ...

— Какъ же; Марфа Савишна!

— Такъ-вотъ-съ и говоритъ этто она мнѣ: „Иванъ Тихонычъ, говоритъ, покажьте, говоритъ, къ примѣру этакъ, покажьте, говоритъ, Тальену-то, что ни есть, говорятъ, первѣйшая статья!“ Почему-жъ, думаю, не уважить! Пять цѣлковыхъ, не конецъ разоренія, можно; взялъ, примѣрно, ложу въ пятомъ бель-этажѣ-съ, супруга-то моя поѣхала, знаете, самъ-одиннадцать; какъ водится, родственниковъ себѣ пригласила, дѣтокъ забрала, знаете-съ. Такъ я-съ, больше по тѣснотѣ, отъ народности, взялъ себѣ билетъ внизу въ мѣстахъ-съ; а ей по той же причинѣ, ради гостей, велѣлъ взять съ собой прохладительнаго: жарко, знаете, въ театрѣ; она, знаете, на ту бѣду и возьми кисленькихъ щецъ двѣ бутылочки. Хорошо-съ; вотъ сидимъ, каждый на своемъ мѣстѣ: публика съѣз-

жается и все этакое, знаете-съ, дворянство одно-съ; сидитъ каждый въ своей ложѣ и каждый-съ, понимаете, своимъ дѣломъ занимается. Хорошо; начинается представленіе: Тальена танцуетъ, музыка играетъ, публика хлопаетъ, все какъ слѣдуетъ-съ. Вдругъ, знаете, сынокъ мой Миколинька, самый младшій-съ, это въ ложѣ-то и говоритъ: „маменька, говоритъ, пить хочу, дайте кисленькихъ!“ Марфа Савишна моя и ну, знаете, съ пробкой-то, да и не совладала: пробка-то въ потолокъ-съ, а кислые-то щи и давай хлестать въ низъ-то, на нижайшую публику-съ! Дѣло, знаете, женское, оробѣла оченно... сидитъ съ бутылкой-то, оробѣла, а публика ужь поднялась съ своихъ мѣстовъ...: Смѣхъ такой пошелъ. Вижу, знаете, дѣло плохо-съ, надо хозяйку выручить. Вотъ я эвтакъ изъ-за мѣстовъ-то привсталъ-съ, пріосамился, самъ, понимаете, оробѣлъ ужь очень-съ, пріосамился, эвтимъ вотъ самымъ пальцемъ показываю ей, супругѣ-то... не видитъ-съ, я и крикнулъ: „Марфа Савишна! Марфа Савишна! перстомъ-то-съ, перстомъ!“ показываю ей на счетъ, то-есть, бутылку зажми! Откедова ни возьмись квартальный! Хвать меня эвтакъ за шиворотъ, да вонъ изъ тіятру; то-то вонъ оно и есть-съ, что робость-то бабья, значитъ-съ; оттого вся и оказія вышла.

— А еще хвалишь! вотъ оно и по театрамъ-то шляться! сказалъ Василій Аѳанасьевичъ.

— Нѣтъ, не говорите этого, Василій Аѳанасьевичъ! возразила Анна Ивановна: — конечно, съ Иваномъ Тихонычемъ случилась, можно сказать, непріятность, но, какъ они говорятъ, все больше по неосторожности ихной супруги. Нѣтъ, какъ можно, тіятръ самое пріятное удовольствіе... Я безпремѣнно пойду погляжу на ту ролю... вотъ что разсказывалъ Авениръ Михайловичъ.

— Позвольте мнѣ вамъ билетъ предоставить! сказалъ тотъ, расшаркиваясь.

— Зачѣмъ же вамъ безпокоиться?

— Какое же это можетъ составить безпокойство! самое пріятное будетъ препровожденіе времени!... да вотъ-съ и ходить по настоящему не для чего-съ, смѣясь, подхватилъ Авениръ Михайловичъ: — у насъ здѣсь есть, примѣромъ сказать, свой театръ на лучшій манеръ! присовокупилъ онъ, указывая на Андрея Андреевича, который тотчасъ же оторвалъ глаза

отъ студня и показалъ присутствовавшимъ пухлое, глупое лицо свое, порядкомъ уже раскраснѣвшееся: — онъ, пожалуй, покажетъ вамъ какую угодно штуку: мастеръ распотѣшить!... Ну-ка, Андрюша, тряхни!...

— Я?... я вѣдь, знаете, ужасти какой веселый человѣкъ! для компаніи готовъ на все... То-есть какъ угодно! шпрехензидейчъ Иванъ Андреичъ? вскричалъ весельчакъ, скорчивая рожу: — нѣтъ, андеръ-манеръ! прибавилъ Андрей Андреевичъ, стремительно подымаясь со стула и не совсѣмъ твердыми шагами выходя на средину комнаты. — Ахъ-ма, гаркнулъ онъ, чуть не шлепаясь на полъ: — что жъ вы?... Иванъ Тихонычъ, пойдемъ!

— Отъ чего-жъ, это можно-съ, сказалъ Иванъ Тихоновичъ, пріосанливаясь и выступая впередъ.

— Ай-да Иванъ Тихонычъ! вотъ люблю, ходи! воскликнулъ Андрей Андреевичъ, закидывая руки за спину и принимаясь вывертывать ногами, къ величайшему восторгу общества, которое разразилось громкимъ хохотомъ, затопало ногами и забило въ ладоши.

Такое поощреніе придало энергіи даже самому Ивану Тихоновичу; онъ тряхнулъ головою, присоединился къ Андрею Андреевичу, и оба засѣменили ногами, стукаясь другъ о дружку, какъ-будто ихъ встряхивали въ одномъ мѣшкѣ.

Публика между тѣмъ заливалась все звончѣе и звончѣе; Анна Ивановна просто захлебнулась; Авениръ Михайловичъ едва переводилъ духъ; Василій Аѳанасьевичъ топалъ ногами, билъ въ ладоши и хохоталъ своимъ лошадинымъ смѣхомъ; словомъ: всѣ были въ восторгѣ, какъ вдругъ... Но тутъ произошло такое событіе, о которомъ даже вспомянуть такъ страшно...

Представьте себѣ, что въ ту самую минуту, какъ восторгъ дошелъ до своихъ предѣловъ, раздался подлѣ окна ужаснѣйшій трескъ, тысячи осколковъ посыпались вдругъ на полъ, рама цѣликомъ влетѣла въ комнату, и въ отверстіи окна предстала грозная, вся преисполненная яростнаго гнѣва фигура дяди Николая!... Ужасная картина!

Секунду всѣ стояли какъ громомъ пораженные и вдругъ всѣ разомъ закричали: „держи! караулъ! держи! держи!“

*

Василій Аѳанасьевичъ и тихвинскій его родственникъ бросились въ окно и побѣжали по переулку въ погоню за злодѣемъ. Анна Ивановна всплеснула руками, вскрикнула и упала на стулъ; она, безъ сомнѣнія, упала бы на полъ, еслибъ не подоспѣлъ Авениръ Михайловичъ и ловко не подхватилъ ее за талію.

— Это ничего-съ... успокойте себя, Анна Ивановна... я съ вами... сказалъ онъ, оглядываясь вокругъ.

Но въ комнатѣ оставался одинъ лишь веселый Андрей Андреевичъ, и такъ какъ виднѣлись только ноги его изъ-за комода, Авениръ Михайловичъ чмокнулъ Анну Ивановну въ щеку и сильнѣе прижалъ ее къ своему сердцу.

Василій Аѳанасьевичъ и тихвинецъ стремились между тѣмъ по переулку; слова: „караулъ“ и „полиція“ производили магическое дѣйствіе на золотильщика; подобравъ фалды, онъ летѣлъ со всѣхъ ногъ, преслѣдуя бѣжавшаго во всѣ лопатки дядю Николая, встрепанная фигура котораго выставлялась каждый разъ, какъ на пути попадался фонарь.

Крики: „караулъ, держи!“ оглашали весь переулокъ. Изъ дверей и воротъ вылетали какъ ядра, дворники, кухарки, горничныя и мальчишки; всѣ бѣжали за Васильемъ Аѳанасьевичемъ и тихвинцемъ. Толпа бѣгущихъ и кричащихъ прибывала съ каждой секундой, и вдругъ все это разомъ остановилось и откачнулось, какъ-будто въ концѣ переулка неожиданно воздвигалась высокая плотина; вмѣстѣ съ этимъ послышался страшный, раздирающій крикъ дяди Николая, крикъ, возвѣстившій, что его схватили.

— Держи его, мазурика! держи! закричалъ, воодушевляясь, Василій Аѳанасьевичъ, протискиваясь помощью рукъ и ногъ въ самую чащу толпы.

— Держи! держи! подхватилъ подоспѣвшій тихвинецъ.

Неожиданную поимку дяди Николая и остановку бѣгущей толпы произвелъ, однакожъ, одинъ человѣкъ. Впрочемъ, человѣкъ этотъ могъ дѣйствительно замѣнить въ нѣкоторомъ родѣ плотину, еслибъ его положили поперегъ переулка: росту три аршина, косая сажень въ плечахъ. Въ ту секунду, какъ дядя Николай, отрезвившійся отъ страха, готовился повернуть за

уголъ, человѣкъ этотъ схватилъ его за шиворотъ и остановилъ сразу, какъ останавливалъ когда-то Милонъ Кротонскій скачущія колесницы. Однимъ словомъ: это былъ ни кто другой, какъ городовой квартала. Подлѣ него стоялъ будочникъ, человѣкъ малорослый и жидкій, но за то съ алебардой; оба держали дядю Николая, который ревѣлъ какъ бѣлуга, пронзенная острогою.

— Батюшки отпустите!... отцы мои!... виноватъ... батюшки, виноватъ, нелегкая попутала... никогда не буду!

— А?! что?! попался, мошенникъ! мазурикъ ты эвтакой! рамы бить, буйствовать! закричалъ Василій Аѳанасьевичъ, появляясь вдругъ изъ толпы и подымая оба кулака надъ дядей Николаемъ.

— Прочь! сказалъ городовой, отодвигая могучей рукою золотильщика:—назадъ! Чего сталъ? примолвилъ онъ голосомъ, обозначавшимъ непоколебимое спокойствіе духа, и обратился къ толпѣ, которая тотчасъ же попятилась: — чего стали? расходись... расходись!

— Но позвольте, Никандръ Степанычъ, какъ же это... позвольте! заговорилъ оскорбленнымъ голосомъ Василій Аѳанасьевичъ, снова выдвигаясь впередъ: — онъ раму у меня выбилъ! буйство, значитъ!... Вотъ и свидѣтели есть...

Кромѣ Ивана Тихоновича, въ толпѣ оказалось въ самомъ дѣлѣ множество свидѣтелей; всѣ разомъ заговорили; послышались даже женскіе голоса, которые утверждали положительно, что рама точно была выбита.

Дядя Николай клялся въ свою очередь, что никогда этого не бывало, что ничего такого за нимъ не важивалось.

— Ну, это не мое дѣло разбирать... я не сердцевѣдецъ! произнесъ наконецъ городовой: — тамъ разберутъ, я не сердцевѣдецъ, ступай! А вы расходись, что стали, расходись!... Сказавъ это, городовой приподнялъ виновнаго съ такою легкостью, какъ-будто въ рукахъ его находился одинъ картузъ дяди Николая, и повелъ его, сопровождаемый всей толпою.

Минуту спустя, въ переулкѣ было такъ же почти тихо, какъ въ пустынѣ. Изъ всей толпы оставались только Василій Аѳанасьевичъ и тихвинецъ.

— Ну хорошо же, сказалъ золотильщикъ, грозя кулакомъ вслѣдъ за дядей Николаемъ: — такъ, братъ, со мною не раздѣлаешься... завтра же пойду къ частному: выучатъ тебя, какъ бить хожайскія рамы!.. Пойдемъ покедова, Иванъ Тихоновичъ...

— Пойдемъ, Василій Аѳанасьевичъ, время.

Они не замедлили возвратиться къ Аннѣ Ивановнѣ. Тамъ все ужь было приведено въ порядокъ, кромѣ, можетъ быть, чувствъ самой хозяйки; но никто этого не замѣтилъ. Окно общими усиліями заложено было тюфякомъ, рюмки наполнились живительной влагой, всѣ снова усѣлись вокругъ стола, не выключая, разумѣется, и Андрея Андреевича, глупое лицо котораго мгновенно повеселѣло, какъ только встрѣтилось со студнемъ. Вечеринка продолжалась — и дѣло: дядя Николай разбилъ вѣдь только окно, а не бутылки.

VI.

НЕОЖИДАННАЯ ПРИБЫЛЬ.

Но гдѣ же дѣдушка Герасимъ и его маленькій внучекъ?.. А вотъ позвольте, всему пріидетъ свой чередъ, будетъ время, доберемся и до дѣдушки Герасима. Я здѣсь вовсе не сочиняю, а разсказываю только, какъ все произошло въ дѣйствительности, и придерживаюсь строжайшей исторической послѣдовательности. Эта самая причина заставляетъ меня перенестись на минуту въ одну улицу, находящуюся не въ далекомъ разстояніи отъ квартиры Яши Жилетникова, всего въ какихъ-нибудь трехъ-четырехъ поворотахъ, такъ что самый недобросовѣстный извощикъ (а такихъ очень много) никакъ не запроситъ больше гривенника, чтобъ проѣхать пространство отъ одной улицы до другой.

Улица темная. Мудренаго нѣтъ: она состоитъ большею частью изъ заборовъ, и только посрединѣ ея возвышался одинъ домъ, достойный нѣкотораго вниманія: небольшое каменное двухъэтажное зданіе, пять оконъ въ нижнемъ... виноватъ! въ нижнемъ этажѣ находилось всего три окна; крытый подъѣздъ, устроенный въ видѣ фонаря, занималъ мѣсто двухъ оконъ.

Въ то самое время, какъ вечеринка Анны Ивановны снова начала принимать свой оживленный, веселый характеръ, на подъѣздѣ этого дома происходило слѣдующее: одна половинка дверей отворилась и пропустила сначала лицо, потомъ туловище и наконецъ всю фигуру человѣка. Человѣкъ этотъ былъ, повидимому, просто человѣкъ, то-есть, лакей. Онъ оглянулся налѣво: глаза его встрѣтили одинокій фонарь, тускло горѣвшій въ отдаленіи; оглянулся направо: глаза его встрѣтили ту же заборную перспективу, оканчивающуюся фонаремъ. Онъ началъ прислушиваться... немного погодя, человѣкъ явственно различилъ торопливый, хотя тяжеловѣсный шумъ шаговъ.

— Севастьянъ, ты? спросилъ онъ.

— Я! отозвался чей-то грубоватый голосъ, и вслѣдъ за тѣмъ, посреди темноты обозначилась другая фигура, тоже, повидимому, лакейскаго происхожденія.

— Ну, что тамъ такое?

— Да ничего, мазурика ловили... окно вышибъ противъ распивочной... влѣзть хотѣлъ...

— Словили?

— Взяли; самъ Никандръ Степанычъ поймалъ: какъ фатитъ его за шиворотъ, да какъ гаркнетъ: „стой, какой есть такой человѣкъ?“ такъ инда и повалился!

— Много было народу?

— Отовсюду навалилось.

— Ну, а что, Саму и Варю не встрѣчалъ?

— Не видалъ; должно быть, не придутъ...

— Нѣтъ, придутъ, ужь это безпремѣнно придутъ, сами назвались вмѣстѣ новый годъ встрѣтить... какъ же не прійдти? я и угощенье приготовилъ; и мадерцы, и все такое... А каково я мадерцу-то поддѣдюлилъ, а? принялъ это со стола непочатую бутылку, понесъ въ буфетъ, да рядомъ пустую бутылку и кокнулъ... онъ и кричитъ: „что, говоритъ, тамъ такое?“ — „Виноватъ, говорю, сударь, непочатую мадеру разбилъ!..“ Проворчалъ только... а мадера-то теперь у меня подъ подушкой. Нѣтъ, какъ не прійдти, безпремѣнно придутъ!..

— Коли придутъ, такъ придутъ въ квартиру: дорога

извѣстная... чего здѣсь ждать на холоду... смотри еще, медвѣдь хватится...

— Нѣтъ, сидитъ-себѣ въ своей берлогѣ; чай отпилъ; приказалъ никого не пускать... гуляй, значитъ, весь вечеръ!

— Погоди... никакъ идутъ... сказалъ мрачный Севастьянъ.

— Должно быть, онѣ... Севастьянъ, спрячемся за дверь.

— Это зачѣмъ?

— Какъ пойдутъ этта къ подъѣзду, мы вдругъ и выскочимъ, какъ, дескать, сударыни, васъ зовутъ по имени, величаютъ по отчеству?.. то-то смѣхъ-то будетъ! Пойдемъ, спрячемся... ну-же; ужь близко...

Игривая мысль товарища нашла, вѣрно, сочувствіе въ сердцѣ мрачнаго Севастьяна; онъ поднялся на ступеньки подъѣзда и, секунду спустя, оба притаились за дверью.

Шаги между тѣмъ приближались. То были, однако жъ, какіе-то робкіе, нерѣшительные шаги. Минуты три спустя, шагахъ въ двадцати отъ дома, показался маленькій старичекъ, въ ветхой фризовой шинели и въ картузѣ, весьма близкомъ къ разрушенію. Онъ медленно, какъ словно нехотя, подвигался впередъ; боязливо, мало того, съ какимъ-то страхомъ озирался во всѣ стороны, и такъ бережно ставилъ ноги на снѣгъ, какъ-будто боялся нарушить тишину улицы. Щеки старика отдувались немилосерднѣйшимъ образомъ; это могло происходить отъ холода, хотя, признаться сказать, я никакъ не понимаю, почему отдуванье щекъ можетъ предохранить человѣка отъ стужи; но, вѣрнѣе, щеки старика отдувались отъ усталости; въ рукахъ его находился довольно полновѣсный узелъ; старикъ то и дѣло придерживалъ его колѣномъ.

Поровнявшись съ домомъ, старикъ остановился и снова оглянулся на всѣ стороны; но тишина мертвая царствовала вокругъ... изрѣдка лишь, гдѣ-то далеко, раздавался шумъ ѣдущихъ экипажей... Старикъ высвободилъ одну руку изъ-подъ шинели, набожно перекрестился, потомъ перекрестилъ свою ношу, снялъ съ себя шинель, окуталъ ею свой узелъ и бережно опустилъ его на подъѣздъ.

— Господи!.. до чего дожили... прошепталъ онъ дрожа-

щимъ голосомъ:—ну да что тутъ!.. Будь воля Божья!.. Христосъ сохрани тебя... и помилуй насъ грѣшныхъ!..

Тутъ онъ снова перекрестилъ узелъ, провелъ ладонью по глазамъ, тряхнулъ мокрыми пальцами по воздуху и, отдувая болѣе чѣмъ когда-нибудь свои щеки, пошелъ въ обратный путь...

Но не успѣлъ онъ сдѣлать и пяти шаговъ, какъ почувствовалъ себя въ крѣпкихъ рукахъ.

— Стой, мошенникъ! стой! такъ вотъ ты зачѣмъ пожаловалъ? закричалъ мрачный Севастьянъ съ неожиданнымъ воодушевленіемъ.—Стой! Петрушка, тащи его!..

— Небось, не вывернется, держу!

— Батюшки! отцы родные! воскликнулъ дѣдушка Герасимъ:—помилуйте!.. я такъ только...

— Знаемъ мы; только!.. Ахъ ты, мошенникъ ты этакой! дѣтей подкидывать, а? Тащи его, Петрушка! тащи! тащи! подхватилъ Севастьянъ, увлекая старика къ подъѣзду:—тащи! Вишь какой нашли здѣсь Воспитательный домъ!.. вишь, что выдумали!

— Батюшки, не зналъ я... охъ! дайте хошь ребенка-то взять!..

— Бери, бери! его-то намъ и надо! Веди, Петрушка, присовокупилъ Севастьянъ, когда ребенокъ очутился въ рукахъ дяди Герасима, который дрожалъ всѣмъ тѣломъ и кидалъ растерянные взгляды вокругъ.

Севастьянъ и Петръ повели его по темной лѣстницѣ, не переставая держать его за руку. На второмъ поворотѣ Севастьянъ отворилъ дверь, обитую сукномъ, и всѣ трое вошли въ небольшую, но чрезвычайно теплую прихожую, освѣщенную топившеюся печкой.

Мысли и чувства дѣдушки Герасима находились, какъ вы можете себѣ представить, въ ужаснѣйшемъ потрясеніи; но, не смотря на то, онъ невольно принялся раздувать свои щеки съ явнымъ удовольствіемъ,—такъ благотворно подѣйствовала на него теплота, его охватившая; удивительнаго ничего нѣтъ: онъ разстался съ тепломъ съ самаго почти іюля, этого благодѣтельнаго іюля, согрѣвающаго даромъ, безплатно! Казалось,

даже самый младенецъ на рукахъ дѣдушки Герасима обрадовался теплой комнатѣ: смирный до сихъ поръ, онъ вдругъ закричалъ благимъ матомъ! Въ отвѣтъ на это изъ сосѣдней комнаты послышался другой младенческій крикъ. Дѣдушкѣ Герасиму почудилось въ первую секунду, что то было эхо, и опять-таки тутъ не было бы ничего удивительнаго, потому что во всей квартирѣ царствовала такая же мертвая тишина, какъ и на улицѣ; но каково же было удивленіе старика, когда изъ ближайшей двери показалась вдругъ сытая, румяная кормилица съ ребенкомъ на рукахъ.

— Ну, пропалъ! совсѣмъ пропалъ! подумалъ старикъ:— какъ же это сказывали—у него дѣтей не было?.. сказывали— холостой человѣкъ... Пропала моя головушка... фу, фу, конченное, значитъ, дѣло!..

Въ то время какъ онъ размышлялъ такимъ образомъ, лакей Петръ запиралъ на ключъ выходную дверь, а лакей Севастьянъ шелъ съ докладомъ въ кабинетъ своего господина.

Кабинетъ выходилъ окнами на дворъ и занималъ всю заднюю часть дома. Изъ этого можете заключить, что кабинетъ обширенъ. Онъ былъ въ самомъ дѣлѣ такъ великъ, что лампа, поставленная у оконъ и прикрытая абажуромъ, могла освѣщать только одну половину комнаты; другая половина затеривалась въ потемкахъ; вздрагивающее пламя полупогасшихъ угольевъ въ высокомъ каминѣ изрѣдка лишь бросало багровый, трепещущій свѣтъ на безчисленные ряды полокъ съ книгами и позволяло различать старинные низенькіе турецкіе диваны, обтертое зеленое сукно на полу, мѣдныя катушки креселъ, обтянутыхъ сафьяномъ. Въ освѣщенной половинѣ кабинета виднѣлись тѣ же полки съ книгами, подымавшіяся съ полу до потолка; кое-гдѣ сверкали химическіе снаряды: стеклянные тонкогорлые сосуды, тонкія стеклянныя трубочки, изломанныя на всѣ возможные лады, пузырьки съ цвѣтными жидкостями, ящики съ минералами; неподалеку отъ лампы висѣлъ на гвоздѣ скелетъ, отбрасывавшій на сосѣднюю стѣну зубчатыя, фантастическія тѣни; противъ оконъ вытягивался длинный-длинный столъ, заваленный бумагами, свертками, фоліантами, хирургическими инструментами, восковыми раскрашенными моделями, изображавшими многосложные, запутанные органы человѣческаго тѣла. Подлѣ старин-

ной чугунной чернильницы, въ видѣ готическаго храма, лоснился распиленный пополамъ черенъ, служившій песочницей. Все въ этой комнатѣ пахло или докторомъ, или ученымъ, не, ужь во всякомъ случаѣ, пахло старымъ холостякомъ. Какой-то сгущенный, неподвижный воздухъ, какъ-будто пропитанный запахомъ мыши, воздухъ, свойственный вообще всѣмъ жилищамъ старыхъ холостяковъ, воздухъ, ужь располагающій почему-то къ ипохондріи, сдавливалъ ваше дыханіе; пыль на книгахъ и на полкахъ, безпорядокъ въ бумагахъ, лежавшихъ кое-гдѣ, даже на полу, ясно показывали, что въ комнатѣ никогда и ни къ чему не прикасалась женская рука. Кабинетъ этотъ и предметы, его наполнявшіе, повѣствовали вамъ цѣлую исторію: видно было, что здѣсь въ продолженіе многихъ и многихъ лѣтъ сосредоточивалась жизнь одинокаго труженика. Владѣтель кабинета былъ дѣйствительно и холостякъ, и ученый медикъ, давно, впрочемъ, болѣе десяти лѣтъ оставившій практику.

Благодаря царствующей вокругъ тишинѣ, въ первую минуту легко было не замѣтить его присутствія.

Онъ сидѣлъ противъ камина въ широкихъ вольтеровскихъ креслахъ; ноги его, закутанныя шелковымъ стеганнымъ халатомъ, покоились на рѣшеткѣ камина.

То былъ человѣкъ полный, но полноты болѣзненной, свойственной только темпераментамъ лимфатическимъ, ипохондрикамъ, сидячимъ, или, наконецъ, людямъ, вся дѣятельность которыхъ сосредоточивается въ одномъ мозгу. Выпуклый лобъ доктора значительно преобладалъ надъ другими частями лица; маленькіе черные глаза, не лишенные еще блеска, но постоянно задумчивые и какъ-бы прикованные къ одной точкѣ, уходили далеко въ свои впадины; мягкіе, плоскіе волосы, когда-то черные, какъ смоль, начинали серебриться—вѣрный знакъ излишняго труда и усиленнаго мышленія, потому что, сколько извѣстно, докторъ не былъ подверженъ ни сильнымъ головнымъ болямъ, ни сильнымъ огорченіямъ, имѣющимъ также свойство преждевременно серебрить человѣческія головы; густыя, но мягкія и гладкія брови показывали, впрочемъ, что жизнь этого человѣка прошла ровно, тихо, и не была подвержена особеннымъ бурямъ, страстямъ, испытаніямъ. Волосы, закинутые назадъ, открывали маленькія женскія уши необыкновенно тонкаго, нѣжнаго рисунка, вѣрный, несомнѣн-

ный знакъ необычайной деликатности чувствъ, соединенныхъ съ природною скрытностью. Наружность доктора не имѣла, однакожъ, ничего привлекательнаго: все въ ней было какъ-то кругло и мясисто; желтизна кожи на вискахъ, на лбу и вокругъ глазъ выказывала нравъ желчный, раздражительный; онъ глядѣлъ какъ-то ворчливо, несообщительно; вся фигура его сохраняла характеръ какой-то грубоватости, разумѣется, только наружной грубоватости, что̀ дѣлало доктора весьма похожимъ на тѣ неуклюжіе, уваловатые пни, въ глубинѣ которыхъ скрывается кубышка съ золотомъ: всякій пройдетъ мимо и не обратитъ вниманія, и тѣ только, которымъ открылся кладъ, прощаютъ такимъ пнямъ ихъ грубую, неуклюжую оболочку; но дѣло въ томъ, что такого рода клады даются весьма рѣдко.

Положивъ локоть на ручку креселъ, опустивъ голову въ ладонь, докторъ задумчиво глядѣлъ на догоравшіе уголья камина.

Никогда еще, можетъ быть во всю свою жизнь, не чувствовалъ онъ такъ сильно своего одиночества. Каждый годъ проводилъ онъ этотъ самый вечеръ новаго года въ своемъ кабинетѣ и встрѣчалъ его при тѣхъ же условіяхъ; одиночество было ему, слѣдовательно, въ привычку. Но есть минуты въ жизни человѣка, мыслящаго и чувствующаго, минуты, когда нежданно заговорятъ въ сердцѣ всѣ подавленныя, давно молчавшія чувства; когда въ потемнѣвшей душѣ нашей отразятся вдругъ, подобно тому, какъ отражаются на темной стѣнѣ радужные образы волшебнаго фонаря, отразятся свѣтлыя картины давно минувшаго счастливаго дѣтства, когда въ ушахъ нашихъ нежданно, точно изъ другого міра, зазвучатъ вдругъ родственные, близкіе намъ голоса. Въ такія минуты, повѣрьте, сердце и чувства, въ немъ воскреснувшія, берутъ верхъ надъ всѣми возможными привычками одиночества, и дѣлается намъ поневолѣ и горько, и грустно! Да, никогда еще, во всю свою жизнь, не сознавалъ докторъ такъ глубоко своего одиночества, никогда не тяготился имъ такъ сильно. Мы можемъ сказать въ свою очередь, что новый приближающійся годъ особенно сильно способствовалъ къ такому расположенію. Мысли доктора невольно переносили его во всѣ безчисленные знакомые ему дома огромной столицы; всюду встрѣчалъ онъ радостныя лица, всюду встрѣчалъ собравшихся родныхъ и друзей, радостно устремившихъ глаза на часовую стрѣлку, близившуюся къ полуночи. Мысли его стре-

мительно уносились тогда въ глубокую даль давно-прошедшаго времени; передъ нимъ возникали картины его дѣтства, и тамъ встрѣчалъ онъ тѣ же радостныя лица, встрѣчалъ тѣ же живые, нетерпѣливые взгляды, обращенные къ часовой стрѣлкѣ. Но прошедшее давно завѣсилось непроницаемою пеленою, давно не существовало; будущее терялось въ непроницаемомъ мракѣ; онъ былъ одинъ, одинъ въ цѣломъ свѣтѣ въ настоящую минуту; и часовая стрѣлка, приближавшаяся къ полуночи, и радости этого вечера не имѣли для него никакого смысла и значенія. Онъ мысленно сталъ перебирать всю свою жизнь, стараясь дознаться, не заключалось ли въ его природѣ какихъ-нибудь нравственныхъ или органическихъ причинъ, которыя сдѣлали изъ него такое грустное противонормальное исключеніе: онъ перешелъ прямо къ эпохѣ своей юности. Онъ увидѣлъ себя круглымъ сиротою, въ нуждѣ, которая заставляла его просиживать напролетъ цѣлыя ночи, заставляла работать и учиться не въ примѣръ противъ товарищей; онъ былъ одинокъ, и только трудомъ однимъ могъ держаться на ихъ уровнѣ; вся юность его прошла въ трудахъ; онъ не имѣлъ времени отдаваться увлеченіямъ, свойственнымъ его возрасту. Молодость его промелькнула почти незамѣтно. Онъ перенесся тогда къ эпохѣ своего возмужалаго возраста, когда наука стала открывать передъ нимъ свои тайны, когда она превратилась въ страсть и увлекла его, когда онъ весь, всѣмъ существомъ, всѣми своими помыслами и чувствами, отдался наукѣ. Онъ посвящалъ ей все свое время и ни о чемъ больше не думалъ. Онъ жилъ не такъ, какъ жили другіе люди: жилъ вдали отъ всѣхъ, жилъ въ исключительной сферѣ мистическихъ таинствъ природы, въ мірѣ открытій, обращавшихся на пользу и благо человѣчества. Такъ дожилъ онъ до сорокалѣтняго возраста. Онъ увидѣлъ себя окруженнымъ славой, богатствомъ. Мысленно перелистывая такимъ образомъ день за день, годъ за годъ всю свою жизнь, какъ листки фоліанта, дошелъ онъ до настоящей минуты и спросилъ себя наконецъ о результатѣ пройденнаго поприща жизни; спросилъ себя: къ чему привели его и слава, и деньги, и наука, и познанія? спросилъ себя, почему, несмотря на славу, деньги и познанія, онъ чувствовалъ себя, однако жъ, такъ глубоко несчастливымъ и одинокимъ?... О! какими ничтожными, шаткими и мелкими показались ему въ эту минуту человѣческія стремленія и убѣжденія. Вечеръ новаго года, не болѣе какъ этотъ вечеръ, опрокидывалъ навзничь и разбивалъ

въ дребезги всѣ его убѣжденія—плодъ долгихъ размышленій, всѣ убѣжденія, жившія столько лѣтъ въ душѣ его и двигавшія всею его жизнью. Въ эту минуту онъ охотно отдалъ бы всю свою славу, всѣ свои деньги и познанія, чтобъ въ этотъ вечеръ огонь камина освѣщалъ дружеское и женское лицо и радостныя лица маленькихъ дѣтей! Нѣтъ, никогда еще подобная мысль не вторгалась такъ назойливо въ сердце доктора, никогда не тяготило его такъ сильно одиночество.

Мысль о дѣтяхъ невольно перенесла его къ ребенку, котораго подкинули ему на прошлой недѣлѣ. Онъ ухватился за эту мысль, какъ утопающій хватается за соломенку. Секунду спустя, сердце его стѣснилось еще пуще прежняго: онъ прожилъ ужь время сердечныхъ увлеченій и привязанностей. Прошлаго не воротишь, да и въ будущемъ не предстояло радостей: ему ужь не дождаться времени, когда подкинутый ребенокъ займетъ мѣсто въ его осиротѣломъ сердцѣ и будетъ имѣть значеніе въ его жизни. Онъ снова оглянулся на пройденное поприще жизни, но на этотъ разъ уже съ какимъ-то страхомъ и отчаяніемъ. Ему хотѣлось узнать, не найдется ли хоть одного человѣка въ цѣломъ мірѣ, которому былъ бы онъ особенно близокъ или дорогъ, котораго привязалъ бы онъ къ себѣ какимъ-нибудь добрымъ дѣломъ, хотя словомъ однимъ; онъ мысленно кинулся въ мелочи жизни, сталъ припоминать мельчайшіе случаи; нѣтъ, никого не могли привязать холодные совѣты, внушенные долгомъ, никого не трогало холодное воззрѣніе на человѣка съ ученой точки зрѣнія. Онъ сталъ припоминать тогда, не былъ ли онъ причиной, хотя невольной, чьихъ-нибудь страданій, огорченій; не заплатилъ ли кому-нибудь неблагодарностью, не оскорбилъ ли кого-нибудь грубымъ, жестокимъ, незаслуженнымъ словомъ, и нашелъ множество такихъ случаевъ. Такъ, переходя отъ одной мелочи къ другой, вспомнилъ онъ, что не далѣе, какъ годъ тому назадъ, потерялъ онъ бумажникъ съ деньгами, что бумажникъ былъ возвращенъ ему на другой же день полиціею, что въ этотъ день находился онъ въ какомъ-то особенно желчномъ раздражительномъ расположеніи духа; онъ не позаботился даже освѣдомиться о человѣкѣ, возвратившемъ ему деньги, не позаботился неблагодарить его, хотя зналъ, что человѣкъ, возвратившій ему деньги, находился въ крайней бѣдности. Поступокъ этотъ и многіе другіе въ томъ же родѣ заставляли его бросить мысленно

взглядъ на остающіеся дни его поприща, и сердце его наполнилось желаніемъ загладить какимъ-нибудь добрымъ дѣломъ такъ безплодно, такъ холодно проведенные годы; ему хотѣлось во что-бъ ни стало найти человѣка, въ которомъ могъ бы онъ возбудить къ себѣ чувство привязанности, хотя самой слабой сердечной привязанности, которая въ этотъ печальный вечеръ новаго года казалась ему во сто разъ дороже и славы, и денегъ, и обширныхъ познаній.

Такого рода мысли занимали доктора, когда ручка кабинетной двери застучала и на порогѣ показался мрачный Севастьянъ.

Увидя его, докторъ сдѣлалъ движеніе человѣка, котораго неожиданная трескотня, разрушающаяся кровать, оторвавшаяся полка пробуждаютъ отъ сна.

Не дождавшись вопроса, Севастьянъ передалъ съ необычайнымъ жаромъ и торопливостью происшествіе, случившееся за минуту передъ тѣмъ на подъѣздѣ.

Докторъ быстро поднялся съ своего мѣста, причемъ на лицѣ его отразились всѣ признаки нетерпѣнья и досады; но онъ мгновенно, однако жъ, овладѣлъ собою, приказалъ Севастьяну ввести старика, и, пройдясь раза два по кабинету, вошелъ въ столовую.

Дѣдушка Герасимъ стоялъ ужь въ дверяхъ, держа на рукахъ внучка, который, какъ на зло, кричалъ немилосерднѣйшимъ образомъ.

— Что ты за человѣкъ? отрывисто спросилъ докторъ, оглядывая старика строгимъ, проницательнымъ взглядомъ.

— Сударь!... ваше высокоблагородіе... простите! проговорилъ дѣдушка Герасимъ, дѣлая движеніе, чтобъ стать на колѣни.

— Я тебя спрашиваю: что ты за человѣкъ? повторилъ докторъ, удерживая его.

— Шарманщикъ, сударь! отвѣчали въ одинъ голосъ Севастьянъ и Петрушка, высовываясь изъ прихожей.

— Нѣтъ, сударь, нѣтъ, подхватилъ дѣдушка Герасимъ:— то-есть дочь моя съ шарманкой ходила... а я, сударь, ваше благородіе... больше, то-есть, играю... то-есть, на счетъ кларнета по этой части...

— Пьянчужка какой-нибудь! нетерпѣливо перебилъ докторъ.

Раскраснѣвшееся лицо дѣдушки Герасима и особенно носъ его, пылавшій какъ раздутый уголь, произвели, повидимому, непріятное впечатлѣніе на доктора; онъ не зналъ, да и гдѣ жъ было знать ему, что дѣдушка Герасимъ провелъ весь день на морозѣ, и потому приписалъ необыкновенную красноту носа такимъ причинамъ, которыя ставили старика въ самое невыгодное мнѣніе.

— Пьянчуга! повторилъ онъ.

— Помилуйте, сударь!... я... то-есть...

— Негодяй! присовокупилъ докторъ.

— За что же, сударь?... оно, то-есть, конечно, виноватъ передъ вами... а только за нами, то-есть, никакого, сударь, не водится художества... мы, сударь, честные люди!...

— Это по всему видно!... хороша честность: прійдти, самъ не зная куда и къ кому, и подкинуть ребенка. Можетъ даже быть свое собственное дѣтище... Чей это ребенокъ?

— Мой... то-есть, нашъ, сударь... внучекъ, сударь... родной внучекъ!...

— Еще лучше!

— Ахъ, сударь, сударь! съ отчаяньемъ воскликнулъ дѣдушка Герасимъ:—вѣдь сердце-то, сударь, и у насъ есть! чувствіе есть, сударь!... Развѣ намъ не жаль растаться съ нимъ?... Мы, сударь, я да зять мой, можетъ, пятеро сутокъ не пимши, не ѣмши сидѣли, все объ немъ сомнѣвались!... Нужда, сударь, заставила!... Пятеро дѣтей, малъ-мала меньше, ѣсть, сударь, просятъ, а дать нечего!... Думали, авось хоть этотъ посчастливѣе будетъ... объ васъ, сударь, слыхали... благодѣтель, говорятъ... холостой!... ну мы и того... то-то вотъ, сударь, не знамши-то!... Простите, сударь, помилуйте! А на счетъ, то-есть, художествомъ никакимъ мы, сударь, не занимаемся, жили, сударь, честность соблюдали... вотъ хоть бы теперича зять мой, сударь, прошлаго года, вотъ объ эвту почитай пору, бумажникъ нашелъ...

— Какой бумажникъ? спросилъ докторъ съ необыкновенною живостью.

— Да извѣстно, сударь, какіе такіе бываютъ; только на-

шелъ съ деньгами; сказывали тысяча была!... а вѣдь не польстился же: все въ полицію предоставилъ!... Сказывали намъ, дохтуръ вишь какой-то обронилъ, можетъ, вы его и знаете, ваше благородіе... объ этомъ, сударь, и въ газетахъ распечатали... Нѣтъ, сударь, жили мы завсегда по честности, какъ слѣдуетъ, а не то, чтобъ другимъ, то-есть, какимъ манеромъ...

Но докторъ не слушалъ ужь дѣдушку Герасима; закинувъ руки за спину, онъ торопливо ходилъ взадъ и впередъ по столовой: онъ казался взволнованнымъ. Досадливое выраженіе исчезло съ лица его. Внезапно веселая какая-то мысль освѣтила какъ-будто черты его; но это продолжалось всего секунду; онъ снова вдругъ нахмурился; видно было, однако жъ, ясно ужь было видно, что многихъ усилій стоило ему сохранить такую маску.

— Все равно, сказалъ онъ голосомъ, очевидно слишкомъ ужь басистымъ, чтобъ быть естественнымъ: — все равно! бѣдность не оправдываетъ такой поступокъ! Подкидывать дѣтей!... Съ чего вы взяли въ самомъ дѣлѣ превращать мой домъ въ Воспитательный? Твоему зятю угодно было народить множество дѣтей, а я долженъ отвѣчать — вотъ новость! Съ чего вы это взяли? а? Съ чего вы это взяли? я тебя спрашиваю. Мало того, что на прошлой недѣлѣ вы подкинули мнѣ одного ребенка, теперь пришли подкидывать еще другого, а?!...

— Помилуйте, сударь!... Христосъ съ вами, сударь!... проговорилъ дѣдушка Герасимъ, столбенѣя отъ удивленья и ужаса.

— Вы подкинули, вы! больше не кому! Я вижу теперь ясно, вы подкинули!

— Христосъ съ вами, сударь! помилуйте!... помилуйте, ваше высокоблагородіе!... Да у насъ всего-на-всего одинъ только грудной и есть... помилуйте, сударь, я... мы...

— Разсказывай, любезный! Развѣ не могла у васъ родиться двойня? развѣ этого не бываетъ? а?

— Батюшка!...

— Полно, любезный, разговаривать, перебилъ докторъ, едва-едва удерживаясь: — очень радъ, что судьба натолкнула тебя сюда; очень радъ! Возьми своихъ внучатъ и ступай... да благодари еще, что такъ сошло... Эй! позвать сюда кормилицу!

— Помилуйте, сударь... что же это будетъ такое?... отчаянно воскликнулъ старикъ, которому представилась вдругъ страшная картина того, какъ является онъ домой съ двумя ребенками, да еще съ однимъ чужимъ въ придачу. — Батюшка! подхватилъ онъ, и безъ сомнѣнія упалъ бы на колѣни, еслибъ не помѣшалъ ему внучекъ: — сударь, да разрази меня Богъ на эвтомъ самомъ мѣстѣ, нашли на меня всѣ несчастія, коли я другого подкинулъ...

— Знать ничего не хочу! позвать сюда кормилицу! позвать кормилицу! кричалъ между тѣмъ докторъ, отворачиваясь къ двери, чтобъ скрыть смѣющееся лицо свое. Марья, прибавилъ онъ, обращаясь къ кормилицѣ, которая входила съ младенцемъ на рукахъ: — ты, Марья, кормила ребенка?

— Сейчасъ, сударь, только отъ груди отняла.

— Хорошо; ну, такъ отдай же его этому человѣку.

— Батюшка! ваше высокоблагородіе!... да это вѣдь погибель наша! что-жъ мы дѣлать-то станемъ?

— Возьми его, говорю, сейчасъ же бери, и чтобъ васъ не было здѣсь чрезъ минуту.

— Батюшки! отцы мои! завопилъ дѣдушка Герасимъ, когда положили ему на руки второго ребенка, закутаннаго съ головы до ногъ въ шубейку кормилицы. Да нѣтъ же, сударь... нѣтъ, власть милости вашей... нельзя этого... сударь... никакъ нельзя!

— А, когда такъ, я сейчасъ же пошлю за полиціей!... Ступай! Петръ, выведи его на улицу!

— Позвольте слово только одно... я...

— Ни слова... выведите его на улицу! сказалъ докторъ, указывая рукою на дверь. Севастьянъ, заключилъ онъ, когда старикъ, два ребенка, Петръ и кормилица исчезли въ дверяхъ прихожей.

Явился Севастьянъ.

— Ступай слѣдомъ за этимъ старикомъ, сказалъ докторъ, понижая голосъ, но смотри, такъ, однако жъ, чтобъ онъ никакъ этого не замѣтилъ... въ противномъ случаѣ, завтра разсчетъ и паспортъ, слышишь?

— Слушаю-съ, будьте благонадежны.

— Ну, такъ ступай же скорѣй; высмотри хорошенько, куда онъ пойдетъ, узнай его квартиру и тотчасъ же пріѣзжай сказать мнѣ обо всемъ. Смотри же, не зѣвай! Да вели сказать кучеру, чтобъ скорѣе закладывалъ сани. Ступай!

VII.

ВСТРѢЧА НОВАГО ГОДА.

Можете сами судить, въ какомъ положеніи находился дѣдушка Герасимъ, когда Петръ захлопнулъ за нимъ дверь докторскаго дома, и онъ снова очутился на улицѣ, но только ужь не съ однимъ ребенкомъ, а съ двумя.

„Вотъ-те и новый годъ! вотъ-те и новый годъ!“ могъ только проговорить онъ, раскачивая головою и придерживая колѣномъ то одного ребенка, то другого.

Положеніе его было въ самомъ дѣлѣ ужасно. Хуже всего то, что мысли старика, не смотря на взволнованныя его чувства, сохранили всю свою ясность. Онъ сознавалъ какъ нельзя лучше обстоятельства своего семейства; сознавалъ какъ нельзя отчетливѣе, что лишній этотъ младенецъ произведетъ дѣйствіе лишней тяжести, брошенной на вѣсы, и безъ того ужь до края переполненные тяжестями всякаго рода! Что говорить: отдавать себѣ такимъ образомъ отчетъ въ своемъ положеніи очень похвально и даже полезно; но въ извѣстныхъ случаяхъ жизни это рѣшительно ни къ чему не ведетъ. Дѣдушка Герасимъ чувствовалъ это очень хорошо. Онъ видѣлъ, что безъ особеннаго какого-нибудь благопріятнаго случая, безъ вмѣшательства постороннаго благодѣтельнаго лица, семейство его неминуемо погибнетъ. А между тѣмъ, положительно не предстояло никакой надежды, и въ этотъ вечеръ, именно въ этотъ вечеръ, менѣе чѣмъ когда-нибудь можно было разсчитывать на постороннее участіе.

Хотя вечеръ этотъ и слыветъ благодѣтельнымъ какимъ-то вечеромъ, хотя съ незапамятныхъ временъ ведется обыкновеніе собираться въ кружки и толковать о пользѣ благотворительно-

сти, но въ сущности вечеръ новаго года проходитъ въ однихъ разговорахъ; всѣ заняты собою собственно; думаютъ о томъ, какъ бы веселѣе, пріятнѣе провести достопамятный вечеръ, и особенно заняты новымъ приближающимся годомъ. Никому въ голову не приходило, слѣдовательно, отыскать Яшу Жилетникова, узнать, что онъ? какъ онъ? все ли живетъ по-старому? не нуждается ли въ чьемъ-либо пособіи? и проч. и проч.,—всѣ думали только о новомъ годѣ. Всѣ помыслы, всѣ чувства смертныхъ принадлежали новому году; на маковую росинку не оставалось чувствъ и мыслей для семьи Яши Жилетникова. Въ каждомъ окнѣ, въ каждомъ домѣ, въ каждой квартирѣ, даже на улицахъ и подъ воротами, только и было разговора, что о новомъ годѣ; хоть бы слово, одно слово о другѣ моемъ, Яшѣ Жилетниковѣ! „Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ!“ слышалось отовсюду.

И въ самомъ дѣлѣ, на всѣхъ лицахъ, встрѣчавшихся на улицахъ, отпечатывалось выраженье внутренняго довольства и счастья. О старомъ годѣ помышляли, казалось, такъ же мало, какъ о Яшѣ Жилетниковѣ; повидимому, избѣгали даже вспоминать о старомъ годѣ, который въ свое время выбивался между тѣмъ изъ силъ, чтобъ подарить смертныхъ Петербурга раннею весною, надѣлить ихъ маленькими воздушными дачами, убрать цвѣтами и зеленью ихъ садики; старался поддерживать цвѣты и сады, поливая ихъ частыми дождями; старался перевезти какъ можно скорѣе продрогшихъ обывателей дачъ на теплыя квартиры, и проч. и проч. Но все это было забыто, и старый годъ, какъ дряхлый старикъ, отдавшій при жизни свое имущество неблагодарнымъ дѣтямъ, какъ девяностолѣтній король Лиръ, изгнанный неблагодарными дочерьми, спѣшилъ оставить городъ и прямо, повидимому, направлялся къ Смоленскому кладбищу.

Дѣдушка Герасимъ готовъ былъ послѣдовать его примѣру. Между нимъ и старымъ годомъ было большое сходство; оба отжили свой вѣкъ; оба никому не были нужны. Одно только обстоятельство удерживало старика: удерживали два младенца на рукахъ его, которые кричали благимъ матомъ и какъ бы просили нести ихъ какъ можно скорѣе на квартиру. Дѣлать было нечего. Онъ ускорилъ шагъ, и во все продолженіе пути остановился одинъ только разъ, а именно, когда раздался первый ударъ колокола съ какой-то отдаленной колокольни. „Разъ... два...

три...“ Онъ сосчиталъ одиннадцать ударовъ; до новаго года оставался одинъ только часъ!

— Вотъ тебѣ и новый годъ! фу, фу! вотъ тебѣ и новый годъ! произнесъ старикъ машинально.

Приподнявъ колѣномъ сначала внучка, потомъ другого младенца, дѣдушка Герасимъ продолжалъ подвигаться впередъ. Такъ добрелъ онъ до воротъ своего дома; но тутъ онъ почти противъ воли остановился: смущеніе и нерѣшительность, окончательно овладѣвшія старикомъ, когда поровнялся онъ съ окнами Анны Ивановны, перешли, казалось, теперь въ его ноги, ноги его напрямикъ отказывались двигаться.

Не знаю, какъ долго простоялъ бы онъ на одномъ мѣстѣ, еслибъ шаги, раздавшіеся за его спиною, не заставили его противъ силы войдти въ ворота.

Не стану разсказывать, какъ дѣдушка Герасимъ проходилъ дворъ, какъ вступилъ въ сѣни и какъ отчаянно отдувалъ щеки; достаточно сказать, что во все это время оба младенца кричали немилосердно, и не переставали кричать даже тогда, когда старикъ вошелъ съ ними въ комнату.

Обстоятельство это было причиною, что больная Маша тотчасъ пробудилась; вслѣдъ затѣмъ послѣдовало мгновенное пробужденіе четырехъ дѣтей ея. Увидя двѣ полновѣсныя ноши на рукахъ дѣдушки, ребятишки побросали во всѣ стороны прикрывавшую ихъ одежду, кинулись къ старику и закричали въ одинъ голосъ:

— Дѣдушка принесъ гостинцы! гостинцы, гостинцы принесъ!

Убѣдившись, однако жъ, въ чемъ дѣло, на что потребовалась одна секунда, они вдругъ отшатнулись и раскрыли удивленные глаза.

Маша, между тѣмъ, не найдя подлѣ себя младенца, быстро подняла голову и съ безпокойствомъ смотрѣла на отца. Но всѣхъ изумленнѣе казался самъ Яша Жилетниковъ, который до того времени сидѣлъ въ углу, закутанный платкомъ крестъ-на-крестъ (пальто его прикрывало женины ноги).

— Батюшка, сказала Маша, силясь приподняться на локоть: —зачѣмъ ты взялъ ребенка?

Но тутъ глаза ея встрѣтили другого младенца на рукахъ дѣдушки Герасима, и она остановилась.

— Батюшка, что это? приговорила она съ испугомъ.

— Что это? что такое? спросилъ въ свою очередь Яша, не вѣря глазамъ своимъ.

— Стойте! погодите, погодите маленько, ужь, ужь, сейчасъ, возразилъ, смущаясь и мѣшаясь, старикъ:—вотъ я, промолвилъ онъ, оправляясь и стараясь даже улыбнуться:—я, то-есть, взялъ, Маша, ребенка-то... да, онъ, видишь ли, кричалъ, спать тебѣ не давалъ; такъ я, того, и взялъ его; думалъ прогуляюсь пойду по улицѣ... а тутъ, стойте! Сейчасъ все разскажу, фу, фу... Вотъ, иду я, такъ-то, назадъ, смотрю, а въ дверяхъ нашихъ вотъ этотъ и лежитъ, да, фу, фу, выходитъ, то-есть, намъ его подкинули!

Яша стоялъ какъ громомъ пораженный.

— Неси его назадъ, батюшка! сказалъ онъ наконецъ, судорожно схвативъ старика за шинель:—неси на старое мѣсто; грѣхъ не на нашей душѣ, самимъ ѣсть нечего!

— Нѣтъ, погодите, не ходи, батюшка! дай мнѣ его сюда! проговорила неожиданно Маша, протягивая руки:—дай сюда обоихъ! Яша, Христосъ съ тобою, опомнись, о чемъ это ты говоришь, что ты хочешь дѣлать? Богъ милостивъ: можетъ, услышалъ нами молитвы, счастіе намъ посылаетъ... Вспомни, нынче день какой! заключила она, укладывая обоихъ младенцевъ подлѣ себя.

— Оно все такъ... точно: новый годъ!.. Но и своихъ много... куда мы съ нимъ дѣнемся?.. нерѣшительно вымолвилъ Яша...

Дѣдушка Герасимъ разводилъ только руками и отдувалъ щеки.

— Какъ куда дѣнемся? не броситъ же его на улицу, стало, такъ Господу Богу угодно... будетъ жить съ нами, если Господь дастъ ему здоровья, сказала Маша:—Богъ дастъ и я встану, не будетъ той тѣсноты въ домѣ, какъ-нибудь прокормимся. А нынче, самъ же ты говорилъ, банщикъ обѣщалъ прислать... что-то долго онъ нейдетъ!.. ты бы опять сходилъ, Яша. А батюшка сходитъ пока въ лавочку, молочка

возьметъ... вѣдь ты, батюшка, лавочнику-то заплатилъ, сказывалъ?..

— Какъ же, какъ же! гм! гм!.. Сейчасъ, сію минуту... суетливо заговорилъ дѣдушка Герасимъ, какъ бы отыскивая что-то въ углахъ комнаты:—сейчасъ схожу, промолвилъ онъ, бросивъ выразительный взглядъ Яшѣ и выходя торопливо изъ комнаты.

— Батюшка, что ты съ нами надѣлалъ? Вѣдь это наша гибель! воскликнулъ гаеръ, когда оба они очутились въ сѣняхъ.

— Ну, какъ быть! ничего, молчи только, возразилъ тесть, стараясь принять лукавый видъ и подмигивая обоими глазами, что было совершенно лишнее, потому что въ сѣняхъ зги не было видно:—надо какъ-нибудь извернуться... надуть, но безпремѣнно надо, потому, примѣрно, лавочникъ и баньщикъ и все такое... выходитъ, пустячное только дѣло!.. А вотъ что: сбѣгаю-ка я къ Аннѣ Ивановнѣ, скажу: такъ и такъ молъ, оказія какая случилась, ножромку ее, баба того... добрая душа, авось что и добуду... всего бы одинъ двугривенный, больше не надо... ты ступай пока къ Машѣ... а я, какъ получу деньги-то, въ лавочку сбѣгаю за молокомъ... не въ нашу лавочку; тамъ не раздобудешься, сбѣгаю въ другую, слышь?

Сказавъ это, старикъ выпустилъ разомъ весь воздухъ изъ щекъ своихъ и пустился безъ оглядки въ квартиру Анны Ивановны.

Яша засталъ дѣтей своихъ подлѣ постели матери; всѣ— и мать, и дѣти—съ любопытствомъ разсматривали подкидыша.

— Погляди, Яша, погляди-ка, во что его закутали... шубейка-то какая! а одѣяльце-то... одѣяльцо! стеганое шелковое! пеленки-то! а рубашечка... должно быть, богатыхъ какихъ!.. Господи! и такіе люди подкидываютъ дѣтей своихъ!.. Яша, и башмачки-то, погляди, башмачки-то какіе... точно игрушечные!.. да пойди же сюда, Яша.

Но Яша сидѣлъ ужь въ углу своемъ и, положивъ голову въ ладони, ни на что, казалось, не хотѣлъ смотрѣть.

Минутъ пять спустя, онъ по неволѣ долженъ былъ, однако жъ, поднять голову. Въ комнату вошелъ дѣдушка Герасимъ, сопровождаемый всѣмъ обществомъ Анны Ивановны, за исклю-

ченіемъ, впрочемъ, веселаго Андрея Андреевича, который такъ весело провелъ остатокъ вечера, что не въ силахъ уже былъ двигать ногами. Вся компанія находилась также, повидимому, въ самомъ веселомъ расположеніи духа, и это самое обстоятельство выдавало еще рѣзче взбудораженное, встревоженное лицо дѣдушки Герасима.

Впереди всѣхъ выступилъ Василій Аѳанасьевичъ.

— Кого еще тутъ принесло? Какого ребенка? Мало тѣсноты было!.. сказалъ золотильщикъ, зеленоватое лицо котораго, благодаря крѣпкой настойкѣ Анны Ивановны и ея радушію, превратилось въ пунцовое:—самимъ ѣсть нечего, а еще чужихъ дѣтей принимать вздумали! Нѣтъ, прежде за квартиру заплатите—вотъ что, а тамъ и распоряжайтесь, да! слышите, за квартиру отдайте, а тамъ и пускайте, кого хотите...

— Это какъ есть настоящее дѣло... проговорилъ охмѣлѣвшій тихвинецъ.

— Ахъ, Авениръ Михайлычъ, посмотрите, какой хорошенькій ребенокъ! просто прелесть... восклицнула Анна Ивановна:—ахъ, какія прелести! посмотрите, Авениръ Михайловичъ, какое на немъ одѣяльцо, какая рубашечка!..

— Да-съ, можно сказать, княжеское дитя, только не приходится... знаете... не на семъ мѣстѣ, такъ сказать... проговорилъ Авениръ Михайловичъ съ видомъ знатока.

— Да, прежде за квартиру заплатите, вотъ что! кричалъ между тѣмъ Василій Аѳанасьевичъ:—а то наровятъ жить какъ-нибудь на шаромыжку, да еще жильцовъ къ себѣ пускаютъ...

— Какой же это жилецъ? вымолвилъ дѣдушка Герасимъ:—много ли ему надо? да никто и не пущалъ его... Выслушай только, Василій Аѳанасьевичъ, что я скажу тебѣ... выслушай: нешто мы причиной, вѣдь его подкинули, самъ посуди!

— А зачѣмъ брали? брали зачѣмъ?.. вишь богачи какіе... самимъ ѣсть нечего, а еще подкидышей берутъ...

— Какъ же быть-то? на морозѣ, что ли, его по-твоему оставить?

— Какъ же ты можешь отвѣчать такъ своему хозяину? закричалъ еще громче золотильщикъ:—какъ же ты можешь

отвѣчать такъ грубо?.. Вонъ, когда такъ! вонъ, чтобъ духу вашего здѣсь не было!.. подхватилъ онъ, не обращая вниманія на усовѣщеваніе Анны Ивановны.

Но въ ту самую минуту, какъ Василій Аѳанасьевичъ произносилъ эти послѣднія слова, торжественно приподнявъ руку, дверь отворилась и въ комнату вошелъ докторъ.

— Что здѣсь за шумъ!.. спросилъ онъ, окидывая быстрымъ взглядомъ присутствующихъ.

— Отъ того и шумъ, что за квартиру не платятъ, вотъ что! отвѣчалъ довольно дерзко Василій Аѳанасьевичъ.

— Вы кто такой? нетерпѣливо спросилъ докторъ, обращаясь къ золотильщику.

— Я хозяинъ здѣшней квартиры, возразилъ тотъ съ горячностью.

— А, вы хозяинъ здѣшней квартиры... перебилъ докторъ, торопливо вынимая изъ кармана бумажникъ: — сколько же они вамъ должны?..

— Должны три цѣлковыхъ... да вамъ до этого нѣтъ нужды, это мое дѣло съ жильцами, потому я хозяинъ...

— Вотъ вамъ деньги, прервалъ его докторъ: — вы, слѣдовательно, теперь ужь не хозяинъ, по-крайней-мѣрѣ на нѣкоторое время, и потому можете убираться отсюда...

— Какъ вы можете мнѣ это говорить? я хозяинъ...

— Нѣтъ, повторяю вамъ, вы ужь не хозяинъ, коль скоро деньги вамъ заплачены. Ступайте вонъ!

— Какъ?

— Да также, вотъ какъ!.. и докторъ, повернувъ Василія Аѳанасьевича за плечи, вытолкалъ его за дверь безъ дальнѣйшихъ церемоній.

— Вамъ здѣсь что угодно? спросилъ онъ, обращаясь къ тихвинцу.

— Это, то-есть, на счетъ чего-съ... проговорилъ тихвинецъ, начинавшій ужь подбираться къ двери.

— Не угодно ли вамъ уйдти отсюда?

— Это мы съ нашимъ удовольствіемъ-съ... это можно... пробормоталъ Иванъ Тихоновичъ, исчезая въ сѣни.

— А ты, братецъ, зачѣмъ здѣсь? сказалъ докторъ, поворачиваясь къ Авениру Михайловичу, который, не переставая охорашиваться, чистилъ обшлага фрака и старался, повидимому, обратить на себя вниманіе доктора: — ты здѣсь зачѣмъ?.. Я, кажется, явственно, русскимъ языкомъ сказалъ, что ты напрасно безпокоишься и ходишь ко мнѣ каждый день; что я не возьму тебя въ камердинеры, потому что не люблю такихъ франтовъ... Чего же тебѣ еще? Ступай, братецъ, ступай... тебѣ здѣсь нечего дѣлать...

— Помилуйте, сударь... такимъ манеромъ... я у князей, у графовъ служилъ...

— Ну, очень радъ, а у меня служить не будешь, вотъ и все! Ступай отсюда! перебилъ докторъ, выпроваживая Авенира Михайловича.

Маленькая Анна Ивановна, не столько удивленная, сколько огорченная обращеніемъ доктора съ избраннымъ ея сердца, не дождалась приглашенія оставить квартиру гостя; потряхивая съ чувствомъ достоинства крошечной своей головкой, она горделиво прошла мимо доктора, какъ бы желая дать ему почувствовать, что она не какая нибудь сволочь, что папенька ея содержалъ цырюльню на Владимірской, имѣлъ свой капиталъ, и проч. и проч.; она тотчасъ же исчезла.

Всѣ члены семейства Яши Жилетникова глядѣли на доктора во всѣ глаза; въ этихъ взглядахъ выражался страхъ, радость, надежда. Маша сидѣла на постели и, положивъ руку на обоихъ младенцевъ, придерживая другою рукою грудь, дрожала всѣмъ тѣломъ; Яша, обвязанный крестъ-на-крестъ женинымъ платкомъ, стоялъ какъ окаменѣлый; дѣдушка Герасимъ, изъ-подъ шинели котораго выглядывали испуганныя лица четырехъ дѣтей, разводилъ только руками и отдувалъ щеки.

Прежде всѣхъ опомнился все-таки дѣдушка Герасимъ.

— Батюшка... сударь! ваше высокоблагородіе! заговорилъ онъ неожиданно, трогаясь впередъ, причемъ дѣти быстро выпрыгнули изъ-подъ шинели и спрятались за спинку кровати: — ваше высокоблагородіе... благо... благодѣтель вы нашъ! мы ужъ

не чаяли съ квартирой-то справиться... самъ Господь послалъ васъ, благодѣтель! заключилъ онъ, опускаясь на колѣни.

— Полно, старикъ, полно! проговорилъ докторъ, приподнимая его: — перестань, это лишнее... Вы хозяинъ здѣшней квартиры? примолвилъ онъ, обращаясь къ Яшѣ.

— Я... я... сударь... пробормоталъ Яша, запинаясь на каждомъ словѣ.

— А это жена ваша?

— Жена... сударь...

— Перестаньте тревожиться, успокойтесь, вымолвилъ докторъ, подходя къ Машѣ: — я ничего не желаю вамъ, кромѣ добра; я докторъ и пришелъ къ вамъ единственно затѣмъ только, чтобъ оказать вамъ пособіе... дайте вашу руку... Э! ничего! присовокупилъ онъ, внимательно прислушиваясь къ пульсу и глядя ей въ лицо: — вы только слабы... болѣзни никакой нѣтъ... надѣюсь, вы скоро, очень даже скоро поправитесь...

Тутъ докторъ суетливо оглянулся во всѣ стороны; но такъ-какъ нигдѣ не оказалось ни пера, ни чернильницы, ни клочка бумаги, онъ вырвалъ изъ бумажника бѣлый листокъ, положилъ на ладонь и поспѣшно принялся писать что-то карандашомъ.

— Вотъ такъ хорошо; чрезъ недѣлю, надѣюсь, вы будете на ногахъ и совершенно здоровы, сказалъ онъ, складывая бумажку: —вашъ мужъ тотчасъ же отнесетъ это въ аптеку... у меня тутъ, на дворѣ, стоятъ сани; а вотъ и деньги на лекарство... добавилъ онъ, протягивая руку Яшѣ Жилетникову.

— Благодѣтель!... ваше благородіе!... за что, сударь жалуете... закричалъ дѣдушка Герасимъ, всплескивая руками.

— Подлинно, сударь, самъ Господь посылаетъ васъ!... Какъ намъ благодарить васъ за ваши добродѣтели!... Сударь! ваше благородіе!... Ужь коли Господь послалъ намъ такого ангела-хранителя... такъ не оставьте насъ... будьте нашимъ благодѣтелемъ до конца!... пожалѣйте насъ, бѣдныхъ!... Сами видите, сударь, какая наша жизнь... ѣсть нечего!... пятеро дѣтей... Будьте отцомъ роднымъ, не отягощайте насъ лишнимъ ребенкомъ! не знаемъ, что и съ своими-то дѣлать!... проговорилъ Яша Жилетниковъ, которому, во время объясненія доктора съ

Машей, дѣдушка Герасимъ передалъ на-ухо всю исторію съ подкидышемъ.

— Нѣтъ, я этого никакъ не сдѣлаю, ребенокъ останется у васъ, съ веселостью отвѣчалъ докторъ:—вы знаете, долгъ красенъ платежемъ; часъ тому назадъ, вашъ тесть и, вѣроятно съ вашего же согласія, принесъ на мой подъѣздъ вашего ребенка и хотѣлъ мнѣ его подкинуть...

На этомъ мѣстѣ докторъ былъ прерванъ страшнымъ рыданіемъ Маши.

— Яша!... Яша!... батюшка... что вы хотѣли сдѣлать! воскликнула она, страстно прижимая къ груди ребенка и обливаясь слезами.

— Такъ, стало быть, она ничего этого не знала?...

— Ничего, сударь, какъ есть... произнесли въ одно время тесть и зять.

— Полноте, перестаньте же... теперь плакать не о чемъ, вымолвилъ докторъ, торопливо подходя къ постели и взявъ больную за руку: — вѣдь вашъ ребенокъ теперь съ вами и никогда ужь не разлучать васъ; плакать, слѣдовательно, безразсудно... о чемъ? Вамъ, напротивъ, слѣдовало бы теперь радоваться! прибавилъ докторъ съ веселой улыбкой: — вы, какъ я вижу, любите дѣтей, и вмѣсто одного ребенка у васъ стало вдругъ двое!... Утрите же ваши слезы; плакать тѣмъ болѣе безразсудно, что мой ребенокъ, повѣрьте, нимало не стѣснитъ васъ... я думаю совсѣмъ напротивъ... вотъ, напримѣръ, у васъ здѣсь очень холодно...

— Двѣ недѣли, сударь, не топили, перебилъ дѣдушка Герасимъ.

— Ну вотъ видите ли! А мой ребенокъ привыкъ къ теплу, и потому необходимо сію же минуту достать дровъ и затопить печку, вотъ и деньги; во-вторыхъ, мой ребенокъ привыкъ очень хорошо ужинать; онъ безъ этого не засыпаетъ... и потому надо достать еще, во что бы то ни стало, хорошій ужинъ... Кромѣ этого, я знаю, мой ребенокъ приготовилъ вамъ маленькій подарокъ къ новому году... но объ этомъ послѣ; главное дѣло, надо теперь позаботиться объ ужинѣ... Нельзя же встрѣтить

новый годъ съ пустымъ желудкомъ, не такъ ли? Мы сейчасъ же этимъ распорядимся...

Сказавъ это, докторъ вынулъ изъ бумажника нѣсколько мелкихъ ассигнацій, подошелъ къ оторопѣвшему Яшѣ и началъ съ нимъ о чемъ-то разговаривать; разговоръ происходилъ вполголоса и Маша ничего не могла разобрать; до слуха ея доходили только восклицанія отца и мужа, которые, одинъ за другимъ, повторяли: — „Благодѣтель! отецъ нашъ! Господь заплатитъ вамъ за ваши добродѣтели!“ и проч. и проч.

Совѣщаніе кончилось тѣмъ, однакожъ, что Яша и старикъ нахлобучили на голову картузы свои и опрометью выбѣжали изъ комнаты.

Докторъ придвинулъ скамью къ постели больной и ласково сталъ разспрашивать ее о прежнемъ житьѣ-бытьѣ ея.

Никогда еще полное лицо доктора не дышало такою добротою и не внушало столько довѣрія; въ чертахъ его не оставалось и тѣни строгаго, глубокомысленно-задумчиваго выраженья; ученый исчезъ совершенно; оставался только человѣкъ—и лучше было!

Дѣти, которымъ инстинктивно дано понимать лучше всякаго взрослаго движенія человѣческой души, давно ужъ перестали бояться своего гостя; они вышли изъ-за своей засады и окружали теперь доктора, который, продолжая добродушно бесѣдовать съ Машей, не пропускалъ случая трепать пухленькія щеки то одному изъ наслѣдниковъ Яши Жилетникова, то другому.

Такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока въ дверяхъ не показался дѣдушка Герасимъ съ охапкою дровъ на спинѣ, съ кулькомъ на плечѣ и бутылкою за пазухой; слѣдомъ за нимъ выступалъ Яша съ полновѣсными узлами въ каждой рукѣ.

Поставивъ свои ноши на столъ, оба остановились въ какой-то нерѣшительности.

— Что-жъ вы стали, братцы? смѣясь, сказалъ докторъ: —надо поторопиться, а то, чего добраго, новый годъ застанетъ насъ въ холодной квартирѣ...

— Помилуйте, сударь, какъ же?... за что, то есть... вы такія милости... отецъ нашъ!... начали было оба смущеннымъ голосомъ.

Но докторъ не дослушалъ, приказалъ старику немедленно затопить печь, Яшѣ велѣлъ развязать узлы и самъ принялся подсоблять ему.

Немного погодя, на шарманкѣ, приставленной къ постели, появилась бутылка молока, двѣ жареныя курицы, вино, бѣлые хлѣбы, пироги; часть постели заставилась, какъ бы по мановенію волшебнаго жезла, новыми фаянсовыми тарелками, ножами, вилками, стаканами, рюмками и салфетками. Но радость и удивленіе дѣтей превратились въ совершеннѣйшій восторгъ, когда докторъ развязалъ узелъ, изъ котораго неожиданно выглянули деревянные коньки, пряники и румяныя головки куколъ.

— Это послѣ, дѣти, послѣ; теперь садитесь всѣ ужинать! Кто первый сядетъ, тому лучшая игрушка! сказалъ докторъ, между тѣмъ какъ Маша осыпала его благословеніями, смѣялась и плакала въ одно и то же время.

Когда дѣти усѣлись и ярко-вспыхнувшая вдругъ печка освѣтила ихъ радостныя лица, Яша Жилетниковъ, дѣдушка Герасимъ и его дочь снова принялись разсыпаться въ благодарностяхъ и благословеніяхъ; но докторъ остановилъ ихъ, сказавъ, что если они не сядутъ ужинать, онъ минуты не останется въ ихъ квартирѣ и предоставитъ ихъ на произволъ судьбы...

— Ну, теперь, сказалъ докторъ, когда обѣ курицы и пироги исчезли: — пора, кажется, подумать и о новомъ годѣ. Вы знаете, что изстари ведется обычай дѣлать въ этотъ вечеръ другъ другу подарки. Вы подарили мнѣ или хотѣли подарить, что все-равно, вашего ребенка — я отплатилъ вамъ тѣмъ же. Но мой ребенокъ находитъ, что этого недостаточно; онъ считаетъ себя въ долгу передъ вами, и хочетъ вамъ сдѣлать вотъ какой подарокъ, слушайте...

При этомъ, докторъ вынулъ изъ бокового кармана какое-то письмо, весело оглянулъ изумленныхъ членовъ семейства, развернулъ письмо и началъ читать во всеуслышаніе.

Въ письмѣ значилось, что ребенокъ, подкинутый такого-то числа декабря, доктору такому-то, принадлежитъ богатымъ родителямъ, которыхъ обстоятельства заставляютъ на время скрываться; далѣе объяснялось, что на имя ребенка положенъ капиталъ въ опекунскій совѣтъ, и что проценты съ этого капитала,

тысячу рублей въ годъ, предоставляется получать тѣмъ, кто будетъ заботиться о сохраненіи ребенка въ добромъ здравіи.

— Безъ васъ, я покороче познакомился съ вашею женою, сказалъ докторъ, обращаясь къ Яшѣ Жилетникову:—васъ, собственно, я уже давно знаю за честнаго, добраго человѣка... я разсудилъ отдать на ваше попеченіе ребенка и предоставляю вамъ пользоваться его доходами. Что вы объ этомъ скажете?

Предоставляю вамъ самимъ судить о впечатлѣніи, какое произвели слова доктора на семейство Яши Жилетникова.

Дѣдушка Герасимъ и Яша бросились обнимать ноги доктора; Маша рыдала навзрыдъ, но ужъ на этотъ разъ отъ радости.

— Дѣти! воскликнулъ вдругъ дѣдушка Герасимъ, поднимаясь на ноги и восторженно оглядывая внучатъ, которыхъ докторъ надѣлилъ игрушками:—дѣти, что-жъ вы?

Тутъ дѣдушка Герасимъ стремительно бросился въ уголъ, приподнялся на цыпочки и снялъ съ гвоздей кларнетъ.

— Дѣти! на колѣни, въ ноги! благодарите вашего благодѣтеля! на колѣни! стой! стой! онъ, отецъ нашъ, этого не любитъ, стой! подхватилъ старикъ, восторженно махая кларнетомъ:—благодарите его, повеселите его, отца нашего, благодѣтеля! Ваня, Поля! становитесь! заключилъ дѣдушка Герасимъ, приставляя кларнетъ къ губамъ и страшно надувая щеки.

— Полно, старикъ, къ чему это? смѣясь, проговорилъ докторъ, махая рукою, которою снова завладѣли Яша и жена его.

— Какъ же, сударь! какъ же, ваше благородіе! развѣ мы скоты какіе безчувственные? и въ насъ есть, сударь, искра Божія; мы должны все это то-есть чувствовать, сударь... Становись, Ваня! Поля! ну, живо, ходи!

Напрасно докторъ отнѣкивался...

Дѣдушка Герасимъ приставилъ кларнетъ къ губамъ, топнулъ ногою, и въ комнатѣ, освѣщенной яркимъ пламенемъ топившейся печи, раздались вдругъ звуки какой-то отчаянной плясовой пѣсни, послышался топотъ маленькихъ ножекъ, восторженныя восклицанія, хохотъ. Кромѣ доктора, все плясало и прыгало, не выключая даже двухъ младенцевъ, скакавшихъ на рукахъ Яши Жилетникова, не выключая скамьи, на которой помѣщался докторъ, не

выключая парманки, которая не хотѣла, видно, отстать отъ своихъ хозяевъ въ изъявленіи своей благодарности и, повинуясь движенію ручки въ рукѣ Маши, залилась какимъ-то дребезжащимъ, неистовымъ вальсомъ.

Не знаю, до какихъ поръ могла бы продолжаться вся эта трескотня, еслибъ докторъ не вынулъ изъ жилетнаго кармана часовъ и не провозгласилъ, что до новаго года осталась всего одна минута!...

Все разомъ остановилось и замолкло. Докторъ налилъ тогда рюмку вина и привсталъ съ мѣста.

— Дѣти! сказалъ онъ:—поздравляю васъ съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ!

— Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ! отозвалось дружнымъ хоромъ семейство Яши Жилетникова: — съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ! повторили всѣ еще громче, повинуясь знаку дѣдушки Герасима, который управлялъ хоромъ въ качествѣ стараго, опытнаго музыканта...

Добрый дѣдушка Герасимъ! добрый Жилетниковъ! добрая Маша! добрый докторъ! добрыя дѣти! добрый вечеръ новаго года!...

Нѣтъ, я рѣшительно не могу больше владѣть своими чувствами! Выхожу изъ темнаго угла, въ которомъ стоялъ я пять часовъ сряду, бросаю свое инкогнито, громогласно объявляю себя лучшимъ другомъ Яши Жилетникова, подбѣгаю къ парманкѣ, наливаю полный стаканъ вина и, не обращая вниманія на изумленіе всѣхъ присутствующихъ, становлюсь на средину комнаты, потрясаю въ воздухѣ опорожненнымъ стаканомъ, топаю ногами и кричу во всеуслышанье:

— Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ!

РЫБАКИ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Два пѣшехода.

Сѣверная часть Тульской губерніи, которая, какъ извѣстно, отдѣляется отъ уѣздовъ Московской губерніи широкою лентою Оки, можетъ назваться одною изъ самыхъ живописныхъ мѣстностей средней Россіи. Она подымается крутымъ хребтомъ у самой рѣки и представляетъ нескончаемую перспективу зеленѣющихъ, выпуклыхъ холмовъ, долинъ и обрывовъ, которые съ одной стороны смотрятся въ Оку, съ другой—убѣгаютъ, постепенно смягчаясь, во внутренность земель. Тутъ, на протяженіи нѣсколькихъ верстъ, не встрѣчаешь иногда гладкой, ровной десятины: холмы идутъ за холмами, образуя безчисленное множество изгибовъ и лощинъ, на днѣ которыхъ журчатъ ручьи, иногда даже маленькія рѣчки, въ родѣ Смедвы. На каждомъ шагу открываются новые ландшафты; глаза не утомляются скучнымъ однообразіемъ степи. Но за то дороги (какъ и слѣдуетъ, впрочемъ, ожидать) рѣшительно здѣсь непроходимы. Этому столько же способствуетъ почва и расположеніе самой мѣстности, сколько частое сообщеніе между деревнями и рѣкою, близость которой всегда оживляетъ окрестность. Каждый путникъ, каждая кляча, соображаясь съ естественными препятствіями и руководимые своимъ собственнымъ соображеніемъ и опытомъ, проводятъ здѣсь свою тропинку. Кромѣ того, каждое время года обозначаетъ еще свой путь: гдѣ по веснѣ проходила дорога, тамъ къ лѣту образовался оврагъ,—и наоборотъ: гдѣ былъ оврагъ, тамъ,

благодаря осеннему наносу ила, открывалась ровная поверхность. Мѣстами сосновый лѣсъ замыкаетъ дорогу и такъ тѣсно сжимаетъ ее, что нѣтъ ствола, на которомъ бы оси колесъ не провели царапины или не положили дегтярнаго знака; мѣстами предстоитъ въѣзжать по самую ступицу въ сыпучій песокъ, или, что еще хуже, приходится объѣзжать на авось топкія мѣста на днѣ лощинъ. Все это, въ совокупности, составляетъ изрядный хаосъ, часто, впрочемъ, служащій преддверіемъ нашихъ большихъ рѣкъ съ нагорной стороны.

Въ послѣднихъ числахъ марта, въ день самаго Благовѣщенія, на одной изъ такихъ дорогъ, ведшей изъ села Сосновки къ Окѣ, можно было встрѣтить оборваннаго старика, сопровождаемаго такимъ же почти оборваннымъ мальчикомъ. Время было раннее. Снѣжные, холмистые скаты, обступившіе дорогу, и темные сосновые лѣса, выглядывающіе изъ-за холмовъ, только-что озарились солнцемъ.

Со всѣмъ тѣмъ въ воздухѣ начинала уже чувствоваться какая-то легкость, предвѣщавшая къ полудню оттепель. Время полной распутицы еще не наступило; но не было уже никакой возможности ѣхать на саняхъ: снѣгъ, подогрѣваемый сверху мартовскимъ солнцемъ, снизу—отходившей землею, замѣтно осаживался; дорога не держала копыта лошадей; темнобурый цвѣтъ рѣзко уже отдѣлилъ ее отъ полей, покрытыхъ тонкою ледяною коркой, сквозь которую проламывались черные, засохшіе стебли прошлогоднихъ растеній. По мѣрѣ того, какъ солнце подымалось выше, небосклонъ со стороны Оки синѣлъ и покрывался туманомъ, вѣрнѣйшимъ знакомъ скорой оттепели, по мнѣнію мѣстныхъ пахарей и рыболововъ. Скаты холмовъ, обращенные къ югу, начинали желтѣть и мокнуть; лощины наполнялись водою; кое-гдѣ даже показывалась земля, усѣянная камнями. Этимъ, впрочемъ, и ограничивались признаки наступавшей весны: на проталинкахъ не видно было покуда ни жаворонка, ни грача—перваго возвѣстника тепла, первой хлѣбной птицы; землей еще не пахло...

Безнадежное состояніе Сосновской дороги дѣйствовало различно на двухъ путешественниковъ. Мальчикъ, бѣжавшій въ нѣкоторомъ разстояніи отъ старика, кричалъ, свистѣлъ, производилъ отчаянные скачки, умышленно заползалъ въ лужи и радостно билъ ногами въ водѣ. Старикъ былъ не въ духѣ. Онъ также приплясывалъ въ лужахъ; но это приплясыванье выражало скорѣе явную досаду, нежели радость: каждый разъ, какъ лаптишки старика

уходили въ воду (а это случалось безпрерывно), изъ груди его вырывались жалобныя сѣтованія, относившіяся, впрочемъ, болѣе къ мальчику, баловливость котораго была единственной причиной, заставлявшей старика ускорять шагъ и часто не смотрѣть подъ ноги. Но мальчикъ не обращалъ, повидимому, вниманія на жалобные возгласы преклоннаго своего товарища; казалось, напротивъ, онъ еще усерднѣе принимался тогда шмыгать по лужамъ.

— Ахъ ты, окаянный! кричалъ старикъ, и всякій разъ съ какимъ-то безсильнымъ гнѣвомъ, который походилъ скорѣе на жалобу, чѣмъ на угрозу:—а ты, шавель ты этакая! ступай сюда, говорятъ!.. Постой, погоди-жъ ты у меня! ишь те!.. Постой! постой, дай срокъ!.. Вишь, куда его носитъ!.. эхва!.. эхва, куда нелегкая носитъ!.. чтобъ те быки забодали... у-у... Ахъ ты, Господи! Царица небесная! заключалъ онъ, ударяя руками объ полы прорванной сермяги.

Мальчикъ останавливался, устремлялъ на спутника пару черныхъ, лукавыхъ глазъ и, выкинувъ совершенно неожиданно новую какую-нибудь штуку, продолжалъ бѣжать впередъ по дорогѣ.

Видно было по всему, что онъ подтрунивалъ надъ старикомъ и ни во что не ставилъ его угрозы.

И въ самомъ дѣлѣ, жалкій, плаксивый видъ старика ни въ комъ не могъ пробуждать страха. Все существо его, казалось, насквозь проникнуто было вялостію и безсиліемъ. Свойства эти не были, однакожъ, слѣдствіемъ усталости или преклонности лѣтъ: три-четыре версты отъ Сосновки до того мѣста, гдѣ мы застали его, никого не могли утомить; что жъ касается до лѣтъ, ему было сорокъ-пять, и ужъ никакъ не болѣе пятидесяти—возрастъ, въ которомъ наши простолюдины, благодаря постоянной дѣятельности и простой, неприхотливой жизни, сохраняютъ крѣпость и силу. Отсутствіе энергіи было еще замѣтнѣе на суетливомъ, худощавомъ лицѣ старика: оно вѣчно какъ будто искало чего-то, вѣчно къ чему-то приглядывалось; всѣ линіи шли какъ-то книзу и рѣшительно не было никакой возможности отыскать хотя одну рѣзкую, положительно выразительную черту. Худенькій носъ, совершенно неопредѣленнаго очертанія, печально свѣшивался надъ провалившимся полу-открытымъ ртомъ, который, по привычкѣ, вѣроятно, сохранялъ такое выраженіе, какъ будто старикъ униженно что-нибудь выпрашивалъ; сѣренькіе глазки постоянно щурились, какъ будто собирались плакать.

Явное намѣреніе усилить по возможности свой, и безъ того уже

жалкій, плаксивый видъ, придавало всей наружности старика что-то полазчивое и униженное.

Дядя Акимъ (такъ звали его) принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые весь свой вѣкъ плачутъ и жалуются, хотя сами не могутъ дать себѣ яснаго отчета, на кого сѣтуютъ и о чемъ плачутъ. Если было существо, на которое слѣдовало бы, по настоящему, жаловаться дядѣ Акиму, такъ это ужъ, конечно, на самого себя. Исторія его заключается вся въ нѣсколькихъ строкахъ: у Акима была когда-то своя собственная изба, лошади, коровы,—словомъ, полное и хорошее хозяйство, доставшееся ему послѣ отца, зажиточнаго мужика, торговавшаго скотомъ. Но не въ прокъ пошло такое добро. Не привыкши съизмала ни къ какой работѣ, избалованный матерью, вздорной, взбалмошной бабой, онъ такъ хорошо повелъ дѣла свои, что въ два года сталъ бѣднѣйшимъ мужикомъ своей деревни. Крестьянину разориться не трудно: прогульни недѣли двѣ во время пахоты, да недѣлю въ страдную, рабочую пору—и дѣлу конецъ! Дѣтей не было у Акима; послѣ смерти матери, онъ остался одинъ съ женою. Жена его, существо страдальческое, безгласное, бывши при жизни родителей единственной батрачкой и отвѣтчицей за мужа, не смѣла ему перечить; въ тому же, какъ сама она говорила, и жизнь ей прискучила. Молча жила она, молча сошла и въ могилу. Дѣла Акима пошли тогда еще плоше. Остался онъ наконецъ безъ крова и пристанища, или, какъ выразительно сказалъ его сосѣдъ, остался онъ крыть свѣтомъ да обнесенъ вѣтромъ. Акимъ заплакалъ, застоналъ и заохалъ. До того времени онъ въ усъ не дулъ; обжигался день-деньекой на печкѣ, какъ словно и не чаялъ своего горя. Но убивайся, не убивайся, а жить какъ-нибудь надо. Пошелъ Акимъ наниматься къ сосѣдямъ въ работники. Но уживался онъ недолго на одномъ и томъ же мѣстѣ. Этому не столько содѣйствовала лѣнь, сколько безалаберщина и какая-то странная мелочность его нрава. Требовалось ли починить телѣгу, онъ съ готовностью принимался за работу, и стукъ его топора немолчно раздавался по двору битыхъ два часа; въ результатѣ оказывалось, однакожъ, что Акимъ искромсалъ на цѣлыя три подводы дерева, а дѣла все-таки никакого не сдѣлалъ,—запрегъ прямо, какъ говорится, да поѣхалъ криво! Хозяинъ поручаетъ ему плетень заплести: ладно! Акимъ отправляется въ болото, нарубаетъ цѣлый возъ хворосту, возвращается домой, съ пѣснями садится за работу, но вмѣсто плетня выплетаетъ на-

стилку для подводы, или верши для лова рыбы. Въ самонужную, рабочую пору онъ забавляется издѣліемъ скворечницъ или дудочекъ для ребятишекъ. Требуется ли исправить хомуты, онъ идетъ покрывать крышу; требуется ли покрывать крышу, онъ прочищаетъ колодезь. Но за то въ разговорѣ,—разговорѣ дѣльномъ, толковомъ, никто не могъ сравниться съ Акимомъ; послушать его: стоя ѣдетъ, семерыхъ везетъ! Жаль только, что слова его никогда не соотвѣтствовали дѣлу: наговорилъ много, да толку мало — ни дать ни взять, какъ пузырь дождевой: вскочилъ—загремѣлъ, а лопнулъ — и стало ничего!

Разъ нанялся онъ работникомъ у одного сидовскаго мельника. Мельнику встрѣтилась надобность отлучиться недѣли на двѣ изъ дому. Наканунѣ отъѣзда приводитъ онъ Акима къ плотинѣ и говоритъ ему:

— Смотри, говоритъ:—вотъ въ этомъ мѣстѣ вода начинаетъ подсачиваться; завтра же чѣмъ-свѣтъ вали сюда землю и навозъ. Долго ли до грѣха: нѣтъ, нѣтъ, да и плотину промоетъ...

— Какъ не промыть! говоритъ Акимъ разсудительнымъ, дѣловымъ тономъ:—тутъ не только промоетъ—все снесетъ, пожалуй. Землей одной никакъ не удержишь—сила! Я, говоритъ,—весь берегъ плитнячкомъ выложу: оно будетъ надежнѣе... Какая земля! здѣсь камень только вынру!

Но этимъ еще не довольствуется Акимъ: онъ ведетъ хозяина по всѣмъ закоулкамъ мельницы, указываетъ ему, гдѣ что плохо, не пропускаетъ ни одной щели и все это обѣщаетъ исправить въ наилучшемъ видѣ. Обнадеженный и вполнѣ довольный, мельникъ отправляется. Проходятъ двѣ недѣли; возвращается хозяинъ. Подъѣзжая къ дому, онъ не узнаетъ его и глазамъ не вѣритъ: на макушкѣ кровли красуется рѣзной деревянный конь; надъ воротами торчитъ шестъ, а на шестѣ придѣлана скворечница; подъ окнами пестрѣетъ вычурная рѣзьба...

— Ай-да Акимъ! Вотъ нажилъ себѣ работника: мастакъ, нечего сказать! на всѣ руки парень!

Но въ это время глаза мельника устремляются на плотину — и онъ цѣпенѣетъ отъ ужаса; плотины какъ не бывало; вода гуляетъ черезъ всѣ снасти... Вотъ тебѣ и мастакъ работникъ, вотъ тебѣ и парень на всѣ руки! Совсѣмъ тѣмъ, Боже сохрани, если недовольный хозяинъ начнетъ упрекать Акима: Акимъ ничего, правда не скажетъ въ отвѣтъ, но ужъ за то съ этой минуты бросаетъ работу, ходитъ какъ словно обиженный, живетъ какъ вонъ глядитъ; тамъ

кочергу швырнетъ, здѣсь ногой пихнетъ, съ хозяиномъ и хозяйкой слова не молвитъ, да вдругъ и перешелъ въ другой домъ.

Въ продолженіе семи лѣтъ онъ столько перемѣнилъ хозяевъ, что даже прозвища ихъ не помнилъ.

Живалъ онъ въ пастухахъ, нанимался сады караулить, нанимался на мельницахъ, на паромахъ, на фабрикахъ, исходилъ почти всѣ дома во всѣхъ прирѣчныхъ селахъ—и все-таки нигдѣ не пристраивался.

Разъ, однакожъ, счастіе какъ словно улыбнулось ему. Это произошло ровно за восемь лѣтъ до начала нашего разсказа. Акимъ случайно какъ-то встрѣтился съ одинокой, вдовствующей солдаткой, проживавшей въ собственномъ домку на собственной землицѣ; онъ нанялся у нея батракомъ и прожилъ безъ малаго лѣтъ пять въ ея домѣ. Не слѣдуетъ заключать изъ этого, что Акимъ взялся наконецъ за умъ и рѣшился сдѣлаться дѣловымъ мужикомъ; ничуть не бывало! онъ остался все тѣмъ же пустопорожнимъ работникомъ и ни на волосъ не измѣнилъ своего нрава. Еще менѣе слѣдуетъ отнести такой фактъ къ необыкновенной терпимости или сговорчивости солдатки. Новая хозяйка Акима была самая задорная, назойливая и безпокойная баба; по увѣренію сосѣдокъ, она ѣла и „полоскала“ своего работника съ ранней утренней зари вплоть до позднихъ пѣтуховъ. Несмотря на такое частое полосканье, Акимъ не думалъ, однакожъ, разставаться съ домомъ солдатки. Словоохотливыя сосѣдки утверждали, впрочемъ, — положительно утверждали, что такое упорство со стороны Акима единственно происходило изъ привязанности его къ сыну хозяйки, родившемуся будто бы годъ спустя послѣ вступленія батрака въ домъ солдатки. Не знаю, на сколько вѣрны такіе доводы; положительно извѣстно только, что привязанность Акима къ ребенку была дѣйствительно замѣчательна. Онъ не выпускалъ его изъ рукъ, нянчился съ нимъ какъ мамка; не было еще недѣли ребенку, какъ уже Акимъ, на собственныя свои деньги, купилъ ему кучерскую шапку. Онъ, правда, немножко ошибся въ разсчетѣ: шапка не только свободно входила на голову младенца, но даже покрывала его всего съ головы до ногъ; но это обстоятельство нимало не мѣшало Акиму радоваться своей покупкѣ и выхвалять ее встрѣчному и поперечному. Бывало, день-деньской сидитъ онъ надъ мальчикомъ и дуетъ ему надъ ухомъ въ самодѣльную берестовую дудку, или же возитъ его въ телѣжкѣ собственнаго издѣлія, которая имѣла свойство про-

изводить такой писк, что какъ только Акимъ тронется съ нею, бывало, по улицѣ, всѣ деревенскія собаки словно взбѣсятся: вытянутъ шеи и начнутъ выть.

— Экъ ихъ подняло!... Знать, Акимъ возитъ своего солдатенка! говорятъ бабы.

Такъ прожилъ Акимъ пять лѣтъ, вплоть до той самой минуты, когда солдатка его отдала Богу душу.

Послѣдующая жизнь его была преисполнена горестей и неудачъ всякаго рода. Еслибъ кто нибудь изъ окрестныхъ мужиковъ нуждался въ нянькѣ, Акимъ могъ бы еще какъ нибудь пристроиться, но дѣло въ томъ, что окрестнымъ мужикамъ нуженъ былъ только дюжій дѣловой батракъ. Къ тому же въ эти пять лѣтъ Акимъ окончательно уже облѣнился и сталъ негоденъ ни къ какой работѣ. Поднялъ онъ себѣ на плечи сиротинку-мальчика и снова пошелъ стучаться подъ воротами, пошелъ толкаться изъ угла въ уголъ; гдѣ недѣльку проживетъ, гдѣ двѣ—а больше его и не держали; въ деревнѣ то же, что въ городахъ—никто себѣ не врагъ. „На тебѣ хлѣбца, да и Богъ съ тобой!“ Съ этого-то времени, понукаемый большею частью нуждою, и началъ онъ набрасывать на себя жалкенькій, плаксивый видъ, имѣвшій цѣлью возбуждать состраданіе ближнихъ. Цѣль эта съ каждымъ днемъ достигалась плоше и плоше. Жаловался онъ всѣмъ, да никто уже его не слушалъ!

Не далѣе какъ наканунѣ того самаго утра Благовѣщенія, когда мы застали Акима на дорогѣ, его почти выпроводили изъ Сосновки. Онъ домогался пасти сосновское стадо; но сколько ни охалъ, сколько ни плакалъ, сколько ни старался разжалобить своею бѣдностью и сиротствомъ мальчика, пастухомъ его не приняли, а сказали, чтобъ шелъ себѣ по-добру, по-здорову.

— Знаемъ мы, братъ, каковъ ты есть, говорили сосновцы:— не даютъ—просишь, дадутъ—бросишь. Такой ужъ ты человѣкъ уродился... Ступай съ Богомъ!

Поставленный этимъ отказомъ въ самое крайнее, почти безвыходное положеніе, Акимъ рѣшился прибѣгнуть къ одной дальней родственницѣ по матери. Родственница была замужемъ за рыбакомъ, который жилъ на горной сторонѣ Оки, верстахъ въ семи или восьми отъ Сосновки. Не будь мальчика на рукахъ у Акима, онъ ни за что не предпринялъ бы такого намѣренія: мужъ родственницы съ молоду еще внушалъ ему непобѣдимый страхъ. Рыбакъ былъ чело-

вѣкъ дѣятельный, расторопный,—крѣпкій былъ мужикъ,—пустыми дѣлами не занимался, любилъ работать, любилъ также, чтобъ и люди не тормозили рукъ. Акимъ зналъ, что мужъ родственницы не больно его жалуетъ; сколько разъ даже рыбакъ гонялъ его отъ себя. Но съ другой стороны, дядя Акимъ зналъ также, что парнишка сталъ въ-сукъ расти, сильно балуется, и что надо бы пристроить его къ какому ни на есть рукомеслу. Вотъ это-то обстоятельство невольно подавляло въ немъ страхъ и заставило его направиться къ Окѣ. Забота его заключалась теперь въ томъ только, чтобы рыбакъ не отказалъ взять къ себѣ парнишку. Сокрушаясь мыслями, которыя, всѣ безъ исключенія, зарождались по поводу парнишки, дядя Акимъ не переставалъ, однакожъ, кричать на мальчика и осыпалъ его угрозами.

— Ахъ ты, безмятежный, пострѣлъ ты этакой! тянулъ онъ жалобнымъ своимъ голосомъ:—совѣсти въ тебѣ нѣтъ, разбойникъ!.. вишь, какъ избаловался, и страху нѣтъ никакого!.. Экъ его носитъ куда! продолжалъ онъ пріостанавливаясь и слѣдя даже съ какимъ-то любопытствомъ за ребенкомъ, который бойко перескакивалъ съ одного бугра на другой:—вона! вона! вона!.. о-хъ, шустёръ! куда шустёръ! того и смотри, провалится еще, окаянный, въ яму—и не вытащишь... Я тебя! о-о, погоди, погоди, постой, придемъ на мѣсто, я тебя! все тогда припомню!

Въ отвѣтъ на это, мальчикъ приподнялъ обѣими руками высокую баранью шапку (ту самую, что Акимъ купилъ, когда ему минула недѣля, и которая даже теперь падала на носъ), подбросилъ ее на воздухъ и, не давъ ей упасть на землю, швырнулъ ее носкомъ сапога на дорогу.

— Ну, вотъ, поди-жъ ты! а? вымолвилъ дядя Акимъ съ такимъ выраженіемъ, которое ясно показывало, что онъ скорѣе удивлялся выходкѣ баловня, чѣмъ сердился на него.—Эй, Гринутка, стой! стой! не по той дорогѣ пошелъ! Вернись назадъ, вернись, говорятъ! подхватилъ, немного погодя, Акимъ, отчаянно размахивая оборванными рукавами:—вернись назадъ: не ходи, говорятъ; ступай сюда! Ну, такъ и есть, пошелъ теперь по снѣгу шмыгать!.. Да ты обогни лучше дорогу-то, баловень ты этакой!.. Нѣтъ, дуетъ себѣ по снѣгу, да и полно! Что ты станешь съ нимъ дѣлать? Ну, на то ли я тебѣ сапоги-то купилъ, а? продолжалъ старикъ жалобнымъ, плаксивымъ голосомъ:—на толи сапожишки то купилъ, чтобы ты шмыгалъ ими по лужамъ! Самъ лаптишки обулъ—дырявые лаптишки,

ему сапоги далъ; а онъ... ахъ ты, безмятежный, разбойникъ ты этакой, ира, разбойникъ! заключилъ онъ, сворачивая на едва замѣтную тропинку и суетливо преслѣдуя мальчика, который продолжалъ бѣжать впередъ, очевидно увлекаемый противъ воли непомѣрною тяжестью новыхъ сапоговъ своихъ.

II.

Утро Благовѣщенія.

Дорога, на которую свернулъ теперь дядя Акимъ вмѣстѣ съ мальчикомъ, служила въ зимнее время единственнымъ сообщеніемъ между домомъ рыбака, куда они направлялись, и Сосновкой. Такъ какъ сообщенія съ этой послѣдней было вообще очень мало—рыбакъ сбывалъ по большей части свою добычу въ Коломну или села, лежащія на луговой сторонѣ Оки—то наши путники принуждены были идти почти наобумъ. Единственною путеводною точкой служилъ старый дубъ, чернѣвшійся въ отдаленіи, на обнаженномъ холмѣ. Держась этого направленія, Акимъ и непокорный вожакъ его достигли наконецъ подошвы горы, за которой располагалась Ока.

Солнце не успѣло еще обогнуть гору, и часть ея, обращенная къ путешественникамъ, окутывалась тѣнью. Это обстоятельство значительно улучшало снѣжную дорогу: дядя Акимъ не замедлилъ приблизиться къ вершинѣ. Съ каждымъ шагомъ впередъ выступала часть сіяющаго, неуловимо-далекаго горизонта... Еще шагъ-другой, и дядя Акимъ очутился на хребтѣ противоположнаго ската, круто спускавшагося къ рѣкѣ.

Съ этого мѣста открывалось пространство, которому, казалось, конца не было: деревни, находившіяся верстахъ въ двадцати за Окою, виднѣлись какъ на ладони; за ними синѣли сосновые лѣса, кой-гдѣ перерѣзанные снѣжными, блистающими линіями. Ближе тянулись озера: покрытыя снѣгомъ наравнѣ съ лугами, но обозначавшіяся сѣрою каймою лѣсистыхъ береговъ своихъ, они принимали видъ небольшихъ продолговатыхъ круговъ; многія изъ нихъ имѣли, однакожъ, версты три въ окружности. Столѣтніе дубы, одиноко возвышавшіеся между озерами, мелькали какъ точки.

Милліоны галокъ кружились отдѣльными стаями надъ лугами и озерами; крики ихъ, пропадавшіе въ воздухѣ, еще сильнѣе давали чувствовать всю необъятность этого простора, облитаго солнцемъ и пропадавшаго въ невидимомъ, слегка отуманенномъ горизонтѣ.

Дѣйствіе оттепели дѣлалось особенно замѣтнымъ по всему скату крутого берега, цѣликомъ обращеннаго къ солнцу. Ручьи гремѣли со всѣхъ сторонъ; каждая колея и разсѣлина обращалась въ потокъ, катившій мутную, желтую воду къ Окѣ, которая начинала уже синѣть и отдѣлялась земляною бахромою отъ снѣжныхъ береговъ своихъ. Кое-гдѣ чернѣли корни кустовъ, освобожденные отъ сугробовъ; теплые лучи солнца, пронизывая насквозь темную чащу сучьевъ, озаряли въ ихъ глубинѣ свѣжіе, глянцовитые прутики, какъ бы покрытые краснымъ лакомъ; затвердѣлый снѣгъ подтачивался водою, хрустѣлъ, изламывался и скатывался въ пропасть: однимъ словомъ, все ясно уже говорило, что дуло съ весны и зима иновала.

— Эге, овражки-то, овражки какъ разыгрались! словно къ Святой время пришло! вымолвилъ Акимъ, прикладывая ладонь къ глазамъ и озираясь на стороны, чтобы отыскать мальчика, который, присѣвъ на корточки подлѣ потока, швырялъ въ воду камни.— Опять задурилъ! вона!.. вона!.. эхва! ахъ ты, Господи! да угомонись ты хотъ на время-то. Ну, куда те несетъ? а? куда? а... а?.. Ступай сюда, безстыжій ты этакой!.. Куда опять побѣжалъ? ступай сюда!.. Вонъ намъ куда идти-то, вонъ куда! промолвилъ старикъ, указывая лѣвою рукой на подошву ската.

Съ той точки, гдѣ стоялъ Акимъ, домъ рыбака заслонялся крутыми выступами берега. Онъ показался тогда лишь, когда старикъ подошелъ къ краю широкой пропасти, расходившейся амфитеатромъ. Жилище рыбака располагалось въ глубинѣ этого амфитеатра, на возвышенной площадкѣ, которую не затопляла вода даже и въ самые сильные разливы. Оно состояло изъ избы и нѣсколькихъ навѣсовъ, соединенныхъ плетнями; окна избы были обращены на рѣку. Часть площадки, находившаяся за избою, была занята огородомъ: ряды тоненькихъ полосокъ, которыя чернѣли сквозь снѣгъ, явственно обозначали гряды. За огородомъ, у подошвы кремнистаго обрыва, высилась группа ветелъ; изъ-подъ корней, приподнятыхъ огромными камнями, вырывался ручей; темно-холодною лентой сочился онъ между сугробами, покрывавшими подошву ската, огибалъ владѣнія рыбака и, раздѣлившись потомъ на множество рукавовъ, быстро

спускался къ Окѣ, усыпая берегъ мелкимъ булыжникомъ; плетень огорода, обвѣшанный пестрымъ тряпьемъ и бѣлыми рубахами, не примыкалъ къ избѣ: между ними находился маленькій проулокъ, куда выходили заднія ворота. Тропинка, протоптанная отъ воротъ, вела къ задней части огорода, перескакивала черезъ ручей, вскользала на кручу и, извиваясь между кустарникомъ, выбѣгала на окраину пропасти.

Ступивъ на тропинку, Акимъ снова повернулся къ мальчику; убѣдившись, что тотъ слѣдовалъ за нимъ не въ далекомъ разстояніи, онъ одобрительно кивнулъ головою и началъ спускаться.

По мѣрѣ приближенія къ жилищу рыбака, мальчикъ замѣтно обнаруживалъ менѣе прыткости; устремивъ, нѣсколько изподлобья, черные, любопытные глаза на кровлю избы и недовѣрчиво перенося ихъ время отъ времени на Акима, онъ слѣдовалъ, однакожъ, за послѣднимъ и даже старался подойти къ нему ближе. Наконецъ, они перешли ручей и выровнялись за огородомъ. Заслышавъ голоса, раздавшіеся на лицевой сторонѣ избы, мальчикъ подбѣжалъ неожиданно къ старику и крѣпко ухватилъ его за полу сермяги.

— Э, э! теперь такъ вотъ ко мнѣ зачалъ жаться!.. что, баловень? э! то-то! произнесъ Акимъ, скорчивая при этомъ лицо и какъ бы поддразнивая ребенка:—небось запужался, а? Какъ услышалъ чужой голосъ, такъ ластиться сталъ: чужіе-то не свои, знать... оробѣлъ, жмешься... Ну, смотри же, Гришутка, не балуйся тутъ,—охъ, не балуйся, подхватилъ онъ увѣщевательнымъ голосомъ;—станешь баловать, худо будетъ: Глѣбъ Савинычъ потачки давать не любитъ... и-и-и, пропадешь—совсѣмъ пропадешь... такъ-таки и пропадешь... какъ есть пропадешь!..

Акимъ говорилъ все это вполголоса, и говорилъ, не мѣшаетъ замѣтить, такимъ тономъ, какъ будто относилъ всѣ эти совѣты къ себѣ собственно; пугливые взгляды его и лицо показывали, что онъ боялся встрѣчи съ рыбакомъ не менѣе, можетъ статься, самого мальчика.

— Ну, пойдемъ... чего ждать?.. пойдемъ, Гришутка... произнесъ нерѣшительно дядя Акимъ.

— Не пойду! воскликнулъ вдругъ мальчикъ, порываясь назадъ.

Но Акимъ успѣлъ ухватить его за руку.

— Чего же ты пойдешь?.. чего взаправду боишься?.. пойдемъ, говорятъ...

— Не хочу, не пойду! повторялъ мальчикъ, упираясь ногами.

— А, такъ ты опять за свое, опять баловать!.. постой, постой,

вотъ я только крикну „дядя Глѣбъ!“ крикну—онъ-то дастъ! такъ вотъ возьметъ хворостину да тебя тутъ же на мѣстѣ такъ вотъ и отхлещетъ!.. Пойдемъ, говорю, до грѣха...

Побѣжденный такимъ доводомъ, мальчикъ тотчасъ же замолкъ и еще плотнѣе прижался къ своему спутнику.

Акимъ перекрестился, взялъ мальчика за руку и, придавъ наружности своей самый жалкенькій видъ, пошелъ впередъ, приковыливая съ ноги на ногу.

Опасенія Акима ничѣмъ, однакожъ, неоправдались: въ настоящую минуту онъ не засталъ рыбака передъ крылечкомъ избы. Тутъ находилась только жена Глѣба Савинова—женщина уже пожилая, сгорбленная—и подлѣ нея младшій сынъ, хорошенькій бѣлокурый мальчикъ лѣтъ восьми, державшій въ рукахъ какое-то подобіе птицы, сдѣланной изъ тѣста. Для полноты сходства, въ глаза и носъ этой птицы воткнуты были зерна овса. Такія же точно изображенія наполняли подолъ матери; и тогда какъ одна рука ея поддерживала складки подола, другая брала поочередно одну птицу за другою и высоко подбрасывала ихъ на воздухъ.

— Жаворонки прилетѣли! жаворонки прилетѣли, радостно кричала она, забрасывая простодушныя изображенія первой весенней птички на сосѣднюю кровлю и навѣсы:—жаворонки прилетѣли! вонъ, вонъ, еще одинъ! поглядь-кась, Ванюша, поглядь, соколикъ! вонъ еще одинъ! продолжала она, суетясь вокругъ мальчика, который, успѣвъ уже отвѣдать жаворонка, билъ, смѣясь въ ладоши и жадно слѣдилъ за всѣми движеніями матери *).

Ободренный такою мирною сценою, дядя Акимъ выступилъ впередъ и очутился противъ старухи въ ту самую минуту, какъ она подбрасывала свой послѣдній жаворонокъ.

Акимъ низко поклонился.

— Матушка... Анна Савельевна... касатушка... сказалъ онъ жалобнымъ, нищенскимъ голосомъ:—дай ему, парнечку-то моему, жавороночка!.. дай, касатушка! оробѣлъ добре... вишь... дай, родная, жавороночка-то...

— Батюшки! Царица небесная! Акимушка! ты ли это?

---

*) Обрядъ этотъ совершается простолюдинами Тульской губерніи ежегодно въ утро Благовѣщенія; въ это утро (такъ по крайней мѣрѣ увѣряетъ народъ) прилетаютъ жаворонки—первые возвѣстители тепла. Въ ознаменованіе такой радости домохозяйки пекутъ изъ тѣста ихъ изображенія и разбрасываютъ ихъ на кровли домовъ.

— Я, матушка, произнесъ Акимъ, жалостливо свѣшивая на бокъ голову.—Какъ васъ Богъ милуетъ? присовокупилъ онъ со вздохомъ и перевѣсилъ голову на одинъ бокъ.

— Живёмъ по милости царицы небесной... Ну, а ты какъ, родимый? откуда тебя Богъ несетъ?

— А изъ Сосновки, матушка, изъ Сосновки... О-охъ, васъ пришелъ провѣдать. Пойду-ка, молъ, поклонюсь, говорю...

Акимъ поднялъ глаза и тутъ же остановился, увидѣвъ въ воротахъ грозную фигуру Глѣба Савинова.

Солнце освѣщало рыбака съ головы до ногъ и позволяло различать тончайшія морщинки на высокомъ лбу его. То былъ рослый, плечистый мужикъ, съ открытымъ, румянымъ лицомъ, сохранившимъ энергическое, упрямое, но далеко не грозное выраженіе. Черты его были строги и правильны; но онѣ какъ нельзя болѣе смягчались большими, свѣтло-сѣрыми, быстрыми глазами, насмѣшливыми губами и гладкимъ, необыкновенно умнымъ лбомъ, окруженнымъ пышными кудрями черныхъ волосъ съ просѣдью. Наружность его принадлежала скорѣе весельчаку, чѣмъ человѣку сурового, несообщительнаго нрава. Со всѣмъ тѣмъ стоило только взглянуть на него въ минуты душевной тревоги, когда губы переставали улыбаться, глаза пылали гнѣвомъ и лобъ нахмуривался, чтобы тотчасъ же понять, что Глѣбъ Савиновъ не былъ шутливаго десятка. Въ настоящую минуту онъ находился, повидимому, въ отличнѣйшемъ настроеніи духа. Поддерживая обѣими руками невенькія вершки, которыя торчали у него подъ мышками, онъ весело поклонился навстрѣчу гостю.

Жена дала ему дорогу и поспѣшила закрыть фартукомъ сына, который принялся было закусывать вторымъ жаворонкомъ.

— А, а, а! здорово сватьюшка! добро пожаловать! воскликнулъ рыбакъ, насмѣшливо тряхнувъ головою.

— Здравствуй, Глѣбъ Савинычъ! сказалъ Акимъ такимъ голосомъ, какъ будто онъ только что лишился отца, матери и всего имущества.

— Здравствуй, сватьюшка!.. Ну-ну, разсказывай, отколѣ? зачѣмъ?.. Э, э, да ты и парнишку привелъ! Не тотъ ли это, сказывали, что послѣ солдатки остался... ась?... Что-то на тебя, свать Акимъ, смахиваетъ... маленько покоренастѣе да поплотнѣе тебя будетъ, а въ остальномъ—весь, какъ есть, ты! вишь, ротъ-то... Эй, молодецъ, что ротъ-то разинулъ? присовокупилъ рыбакъ, пригибаясь къ Гришѣ, который смотрѣлъ на него во всѣ глаза.— Свать Акимъ, или онъ у тебя такъ ужъ съ большимъ такимъ ртомъ и родился?

— Накричалъ, Глѣбъ Савинычъ! простодушно отвѣчалъ Акимъ.

— Что жъ такъ? сѣкалъ ты его много, что ли?.. Охъ, сватъ, не худо, кабы и ты тутъ же себя маненько, того... право слово! сказалъ, посмѣиваясь, рыбакъ:—ну, да Богъ съ тобой! Разсказывай, зачѣмъ спозаранку, ни-свѣтъ-ни-заря, пожаловалъ, а? чай, все худо можется, нездоровится... въ людяхъ тошно жить... такъ стало тому и быть! довершилъ онъ, заливаясь громкимъ смѣхомъ, причемъ верши его и все туловище заходили изъ стороны въ сторону.

— Нѣтъ, Глѣбъ Савинычъ, что-жъ мнѣ отъ людей бѣгать... кабы не...

— Скажешь, небось: люди виноваты?

— Свѣтъ нонѣ не тотъ сталъ, Глѣбъ Савинычъ—вотъ что! произнесъ со вздохомъ Акимъ.—Я ли отлынивалъ когда отъ дѣла? я ли не былъ работникомъ? Никто отъ меня и синя пороха не видалъ, не токмо другого худого дѣла какого,—а все я во всемъ повиненъ... Нѣтъ, свѣтъ нонѣ не тотъ сталъ, Глѣбъ Савинычъ: молодыхъ много оченно развелось—вотъ что! Вотъ хошь бы вечоръ: пришелъ я въ Сосновку, прожилъ тамъ восемь день; бился, бился—норовилъ ихнее стадо стеречь. „Я ли, говорю, не пастухъ? я ли эвтого дѣла не вѣдаю?..“ а они все свое... взяли да молодого и наняли! О-охъ, такая ужь, знать, моя сиротская доля!.. Ну, какъ вышло у меня это дѣло, я и мекаю такъ-то себѣ: пойду-ка, говорю, понавѣдаюсь къ... Глѣбу Савинычу... съ родни онъ мнѣ... авось, говорю, взмилуется онъ надо мною... Глѣбъ Савинычъ! будь отцомъ роднымъ! промолвилъ Акимъ, низко кланяясь и нагибая лѣвою рукою голову Гришки:—Глѣбъ Савинычъ, пособи, кормилецъ!

Но рыбакъ сдѣлалъ видъ, какъ будто не слыхалъ послѣднихъ словъ Акима: онъ тотчасъ же отвернулся въ сторону, опустилъ на землю верши и, потирая ладонью голову, принялся осматривать Оку и дальній берегъ.

— Экъ, какую теплынь Господь создалъ! сказалъ онъ, озираясь на всѣ стороны:—такъ и льетъ... Знатный день! А все „мокрякъ“ *) подулъ—оттого... Весна на дворѣ—гуляй, матушка Ока, кормилица наша!.. Слава-те, Господи! Старики сказываютъ: коли въ Благовѣщеніе красенъ день, такъ и рыбка станетъ знатно ловиться...

Во время этого монолога, жена Глѣба и дядя Акимъ не пере-

---

*) Юго-западный вѣтеръ на нарѣчіи рыбаковъ и судопромышленниковъ.

ставали моргать и подавать другъ другу знаки; наконецъ послѣдній сдѣлалъ шагъ впередъ и кашлянулъ.

— Чего тебѣ? нехотя спросилъ рыбакъ.

— Батюшка, Глѣбъ Савинычъ, пособи, кормилецъ!

— Экой ты, братецъ ты мой, какой человѣкъ несообразный! заладилъ: пособи да пособи! Застала, знать, зима въ лѣтней одеждѣ, пришла нужда поперегъ живота, да по чужимъ дворамъ: пособи да пособи! Ну, чѣмъ же я тебѣ пособлю, самъ возьми въ толкъ!

— Ты только выслушай, что я скажу тебѣ...

— А что слушать-то?

— Да выслушай только... Матушка, Анна Савельевна, хоть ты взмилуйся; скажи ты ему...

Старуха взглянула на мужа, но тотчасъ же понурила голову и стала перебирать складки передника.

— Ну, ступай въ избу! сказалъ рыбакъ послѣ молчка, сопровождавшагося долгимъ и нетерпѣливымъ почесываніемъ затылка: — теперь мнѣ недосугъ... Эхъ ты! во тоскѣ живу, на печи лежу! добавилъ онъ, бросивъ полу-презрительный, полу-насмѣшливый взглядъ на Акима, который поспѣшно направился къ избѣ, вмѣстѣ съ своимъ мальчикомъ, преслѣдуемый старухой и ея сыномъ.

Глѣбъ Савинычъ проводилъ его глазами; наконецъ, когда дядя Акимъ исчезъ за воротами, рыбакъ сдѣлалъ безнадежный жестъ рукой и сказалъ, выразительно тряхнувъ головой:

— Пустой человѣкъ!

Затѣмъ онъ приподнялъ свои верши, сунулъ ихъ подъ мышку и рѣшительнымъ шагомъ направился къ берегу, гдѣ видѣлись двѣ-три опрокинутыя лодки и развѣшанный, сушившійся на солнцѣ бредень.

III.

Семейство рыбака.

Семейство рыбака было многочисленно. Кромѣ жены и восьмилѣтняго мальчика, оно состояло еще изъ двухъ сыновей. Старшій изъ нихъ, лѣтъ двадцати шести, былъ женатъ и имѣлъ уже двухъ

дѣтей. Дядя Акимъ засталъ всѣхъ членовъ семейства въ избѣ. Каждый занятъ былъ дѣломъ.

У входа располагался второй сынъ, юноша лѣтъ девятнадцати. Онъ представлялъ совершеннѣйшій типъ тѣхъ приземистыхъ, но дюжесплоченныхъ парней, съ румянцомъ во всю щеку, вьющимися бѣлокурыми волосами, бѣлой, короткой шеей и широкими, могучими руками, одинъ видъ которыхъ мысленно переноситъ всегда къ нашимъ столичнымъ щеголямъ и возбуждаетъ по поводу ихъ невольный вопросъ: „чѣмъ только живы эти господа?“ Парень этотъ, которому, мимоходомъ сказать, не стоило бы малѣйшаго труда заткнуть за поясъ десятокъ такихъ щеголей, былъ, однакожъ, вида смирнаго, хотя и веселаго; подлѣ него лежало нѣсколько кусковъ толстой березовой коры, изъ которой вырубалъ онъ топоромъ круглые, полновѣсные поплавки для невода. Наружность старшаго сына, Петра, была совсѣмъ другого рода; исполинскій ростъ, длинные члены и узкая грудь не обѣщали большой физической силы; но зато черты его отражали энергію и упрямство, которыми отличался отецъ. Сходства между ними было, однакожъ, мало. Лицо Петра сохраняло мрачное, грубое выраженіе, чему особенно способствовали черные какъ смоль волосы, разсыпавшіеся въ безпорядкѣ, вдавленные черные глаза, выгнутыя густыя брови и необыкновенная смуглость кожи, дѣлавшіе его похожимъ на цыгана, котораго только-что провели и надули. Петръ и жена его, повернувшись спиной къ окнамъ, пропускавшимъ лучи солнца, сидѣли на полу; на колѣняхъ того и другого лежалъ бредень, который, обогнувъ нѣсколько разъ избу, поднимался вдругъ горою въ заднемъ углу и чуть не доставалъ въ этомъ мѣстѣ до люльки, привѣшенной къ гибкому шесту, воткнутому въ перекладину потолка. Тонкая бичевка, привязанная однимъ концомъ къ шесту, другимъ концомъ къ правой рукѣ жены Петра, позволяла ей укачивать ребенка, не прерывая работы (простой этотъ механизмъ придумалъ Глѣбъ Савиновъ, строго наблюдавшій, чтобъ въ домѣ его никто не билъ попусту баклуши). Второй ребенокъ рыбака Петра, вооруженный ломтемъ хлѣба, котораго стало бы на завтракъ тридцатилѣтнему батраку, валялся на неводѣ, въ двухъ шагахъ отъ матери.

Петръ, его братъ и жена изрѣдка перекидывались словами; всѣ трое, особенно Петръ, были какъ словно чѣмъ-то недовольны. Починка невода подвигалась впередъ, поплавки умножались подъ топоромъ Василья (такъ звали второго сына); но видно было, что

работа шла принужденно. Василій часто опускалъ топоръ, садился на корточки и, толкнувъ дверь, устремлялъ глаза въ сѣни, изъ которыхъ можно было обозрѣвать часть двора и ворота, выходившія на Оку. Петръ рѣже отрывался отъ дѣла, онъ вязалъ петлю за петлей и, не смотря на неудовольствіе, написанное на каждой чертѣ смуглаго лица его, быстро подвигалъ работу. Время отъ времени подталкивалъ онъ локтемъ жену, которая, условившись, вѣроятно, заранѣе въ значеніи этихъ толчковъ, поспѣшно вставала и принималась глядѣть въ окно. Послѣ этого она завертывала обыкновенно, какъ бы по дорогѣ, къ люлькѣ и снова усаживалась къ неводу.

Появленіе посторонняго лица, естественнымъ образомъ должно было оживить присутствующихъ. Этому сильнѣйшимъ образомъ содѣйствовала старушка Анна. Она не на шутку обрадовалась своему гостю: кромѣ родственныхъ связей, существовавшихъ между нею и дядей Акимомъ — связей весьма отдаленныхъ, но тѣмъ не менѣе дорогихъ для старухи, онъ напоминалъ ей ея дѣтство, кровлю, подъ которой жила она и родилась, семью — словомъ, всѣ тѣ предметы, которые ввѣкъ не забываются, и память которыхъ сохраняется даже въ самомъ зачерствѣломъ сердцѣ. Оживленная воспоминаніями, она осадила дядю Акима вопросами, обласкала его и, не зная уже чѣмъ бы выразить свою радость, принялась снаряжать для него завтракъ. Между тѣмъ Петръ и Василій, встрѣчавшіеся уже не въ первый разъ съ Акимомъ, вступили, слово за словомъ, въ разговоръ. Сначала послышались разспросы о томъ, какъ поживаютъ тамъ-то и тамъ-то, что подѣлываетъ тотъ-то, каковы дороги, что говорятъ на сторонѣ, и проч. и проч.; наконецъ рѣчь завязалась и сдѣлалась общею. Младшій сынишка Глѣба, смотрѣвшій до того времени съ какимъ-то нѣмымъ притупленнымъ любопытствомъ на спутника Акима, продолжавшаго дико коситься на все окружающее, подсѣлъ къ нему ближе, началъ улыбаться и даже вынулъ изъ-за пазухи дудку изъ муравленой глины. Но всѣ эти попытки первоначальнаго ознакомленія были вскорѣ прерваны старушкой, неожиданно явившійся изъ-за печки, съ горшкомъ въ одной рукѣ, съ чашкой и ложками въ другой. Суетливо перекидывая то одну ногу, то другую черезъ неводъ, который шелъ изгибами по всему полу, она добралась наконецъ до стола.

— Прикушай, батюшка, прикушай, Акимушка, примолвила она, ставя свою ношу на столъ: — я чай, умаялся съ дороги-то?

куды-то, я чай, плохи стали нонѣ дороги-то! Парнишечкѣ-то положи кашки... потѣшь его... Сядь поди, болѣзный... а какъ бишь звать-то его?

— Гришутка, матушка Анна Савельевна, Гришутка!

— Сядь поди, Гриша, сядь, соколикъ!

— Ахъ ты, матушка ты наша! ахъ, ахъ! Анна Савельевна, какъ намъ за тебя Бога молить! ахъ ты, родная ты наша! воскликнулъ Акимъ, разводя руками и умиленно взглядывая на старуху.

Языкъ Акима, смазанный жирною ячменной кашей, ободренный ласковымъ, привѣтливымъ пріемомъ, вскорѣ развязался и замололъ безъ устали: дядя Акимъ, какъ уже извѣстно, не прочь былъ покалякать. Не прерываясь на этотъ разъ охами и вздохами, которые, за отсутствіемъ грознаго Глѣба Савинова, были совершенно лишними, онъ передалъ, съ поразительною яркостью, всѣ свои несчастія, постигшія его чуть ли не со дня рожденія. Изъ словъ его оказалось, что свѣтъ переродился и люди стали плохи съ того самаго времени, какъ онъ лишился имущества и вынужденъ былъ заниматься батракомъ. Онъ ли не былъ работникомъ? онъ ли не старался? Нѣтъ! не только никто не далъ цѣны ему, но даже никто не сказалъ: спасибо! Затѣмъ дядя Акимъ перешелъ къ воспоминаніямъ болѣе современнымъ и, пропустивъ почему-то житье свое у покойной солдатки, принялся пояснять настоящее свое положеніе. Онъ повторилъ вчерашнюю исторію свою съ сосновскими мужиками и объявилъ, что вотъ такъ и такъ, коли не вступится теперь Глѣбъ Савинычъ, коли не взмилуется его сиротствомъ, придется и не вѣсть за что приниматься

— Да мнѣ что! куда бы еще ни шло! пропадай, старая собака: туда и дорога! примолвилъ онъ, махнувъ рукою.—Не о себѣ толкую... вотъ кого жаль! подхватилъ онъ, указывая на Гришку:— его хотѣлось бы пристроить, къ какому-нибудь дѣлу пронзвести... И то сказать: много ли съѣли бы мы хлѣба у Глѣба Савиныча! много ли намъ надыть? Вѣдь не то, чтобы даромъ, братцы, не даромъ же, матушка Анна Савельевна! Знамо, не сталъ бы лежать на печи: послать куда, сдѣлать ли что — во всемъ подсобилъ бы ему... Я ли не работникъ! Ну, вотъ и паренечекъ также. Вѣстимо онъ теперь махочка: взять нечего; ну, а какъ подростетъ, произойдетъ ваше рыбацкое рукомесло, такъ и онъ также подмогать станетъ... Я вѣдь не даромъ прошусь. Вотъ объ этомъ-то болѣе и хотѣлъ поговорить съ Глѣбомъ Савинычемъ... да вишь ты онъ ка-

кой крѣпкій!.. А чего бы, кажись, ему отнѣкиваться? Я вѣдь не изъ за денегъ, не изъ платы бьюсь: только изъ хлѣба и хлопочу...

При этомъ Петръ сомнительно покачалъ головою.

— Да поди, столкуй съ нимъ, съ отцомъ-то! ты ему свое, а онъ те свое, произнесъ онъ, поворачивая къ гостю свое смуглое, недовольное лицо: — какъ заберетъ что̀ въ голову, и не сговоришь никакъ! Хошь бы теперь въ моемъ дѣлѣ: уперся—нѣтъ, да нѣтъ! а что нѣтъ?.. Вотъ теперь верстахъ во ста отселева звалъ меня хозяинъ — также рыбною ловлей промышлять: только куды! богачъ: верстъ на сорокъ снялъ берега, да еще три озера нанимаетъ; мѣста привольныя, заведеніе большое, и рыбы много... тысячъ на пять, сказываютъ, въ одну Коломну рыбы-то продаетъ!.. Ну, такъ вотъ звалъ онъ меня къ себѣ, и деньги даетъ хорошія. Говорю намедни отцу: нѣтъ, да нѣтъ, только и слышалъ! Ну, а что нѣтъ-то? Вѣдь ему же сталъ бы носить деньги. Положимъ, хозяинъ далъ бы мнѣ полтораста въ годъ (самъ сулилъ столько): ну все же въ домъ принесъ бы покрайности сколько-нибудь... А теперь что? Что живу я здѣсь, что нѣтъ меня, никакого толку: смерть прискучило! Къ тому же, своя семья на рукахъ, дѣти: мало ли нужда какая бываетъ!.. скажешь отцу, бранится... „пропьешь“, говоритъ, либо другое что вымолвитъ. Живешь какъ словно въ ту пору, когда на карачкахъ ползалъ... Смерть прискучило! Вотъ хоть бы сама матушка: на что, кажись, тошно ей съ нами разставаться, и та скажетъ: здѣсь дѣлать мнѣ нечего! Заведеніе малое—такъ только кормиться можно... работа пустая, ловъ плохой... Останься одинъ братъ Вася, и тотъ управится; а найми онъ работника подешевле, который... ну, хоть бы вотъ возьми онъ тебя, такъ и за глаза. Нѣтъ же вотъ, поди! сталъ на одномъ: нѣтъ, да нѣтъ! что хошь тутъ дѣлай!

Въ эту самую минуту заскрипѣли ворота.

— Батюшка идетъ! шепнула жена Петра, подсобляя старушкѣ убрать со стола завтракъ и бросаясь къ неводу.

Всѣ смолкли и усердно принялись за работу. Хозяйка, стоявшая уже у печки, гремѣла горшками, какъ ни въ чемъ не бывало.

На порогѣ избы показался старый рыбакъ.

Мы уже сказали, что Глѣбъ Савинычъ находился въ отличномъ расположеніи духа; веселость его, несмотря на утро, проведенное въ трудѣ, нимало, повидимому, не измѣнила ему.

— Хозяйка, сказалъ онъ, бросая на полъ связку хвороста,

старыхъ вѣтвей и засохнувшаго камыша:—на вотъ тебѣ топлива: берегомъ идучи подобралъ. Нутка-сь, вы, много ли дѣла надѣлали? Я чай, все болѣе языкомъ выплетали... Покажь: ну нѣтъ, ладно, поплавки знатные и неводокъ, тово, годенъ теперь сталъ... Маловато только что-то сработали... утро, кажись, не одинъ часъ: можно бы и весь неводъ рѣшить... То-то, по вашему: день разсвѣлъ—всталъ да поѣлъ, день прошелъ—спать пошелъ... Эхъ, вы!

— По сторонамъ не зѣвали, пробормоталъ Петръ, не подымая головы:—сколько велѣлъ, столько и сдѣлали, коли еще не больше, добавилъ онъ, почти шопотомъ.

— Сдѣлали, сдѣлали! то-то сдѣлали!... Вотъ у меня такъ работникъ будетъ—почище всѣхъ васъ! продолжалъ Глѣбъ, кивая младшему сыну:—а вотъ и другой! (Тутъ онъ указалъ на внучка, валявшагося на бреднѣ). Ну ужъ теплынь сотворилъ Господь, нечего сказать! такъ тебя солнышко и донимаетъ; рубаху-то, словно весною, хошь выжми... Упыхался словно середь лѣта, подхватилъ онъ, опускаясь на лавку подлѣ стола, но все еще дѣлая видъ, какъ будто не примѣчаетъ Акима.

— Я чай, умаялся, Глѣбъ Савинычъ, усталъ? произнесъ дядя Акимъ заигрывающимъ голосомъ.

— Усталъ! а съ чего устать-то? полу-небрежно, полу-презрительно возразилъ рыбакъ:—нѣтъ, сватъ, нашему брату уставать не показано: наша кость не пареная; всякій трудъ на себя принимаетъ... А и усталъ, не Богъ вѣсть какая бѣда: поѣлъ, отряхнулся—и опять пошелъ!.. Хозяйка, нутка-сь, чѣмъ пустыя-то рѣчи говорить, пошевеливайся: давай обѣдать... пора... Сноха, подсоби ей... Постой, дай-ка мнѣ напередъ вонъ энтого парня-то, что изъ люльки-то кулаки показываетъ,—давай его сюда! Экой молодчина! Эки кулачищи-то, подумаешь! заговорилъ рыбакъ, взявъ внучка на руки и поставивъ его голыми ножками къ себѣ на колѣни.

Во все время, какъ сноха и хозяйка собирали на столъ, Глѣбъ ни разу не обратился къ Акиму, хотя часто бросалъ на него косвенные взгляды. Видно было, что онъ всячески старался замять рѣчь и не дать гостю своему повода вступить въ объясненіе. Совсѣмъ тѣмъ, какъ только хозяйка поставила на столъ горячіе щи со снѣтками, онъ первый заговорилъ съ нимъ.

IV.

За щами и кашей.

— Чего жъ ты, сватьюшка? садись, придвигайся! весело сказалъ Глѣбъ, постукивая ложкою о край чашки:—можетъ статься, наши хозяйки — прыткія бабы, что говорить! — тебя ужъ угостили? а?

Старуха, находившаяся въ эту минуту за спиною мужа, принялась моргать изо всей мочи дядѣ Акиму. Акимъ взялъ тотчасъ же ложку, придвинулся ко щамъ и сказалъ:

— Маковой росинки во рту не было, Глѣбъ Савинычъ!

— Ну, такъ что жъ ты ломаешься, когда такъ? Ѣшь! али прикажешь въ упросъ просить? Ну, а парнишку-то! Не дворянскій сынъ: глядѣньемъ сытъ не будетъ; сажай и его! Что, смотрю, онъ у тебя такимъ бычкомъ глядитъ, слова не скажетъ?

— Знамо, батюшка, глупенекъ еще, отвѣчалъ Акимъ, суетливо подталкивая Гришку, который не трогался съ мѣста и продолжалъ смотрѣть въ землю.—Вотъ, Глѣбъ Савинычъ, подхватилъ онъ, переминаясь и робко взглядывая на рыбака:—все думается, какъ бы... о немъ, примѣрно, сокрушаюсь... Лѣта его, конечно, малыя,—какія его лѣта! а все... какъ бы... хотѣлось къ ремеслу какому приставить... мальчишечка смысленный, вострый... куды тебѣ! на всяко дѣло: такъ и...

— Что говорить! всякому свое не мыто бѣло! Съ чего-жъ тебѣ больно много-то крушиться? Онъ какъ тебѣ: сынъ, либо сродственникъ приводится? перебилъ рыбакъ, лукаво прищуриваясь.

— Нѣтъ... кормилецъ, пріемышъ... пробормоталъ дядя Акимъ, жалобно скорчивая лицо.

— Вотъ какъ, пріемышъ... Слыхалъ я, сватьюшка, старая пѣсня поется (тутъ рыбакъ насмѣшливо тряхнулъ головою и произнесъ скороговоркою): отца, матери нѣту; сказываютъ, въ ненастье ворона въ пузырѣ принесла... такъ, что ли?...

Тутъ онъ залился смѣхомъ, но вскорѣ снова обратился къ гостю:

— Ну, сказывай, о чемъ же ты хлопочешь?

— Дядюнка Акимъ говоритъ, ему, говоритъ, хочется произвести, говоритъ, паренечка къ нашему, говоритъ, рыбацкому дѣлу,

неожиданно сказалъ Василій, высовывая впередъ свѣжее, румяное лицо свое.

— Охъ, ты: говорить, говорить! съ усмѣшкою возразилъ рыбакъ.—Что-жъ, дѣло, дядя Акимъ, подхватилъ онъ, снова обращаясь къ гостю:—наше ремесло не ледащее. Конечно, рыбаку накладнѣе пахаря: тамъ, примѣрно, всего одна десятина,—ходишь да зернышко бросаешь: гдѣ бросилъ, тутъ тебѣ и хлѣбъ готовъ... Ну, нашему брату не то... Рыбаку ли, охотнику ли, требуется больше простору; къ тому же, и зернышко-то наше живое: гдѣ захочетъ, тамъ и водится; само въ руки не дается: поди, поищи да погоняйся за нимъ! Съ начатія, знамо, трудненько покажется; ну да какъ быть! не безъ этого—привыкнетъ! Такъ-то и во всякомъ дѣлѣ: тяжко сдвинуть только переднія колеса, а сдвинулъ—сами покатятся!..

— Кабы твоя бы милость была, Глѣбъ Савинычъ, жалобно началъ Акимъ:—вѣкъ бы сталъ за тебя Бога молить!.. Взмилуйся надъ сиротинкой, будь отцомъ роднымъ, возьми ты его—приставь къ себѣ!..

— Куда мнѣ его! у меня и своихъ не оберешься!

— Кормилецъ! воскликнулъ Акимъ, подымая на рыбака слезливые глаза свои:—вѣстимо, теперь онъ махочка! способу не имѣетъ,—а подростетъ, вѣдь тебѣ же, тебѣ работникъ будетъ!

— Коли въ тебя уродился, такъ хоть сто лѣтъ проживетъ, толку не будетъ, проговорилъ рыбакъ, пристально взглянувъ на мальчика

— Батюшка, Глѣбъ Савинычъ, да что-жъ я такое сдѣлалъ?

— А не больно много—объ томъ-то и говорятъ!

Глѣбъ окинулъ глазами присутствующихъ, посмотрѣлъ на младшаго сына своего и снова устремилъ пристальный взглядъ на Гришку.

— А который ему годъ? спросилъ онъ послѣ молчка.

— Съ зимняго Миколы восьмой годокъ пошелъ, батюшка, поспѣшилъ отвѣтить Акимъ.

— Стало, сверстникъ моему Ванюшкѣ?

— Однолѣточки, Глѣбъ Савинычъ, отозвался Акимъ такимъ жалкимъ голосомъ, какъ будто дѣло шло о выпрашиваніи насущнаго хлѣба обоимъ мальчикамъ.

— Что-же? сказалъ, немного погодя, рыбакъ:—пожалуй, малаго можно взять.

— Какъ намъ за тебя Бога молить! радостно воскликнулъ Акимъ, поспѣшно нагибая голову Гришки и самъ кланяясь въ то же время: — благодѣтели вы, отцы наши!.. А ужъ про себя скажу, Глѣбъ Савинычъ, въ гробъ уложу себя старика. Къ какому дѣлу ни приставишь, куда ни пошлешь, что сдѣлать велишь...

Неожиданный, могучій смѣхъ Глѣба прервалъ дядю Акима.

— Э... э... охъ, батюшки!.. Такъ ты, сватъ, ко мнѣ въ работники пришелъ наниматься!.. О-о, дай духъ перевести... Ну, нѣтъ, братъ, спасибо!

— Зарокъ далъ...

— Ой-ли?

— Какъ передъ Господомъ! провалиться мнѣ!

Рыбакъ залился пуще прежняго.

— Ну, нѣтъ, сватьюшка ты мой любезный, спасибо! Знаемъ мы, какіе твои зароки: слава те Господи, не впервые встрѣчаемся... Ахъ ты, дядюшка Акимъ, Акимъ-простота, по нашему! Вотъ, не чаялъ, не гадалъ, зачѣмъ пожаловалъ... въ батраки наниматься! Ахъ, ты, шутникъ-балясникъ, ей-Богу, право!

При этомъ, дядя Акимъ, сидѣвшій все время смирно, принялся вдругъ такъ сильно колотить себя въ голову, что Василій принужденъ былъ схватить его за руку.

— Ахъ, я, глупый! ахъ, я, окаянный! заговорилъ онъ, отчаянно болтая головою: — что я надѣлалъ! что я надѣлалъ!.. Бить бы меня. собаку! палочьемъ бы меня хорошенько, негоднаго!.. Батюшка, Глѣбъ Савинычъ, подхватилъ Акимъ, простирая неожиданно руки къ мальчику, мѣшаясь и прерываясь на каждомъ словѣ: — что-жъ я... какъ же?.. какъ... какъ же я безъ него-то останусь?.. батюшка!

— Твое дѣло: какъ знаешь, такъ и дѣлай, сухо отвѣчалъ рыбакъ. — Мы эти виды-то видали съ молоду напрялъ нитокъ съ узлами, да потомъ: на-те, молъ, вамъ, кормильцы, распутывайте!.. Я тебѣ сказалъ: парнишку возьму, пожалуй, а тебя мнѣ не надыть!

Акимъ опустилъ руки и повѣсилъ голову, какъ человѣкъ, которому прочли смертный приговоръ. Минуты двѣ сидѣлъ онъ неподвижно, наконецъ взглянулъ на Гришку, закрылъ лицо руками и горько заплакалъ.

Рыбакъ посмотрѣлъ съ удивленіемъ на свата, потомъ на мальчика, потомъ перенесъ глаза на сыновей, но, увидѣвъ, что всѣ

сидѣли понуря голову, сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе и пригнулся къ щамъ. Хозяйка его стояла между тѣмъ у печки и утирала глаза рукавомъ.

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе, прерываемое стукомъ одной только ложки.

— Вотъ что, Петрушка, началъ вдругъ Глѣбъ, очевидно съ тою цѣлью, чтобъ замять предшествовавшій разговоръ: — весна приходитъ: пора о лодкахъ побезпокоиться... Ходилъ нынѣче смотрѣть — работы много: челнокъ вновь просмолить придется, а большую нашу лодку надо всю проконопатить. Сдается мнѣ, весна будетъ ранняя; еще недѣля, либо двѣ такія простоятъ, какъ нонѣшняя, глазомъ не смигнешь — задуритъ рѣка; и то смотрю: отставать кой-гдѣ зачала отъ береговъ. Тогда не до „посудины“ *), присовокупилъ онъ, приходя постепенно въ свое обычное шутливое расположеніе духа: — знай только неводокъ забрасывай, да рыбку затаскивай! А въ рыбѣ (коли только Господь создастъ ей рожденье), въ рыбѣ недостачи, кажись, быть не должно! по примѣтамъ, ловъ нынѣче будетъ удачливъ!

Петръ, упорно молчавшій во все время обѣда, провелъ ладонью по волосамъ и поднялъ голову.

— Ты, батюшка, и позапрошлый годъ то же говорилъ, сказалъ онъ отрывисто: — и тогда весна была ранняя; сдавалось по твоему, ловъ будетъ хорошъ... а наловили, помнится, немного...

— Чего-жъ тебѣ еще?.. возами возить, что-ли? возразилъ отецъ довольно спокойно, чего никакъ не ожидали присутствовавшіе, знавшіе очень хорошо, что Глѣбъ не любилъ противорѣчій, особенно со стороны дѣтей: — слава те Господи, должны и за то благодарить... (Глѣбъ жаловался между тѣмъ весь протекшій годъ, что рыба плохо ловилась) покуда недостатка не вижу; сводимъ концы съ концами: а что далѣе будетъ — темный человѣкъ: не узнаешь... Главное — требуется во всякомъ дѣлѣ порядокъ наблюдать — вотъ что; домъ — яма, стой прямо! Этимъ нашъ братъ только и крѣпокъ!... Вишь чего, возами возить захотѣлъ! Эхъ, ты, умница!.. Кабы съ нашего участка, что нанимаемъ, рыбу-то возами возили, такъ съ насъ заломили бы тысячу, не то и другую... Сосновское общество знаетъ

*) Такъ рыбаки называютъ небольшія обиходныя лодки.

счетъ: своего не упуститъ; а мы всего сто цѣлковыхъ за участокъ-то платимъ; каковъ ловъ, такая и плата... а ты какъ думалъ?.. *)

— Противъ этого я не спорю.

— Ну, то-то же и есть! А туда же толкуетъ! погоди: мелко еще плаваешь; дай бородѣ подрости, тогда и толкуй! присовокупилъ Глѣбъ, самодовольно посматривая на членовъ своего семейства и въ томъ числѣ на Акима, который сидѣлъ, печально свѣсивъ голову, и только моргалъ глазами.

— Я не о томъ совсѣмъ рѣчь повелъ, снова заговорилъ Петръ: — я говорю, примѣрно, по нашей по большой семьѣ надо бы больше прибыли... Рукъ много: я, ты, братъ Василій... не по работѣ рукъ много — вотъ что я говорю.

— Э, Петрушка! вижу, отселева вижу, куда наровишь багромъ достать! Ловокъ, нече сказать; подумаешь: щуку нырять выучитъ... Жаль только, мелки твои рѣчи, пальцемъ дно достанешь...

— Доставай пожалуй; я тебѣ правду говорю.

— Ой-ли? А хочешь, я тебѣ скажу, какая твоя правда, — хочешь? ноги зудятъ — бѣжать хотятъ, да жаль, не велятъ... все, чай, туда тянетъ? а?

— Куда?

— Чтой-то за хитрецъ, право! Куда? куда?.. знамо, куда: въ „рыбацкія слободки“.

При этомъ веселость снова возвратилась къ Глѣбу; лицо его просіяло; онъ зорко взглянулъ на сына и засмѣялся.

— А хоть бы такъ, хоть бы и въ „рыбацкія слободы“: я, чай, вѣдь не даромъ пойду, произнесъ Петръ отрывистымъ тономъ.

— Что-жъ, много сулили? спросилъ, подсмѣиваясь, отецъ.

— Я ужъ тебѣ сказывалъ, нетерпѣливо отвѣчалъ сынъ и отвернулся.

— Точно, сказывалъ... Слышь, сватъ Акимъ, какого я сынка возрастилъ?.. Да полно тебѣ хлюпать-то! послушай лучше нашихъ рѣчей... слышь: полтораста рублевъ сулятъ, а? А ты все плачешься да жалишься: добрыми людьми, говоришь, свѣтъ обѣднѣлъ. Какъ нѣтъ добрыхъ людей? Я вотъ, скажу тебѣ, одного знаю, примолвилъ Глѣбъ съ усмѣшкою, косясь на Петра: — чарку поднесешь ему, ни за что не откажется! такой-то, право, добрый, сговорчи-

*) Берега Оки, равно какъ и другихъ рѣкъ, составляютъ собственность частныхъ и казенныхъ имѣній, къ которымъ примыкаютъ. Правленіе имѣній, соображаясь съ мѣстами, болѣе или менѣе удачными для лова рыбы, назначаетъ имъ соотвѣтственную цѣнность и отдаетъ ихъ въ наймы рыбакамъ.

вый... Хозяйка, давай перемѣну; ставь кашу: что-то она скажетъ... Такъ какъ же, Петрушка, въ рыбацкія слободки, ась? продолжалъ, подтрунивая, отецъ.

— Оставь, батюшка: я съ тобой не къ смѣху говорю, сказалъ Петръ, встряхивая волосами и смѣло встрѣчая отцовскій взглядъ:— я говорю тебѣ толкомъ: отпустишь на заработки, тебѣ лучше; и самъ смекаешь, только что вотъ на своемъ стоишь.

Старый рыбакъ нахмурилъ брови; но это продолжалось одну секунду: лицо его снова засмѣялось.

— Будь по твоему, сказалъ онъ, потѣшаясь, повидимому, недовольными выходками сына:—ладно; ну, ты уйдешь; а въ дому-то кто останется?

— Останутся ты, да братъ Василій; а когда мало, работника наймешь—все сходнѣе...

— Ну, а работнику ты, что ли, изъ своей мошны станешь платить?

— Я на сторонѣ добуду полтораста; работника наймешь ты за половину... другой и меньше возьметъ...

Глѣбъ провелъ ладонью по высокому лбу и сдѣлался внимательнѣе: ему не разъ уже приходила мысль отпустить сына на заработки и взять дешоваго батрака. Выгоды были слишкомъ очевидны; но грубый, буйный нравъ Петра служилъ препятствіемъ къ приведенію въ исполненіе такой мысли. Отецъ боялся, что изъ заработковъ, добытыхъ сыномъ, не увидитъ онъ и гроша. Въ послѣдніе три дня Глѣбъ уже совсѣмъ было рѣшился отпустить сына, но не дѣлалъ этого потому только, что сынъ предупредилъ его — однимъ словомъ, не дѣлалъ этого изъ упрямства.

— Ладно, сказалъ онъ:—работникъ точно сходнѣе, коли станешь приносить въ домъ заработки... Ну, а гдѣ-жъ бы ты взялъ такого работника, который денегъ-то мало возьметъ?

— А вотъ хошь бы дядюшка Акимъ; самъ говоритъ: изъ-за хлѣба иду. Чѣмъ онъ тебѣ не по нраву пришелъ? года его не старые...

Дядя Акимъ встрепенулся.

— Какіе еще мои года! произнесъ онъ, охорашиваясь.

— Полно, сватъ, что пустое говорить! Года твои точно не старые, да толку въ томъ мало! Съ чего-жъ тебя никто не держитъ-то, а?

— Охъ, Глѣбъ Савинычъ, батюшка, и радъ бы жилъ, заговo-

рилъ Акимъ съ оживленіемъ, какого вовсе нельзя было ожидать отъ него: — и радъ бы... я-жъ говорилъ тебѣ: нынче старыми-то людьми гнушаются...

— Полно врать, перебилъ Глѣбъ: — человѣку рабочему вездѣ пробойная дорога...

— То-то, что нѣтъ, Глѣбъ Савинычъ, подхватилъ Акимъ. — Придешь: „Нѣтъ, говорятъ, случись неравно что, старому человѣку какъ словно грѣшно поперекъ сдѣлать; а молодому-то и подзатыльничка дашь — ничего!“ Молодыхъ-то много-добре развелось нынче, Глѣбъ Савинычъ, — вотъ что! Я ли радъ на печи лежать: косить ли, жать ли, пахать ли, никогда позади не стану!

— Тебя послушать: какъ родился, такъ ужъ въ дѣло годился! Полно молодцовать! я вѣдь-те знаю: много сулишь, да мало даешь! А все оттого, самъ сказалъ: мало съ молоду били!.. Эхъ, кабы учить тебя, учить въ свое время, такъ былъ бы ты человѣкъ. Полно куражиться! гдѣ тебѣ о чужихъ дѣлахъ хлопотать, когда самъ съ собою не управился!.. Отцомъ обиженъ, кажись, не былъ; а куда пошло? осталось ни кола, ни двора, ни малаго живота, ни образа помолиться, ни хлѣба перекусить!... Слоняешься, какъ шатунь-бродяга, по бѣлому свѣту да стучишь подъ воротами — вотъ до чего дошелъ! куда жъ ты годенъ послѣ этого?

— Батюшка, Глѣбъ Савинычъ! воскликнулъ дядя Акимъ, приподнимаясь съ мѣста: — выслушай только, что я скажу тебѣ... Вѣришь ты въ Бога... вотъ передъ образомъ зарокъ дамъ, примолвилъ онъ, быстро поворачиваясь къ красному углу и принимаясь креститься: — вотъ накажи меня Господь всякими болѣстями, разрази меня на мѣстѣ, отсохни мои руки и ноги, коли въ чемъ тебя ослушаюсь! Что велишь — сработаю, куда пошлешь — схожу; слова супротивнаго не услышишь! Будь отцомъ роднымъ, заставь за себя вѣчно Бога молить!..

Въ отвѣтъ на это, старый рыбакъ махнулъ только рукой и всталъ съ мѣста.

— Ну, ребята, произнесъ онъ неожиданно, обращаясь къ сыновьямъ, которые послѣдовали его примѣру и крестились передъ образами: — пора за дѣло; бери топоры да паклю — ступай на берегъ!

Петръ и братъ его безпрекословно повиновались, взяли топоры и направились къ двери. Старый рыбакъ проводилъ ихъ глазами.

— Ну, а ты-то что-жъ, свать? пойдешь и ты съ нами? принужденно сказалъ Глѣбъ, поворачиваясь къ Акиму, который стоялъ

съ поднятою рукой и открытымъ ртомъ: — все одно: къ ночи не поспѣешь въ Сосновку, придется здѣсь заночевать... а до вечера время много; бери топоръ... вонъ онъ тамъ, кажись, на лавкѣ.

Акимъ бросился безъ оглядки на указанное ему мѣсто, но, не найдя топора, засуетился какъ угорѣлый по всей избѣ. Хозяйка рыбака приняла дѣятельное участіе въ розысканіи затерянаго предмета и также засуетилась не менѣе своего родственника.

Во все продолженіе этой сцены Глѣбъ Савиновъ стоялъ у двери и не спускалъ съ глазъ жену и дядю Акима.

Наконецъ онъ выразительно тряхнулъ головою, усмѣхнулся и вышелъ изъ избы.

V.

Глѣбъ Савиновъ.

Старый рыбакъ, какъ всѣ простолюдины, вставалъ очень рано. Лѣтомъ и весною просыпался онъ вмѣстѣ съ жаворонками, зимою и осенью—вмѣстѣ съ солнцемъ. На другое утро послѣ разговора, описаннаго въ предъидущей главѣ, пробужденіе его совершилось еще раньше. Это была первая ночь, проведенная имъ на открытомъ воздухѣ.

Наши мужички начинаютъ спать на дворѣ съ самаго Благовѣщенія. Несмотря на то, что въ эту пору утренники холоднѣе зимнихъ, семейства покидаютъ избу и перебираются въ сѣни или клѣти; даже грудные младенцы, и тѣ (поневолѣ, впрочемъ) слѣдуютъ за своими родителями. На печкѣ остаются одни хворые старики и старухи. Переселеніе на дачу происходитъ, какъ видите, раненько: всѣ, и малые, и большіе, корчатся отъ стужи подъ прорванными тулупишками, жмутся другъ къ дружкѣ и щелкаютъ зубами; но что прикажете дѣлать! таковъ ужъ исконный обычай!

Трудно предположить, однакожъ, чтобъ холодъ именно могъ пробудить Глѣба Савинова. Вотъ жаръ развѣ, ну то совсѣмъ другое дѣло! жаръ, какъ самъ онъ говаривалъ, частенько донималъ его; холодъ же не производилъ на Глѣба ни малѣйшаго дѣйствія.

„Съ начатія-то тебя какъ словно маненько и пощипываетъ; а

тамъ ничего, нуждушки мало! Съ холоду-то, знамо, человѣкъ крѣпнетъ", утверждалъ всегда старый рыбакъ. И что могла, въ самомъ дѣлѣ, значить стужа для человѣка, который въ глубокую осень, въ то время, какъ Ока начинала уже покрываться саломъ и стынуть, проводилъ нѣсколько часовъ въ водѣ по поясъ!

Въ настоящее утро лицо и одежда рыбака достаточно подтверждали всегдашнія слова его: несмотря на довольно сильный морозъ, онъ былъ въ одной рубашкѣ; въ наружности его трудно было сыскать малѣйшій признакъ принужденія, или того недовольнаго, ворчливаго выраженія, какое является обыкновенно, когда не доспишь противъ воли. Видно было, что пробужденіе его совершилось подъ вліяніемъ самыхъ пріятныхъ, счастливыхъ мыслей. Какъ только приподнялся онъ съ саней, стоявшихъ подъ навѣсомъ и служившихъ ему ложемъ, первымъ дѣломъ его было взглянуть на небо.

Заря только-что занималась, слегка зарумянивая край неба; темные навѣсы, обступавшіе со всѣхъ сторонъ Глѣба, позволяли ему различить блѣдный серпъ мѣсяца, клонившійся къ западу, и послѣднія звѣзды, которыя пропадали одна за другою, какъ бы задуваемыя едва замѣтнымъ вѣтеркомъ—предшественникомъ разсвѣта. Торжественно тихо начиналось утро; все обѣщало такой же красный, солнечный день, какъ былъ наканунѣ.

Простоявъ нѣсколько минутъ на одномъ мѣстѣ и оставшись, повидимому, очень доволенъ своими наблюденіями, рыбакъ подошелъ къ крылечку, глядѣвшему на дворъ. Тутъ, подъ небольшимъ соломеннымъ навѣсомъ, державшимся помощію двухъ кривыхъ столбиковъ, висѣлъ старый глиняный горшокъ съ четырьмя горлышками; тутъ же, на косякѣ, висѣло полотенце, обращенное морозомъ въ какую-то корку, сдѣлавшуюся неспособною ни для какого употребленія.

Глѣбъ разбилъ пальцемъ ледяныя иглы, покрывавшія дно горшка, пригнулъ горшокъ къ ладони, плеснулъ водицей на лицо, помялъ въ рукахъ кончикъ полотенца, принялъ наклоненное впередъ положеніе и принялся тереть безъ того уже покраснѣвшіе носъ и щеки. Послѣ этой церемоніи, не имѣвшей, повидимому, никакой опредѣленной цѣли, но совершенной, вѣроятно, по привычкѣ или изъ угожденія давно принятому обыкновенію, рыбакъ повернулся къ востоку и началъ молиться.

Лицо его, за минуту веселое, мгновенно приняло выраженіе строгой, задумчивой сосредоточенности.

Заря между тѣмъ разгоралась. Блѣдная полоса свѣта, показав-

шаяся на востокѣ, окрасилась пурпуромъ и обняла весь горизонтъ: зарево росло и разливалось по небу. Въ дали, покуда еще сумрачной, но постепенно проясняющейся, стали открываться лѣса и деревни, кой-гдѣ задернутые волнистыми туманными полосами. Наконецъ и самый дворъ рыбака освободился изъ мрака. Румяный свѣтъ, проникавшій сквозь щели плетня, позволялъ уже различать багры, кадки, старыя верши и другія хозяйственныя и рыбацкія принадлежности, наполнявшія темные углы. Со всѣмъ тѣмъ было все-таки очень еще рано. Тишина не прерывалась ни однимъ изъ тѣхъ звуковъ, какими привѣтствуется обыкновенно восходъ солнца: куры и голуби не думали подавать голоса; пріютившись на окраинѣ старой, дырявой лодки, помѣщенной на верхнихъ перекладинахъ навѣса, подвернувъ голову подъ тепленькое, пушистое крыло, они спали крѣпчайшимъ сномъ. Все спало на дворѣ стараго рыбака: самъ хозяинъ только бодрствовалъ. Онъ принялся за дѣло тотчасъ же послѣ молитвы. Дѣлъ, правда, большихъ не было: на всемъ, куда только обращались глаза, отражался строжайшій порядокъ, каждая вещь была прибрана и стояла на мѣстѣ. Но хорошій хозяинъ никогда не доволенъ.

Посмотрите въ деревняхъ на хлопотливыхъ домохозяевъ, которыхъ называютъ „затяглыми стариками“. Дни цѣлые, съ утра и до вечера, проводятъ они у себя на дворѣ. Невелики, кажется, владѣнія, имущество также не Богъ-вѣсть какое! всего одинъ навѣсъ, клѣть, соха, телѣга, пара клячъ, коровенка да три овцы — и хлопотать, кажется, не надъ чѣмъ! А между тѣмъ день-деньской бродитъ старичокъ по своему двору, стучитъ, суетится, и руки его ни на минуту не остаются праздными. Такъ же точно было и съ нашимъ рыбакомъ: вся разница заключалась въ томъ, можетъ-статься, что лицо его выражало довольство и радость, не всегда свойственные другимъ хозяевамъ. И то, впрочемъ, сказать надо: Глѣбъ Савиновъ никогда еще не имѣлъ столько причинъ радоваться.

Весь вечеръ и даже часть ночи раздумывалъ онъ о вчерашней бесѣдѣ. О сынѣ Петрѣ Глѣбъ, по правдѣ молвить, помышлялъ немного: онъ давно уже рѣшилъ отправить его въ „рыбацкія слободы“; какъ уже выше сказано, до сихъ поръ одно только упрямство мѣшало ему осуществить такое намѣреніе. Всѣ помыслы рыбака исключительно обращались на дядю Акима и его мальчика, и чѣмъ болѣе соображалъ онъ объ этомъ предметѣ, тѣмъ болѣе приходилъ къ счастливымъ выводамъ. По обыкновенію своему, онъ не

показалъ вчера только виду, но тотчасъ же смекнулъ, какъ выгодно оставить ихъ у себя въ домѣ. Недаромъ же весь прошлый вечеръ испытывалъ онъ дядю Акима, заставляя его приниматься за разныя дѣла; недаромъ также оставилъ ночевать его. Какъ ни плохъ былъ дядя Акимъ, но все-таки легко могъ таскать неводъ, плести сѣти, грести весломъ. Какъ умомъ ни раскидывай, а платить за такую работу однимъ хлѣбомъ—дѣло сходное. Что Акимъ не станетъ сидѣть сложа руки и даромъ пропускать трохи, за то ручался хозяинъ.

Глѣбъ Савинычъ, какъ и всѣ люди, достигнувшіе неусыпными трудами цѣлой жизни нѣкотораго благосостоянія, крѣпко стоялъ за добро свое. Онъ, напримѣръ, съ трудомъ рѣшился бы отрѣзать даромъ, такъ себѣ, здорово-живешь, отъ хлѣба, испеченнаго для собственнаго семейства. Долгій опытъ, научившій его, какъ тяжко достается хлѣбъ, постоянный, добросовѣстный трудъ, горячая привязанность къ семейству, къ своимъ,—все это невольнымъ образомъ развило въ немъ тотъ грубый эгоизмъ, который часто встрѣчаемъ мы въ семьянистыхъ мужикахъ. Впрочемъ, разсчеты рыбака въ особенности основывались на мальчикѣ, котораго привелъ женинъ родственникъ. Какъ бы ни велико было семейство простолюдина, лишній мальчикъ не бремя.

„Дочь—отрѣзанный ломоть, лишніе зубы при хлѣбѣ; возрастетъ, прощайся съ нею, выдавай ее замужъ, да еще снаряжай и приданое!“

Мальчикъ — иное дѣло: лишній столбъ, подпора и надежда дома,—вездѣ пригодится. Въ самыхъ многолюдныхъ, зажиточныхъ крестьянскихъ семьяхъ встрѣчаешь пріемыша. Многіе смѣтливые мужики даютъ даже денегъ бѣдному, обремененному семействомъ сосѣду, съ тѣмъ, чтобы тотъ отдалъ имъ на „воспитаніе“ сынишку; они обязуются платить за пріемыша подати, справляютъ за него всѣ повинности. Бываютъ примѣры, что хозяинъ усыновляетъ своего пріемыша, женитъ его на родной дочери, передаетъ ему весь домъ и все хозяйство. Но такіе примѣры—исключеніе изъ общаго правила. По большей части, участь пріемыша не представляетъ много утѣшительнаго. „Чужой человѣкъ!“ И ростетъ онъ, ничьему сердцу не близкій, никѣмъ не обласканный; ни одно привѣтливое слово, ни одинъ ласковый взглядъ не освѣтятъ дѣтскихъ лѣтъ его... Съ-измала привыкаетъ онъ къ грубой рѣчи, неправому слову и всякой неправдѣ. Проходятъ годы, но время не улучшаетъ судьбы бѣднаго горько-одинокаго си-

роты. Продолжаетъ онъ нести свой трудный, часто непосильный крестъ съ тѣмъ, чтобы пойти за хозяйскаго сына въ солдаты, или умереть подъ старость бобылемъ, безъ крова и хлѣба.

Такая участь, конечно, не предстояла Гришкѣ въ домѣ рыбака. Жена Глѣба была баба добрая, богобоязливая; къ тому же, парнишка приходился ей съ родни — обстоятельство, имѣющее всегда въ нашемъ крестьянствѣ сильное дѣйствіе на отношенія людей, живущихъ въ одной и той же избѣ. Самъ Глѣбъ также не былъ злой человѣкъ. Онъ былъ только крѣпковатъ, не любилъ потачки давать, любилъ толкъ во всемъ и дѣло. Что говорить, много разныхъ соображеній бродило въ головѣ его по поводу пріемыша—не безъ этого, но все же судьба Гришки не обѣщала большихъ горестей.

Глѣбъ не замѣтилъ, какъ наступило утро, какъ пробудились куры и голуби, и какъ затѣмъ, мало-по-малу, все ожило вокругъ.

Но зато при первомъ звукѣ, раздавшемся въ сѣняхъ, онъ быстро поднялъ голову и тотчасъ же обратился въ ту сторону. Увидѣвъ жену, которая показалась на крылечкѣ, съ коромысломъ и ведрами, онъ пошелъ къ ней на встрѣчу, самодовольно ухмыляясь въ бороду.

— Что рано поднялась? куда те несетъ? сказалъ онъ съ обычною своею шутливостью.

— Видишь, съ ведрами, за водой иду, неохотно отвѣчала Анна, спускаясь по шаткимъ ступенямъ крыльца.

Тетка Анна, не мѣшаетъ замѣтить, находилась въ это утро въ самомъ неблагопріятномъ настроеніи духа. Пріемъ, сдѣланный Глѣбомъ ея родственнику, и особенно объясненіе его съ Акимомъ,— объясненіе, отнимавшее у нея послѣднюю надежду пристроить какъ-нибудь родственника,—все это сильнѣйшимъ образомъ вооружало старушку противъ мужа. Насмѣшливый видъ Глѣба окончательно раздражилъ ее, и въ эту минуту она готова была ведрами и коромысломъ проучить сожителя. Ничего этого не случилось, однакожъ: она ограничилась тѣмъ только, что потупила глаза и придала лицу своему ворчливое, досадливое выраженіе — слабые, но въ то же время единственные признаки внутренняго неудовольствія, какіе могла только дозволить себѣ Анна въ присутствіи Глѣба. Дѣло въ томъ, что тетка Анна, въ продолженіе двадцати-восьми лѣтняго замужества своего, не осиливала побѣдить въ себѣ чувства робости и страха, невольно овладѣвавшія ею при мужѣ. Чувства эти раздѣляли, впрочемъ, всѣ остальные члены семейства. Мудренаго нѣтъ: Глѣбъ былъ человѣкъ нрава непреклоннаго, твердаго какъ кремень

и въ добавокъ еще горячаго и вспыльчиваго. Жена ли, дѣти ли,— все это въ глазахъ его не представляло большой разницы: онъ всѣхъ ихъ держалъ въ одинаковомъ повиновеніи. Въ эти двадцать-восемь лѣтъ онъ или подтрунивалъ надъ дѣтьми и женою (когда былъ въ духѣ), или же всѣмъ доставалось въ равной степени, когда былъ въ сердцахъ. Всѣ бѣжали тогда куда могли, лишь бы на глаза не попадаться. Въ дѣлахъ семейныхъ и хозяйственныхъ никто не смѣлъ подавать голоса: жена не смѣла купить горшка безъ его вѣдома; двадцати-лѣтніе сыновья не смѣли отойти за версту отъ дому безъ спросу. Замѣчательнѣе всего, что при всемъ томъ старый рыбакъ рѣдко поднималъ шумъ въ домѣ и еще рѣже подымалъ руку; по большей части онъ находился въ веселомъ, шутливомъ расположеніи духа.

Отвѣтивъ мужу, что шла за водою, тетка Анна хотѣла пройти мимо, но Глѣбъ загородилъ ей дорогу.

— Вижу, за водой, сказалъ онъ, подсмѣиваясь:—вижу. Ну, а сноха-то что-жъ? а? лежитъ тѣмъ временемъ да проклажается, нѣтъ, нѣтъ, да пахаетъ!.. Оно что говорить: вѣстимо, жаль сердечную!.. Ну, жаль, не жаль, а придется ей нынѣче самой зачерпнуть водицы... Поставь ведра, пойдемъ: надо съ тобой слова два перемолвить.

Сказавъ это, рыбакъ направился къ заднимъ воротамъ, выходившимъ за огородъ. Старуха поставила ведра и, не безъ нѣкотораго смущенія, послѣдовала за мужемъ.

— Вотъ что, началъ онъ, когда оба они очутились въ проулкѣ и ворота были заперты: — что ты на это скажешь: отпустить намъ Петрушку, али нѣтъ, не отпущать?

— Какъ знаешь, твоя воля, олвѣчала жена, обнаруживая удивленіе въ каждой чертѣ добродушнаго лица своего.

Первый разъ въ жизни Глѣбъ обращался къ ней за совѣтомъ; но это обстоятельство еще сильнѣе возбудило внутреннюю досаду старушки: она предвидѣла, что все это дѣлается не спроста, что тутъ, вѣрно, таится какой-нибудь лукавый замыселъ.

— Сдается мнѣ, отпускать его не зачѣмъ, сказалъ Глѣбъ, устремляя пытливый взглядъ на жену, которая стояла понуря голову и глядѣла въ землю:—проку никакого изъ этого не будетъ,— только что вотъ набалуется... Ну, что жъ ты стоишь? говори!

— Что мнѣ говорить, возразила Анна, знавшая напередъ: что бы она ни сказала, мужъ все-таки поставитъ на своемъ.

— Онъ, можетъ статься, говорилъ тебѣ объ этомъ! — „Поди, молъ, отца попроси!“ либо другое что сказалъ?

— Словечка не промолвилъ.

Глѣбъ недовѣрчиво покосился на старуху.

— По моему, вымолвилъ онъ, произнося каждое слово съ какою-то особенною выдержкою: — пускай лучше дома живетъ... ась?

Глѣбъ зналъ, что мать и дѣти ничего не таятъ другъ отъ дружки: выпытывая мнѣніе жены — мнѣніе, до котораго ему не было никакой нужды, онъ думалъ найти въ немъ прямой отголосокъ мыслей Петра; но, не успѣвъ въ этомъ, онъ тотчасъ же перешелъ къ другому предмету.

— Не видала ли ты нынче Акима? спросилъ онъ неожиданно.

— Нѣтъ, не видала.

— Должно быть, спитъ еще. Ну, пущай его, пущай понѣжится; встанетъ, смотри, покорми его.

Старушка подняла голову; но лицо ея на минуту оживившееся, снова приняло недовольное выраженіе, когда мужъ прибавилъ:

— А тамъ пущай идетъ, куда путь лежитъ... Вишь, что забралъ въ голову: возьми его въ работники!

— Не знаю, съ чего такъ не полюбился, пробормотала Анна, обращая, повидимому, все свое вниманіе на щепки, валявшіяся подлѣ плетня.

— Песъ ли въ немъ! продолжалъ Глѣбъ, не отрывая отъ жены зоркаго взгляда.

— Да что ты, въ самомъ-то дѣлѣ, глупую, что ли, нашелъ какую? нетерпѣливо сказала она. — Вечоръ самъ говорилъ: не чаялъ я въ немъ такого проку! вчера всѣмъ былъ хорошъ, а нонѣ никуда не годится!.. Что ты, въ самомъ-то дѣлѣ, вертишь меня... что я тебѣ! заключила она, окончательно выходя изъ терпѣнія.

Глѣбъ не спускалъ съ нея глазъ и только посмѣивался въ бороду.

— Такъ какъ же, стало, по твоему, надо взять его? сказалъ онъ.

Тетушка Анна замялась.

— Что-жъ, не худой онъ человѣкъ какой, проговорила она смягченнымъ голосомъ: — ни табашникъ какой, ни пьяница.

— Главное дѣло, потому отказать ему какъ словно не приходится: съ родни онъ намъ — вотъ что! замѣтилъ мужъ, лукаво прищуриваясь.

— Вѣстимо, не чужакъ! поспѣшила присовокупить старушка.

— Такъ-то, такъ! Я и самъ объ этомъ думаю: родня немалая; когда у моей бабки кокошникъ горѣлъ, его дѣдушка пришелъ да руки погрѣлъ... Эхъ, ты, сердечная! прибавилъ, смѣясь, рыбакъ:— сватьевъ не оберешься, свояковъ не огребешься,—мало ли на свѣтѣ всякой шушеры! всѣхъ ихъ въ домъ пущать—жирно будетъ!

Въ отвѣтъ на это тетушка Анна только плюнула.

— Ну, такъ какъ же, по твоему, стало и мальчишку надо взять, а? продолжалъ допытывать Глѣбъ.

— Да что я, въ самомъ дѣлѣ, за дура тебѣ досталась? воскликнула Анна:—что ты умомъ-то раскидываешь, словно передъ махонькой!

— Куды ты? полно, погоди, постой, сказалъ рыбакъ, удерживая за руку жену, которая бросилась къ воротамъ:—постой! Ну старуха, промолвилъ онъ:—вижу: хочется тебѣ, добре хочется пристроить къ мѣсту своего сродственника!

— Ничего мнѣ не надыть! ничего не хочу! тьфу! возразила она, порываясь къ воротамъ.

— Полно же, ну! вымолвилъ мужъ, перемѣнивъ вдругъ голосъ:—посмѣялся, и шабашъ! Такъ ужь и быть: будь по твоему! пущай оба остаются! Мотри, только, не говори объ этомъ до поры, до времени... слышь?

Старуха взглянула на мужа и тотчасъ же перестала волноваться: видно было, что съ послѣдниии словами Глѣба у ней разошлось сердце.

— Смотри же, ни полсловечка; смѣкай да послушивай, а лишняго не болтай... узнаю, худо будетъ!.. Эге-ге! промолвилъ онъ, дѣлая нѣсколько шаговъ къ ближнему углу избы, изъ-за котораго сверкнули вдругъ первые лучи солнца:—вотъ ужь и солнышко! Что жъ они, въ самомъ дѣлѣ, долго проклажаются? ступай, буди ихъ. А я пойду покуда до берега: на лодки погляжу... Что жъ ты стала? спросилъ Глѣбъ, видя, что жена не трогалась съ мѣста и переминалась съ ноги на ногу.

— Ну, что ты въ самомъ дѣлѣ умомъ-то раскидываешь? промолвила она полуворчливо, полуласково:—ты говори толкомъ... ну, что, въ самомъ дѣлѣ...

Глѣбъ раскрылъ удивленные глаза.

— Вѣстимо, толкомъ говори, продолжала жена:—слушаешь, слушаешь, въ толкъ не возьмешь... вертить тебя только знаетъ!.. Ты толкомъ скажи: возьмешь, что ли, ихъ въ домъ-отъ?

*

— Экъ ее!.. фу, ты, дура баба!.. чего жъ тебѣ еще? сказалъ возьму, стало тому и быть... А я думалъ и нивѣсть что ей втемяшилось... ступай...

На этотъ разъ тетушка Анна не заставила себѣ повторить и, отворивъ ворота, поспѣшно заковыляла въ избу.

Въ сѣняхъ она наткнулась на дядю Акима и его мальчика. Заслышавъ шаги, дядя Акимъ поспѣшилъ скорчить лицо и принять жалкую, униженную позу; при видѣ родственницы, онъ, однакожъ, ободрился, кивнулъ головою по направленію къ выходной двери и вопросительно приподнялъ общипанныя свои брови.

Въ отвѣтъ на это, старушка заморгала глазами, погрозила пальцемъ и выглянула на дворъ; послѣ чего она подошла къ родственнику и сказала шопотомъ:

— Остаешься, Акимушка!

— Что ты, матушка?

— Ей-Богу, право! самъ сказалъ; сначала-то ужь онъ и такъ, и сякъ, путалъ, путалъ... самъ знаешь онъ какой: и въ толкъ не возьмешь, такъ тебя и дуритъ; а апосля самъ сказалъ: оставлю его, говоритъ, пускай живетъ!

Во время этого объясненія лукавые глаза Гришки быстро перебѣгали отъ отца къ теткѣ Аннѣ; съ послѣдними словами старушки испугъ изобразился въ каждой чертѣ плутовского лица его; онъ ухватилъ дядю Акима за рукавъ и принялся дергать его изо всей мочи.

— Смотри только, Акимушка, продолжала между тѣмъ старушка: — смотри, въ работѣ-то не плошай, касатикъ.

— Буду. матушка, буду! я ли когда на печи лежалъ, я ли...

— Ну, то-то, родимый, то-то; съ тѣмъ, говоритъ, и беру, коли работать станетъ!.. Самъ знаешь, человѣкъ онъ крѣпкій: что сказалъ, отъ того не отступится.

— Знаю, матушка, все знаю... Ахъ, ты, касатушка ты наша!.. родная ты наша! какъ намъ за тебя Бога молить?.. ахъ!.. Что ты, Гришутка? что на рукавѣ-то виснешь... вишь его, озорникъ! Оставь, говорятъ! заключилъ Акимъ, поворачиваясь неожиданно къ парнишкѣ.

— Пойдемъ! пойдемъ! не хочу я здѣсь оставаться! заговорилъ мальчикъ, принимаясь теребить еще пуще рукавъ Акима и обнаруживая при этомъ столько же азарта, сколько страха.

— Куды ты?.. Ахъ, ты, безмятежный ты этакой!.. пусти!

— Не хочу! не хочу! пойдемъ! кричалъ мальчикъ.

— Полно, батюшка, полно тебѣ, сказала Анна, стараясь обласкать Гришку:—а я лепешечки дамъ... подь-ка-сь въ избу: лепешечки дамъ, соколикъ...

— Не хочу! я хочу домой!.. пойдемъ!.. да пойдемъ! кричалъ Гришка, цѣпляясь за воротъ Акима, пригибая его къ себѣ и топая ногами.

Въ самую эту минуту неподалеку почти у самаго крыльца, послышались шаги Глѣба Савиныча.

Старуха опрометью кинулась въ избу.

— А! сватъ Акимъ, здорово! сказалъ рыбакъ, появляясь въ сѣняхъ.—Что вы тутъ дѣлаете?.. чего это онъ у тебя, слышу я, не хочетъ, а? промолвилъ онъ, взглядывая на мальчика, который остолбенѣлъ и поблѣднѣлъ какъ известь.

— Такъ, батюшка... Глѣбъ Савинычъ... глупенекъ... вѣстимо... пробормоталъ Акимъ, разводя руками.

— Да чего жъ онъ не хочетъ-то? а?.. Иду, слышу: не хочу, да не хочу!.. чего не хочу? а?

— Вотъ, кормилецъ, мѣшаясь подхватилъ Акимъ:—умыться не хочетъ... воды боится; добре студена, знать!.. умойся, говорю... а онъ и того...

— Нутка-сь, сватъ, возьми-ка зачерпни поди водицы... вонъ въ углу стоитъ; давай сюда: мы его умоемъ, когда такъ! проговорилъ рыбакъ, ставя передъ собою Гришку и наклоняя ему впередъ голову.—Лей! заключилъ онъ, протягивая ладонь.

— Брррр... пробормоталъ Гришка, мотая головою.

— Лей еще! повторилъ Глѣбъ.

Дядя Акимъ, лицо котораго корчилось и ежилось самымъ жалобнымъ образомъ, повиновался.

— Бр...рр...брр... батюшки! кричалъ Гришка.

— Ничего, врешь, не пуще холодна, лей еще!

— Брр...

— Ну, на здоровье; утрись поди! произнесъ Глѣбъ, выпуская Гришку, который бросился въ уголъ какъ кошка и жалобно завопилъ.—А то не хочу, да не хочу!.. до колѣнъ не доросъ, а туда же: не хочу!... Ну, сватъ, пора, я чай, и закусить: не ѣвши легко, а поѣвши-то все какъ-то лучше. Пойдемъ, довершилъ рыбакъ, отворяя дверь избы.

Во время завтрака веселье рыбака не прерывалось ни на минуту. Совсѣмъ тѣмъ, онъ не коснулся ни одного пункта, имѣвшаго

какое-нибудь отношеніе къ разговору съ хозяйкой; ни взглядомъ, ни словомъ не выдалъ онъ своихъ намѣреній. Съ окончаніемъ трапезы, какъ только Петръ и Василій покинули избу, а жена Петра и тетка Анна, взявъ вальки и коромысла, отправились на рѣку, Глѣбъ обратился къ Акиму:

— Вотъ, сватьюшка, что я скажу тебѣ, произнесъ онъ съ видомъ простодушія:—останься, пожалуй, у насъ еще день, коли спѣшить некуда. Тѣмъ временемъ намъ въ чемъ нибудь подсобишь... Такъ, что ли? ну, когда такъ, — ладно! бери топоръ, пойдемъ со мною.

Акимъ взялъ топоръ, подошелъ къ двери и молодцовато нахлобучилъ шапку. Глѣбъ насмѣшливо покосился на него, повернулся къ Гришкѣ и Ванѣ, которые сидѣли по разнымъ угламъ, и погрозилъ пальцемъ.

— Смотри, ребятишки, не баловать безъ насъ! Кто забалуетъ, быть тому безъ вихра на макушкѣ!

VI.

Гришутка.

Никогда еще, во всю свою долгую, но безполезную жизнь дядя Акимъ не трудился такъ много, какъ въ это утро, когда, обнадеженный словами Анны, остался гостить въ домѣ рыбака. Наставленія старушки были постоянно передъ его глазами. Опасаясь, съ одной стороны, не угодить въ чемъ нибудь Глѣбу, исполненный, съ другой стороны, сильнѣйшаго желанія показать всѣмъ и каждому, что онъ отличнѣйшій, примѣрный работникъ — „мастакъ-работникъ“, Акимъ не щадилъ рукъ и рѣшительно лѣзъ изъ кожи. Подобно ручью, который въ продолженіи многихъ верстъ лѣниво, едва замѣтно пресмыкался въ густой и болотистой травѣ, и который, выбѣжавъ на крутизну, дѣлится вдругъ на безчисленное множество быстрыхъ, журчащихъ потоковъ, дядя Акимъ заходилъ во всѣ стороны и сдѣлался необыкновенно дѣятеленъ: онъ таскалъ верши, собиралъ камышъ для топлива, тесалъ колья, расчищалъ снѣгъ вокругъ лодокъ, — словомъ, поспѣвалъ всюду и ни на минуту

не оставался безъ дѣла. Иногда, уже не вмочь одолѣваемый одышкой и поперхотой, онъ останавливался, чтобы перевести духъ, но встрѣчалъ всякій разъ пристальный взглядъ Глѣба и принимался суетиться пуще прежняго. Ужъ за то и уходился же дядя Акимъ! Потъ катилъ съ него крупными горошинами, ноги подгибались какъ мочалы, плечи ломило, какъ словно ихъ вывихнули. Такое усердіе, конечно, не ускользало отъ вниманія Глѣба; но онъ оставался, повидимому, совершенно къ нему равнодушнымъ. Хозяева вообще не щедры на похвалы: „Похвала та же потачка—разсуждаетъ хозяинъ, извлекая, вѣроятно, это правило изъ наблюденій собственной природы—зазнается еще, чего добраго! возьметъ „форсъ“ на себя!..“ Такія мысли свойственны хозяевамъ, когда дѣло идетъ о работникѣ и труженикѣ. Русскій мужичокъ въ дѣлѣ практической хозяйственной смѣтливости никому не уступитъ. Небрежный, безпечный и равнодушный ко всему, что не имѣетъ къ нему прямого, личнаго отношенія, онъ превращается у себя дома въ ломовую, неутомимую лошадь истановится столько же дѣятеленъ, сколько взыскателенъ. Нѣтъ народа, который бы такъ крѣпко отстаивалъ свою собственность и такъ сильно соблюдалъ свои матеріальныя выгоды, какъ русскій народъ. „Ничего, авось, небось и какъ-нибудь“, такъ часто произносимыя русскимъ мужичкомъ, повторяются имъ точно также, если хотите, когда онъ у себя дома; въ послѣднемъ случкѣ, однакожъ, слова эти выражаютъ, повѣрьте, скорѣе торопливость, желаніе сработать больше, сбыть выгоднѣе, чѣмъ безпечность или нерадѣніе. Мужичокъ производитъ „кое-какъ“ только для міра, для общества; онъ знаетъ, что базаръ все ѣстъ: ѣстъ и говядину, коли есть говядина, ѣстъ и что ни попало, коли нѣтъ мяса. Но за то войдите-ка во дворъ семьянистаго, дѣлового, настоящаго хозяина, взгляните-ка на работу, которую предназначаетъ онъ для себя собственно: тутъ уже на всемъ лежитъ печать прочности и долговѣчности, соединенныя съ разсчетомъ строжайшей, мудрой экономіи; здѣсь каждымъ ударомъ топора управляло уже, повидимому, сознаніе, что требуется сдѣлать дѣло хорошо, а не кое-какъ! У семьянистаго хозяина даромъ корка не пропадаетъ. Бросилъ зерно въ землю—давай самъ-сёмъ; счетомъ взялъ—отдавай съ лихвою; взялъ лычко—отдай ремешокъ; на сколько съѣлъ, на столько сработай. Труды батрака соображаются съ количествомъ поглощаемой имъ каши и числомъ копѣекъ, слѣдующихъ ему въ жалованье, и потому рѣдкій на свѣтѣ хозяинъ остается вполнѣ доволенъ батракомъ своимъ, и рѣдкій ба-

трактъ остается доволенъ своимъ хозяиномъ. Впрочемъ, такія свойства русскаго мужичка издали только бросаются въ глаза и кажутся достойными порицанія; на самомъ дѣлѣ они отличаются отъ свойствъ другихъ людей только формою, которая у простолюдина немного погрубѣе—погрубѣе потому, можетъ-статься, что простодушнѣе...

Но перейдемъ къ Акиму, который сидитъ теперь между Глѣбомъ и старшими его сыновьями и конопатитъ лодку.

Солнце до половины уже обогнуло небо, и работа приближалась къ концу, когда къ работающимъ подошелъ младшій сынишка Глѣба.

Заплаканное лицо его, встрепанные волосы, а рубашонка, прорванная въ двухъ-трехъ мѣстахъ и запачканная грязью, обратили на него тотчасъ же вниманіе присутствующихъ.

— Что ты, Ванюшка? спросили въ одинъ голосъ отецъ и Василій.

— Должно-быть, съ моимъ Гришуткой... вѣстимо, ребятеночки еще: что съ нихъ взять! обязательно предупредилъ Акимъ, догадавшійся съ перваго взгляда, что тутъ, конечно, не обошлось безъ Гришутки.

— Хорошее баловство, нечего сказать! возразилъ Глѣбъ, оглядывая сынишку, далеко, однакожъ, не строгими глазами:—вишь, рубаху-то какъ отдѣлалъ! мать не нашьется, не настирается, а вамъ, пострѣламъ, и нуждушки нѣтъ. И весь-то ты покуда одной заплаты не стоишь... Ну, на этотъ разъ сошло, а побалуй такъ-то еще у меня, и ты, и Гришка, обоимъ не миновать дубовой каши, да и пирогови съ березовымъ масломъ отвѣдаете... Смотри, помни... Вишь, вечоръ впервые только встрѣтились, а сегодня за потасовку!

— Да я его не трогалъ, сказалъ мальчикъ, утирая рукавомъ слезы, которыя текли по его полнымъ, румянымъ щекамъ.

— Стало, онъ тебя поколотилъ?.. Ну, полно, не плачь: дай намъ придти домой, мы ему шею-то сами намнемъ.

— Онъ меня не колотилъ, поспѣшно сказалъ мальчикъ.

— Какъ же такъ?

Мальчикъ замялся и пробормоталъ несвязно:

— Онъ меня... все... вотъ такъ-то вотъ... все... вотъ... все бьетъ!

— Должно-быть, какъ-нибудь невзначай, поспѣшилъ присовокупить дядя Акимъ.

— Ну, хорошо, возразилъ Глѣбъ:—онъ тебя поколотилъ; ну, а ты что?

— Я ничего, отвѣчалъ простодушно Ваня.

— И сдачи не далъ?

Нѣтъ.

Глѣбъ и за нимъ всѣ присутствующіе засмѣялись.

— За что же онъ прибилъ тебя? спросилъ отецъ, очевидно съ тою цѣлью, чтобы позабавиться разсказомъ своего любимаго дѣтища.

— А я и самъ не знаю, за что, отвѣчалъ, со вздохомъ, Ваня.—Я на дворѣ игралъ, а онъ стоялъ на крыльцѣ; ну, я ему говорю: „давай—говорю—играть“; а онъ какъ пхнетъ меня: „я-те лукну!“ говоритъ: такой серчалый!.. Потомъ онъ опять говоритъ: „ступай—говоритъ—тебя тятька кличетъ“. Я поглядѣлъ въ ворота: вижу, ты меня не кличешь, и опять сталъ играть: а онъ опять: „тебя—говоритъ—тятька кличетъ; ступай!“ Я не пошелъ... что мнѣ!.. Ну, а онъ тутъ и зачалъ меня бить... Я и пошелъ...

— Такъ, стало, сдачи-то ты и не далъ?

— Нѣтъ.

— Ну, плохой же ты парнюха послѣ эвтаго! смѣясь, сказалъ отецъ:—авось развѣ оносля какъ-нибудь посчитаетесь, а теперь пока онъ надъ тобой потѣшился... Эхъ, ты, мозглякъ, мозглякъ, право мозглякъ!.. ну, что я стану съ тобой дѣлать? Слышь, сдачи не далъ!.. Ну, гдѣ тебѣ быть съ рыбаками! Ступай-ка лучше къ бабамъ... вотъ онѣ... ступай-ка-сь туда... онѣ же кстати тебя и умоютъ! заключилъ старый рыбакъ, подтрунивая надъ сыномъ и указывая ему рукою на отдаленную груду камней, изъ-за которой раздавался дружный стукъ вальковъ и время отъ времени показывались головы Анны и снохи ея.

Мальчикъ стыдливо потупилъ голову и молча поплелся къ матери.

— А должно быть шустеръ твой мальчишка-то, сватъ Акимъ, не тебѣ чета! началъ Глѣбъ, снова принимаясь за работу:—вишь, какъ отдѣлалъ моего парня-то... Да и лукавъ же, видно, даромъ отъ земли не видокъ: „поди—говоритъ—тятька зоветъ!“ Смотри, не напроказилъ бы тамъ чего.

— И-и-и, батюшка, куды! я чай, онъ теперь со страху-то забился въ уголокъ, либо въ лукошко, и смигнуть боится. Вѣдь онъ это такъ только... знамо, ребятеночки!.. повздорили за какое слово, да давай таскать... А то и мой смиренъ, куда-те смиренъ! отвѣчалъ

дядя Акимъ, стараясь, особенно въ эту минуту, заслужить одобреніе рыбака за свое усердіе, но со всѣмъ тѣмъ не переставая бросать безпокойные взгляды въ ту сторону, гдѣ находился Гришутка.

Ванюша между тѣмъ, обмытый и обласканный матерью, успѣлъ уже забыть свое горе, и вскорѣ звонкій, веселый голосокъ его смѣшался со стукомъ вальковъ, которому, въ свою очередь, съ другого конца площадки, отвѣчало постукиванье четырехъ молотковъ, приводившихъ къ концу законопачиванье лодки.

Солнце приближалось уже къ полудню.

— Шабашъ, ребята! весело сказалъ Глѣбъ, проводя ладонью по краю лодки!—теперь не грѣхъ намъ отдохнуть и пообѣдать. Нутка-сь, пока я закричу бабамъ, чтобъ обѣдъ собирали, пройдитека еще разокъ вонъ тотъ борть... ну, живо! дружнѣй! Богъ труды любитъ! заключилъ онъ, поворачиваясь къ женѣ и посылая ее въ избу.—Ну, ребята, что тутъ считаться! подхватилъ рыбакъ, когда его хозяйка, сноха и Ваня пошли къ воротамъ:—давайте-ка, и я вамъ подсоблю... Молодца, сватушка Акимъ! такъ! сажай ее, паклю-то, сажай! Что ее жалѣть!.. еще, еще!

И четыре молотка, какъ бы подстрекаемые веселымъ смѣхомъ стараго рыбака, застучали еще пуще прежняго.

Внезапно съ середины двора раздался пронзительный, отчаянный крикъ. Въ ту же секунду изъ растворенныхъ воротъ выбѣжали Анна, жена Петра и Ваня.

— Пожаръ! пожаръ! горимъ! кричали они, отчаянно размахивая руками.

Молотки выпали изъ рукъ четырехъ работниковъ, пораженныхъ ужасомъ. Глѣбъ быстрѣе юноши поднялся на ноги; онъ былъ блѣденъ какъ полотно.

— Съ нами крестная сила! пробормоталъ онъ, крестясь дрожащею рукой, между тѣмъ какъ сыновья его и Акимъ бѣжали къ избѣ.

Секунду спустя онъ бросился за ними.

На дворѣ происходила страшная суматоха. Жена Петра бѣгала, какъ полоумная, изъ угла въ уголъ, безъ всякой видимой цѣли; старуха Анна лежала распростертая посередь двора и заломивъ руки на голову, рыдала, приговаривая:

— О-охъ, вы, мои батюшки!.. остались-то мы, горькіе... безъ крова, безъ пристанища... и куда-то мы, сиротинушки, куда приклонимъ головы!...

Нигдѣ, однакожъ, не было замѣтно признака пожара.

— Гдѣ горитъ? закричалъ Петръ, вбѣжавшій прежде всѣхъ на дворъ.

Петръ, казалось, выросъ на цѣлый аршинъ; куда дѣвался сонливый, недовольный видъ его! черные глаза сверкали; каждая черта дышала суровою энергіею.

— Гдѣ горитъ? повторилъ онъ грознымъ жестомъ.

— Въ избѣ!

— Въ избѣ, въ избѣ! подхватилъ Ваня.

— Батюшка! крикнулъ Петръ, обращаясь къ отцу, который вбѣгалъ въ эту минуту на дворъ, блѣдный и смущенный:—ступай къ завалинкѣ и вышибай окна; я съ братомъ въ избу!

Сказавъ это онъ бросился на крылечко и исчезъ въ дымѣ, который повалилъ клубами изъ сѣничекъ, какъ только отворилась дверь.

Благодаря поспѣшно выбитымъ окнамъ и отворенной двери, дымъ очистился и позволилъ Петру осмотрѣться вокругъ. Пламени нигдѣ не было видно. Посреди сѣраго, ѣдкаго смрада, наполнявшаго избу, Петръ явственно различилъ густую, бѣловатую струю дыма, выходившую изъ-подъ лавки, прислоненной къ окнамъ. Онъ бросился къ тому мѣсту, нащупалъ руками лукошко съ тлѣющими щепками и паклею, вытащилъ его на полъ и затопталъ ногами. Въ избѣ сдѣлалось тотчасъ же свѣтлѣе. Осмотрѣвъ затѣмъ мѣсто и убѣдившись, что не предстояло уже никакой опасности, Петръ спокойно, какъ ни въ чемъ не бывало, вернулся на дворъ.

— Полно, матушка, сказалъ онъ, обратившись къ старухѣ:— никакого нѣтъ пожара; полно тебѣ выть! сама посмотри.

— Батюшки! Царица небесная! воскликнула старушка, падая на колѣни, и боязливо, все еще какъ бы глазамъ не вѣря, принялась озираться во всѣ стороны.

— Ступай, сама посмотри, повторилъ Петръ.

Затѣмъ онъ указалъ ей на крыльцо, мигнулъ женѣ и вышелъ къ отцу, который стоялъ какъ вкопанный подлѣ дяди Акима.

— Ничего, батюшка, вымолвилъ Петръ:—сошло; а только... только насъ подожгли, заключилъ онъ мрачно, насупивъ брови.

Онъ разсказалъ ему обстоятельно причину чуть было не случившагося несчастія.

— Гдѣ Гришка? вскричалъ Глѣбъ, какъ бы озаренный вне-

запною мыслью.—Гдѣ Гришка? повторилъ онъ, неожиданно обратившись къ дядѣ Акиму и грозно подымая кулаки.

Акимъ раскрылъ роть, хотѣлъ что-то сказать, затрясся всѣмъ тѣломъ и безсмысленно развелъ руками.

Петръ и Василій бросились отыскивать мальчика.

Минуть десять спустя, оба вернулись къ отцу.

Гришки нигдѣ не было.

— Такъ и есть: онъ! сказалъ рыбакъ.

— Батюшка! отчаянно вскрикнулъ дядя Акимъ и повалился въ ноги.

— Ну, вотъ еще будешь намъ разсказывать! Онъ, вѣстимо, онъ! ахъ, онъ... Ребята, давай мнѣ ею сюда, давай сюда!.. ступай, догоняй; всего одна дорога; да живо... испуганъ звѣрь, далеко бѣжить... Ну!

Дядя Акимъ быстро вскочилъ на ноги и кинулся уже впередъ; но рыбакъ удержалъ его, сказавъ:

— Куда тебѣ! стой здѣсь: вѣдь Васька понрытчѣе твоего сбѣгаетъ.

Какъ ни ошеломленъ былъ Глѣбъ, хотя страхъ его прошелъ вмѣстѣ съ опасностью, онъ тотчасъ же смекнулъ, что Акимъ, запуганный случившимся, легко могъ улизнуть вмѣстѣ съ мальчикомъ; а это, какъ извѣстно, не входило въ составъ его соображеній: мальчику можно задать таску и разъ на всегда отучить его баловать,—выпускать его изъ рукъ все-таки не слѣдъ. Простой народъ, не только русскій, но вообще всѣ возможные народы, вѣроятно по недостаточному развитію нравственнаго чувства и совершенному отсутствію нравственнаго мнѣнія, снисходительно смотрятъ на проступки ближняго, къ какому бы роду ни принадлежали эти проступки. Послѣ перваго взрыва, отношенія Глѣба къ Акиму и его мальчику ни на волосъ не измѣнились; мужики что дѣти: страхъ, ненависть, примиреніе дружба,—все это переходитъ необыкновенно быстро и непосредственно слѣдуетъ одно за другимъ. „Парнишка балуется,—чуть было не набѣдовалъ! надо прожустерить парнишку“—вотъ все, о чемъ помышлялъ рыбакъ.

Василій побуждаемый частію любопытствомъ, частію перспективой зрѣлища, которое, по всей вѣроятности, доставитъ наказаніе Гришки,—перспективой, доставляющей всегда большое удовольствіе всякому простолюдину, даже самому мягкосердечному, полетѣлъ безъ оглядки за бѣглецомъ.

Дядя Акимъ опустился на завалёнку, закрылъ лицо руками и безнадежно качалъ головою. Онъ и самъ уже не радъ былъ (куды какая радость!), что приплелся въ домъ рыбака. Въ эту минуту онъ ни мало не сокрушался о поступкѣ сына: горе все въ томъ, что вотъ сейчасъ, того и смотри, поймаютъ парнишку, приведутъ и накажутъ. Дядя Акимъ, выбившійся изъ силъ, готовый, какъ самъ онъ говорилъ, уходить себя въ гробъ, чтобъ только Глѣбъ Савинычъ далъ ему хлѣбъ и пристанище, а мальчику ремесло, — радъ былъ теперь отказаться отъ всего, съ тѣмъ только, чтобъ не трогали Гришутку; еслибъ у Акима достало смѣлости, онъ вѣрно утекъ бы за мальчикомъ. При малѣйшемъ звукѣ, онъ подымалъ голову, и слезливые глазки его съ безпокойствомъ устремлялись на тропинку, изгибавшуюся къ вершинѣ ската. Впрочемъ, не онъ одинъ убивался. Тетка Анна и сынъ ея Ванюша принимали также немалое участіе въ судьбѣ, ожидавшей Гришку. Старушка, у которой уже совсѣмъ прошелъ страхъ и отлегло сердце, поминутно отрывалась отъ дѣла и выбѣгала за ворота. Ваня, прижавшись за плетнемъ, дрожа отъ страха и едва сдерживая слезы, не отрывалъ глазъ отъ тропинки.

Наконецъ, на вершинѣ ската, показались двѣ точки; немного погодя, можно уже было явственно различить Василія, который съ усиліемъ тащилъ Гришку. Въ то же время на дворѣ раздался грубый голосъ Петра:

— Поймали, батюшка; ведутъ!

Глѣбъ, сопровождаемый всѣмъ своимъ семействомъ, кромѣ Ванюши, вышелъ къ завалёнкѣ.

Въ чертахъ рыбака не отражалось ни смущенія, ни суровости. Чувство радости быстро смѣняетъ отчаяніе, когда минуетъ горе, и тѣмъ сильнѣе овладѣваетъ оно душою и сердцемъ, чѣмъ сильнѣе была опасность. Глѣбъ Савиновъ былъ даже веселѣе обыкновеннаго.

Онъ съ усмѣшкою посмотрѣлъ на Акима, повернулся къ горѣ и, приложивъ ладони къ губамъ, въ видѣ трубы, закричалъ:

— Тащи его сюда, Васютка, тащи скорѣй! такъ, такъ! держи крѣпче!.. Ну, ужъ погоди, братъ, я-жъ те дамъ баню! заключилъ онъ, выразительно изгибая густыя свои брови.

— Батюшка, Глѣбъ Савинычъ, помилуй! сказалъ Акимъ растерянным голосомъ.

— Помиловать? Ну, нѣтъ, сватъ; жди, пока ракъ свистнетъ!.. Миловать не приходится. Я потачки не дамъ... Отжустерить-таки

надо на порядкахъ. Зналъ бы покрайности, что баловать не дѣло дѣлать!

— Отецъ родной... не бей его... не бей, кормилецъ!.. ты только постращай только... онъ и съ эвтаго перестанетъ...

— Полно, батюшка. Ну, что ты, въ самомъ-то дѣлѣ! Онъ и такъ бояться станетъ, сказала, въ свою очередь, Анна.

— И ты туда же! Ну, видно, и въ твоей головѣ толкъ есть! отозвался Глѣбъ.

— Нѣтъ, матушка, не дѣло говоришь, перебилъ Петръ, лицо котораго, какъ только миновала опасность, сдѣлалось по прежнему мрачнымъ и недовольнымъ:—этакъ, пожалуй, нивѣсть что въ башку заберетъ! Пущай его страха отвѣдаетъ. Небось, не убьютъ.

Въ эту минуту изъ-за угла избы показался Василій, тащившій Гришку.

На мальчикѣ лица не было. Открытая грудь его тяжело дышала; ноги подламывались; его черные, дико блуждавшіе глаза, всклоченные волосы, плотно стиснутые зубы, придавали ему что-то злобное, неукротимо-свирѣпое. Онъ былъ похожъ на дикую кошку, которую только-что поймали и посадили въ клѣтку.

— Ага, мошенникъ, попался! Давай-ка его сюда! закричалъ Глѣбъ, у котораго, при видѣ мальчика, невольно почему-то затряслись губы:—пойдемъ-ка, я тебя проучу, какъ щепы подкладывать, да дома поджигать... Врешь, не увернешься... Ребята, подсобите стащить его къ заднимъ воротамъ, заключилъ онъ, хватая мальчика за шиворотъ и приподымая его на воздухъ.

— Батюшка, помилуй! отчаянно закричалъ дядя Акимъ, удерживая рыбака.

— Взмилуйся, Глѣбъ Савинычъ! завопила Анна.

— Тятька! закричалъ неожиданно Ваня, вырываясь изъ своей засады, бросаясь къ отцу и повиснувъ на рукѣ его:—тятька, оставь его!.. Пусти! пусти!.. продолжалъ онъ, обливаясь слезами и стараясь оторвать Гришку.

— Прочь! сурово сказалъ отецъ:—прочь!

И, оттолкнувъ отъ себя жену и сына, вышелъ къ огороду.

Анна, дядя Акимъ и Ванюша бросились къ воротамъ; но ихъ снаружи придерживали Петръ и Василій.

— Батюшка, Глѣбъ Савинычъ, побойся Бога! кричала старушка.

— Батюшка, взмилуйся! кричалъ Акимъ, упавъ на колѣни.

— Тятька! тятька! голосилъ Ваня.

Но всѣ эти крики покрылись скоро голосомъ Глѣба и жалобными визгами Гришки.

Наконецъ ворота отворились, и Глѣбъ показался съ сыновьями.

— Полно вамъ, глупые! о чемъ орете? добру учатъ! сказалъ онъ, проводя ладонью по высокому лбу, который снова началъ проясниваться: — небось, не умретъ, будетъ только поумнѣе. Кабы на горохъ не морозъ, онъ бы черезъ тынъ переросъ!.. Ну, будетъ вамъ; пойдемте обѣдать.

Дядя Акимъ хотѣлъ было юркнуть за ворота, но, встрѣтивъ взглядъ рыбака, не посмѣлъ и поплелся за всѣми въ избу.

Во все время обѣда Акимъ не промолвилъ слова, хотя сидѣлъ такъ же неспокойно, какъ будто его самого высѣкли. Какъ только окончилась трапеза, онъ улучилъ свободную минуту и побѣжалъ къ огороду. Увидѣвъ Гришку, который стоялъ прислонившись къ углу, старикъ боязливо оглянулся на стороны и подбѣжалъ къ нему, отчаянно замотавъ головою.

— Безмятежный ты этакой! что ты надѣлалъ! ахъ ты, разбойникъ такой!.. мало тебѣ, окаянному! мало! жалобно заговорилъ Акимъ, грозно подымая лѣвую руку, между тѣмъ какъ правая рука его спѣшила вытащить изъ-за пазухи кусокъ лепешки, захваченный украдкою во время обѣда.

Но тетка Анна успѣла уже предупредить Акима: въ рукахъ мальчика находилась цѣлая лепешка и въ добавокъ еще горбушка пирога.

Это обстоятельство мгновенно какъ ножомъ отрѣзало безпокойство старика. Всю остальную часть дня работалъ онъ такъ же усердно, какъ утромъ и наканунѣ. О случившемся не было и помину. Выходка Гришки, какъ уже сказано, нимало не измѣнила намѣреній стараго рыбака; и хотя онъ ни словомъ, ни взглядомъ не обнадеживалъ Акима, тѣмъ не менѣе, однакожъ, продолжалъ оставлять его каждое утро у себя въ домѣ.

Недѣли полторы спустя послѣ Благовѣщенія, Петръ отправился въ „рыбацкія слободы“. Всѣ сомнѣнія исчезли при этомъ въ душѣ Акима, который, съ той же минуты, поздравилъ себя батракомъ рыбака Глѣба Савинова.

Къ сожалѣнію, недолго попользовался дядя Акимъ новымъ своимъ положеніемъ.

VII.

Мастакъ-работникъ.

Одного мѣсяца не прошло съ тѣхъ поръ, какъ дядя Акимъ поселился у Глѣба, и уже надъ кровлей рыбака воздвиглась скворечница. Мы будемъ говорить безпристрастно и тутъ же скажемъ, что скворечница дяди Акима должна была, по настоящему, служить образцомъ всѣмъ возможнымъ постройкамъ такого рода. Шутки въ сторону: скворечница была дѣйствительно замѣчательна; ея островерхая крышечка, круглое окошечко, крылечко и даже пучокъ прутьевъ, живописно прикрѣпленный съ боку, невольно привлекали взгляды, показывая вмѣстѣ съ тѣмъ въ строителѣ величайшаго знатока и мастера своего дѣла. Конечно, обошлось не безъ хлопотъ; потребовались даже два воскресенья. Первый день проведенъ былъ на дворѣ и весь ушелъ на распилку и сколачиванье дощечекъ; второй день исключительно проведенъ былъ Акимомъ на крышѣ. Принявъ въ соображеніе усердіе Акима, можно было подумать, что онъ сохранялъ въ душѣ своей непремѣнную увѣренность превратиться на дняхъ въ скворца и снаряжалъ скворечницу для себя собственно. Трудъ Акима, какъ и слѣдовало ожидать, не возбуждалъ большого сочувствія; появленіе скворечницы встрѣчено было грубыми насмѣшками. Глѣбъ и сынъ его Василій не переставали трунить надъ Акимомъ. Но таковъ уже удѣлъ всѣхъ великихъ произведеній при ихъ зародышѣ! Судите сами, если Глѣбъ и его сынъ были правы.

Наступило именно то время весны, когда съ теплыхъ странъ возвращались птицы; жаворонки неподвижно уже стояли въ небѣ и звонко заливались надъ проталинками; ласточки и бѣлые рыболовы, или „мартышки“, какъ ихъ преимущественно называютъ на Окѣ, сновали взадъ и впередъ надъ рѣкою, которая только-что вступила въ берега свои послѣ недѣльнаго розлива; скворцы летали цѣлыми тучами; грачи также показались. Можно ли было послѣ этого обойтись безъ скворечницы? Къ тому же, дядя Акимъ ясно, кажется, объяснилъ Глѣбу и Василью, что трудился надъ скворечницей единственно съ тѣмъ, чтобы потѣшить ребятишекъ; но ему какъ словно не давали вѣры и все-таки продолжали потѣшаться. Къ счастію еще дядя Акимъ не обращалъ (такъ казалось, по крайней мѣрѣ) большого вниманія на такія насмѣшки: гордый сознаніемъ

своихъ силъ, онъ продолжалъ трудиться на поприщѣ пользы и съ каждымъ днемъ сильнѣе и сильнѣе обозначалъ свое присутствіе въ домѣ рыбака. Вскорѣ весь домъ и вся окрестность наполнились звукомъ тѣхъ дудочекъ, которыя такъ искусно умѣлъ онъ дѣлать. Пискъ и трескотня немолчно зазвучали въ ушахъ Глѣба Савинова. Куда бы еще ни шло, еслибъ потѣшались только Гришка и Ванюшка: легко было отбить у нихъ охоту къ музыкѣ; къ тому же и сами они умолкали, завидя еще издали стараго рыбака. Но горе въ томъ, что дѣти Петра были точно такъ же снабжены дудками, и Глѣбъ, не имѣя духу отнять у малолѣтнихъ потѣху, поневолѣ долженъ былъ выслушивать несносный визгъ, наполнявшій избу. Глѣбъ не обнаружилъ, однакожъ, своего неудовольствія Акиму: все ограничилось, по обыкновенію, двумя-тремя прибаутками и смѣхомъ; то же самое было въ отношеніи къ другимъ, болѣе или менѣе полезнымъ выдумкамъ работника. Съ нѣкоторыхъ поръ, въ одеждѣ дяди Акима стали показываться замѣтныя улучшенія: на панкѣ его, незаслуживавшей, впрочемъ, такого имени, потому что ее составляли двѣ-три заплаты, живьемъ прихваченныя бѣлыми нитками, появился вдругъ верхъ изъ синяго сукна; у Гришки оказалась новая рубашка и, что всего страннѣе, у рубашки были ластовицы, очевидно выкроенныя изъ набивного ситца, купленнаго годъ тому назадъ Глѣбомъ на фартукъ женѣ; кромѣ того, онъ не разъ заставалъ мальчика съ кускомъ лепешки въ рукахъ, тогда какъ въ этотъ день въ домѣ о лепешкахъ и помину не было. Встрѣчаясь съ женою, старый рыбакъ посмѣивался только въ бороду; въ остальномъ онъ и виду не показывалъ. Тайна такого снисхожденія заключалась въ томъ, что рыбакъ убѣждался съ каждымъ днемъ, какъ хорошо сдѣлалъ, взявъ къ себѣ пріемыша. Мальчикъ былъ, правда, озорливъ, но обнаруживалъ необыкновенную смѣтливость, силу и проворство, обѣщавшія современемъ дюжаго, ловкаго къ работѣ парня. Чтожъ касается до Акима, Глѣбъ Савинычъ и прежде еще не видѣлъ въ немъ проку; время показало, что дядя Акимъ былъ годенъ только дѣлать однѣ скворечницы. Странно какъ-то выходило всегда, что труды его ровно ни къ чему не служили. Иной разъ цѣлый день хлопочетъ подлѣ какого-нибудь дѣла, суетится до того, что потъ валитъ съ него градомъ, а какъ придетъ домой, такъ и скосится и грохнетъ на лавку, ногъ подъ собой не слышитъ; но сколько Глѣбъ или сынъ его Василій ни умудрялись, сколько ни старались

высмотрѣть, надъ чѣмъ бы могъ такъ упорно трудиться работникъ, дѣла все-таки никакого не находили.

— Эхъ ты, сватьюшка Акимъ, сватьюшка Акимъ, высоко поднялъ, брать, да опустилъ низко; вожжи-то въ рукахъ у тебя, — въ рукахъ вожжи, да жаль, возъ-то подъ горою!.. Эхъ, пустой выходишь ты человѣкъ, братецъ ты мой! скажетъ Глѣбъ Савиновъ, махнетъ рукой да и отойдетъ прочь.

Со всѣмъ тѣмъ Акимъ продолжалъ такъ же усердно трудиться, какъ въ первые дни пребыванія своего въ домѣ рыбака: прозвище „пустого человѣка“, очевидно, было ему не понутру.

Не знаю, прискучило ли наконецъ дядѣ Акиму слушать каждый день одно и то же; или ужъ такъ, духомъ упалъ онъ, что ли, не только, мало-по-малу, стали замѣчать въ немъ меньше усердія. Вмѣстѣ съ тѣмъ и нравъ его какъ-то измѣнялся. Бывало, шутливый такой, грохочетъ съ утра до вечера, съ ребятишками возится, или выйдетъ за ворота скворцомъ позабавиться: „Эхъ, самецъ-то у мена хорошъ скажетъ, — вотъ развѣ самка бы не опростоволосилась: не сидитъ, шутъ ее знаетъ, на яйцахъ! нѣтъ, не дождаться, знать, птенцовъ! такъ, знать, ни во что пошли труды наши!“ и частенько выкинетъ при этомъ такое колѣнцо, что всѣ держатся только за бока и чуть не прушатся смѣху. Ну, а теперь совсѣмъ не то: ходитъ — на бокъ головушку клонитъ, какъ словно кто обидѣлъ его, или замыселъ какой на душѣ имѣетъ; слова не вызовешь: все опостыло ему, — опостыла даже и самая скворечница. Не смотря на то, что сбылись задушевныя мечты его — самка не только не опростоволосилась, но вывела даже множество птенцовъ, которые поминутно высовывали изъ окошечка жалкые носочки — дядя Акимъ не думалъ радоваться.

Что ты, мой батюшка? спрашивала иногда тетка Анна, единственное существо изъ всего семейства рыбака, съ которымъ дядя Акимъ сохранялъ прежнія отношенія: — что не веселъ ходишь? ужъ не вороба какая, помилуй Богъ? Недужится може статься... скажи, родимый!

Нѣтъ, матушка, отвѣчалъ обыкновенно Акимъ глубоко огорченнымъ тономъ. Господь творитъ пока грѣхамъ — силы не отымаетъ. Одинъ разъ наказалъ меня, грѣшнаго...

Да чѣмъ же, батюшка?

А вотъ чѣмъ, матушка, отвѣчалъ Акимъ съ горькою усмѣшкой и всегда вздыхалъ при этомъ: — вотъ чѣмъ: старость наслалъ, матушка. Оно не то, чтобъ добре старъ сталъ: какіе еще мои года!

да такъ ужъ, видно, для людей состарѣлся. И дѣлаешь, кажись, не хуже другого, а все не угодишь, все по ихнему какъ бы не такъ выходить! То не такъ, это не такъ: не въ угоду, стало, пришелъ. И добро бы, матушка, старые люди такъ-то охуждали: ну, все бы какъ словно не такъ обидно! а вѣдь иной вотъ живетъ безъ году недѣлю, молоко на губахъ не обсохло, а туда же лѣзетъ тебѣ въ бороду... Вотъ, примѣрно, теперь хошь бы твой Васька .. Ну что я ему дался за скоморохъ за такой? чего онъ привязался?... Нѣтъ, матушка, такъ видно, заведось нонѣ на свѣтѣ: дожилъ до старости, нѣтъ тебѣ ни въ чемъ уваженья, никуда ты негоденъ!.. Я и тогда говорилъ: намъ, старикамъ, житья нонѣ отъ молодыхъ не стало... Добре много развелось ихъ, матушка,—вотъ что!

Въ послѣднее время дядя Акимъ особенно какъ-то не благоволилъ къ Василью. Нерасположеніе это, начавшееся съ того самаго утра, когда парень догналъ и притащилъ Гришку, дѣлалось съ каждымъ днемъ сильнѣе и сильнѣе. Василій подстрекаемый примѣромъ отца, подтрунилъ разочка два надъ Акимомъ. Тѣмъ бы, можетъ статься, дѣло и покончилось, еслибъ Акимъ не показалъ виду; но Акимъ, таившій всегда недоброжелательство къ молодому парню, не выдержалъ: онъ обнаружилъ вдругъ такой азартъ, что всѣ, кто только ни находились при этомъ, даже Ванюша и его собственный Гришутка,—всѣ покатились со смѣху. Это, какъ водится всегда въ подобныхъ случаяхъ, пуще еще раззадорило молодого парня. Сначала дядя Акимъ огрызался; наконецъ стало не подъ силу: онъ замолкъ и уже съ этой минуты сталъ отворачиваться всякій разъ, какъ встрѣчался съ Васильемъ.

Все шло, однакожъ, хорошо до тѣхъ поръ, пока Акимъ продолжалъ мало-мальски трудиться. Глѣбъ молчалъ. Увѣрившись разъ навсегда, что отъ свата нельзя было многаго требовать, онъ наблюдалъ только, чтобы сватъ не ѣлъ даромъ хлѣба. Такъ прошло два мѣсяца... Не знаю, можетъ-статься, Акиму показалось наконецъ обиднымъ невниманіе Глѣба, или попросту, прискучило долго жить на одномъ мѣстѣ, или же, наконецъ, такъ ужъ совсѣмъ упалъ духомъ, но только къ концу этого срока сталъ онъ обнаруживать еще меньше усердія. Наступилъ ли праздникъ, онъ уходитъ ни-свѣтъ-ни-заря изъ дому и цѣлый день на глаза не показывается. Нѣсколько разъ случалось даже пропадать ему дѣнъ на пятокъ и подолѣе. Никто не зналъ, куда онъ ходитъ и за какою надобностью. Если спрашивали его объ этомъ, онъ отвѣчалъ обыкновенно, съ

явнымъ неудовольствіемъ, что есть у него свои дѣла, что идетъ получать какіе-то должишки, или провѣдать идетъ такого-то, или же, наконецъ, что тотъ-то строго наказывалъ ему безпремѣнно навѣстить жену и дѣтей, и проч. и проч. Зная Акима, никто не сомнѣвался, что всѣ эти объясненія сущія выдумки. Возвращался онъ обыкновенно въ домъ рыбака измученный, усталый, съ загрязненными лаптишками и разбитой поясницей, — ложился тотчасъ же на печку, стоналъ, охалъ и такъ крѣпко жаловался на ломоту въ спинѣ, какъ будто въ томъ мѣстѣ, куда ходилъ получать должишки, ему должны были нѣсколько палокъ и поквитались съ нимъ, высчитавъ даже проценты. Такія продѣлки повторялись чаще и чаще; вмѣстѣ съ ними усиливался ломъ въ поясницѣ, сопровождавшійся всегда долгимъ возлежаніемъ на печкѣ.

— Послушай-ка, сватъ, сказалъ Глѣбъ, потерявшій наконецъ терпѣніе:—что жъ ты это, въ самомъ дѣлѣ, а? Помнится, ты не то сулилъ, когда въ домъ ко мнѣ просился. Гдѣ жъ твои зароки?.. Лежебоковъ и безъ тебя много; кабы всѣхъ ихъ да къ себѣ въ домъ пущать, скоро и самому придется идти по міру... Ты думаешь, далъ Господь человѣку ротъ да брюхо, дастъ и хлѣбъ. Нѣтъ, братецъ ты мой любезный, жирно будетъ! На это я тебѣ скажу вотъ еще какое слово: когда хочешь жить у меня, работай — дома живу какъ хочу, а въ людяхъ какъ велятъ — а коли нелюбо, убирайся отселева подобру-поздорову... вотъ что!

Акимъ ничего не отвѣчалъ; онъ тотчасъ же сѣлъ за дѣло, но весь этотъ день былъ сумрачёнъ и ни съ кѣмъ слова не промолвилъ.

Вечеромъ, послѣ ужина, онъ встрѣтился съ Анной, въ томъ самомъ проулкѣ, гдѣ нѣкогда высѣкли Гришку.

Выждавъ минуту, когда хозяйка подойдетъ къ нему (видно было по всему, что дядя Акимъ никакъ не хотѣлъ сдѣлать перваго приступа), онъ тоскливо качнулъ головой и сказалъ голосомъ, въ которомъ проглядывало явное намѣреніе разжалобить старуху:

— Прощай, матушка, Анна Савельевна!

— Что ты, мой батюшка? куда ты? Христосъ съ тобою! воскликнула удивленная старуха.

— Да что, матушка, пришло, знать, время, пора убираться отселева, уныло отвѣчалъ Акимъ:—самъ онѣ сказалъ: убирайся, говоритъ, прочь отселева! Ненадыть, говоритъ, тебя, стараго дурака: даромъ, говоритъ, хлѣбъ ѣшь!.. Ну, матушка, Богъ съ нимъ! Свѣтъ

не безъ добрыхъ людей... Пойду: авось-либо въ другомъ мѣстѣ гнушаться не станутъ, авось пригожусь, спасибо скажутъ.

— Полно, Акимушка, полно, кататикъ! брось это! заговорила старуха, которая хотя и знала, что родственникъ ея напрасно жаловался на мужа и дѣйствительно въ послѣднее время ѣлъ даромъ хлѣбъ, но совсѣмъ тѣмъ искренно жалѣла о немъ и всячески старалась удержать его: —брось это, говорю; тебѣ это, родной, такъ только въ голову вкинулось; полно! Въ чужихъ людяхъ хуже еще горя напринимаешься: тамъ тебѣ даромъ и рубашонки-то никто не вымоетъ. По крайности хошь я здѣсь: малость, малость, а все пригляжу... вѣстимо, свой человѣкъ, не чужакъ какой.

— Спасибо тебѣ, матушка, на ласковомъ твоемъ словѣ, перебилъ Акимъ.—Я о тебѣ не говорю: вѣкъ буду помнить добро твое. А только, воля твоя, мнѣ здѣсь жить не приходится; такъ ужъ, видно, такая судьба моя!.. Самъ сказалъ: ступай, говоритъ... И самъ вижу, лишній я у васъ... то не такъ, это не такъ—ну, и не надыть! Что жъ, матушка, взаправду, въ худого коня кормъ тратить!.. На всѣхъ не угодишь, матушка Анна Савельевна! Брань, да попрекъ, да глумленіе всяческое,—только я здѣсь у васъ и слышалъ; спасиба не сказали! А за что? худыхъ какихъ дѣловъ за мной не было; супротивнаго слова никто не слышалъ; не воръ я, не пьяница я, не ахаверникъ какой: за что жъ такая напраслина? Трудился я не хуже ихняго: что велятъ, сдѣлаю; куды пошлютъ, иду; иной разъ ночь не спишь, все думается, какъ бы вотъ въ томъ, либо въ другомъ угодить... Богъ видитъ мою работу. Я ли не старался, я ли отлѣкивался отъ работы? ну, да не угодилъ, матушка, нѣтъ... такая ужъ, видно, судьба моя!... Пойду, погляжу, авось-либо въ другомъ мѣстѣ пригожусь. А здѣсь, матушка, самъ вижу, я здѣсь лишній у васъ. Вѣдь самъ нонѣ сказалъ: ступай, говоритъ, тебя мнѣ не надыть!

Тетка Анна принялась снова увѣщевать его; но дядя Акимъ остался непоколебимъ въ своемъ намѣреніи: онъ напрямикъ объявилъ, что ни за что не останется больше въ домѣ рыбака, и если поживетъ еще, можетъ-статься, нѣсколько дней, такъ для того лишь, чтобъ пріискать себѣ новое мѣсто.

Случай не замедлилъ представиться.

Около этого времени, одно изъ самыхъ небольшихъ озеръ на луговой сторонѣ Оки было снято какимъ-то вольнымъ рыбакомъ, переселившимся изъ другого уѣзда. Благодаря близкому со-

сѣдству, Глѣбъ и новый рыбакъ свели знакомство. Озеро находилось всего въ двухъ верстахъ отъ площадки, занимаемой Глѣбомъ: стоило только переѣхать Оку, пройти четверть версты песками, усѣянными кустами ивняка, и еще три четверти версты лугами. Новый сосѣдъ имѣлъ мало общаго съ Глѣбомъ Савинычемъ. Кондратій (такъ звали озерскаго рыбака) былъ уже человѣкъ преклонный, самаго тихаго, кроткаго нрава; въ одномъ развѣ могли они сойтись: оба были одинаково трудолюбивы и опытны въ своемъ ремеслѣ. Кондратій съ перваго же разу полюбился Глѣбу, его женѣ и всему семейству. Особенно полюбилъ его дядя Акимъ. Онъ тутъ же рѣшилъ, что лучшаго хозяина не сыскать ему, и ни мало не сомнѣвался, что самъ Господь нарочно послалъ Кондратія ему на выручку. Къ сожалѣнію, дядя Акимъ не могъ осуществить своихъ намѣреній такъ скоро, какъ бы ему хотѣлось. Изъ разговоровъ Кондратія оказалось, что онъ занимается покуда еще стройкой, рыбную ловлю начнетъ съ осени и до того времени не будетъ, слѣдовательно, нуждаться въ работникѣ. Дѣлать нечего, надо было потерпѣть. Хорошо еще, что терпѣть приводилось недолго: осень была уже на носу, чему яснымъ доказательствомъ служили длинныя, бѣлыя волокнистыя нитки тенетника, носившіяся въ воздухѣ, а также и дикіе гуси, вереницами перелетавшіе каждый день Оку. Близость цѣли подкрѣпляла Акима. Ни мало не сомнѣваясь, что при малѣйшей оплошности съ его стороны, Глѣбъ Савинычъ вытуритъ его въ-зашеи изъ дому и тѣмъ самымъ, можетъ-статься, легко даже повредитъ ему во мнѣніи новаго хозяина, онъ снова принялся за работу. Надо сознаться, однакожъ, что усердіе Акима возбуждалось не столько послѣднимъ этимъ соображеніемъ, сколько страхомъ, который наводилъ на него, особенно въ послѣднее время, Глѣбъ Савинычъ. Дядя Акимъ харахорился только въ присутствіи Гришутки, Ванюши да еще тетушки Анны,—ей одной передавалъ свои замыслы; въ присутствіи же стараго рыбака онъ сохранялъ постоянно свой жалкенькій, сиротскій видъ; одинъ взглядъ Глѣба обдавалъ его потомъ. По поводу этого страха, положеніе дяди Акима дѣлалось день ото дня затруднительнѣе. Наступила наконецъ осень; уже полились дожди, уже первый снѣгъ выпалъ, а между тѣмъ дядя Акимъ все еще не могъ придумать средства, какъ бы половчѣе высвободиться изъ когтей Глѣба Савиныча. Такъ, попросту, сказать, ему: „не хочу, молъ, у тебя оставаться!“ духу не хватаетъ: осерчаетъ добре, даромъ самъ гнать отъ себя. Убѣжать? Глѣбъ Сави-

нычъ не токмо за двѣ версты, и на днѣ окіана-моря сыщетъ. Завалиться безъ просыпу на печку и дожидаться, пока не вытурятъ тебя въ-зашей изъ дому, какъ словно и того страшнѣе... Какъ тутъ быть? Небольно, кажись, мудрое дѣло, анъ—лихъ его!—не дается.

Но недолго помучился такъ-то дядюшка Акимъ: судьба сжалилась, видно, надъ нимъ и сама взялась распутать за него всѣ затрудненія.

Вотъ какъ это случилось.

Былъ одинъ изъ тѣхъ ненастныхъ, студеныхъ дней, какіе часто встрѣчаются къ концу осени,—одинъ изъ тѣхъ дней, когда самый опытный пахарь не скажетъ, зима ли наступила наконецъ, или все еще продолжается осень. Снѣгъ валилъ густыми, липкими хлопьями; гонимые порывистымъ влажнымъ вѣтромъ, они падали на землю, превращаясь мѣстами въ лужи, мѣстами подымаясь мокрыми сугробами; клочки сѣрыхъ, тяжелыхъ тучъ быстро бѣжали по небу, обливая окрестность сумрачнымъ свѣтомъ; печально смотрѣли обнаженные кусты; гдѣ-гдѣ дрожалъ одинокій листокъ, свернувшійся въ трубочку; еще печальнѣе вилась снѣжная дорога, пересѣченная кое-гдѣ широкими пятнами почернѣвшей вязкой почвы; тамъ синѣла холодною полосою Ока, дальше все застилалось снѣжными хлопьями, которые волновались какъ складки савана, готоваго упасть и окутать землю... Въ такой-то именно день Глѣбу встрѣтилась крайняя надобность повидаться съ дѣдушкой Кондратіемъ: требовалось получить съ сосѣда деньжонки за солому, взятую имъ на покрышку кровли. Срокъ платежа вышелъ уже недѣлю тому назадъ, и хотя Глѣбъ ни мало не сомнѣвался въ честности озерскаго рыбака, но считалъ, что все же надежнѣе, когда деньгà въ карманѣ; недолго гадая и думая, послалъ онъ туда дядю Акима. Онъ и самъ бы сходилъ—погода ни въ какомъ случаѣ не могла быть ему помѣхой — но пожалѣлъ времени; безъ всякаго сомнѣнія, плохой его работникъ не могъ провести день съ тою пользою для дома, какъ самъ хозяинъ. Впрочемъ, дядя Акимъ самъ охотно вызвался сходить къ Кондратію.

Акимъ поспѣшно нахлобучилъ шапку, прикутался въ сермягу и вскорѣ исчезъ за снѣгомъ.

Никто не ждалъ отъ него скораго возвращенія: всѣ знали очень хорошо, что дядя Акимъ воспользуется случаемъ полежать на печи у сосѣда, и пролежитъ тѣмъ долѣе и охотнѣе, что дорога больно

худа и вѣтеръ пуще студенъ. Никто не помышлялъ о немъ вплоть до сумерекъ; но вотъ уже и ночь давно наступила, а дядя Акимъ все еще не возвращался. Погода между тѣмъ становилась хуже и хуже; снѣгъ, превратившійся въ дождь, ручьями лилъ съ кровель и яростно хлесталъ въ окна избы; вѣтеръ дико завывалъ вокругъ дома, потрясая навѣсы и раскачивая ворота.

— Что же онъ нейдетъ въ самомъ-то дѣлѣ? ужь, помилуй Богъ, не приключилось ли чего? проговорила Анна, заботливо поправляя лучину.

— Эхъ ты, матушка ты моя, подсмѣиваясь, прибавилъ Глѣбъ, строгавшій у порога новое весло:—вѣстимо приключилось: я чай, корчится сердечный,—зазябъ совсѣмъ, зубъ съ зубомъ не сведетъ... лежа на печи у сосѣда.

Василій, дѣтки и жена Петра громко захохотали.

Въ отвѣтъ на это, за дверью сѣней послышалось неожиданно глухое стенаніе.

Глѣбъ стукнулъ кулакомъ въ дверь и отворилъ ее настежъ.

— Кто тамъ?

— Я.... я... о-о! отозвался дрожащій, едва внятный голосъ, по которому всѣ присутствующіе тотчасъ же узнали дядю Акима.

Хозяйка схватила лучину, выбѣжала въ сѣни и, минуту спустя, ввела своего родственника.

...

Акимъ, дѣйствительно, корчился отъ стужи, но только не на печи Кондратія, а въ собственной сермягѣ, насквозь пропитанной дождемъ; вода лила съ него, какъ изъ жолоба. Онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ и едва стоялъ на ногахъ.

— Ну, у-у, совсѣмъ, знать, разломило, сказалъ Глѣбъ, подпираясь веслом и приподымаясь на ноги:—принесъ ли по крайности хоть деньги-то?

— У-у-у, отвѣчалъ Акимъ, прикладывая дрожащую руку къ пазухѣ и принимаясь трястись пуще прежняго.

— Ладно, вижу, промолвилъ рыбакъ (взялъ деньги, вынулъ ихъ изъ тряпицы и сосчиталъ). Ладно, заключилъ онъ:—ступай скорѣй на печку... много трудовъ принялъ нонѣ, сватьюшка!... Я чай, и завтра не переможешься: отдыхать да грѣться станешь.

Въ этотъ вечеръ много было смѣху, къ совершенному неудовольствію тетки Анны, которая не переставала вздыхать и ухаживать за своимъ родственникомъ. Но веселое расположеніе Глѣба

превратилось, однакожъ, въ безпокойство, когда увидѣлъ онъ на другой день, что работникъ его не въ шутку разнемогся.

„Вотъ скучали, хлопотъ не было“,— думалъ рыбакъ,— „вотъ теперь и возись поди! что станешь съ нимъ дѣлать, коли онъ такъ-то у меня проваляется зиму? И диковинное это дѣло, право, какой человѣкъ такой: маленько дождемъ помочило — ништетъ что сдѣлалось, весь распался, весь разнедужился... Эхъ! я и прежде говорилъ: пустой человѣкъ,— право, пустой человѣкъ!“

Предчувствія не обманули Глѣба. Дядюшка Акимъ подавалъ надежду пролежать если не всю зиму, такъ по крайней мѣрѣ долгое время. Онъ лежалъ пластомъ на печи, не принималъ пищи, и лишь когда только мучила жажда, подавалъ голосъ. Такъ прошло нѣсколько дней.

Разъ вечеромъ, когда все семейство рыбака, поужинавъ, собиралось спать, съ печки нежданно послышались раздирающіе стоны.

— Чего тебѣ? нетерпѣливо спросилъ Глѣбъ.

— Батюшка, проговорилъ Акимъ прерывающимся голосомъ:— чую... окъ... чую, смерть моя близко!... не дайте... отцы... помереть безъ покаянія!...

Глѣбъ кивнулъ головою Василію, вынулъ съ нимъ въ сѣни и велѣлъ сходить какъ можно скорѣе въ Сосновку за священникомъ.

Минуту спустя, посреди свиста вѣтра и шума дождя, раздались шаги удаляющагося парня.

Василій возвратился съ священникомъ поздно въ ночь, на телѣгѣ. Исповѣдавшись и причастившись, больной какъ будто успокоился, и нѣсколько часовъ не слышно было его голоса. Но въ полдень стоны его раздались съ новой силой. Больной сталъ призывать по имени то того, то другого. Семейство рыбака, не выключая Василія, который только-что вернулся изъ Сосновки, окружило Акима, уже перенесеннаго на лавку подъ образа. Никто не плакалъ, но ни одно лицо не выражало равнодушія. Всѣ молча, задумчиво, смотрѣли на блѣдное, изрытое лицо больного, слегка освѣщенное сѣрымъ осеннимъ днемъ.

— Чего тебѣ, кормилецъ мой? спросила Анна, наклоняясь къ нему и едва сдерживая слезы.

— Гри... Гришутку!.. могъ только произнести умирающій.

Глѣбъ взялъ мальчика и поставилъ напротивъ лавки.

Дядя Акимъ устремилъ на него мутный, угасающій взоръ. Долго-долго смотрѣлъ онъ на него, приподнялъ голову, хотѣлъ что-то

сказать, но зарыдалъ какъ дитя, и безсильно опустилъ голову, между тѣмъ какъ рука его, очевидно, искала чего-то поблизости.

— Полно, касатикъ! что убиваешься! авось, Богъ милостивъ... Полно! проговорила Анна, закрывая лицо фартукомъ.

Дядя Акимъ покачалъ головою, повернулся лицомъ къ мальчику и снова устремилъ на него потухающій, безжизненный взоръ.

— Смотри, Гриша, проговорилъ онъ наконецъ, дѣлая усилія, чтобы слова его внятно дошли до слуха присутствующихъ:—вотъ я скоро... Ты теперь одинъ останешься! смотри... слушайся во всемъ... Глѣба Савиныча... почитай его пуще отца... прощай... Гриша!.. Гриша!..

Дядя Акимъ взялъ руку мальчика, положилъ ее къ себѣ на грудь и, закрывъ глаза, помолчалъ немного. Слезы между тѣмъ ручьями текли по блѣднымъ, изрытымъ щекамъ его.

Въ той сторонѣ, гдѣ стояла Анна, послышались затаенныя рыданія.

— Глѣбъ, началъ снова дядя Акимъ, но уже совсѣмъ ослабѣвшимъ, едва внятнымъ голосомъ:—Глѣбъ, продолжалъ онъ, отыскивая глазами рыбака, который стоялъ между тѣмъ передъ самымъ лицомъ его:—тетушка Анна... будьте отцами... сирота!.. Тамъ рубашенка... новая осталась... отдайте... сирота!.. и сапожишки... въ коморѣ... все... ему!.. Гриша... о-охъ, Господи.

Дядя Акимъ хотѣлъ еще что-то сказать; но голосъ его сталъ мѣшаться, и рѣчь его вышла безъ складу. Одни мутные, потухающіе глаза все еще устремлялись на мальчика; но наконецъ и тѣ стали смежаться...

Глѣбъ перекрестился, сложилъ руки покойника, снялъ образъ и положилъ ему на грудь.

Дѣти, блѣдныя и дрожащія отъ страха, побѣжали, съ плачемъ и воемъ, въ сѣни.

Въ избѣ остались сноха, Глѣбъ, Василій и Анна, которая стояла уже на колѣняхъ и, обнявъ ноги покойника, жалобно причитывала.

Глѣбъ приказалъ Василью сходить на озеро за дѣдушкой Кондратіемъ и попросить его почитать псалтырь, а самъ тотчасъ же отправился заняться приготовленіями къ похоронамъ.

На крыльцѣ встрѣтилъ онъ Гришу и Ваню. Оба терли кулаками глаза и заливались навзрыдъ.

— Полно, Гриша, сказалъ рыбакъ, гладя его по головѣ: — не

плачь; слезами тутъ не пособишь... перестань... О чемъ плакать! Воля Божья...

— Какъ же не плакать-то, возразилъ Гришка, горько всхлипывая: — какъ же? вѣдь вотъ онъ одинъ сапогъ-то сшилъ, а другого не сшилъ... не успѣлъ... такъ одинъ сапогъ теперь и остался!

— Ну, есть о чемъ крушиться! Эхъ ты... глупый, глупый! Ну, а ты о чемъ? спросилъ онъ, поворачиваясь къ сыну.

— Какъ же, дядюшка-то? вѣдь, я чай, жаль его! отвѣчалъ Ваня, рыдая на весь дворъ.

Глѣбъ Савиновъ подавилъ вздохъ, провелъ ладонью по высокому лбу и медленно пошелъ сколачивать гробъ для дядюшки Акима.

VIII.

Дѣтство.

...Уныло воетъ вѣтеръ въ дождливую, холодную осень. Прислушайтесь: слышите, съ какимъ суетливымъ безпокойствомъ шаритъ онъ вокругъ каждаго кусточка и стебля, какъ будто отыскивая тамъ что-то забытое или утраченное. Онъ заглядываетъ въ каждое дупло, въ каждую скважину, подымаетъ каждый поблекшій листокъ, каждую травку и, какъ путникъ, вернувшійся на родину, который, вмѣсто уютнаго крова, находитъ всюду одну глухую пустыню, мчится далѣе къ темному лѣсу, неся на плечахъ своихъ гряды сизыхъ тучъ—нажитое богатство! Но помертвѣлый лѣсъ, окутанный туманнымъ своимъ саваномъ, не встрѣчаетъ уже его ласковой рѣчью, не киваетъ ему привѣтливо кудрявой головой. Отчаянный ревъ вѣтра смѣняется тогда тоскливымъ плачемъ и ропотомъ. Сѣрыя тучи нависли и нахмурились. Поля, лощины и лѣса окропились прощальною слезою. И вотъ снова, какъ бы негодуя на свою слабость, вѣтеръ однимъ махомъ подобралъ сизыя тучи, бросился къ опушкѣ и, взметнувшись вихремъ, помчался далѣе, увлекая на пути мокрые, желтые листья. Этотъ унылый вой, неотвязчиво надрывающій сердце, ненастье и слякоть, его сопровождающія, прискучили даже посельянину, привыкшему ко всякимъ непогодамъ. Но вотъ пришла наконецъ и „зимняя Матрена“, поднялась зима на ноги; прилетѣли мо-

розы съ „желѣзныхъ горъ“. Рѣка стала. Рѣзко зазвучали колеса на колкой, мерзлой дорогѣ, захрустѣли въ колесахъ ледяныя иглы, весело блеснули на солнцѣ длинныя ледяныя сосульки, облѣпившія бахрамою окна и кровли избушекъ. Выналъ первый снѣгъ. Шумною толпой выбѣгаютъ ребятишки на побѣлѣвшую улицу; въ волоковыя окна выглядываютъ сморщенныя лица бабушекъ; крестясь или радостно похлопывая рукавицами показываются изъ-за скрипучихъ воротъ отцы и старые дѣды, такіе же почти бѣлые, какъ самый снѣгъ, который продолжаетъ валить пушистыми хлопьями. Наступила пора всеобщаго отдыха. Работы рѣшены: ужъ обмолотились. Съ трудомъ вызовешь теперь мужичка изъ теплой избы, окутанной соломой, припертой жердями и полузанесенной снѣгомъ. Развѣ приведется съѣздить въ сосѣдній лѣсъ за валежникомъ или нужда велитъ идти съ обозомъ. И снова спѣшитъ онъ въ теплую избу свою. Котко летятъ его пустыя санишки по буграмъ и раскатамъ, нетерпѣливо взглядываетъ онъ изъ-подъ рогожи въ снѣжную даль... „Прочь съ дороги!“ Тамъ, сквозь сумерки, уже мелькаетъ огонекъ, привѣтливо подымается витая струя дыма надъ трубнымъ горшечкомъ. Чаще и чаще покрикиваетъ онъ на клячу; но кляча сама уже почуяла стойло и во всю скачь помчалась съ косогора. Сладко вѣдь отдохнуть и поправить кости послѣ тяжкаго страднаго лѣта и многозаботной осени.

Но въ рыбацкомъ ремеслѣ совсѣмъ иное дѣло. Рыбакъ вольнѣе пахаря, но зато ремесло его незаботливѣе. Онъ не знаетъ зимы. На озерахъ рубитъ онъ „окна“ (проруби), чтобъ рыба не мерла отъ „придухи“; на рѣкахъ разчищаетъ снѣгъ, высматриваетъ спящую, прижавшуюся ко льду щуку, „глушитъ“ ее обухомъ, взламываетъ ледъ и тащитъ свою добычу. Хлѣбецъ лежитъ себѣ да лежитъ въ закромѣ до красной цѣны, до сходнаго времени,—лежитъ и нечего кромѣ добра отъ него чаять. Рыба живая тварь: штука поймать ее, а сбыть еще мудренѣе. Поди-ка таскайся съ нею по базарамъ, прикидывайся къ цѣнамъ: сегодня берешь живьемъ, завтра давай мерзлую, а тронуло мало-мальски тепломъ, пошелъ ни съ чѣмъ. Хлѣбецъ вездѣ и всегда надобенъ; рыба не то: товаръ временной.

И ужъ зато какъ же радовался Глѣбъ, когда, покончивъ дѣла свои, померзнувъ день-деньской на стужѣ, возвращался къ вечеру въ избу и садился плесть свои сѣти. Въ эти долгіе зимніе вечера заходила иногда рѣчь о покойномъ дядѣ Акимѣ. Мало-по-малу, одна-

кожъ, воспоминанія эти, сопровождавшіяся вначалѣ печальными возгласами тетки Анны, дѣлались рѣже и рѣже. Изрѣдка лишь, и то при случаѣ, Глѣбъ и Василій разскажутъ какую-нибудь выходку „мастака-работника“ (такъ, смѣясь, называли всегда покойника); но, слушая ихъ, уже рѣдко кто нахмуривалъ брови;—всѣ охотно посмѣивались, не исключая даже добродушной тетки Анны и пріемыша, который начиналъ уже привыкать къ новымъ своимъ хозяевамъ.

Сближеніе Гришки съ семействомъ рыбака происходило медленно. Онъ оставался на видъ все тѣмъ же полу-дикимъ, загрубѣлымъ мальчикомъ, продолжалъ по прежнему глядѣть изъ подлобья и ни слова не произносилъ, особенно въ присутствіи Глѣба. Трудно предположить, однакожъ, чтобъ мальчикъ его лѣтъ, прожившій пять зимнихъ мѣсяцевъ постоянно, почти съ глазу на глазъ съ одними и тѣми же людьми, не сдѣлался сообщительнѣе или, по крайней мѣрѣ, не освободился частію отъ своей одичалости; это дѣло тѣмъ невѣроятнѣе, что каждое движеніе его, даже самые глаза, смотрѣвшіе изъ подлобья, но тѣмъ не менѣе прытвіе, исполненные зоркости и лукавства, обозначали въ немъ необычайную живость. Оно въ самомъ дѣлѣ такъ и было. Наступившее лѣто показало, что только постоянное присутствіе Глѣба, котораго боялся Гришка пуще огня, заставляло его прикидываться такимъ смирнячкомъ. Живой и буйный нравъ Гришки развернулся вполнѣ, какъ только ему и Ванѣ предоставлена была полная волюшка рыскать по окрестности. Свобода и нѣсколько глотковъ свѣжаго, вольнаго воздуха превратили, казалось, кровь его въ огонь: онъ жилъ какъ волченокъ, выпущенный въ поле. Новая жизнь, раздолье и просторъ самой мѣстности, пришлись ему, очевидно, болѣе по сердцу, чѣмъ скучныя деревушки и дымныя избы, въ которыхъ провелъ онъ съ Акимомъ первые годы своего дѣтства. Тутъ уже самый страхъ, наводимый на него Глѣбомъ, не въ силахъ былъ обуздать его рѣзвости. Жену Петра и Василія онъ въ грошъ не ставилъ. Надъ тетушкой Анной, которая иной разъ бралась увѣщевать его, онъ просто смѣялся. Гришка помыкалъ Ваней, какъ будто самъ былъ любимый хозяйскій сынъ, а тотъ—чужой сирота, Христа ради проживавшій въ домѣ. Онъ билъ и колотилъ его часто даже безъ всякой причины и удержа. Разъ дѣло зашло такъ далеко, что Ваня пожаловался матери; впрочемъ, и безъ этого, синяки Вани не преминули бы уличить Гришку. Тетка Анна погрозила разсказать все отцу. Къ

вечеру Глѣбъ натеръ Гришкѣ вихры. На другое же утро у Анны пропали нитки и ножницы. Искали, искали — все напрасно. Наконецъ, послѣ трехъ дней безполезнаго шарканья по всѣмъ возможнымъ закоулкамъ, затеряннные предметы были найдены между грядами огорода, куда, очевидно, забросила ихъ чья-нибудь озорная рука, потому что ни тетка Анна, ни домашніе ея не думали даже заходить въ огородъ. Гришка былъ шибко, больно наказанъ. Но на другой же день голосъ его снова загремѣлъ на дворѣ, и снова начались шалости. Въ играхъ и затѣяхъ всякаго рода онъ постоянно первенствовалъ: онъ иначе не принимался за игру, какъ съ тѣмъ, чтобы возложили на него роль хозяина и коновода, и въ этихъ случаяхъ жутко приходилось всегда его товарищу; но стоило только Глѣбу напасть на слѣдъ какой-нибудь новой шалости и потребовать зачинщика на расправу, Гришка тотчасъ же складывалъ съ себя почетное званіе коновода и распорядителя, сваливалъ всю вину на сотрудника и выдавалъ его обыкновенно съ руками и ногами.

Совсѣмъ тѣмъ Ваня все-таки не отставалъ ни на шагъ отъ пріемыша; онъ даже терпѣливо сносилъ его толчки и подзатыльники. Такое необычайное снисхожденіе могло происходить частію отъ того, что Гришка наводилъ страхъ на него, — частію, и это всего вѣроятнѣе, Ваня успѣлъ уже привязаться къ Гришкѣ всею силою своего дѣтскаго, любящаго сердца.

Теперь перейдемъ къ одному обстоятельству въ жизни двухъ мальчиковъ, которое, можно сказать, рѣшило впослѣдствіи судьбу ихъ.

Разъ какъ-то, въ прекрасный іюльскій день, Гришка и Ваня покачивались въ челнокѣ, который крѣпился къ берегу помощью веревочной петли, заброшенной за старое весло, водруженное въ песокъ. Но, можетъ быть, читатель не знаетъ, что такое рыбацкій челнокъ. Челнокъ рыбака совсѣмъ не то, что челнокъ обыкновенный: это — узенькая, колыхливая лодочка съ палубой, посреди которой вырѣзано круглое отверстіе, закрывающееся люкомъ; подъ этой палубой можетъ помѣститься одинъ только человѣкъ, да и то въ растяжку; въ лѣтнее время у рыбака нѣтъ другого жилища: ночи свои проводитъ онъ въ челнокѣ. Съ вечера забираетъ онъ „верши“ *),

*) Родъ продолговатыхъ корзинъ, сплетенныхъ изъ хвороста; одинъ конецъ верши сведенъ конусомъ другой открытъ для входа рыбы, которая не можетъ уже вернуться назадъ, задерживаемая другимъ плетенымъ изъ хвороста конусомъ, остріе котораго обращено во внутрь. Сбоку придѣлано окошечко для вынимавія рыбы. Къ острому концу верши привязывается камень для погруженія ея въ воду. Верша вынимается изъ воды помощью веревки, привязанной къ кольцу изъ хвороста.

уѣзжаетъ въ рѣку, забрасываетъ ихъ, завязываетъ концы веревокъ къ челноку и бросаетъ маленькій якорь; послѣ этого рыбакъ крестится, растягивается на днѣ палубы, подославъ напередъ овчину, закрываетъ люкъ; тутъ, слегка покачиваясь изъ стороны въ сторону въ легкой своей „посудинѣ“, которая уступаетъ самому легкому вѣтерку и мельчайшей зыби, засыпаетъ онъ крѣпчайшимъ сномъ.

Гришка сидѣлъ на кормѣ челнока и, свѣсивъ смуглыя, худыя ноги свои черезъ бортъ, болталъ ими въ водѣ. Ваня сидѣлъ между тѣмъ въ трюмѣ, и внаружу выглядывало только свѣжее, румяное личико его. Бѣлокурая голова мальчика, освѣщенная палящими лучами полуденнаго солнца, казалась еще миловиднѣе и нѣжнѣе посреди черныхъ, грубо высмоленныхъ досокъ палубы.

— Знаешь что, Ванюшка? сказалъ Гришка, неожиданно перебрасывая лѣвую ногу черезъ бортъ и садясь верхомъ на корму.

— Ну?

— Переѣдемъ на ту сторону.

— А тятька? произнесъ Ваня, поворачивая испуганные глаза на собесѣдника.

— Да вѣдь его теперь дома нѣтъ: въ Сосновку ушелъ.

— Ну, а какъ вернется?

— Глупый! да мы къ тому времени давно здѣсь будемъ.

И, не дожидаясь возраженій, онъ быстро скакнулъ на берегъ; не руки его никакъ не могли перекинуть петлю черезъ конецъ весла, и онъ принялся раскачивать его изо-всей мочи.

— Тронься только съ мѣста сойди только, такъ вотъ тебя тутъ и пришибу! сказалъ онъ, показывая кулакъ Ванюшѣ, который, испугавшись не на шутку дерзости предпріятія, карабкался изъ отверстія.

— Вишь какой! вѣдь, я чай, страшно.

— Чего?

— Ну, а какъ насъ вонъ туда—въ омутъ понесетъ! Батя и то сказывалъ: такъ, говоритъ, тебя завертитъ и завертитъ! какъ разъ на дно пойдешь! произнесъ Ваня, боязливо указывая на противоположный берегъ, гдѣ, между кустами ивняка, чернѣла старый пень ветлы.

— А зачѣмъ насъ туда понесетъ? я чай, мы будемъ грести наискось... Рази ты не видалъ, какъ братъ твой Василій управляется? Вишь: рѣка вонъ туда бѣжитъ, а мы вонъ туда станемъ

грести, — все наискось, вонъ-вонъ, къ тому мѣсту — къ дубкамъ, гдѣ озеро.

— Да, ты думаешь рѣка-то узка? не управишься: потонемъ!

— А небось широка по твоему? эхъ, ты! нетерпѣливо возразилъ Гришка.

Ширина большихъ рѣкъ, дѣйствительно, обманываетъ глазъ. Такъ бы вотъ, кажется, и переплылъ; а между тѣмъ, стоитъ только показаться баркѣ на поверхности воды или человѣку на противоположномъ берегу, чтобы понять всю огромность водянаго пространства: барка кажется щепкой, голосъ человѣка чуть слышнымъ звукомъ достигаетъ слуха.

Весло, глубоко вбитое въ песокъ, плохо уступало, однакожъ, усиліямъ Гришки. Нетерпѣніе и досада отражались на смугломъ, остромъ лицѣ мальчика; обнявъ обѣими руками весло и скрежеща зубами, онъ принялся раскачивать его во всѣ стороны, между тѣмъ какъ Ваня стоялъ съ нерѣшительнымъ видомъ въ люкѣ и боязливо посматривалъ то на товарища, то на избу.

Наконецъ весло повалилось.

— Полно, Гришка! оставь лучше.

— А вотъ погоди... вотъ! отвѣчалъ пріемышъ, схватилъ весло, приперъ грудью челнокъ, пустилъ его на воду и однимъ прыжкомъ очутился на палубѣ.

На все это потребовалась одна секунда, и Ваня не успѣлъ опомниться, какъ онъ и его товарищъ были уже далеко отъ берега. Но сколько Гришка ни размахивалъ весломъ, заставляя своего товарища накренивать челнокъ то на одинъ бокъ, то на другой, ихъ понесло теченіемъ рѣки въ совершенно противоположную сторону отъ дубковъ. Сердце сильно застучало въ груди обоихъ мальчиковъ, когда увидѣли они себя такъ далеко отъ дома. Страхъ овладѣлъ ими еще пуще, когда челнокъ, вертясь и повинуясь быстрому теченію, сталъ приближаться къ черному пню старой ветлы. Гришка вскрикнулъ, выпустилъ весло и прицѣпился къ краямъ борта. Ваня исчезъ подъ палубой и забился въ уголъ. Оба заплакали. Отчаяніе ихъ не было, однакожъ, продолжительно.

— Проѣхали! омутъ проѣхали! воскликнулъ неожиданно Гришка.

Ваня высунулъ голову изъ люка и, какъ бы внезапно пробуждаясь отъ сна, съ испугомъ оглянулся.

Старый пень находился уже позади ихъ. Челнокъ быстро несся къ берегу. Сдѣлавъ два-три круга, онъ въѣхалъ наконецъ въ одинъ

изъ тѣхъ маленькихъ, мелкихъ заливовъ, или „заводьевъ“, которыми, какъ узоромъ, убираются песчаные берега рѣкъ, и засѣлъ въ густыхъ кустахъ лозняка. Мальчики ухватились за вѣтви, притащили челнокъ въ глубину залива и проворно соскочили наземь. Страхъ ихъ прошелъ мгновенно; они взглянули другъ на друга и засмѣялись.

— Ну, а какъ же мы назадъ-то поѣдемъ, безъ весла-то? сказалъ вдругъ Ваня, и личико его снова отуманилось.

— А вотъ что, возразилъ съ живостію Гришка: — мы пойдемъ на озеро къ дѣдушкѣ Кондратію: онъ насъ перевезетъ.

— И то, и то! да куда-жъ идти-то? радостно подхватилъ Ваня.

— Выйдемъ на лугъ: тамъ оглянемся. Отселева, изъ-за кустовъ-то, озера не видно... Пойдемъ.

— А заблудимся?

— Эвось-на! развѣ эти кусты-то не видалъ ты съ нашего берега?.. идутъ недалече! Сейчасъ луга пойдутъ, а тамъ и озеро... Ну, валяй!

И оба побѣжали, перепрыгивая поминутно черезъ сыпучіе песчанные овражки, заросшіе широкими сѣрозелеными листьями лопуха. Темная зелень ежевичника и осоки, смѣшиваясь съ глянцовитою, серебристою листвою ветлы и ивы, обступала стѣною нашихъ мальчиковъ. На песокъ выбѣгали, переплетаясь между собою, черные узловатые корни, кругомъ обмытые весеннею водой. Попавъ разъ въ этотъ тѣсный лабиринтъ, шалуны сами не знали уже, какъ выбраться. Надъ головами ихъ подымались со всѣхъ сторонъ и высоко убѣгали въ синее небо обнаженныя вѣтви, покрытыя кое-гдѣ косматыми пучками сухихъ травъ, принесенныхъ на такую высоту весеннею водою, которая затопляетъ луговой берегъ верстъ за семь и болѣе. Вершины ветелъ усѣяны были обезображенными корягами, засѣвшими также во время водополья. Безчисленное множество дорожекъ изгибалось по всѣмъ возможнымъ направленіямъ. Изрѣдка, впрочемъ, открывались ровныя, гладкія площадки тонкаго песку, усѣянныя мелкими бѣлыми раковинами и испещренныя лапками рѣчныхъ куликовъ. Близость рѣки всюду сказывалась. Въ тѣни чувствовалась свѣжесть. Запахъ сырого песку, смѣшиваясь съ запахомъ лопуха, разливался въ воздухѣ.

Набѣгавшись вдоволь, запыхавшись такъ, что едва переводили духъ, наши мальчики наконецъ остановились.

— Ну, гдѣ-жъ луга-то? вишь, нѣту! сказалъ Ваня, отирая рукою потъ, струившійся по раскраснѣвшемуся лицу его.

Гришка оглядывался во всѣ стороны. Въ смуглыхъ чертахъ его не было ни малѣйшаго признака смущенія.

— Постой! шт! молчи! я слышу чей-то голосъ! произнесъ онъ, неожиданно приподнявъ руку.

Оба стали прислушиваться.

Въ самомъ дѣлѣ, посреди слабаго шелеста насѣкомыхъ, раздался вдругъ тоненькій-тоненькій голосокъ. Голосъ, приближавшійся постепенно, напѣвалъ пѣсню. Вскорѣ мальчики различили даже слова:

„Ахъ ты, гнутое деревцо, черемушка!
Куда клонишься, тамъ и сломишься...“

— Слышь, Ваня?

— Слышу.

Немного погодя, голосъ запѣлъ еще далѣе:

„Ты взгляни, матушка, въ окошечко,
Взгляни ты, матушка, на свою сироточку...“

— Пойдемъ туда! Слышь, дѣвчонка поетъ! сказалъ Гришка.

— Ну, пойдемъ.

Но не успѣли они сдѣлать нѣсколько прыжковъ, какъ уже очутились прямо противъ пѣвуньи.

То была хорошенькая дѣвочка лѣтъ восьми, съ голубыми, какъ васильки, глазами, румяными щечками и красными, смѣющимися губками; длинныя пряди бѣлокурыхъ шелковистыхъ волосъ сбѣгали золотистыми изгибами по обѣимъ сторонамъ ея загорѣлаго, но чистенькаго, какъ словно обточеннаго личика. Она собирала валежникъ. Связка сухихъ вѣтвей лежала на рукѣ дѣвочки и, свѣсившись немного на бокъ, обнажала полное загорѣлое плечико, привлекательно круглившееся на складкахъ бѣлой рубашки, которая прикрывала только до колѣнъ ея тоненькія быстрыя ножки. Застигнутая врасплохъ, пѣвунья остановилась какъ вкопаная, пугливо взглянула на мальчиковъ и, раскрывъ губки, выпустила валежникъ, который, вѣтка за вѣткой, посыпался на песокъ.

— И то дѣвчонка! Ишь ее какъ распѣваетъ! сказалъ Гришка, осматривая ее съ любопытствомъ.

— Ты чья? спросилъ Ваня.

Дѣвочка молчала. Валежникъ продолжалъ сыпаться къ ногамъ ея.

— Что-жъ ты не говоришь ничего?

— Запужалась добре: знаетъ, съ разбойниками повстрѣчалась!

Вѣдь мы разбойники! воскликнулъ Гришка, подпираясь въ бока кулаками и страшно хмуря брови.

— Вишь... какъ же... разбойники! проговорила дѣвочка, ободренная смѣхомъ Ванюши.

— Вѣстимо, разбойники!

— Да ты отколѣ? продолжалъ разспрашивать Ваня.

— А съ озера, чай! отвѣчала дѣвочка.

— Съ какого озера?

— А вамъ зачѣмъ? съ озера...

— Постой, Ванюша: я вотъ ее... Она у меня скажетъ! произнесъ Гришка, дѣлая шагъ къ дѣвочкѣ.

— Тронь только! вскрикнула она, схватывая вѣтку и становясь въ оборонительное положеніе:—у меня тутъ вотъ тятька за кустами: онъ те дастъ!

— А кто твой тятька? спросилъ Гришка, озираясь на стороны.

— А дядя Кондратій, чай,—вотъ кто!

— Эвона! вѣдь мы его знаемъ!

— Да вы отколь? бойко спросила дѣвочка.

— А мы съ рѣчки: мы рыбаки!

— Ужъ и рыбаки! возразила дѣвочка, сомнительно посматривая на мальчиковъ.

— Не вѣришь?

— Нѣтъ, вы мальчишки: рыбаки-то, я чай, съ бородами.

— А рази у всѣхъ бороды-то?

— У всѣхъ, лаконически отвѣчала дѣвочка, нагибаясь и принимаясь подбирать валежникъ.

— Ты говоришь, тятька твой близко, произнесъ Ванюша: — что-жъ его не слыхать?

— А онъ вотъ тамъ, за кустами.

Дѣйствительно, неподалеку послышался стукъ топора.

— Дуня! проговорилъ вслѣдъ затѣмъ протяжный, спокойный голосъ:—съ кѣмъ это ты тамъ калякаешь?

Дѣвочка подняла вѣтви, положила ихъ на плечо и, не взглянувъ даже на мальчиковъ, побѣжала въ ту сторону, откуда раздался голосъ.

Гришка и Ваня послѣдовали за нею, и вскорѣ всѣ трое очутились у опушки кустовъ, гдѣ начинался уже лугъ, сначала желтый, рѣдкій, перемѣшанный съ пескомъ, но постепенно зеленѣющій

и убѣгающій въ необозримую даль, задернутую переливающимися струями раскаленнаго воздуха.

Тутъ, подъ синеватою тѣнью раскидистыхъ ивъ, сидѣлъ старикъ лѣтъ шестидесяти. Его бѣлые какъ снѣгъ волосы, волною ниспадавшіе до плечъ, придавали ему видъ самый почтенный, патріархальный, чему не мало также способствовало выраженіе неизъяснимаго спокойствія, кротости и добродушія, разлитое во всѣхъ чертахъ его. Его обнаженный лобъ, виски и щеки усѣяны были тѣми мелкими, тоненькими морщинками, которыя даются только тихою, спокойною жизнію. Жизнь старика отражалась, впрочемъ, еще яснѣе въ свѣтло-голубыхъ глазахъ его, смотрѣвшихъ съ какою-то дѣтскою простотою. Это былъ дѣдушка Кондратій, озерскій рыбакъ и отецъ Дуни. Подлѣ него лежала, съ одной стороны, начатая верша, съ другой—ворохъ красноватыхъ прутьевъ лозняка.

— Э-э! такъ вотъ это ты съ кѣмъ калякала! то-то, слышу я: та, та, та... Отколь вы, молодцы? какъ сюда попали? сказалъ старикъ, потряхивая волосами и съ улыбкою поглядывая на мальчиковъ.

Мальчики, перебивая другъ дружку, разсказали повѣсть первыхъ своихъ неудачъ на мореходномъ поприщѣ;—оба просили дѣдушку перевезти ихъ на ту сторону.

— Перевезти-то я васъ перевезу, а только въ другой разъ, смотрите, ребятенки, одни такъ-то по рѣкѣ не пускайтесь. Скажи на милость, баловники какіе!... а? Одни безъ спроса по рѣкѣ ѣздятъ! Ну, долго ли до грѣха? Гдѣ вамъ еще управиться!.. Слава те Господи, въ омутъ не попали! что бы сказалъ тогда Глѣбъ-то Савинычъ? Ну, ступайте на озеро за весломъ... что съ вами станешь дѣлать!.. Дуня, подь-ка, матушка, съ ними, укажи дорогу,—а сама назадъ не приходи. Я только вотъ перевезу ихъ, да и домой... Ну, ребятушки, въ-бѣжки! Кто попрытчѣе изъ васъ! Нутка-сь, нутка-сь, я погляжу...

Проводивъ ихъ глазами, старикъ снова усѣлся за свои вершы.

Спустя немалое время, Гришка и Ваня возвратились, таща на плечахъ весло и багоръ. Солнце высоко еще стояло въ небѣ, когда оба очутились на берегу. Все сошло благополучно. Глѣбъ Савинычъ ничего не примѣтилъ. Но переправы черезъ Оку и встрѣчи съ дочкой Кондратія не замедлили вскорѣ возобновиться. Это произошло вотъ по какому случаю: разъ какъ-то, въ разговорѣ съ Глѣбомъ, дѣдушка Кондратій вызвался выучить грамотѣ Гришку и

Ваню. Глѣбъ долго смѣялся надъ такимъ предложеніемъ: онъ вообще терпѣть не могъ всего того, что мало-мальски отклоняетъ работника отъ прямого пути и назначенія. О грамотѣ онъ и слышать не хотѣлъ, называлъ ее самымъ пустяшнымъ и негоднымъ дѣломъ.

— Наша доля неводъ таскать, а не въ книжки читать! говорилъ онъ.—Видалъ я много этихъ книжниковъ-то, что разумны больно... Вотъ, примѣромъ сказать, зналъ я одного: такъ же, какъ мы съ тобою, рыбакъ былъ, — Ковычкой звали. Всѣ книжки, какія только исписаны, вытвердилъ,—а толку никакого: пустой былъ самый человѣкъ! Сначатія-то, до книгъ, все еще, куда ни шло, работалъ; ну, а какъ далась ему эта грамота, добре сталъ хмѣльнымъ дѣломъ зашибаться... Это первое; а хуже всего то, что зачитался: умъ за разумъ зашелъ — вотъ что!.. Нашему брату это не годится. Бывало, заговоришь съ нимъ — и пошелъ писать языкомъ. Иной разъ такое тебѣ сбрендитъ, и въ толкъ не возьмешь. Самый пустой былъ человѣкъ! А все отчего? все отъ эвтихъ книгъ, право такъ!

Дѣдушка Кондратій не возражалъ: онъ мерекалъ иначе объ этомъ дѣлѣ. Сверхъ того онъ зналъ, что настаивать въ этомъ дѣлѣ значитъ только заставить Глѣба еще пуще крѣпиться и упираться. Основываясь на этомъ, онъ не пропускалъ случая исподоволь заманивать къ себѣ ребятишекъ. Гринка и Ваня очень охотно слѣдовали за старикомъ. Дни, проводимые ими на озерѣ, удаляли ихъ отъ дома — обстоятельство, имѣющее всегда много привлекательнаго для дѣтскаго возраста. Глѣбъ тотчасъ же смекнулъ, зачѣмъ Кондратій уводилъ мальчиковъ; но такъ какъ сосѣдъ не перечилъ ему въ его мнѣніяхъ касательно грамоты, онъ смотрѣлъ на эти продѣлки сквозь пальцы. Онъ ограничивался тѣмъ только, что подтруниваль надъ ребятишками, называя ихъ „дьячками“ и „грамотниками“ — прозвище, котораго они далеко, впрочемъ, не заслуживали. Грамота шла изъ рукъ вонъ плохо. Дѣдушка Кондратій, въ простотѣ своего сердца, разсчитывалъ на усердіе учениковъ: самъ онъ не могъ удѣлить имъ много времени. Жена его умерла вскорѣ послѣ родовъ дочки. Онъ да наемный работникъ должны были управляться и по ремеслу и по хозяйству. Доброта его также немало располагала ребятъ къ лѣни и ничего-недѣланью. Знали хорошо, что дѣдушка только вотъ побранитъ развѣ, и въ усъ себѣ не дули. Большую часть дня играли они съ Дуней или

рыскали по берегамъ озера. Въ три года оба едва-едва разбирали склады.

Къ концу этого срока, Ваня началъ, однакожъ, чаще сидѣть въ домѣ дѣдушки Кондратія; внимательнѣе слѣдилъ онъ за дрожащимъ, сморщеннымъ пальцемъ старика, когда тотъ водилъ по ветхимъ страничкамъ букваря. Гришка между тѣмъ продолжалъ повѣсничать. Онъ готовъ былъ десятки разъ взлѣсть на макушку самаго высокаго дуба, чѣмъ посидѣть минутку за букваремъ дѣдушки Кондратія. Сидячая жизнь не отвѣчала его живому, буйнонеукротимому нраву. Въ то время, какъ Ваня и Дуня проводили вечера неразлучно съ дѣдушкой, Гришка пропадалъ на лѣсистыхъ берегахъ озера, снималъ галочьи гнѣзда, карабкался на крутыхъ обрывахъ сосѣднихъ озеръ и часы цѣлые проводилъ, повиснувъ надъ водою, чтобы только наловить стрижей (маленькія птички въ родѣ ласточекъ, живущія въ норкахъ, которыми усѣяны глинистые, крутые берега рѣкъ и озеръ). Вѣдь, кажется, легче было бы ему сидѣть со старикомъ, чѣмъ висѣть надъ обрывомъ, и цѣлые часы, не переводя духу, караулить какого-нибудь стрижа; однакожъ онъ, предпочиталъ послѣднее. По тринадцатому году онъ управлялъ весломъ не хуже Василія, переплывалъ Оку взадъ и впередъ безъ одышки, ныряль какъ рыба. Любимымъ занятіемъ его было— преслѣдовать караваны барокъ, которыя показывались на рѣкѣ, и перебраниваться съ лоцманами и бурлаками. Стоя на палубѣ вертляваго челночка и управляясь однимъ весломъ, онъ какъ вьюнъ вилялъ между узенькими промежутками быстро несущихся расшивъ, всѣхъ удивляя своею смѣлостью и удалью. Мало-по-малу Глѣбъ началъ пріучать Гришку и Ваню къ ремеслу. Тутъ удаль пріемыша нѣсколько поугомонилась; онъ былъ, однакожъ, ловокъ и смѣтливъ, и скоро понялъ дѣло. Впрочемъ, и Ваня не отставалъ отъ него. Вся разница заключалась въ томъ лишь, что сынъ рыбака дѣлалъ дѣло безъ крику и погрому, не обнаруживая ни удали, ни залихвачества; но, тѣмъ не менѣе, дѣло все-таки кипѣло въ его рукахъ и выходило прочно. Въ воскресные и праздничные дни они отправлялись обыкновенно на озеро. Чуть только забрезжетъ заря, они ужъ тамъ. Дочка Кондратія была единственнымъ товарищемъ, по лѣтамъ, обоихъ парнишекъ. Дѣдушку Кондратія небольно радовали такія посѣщенія: все, бывало, верхъ-тормашкой поставятъ въ его лачугѣ, не оставятъ даже въ покоѣ самаго озера, гладкую поверхность котораго съ утра до вечера рѣжутъ челнокомъ по всѣмъ

направленіямъ. Хуже всего то, что въ этихъ играхъ, посреди которыхъ слышался всегда громче другихъ голосъ Гришки, не обходилось безъ побоищъ. Нерѣдко даже старикъ заставалъ свою Дуньку со слезами на глазахъ и всклоченными волосами; но Дуня никогда не жаловалась на Гришку; напротивъ того, несмотря на всегдашнее заступничество Вани, она присоединялась къ пріемышу, и оба подтрунивали надъ сыномъ Глѣба; нерѣдко даже соединенными силами нападали они на него. Такое предпочтеніе пріемышу продолжалось, однакожъ, до извѣстнаго времени: съ возрастомъ, чувства дѣвочки раздѣлялись, казалось, поровну между товарищами дѣтства; привязанность ея къ обоимъ была, повидимому, одинакова. Быстро мелькаютъ золотые дни безпечнаго, веселаго дѣтства! Ваня и пріемышъ незамѣтно почти превратились въ юношей. Оба они смѣнили уже Василія. Глѣбъ Савинычъ женилъ его и отпустилъ за братомъ Петромъ въ рыбацкія слободы—благо сходно было ему имѣть теперь подъ рукою двухъ молодцовъ-работниковъ. Не нарадуется, бывало, Глѣбъ Савинычъ, глядя на Гришку.

„Чтой-то за парень! рослый, плечистый, на всѣ руки и во всякое дѣло парень! Маленечко вотъ только бычкомъ смотритъ, маленечко воровать, озорливъ,—ну да не безъ этого! и въ хорошемъ хлѣбѣ мякина есть. И то сказать, я вѣдь потачки не дамъ: онъ воровать, да и я узловать! какъ разъ попотчую изъ двухъ полѣнцевъ яичницей; а парень ловкій, нече сказать, на всѣ руки парень!“—Немало также, если еще не болѣе, радовался старый рыбакъ, глядя на Ваню, не взирая даже на то, что часто трунилъ надъ нимъ, называя его „дьячкомъ“ и „грамотникомъ“.

Ваня не былъ такъ плечистъ, можетъ-статься, даже не былъ такъ расторопенъ и боекъ, какъ Гришка, но ужь во всякомъ случаѣ не уступалъ ему ни по лицу, ни въ работѣ. Славный былъ также рыбакъ! Его свѣтлые, умные, хотя нѣсколько задумчивые глаза, смотрѣли прямо и откровенно; румянецъ игралъ во всѣ его полныя щеки, слегка подернутыя первымъ пушкомъ юности; его бѣлое, чистое и круглое лицо, окруженное свѣтлорусыми кудрями, отражало простоту души, прямизну нрава и какое-то достоинство. Словомъ, онъ представлялъ тотъ благородный, откровенный, чистый типъ славянскаго племени, который такъ часто встрѣчается въ нашемъ простонародьѣ, но который, къ сожалѣнію, рѣдко достигаетъ полнаго своего развитія.

Да, было чѣмъ порадоваться на старости лѣтъ Глѣбу Савинову!

Одного вотъ только не могъ онъ взять въ толкъ: зачѣмъ бы обоимъ ребятамъ такъ часто таскаться къ сосѣду Кондратію на озеро? Да мало ли что! не все раскусятъ старые зубы, не все смекаетъ старая стариковская опытность. Впрочемъ, Глѣбъ, по обыкновенію своему, такъ только прикидывался. Съ чего же всякій разъ, какъ только Гришка и Ваня возвращаются съ озера, щуритъ онъ глаза свои, подсмѣивается втихомолку и потряхиваетъ головою?..

IX.

Озеро.

Семейство рыбака Глѣба, отъ мала до велика, находилось въ ужаснѣйшихъ хлопотахъ. Дворъ заваленъ былъ ворохами соломы; навѣсъ, примыкавшій къ правой сторонѣ переднихъ воротъ, лежалъ раскинутый по всей площадкѣ. На его мѣстѣ воздвигался новенькій, только-что поставленный сосновый срубъ; золотистыя бревна его, покрытыя каплями смолы и освѣщенныя солнцемъ, весело глядѣли на всѣ стороны и какъ бы подсмѣивались надъ черными, закоптѣлыми стѣнами стараго жилища, печально лѣпившагося по лѣвой сторонѣ воротъ. Глѣбъ давно замышлялъ поставить новую избу; цѣлыя пять лѣтъ лелѣялъ онъ эту мысль, но все крѣпился почему-то и не рѣшался привести ее въ исполненіе.

— Батюшка, часто говорила ему жена:—полно тебѣ умомъ-то раскидывать! самъ погляди: крыша на бокъ скосилась совсѣмъ, потолокъ плохъ сталъ—долго ли до грѣха! того и смотри, загремитъ, всѣхъ подавитъ. Полно тебѣ, поставь ты новую избу.

— Ничего: долго еще простоитъ, отвѣчалъ обыкновенно мужъ, съ видомъ величайшаго равнодушія.

Со всѣмъ тѣмъ Глѣбъ не пропускалъ ни одного изъ тѣхъ плотовъ, которые прогоняютъ по Окѣ костромскіе мужики, чтобы не разспросить о цѣнѣ лѣса; то же самое было въ отношеніи къ егорьевскимъ плотникамъ, которые толпами проходили иногда по берегу, направляясь изъ Коломны въ Тулу. Онъ заботливо разспрашивалъ ихъ, сколько возьмутъ они срубить новую избу, прикидывался къ цѣнѣ моха, уговаривался, повидимому, окончательно,—

шелъ уже за задаткомъ, но вдругъ останавливался, снова начиналъ торговаться и снова откладывалъ свое намѣреніе. Такъ продолжалось нѣсколько лѣтъ. Наконецъ, Богъ знаетъ что сталось съ Глѣбомъ Савиновымъ: стихъ такой нашелъ на него или другое что, но въ одно утро, не сказавъ никому слова, купилъ вдругъ плотъ, нанялъ плотниковъ и въ три дня поставилъ новую избу. Плотники были уже отпущены; оставалось покрыть только кровлю и вставить рамы. Семейство рыбака дѣятельно хлопотало вокругъ новаго зданія.

Гришка-пріемышъ сидѣлъ верхомъ на „князькѣ“, или макушкѣ кровли, съ граблями въ рукахъ. Связки соломы доставлялись ему помощью длиннаго рычага, прикрѣпленнаго, на подобіе колодезныхъ журавлей, къ вилообразной верхушкѣ высокаго столба, возвышавшагося посреди двора. Къ одному концу рычага привязана была тяжесть, для облегченія подъема; на другомъ концѣ, куда привязывалась солома, болталась длинная веревка, которою управлялъ Глѣбъ. Неподалеку, обѣ снохи (жена Петра и жена Василія) стояли, съ засученными по локоть рукавами, подлѣ бочки съ водою, и смачивали солому, назначенную для покрышки. На одномъ изъ подоконниковъ новаго зданія, сидѣлъ Ваня: свѣсивъ ноги во внутренность избы, перегнувшись всѣмъ корпусомъ на дворъ, онъ тесалъ притолки и пригонялъ рамы. Противъ него, на взбудораженномъ ометѣ соломы, возились дѣти Петра: старшему было уже девять лѣтъ, младшему—тому самому, который показывалъ когда-то кулачонки изъ люльки — только-что минуло семь. Они поминутно обращались къ дядѣ Ивану и, каждый разъ, какъ топоръ, приподнявшись, сверкалъ на солнцѣ, оба скорчивали испуганныя лица, бросались со всего маху въ солому, кувыркались и наполняли дворъ визгомъ и хохотомъ, которому вторили веселые возгласы Глѣба, понукавшаго къ дѣятельности то того, то другого, пѣсни Гришки на верхушкѣ кровли, плесканье двухъ снохъ и стукъ Иванова топора, изъ-подъ котораго летѣли щепы. Между всѣми этими шутливыми, веселыми группами ходила взадъ и впередъ тетушка Анна: она не принимала, повидимому, никакого участія въ стройкѣ. Совсѣмъ тѣмъ лицо ея выражало болѣе суеты и озабоченности, чѣмъ когда-нибудь; она перебѣгала отъ крылечка въ клѣтушку, отъ клѣтушки къ заднимъ воротамъ, отъ заднихъ воротъ снова къ крылечку, и во все время этихъ путешествій присутствовавшіе могли только видѣть однѣ ноги тетушки Анны: верхняя-же часть ея ту-

ловища исчезала совершенно за горшками, лагунчиками, скрывалась за рѣшетомъ, корчагою или корытомъ, которые каждый разъ подымались горою на груди ея, придерживаемые въ обхватъ руками. Захвативъ иной разъ второпяхъ черезчуръ обременительную ношу, пыхтя и перегибаясь назадъ подъ тяжестію огромной корчаги, которая заслоняла ей глаза, она вдругъ останавливалась, почувствовавъ подъ ногами какое-нибудь препятствіе.

— Батюшки, уроню, подсобите! вскрикивала старушка, поворачивая испуганное лицо къ присутствующимъ.

Тутъ всѣ бросали свою работу и бѣжали спасать старушку, которая, не чувствуя уже никакихъ преградъ подъ ногами, торжественно продолжала свое шествіе. Взглянувъ на усердіе и бережливость, съ какими таскала она и ставила горшки свои, можно было подумать, что судьба новаго жилища единственно зависѣла отъ сохранности этихъ предметовъ.

Время подходило къ вечеру. Тѣнь, бросаемая старой избою и сосѣднимъ навѣсомъ, затопила уже дворъ и досягала до новой кровли, оставляя только яркую полосу свѣта на князькѣ, гдѣ помѣщался пріемышъ, когда Глѣбъ приказалъ снохамъ прекратить работу.

— Ну, бабы, шабашъ! произнесъ онъ, съ самодовольствіемъ осматривая избу. — Соломы нонѣ больше не потребуется. Завтра начнемъ покрывать другую половину кровли. До того времени Гришка выложитъ ее хворостомъ... эй, Гришка!

— Ге... е!.. отозвался пріемышъ на макушкѣ.

— Перелѣзай на ту сторону. Время немного осталось; день на исходѣ... Завтра чѣмъ-свѣтъ станешь крыть соломой... Смотри, не замѣшкай съ хворостомъ-то! крѣпче его привязывай къ переводинамъ... не жалѣй мочалы; завтра къ вечеру, авось, дастъ Богъ, порѣшимъ... Ну, полѣзай... да не тормози руки!.. А я тѣмъ временемъ схожу въ Сосновку, къ печнику понавѣдаюсь... Кто его знаетъ: времени, говоритъ, мало!.. Пойду: авось теперь ослобонился, заключилъ онъ, направляясь въ сѣни.

Минуту спустя, онъ снова появился на дворѣ, но уже въ шапкѣ и съ палкою въ рукѣ.

— Эй, Ванюшка!

— Я, батюшка, отозвался Ваня, соскакивая съ подоконника и подходя къ отцу.

— Вотъ что... я было совсѣмъ занамятовалъ... я чай, на

ставни-то потребуется одногесу: въ городѣ тогда не купили, такъ ты сходи безъ меня на озеро къ Кондратію и одолжись у него. Онъ сказывалъ, есть у него-гвозди-то.

— Сейчасъ, батюшка, торопливо отвѣчалъ сынъ: —сейчасъ иду.

— Куды заторможился? Эвона! рази я говорю: теперь ступай! успѣешь еще десять разъ сбѣгать: время терпитъ. Напередъ всего покончи дѣло съ рамами и притолоками; тогда и ступай... немного далече, къ ночи домой поспѣешь...

— Гей, батюшка! крикнулъ Гришка, показывая надъ князькомъ свою черную голову, освѣщенную яркими лучами солнца.

— Чего тамъ?

— Давай я схожу.

— Куда?

— Да на озеро. Моя работа не задержитъ,—и то почитай ужъ готово...

— Знай свое дѣло дѣлай, объ моемъ не сумлѣвайся. Знаютъ про то большіе, у кого бороды пошире, что кому дѣлать: кому сказано, тотъ и пойдетъ! ступай-ка, ступай...

Голова Гришки скрылась за князькомъ.

Съ нѣкоторыхъ поръ, не мѣшаетъ замѣтить, Глѣбъ наблюдалъ, чтобы Гришка какъ можно рѣже бывалъ на озерѣ; взамѣнъ этого, онъ наровилъ посылать туда какъ можно чаще своего собственнаго сына. Все это, конечно, дѣлалось не безъ особенной цѣли. Онъ задумалъ женить Ваню на дочери сосѣда. Зная озорливость пріемыша и опасаясь не безъ основанія какого-нибудь грѣха съ его стороны въ томъ случаѣ, если дать ему волю, старый рыбакъ всячески старался отбить у него охоту таскаться на озеро; это было тѣмъ основательнѣе, что времени оставалось много еще до предположенной свадьбы. Глѣбъ, израсходовавшись на новую избу, отложилъ свадьбу Вани до предбудущаго лѣта.

— Смотри же, Ванюша, не запамятуй, спроси одногесу... слышь?.. Какъ кончишь притолки, такъ и ступай! повторилъ Глѣбъ, обращаясь къ сыну, который, послѣ перваго наказа отца такъ дѣятельно принялся за работу, что только щепки летѣли вокругъ.—Ну, а вы-то что-жъ, касатушки? разнѣжились, бѣлоручки! продолжалъ рыбакъ, поворачиваясь къ снохамъ, стоявшимъ безъ дѣла: — раненько отдыхать вздумали. Съ соломой покончили, принимайся за другое дѣло. Вамъ сказывай все! самимъ не въ догадку... э-хе! да вотъ хоть бы старухѣ-то подсобили; вишь, съ ногъ смота-

лась совсѣмъ... вишь, вишь... эхъ ты, сердечная! заключилъ онъ, подсмѣиваясь и направляясь къ воротамъ.

— Дѣдушка, и мы съ тобой! закричали, въ одинъ голосъ, дѣти Петра, кубаремъ скатываясь съ онёта.

— Куда, шуть васъ возьми совсѣмъ! куда! изнаетесь: вѣдь я въ Сосновку... ступай домой!

— Нѣтъ, дѣдушка, пусти насъ; мы вотъ толечко до ручья тебя проводимъ.

— Ну, до ручья можно; пойдемъ!.. Вишь, пострѣлы какіе, а? скажи на милость, провожать просятся... Ну, ну, ступай, ступай.

И, сопровождаемый ребятишками, старый рыбакъ исчезъ за воротами.

— Слава тебѣ, Господи! замучилъ совсѣмъ! пробормотала жена Петра, бросаясь со всѣхъ ногъ на солому.

— И то... ухъ, батюшки!.. ногъ подъ собой не слышу, сказала жена Василія, слѣдуя ея примѣру.

— Ну, что вы развалились въ самомъ-то дѣлѣ-то?.. экія безстыжія, право!.. право, безстыжія!.. чего разлеглись? проговорила тетушка Анна, неожиданно появляясь передъ снохами съ лукошкомъ на головѣ, съ горшками подъ мышкой:—совѣсти въ васъ нѣтъ... хоть бы людей посранились... Одна я за все и про все... Ухъ, моченьки нѣтъ!.. Ухъ, Господи!

Снохи лѣниво приподнялись и начали лѣниво подсоблять ей. Но такъ какъ старушка не давала имъ никакого дѣла и сверхъ того подымала ужаснѣйшій крикъ каждый разъ, какъ снохи прикасались только къ какому нибудь черепку, то онѣ заблагоразсудили снова отправиться на солому.

Ваня между тѣмъ продолжалъ такъ же усердно трудиться. Онъ, казалось, весь отдался своей работѣ и, не подымая головы, рубилъ справа и слѣва; изрѣдка лишь останавливался онъ и какъ бы прислушивался къ тому, что дѣлалось на другой сторонѣ кровли. Но Гришка работалъ такъ тихо, что его вовсе не было слышно.

— Гриша! произнесъ наконецъ Ваня, заколачивая послѣднюю раму.

— Отвѣта не было.

Ваня посадилъ остріе топора въ бревно и проворно обошелъ избу.

Гришка нигдѣ не отыскивался.

Румянецъ живо заигралъ тогда на щекахъ парня, и лицо его,

за минуту веселое, отразило душевную тревогу. Онъ торопливо вернулся въ избу, одѣлся и, не сказавъ слова домашнимъ, поспѣшно направился къ рѣкѣ, за которой немолчно раздавались пѣсни и крики косарей, покрывавшихъ луга. Время подходило къ Петровкамъ, и покосъ былъ въ полномъ разгарѣ.

Достигнувъ того мѣста на концѣ площадки, куда обыкновенно причаливались лодки, Ваня увидѣлъ, что челнока не было. Никто не могъ завладѣть имъ, кромѣ Гришки. Глѣбъ пошелъ въ Сосновку, лежавшую, какъ извѣстно, на этой сторонѣ рѣки. На берегу находилась одна только большая четырехвесельная лодка, которою не могъ управлять одинъ человѣкъ. Ваня недолго раздумывалъ. Снять съ себя одежду, привязать ее на голову поясомъ—было дѣломъ секунды; онъ перекрестился и бросился въ воду.

Вечеръ былъ уже на исходѣ. Уже нагорный берегъ дѣлился темно-синею стѣною на чистомъ, ясномъ небѣ: темный, постепенно понижающійся хребетъ берега перерѣзывался еще кой-гдѣ въ отдаленіи свѣтло-лиловыми, золотистыми промежутками; то виднѣлись бока долинъ, затопленныхъ косыми лучами солнца, скрывавшагося за горою. Далѣе все завѣшивалось сквознымъ, розово-перламутровымъ паромъ. Холодная зубчатая тѣнь, бросаемая берегомъ, быстро бѣжала впередъ, захватывая луга и озера, и только рѣка одна, отражавшая круглыя румяныя облака, величественно еще сверкала въ темно-зеленыхъ берегахъ своихъ. Ваня не былъ лихимъ пловцомъ; но на этотъ разъ особенною какою-то силой дышали его мышцы: онъ не замедлилъ очутиться на другомъ берегу Оки. Тутъ только убѣдился онъ окончательно, что предчувствія не обманули его; первый предметъ, бросившійся ему въ глаза, былъ челнокъ, который, очевидно, старались припрятать въ кустахъ, но который, вытягивая мало по малу веревку, высвободился изъ засады и свободно покачивался на поверхности воды. Ваня миновалъ кусты, поспѣшно выбрался на опушку и пошелъ отхватывать лугами. Сумерки между тѣмъ успѣли уже окутать весь луговой берегъ. Совсѣмъ тѣмъ, здѣсь все еще кипѣло жизнью. Крику и шуму было даже болѣе, чѣмъ въ продолженіи дня. Всѣ спѣшили на отдыхъ: трудовой день кончился. Восклицанія, пѣсни неслись со всѣхъ концовъ необъятнаго лугового простора. Влажный вечерній воздухъ, проникнутый запахомъ сѣна, былъ недвиженъ; слабѣйшій звукъ не пропалъ для слуха. Несвязный говоръ, пѣсни, иногда какой-нибудь отрывчатый отдѣльный возгласъ, скрипъ телѣгъ, ржаніе жеребенка, раз-

дававшееся Богъ вѣсть гдѣ,—все это сливалось въ одинъ общій гулъ, разливавшійся мягкими волнами по окрестности. Всюду, между рядами остроконечныхъ стоговъ сѣна, верхушки которыхъ становились уже мало по малу темнѣе неба, мелькали бѣлыя рубахи косарей: бабы и ребятишки тянулись длинными кривливыми веренцами по всѣмъ направленіямъ; возы и лошади попадались на каждомъ шагу; кое-гдѣ артель работниковъ, развалившись на росистой травѣ вокругъ дымящагося котелка, собиралась ужинать; кое гдѣ только-что зажигались еще костры.

Ваня ходко шелъ впередъ, ни на что не обращая вниманія. Нерѣдко приводилось ему встрѣчаться съ толпами бабъ и мужиковъ; но онъ наровилъ всякій разъ обходить ихъ. „Куда идешь, молодецъ?“ раздавалось иногда изъ толпы бабъ. „За дѣломъ!“ коротко отвѣчалъ парень и, не замѣчая даже плутовскихъ взглядовъ, бросаемыхъ на него какою-нибудь краснощекой, игривой бабенкой, продолжалъ путь. Сквозь густѣющія сумерки онъ ясно различалъ верхушки ветелъ, орѣшника и ольхи, которыя выступали изъ-за крутого, но покуда еще скрытаго берега озера. По мѣрѣ приближенія къ цѣли, шагъ его ускорялся, грудь волновалась сильнѣе. Вскорѣ очутился онъ на краю берега, кругомъ какъ бахрамою покрытаго листвой. Невозмутимая тишина, прерываемая отдаленными пѣснями и говоромъ народа, который уходилъ все дальше и дальше къ Окѣ и располагался ужинать, царствовала на озерѣ. Неподвижно стояла его гладкая, какъ зеркало поверхность, отражавшая звѣздное небо и темныя купы деревъ, обступавшихъ его окраину. Изрѣдка развѣ проносился какъ словно пѣсный, какой-то замирающій звукъ... Ваня прислушивался: то плескалась рыба или протрещалъ чибезъ, спѣшившій въ гнѣздо свое... Наконецъ сквозь вѣтки открылась лачужка дѣдушки Кондратія; но въ ней, какъ и на озерѣ, не было замѣтно признака жизни. Что бы это значило? Дѣдушка Кондратій не ложился такъ рано... Ваня направился къ жилищу рыбака. Дверь была отворена. Бережно ступая по мокрой травѣ, онъ вошелъ въ лачужку: тамъ никого не было. „Что-жъ бы это значило, въ самомъ дѣлѣ? куда-жъ дѣвались хозяева?... Ужъ не пошелъ ли дѣдушка Кондратій къ косарямъ вмѣстѣ съ дочкой?.. Нѣтъ, ему не зачѣмъ было идти къ косарямъ!.. Куда-жъ дѣвался наконецъ Гришка?..“ Задавая себѣ такіе вопросы, Ваня обошелъ нѣсколько разъ лачужку. Нигдѣ ни души. Онъ остановился и приложилъ уже ладони къ губамъ, чтобы крикнуть: авось не отзовется ли кто на

его голосъ; но въ эту минуту послышался ему неподалеку чей-то затаенный говоръ... Бережно ступая по травѣ, отъ тотчасъ же прокрался въ ту сторону. Дыханіе сперлось въ груди молодого парня, когда узналъ онъ голоса Гришки и Дуни. Но сердце его забилось еще сильнѣе, когда, достигнувъ знакомой ему прогалины между кустами, увидѣлъ онъ ихъ сидящихъ рядышкомъ на краю берега; темныя головы молодыхъ людей четко обозначались на свѣтлой поверхности озера, которое стлалось подъ ихъ ногами.

Осадивъ шагъ назадъ и стиснувъ зубы, которые щелкали какъ въ лихорадкѣ, Ваня притаился за кустъ и сталъ вслушиваться.

— Шт! молчи, Гриша: словно кто-то идетъ, произнесла Дуня, пугливо озираясь на стороны.

— Вотъ! кому теперь идти! Батька твой, чай, еще и до Комарева не доплелся; косари сѣли ужинать... Вотъ развѣ Ванька; да нѣтъ! небось: не придетъ! Челнокъ со мною на этой сторонѣ; плавать онъ не гораздъ; походитъ-походитъ по берегу, да съ тѣмъ и уйдетъ!..

— Охъ, боюсь я, Гриша, смерть боюсь...

— Чего?

— Ну, а какъ онъ догадается, что ты здѣсь... такъ вида сердце все задрожитъ...

— А лѣнтій его возьми, пускай его догадывается! намъ не впервые мѣряться кулаками...

— А какъ онъ да отцу скажетъ?

— А пускай его сказываетъ! я ничто боюсь. Ѣздилъ на косарей поглядѣть, да и вся недолга.

— А все какъ словно страшно... Да нѣтъ, нѣтъ, Ваня не такой парень! Онъ хоть и провѣдаетъ, а все не скажетъ... Ахъ какъ стыдно! я и сама не знаю: какъ только повстрѣчаюсь съ нимъ, такъ даже вся душа заноетъ... такъ бы, кажется, и убѣжала!.. Должно быть, взаправду я обозналась: никого нѣту, проговорила Дуня, быстро оглядываясь.—Ну, Гриша, такъ что-жъ ты началъ разсказывать? заключила она, снова усаживаясь подлѣ парня.

— А вотъ что: примѣчаю я, старый за мной приглядываетъ.

— Съ чего же?

— А кто его знаетъ съ чего! должно быть...

— Перестань, Гриша... за что ты его не любишь? грѣшно тебѣ...

— Эвона! что онъ сродни мнѣ, что ли?

— А все грѣшно такъ-то говорить тебѣ! за что? они тебѣ были отцами, возростили, ходили, словно за роднымъ...

— Ну да, видно, за роднымъ... Я не о томъ рѣчь повелъ: недаромъ, говорю, онъ такъ то приглядываетъ за мной, — какъ только пошелъ куда, такъ во всѣ глаза на меня и смотритъ, не иду ли къ вамъ на озеро. Когда надобность до дѣдушки Кондратія, посылаетъ каждиной разъ Ванюшку... Сдается мнѣ, дѣлаетъ онъ это не спроста. Думается мнѣ: не на тебя ли старый позарился... знамо, не за себя хлопочетъ...

— Нѣтъ, Гриша, не пойду я...

— Вашего брата не спрашиваютъ: велятъ—пойдешь...

— Нѣтъ, не пойду, не пойду за Ваню! какъ передъ Господомъ Богомъ, не будетъ этого.

— Силой выдадутъ! Ужъ коли старый забралъ что въ голову, вой-не-вой, а будетъ, какъ ему захочется... Я давно говорю тебѣ: полно спѣсивиться, этимъ ничего не возьмешь... Ты мнѣ одно только скажи, нетерпѣливо произнесъ Гришка:—одно скажи: любъ я тебѣ, или нѣтъ?.. Коли нѣтъ...

— Любъ, Гриша, любъ! о! пуще отца родного! съ жаромъ воскликнула Дуня.

Тутъ колѣни Вани такъ сильно задрожали, что онъ едва удержался на ногахъ. Бѣдный парнюха хотѣлъ оправиться, сдѣлалъ какое-то крайне-неловкое движеніе, ухватился второпяхъ за сукъ, сукъ треснулъ, и Ваня всею своею тяжестію навалился на кустъ. Въ ту же секунду, поблизости, послышалось паденіе чего-то тяжелаго въ воду, и вслѣдъ за тѣмъ кто-то вскрикнулъ.

Ваня быстро вскочилъ на ноги, бросился впередъ и лицомъ къ лицу столкнулся съ Дуней.

— Не бойся: это я, сказалъ онъ совершенно взбудораженнымъ голосомъ, которому тщетно старался придать твердость.

— Ты, Ваня?.. Ахъ, какъ я испужалась! проговорила Дуня съ замѣшательствомъ.—Я вотъ сидѣла тутъ на берегу... думала нивѣсть что... вскочила, такъ инда земля подъ ногами посыпалась... Ты, я чай, слышалъ, такъ и загремѣло? подхватила она скороговоркою, между тѣмъ какъ глаза ея съ безпокойствомъ перебѣгали отъ собесѣдника къ озеру.

— Такъ, стало... ты здѣсь одна была? нерѣшительно проговорилъ Ваня, украдкою взглядывая на озеро.

На гладкой поверхности его, слегка зазубренной серебристыми

очертаніями разбѣгающагося круга, виднѣлось черное пятно, которое быстро приближалось къ противоположному берегу.

— Да ты, видно, къ батюшкѣ, Ваня? Батюшка ушелъ въ Комарево, торопливо поспѣшила сообщить дѣвушка.

Въ эту самую минуту слабый трескъ дальнихъ кустовъ возвѣстилъ, что темное пятно, виднѣвшееся на поверхности воды, благополучно достигло берега.

— Что жъ ты здѣсь стоишь, Ваня? сказала вдругъ дѣвушка измѣнившимся и, повидимому, уже совсѣмъ спокойнымъ голосомъ: — пойдемъ въ избу: можетъ статься, надобность есть какая? можетъ статься, тебя отецъ прислалъ? Обожди: батюшка скоро вернется.

— Нѣтъ... я такъ... батюшкѣ... однотесу вишь понадобилось, пробормоталъ Ваня, мѣшаясь и прерываясь на каждомъ словѣ.

— Такъ ты обожди: батюшка скоро вернется... Пойдемъ; что стоять-то! вымолвила Дуня, направляясь къ лужайкѣ.

Ваня послѣдовалъ за нею, но, сдѣлавъ три шага, остановился.

— Что-жъ ты? спросила дѣвушка, поворачивая къ нему голову.

— Нѣтъ, я ужъ лучше завтра зайду, произнесъ парень, съ самымъ неловкимъ видомъ.

— Что-жъ такъ?

— Да такъ... завтра ужъ оно лучше... теперь пора домой... Прощай, Дуня!..

— Экой чудной какой! да куда ты? обожди!

— Нѣтъ, ужъ не приходится!.. Прощай!

— Прощай, Ваня... Заходи же завтра; я батюшкѣ скажу... Прощай!

Но Ваня ничего не слышалъ: онъ былъ уже далеко.

„Такъ вотъ они какъ! Вотъ что. А мнѣ и не въ домекъ было! Знамо, теперь все пропало, кануло въ воду... Что-жъ! я имъ не поѣха коли такъ... Господь съ ними!“ бормоталъ Ваня, дѣлая безотрадные жесты и на каждомъ шагу обтирая ладонью потъ, который катился съ него ручьями. Ночь между тѣмъ была росистая и сырая. Но онъ чувствовалъ какую-то нестерпимую духоту на сердцѣ и въ воздухѣ. Ему стало такъ жарко, что онъ принужденъ даже былъ распахнуть одежду.

Вскорѣ очутился онъ посреди луговъ.

Но на этотъ разъ никто уже не привѣтствовалъ молодого парня. Здѣсь все уже безмолвствовало. Темнымъ, неоглядно-далекимъ пологомъ разстилались луга. Торжественно-тихо раскидывалось

надъ нимъ синее ровное небо, усѣянное мерцающими звѣздами. Чуть-чуть видными пятнами мелькалъ развалившійся по травѣ народъ. Костры уже погасли. Гдѣ-гдѣ, подлѣ груды тлѣющихъ, покрытыхъ сѣдымъ пепломъ угольевъ, сидѣла баба и, покачивая люльку, задумчиво склонивъ голову надъ уснувшимъ младенцемъ, тихо напѣвала заунывную колыбельную пѣсню... Все безмолвствовало. Даже самые шаги молодого парня стали раздаваться слабѣе-слабѣе, и тѣ наконецъ смолкли. Ваня ступалъ уже по песку и приближался къ Окѣ. Онъ прямо пошелъ къ тому мѣсту, гдѣ находился челнокъ. Но челнока уже не было. При этомъ движеніе какого-то невольнаго отчаянія пробудилось вдругъ въ душѣ молодого парня; кровь хлынула къ его сердцу; какъ словно туманомъ какимъ окинулось все передъ глазами. Но это продолжалось недолго. Онъ поднялъ глаза и взглянулъ на ту сторону: черной, мрачной стѣною подымался нагорный берегъ; тамъ, далеко-далеко, въ одномъ только мѣстѣ привѣтливо мигалъ огонекъ... то, быть можетъ, старуха-мать поправляетъ лучину, выжидая запоздавшаго сына... Ваня провелъ рукою по лбу, какъ бы стараясь опомниться, торопливо прошепталъ молитву, перекрестился и бросился въ воду, не выпуская изъ глазъ огонька, который продолжалъ мигать ему, отражаясь дрожащею, золотистою ниткой на гладкой поверхности Оки, величаво сверкавшей посреди ночи.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

X.

Обманутое ожиданіе.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ послѣ происшествія на озерѣ,— происшествія, которое такъ сильно взволновало сердце младшаго сына рыбака, Глѣба Савинова.

Въ послѣднихъ числахъ апрѣля, послѣ обѣда, Глѣбъ, Ваня и пріемышъ работали неподалеку отъ новой избы, на верхнемъ концѣ площадки. Приближалось водополье. Старый рыбакъ и молодые помощники его приготовляли все нужное для начала рыбной ловли, которая считаетъ разливъ рѣки лучшимъ своимъ временемъ. Они снѣмили управиться съ саками, баграми, вершами и сѣтями: кое-гдѣ требовалось вплести новый вѣнецъ изъ ивняку, тамъ недоставало нѣсколькихъ петель, здѣсь слѣдовало подвязать новый поплавокъ, и проч., и проч. Зима хотя и длинна, а всего не усмотришь.

Принимая въ соображеніе шумъ и возгласы, раздававшіеся на дворѣ, можно было утвердительно сказать, что тетушка Анна и снохи ея также не оставались праздными. Тамъ шла своего рода работа. И гдѣ-жъ видано, въ самомъ дѣлѣ, чтобы добрыя хозяйки сидѣли сложа руки, когда до свѣтлаго праздника остается всего-на-все одна недѣля!

Нечего, разумѣется, говорить о тѣхъ заботахъ, которыя связываются съ крашеньемъ яицъ, печеніемъ куличей и приготовленіемъ пасхи: все это было покуда еще впереди. Но всякій согласится, я думаю, что мытье половъ, чистка избы, стирка и заготовленіе кой-какихъ обновъ (послѣднее производится обыкновенно втайнѣ, но возбуждаетъ тѣмъ не менѣе болѣе толковъ, чѣмъ первыя

хозяйственныя хлопоты) представляютъ также немаловажную статью. Несмотря, однакожъ, на всѣ эти многосложныя занятія, наши хозяйки, очевидно, больше кричали и шумѣли, чѣмъ дѣлали дѣло. Работа ихъ подвигалась изъ рукъ вонъ плохо. И тетушка Анна, и снохи ея поминутно выбѣгали за ворота. Примѣру ихъ даже слѣдовали дѣти Петра. Всѣ съ нетерпѣніемъ устремляли тогда глаза на посинѣвшую Оку и дальній луговой берегъ, уже совсѣмъ почти освободившійся отъ снѣгу.

Дѣло въ томъ, что съ минуты на минуту ждали возвращенія Петра и Василія, которые обѣщали придти на побывку за двѣ недѣли до Святой: оставалась между тѣмъ одна недѣля, а они все еще не являлись. Такое промедленіе было тѣмъ болѣе неумѣстно съ ихъ стороны, что путь черезъ Оку становился день ото дня опаснѣе. Уже поверхность ея затоплялась водою, частію выступавшею изъ-подъ льда, частію приносимою потоками, которые, съ ревомъ и грохотомъ, низвергались съ нагорнаго берега.

Былъ именно одинъ изъ тѣхъ сырыхъ, сумрачныхъ дней, которые ускоряютъ оттепель лучше самаго яркаго солнца. Густой туманъ покрывалъ землю. Теплый, влажный южный вѣтеръ — „мокрякъ“, какъ называютъ его рыбаки, — видимо, казалось, съѣдалъ остатки рыхлаго почернѣвшаго снѣга. Темно-синяя полоса, висѣвшая неподвижно уже нѣсколько сутокъ сряду, надъ горизонтомъ, предвѣщала, въ совокупности съ такими же вѣрными признаками, надолго установившееся тепло. Глѣбъ, въ совершенствѣ постигавшій значеніе самыхъ неуловимыхъ перемѣнъ воздуха, давно еще предсказалъ такую погоду. Старый рыбакъ никогда не ошибался: закатъ солнца, большая или меньшая яркость утренней зари, направленіе вѣтра, отблескъ воды, роса, поздній или ранній отлетъ журавлей, — все это осуществляло для него книгу, въ которой онъ читалъ такъ же бойко и съ разумнымъ толкомъ, какъ разумный грамотѣй читаетъ святцы. Рѣку, со всѣми ея годичными измѣненіями и причудами, зналъ онъ, какъ свои пять пальцевъ. Многія примѣты, основанныя на долгомъ опытѣ, говорили ему, что не сегодня, такъ завтра Ока взломаетъ ледъ и разольется дружною водою. Соображаясь съ этимъ, онъ за нѣсколько дней перетащилъ лодки на верхнюю часть площадки. Позднее вскрытіе рѣки не предвѣщало ничего худого для промысла. Глѣбъ былъ, слѣдовательно, доволенъ и спокоенъ: одного развѣ не доставало для полнаго довольства

Глѣба — не доставало сыновей, которыхъ такъ долго и такъ напрасно всѣ ждали.

— Шутъ ихъ знаетъ, чего они тамъ замѣшкали! говорилъ онъ обыкновенно въ отвѣтъ на скорбные возгласы бабъ, которыя, выбѣжавъ за ворота и не видя Петра и Василія, обнаруживали всякій разъ сильное безпокойство.—Вѣдь вотъ же, продолжалъ онъ, посматривая вдаль: — дня нѣтъ, чтобы съ той стороны не было народу... валомъ валитъ! Всякому лестно, какъ бы скорѣе домой поспѣть къ празднику. Нашихъ нѣтъ только... Шутъ ихъ знаетъ, чего они тамъ застряли!

— Богъ вѣдаетъ, что такое! Я ужь не знаю, что и подумать-то... о-охъ! говорила тетушка Анна съ глубокимъ вздохомъ.

Тутъ старуха дѣлала обыкновенно какой-то таинственный знакъ снохамъ, и всѣ три, робко, шагъ за шагомъ, подходили къ работающимъ. Тетушка Анна рада была, что мужъ ея по крайней мѣрѣ хоть разговариваетъ объ отсутствующихъ: авось услышитъ она отъ него какую разумную, толковую рѣчь, которая успокоитъ ея материнское, наболѣвшее сердце.

Подойдя къ мужу, она прикладывала ладонь къ правой щекѣ и, тоскливо покачивая головою, продолжала:

— Нѣтъ, не дождаться, знать, намъ нашихъ дѣтушекъ... Гдѣ-то они теперь? О-охъ, чуетъ мое сердце...

Дрожащій голосъ ея ясно показывалъ, что она готова была удариться о-земь и закричать голосомъ.

— Полно тебѣ, дура-голова! ну, чего ты, чего? Погодимъ еще: авось какой-нибудь разсудокъ да будетъ... Не махонькіе они: свой толкъ въ головѣ есть. Знамо, кто себѣ врагъ! на бѣду не полѣзутъ.

— Такъ-то такъ, батюшка, а все словно думается, не приключилось бы чего, возражала жена Петра.

— Ничаво! должно быть, рѣки задержали, неожиданно сказалъ Гришка.

— Вотъ Гришка недолго думалъ — рѣшилъ! произнесъ Глѣбъ, посмѣиваясь. — Слышь, за рѣками дѣло стало, а намъ и не вдомекъ! Эхъ ты, разумная голова! У Бога недолго, а у насъ тотчасъ!... Рѣки помѣшали! Ну, а народъ-то какъ же приходитъ? лодки, что ли, подъ мышкой несетъ? а? Эхъ ты! Кабы рѣки-то разошлись, они бы, я чай, давно себя показали: давно бы здѣсь были! подхватилъ онъ, указывая на Оку: — всѣмъ рѣкамъ одинъ путь — наша Ока. Давно бы тогда и мы по ней погуливали... Догадливый парень,

нечего сказать! Ну-ка-сь, ты, Василиса, что скажешь? добавилъ онъ, насмѣшливо взглядывая на жену Василія.

Но Василиса, обыкновенно говорливая, ничего на этотъ разъ не отвѣчала. Она была всего только одинъ годъ замужемъ. Въ качествѣ „молодой“, ей зазорно, совѣстно было, притомъ и не слѣдовало даже выставлять своего мнѣнія, по которому присутствующіе могли бы заключить о чувствахъ ея къ мужу. Весьма вѣроятно, она ничего не думала и не чувствовала, потому что, мѣсяцъ спустя послѣ замужества, разсталась съ сожителемъ и съ той поры въ глаза его не видѣла.

— Такъ какъ же, Гришка? а? рѣки помѣшали? продолжалъ разспрашивать развеселившійся Глѣбъ.

— Спроси у Ванюшки: онъ лучше моего скажетъ, отвѣчалъ пріемышъ, украдкою взглядывая на хозяйскаго сына, который, съ видомъ раздумья, чинилъ вершу и мало обращалъ, повидимому, вниманія на все происходившее вокругъ.

— Что-жъ ты молчишь, Ванюшка? говори: съ чего братья, шуть ихъ возьми, застряли? произнесъ Глѣбъ, находившій всегда большое удовольствіе раззадоривать другъ противъ дружки молодыхъ парней, чтобы потомъ вдосталь надъ ними потѣшиться.

— Почемъ мнѣ знать, батюшка! спокойно и какъ-то неохотно отвѣчалъ сынъ:—кабы я съ ними шелъ, такъ, можетъ-статься, сказалъ бы тебѣ; Господь ихъ вѣдаетъ, чего они нейдутъ...

Онъ взглянулъ на мать, которая слегка уже начинала всхлипывать, и поспѣшилъ прибавить:

— Должно быть, съ дѣлами не справились. Богъ дастъ, придутъ.

— Ну, этотъ, по крайности, хошь толкомъ сказалъ, — долго думалъ, да хорошо молвилъ! произнесъ отецъ, самодовольно поглаживая свою раскидистую бороду.—Ну, бабы, что-жъ вы стоите! заключилъ онъ, неожиданно поворачиваясь къ снохамъ и хозяйкѣ:—думаете, станете такъ-то ждать на берегу съ утра да до вечера, такъ они скорѣе отъ эвтаго придутъ...: Дѣловъ нѣтъ у васъ, что ли?

При этомъ тетка Анна и снохи ея бросали новый взглядъ на дальній берегъ и, подавивъ вздохъ, снова возвращались къ своимъ занятіямъ.

Веселость стараго рыбака, не подстрекаемая присутствіемъ бабъ и возгласами молодыхъ ребятъ, которые большею частію работали молча, мало-по-малу проходила и уступала мѣсто сосредоточенному раздумью. Его не много безпокоили отсутствующіе: Петръ и Василій

не малые ребята, къ тому же и люди толковые. Слава тебѣ, Господи! настолько пожили они на свѣтѣ, настолько опытны, чтобы знать, гдѣ слѣдъ и гдѣ неслѣдъ. Ненадежное состояніе дорогъ и рѣкъ имъ слишкомъ извѣстно, чтобы можно было ожидать отъ нихъ какой-нибудь опрометчивости. Вѣроятно, дѣла поважнѣе задерживали ихъ такъ долго. Можетъ-статься, съ хозяиномъ не покончили разсчетовъ, а можетъ-статься, и попросту — загуляли. За Петрушкой такое важивалось! Такъ разсуждалъ Глѣбъ, предоставлявшій бабамъ своимъ сокрушаться и строить, по поводу отсутствующихъ, отчаянныя, безнадежныя предположенія. Онъ рѣдко даже посматривалъ въ ту сторону, откуда должны были показаться Петръ и Василій. Съ нѣкоторыхъ поръ взгляды Глѣба несравненно чаще обращались къ младшему сыну. Старый рыбакъ давно еще, почти съ самаго начала зимы, сталъ замѣчать перемѣну въ молодомъ парнѣ. Не разъ даже пытался онъ дослѣдиться причины, не разъ привязывался къ Ванѣ, осаждая его вопросами о томъ, съ чего это напала на него худоба, съ чего онъ невеселъ, что бычкомъ смотритъ, и проч. и проч. Не разъ даже старикъ выходилъ изъ себя и грозилъ порядкомъ проучить сына въ томъ случаѣ, если со временемъ окажется какая-нибудь причина такой перемѣны, — но остался все-таки ни причемъ. Ваня отбояривался обыкновенно какими-то пустыми, незначащими отвѣтами; говорилъ, что онъ ничего за собою не замѣчаетъ, что никакой особенной худобы за собою не видитъ, — словомъ, не давалъ никакого удовлетворительнаго объясненія. Хуже всего было то, по мнѣнію Глѣба, что Ванюшка началъ съ нѣкоторыхъ поръ какъ словно задумываться. Это обстоятельство особенно сильно бродило почему-то въ головѣ стараго рыбака въ тотъ день, о которомъ идетъ теперь рѣчь.

„Вѣдь вотъ же, ничего такого не бывало съ его братьями, думалъ онъ, поглядывая на Ваню изъ-подъ густыхъ нахмуренныхъ бровей, — да вотъ теперь, хошь бы Гришка: ничего такого не примѣтно: парень, какъ парень... озорливъ, негодный! Ну, а въ другомъ чемъ виду не показываетъ, — пѣсни это играетъ, съ бабами балуетъ; иной разъ даже сократишь его, пріудержишь... А мой и ѣсть сталъ что-то не въ охоту, хлѣба лишился, — словно хворобой какой скучаетъ. И не допытаешь никакъ: затаился!.. Надо женить его — вотъ что!.. Онъ хоша, сдается мнѣ, недобре ластится къ дочкѣ Кондратія, во всю зиму почитай къ нимъ и не навѣдывался: знать, не по ндраву; да смотрѣть на это нечего! женится — слю-

бится!“ продолжалъ Глѣбъ, хранившій покуда еще втайнѣ такое намѣреніе.

Выборъ Глѣба, не мѣшаетъ замѣтить, могъ только объясниться непомѣрнымъ его упорствомъ. Озерской рыбакъ, по словамъ самого Глѣба, былъ не что иное, какъ сосѣдъ, у котораго нечѣмъ было голодную собаку изъ-подъ стола выманить. Дочка его была, слѣдственно, „безприданница“. Разсчетливый Глѣбъ подавно не долженъ былъ бы обращать на нее вниманія. Но такъ ужъ задумалъ Глѣбъ,—задумалъ потому, можетъ статься, что такой выборъ долженъ былъ встрѣтить препятствія со стороны жены и родныхъ. Когда Глѣбъ заберетъ что въ голову, можно почесть дѣло рѣшеннымъ; въ этихъ случаяхъ ничѣмъ уже не возьмешь. Упрямство сильнѣе самаго разсчета.

„Женится—слюбится (продолжалъ раздумывать старый рыбакъ). Давно бы и дѣло сладили, кабы не стройка, не новая изба... Надо, видно, дѣло теперь порѣшить. На Святой же возьму его да схожу къ Кондратію: просватаемъ, а тамъ и дѣлу конецъ! Авось будетъ тогда повеселѣе. Черезъ эвто, думаю я, болѣе и скучаетъ онъ, что одинъ безъ жены живетъ: такихъ парней видалъ я не разъ! сохнутъ да сохнутъ, а женилъ, такъ и бѣда прошла. А все вотъ такъ-то задумываться не съ чего... Шутъ его знаетъ! худѣетъ, да и полно!.. ума не приложу...“

На самомъ этомъ мѣстѣ размышленія Глѣба были прерваны пронзительными криками Анны, обѣихъ снохъ и даже ребятишекъ Петра: всѣ они, какъ сумасшедшіе, стремглавъ летѣли изъ воротъ, тискаясь другъ на дружку и размахивая руками.

— Батюшки! они! касатики! они! они идутъ! они, они! кричала тетушка Анна, бѣжавшая впереди всѣхъ и придерживавшая правою рукою платокъ на головѣ: —они! они идутъ! Пресвятая Богородица! они! подхватывала она, перескакивая черезъ багоръ, наконечникъ котораго лежалъ на колѣняхъ мужа.

— Они идутъ, они! какъ передъ Богомъ, они! вопили снохи и дѣти, вихремъ проносясь мимо работающихъ и задѣвая на пути верши, которыя покатились во всѣ стороны.

— Экъ ихъ подняло! полоумныя! инда совсѣмъ огорошили! проговорилъ Глѣбъ, вставая на ноги и оглядывая бѣжавшихъ бабъ съ видомъ крайняго недоумѣнія. —Ребята! примолвилъ онъ, поспѣшно обращаясь къ Гришкѣ и Ванѣ: — ступайте за ними, живо! Вишь ихъ! сдуру-то, чего добраго, въ воду еще побросаются!.. Эй, бабы!

глупыя!.. Эй! куда вы? подхватилъ онъ, догоняя Ваню и Гришку, которые бѣжали внизъ по площадкѣ: — стойте! эй!.. нѣтъ, дуютъ себѣ, шальныя! Ну, чего вы? чего всполохнулись?... Эки безпабашныя! заключилъ онъ, настигая бабъ, которыхъ едва сдерживали на берегу Гришка и Ваня.

— Батюшки! они! касатики! они! голосили бабы, и пуще всѣхъ тетушка Анна.

Въ самомъ дѣлѣ, на той сторонѣ Оки виднѣлись люди. Хотя они казались ничуть не больше мизинца, однакожъ, по движенію ихъ, ясно можно было заключить, что они высматривали удобопроходимыя мѣста и готовились спуститься на рѣку.

— Должно быть, мѣста-то тамъ добре опасливы! вишь какъ выглядываютъ! говорила жена Петра, нетерпѣливо переминаясь на мѣстѣ.

— Батюшка, Петрушенька ты мой! Вася! касатикъ! рожоной ты нашъ! родимые вы мои! охъ, вы, батюшки вы наши! вопила тетушка Анна такимъ голосомъ, который могъ показаться издали отчаяннымъ рыданьемъ.

— Тятька! тятька идетъ! кричали, въ свою очередь, мальчишки.

— Вы что, мелюзга?.. И она туда же!.. цыцъ! сказалъ не совсѣмъ ласково Глѣбъ. — Полно вамъ кричать, бабы!.. Охъ, ты, старая, куда голосиста!.. Погодите, дайте время высмотрѣть. Спозаранку хватились! можетъ статься, и не они совсѣмъ.

— И то не они! воскликнулъ неожиданно Гришка, пристально слѣдя глазами за путешественниками, которые подвигались впередъ, описывая круги по льду.

— Нѣтъ, не они! подтвердилъ Ваня.

— Ну, вотъ, то-то же и есть! Эхъ вы, сороки! вымолвилъ Глѣбъ сурово, обращаясь къ бабамъ.

Бабы стояли какъ ошеломленныя. Несмотря на то, что онѣ уже двадцать разъ обманывались такимъ образомъ, имъ какъ будто все еще въ голову не приходило, что на Окѣ, кромѣ Василія и Петра, могутъ показаться другіе люди: опытъ въ этомъ случаѣ ни къ чему не служилъ. Бабы стояли какъ ошеломленныя. Вскорѣ, однакожъ, руки и ноги ихъ снова обрѣли движенія; а вмѣстѣ съ ними развязался и самый языкъ. Досадливое чувство не замедлило уступить мѣсто любопытству. Всѣ три поспѣшили къ Глѣбу, Ванюшкѣ и Гришкѣ, которые стояли на самой окраинѣ берега и кричали прохожимъ, заставляя ихъ принимать то или другое направленіе и предостерегая ихъ отъ опасныхъ мѣстъ; бабы тотчасъ же

присоединились къ старому рыбаку и двумъ молодымъ парнямъ и такъ усердно принялись вторить имъ, какъ будто крикомъ своимъ хотѣли выместить свою неудачу.

На этотъ разъ, впрочемъ, было изъ чего суетиться. Вчужѣ забиралъ страхъ при видѣ живыхъ людей, которые, можно сказать, на ниточкѣ висѣли отъ смерти: мѣстами вода, успѣвшая уже затопить, во время дня, половину рѣки, доходила имъ до колѣнъ; мѣстами приводилось имъ обходить проруби или перескакивать черезъ широкія трещины, поминутно преграждавшія путь. Дороги нечего было искать: ея вовсе не было видно; слѣдовало идти на авось: гдѣ ледъ держитъ нога, туда и ступай.

— Гей, братцы, забирайте лѣвѣй,— лѣвѣй забирайте! прямо не ходите! кричалъ Глѣбъ.

— Прямо не ходитѣ!... не ходитѣ!... Ахъ ты, Господи, того и смотри, обломятся! дружно вторили бабы.

Но путешественники, которыхъ числомъ было шесть, хотя и внимательно, казалось, прислушивались къ голосамъ людей, стоявшихъ на берегу, тѣмъ не менѣе, однакожъ, все-таки продолжали идти своей дорогой. Они какъ словно дали крѣпкій зарокъ ставить ноги въ тѣ самыя углубленія, которыя производили лаптишки ихъ предводителя—коренастаго, пожилого человѣка, съ огромною пилою на правомъ плечѣ; а тотъ, въ свою очередь, какъ словно далъ зарокъ не слушать никакихъ совѣтовъ и дѣйствовать по внушенію какихъ-то тайныхъ убѣжденій.

— Вишь, смѣлые какіе! того и смотри, обломятся! говорилъ Глѣбъ.

— Обломятся! знамо, обломятся... Ахъ ты, Господи! подхватили, съ увѣренностью, бабы.

— Эй, ребята! снова крикнулъ Глѣбъ, когда путники приблизились къ мѣсту, гдѣ рѣка представляла длинное озеро:— стойте, говорятъ вамъ,— стойте, не ходите!

При этомъ предводитель съ пилою на плечѣ остановился; за нимъ тотчасъ же остановились и другіе.

— Гей? отозвался предводитель, вопросительно обращаясь къ стоявшимъ на берегу.

— Не ходи прямо! развѣ не видишь? закричалъ Глѣбъ.

— А что? отозвался предводитель.

— А то же, что воды отвѣдаешь: потонешь—вотъ что! Обойди

кругомъ, говорятъ!... Намедни и то сосновскій мельникъ тутъ возъ увязилъ...

— Насилу вытащили! подхватили бабы, въ одинъ голосъ.

Предводитель отступилъ шагъ назадъ и поправилъ шапку. Затѣмъ онъ посмотрѣлъ направо: вода съ этой стороны затопляла рѣку на далекое разстояніе; посмотрѣлъ на лѣво: съ этой стороны вода простиралась еще дальше. Предводитель снова поправилъ шапку, тряхнулъ пилою и пошелъ отхватывать прямо, останавливаясь, однакожъ, кое-гдѣ и пощупывая ногами ледъ, скрытый подъ водою. Остальные путники, какъ бараны, послѣдовали тотчасъ же за своимъ товарищемъ.

На берегу между тѣмъ воцарилось глубокое молчаніе; говорили одни только глаза, съ жаднымъ любопытствомъ слѣдившіе за каждымъ движеніемъ смѣльчаковъ, которые съ минуты на минуту должны были обломиться, юркнуть на дно рѣки и „отвѣдать водицы“, какъ говорилъ Глѣбъ.

XI.

Прохожіе.

Смѣльчаки, однакожъ, не обламывались. Слѣдуя гуськомъ за своимъ предводителемъ, шмыгавшимъ въ водѣ по колѣни, они продолжали подвигаться впередъ. Немного погодя, благополучно выбрались они на свѣжую полосу, отдѣлявшую ихъ отъ берега шаговъ на сто.

То были пильщики и перстобиты, или „волнотёпы“, какъ называютъ ихъ преимущественно по деревнямъ. Послѣднихъ можно было узнать по длиннымъ черными шестамъ, сдѣланнымъ на подобіе контрбасныхъ смычковъ, съ тою разницею, однакожъ, что волосъ замѣнялся здѣсь толстою струною изъ бычачьей жилы; смычки эти болтались за спиною и торчали изъ-за плечъ, какъ ружья у черкесовъ. Широкія лоснящіяся пилы плавно покачивались на плечахъ другихъ молодцовъ. Кромѣ этихъ ремесленныхъ орудій, за спиною почти каждаго виднѣлся холстяной мѣшокъ, который, судя по объему, могъ только вмѣщать рубаху да еще, можетъ-статься,

заработанныя деньжишки, завязанныя въ тряпицу; тутъ же, подлѣ мѣшковъ, или на верхнихъ концахъ пилъ и смычковъ качались сапоги, весьма похожіе на сморчки, но которыми владѣльцы дорожили очевидно болѣе, чѣмъ собственными ногами, обутыми въ никуда негодные лаптишки, свободно пропускавшіе воду.

Вскорѣ всѣ шестеро достигли берега. Лица ихъ выражали такую же беззаботливость и спокойствіе, какъ будто они только-что прошлись по улицѣ. Все ограничилось тѣмъ только, что предводитель тряхнулъ пилою и сказалъ:

— Ну ужь дорожка!

— Да таки—ништо! смѣясь, возразилъ Глѣбъ.—Ну, братцы, посмотрѣли мы на васъ: хваты,—нечего сказать!

— Какъ это вы, батюшки, такъ-то... а-и! а-и! проговорили бабы, съ любопытствомъ осматривая пришлецовъ.

Предводитель снялъ низенькую шапку, отороченную лохмотьями бѣлаго барана, опустилъ конецъ пилы наземь и засѣменилъ ногами мелкую дробь, причемъ брызги воды полетѣли на присутствующихъ.

Выходка эта особенно пріятно подѣйствовала на одного изъ товарищей предводителя—молодого дѣтину съ глуповатой физіономіей, острымъ, любопытнымъ носомъ и бѣлыми какъ сахаръ зубами.

— Эхъ, Нефедка!... о-о! шутъ его возьми!... о-о!... могъ только проговорить онъ и залился дребезжащимъ смѣхомъ, отъ котораго задрожали его полныя щеки.

Нефеду, то-есть предводителю, было безъ малаго лѣтъ пятьдесятъ. На головѣ его начали уже вытираться волосы, сквозь которые сильно просвѣчивало красное, приплюснутое, глянцовитое темя; носъ Нефеда, комически вздернутый кверху, краснѣлъ такъ ярко, что, казалось, отражалъ цвѣтъ свой на остальныя части лица; носъ этотъ, въ товариществѣ съ мутными, стеклянистыми глазами, не оставлялъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что Нефедъ частенько рвалъ косушку и даже недавно захватилъ куражу. За спиною Нефеда не было ни сапоговъ, ни мѣшка; все имущество его ограничивалось пилою и трубкой величиною съ наперстокъ; объѣденный чубучокъ этой трубки высовывался изъ бокового кармана далеко неказистаго полушубка,—совсѣмъ даже никуда негоднаго полушубка. Гуляка и пьянчужка выглядывали изъ каждой прорѣхи его одежды. Однимъ словомъ, Нефедъ съ перваго взгляда давалъ

знать, что принадлежитъ къ тѣмъ общинанцамъ, которыхъ въ простонародьи величаютъ обыкновенно „голудвою кабацкой“.

— Ну, ужь, братцы, милостивъ къ вамъ Господь! продолжалъ Глѣбъ, значительно подымая густыя свои брови:—не чаялъ я увидѣть васъ на нашемъ берегу; на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ вы черезъ воду-то проходили, вечоръ сосновскій мельникъ возъ увязилъ...

— Насилу вытащили! замѣтили бабы съ такою живостью, какъ будто несчастіе было передъ ихъ глазами.

— Дивлюсь я, право, какъ этакъ Богъ помиловалъ, продолжалъ старый рыбакъ:—ледъ-то добре подточило,—почти весь изподѣлъ; плохая опора: какъ разъ сложетъ!...

— Ничаво, вишь: проѣхали! маленько вотъ только носочки подмочили! сиплымъ, надорваннымъ голосомъ произнесъ Нефедъ, разставляя вымокшія до колѣнъ ноги и осматривая лаптишки.

Всѣ засмѣялись, а молодой парень съ бѣлыми зубами пуще всѣхъ; даже шапка его скосилась и колѣни подогнулись.

Во все продолженіе предыдущаго разговора онъ подобострастно слѣдилъ за каждымъ движеніемъ Нефеда,— казалось, съ какою-то даже ненасытною жадностію впивался въ него глазами; какъ только Нефедъ обнаруживалъ желаніе сказать слово или даже поднять руку или повернуть голову, у молодого парня были уже уши на макушкѣ; онъ заранѣе раскрывалъ ротъ, оскаливалъ зубы, быстро окидывалъ глазами присутствующихъ, какъ-будто хотѣлъ сказать: „слушайте, слушайте, что скажетъ Нефедъ!“ и тотчасъ же разражался неистовымъ хохотомъ. Всего замѣчательнѣе было то, что хотя въ поступкахъ и словахъ Нефеда не было ничего особенно забавнаго или остраго, почти всѣ слѣдовали примѣру молодого дѣтины.

— Откуда, братцы? началъ Глѣбъ.

— Изъ Серпухова, отвѣчалъ одинъ изъ шерстобитовъ.

— Гм! понимаю...

— А мы изъ Шушелова! знаешь Шушелово? сказалъ Нефедъ.

Молодой парень замигалъ глазами и заранѣе раскрылъ ротъ.

— Слыхать слыхалъ, а бывать не бывалъ, произнесъ Глѣбъ:— далече отселева?

— Да, ништо—рукой не достанешь.

Всѣ засмѣялись.

— Онъ оттедова,—всѣ шерстобиты оттедова, подхватилъ прежній шерстобитъ.

— Куда Богъ несетъ?

— Въ Рязань... не то, чтобы въ самый городъ, а подлѣ, въ деревню. Всѣ идемъ въ одно мѣсто, отвѣчалъ шерстобитъ.

— Та-а-къ, пробормоталъ Глѣбъ.

— Батюшки, заговорила неожиданно тетка Анна: — не встрѣчали ли, касатики, нашихъ ребятъ?

— А то какъ же! вѣстимо, встрѣтили: „кланяйся, говорили, маменькѣ, цѣлуй у ней ручки!“ началъ было Нефедъ, къ неописанному восторгу молодого парня; но Глѣбъ перебилъ его.

— Глупая! развѣ не видишь: смѣются! Хошь бы и встрѣтили, они нешто нашихъ ребятъ знаютъ? чай, на лбу не написано!..

— Да я такъ только... батюшка... авось, молъ, они...

— Ступай-ка, ступай лучше! полно вздоръ-то молоть! перебилъ мужъ, слегка поворачивая жену за плечи.—Ступайте и вы, бабы! что тутъ пустое болтать! пора за работу приниматься.

— А что, примѣрно, любезный, не Глѣбомъ ли васъ звать? спросилъ вдругъ одинъ изъ шерстобитовъ, человѣкъ сухощавый и длинный какъ шестъ, съ плоскими желтыми волосами и блѣдноголубыми глазами, вялыми и безжизненными.

Онъ выглядывалъ до того времени изъ толпы товарищей, какъ страусъ между индѣйками; говорилъ онъ глухимъ, гробовымъ голосомъ, при каждомъ словѣ глубокомысленно закрывалъ глаза, украшенные бѣлыми рѣсницами, и вообще старался сохранить видъ человѣка разсудительнаго, необычайно умнаго и даже, если можно, ученаго.

Глѣбъ далъ утвердительный отвѣтъ.

— Вамъ, любезный человѣкъ, примѣрно, то есть, поклонъ посылаютъ, съ достоинствомъ проговорилъ разсудительный шерстобитъ.

— Кто-жъ бы такой?

— Станете проходить, говоритъ черезъ Оку, по дорогѣ къ Сосновкѣ, увидите, говоритъ, рыбака Глѣба Савинова, кланяйтесь, говоритъ, и нижайше...

— Ну, пошелъ, пучеглазый, размазывать! тянетъ словно клещами хомутъ надѣваетъ! грубо перебилъ Нефедъ: — кланяться наказывалъ тебѣ старичокъ изъ Комарева... Кондратьемъ звать... вотъ-те и все!

Долговязый шерстобитъ презрительно отвернулся; несмотря на всю свою разсудительность, онъ, какъ видно, былъ изъ числа самыхъ щепетильныхъ, обидчивыхъ. Чувство тончайшей деликатности,

заставлявшее его говорить всѣмъ вы, было сильно оскорблено грубостію Нефеда.

— А, да! озерской рыбакъ! сказалъ Глѣбъ:—ну, что, какъ тамъ его Богъ милуетъ?.. Съ недѣлю, почитай, не видались; онъ за половодьемъ перебрался съ озера въ Комарево... Скучаетъ, я чай, работой? Старикъ куды-те завистливый къ дѣлу—хлопотунъ!

Шерстобитъ закрылъ уже глаза и хотѣлъ что-то промолвить, но Нефедъ снова перебилъ его.

— Объ дѣлахъ не раздобаривалъ: наказывалъ только кланяться! сказалъ Нефедъ.—Ну, что-жъ мы, братцы, стали? добавилъ онъ, приподнявъ пилу.—пойдемъ къ избамъ! Сватъ Глѣбъ не поскупится соломой: дастъ обложить лаптишки.

— Что-жъ? посидите. Можно и соломы дать, проговорилъ Глѣбъ, медленно поворачиваясь спиною къ рѣкѣ и направляясь къ тому мѣсту, гдѣ прежде работалъ.

Прохожіе подняли свои мѣшки и пошли за нимъ.

— Ну, а какъ, сватъ Глѣбъ, какъ у тебя насчетъ, примѣрно, винцо есть? неожиданно сказалъ Нефедъ, покрякивая и прищуривая лѣвый глазъ.

— Нѣтъ, мы этимъ не занимаемся.

— Пустое самое дѣло! глубокомысленно замѣтилъ разсудительный шерстобитъ, но такъ, однакожъ, чтобы не могъ разслышать этого необразованный Нефедъ.

— Полно, сватъ! э! Ты думаешь, на мнѣ кафтанишко-то рваный, такъ ужъ я... Я вѣдь не даромъ прошу, приставалъ Нефедъ,

— Знамо, что не даромъ, насмѣшливо возразилъ Глѣбъ: — не осуди въ лаптяхъ: сапоги въ саняхъ!.. Да съ чего ты такъ разохотился: стало быть, денегъ добре много несешь?

— Давай только; за этимъ не постоимъ! крикнулъ Нефедъ. торопливо вынимая трубчонку и выворачивая при этомъ пустой карманъ.

Раздался хохотъ.

— Въ карманѣ-то у него, видно, сухотка.

— Всего одна прорѣха и есть!

— Хвать въ карманъ, анъ дыра въ горсти!

— Эхъ ты! вымолвилъ Глѣбъ, усмѣхнувшись.

— Чего зубы-то обмываете! сказалъ Нефедъ.—Съ собой, знамо нѣту: опасливо носить; по поштѣ домой отослалъ... А вотъ у меня

тутъ въ Сосновкѣ тетка есть; какъ пойдемъ, накажу ей отдать тебѣ, сватъ, за вино... Душа вонъ, коли такъ!

— Какъ ее звать-то? я въ Сосновкѣ всѣхъ знаю.

— Матреной... первая изба съ краю...

— Что жъ ты не сказывалъ намъ про эту тетку-то? замѣтилъ кто-то изъ пильщиковъ.

— А что говорить!.. Душа вонъ, коли тетки нѣту.

— Нѣтъ, братъ, долго ждать; можетъ статься, она у тебя еще въ бѣгахъ, сказалъ, смѣясь, Глѣбъ.

— Э! крикнулъ Нефедъ, махнувъ рукой, и поплелся впередъ сопровождаемый молодымъ парнемъ, который не переставалъ держаться за бока.

— Должно быть, человѣкъ бездѣтный? спросилъ Глѣбъ, указывая головою на Нефеда.

— Какое! восьмеро ребятъ, малъ-мала-меньше, отвѣчалъ одинъ изъ пильщиковъ:—да такой ужъ человѣкъ безшабашный. Какъ это попадутъ деньги—бѣда! вотъ хоть бы теперь: всю дорогу пьянствовалъ. Не знаю, какъ это, съ чѣмъ и домой придетъ.

— Разсудка своего человѣкъ, примѣрно, то есть, не имѣетъ, проговорилъ длинный шерстобитъ, закрывая глаза: — ему, видно, такъ-то вальготнѣе.

— Вотъ, братцы, посидите, отдохните, вымолвилъ Глѣбъ, когда всѣ подошли къ лодкамъ:—а вы полно глазѣть-то! за дѣло! прибавилъ онъ, обратившись къ Гришкѣ и Ванѣ, которые до того времени прислушивались къ разговору.

Тутъ старый рыбакъ повернулся къ воротамъ и велѣлъ Василисѣ принести охапку соломы.

— Эй, Василисушка-любушка! заголосилъ Нефедъ, успѣвшій уже развалиться между вершами:—захвати-ка кваску—ротъ пополоснуть: смерть горло пересохло!

— Я полагаю, болѣе всего отъ эвтаго отъ табаку оно такъ-то у тебя пересыхаетъ, посмѣиваясь, сказалъ рыбакъ:—ты, вишь, и трубочку, видно, покуриваешь... на всѣ руки гораздъ.

Вмѣсто отвѣта, Нефедъ перевалился на бокъ и молодцовато сунулъ чубукъ въ ротъ.

— Что жъ ты ее не запалишь? али табаку нѣту?

— Вмѣстѣ съ сапогами въ Комаревѣ обронилъ... И не надыть его, табаку-то, я и то всю дорогу курилъ безперечь, инда весь ротъ выжегъ.

— Охъ-о-о... Нефедка... балясникъ... о! закатился снова молодой парень.

— У него табаку-то и въ заводѣ не было: всю дорогу такъ-то одинъ чубукъ глодалъ, промолвилъ одинъ изъ пильщиковъ.

Квасъ и солома не замедлили явиться.

Прохожіе сняли мокрые лапти и принялись перекладывать ихъ соломой; между тѣмъ Глѣбъ и молодые помощники его усѣлись за работу. Разговоръ снова завязался. Но въ немъ уже не принималъ участія Нефедъ: сначала онъ прислонился спиною къ лодкѣ и, не выпуская изо рта пустой трубки, сталъ какъ словно слушать; мало-по-малу, однакожъ, глаза его закрылись, губы отвисли, голова покачнулась на сторону и увлекла за собою туловище, которое, свѣшиваясь постепенно на бокъ, грохнулось наконецъ на землю. Но Нефедъ ничего уже не чувствовалъ; онъ не чувствовалъ даже, какъ трубка вывалилась у него изо рта. Черезъ минуту отъ храпа его заволновались даже лохмотья рукава, нечаянно попавшаго, вмѣстѣ съ рукою, подъ голову. Два-три пинка, удачно направленные въ бокъ молодого парня съ бѣлыми зубами, предостерегали его отъ новаго взрыва хохота, и съ этой минуты лицо его какъ словно одеревенѣло. Мало по малу, однакожъ, глаза его, все еще не покидавшіе спящаго Нефеда, начали соловѣть и смежаться; немного погодя, зубастый парень растянулся наземь и, подложивъ подъ голову шапку, предался отдыху; примѣру его послѣдовали двое другихъ товарищей.

Разговоръ, между тѣмъ шелъ своимъ чередомъ.

— Знаное дѣло, какія теперь вороги! И то еще удивленію подобно, какъ до сихъ поръ рѣка стоитъ; въ другіе годы въ это время она давно въ берегахъ... Я полагаю, дюжи были морозы — ледъ-то добре закрѣпили; оттого долѣе она и держитъ. А все, по настоящему, пора бы разступиться! Вишь, какое тепло: мокрая рука не стынетъ на вѣтрѣ! Вотъ вороны и жаворонки недѣли три какъ ужъ прилетѣли! говорилъ Глѣбъ, околачивая молоткомъ желѣзное остріе багра.

— И то вороны прилетѣли! Я самъ встрѣлъ двухъ на дорогѣ, сказалъ одинъ изъ бодрствующихъ пильщиковъ, маленькій человѣкъ съ остроконечной бородкой, которая, безъ сомнѣнія, должна была имѣть какое-нибудь тайное сообщеніе съ языкомъ своего владѣльца, потому что, какъ только двигался языкъ, двигалась и бородка. — А что, братецъ ты мой — Глѣбомъ, что ли, звать? да подхватилъ

онъ: — правда ли, сказываютъ, будто вороны эти, вотъ въ эту самую пору, купаютъ дѣтей своихъ въ прорубяхъ? Сказываютъ, вишь: они отпущаютъ ихъ въ отдѣлъ, на „особное“ семейное жительство... Да ты, я чай, слыхалъ объ этомъ?

— Какъ не слыхать! слыхалъ. Самому, правда, не приходилось видѣть, а отъ стариковъ слыхалъ неоднова, отвѣчалъ Глѣбъ, шутливое расположеніе котораго, вызванное на минуту выходками Нефеда, замѣтно проходило.

— Я полагаю, все это то есть такъ... пустое, примѣрно... болтаютъ, разумнымъ тономъ замѣтилъ длинный шерстобитъ.

— Съ чего жъ пустое? Можетъ статься, оно и такъ, какъ онъ говоритъ; на свѣтѣ и не такія диковинки бываютъ. Вотъ хошь бы теперь: по времени давно бы пора пахарю радоваться на озими, намъ — неводъ забрасывать; а на полѣ все еще снѣгъ пластомъ лежитъ, рѣка льдомъ покрыта, возразилъ Глѣбъ, обращаясь къ шерстобиту, который сидѣлъ съ зажмуренными глазами и, казалось, погруженъ былъ въ глубокую думу. — Мудренаго нѣтъ, продолжалъ рыбакъ: — того и жди, „внучка за дѣдомъ придетъ“ *): новый еще снѣгъ выпадетъ. Разъ такъ-то помнится, ужь совсѣмъ весна наступила, ужь листъ въ заячье ухо развернулся и цвѣты были на лугахъ, вдругъ, отколѣ ни возьмись, снѣгъ: въ одну ночь по колѣно навалилъ; буря такая, сиверка, и Боже упаси! Сдается по всему, и ноньче тому же быть!

— Все можетъ быть... все!.. все во власти Божіей, выговорилъ шерстобитъ, задумчиво наклоняя голову.

— Съ чего жъ ты думаешь — быть опять снѣгу! заговорилъ нильщикъ, двигая бородой.

— Конечно, все въ рукѣ Божіей, во всемъ Его святая воля, подхватилъ Глѣбъ: — но я говорю такъ-то — по примѣрамъ сужу! Вотъ теперь у тестя моего старшаго сына — вотъ что ждемъ-то, — у тестя въ Сосновкѣ коровы стоятъ (держитъ болѣ для робятъ; безъ этого нельзя: не все хлѣбъ да капуста, ину пору и молочка захоцца похлебать, особливо ребятишкамъ)... ну, такъ вотъ, говорю, коровы у него стоятъ теперь смирно, не шелохнутся; смекай, значитъ, коли такъ: быть опять снѣгу. Ужь это такъ вѣрно, какъ вотъ пять пальцевъ на рукѣ. Скотина весну чуетъ лучше чело-

*) Такъ говорится о позднемъ весеннемъ снѣгѣ, который падая на старый снѣгъ, и тотчасъ же превращаясь въ воду, просачиваетъ его насквозь и уноситъ съ земли.

вѣка: ужь коли весна устанавливается, идетъ на коренную, скотину ни за что не удержишь съ хлѣвѣ: овца ли, корова ли, такъ и реветъ; а выпустилъ изъ хлѣва, пошла по кустамъ рыскать,— не соберешь никакъ!.. Эта примѣта ни за что не обманетъ!

— Вишь ты, вѣдь вотъ и разума не имѣетъ, а вѣдь вотъ чуетъ же, поди ты! произнесъ пильщикъ, потряхивая бородкой. —Да, промолвилъ онъ, пожимая губами:—а только нонѣ придетъ ли весна ранняя, придетъ ли поздняя, все одно: скотинѣ нашей плохо,— куды плохо будетъ!

— Съ чего-жъ такъ?.

— Хвостъ стала что-то откидывать! такъ вотъ и дохнутъвсѣ... И Богъ знаетъ что такое!

— Ой-ли?

— Истинно такъ, дохнутъ... оченно много дохнутъ, подтвердилъ шерстобитъ:—самому трафилось видѣть.

— Что за притча такая? съ чего бы значитъ это? напущено, что ли?.. Сказываютъ, хвороба эта—моромъ, кажись, звать—не сама приходитъ: завозитъ ее, говорятъ, лихой человѣкъ, сказалъ пильщикъ.

При этомъ разсудительный шерстобитъ сомнительно улыбнулся, медленно закрылъ глаза и покрутилъ головою.

— Я полагаю, то есть, примѣрно, такъ только, пустое болтаютъ, произнесъ онъ, съ чувствомъ достоинства:—простой народъ, онъ разсудка своего не имѣетъ... и болтаетъ—выходитъ, пустое, заключилъ онъ, поглядывая на стараго рыбака, съ видомъ взаимнаго соучастія и стараясь улыбнуться.

Но лицо Глѣба, къ великому удивленію глубокомысленнаго скептика, осталось совершенно спокойнымъ. Не поднимая высокаго, наморщеннаго лба, склоненнаго надъ работой, рыбакъ сказалъ серьезнымъ, увѣреннымъ голосомъ.

— Нѣтъ, любезный, не говори этого. Пустой рѣчи не дологъ вѣкъ. Объ томъ, что вотъ онъ говорилъ, и дѣды и прадѣды наши знали; ужь коли да весь народъ вѣру далъ, стало есть въ томъ какая ни на есть правда. Одинъ человѣкъ солжетъ, пожалуй: всякъ человѣкъ—ложь, говорится,—да только въ одиночку; міръ правду любитъ...

— Вѣстимо такъ, ужъ коли всѣ заодно говорятъ, стало, съ чего-нибудь да берутъ, стало, есть правда, подхватилъ пильщикъ.— Я объ этой коровьей смерти сколько разъ отъ старыхъ стариковъ слышалъ: точно, завозятъ, говорятъ ее, а не сама приходитъ. При-

лучилось это, вишь, впервые съ какимъ-то мужичкомъ, началъ онъ съ такою живостью, какъ будто вступался за мать родную:—ѣхалъ этотъ мужичокъ съ мельницы, ко двору подбирался. Дѣло было къ вечеру, маленечко примеркать стало. И выѣхалъ онъ на поляну. Отколь ни возьмись, подходитъ къ нему старуха: „Подвези меня, говоритъ, дѣдушка!“—„Куда тебя? говоритъ... то есть онъ-то говоритъ ей: куда тебя?“ говоритъ. А она опять: „Подвези—говоритъ—хошь до своей до деревни: моченьки моей нѣтъ!“ А онъ ей: „Ты какая такая?“ говоритъ —Вотъ, родимый—говоритъ это она ему—вотъ—говоритъ—я лечейка, коровъ лѣчу!“—„Гдѣ-жъ ты—говоритъ—лѣчила?“—„А лѣчила я—говоритъ—у добрыхъ у людей, да не вспору за мной послали; захватить не успѣла—весь скоть передохъ!“ Ну, посадилъ онъ это ее къ себѣ въ сани, поѣхалъ. Ѣхали, ѣхали. Давно пора бы дома быть, анъ лихъ—не дается; куда ни глянетъ, все поляна идетъ; и не знать, что такое! Человѣкъ былъ преклонный; снялъ онъ это шапку и перекрестился: „Господи Боже—говоритъ—помилуй насъ, грѣшныхъ!“ Смотритъ, а ужъ старухи-то и нѣтъ съ нимъ; глядь, подлѣ самыхъ саней бѣжитъ какая-то черная собака... Онъ ничего. Ну, поналъ это онъ на слѣдъ, старикъ-ать, пріѣхалъ домой, на дворъ въѣзжаетъ, и собака за нимъ. Вотъ это и выходитъ, привезъ онъ съ собою коровью смерть. На другое утро по всей его деревнѣ ни одной коровенки не осталось! заключилъ пильщикъ, разглаживая бородку, которая во все время разговора работала заодно съ языкомъ.

— Много, можетъ-статься, тутъ и пустого, а правда все-таки должна быть,—не безъ этого! сказалъ рыбакъ.—Полагаю такъ: завезъ эту коровью смерть какой лихой человѣкъ въ нашу русскую землю. Вѣдь вотъ завозятъ же чуму изъ Туречины... не сама же приходитъ! А тутъ, извѣстно, ужъ и старуху приплели, и собаку... На пустыя рѣчи податливъ человѣкъ! сколько на свѣтѣ головъ, столько и умовъ—всякій по своему мерекаетъ. На то Господь и разумъ далъ: слушать слушай, а правду распутывай. Не все то перенимай, что по рѣкѣ плыветъ; то-то же оно и есть! Правда-то, иной разъ, что пискарь въ неводѣ: забьется промежъ петель и не видать совсѣмъ; ну, а какъ поразберешь складки-то, все окажется... Да полно, ребята, точно ли задалась такая причина? Кажись бы, не съ чего быть скотскому падежу. Осень въ прошломъ году была ранняя, сухая; листъ отпалъ до перваго снѣгу... Не слѣдъ бы быть этому.

— Ну, вотъ поди-жъ ты! а все дохнетъ, братецъ ты мой! подхватилъ пильщикъ.—Не знаемъ, какъ дальше будетъ, а отъ самаго Серпухова до Комарева, сами видѣли, такъ скотина и валится. А въ одной деревнѣ такъ до послѣдней перстинки все передохло, ни одного копыта не осталось. Какъ бишь звать-то эту деревню? какъ бишь ее заключилъ онъ, обращаясь къ длинному шерстобиту: — ну, вотъ еще гдѣ наборъ-то собирали... какъ...

— Какой наборъ? спросилъ Глѣбъ, неожиданно подымая голову.

— Некрутовъ брали... какъ бишь ее, эту деревню?.. еще двѣ церкви... эхъ, занамятовалъ... Лы... Лысыя Мухи, что ли... нѣтъ, не то! бормоталъ пильщикъ.

Но Глѣбъ уже не слушалъ пильщика; безпечное выраженіе на лицѣ его словно сдуло порывомъ вѣтра; онъ разсѣянно водилъ широкою своею ладонью по багру, какъ бы стараясь собрать мысли; забота изображалась въ каждой чертѣ его строгаго, энергическаго лица. Дѣло вотъ въ чемъ: Глѣбъ давно зналъ, что при первомъ наборѣ очередь станетъ за его семействомъ; приписанный къ сосновскому обществу, онъ уже нѣсколько лѣтъ слѣдилъ за наборами, хотя, по обыкновенію своему, виду не показывалъ домашнимъ. Старый рыбакъ не подозрѣвалъ только, чтобы очередь пришла такъ скоро; неожиданность извѣстія, какъ и слѣдуетъ ожидать, смутила нѣсколько старика, который, между прочимъ, давно уже обдумалъ всѣ обстоятельства и сдѣлалъ свои распоряженія. Онъ поспѣшилъ, однакожъ, подавить въ себѣ смущеніе, поспѣшно схватилъ багоръ и принялся еще усерднѣе работать. Минуту спустя Глѣбъ снова поднялъ голову.

— Неужто точно наборъ? проговорилъ онъ.

— Точно: сами видѣли; сказываютъ, вишь, война идетъ.

— Истинно такъ, поддакнулъ глубокомысленный шерстобитъ.

— Да чему же ты такъ удивляешься? развѣ до тебя очередь дошла? спросилъ пильщикъ, обращая къ рыбаку остріе своей бородки.

— Нѣтъ, очереди нѣтъ никакой; я такъ спрашиваю, проговорилъ Глѣбъ твердымъ, увѣреннымъ голосомъ, между тѣмъ какъ глаза его безпокойно окидывали Ваню и Гришу, которые работали въ десяти шагахъ.

Оба такъ усердно были заняты своимъ дѣломъ, что, казалось, не слушали разговора. Этотъ короткій, но проницательный взглядъ, украдкою брошенный старымъ рыбакомъ на молодыхъ парней, вы-

сказалъ его мысли несравненно краснорѣчивѣе и опредѣлительнѣе всякихъ объясненій; глаза Глѣба Савинова, обратившіеся сначала на сына, скользнули только по бѣлокурой головѣ Вани: они тотчасъ же перешли къ пріемышу и пристально на немъ остановились. Морщины Глѣба расправились.

Но это продолжалось всего одну секунду; онъ опустилъ голову, и лицо его приняло снова строгое, задумчивое выраженіе. Мало-помалу онъ снова вмѣшался въ разговоръ; но рѣчь его была отрывиста, принужденна. Бесѣда шла страшными извилинами, предметъ росказней измѣнялся безпрерывно между пильщикомъ и шерстобитомъ, но совсѣмъ тѣмъ строгое, задумчивое лицо Глѣба оставалось все то-же.

Оно ни на волосъ не измѣнилось, даже тогда, когда громкій хохотъ зубастаго парня, дружно подхваченный пильщикомъ, возвѣстилъ пробужденіе Нефедки.

— Ну, ребята, пора! вставай! время идти! заговорилъ пильщикъ, толкая другихъ товарищей, которые также спали:—ну, поворачивайся, что ли, ребята!

— Господи! Господи! бормотали ребята, зѣвая и потягиваясь.

— Полно вамъ, вставай! вишь, замораживать начинаетъ; дѣло идетъ къ вечеру. Надо къ ночи поспѣть въ Сосновку... Ну, ну!

— А что, любезный человѣкъ, сколько, примѣрно, то-есть, считаете вы до Сосновки? спросилъ разсудительный шерстобитъ, обращаясь къ рыбаку.

— Семь верстъ, отвѣчалъ тотъ сухо.

— И все, примѣрно, то-есть, по этой дорогѣ идтить, что за вашими избами по горѣ вьется?

— Да, отвѣчалъ Глѣбъ, кивнулъ головою и отвернулся.

Деликатныя чувства галантерейнаго шерстобита, казалось, вовсе не ожидали такого обхожденія; онъ выпрямился съ чувствомъ достоинства, закрылъ глаза, какъ будто готовился сдѣлать какое-нибудь глубокомысленное замѣчаніе, но измѣнилъ видно свое намѣреніе, поднялъ мѣшокъ, взвалилъ на спину смычокъ и, сухо поклонившись, пошелъ своею дорогой.

— Ну, ребята, идемъ! говорилъ между тѣмъ пильщикъ, подсобляя товарищамъ снаряжаться:—пойдемъ въ Сосновку, поглядимъ на Нефедкину тетку! у ней и ночуемъ!

— О-о! Нефедка!.. вишь... шутъ, баляшникъ... о-о! заливался

парень съ бѣлыми зубами, глядя на Нефеда, который покрякивалъ и хмурился, разглаживая встрепавшіеся волосы.

— Чего ты зубы-то скалишь? Вотъ я тебѣ ребры-то посчитаю! закричалъ Нефедъ грубымъ, суровымъ голосомъ, который ясно уже показывалъ, что хмѣль, благодаря крѣпкому сну, не отуманивалъ его головы—обстоятельство, всегда повергавшее Нефеда въ мрачное, несообщительное расположеніе духа.

Онъ сунулъ трубку въ карманъ, поднялъ пилу, нахлобучилъ шапку и, не заботясь о товарищахъ, которые прощались съ рыбакомъ, покинулъ площадку; минуту спустя, толпа прохожихъ послѣдовала за своимъ предводителемъ, который, успѣвъ уже нагнать шерстобита, показался на тропинкѣ крутого берега, высоко подымавшагося надъ избами рыбака.

Проводивъ ихъ разсѣяннымъ взглядомъ, Глѣбъ нетерпѣливо повернулся къ женѣ и снохамъ, которыя снова выбѣжали на площадку и, не видя Петра и Василія, снова разразились жалобами и вздохами.

— Чего вы опять? чего, въ самомъ дѣлѣ, разбѣгались? закричалъ неожиданно Глѣбъ, такимъ страшнымъ голосомъ, что не только бабы, но даже Ваня и Гришка оторопѣли.

Всю остальную часть дня Глѣбъ не былъ ласковѣе со своими домашними. Каждый изъ нихъ судилъ и рядилъ объ этомъ по своему, хотя никто не могъ дознаться настоящей причины, измѣнившей его расположеніе. Послѣ ужина, когда всѣ полегли спать, старый рыбакъ вышелъ за ворота—поглядѣть, какая будетъ на завтра погода.

Небо было облачно. Тьма кромѣшная окутывала мѣстность: вѣтеръ глухо завывалъ посреди ночи.

Старый рыбакъ сѣлъ на заваленку, положилъ голову между ладонями и нетерпѣливо уткнулъ локти въ колѣни.

„Жаль, что говорить!“ бормоталъ онъ, продолжая, вѣроятно, нить размышленій, непокидавшихъ его во весь вечеръ; „жаль, попривыкли! да и работникъ, того, дюжій... жаль, ну, да вѣдь не какъ своего! Я еще тогда, признаться, какъ дядя Акимъ привелъ его, смекнулъ эвто дѣло... Жаль Гришку! ну, да какъ быть! Требуется—стало, такъ и слѣдуетъ быть. Разсуждать не наше дѣло; да и разсуждать не о чемъ: дѣло настоящее: царство безъ воинства, человѣкъ безъ руки, конь безъ ногъ—одна стать. И то сказать надо: не въ ссылку идетъ, не за худымъ какимъ дѣломъ.

Идетъ парень на службу на царскую; царю-батюшкѣ служить идетъ... Вѣстимо, на первыхъ-то порахъ только разстаться жаль словно; ну, да авось Господь приведетъ увидаться: не въ ссылку идетъ... Эхъ, попривыкли мы къ нему!“ заключилъ Глѣбъ.

Тутъ онъ снова поднялся на ноги, взглянулъ на небо, вернулся на дворъ и пошелъ медленнымъ шагомъ къ старымъ санямъ, служившимъ ему съ Благовѣщенія вмѣсто ложа.

XII.

Возвращеніе.

— Ну, вотъ теперь иное дѣло: теперь они! Дивлюся я только, какъ это прошли! Вишь рѣку-то, почитай, всю ужъ затопило! говорилъ Глѣбъ, спускаясь, на другой день утромъ, по площадкѣ, вмѣстѣ съ Ваней и пріемышемъ.

Жена его, обѣ снохи и внучата бѣжали между тѣмъ впереди, поспѣшая на встрѣчу Петру и Василію, которые подымались уже на берегъ.

Появленіе двухъ рыбаковъ произошло совершенно неожиданно. Еслибъ не мать, они подошли бы, вѣроятно, къ самымъ избамъ никѣмъ незамѣченные: семейство сидѣло за обѣдомъ; тетка Анна, несмотря на весь страхъ, чувствуемый ею въ присутствіи мужа, который со вчерашняго дня ни съ кѣмъ не перемолвилъ слова, упорно молчалъ и сохранялъ на лицѣ своемъ суровое выраженіе, не пропускала все-таки случая заглядывать украдкою въ окна, выходившія, какъ извѣстно, на Оку; увидѣвъ сыновей, она забыла и самого Глѣба — выпустила изъ рукъ кочергу, закричала пронзительнымъ голосомъ: „Батюшки, идутъ!“ и сломя-голову кинулась на дворъ. Не успѣлъ Глѣбъ поднять головы, какъ обѣ снохи и внучки повскакали съ мѣстъ и пустились за старушкой. Старый рыбакъ, которому давно прискучила суматоха, попусту подымаемая бабами двадцать разъ на дню, сжалъ уже кулаки и посулилъ задать имъ таску, но тотчасъ же умилостивился, когда Ваня и Гриша, пригнувшись къ окну, подтвердили, что Петръ и Василій точно приближаются къ берегу. Онъ не обнаружилъ, однакожъ,

никакой торопливости: медленно привсталъ съ лавки и пошелъ за ворота съ тѣмъ видомъ, съ какимъ шелъ обыкновенно на работу; и только когда собственными глазами увѣрился Глѣбъ, что то были точно сыновья его, шагъ его ускорился и брови расправились.

Петръ и Василій много измѣнились съ того времени, какъ мы застали ихъ бесѣдующими съ дядею Акимомъ. Съ той поры прошло безъ малаго десять лѣтъ! Оба преобразились въ взрослыхъ, зрѣлыхъ мужей; лица ихъ возмужали и загрубѣли; время и труды провели глубокія борозды тамъ, гдѣ прежде виднѣлись едва замѣтныя складки. Коротенькая, но тучная кудрявая бородка смѣнила легкій пушокъ на щекахъ Василія. Перемѣна замѣтна была, впрочемъ, только въ наружности двухъ рыбаковъ: взглянувъ на румяное, улыбающееся лицо Василія, можно было тотчасъ же догадаться, что веселый, безпечный нравъ его остался все тотъ же; смуглое, нахмуренное лицо старшаго брата, уподоблявшее его цыгану, котораго только-что обманули, его черные глаза, смотрѣвшіе исподлобья, ясно обличали тотъ же мрачно настроенный, несообщительный нравъ; суровая энергія, отличавшая его еще въ юности, но которая съ лѣтами угомонилась и приняла характеръ болѣе сосредоточенный, сообщала наружности Петра выраженіе какого-то грубаго могущества, смѣшаннаго съ упрямой, непоколебимой волей; съ перваго взгляда становилось понятнымъ то вліяніе, которое производилъ Петръ на всѣхъ товарищей по ремеслу и особенно на младшаго брата, которымъ управлялъ онъ по произволу.

Увидѣвъ жену, мать и дѣтей, бѣгущихъ на встрѣчу, Петръ не показалъ особенной радости или нетерпѣнія; очутившись между ними, онъ началъ съ того, что сбросилъ наземь мѣшокъ, висѣвшій за плечами, положилъ на него шапку, и потомъ уже началъ здороваться съ женою и матерью; черты его и при этомъ остались такъ же спокойны, какъ будто онъ разстался съ домашними всего наканунѣ. Въ отвѣтъ на радостныя восклицанія жены и матери, которыя бросились обнимать его, онъ ограничился двумя-тремя: „здорово!“ послѣ чего повернулся къ дѣтямъ и, спокойно оглянувъ ихъ съ головы до ногъ, снова надѣлъ шапку и взвалилъ на плечи мѣшокъ. Возиться съ бабьемъ и ребятами не было дѣломъ Петра. Онъ предоставилъ брату „хлебать губы“ съ бабами—такъ выражался Петръ, когда дѣло шло о поцѣлуяхъ. Василій не терялъ времени: онъ не переставалъ обниматься и чмокаться со всѣми, не

выключая дѣтей Петра и собственной жены, съ которой, годъ тому назадъ, едва успѣлъ познакомиться.

Глѣбъ, Ваня и пріемышъ приближались между тѣмъ къ группѣ, стоявшей на берегу. Увидя отца, Петръ и Василій тотчасъ же сняли шапки, покинули бабъ и пошли къ нему на встрѣчу.

— Здравствуй, батюшка! сказали они, останавливаясь въ трехъ шагахъ отъ отца и отвѣшивая ему низкій поклонъ.

— Здравствуйте, ребята! отвѣчалъ Глѣбъ, останавливаясь въ свою очередь и пристально оглядывая двухъ рыбаковъ, которые торопливо здоровались съ Ваней и Гришкой.

Тутъ Анна, ея сноха и дѣти снова обступили было двухъ рыбаковъ; но на этотъ разъ не только Петръ, но даже и Василій не обратили уже на нихъ ни малѣйшаго вниманія. Оба покручивали шапки и не отрывали глазъ отъ отца.

— Пришли, батюшка, тебя провѣдать, весело началъ Василій, потряхивая головою и откидывая назадъ волосы.

— Здорово, ребята, здорово! говорилъ Глѣбъ, продолжая оглядывать сыновей и разглаживая ладонью морщины, которыя противъ воли набѣгали и тѣснились на высокомъ лбу его. — Гдѣ жъ это вы пропадали? Сказывали: за двѣ недѣли до Святой придете, а теперь ужъ Страстная... ась?..

Василій замялся и покосился на брата.

— Не управились, батюшка, равнодушно отвѣчалъ Петръ.

— Что жъ такъ? дѣловъ, что ли, добре много у васъ тамъ?

— Да, таки есть...

— Болѣе отъ хозяина, батюшка, подхватилъ Василій: — кабы не онъ, мы бы давно дома были; посылалъ насъ въ Коломну съ рыбой.

— О-го, о! вотъ какъ! стало, вы у хозяина не токмо рыбаки, да еще и приказчики! признесъ Глѣбъ, слегка посмѣиваясь.

Но улыбка только скользнула по лицу его. Секунду спустя, оно по прежнему сдѣлалось серьезно и задумчиво.

— Какія же цѣны? почемъ рыба? спросилъ онъ, разглаживая бороду.

— Ну, вотъ, нашелъ о чемъ спрашивать? нетерпѣливо перебила Анна, забывшая уже, на радостяхъ, сумрачное расположеніе своего мужа. — Дай имъ духъ-то перевести; ну, что, въ самомъ-то дѣлѣ, пристали съ рыбой!.. Не изъ Сосновки пришли — изъ дальней дороги... Я чай, проголодались, родненькіе, золотые вы мои! Какъ не быть голодну! вѣстимо! Пойдемте, родные, пойдемте въ избу

скорѣй: тамъ погрѣетесь; а нонѣча какъ словно ждали васъ: печку топили... Дай мнѣ, Петруша, мѣшочекъ-то свой: дай понесу, касатикъ. Аграфена, возьми у мужа мѣшокъ-то... что стоишь! Подь Васенька, подь, ненаглядный...

Но Петръ и Василій не слушали матери, двигали только плечами и продолжали стоять противъ отца.

— Ну, пойдемте въ избу. Я чай, взаправду маленько того... проголодались; тамъ переговоримъ! сказалъ Глѣбъ.

Сыновья тотчасъ же повиновались, нахлобучили шапки и послѣдовали за нимъ. Достигнувъ мѣста, гдѣ находились лодки, они отстали отъ него на нѣсколько шаговъ и присоединились къ бабамъ.

— Что вы, родные? аль забыли что на берегу? воскликнула мать.

— Полно тебѣ кричать, матушка! говори тихо! отрывисто шепнулъ Петръ, кивая головой на отца.

— Никакъ онъ у васъ добре сердитъ нонѣ? тихо спросилъ Василій.

— И-и, приступу нѣтъ!..

— Съ чего-жъ такъ? перебилъ Петръ.

— А Господь его вѣдаетъ! Со вчерашняго дня такой-то сталъ... И сами не знаемъ, что такое. Такъ вотъ съ дубу и рветъ! Вы, родные, коли есть что на умѣ, лучше и не говорите ему. Обождите маленько. Авось отойдетъ у него сердце-то... такой-то бѣдовый, Боже упаси!

Это обстоятельство подѣйствовало, повидимому, самымъ непріятнымъ образомъ на двухъ рыбаковъ. Петръ бросилъ значительный взглядъ брату и нахмурилъ брови. Тотъ утвердительно кивнулъ головою, какъ будто хотѣлъ сказать: „Ладно, не сумнѣвайся: знаемъ, что дѣлать!“ Дѣло въ томъ, что имъ предстояло вести съ отцомъ весьма щекотливую бесѣду. Предметъ разговора былъ такого свойства, что страшно было приступить съ нимъ даже въ томъ случаѣ, еслибъ Глѣбъ находился въ самомъ отличномъ, сговорчивомъ расположеніи духа. Петру столько же прискучило жить въ зависимости у хозяина, сколько находиться подъ строгимъ надзоромъ отца. Онъ принялъ твердое намѣреніе освободиться отъ того и другого и попытать счастья—сдѣлаться самому хозяиномъ. Для этой цѣли онъ обогнулъ, на обратномъ пути изъ „рыбацкой слободы“, весь берегъ Оки отъ Серпухова до Коломны, побывалъ у всѣхъ береговыхъ

владѣльцевъ и наконецъ нашелъ свободное мѣсто для промысла. Петръ вѣрилъ въ свои силы. Къ тому же онъ зналъ, что стоило ему только свеснуть да выставить ведра два вина, въ батракахъ недостачи не будетъ. Денегъ у Петра не было,—едва-едва оставалось на столько, чтобы купить предположенныя ведра вина для задобренія работниковъ; но это не могло служить препятствіемъ. Мѣсто отдаютъ безъ задатка. Сѣтей по берегамъ вволю: поставилъ четверть сосѣду рыбаку-гулякѣ — вотъ тебѣ и сѣть. На первыхъ порахъ привередничать нечего: можно жить въ соломенномъ шалашѣ и ловить рыбу рваными сѣтками; у иного и новыя сѣти, да ничего не возьметъ; за лодками также не ходить стать: На Окѣ лодокъ не оберешься. Извѣстно, не дадутъ тебѣ здоровую: дадутъ похуже — ничего! на первыхъ порахъ поѣздимъ и въ худой. Мало ли плыветъ по Окѣ всякой дряни: обломковъ, досокъ, жердей, плывутъ даже цѣлыя бревна—будетъ чѣмъ заколачивать щели! Не будь сѣтей и лодокъ, Петръ и тогда не отказался бы отъ своего намѣренія. Такой ужъ былъ человѣкъ. Въ этомъ случаѣ весь въ отца уродился: ужъ когда что забралъ въ голову, живота лишится, а на своемъ поставитъ! Такъ, напримѣръ, рѣшился онъ взять жену и дѣтей, хотя не видѣлъ въ нихъ ровно никакой надобности. Оставить ихъ у отца, значило, по его мнѣнію, сдѣлать дѣло на половину. Домъ родительскій прискучилъ Петру такъ же, какъ жить у хозяина; ему хотѣлось разъ навсегда освободиться отъ власти отцовской, съ которой никакъ не могла ужиться его своевольная, буйно-грубая природа. Нечего, разумѣется, и говорить, что ему ничего не стоило склонить на свою сторону брата; онъ не принялъ даже на себя труда уговаривать и уламывать его. Петру стоило только обнаружить свою мысль, и Василій тотчасъ же согласился столько же по слабости духа и тому вліянію, какое производилъ на него буйно-несговорчивый нравъ брата, сколько и потому, можетъ статься, что онъ также не прочь былъ высвободиться изъ-подъ грознаго отцовскаго начала и подышать на волюшкѣ. Со всѣмъ тѣмъ, при видѣ выгнутыхъ, слегка вздрагивающихъ бровей отца, Петръ, несмотря на всю свою смѣлость, рѣшился выждать болѣе благопріятной минуты, чтобъ передать свои намѣренія. Времени впереди оставалось, однакожъ, немного. Основываясь на этомъ, Петръ, при входѣ въ избу, шепнулъ Василію, чтобы тотъ развязалъ языкъ и постарался разговорить, развеселить какъ-нибудь отца.

Всѣ сѣли за столъ, на который Анна и снохи ея поспѣшили поставить все, что было только въ печи. Василій переглянулся съ братомъ и, немедля ни минуты, принялся сообщать всѣ новости, какія приходили ему на умъ. Онъ передалъ всѣ слухи, носившіеся въ ихъ сторонѣ, сообщилъ разныя подробности о житьѣ-бытьѣ своемъ съ братомъ, причемъ Петръ заблаговременно судилъ отозваться весьма дурно о хозяинѣ; но, чтобы предостеречь себя отъ упрековъ отца, который прежде еще отсовѣтывалъ сыновьямъ жить въ найманхъ, прибавилъ, что хозяинъ ненадеженъ потому только, что пожаръ лишилъ его большей части имущества. Затѣмъ Василій, продолжая подмѣшивать въ свою рѣчь прибаутки, разсказалъ отцу о коровьей смерти и рекрутскомъ наборѣ.

Всѣ эти разсказы, особенно о послѣднихъ двухъ предметахъ, далеко не произвели на Глѣба ожидаемаго дѣйствія.

Онъ обрадовался возвращенію сыновей, хотя трудно было сыскать на лицѣ его признакъ такого чувства. Глѣбъ, подобно Петру, не былъ охотникъ „хлебать губы“ и радовался по своему; но радость, на минуту оживившая его отцовское сердце, прошла, казалось, вмѣстѣ съ безпокойствомъ, которое скрывалъ онъ отъ домашнихъ, но которое, тѣмъ не менѣе, начинало прокрадываться въ его душу при мысли, что сыновья неспроста запоздали цѣлой недѣлей. За исключеніемъ двухъ-трехъ вопросовъ, касавшихся собственно рыбнаго промысла, старый рыбакъ не принялъ даже участія въ бесѣдѣ. Онъ разсѣянно слушалъ разсказы Василія, гладилъ бороду и проводилъ ладонью по лбу—въ отвѣтъ на замѣчанія Петра. Улыбка ни разу не показалась на губахъ его. Трудно предположить, чтобы крѣпкая душа Глѣба такъ легко могла поддаться какому-нибудь горестному чувству. Во все продолженіе шестидесятипятилѣтней жизни своей, онъ не зналъ что̀ такое отчаяваться, убиваться, тосковать и падать духомъ. Лицо стараго рыбака выражало, впрочемъ, какъ нельзя лучше теперешнее состояніе души его. Черты его не вытягивались, какъ у человѣка огорченнаго; напротивъ того, онѣ были судорожно сжаты. Онъ попросту казался не въ духѣ, глядѣлъ сердито, досадливо. Но и этого было уже достаточно. Каждый изъ домашнихъ слишкомъ хорошо понималъ значеніе выгнутыхъ бровей Глѣба Савиныча, слишкомъ хорошо зналъ, какъ держать себя, когда Глѣбъ Савинычъ въ-сердцахъ. Тутъ уже не до шутокъ: на волоскѣ висишь — того и смотри, оборвешься! Упорное молчаніе Глѣба невольнымъ образомъ пріудер-

живало краснобая. Сердитый видъ главы семейства связывалъ присутствующихъ; бабы молчали. Тетка Анна, которая, въ минуту перваго порыва радости, забыла и суровое расположеніе мужа, и самого мужа, теперь притихла, и Богъ вѣсть, что̀ сталось такое: казалось бы, ей нечего было бояться: мужъ никогда не билъ ея,— а между тѣмъ робость овладѣла ею, какъ только она очутилась въ одной избѣ глазъ на глазъ съ мужемъ; языкъ не ворочался! Такъ бы вотъ, кажется, бросилась да и повисла на шею Васи: „Васенька! касатикъ, ненаглядный ты мой, годъ съ тобой не видалась, батюшка! Петя! дружокъ! подь ко мнѣ... Сыны вы мои родные!...“ а между тѣмъ руки не подымаются, голосъ замираетъ въ груди, ноги не двигаются. Дѣлать видно нечего: придется помучиться до той поры, пока наступитъ ночь и „старый“ уляжется въ свои сани подъ навѣсомъ. Старушка вознаградитъ тогда съ лихвою потерянное время: всласть насмотрится на дѣтей своихъ, всласть наговорится съ ними и, обнимая ихъ, прольетъ не одну радостную слезу. Въ ожиданіи этого, старушка и жена Петра слѣдовали примѣру Василисы, которая, прислонившись къ печкѣ, слѣдила съ какимъ-то безпокойно-живымъ любопытствомъ за движеніями своего мужа.

Послѣ обѣда Глѣбъ всталъ и, не сказавъ никому ни слова, принялся за работу. Часъ спустя, все шло въ домѣ самымъ обыденнымъ порядкомъ, какъ-будто въ немъ не произошло никакого радостнаго событія; еслибъ не веселыя лица бабъ, оживленныя быстрыми нетерпѣливыми взглядами, еслибъ не баранки, которыми снабдилъ Василій дѣтей брата, можно было подумать, что сыновья стараго Глѣба не покидали крова родительскаго.

Прошло два дня послѣ возвращенія рыбаковъ. Въ промежутокъ этого времени Петръ неоднократно готовился приступить къ отцу съ объясненіемъ, но, встрѣчая всякій разъ неблагосклонный взглядъ родителя, откладывалъ почему-то свое намѣреніе до слѣдующаго дня. Наконецъ онъ рѣшился выждать водополья, разсчитывая, не безъ основанія, что начало рыбной ловли авось-либо расшевелитъ отца и сдѣлаетъ его доступнѣе. То, чего ждалъ Петръ, не замедлило осуществиться.

На третьи сутки послѣ ихъ прихода, въ самую полночь, послышался неожиданно страшный трескъ, сопровождаемый ударами, какъ-будто тысячи исполинскихъ молотовъ заколотили разомъ въ берега и ледяную поверхность рѣки; трескъ этотъ, весьма похожій

на то, какъ-будто разрушилось вдругъ нѣсколько сотенъ избъ, мгновенно смѣнился глухимъ, постепенно возвышающимся гуломъ, который заходилъ посреди ночи, подобно освирѣпѣлому вѣтру, ломающему на пути своемъ столѣтніе дубы, срывающему кровли. Казалось, буря ударила на окрестность... Старый Глѣбъ встрепенулся. Слухъ его былъ давно насторожѣ; онъ выскочилъ изъ саней, сотворилъ крестное знаменіе и торопливо вышелъ за ворота.

Сквозь густую темноту ночи, которую усиливали черныя, быстро бѣгущія тучи, зоркій взглядъ рыбака различилъ въ отдаленіи мутно-бѣловатую полосу. То сверкала рѣка, которая пѣнилась и ревѣла какъ дикій звѣрь, вырвавшійся на волю. Дулъ сильный западный вѣтеръ; могучіе порывы его усиливали быстрину теченія. Плесъ воды смѣшивался съ трескомъ льдинъ, которыя поминутно отрывались отъ береговъ: грохотъ, стукотня, звонкіе удары ледяныхъ глыбъ, налетавшихъ другъ на дружку, раздавались въ ночномъ воздухѣ, который холодѣлъ съ каждою минутой. Наступило наконецъ такъ давно, такъ нетерпѣливо ожидаемое половодье; наступила наконецъ минута, столько же радостная для рыбака, какъ первый теплый весенній день для пахаря; спѣшитъ онъ на поле и, приложивъ грубую, но честную руку свою къ глазамъ, чтобы защитить ихъ отъ золотыхъ лучей восходящаго солнца, осматриваетъ, съ веселымъ выраженіемъ на добродушномъ лицѣ своемъ, тучные, изумрудно-зеленые стебельки озимаго хлѣба, покрывающіе его потомъ облитую землю... Глѣбъ не отрывалъ глазъ отъ бѣлѣющейся полосы, прислушивался къ звяканью льдинъ, какъ-будто отыскивалъ въ этихъ звукахъ признаки удачнаго или неудачнаго промысла, и задумчиво гладилъ бороду; на этотъ разъ его какъ словно не радовало даже что-то и самое половодье. Въ бывалое время онъ не простоялъ бы такъ спокойно на одномъ мѣстѣ; звучный голосъ его давно бы поставилъ на ноги жену и дѣтей; все, что есть только въ избѣ — все поневеливайся; всѣ, и малый и большой, ступай на берегъ поглядѣть, какъ рѣку ломаетъ, и поблагодарить Господа за его милости. „Эхъ-эхъ, гуляй-знай, погуливай, наша матушка Ока! гуляй, кормилица наша — апрѣль на дворѣ!...“ крикнетъ, бывало, Глѣбъ зычнымъ голосомъ, расхаживая по берегу, между тѣмъ какъ глаза его нетерпѣливо перебѣгаютъ отъ воды къ лодкамъ, а руки такъ и зудятъ схватить неводъ и пуститься съ нимъ попытать счастья! Теперь не то: стоитъ онъ молча и задумчиво гладитъ посѣдѣвшую бороду, какъ словно нѣтъ и рѣки передъ нимъ. Глѣбъ по-

стоялъ-постоялъ на одномъ мѣстѣ и вернулся на дворъ; онъ не разбудилъ даже домашнихъ. Прикутавшись въ полушубокъ, Глѣбъ снова улегся въ свои сани. Онъ лежалъ, однакожъ, не смыкая глазъ: сонъ бѣжалъ отъ него; его какъ словно тормошило что-то; независящая отъ него сила ворочала его съ боку на бокъ; время отъ времени онъ приподымалъ голову и внимательно прислушивался къ шуму рѣки, которая, вздуваясь и расширяясь каждую минуту, ревѣла и грохотала съ возрастающей силой. Рыбакъ вскакивалъ изъ саней, набрасывалъ въ накидку полушубокъ и выходилъ за ворота; такъ провелъ онъ цѣлую ночь вплоть до разсвѣта. Наконецъ онъ не выдержалъ. Бойко пошелъ онъ на дворъ и, постукивая кулакомъ въ плетеныя дверцы клѣтей и коморокъ, гдѣ спали жена и дѣти, закричалъ встрепенувшимся, повеселѣвшимъ голосомъ:

— Эй, вы, лежебоки, полно спать! вставай! вставай! эй, слышишь: рѣка взыгралась. Подымайся! пора!

Минуту спустя, семейство рыбака было на ногахъ; всѣ спѣшили за ворота.

XIII.

Водополье.

Къ утру рѣка успѣла уже затопить дальній берегъ. Она видимо почти разливалась все дальше и дальше, по лугамъ, которые, казалось, убѣгали къ горизонту. Вода и льдины ходили уже поверхъ кустовъ ивняка, покрывающихъ дальній плоскій берегъ; тамъ кое-гдѣ показывались еще ветлы: верхняя часть дуплистыхъ стволовъ и приподнятые кверху голые сучья принимали издали видъ черныхъ безобразныхъ головъ, у которыхъ отъ страха стали дыбомъ волосы; огромныя глыбы льда, уносившія иногда на поверхности своей цѣлый участокъ зимней дороги, стремились съ быстротою щепки, брошенной въ потокъ: доски, стоги сѣна, зимовавшіе на рѣкѣ и которыхъ не успѣли перевезти на берегъ, бревна, столѣтнія деревья, оторванныя отъ почвы и приподнятыя льдинами такъ, что наружу выглядывали только косматые корни, появлялись безпрестанно ме-

жду льдами *). Все давало знать, что рѣка достигла уже возвышенныхъ точекъ обоихъ береговъ. Иногда льдины замыкали рѣку, спирались, громоздились другъ на дружку, трескъ, грохотъ наполняли окрестность; и вдругъ все снова приходило въ движеніе: рѣка вдругъ очищалась на цѣлую версту; въ этихъ свѣтлыхъ промежуткахъ показывались шалашъ или расшива, подхваченные съ боковъ льдами: страшно перекосившись на сторону, они грозили спихнуть въ воду увлеченную вмѣстѣ съ ними собаку, которая то металась какъ угорѣлая, то садилась на окраину льдины и, поджавъ хвостъ, опрокинувъ назадъ голову, заливалась отчаянно-протяжнымъ воемъ. Часто слѣдомъ за ними стремился одинокій шестъ, торчавшій перпендикулярно изъ воды; на верхнемъ концѣ его сидѣла ворона и, покачиваясь изъ стороны въ сторону вмѣстѣ съ шестомъ, поглядывая съ любопытствомъ на всѣ стороны, преспокойно совершала свою водяную прогулку. Внезапно картина перемѣнялась: огромное пространство рѣки покрывалось милліонами бѣлыхъ, сверкающихъ обломковъ; какъ несмѣтныя стада испуганныхъ барановъ, они летѣли въ разсыпную, забиваясь иной разъ, словно въ замѣшательствѣ, въ кусты высокаго ивняка, верхушки которыхъ, отягченныя илоиъ, трепетно пригибались къ мутнымъ, шумно-говорливымъ струямъ. Окрестность превращалась въ море...

Семейство рыбака провело почти цѣлое утро надъ рѣкою. Послѣ завтрака, три сына Глѣба и пріемышъ, предводительствуемые самимъ старикомъ, появились съ баграми на плечахъ; всѣ пятеро разсыпались по берегу — перехватывать плывучій лѣсъ, которымъ такъ щедро награждало ихъ каждый годъ водополье. Къ обѣду всѣ замѣтили перемѣну на лицѣ Глѣба: онъ какъ словно повеселѣлъ. Петръ хотѣлъ было въ тотъ же вечеръ воспользоваться этимъ случаемъ. но Василій совѣтовалъ ему обождать. „Незамай его, братъ!“ сказалъ онъ: „что его, старика, раззадоривать; дай ему напередъ разгуляться; время терпитъ, идти намъ послѣ Святой — успѣешь еще сказать; бей съ однова; въ тотъ день, какъ идти намъ, тутъ и скажемъ!“ Петръ ничего не отвѣчалъ, однакожъ послушался.

Два дня спустя, на разсвѣтѣ, все семейство, отъ мала до велика, находилось въ новой избѣ. Столъ противъ краснаго угла былъ покрытъ чистымъ рядномъ; посреди стола возвышался пыш-

*) Льдинами.

ный ржаной коровай, а на немъ стояла икона, прислоненная къ липовой рѣзной солоницѣ, — икона, доставшаяся Глѣбу отъ покойнаго отца, такого же рыбака, какъ онъ самъ. Глѣбъ, величаво-выразительное лицо котораго было въ эту минуту проникнуто торжественнымъ спокойствіемъ, произнесъ молитву. Жена его, сыновья, снохи и даже дѣти преклонили колѣни. Послѣ молитвы икона была поставлена на свое мѣсто, и передъ нею затеплилась желтая восковая свѣча, которой предназначалось горѣть во все время, какъ будутъ продолжаться первыя попытки промысла. Послѣ этого присутствующіе набожно перекрестились. Глѣбъ вышелъ на берегъ, въ сопровожденіи всего своего семейства.

Лодки были уже спущены наканунѣ; неводъ, приподнятый кольями, изгибался чуть не во всю ширину площадки. Величественно восходило солнце надъ безкрайнимъ водянымъ просторомъ, озолоченнымъ косыми, играющими лучами; чистое, безоблачное небо раскидывалось розовымъ шатромъ надъ головами нашихъ рыбаковъ. Все улыбалось вокругъ и предвѣщало удачу. Не медля ни минуты, рыбаки подобрали неводъ, бросились въ челноки и принялись за промыселъ. Любо было имъ погулять на раздольѣ послѣ пятимѣсячнаго заточенія въ душныхъ закоптѣлыхъ избахъ!

Ока не представляла уже теперь дикаго смѣшенія изъ льдинъ, оторванныхъ пней и деревъ, ныряющихъ въ безпорядкѣ между мутными, бурными волнами; она была въ полномъ своемъ разливѣ. воды ея успокоились и стали прозрачнѣе. Ровною, серебряною скатертью, кой-гдѣ тронутою лазурью, протянулась рѣка на семь верстъ отъ берега до берега, и поверхность ея, какъ поверхность озера въ тихую погоду, казалась недвижною. Тамъ и сямъ, вдалекѣ, чернѣли лачужки озерскихъ рыбарей, затопленныя до кровли; мѣстами выглядывали изъ воды безлиственныя верхушки дубовъ; перекидываясь цѣликомъ въ гладкомъ зеркалѣ рѣки, онѣ принимали видъ маленькихъ островковъ, и только тоненькія, серебристыя полоски, оттѣнявшія эти островки, давали чувствовать быстрину теченія. Едва видными пятнышками мелькали челноки нашихъ рыбаковъ; голоса ихъ терялись въ пространствѣ. Птицы одни оживляли окрестность. Тучи дроздовъ, скворцовъ, дикихъ утокъ, стрижей и галокъ торопливо перелетали рѣку; дикій крикъ бѣлогрудыхъ чаекъ и рыболововъ, Богъ вѣсть откуда вдругъ взявшихся, немолчно носился надъ водою; сизокрылый грачъ также подавалъ свой голосъ; миріады ласточекъ сновали въ свѣжемъ, прозрачномъ воздухѣ и

часто, надрѣзавъ крыломъ воду, обозначали кругъ, который тотчасъ-же расплывался, уносимый быстротою теченія. Солнце между тѣмъ восходило все выше и выше, раскидывая сноп золотыхъ лучей по всему небу; точно рука Божія протягивалась изъ-за безкрайнаго горизонта и благословляла утро!

Нѣсколько сутокъ простояла рѣка въ полномъ своемъ разливѣ. Наконецъ, мало-по-малу, какъ-бы утомясь своимъ величіемъ, какъ-бы одолѣваемая сладкой дремотой, стала она укладываться въ свои берега. Вскорѣ на лугахъ, покрытыхъ вязкимъ илодотворнымъ иломъ, показались толпы народа; народъ валилъ изъ Комарева, Заполья, Баскача и всѣхъ окрестныхъ деревень, съ саками, ведрами, рѣшетами. Всѣ спѣшили, бабы и дѣти, запастись рыбкой, которую оставляетъ въ углубленіяхъ луговъ быстро убѣжавшая рѣка. Вскорѣ надъ маленькимъ озеромъ показалась сизая струйка дыма возвѣстившая нашимъ рыбакамъ, что дѣдушка Кондратій переселился уже съ своей дочкой изъ Комарева и также принялся за промыселъ..

Сумрачное расположеніе Глѣба прошло, повидимому, вмѣстѣ съ половодьемъ; первый „уловъ“ былъ такого рода, что нужно было только благодарить Господа за Его милость. Знатно „отрыбились!“

— Богъ сотворилъ рожденье, благословилъ насъ; намъ благодарить Его,—а какъ благодарить? знаю, молитвой да трудами. Богъ труды любитъ! Ну, ребята, что-жъ вы стали! живо! Ночи теперь не зимнія, отъ зари до зари невеликъ часъ... пошевеливайся!..

Все это говорилъ Глѣбъ вечеромъ, на другой день послѣ того, какъ рѣка улеглась окончательно въ берега свои. Солнце ужъ давно сѣло. Звѣзды блистали на небѣ. Рыбаки стояли на берегу и окружали отца, который приготовлялся уѣхать съ ними на рѣку „лучить“ рыбу.

— Ладно, такъ!.. Ну, Ванюшка, бѣги теперь въ избу, неси огонь! крикнулъ Глѣбъ, укрѣпивъ на носу большой лодки „козу“—родъ грубой желѣзной жаровни, и положивъ въ козу нѣсколько кусковъ смолы.—Неводъ свое дѣло сдѣлалъ: сослужилъ службу! продолжалъ онъ, осматривая конецъ „остроги“, желѣзной заостренной стрѣлы, которою накалываютъ рыбу, подплывающую на огонь:—надо теперь „съ лучомъ“ поѣздить... что-то онъ пошлетъ! Сдается по всему, плошать не съ чего: ночь тиха—лучше и требовать нельзя!

Ванюша не замедлилъ явиться, держа подъ полою фонарь съ зажженнымъ огаркомъ; немного погодя, смола затрещала, и коза вспыхнула яркимъ пламенемъ. Нижняя часть площадки, лица рыбаковъ и лодки окрасились вдругъ багровымъ трепетнымъ заревомъ.

— Ну, батька, говори, какъ размѣщаться? произнесъ Петръ.

— Вотъ какъ, проворно подхватилъ Глѣбъ, который окончательно уже повеселѣлъ и расходился:—ты, Петрушка, становись со мною на носу съ острогою... ладно! смотри только, не зѣвай... Гришка и Ванюшка садись въ греблю... живо за весла; да грести у меня тогда только, когда скажу; рыбка спитъ; тревожить ее незачѣмъ до времени... Крѣпко ли привязанъ къ кормѣ челнокъ?

Гришка отвѣчалъ утвердительно.

— Ну, поворачивайся... такъ!.. Ты, Васька, продолжалъ старикъ, обращаясь ко второму сыну, который держалъ лодку крючкомъ багра:—ты на корму. Ну, всѣ мы на мѣстахъ?

— Всѣ, отозвались рыбаки въ одинъ голосъ.

— Тссс!.. смотри, не горланить: говори тайкомъ,—однимъ глазами говори... Отдай!

Василій бросилъ багоръ и проворно прыгнулъ на корму.

— Ну, пущена лодочка на воду, отдана Богу на руки! весело воскликнулъ Глѣбъ, когда лодка, отчаленная веслами отъ берега, попла по теченію.

Тетка Анна и снохи ея сидѣли въ это время на завалинкѣ. Онѣ не отрывали глазъ отъ „луча“, который ярко горѣлъ посреди ночи и такъ отчетливо повторялся въ водѣ, окутанной темнотою наравнѣ съ лугами и ближнимъ берегомъ, что издали казалось, будто два огненные глаза смотрѣли изъ глубины рѣки. Иногда свѣтъ исчезалъ, и вмѣстѣ съ нимъ мгновенно пропадали лодка, привязанный къ ней челнокъ и люди, на ней находившіеся; но это продолжалось всего одну секунду. Новые куски смолы попадали въ козу, и красное пламя, раздвоившись мгновенно, снова загоралось на рѣкѣ. Тогда передъ глазами бабъ, сидѣвшихъ на завалинкѣ, снова обозначались дрожащія очертанія рыбаковъ и лодки, снова выступали изъ мрака высокія фигуры Петра и Глѣба Савинова, которые стояли на носу и, приподнявъ надъ головою правую руку, вооруженную острогою, перегнувшись корпусомъ черезъ бортъ, казались висѣвшими надъ водою, отражавшею багровый кругъ свѣта.

Глѣбъ не ошибся: лучъ отличился ничѣмъ не хуже невода. Къ полуночи въ лодкѣ оказалось не мало щукъ, окуневъ и другихъ рыбъ. Ловля приходила уже къ концу, когда Гришка обратился неожиданно къ Глѣбу.

— Батюшка, сказалъ онъ торопливо:—дай-ка я съѣзжу въ челнокѣ на ту сторону—на верши погляжу: должно быть, и тамъ много рыбы. Я запримѣтилъ, въ обѣдъ еще, веревки такъ вотъ, подъ кустами-то, и дергаетъ. Не унесло бы наши верши. Ванюшка одинъ справится съ веслами.

Не мѣшаетъ замѣтить, что Гришка, во все время, какъ продолжалось лученье, поминутно поглядывалъ на луговой берегъ. Присутствующіе, благодаря густой тѣни, которую набрасывала на пріемыша спина Глѣба, не замѣчали этихъ взглядовъ, точно такъ же, какъ не замѣчали плутовского, лукаваго веселья, разлившагося въ чертахъ его. Гришку точно что-то подмывало на мѣстѣ, и Ваня, сидѣвшій подлѣ, не разъ говорилъ ему, чтобъ онъ сидѣлъ тише. Время отъ времени Гришка затаивалъ дыханіе и прислушивался: мертвое молчаніе царствовало на луговомъ берегу. Изрѣдка лишь раздавался слабый звукъ, похожій на отдаленный крикъ совы; но этотъ крикъ пробуждалъ всегда почему-то такую прыткость въ движеніяхъ пріемыша, что Глѣбъ поворачивался къ кормѣ и пригибалъ забранку гребцамъ, которые раскачивали лодку и пугали рыбу.

Въ отвѣтъ на замѣчаніе Гришки о вершахъ, Глѣбъ утвердительно кивнулъ головою. Гришка однимъ прыжкомъ очутился въ челнокѣ и нетерпѣливо принялся отвязывать веревку, крѣпившую его къ большой лодкѣ; тогда Глѣбъ остановилъ его. Съ нѣкоторыхъ поръ старый рыбакъ все строже и строже наблюдалъ, чтобы посѣщенія пріемыша на луговой берегъ совершались какъ можно рѣже. Онъ слѣдилъ за нимъ во всѣ зоркіе глаза свои, когда дѣло касалось переправы въ ту сторону, гдѣ лежало озеро дѣдушки Кондратія.

— Погоди, произнесъ старый рыбакъ, обратившись неожиданно къ кормѣ:—одному тебѣ не справиться съ вершами. Ванюшка! ступай съ нимъ. Коли много рыбы, посади ее въ челнокъ, да живѣй домой, а верши опять подъ кусты, на прежнее мѣсто.

— А кто-жъ грести-то вамъ станетъ? отозвался Гришка, спѣша отвязать веревку.

— Дѣлай, что велятъ! объ этомъ не сумлѣвайся... Петръ! садись въ греблю.

— Ну, вотъ, батюшка! я и одинъ справлюсь, возразилъ Гришка, пуская челнокъ.

— Не смѣть, ни съ мѣста! крикнулъ Глѣбъ, топнувъ ногой.

Гришка сердито ударилъ багромъ въ бортъ лодки и снова притянулъ челнокъ. Ваня, не промолвивъ слова, поднялъ весло и помѣстился подлѣ пріемыша.

— Да смотри, не запаздывать у меня, живо домой!.. Ну, Петрушка, весла на воду. И намъ пора: давно ужь, я чай, полночь, произнесъ Глѣбъ, когда челнокъ, сурово отпихнутый Гришкой, исчезъ въ темнотѣ.

Ваня и товарищъ его плыли молча. Съ нѣкоторыхъ поръ они рѣдко сталкивались вмѣстѣ: они какъ словно избѣгали даже другъ друга; въ этомъ, впрочемъ, скорѣе можно было упрекнуть пріемыша. Со стороны сына рыбака не было замѣтно, чтобы онъ таилъ въ душѣ какія-нибудь непріязненныя чувства къ товарищу своего дѣтства. Въ отношеніяхъ его съ пріемышемъ замѣтна была только воздержность. Задумчивое, прекрасное лицо молодого рыбака сохраняло такое же спокойствіе, когда онъ говорилъ съ Гришкой, какъ когда оставался наединѣ. Черные, быстрые взгляды пріемыша говорили совсѣмъ другое, когда обращались на сына рыбака: они горѣли ненавистью, и чѣмъ спокойнѣе было лицо Вани, тѣмъ сильнѣе съуживались губы Гришки, тѣмъ сильнѣе вздрагивали его тонкія, подвижныя ноздри. Онъ самъ не могъ бы растолковать, за что такъ сильно ненавидѣлъ того, который, пользуясь всѣми преимуществами любимаго сына въ семействѣ, былъ тѣмъ не менѣе всегда роднымъ братомъ для пріемыша и ни словомъ, ни дѣломъ, ни даже помысломъ, не далъ повода къ злобному чувству. Впрочемъ, Гришка и не думалъ отдавать себѣ отчета въ своихъ ощущеніяхъ, точно такъ же, какъ не утруждался скрывать ихъ отъ товарища.

Итакъ, они плыли молча. Челнокъ приближался уже къ кустамъ ивняка и находился недалеко отъ высокой ветлы, висѣвшей надъ омутомъ, когда внезапно, посреди тишины, снова раздался крикъ совы, но на этотъ разъ такъ близко, что оба рыбака подняли голову.

— Никакъ „сычъ“? произнесъ Гришка, быстро окинувъ глазами Ваню; но мракъ покрывалъ лицо Вани, и Гришка не могъ различить черты его.—Вотъ что, примолвилъ вдругъ пріемышъ:— высади-ка меня на берегъ: тутъ подъ кустами, недалече отъ омута,

привязаны три верши. Ты ступай дальше: погляди тамъ за омутомъ, объ утро туда кинули пятокъ. Я тебя здѣсь подожду.

Ваня ничего не отвѣчалъ и только приподнялъ весло. Пріемышъ быстро повернулъ челнокъ и прыгнулъ въ кусты.

— Вотъ какъ-разъ угодили въ самое то мѣсто, сказалъ онъ, потрясая веревками, которыя прикрѣпляли верши къ берегу. — Смотри же, я здѣсь жду, примолвилъ онъ и громко засвисталъ.

Но Ваня огибалъ уже водоворотъ и находился шагахъ во ста отъ пріемыша. Достигнувъ мѣста, гдѣ закинуты были другія верши, онъ остановился, бережно вынулъ весло изъ воды и, ухватившись руками за сучья кустарника, притаилъ дыханіе. Такъ провелъ онъ нѣсколько минутъ, какъ прикованный, вмѣстѣ съ челнокомъ своимъ. Кругомъ все было тихо: онъ слышалъ только, какъ колотилось его собственное сердце и какъ, въ отдаленіи, шуршукалъ онуть, вертѣвшій свою воронку подъ старой ветлою. Наконецъ онъ выпустилъ сучья изъ правой руки, судорожно отеръ ладонью потъ, который, несмотря на холодъ ночи, выступалъ крупными горошинами на лицѣ, и, укрѣпивъ челнокъ, принялся осматривать верши: осмотрѣлъ одну, взялся за другую—и вдругъ кинулся въ челнокъ и полетѣлъ стрѣлою назадъ. Нѣсколько ударовъ весла, прыжокъ—и Ваня очутился на томъ мѣстѣ, гдѣ оставилъ пріемыша. Послышался слабый, затаенный возгласъ; но это не былъ крикъ совы. Слишкомъ знакомый голосъ прозвучалъ въ ушахъ Вани, и вслѣдъ затѣмъ что-то бѣлое быстро промелькнуло передъ его глазами. Въ то же время Гришка остановился противъ него и загородилъ ему дорогу. Ваня отодвинулся въ сторону и продолжалъ слѣдить за бѣлымъ пятномъ, которое исчезало въ темнотѣ.

— Чего тебѣ надыть? удушливымъ голосомъ произнесъ Гришка, становясь снова передъ товарищемъ и такъ близко наклонялся къ его лицу, что тотъ почувствовалъ теплоту его прерывающагося дыханія.

Ваня слегка отклонилъ его рукою и, не повернувъ даже головы, продолжалъ смотрѣть въ ту сторону, гдѣ скрылось бѣлое пятно.

— Чего тебѣ надыть! яростно повторилъ Гришка, приподымая, въ замѣшательствѣ, кулаки и скрежеща зубами.

Ваня повернулъ тогда къ нему лицо свое, отступилъ шагъ назадъ и сказалъ спокойнымъ голосомъ, въ которомъ замѣтно было, однакожъ, легкое колебанье:

— Полно, братъ, чего ты бѣснуешься? я вѣдь давно все знаю; таиться вамъ отъ меня нечего. Богъ съ вами, я вамъ не помѣха.

— Какая? въ чемъ помѣха? проговорилъ Гришка, сраженный, повидимому, спокойствіемъ своего противника.

— Перестань, братецъ! кого ты здѣсь морочишь? продолжалъ Ваня, скрестивъ на груди руки и покачивая головою.—Самъ знаешь, про что говорю. Я для эвтаго болѣе и пришелъ, хотѣлъ сказать вамъ: Господь, молъ, съ вами; я вамъ не помѣха! А насчетъ тоесть злобы, либо зависти какой, я ни на нее, ни на тебя никакой злобы не имѣю; живите только по закону, какъ Богомъ показано...

— Ой-ли? насмѣшливо перебилъ Гришка.

Ваня отступилъ нѣсколько шаговъ и потупилъ голову.

— Господь тебѣ судья, когда такъ! сказалъ онъ твердымъ, хотя грустнымъ голосомъ.

Затѣмъ онъ медленно повернулся къ рѣкѣ и пошелъ къ челноку.

Немного погодя, берегъ опустѣлъ. Вскорѣ опустѣла и самая рѣка, встревоженная на минуту веслами двухъ удаляющихся рыбаковъ.

XIV.

Лачуга дѣдушки Кондратія.

Въ четвергъ на Святой, часа за два до полудня, Глѣбъ остановилъ Ванюшу въ ту минуту, какъ тотъ проходилъ мимо и готовился выйти за ворота.

— Куда ты бредешь? спросилъ отецъ.

— На рѣку, батюшка.

— А что, примѣрно, можно спросить, какая надобность идти тебѣ на рѣку? продолжалъ шутливо отецъ.

— Можно, батюшка; грѣха нѣтъ въ этомъ. Хотѣлось такъ, просто на воду поглядѣть...

— Ой, врешь! подсмѣиваясь перебилъ отецъ.

Въ эту самую минуту, за спиною Глѣба, кто-то засмѣялся. Старый рыбакъ оглянулся и увидѣлъ Гришку, который стоялъ подлѣ навѣсовъ, скалилъ зубы и глядѣлъ на Ваню такими глазами, какъ

будто подтрунивалъ надъ нимъ. Глѣбъ не сказалъ, однакожъ, ни слова пріемышу,—ограничился тѣмъ только, что отлянулъ его съ насмѣшливымъ видомъ, послѣ чего снова обратился къ сыну.

— Ну, вотъ что, грамотникъ, примолвилъ онъ, толкнувъ его слегка по плечу:—на рѣку тебѣ идти незачѣмъ: завтра успѣешь на нее насмотрѣться, коли ужъ такая охота припала. Ступай-ка лучше въ избу да шапку возьми: сходимъ-ка на озеро, къ дѣдушкѣ Кондратію. Онъ къ намъ на праздникахъ два раза навѣдывался, а мы у него ни однова не бывали,—не годится. Къ тому же и звалъ онъ нонѣче.

При этомъ Глѣбъ лукаво покосился въ ту сторону, гдѣ находился пріемышъ. Гришка стоялъ на томъ же мѣстѣ, но уже не скалилъ зубы. Смуглое лицо его измѣнилось и выражало на этотъ разъ столько досады, что Глѣбъ невольно усмѣхнулся; но старикъ по прежнему не сказалъ ему ни слова и снова обратился къ сыну.

— Ну, что-жъ ты стоишь, Ванюшка? али уши запорошило? Ступай, бери, шапку, проговорилъ онъ, поглядывая на сына, который краснѣлъ, какъ жаровня, выставленная на сквозной вѣтеръ, и переминался на одномъ мѣстѣ, съ самымъ неловкимъ видомъ.

— Батюшка, сказалъ наконецъ Ваня:—ты бы одинъ сходилъ, либо вотъ другого кого изъ нашихъ взялъ...

— Это по какимъ причинамъ?

— Да такъ, батюшка, подхватилъ Ваня, стараясь придать своему лицу веселое выраженіе: — такъ, мнѣ что-то не хочется... я бы лучше дома побылъ.

— Сказалъ: „ты“ пойдешь, стало, оно такъ и будетъ! стало, и разговаривать нечего. Долго думать—тому же быть. Ступай, бери шапку.

— Право, батюшка...

— Ну, ну, ну! я вѣдь эвтаго не люблю! ступай! отрывисто сказалъ отецъ.

Глѣбъ не терпѣлъ возраженій. Ужъ когда что сказалъ, слово его какъ свая, крѣпко засѣвшая въ землю — ни за что не сдвинешь! Отъ молодого, девятнадцатилѣтняго парня, да еще отъ сына, который въ глазахъ его былъ ни больше, ни меньше, какъ молокососъ, онъ и подавно не вынесъ бы супротивности. Впрочемъ, и сынъ былъ послушенъ—не захотѣлъ бы сердить отца. Ваня тотчасъ же повиновался и поспѣшилъ въ избу.

— Гришка! сказалъ Глѣбъ.

Пріемышъ подошелъ молча.

— Ты у меня нынѣче ни съ мѣста! Петръ, Василій и сноха, можетъ статься, не вернутся: заночуютъ въ Сосновкѣ, у женниной родни; останется одна наша старуха: надо кому-нибудь и дома быть; ты останешься! Слышишь, ни съ мѣста! За вершами съѣздишь, когда я и Ванюшка вернемся съ озера.

Сказавъ, это, Глѣбъ повернулся къ нему спиною и пошелъ къ воротамъ. Проводивъ его злобнымъ взглядомъ, Гришка топнулъ ногою о-земь и, сдѣлавъ угрожающій жестъ, нетерпѣливыми шагами вышелъ въ заднія ворота, бормоча что-то сквозь крѣпко стиснутые зубы.

Въ ожиданіи сына, Глѣбъ сѣлъ на завалёнку.

„Такъ, стало, оно и есть! То-то давненько еще запримѣтилъ я, какъ словно промежъ ними неладно что-то“, думалъ старый рыбакъ. „Парней—двое, дѣвка—одна: вѣстимо, что̀ мудренаго! чего мало, то и въ диковинку; оно завсегда такъ-то бываетъ! Ну, да какъ быть! на всѣхъ не угодишь. Не ломоть дѣвка: пополамъ не разломишь! И то сказать: коли настоящимъ дѣломъ взять, незачѣмъ Гришкѣ и жена теперь; куда она ему! На службѣ не до нея: только-что вотъ лишняя тягота на плечахъ... Эхъ, жаль, парня-то! оченно жаль! знамо, не какъ роднаго дѣтища, а все песокъ на сердцѣ: много добре привыкли мы къ нему; жилъ, почитай, что съ самаго малолѣтства... И парень-то ловокъ,—что говорить! озоровать, а ловокъ. Рыбакъ былъ бы знатный: далось ему ремесло... ну, да что дѣлать! Требуется—стало, такъ тому и слѣдуетъ быть!“ продолжалъ Глѣбъ, потряхивая головою. „Вотъ одного только въ толкъ не возьму никакъ: съ чего мой-то артачится?.. Тотъ скучаетъ: знамо, досадно, завидки берутъ,—положимъ такъ; ну, а этому что? Дѣвка, что ли, не по сердцу, не по нраву пришла? Какую же ему еще?.. Ужъ эта ли еще не дѣвка: лицомъ пригожа, хоть бы и не про насъ. Ну, также вотъ и на счетъ права: дѣвка ласковая, скромница... да и родня хорошая: всего одинъ отецъ старикъ, да и тотъ изъ лучшихъ хорошій... Такъ нѣтъ, поди-жъ ты, ломается! И диковинное это дѣло, право, не допытаешься никакъ: затаился, какъ огонь въ кремнѣ!.. А видно, видно по всему: есть что-то на разумѣ; скучаетъ чѣмъ-то!.. То-то, давно пора бы, по настоящему, женить его. Кабы да не прошлогодняя стройка, не изба новая, давно бы дѣло-то слажено было... А на это, что онъ не охотится до невѣсты, смотрѣть нечего: я вѣдь уловать; маленько что,

и таску дамъ... Ноньче же переговорю съ дядей Кондратіемъ и по рукамъ; въ воскресенье спросимъ дѣвку, а въ предбудущее и повѣнчаемъ!.. Глупый, и самъ своего счастья не вѣдаетъ! поживетъ, поживетъ мѣсяцъ другой съ женою, да и въ ноги отцу: спасибо, молъ, что приневоливалъ! Да и намъ повеселѣе тогда будетъ: къ тому времени, того и гляди, повѣстятъ о некрутствѣ, Гришка уйдетъ; все не такъ скучать станемъ; поглядимъ тогда на своихъ молодыхъ: осталась по крайности хоть утѣха въ дому!..“

Размышленія Глѣба были прерваны на этомъ мѣстѣ приходомъ сына.

Въ походкѣ и движеніяхъ молодого парня не было замѣтно ни малѣйшей торопливости. Все существо его было, казалось, проникнуто чувствомъ покорности и безпрекословнаго повиновенія волѣ родительской. Глаза, опущенные въ землю, тоска, изображавшаяся на поблѣднѣвшемъ лицѣ, ясно показывали, однакожъ, что повиновеніе это стоило нѣкоторыхъ усилій молодому парню. Все это не ускользнуло отъ проницательнаго взгляда стараго рыбака; онъ оставался, повидимому, очень недоволенъ наблюденіями своими надъ сыномъ. Въ другое время онъ, конечно, не замедлилъ бы выйти изъ себя; запылилъ бы, закричалъ, затопалъ и далъ бы крѣпкій напрягай сыну, который невѣсть чего, въ самомъ дѣлѣ, продолжаетъ глядѣть „комомъ“ (собственное выраженіе Глѣба, требовавшаго всегда, чтобъ молодые люди глядѣли „розсыпью“), продолжаетъ ломаться, таиться и даже осмѣливается худѣть и задумываться; но на этотъ разъ онъ не обнаружилъ своего неудовольствія. Причина такого необыкновеннаго снисхожденія заключалась единственно въ хорошемъ расположеніи: ужъ коли нашла сердитая полоса, на недѣлю, либо на двѣ, къ нему лучше и не подступайся: словно закалился въ своемъ чувствѣ, какъ въ бронѣ желѣзной; нашла веселая полоса, и въ весельи былъ точно такъ же постояненъ: смѣло ходи тогда; ину пору хотя и выйдетъ что-нибудь неладно, не по его,—только посмѣется да посрамитъ тебя неотвязчивымъ, скоморошнымъ прозвищемъ.

Такъ было и теперь.

— Ну, что, дьячокъ, что голову-то повѣсилъ? отряхнись! сказалъ Глѣбъ, какъ только прошло первое движеніе досады: — али ужъ такъ кручина больно велика?.. Эхъ, ты! Раненько, братъ, кручиной забираешься... Погоди, будетъ время, придетъ и незваная, непрошеная!.. Пей, веселись—вотъ пока твоя вся забота... а то

нахохлился; подумаешь, взаправду, несчастный какой... Эхъ, ты, слабый! ира, слабый! Ну, что ты за парень? что за рыбакъ? Мякина, право слово, мякина! заключилъ Глѣбъ, постепенно смягчаясь, и снова началъ ухмыляться въ бороду.

Во все время, какъ они переѣзжали рѣку, старикъ не переставалъ подтрунивать надъ молодымъ парнемъ. Тотъ хоть бы слово. Не знаю, стало ли жаль Глѣбу своего сына, или такъ, попросту, прискучило ему метать насмѣшки на безотвѣтнаго собесѣдника, но подъ конецъ и онъ замолкъ.

А между тѣмъ все вокругъ должно было бы располагать путниковъ къ веселой бесѣдѣ.

День былъ чудный. На небѣ ни облачка; солнце, обливая мягкою теплотою оттаявшую землю, горѣло какъ-то празднично. Птицы весело щебетали въ тихомъ, едва движущемся воздухѣ. Хотя на деревьяхъ не было еще листвы, только-что начинали завязываться почки, покрытыя клейкимъ, пахучимъ лакомъ; хотя луга, устланные иломъ, представляли еще темноватую, однообразную площадь, со всѣмъ тѣмъ и луга, и деревья, затопленные желтымъ лучезарнымъ свѣтомъ весенняго утра, глядѣли необыкновенно радостно. Уже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ солнце сильнѣй припекало въ полдень, пласты ила совсѣмъ пересохли. Сквозь рыхлую ихъ поверхность, изрѣзанную безчисленнымъ множествомъ мелкихъ трещинъ и приподнятую какъ скорлупа, начинали пробиваться кое-гдѣ желтые, розовые и красные, какъ кровь, стебельки цикорія. Легкій вѣтерокъ, срывавшійся иногда съ озеръ, окруженныхъ купами ольхи, орѣшника и ветлы, разливалъ въ воздухѣ запахъ сырой лѣсистой почвы. Тамъ, подъ влажною тѣнью кустовъ, листъ ландыша уже развертывалъ свою трубочку въ сосѣдствѣ съ фіялкой, которая скромно показывала свою блѣдно-голубую головку надъ темными, мшистыми ворохами прошлогодняго валежника. Все возвѣщало весну: и темно-лазоревый цвѣтъ неба, и пѣсни птицъ, и запахъ почекъ, и мягкая, проникающая теплота воздуха, и даже огромныя глыбы льда, которыя попадались на пути Глѣба и которыхъ занесло въ луга половодье. Льдины эти, пронизанныя насквозь лучами, лежали уже рыхлыми, изнемогающими массами; поминутно слышалось, какъ верхніе края ихъ обрывались на-земь и разсыпались тотчасъ же въ милліоны звонкихъ, сверкающихъ иголъ; еще два-три такихъ дня, и страшныя имры, повергавшія такъ недавно на пути своемъ столѣтніе дубы, превратятся въ лужицы, по которымъ смѣло и бойко побѣжитъ

мелкій куличокъ-свистунчикъ. Глѣбъ и сынъ его не замедлили, однакожъ, различить сквозь сучья деревьевъ, окаймлявшихъ озеро, лачужку дѣдушки Кондратія

Жилище старичка представляло оригинальную, совершенно типическую физіономію. Это было что-то среднее между ветхою, закоптѣлою избушкой на курьихъ ножкахъ, о которой говорится въ сказкахъ, и живописною, веселою степной хаткой, или „мазанкой", какъ ихъ называютъ обыкновенно на югѣ Россіи. Когда дѣдушка Кондратій переселился на озеро (тринадцать лѣтъ тому назадъ), средства не позволяли ему купить цѣлую избу. Силъ хватало только, чтобы пріобрѣсти дюжину стропилъ, да и то обгорѣлыхъ, и еще другую дюжину кривыхъ, сѣдыхъ бревенъ. Недостающій матеріалъ пополнялся плетнями, густо оштукатуренными снутри и снаружи смѣсью изъ глины, рѣчного песку и рубленой соломы. Дѣдушка началъ съ того, что срылъ отвѣсно часть небольшого естественнаго бугорка; въ этой выемкѣ помѣщалась избушка; задній „фасъ" ея плотно примкнулъ къ земляному откосу до самой кровли; бока ея закрылись частію постепенно понижающимся склономъ бугорка, частію плетнями. Лицевая сторона, гдѣ находилась дверь (окна прорѣзаны были съ боковъ), состояла изъ вышеупомянутыхъ бревенъ. Неровности и щели прикрывались заплатами изъ досокъ и глины: издали казалось, передъ вами сидитъ дряхлый старичокъ, въ рубищѣ, съ больными, подвязанными глазами. Надобно было также подумать защитить себя отъ дождя. Лѣтомъ куда бы еще ни шло; прольетъ ливень, солнышко скоро высушитъ; но осенью, когда солнышко повернетъ на зиму, а дождь зарядитъ на два-три мѣсяца, тутъ какъ быть? Для этой цѣли дѣдушка выпустилъ края крыши и какъ можно больше, такъ что самый косой дождь съ трудомъ досягалъ до порога двери; такъ много соломы положено было на крышу, что она утратила свою остроконечную форму и представлялась копною или вздутымъ каравaемъ. Но дѣдушка немного заботился о красотѣ: главное было бы тепленько, и потому, недѣлю назадъ, какъ только перебрался изъ Конарева, прикинулъ еще свѣженькой соломки. Лачужка походила теперь, ни дать ни взять, на старый грибъ съ почернѣлымъ стержнемъ, но сохранившеюся желтой верхушкой, которая лоснилась на солнцѣ. Но какъ бы то ни было, грибъ ли, слѣпой ли старикъ съ обвязанными глазами,—лачужка не боялась грознаго водополья; ольха, ветлы, кусты, обступавшіе ее со всѣхъ сторонъ, защищали ее, какъ молодые нѣжные сыны, отъ льдинъ и охотно

принимали на себя весь грузъ ила, которымъ обвѣшивались всякій разъ, какъ трофеемъ. Лѣтомъ жилище рыбака превращалось въ теплое гнѣздо, запрятанное въ густую зелень. Тамъ, сквозь темную листву ольхи, просвѣчивала соломенная, солнцемъ облитая кровля, здѣсь, между блѣдными, серебристыми вѣтвями ивы, чернѣла раскрытая дверь. Пестрые лохмотья, развѣшанныя по кустамъ, бѣлыя рубашки, сушившіяся на веревочкѣ, верши, разбросанныя въ безпорядкѣ, сѣти, прислоненные къ углу, и между ними новенькій сосновый, лоснящійся какъ золото багоръ, двѣ-три ступеньки, вырытыя въ землѣ для удобнаго схода на озеро, темный, засмоленный челнокъ, качавшійся въ синей тѣни раскидистыхъ ветелъ, висѣвшихъ надъ водою,—все это представляло въ общемъ обыкновенно живописную, миловидную картину, которыхъ такъ много на Руси, но которыми наши пейзажисты, вѣроятно отъ избытка пылкой фантазіи и черезчуръ сильнаго поэтическаго чувства, стремящагося изображать румяныя горы, кипарисы, похожіе на ворохи салата, и восточныя гробницы, похожія на куски мыла,—никакъ не хотятъ пользоваться.

Глѣбъ и сынъ его подошли къ избушкѣ; осмотрѣвшись на стороны, они увидѣли, шагахъ въ пятнадцати, дѣдушку Кондратія, сидѣвшаго на берегу озера. Свѣсивъ худощавыя ноги надъ водою, вытянувъ впередъ бѣлую какъ лунь голову, освѣщенную солнцемъ, старикъ удилъ рыбу. Онъ такъ занятъ былъ своимъ дѣломъ, что не замѣтилъ приближенія гостей; нѣсколько пискарей и колюшекъ, два-три окуня, плескавшіеся въ сѣромъ глиняномъ кувшинѣ, сильно, повидимому, заохотили стрика.

— Здорово, дядя! „клёвъ на уду!“ *) весело воскликнулъ Глѣбъ.

— А-а, сосѣдушка! добро пожаловать! не менѣе весело сказалъ старикъ, поворачивая къ гостямъ дѣтски-простодушное лицо свое, окруженное бѣлыми какъ снѣгъ волосами, падавшими до плечъ.— Ну, здравствуйте, здравствуйте! продолжалъ онъ, медленно приподнимаясь на ноги и прислоняя удочку къ кустамъ.—И Ванюшу взялъ съ собою; ну, ладно. Спасибо тебѣ, сосѣдушка! радъ ему! Здравствуй, молодецъ. Давненько не былъ ты у меня... ну, да все равно, теперь пришелъ провѣдать; и то хорошо... Спасибо, не запамятовалъ, Глѣбъ Савинычъ! То-то; вѣдь я ждалъ тебя... Дуня! Дуняша! заключилъ дѣдушка Кондратій, обращаясь къ лачужкѣ.

*) Обычное привѣтствіе рыбаковъ, застающихъ собрата за ужевьемъ.

При этомъ дверь отворилась, и на порогѣ показалась дочка старика. Восьмилѣтняя дѣвочка, которую мы встрѣтили когда-то собирающею валежникъ въ прибрежныхъ кустахъ, успѣла уже съ того времени превратиться въ красивую, стройную дѣвушку. Въ ней легко было узнать, однакожъ, прежняго ребенка: глаза голубые, какъ васильки, остались все тѣ же; такъ же привлекательно круглилось ея лицо, хотя на немъ не оставалось уже слѣда бойкаго, живого, ребяческаго выраженія. Пестрый платокъ, накинутый на скорую руку на ея бѣлокурые волосы, бросалъ прозрачную тѣнь на чистый, гладкій лобъ дѣвушки, и слегка оттѣнялъ ея глаза, которые казались поэтому нѣсколько глубже и задумчивѣе; бѣлая сорочка, слегка приподнятая между плечами молодою грудью, обхватывала станъ Дуни, перехваченный клѣтчатой юбкой, или „понявой", исполосованной красными клѣтками по темному полю. Обыкновенно, понявы эти не бываютъ длинны; благодаря такому обстоятельству, можно было вдосталь любоваться тонкими, босыми ногами молодой дѣвушки, которыя немного повыше пятки закруглялись, обозначая начало свѣжей, розовой икры.

Первое движеніе Дуняши при видѣ гостей было откинуться поспѣшно назадъ; но, разсудивъ въ ту же секунду, что сколько ни прятаться, съ гостями все-таки приведется провести большую часть дня, она снова показалась на дорогѣ. Щеки ея горѣли яркимъ румянцемъ; мудренаго нѣтъ: она готовила обѣдъ и цѣлое утро провела противъ пылающей печки; могло статься—весьма даже могло статься, что краска бросилась въ лицо Дуни при видѣ Ванюши.

— Дуняша? сказалъ дѣдушка Кондратій мягкимъ, колеблющимся голосомъ:—гости дорогіе пришли! собирай-ка обѣдъ. А что, сосѣдъ, я чай, взаправду, не пора ли поснѣдать? вишь, солнышко-то какъ высоко!..

— Что жъ, давай; доброе дѣло... Э, да постой... Дуня, Дуня! живо подхватилъ Глѣбъ, обращаясь къ дочери сосѣда, которая готовилась скрыться за дверь:—погоди, касатушка. Развѣ такъ дѣлаютъ добрые люди, ась? вѣдь мы съ тобой на Святой-то не видались: я чай, и похристосоваться надыть!.. А нутка, подь-ка, давай-ка христосоваться!.. Ну, Христосъ воскресе!—такъ! вотъ это такъ, какъ быть слѣдуетъ... Ну, а что-жъ съ моимъ-то парнемъ? Развѣ вы нехристи?.. Ванюшка, что-жъ ты стоишь?.. ахъ, ты... ну! заключилъ Глѣбъ, посмѣиваясь, между тѣмъ какъ молодые люди стояли другъ противъ друга съ потупленными головами.

Одно и то же чувство—чувство неловкости, тягостнаго принужденія,—быть-можетъ, даже стыда со стороны дѣвушки, проглядывало на лицѣ того и другого. Но нечего было долго думать. Глѣбъ, чего добраго, начнетъ еще подтрунивать. Ваня подошелъ къ дѣвушкѣ и, перемивая въ рукахъ шапку, поцѣловалъ ее трижды (Глѣбъ настоялъ на томъ), причемъ, казалось, вся душа кинулась въ лицо Вани и колѣни его задрожали.

— Ну, а насчетъ красныхъ яичекъ не взыщи, красавица: совсѣмъ запамятовали!.. А все онъ, ей-Богу! должно быть, ужъ такъ оторопѣлъ, къ вамъ добре идти заохотился, смѣясь проговорилъ Глѣбъ и подмигнулъ дѣдушкѣ Кондратію, который во все время, съ веселымъ, добродушнымъ видомъ, смотрѣлъ то на сосѣда, то на молодую чету.

Немного погодя, старикъ ввелъ гостей своихъ въ избушку.

XV.

Бесѣда.

Дѣдушка Кондратій, придерживаясь, вѣроятно, старой, пословицы, которая гласитъ: „отъ хозяина должно пахнуть вѣтромъ, отъ хозяйки—дымомъ“, исключительно занимался наружными стѣнами и кровлей своей лачуги, внутреннее же устройство отдавалъ въ полное распоряженіе своей дочери. Между наружностію лачуги и внутреннимъ ея видомъ, находилась такая-же почти разница, какъ между самимъ старикомъ и молодой дѣвушкой: тутъ все было прибрано, свѣтло, весело и чисто. Красный уголъ былъ выбѣленъ; тутъ помѣщались образа; остальныя части стѣнъ, составлявшія продолженіе угла, оставались только вымазанными глиной; мѣдныя ризы иконъ, вычищенныя мѣломъ къ свѣтлому празднику, сверкали какъ золото; подлѣ нихъ виднѣлся возобновленный пучокъ вербы, засохнувшая просфора, святая вода въ муравленномъ кувшинчикѣ, красныя яйца и нѣсколько священныхъ книгъ въ темныхъ кожаныхъ переплетахъ, съ мѣдными застежками,—тѣ самыя, по которымъ Ваня учился когда-то грамотѣ. Въ противоположномъ углу воздвигалась печка, съ перерубочками, для удобнаго влѣзанья: она

занимала ровно четвертую часть жилища; надъ ухватомъ, кочергою и „голикомъ“ (вѣникомъ), прислоненнымъ къ печуркѣ, лѣпилась сосновая полка, привѣшенная къ гвоздямъ веревками; на ней—пузатые горшки, прикрытые деревянными кружками; такъ какъ мѣста на полкѣ оставалось еще много, молодая хозяйка помѣстила въ сосѣдствѣ съ горшками, самопрялку, съ тучнымъ пучкомъ кудели на макушкѣ гребня. Уголъ налѣво, ближайшій къ двери (любимый уголокъ старичка: тутъ онъ плелъ обыкновенно свои лапти и чинилъ сѣти), не представлялъ ничего особенно примѣчательнаго, если не считать островерхой клѣтки съ перепеломъ, да еще шапки Кондратія, прицѣпленной къ деревянному гвоздю; верхушка шапки представлялась чѣмъ-то въ родѣ туго набитаго синяго мѣшка; величиною и вѣсомъ своимъ она могла только равняться съ знаменитою шапкой, купленной двадцать лѣтъ тому назадъ покойнымъ Акимомъ Гришкѣ, когда ребенку исполнился годъ. На бичевкѣ, протянутой отъ выступа печи до верхняго косяка двери, висѣла грубая посконная занавѣска, скрывавшая правое окно и постель рыбаковой дочки: узковатость занавѣски позволяла, однакожъ, различить полотенце, висѣвшее въ изголовьяхъ, и крошечное оловянное зеркальце, испещренное зелеными и красными пятнышками, одно изъ тѣхъ зеркальцевъ, которыя продаются ходебщиками—„афенями“—и въ которыхъ можно только разсматривать одинъ глазъ или носъ, или подбородокъ, но ужь никакъ не все лицо; тутъ-же выглядывалъ синій кованный сундучокъ, хранившій, вѣроятно, запонку, шелкъ-сырецъ, наперстокъ, сережки, коты, полотно, двѣ новыя понявы и другія части немногосложнаго приданаго крестьянской дѣвушки.

Кондратій усадилъ Глѣба на почетное мѣсто, къ образамъ; онъ хотѣлъ посадить туда-же и сына, но Ванюша отказался, подъ предлогомъ, что заслонитъ спиною окно, и расположился немного поодаль, въ тѣнь, бросаемую спиною; самъ хозяинъ помѣстился рядомъ съ сосѣдомъ Глѣбомъ.

Свѣтъ окна сполна ударилъ тогда въ лицо двухъ стариковъ. Трудно было сыскать двѣ болѣе характеристическія, но вмѣстѣ съ тѣмъ двѣ менѣе сходныя головы. Умный, широкій лобъ Глѣба, окруженный черными, пышными, съ просѣдью, кудрями, его орлиный носъ, подвижныя, рѣзко обозначенныя ноздри, смѣлый, бойкій взглядъ, могли-бы удачно служить моделью для изображенія древняго римлянина; каждая черта его, каждая морщина дышали крѣ-

постію, обозначали въ немъ присутствіе живыхъ, далеко еще не угаснувшихъ страстей. Бѣлая, патріархальная голова сосѣда, тихое выраженіе лица его, насквозь проникнутаго добротою и дѣтскимъ простодушіемъ, приводили на память тѣхъ набожныхъ старичковъ, которые уже давнымъ-давно отказались отъ всѣхъ земныхъ, плотскихъ побужденій и обратили всѣ помыслы свои къ Богу. Невозможно было найти два лица, которыя бы такъ вѣрно, такъ отчетливо передавали всю жизнь, всю душу своихъ владѣльцевъ.

— Не посѣтуйте, дорогіе гости; чѣмъ угощать васъ, и самъ не вѣдаю! сказалъ Кондратій, когда Дуня поставила на столъ ушицу, приправленную лукомъ и постнымъ масломъ (дѣвушка старалась не смотрѣть на Ваню):—вы привыкли къ другой пищѣ, вамъ не въ охоту моя постная ѣда...

— Вотъ, нешто у насъ причудливое брюхо! мы сами, почитай, весь годъ постнымъ пробавляемся, возразилъ Глѣбъ:—постная ѣда, знамо, въ пользу идетъ, не во вредъ человѣку; ну, что говорить! и мясцо не убавитъ вѣку: послѣ мясца-то человѣкъ какъ словно даже посытнѣе будетъ.

— Такъ-то такъ, посытнѣе, можетъ статься—посытнѣе; да на все есть время: придутъ такіе года, вотъ хоть бы мои теперь, не слѣдъ потреблять такой пищи; вотъ я пятнадцать лѣтъ мяса въ ротъ не беру, а слава тебѣ, всевышнему Создателю, на силы не жалуюсь. Только и вся моя ѣда: хлѣбъ, лукъ, да квасу ину пору подольешь...

— Ну, нѣтъ, дядя, напрасно поклепалъ ты свою похлебку: похлебка знатная! началъ Глѣбъ, приставляя ложку къ губамъ, дѣлая изъ нихъ подобіе трубы и звонко втягивая въ себя ушицу;—знатная ѣда! вѣдь эти вотъ коклюшки да пискари, даромъ что малы, а сладки! И то сказать надо: мастерица у те хозяйка и ухи-то варить!.. повариха славная! прибавилъ онъ, посматривая на Дуню, неловкость которой мало-по-малу проходила, хотя она все еще старалась отводить глаза свои отъ сына рыбака.—Всякій разъ, какъ вотъ я такъ-то приду къ вамъ, погляжу на васъ, на ваше житье-бытье, инда завидки берутъ,—ей-Богу, право! сказалъ Глѣбъ.

— Да, благословилъ меня Господь—послалъ на старости лѣтъ утѣху, отвѣчалъ Кондратій, подымая, въ свою очередь, глаза на дочку.

Черты старика оживились: какъ будто лучъ солнца, пробравшись неожиданно въ окно, скользнулъ по лицу его.

— Вотъ одного развѣ только недостаетъ вамъ, продолжалъ между тѣмъ Глѣбъ: — въ одномъ недостача: кабы какимъ ни есть случаемъ... вотъ хошь бы какъ та баба, помнишь разсказывали въ Каширѣ? — пошла это на рѣку рубахи полоскать, положила ихъ въ дупло, — вынимаетъ ихъ на другой день, анъ глядь, въ дуплѣ-то кубышка съ деньгами... вотъ кабы такъ-то... эхъ, знатно, я чай, зажили бы вы тогда!

— Зачѣмъ намъ? мы и такъ довольны.

— Ну, полно, дядя, полно! смѣясь перебилъ Глѣбъ: — что толковать! я чай, куда и ты бы возрадовался!

— Нѣтъ, Глѣбъ Савинычъ, не надыть намъ: много денегъ, много и грѣха съ ними! Мы довольствуемся своимъ добромъ; зачѣмъ намъ! Съ деньгами-то заботъ много; мы и безъ нихъ проживемъ. Вотъ я скажу тебѣ на это какое слово, Глѣбъ Савинычъ: счастливъ тотъ человѣкъ, кому и воскресный пирожокъ въ радость!

— Коли за себя говоришь, ладно! о тебѣ и рѣчь нейдетъ. А вотъ у тебя, примѣрно, дочка молодая, объ ней, примѣрно и говорится: было бы у ней денегъ много, нашила бы себѣ наряду всякаго, прикрасъ всякихъ... вѣстимо, дѣло дѣвичье, молодое; вѣдь вотъ также и о приданомъ думать надо... не то, чтобы, примѣрно, приданое надыть: возьмутъ ее и безъ этого, — а такъ, себя потѣшить; дѣвка-то ужъ на возрастѣ: нѣтъ, нѣтъ, да и замужъ пора выдавать!...

При этомъ дѣдушка Кондратій подавилъ вздохъ, и лицо его стало задумчиво.

— Что, аль не любо? спросилъ Глѣбъ, устремляя на сосѣда пытливый взглядъ: — ну, да какъ быть: сколько веревку ни вить, концу быть: на это онѣ, дѣвки-то, и на свѣтъ рождаются. Знамо, невесело разставаться съ роднымъ дѣтищемъ: своя плоть — къ костямъ пришита; а не миновать этого; такъ ужъ Богомъ самимъ установлено. И то сказать: за мужниной головой не сидѣть ей сиротой. Съ чего-жъ такъ!.. всегда такъ-то водится: родители берегутъ дочь до вѣнца, мужъ — до конца! Не уродъ она у тебя, не кривая какая, слава те Господи! Красовита — хошь куда!.. ну, какъ же ей послѣ этого... такъ и сидѣть въ дѣвкахъ-то? нѣтъ, дядя, замужъ отдавай — вотъ что!.. Я пожалуй и женишка пріищу; у тебя товаръ, у меня купецъ...

Ваня давно смекнулъ, къ чему клонилась отцовская рѣчь; но какъ ни тяжко было ему находиться при этомъ разговорѣ, особенно

въ присутствіи Дуни, онъ не показалъ своего нетерпѣнія. Прислонившись спиною къ стѣнѣ, онъ изрѣдка лишь потряхивалъ волосами; вмѣшаться въ разговоръ и замять какъ-нибудь отцовскую рѣчь онъ не могъ: во первыхъ, отецъ не далъ бы ему вымолвить слова, и, наконецъ, хоть до завтра говори ему, все-таки никакого толку не выйдетъ, все-таки не послушаетъ; хуже еще упрется; во вторыхъ приличіе своего рода запрещало Ванѣ вмѣшаться въ бесѣду: онъ зналъ, что сидитъ тутъ въ качествѣ жениха и, слѣдовательно, волей-неволей долженъ былъ молчать.

Но Глѣбъ не прерывалъ бесѣды и продолжалъ закидывать сосѣда тѣми замысловатыми, двусмысленными рѣчами, которыя употребляются обыкновенно въ случаяхъ сватовства: видно было, однакожъ, что ему не понутру приходилось добираться до цѣли окольными путями. Глѣбъ былъ человѣкъ прямой, неутайчивый и въ добавокъ еще горячій: ему хотѣлось бы разомъ порѣшить дѣло; отзвонилъ, да и съ колокольни долой! Вышла даже такая задача, что старый рыбакъ какъ словно подъ конецъ и замялся: но это продолжалось всего секунду. Онъ окинулъ бойкимъ взглядомъ присутствующихъ, засмѣялся и, трепнувъ по плечу дѣдушку Кондратія, сказалъ:

— Эхъ, дядя, погубили вы, ты да твоя дѣвка, моего парнюху,—ей-Богу, такъ!

— Поди ты, что еще выдумалъ! Оборони Господи, чтобы мы его когда губить думали, проговорилъ старикъ, съ добродушной улыбкой поглядывая на Ваню.

Ваня нетерпѣливо тряхнулъ волосами.

— Такъ, право, такъ, продолжалъ Глѣбъ:—можетъ статься, оно и само собою какъ-нибудь тамъ вышло, а только погубили!.. Я полагаю, подхватилъ онъ, лукаво прищуриваясь:—все это больше отъ вашихъ грамотъ вышло; ходилъ это онъ, ходилъ къ тебѣ въ книжки читать, да и зачитался!.. Совсѣмъ заразили вы его! Какъ знаешь, дядя, ты и твоя дочка... черезъ васъ, примѣрно, занедужился парень,—вы, примѣрно, и лечите его! заключилъ, смѣясь Глѣбъ.

Ваня снова тряхнулъ волосами.

Дуня торопливо поставила на столъ послѣднюю перемѣну, подошла къ печкѣ и принялась убирать горшки и плошки; но руки ея разсѣянно перебѣгали отъ одного предмета къ другому: разго-

воръ Глѣба, его намеки обращали теперь на себя все вниманіе дѣвушки.

— Ахъ ты, шутникъ! шутникъ! сказалъ Кондратій въ отвѣтъ сосѣду:—поди ты, чего не выдумаешь!.. Нѣтъ, Глѣбъ Савинычъ, подхватилъ онъ, и лицо его снова изобразило тихую задумчивость:—нѣтъ, черезъ то, что Ванюша грамоткой занимается, худого не будетъ; знамо, что говорить! бываютъ такія книжки, что грѣшно и въ руки взять... да такихъ Ванюша твой не читаетъ; учился онъ доброму,—худое на умъ не пойдетъ!.. Наши книжки, что я ему даю, человѣка не испортятъ, не научатъ баловству: книжки наши разумныя, душевныя; ихъ отцы святые писали!

— Вѣстимо... то есть... ну, что говорить! вѣстимо, отъ такихъ книгъ худого не бываетъ! я, примѣрно, не то... воскликнулъ нѣсколько озадаченный Глѣбъ:—ну, не книжки, такъ другое что! подхватилъ онъ, оправляясь.—Вѣдь не спроста же сталъ онъ у меня такъ-то задумываться... Что-жъ бы за причта за такая?..Какъ ты скажешь, дѣдъ, а?.. Я полагаю, знаешь что... Ужъ не зазноба ли,—э! э!—э! примолвилъ неожиданно Глѣбъ, моргая на присутствующихъ блиставшими отъ удовольствія глазами:—ну, да все одно: вѣдь и это не годится, неладно! продолжалъ онъ, заботливо нахмуривая лобъ, между тѣмъ какъ лицо его смѣялось:—причина немалая; вишь, дядя, парень-то почитай что высохъ... весь почитай износился; полечить надо... нѣтъ ли у тебя, примѣрно, средствія какого, ась?.. Я, признаться, затѣмъ болѣе и пришелъ къ тебѣ... Ну, что ты на это скажешь? полно тебѣ раздумывать-то! сколько птицѣ ни летать по воздуху, а наземь надо когда-нибудь сѣсть... ну, съ твоего слова, что съ золотого блюда, говори!..

Тяжело было старику произнести слово,—слово, которое должно было разлучить его съ дочерью; но, съ другой стороны, онъ зналъ, что этого не избѣгнешь, что, рано или поздно, все-таки придется разставаться. Онъ давно помышлялъ о Ванѣ: лучшаго жениха не найдешь, да и не требуется; это ли еще не парень! Совсѣмъ тѣмъ старику тяжко было произнести послѣднее слово; но сколько птицѣ ни летать по воздуху, какъ выразился Глѣбъ, а наземь надо когда нибудь сѣсть.

— Чтожъ, сказалъ наконецъ дѣдушка Кондратій ласковымъ, привѣтливымъ голосомъ (лицо его оставалось, однакожъ, задумчивымъ):—что-жъ! мы отъ добраго дѣла непрочь...

Ваня, начинавшій уже съ трудомъ подавлять волненіе, невольно взглянулъ на Дуню.

Слова отца заставили ее повернуть голову къ разговаривающимъ; она стояла, опустивъ раскраснѣвшееся лицо къ полу; въ чертахъ ея не было видно, однакожъ, ни замѣшательства, ни отчаянія; она знала, что стоитъ только ей слово сказать отцу, онъ принуждать ее не станетъ. Если чувства молодой дѣвушки были встревожены и на лицѣ ея проглядывало смущеніе, виною всему этому было присутствіе Вани.

— Когда такъ, стало, и разговаривать нечего! продолжалъ между тѣмъ Глѣбъ съ возраставшею веселостію:—спасибо тебѣ на ласковомъ словѣ, дядя! Я, признательно, другого отъ тебя и не чаялъ, съ тѣмъ шелъ, и старухѣ своей сказалъ нонѣ... Стала это она приставать, какъ провѣдала, зачѣмъ иду сюда; не приходится, говоритъ, идти тебѣ самому за такимъ дѣломъ, то да се, говоритъ... Вотъ! говорю, нужда мнѣ большая до вашихъ до бабьихъ разговоровъ! жили мы съ дядей Кондратіемъ почитай тринадцать лѣтъ, жили: два сапога—одна пара! какъ слѣдуетъ, по сосѣдски жили; знаю я его, и онъ меня знаетъ; оба, примѣрно, обо всемъ уже извѣщены... а тутъ поди еще ломайся да бабъ засылай, и нивѣсть что такое! Нѣтъ, говорю: самъ схожу, самъ обо всемъ переговорю; оно и лучше! А то поди еще, возись съ ними! зачнутъ требесить да суетиться: наговорятъ съ три короба, а толку мало; конецъ тотъ же, да только что вотъ растянутъ его пустыми рѣчами своими,—и не дождешься!.. Мнѣ, признательно, коли ужъ на правду пошло, вотъ этого-то и не хочется; по моему, чѣмъ скорѣе вылечимъ мы нашего парня, тѣмъ лучше... И то сказать, дядя: задалось намъ, вишь ты, дѣльцо одно; со дня на день жду, приведется намъ погоревать маненько; вотъ по этому-то самому болѣе и хлопочу, какъ бы скорѣе сладить, парня нашего вылечить; все, по крайности, хоть утѣха въ дому останется... Я тебѣ объ этомъ нашемъ дѣлѣ слова не промолвилъ... Да, можетъ статься, самъ ты какъ-нибудь на сторонѣ провѣдалъ... а? заключилъ Глѣбъ, веселость котораго, при послѣднихъ словахъ, замѣтно пропадала.

— Оборони, помилуй Богъ! я ничего не слыхалъ! произнесъ дядя Кондратій, подымая бѣлую свою голову.

— Не говорилъ я тебѣ объ этомъ нашемъ дѣлѣ по той причинѣ: время, вишь ты, къ тому не приспѣло, продолжалъ Глѣбъ:—нечего было заводить до поры, до времени разговоровъ и дома у

меня ничего объ этомъ о-сю-пору не вѣдаютъ; теперь таиться нечего: не сегодня, такъ завтра сами узнаете... Вотъ, дядя, примолвилъ рыбакъ, приподымая густыя свои брови:—рекрутскій наборъ начался! Это, положимъ, куда бы ни шло: дѣло, вѣстимо, нужное, царство безъ воинства не бываетъ; вотъ что неладно маленько, дядя: очередь за мною.

Дѣдушка Кондратій потупилъ глаза къ землѣ и задумчиво покачалъ головою.

— Точно, сказалъ онъ:—точно: слыхалъ я, рекрутовъ собираютъ; и не зналъ, что чередъ за тобою, Глѣбъ Савинычъ. Ну, такъ какъ же ты это... а?.. что жъ ты? примолвилъ онъ, заботливо взглядывая на сосѣда.

— Что дѣлать! произнесъ Глѣбъ, проводя ладонью по сѣдымъ кудрямъ своимъ: дѣло какъ есть законное, настоящее дѣло; жалѣй, не жалѣй, рѣшить какъ-нибудь надыть. Сердце болитъ,—разумъ слушаться не велитъ... На томъ и положилъ: Гришка пойдетъ!

При самомъ началѣ этого разговора, какъ только Глѣбъ сказалъ, что ожидаетъ со дня на день какого-то гореванья, и особенно послѣ того, какъ объяснилъ онъ свое намѣреніе относительно Гришки, въ чертахъ Вани произошла разительная перемѣна; онъ поднялъ голову и устремилъ тревожно-безпокойный взглядъ на отца, который во все время бесѣды сидѣлъ къ нему бокомъ. Съ именемъ Гришки, молодой парень вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, до послѣдняго суставчика, судорожнымъ движеніемъ руки отеръ капли холоднаго пота, мгновенно выступившія на лбу, и взглянулъ на дочь рыбака.

Дуня стояла у двери. Лицо ея, покрытое зеленоватою блѣдностію, было недвижно; раскрывъ побѣлѣвшія губы, вытянувъ шею, она смотрѣла сухими глазами, полными безумнаго замѣшательства, въ уголъ, гдѣ сидѣли старики. Секунду спустя, глаза ея помутились, какъ словно огонь, наполнявшій ихъ, затушенъ былъ слезами, мгновенно хлынувшими отъ сердца; грудь ея поднялась, губы и ноздри задрожали; все существо ея превратилось, казалось, въ одинъ отчаянный вопль. Дуня заглушила, однакожъ, рыданія, раздиравшія ея сердце; она приложила одну руку къ губамъ, другою ухватилась за грудь и быстро скользнула въ дверь.

Все это произошло такъ неожиданно, такъ тихо, что Глѣбъ и дѣдушка Кондратій не замѣтили даже отсутствія дѣвушки. Старикамъ и въ голову не приходило, чтобы участь Гришки могла найти такое горячее сочувствіе въ сердцѣ дѣвушки; къ тому же, оба были

слишкомъ заняты разговоромъ, чтобы удѣлить частицу вниманія молодымъ людямъ. Не будь этого обстоятельства, оба, конечно, обратились бы къ Ванѣ,—такъ блѣдно, такъ встревожено было въ эту минуту лицо его. Но старики ровно ничего не замѣчали и продолжали вести свою бесѣду, которая, мало-по малу, снова перешла къ главному предмету совѣщанія и не замедлила принять прежній, веселый характеръ.

На этотъ разъ Ваня мало уже заботился о томъ, что говорилъ отецъ. Онъ думалъ свою думу,—повидимому, крѣпкую, горькую думу. Сношенія Дуни съ пріемышемъ давно были ему извѣстны; отчаяніе, обнаруженное ею, ничего, слѣдовательно, не раскрывало ему новаго: какъ ни горько было ему отказаться отъ рыбаковой дочки, онъ успѣлъ, однакожъ, давно свыкнуться съ своей долей. Воля отца, рѣшавшая отправить Гришку, вѣсть объ удаленіи его, со всѣми послѣдствіями для рыбаковой дочки—можетъ статься, даже для пріемыша—вотъ что возмущало душу молодого парня. Нѣтъ никакой возможности вѣрно передать внутреннія движенія человѣка въ минуты сильной тревоги: въ эти минуты человѣкъ, говоря относительно, перестрадаетъ и передумаетъ болѣе, чѣмъ въ цѣлые годы тихаго, невозмутимаго существованія. Скорбь парня постепенно казалось, сосредоточивалась и уходила въ его душу. Молодое лицо его, встревоженное горемъ, мало-по-малу дѣлалось покойнѣе; но, подобно озеру, утихающему послѣ осенней бури, лицо Вани освѣщалось печальнымъ, холоднымъ свѣтомъ; молодыя черты его точно закалялись подъ вліяніемъ какой-то непреклонной рѣшимости, которая съ каждой секундой все болѣе и болѣе созрѣвала въ глубинѣ души его. Такъ сильно отдался онъ подъ конецъ своимъ мыслямъ, что, казалось, не замѣтилъ даже дочки рыбака, которая успѣла уже вернуться въ избу, стояла у двери и смотрѣла на него распухнувшими отъ слезъ глазами.

Онъ очнулся не прежде, какъ когда отецъ и дѣдушка Кондратій встали съ своихъ мѣстъ.

— Ванька, чего голову-то скосилъ? отряхнись, глупый! сказалъ Глѣбъ полу-шутливымъ, полу-нетерпѣливымъ голосомъ.—Ну, посмотри, дядя, не глупый ли онъ, а? подхватилъ рыбакъ, обращаясь къ Кондратію и указывая ему головою на сына;—а ты еще хвалишь его. Ну, что въ немъ! ей-Богу, право! Мякина, какъ есть, мякина! Такіе ли молодцы то бываютъ!.. Ну, да ладно; вотъ вылечимъ мы его съ тобою: авось тогда повеселѣе будетъ... Пойдемъ.

дядя... что на него смотрѣть! мякина!.. пойдемъ на озеро, переговоримъ еще... а то и домой пора! заключилъ Глѣбъ, проходя съ сосѣдомъ въ дверь и не замѣчая Дуни, которая стояла притаившись за занавѣской.

Какъ только шаги стариковъ замолкли на берегу озера, Ваня приподнялъ голову, тряхнулъ кудрями, всталъ со скамьи, подошелъ къ тому мѣсту, гдѣ виднѣлось зеркальце, и отдернулъ занавѣску.

Дуня сидѣла на краю постели; она уже не скрывала теперь своего горя передъ молодымъ парнемъ. Закрывъ лицо руками, она рыдала навзрыдъ, и слезы ея ручьями текли между судорожно сжатыми пальцами.

Лицо Вани казалось, напротивъ, совершенно спокойнымъ, и только рука его, все еще державшая, вѣроятно въ забытьи, занавѣску,—только рука измѣнила ему.

— Дуня, сказалъ онъ почти твердымъ голосомъ:—не сокрушайся... полно!.. не будетъ этого!... я... я говорилъ вамъ (тутъ голосъ его какъ-будто слегка задрожалъ)... я говорилъ вамъ: я вамъ не помѣха!.. Полно, не плачь... я ослобоню его!

Сказавъ это, онъ провелъ пальцами по глазамъ и отвернулъ голову.

Минуту спустя, Ваня выходилъ изъ лачуги.

Когда онъ приблизился къ берегу озера и взглянулъ на стариковъ, Глѣбъ держалъ въ лѣвой рукѣ правую руку дѣдушки Кондратія и весело похлопывая ему въ ладонь, приговаривалъ:

— Стало, тому и быть! Ладно, заживемъ, когда такъ: два сапога—одна пара!

Немного погодя, Глѣбъ и сынъ его распрощались съ дѣдушкой Кондратіемъ и покинули озеро. Возвращеніе ихъ совершилось такимъ же почти порядкомъ, какъ самый приходъ; отецъ не переставалъ подтрунивать надъ сыномъ, или же, когда упорное молчаніе послѣдняго черезчуръ забирало досаду старика, онъ принимался бранить его, называлъ его мякиной, совѣтовалъ ему отряхнуться, прибавляя къ этому, что хуже будетъ, коли онъ самъ примется отряхать его. Но сынъ все-таки не произносилъ слова. Такъ миновали они луга и переѣхали рѣку.

Было еще довольно свѣтло, когда они достигли противоположнаго берега. Солнце давно уже сѣло. Но весенній, прозрачный воздухъ долго сохраняетъ отблескъ заката; сквозь сумерки, потопляв-

шіе углубленіе высокаго хребта, гдѣ располагались избы стараго рыбака, можно было явственно различать предметы.

— Погляди, Ванюшка, вишь: никакъ лошадь у воротъ! неожиданно произнесъ Глѣбъ, выходя изъ челнока.

Ваня поднялъ голову.

У воротъ, дѣйствительно, стояла осѣдланная лошадь.

— Ну, не чаялъ я, что такъ скоро! проговорилъ Глѣбъ, проводя ладонью по головѣ:—я думалъ Гришка на свадьбѣ на твоей попируетъ... нѣтъ, не судьба видно ему!..

Первый предметъ, поразившій стараго рыбака, когда онъ вошелъ на дворъ, была жена его, сидѣвшая на ступенькахъ крыльца и рыдавшая во всю душу; подлѣ нея сидѣли обѣ снохи, опустившія платки на лицо и качавшія головами. Въ дверяхъ, прислонившись къ косяку, стоялъ пріемышъ; блѣдность лица его проглядывала даже сквозь густыя сумерки; въ избѣ слышались голоса Петра и Василія и еще чей-то посторонній, вовсе незнакомый голосъ.

Глѣбъ не ошибся. Лошадь точно принадлежала сотскому изъ становой квартиры, который пріѣхалъ повѣстить о выдачѣ рекрута.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

XVI.

Сынъ рыбака.

— Полно, говорю! тутъ хлопаньемъ ничего не возьмешь! Плакалась баба на торгъ, а торгъ иро то и не вѣдаетъ; да и вѣдать нѣтъ нужды! Словно и взаправду горе какое приключилось. Не на вѣкъ разстаемся, Господь милостивъ: доживемъ, назадъ вернется — какъ есть, настоящимъ человѣкомъ вернется; сами потомъ не нарадуемся... Ну, о чемъ плакать-то? Попривыкли! знаютъ и безъ тебя: попривыкли: не ты одна... Слава те, Господи! наслалъ еще его къ намъ въ домъ... Жаль, жаль, а все не какъ своего!

Такъ говорилъ Глѣбъ Савиновъ женѣ, вскорѣ послѣ отъѣзда сотскаго.

Разговоръ происходилъ между задними воротами и плетнемъ огорода, въ извѣстномъ проулкѣ; тутъ, кромѣ стараго рыбака и жены его, никого не было. Глѣбъ, послѣ ужина, на которомъ присутствовалъ, между прочимъ, и сотскій, приказалъ тотчасъ же всѣмъ ложиться спать, а самъ, подмигнувъ украдкою женѣ, отправился съ нею на совѣщаніе. На дворѣ царствовалъ совершеннѣйшій мракъ. Мѣсяцъ, подымавшійся багровымъ паромъ въ отдаленномъ горизонтѣ, не разливалъ почти никакого свѣта: Глѣбъ и Анна съ трудомъ различали черты другъ друга. Никто, можетъ-статься, не смыкалъ глазъ въ клѣтушкахъ и сѣняхъ, но совсѣмъ тѣмъ было такъ тихо, что мужъ и жена говорили шопотомъ; малѣйшая оплошность съ ихъ стороны, слово, произнесенное мало-мальски громко, легко могло возбудить подозрѣніе домашнихъ и направить ихъ къ заднимъ воротамъ, чего никакъ не хотѣлось Глѣбу. .

— Какой бы онъ тамъ чужакъ ни былъ — все одно: намъ обдѣлять его не слѣдъ; я его не обижу! продолжалъ Глѣбъ:—одно то, что сирота: ни отца, ни матери нѣту. И чужіе люди, со стороны, такъ сироть уважаютъ, а намъ и подавно не приходится оставлять его. Снарядить надо, какъ слѣдуетъ; христіанскимъ дѣломъ разсуждать надо, по совѣсти, какъ слѣдуетъ! За что намъ обижать его? жилъ онъ у насъ какъ родной, какъ родного и отпустимъ; все одно, какъ своего бы отпустили, такъ, примѣрно, и его отпустимъ...

— И то, батюшка, я и сама такъ-то мерекаю... О-охъ!... лепешечекъ напеку ему, сердечному... о-о-охъ! заботливо прошептала тетка Анна, утирая рукавомъ слезы и вздыхая въ нѣсколько пріемовъ, какъ вздыхаютъ обыкновенно бабы, которыя долго и горько плакали.

— Вотъ нашла, что сказать: лепешки! велика нужда ему въ твоихъ лепешкахъ! закусилъ разъ-другой — все одно, что ихъ и не было! Надо подумать о рубахахъ, а не о лепешкахъ—вотъ что!

— Вѣстимо, безъ холста не отпущу его, касатика, простонала тетка Анна.

— Холстъ самъ по себѣ: пойдетъ на портянки *). Я говорю, примѣрно, о рубахахъ. Завтра день, да послѣ завтра день,—всего два дня остается: не успѣете вы обшить его какъ слѣдуетъ. Отдать ему Ванюшкины рубашки, которыя залишнія...

— Куды! коротки будутъ! замѣтила старуха съ такою живостію, что мужъ принужденъ былъ шикнуть и поднять руку.

— А коротки, такъ возьмемъ у Васьки.

— А какъ же Вася-то? вѣдь онъ также дома не остается: идетъ на заработки; самому нужны, шепнула жена.

— Нѣтъ, Васька дома останется въ замѣнъ Гришки. Отпущу я его на заработки! А самому, небось, батрака нанимать, нѣтъ, жирно будетъ! Они и безъ того денегъ почитай-что не несутъ... Довольно и того, коли одинъ Петрушка пойдетъ въ „рыбацкія слободы“... Ну, да не объ этомъ толкъ совсѣмъ! Пойдутъ, стало-быть, Васькины рубахи; а я отъ себя цѣлковика два приложу: дѣло нехитрое—походное, понадобится—сапожишки купить, либо другое что, въ чемъ нужда встрѣнется.

---

*) Куски холста, которыми обматываются ноги вмѣсто носковъ.

Какъ ни переполнено было сердце старушки, какъ ни заняты были мысли ея предстоящей разлукой съ пріемышемъ, къ которому привыкла она почти какъ къ родному дѣтищу, но въ эту минуту всѣ ея чувства и мысли невольно уступили мѣсто удивленію: такъ поразила ее необыкновенная щедрость Глѣба. Ободренная этимъ, она сказала:

— Вотъ, батюшка, надо также и образочекъ ему дать. Дамъ я ему, сердечному, вотъ тотъ, что въ ризочкѣ-то у насъ...

— Что дѣло, то дѣло. Я, признаться, и самъ о томъ думалъ, перебилъ Глѣбъ: — только-что вотъ тотъ, который въ ризѣ, давать не зачѣмъ; можно простѣе сыскать. Главное дѣло, было бы ему наше родительское благословенье...

Переговоривъ еще кой о чемъ касательно Гришки, рыбакъ замѣтилъ, что время спать идти.

— Ты обогни избу да пройди въ тѣ переднія ворота, примолвилъ онъ: — а я пока здѣсь обожду. Виду, смотри, не показывай, что здѣсь была, коли, по случаю, съ кѣмъ-нибудь изъ робятъ встрѣнешься... Того и смотри, прочуяли; на слуху, того и смотри, сидятъ собаки!.. Ступай!—Эхе-хе! промолвилъ старый рыбакъ, когда скрипъ калитки возвѣстилъ, что жена была уже на дворѣ: — эхъ! не все, видно, лещи да окуни: бываетъ такъ ину пору, что и песку съ рѣки отвѣдаешь!.. Жаль Гришку, добре жаль; озорливъ былъ, плутовать, да больно ловокъ зато!

Глѣбъ оглянулъ разсѣянно небо, по которому величественно всплывалъ серебрившійся теперь мѣсяцъ, перекрестился, вошелъ на дворъ и, закутавшись въ овчину, улегся въ свои сани подъ навѣсомъ. Хотя старикъ свыкся уже съ мыслію о необходимости разлучиться, рано или поздно, съ пріемышемъ, тѣмъ не менѣе, однакожъ, заснуть онъ долго не могъ: большую часть ночи проворочался онъ съ боку на бокъ и часто такъ сильно покрякивалъ, что куры и голуби, пріютившіяся на окраинѣ дырявой лодки, почти надъ самой его головою, вздрагивали и поспѣшно высовывали голову изъ-подъ теплаго крыла.

Но не подозрѣвалъ старый Глѣбъ, что черезъ какихъ-нибудь пять-шесть часовъ придется перенести испытаніе, передъ которымъ настоящее его горе ровно ничего не будетъ значить. Не предвидѣлъ онъ, что ночь эта, проведенная въ тревожномъ забытьи, будетъ, сравнительно, его послѣднею покойною ночью!

Заря между тѣмъ, чуть-чуть занимавшаяся на горизонтѣ, не

предвѣщала ничего особенно печальнаго: напротивъ того, небо, въ которомъ начинали тухнуть звѣзды, было чистоты и ясности необыкновенной; слегка зарумяненное восходомъ, оно привѣтливо улыбалось и спѣшило, казалось, освободиться отъ тучъ, которыя, какъ послѣднія морщинки на повеселѣвшемъ челѣ, убѣгали къ востоку длинными, постепенно блѣднѣющими полосками. Вся окрестность какъ словно раскрывала глаза и, приподымая освѣженныя росою рѣсницы, радостнымъ взглядомъ встрѣчала весеннее утро. Надъ лугами трещалъ уже жаворонокъ... Глѣбъ, по обыкновенію своему, проснулся вмѣстѣ съ жаворонками; нѣжиться да потягиваться не любилъ старикъ: онъ поспѣшно выскочилъ изъ саней; провелъ широкою ладонью по лицу и волосамъ, оглянулъ небо и перекрестился.

— Создалъ Господь ведро... знатное утро! сказалъ онъ, выходя за ворота и весело оглядывая Оку и дальній берегъ, только-что озаренные первымъ лучемъ солнца.

Ему въ голову не приходило, что это утро, такъ радостно улыбавшееся, западетъ тяжелымъ камнемъ на его сердце и вѣчно будетъ жить въ его памяти.

Въ самое это утро Петръ и Василій должны были сообщить отцу о своихъ намѣреніяхъ. Оба заранѣе приготовились встрѣтить грозу, которая неминуемо должна была разразиться надъ ихъ головами. Въ то время, какъ отецъ спускался по площадкѣ и осматривалъ свои лодки (первое, неизмѣнное дѣло, которымъ старый рыбакъ начиналъ свой трудовой день), сыновья его сидѣли, запершись въ клѣти и переговаривали о предстоявшемъ объясненіи съ родителемъ; передъ ними стоялъ штофъ. Петръ, не мѣшаетъ замѣтить, плохо что-то надѣялся на брата: онъ зналъ, что Василій какъ разъ „солжетъ“—онлошаетъ передъ отцомъ, если не придашь ему заблаговременно надлежащей смѣлости. Основываясь на этомъ, Петръ наканунѣ еще, когда возвращался изъ Сосновки, припасъ „закрѣпу“: по мнѣнію старшаго брата—мнѣнію весьма основательному, Василій безъ вина былъ то же, что вино безъ хмѣля; тогда только и полагайся на него, когда куражу прихватитъ! Подливая брату, Петръ, конечно, не пропускалъ случая „тѣшить собственную душу“, какъ онъ самъ выражался, и частенько-таки подносилъ штофъ къ губамъ. Онъ дѣлалъ это вовсе не изъ надобности: вино было ему въ охоту, какъ и всякому человѣку, который давно уже хмѣлью зашибался. Онъ и безъ куражу не побоялся бы отцов-

скаго гнѣва. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ отчаянно загрубѣлыхъ людей, которыхъ ничѣмъ не проймешь: ни лаской, ни угрозой,—которые, если заберутъ что въ банку, такъ хоть отсѣкай у нихъ руки и ноги, а на своемъ поставятъ. Смѣлость Петра соотвѣтствовала его упрямству. Казалось даже, онъ съ какимъ-то лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ждалъ минуты, когда станетъ передъ отцомъ лицомъ къ лицу; цыганское лицо его, дышащее грубой энергіей, выражало досаду тогда лишь, когда встрѣчалось съ лицомъ Василія, въ чертахъ котораго все еще проступала время отъ времени какая-то неловкость. Смущеніе Василія, благодаря предусмотрительности брата, не замедлило, однакожъ, исчезнуть. Оба пошли тогда въ избу. Глѣбъ не возвращался еще съ рѣки; но все семейство, за исключеніемъ Вани, однакожъ, котораго никто не видѣлъ со вчерашняго вечера, находилось уже въ избѣ. Никто, кромѣ жены Петра, не зналъ о намѣреніяхъ двухъ братьевъ; всеобщее вниманіе занято было, слѣдовательно, однимъ только Гришкой. Въ ожиданіи Глѣба и завтрака, всѣ обступали съ большимъ или меньшимъ участіемъ пріемыша, который сидѣлъ на скамьѣ у окна и, повернувшись бокомъ къ присутствующимъ, прислонивъ голову къ стѣнѣ, глядѣлъ въ землю. Наконецъ явился Глѣбъ, и всѣ сѣли завтракать.

Окинувъ зоркимъ взглядомъ семейство, старый рыбакъ тотчасъ-же замѣтилъ, что старшіе сыновья его были навеселѣ. Какъ сказано выше, Глѣбъ мало обращалъ вниманія на возрастъ дѣтей своихъ: онъ держалъ всѣхъ членовъ семейства безъ различія въ ежовыхъ рукавицахъ,—потачки никому не давалъ. Тѣмъ менѣе слѣдовало спустить Петру и Василію, что зоркій взглядъ Глѣба неразъ уже, въ послѣднюю побывку, встрѣчалъ ихъ въ хмѣльномъ видѣ; отецъ давно собирался отжучить ихъ порядкомъ и отучить отъ баловства. Онъ вспылилъ тотчасъ-же и осыпалъ ихъ градомъ ругательствъ. Тѣмъ-бы, можетъ-быть, и кончилось дѣло, еслибъ они смолчали; но, разгоряченные виномъ, они отвѣчали—отвѣчали грубо и дерзко. Это обстоятельство мгновенно взорвало старика: брови его выгнулись, голова гордо откинулась назадъ, губы задрожали. Но сыновья зашли уже слишкомъ далеко: отступать было поздно; они встрѣтили наглымъ, смѣлымъ взглядомъ грозный взглядъ отца и въ отвѣтъ на страшный ударъ, посланный въ столъ кулакомъ Глѣба, приступили тотчасъ-же, безъ обиняковъ, къ своему объясненію... Но не станемъ описывать этой дико-необузданной сцены, изъ которой

читатель ничего-бы не вынесъ, кромѣ тягостнаго, непріятнаго чувства. Достаточно сказать, что бабы и дѣти опрометью кинулись вонъ и попрятались, кто куда могъ; нѣсколько минутъ пролежали онѣ въ своихъ пряткахъ совершеннѣйшимъ пластомъ, ничего не видя, не слыша и не чувствуя, кромѣ того развѣ, что въ ушахъ звенѣло, а зубы щелкали немилосерднѣйшимъ образомъ. Мало-помалу, однакожъ, бабы наши стали приходить въ себя; блѣдныя лица ихъ, какъ словно по условленному заранѣе знаку, выглянули въ одно и то же время изъ разныхъ угловъ двора. Но страшные крики, раздававшіеся въ избѣ,—крики, посреди которыхъ какъ громъ раздавался голосъ Глѣба, заставляли бабъ поспѣшно прятать головы, на подобіе того, какъ это дѣлаютъ испуганныя черепахи. Шумъ и крики подымались все сильнѣе и сильнѣе; казалось со двора, какъ будто по полу избы каталось нѣсколько пустыхъ сороковыхъ бочекъ. Но бабы, движимыя любопытствомъ, которое не оставляетъ человѣка въ самыя критическія минуты, не переставали высовывать головы и прислушиваться. Такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока шумъ не умолкъ и Глѣбъ не показался на крылечкѣ. Тутъ уже бабы исчезли окончательно, залегли въ самые темные углы своихъ прятокъ и замерли.

Глѣбъ былъ, въ самомъ дѣлѣ, страшенъ въ эту минуту: сѣрые сухіе кудри его ходили на макушкѣ, какъ будто ихъ раздувалъ вѣтеръ; зрачки его сверкали въ налитыхъ кровью бѣлкахъ; ноздри и побѣлѣвшія губы судорожно вздрагивали; высокій лобъ и щеки старика были покрыты блѣдно-зелеными полосами; грудь его колыхалась изъ-подъ рубашки, какъ взволнованная рѣка, разбивающая вешній ледъ. Ступеньки крылечка затряслись подъ его тяжелыми шагами. Очутившись на дворѣ, онъ остановился, какъ бы для того, чтобъ перевести дыханіе, и вдругъ быстро повернулся къ двери крыльца, торжественно приподнялъ обѣ руки и произнесъ задыхающимся голосомъ.

— Не будетъ вамъ, непослушники, отцовскаго моего благослов...

Но тутъ онъ остановился; голосъ его какъ словно оборвался на послѣднемъ словѣ, и только сверкающіе глаза, все еще устремленные на дверь, силились, казалось, досказать то, чего не рѣшался выговорить языкъ. Онъ опустилъ сжатые кулаки, отступилъ шагъ назадъ, быстрымъ взглядомъ окинулъ дворъ, снова остановилъ глаза на двери крыльца, и вдругъ вышелъ за ворота, какъ будто воздухъ тѣснаго двора мѣшалъ ему дышать свободно.

Прелесть весенняго утра, невозмутимая тишина окрестности, пѣніе птицъ—все это, конечно, мало дѣйствовало на Глѣба; совсѣмъ тѣмъ, благодаря, вѣроятно, вѣтерку, который пахнулъ ему въ лицо и освѣжилъ разгоряченную его голову, грудь старика стала дышать свободнѣе; шагъ его сдѣлался тверже, когда онъ началъ спускаться по площадкѣ.

Подойдя къ лодкамъ, Глѣбъ увидѣлъ Ваню. Тутъ только вспомнилъ старикъ, что его не было за завтракомъ.

— Гдѣ ты шлялся? сурово спросилъ отецъ.

Онъ остановился и, повернувшись почти всѣмъ тѣломъ къ сыну, мрачно оглянулъ рѣку.

— Я здѣсь былъ все время, батюшка, кротко отвѣчалъ сынъ.

— За какой надобностью? сухо и какъ бы не думая о чемъ говорить, перебилъ отецъ.

— Тебя ждалъ, батюшка...

Голосъ, которымъ произнесены были эти слова, прозвучалъ такою непривычною твердостію въ ушахъ Глѣба, что, несмотря на замѣшательство, въ которомъ находились его чувства и мысли, онъ невольно обернулся и съ удивленіемъ посмотрѣлъ на сына.

Кроткій, спокойный видъ парня совершенно обезоружилъ отца.

— Чего тебѣ? спросилъ онъ отрывисто.

— Я хотѣлъ переговорить съ тобой, батюшка, началъ Ваня:—хотѣлъ сказать тебѣ... ты только выслушай меня...

— Ну! перебилъ Глѣбъ съ возраставшимъ удивленіемъ.

Годъ, безъ малаго, не могъ онъ слова добиться отъ парня, и вотъ теперь тотъ самъ къ нему приступаетъ.

— Выслушай меня, батюшка, продолжалъ сынъ, тѣмъ же увѣщевательнымъ, но твердымъ голосомъ:—слова мои, можетъ-статься, батюшка, горькими тебѣ покажутся... Я батюшка, во вѣки вѣковъ не посмѣлъ бы передъ тобою слова сказать такого; да нужда, батюшка, заставила!..

— Какъ! вскричалъ отецъ, сжимая кулаки и дѣлая шагъ впередъ:—стало, они и тебя подговорили! стало, и тебѣ ни во что мое родительское проклятіе!

— Нѣтъ, батюшка, никто меня не подговаривалъ, возразилъ сынъ, не трогаясь съ мѣста:—родительское твое благословеніе мнѣ нуще дорого; безъ него, батюшка, я и жить не хочу...

— Чего-жъ тебѣ? спросилъ изумленный отецъ.

— Я, батюшка, пришелъ переговорить съ тобою о Гришкѣ... Батюшка! что ты дѣлаешь? опомнись.

Глѣбъ отступилъ шагъ назадъ и опустилъ руки; старикъ не вѣрилъ глазамъ и ушамъ своимъ.

— Зачѣмъ же ты тогда воспиталъ его? Затѣмъ ли поилъ, кормилъ, ростилъ его, чтобъ потомъ за насъ, за сыновей твоихъ, отвѣтъ держалъ... Батюшка! что ты хочешь дѣлать? опомнись. Вѣдь это выходитъ, батюшка, дѣлами добрыми торговать! продолжалъ сынъ, и лицо его при этомъ какъ словно озарилось какимъ-то необыкновеннымъ свѣтомъ, хотя осталося также кротко и спокойно.— Не бери, батюшка, тяжкаго грѣха на свою душу!.. Господь благословилъ насъ, беретъ твой домъ, далъ тебѣ достатокъ... самъ ты сколько разъ говорилъ объ этомъ!.. Господь отступится отъ насъ за такое дѣло! Достатокъ твой не будетъ тогда Божьимъ благословеніемъ: все пойдетъ прахомъ,— все назадъ возьметъ! За то и берегъ „Онъ“ насъ. Самъ же ты говоришь, что жили по правдѣ!

Глѣбъ стоялъ, какъ прикованный къ землѣ и задумчиво смотрѣлъ подъ ноги; губы его были крѣпко сжаты, какъ у человѣка, въ душѣ котораго происходитъ сильная борьба. Слова сына, какъ крупныя капли росы, потушили, казалось, огонь, за минуту еще разжигавшій его ретивое сердце. Разлука съ пріемнымъ показалась ему, почему-то, въ эту минуту тяжелѣе, чѣмъ когда-нибудь.

— Какъ же быть-то? отнуда-жъ намъ взять за него!... Я и самъ, того, думалъ... Развѣ жеребій... промежъ вами кинуть? проговорилъ онъ наконецъ, какъ бы раздумывая самъ съ собою.

Мысль эта родилась, можетъ быть, въ головѣ старика при воспоминаніи о старшихъ, непокорныхъ сыновьяхъ.

— Нѣтъ, батюшка! зачѣмъ бросать жеребій! спокойно вымолвилъ парень:—старшіе братья женаты; ужъ лучше... такъ, безъ жеребья...

Глѣбъ поднялъ голову.

— Очередь за нами, за твоими сыновьями, продолжалъ Ваня, все тѣмъ же невозмутимо-твердымъ голосомъ:—старшіе сыновья женаты... Что-жъ!.. я и пойду, батюшка...

Старику нешутя представилось, что младшій сынъ его рехнулся. Предшествовавшія слова молодого парня, его спокойный голосъ, а еще болѣе спокойный видъ убѣждали, однакожъ, старика въ противномъ. „Что-жъ бы такое значило? Ужъ не засорилъ ли парень дурью свою голову?.. Погоди-жъ, я вотъ изъ тебя дурь-то вышибу!“

При этой мысли, Глѣбъ, которому шутить было не въ охоту, вскинулъ.

— Видишь ты это? крикнулъ онъ, неожиданно выступая впередъ и показывая сыну коренастый, увалистый кулакъ.

Но Ваня на волосъ не пошатнулся, не мигнулъ даже глазомъ.

— Я тебя проучу, какъ дурью-то забираться! закричалъ отецъ, сурово изгибая свои брови:—я выколочу изъ тебя дурь-то: такъ отдую, что ты у меня на этомъ мѣстѣ трое сутокъ проваляешься! заключилъ онъ, все болѣе и болѣе разгорячаясь.

— Власть твоя, батюшка, сказалъ, съ самымъ кроткимъ, покорнымъ видомъ, парень:—бей меня—ты властенъ въ этомъ! А только я отъ своего слова не отступлюсь.

При этомъ гнѣвъ окончательно завладѣлъ старикомъ: онъ рванулся со всѣхъ ногъ на сына,—но, пораженный необычайнымъ спокойствіемъ, изображавшимся на лицѣ Вани, остановился какъ вкопанный.

— Бей же меня, батюшка, бей! сказалъ тогда сынъ, поспѣшно разстегивая запонку рубашки и подставляя раскрытую, обнаженную грудь свою:—бей; въ этомъ ты властенъ! Легче мнѣ снести твои побои, чѣмъ видѣть тебя въ тяжкомъ грѣхѣ... Я, батюшка (тутъ голосъ его возвысился), не отступлюсь отъ своего слова, очередь за нами, за твоими сыновьями; я пойду за Гришку! охотой иду! Слово мое крѣпко; не отступлюсь я отъ него... Развѣ убьешь меня... а до этого Господь тебя не допуститъ.

Глѣбъ остолбенѣлъ. Лицо его побагровѣло. Крупныя капли пота выступили на лицѣ его. Не мысль о рекрутствѣ поражала старика: онъ, какъ мы видѣли, здраво, толково разсуждалъ объ этомъ предметѣ; мысль разстаться съ Ваней, любимымъ дѣтищемъ, наконецъ, неожиданность событія потрясли старика. Такъ несбыточна казалась подобная мысль старому рыбаку, что онъ подъ конецъ махнулъ только рукой и сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ рѣкѣ; но Ваня тутъ же остановилъ его. Онъ высказалъ отцу, съ большею еще твердостью, свою рѣшимость.

Тогда между сыномъ и отцомъ началась одна изъ тѣхъ тягостно-раздирающихъ сценъ, похожихъ на вынужденную борьбу страстно любящихъ другъ друга противниковъ. Глѣбъ осыпалъ сына упреками, припоминалъ ему его дѣтство—онъ ли не любилъ его, онъ ли не лелѣялъ!—осыпалъ его затѣмъ угрозами, грозилъ ему побоями—ничто не помогало: какъ ни тяжко было сыну гнѣвить преклоннаго

отца, онъ стоялъ, однакожъ, на своемъ. Видя, что ничто не помогало, Глѣбъ рѣшился прибѣгнуть къ ласкѣ и принялся увѣщевать сына со всею нѣжностью, какая только была ему доступна. Но и это ни къ чему не послужило; сынъ остался твердъ, и рѣшимость его ни на волосъ не поколебалась. Тутъ только почувствовалъ Глѣбъ,—почувствовалъ первый разъ въ жизни, что крѣпкія, желѣзныя мышцы его какъ словно ослабли; первый разъ осмыслилъ онъ старческіе годы свои, первый разъ понялъ, что силы ужь не тѣ стали, воля и мощь не тѣ, что въ прежніе годы. Слишкомъ много потрясеній выдержали въ этотъ день его стариковскія нервы; на этотъ разъ, казалось, горе раздавило его сердце.

— Ваня! воскликнулъ старикъ, все еще не терявшій надежды убѣдить сына:—Ваня! вспомни! тебя ли я не любилъ? тебя ли не отличалъ я?.. Съ измалѣтства отличалъ я тебя отъ твоихъ братьевъ!.. Ты былъ моимъ любимцемъ, ненаглядными сыномъ моимъ! Ты моя надёжа... И ты хочешь покинуть меня своей охотой,—на старости лѣтъ покинуть хочешь! старуху свою, мать покинуть хочешь!.. Ваня, вспомни... али ты этого не знаешь?.. вѣдь и братья твои насъ покидаютъ... Что-жъ, какъ же, сиротами ты хочешь стариковъ оставить?.. Опомнись! Что ты дѣлаешь?.. Ваня!..

— Батюшка!.. батюшка! перестань! ты только мутишь меня! твердилъ въ то же время сынъ, напрягая всѣ силы своего духа, чтобы не разразиться воплемъ:—перестань!.. Богъ милостивъ!.. Приду вовремя... приду закрыть глаза твои... не навѣкъ прощаемся... Полно, батюшка! не гнѣви Господа Бога! О чемъ ты сокрушаешься? Развѣ я худое дѣло какое дѣлаю? Опомнись! развѣ я въ Сибирь за недоброе дѣло иду?.. Что ты? Опомнись! иду я на службу на ратную... иду вѣрой и правдой служить царю-государю нашему... вишь: охотой иду, самъ по себѣ... Полно, опомнись! Не сокрушайся, не мути меня, батюшка... Лучше ты безъ меня останься, чѣмъ увижу я тяжкій грѣхъ на душѣ твоей родительской!..

— Ну, послушай... вотъ... вотъ что я скажу тебѣ, подхватилъ отецъ:—кинемъ жеребій, Ваня!.. ну такъ, хошь для виду кинемъ!.. кому выпадетъ, пущай хоть тотъ знаетъ, по крайности, пущай знаетъ... что ты за него пошелъ!

— Нѣтъ, батюшка! зачѣмъ? возразилъ сынъ, качая головою:—зачѣмъ?.. Ну, а какъ кому-нибудь изъ братьевъ выпется жеребій, либо Гришкѣ, вѣдь они вѣкъ мучиться будутъ, что я за нихъ иду!..

Господь съ ними! пущай себѣ живутъ, ничего не видая, дѣло пущай ужь лучше будетъ закрытое.

Послѣднія слова сына, голосъ, какимъ были они произнесены, вырвали изъ отцовскаго сердца послѣднюю надежду и окончательно его сломили. Онъ закрылъ руками лицо, сдѣлалъ безнадежный жестъ и безотрадными взглядами окинулъ Оку, лодки, наконецъ домъ и площадку. Взглядъ его остановился на женѣ... Первая мысль старушки, послѣ того, какъ прошелъ страхъ, была отыскать Ванюшу, который не пришелъ къ завтраку.

— Ступай сюда! ступай, старуха, закричалъ Глѣбъ, махая обѣими руками.

Старушка, ковыляя, подошла къ мужу и сыну.

— Вотъ, сказалъ Глѣбъ, уже разбитымъ голосомъ: —вотъ, продолжалъ онъ, указывая на сына: —послушай его... послушай, коли сердце твое крѣпко...

Испуганная мать бросилась къ сыну. Тотъ опустилъ голову и молчалъ. Глѣбъ, въ короткихъ, отрывистыхъ словахъ, передалъ женѣ намѣреніе Вани.

— Батюшка! закричала старуха: —батюшка! помилуй!

И какъ безумная повалилась она мужу въ ноги.

— Его проси! протопопитъ Глѣбъ, захлебываясь отъ слезъ, хоть глаза его были сухи: —его проси, старуха! заключилъ онъ, указывая на Ваню.

— Ваня!.. батюшка!.. помилуй! прокричала мать, бросаясь сыну въ ноги.

Но Ваня не отвѣчалъ; онъ поддерживалъ мать и рыдалъ навзрыдъ, обливая ея лицо слезами.

Тутъ уже и самого старика слеза прошибла; онъ медленно подошелъ къ женѣ, положилъ ей широкую ладонь свою на голову и произнесъ прерывающимся голосомъ:

— Терпи, старая голова, въ кости скована! При этомъ онъ провелъ ладонью по глазамъ своимъ, тряхнулъ мокрыми пальцами по воздуху и, сказавъ: „Будь воля Божія!“ пошелъ быстрыми шагами по берегу, все дальше и дальше.

Какъ только исчезъ онъ за выступомъ высокаго берегового хребта, обѣ снохи, и за ними мужья, Гришка и дѣти, спустились съ площадки и обступили старуху и Ваню.

Но сколько ни допрашивали они, сколько ни допытывались, ничего не могли узнать.

Старуха рыдала какъ безумная. Сынъ сидѣлъ подлѣ матери, обнявъ ее рукою, утиралъ слезы и молчалъ. Когда разспросы дѣлались уже чересчуръ настойчивыми. Ваня обращалъ къ присутствующимъ кроткое лицо свое и глядѣлъ на нихъ такъ же спокойно, какъ-будто ничего не произошло особеннаго.

Такъ простой русскій человѣкъ совершаетъ всегда великодушные поступки!

XVII

Проводы.

Тусклый, сѣренькій день. Сводъ неба, какъ будто опустился, нависъ въ раздумьи надъ молчаливой землею. Еслибъ не теплота воздуха, не запахъ молодой, только-что распустившейся зелени, можно было подумать, что весна неожиданно снѣнилась осенью. Въ началѣ весны часто встрѣчаются такіе дни. Они похожи на задумчивое, прекрасное лицо молодой дѣвушки. Вся природа вдругъ стихнетъ—стихнетъ, какъ рѣзвый ребенокъ, выпущенный на волю, который, не надѣясь на свои силы и не въ мѣру отдавшись шумному, крикливому веселью, падаетъ вдругъ, утомленный, на траву и сладко засыпаетъ... Въ такіе дни вы звука не услышите. Все живущее какъ будто сдерживаетъ дыханіе, приготовляется къ чему-то, снова собирается съ силами къ шумному празднеству лѣта. Стада безмолвствуютъ, какъ бы опьяненныя крѣпкимъ куреніемъ распускающихся растеній, которое, за недостаткомъ солнечныхъ лучей, стелется надъ землею; животныя припали къ злачной травѣ, опустили головы, или лѣниво бродятъ по окрестности. Птицы сонливо дремлютъ на вѣткахъ, проникнутыхъ свѣжимъ молодымъ сокомъ; насѣкомые притаились подъ древесною корою, или забились въ тѣсные пласты мху, похожіе, въ безконечно уменьшенномъ видѣ, на непроходимые сосновые лѣса; муха не прожужжитъ въ воздухѣ; самъ воздухъ боится, кажется, нарушить торжественную тишину и не трогаетъ ни однимъ стебелькомъ, не подымаетъ даже легкаго пуха, оставленнаго на лугахъ молодыми, только-что вылупившимися гусенятами... Ничего не можетъ быть поэтичнѣе такихъ дней! Тонкій,

счастливо настроенный слухъ различаетъ, посреди этой мертвой тишины, стройное, гармоническое пѣніе... Неизъяснимо-сладкимъ чувствомъ наполняется душа ваша. Но не восторженный экстазъ, не грустное раздумье (въ которомъ также есть своя прелесть) овладѣваютъ вами: нѣтъ! кровь и мозгъ совершенно покойны: вы просто чувствуете себя почему-то счастливымъ; все существо ваше невольно сознаетъ тогда возможность тихихъ, мирныхъ наслажденій, скромной задушевной жизни съ самимъ собою; жизни, которую вы такъ давно, такъ напрасно, можетъ-быть, искали въ столицахъ, съ ихъ шумомъ, блескомъ, и обольщеніями для васъ тогда не существуютъ: онѣ кажутся такими маленькими, что вы даже ихъ не замѣчаете... Въ такія минуты на сердцѣ легко и свободно, какъ въ первыя лѣта счастливой юности; ни одно дурное помышленіе не придетъ въ голову. Вы довольны сами собою, довольны своими чувствами, довольны своимъ одиночествомъ и благословляете провидѣніе, которое дало вамъ возможность жить, дышать и чувствовать...

Въ такой именно день, рано утромъ, Ванюша прощался съ своимъ семействомъ. Окрестность нарочно, казалось, приняла самый тусклый, сѣренькій видъ, чтобы возбудить въ сердцѣ молодого парня какъ можно меньше сожалѣнія при разставаньи съ родимыми мѣстами. Семейство рыбака стояло на дворѣ; оно теперь немногочисленно (Петръ, Василій, ихъ жены и дѣти ушли наканунѣ). Тутъ находятся всего-на-всего: Глѣбъ, его старуха, сынъ, пріемышъ и дѣдушка Кондратій, который пришелъ провожать Ванюшу. Мы застаемъ ихъ въ самую роковую, трудную минуту. Уже ворота, выходящія на площадку, отворены: уже дѣдушка Кондратій отнесъ въ избу старую икону, которою родители благословили сына, Остается только сказать: „Пойдемте!..“ но старый Глѣбъ все еще медлитъ. Гришка, между тѣмъ, простился уже съ товарищемъ своей юности; онъ отошелъ немного поодаль; голова его опущена, брови нахмурены, но темные глаза, украдкой устремляющіеся то въ одну сторону двора, то въ другую, ясно показываютъ, что печальный видъ принятъ имъ по необходимости, для случая, что самъ онъ слабо раздѣляетъ семейную скорбь. Никто, впрочемъ, изъ присутствующихъ не думаетъ въ эту минуту о пріемышѣ. Тетка Анна крѣпко охватила обѣими руками шею возлюбленнаго дѣтища; лицо старушки прижимается еще крѣпче къ груди его; слабымъ, замирающимъ голосомъ произноситъ она безсвязное, прощальное причитаніе. Передъ ними стоитъ Глѣбъ; глаза его сухи, не произноситъ

онъ ни жалобъ, ни упрековъ, ни жестокихъ укорительныхъ словъ; не скрещенныя на груди руки, опущенная голова, морщины, которыхъ уже не перечтешь теперь на высокомъ лбу, достаточно показываютъ, что душа стараго рыбака переноситъ тяжкое испытаніе. Напрасно дѣдушка Кондратій, котораго Глѣбъ всегда уважалъ и слушалъ, напрасно старается онъ уговорить его, призывая на помощь душеспасительныя слова: слова старичка теперь безсильны: онѣ дѣйствуютъ на Глѣба какъ на полусумасшедшаго человѣка: онъ слышитъ каждое слово дѣдушки, различаетъ каждый звукъ его голоса, но не удерживаетъ ихъ въ памяти. Глѣбъ до сихъ поръ не можетъ еще собраться съ мыслями: въ эти три дня старикъ перенесъ столько горя! Поступки дѣтей его изгладили изъ его памяти цѣлыя шестьдесятъ лѣтъ спокойной, безмятежной, можно даже сказать, счастливой жизни... Но сколько ни думай, сколько ни сокрушайся, ничего этимъ не возьмешь,—время только проходитъ.

— Пойдемте! говоритъ Глѣбъ.

Дѣдушка Кондратій бережно разнимаетъ тогда руки старушки, которая почти безъ памяти, безъ языка, виситъ на шеѣ сына: тетка Анна выплакала вмѣстѣ съ послѣдними слезами послѣднія свои силы. Ваня передаетъ ее изъ рукъ на руки Кондратію, торопливо перекидываетъ за спину узелокъ съ пожитками, крестится и, не подымая заплаканныхъ глазъ, спѣшитъ за отцомъ, который уже успѣлъ обогнуть избы.

Отчаянный, раздирающій крикъ, раздавшійся позади, приковываетъ на мѣстѣ молодого парня.

— Ваня!.. Ваня!..

— Полно... матушка... не убивайся... Богъ милостивъ! говоритъ онъ, обнимая старуху, которая какъ безумная охватила его руками.

Но увѣщеванія тутъ напрасны! Дѣдушка Кондратій и Ваня, поддерживая Анну, продолжаютъ путь.

Вотъ уже миновали огородъ, вотъ уже перешли ручей. Этотъ ручей, свидѣтель младенческихъ лѣтъ, служитъ послѣднимъ порогомъ родительскаго дома. Вотъ ступили уже на тропинку и стали подыматься въ гору. Воспоминанія тѣснятся въ душѣ молодого парня; съ каждымъ шагомъ впередъ предстоитъ новая разлука... Какъ ни подкрѣплялъ себя молодой рыбакъ мыслію, что поступкомъ своимъ освободилъ старика отца отъ неправаго дѣла, освобо-

далъ его отъ грѣха тяжкаго, какъ ни тверда была въ немъ вѣра въ провидѣніе, совсѣмъ тѣмъ онъ не въ силахъ удержать слезъ, которыя сами собою текутъ по молодымъ щекамъ его... Тяжко, вѣдь, разставаться впервые съ домомъ родительскимъ; тутъ съ сердцемъ уже не совладаешь: не слушаетъ оно разсудка и не обольщается мечтами и надеждами...

Простолюдину еще труднѣе покинуть родимый кровъ, чѣмъ всякому другому человѣку. Какъ бы ни убога была хижина бѣдняка, онъ привязанъ къ ней всѣми своими чувствами, всею душою. Привязанность образованнаго человѣка къ матеріальнымъ предметамъ, съ которыми онъ свыкся, привязанность къ дому, къ почвѣ, совершенно ничтожна сравнительно съ привязанностію простолюдина къ тѣмъ же предметамъ его привычки. Объясняется это очень легко: умственная, духовная жизнь, которая отрѣшаетъ человѣка, болѣе или менѣе, отъ грубаго матеріализма, весьма ограничена у простолюдина. Живя почти исключительно матеріальной, плотской жизнію, простолюдинъ срастается, такъ сказать, съ каждымъ предметомъ, его окружающимъ, съ каждымъ бревномъ своей лачуги: онъ въ ней родился, въ ней прожилъ безвыходно свой вѣкъ; ни одна мысль не увлекала его за предѣлъ родной избы: напротивъ, всѣ мысли его стремились къ тому только, чтобы не покидать роднаго крова. Русскій мужикъ — семьянинъ и домосѣдъ, по преимуществу. Мнѣ довелось разъ видѣть, какъ семейство пахаря, добровольно отправлялось въ плодородныя южныя губерніи, прощалось съ своимъ полемъ — жалкими двумя десятинами глинистой, никуда почти негодной почвы. Я въ жизнь не видалъ такого страшнаго прощанья, такихъ горькихъ слезъ! Мать родная, прощаясь съ любимыми дѣтьми, не обнимаетъ ихъ такъ страстно, не цѣлуетъ ихъ такъ горячо, какъ цѣловали мужички землю, кормившую ихъ столько лѣтъ. Они оставляли, казалось, на этихъ двухъ нивахъ часть самихъ себя. Кусочки земли были зажаты даже въ ладонки грудныхъ младенцевъ... Простолюдинъ покоренъ привычкѣ: разставаясь съ домомъ, онъ разстается со всѣмъ, что привязывало его къ землѣ. Онъ жилъ въ исключительной, ограниченной своей сферѣ; внѣ дома для него не существуетъ интересовъ; онъ недовѣрчиво смотритъ на міръ, выходящій изъ предѣла его обыкновенныхъ, узкихъ понятій. Покидая домъ, онъ не подкрѣпляетъ себя, какъ мы, мечтами и надеждами: онъ положительно знаетъ только то, что разстается съ домомъ, разстается со всѣмъ, что привязываетъ его къ жизни, и потому-то

всѣми своими чувствами, всею душою отдалася своей скорби... Достигнувъ вершины высокаго берегового хребта — вершины, съ которой покойной дядя Аникъ боязливо спускался когда-то вмѣстѣ съ Гришкой къ избамъ стараго рыбака, Глѣбъ остановился. Но не быстрая ходьба въ гору утомила его: ему, напротивъ, хотѣлось бы пройти еще скорѣе, подняться еще выше. Страшная тяжесть висѣла на сердцѣ старика; ему хотѣлось пройти теперь сто верстъ безъ отдыха: авось-либо истома угомонитъ нахлынувшую тоску, которая гложетъ сердце. Когда Ваня и дѣдушка Кондратій, все еще поддерживавшіе Анну, поднялись на гору, Глѣбъ подошелъ къ нимъ.

— Зачѣмъ вы привели ее сюда? истерическимъ сказалъ онъ: — легче отъ этого не будетъ... Ну, старуха, полно тебѣ... простись, да ступай съ Богомъ. Линніе проводы — линнія слезы... Ну, прощайся!

— Прощай, матушка! произнесъ сынъ и въ первый разъ не могъ хорошенько совладать съ собою, въ первый разъ зарыдалъ горько — зарыдалъ какъ мальчикъ.

При этомъ старуха вдругъ встрепенулась: забытье исчезло, силы воскресли. Откинувъ исхудалыми руками плавокъ, покрывавшій ей голову, она окинула безумнымъ взглядомъ присутствующихъ, какъ бы все еще не сознавая хорошенько, о чемъ идетъ рѣчь, и вдругъ бросилась, съ быстротою молніи, на сына и перекинула руки черезъ его голову. Крикъ, сопровождавшій это движеніе, надрѣзалъ какъ ножомъ сердца двухъ стариковъ. Въ лѣта дѣдушки Кондратія уже не плачутъ: слезы всѣ выплаканы: давно уже высохъ и самый источникъ. Но Глѣбъ мало еще видалъ горя: онъ не осилилъ. Сколько Глѣбъ ни крѣпился, сколько ни отворачивалъ головы, сколько ни хмурилъ бровей, крупныя капли слезъ своевольно брызгали изъ очей его и серебрили и безъ того уже посѣдѣвшую его бороду. Онъ махнулъ рукою и еще скорѣе пошелъ впередъ. Ваня вырвался изъ объятій матери и побѣжалъ за нимъ, не переставая креститься.

— Ваня! Ваня!

Старуха бросилась было за сыномъ; но ноги ея ослабли. Она упала на колѣни и простерла впередъ руки.

Ваня продолжалъ между тѣмъ слѣдить за отцомъ. Разъ только обернулся онъ: избушки, площадка, ручей, лодки, сѣти — все исчезло! Надъ краемъ горы, которая закрывала углубленіе берега, замѣнявшее ему цѣлую родину, онъ увидѣлъ только бѣлую голову

дѣдушки Кондратія, склоненную надъ чѣмъ-то распростертымъ посреди дороги. За нимъ, дальше, въ безпредѣльной глубинѣ, увидѣлъ онъ дальнюю луговую мѣстность. Съ этой высоты, маленькое озеро дѣдушки Кондратія казалось какъ на ладони. Бѣлая подвижная точка какъ слепень мелькала недалеко отъ земли, окружавшей темною каймою озеро. Ваня какъ будто пріостановился; но тотчасъ же отвернулъ голову, перекрестился и пошелъ еще скорѣе. Очутившись въ нѣсколькихъ шагахъ отъ отца, онъ не выдержалъ и опять-таки обернулся назадъ; но на этотъ разъ глаза молодого парня не встрѣтили уже знакомыхъ мѣстъ: все исчезло за горою, темный хребетъ которой упирался въ тусклое, сѣрое безъ просвѣта небо... Прощай, мать! прощай, родина, дѣтство, воспоминанія — все прощай!

Грустно!..

. . . . . .

На четвертый день, послѣ вышеописанной сцены, Глѣбъ возвратился домой. У воротъ онъ встрѣтился съ женою, которая, завидя его одного, ударилась въ слезы; но Глѣбъ прошелъ мимо, не обративъ на нее ни малѣйшаго вниманія. На дворѣ ему подвернулся Гришка; но онъ не взглянулъ даже на него. Послѣ тягостной сцены съ старшими сыновьями, послѣ разлуки съ Ваней, стараго Глѣба какъ словно ничто уже не занимало. Все это происходило утромъ. Во всю остальную часть дня, въ обѣдъ, въ ужинъ, старый рыбакъ ни разу не показался въ избѣ. Отсутствіе его замѣтила подъ конецъ и тетушка Анна. Старушка отправилась отыскивать мужа. Безпокойство еще хуже овладѣло ею, когда обойдя клѣтушки и навѣсы, она не нашла Глѣба. Наконецъ, послѣ долгихъ розысковъ, увидѣла она его лежащаго навзничь на грудѣ старыхъ вершей, въ самомъ темномъ, отдаленномъ углу двора. Голова стараго рыбака и верхняя часть его туловища были плотно закутаны полушубкомъ. Онъ не спалъ, однакожъ. Старушка явственно разслышала тяжелые вздохи, сопровождаемые именами Петра, Василія и Вани. Анна вернулась къ избѣ, сѣла на крылечко и снова заплакала. Такъ провела она всю ночь. На зарѣ она снова подошла къ мужу. Глѣбъ лежалъ недвижно на своихъ вершахъ. Глухіе, затаенные вздохи, сопровождаемые именами сыновей, по прежнему раздавались подъ полушубкомъ. Весь этотъ день прошелъ точно такъ же, какъ вчерашній. Глѣбъ не показывался въ избѣ, не пилъ, не ѣлъ и продолжалъ лежать на своихъ вершахъ. Тоска смертель-

ная овладѣла тогда старушкой. Когда она увидѣла, что и на третій день точно также не было никакой перемѣны съ мужемъ, безпокойство ея превратилось въ испугъ: и безъ того уже такъ пусто было въ домѣ, такъ печально глядѣли навѣсы! Старушка вышла за ворота, отыскала глазами Гришку, который приколачивалъ что-то подлѣ лодокъ, и пошла къ нему.

— Гриша, что это, касатикъ, съ нашимъ старикомъ приключилось? сказала она, заботливо качая головою: — вотъ третій день онъ ни ѣстъ, ни пьетъ, сердечный.

— Стало-быть, не въ охоту, оттого и не ѣстъ! отрывисто отвѣчалъ пріемышъ, не поднимая головы.

— О-охъ, нѣтъ, касатикъ, никогда съ нимъ такого не бывало! подхватила со вздохомъ старушка: — лежитъ, не двинется, не пьетъ, не ѣстъ ничевохонько третьи сутки... не приключился бы грѣхъ какой.

— Ничаво, небось! полежитъ, полежитъ, да встанетъ.

— Хорошо, кабы такъ-то!.. О-охъ, боюсь, не разнемогся бы... помилуй Богъ!

— Небось, его нескоро возьмешь! здоровъ онъ какъ вода! что ему сдѣлается!

— Шутка, трое сутокъ маковой росинки во рту не было! продолжала старушка, которую всего болѣе озадачивало это обстоятельство, служащее всегда въ простонародьи несомнѣннымъ признакомъ какого-нибудь страннаго недуга: — съ той вотъ самой поры, какъ пришелъ... провожалъ нашего Ваню...

Старушка не договорила: голосъ ея вдругъ ослабѣлъ. Она какъ-то усиленно закрыла глаза и замотала головою. Сквозь распущенныя вѣки ея, лишенныя рѣсницъ, показались слезы, которыя тотчасъ же наполнили глубокія морщины ея исхудалаго лица.

— Охъ, ненаглядный ты мой... сокровище ты мое! Ванюшка! гдѣ-то ты? простонала Анна, тоскливо мотая головою: — а все вѣдь, Гриша... о-охъ... все вѣдь какъ словно... все черезъ тебя вышло такое...

— Да что ты, матушка, въ самомъ-то дѣлѣ ко мнѣ пристаешь съ эвтимъ? съ дерзкимъ нетерпѣніемъ произнесъ пріемышъ: — разѣ моя въ чемъ вина? „Черезъ тебя да черезъ тебя!“ Кабы я у васъ не случился, такъ все одно было бы!

Старушка ничего не отвѣчала. Она положила голову на ладонь и, подавивъ вздохъ, медленно пошла къ избамъ.

Ступивъ на дворъ, она нечаянно наткнулась на Глѣба.

Мужественное лицо стараго рыбака было красно-багроваго цвѣта, какъ-будто онъ только-что вышелъ изъ бани, гдѣ парился чрезъ мѣру. Черты его исчезали посреди опухлости, которая особенно рѣзко проступала вокругъ глазъ, оттѣненныхъ мрачно нависнувшими бровями. Старушка замѣтила съ удивленіемъ, что въ эти три дня мужъ ея посѣдѣлъ совершенно.

Горе старушки уступило на минуту мѣсто безпокойству, которое пробудила въ ней наружность мужа.

— Батюшка, Христосъ съ тобою! на тебѣ вѣдь лица, касатикъ, нѣту! воскликнула она, опуская руки: —вотъ почитай третьи сутки не ѣлъ, не пилъ ничевохонько! Что мудренаго! ужь не хвороба-ль какая заѣла тебя? помилуй Богъ! продолжала она, между тѣмъ какъ мужъ мрачно глядѣлъ въ совершенно противоположную сторону: —ты бы на себя-то поглядѣлъ: весь распухъ, лицо красное-красное... должно быть, кровь добре привалила... О-охъ, ты, батюшка, до грѣха, сходилъ бы въ Сосновку—кровь кинулъ... все бы маленько поотлегло... сходи-ка съ Богомъ... право-ну!

Глѣбъ провелъ ладонью по лицу, разгладилъ морщины и повернулъ голову къ женѣ.

— Вотъ что, старуха, произнесъ онъ твердымъ голосомъ и, повидимому, не обращая вниманія на предшествовавшія слова жены: — нонѣче въ Комаревѣ ярмарка. Схожу — не навернется-ли работникъ: безъ него нельзя. Погоревали, поплакали довольно, пора и за дѣло приниматься. Останешься теперь одна въ дому: пособить некому... не до слезъ теперь... одна за все, про все... Поплакала, погоревала, ну и довольно! У меня, чтобъ я теперь этихъ слезъ не видѣлъ... слышишь?.. и безъ нихъ невесело, заключилъ рыбакъ, оглядывая дворъ, навѣсы и кой-какія рыбацкія принадлежности съ такимъ хлопотливымъ видомъ, который ясно показывалъ, что скорбь отца начинала мало-по-малу вытѣсняться заботами дѣлового, толковаго хозяина.

Глѣбъ вошелъ въ избу, посерчалъ на безпорядокъ, который невольно бросался въ глаза, велѣлъ все прибрать до возвращенія своего изъ Комарева и сѣлъ завтракать. Ѣлъ онъ, однакожъ, неохотно, какъ словно даже понуждалъ себя—обстоятельство, заставившее жену повторить ему совѣтъ касательно метанія крови: но Глѣбъ, по прежнему, не обратилъ вниманія на слова ея. Послѣ зав-

трака, онъ вынулъ изъ сундучка, скрытаго въ комодѣ, деньги, одѣлся, вышелъ на площадку, разсчиталъ по солнцу время, переѣхалъ Оку и бодро направился въ Комарево.

XVIII.

Комарево.

Село Комарево, по величинѣ своей, красотѣ нѣкоторыхъ зданій и капиталамъ, находящимся въ рукахъ пяти-шести обывателей, было значительнѣе многихъ уѣздныхъ городовъ. Оно принадлежало наслѣдникамъ одного вельможи временъ императрицы Екатерины II. Лѣтъ двадцать назадъ, крестьяне, внесши за себя полмилліона, откупились, какъ говорится. Полмилліона, конечно, не бездѣлица; но если взять въ соображеніе средства, какими располагала вотчина, ея угодья и внутреннее богатство, комаревцы поступили не только разсчетливо, но даже глубоко обдуманно. „Десятокъ мужиковъ равняется въ общей сложности тончайшему аферисту-спекулятору и хитрѣйшему дипломату", замѣтилъ кто-то весьма справедливо. Распространяться долго не къ чему, потому что Комарево слегка прикасается къ нашему разсказу. Скажемъ только, что пятьшесть его обывателей, въ продолженіе послѣднихъ двадцати лѣтъ, нажили сотни тысячъ цѣлковыхъ. Нѣкоторые занимались сплавомъ лѣса въ широкихъ размѣрахъ; другіе снимали верстъ на десять луга, которые къ осени обставлялись нескончаемыми стогами сѣна, увозимыми потомъ въ Москву на баржахъ; третьи брали на свой пай озера и огромный участокъ берега, принадлежащій вотчинѣ. Рыбный промыселъ въ такомъ масштабѣ приносилъ большія выгоды. Четвертые, наконецъ, занимались ткачествомъ. Въ числѣ тысячи восьмисотъ душъ были, конечно, бѣдняки — не безъ этого; но цифра ихъ была весьма незначительна. Вотчина занимала весь почти народъ. Тысяча миткалевыхъ становъ неумолкаемо работали въ Комаревѣ. Красильня, прядильня, суконильня, набивная фабрика требовали не мало рукъ. Лаптей въ Комаревѣ никто не носилъ. Зато тамъ счету не было самоварамъ, сапогамъ, краснымъ рубахамъ и гармоніямъ, которыя, какъ извѣстно, производятся по сосѣдству, въ Тулѣ. Мѣсто

было привольное, какъ вообще всѣ села, расположенныя по близости большихъ, судоходныхъ рѣкъ. Преимущество Комарева заключалось въ томъ еще, что оно лежало на перепутьи двухъ большихъ дорогъ: одна вела въ Коломну, другая—въ Москву. Каждый годъ, въ день приходскаго праздника (въ Комаревѣ были двѣ каменныя церкви), тутъ происходила ярмарка. Народъ сходился изъ двадцати окрестныхъ деревень. Но комаревцы рѣзко отличались отъ всѣхъ яркостью своихъ рубашекъ, мѣдными гребешками, висѣвшими на поясахъ щеголей, синими кафтанами пожилыхъ людей, штофными и плисовыми коротайками на заячьемъ мѣху, отливавшими всѣми возможными золотистыми отливами на спинахъ бабъ. Гульливость и нѣкоторое залихватство составляли не послѣднее свойство „комарятовъ“; такъ величали въ околодиѣ жителей Комарева. Прозвище это взялось отъ комаровъ, которые, благодаря еловымъ лѣсамъ, обступавшимъ съ трехъ сторонъ Комарево, заѣдали обывателей чуть не до смерти. Этой гульливости и залихватству столько-же содѣйствовалъ достатокъ, сколько фабричная жизнь, располагающая, какъ извѣстно, къ пьянству всякаго рода, а также и баловству. Въ большихъ прирѣчныхъ селахъ, даже безъ фабрикъ и нѣкотораго достатка, разгулъ принимаетъ всегда широкіе размѣры; народъ уже не тотъ: замѣтно болѣе оживленія, болѣе удали, чѣмъ въ деревняхъ, отдаленныхъ отъ большихъ водныхъ сообщеній. И то сказать надо: было, впрочемъ, гдѣ и разгуляться въ Комаревѣ. При самомъ въѣздѣ въ село, со стороны луговъ, возвышалось двухсрубное бревенчатое зданіе съ мезониномъ, которое всѣмъ было хорошо извѣстно подъ именемъ „Разставанья“; но о кабакѣ мы будемъ говорить послѣ. Скажемъ только, что село состояло изъ нѣсколькихъ улицъ, или порядковъ. Дома по большей части плотные, здоровые, крытые тесомъ. Мудренаго нѣтъ: село ушлалось задами въ еловый лѣсъ, который синѣлъ на безпредѣльное пространство. Руби, сколько хочешь. Общество — свой братъ: смотритъ на тебя сквозь пальцы; и дѣло! сколько ни руби, всего вѣдь не вырубишь. Вишь его куда раскинулся! и конца-краю не видно... Дома капиталистовъ бросались въ глаза: то были неуклюжіе двухъ-этажные каменные дома, съ желѣзною, зеленою или сѣрой кровлей, съ ворогами, украшенными каменными шарами и палисадникомъ, засѣяннымъ вплотную отъ фундамента до рѣшетки королевскими свѣчами. Издали, казалось передъ домомъ лежитъ исполинскій мѣдный, ярко вычищенный тазъ. Комаревскія церкви (одна изъ нихъ превосходнѣйшей архи-

тектуры) стояли почти бокъ-о-бокъ и занимали середину села. Подлѣ нихъ возвышался когда-то великолѣпный барскій домъ, но теперь отъ него и слѣду не оставалось. На его мѣстѣ торчали безконечные ряды шестовъ, увѣшанныхъ сушившеюся синею пряжей. За шестами раскидывался садъ. Дорожки, разбитыя когда-то въ англійскомъ вкусѣ, по рисунку знаменитаго садоваго архитектора, давно уже заросли травою, которая послѣ того, какъ срубили роскошныя липовыя и кленовыя аллеи, пошла расти необыкновенно ходко, къ великой радости обывателей, которымъ мало, видно, было луговъ, чтобы кормить скотину. Спекулятивный духъ комаревцевъ нашелъ выгоднымъ засадить все пространство, занимаемое садомъ, яблонями и крыжовникомъ. Часть отдавали въ наемъ, часть шла для собственнаго употребленія. Плетень, окружавшій ту сторону сада, которая преимущественно отдавалась въ наемъ, былъ замѣтно хуже загороди, обносившей участокъ, предназначавшійся обывателямъ. Двадцать лѣтъ тому назадъ дома располагались по сю сторону церквей. Въ настоящее время, какъ уже сказано, выше, церкви и садъ очутились по срединѣ села, которое расползлось, какъ разбогатѣвшій мѣщанинъ, унитавшійся чаемъ.

Представьте себѣ теперь посреди всего этого тысячи четыре разгулявшагося народа, который движется и кричитъ между рядами нѣсколькихъ сотенъ подводъ. Шумъ и пестрота нестерпимые! Глазъ не соберешь, уши заложитъ!—Комаревскія ярмарки не имѣютъ большого значенія въ торговомъ отношеніи. Народъ достаточный, купеческій, запасливый: поэтому самому, сюда привозится товаръ „ходовой“, то есть такой, котораго сбыть вѣрно... Но намъ нѣтъ никакой возможности продраться сквозь толпу и посмотрѣть, что именно заключается въ возахъ. Остается одно средство—взоститься на ближайшую телѣгу или вскарабкаться на крышу: посреди темнаго моря головъ рѣзко бросаются въ глаза желтые и ярко-пунцовые платки, охваченные солнцемъ. Бабы и дѣвки сбиваются обыкновенно въ кучки, принимающія издали видъ острововъ, заросшихъ піонами, макомъ и куриною слѣпотою. Изъ средины этихъ кучекъ высовывается или холстяной навѣсъ, держащійся криво и косо на кольяхъ, или вертлявый, торопливый мужикъ, стоящій на возу. Товаръ сказывается самъ собою: тутъ ничего не можетъ быть, кромѣ орѣховъ, стручковъ—словомъ, всего того, чѣмъ молодыя бабы и дѣвки любятъ зубки позабавить. Въ этихъ кучкахъ щелкотня идетъ страшная—отсюда слышно—точно перекрестный огонь. Всего изу-

мительнѣе искусство, съ какимъ отплевываютъ онѣ скорлупу, съѣвши ядрышко. Тутъ уже оборони Богъ ходить босикомъ или въ тонкихъ башмакахъ: какъ разъ-ногу напорешь! Пестрые платки вдругъ перемежаются синими, зелеными и темными картузами фабричныхъ. Картузы, словно по условному знаку, то подымаются козырьками кверху, то книзу, и въ то же время надъ толпою подымается рука и взлетаетъ на воздухъ грошъ: тамъ идетъ орлянка; опять толпа, опять баба. Пестроты меньше, однакожъ, на платкахъ. Ясно, что подъ ногами бабъ съ темными, „вдовьими“ платками, возвышаются на рогожѣ коломенскія чашки, ложки, всякая щепная посуда, или же шелкъ, тесемки, набивной ситецъ, предметы дѣловые, солидные, разумѣется, на видъ только. Русыя головки дѣвчонокъ и вскосмаченныя головы ребятъ, мелькающія кой-гдѣ подлѣ возовъ, обозначаютъ присутствіе офеней, явившихся на подводахъ; но оловянныя сережки, запонки съ фольгою, тавлинки со слюдою, крючки, нитки и иголки плохо идутъ въ Комаревѣ. „Вотъ не видали какой дряни!“ говорятъ, проходя мимо, фабричныя бабы и дѣвки, которыя, благодаря своей говорчивости, обвѣшаны коломенскими бусами, серьгами и запонками — даровыми приношеніями волокить-мигачей. Промежутки между этими пестрыми, разнообразными кружками, запружены мужскими шапками всѣхъ возможныхъ видовъ, начиная съ мохнатаго треуха бѣднаго мужика, который не сколотился еще купить лѣтнюю покрышку, и кончая лоснящеюся шелковой шляпой съ заломомъ и павлиньимъ перомъ щеголя. Все тискается, повидимому, безъ цѣли и толку. Часто даже напираютъ для одной потѣхи; но говоръ, восклицанія, замашистая пѣсня, звуки гармоніи, отчаянные крики бабъ, которыхъ стискиваютъ, не умолкаютъ ни на минуту. Гулъ и движеніе страшные — ни дать, ни взять, торговая баня! Но тутъ все еще замѣтна нѣкоторая пестрота. Пестрота исчезаетъ только по мѣрѣ приближенія къ „Разставанью“; тамъ сплошь уже мелькаютъ однѣ черныя шапки. Замѣтно даже больше колебанья въ толпѣ. Шапки рѣдко высятся перпендикулярно — косятся по большей части на стороны; какъ какой-нибудь исполинскій контрбасъ, ревущій въ три смычка — контрбасъ, у котораго поминутно лопаются струны, гудитъ народъ, окружающій „Разставанье“.

Такъ какъ кабакъ находился у входа въ село, и притомъ съ луговой стороны, Глѣбъ Савиновъ долженъ былъ неминуемо пройти мимо. Поровнявшись съ „Разставаньемъ“, старый рыбакъ остановился. Онъ подумалъ основательно, что тутъ легче всего можно

напасть на какого-нибудь батрака; батраки вообще народъ гульливый. Продравшись сквозь толпу и отвѣсивъ нѣсколько дюжихъ пинковъ, Глѣбъ приблизился къ зданію. Онъ поправилъ шапку и, прищуривъ глаза, которые невольно съуживались и мигали, посреди нестерпимаго для слуха грома голосовъ, принялся оглядываться.

Подлѣ него, возлѣ ступенекъ крыльца, и на самыхъ ступенькахъ располагалось нѣсколько пьяныхъ мужиковъ, которые сидѣли вкривь и вкось, иной даже лежалъ, но всѣ держались за руки или обнимались; они не обращали вниманія на то, что черезъ нихъ шагали, наступали имъ на ноги или же попросту валились на нихъ: дружескія объятія встрѣчали того, кто спотыкался и падалъ; они горланили, что было моченьки, во сколько хватало духу, какую то раздирательную, нескладную пѣсню, и такъ страшно раскрывали рты, что видны были не только коренные зубы, но даже небо и маленькій язычекъ, болтавшійся въ горлѣ. Хмѣльная ватага окружала Глѣба съ другихъ трехъ сторонъ; всѣ махали руками, говорили, кричали и пѣли въ разладъ.

„Ну, тутъ видно толку не доберешься!“ подумалъ Глѣбъ.

Онъ уже хотѣлъ повернуться и пойти посмотрѣть на село, авось тамъ не навернется ли какой-нибудь работникъ, когда на крыльцѣ „Разставанья“ показался цѣловальникъ. Съ нимъ вышли еще какіе-то два молодые парня.

Необходимо здѣсь сказать два слова объ этомъ цѣловальникѣ: онъ прикасается къ разсказу. То былъ человѣкъ необыкновенно высокаго роста, но худощавый какъ осетръ: широкія складки красной какъ кровь рубахи и синіе широчайшіе шаровары, изъ крашенины, болтались на его членахъ, какъ на шестахъ; бабьи боты, надѣтыя на босыя, костлявыя ноги, замѣняли обувь. Чахлое существо это было насквозь проникнуто вялостью: его точно развариль въ котлѣ; блѣдное, отекшее лицо, мутные глаза, окруженные красными распухнувшими вѣками, желтые, прямые волосы, примазанные какъ у дѣвки; черты его были необыкновенно тонки и мягки; самое имя его отличалось необыкновенною мягкостью и вялостью: не то, чтобы Агапитъ, Вафулій, Ѳедулъ или Ерофей,— нѣтъ! его звали Герасимомъ.

Со всѣмъ тѣмъ этотъ безжизненный, меланхолическій Герасимъ, который съ трудомъ, казалось, несъ бремя жизни, былъ негодяй первой руки, плутъ первостатейный,— „темный“ плутъ, какъ говорится въ простонародьи.

Подъ этой мертвенной личиной скрывался самый расторопный, пронырливый, дѣятельный человѣкъ изо всего дѣятельнаго, промышленнаго Комарева. Выходило всегда какъ-то, что онъ поспѣвалъ всюду, дорожъ, что едва передвигалъ своими котами; ни одно дѣло не обходилось безъ Герасима; хотя самъ онъ никогда не участвовалъ на мірскихъ сходкахъ, но всѣ почему-то являлись къ нему за совѣтомъ, какъ словно никто не смѣлъ помимо него подать голоса. Большую половину села, нѣсколько окрестныхъ деревушекъ держалъ онъ въ костлявыхъ рукахъ своихъ. Не было почти человѣка въ околодкѣ, который не нуждался бы въ Герасимѣ, не имѣлъ съ нимъ дѣла и не прибѣгнулъ къ нему хоть разъ въ качествѣ униженнаго просителя. Онъ давалъ денегъ кому угодно, лишь бы приносили задатокъ, цѣнность котораго должна была всегда втрое превышать ссуженную сумму; предметъ задатка не останавливалъ сельскаго ростовщика: рожь, мука, полушубки, шапки, холстъ, рубахи, клячи, коровы, ободья — все было хорошо; срокъ платежа назначался всегда при свидѣтеляхъ, въ которыхъ никогда не было недостатка подъ гостепріимною кровлею „Разставанья“. Если въ назначенный часъ не возвращалась сумма, задатокъ не возвращался: такъ ужъ положено было заранѣе. Иногда Герасимъ поступалъ слѣдующимъ образомъ: мужичку понадобился цѣлковый; Герасимъ бралъ съ него полушубокъ и женинъ платокъ, давалъ ему на полтора цѣлковыхъ лыкъ; мужикъ продавалъ лыки (на его волю предоставлялось сыскать покупщика), — продавалъ мужикъ лыки, положимъ, хоть за цѣлковый и покупалъ хлѣба. Хлѣбъ съѣденъ — опять просьба къ Герасиму, онять задатокъ. Подъ конецъ мужикъ оставался безъ хлѣба и безъ кола на дворѣ. Никто, однакожъ, не ропталъ и не злобствовалъ на Герасима: русскій мужикъ рѣдко ненавидитъ врага своего, когда врагъ этотъ сильнѣе его самого; робость, непобѣдимый страхъ замѣняютъ ненависть. Цѣловальникъ всѣмъ внушалъ такое чувство: онъ никогда не возвышалъ голоса, говорилъ сонливо, нехотя, но его боялись и слушались самые отчаянные удальцы. Кабакъ служилъ только фирмой: спекулятивная дѣятельность Герасима не знала предѣловъ. Онъ торговалъ оптомъ, торговалъ по мелочамъ; у него можно было купить живую корову и четверть фунта коровьяго масла, возъ рыбы и горсть мерзлыхъ пискарей на уху; деготь, сало, одежда, гвозди, соль, набивные платки, свѣчи, колеса,—словомъ, все, что входитъ въ составъ крестьянскаго хозяйства, всѣмъ торговалъ Герасимъ. Изъ дрянного ка-

бака преобразовалось постепенно что-то въ родѣ трактира и харчевни; всѣ сдѣлки верстъ за пятнадцать въ окружности производились у Герасима, за парою „маюкончика“. Сонливый, безжизненный Герасимъ не пропускалъ, однакожъ, слова изъ того, что говорилось подъ кровлею „Разставанья“, все моталъ на усъ и, зная, слѣдовательно, въ совершенствѣ все, что предполагалось или дѣлалось въ околодкѣ, извлекалъ изъ этого свои выгоды. Прислугу „Разставанья“ составляли жена цѣловальника и малый, сиротка безъ роду и племени, плечистый, рослый парень, но заика и полу-идіотъ. Этотъ малый и эта жена трепетали до мозга въ костяхъ, когда тусклый взглядъ Герасима обращался въ ихъ сторону; въ ихъ покорности и повиновеніи было что-то непонятное. Никто не слыхалъ, однакожъ, чтобы Герасимъ когда-нибудь крикнулъ на жену и работника. Оба спали три часа въ сутки, остальное время работали безъ устали, какъ ломовыя, загнанныя клячи, и несли на спинѣ своей тяжкую обузу отвѣтственности.

Глѣбъ Савинычъ, человѣкъ дѣловой, хозяйственный, трудолюбивый, никогда не имѣлъ дѣла съ Герасимомъ; отношенія ихъ ограничивались шапочнымъ знакомствомъ. Рыбакъ нимало не сомнѣвался, что цѣловальникъ мошенникъ первой руки, но смотрѣлъ на него равнодушно.

„Не мое дѣло; меня только не тронь!“ разсуждалъ Глѣбъ, какъ разсудилъ бы на его мѣстѣ всякій положительный, установившійся, дѣловой семьянинъ, ненуждавшійся въ цѣловальникѣ.

Глѣбъ подошелъ къ крыльцу, думая разспросить, не застрѣлъ ли въ кабакѣ какой-нибудь праздный батракъ, или не видали ли по крайней мѣрѣ такого въ Комаревѣ на ярмаркѣ. Вопросъ рыбака столько обращался къ Герасиму, сколько и къ двумъ молодымъ ребятамъ, стоявшимъ на крыльцѣ; они были знакомы Глѣбу: одинъ былъ сынъ смедовскаго мельника, другой племянникъ сосновскаго старосты.

— Мало ли было народу! Мы не отмѣчали, неохотно промямлилъ Герасимъ, лѣниво приподымая свои красныя вѣки.

Онъ вообще мало разговаривалъ, еще рѣже удостоивалъ онъ словомъ тѣхъ, кто въ немъ не имѣлъ нужды.

— Да зачѣмъ тебѣ работникъ, Глѣбъ Савинычъ? у тебя своихъ много, отозвался сынъ мельника.

— Объ этомъ сокрушаться не твоя забота; коли спрашиваю, стало—надо! отвѣчалъ Глѣбъ.

— Нѣтъ, кромѣ Захара, я никого не встрѣчалъ, началъ мельникъ.

— Какой такой Захаръ? перебилъ Глѣбъ.

— Вотъ такъ ужъ былъ бы тебѣ работникъ, Глѣбъ Савинычъ! подхватилъ племянникъ старосты: — такого батрака во всемъ округѣ не достать! Онъ изъ Серпухова, — также нанимался въ батракахъ у рыбаковъ.

— Нѣтъ, перебилъ мельникъ: — Захаръ не годится ему; не тотъ человѣкъ.

— Что такъ? какого еще надо? этотъ ли еще не работникъ! сказалъ старостинъ племянникъ. — Знаемъ мы, братъ, за что ты не взлюбилъ его.

— А за что?

— Да за то же... Слышь, Захаръ отбилъ у него полюбовницу: вотъ онъ на него и серчаетъ, смѣясь, сказалъ племянникъ.

— Ѳедосьева-то Матренка! эка невидаль! возразилъ молодцу мельникъ. — Нѣтъ, Глѣбъ Савинычъ, не слушай его. Захаръ этотъ, какъ передъ Богомъ, не по нраву тебѣ: такой-то мальной; запивака... и-и, знаю напередъ, не потрафитъ... самый что ни-на-есть гуляющій!..

— Это опять не твоя забота: хоша и пропилъ, да не твое, отрывисто произнесъ Глѣбъ, который смерть не любилъ наставленій, и того менѣе совѣтовъ и мнѣній молодого человѣка. — Укажи только, куда, примѣрно, пошелъ этотъ Захаръ, гдѣ его найти, а ужъ разсуждать, каковъ онъ есть, мое будетъ дѣло.

— Я его недавно видѣлъ подлѣ медвѣдя, на томъ концѣ села, — должно быть, и теперь тамъ!.. Медвѣдя, вишь ты, привели сюда на ярмарку: такъ вотъ онъ тамъ потѣшается... всѣхъ вишь поитьугощаетъ; третій разъ за виномъ сюда бѣгалъ... такой-то любопытный!.. Да нѣтъ же, говорю, исчезни моя душа, не годится онъ тебѣ!...

— Тьфу ты, провалиться бы тебѣ стамии! перебилъ старый рыбакъ съ досадою. — Герасимъ, не знаешь ли ты, куда пошелъ этотъ, что они толкуютъ... Захаромъ, что ли, звать?...

— Не знаю! сонливо отвѣчалъ цѣловальникъ, — поворачиваясь спиною къ рыбаку.

— Пожалуй, коли хошь, пойдемъ вмѣстѣ: я те проведу, неожиданно проговорилъ мельникъ: — я и то собирался въ ту сто-

рону... Самъ увидишь, коли не по моему будетъ; не наймешь его, напередъ говорю!

Сказавъ это, онъ уперся руками въ головы мужиковъ, сидѣвшихъ на крыльцѣ; тѣ продолжали себѣ распѣвать — какъ ни въ чемъ не бывало! — перескочилъ черезъ нихъ и, подойдя къ старому рыбаку, вторично съ нимъ поздоровался.

Нешуточное было дѣло пробраться до другого конца села: нинки, посылаемые Глѣбомъ и его товарищемъ, ни къ чему не служили: кромѣ того, что сами они часто получали сдачу, усилія ихъ дѣйствовали такъ же безуспѣшно, какъ будто приходилось пробираться не сквозь толпу, а сквозь стѣну туго набитыхъ шерстью тюковъ. Старый рыбакъ и молодой мельникъ рѣшились наконецъ достигнуть какъ нибудь домовъ и продолжать путь, придерживаясь къ стѣнкамъ. Попытка не увѣнчалась, однакожъ, ожидаемымъ успѣхомъ, тутъ было хуже еще, чѣмъ посреди толпы: солнце, клонившееся къ западу, било имъ прямехонько въ глаза; ноги между тѣмъ поминутно натыкались на пьяныхъ, которые лежали или сидѣли, подкатившись къ самымъ заваленкамъ. Передъ однимъ изъ этихъ пьяныхъ, который лежалъ уже совершенно безчувственнымъ пластомъ, молодой мельникъ остановился.

— Эвона? да это тотъ самый мужикъ, котораго я утромъ встрѣлъ! воскликнулъ онъ, указывая Глѣбу на пьянаго: — вѣдь вотъ, подумаешь, Глѣбъ Савинычъ, зачѣмъ его сюда притащило. Я его знаю: онъ къ намъ молоть ѣздилъ; самый бѣднѣющій мужикъ, сказываютъ, десятеро робятъ! Пришелъ за десять верстъ, да прямо въ кабакъ, выпилъ сразу два штофа, тутъ и легъ... Подсоби-ка поднять; хошь голову-то прислонимъ къ заваленкѣ, а то, пожалуй, въ тѣснотѣ-то не увидятъ — раздавятъ... подсоби...

— Не замай его, сурово возразилъ рыбакъ: — зачѣмъ пришелъ, то и найдетъ. Скотина — и та пригодна къ дѣлу, а этотъ кому нуженъ? ни людямъ, ни своимъ; можетъ-статься, еще въ тяготу семьѣ... оставь. Ступай! заключилъ Глѣбъ, перешагнувъ черезъ пьянаго мужика, какъ черезъ чужое бревно.

Кой-какъ добрались они, однакожъ, до небольшой площадки: тутъ уже опять пошла тѣснота и давка; дорога поминутно перемежалась шумными ватагами, которыя рвались впередъ, увлекаемыя какимъ-нибудь сорванцомъ, который, размахивая платкомъ, вскидывался на воздухъ или разстилался передъ толпою въ присядку.

— Погоди маленько, Глѣбъ Савинычъ: никакъ здѣсь на ку-

лачки бьются! воскликнулъ молодой мельникъ, подымаясь на носки и упираясь локтями въ стѣну спинъ, неожиданно преградившую дорогу.

Глѣбу было вовсе не до зрѣлища: онъ пришелъ въ Комарево за дѣломъ. Онъ непрочь былъ бы, можетъ-статься, поглядѣть на удалую потѣху, да только въ другое время. Несмотря на совѣты, данные женѣ о томъ, что пора перестать тосковать и плакать, всѣ помыслы стараго рыбака неотвязчиво стремились за Ваней, и сердце его ныло ничуть не меньше, чѣмъ въ день разлуки. Дѣло одно, необходимость возстановить хозяйственный порядокъ могли заглушить въ немъ на минуту скорбь и заставить его пойти въ Комарево. Но дѣлать было нечего: волей-неволей, надобно было остановиться. Народъ, привлекаемый кулачнымъ боемъ, прижималъ рыбака къ тѣсному кружку, обступавшему бойцовъ. Высокій ростъ стараго рыбака позволилъ ему различить на серединѣ круга рыжаго исполинскаго молодца, съ засученными по локоть рукавами, который стоялъ выставивъ правую ногу впередъ, и размахивалъ кулаками.

— Ѳедька, батракъ съ Клишинской мельницы! восторженно подсказалъ сынъ смедовскаго мельника, спутникъ Глѣба.

— Выходи! кричалъ Ѳедька, поворачивая во всѣ стороны лицо свое, такое же красное, какъ волосы, и обводя присутствующихъ мутными, пьяными глазами.,

Никто, однакожъ, не рѣшался „выходить“; изъ говора толпы можно было узнать, что Ѳедька уложилъ уже лоскомъ цѣлый десятокъ противниковъ; кого угодилъ подъ „сусалы“ либо подъ „микитки“, кого подъ „хряшки въ бока“, кому „изъ носу клюквенный квасъ пустилъ“ *) — смѣлъ былъ добре на руку. Никто не рѣшался подступиться. Присутствующіе начинали уже переглядываться, какъ вдругъ, за толпою, окружавшей бойца, раздались неожиданно пронзительные женскіе крики:

— Батюшки, касатики! не пущайте его, батюшки! держите! одурѣлъ совсѣмъ, старый! Никандрычъ, Никандрычъ!.. держите, касатики! не пущайте его драться!..

Крики бабы усиливались: видно было, что ее не пропускали, а напротивъ, давали дорогу тому, кого она старалась удержать. Наконецъ изъ толпы показался маленькій, сухопарый, пьяненькій

*) Термины кулачныхъ бойцовъ

мужичокъ, съ широкою лысиною и вострымъ носомъ, свѣтившимся какъ фонарь. Онъ рѣшительно выходилъ изъ себя: болталъ безъ толку худенькими руками, мигалъ глазами и топалъ ногами, которыя, мимоходомъ сказать, и безъ того никакъ не держались на одномъ мѣстѣ.

— Батюшки, не пущайте его! родимые, не пущайте!.. Охъ, касатики! кричала баба, тщетно продираясь сквозь толпу, которая хохотала.

— Выходи!.. вы-хо-ди!.. хрипѣлъ между тѣмъ лысый Никандрычъ, снимая съ какимъ-то отчаяннымъ азартомъ кафтанишко.

— Вытряси изъ него, Ѳедька, изъ стараго дурака-то, вино. Что онъ хорохорится! сказалъ кто-то.

Ѳедька тряхнулъ рыжими волосами и въ полглаза посмотрѣлъ на противника.

— Что жъ ты, выходи! продолжалъ кричать Никандрычъ, яростно размахивая руками.

— Ой, не подходи близко, лысина! промычалъ Ѳедька.

— Ахъ ты, шитая рожа, вязаный носъ! ахъ ты! воскликнулъ Никандрычъ и вдругъ ринулся на бойца.

Тотъ далъ легкаго туза. Никандрычъ завертѣлся турманомъ; толпа захохотала, разступилась и дала дорогу бабѣ, которая влетѣла въ кружокъ и завыла надъ распростертымъ Никандрычемъ.

— Подѣломъ ему, дураку: не суйся!

— Молодые дерутся—тѣшутся, старые дерутся—бѣсятся.

— У празднества не живетъ безъ дуровства! замѣтилъ другой, разсудительнымъ тономъ.

— Хорошо чужую бороду драть, только и своей не жалѣть.

— Вишь одурѣлъ, старый хрычъ: куда лѣзетъ!

Но всѣ эти разговоры, смѣшанные съ хохотомъ и воплями бабы, не доходили уже до Глѣба: онъ и товарищъ его пробрались дальше.

Вскорѣ различили они, посреди гама, криковъ и пѣсней, плаксивые звуки скрипки, которая наигрывала камаринскую, съ какими-то особенными варіяціями; дребезжащіе звуки гармоніи и барабана вторили скрипкѣ.

— Слышь, Глѣбъ Савинычъ, это у медвѣдя! воскликнулъ мельникъ, подергивая плечами и притопывая сапогами, подъ тактъ удалой камаринской:—пойдемъ скорѣе: тамъ и Захарку увидишь; да

только, право же, напрасно, ей-Богу, напрасно: не по тебѣ... чтобъ мнѣ провалиться, коли не такъ!..

Но Глѣбъ его не слушалъ: немного погодя, онъ уже пробирался сквозь тѣсную стѣну народа, за которой раздавалась камаринская.

На одномъ концѣ довольно пространнаго круга, составленнаго изъ бабъ, ребятъ, дѣвокъ, мужиковъ и мѣщанъ всякаго рода, лежалъ въ растяжку бурый медвѣдь; подлѣ него стоялъ вожакъ — кривой татаринъ, съ грязною ермолкою на бритой головѣ. Перекинувъ черезъ голову цѣпь, конецъ которой прикрѣплялся къ кольцу, продѣтому въ губу звѣря, прислонивъ къ плечу дубину, вожакъ выбивалъ дробь на лубочномъ барабанѣ. Товарищъ его, „козлятникъ“, то есть тотъ, который пляшетъ съ козою, также изъ татаръ, наликалъ между тѣмъ на самодѣльной скрипкѣ самодѣльнымъ смычкомъ. Каждая черта его рябого лица была, казалось, привязана невидными нитками къ концу смычка; то брови его быстро приподымались, какъ бы испуганныя отчаяннымъ визгомъ инструмента, то опускались, и за ними опускалось все лицо. Когда смычокъ, шмыгнувъ по басамъ, начиналъ вдругъ выдѣлывать тонкія варіяціи, тогда рысьи глазки татарина щурились, лицо принимало такое выраженіе, какъ будто въ ухо ему залѣзъ комаръ, и вдругъ приподымались брови, снова раскрывались глаза, готовые, повидимому, на этотъ разъ совсѣмъ выскочить изъ головы. Оба товарища были сильно на-веселѣ; нѣсколько пустыхъ штофовъ лежало на травѣ, подлѣ мѣшка, скрывавшаго козу *).

Тутъ находились еще четыре человѣка, также сильно раскраснѣвшіеся: то были фабричные ребята. Одинъ изъ нихъ наигрывалъ на гармоніи, другіе били въ ладоши, топали ногами и, подергивая въ тактъ плечами, пѣли, какъ дробью пересыпали:

Ахъ, ты, милый другъ, камаринскій мужикъ!
Ты зачѣмъ, зачѣмъ по улицѣ бѣжишь?
Онъ бѣжитъ, бѣжитъ, повертываетъ!
Да-а-и всего его подергиваетъ!
Ах-ти-ти-ти, калинка моя!
Да въ саду ягода малинка моя!

Замашистая, разгульная камаринская подергивала даже тѣхъ, кто не находился въ числѣ зрителей; она дѣйствовала даже на

*) Автору очень хорошо извѣстно, что мусульманамъ запрещено вино; къ сожалѣнію, ему также хорошо извѣстно, что мусульмане, по крайней мѣрѣ, живущіе въ Казанской и Нижегородской губерніяхъ, напиваются ничуть не хуже другихъ народовъ.

сѣдыхъ стариковъ, которые, шествуя спокойно подлѣ женъ, начинали вдругъ притоптывать сапогами и переводить локтями. О толпѣ, окружавшей пѣвцовъ, и говорить нечего: она вся была въ движеніи; пронзительный свистъ, хлопанье въ ладоши, восторженныя восклицанія: „Ходи, Яша!“ — „Молодца!“ — „Катай!“ — „Охъ, люблю!“ — „Знай нашихъ!“ сопровождали каждый ударъ смычка.

Подъ ускоренный тактъ всей этой сумятицы, въ серединѣ круга, плясалъ какой-то чахлый человѣкъ, въ жилетѣ, надѣтомъ на рубашку. Изнеможеніе проглядывало въ каждой чертѣ его лица, въ каждомъ членѣ его чахоточнаго тѣла; ноги его ходили какъ мочала, потъ ручьями катилъ по зеленоватому, болѣзненному лицу. Но глаза его сверкали необыкновеннымъ блескомъ, какъ у камчадала, напившагося настоемъ изъ мухомора. Онъ, казалось, заплясывался до смерти; иной разъ онъ какъ будто останавливался, но восклицаніе: „Ходи, Яша! молодца! ай да Яша“! и звуки камаринской, подхваченные еще живѣе, снова приводили его въ какое-то изступленное состояніе, и онъ снова принимался сѣменить ногами, приговаривая: „Что ты? что ты? что ты?..“ Въ порывахъ восторга, онъ перекувыркивался и даже ударялъ себя въ голову.

— Ахъ ты, Господи! вотъ поди жъ ты, о-сю-пору все еще пляшетъ! воскликнулъ молодой мельникъ, указывая Глѣбу на Яшу: — гдѣ еще было солнце, когда я сюда приходилъ, онъ и тогда все плясалъ!.. Диковинное дѣло!

— Ну, а Захаръ-то гдѣ жъ? спросилъ Глѣбъ, оглядывая толпу.

— И то; должно быть, ушелъ, заговорилъ мельникъ, просовывая впередъ голову.

— За виномъ побѣжалъ! сказалъ, смѣясь, близъ стоявшій человѣкъ, похожій съ виду на приказчика: — думаетъ, Герасимъ въ долгъ повѣритъ... не на таковскаго напалъ! Видно, что вновѣ у насъ въ Комаревѣ...

— А то развѣ заплатитъ за вино нечѣмъ? спросилъ мельникъ.

— Весь, какъ есть, профуфырился! отвѣчалъ приказчикъ, оскаливъ желтые, какъ янтарь, зубы: — и Богъ вѣстъ, что такое сталось: вдругъ закурилъ! Какъ только что попалъ въ кругъ къ бабамъ, такъ и заходилъ весь... татаръ этихъ поить зачалъ, денегъ даетъ, поитъ всѣхъ, бабъ это, дѣвокъ угощать зачалъ, пѣсельниковъ созвалъ... вѣдь ужъ никакъ шестой штофъ купилъ; за послѣдніе два полушубокъ въ кабакѣ оставилъ, и то не угомонился! опять за виномъ побѣжалъ!

— Захарь! Захарка! Захарь! раздалось неожиданно вокруг.

— Сторонись! закричалъ кто-то въ толпѣ.

И, вмѣстѣ съ этимъ восклицаніемъ, подлѣ Яши, который все еще плясалъ подъ звуки неумолкавшей камаринской, показался Захарь.

Глѣбъ увидѣлъ короткаго, но плечистаго, приземистаго парня,— то, что называютъ обыкновенно въ народѣ „усилкомъ“. Мельники, хозяева пристаней, зажиточные ремесленные мѣщане и богатые домохозяева изъ мужиковъ, нуждающіеся въ батракахъ, даютъ всегда большую цѣну такимъ усилкамъ, для которыхъ поднять плечомъ подводу или взвалить на спину восьми пудовый мѣшокъ съ мукою — сущая шаль. Молодцы эти, съ красивымъ лицемъ, какъ у Захара, не знаютъ счета своимъ побѣдамъ; это—сельскіе Ловласы. Орлиный носъ Захара, бѣлокурые, намасленные волосы, пробранные съ замѣтнымъ тщаніемъ и зачесанные въ скобку, залихватскіе пріемы, обозначавшіе страшную самоувѣренность, ситцевая розовая рубашка съ пестрыми ластовицами и оторочкою (онъ никогда не носилъ другихъ рубахъ)—все это, вмѣстѣ взятое, покоряло съ перваго взгляда самое несговорчивое, ретивое сердце. Смѣлость, наглость и безстыдство составляютъ, какъ извѣстно, неминуемыя, отличительныя свойства Ловласовъ вообще; природа щедро снабдила ими Захара; въ его сѣрыхъ глазахъ, равно какъ и во всей наружности, было что-то хищническое, невообразимо нахальное. Хмѣль, бродившій въ головѣ его, выказывалъ еще рѣзче эти качества. Весь этотъ кутежъ, затѣянный Захаромъ, пѣсенники, музыканты, угощеніе, стоившіе ему послѣднихъ денегъ и даже полушубка, вызваны были не столько внутреннею потребностью разгуляться, расходиться, свойственной весельчаку и гулякѣ, сколько изъ желанія хвастнуть передъ незнакомыми людьми, пофинтить передъ бабами и заставить говорить о себѣ,— цѣль, къ которой ревностно стремятся не только столичные франты, но и сельскіе, ибо въ деревняхъ существуютъ также своего рода львы-франты и денди. Но о Захарѣ мы будемъ еще имѣть случай распространяться.

Глѣбъ остался очень доволенъ своими наблюденіями, хотя молодой мельникъ, неотрывавшій глазъ отъ стараго рыбака, ничего не встрѣтилъ на лицѣ его кромѣ нахмуренныхъ бровей и суроваго раздумья. Въ мнѣніи простолюдина физическая сила считается не послѣднимъ достоинствомъ человѣка, и съ этой стороны Захарь совершенно удовлетворялъ Глѣба, съ другой — хмѣль и располо-

женіе къ кутежу сильно не нравились Глѣбу: старикъ, какъ уже знаютъ, не любилъ баловства. Онъ разсудилъ, однакожъ, что у себя въ домѣ не дастъ Захару времени баловать; а наконецъ, если батракъ сильно задурить, можно согнать его, пріискавъ къ тому времени другого. Главное въ томъ, что въ настоящую минуту работникъ необходимъ; пора стоитъ самая рабочая, рыбная,—народу нѣтъ въ домѣ: надо выгадать пропущенное время.

Возвращеніе Захара съ пустыми руками произвело невыгодное впечатлѣніе. Передъ отправленіемъ своимъ, Захаръ харохорился неимовѣрнымъ образомъ, клялся и божился, что „поддѣнетъ“ Герасима, сорветъ съ него два штофа „говоруна“ и „самопляса“, какъ называлъ онъ вино,— и возвратился ни съ чѣмъ. Слава его на минуту поколебалась: музыканты тотчасъ же замолкли; самъ Яша пересталъ сѣменить ногами и вдругъ исчезъ. Весельчаки и балагуры, которые давно еще подтрунивали втихомолку надъ Захаромъ, разразились теперь громкимъ хохотомъ. Остроты посыпались на его голову.

— Что, аль безъ денегъ-то не вѣрить?

— Онъ вѣдь это такъ только прикидывается: у него денегъ-то куры не клюютъ!

— Эй, ребята, нѣтъ ли гривенъ шести—молодцу душу отвести?

— Нѣтъ, должно-быть, у молодца только и золотца, что пуговка оловца!

— Прогорѣлъ! кричитъ другой.

— Чему обрадовались? Чего зубы-то скалите! воскликнулъ Захаръ сиплымъ голосомъ, надорвавшимся отъ крика, вина и одышки.—Эхъ вы, дряни! шушера! продолжалъ онъ, молодцуя передъ бабами:—вамъ только подноси, а сами жидоморничаете! Никто косушки не выставилъ! а еще богачами слывутъ: фабричные! купцы! туда же! Эхъ, вы!

— Отчаянная башка!... Вишь, Глѣбъ Савинычъ, вѣдь я тебѣ говорилъ: не для тебя совсѣмъ человѣкъ,—самый, что ни-на-есть, гулящій, шепнулъ сынъ смедовскаго мельника, незнавшій, вѣроятно, что чѣмъ больше будетъ онъ отговаривать стараго рыбака, тѣмъ сильнѣе тотъ станетъ упрямиться, тѣмъ скорѣе пойдетъ наперекоръ.

Такъ и случилось. Вмѣсто отвѣта, Глѣбъ приперъ плечомъ впереди стоявшаго сосѣда и протискался въ первый рядъ круга.

— Что-жъ вы, ребята, аль взаправду штофа жаль? продолжалъ между тѣмъ Захаръ, унерши кулаки въ бока и расхаживая по кругу: — а еще комаревцы, въ славѣ, говорите, по всему округу! Эхъ вы, комарники! Да ну же, ребята, выходи; полно вамъ срамиться передъ дѣвками — надо распотѣшить красавицъ! Вишь, и музыка наша стала! Только-что начали-было разгуливаться... Что-жъ вы?... Эхъ, разбейся штофъ, пролейся вино, пропадай моя бѣда! Дряни вы всѣ, жидоморы! гдѣ вамъ! подхватилъ Захаръ, разгорячась: — эй, выходи, у кого есть деньги, бери съ меня, что хошь! Въ работники нанимаюсь!... въ кабалу иду!...

— Зачѣмъ въ кабалу! можно и такъ: почемъ наемка? отрывисто проговорилъ Глѣбъ.

Мужики, которые стояли подлѣ Глѣба, толкали его и ругались, тотчасъ же посторонились. Вниманіе присутствующихъ мгновенно обратилось на стараго рыбака.

— Что, аль денегъ хочешь дать? живо воскликнулъ Захаръ, подходя къ рыбаку.

— Почемъ наемка? повторилъ Глѣбъ, разсудительно-дѣловымъ тономъ.

— Что тутъ долго толковать! Давай только!... Сойдемся опосля!... За себя постоимъ!... Ну, борода, раскошеливайся! воскликнулъ Захаръ, хлопнувъ по плечу стараго рыбака.

Но Глѣбъ, не любившій панибратства, отдернулъ руку, отступилъ на шагъ и сказалъ, несовсѣмъ ласково:

— Добрѣ, оченно прытокъ — вотъ что! Молодцуй съ бабами, а со мной говори толкомъ...

— Да ты кто таковъ? нетерпѣливо спросилъ Захаръ, озадаченный нѣсколько строгимъ тономъ и, еще болѣе, строгою сѣдою наружностію собесѣдника.

— Мы изъ здѣшнихъ рыбаковъ.

— Сдалече?

— Нѣтъ, съ той стороны, верстъ шесть отселева.

— И того не будетъ! заговорило неожиданно нѣсколько голосовъ: — верстъ пятокъ... вотъ какъ есть противъ Комарева, какъ луга пройдешь... Мы его знаемъ... изъ рыбаковъ... Глѣбомъ Савиновымъ звать... изъ здѣшнихъ... мы его знаемъ!

Даже тѣ, которые впервые видѣли Глѣба, повторяли за толпою:

— Точно, недалече... мы его знаемъ... точно... человѣкъ здѣшній.

— Вотъ, примѣрно, наслышанъ я, что ты въ работники нанимаешься, продолжалъ Глѣбъ: — какая же твоя цѣна?... Мы поденно не нанимаемъ: беремъ по мѣсяцамъ.

— Ты сколько даешь? спросилъ Захаръ.

Глѣбъ, несмотря на грусть, тяготившую его сердце, разсудилъ весьма основательно, что въ настоящую разгульную минуту Захару не до счетовъ: были бы деньги. Онъ положилъ воспользоваться случаемъ и дать не восемь цѣлковыхъ — средняя плата батракамъ (двугривенный въ день) — но нѣсколько меньше; основываясь на этомъ, онъ сказалъ рѣшительно:

— Пять цѣлковыхъ.

— Эхъ, была не была!... Да нѣтъ! мало... слышь, пять цѣлковыхъ! спохватился Захаръ.

— Вѣстимо... какія это деньги!... Знамо, мало... тридцать денъ!... цѣна не по времени... заговорили въ толпѣ.

— Хошь, такъ хошь, а не хошь, такъ какъ хошь! проговорилъ Глѣбъ, сурово нахмуривая брови.

— Семь цѣлковыхъ!

Но Глѣбъ уперся, стоялъ на своемъ и повторялъ:

— Пять!

— Ну, давай! воскликнулъ Захаръ, подходя неожиданно къ рыбаку.

— Пять цѣлковыхъ?

— Ладно, давай только! подхватилъ Захаръ, обшаривая ястребиными своими глазами руки и карманы старика.

— Нѣтъ, погоди, братъ, спокойно возразилъ Глѣбъ: — ладно по-твоему, а по-моему не совсѣмъ такъ.

— Чего-жъ тебѣ еще?

— Паспортъ давай; я тебѣ деньги, а ты мнѣ паспортъ.

— Это зачѣмъ?

— А затѣмъ, что вѣрнѣе дѣло будетъ: у тебя мои деньги — у меня твой паспортъ: я тебя не знаю, ты меня также... всякъ за себя... у меня не пропадетъ, небось! А то, этакъ, пожалуй, деньги-то дашь, а тамъ ищи на тебѣ... Надо настоящимъ дѣломъ разсуждать.

— Вѣстимо такъ! а то какъ же?... безъ этого никакъ нельзя!... всякъ себя оберегаетъ!... снова заговорили въ толпѣ, и что всего замѣчательнѣе, заговорили тѣ самые, которые за минуту передъ тѣмъ стояли на сторонѣ Захара.

— Эхъ, народъ чудной какой! Право слово! произнесъ Захаръ, посмѣиваясь, чтобы скрыть свою неловкость.—Что станешь дѣлать? будь по вашему, пошла ваша битка въ конъ! Вынимай деньги; сейчасъ сбѣгаю за паспортомъ!... Ну, ребята, что-жъ вы стали? качай! подхватилъ онъ, поворачиваясь къ музыкантамъ: — будетъ чѣмъ опохмѣлиться... Знай нашихъ! Захарка гуляетъ! заключилъ онъ, выбираясь изъ круга, подмигивая и подталкивая бабъ, которыя смѣялись.

Рябой татаринъ заиграликалъ на скрипкѣ, товарищъ его забарабанилъ; запищала гармонія. Хоръ подхватилъ камаринскую, и снова пошла щелкотня, присвистыванье и восклицанія. Глѣбъ между тѣмъ разсчитывалъ на ладони деньги; толпа тѣсно окружала его; всѣ смотрѣли на его пальцы, какъ-будто ожидали отъ него какого-нибудь необычайнаго фокуса. Захаръ не замедлилъ вернуться съ паспортомъ. Всеобщее вниманіе мгновенно перешло тогда отъ рукъ стараго рыбака къ развернутой бумагѣ; грамотные, съ необычайною готовностію, наперерывъ принялись читать бумагу. Когда не осталось сомнѣнія въ томъ, что видъ дѣйствительно принадлежалъ Захару, Глѣбъ вручилъ ему деньги, сложилъ паспортъ и, положивъ его за пазуху, сказалъ:

— Вотъ теперь ладно! Смотри, только не запаздывай: приходи завтра чѣмъ-свѣтъ; я пошлю парня съ челнокомъ... а не будешь, за прогулъ вычту.

Затѣмъ Глѣбъ повернулся спиною къ Захару, который, махая, въ воздухѣ рукою съ деньгами, кричалъ:

— Захарка гуляетъ! Наша взяла! Качай, ребята!.. Эхъ, вы, любушки-голубушки!

И выбрался изъ толпы. Сынъ смедовскаго мельника не отставалъ отъ него ни на шагъ; Но Глѣбъ слушалъ его еще менѣе, чѣмъ прежде.

Болтливость собесѣдника сильно, однажожъ, докучала Глѣбу; старикъ, безъ сомнѣнія, не замедлилъ бы отправить его къ нечистому,—онъ уже раскрылъ ротъ съ этою цѣлью, какъ вдругъ мельникъ воскликнулъ:

— Яша!

— Ишакъ и то онъ! Экъ его, какъ накатился!.. Глѣбъ Савинычъ, посмотри-ка-сь... Яша, ей!..

Глѣбъ поднялъ голову.

Передъ нимъ колыхалась изъ стороны въ сторону, словно на палубѣ во время качки, тощая, взбудораженная фигура въ ситце-

вомъ жилетѣ,—та самая, что заплясывалась чуть не до смерти передъ медвѣдемъ. Фигура дѣлала неимовѣрныя усилія, чтобы подойти къ нимъ, но никакъ не могла достигнуть желаемой цѣли: центръ тяжести былъ, очевидно, утраченъ. Перегнувшись впередъ всѣмъ корпусомъ, Яша пробѣгалъ съ неимовѣрною быстротою нѣсколько шаговъ и вдругъ останавливался, гордо выпрямлялся, съ чувствомъ достоинства закидывалъ голову, бормоталъ что-то вздутыми губами, секунды три балансировалъ на одной ногѣ, снова клевался впередъ головою, которая увлекала его, какъ паровая машина на всемъ ходу, и снова пробѣгалъ нѣсколько шаговъ.

— Что такое?.. что такое?.. что такое?.. безсвязно лепеталъ Яша, случайно наталкиваясь на мельника.

— Экъ его!.. Смотри, кувырнешься... Вишь, какъ захмѣлѣлъ! смѣясь, проговорилъ мельникъ, прикладывая обѣ руки къ тощей груди Яши.

— Что такое?.. что такое?.. пролепеталъ Яша, неожиданно наклевываясь на Глѣба.

— А то же, что спать ложись! сурово сказалъ рыбакъ, отталкивая пьянчужку:—одинъ молвитъ—пьянъ, другой молвитъ—пьянъ, а третій молвитъ—спать ложись!—Вотъ что! заключилъ онъ, поспѣшно пробираясь въ толпу и оставляя мельника, который бросился подымать Яшу, окончательно уже потерявшаго центръ тяжести.

Какъ сказано выше, одна только необходимость, одна забота о батракѣ и возстановленіи хозяйственнаго порядка могли заглушить на минуту скорбь, таившуюся въ сердцѣ старика. Порѣшивъ дѣло и освободившись такимъ образомъ отъ сторонникъ заботъ, Глѣбъ снова отдался весь отцовскому чувству и снова обратилъ всѣ свои мысли къ возлюбленному сыну. Онъ не замѣтилъ, какъ выбрался изъ села и очутился въ лугахъ.

Солнце только-что сѣло за нагорнымъ береговымъ хребтомъ, который синѣлъ въ отдаленіи. Румяное небо было чистоты и ясности необыкновенной. Окрестная тишина возмущалась только нестройнымъ гамомъ гулявшаго народа. Но Глѣбъ, казалось, совсѣмъ уже забылъ о Комаревѣ. Шумъ и возгласы народа напоминали старику шумъ и возгласы другой толпы, которая, быть-можетъ, въ это самое время покидала уѣздный городъ, куда, три дня тому назадъ, отвезъ онъ Ванюшу. Онъ мысленно слѣдовалъ за этой толпою, мысленно обнималъ и благословлялъ сына, и каждый шагъ, отда-

лявшій Ваню отъ родимаго дома, вызывалъ горячую напутственную молитву изъ сокрушеннаго сердца стараго Глѣба.

XIX.

Захаръ.—Послѣдствія.

На другой день, до восхода солнца, Глѣбъ приказалъ пріемышу отвязать челнокъ и съѣздить на луговой берегъ за работникомъ.

Старикъ, казалось, мало уже заботился о томъ, что Гришка будетъ находиться въ такомъ близкомъ сосѣдствѣ съ озеромъ дѣдушки Кондратія; такая мысль не могла даже придти ему въ голову: послѣ происшествія съ старшими, непокорными сыновьями, послѣ разлуки съ Ваней, мысли стараго Глѣба какъ словно окутались темнымъ, мрачнымъ облакомъ, которое заслоняло отъ него мелочи повседневной жизни. Вся забота его въ настоящемъ случаѣ состояла, повидимому, въ томъ только, чтобы малый не прозѣвалъ какъ-нибудь Захара и привезъ его какъ можно скорѣе домой.

Тихое весеннее утро давно уже наступило, и солнце, подобравъ росистую алмазную скатерть, покрывавшую луга, катило высоко въ ясномъ небѣ, когда пріемышъ вернулся къ площадкѣ.

Глѣбъ стоялъ въ это время на берегу; увидѣвъ Гришку одного, старикъ нахмурилъ брови и сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Должно-быть, не будетъ, сказалъ парень, бросая весло на песокъ и причаливая челнокъ къ большой лодкѣ.

— Полно, такъ ли? вымолвилъ рыбакъ, устремляя недовѣрчивые глаза на пріемыша и потомъ машинально, какъ словно по привычкѣ, перенося ихъ въ ту сторону, гдѣ располагалось маленькое озеро:— коли не проходилъ, мое будетъ дѣло; ну, а коли былъ, да ты просмотрѣлъ, замѣсто того, чтобы ждать его, какъ я наказывалъ, рыскалъ гдѣ ни на-есть по берегу,—тогда что?

— Провалиться мнѣ на этомъ мѣстѣ, когда я... началъ было Гришка, выказывая плохо-затаенную досаду.

— Ладно, ладно! завтра все окажется, перебилъ старикъ, медленно поворачиваясь къ нему спиною и направляясь къ разложеннымъ на пескѣ вершамъ:—отвязывай посудину и бери весла. До

обѣда надо десятка два вершей закинуть; съ неводомъ вдвоемъ не управимся. Чтой-то за народъ такой невѣрный, ей-Богу, право! ворчалъ старикъ: — посулилъ ноньче придти, — нѣтъ; какъ словно слова своего человѣкъ не имѣетъ... Ну, да ладно: за прогулъ возьму съ него — будетъ помнить!.. Завтра, слышь, Гришка, чѣмъ-свѣтъ, въ ту же пору, какъ ноньче ѣздилъ, опять съѣздишь за батракомъ!..

Во все продолженіе этого дня, Глѣбъ былъ сумраченъ, хотя работалъ за четверыхъ; ни разу не обратился онъ къ пріемышу. Онъ не то чтобы сердился на парня, — сердиться пока еще было не за что, — но смотрѣлъ на него съ видомъ тайнаго, невольнаго упрека, который доказывалъ присутствіе такого чувства въ душѣ стараго рыбака.

Согласно наставленію, полученному наканунѣ, Гришка проснулся на слѣдующее утро вмѣстѣ съ первыми пѣтухами. Заря чуть-чуть окрашивала край горизонта, когда онъ былъ уже на другомъ берегу и, покачиваясь въ челнокѣ, посматривалъ въ ту сторону дальнихъ луговъ, гдѣ находилось Комарево. Въ движеніяхъ и взглядахъ молодого парня замѣтно было какое-то нетерпѣніе, смѣшанное съ любопытствомъ: онъ то становился на ноги и прищуривалъ глаза, то повертывалъ челнокъ, который поминутно прибивало къ берегу теченіемъ рѣки, то ложился на палубу и приводилъ черные, лукавые глаза свои въ уровень съ луговою плоскостью.

Подвижная природа Гришки не уживалась съ тишиною и одиночествомъ. Страшная скука, испытанная имъ въ эти послѣдніе пять дней, пробуждала въ немъ лихорадочное желаніе погулять, размахнуться, забыть, хотя на время, сумрачнаго старика, ворчавшаго съ утра до вечера и не перестававшаго браниться. Въ эти пять дней онъ неоднократно урывался, однакожъ, на маленькое озеро; но свиданія съ дочкой рыбака — свиданія, которыя ограничивались одними разговорами, клятвами и увѣреніями, начинали съ нѣкоторыхъ поръ прискучивать молодому парню. Пылкія, но грубыя натуры любятъ нетерпѣливо: долгое сопротивленіе охлаждаетъ ихъ; страсть ихъ заключается большею частью въ воображеніи, она не бываетъ прямымъ, но безсознательнымъ слѣдствіемъ одной только молодости. Живая природа пріемыша находила съ недавняго времени почти такъ же мало удовлетворенія на площадкѣ рыбака Глѣба, какъ и на озерѣ дѣдушки Кондратія. Въ немъ пробуждались какія-то неопредѣленныя, но тѣмъ не менѣе безпокойныя желанія. Онъ не могъ дать себѣ отчета, къ чему стремились эти желанія; но

ясно было, что они не имѣли ничего общаго съ тихимъ, однообразнымъ существованіемъ, которое выпало ему на долю. Онъ тяготился домомъ и домашними: ему хотѣлось урваться куда-нибудь, хотя самъ не зналъ онъ, куда пойдетъ и зачѣмъ. Эти неясныя порывы, это лихорадочное раздраженіе кипучей юности, заставляли его желать какой-нибудь перемѣны, какого-нибудь переворота посреди домашней скуки; желаніе это было такъ сильно, такъ настойчиво, что даже появленіе новаго лица, котораго ждали въ семейство рыбака, возбуждало въ Гришкѣ тайную радость.

На этотъ разъ Захаръ не заставилъ себя такъ долго дожидаться.

Минутъ десять спустя послѣ восхода солнца, Гришка явственно различилъ движущуюся точку на комаревской дорогѣ. Онъ поспѣшно вскочилъ на ноги и принялся махать шапкой. Точка замѣтно между тѣмъ приближалась, и вмѣстѣ съ этимъ до слуха пріемыша стали долетать звуки пѣсни. Вскорѣ фигура Захара обрисовалась на дорогѣ. Гришка не могъ еще разсмотрѣть черты незнакомца, но ясно уже различалъ розовую рубашку, пестрый жилетъ, съ свѣтящимися на солнцѣ пуговками, и синіе, широчайшіе шаровары; ему невольно бросились въ глаза босыя ноги незнакомца и пышный, стеганый картузъ, какой носятъ обыкновенно фабричные. Выступая шагъ за шагомъ по травѣ и нимало не торопясь, будущій батракъ тянулъ тоненькимъ, дребезжащимъ дискантомъ пѣсню, подыгрывая на гармоніи. Такимъ образомъ Захаръ подошелъ къ берегу.

— Захаромъ тебя звать? спросилъ Гришка, устремляя на незнакомца тотъ жадно-любопытный взглядъ, какимъ встрѣчаютъ обыкновенно человѣка, осужденнаго жить съ вами подъ одною и тою же кровлей.

— Отъ рыбака, что ли? небрежно произнесъ Захаръ вмѣсто отвѣта.

— Отъ него: прислалъ за тобою.

— Причаливай лодку! вымолвилъ Захаръ, едва удостоивая взглядомъ собесѣдника.

Онъ расположился на палубѣ и, подпершись локтемъ, закричалъ: „Отчаливай!“ такимъ рѣзкимъ тономъ, который скорѣе могъ принадлежать купеческому сыну, совершающему водяную прогулку для потѣхи, и притомъ на собственныя свои деньги, чѣмъ бобылю-работнику, отправляющемуся по скудному найму, къ хозяину. Какъ только челнокъ покинулъ берегъ, Захаръ вынулъ изъ кармана шароваръ коротенькую трубку съ мѣдной оковкой и ситцевый кисетъ;

изъ кисета появились, въ свою очередь, сѣрый, скомканный табачный картузъ изъ бумаги, нѣсколько пуговицъ, мѣдный гребешокъ и фосфорныя спички, перемѣшанныя съ какимъ-то неопредѣленнымъ соромъ.

— Что глаза выпучилъ? трубки, что ли, не видалъ! полуласмѣшливо произнесъ Захаръ, обращая впервые соколиные глаза свои на собесѣдника, который съ какой-то особенною хвастливою лихостію работалъ веслами.

— Какъ не видать! хотя самъ не пробовалъ, что за трубка за такая, а видалъ не однова, возразилъ словоохотливо Гришка, продолжая грести. — У насъ, вѣстимо, въ диковинку: никто этимъ не занимается; знамо, занятно!.. У тебя и табакъ то, какъ видно, другой: не тѣмъ дымомъ пахнетъ; у насъ коли куритъ кто, такъ все больше вотъ эти корешки... Я чай, и это тѣ же корешки, только ты чего нибудь подмѣшиваешь?...

— Да, много видалъ ты такихъ корешковъ!

— А то что же?

— Мериканскій настоящій, Мусатова фабрики, отвѣчалъ, не безъ значенія, Захаръ и отплюнулъ при этомъ на сажень, производя губами шипѣніе, похожее на фырканье осердившейся кошки.

Послѣдовало молчаніе.

— Что-жъ ты вчера не приходилъ? началъ опять Гришка. — Я прождалъ тебя почитай цѣлое утро, да и старикъ тоже... Ужъ онъ ругалъ тебя, ругалъ.

Захаръ прищурилъ глаза, поглядѣлъ на собесѣдника, пустилъ струю дыма, плюнулъ и небрежно отвернулся.

— Я, говоритъ, съ него за прогулъ, говоритъ, возьму, подхватилъ пріемышъ.

— Эка важность! мы и сами счетъ знаемъ, сказалъ Захаръ тономъ глубочайшаго равнодушія: — великъ больно форсъ беретъ на себя — вотъ что! Да нѣтъ, со мной немного накуражится!

Гришка засмѣялся.

— Чего ты? спросилъ Захаръ.

— То-то, думаю, нехудо ему наскочить на зубастаго: такой-то бѣдовый, и Боже упаси! такъ тебя и крутитъ...

— Стало ты ему не родня? перебилъ Захаръ.

— Нѣтъ, я имъ чужой, сухо отвѣчалъ Гришка.

— Въ наймахъ живешь?

— Нѣтъ, изъ одежи... изъ хлѣба, съ явнымъ принужденіемъ проговорилъ Гришка.

— Ну, что, каковъ хозяинъ? спросилъ Захаръ, далеко уже не съ тѣмъ пренебреженіемъ, какое обнаруживалъ за минуту; голосъ его и самые взгляды сдѣлались какъ будто снисходительнѣе. Всякій работникъ, мало-мальски недовольный своимъ положеніемъ, съ радостію встрѣчаетъ въ семействѣ своего хозяина лицо постороннее и также недовольное. Свой брать, слѣдовательно! а свой своего разумѣетъ; къ тому же, двѣ головы нигдѣ не сироты.

— А вотъ, погоди, отвѣчалъ, посмѣиваясь, пріемышъ:—самъ увидишь; коли хорошихъ не видалъ, авось, можетъ-статься, и понравится.

— Что-жъ, собака?

— Собака! отвѣчалъ Гришка, молодцовато тряхнувъ волосами: но тутъ же проворно оглянулся назадъ.

Захаръ засмѣялся.

— Ну, должно быть, задалъ же онъ тебѣ страху, сказалъ онъ.

— А что?

— Слово скажешь да оглянешься! „такой, сякой“, а самъ все туда, на берегъ, посматриваешь...

— Вотъ! я нешто изъ страха? хвастливо вымолвилъ Гришка.— Того-и-гляди просмотришь пристань: отнесетъ быстриною... Что мнѣ его бояться? я ему чужой,— власти никакой не имѣетъ... Маленько что, я и самъ маху не дамъ!

Не зная Глѣба и отношеній его къ домашнимъ, можно было въ самомъ дѣлѣ подумать, взглянувъ въ эту минуту на Гришку, что онъ въ грошъ не ставилъ старика и на волосъ его не боялся; молодецкая выходка пріемыша показывала въ немъ желаніе занять выгодное мѣсто въ мнѣніи новаго товарища. Даже щеки его разгорѣлись: такъ усердно добивался онъ этой цѣли.

— Вонъ, никакъ старикъ-атъ идетъ намъ навстрѣчу; давно, знать, не видались! сказалъ Захаръ.

Съ именемъ Глѣба пріемышъ невольно выпрямился и принялся работать веслами не въ примѣръ дѣятельнѣе прежняго. Захаръ, съ своей стороны, также измѣнилъ почему-то свою величественную позу; онъ опустилъ ноги въ отверстіе челнока, поправилъ картузъ и сталъ укладывать въ кисетъ табакъ и трубку.

— Какое у тебя все приглядное, какъ посмотрю, сказалъ

Гришка, понижая голосъ:—вишь, мѣшочекъ-то, куда табакъ кладешь, словно у купца; а что, дорого далъ?

— Кисетъ-то! отвѣчалъ Захаръ, небрежно запрятывая его въ карманъ:—нѣтъ, дешево обошлось: подарили... мы мало что покупаемъ, у насъ есть пріятели...

Голосъ Глѣба, который кричалъ Гришкѣ грести одинимъ правымъ весломъ, послышался въ ту минуту на площадкѣ. Захаръ и Гришка переглянулись и замолкли.

Пять минутъ спустя, челнокъ приставалъ къ берегу.

— Давно бы, кажись, время здѣсь быть; немного рукъ—посылать за тобой! отрывисто сказалъ Глѣбъ.

— Здорово, хозяинъ, началъ было, съ развязанностію, Захаръ, но старикъ перебилъ его.

— Знамо, здорово... не о томъ рѣчь, не тотъ, примѣрно, нашъ разговоръ былъ — вотъ что! сказывалъ, на другой день придешь; а гдѣ онъ, тотъ день-то?... Парня нарочно посылалъ; прождалъ все утро; время только напрасно прошло...

Глѣбъ покосился на Гришку; но тотчасъ же отвелъ глаза, когда Захаръ произнесъ:

— Какъ быть... маненько того... подгулялъ...

— То-то подгулялъ! завалился спать—забылъ встать! Я эвтаго не люблю, подхватилъ старикъ, между тѣмъ какъ работникъ запрятывалъ подъ мышку гармонію:—я до эвтихъ до гулянокъ не больно охочъ... Тамъ какъ знаешь—дѣло твое, а только, по уговору по нашему я за день за этотъ съ тебя вычту,—сколько, примѣрно, принадлежитъ получить за одинъ день, столько и вычту... У меня, коли жить хочешь, вести себя крѣпко, дѣло дѣлай—вотъ что! Чтобъ я, примѣрно, эвтаго баловства и не видѣлъ больше.

Съ самаго начала этого объясненія Гришка не отрывалъ глазъ отъ Захара: онъ смотрѣлъ на него съ какимъ-то живымъ, отчасти даже подобострастнымъ, полнымъ ожиданія любопытствомъ. Такъ смотритъ мальчикъ на воина въ полномъ вооруженіи; такъ неопытный юноша, въ душѣ котораго таятся, однакожъ, гибельныя сѣмена мотовства, неудовлетворенныхъ страстей и разврата, смотритъ на современнаго Ловласа; такъ, наконецъ, другой юноша, пылкій но непорочный, смотритъ на великаго артиста или художника и вообще на всякаго человѣка, выходящаго изъ ряда обыкновенныхъ людей. Не взирая на присутствіе Глѣба, не взирая на недовольное, сумрачное расположеніе старика, Гришка не могъ скрыть радости,

которую пробуждало въ немъ новое знакомство; онъ бился изо всей мочи, чтобы подвернуться какъ-нибудь на глаза Захару и снова поменяться съ нимъ однимъ изъ тѣхъ лестныхъ взглядовъ взаимнаго соучастія, какимъ поменялись они, заслышавъ на берегу голосъ Глѣба. Мысль сойтись, сдружиться съ Захаромъ не давала покоя пріемышу.

Къ сожалѣнію, во все продолженіе утра не довелось ему перемолвить съ нимъ слова. Глѣбъ тотчасъ же усадилъ новаго батрака за дѣло. Нетерпѣливый, заботливый старикъ, желая убѣдиться скорѣе въ степени силы и способностей Захара, заставилъ его, по обыкновенію своему, передѣлать кучу самыхъ разнообразныхъ работъ и во все время не спускалъ съ него зоркихъ, проницательныхъ глазъ.

Здѣсь намъ необходимо остановиться: слѣдуетъ короче ознакомить читателя съ личностію Захара — личностію, которая, къ сожалѣнію, замѣтно начинаетъ распространяться въ простонародьи, вмѣстѣ съ размноженіемъ фабрикъ. Нелишнимъ будетъ сказать, прежде всего, нѣсколько словъ о томъ, что такое фабричная жизнь и какіе элементы вноситъ она въ крестьянское семейство: этимъ способомъ мы сдѣлаемъ половину дѣла. Нѣтъ сомнѣнія, что развитіе промышленности сильнѣйшимъ образомъ способствуетъ развитію матеріальнаго благосостоянія народа. При всемъ томъ, надо согласиться, однакожъ, что, достигая матеріальнаго благосостоянія посредствомъ „фабричной“ какой-нибудь промышленности, простолюдинъ неминуемо утрачиваетъ безукоризненную простоту нравовъ. Не слѣдуетъ заключать, чтобы избытокъ средствъ былъ тому виною; совсѣмъ напротивъ: первый шагъ къ усовершенствованію человѣка есть улучшеніе его физическаго состоянія; бѣдность—какъ всѣмъ, полагаю, извѣстно—самый худой руководитель. Лишнія средства позволяютъ крестьянину обзавестись, какъ слѣдуетъ, хозяйствомъ; онъ обстраивается, живетъ чище, ровнѣе, хозяйственнѣе, и, вслѣдствіе всего этого, невольнымъ образомъ привязывается къ дому, потому что есть тогда къ чему привязаться, есть что беречь и о чемъ думать. Нравственное чувство нимало отъ этого не страдаетъ. Я хотѣлъ сказать только, что къ упадку нравственности поселянина нерѣдко способствуетъ жизнь фабричная. Приокскіе уѣзды, посреди которыхъ происходитъ дѣйствіе нашего романа, превратились въ послѣднія десять лѣтъ въ миткалевыя фабрики; въ этихъ же самыхъ уѣздахъ существуютъ также—хотя изрѣдка—деревушки, жители которыхъ, благодаря

сносной почвѣ, занимаются хлѣбопашествомъ: мы можемъ, слѣдовательно, свободно наблюдать надъ мужикомъ-фабричнымъ, променявшимъ соху на челнокъ, ниву—на станъ, и мужикомъ-пахаремъ, который остался вѣренъ землѣ-кормилицѣ.

Первое впечатлѣніе при въѣздѣ въ пахатную деревню будетъ, если хотите, несовсѣмъ выгодно: тутъ не увидите вы ситцевыхъ рубашекъ, самоваровъ, синихъ кафтановъ, не увидите гармоній и смазныхъ сапогъ; но все это, въ сущности, одна только пустая внѣшность, которая можетъ обмануть поверхностный, далеко ненаблюдательный глазъ. Взамѣнъ всего этого, пахатная деревушка, подобно плоской, однообразной нивѣ чернозема, засѣянной свѣжимъ, неиспорченнымъ зерномъ, сохраняетъ подъ скромною наружностію самыя добрыя сѣмена. Тутъ только найдете вы ту простую, безхитростную жизнь, тотъ истинно здравый житейскій смыслъ, который заключается въ безусловной покорности и полномъ примиреніи съ скромной долей, опредѣленной провидѣніемъ; тутъ видна домашняя, семейная жизнь, которая для всякаго человѣка—и тѣмъ болѣе для простолюдина—служитъ залогомъ истиннаго счастія. Въ фабричныхъ деревняхъ почти нѣтъ семейной жизни: здѣсь дѣти восьмилѣтняго возраста поступаютъ уже на фабрику къ какому-нибудь московскому или коломенскому купцу. Иногда фабрика находится въ пятидесяти верстахъ отъ деревни. Мальчики и дѣвчонки (на фабрику поступаютъ дѣти обоего пола) по цѣлымъ мѣсяцамъ не бываютъ дома. Выростая такимъ образомъ безъ родительскаго надзора, который въ нравственномъ смыслѣ такъ много значитъ, дѣти эти живутъ какими-то пріемышами. Народъ, ихъ окружающій, состоитъ большею частію изъ людей избалованныхъ; въ дурныхъ примѣрахъ, конечно, нѣтъ недостатка. Къ шестнадцатилѣтнему возрасту—въ то время, какъ въ пахатной деревнѣ сверстники въ состояніи уже замѣнить отца въ полѣ и въ дѣлахъ хозяйственныхъ—фабричный парень умѣетъ только щелкать челнокомъ. Все это куда бы еще ни шло, еслибъ челнокъ приносилъ существенную пользу дому и поддерживалъ семейство; но дѣло въ томъ, что въ промежутокъ десяти, двѣнадцати лѣтъ, парень успѣлъ отвыкнуть отъ родной избы; онъ остается равнодушнымъ къ интересамъ своего семейства; увлекаемый дурнымъ сообществомъ, онъ скорѣе употребитъ заработанныя деньги на бражничество; другая часть денегъ уходитъ на волокитство, которое сильнѣйшимъ образомъ развито на фабрикахъ, благодаря ежеминутному столкновенію парней съ женщинами и дѣв-

ками, взрослыми точно также подъ вліяніемъ дурныхъ примѣровъ. Еслибъ фабричные составляли особое сословіе, совершенно отдѣльное отъ другихъ сословій простонародья,—дѣло иное; но ткачъ, въ сущности, все тотъ же хлѣбопашественный крестьянинъ. Рано ли, поздно ли, онъ возвращается къ дому; станъ служитъ только временнымъ, вспомогательнымъ средствомъ. Сами крестьяне очень хорошо знаютъ, что владѣть челнокомъ— не значитъ еще имѣть за плечами прочное ремесло. Возвратясь домой, фабричный парень оказывается ни на что негоднымъ: отсталъ онъ отъ сохи, отсталъ отъ земли; онъ ни мѣщанинъ, ни хлѣбопашецъ. У него нѣтъ даже охоты къ занятіямъ пахаря. Сидя съ утра до вечера за станомъ въ теплой избѣ, онъ, естественнымъ образомъ, долженъ былъ крѣпко облѣниться; мало-мальски тяжелая работа не понутру ему, да и не по силамъ. Пятидесятилѣтній старикъ, проведшій жизнь на полѣ, здоровѣе, крѣпче тридцатилѣтняго фабричнаго парня. Но какъ бы таинъ ни было, парень этотъ поступаетъ въ домъ; первымъ дѣломъ его слѣдуетъ, безъ сомнѣнія, женитьба. Какъ сказано выше, въ фабричныхъ деревняхъ дѣти обоего пола проводятъ юность свою на фабрикахъ; хочешь, не хочешь, выбирай въ жены фабричную дѣвку; такая женщина поминутно должна сталкиваться съ прежними товарками и знакомцами; мужъ, съ своей стороны, встрѣчается съ товарищами по фабрикѣ и старыми знакомками. Начинаются, съ одной стороны, гулянки, съ другой—попойки, а въ общемъ выходитъ безпорядочная жизнь, которая неминуемо ведетъ къ разстройству дома.

Захара можно было назвать дитею, питомцемъ фабрики. Съ семи лѣтъ до восемнадцати просидѣлъ онъ безвыходно за миткалевымъ станомъ.

Вызванный около этого времени въ домъ къ родному дядѣ, онъ точно также оказался никуда негоднымъ. Онъ тогда еще успѣлъ прославиться кой-какими продѣлками. Продѣлки заключались большею частію въ болѣе или менѣе удачныхъ волокитствахъ, но требовали уже вмѣшательства станового. Дядя Захара былъ человѣкъ строгій, кредитный. Не имѣя дѣтей и разсчитывая въ будущемъ на племянника, онъ взялъ его въ руки; но, такъ какъ это ни къ чему не послужило, старикъ рѣшилъ женить его, основываясь на томъ, что авось-либо тогда образумится парень. Не подалеку находилась мельница. Мельникъ, имѣя, можетъ-статься, въ виду капиталъ сосѣда, охотно отдалъ дочь свою за племянника. Первые два-три мѣсяца все шло хорошо; но по прошествіи этого срока Захаръ при-

нялся за прежнее рукомесло: свелъ знакомство съ прежними товарищами, завелъ машни.

Дядя принялся сначала усовѣщевать племянника, потомъ разсердился не на шутку; но Захаръ объявилъ наотрѣзъ, что всего бы этого не было, еслибъ онъ не считалъ себя обиженнымъ дядею. Причина обиды заключалась въ томъ, будто бы, что дядя держалъ его въ домѣ какъ простого работника—не давалъ ему ни въ чемъ распоряжаться. Старикъ, конечно, не поддался на такую штуку. Захаръ принялся тогда кутить сильнѣе прежняго. Обнадеживая себя, что рано или поздно завладѣетъ достояніемъ дяди, онъ не обращалъ вниманія на его угрозы. Племянникъ ошибся, однакожъ, въ разсчетѣ. Дядя умеръ, не оставивъ ему чѣмъ голодную собаку изъ-подъ стола выманить: все пошло, по обѣщанію, на построеніе Божьяго храма. Захаръ перешелъ тогда съ женою къ тестю. Мельникъ, давно уже раскусившій своего зятя, принялъ его несовсѣмъ ласково. Здѣсь повторилось то же самое, что было въ домѣ дяди. Захаръ кутилъ напропалую, обижался ролью простого работника, требовалъ распоряженія въ хозяйствѣ. Неудовольствіе тестя обнаружилось въ полной мѣрѣ, когда онъ сталъ замѣчать, что зять, для исполненія своихъ прихотей, его обкрадываетъ: разъ-другой поймали Захара на базарѣ съ мукою, которую оттягивалъ онъ нечью изъ-подъ жернова во время помолу. Наконецъ, по смерти дочери, которая скончалась столько же съ горя, сколько отъ дурного обращенія мужа, мельникъ выгналъ Захара изъ дому.

Захаръ снова пошелъ по фабрикамъ. Уживался онъ, однакожъ, недолго на одномъ и томъ же мѣстѣ. Житье у дяди и потомъ у мельника значительно его облѣнило. Кромѣ того и нравъ его нѣсколько измѣнился: мысль, что дядя его былъ не простой какой-нибудь лапотникъ, а зажиточный мѣщанинъ, что самъ онъ могъ бы владѣть значительнымъ капиталомъ, еслибъ только захотѣлъ,— все это развило въ немъ какую-то забавную самонадѣянность. Онъ считалъ себя чѣмъ-то особеннымъ посреди своего круга, даже съ какою-то гордостію смотрѣлъ на товарищей. Хозяева фабрикъ и особенно хозяйскіе сынки охотно поддерживали въ немъ такое чувство. Захаръ отлично пѣлъ русскія пѣсни, и потому-то самому безъ него не обходилась ни одна попойка, но Захаръ не довольствовался угощеніемъ и ассигнаціями, которыми благодарили его за пѣсни: онъ тотчасъ же бралъ на себя какой-то „форсъ“, тотчасъ же зазнавался, начиналъ распоряжаться на фабрикѣ, заводилъ ссоры

и драки съ работниками—словомъ, тотчасъ же ставилъ себя на одну ногу съ хозяевами. Захаръ не мало также занятъ былъ своею наружностію. Такая самоувѣренность основывалась на безчисленныхъ побѣдахъ, одержанныхъ имъ надъ прекраснымъ поломъ; но эти-то самые успѣхи и были причиной его бродячей жизни. Его гоняли отвсюду, потому что, куда только ни попадалъ онъ, нигдѣ не обходилось безъ исторіи. Но высокое понятіе о своихъ физическихъ и даже умственныхъ достоинствахъ получилъ Захаръ особенно послѣ одного происшествія, случившагося за годъ до поступленія его въ домъ Глѣба. Вотъ какъ это было: у одного помѣщика происходило празднество, устроенное въ національномъ вкусѣ. Множество гостей съѣхалось въ рощу, куда напередъ приглашены были окрестные мужики и бабы. Праздникъ начался угощеніемъ. Затѣмъ мѣстные Милоны кротонскіе показывали свою силу, бабы водили хороводы, молодые ребята влѣзали на мачту. Господа между тѣмъ дарили платки, серьги, бросали ребятамъ орѣхи и пряники. По окончаніи всѣхъ этихъ увеселеній, кто-то изъ помѣщиковъ сказалъ, что для пополненія празднества недостаетъ какого-нибудь отличнаго простонароднаго пѣвца. По его мнѣнію, пѣвца слѣдовало непремѣнно запрятать въ глубину рощи и заставить его спѣть національную пѣсню. Эффектъ былъ бы тогда самый полный. Хозяинъ праздника жадно ухватился за такую мысль. Начались разспросы. Узнали о какомъ-то Захарѣ, который жилъ тогда въ четырехъ верстахъ на фабрикѣ. Послать за Захаромъ нарочнаго было дѣло одной секунды. Его привезли, обѣщали ему денегъ и спрятали въ рощу. Съ первой же пѣсней, Захара осыпали рукоплесканіями. Общество захотѣло его видѣть. Его заставили пѣть уже не въ лѣсу, а передъ палаткой. Раздались новыя „браво!“ Мужчины трепали пѣвца по плечу, кричали: „Молодецъ! превосходно!“ дамы говорили: „Charmant! Délicieux! Mais il est superbe! Mais comme il est beau!“ Всѣ эти поощренія и особенно похвалы дамъ, смыслъ которыхъ понятъ былъ Захаромъ какъ нельзя лучше, приняты были имъ съ чувствомъ необычайнаго самодовольствія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и достоинства, такъ что, когда одинъ небогатый помѣщикъ опустилъ мелкую монету въ картузъ пѣвца—картузъ, въ которомъ находились уже ассигнаціи, Захаръ подмигнулъ ему лѣвымъ глазомъ. Другому помѣщику, поступившему точно такимъ же, онъ сказалъ: „Только-то?“ Наконецъ, когда помѣщикъ, подавшій мысль о пѣвцѣ, подошелъ къ нему и посовѣтовалъ ему, чуть не

мы также никого не уважимъ), такъ тебя и облѣпятъ. Есть на что и посмотрѣть, не то, что ваши, примѣрно, лапотницы: мѣщанками ходятъ! Лаптей ни у одного молодца одинаго не увидишь: куда ни глянешь, все сапоги, все сапоги... Свои оставилъ въ Комаревѣ у знакомаго, скороговоркою подхватилъ Захаръ, замѣтивъ, что собесѣдникъ невольно обратилъ вниманіе на его босыя ноги:— здѣсь не зачѣмъ; тамъ же и кафтанъ оставилъ. Кафтанъ также суконный, форсистый: я насчетъ одежды себя наблюдаю. У меня, какъ жилъ на фабрикѣ подъ Серпуховымъ, у Григорья Лукьянова— однихъ лѣтъ былъ тогда съ тобою—такъ ситцевыхъ рубахъ однѣхъ было три, шаровары плисовые, никакъ два жилета, а этихъ сапоговъ что переносилъ, такъ ужъ и не запомню. Нутка-сь, наживи-ка ты столько въ здѣшнемъ-то житьѣ! я чай, сапоговъ-то и не нашивалъ.

— Да, много здѣсь наживешь! произнесъ Гришка тономъ человѣка пристыженнаго, подавленнаго сознаніемъ своего ничтожества.

Онъ ничего не сказалъ, однакожъ, о сапогахъ. Сапоги въ крестьянскомъ быту играютъ весьма важную роль. Первые сапоги для деревенскаго парня то же значитъ, что первые золотые часы для юноши средняго сословія. Распространеніе фабричной жизни содѣйствовало распространенію сапоговъ. Въ фабричныхъ деревняхъ молодой парень пойдетъ скорѣе босикомъ по снѣгу и грязи, чѣмъ надѣнетъ лапти; точно позоръ какой! Амбиція Гришки, который никогда не нашивалъ сапоговъ (самъ Глѣбъ ходилъ въ лаптяхъ),— амбиція его была затронута, слѣдовательно, за самое живое мѣсто. Досада его, какъ и слѣдовало ожидать, обратилась цѣликомъ на стараго рыбака.

— Эхъ! какое наше житье! воскликнулъ онъ нетерпѣливо, уткнувъ локти въ песокъ:—какъ послушаешь, какъ люди живутъ, такъ бы вотъ, кажется, и убѣжалъ! пропадай они совсѣмъ!..

— Ничего, погоди, перебилъ Захаръ тономъ покровительства:— ты, я вижу, малый невялый. Дай поживемъ вмѣстѣ, я его, старика-то, переверну по своему!

Весь этотъ разговоръ произвелъ на пріемыша дѣйствіе масла, брошеннаго въ огонь. Дурные инстинкты молодого парня пробудились въ душѣ его съ быстротою зажженой соломы. Разгульная фабричная жизнь, лихіе ребята, бражничество, своя волюшка,—все это отвѣчало какъ нельзя лучше инстинктамъ Гришки. Такая именно

жизнь, хотя самъ не зналъ онъ, гдѣ искать ея, не зналъ даже, существуетъ ли она, занимала всегда мечты его. Прежде скучалъ онъ, самъ не зная, отчего. Теперь понялъ онъ причину своей скуки,— понялъ, чего ему хотѣлось, и потому возненавидѣль всѣмъ сердцемъ все, что мало-мальски относилось къ жизни, его окружавшей.

Этому, конечно, содѣйствовали дальнѣйшіе разсказы и вообще сообщество Захара, который замѣтно благоволилъ юному своему товарищу. Пріемышъ, съ своей стороны, выбивался изъ силъ, чтобы заслужить такое лестное расположеніе. Такимъ образомъ сошлись они необыкновенно скоро. Есть какое-то тайное, притягивающее сочувствіе между родственными натурами. Захаръ былъ, конечно, уже зрѣлый плодъ въ своемъ родѣ. Пріемышъ, сравнительно съ нимъ, осуществлялъ только почку; но почка эта принадлежала тому же самому дереву, которое дало плодъ. Съ перваго же дня ихъ знакомства, Гришка думалъ днемъ и ночью о томъ только, какъ онъ и Захаръ перевернутъ старика по своему. Оба они, однакожъ, какъ-то слабо успѣвали въ этомъ. Проходили дни и недѣли—нравъ старика ни на волосъ не измѣнился. Даже въ домѣ его все шло самымъ строгимъ, обыкновеннымъ порядкомъ. Мимо работы, старый рыбакъ, казалось, вовсе даже не замѣчалъ ихъ. Совсѣмъ тѣмъ, когда, на третье или четвертое воскресенье послѣ прибытія новаго работника, Гришка сталъ проситься пойти съ Захаромъ въ Комарево, Глѣбъ не отпустилъ его. Онъ сказалъ, что не зачѣмъ попустому валандаться, не зачѣмъ идти безъ надобности въ Комарево, что пойдетъ туда, когда самъ пошлетъ, и, безъ дальнихъ разговоровъ, велѣлъ ему остаться дома. Это обстоятельство вызвало, какъ и слѣдовало ожидать, насмѣшки со стороны Захара. Досада пріемыша, усиленная насмѣшками товарища, овладѣла тогда всѣми его чувствами. Онъ не посмѣлъ, однакожъ, показать старику свое неудовольствіе; но зато взглядъ, украдкою брошенный въ этотъ день Гришкой на Глѣба, былъ первымъ его взглядомъ полнаго, сознательнаго недоброжелательства. Чувство это немало поддерживалъ и разжигалъ страхъ, который, вопреки всѣмъ усиліямъ и ободреніямъ, ощущалъ пріемышъ, и даже Захаръ, до нѣкоторой степени, въ присутствіи Глѣба. Оба храбрились и хорохорились только на словахъ. Неизвѣстно, какъ это выходило; но только въ присутствіи стараго рыбака храбрость и удаль молодцовъ тотчасъ же пропадали. Тѣмъ не менѣе, вліяніе Захара продолжало производить втайнѣ свое дѣйствіе на пріемыша; оно особливо отразилось въ отношеніяхъ моло-

дого парня къ озеру дѣдушки Кондратія. Съ первыхъ же дней Захаръ смекнулъ, въ чемъ дѣло. Впрочемъ, самъ Гришка охотно разсказалъ ему повѣсть неудачныхъ своихъ похожденій съ дочкою рыбака. Началось съ того, разумѣется, что Захаръ осмѣялъ въ пухъ и прахъ неопытность юнаго друга. Затѣмъ онъ передалъ ему свои собственныя похожденія, разсказалъ нѣсколько забавныхъ случаевъ, разсказалъ, какъ всегда и вездѣ выходилъ побѣдителемъ и, подъ конецъ, вызвался даже помогать ему. Не разъ послѣ этого, въ ночное время, когда Глѣбъ и тетушка Анна спали крѣпкимъ сномъ, оба они переправлялись на луговой берегъ. Захаръ принималъ такое живое участіе въ успѣхахъ своего товарища, что, даже вопреки полному сознанію собственнаго своего превосходства, проводилъ цѣлые часы, покачиваясь въ челнокѣ, между тѣмъ какъ Гришка рыскалъ въ окрестностяхъ озера.

Оба они такъ ловко обдѣлывали дѣла свои, что Глѣбъ въ простотѣ честной, хотя крѣпкой души своей, ничего не подозрѣвалъ.

Къ тому же, проницательность Глѣба съ нѣкоторыхъ поръ замѣтно притуплялась. Мрачная туча, нависшая надъ высокимъ морщинистымъ лбомъ старика, казалось, все болѣе и болѣе сгущалась. Онъ, по прежнему, не переставалъ думать о сыновьяхъ своихъ, не переставалъ тосковать, ходилъ съ утра до вечера сумрачень, рѣдко съ кѣмъ молвилъ слово, исключая, впрочемъ, дѣдушки Кондратія, съ которымъ часто толковалъ объ отсутствующихъ дѣтяхъ. Одна только работа, одинъ промыселъ въ состояніи были оживлять его. Въ этихъ случаяхъ онъ не могъ быть недоволенъ работниками. Какъ сказано выше, Захаръ былъ удалецъ только на словахъ. Удаль его обусловливалась обстоятельствами. Храбрился онъ съ тѣми, которые уступали ему, кумились съ нимъ или добровольно становились подъ одинъ уровень. Въ присутствіи Глѣба, который связалъ его вскорѣ по рукамъ и по ногамъ, надававъ ему впередъ денегъ — способъ общеупотребительный между ловкими хозяевами — спѣсь и непобѣдимое молодечество Захара уходили на самое дно его ситцеваго кисета. Бывали, однакожъ, случаи, когда лѣнь работника, возмущенная взыскательностью хозяина, придавала ему настолько бодрости, чтобы поднять голосъ и бросить сѣти. Онъ начиналъ хорохориться и говорилъ, что отходитъ отъ дома. Но Глѣбъ тутъ же осаживалъ его. „Отдай деньги, что забралъ, отдамъ тебѣ и пачпортъ“, говорилъ старикъ: „а мало что — до станового недалече: въ Сосновкѣ живетъ!“ Разсчетъ Глѣба основывался на томъ, чтобы

продержать Захара вплоть до зимы, т. е. все время, какъ будетъ продолжаться рабочая пора. Онъ зналъ, что за такую скудную плату не наймешь и самаго худого работника. Тамъ, какъ зима придетъ, онъ и самъ держать его не станетъ: пригонитъ къ тому времени, чтобы работникъ грошa ему не былъ долженъ, и дастъ ему пачпортъ: проваливай, куда хочешь. Благодаря способу временныхъ займовъ у хозяевъ—займовъ, къ которымъ прибѣгалъ работникъ, волей-неволей Захаръ оставался въ домѣ.

— Погоди, Гришка, дай напередъ задобримъ хозяина. Я нарочно прикидываюсь смирнячкомъ, говорилъ Захаръ въ оправданіе того противорѣчія, которое усматривалъ пріемышъ между словами и поступками товарища:—сначатія задобримъ, а тамъ покажемъ себя! станетъ ходить по нашенски, перевернемъ по своему!

Изъ дальнѣйшихъ объясненій его оказывалось, что именно вотъ эта-то цѣль и задерживала его въ домѣ Глѣба. На самомъ дѣлѣ Захаръ зналъ очень хорошо, что куда бы онъ ни пошелъ—на фабрику ли, на сахарный ли заводъ, или къ другимъ рыбакамъ—это все едино-единственно, держать его нигдѣ не станутъ; нрійдется шляться безъ мѣста и, слѣдовательно, безъ хлѣба.

Итакъ, Глѣбъ былъ, въ извѣстной степени, доволенъ работникомъ. Что же касается до Гришки, то, несмотря на затаенное неудовольствіе, онъ трудился такъ исправно, что не давалъ даже старику повода къ упреку.

Такъ прошло безъ малаго три мѣсяца.

Къ концу этого срока вышелъ, однакожъ, случай, который невольно оторвалъ Глѣба отъ задушевныхъ его мыслей и заставилъ его обратить все вниманіе на пріемыша.

Вотъ что произошло:

Разъ какъ-то, въ началѣ осени, Глѣбъ отправился на луговой берегъ: требовалось нарубить лозняка для починки старыхъ вершей. Онъ поѣхалъ одинъ.

Часъ, безъ малаго, сидѣлъ онъ за своимъ дѣломъ у опушки кустовъ, тамъ, гдѣ начинались луга, когда подошелъ къ нему дѣдушка Кондратій.

На кроткомъ, невозмутимо-тихомъ лицѣ старичка проглядывало смущеніе. Онъ, очевидно, былъ чѣмъ-то сильно взволнованъ. Бѣлая голова его и руки тряслись болѣе обыкновеннаго. Подойдя къ сосѣду, который рубилъ справа и слѣва, ничего не замѣчая, онъ не

сказалъ даже „Богъ помочь!“ Дѣдушка ограничился тѣмъ лишь, что назвалъ его по имени.

— А! здорово, дядя! произнесъ Глѣбъ, опуская топоръ и утирая лобъ, покрытый потомъ.

— Здравствуй, Глѣбъ Савинычъ, сказалъ Кондратій, переводя одышку на каждомъ словѣ: — къ тебѣ шелъ.

— Ладно, что встрѣтились, подхватилъ Глѣбъ: — я и самъ собирался нонѣ тебя провѣдать. Переѣхалъ сюда лознячкомъ запастись: верши надыть исправить; а тамъ, думалъ, какъ порѣшу дѣло, схожу къ сосѣду. А ты зачѣмъ пробирался? надобность, что ли, была какая? али такъ, провѣдать хотѣлъ?

— Нѣтъ... есть до тебя дѣло, съ трудомъ проговорилъ старикъ.

— Ну, говори, промолвилъ Глѣбъ, обращая впервые глаза на сосѣда: — да что ты, дядя? ась? Въ тебѣ какъ словно перемѣна какая... и голосъ твой не тотъ, и руки дрожатъ. Не приключилось ли чего? Говори, чѣмъ, примѣрно, могу помочь? Ну, примѣрно и... того; говори только.

Дѣдушка Кондратій тоскливо покачалъ головою, закрылъ красныя, распухшія вѣки и безотрадно махнулъ рукою. Вмѣстѣ съ этимъ движеніемъ, двѣ едва примѣтныя слезинки покатились изъ глазъ старика.

— Ну, стало, взаправду недоброе что привалило. Али „плевокъ“ *) на рыбу напалъ? подхватилъ Глѣбъ.

Хотя Глѣбъ коротко ознакомился теперь съ истиннымъ горемъ, — такимъ горемъ, которое не имѣло уже ничего общаго съ неудачами и невзгодами по части промысла или хозяйства, онъ никакъ не предполагалъ, чтобы другой человѣкъ, и тѣмъ менѣе сосѣдъ, могъ испытать что-нибудь подобное. Онъ находился въ полномъ убѣжденіи, что дѣдушка Кондратій претерпѣлъ какую-нибудь неудачу въ дѣлѣ домашнемъ: плевокъ на рыбу напалъ, сѣти порвались, а новыхъ купить не на что, челнокъ просквозилъ и ушелъ на дно озера. Этимъ ограничивались его догадки. Поэтому самому не мало удивился Глѣбъ, когда сосѣдъ сказалъ ему:

— Нѣтъ, Глѣбъ Савинычъ, кабы только это, не сталъ бы тужить, не сталъ бы гнѣвить Господа Бога! на то Его святая воля. Въ эвтихъ нашихъ невзгодахъ человѣкъ не властенъ...

---

*) Червь, истребляющій рыбу.

— Да что жъ такое? говори! нетерпѣливо перебилъ Глѣбъ.

— А то, что случилось недоброе дѣло, подхватилъ, тяжко вздыхая, старикъ: — отъ человѣка недоброе дѣло, Глѣбъ Савинычъ! а все вышло... все вышло изъ твоего... изъ твоего сосѣдскаго дома.

— Какъ! что такое? воскликнулъ Глѣбъ, поспѣшно вставая на ноги и безпокойно изгибая сѣдыя брови.

— Да, изъ твоего дома, продолжалъ между тѣмъ старикъ. — Жилъ я о-сю пору счастливо, никакого лиха не чая, жилъ, ничего такого и въ мысляхъ у меня не было; наказалъ, видно, Господь за тяжкіе грѣхи мои! И ничего худого не примѣчалъ я за ними. Бывало, твой парень Ваня придетъ ко мнѣ, либо Гришка — ничего за ними не видѣлъ. Вѣрилъ имъ словно дѣтямъ своимъ. То-то вотъ наша-то стариковская слабость! Наказалъ меня Создатель, горько наказалъ. Обманула меня... моя дочка, Глѣбъ Савинычъ!

При этомъ у Глѣба отлегко отъ сердца. Ему представилось сначала, что Гришка или Захаръ обокрали сосѣда.

— И гдѣ мнѣ было усмотрѣть, старику, продолжалъ дѣдушка, останавливаясь время отъ времени и проводя дрожащею ладонью по глазамъ: — гдѣ было усмотрѣть за ними! Сама, бывало, обо всякой малости сказывала. Ину пору — вотъ въ послѣднее это время — спросишь: „что, молъ, невесела Дуня, что пѣсенъ не поешь?„ „Ничего, говоритъ, такъ, охоты нѣтъ“. Ну, я ей и вѣрилъ... вѣстимо, думаю какое ей со мною веселье... лѣта ея молодыя... Да, обманула меня моя дочка, Глѣбъ Савинычъ, — горько обманула! Ночь только обо всемъ провѣдалъ... Приходитъ это она утромъ ко мнѣ, — а я рыбку удилъ — приходитъ, да такъ вотъ вся и заливается слезами, такъ и заливается. „Что ты, говорю: Христосъ, молъ, съ тобою“. Самъ добре перепужался, всталъ, поднялся, а она ко мнѣ въ ноги... все и повѣдала... такъ инда головня къ сердцу моему подкатилась! „Ну, говорю, дочка, посрамила ты мою бѣдную голову! за что, говорю, за что ты меня старика обманула? На то ли ростилъ я тебя? того ли ждалъ?“ А руки не поднялъ — подумалъ: не поможетъ. Богъ, молъ, дочка, судья тебѣ!

— Что жъ... Гришка? перебилъ Глѣбъ, сжимая кулаки и грозно нахмуривая брови.

— Онъ, отвѣчалъ старикъ, опуская голову и проводя дрожащими пальцами по глазамъ.

— Ахъ онъ, проклятый! вскричалъ Глѣбъ, у котораго заки-

*

пѣло при этомъ сердце такъ же, какъ въ бывалое время.— То-то примѣтилъ я—давно еще примѣтилъ... въ то время еще, какъ Ваня здѣсь мой былъ! Не даромъ, стало, таскался онъ къ тебѣ на озеро. Пойдемъ, дядя, ко мнѣ... тутъ челнокъ у меня за кустами. Погоди-жъ ты! я-жъ те ребры-то переломаю. Я те!...

— Полно, Глѣбъ Савинычъ! этимъ теперь не поможешь, кротко возразилъ дѣдушка Кондратій, взявъ его за руку:— теперь не объ томъ думать надыть.

— Ты думаешь, примѣрно, женить надыть?

— Затѣмъ и шелъ къ тебѣ... лучше ужь; до грѣха, по закону по Божьему, какъ слѣдуетъ.

— Это само себою. Повѣнчать повѣнчаемъ; а не миновать ему моихъ кулаковъ! я его проучу... Ахъ онъ, окаянный!

— Нѣтъ, Глѣбъ Савинычъ, оставь лучше, не тронь его... пожалуй, хуже будетъ... Онъ тогда злобу возьметъ на нее... вѣдь мужъ въ женѣ своей властенъ. Человѣка не узнаешь: иной лютѣе звѣря. Полно, перестань, уйми свое сердце... Этимъ не пособишь. Повѣнчаемъ ихъ; а тамъ будь воля Божья!... Эхъ, Глѣбъ Савинычъ! не ему, нѣтъ, не ему прочилъ я свою дочку! неожиданно заключилъ дѣдушка Кондратій.

Вмѣстѣ съ этими словами кулаки Глѣба опустились, и гнѣвъ его прошелъ мгновенно. Нѣсколько минутъ водилъ онъ ладонью по сѣрымъ кудрямъ своимъ, потомъ задумчиво склонилъ голову и наконецъ сказалъ:

— Что говорить, дядя! признаться, и я не ему прочилъ твою дочку: прочилъ другому. Ну, да что тутъ! словесами прошлаго не воротишь!

Тутъ онъ остановился, махнулъ рукою и снова опустилъ на грудь голову.

Глѣбъ уже не принимался въ этотъ день за начатую работу. Проводивъ старика-сосѣда до половины дороги къ озеру (дальше Глѣбъ не пошелъ, да и дѣдушкѣ Кондратію этого не хотѣлось), Глѣбъ подобралъ на обратномъ пути топоръ и связки лозняка и вернулся домой еще сумрачнѣе, еще задумчивѣе обыкновеннаго.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

XX.

Худое житье.

Возвратясь домой, послѣ объясненія съ дѣдушкой Кондратіемъ, Глѣбъ слова не промолвилъ пріемышу; а между тѣмъ куда какъ хотѣлось ему проучить негодяя! Грозно изгибавшіяся брови старика и невольно сжимавшіеся кулаки его, каждый разъ, какъ онъ встрѣчался съ Гришкой, достаточно уже показывали, какъ сильно было въ немъ такое желаніе. Онъ удержался, однакожъ: благоразумные совѣты старичка-сосѣда восторжествовали на этотъ разъ надъ личнымъ мнѣніемъ Глѣба, которое, если помнитъ читатель, заключалось въ томъ, чтобы намять Гришкѣ бока. Выбравъ минуту, когда Захаръ и пріемышъ занялись чѣмъ-то на дальнемъ концѣ площадки, старый рыбакъ подошелъ къ женѣ и передалъ ей жалобу старика-сосѣда. Съ первыхъ же словъ тетушка Анна пришла въ неописанное волненіе; она всплескивала руками, мотала головою, охала и стонала въ одно и то же время. „Ахъ онъ, окаянный!... ахъ онъ, безпутный такой, грѣховодникъ этакой!... Вѣдь погубилъ дѣвку-то! погубилъ совсѣмъ... Я, чай, старикъ-атъ, сердечный... Скажи, грѣхъ какой!... А намъ-то—намъ и не вдомекъ; хоть бы однимъ глазкомъ примѣтили... Ахти, Господи!...“ говорила она, не переводя духу, отчаянно ударяя обѣими ладонями объ полы понявы и торопясь немилосерднѣйшимъ образомъ платокъ на головѣ. Глѣбъ, какъ вѣдомо, не любилъ много разговаривать; еще съ меньшею охотою слушалъ онъ пустыя бабьи рѣчи. Онъ тотчасъ же осадилъ жену. „Ну, чего, чего?... экъ ее, дура-баба! право, пустая какая!“ проговорилъ онъ съ такимъ видомъ, который мгновенно превратилъ негодующую старуху въ кроткую, смиренную овцу. Онъ пришелъ вовсе не за охами, еще менѣе нуждался въ совѣтахъ, которыми, не медля ни минуты, принялась-было снабжать Анна, поощренная

снисходительнымъ его объясненіемъ. Вся цѣль разговора Глѣба съ женою заключалась въ томъ, чтобы старуха мыла скорѣй горшки, варила брагу и готовила все къ свадьбѣ.

Дѣло, дѣйствительно, было такого рода, что не терпѣло отлагательства.

Недѣли черезъ двѣ, въ воскресный день, у воротъ рыбакова дома и на самомъ дворѣ можно было видѣть нѣсколько подводъ; на холмистомъ скатѣ высокаго берегового хребта, которымъ замыкалась съ трехъ сторонъ площадка, бродили пущенныя на свободу лошади, щипавшія сочную листву орѣшника. Приглаженный видъ двора, освѣщеннаго желтыми лучами осенняго солнца, тетушка Анна и еще какая-то баба, бѣгавшія поминутно изъ избы подъ тѣнь навѣса и возвращавшіяся всякій разъ съ кувшинами или пирогами; подводы и наконецъ самыя лошади—все это свидѣтельствовало, что въ домѣ Глѣба, отличавшемся всегда тишиною и строгимъ порядкомъ, происходило что-то несовсѣмъ обыденное. Говоръ, раздававшійся въ самой избѣ, пѣсни, восклицанія и звяканье посуды подтверждали краснорѣчиво такое предположеніе. Изба была полна народу. Тутъ находились оба тестя и обѣ тещи двухъ старшихъ сыновей Глѣба, Петра и Василія; были крестовые и троюродные братья и сестры тетки Анны, находились кумовья, деверья, шурины, сваты и даже самые дальнѣйшіе родственники Глѣба — такіе родственники, которыхъ рыбакъ не видалъ по цѣлымъ годамъ. Все это съѣхалось по бо́льшей части изъ Сосновки и явилось конировать на свадьбу къ старому Глѣбу, который женилъ пріемыша своего на дочери сосѣда, такого же рыбака, по прозванію Кондратія.

Но, несмотря на большое стеченіе народа, несмотря на радушное угощеніе и разливное море браги, которая пробуждала въ присутствующихъ непобѣдимую потребность пѣть пѣсни, цѣловаться и нести околесную,—несмотря на прибаутки и смѣхотворныя выходки батрака Захара, который занималъ мѣсто дружки жениха—и занималъ это мѣсто, не мѣшаетъ замѣтить, превосходно — свадьбу никакъ нельзя было назвать веселою. Все шло, повидимому, самымъ обыкновеннымъ порядкомъ, и только главныя дѣйствующія лица—тѣ самыя, отъ кого бы слѣдовало ожидать всего болѣе радости—казались какъ-будто недовольными. Нѣтъ сомнѣнія, что еслибъ тетушка Анна, движимая чувствами безпримѣрнаго добродушія и гостепріимства, не пересыпала въ брагу нѣсколькихъ лишнихъ при-

горшней хмѣля (все это, разумѣется, сдѣлано было тайкомъ отъ Глѣба), и еслибъ гости, въ свою очередь, умѣреннѣе прибѣгали къ ковшамъ, заключавшимъ эту брагу, многіе могли бы замѣтить, что на свадебной пирушкѣ не все было ладно.

Во-первыхъ, молодая совѣмъ непохожа была на обыкновенныхъ молодыхъ. Она сидѣла какъ убитая: точно силой выдавали ее за немилаго, или, вѣрнѣе, точно присутствовала она не на свадебной пирушкѣ, а на поминкахъ по нѣжно любимымъ родителямъ. Мужчины, конечно, не обратили бы на нее вниманія: сидѣть съ понурою головою — для молодой дѣло обычное; но лукавые глаза бабъ, которыя на свадьбахъ занимаются не столько бражничествомъ, сколько сплетками, вѣрно замѣтили бы признаки особенной какой-то неловкости, смущенія и даже душевной тоски, обозначавшейся на лицѣ молодки. „Глянь-ка-сь, касатка, молодая-то невесела какъ: лица нѣтути!“ — „Должно-быть, испорченная, либо хворая...“ — „Парень, стало, не по ндраву...“ — „Хоть бы разочекъ глазкомъ взглянула; съ утра все такъ-то: сидитъ платочкомъ закрышись — сидить не смигнетъ, словно на бѣлый на свѣтъ смотрѣть совѣстится...“ — „И то, можетъ-статься, совѣстится; жила не на міру, не въ деревнѣ съ людьми жила: кто ее вѣдаетъ, какая она!...“ Такого рода доводы подтверждались, впрочемъ, наблюденіями, сдѣланными двумя бабами, которымъ довелось присутствовать при разставаньи Дуни съ отцомъ. Это происходило утромъ, передъ отправленіемъ къ вѣнцу. Извѣстное дѣло, какой же дѣвкѣ не жаль покидать родителей — всякой жаль! Хотя иной разъ и въ своей деревнѣ остаешься — только улицу перейти, — а все не съ родными жить. Ну, какъ водится, помолишься святымъ образамъ, положишь отцу съ матушкой три поклона въ ноги, маленечко покричишь голосомъ, ину нору не шутя даже всплакнешь, — все это такъ по обычаю должно. Эта же молодая и прощалась-то совсѣмъ не такъ какъ другія дѣвки: какъ повалилась съ первака отцу въ ноги, такъ тутъ и осталась, и не то, чтобы причитала, какъ водится по обычаю, — слова не вымолвить, только убивается; взвыла на весь дворъ, на всю избу, ухватила старика своего за ноги, насилу отняли: водой отливали! И нивѣсть что такое: прощалась, словно въ Сибирь везли ее, въ дальнюю сторону; а всего-то Оку-рѣку переѣхать... Были еще другія примѣты при самомъ выѣздѣ къ вѣнцу. Каждое движеніе молодой, предметы и лица, ее окружающіе, даже лошади, которыя везуть ее въ церковь, подвергаются на

свадебныхъ поѣздкахъ внимательному разсмотрѣнію; все это, по мнѣнію двухъ бабъ, не благопріятствовало молодой. Замѣчанія эти, передаваемыя въ свое время шопотомъ, изъ ушка въ ушко, не замедлили бы обойти теперь всѣхъ присутствующихъ, еслибъ, какъ мы уже сказали, брага тетки Анны не была такъ крѣпка и не отуманила глазъ всему собранію. По той же самой причинѣ, каждый изъ гостей хотя и цѣловался по нѣскольку десятковъ разъ съ молодымъ, но никто не замѣчалъ нахмуреннаго лица его. Каждый разъ, какъ который-нибудь изъ присутствующихъ обращалъ на него масляные, слипавшіеся глаза и, приподнявъ стаканъ, восклицалъ: „о-охъ, горько!“ давая знать этимъ, чтобы молодые поцѣловались и подсластили такимъ образомъ вино,—въ чертахъ Гришки проглядывало выраженіе досадливаго принужденія. Можно было думать, что женился онъ противъ воли, женился и каялся. Оно почти такъ и было. Въ послѣднее время онъ рѣдко даже бывалъ на озерѣ: Дуня успѣла уже опостынуть ему. Не знаю, подозрѣвалъ ли дядя Кондратій мысли своего зятя, но сидѣлъ онъ также пригорюнясь на почетномъ своемъ мѣстѣ; всего вѣрнѣе, онъ не успѣлъ еще опомниться послѣ прощанья съ Дуней,—слабое стариковское сердце не успѣло еще отдохнуть послѣ потрясенія утра; онъ думалъ о томъ, что пришло наконецъ времячко распрощаться съ дочкой! По крайней мѣрѣ, бѣлая голова дѣдушки Кондратія не переставала трястись и какъ бы все еще давала знать, что онъ несовсѣмъ рѣшился на тяжкую жертву. Что-жъ касается Глѣба, онъ точно также не имѣлъ особенныхъ побужденій къ радости; одно развѣ: въ домъ поступаетъ молоденькая сноха, новая работница на смѣну старухѣ, которая въ послѣднее время совсѣмъ почти съ ногъ сметалась, изъ силъ выбилась... конечно, это не дурно. Глѣбъ не разъ даже высказывалъ по этому поводу свое удовольствіе; въ разговорахъ съ женою онъ неоднократно даже принимался выхвалять дочку рыбака-сосѣда. Но, къ сожалѣнію, удовольствіе Глѣба Савинова не было продолжительно: оно исчезало по мѣрѣ того, какъ стали появляться расходы, сопряженные съ пріобрѣтеніемъ молодой снохи; Глѣбъ началъ тогда ворчать и покрикивать. Старикъ шибко крѣпковатъ былъ на деньги, завязывалъ ихъ, какъ говорится, въ семь узловъ; недаромъ, какъ видѣли мы въ свое время, откладывавъ онъ день отодня, девять лѣтъ кряду, постройку новой избы, несмотря на просьбы жены и собственное убѣжденіе, что старая изба, того и смотри, повалится всѣмъ на голову; недаромъ считалъ онъ каждый грошъ,

клалъ двойчатки въ кошель, соблюдалъ строжайшій порядокъ въ домѣ, не любилъ бражничества и на семидесятомъ году неутомимо работалъ отъ зари до зари, чтобы только не нанимать лишняго батрака. Съ лѣтами онъ сдѣлался еще разсчетливѣе.

А между тѣмъ не проходило теперь дня, когда бы не принуждали его отправляться въ комерку и отворять завѣтный сундучокъ завѣтнымъ витымъ ключикомъ... Просто напасть какая-то: сегодня требовался солодъ, завтра мука на лапшу, а тамъ раскошеливайся опять на масло, либо на свадебные подарки! Ворчливость окончательно овладѣла Глѣбомъ, когда, дня за два до свадьбы, пріѣхали изъ Сосновки двѣ кумы и вслѣдъ затѣмъ началась въ домѣ стряпня и возня. „Экъ ихъ обрадовались! чтобы васъ шуть взялъ!“ не переставалъ твердить Глѣбъ, косясь съ самымъ недоброжелательнымъ видомъ на румяные пироги и пышные короваи, которые то-и-дѣло выставлялись на доскахъ изъ оконъ: „настряпали теперь, напекли! Было бы изъ чего изъянниться-то—вотъ что! не богатую какую невѣсту берешь; спасибо еще — взяли... Признаться, старика одного только и пожалѣли... Ну, да что тутъ толковать! рѣшеное дѣло: выходить, поминать нечего... Напекли, наварили: не бросать же теперь — ѣшьте во здравіе!..“ Такъ заключалъ всегда почти Глѣбъ, который, вообще говоря, былъ слишкомъ разсчетливый и дѣловой хозяинъ, слишкомъ строгій и несообщительный старикъ, чтобы жаловать гостей и пирушки. Ворчливость его продолжалась, однакожъ, до тѣхъ только поръ, пока не окончились возня и приготовленія, пока не съѣхались гости и не началось угощеніе; усѣвшись за столъ, онъ махнулъ какъ словно рукою и пересталъ заботиться о томъ, что стоили ему пироги и брага; казалось даже, онъ совсѣмъ запамятовалъ объ этомъ предметѣ. Не пилъ, однакожъ, Глѣбъ, не пилъ ни капельки; хмѣль не отуманивалъ головы его, точно такъ же, какъ не отуманивали ея шумъ, крики и пѣсни пирующихъ. Одна только мысль и была теперь въ головѣ рыбака — все та же острая, назойливая мысль, которая постоянно жила въ немъ, изрѣдка лишь заслоняясь житейскими заботами; достаточно было просвѣтлиться этой мысли, чтобы изгладить мгновенно изъ его памяти всѣ разсчеты, всѣ соображенія. Онъ думалъ о сынѣ — думалъ о младшемъ возлюбленномъ дѣтищѣ. Свадьба пріемыша невольнымъ образомъ пробудила въ душѣ старика такія воспоминанія: такъ, можетъ-статься, пировали бы теперь на свадьбѣ Вани!.. Немудрено послѣ этого, если Глѣбъ казался невеселъ.

Но какъ бы тамъ ни было, благодаря, вѣроятно, теткѣ Аннѣ, которая суетилась и хлопотала за шестерыхъ, благодаря также дружкѣ Захару и двумъ кумамъ, которыя подливали исправнѣйшимъ манеромъ сосновскимъ родственникамъ, гости были сытехоньки по горлышко, пьяны-пьянехоньки и вообще остались очень довольны. Такъ по крайней мѣрѣ слѣдуетъ заключить изъ того, что многіе, при всемъ стараніи своемъ, никакъ не могли встать съ лавокъ; хозяева принуждены были снести ихъ на дворъ и уложить въ подводы, на подобіе грузныхъ сноповъ. Наконецъ пирушка кончилась; Дуню и Гришку уложили въ приготовленную заранѣе конурку, и гости разъѣхались.

Самъ дѣдушка Кондратій поплелся къ себѣ на озеро.

Домъ Глѣба, площадка и берега Оки окутались темнотою ночи и стихли—стихли, какъ словно заснули за одно съ обывателями...

Женитьба пріемыша не произвела почти никакого измѣненія въ хозяйствѣ рыбака. Порядокъ, заведенный Глѣбомъ тридцать лѣтъ назадъ, безъ всякаго сомнѣнія, не могъ пошатнуться отъ такой маловажной причины. Вообще говоря, въ крестьянскомъ быту сноха занимаетъ довольно жалкую роль, особенно въ первое время. Нужны какія-нибудь особенныя благопріятныя обстоятельства или съ ея стороны, или со стороны мужниной родни, чтобы житье ея въ домѣ разнилось отъ житья простой работницы.

На другой же день можно было видѣть, какъ тетка Анна и молоденькая сноха ея перемывали горшки и корчаги, и какъ, послѣ этого, обѣ стучали вальками на берегу ручья. Глѣбъ, который не безъ причины жаловался на потерянное время—время подходило къ осени и пора стояла, слѣдовательно, рабочая—вышелъ къ лодкамъ, когда на блѣднѣющемъ востокѣ не успѣли еще погаснуть звѣзды. За часъ до восхода, онъ, Захаръ и Гришка были на Окѣ.

Въ многозаботной жизни простолюдина время дорого. Такъ некогда предаваться излишней радости или скорби. И радъ бы иной разъ, послушался, что душа поетъ, радъ бы повеселиться, завихриться, радъ бы выплакать вдосталь свое горькое горе, да мало ли что!.. Нужда, время идетъ, никого не ждетъ. Иного дня недѣлей цѣлой не нагонишь!.. Мнѣ приводилось встрѣчать старухъ, которыя рыдали отчаянно, страшно рыдали, и въ то же время несли на плечахъ ведра или занимались другимъ хозяйственнымъ дѣломъ. „Что съ тобою?..“ — „Сынъ вечоръ померъ... одинъ только и былъ!..“ Не разъ также я заставалъ за сохою стариковъ, которыхъ за часъ

посѣтила нечаянная радость или сразило страшное горе. Духъ можетъ скорбѣть или радоваться сколько угодно,—руки должны оставаться одинаково крѣпкими и работать.

Единственный предметъ, обращавшій на себя теперь вниманіе Глѣба, было „время“, которое, съ приближеніемъ осени, замѣтно сокращало трудовые дни. Немало хлопотъ приносила также погода, которая начинала хмуриться, суля ненастье и сиверку—неумолимыхъ враговъ рыбака. За всѣми этими заботами, разумѣется, некогда было думать о снохѣ. Да и думать-то было нечего!.. Живетъ себѣ бабенка наравнѣ съ другими, обиды ни какой и ни въ чемъ не терпитъ—живетъ, какъ и всѣ люди. Въ мѣру работаетъ, хлѣбъ ѣстъ вволю: чего-жъ ей еще?..

Къ концу осени мысли стараго рыбака перешли непосредственно отъ промысла къ другому предмету. Какъ только замѣтилъ онъ, что верши его стали „сиротѣть“, а съ сѣтями нечего почти дѣлать, онъ началъ помышлять о томъ, какъ бы раздѣлаться съ Захаромъ. Впрочемъ это обстоятельство заняло немного времени: разсчетъ былъ очень коротокъ. Мы уже имѣли случай замѣтить, что старикъ, нанимая Захара, имѣлъ въ виду продержать его не далѣе осени, т. е. до той поры, пока окажется въ немъ надобность. Съ этою цѣлью онъ давалъ ему денегъ впередъ и даже старался опутать долгами. За мѣсяцъ передъ разсчетомъ, старикъ разомъ прекратилъ выдачу денегъ. Онъ, конечно, слова не промолвилъ работнику о своемъ намѣреніи, но втихомолку сводилъ свои счеты. Въ тотъ самый день, когда Захаръ заработалъ послѣднюю копѣйку, данную ему впередъ, Глѣбъ объявилъ на отрѣзъ, что онъ ему больше не нуженъ. Озадаченный нѣсколько неожиданной выходкой, работникъ заикнулся было о деньгахъ; но хозяинъ показалъ ему бирку, на которой обозначены были всѣ дни, прожитые батракомъ, и всѣ деньги, грошъ-въ-грошъ, заработанныя имъ. Возражать было нечего.

Въ утро того-же дня, Захаръ уложилъ въ карманъ своихъ шароваръ всѣ свои пожитки, состоявшіе изъ ситцеваго кисета и трубки; взялъ въ руки гармонію и покинулъ, посвистывая площадку.

Гришка сопровождалъ его. (Глѣба не было въ эту минуту дома. Отпустивъ работника, онъ тотчасъ же ушелъ въ Сосновку). Во все продолженіе пути отъ воротъ до лодокъ Захаръ не переставалъ свистать и вообще казался въ самомъ пріятномъ, пѣвучемъ расположеніи духа.

— Куда-жъ ты теперь, Захаръ? спросилъ Гришка, послѣ того, какъ оба они усѣлись въ челнокѣ и отчалили отъ берега.

— Развѣ мало мѣстовъ-то?.. Думаешь, твой Глѣбъ одинъ только на свѣтѣ и есть!.. Тебѣ, можетъ-статься, въ диковинку! Намъ хоша бы его не было—это все единственно... Что разсчелъ-то меня: „не надо“, говоритъ—великая важность!.. Почище видали—не плакали!.. Можетъ, онъ того не знаетъ, плевать я хотѣлъ на него! Намъ вездѣ будетъ мѣсто... Нашему брату не искать. Куда пришелъ, тутъ и нашелъ! Въ Комаревѣ и то звали намедни: „приходи, говорятъ, Захаръ, уважимъ!..“ Да врядъ останусь; прискучили мнѣ ваши мѣста... Пока еще поотряхнусь, погуляю... У меня вотъ въ Серпуховѣ есть знакомый одинъ хозяинъ, фабрику содержитъ и капиталъ большой имѣетъ: туда и пойду... потому, какъ онъ есть мнѣ пріятель, и житье, примѣрно, вальяжное, первый сортъ. Это все, выходитъ, нашему брату того и надо!.. проговорилъ Захаръ, съ такою самоувѣренностію и оглядываясь съ такимъ безпечнымъ видомъ направо и налѣво, какъ будто всѣ лучшія мѣста отъ Коломны до Серпухова были дѣйствительно къ его услугамъ.

На самомъ дѣлѣ онъ находился въ крайне затруднительномъ положеніи. Онъ не зналъ даже, приведется ли пообѣдать, потому что дальше Комарева нынѣче не уйдешь, а комаревскій цѣловальникъ Герасимъ (въ этомъ убѣдился Захаръ изъ собственнаго опыта) въ долгъ не вѣрилъ. Гармонія представляла слишкомъ ничтожный предметъ для заклада: и новая-то стоитъ всего одинъ двугривенный! Конечно, если приложить къ ней кисетъ, картузъ и трубку, можно, пожалуй, выйти изъ бѣды, но на самое короткое время. Никакъ не дотянешь до найма. Въ Комаревѣ (это обстоятельство было также извѣстно Захару) и безъ того уже много своихъ рукъ. Что-жъ касается до путешествія въ Серпуховъ, къ пріятелю фабриканту, надо было отложить попеченіе: серпуховскій пріятель былъ, къ сожалѣнію, тотъ самый, что засталъ жену свою въ роковую минуту, какъ она дарила Захару знаменитый кисетъ. Другіе же два фабриканта, изъ Серпухова, вытурили его также въ свое время и погрозили даже намять бока, если онъ только покажется на порогѣ ихъ фабрикъ. Между Захаромъ и остальными знакомыми ему хозяевами существовали такія же почти неблагопріятныя отношенія—словомъ, рѣшительно некуда было приткнуться!.. Совсѣмъ тѣмъ, надо отдать ему справедливость, онъ не унывалъ нисколько. Во все время переправы черезъ Оку не переставалъ онъ молодцовать, свистать,

пѣть пѣсни и играть на гармоніи. Мало того: ступивъ на противоположный берегъ, онъ выразилъ даже свое искреннее, задушевное сожалѣніе къ тяжкой долѣ молодого своего товарища.

— Эхъ, Гришка, Гришка!.. жаль мнѣ тебя, братецъ ты мой, ей Богу, жаль!.. такъ, ни за что, ни за грошъ погубилъ ты свою молодость!.. Пропадай теперича твоя волюшка!.. въ коренную, какъ есть, закрѣпилъ тебя старикъ къ дому своему. Говорилъ — стой на одномъ: „знать, молъ, не знаю, вѣдать не вѣдаю!..“ А то: какъ да какъ?.. вотъ-те и какъ!.. вози подъ теперича... Закабалилъ ты себя. Навязалъ жерновъ на шею — это все единственно, — выходитъ, одно и то же!.. И добро дѣвка-то была бы... а то... эхъ-ма! молодетный ты парень, какъ погляжу, соломенная твоя душа!.. Только что вотъ куражишься... То ли бы было, кабы послушалъ: шли бы теперича вмѣстѣ важнѣющимъ манеромъ!.. Куда ни кинулъ глазами, это все единственно; вездѣ путь дорога — гуляй знай!.. А то что?.. загубилъ себя какъ есть теперича!.. Парень то ты ловкій: черезъ это и жалѣю больше, ей Богу, право!..

Говоря такимъ образомъ, Захаръ не имѣлъ дурного умысла. Онъ чуть ли даже не былъ чистосердеченъ, потому что судилъ о Гришкѣ по себѣ — судилъ безошибочно, и зналъ, слѣдовательно, какъ мало соотвѣтствовало молодому парню настоящее его житье.

Во все время этого дружескаго объясненія пріемышъ стоялъ понуря голову и крѣпко упирался грудью въ конецъ весла. Онъ слова не сказалъ: но конецъ весла яростно рылъ землю. Руки Гришки не переставали откидывать съ нетерпѣніемъ волосы, которые свѣшивались на лицо его, принужденно склоненное на грудь.

Ко всѣмъ дурнымъ чувствамъ, кипѣвшимъ теперь въ сердцѣ пріемыша, примѣшивалась еще досада, которую пробуждала не столько разлука съ товарищемъ, сколько сознаніе безсилія послѣдовать за нимъ. По крайней мѣрѣ глаза Гришки, пристально устремленные на удаляющагося Захара, были совершенно сухи. Не обозначалось въ нихъ ни сожалѣнія, ни грусти: что-то похожее на зависть, на бѣшенство молодого полудикаго коня, выхваченнаго изъ косяка арканомъ, спутаннаго по ногамъ крѣпкими ремнями и брошеннаго наземь, сверкало въ черныхъ, глядѣвшихъ изъ-подлобья глазахъ Гришки, обозначалось во всѣхъ чертахъ его смуглаго лица. Захаръ говорилъ сущую правду: и онъ точно такъ же могъ бы теперь быть вольнѣе бѣлыхъ чаекъ, которыя весело снуютъ надъ раздольною рѣкою! Все кончено! хочешь не хочешь, живи въ ненавистномъ домѣ. При-

наялъ суровый старикъ Гришкину волюшку — приналъ ее мѣднымъ приносомъ! связалъ по рукамъ и ногамъ! Недаромъ же трунилъ надъ нимъ Захаръ, называя его мимолетнымъ парнемъ и соломенною душою; недаромъ сравнивалъ его съ мякиной, которая шумитъ и вьется, пока въ углу, въ затишьѣ, а какъ только вынесешь въ открытое поле, летитъ покорно въ ту сторону, откуда вѣтеръ покрѣпче! Но Гришка, какъ обыкновенно водится въ подобныхъ случаяхъ, не столько обвинялъ самого себя, сколько окружающихъ. Больше всѣхъ пришлось отвѣчать Дунѣ. Она, одна она, какъ онъ думалъ самъ съ собой, была всему главной виновницей: не живи она въ двухъ верстахъ отъ площадки, не полюби парня, не довѣрься его клятвамъ, ничего бы не случилось; онъ, въ самомъ дѣлѣ, шелъ бы теперь, можетъ-статься, съ Захаромъ! И кто толкалъ его на луговой берегъ? чего домогался онъ? чего искалъ? Съѣздилъ всего разъ двадцать украдкою на озеро — велика важность! эка невидаль! стоило изъ того на вѣки распрощаться съ вольною волюшкой! Негодованіе Гришки обращалось даже частію на тестя. Дѣдушка Кондратій также былъ, по разумѣнію Гришки, виновенъ во многомъ: зачѣмъ, вмѣсто того, чтобы гонять каждый разъ пріемыша изъ дому, зачѣмъ ласкалъ онъ его — ласкалъ и принималъ, какъ родного сына?..

Съ такими мыслями и чувствами покинулъ онъ луговой берегъ и переѣхалъ Оку. Когда Гришка обернулся, чтобы привязать челнокъ, глаза его встрѣтили жену. Она стояла, прислонившись къ большой лодкѣ и, повидимому, ждала его.

Дуня, точно, вышла съ этою цѣлью на площадку, но дѣйствовала въ этомъ случаѣ не по собственному побужденію. Глѣбъ, передъ уходомъ въ Сосновку, велѣлъ ей передать мужу, чтобы онъ тотчасъ же послѣ возвращенія своего съ лугового берега ѣхалъ забрать верши, брошенныя наканунѣ, подлѣ омута. Иначе, можетъ-быть, у нея не стало бы смѣлости дожидаться мужа. Въ послѣднее время, не мѣшаетъ замѣтить, она чувствовала страшную неловкость въ его присутствіи. Къ этому чувству начинала даже примѣшиваться робость. Гришка, конечно, не смѣлъ пробудить въ ней такого чувства жестокимъ обращеніемъ: онъ побоялся бы тронуть ее пальцемъ. Но Дунѣ во сто разъ легче было бы снести его побои, чѣмъ видѣть, какъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, перемѣнился онъ и, что всего хуже, не объяснялъ даже ей причины своего неудовольствія.

Гришка, подобно всѣмъ слабымъ, но злобнѣ, дурно настроеннымъ людямъ, не смѣя явно выразить своей досады, вымещалъ ее тайкомъ, втихомолку и, конечно, вымещалъ ее на женѣ, единственномъ существѣ, которое находилось до нѣкоторой степени въ его зависимости. Онъ прибѣгалъ, какъ водится въ такихъ случаяхъ, къ мелкимъ, но тѣмъ не менѣе дѣйствительнымъ средствамъ. Такъ, съ самой почти свадьбы сохранялъ онъ передъ нею какой-то небрежно-насмѣшливый видъ. И хоть бы слово, одно слово сказалъ ей въ оправданіе такой внезапной перемѣны обращенія! такъ нѣтъ: почти съ самаго дня свадьбы хранилъ онъ упорное молчаніе, отворачивался и отходилъ отъ нея всякій разъ, когда она обращалась къ нему. При случаѣ не обходилось безъ грозныхъ жестовъ и еще болѣе грознаго выраженія лица. Все это мгновенно исчезало, однакожъ, какъ только появлялся Захаръ. Въ глазахъ жены Гришка умышленно заводилъ съ нимъ долгую, дружескую бесѣду, старался даже казаться веселымъ. Молоденькая сноха Глѣба сокрушалась въ догадкахъ. Молодое, неопытное сердце ея невыносимо ныло отъ боли, терзалось, можетъ даже быть, ревностью. Захаръ отнялъ у нея Гришку. Съ каждымъ днемъ худѣла она и падала духомъ, къ великому удивленію тетки Анны и скорбному чувству преклоннаго отца, который, глядя на дочку, не переставалъ щурить подслѣповатые глаза свои и тоскливо качалъ бѣлою старческою головою.

При всемъ томъ, какъ только челнокъ мужа коснулся берега, она подошла къ самому краю площадки. Взглядъ мужа и движенія, его сопровождавшія, невольно заставили ее отступить назадъ: она никогда еще не видала такого страшнаго выраженія на лицѣ его. Дуня подавила, однакожъ, робость и, хотя не безъ замѣтнаго смущенія, передала мужу приказаніе тестя.

Въ отвѣтъ на это Гришка соскочилъ наземь, оглянулъ кругомъ, толкнулъ ногою челнокъ и яростно бросилъ весло на камни.

При этомъ страхъ овладѣлъ ею пуще еще прежняго; она снова отступила нѣсколько шаговъ. Гришка подошелъ къ ней съ поднятыми кулаками.

— Это всѣ черезъ тебя! все ты! ты всему причиной! промолвилъ онъ, снова оглядываясь кругомъ и злобно потомъ стискивая зубы:—ты... черезъ тебя все вышло! подхватилъ онъ, возвышая голосъ:—это ты разсказала своему отцу про нашу сплетку!.. ты разсказала ему, какая ты есть такая: черезъ эсто женили насъ!.. я-жъ тебѣ! погоди!..

— Гриша... Гриша!

Она не договорила своей мысли... Впрочемъ Гришка видѣлъ очень хорошо и безъ ея объясненія, что „силетка“ ихъ и въ то время еще не могла оставаться тайной; теперь и подавно нельзя было бы скрыть ея. Все равно, рано ли, поздно ли, должны были открыть истину. Еслибъ хоть разъ поговорилъ онъ съ женою, хоть разъ обошелся съ ней ласково, Дуня, подавивъ въ себѣ остатокъ дѣвичьяго чувства, привела бы ему еще другое доказательство ихъ связи: авось-либо пересталъ бы онъ тогда упрекать ее, пожалѣлъ бы ее; авось помягче стало бы тогда его сердце, которое не столько было злобно, сколько пусто и испорчено. Но Гришка не зналъ послѣдняго обстоятельства. Сверхъ того, врядъ ли обратилъ бы онъ въ эту минуту на что-нибудь вниманіе. Слова Захара, какъ крѣпкій хмѣль, мутили разсудокъ Гришки. Къ тому же, бояться теперь было нечего: Глѣба не было дома—смѣло можно расходиться! Онъ осыпалъ Дуню ругательствами и упреками, грозилъ утопить ее, поджечь лачугу тестя, грозилъ убѣжать изъ дому, и Богъ знаетъ только, чего не наговорилъ онъ! Конечно, все это были одни лишь пустыя слова, дѣйствія разгоряченнаго не въ мѣру мозга,—слова, надъ которыми всякій другой посмѣялся бы вдоволь, пожалуй, еще нанялъ бы ему хорошенько бока; но тѣмъ не менѣе слова эти поразили молоденькую женщину страшнымъ, невѣдомымъ до того горемъ.

Наконецъ Гришка кинулся въ челнокъ и, бросивъ на вѣтеръ еще нѣсколько новыхъ, безсмысленныхъ угрозъ, отчаянно махнулъ весломъ и полетѣлъ стрѣлою внизъ по теченію.

Приложивъ руки къ груди, едва переводя духъ и вздрагивая всѣмъ тѣломъ, Дуня направилась къ огороду, чтобы тамъ, на свободѣ, выплакать свое горе; но совладать съ горемъ, безъ привычки — дѣло мудреное! Слезы и рыданія захватили ее еще на половинѣ дороги.

Въ такомъ положеніи застала ее тетушка Анна, выходившая въ это время изъ воротъ.

— Ахти, батюшки! мать ты моя родная! что ты, касатушка? Христосъ съ тобою! воскликнула старушка, суетливо ковыляя къ снохѣ.

Тетка Анна, несмотря на всегдашнюю хлопотливость свою и вѣчную возню съ горшками, уже не въ первый разъ замѣчала, что хозяйка пріемыша была невесела; разочка два приводилось даже

видѣть ей, какъ сноха втихомолку плакала. „Знамо, не привикла еще, по своей по дѣвичьей волюшкѣ жалится! Помнится, какъ меня замужъ выдали, три недѣлюшки голосила... Вѣстимо, жутко; а все пора бы перестать. Не съ злодѣями какими свелъ Господь; сама, чай, видитъ... Что плакать-то?“ думала старушка.

Рыданія Дуни не шутя смутили ее. Но чѣмъ усерднѣе суетилась она подлѣ снохи, чѣмъ усерднѣе ласкалась къ ней и уговаривала ее, тѣмъ сильнѣе плакала и рыдала Дуня. Голосъ участія и всевозможныя утѣшительныя соболѣзнованія дѣйствуютъ всегда отрицательно въ тѣхъ случаяхъ, когда сердце слишкомъ переполнено скорбью: они большею частью только раздражаютъ и безъ того уже раздраженное сердце человѣка, убитаго горемъ. Лучше всего предоставить его самому себѣ, дать ему полную волю наплакаться; время, тишина и покой — лучшіе утѣшители; слова утѣшенія въ этихъ случаяхъ часто разъясняютъ намъ всю цѣну того, что мы потеряли и что оплакиваемъ.

— Да ты мнѣ только скажи, болѣзная, на ушко шепни — шепни на ушко, съ чего вышло такое? приставала старушка, поправляя то-и-дѣло головной платокъ, который, отъ суеты и быстрыхъ движеній, поминутно сваливался ей на глаза. — Ты, болѣзная, не убивайся такъ-то, скажи только... на ушко шепни... а-и! а-и! Христосъ съ тобой!... Съ мужемъ, что ли, вышло у васъ что неладно?... и то, вишь, онъ безпутный какой! Плюнь ты на него, касатка! Что крушить-то себя понапрасну? полно... Погоди, вотъ старикъ придетъ: онъ ему дасть!...

— Нѣтъ, матушка... развѣ я черезъ него?... такъ, сама не вѣдаю... не говори батюшкѣ... Христомъ-Богомъ прошу, не говори ты ему...

— Что говорить-то? и-и-и, касатка, я вѣдь такъ только... что говорить-то!... А коли черезъ него, безпутнаго, не крушись, говорю, плюнь,—да и все тутъ!... Я давно примѣтила, невесела ты у насъ... Полно, горюшица! авось теперь перемѣна будетъ: ушелъ теперь пріятель-то его... ну его совсѣмъ!... Знамо, тотъ, молодякъ, во всемъ его слушался; подучалъ его, парня-то, всему недоброму... Я сама и рѣчи-то его не однова слушала... тьфу! Пропадай онъ совсѣмъ, безпутный... Рада до смерти: ушелъ онъ отъ насъ... ну его!...

Но какъ бы тамъ ни было, былъ ли всему виною Захаръ, или другой кто, только тетушкѣ Аннѣ много разъ еще послѣ того привелось утѣшать молоденькую сноху свою. Къ счастію еще, случа-

лось всегда такъ, что старикъ ничего не замѣчалъ. Въ противномъ случаѣ, конечно, не обошлось бы безъ шуму и крику; чего добраго, Гришкѣ довелось бы, можетъ-статься, испытать, все ли еще крѣпки были кулаки у Глѣба Савиныча; Дунѣ, въ свой чередъ, пришлось бы тогда пролить еще больше слезъ.

Но Глѣбъ, занятый съ ранняго утра до поздняго вечера своими вершами и лодками (время рабочее проходило, и надо было поторопиться зашибить лишнюю копѣйку), не обращалъ никакого вниманія на житье-бытье молодыхъ. Недосугъ было; къ тому же, хотя зоркій, проницательный взглядъ старика въ послѣднее время притуплялся, ему все-таки легче было уловить едва замѣтное колебаніе поплавка или верши надъ водою, чѣмъ различить самое рѣзкое движеніе скорби или радости на лицѣ человѣческомъ. Старикъ глядѣлъ меньше на лицо, чѣмъ на руки. Приходилъ онъ домой въ обѣдъ или ужинъ и всякій разъ заставалъ Дуню въ хлопотахъ по хозяйству: чего-жъ ему еще? Онъ оставался очень доволенъ снохою. „Нѣтъ, не обманулъ меня сосѣдъ, думалъ Глѣбъ: дочка его, точно, хлопотунья, работящая бабенка, къ тому же смирна добре... Сначатія-то, какъ словно не такъ, чтобы совсѣмъ ладно повела себя, а теперь, грѣхъ сказать, попрекнуть нечѣмъ!...

Дуня, съ своей стороны, движимая, можетъ-статься, чувствомъ совѣстливости, которую пробуждалъ въ ней ея проступокъ, ревностно работала, стараясь этимъ способомъ загладить передъ тестемъ и тещею прежнюю вину свою. Со дня поступленія ея въ домъ, никто не слыхалъ отъ нея противнаго слова; несмотря на теперешнее трудное положеніе свое, она не только не отказывалась отъ дѣла, но даже сама добровольно хлопотала отъ зари до зари. Нѣжная, истинно материнская заботливость, которую обнаруживала тетушка Анна къ горшкамъ своимъ, встрѣтила въ Дунѣ опасную соперницу. Къ этому, не мѣшаетъ замѣтить, способствовалъ теперь отчасти самъ Гришка: день-ото-дня онъ дѣлался сговорчивѣе, переставалъ хмуриться и буянить. Наступившая зима подѣйствовала еще благодѣтельнѣе на отношенія молодыхъ. И то сказать надо: сколько ни отмалчивайся, сколько ни серчай, а пять зимнихъ мѣсяцевъ кряду— не выдержишь: хоть словечко да вымолвишь. Видно надоѣло Гришкѣ кипятиться попусту; зима въ избѣ, что тихое, семейное житье, худому не научитъ,—совѣтница добрая.

Починка сѣтей, плетеніе вершей, строганіе багровъ и веселъ, приготовленіе саковъ и поплавковъ заняли теперь исключительно

Глѣба: всѣ эти предметы представили обильную пищу неугомонной дѣятельности старика. Но что ни говори, строганіе веселъ и починка сѣтей дѣло все-таки мертвое сравнительно съ ловлею живой рыбки,—живой промыселъ. Страшные морозы, сковавшіе Оку ледяною корою, пригвоздили къ лавкѣ стараго рыбака; ничто уже не мѣшало ему теперь обратить частичку вниманія на жену, на житье-бытье молодыхъ, на хозяйство. Просиживая день-деньской въ избѣ, Глѣбъ окончательно вывелъ самое выгодное мнѣніе о снохѣ своей. Говоря объ этомъ предметѣ съ дѣдушкой Кондратіемъ, который частенько заглядывалъ на площадку — благо ходъ черезъ рѣку былъ теперь свободенъ — Глѣбъ не нахваливался. Добрыя слова сосѣда замѣтно веселили преклоннаго старичка. Впрочемъ, въ послѣднее время всѣ были какъ-то довольны и веселы. Но веселье и довольство овладѣли всѣми еще въ большой мѣрѣ, когда, къ исходу зимы, въ домѣ рыбака неожиданно появилась у печки люлька и вслѣдъ затѣмъ послышались дѣтскіе крики. Тутъ уже сѣдыя брови Глѣба какъ словно совсѣмъ расправились, а бѣлая голова дѣдушки Кондратія заходила еще пуще прежняго изъ стороны въ сторону; но уже не отъ заботъ и печали заходила она такимъ образомъ, а съ радости. О тетушкѣ Аннѣ и самой Дунѣ говорить нечего!.. Самые любимые горшки, самыя избранныя корчаги остались на время въ забвеніи!.. Даже Гришка—и тотъ сталъ весело, самодовольно потряхивать волосами.

Вмѣстѣ съ этимъ слабымъ дѣтскимъ крикомъ какъ словно какой-то животворный лучъ солнца глянулъ неожиданно въ темную закоптѣлую избу стараго рыбака, освѣтилъ всѣ лица, всѣ углы, стѣны, и даже проникъ въ самую душу обывателей; казалось, ангелъ-хранитель новорожденнаго младенца осѣнилъ крыломъ своимъ домъ Глѣба, площадку, даже самыя лодки, полузанесенныя снѣгомъ, и дальнюю, подернутую туманомъ окрестность.

Давно уже прошла капель съ кровель, прошелъ ледъ по Окѣ, уже прилетѣли скворцы и жаворонки, когда Дуня вышла въ первый разъ за ворота.

Былъ чудесный, теплый день только-что начинающейся весны.

Не знаю, воздухъ ли подѣйствовалъ такъ благодатно на Дуню, или душа ея была совершенно довольна (мудренаго нѣтъ: Гришка обращался съ ней совсѣмъ почти ласково), или, наконецъ роды поправили ее, какъ это часто случается, но она казалась на видъ еще бодрѣе, веселѣе и красивѣе, чѣмъ когда была въ дѣвкахъ.

*

А между тѣмъ на каждомъ плечѣ ея было по коромыслу и на каждомъ коромыслѣ висѣла не малая тяжесть рубахъ и всякаго другого тряпья; немало также предстояло ей заботъ: требовалось привести все это въ порядокъ, вымыть, развѣсить, просушить, прикинуть кой-гдѣ заплату, кой-гдѣ попросту прихватить нитками,—работы больно довольно. Она весело спустилась, однакожъ, къ концу площадки—туда, гдѣ, за большими камнями, шумѣлъ ручей, впадающій въ Оку, и такъ же весело принялась за дѣло.

Уже часъ постукивала она валькомъ, когда услышала за спиною чьи-то приближающіеся шаги. Нимало не сомнѣваясь, что шаги эти принадлежали тетушкѣ Аннѣ, которая спѣшила, вѣроятно, сообщить о крайней необходимости дать какъ можно скорѣе груди ребенку (заботливость старушки въ дѣлѣ кормленія кого бы то ни было, составляла, какъ извѣстно, одно изъ самыхъ главныхъ свойствъ ея нрава), Дуня поспѣшила положить на камень бѣлье и валекъ и подняла голову. Передъ ней стоялъ Захаръ.

XXI.

Продолженіе предыдущаго.

Захаръ далеко уже не казался теперь тѣмъ щеголемъ, какимъ видѣли мы его на комаревской ярмаркѣ и потомъ у Глѣба. Одежда на немъ была, однакожъ, все та же, но потому-то самому, можетъ-статься, и была она такъ неказиста, что цѣлыхъ пять, шесть мѣсяцевъ кряду находилась безсмѣнно на плечахъ его. Широкіе синіе шаровары изъ крашенины, засученные до половины икры, съ цѣлью предохранить ихъ отъ грязи, но вѣрнѣе, чтобы скрыть лохмотья, которыми украшались они внизу какъ бахрамою, значительно побѣлѣли, мѣстами даже расползались. Жилета съ свѣтлыми пуговицами, этого знака отличія, которымъ спѣшитъ обзавестись всякій фабричный, какъ только проникается сознаніемъ личнаго превосходства своего надъ пахаремъ и лапотникомъ,—жилета, которымъ такъ справедливо гордился и дорожилъ Захаръ,—жилета, не было!.. Оставались одна только ситцевая, розовая рубашка и картузъ; да и тѣ сохраняли такіе сокрушительные слѣды дождей,

ныли и времени, смотрѣли такъ жалко, что наносили рѣшительное пораженіе внѣшнему достоинству сельскаго франта. Даже лицо его какъ будто износилось заодно съ картузомъ и рубашкой; оно, конечно, могло бы точно также плѣнять серпуховскихъ мѣщанокъ и фабричныхъ дѣвокъ, но не отличалось уже прежней полнотой и румянцемъ. Видно было, что Захаръ съ того времени, какъ простился съ Глѣбомъ, питался не одними калачами да сайками. За плечами его болталась, на концѣ палки, баранья шубенка такого отчаяннаго вида, какъ словно часа два сряду стрѣляли въ нее пулями. Невредимою осталась одна гармонія, да и то потому, я думаю, что матеріалы, ее составлявшіе, состояли большею частію изъ мѣди и дерева.

Со всѣмъ тѣмъ, Захаръ все-таки глядѣлъ съ прежнею наглостью и самоувѣренностью, не думалъ унывать или падать духомъ. Въ ястребиныхъ глазахъ его было даже что-то презрительно-насмѣшливое, когда случайно обращались они на прорѣхи рубашки. Казалось, жалкіе остатки „форсистой“ одежды были не на плечахъ его, а лежали скомканные на землѣ, и онъ попиралъ ихъ ногами, какъ предметы, недостойные вниманія.

Съ такимъ видомъ приблизился онъ къ хозяйкѣ пріемыша. Онъ подошелъ, однакожъ, не вдругъ: шаговъ за десять, когда Дуня не подозрѣвала о его прибытіи, Захаръ остановился, чтобы оправиться. Глаза его, между тѣмъ, любопытно слѣдили за каждымъ движеніемъ молоденькой, хорошенькой бабенки; они поочередно перебѣгали отъ полу-обнаженной груди, которую позволяло различать съ боку наклоненное положеніе женщины, къ полнымъ, бѣлымъ рукамъ, открытымъ выше локтя, и обнаженнымъ ногамъ, стоявшимъ въ ручьѣ и подрумяненнымъ брызгами холодной воды. Нельзя сказать утвердительно, какое впечатлѣніе произвелъ на Захара этотъ осмотръ; онъ казался сначала какъ будто удивленнымъ. Въ бытность свою у Глѣба онъ не удостоивалъ почти вниманіемъ хозяйку Гришки: называлъ ее „сухопарой козой, жимолостью“ и другими именами. Надо полагать, однакожъ, что на этотъ разъ Захаръ отказывался отъ прежняго мнѣнія, и впечатлѣніе, произведенное на него молодою женщиною, относилось къ ея чести. Онъ даже подмигнулъ, съ какимъ-то особеннымъ лукавствомъ, лѣвымъ глазомъ и, сдѣлавъ выразительный знакъ бровями, пошелъ прямо къ Дунѣ, не переставая охорашиваться.

— Здравствуй, Дунюшка!.. Какъ вы, Авдотья Кондратьевна,

живете-можете! сказалъ Захаръ, самодовольно ухмыляясь, между тѣмъ какъ Дуня поспѣшно застегивала запонку сорочки и обдергивала приподнятую поняву.

— Здравствуй, отвѣчала она, не обнаруживая ни радости, ни досады.

Мало-по-малу, съ внутреннимъ довольствомъ, изъ памяти ея изгладились слова тещи, которая увѣряла всегда, что Захаръ былъ главнымъ виновникомъ первыхъ ея горестей; она совсѣмъ почти забыла бывшаго товарища мужа.

— Не узнаешь, что ли?.. промолвилъ Захаръ, потряхивая головою:—сдается, не такъ чтобы оченно давно не видались,—старый дружокъ!..

— Какъ забыть?.. помню! вымолвила она, на этотъ разъ не очень весело:—откуда?.. прибавила она, принимаясь укладывать готовое бѣлье.

— А я изъ Клишина: тамъ и переѣхалъ; все берегомъ шелъ... Да не объ этомъ рѣчь: я, примѣрно, все насчетъ... рази такъ со старымъ-то дружкомъ встрѣчаются?.. Какъ словно и не узнала меня!.. А я такъ вотъ взглянулъ только въ эвту сторону, нарочно съ дороги свернулъ... Ужь вотъ тебя такъ мудрено признать—ей-Богу, правда!.. Вишь, какъ потолстѣла... какъ есть коломенская купчиха; расприкрасныя стали!.. Только бы и смотрѣлъ на тебя... Эхъ! произнесъ Захаръ, сдѣлавъ какой-то звукъ губами.

Дуня ничего не отвѣчала: она бросила взглядъ къ воротамъ и торопливо стала укладывать бѣлье на коромысло.

— А что, ваши всѣ дома?.. спросилъ Захаръ.

— Дома, отвѣчала Дуня, подымая коромысла и уравнивая ихъ на плечахъ.

— Плечики наѣстъ: дай подсоблю, обязательно промолвилъ Захаръ.

— Не надо: сама управлюсь.

— Что-жъ такъ?

— Да такъ; сама принесла, сама и отнесу, сухо сказала Дуня, направляясь къ избамъ.

Захаръ пріостановился, поглядѣлъ ей вслѣдъ и знаменательно подмигнулъ глазомъ; во все время, какъ подымался онъ за нею по площадкѣ, губы его сохраняли насмѣшливую улыбку—улыбку самонадѣяннаго человѣка, претерпѣвшаго легкую неудачу. Ястребиные глаза его сильнѣйшимъ образомъ противорѣчили, однакожъ, выра-

женію губъ, они не отрывались отъ молодой женщины и съ жаднымъ любопытствомъ слѣдили за нею.

Вступивъ подъ ворота, Захаръ тотчасъ же оставилъ свое преслѣдованіе и прямо пошелъ къ Глѣбу и Гришкѣ, которые работали подъ навѣсомъ.

— Здорово, хозяинъ! молодцовато воскликнулъ Захаръ, приподымая картузъ и дружелюбно кивая головою Гришкѣ, который поспѣшилъ отвѣтить товарищу тѣмъ же знакомъ.

— Здорово, братъ! проговорилъ Глѣбъ съ разстановкою:— отколѣ Богъ несетъ?

— А я теперича изъ Клишина; тамъ и переѣхалъ...

— А, примѣрно, гдѣ жилъ, спрашиваю? Переѣхать вездѣ можно, сказалъ старикъ, пристально оглядывая гостя.

— Жилъ больше по фабрикамъ... больше въ Серпуховѣ... тамъ есть у меня пріятель-фабрикантъ... у него больше пробавлялся, отвѣчалъ, безъ запинки, Захаръ.

— Такъ что-жъ ты такой общипанный? Стало-быть, пріятель-то худо разсчелся?

— Нѣтъ, разсчелся какъ слѣдуетъ!.. Въ себѣ перемѣны не вижу, все какъ быть должонъ! рѣшительно возразилъ Захаръ.

— Я говорю, какъ у насъ жилъ, локти, примѣрно, цѣлы были. Вотъ что я говорю.

— Мы носимъ по времени. Нарочно не взялъ хорошей одежды: оставилъ въ „Горахъ“, у пріятеля... Хорошо и въ эвтой теперича: вишь, грязь, слякоть какая, самому давай Богъ притащиться, не токмо съ пожитками.

— Что-жъ, наниматься пришелъ?

— Пожалуй... потому больше, время теперича слободное... такимъ манеромъ, коли надобность есть, можемъ опять послужить.

— Нужды чтобы оченно большой нѣту... а все одно, взять можно, проговорилъ старикъ, стараясь показать совершеннѣйшее равнодушіе и не замѣчая, какъ Гришка подавалъ знаки, поясняющіе Захару, что онъ пришелъ въ самонужную пору.

Глѣбъ, дѣйствительно, нуждался въ работникѣ; еще за двѣ недѣли передъ этимъ навѣдывался онъ въ Комарево и просилъ прислать ему батрака, если такой найдется, просилъ прислать въ наискорѣйшемъ времени. Появленіе Захара избавляло Глѣба отъ лишнихъ хлопотъ.

— Онъ хоша проклажаться и любитъ, да, по крайности, че-

ловѣкъ знакомый; знаю я его обычай, знаю, какъ съ нимъ и поуправиться. Другого наймешь, каковъ еще будетъ!

Разсуждая такимъ образомъ, старикъ не терялъ изъ виду прорѣхъ, которыми покрыта была одежда Захара. Эти прорѣхи служили основою многимъ соображеніямъ въ головѣ хитраго старика. Сомнѣваясь въ существованіи горскихъ и серпуховскихъ пріятелей, а также и въ одеждѣ, ввѣренной будто бы ихъ попеченію, Глѣбъ смекнулъ въ одно мгновеніе ока, что въ дѣлахъ Захара стали, какъ говорится, „тѣсные постояльцы“, и что, слѣдственно, ему будетъ теперь не до торговъ—что дашь, то и возьметъ. Догадки старика были вѣрны во всѣхъ отношеніяхъ. Захару приходилось хоть въ петлю лѣзть; несмотря на знаки Гришки, которые поясняли ему, что работникъ нуженъ, онъ рѣшился не запрашивать большой цѣны, опасаясь, чтобы старикъ, чего добраго, не отказалъ взять его.

— Ну, что жъ? коли наниматься пришелъ, можно... Пойдемъ въ избу: тамъ переговоримъ; къ тому, и обѣдать время, сказалъ Глѣбъ, покрякивая и приподымаясь на ноги.

Результатомъ переговора было то, что Захаръ нанялся до осени, помѣсячно, у прежняго своего хозяина, Глѣба Савинова.

— Вотъ нелегкая принесла, прости Господи! сказала тетушка Анна, оставшись съ глазу на глазъ съ Дуней послѣ обѣда:—тьфу! провались онъ совсѣмъ!.. Вотъ, Дунюшка, погляди, коли опять не завертитъ Гришку. И въ ту-то пору убивалась ты все черезъ него, безпутнаго; я сама не однова и рѣчи-то его непутныя слушала... Тотъ, вѣстимо, и радъ тому: парень, знамо, еще глупый; во всемъ его, касатушка, слушаетъ... Ужъ такъ супротивенъ мнѣ этотъ охаверникъ Захаръ, такъ супротивенъ... не глядѣли бы глаза мои!.. Помяни мое слово, коли опять не свертитъ, окаянный, парня-то... словно приворожилъ его къ себѣ... Чай, смотри ужъ теперь гдѣ ни-на-есть шушукаются: знамо, тотъ, глупый, и радъ этому!

— И то, матушка, радъ, печально вымолвила Дуня:—во весь обѣдъ только и дѣло, что переглядывались...

— О-охъ! то-то, вотъ, болѣзная, не надыть бы его въ домъ пущать! перебила старушка, нетерпѣливо качая головою: —да что ты съ нимъ, съ нашимъ старикомъ, дѣлать-то станешь!.. Поди-ка скажи ему, сунься-ка—съ чѣмъ пришла, съ тѣмъ и уйдешь; ничегохонько-то онъ въ толкъ не возьметъ... Такой ужъ, видно, человѣкъ на свѣтѣ уродился! Скажи ему, хуже еще упрется; ину пору

самъ видитъ: дѣло ты говоришь, а перемѣны все нѣтъ никакой; что сказалъ напередъ: худо ли, хорошо ли, на томъ и поставитъ,— по его чтобъ было!.. И съ чего это польстился такъ на Захара на этого? Самъ вѣдь, касатка, на него жалился: и такой молъ, и такой, говорилъ... а теперь опять взялъ... То-то вотъ, родная, корысть-то добре обуяла его; къ старости не надыть бы этому; а онъ пуще еще сталъ любить деньгу. Вотъ хошь бы намедни, говорю это ему: горшки, молъ, говорю, перебиты; купить, говорю, надо... сама говорю такъ-то, а у самой такъ вотъ по сердцу-то и подкатилось, словно и нивѣсть о какой бѣдѣ толкую ему: до того довелъ, касатка! какъ закричитъ на меня, насилу ноги уплела,— гроша мѣднаго не далъ... Вотъ вѣдь скупость-то какая!.. Больше, думаю и польстился на Захара, нанялъ его—мало денегъ запросилъ... Того, можетъ-статься, не вѣдаетъ: этакого охаверника, безпутнаго и даромъ-то никто не возьметъ... чай, такъ, безъ мѣста гдѣнибудь шатался, провалиться бы ему стамши! Не видишь его, помянешь только,—и тутъ нагрѣшишь! заключила съ сердцемъ старушка.

Догадки тетушки Анны не замедлили оправдаться. Прошло всего нѣсколько дней послѣ прихода Захара, а Дуня успѣла уже замѣтить въ своемъ мужѣ значительную перемѣну. Спустя мѣсяцъ какой нибудь, Гришка окончательно не тѣмъ сталъ, чѣмъ былъ до появленія товарища. Онъ не то, чтобы возобновилъ прежнее упорное молчаніе или снова сдѣлался мраченъ въ обращеніи съ женою,— совсѣмъ напротивъ: на этотъ разъ Гришка представлялъ изъ себя какого-то отчаяннаго лихача, безшабашнаго гуляку. Онъ не переставалъ хвастать передъ женою; говорилъ, что плевать теперь хочетъ на старика, въ грошъ его не ставитъ и не боится настолько,— при этомъ онъ показывалъ кончикъ прута или соломки и отплевывалъ обыкновенно точь-въ-точь, какъ дѣлалъ Захаръ; говорилъ, что самъ сталъ теперь себѣ хозяинъ, самъ обзавелся семьею, самъ надъ собой властенъ, никого не уважитъ—и, покажи ему только видъ какой, только его и знали: возьметъ жену, ребенка, станетъ жить своей волей; о мѣстахъ заботиться нечего: мѣстовъ не оберешься,—и не здѣшнимъ чета! Захаръ и то говорилъ, что такую ловкую бабенку, какъ Дуня, съ радостью примутъ на любой фабрикѣ, что самъ Захаръ похлопочетъ объ этомъ; что-жъ касается до Гришки, и толковать нечего! только свисни они съ Захаромъ, всѣ фабрики настежь, выбирай изъ любка-любую! То-то будетъ житье! Эхъ-ма, загуляемъ! держись только!

Когда Дуня останавливала его, онъ начиналъ браниться, заставлялъ ее молчать или, что еще хуже, начиналъ трунить надъ нею въ присутствіи Захара, называлъ ее просто дурой, часто даже самъ вызывалъ Захара посмѣяться надъ нею.

Дружба пріемыша съ работникомъ упрочивалась каждый день. Захаръ повидимому, сложилъ передъ Гришкой величавое свое достоинство: онъ обращался съ нимъ какъ съ ровней. Они были неразлучны. Дуня поминутно заставала ихъ сидящихъ въ какомъ-нибудь украйномъ мѣстѣ двора или въ лодкѣ. Захаръ пѣлъ пѣсни, наигрывая на гармоніи, или разговаривалъ. Гришка слушалъ его и украдкою покуривалъ трубку. Посреди этихъ дружескихъ разговоровъ, не-разъ приводилось ей слышать собственное свое имя, произносимое съ похвалою. Дружескія чувства Захара были такъ сильны, что невольно обращались на жену пріятеля. Онъ принималъ живѣйшее участіе во всѣхъ трудахъ ея. Требовалось ли нести бѣлье на ручей и отдать кому-нибудь на руки ребенка, Захаръ являлся тотчасъ же къ услугамъ; онъ не спускалъ съ нея ястребиныхъ глазъ, старался всячески угодить ей и слѣдовалъ за ней повсюду. Скромность Захара заставляла его устроивать всегда такимъ образомъ, чтобы всѣ эти ухаживанія и угожденія оставались тайною для домашнихъ и были извѣстны одной только молодицѣ. Казалось, онъ вовсе не замѣчалъ, какъ сухо, какъ досадливо принимаемы были всегда молодой женщиной его услуги; она рѣдко даже отвѣчала ему, чаще всего отворачивалась и отходила прочь. Любезность Захара только возрастала. Стоило Дунѣ показаться одной на дворѣ или у огорода, она непремѣнно встрѣчала работника. Онъ дѣлалъ всегда видъ, какъ будто встрѣча произошла случайно; а между тѣмъ, откуда ни возьмись, въ рукахъ его появлялась неожиданно гармонія. Онъ прислонялся плечомъ къ воротамъ или плетню и умильно поглядывая на Дуню, тотчасъ же запѣвалъ, въ полголоса, какую-нибудь пѣсню, слегка подыгрывая на гармоніи. При малѣйшемъ движеніи молодки, онъ обращалъ глаза въ другую сторону, замолкалъ и ограничивался тѣмъ лишь, что сохранялъ прежнюю молодецкую осанку.

Но мало-по-малу, вмѣстѣ съ любезностію, въ немъ стала появляться особенная какая-то смѣлость. Разъ даже началъ онъ заигрывать съ Дуней. Кромѣ молоденькой бабы и работника, на дворѣ никого не было. Окинувъ быстрымъ взглядомъ навѣсы и крылечко, Захаръ ловко подкрался къ Дунѣ и нѣжно прошепталъ:

— Эки вы сахарныя, Авдотья Кондратьевна!

— Отстань! сказала она, вся вспыхнувъ отъ негодованія, и такъ сильно ударила его кулакомъ, что онъ отскочилъ въ сторону.

— Что же это вы какъ сѣсвитесь?.. полно, Дунюшка!.. промолвилъ Захаръ, снова приближаясь.

— Подступись только, низкій ты этакой! вскричала она, сжимая кулаки и становясь въ оборонительное положеніе.

— Ш-т! что ты кричишь-то... словно рѣжутъ тебя... произнесъ онъ, оглядываясь вокругъ.

— Нѣтъ, буду кричать—нарочно буду кричать...

— Полно тебѣ... ш-т!.. Авдотья Кондратьевна... перестань...

— Чего ты грозишь-то? чего стращаешь? думаешь, испугалась, подхватила она, все болѣе и болѣе возвышая голосъ: — нарочно буду кричать: пускай всѣ придутъ,—пускай всѣ узнаютъ, какой ты есть человѣкъ... Все разскажу про тебя, всѣ дѣла твои... Ахъ ты, низкій! да я и смотрѣть-то на тебя не хочу! Низкій этакой! кричала Дуня вслѣдъ Захару, который улепетывалъ со всѣхъ ногъ въ заднія ворота.

„А! такъ-то ты, голубушка!“ подумалъ Захаръ, приставляя глаза къ щелямъ плетня и пугливо оглядывая дворъ. „Ахъ ты, шушера! погоди-жъ, коли такъ: я тебѣ дамъ знать; будешь помнить Захарку!“

Къ счастію Захара, на голосъ Дуни никто не явился: всѣ домашніе находились на дальнемъ концѣ площадки,—и похожденіе его прошло никѣмъ не замѣченнымъ.

Съ того же дня Захаръ перемѣнилъ свое обращеніе съ Дуней. Онъ понялъ, что тутъ не то, что съ фабричными дѣвками: смѣлостью и удалью ничего не возьмешь—надо вести дѣло исподволь. Основываясь на этомъ, онъ совершенно оставилъ на первое время свои преслѣдованія и принялъ видъ человѣка, котораго обругали или оскорбили самымъ незаслуженнымъ образомъ.

— За что тогда осерчала на меня? сказалъ онъ при случаѣ Дунѣ:—маленечко такъ... посмѣялся... пошутилъ... а тебѣ и нивѣсть что, примѣрно, показалось! Эхъ, Авдотья Кондратьевна! ошиблась ты во мнѣ! не тотъ, примѣрно, Захаръ человѣкъ есть: добрая душа моя! Я не токмо тебя жалѣю: живучи въ одномъ домѣ, все узнаешь; — мужа твоего добру учу,—черезъ эвто больше учу, выходитъ, тебя жалѣю... Кабы не я, не слова мои, не тѣ бы были черезъ него твои слезы! заключилъ Захаръ съ неподражаемымъ прямодушіемъ.

Въ его голосѣ былъ даже слышенъ упрекъ оскорбленной добродѣтели, которая приняла твердую рѣшимость отплачивать добромъ за причиненное зло.

И въ самомъ дѣлѣ, движимый, вѣроятно, этой мыслію, сталъ онъ съ нѣкоторыхъ поръ еще усерднѣе наставлять своего товарища. Дѣйствія Захара оставались совершенно закрытыми для домашнихъ. Но распутные поступки все равно, что злыя сѣмена: какъ глубоко ни запрятывай ихъ въ землю, рано или поздно, окажутся они на поверхности. Первый плодъ Захарова посѣва былъ небольшой зеленый штофъ, именуемый въ простонародьи „косушкой“, который случайно увидѣла Дуня въ рукахъ своего мужа. За этимъ штофомъ не замедлили послѣдовать многіе штофы. Наставленія Захара попали, видно, въ плодоносную почву. Нерѣдко, въ ночное время, когда всѣ спали крѣпкимъ сномъ въ домѣ стараго рыбака, Гришка украдкою выбирался изъ клѣти, исчезалъ въ заднихъ воротахъ. Опасаясь навлечь на себя гнѣвъ мужа, Дуня дѣлала видъ, какъ будто ничего не замѣчаетъ. Этой мѣрой она думала сохранить къ себѣ доброе расположеніе мужа. Говорить ему или усовѣщивать его—не поможетъ; пускай же по крайней мѣрѣ думаетъ онъ, что жена или ничего не видитъ, или за одно съ нимъ. Совсѣмъ тѣмъ, какъ только исчезалъ Гришка, она поспѣшно приподымалась съ постели и отправлялась по слѣдамъ его; она ясно различала тогда, при трепетномъ мерцаніи звѣздъ, какъ Гришку встрѣчалъ кто-то на дальнемъ концѣ площадки, и какъ потомъ оба они садились въ челнокъ и переплывали Оку. Куда и зачѣмъ отправлялись Захаръ и Гришка—Дуня не знала. Часто, полная безпокойства и трепетныхъ ожиданій, просиживала она цѣлую ночь на завалинкѣ, отрываясь только, чтобы покормить ребенка. Результатъ тайныхъ переправъ черезъ Оку былъ всегда тотъ, что Гришка возвращался ошибко навеселѣ. Разъ даже пришелъ онъ до того хмѣленъ, что началъ шумѣть и разбудилъ тетушку Анну, спавшую, съ молодыми, въ смежной клѣтушкѣ.

— Что ты, безпутный, дѣлаешь-то, а? что ты дѣлаешь? съ негодованіемъ заговорила старушка, прикладывая попеременно то ухо, то губы къ плетню, отдѣлявшему ее отъ Гришки;—ахъ ты, потерянный ты этакой!.. такъ-то ты!., погоди, погоди, дай старику-то встать: онъ те дастъ пьянствовать, безпутный ты этакой!..

При этомъ Гришка, грозившій въ самую эту минуту выбросить старика изъ саней, притихъ, какъ будто мгновенно опустили его на

самое дно Оки. Уложивъ мужа, Дуня тотчасъ же пошла къ тещѣ и упросила ее ничего не говорить Глѣбу; тетушка Анна долго не соглашалась: ей всего больше хотѣлось вывести на свѣжую воду этого плута-мошенника Захара,—но подъ конецъ умилостивилась и дала обѣщаніе молчать до поры, до времени. Все это ни къ чему, однакожъ, не послужило. Хотя Глѣбъ дѣйствительно ничего не видалъ, не слыхалъ и даже не подозрѣвалъ, но онъ все узналъ на другое же утро. Случай помогъ ему въ этомъ.

Глѣбу встрѣтилась надобность побывать чѣмъ-свѣтъ въ Комаревѣ; онъ узналъ наканунѣ, что одному изъ комаревскихъ фабрикантовъ требовалась для крестьянъ свѣжая рыбка: рыбка такая была у него, и онъ поспѣшилъ сообщить объ этомъ по принадлежности. Почти у самаго входа въ Комарево, недалеко отъ кабака Герасима, столкнулся онъ съ братомъ фабриканта, къ которому шелъ.

— А я вотъ, Глѣбъ Савинычъ, только-что искалъ паренечка къ тебѣ послать, сказалъ, здороваясь, фабрикантъ.

— Рыбка, что ли, нужна? спросилъ старикъ, какъ бы съ трудомъ догадываясь о предметѣ посылки.

— Есть, что ли?

— Найдется... можно...

— Ну, такъ принеси; смотри, скорѣй только; я и то было встрѣтилъ вечоръ твоихъ молодцовъ: хотѣлъ наказать имъ...

— Какихъ молодцовъ? перебилъ Глѣбъ.

— Какихъ! извѣстно какихъ: твоего работника да еще другаго... Григорья, что ли?

— Гдѣ-жъ ты ихъ встрѣлъ?

— Гдѣ! извѣстно гдѣ: у насъ, въ Комаревѣ.

— Я не зналъ, что они сюда ходятъ, проговорилъ удивленный старикъ.

— Гдѣ-жъ тебѣ знать: бываютъ не днемъ—ночью; у васъ, я чай, всѣ давно спятъ.

— За какою же они надобностью сюда приходили?

— Экой ты, братецъ ты мой, чудной какой! народъ молодой: погулять хочетъ... Потому больше вечоръ и не наказывалъ имъ объ рыбкѣ: оба больно хмѣльны были; ну, да теперь самъ знаешь. Неси же скорѣй, смотри, рыбу-то!..

— Ладно, сейчасъ будетъ! проговорилъ Глѣбъ, нахмуривая брови и почесывая затылокъ.

Старый рыбакъ показалъ видъ, что идетъ домой, но какъ только

фабрикантъ исчезъ въ воротахъ, онъ поспѣшно вернулся назадъ и вошелъ въ кабакъ.

— А что, примѣрно, Герасимъ, спросилъ Глѣбъ, обращая глаза на безжизненное, отекшее лицо цѣловальника:—были у тебя вечоръ... мои робята?..

— Нязнаю!.. никакихъ я твоихъ робятъ нязнаю... проговорилъ Герасимъ, едва поворачивая голову къ собесѣднику и медленно похлопывая красными вѣками.

— Какъ не знаешь? нетерпѣливо вымолвилъ старикъ: — ты долженъ знать... потому это, примѣрно, твое выходитъ дѣло знать, кто у тебя бываетъ... не тысяча человѣкъ сидитъ у тебя по ночамъ... долженъ знать!..

— Не мое дѣло! невозмутимо проговорилъ цѣловальникъ, шлепая котами и направляясь за сосѣднюю перегородку.

Глѣбъ, у котораго раскипѣлось уже сердце, хотѣлъ было послѣдовать за нимъ, но въ самую эту минуту глаза его встрѣтились съ глазами племянника смѣдовскаго мельника—того самого, что приставалъ къ нему на комаревской ярмаркѣ. — Это обстоятельство нимало не остановило бы старика, еслибъ не замѣтилъ онъ, что племянникъ мельника мигалъ ему изо всей мочи, указывая на выходную дверь кабака. Глѣбъ кивнулъ головою и тотчасъ же вышелъ на улицу. Черезъ минуту явился за нимъ мельниковъ племянникъ.

— Чего тебѣ? спросилъ Глѣбъ.

— Нѣтъ, погоди: здѣсь не годится; завернемъ за уголъ, Глѣбъ Савинычъ, неравно Герасимъ увидитъ...

— А что тебѣ до него?

— Нѣтъ, не годится; осерчаетъ...

— Тьфу, чтобъ васъ всѣхъ! съ сердцемъ произнесъ Глѣбъ, поворачивая, однакожъ, за уголъ.

— Ты спрашивалъ, Глѣбъ Савинычъ, про работника да еще про своего... какъ бишь его!..

— Ну!

— Ну, точно, были это они вечоръ здѣсь, самъ видѣлъ, своими глазами; ужъ такъ-то гуляли... и-и! То-то, вотъ, говорилъ тебѣ тогда: самый что ни есть пропащій этотъ твой Захарка! право же, ну; отсохни мои руки, коли годится тебѣ такой человѣкъ; не по тебѣ совсѣмъ...

— Объ этомъ сумлѣваться мое дѣло; тебя не спрашиваютъ; а,

примѣрно, знать хочу, чѣмъ они расплачивались за вино... али, можетъ, въ долгъ брали?..

— Расплачивались чѣмъ?.. Захаръ поилъ; онъ расплачивался,— деньгами расплачивался... а то чѣмъ же?..

— А не видалъ—рыбы, примѣрно, съ ними не было? не расплачивались они рыбой?.. перебилъ старикъ, пристально взглядывая въ лицо собесѣдника.

— Нѣтъ, рыбы не видалъ: платили деньгами; да все вѣдь одно... Ну, право же слово, не годится онъ тебѣ. не тотъ человѣкъ... я говорилъ тогда... Право, не годится; онъ и парня-то твоего споитъ! усердствовалъ племянникъ мельника.

Но рыбаку только и надо было знать. Онъ повернулся спиною къ парню и безъ дальнихъ объясненій вышелъ изъ Комарева.

Принимая въ соображеніе неудовольствіе, съ какимъ выслушивалъ Глѣбъ разсказъ фабриканта, можно было думать, что чувство досады превратится въ ярость, когда онъ окончательно удостовѣрится въ истинѣ всего слышаннаго. Вышло совсѣмъ другое: извѣстіе, что платилъ Захаръ, и притомъ платилъ деньгами, мгновенно угомонило гнѣвъ старика. Первою мыслію его, какъ только провѣдалъ онъ о ночной прогулкѣ парней, было то, что Захаръ и Гришка утаиваютъ отъ него пойманную рыбу, ловятъ ее втихомолку, по ночамъ, безъ его вѣдома, и даютъ ее въ обмѣнъ за вино. Надо отнести къ чести рыбака: его въ этомъ случаѣ не столько возмущала пропажа рыбы (хотя и это отчасти щемило его за сердце), сколько самый поступокъ. Родного сына, самого Ваню, не помиловалъ бы онъ,—ни за что не помиловалъ бы за воровство. Глѣбъ пришелъ всетаки къ тому заключенію, что надо дать напрягай Гришкѣ и Захару. Онъ, конечно, не ограничился бы этимъ, еслибъ зналъ, въ какой мѣрѣ повторялись ночныя гулянки и попойки; но старикъ, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, ничего не подозрѣвалъ. Онъ думалъ, что это была первая продѣлка пріемыша въ такомъ родѣ, первое его ослушаніе, и потому рѣшился только постращать его хорошенько, чтобъ напередъ страхъ имѣлъ. А то, пожалуй, не сократить парня—дойдетъ и до того дѣло, взаправду станутъ красть рыбу.

Такому снисходительному рѣшенію немало также способствовало хорошее расположеніе старика, который радовался втихомолку случаю выгодно сбыть пойманную вчера рыбку. Рыбка, въ послѣднее

время, дѣйствительно плохо что-то ловилась и приносила рѣдкіе барыши: нельзя же было не порадоваться!

Когда челнокъ Глѣба присталъ къ берегу, Захаръ и Гришка занимались на площадкѣ развѣшиваніемъ бредня.

Оставивъ весло и шапку въ челнокѣ, старикъ прямо пошелъ къ пріемышу.

— Гдѣ ты былъ ноньче ночью, а? спросилъ онъ, останавливаясь передъ парнемъ.

При этомъ неожиданномъ вопросѣ, Гришка остолбенѣлъ, какъ будто его стукнули по головѣ; онъ опѣшилъ совершенно.

Захаръ, между тѣмъ, поспѣшно отошелъ нѣсколько шаговъ, пригнулся къ бредню и такъ усердно принялся за работу, что можно было думать, что онъ ничего не слышитъ и не видитъ.

— Тебя спрашиваютъ, говори, гдѣ былъ? нетерпѣливо повторилъ старикъ.

— Я... батюшка... гдѣ?.. я не знаю, про что ты говоришь, пробормоталъ Гришка, пятясь назадъ и украдкою косясь на Захара.

Но Захару было не до Гришки: работа, казалось, поглощала его совершенно.

— Ты со мной толкомъ говори! сказалъ Глѣбъ, возвышая голосъ:—что ты мнѣ турусы путаешь... говори,—ну!..

— Гдѣ-жъ мнѣ быть, коли не дома?.. оправляясь произнесъ парень.

— Ой-ли!.. а кто-жъ въ кабакѣ-то былъ, а?..

— Провалиться мнѣ на этомъ... началъ было Гришка, но старикъ не далъ ему договорить.

— Ну, ладно, промолвилъ онъ, нахмуривая брови и поворачиваясь къ работнику:—Захаръ, поди сюда и ты...

Захаръ быстро выпрямился, весело тряхнулъ волосами и приблизился, сохраняя на лицѣ своемъ выраженіе школьника, котораго учитель вызываетъ на середину класса, съ тѣмъ, чтобы поставить въ примѣръ товарищамъ.

— Ну, слушай!.. слушай и ты!.. произнесъ старикъ, обращая суровые взгляды поочередно то на одного, то на другого:—у меня. чтобъ это было въ послѣдній,—слышь, въ послѣдній, говорю! Узнаю, раздѣлаюсь съ вами по-свойски: тебя проучу... ты у меня на эвтомъ мѣстѣ трое сутокъ проваляешься, я те найду укромное мѣсто... Тебя Захаръ, одного-единаго часу держать не стану, со двора сгоню!

Коли пьянствовать хочешь, ступай къ своимъ пріятелямъ въ Серпуховъ, либо въ другое мѣсто: тамъ и распутничай!.. А то пришелъ въ чужой домъ, къ чужимъ людямъ, да другихъ еще сманивать вздумалъ!.. Зависть беретъ, видно, на хорошее житье; самъ распутствуешь, довелъ себя до того—одни лохмотья на спинѣ только и есть... и другихъ къ тому же подвести хочешь!.. Губи себя самъ, коли пришла такая охота, жизнь тебѣ не дорога; дображничаешь до сумы; дойдешь, можетъ-статься, и до того,—кандалы набьютъ, дарового хлѣбца отвѣдаешь, узнаешь, примѣрно, въ какихъ мѣстахъ остроги стоятъ!.. За худымъ пошелъ—худое и найдешь... Другихъ только не тронь; самъ съ собою управляйся, какъ знаешь; пожалуй вовсе не наблюдай себя,—а къ чужимъ людямъ пришелъ, живи какъ велятъ—вотъ что! А ты, Гришка, въ послѣдній говорю: выкинь дурь изъ головы; увижу что, оборони тебя Богъ; тогда на себя одного пеняй: самъ, значитъ, захотѣлъ—говорено было!.. Ну, пошелъ въ избу, спроси у старухи ведро да сюда неси! неожиданно заключилъ Глѣбъ, поворачиваясь лицомъ къ Окѣ.

Онъ направился къ ручью. Почти противъ того мѣста, гдѣ ручей впадалъ въ рѣку, изъ воды выглядывала верхушка огромной плетеной корзины, куда Глѣбъ пряталъ живую рыбу. Пока выбиралъ онъ изъ этого самодѣльнаго садка рыбу, пріемышъ успѣлъ вернуться съ ведромъ.

Нѣсколько минутъ спустя, оба отчалили отъ берега.

Во все это время Захаръ не переставалъ возиться съ бреднемъ; усердіе его было безпримѣрно: онъ не поднялъ даже головы надъ работой!

Какимъ образомъ, стоя спиною къ Окѣ, могъ увидѣть Захаръ, что Глѣбъ переѣхалъ рѣку и какъ затѣмъ исчезъ въ кустахъ—неизвѣстно; но только онъ мгновенно тряхнулъ головою, плюнулъ сажени на три и развалился на пескѣ. Глаза его слѣдили съ какимъ-то нетерпѣливымъ лукавствомъ за Гришкой, который возвращался назадъ.

Увидѣвъ нахмуренное лицо пріемыша, Захаръ залился тоненькимъ, дребезжащимъ смѣхомъ.

Гришка отвернулся и съ досадою бросилъ весло. Послѣ того онъ сѣлъ на земь, уткнулъ локти въ колѣни и положилъ голову въ ладони.

Выходка эта окончательно, повидимому, распотѣшила Захара: онъ залился еще звончѣе прежняго.

— Ну, что глотку-то дерешь? съ сердцемъ сказалъ пріемышъ:— тебѣ все смѣшки да смѣшки...

— А то какъ же! по бабьи зарюмить, стало быть? насмѣшливо перебилъ Захаръ.—Ай да Глѣбъ Савинычъ! уважилъ, нечего сказать!.. Ну, что жъ ты, братецъ ты мой, поплачь хошь однимъ глазкомъ... то-то поглядѣлъ бы на тебя!.. Э-хъ!.. дѣтина, дѣтина, не стоишь ты алтына! промолвилъ Захаръ.

И лицо его сдѣлалось вдругъ недовольнымъ.

— Гдѣ тебѣ жить въ людяхъ по своей волѣ, продолжалъ онъ, тономъ презрѣнія:—только что вотъ куражишься! „я, да я!“ а покажи кулакъ: „батюшка, взмилуйся!“ оторопѣлъ, тотчасъ и на попятный...

— Видали мы и тебя... самъ больно хороберъ... что-жъ ты молчалъ-то! проворчалъ Гришка.

— Не о себѣ говорю, дружище! произнесъ, поддразнивая, Захаръ:—мое дѣло сторона; поньче здѣсь, завтра нѣтъ меня! не съ чего шуму заводить: взялъ пачпортъ, да и былъ таковъ; сами по себѣ живемъ; такимъ манеромъ, Глѣбъ ли, другой ли хозяинъ, командовать нами не можетъ никто; кричи онъ, надсажайся: для насъ это все единственно; черезъ это насъ не убудетъ! Тебѣ съ нимъ жить: оттого, примѣрно, и говорю; поддавайся ему, онъ те не такъ еще скрутитъ!..

Гришка ничего не отвѣчалъ и только отвернулся.

Захаръ также отвернулся, подперся локтемъ и принялся безпечно посвистывать. Такъ прошло нѣсколько минутъ. Наконецъ Захаръ снова обратился къ пріемышу; на лицѣ его не было уже замѣтно признака насмѣшки или презрѣнія.

— Гришка, сказалъ онъ тономъ дружбы и товарищества:— полно тебѣ... Ну, что ты, въ самомъ дѣлѣ? Слушай: вѣдь дѣло-то, братецъ ты мой, выходитъ неладно; надо полагать, кто-нибудь изъ домашнихъ сфискалилъ. Самъ старикъ, какъ есть, ничего не зналъ!

— Старуха сказала; она и то намедни грозилась, отвѣчалъ Гришка, откидывая назадъ волосы.

— Ну, нѣтъ, братъ, сдается не такъ. У нея коли надобность есть какая, подступить не смѣетъ, три дня округъ мужа-то ходитъ.

— Кто-жъ, по твоему?.. жена? та не посмѣетъ.

— Что говорить! тебя спросится!

— Небось не скажетъ: побоится.

— Какъ не бояться!

— Знамо, боится! хвастливо произнесъ Гришка.

— Много, братъ, форсу берешь — вотъ что! глядѣлъ бы лучше.

— А что?

— Да то же... Кабы глядѣлъ, не стала бы она фискалить.

— Ты рази видѣлъ? вымолвилъ пріемышъ, оживляясь до послѣдняго суставчика.

— Не видалъ бы, не сталъ бы говорить; стало-быть, видѣлъ.

— Ну! вымолвилъ Гришка, у котораго при этомъ опустились брови и задрожали ноздри.

— Выходитъ, была, что ли, надобность съ старикомъ шушукаться.

— Когда? спросилъ Гришка, бросая злобный взглядъ по направленію къ воротамъ.

— Нынче утромъ, передъ тѣмъ самымъ временемъ, какъ старику идти въ Комарево.

Гришка сжалъ кулаки и сдѣлалъ движеніе, чтобы приподняться на ноги; но Захаръ поспѣшилъ удержать его.

— Ну, что ты, полоумный! драться, что ли, захотѣлъ! Я рази къ тому говорю... Ничего не возьмешь, хуже будетъ... Полно тебѣ, сказалъ Захаръ: — я, примѣрно, говорю, надо не вдругъ, исподволь... Переговори, сначатія постращай, такимъ манеромъ, а не то, чтобы кулаками. Баба смирная: ей и того довольно — будетъ страхъ имѣть!.. она пошла на это не по злобѣ: такъ, можетъстаться, тебя вечоръ запужалась...

— Все одно! я-жъ ее проучу! перебилъ Гришка, не отрывая отъ воротъ грозно сверкающихъ глазъ.

— А проучишь, такъ самого проучатъ: руки-то окоротятъ!.. Ты въ ней не властенъ; сунься только, старикъ-атъ самого оттреплетъ!.. Нашъ въ этомъ заказу не было: я какъ женатъ былъ, начала это такъ же отцу фискалить; задалъ ей трезвону — и все тутъ... Тебѣ этого нельзя: поддался разъ, дѣлать нечего, сократись, такимъ манеромъ... Погоди! постой... куда? заключилъ Захаръ, видя, что Гришка подымался на ноги.

На этотъ разъ, однакожъ, Захаръ, движимый, вѣроятно, какими-нибудь особенными соображеніями, не удержалъ Гришку. Онъ ограничился тѣмъ лишь, что слѣдилъ за товарищемъ глазами во все время, какъ тотъ подымался по площадкѣ. Какъ только Гришка

*

скрылся въ воротахъ, Захаръ проворно вскочилъ съ мѣста и побѣжалъ къ избамъ, но не вошелъ на дворъ, а притаился за воротами.

Ступивъ на дворъ, Гришка натолкнулся прямехонько на жену.

— Ты это зачѣмъ отцу разсказывала, а? крикнулъ онъ, останавливаясь передъ ней.

— Что ты... Христосъ съ тобою... проговорила Дуня, блѣднѣя,

— Зачѣмъ разсказала отцу? говори! подхватилъ онъ, яростно замахиваясь кулакомъ.

— Матушка! невольно вырвалось изъ груди Дуни.

— А... такъ-то... кричать! прошепталъ онъ, стискивая зубы, и бросился на нее.

Но въ эту самую минуту на крылечкѣ показалась Анна, а изъ воротъ выскочилъ Захаръ. Послѣдній, казалось, только этого и ждалъ. Оба кинулись на Гришку, который окончательно уже освирѣпѣлъ и, не взирая на двухъ заступниковъ, продолжалъ тормошить жену.

— Батюшки свѣты! б-а-тюшки! держите его... окаяннаго! Ахъ, мои касатики! бабу-то отымите! завопила старушка, протискиваясь между мужемъ и женою.

— Оставь, пусти, хозяюшка! неравно еще зашибетъ. Вишь, полоумный какой! заботливо сказалъ Захаръ, отслоняя одною рукою старуху, другою—отталкивая Гришку.

— Ты что? крикнулъ пріемышъ:—не твое дѣло!

— Нѣтъ, врешь! погоди, братъ... драться не велятъ! подхватилъ, съ необычайною горячностію, Захаръ, который нарочно между тѣмъ раззадорилъ Гришку, нарочно затѣялъ все это дѣло, чтобы доставить себѣ случай явиться заступникомъ Дуни.—Погоди, милый дружокъ! продолжалъ онъ, обхватывая пріемыша, который снова было бросился къ женѣ:—ахъ ты, сумасбродный! развѣ я не говорилъ тебѣ?.. Авдотья Кондратьевна... отходи... Не бойся, Захаръ не пуститъ! Нѣтъ, врешь, братъ, не вывернешься... справимся! ступай-ка, ступай! заключилъ Захаръ, подхватывая Гришку и увлекая его, съ необыкновенною ловкостію, на площадку.

— Глупый! что ты дѣлаешь-то, а? я рази не говорилъ тебѣ? примирительно подхватилъ Захаръ, все еще не выпуская Гришку, хотя они были уже довольно далеко отъ дому:—полно ершиться-то, бѣшеный! хошь бы отозвалъ ее куда, а то при старухѣ!..

— Подвернется... одна будетъ... не уйдетъ отъ меня!.. я ей дамъ знать... задыхаясь проговорилъ пріемышъ.

— Ну, тогда-то и дѣло будетъ, а не теперь же! старуха все разскажетъ... Экой ты, право, какой, братецъ ты мой! Говоришь: не замай, оставь; нѣтъ, надо было... Эхъ, шутъ ты этакой, и тутъ не съумѣлъ сдѣлать!.. промолвилъ Захаръ, голосомъ, который легко могъ бы поддѣть и не такого „мимолетнаго", взбалмошнаго парня, какимъ былъ Гришка.

Но хитро-сплетенная штука Захара, несмотря даже на совершенно удачное выполненіе,—такое выполненіе, которое могло сдѣлать честь Ловласу и не въ ситцевой набивной рубашкѣ по сорока копѣекъ за аршинъ,—не принесла, однакожъ, ожидаемыхъ результатовъ. Во всемъ, впрочемъ, оказался виноватымъ самъ Захаръ. Онъ хотя и сообразилъ, что съ женою Гришки не годится дѣйствовать на манеръ серпуховскихъ мѣщанокъ—ничего не возьмешь, что тутъ надо вести дѣло исподволь,—но не выдержалъ такого плана. Самоувѣренность вывела дѣло на чистоту. Обнадеженный успѣхомъ своей продѣлки и ни мало не сомнѣваясь, что теперь дѣло пойдетъ навѣрняка—умѣй только взяться—онъ рѣшился сдѣлать приступъ на другой же день послѣ описанной нами сцены. Все благопріятствовало этому. Гришка, посланный Глѣбомъ въ Сосновку, за какимъ-то дѣломъ, долженъ былъ возвратиться не ранѣе вечера. Самому Глѣбу какъ-то нездоровилось послѣ вчерашней прогулки въ Комарево. Старикъ потягивался весь день въ избѣ, на лавкѣ.

Какъ только наступилъ послѣобѣденный отдыхъ, Захаръ отправился подъ навѣсъ, примазалъ волосы, подвелъ ихъ скобкою къ вискамъ, самодовольно покрутилъ головою, взялъ въ руки гармонію, пробрался въ узенькій проулокъ къ огороду и сталъ выжидать Дуню, которая должна была явиться развѣшивать бѣлье.

Въ то самое время, какъ Захаръ стоялъ насторожѣ, тетушка Анна сторожила, въ свою очередь, минуту, когда Дуня выйдетъ изъ избы развѣшивать бѣлье. Старушка сказала, правда, снохѣ своей, что вчерашнее происшествіе, равно какъ и другія продѣлки Гришки, останутся шиты и крыты, но въ душѣ своей рѣшилась разсказать обо всемъ мужу. Оставшись одна глазъ на глазъ съ Глѣбомъ, который все еще лежалъ на лавкѣ, она почувствовала вдругъ неизъяснимую робость: точно сердце оторвалось у нея. На томъ бы, можетъ статься, и остановилось дѣло, еслибъ Глѣбъ не заговорилъ съ нею. Онъ завелъ рѣчь о хозяйствѣ и говорилъ словоохотливо. Это

обстоятельство придало тотчасъ же духу женѣ. Она подошла къ лавкѣ и повѣдала ему безъ обиняковъ все, что лежало на душѣ. Разсказавъ о вчерашнемъ происшествіи, о ночныхъ похожденіяхъ Гришки, и сдѣлавъ свои замѣчанія насчетъ того, что Гришка сталъ хмѣлемъ зашибаться, старушка перешла къ Захару. По мнѣнію ея, Захаръ былъ во всемъ главнымъ зачинщикомъ и виновникомъ. Онъ втравилъ Гришку во всѣ недобрыя дѣла. Ей самой сколько разъ приводилось слышать его непутныя рѣчи. Недѣли за три передъ тѣмъ, Дуня сказала тещѣ, что Захаръ не даетъ ей проходу, всячески подольщается къ ней и разъ далъ волю рукамъ. Старушка передала точно также и это обстоятельство мужу. Изъ словъ ея значилось ясно, какъ дважды-два—четыре, что Захаръ погубилъ Гришку.

Зная нравъ Глѣба, каждый легко себѣ представитъ, какъ приняты были имъ всѣ эти извѣстія. Онъ приказалъ женѣ остаться въ избѣ, самъ поднялся съ лавки, провелъ ладонью по лицу своему, на которомъ не было уже замѣтно кровинки, и вышелъ на крылечко. Заслышавъ голосъ Дуни, раздавшійся въ проулкѣ, онъ остановился. Это обстоятельство дало, повидимому, другое направленіе его мыслямъ. Онъ не пошелъ къ заднимъ воротамъ, какъ прежде имѣлъ намѣреніе, но выбрался на площадку, обогнулъ навѣсы и притаился за уголъ.

— Провалиться на этомъ мѣстѣ, когда знаю, за что такъ не взлюбила! говорилъ Захаръ, заискивающимъ голосомъ:—эти слова твои, что говоришь, выходитъ, напрасно, потому единственно, мы такими дѣлами не занимались... Если и было что, знаетъ одна моя добрая душа, какъ, примѣрно, дѣло было... Я не то, чтобы худому училъ его... стараюсь изо всѣхъ силъ, а все для тебя, потрафить, былъ бы, примѣрно... произвести его какъ есть настоящимъ человѣкомъ... наровлю, примѣрно, каковъ Захаръ есть, то все едино единственно долженъ быть и Гришка... Кабы не добрая моя душа, онъ вчера волоска бы на тебѣ не оставилъ. Сама, я чай, видѣла, какъ я его уговаривалъ, безпутнаго! забралъ въ голову, ты, вишь, отцу сказала... я и такъ и сякъ... Кабы не я...

— Ахъ, ты безсовѣстный, безсовѣстный! воскликнула Дуня дрожащимъ отъ волненія голосомъ:—какъ у тебя языкъ не отсохнетъ говорить такія рѣчи!.. Кого ты морочишь, низкій ты этакой? развѣ я не знаю! Мнѣ Гришка все разсказалъ: ты, ты, низкая твоя душа, завѣрилъ его, я, вишь, отцу сказала... Да накажи меня Го-

сподь послѣ того, накажи меня въ младенцѣ моемъ, коли сама теперь не повѣдаю отцу объ дѣлахъ твоихъ...

Глѣбъ не дослушалъ остального. Онъ выскочилъ изъ-за угла и ринулся съ поднятыми кулаками на Захара. Несмотря на неожиданное нападеніе, тотъ ловко, однакожъ, вывернулся, отскочилъ на нѣсколько шаговъ, тряхнулъ волосами и сталъ въ оборонительное положеніе.

— Эй, слышь, рукамъ воли не давай! сказалъ онъ, размахивая гармоніей.

Однимъ ударомъ кулака, Глѣбъ послалъ гармонію на самую середину огорода.

— Батюшка, брось его! оставь лучше! воскликнула блѣдная какъ смерть Дуня, бросаясь къ старику.

Но тотъ сурово оттолкнулъ ее и снова, грозный, дрожащій отъ гнѣва, подошелъ къ Захару.

— Такъ вотъ ты какими дѣлами промышляешь! вскричалъ старикъ задыхающимся голосомъ:—мало того, парня погубилъ, совратилъ его съ пути, научилъ пьянствовать, втравилъ въ распутство всякое,—теперь польстился на жену его! Хочешь посрамить всю семью мою! всѣхъ насъ, какъ злодѣй, опутать хочешь!.. Вонъ изъ моего дому, тварь ты этакая! вонъ! Чтобы духу твоего здѣсь не было! Вонъ! промолвилъ старикъ, замахиваясь кулакомъ.

— Погоди, братъ, драться не велять! произнесъ Захаръ, отступая, но все еще молодцуя: присутствіе Дуни придавало ему нѣкоторую храбрость:—уйду; что-жъ такое? Надо, я чай, разсчитаться...

— Какіе съ тобой разсчеты, нищій! ты мнѣ еще долженъ, не я тебѣ. За двѣ недѣли забралъ деньги впередъ, а еще разсчетовъ требуешь... Вонъ, говорю, вонъ ступай съ того мѣста, гдѣ стоишь!.. Ступай, говорю! не доводи до грѣха... Вонъ!..

— Уйду. Что куражишься! не больно испужались... не на таковскаго напалъ. Уйду, не заплачу... Дай пожитки взять! промолвилъ Захаръ съ чувствомъ достоинства.

Глѣбъ отворилъ ворота ударомъ кулака, вошелъ на дворъ, сорвалъ съ шеста тулупчикъ и картузъ работника, единственные его пожитки, вернулся въ проулокъ и бросилъ ихъ къ ногамъ Захара. Захаръ успѣлъ уже въ это время завладѣть гармоніей.

— Можно и потише, проговорилъ Захаръ, подбирая тулупчикъ.

— Ступай же теперь! закричалъ старикъ, у котораго, при видѣ работника, снова закипѣло сердце:—къ дому моему не подходи!

Увижу на порогѣ, плохо будетъ! Врагъ попуталъ, когда нанималъ-то тебя... Вонъ! вонъ! продолжалъ онъ, преслѣдуя Захара, который, нахлобучивъ молодцовато картузъ и перекинувъ черезъ плечо полушубокъ, покидалъ площадку.

Возвратясь на дворъ, Глѣбъ увидѣлъ на крыльцѣ Дуню, которая сидѣла, закрывъ лицо руками, и горько плакала. Подлѣ нея стояла, пригорюнясь, тетушка Анна. Глѣбъ прямо пошелъ къ нимъ.

— Ты о чемъ, Дуня? что этого-то мошенника со двора согналъ, радоваться надыть, а не убиваться! сказалъ онъ, разстроеннымъ голосомъ, которому старался придать ласковое выраженіе.—Полно, перестань: ты ни въ чемъ не виновата. Во всемъ моя вина, зачѣмъ не доглядывалъ. Много пожилъ на свѣтѣ, пора бы, кажется, выучиться распознавать, каковъ таковъ есть человѣкъ—дурной, либо хорошій. Авось, какъ мужа твоего негоднаго поучу, авось и тогда, Богъ дастъ, дѣло справимъ... Полно же... говорю... Уфъ! усталъ!.. Вотъ маленечко того, погорячился... не стоило того... ну его совсѣмъ! Усталъ. Словно какъ кровь во мнѣ разыгралась. Въ ушахъ шумитъ... Схожу, поразомнусь: отца твоего провѣдаю, авось полегче станетъ!..

Глѣбъ засталъ дѣдушку Кондратія, по обыкновенію, за добрымъ дѣломъ. Старикъ сидѣлъ на порогѣ своей лачужки и, грѣясь на солнышкѣ, строгалъ обломкомъ косы длинную хворостину, предназначавшуюся для новой удочки. Глѣбъ подсѣлъ къ нему.

— А я, дядя, примѣрно, вотъ зачѣмъ... худыя дѣла вершаются у насъ въ домѣ, сказалъ Глѣбъ.

— Христосъ оборони и помилуй! промолвилъ дѣдушка Кондратій, опуская на-земь обломокъ косы и хворостину и медленно творя крестное знаменіе.

— Да вотъ такъ и такъ, началъ Глѣбъ и передалъ ему во всѣхъ подробностяхъ о случившемся.

Онъ сообщилъ ему о томъ, что выгналъ Захара, разсказалъ, за что выгналъ его, разсказалъ всѣ его продѣлки, перешелъ потомъ къ Гришкѣ, повѣдалъ все слышанное о немъ отъ Анны и присовокупилъ къ тому свои собственныя замѣчанія.

— Обманулся я въ немъ, дядя,—ничего обманулся! примолвилъ Глѣбъ, потряхивая уже совсѣмъ посѣдѣвшими теперь кудрями:— что говорить, съ молоду ненадеженъ былъ, озорливъ не въ примѣръ другому... Былъ тогда и другой парнишка у меня... Вмѣстѣ росли:

такъ оно, выходитъ, все тогда на виду было... А все не чаялъ, пойдетъ онъ у меня худымъ путемъ... Самъ видишь, какое дѣло... Больше затѣмъ пришелъ къ тебѣ, какъ ты, примѣрно, разсудишь... Оставить такъ не годится. Надо, пока время есть, сократить его, при самомъ началѣ. По моему, мало нагрѣть ему бока: образумится, пока болѣть станутъ, а тамъ опять, пожалуй, за свое примется. Надо, примѣрно, другое сыскать средствіе... какъ ты скажешь?..

— По моему, коли слова моего послушать пришелъ, Глѣбъ Савинычъ, не тронь ты его. Пуще того, не грози, не подымай рукъ, смиренно возразилъ старикъ, хотя на лицѣ его проступало выраженіе глубокаго огорченія:—побоями да страхомъ ничего ты не сдѣлаешь. Не тѣ ужъ лѣта его, и нравъ не тотъ. Неровѣнъ человѣкъ, Глѣбъ Савинычъ! Господь и лѣса не сравнялъ, не только человѣка. Судишь по себѣ, по своей душѣ судишь. Смотришь, и обознался: иной человѣкъ-то хищнѣе звѣря лютаго... Оставь ты его, не тронь. По моему, переговори лучше добрымъ словомъ, возьми кротостію да терпѣніемъ. А пуще того, помолимся о немъ, попросимъ Господа: авось уйметъ Онъ его сердце!.. А что бить-то? Хуже еще возмутится отъ того душа его. Возьметъ злобу на тебя, на домашнихъ, на житье свое: тошнѣй тогда будетъ ему, да и всѣмъ вамъ... Много, Глѣбъ Савинычъ, много, признаться, и я въ немъ обознался!.. Мало ли положилъ онъ песку въ мое сердце! Что то вотъ словно сердце мое чуяло, какъ женили мы его. Не чаялъ я въ немъ и тогда степенства: мало добра въ тѣхъ дѣлахъ, что худымъ начались!.. И то сказать надо, Глѣбъ Савинычъ, не ему... нѣтъ, не ему прочилъ я свою дочку... была она у меня одна радость въ глазу, одно утѣшеніе. Денно и ночно молилъ о ней всевышняго Создателя! Не дошли, видно, мои молитвы. Стало, прогнѣвалъ я Его грѣхами своими тяжкими! заключилъ старикъ, съ покорностію опуская свою бѣлую голову.

Трудно рѣшить, слова-ли дѣдушки Кондратія измѣнили образъ мыслей Глѣба, или подѣйствовали на него воспоминанія о возлюбленномъ сынѣ, — воспоминанія, которыя во всѣхъ случаяхъ его жизни, во всякое время и во всякій часъ способны были размягчить крѣпкую душу стараго рыбака, наполнить ее грустію и сорвать съ нея загрубѣлую оболочку; или же, наконецъ, способствовало самое время, преклонные года Глѣба, которые замѣтно ослабляли его крутой, ретивый нравъ, охлаждали кровь и энергію,—но только онъ послушался совѣтовъ дѣдушки Кондратія. Возвратясь домой,

Глѣбъ пальцемъ не тронулъ пріемыша. Онъ приказалъ ему слѣдовать за собою и пошелъ къ лодкамъ.

Тетушка Анна и Дуня поспѣшили броситься къ воротамъ. Дрожа и замирая отъ страха, онѣ приложили блѣдныя лица къ щелкамъ воротъ; но сколько ни слѣдили онѣ за движеніями грознаго старика, ожидая съ минуты на минуту, что онъ тутъ же, на мѣстѣ, пришибетъ Гришку, ожиданія ихъ не оправдались. Глѣбъ, однакожъ, говорилъ съ пріемышемъ. Рѣчь его, сначала суровая и отрывистая, замѣтно смягчалась, по мѣрѣ того, какъ онъ, истощивъ жестокія, укорительныя слова, коснулся воспоминаній дѣтства пріемыша. Очевиднымъ дѣлалось, что, неразлучно съ этими воспоминаніями, въ душѣ старика возникали другія, болѣе драгоцѣнныя воспоминанія.

— Я тебя возростилъ все одно какъ родного сына, а это все, выходитъ, напрасно только о тебѣ заботился! заключилъ Глѣбъ; —думалъ, отнялъ у меня Господь дѣтей, ты останешься намъ въ утѣху, станешь объ насъ сокрушаться да беречь подъ старость,—а замѣсто того наровишь, какъ бы злодѣемъ нашимъ стать! Вспомни, Гришка, вѣдь ты жилъ у меня, какъ односемьянинъ, пятнадцать лѣтъ, слышишь, пятнадцать лѣтъ дѣлилъ я съ тобою хлѣбъ-соль, кормилъ, обувалъ тебя... Рази, по вашему, за добро зломъ надо отплачивать?.. Не о себѣ говорю: мой вѣкъ не дологъ. Говорю, подумай ты о себѣ: вѣдь у тебя жена и дѣти. Звѣрь безчувственный, и тотъ о дѣтяхъ своихъ заботу имѣетъ... Опомнись, говорю: выкинь дурь-то изъ головы... Вспомнишь слова мои, да поздно будетъ!.. Худыя дѣла къ добру не поведутъ... Люди не взыщутъ— Господь тебя покараетъ! Брось, говорю!.. Врагъ тебя путаетъ... помолись Богу, за дѣло возьмись... А о прошломъ не поминай... пропадай оно совсѣмъ!..

Но разумные совѣты благодѣтеля не произвели рѣшительно никакого дѣйствія на пріемыша. Первые два дня дѣйствительно ходилъ онъ мрачный и задумчивый. Онъ какъ будто сознавалъ вину свою и каялся. Но чувство это мгновенно уступило мѣсто мелочной досадѣ и злобѣ, какъ только узналъ онъ отъ жены настоящую причину изгнанія Захара. Онъ ждалъ только случая посчитаться съ товарищемъ, который обманулъ его. За неимѣніемъ Захара, Гришка вымещалъ досаду, втихомолку, на женѣ. Но мимолетная, соломенная душа Гришки, какъ мѣтко назвалъ ее Захаръ, неспособна была долго сосредоточивать въ себѣ одно какое-нибудь чувство. Злоба, дружба, досада, примиреніе,—все смѣнялось одно другимъ, съ не-

обычайною быстротою. Легкая, пустая душа его вспыхивала такъ же быстро, какъ зажженная солома, но за то скоро и потухала. Прошли двѣ-три недѣли; въ сердцѣ Гришки возникло, вмѣстѣ со скукою, сожалѣніе о томъ, что не было Захара, съ которымъ такъ весело, бывало, коротаешь однообразные часы послѣобѣденнаго времени. Сожалѣніе живо смѣнилось радостію, когда случайно провѣдалъ онъ, что Захаръ поселился въ одной изъ комаревскихъ фабрикъ. Съ той минуты онъ только и помышлялъ о томъ, какъ бы встрѣтиться съ прежнимъ товарищемъ. Такъ вотъ и подмывало его юркнуть на луговой берегъ. Комарево стало для него тѣмъ же, чѣмъ было когда-то озеро дѣдушки Кондратія. Случай не замедлилъ представиться, не замедлили также осуществиться мечты пріемыша: онъ встрѣтился съ Захаромъ. Встрѣча была радостная съ обѣихъ сторонъ. О старомъ, конечно, не было и помину.

И снова очертя голову задурилъ Гришка. Снова, когда темная ночь окутывала площадку, Оку и луга, и когда старики, утомленные дневными трудами, крѣпко засыпали, началъ онъ украдкою исчезать изъ клѣтушки,— снова, полная безпокойства, затаенной грусти и трепетныхъ ожиданій, стала просиживать Дуня цѣлыя ночи на заваленкѣ, карауля возвращеніе безпутнаго мужа и отрываясь тогда лишь, когда призывалъ ее слабый крикъ младенца.

XXII.

Крѣпкій старикъ.

— Полно, дядя!.. Ну что, въ самомъ дѣлѣ, уперся, на одномъ стоишь: „нѣтъ, да нѣтъ, не приходится,—то да сё!“ Слушать, выходить, нечего. Полно, говорю, перебирайся-ка ты взаправду ко мнѣ,— лучше дѣло-то будетъ; по душѣ, примѣрно, говорю, не изъ чего другого; а „то: нѣтъ, да нѣтъ!“ Съ чего жъ нѣтъ-то? съ чего отнѣкиваться-то? говорилъ Глѣбъ, сидючи разъ какъ-то, подъ вечеръ, съ дѣдушкой Кондратіемъ на заваленкѣ, противъ площадки.—Жили мы съ тобой почитай двадцать лѣтъ по-сосѣдски, какъ слѣдуетъ— ладно и безобидно. Вотъ какъ жили: два сапога—одна пара!.. Ты обо мнѣ извѣщенъ; знаю, примѣрно, и я, каковъ ты есть такой

человѣкъ. Будь ты мнѣ чужой, неизвѣданный—ну не сталъ бы разговаривать... Чужіе-то люди, неизвѣданные, вотъ гдѣ у меня сидять—на самой на шеѣ... Ты намъ не чужой: дочка твоя живетъ въ моемъ домѣ—породнились, выходить... И добро бы самъ пришелъ ко мнѣ: „возьми, молъ, меня, Глѣбъ Савинычъ“,—сталъ бы такъ-то, примѣрно, напрашиваться; вѣдь я же заговорилъ сперва-на-перво; и говорю: „ступай, молъ, дядя, жить ко мнѣ!“ Дѣло выходить, полюбовное, незаказное... выходить, и сумлѣваться нечего!.. На чемъ же твоя совѣсть?.. Дѣло, какъ есть, на чистоту выходить...

— Спасибо, Глѣбъ Савинычъ, на добромъ словѣ твоемъ, ласково возразилъ дѣдушка Кондратій: —говоришь ты со́ мною по душѣ: точно, въ рѣчахъ твоихъ нѣтъ помышленія, окромя мнѣ добра желаешь; потому и я должо́нъ по душѣ говорить: худъ буду я человѣкъ, коли тебя послушаю; —право такъ: неправильно поступлю, согрѣшу противъ совѣсти!..

— Съ чего-жъ такъ!.. Эвна! послушай поди, что толкуетъ-то, а?.. не слушали бы уши мои! Все это, выходитъ, дядя, пустое говоришь только—вотъ что! воскликнулъ Глѣбъ.

— Полно, сосѣдъ, не грѣши; послушай прежде, осуждай потомъ, кротко возразилъ старикъ.—Вотъ ты говоришь: приходи жить ко мнѣ! Хорошо: польщусь я на такое твое доброе слово — приду. Значитъ, стану только даромъ хлѣбъ ѣсть, за спасибо стану объѣдать тебя!.. Положимъ, ты не взыщешь, не взыщешь по доброй по душѣ своей—люди осудятъ: „пристроилъ, скажутъ, дочку, нашелъ ей укромное, теплое гнѣздо у добрыхъ у людей, да и самъ туда же примостился, благо пустили; живетъ, скажутъ, хлѣбъ жуетъ сложа руки, —даромъ, скажутъ, не работаетъ!“ И скажутъ-то правильно—вотъ что! А пуще того попрекнетъ своя совѣсть... Послушаю я тебя, поступлю по твоему — неугодное сотворю передъ Господомъ! Пока Господь грѣхамъ терпитъ, не отымаетъ рукъ, пока глаза видятъ, должонъ всякъ человѣкъ трудиться, должонъ пробавляться самъ собою, какія бы ни были его лѣта... Труды наши—та же молитва передъ Господомъ! Всякая тварь на землѣ: муравей, мошка какая-нибудь,—и тѣ трудятся: а человѣкъ должонъ и подавно! Коли трудишься, значитъ—радуешься за жизнь, доволенъ, значитъ, ею... Труды—наша благодарность Господу за Его великія для насъ милости! Коли человѣкъ ропщетъ на земное бытье свое — опостыла его жизнь; бросаетъ онъ тогда всякое о себѣ попеченіе, не мила работа ему, перестанетъ трудиться... Святые отцы, Глѣбъ

Савинычъ, въ трудахъ жили! Апостолы Христовы также трудились... были изъ нихъ такіе же, какъ мы, рыбари,—стало, трудъ на себя принимали...

— Знамо, такъ. Да я, примѣрно, не о томъ говорю, рази я говорю: приходи, дядя, ко мнѣ даромъ хлѣбъ ѣсть, — рази я это говорю? перебилъ Глѣбъ:—зову тебя на подмогу: станешь, примѣрно, мнѣ подсоблять... рази это тебѣ не работа?.. Въ чемъ не осилишь — знамо, лѣта твои уже немолодыя, иной разъ и радъ бы сдѣлать то, другое, да не по моготѣ—ну, и Богъ съ тобою! Знамо, попрекать да понукать не станемъ: не тотъ, примѣрно, ты человѣкъ; довольно тебя знаю: не охотникъ сидѣть сложа руки, проклажаться не любишь, старикъ къ работѣ завистливый, хлопотунъ... Не то, примѣрно, жилъ вотъ у меня, лѣтъ двадцать тому, сватъ... Акимомъ звали... Ты его знаешь... али запамятовалъ?.. Мудренаго нѣтъ: человѣкъ былъ пустой, самый незамѣтный... да вотъ ты никакъ въ тотъ самый годъ, какъ ему помереть, озеро снялъ... ну, что толковать: ну, отецъ Гришки, тотъ самый! Такъ тотъ, бывало... у того вотъ эти только скворечницы на умѣ: скворечницы да дудки для ребятъ — тутъ вся его и работа была!.. А скажешь, бывало: „сватъ, Акимъ, скажешь: ступай сѣти таскать!“ — „Охъ, животъ подвело, моченьки моей нѣтъ!“ Скажи потомъ: „сватъ, молъ, Акимъ, ступай щи хлѣбать!“ Ну, на это гораздъ былъ; тутъ объ животѣ нѣтъ и помину; день-деньской, бывало, на печи обжигается, нѣтъ-нѣтъ да поохаетъ: однимъ понуканьемъ только и руки-то у него двигались... самый, что ни-на-есть, пустой человѣкъ былъ... Такъ вотъ, дядя, къ примѣру такому говорю, рази ты съ нимъ подъ одну стать?.. Слава-те, Господи, знаю я тебя не первый день! Въ двадцать-то лѣтъ было время насмотрѣться!.. Говорю — подсоблять станешь; въ большой на тебя надеждѣ: затѣмъ, примѣрно, и говорю. Самъ видишь, лѣто подходитъ къ концу, скоро листопадъ, осень; пойдетъ у насъ пора самая любезная, а рукъ мало,— недостача въ рукахъ! Нѣтъ батраковъ, да и полно! что ты станешь дѣлать!.. Три раза въ Комарево понавѣдывался, три раза сулили прислать,—все нѣтъ, да нѣтъ: затѣмъ-то и говорю теперь: ступай, говорю, жить ко мнѣ! Подъ стать, выходитъ, были бы мнѣ твои хлопотливыя руки! Самъ-то старъ добре становлюсь, хлопотать-то—силы мои ужъ не тѣ: года побороли! одинъ съ Гришкой не управлюсь; кабы ты присосѣдился — ну, и пошло бы у насъ на ладъ: я старикъ, ты другой старикъ, а вмѣстѣ — все одно вы-

ходитъ, одинъ молодой парень; другому-то молодяку супротивъ насъ, такихъ стариковъ, пожалуй что и не вытянуть!.. Народъ-то нынѣче добре клёвъ сталъ, слабъ... износился, стало-быть, что ли?.. Оно и все такъ-то: вотъ хошь бы теперь одинъ палецъ — ну, что въ немъ! Хлѣба ломоть, и тотъ не отрѣжешь! а подведи къ нему другой, да третій, да четвертый — тутъ и вся ладонь... сила, выходитъ... что захотѣлъ, то, примѣрно, и сдѣлалъ; такъ-то и мы съ тобою...

— Разумная твоя рѣчь, Глѣбъ Савинычъ: есть что послушать! произнесъ дѣдушка Кондратій съ добродушною улыбкою: — только вотъ добре на меня много понадѣялся... Самъ посуди, какая и въ чемъ можетъ быть тебѣ моя помощь? Въ чемъ могу я подсобить тебѣ?.. Взгляни-ка ты на себя, взгляни на меня потомъ: вѣдь ты передо мной, что дубъ стогодовалый; я же передъ тобой — былiе; всякій вѣтеръ качаетъ, всякій паренёкъ, хошь бы вотъ мой внучекъ, Дунинъ сынишка, и тотъ къ землѣ пригнетъ!.. Какая я тебѣ помога?.. Лишняя только тягота, лишніе зубы при хлѣбѣ... и зубовъ-то, и тѣхъ ужъ ни одного нѣтъ...

— Опять за свое! Ты что ни говори ему, онъ все свое поетъ! воскликнулъ Глѣбъ, махнувъ рукою: — я-жъ те говорю — никто другой, слышь, я говорю: не твоя, выходитъ, объ этомъ забота; знаю я, каковъ ты есть такой,—мое это дѣло! Коли зову, стало, толкъ въ этомъ вижу!..

— Было время, точно былъ во мнѣ толкъ... ушли мои года, ушла и сила... Вотъ толкъ-то въ нашемъ братѣ — сила! Ушла она — куда ты годенъ?.. Ну, что говорить, нароботалъ и я, потрудился-таки, немало потрудился на вѣку своемъ... ну, и перестать пора... Время пришло не о суетѣ мірской помышлять, не о житейскихъ дѣлахъ помышлять надо, Глѣбъ Савинычъ, о другомъ помышлять надо!..

— Все такъ... вѣстимо... что говорить... А все, коли Господь не отыметъ у человѣка жизнь, продлитъ его дни, все надо какъ-нибудь пробавляться! Живемъ на міру, промежъ людей; должны руками кормиться...

— Тружусь по мѣрѣ силъ своихъ, не гнѣвлю Господа Бога!.. О-сю-пору, Глѣбъ Савинычъ, благодаря милосердію Всевышняго, никто не попрекнулъ чужимъ хлѣбомъ. Окромя своего заработаннаго, другого не ѣлъ... благодарю за то Господа!

— Да, братецъ ты мой, одно ты только въ толкъ возьми:

надо взять, примѣрно, въ разсужденье: стоитъ ли хлѣбъ-то, который ты ѣшь, трудовъ-то твоихъ? Самъ говорилъ не однова: другой разъ день-деньской сидишь на берегу съ удою, день-деньской печешься на солнцѣ, а все ничего! Хошь бы пискарь какой, либо колюшка подвернулась!.. Съ чѣмъ пришелъ — пустой былъ кувшинъ — съ тѣмъ и уйдешь!.. Выходитъ, напрасны только были труды твои... Вотъ о чемъ я толкую! У меня, по крайности, такъ хошь сидѣть-то напрасно не станешь; дѣло, выходитъ, веселѣе тогда будетъ, занятнѣе! Все сердце-то возрадуется, какъ потянешь уду то... глядь, анъ окунекъ или лещъ... Какъ толкъ-то въ работѣ есть, видишь, труды ненапрасны... Благословилъ Господь, такъ и согрѣшишь меньше... ей-Богу, право! Ину пору вершу-то вынешь изъ воды, насилу на плечѣ унесешь, ну, и благодаришь Творца; инда душа-то въ тебѣ радуется. какъ словно даже человѣкъ другой — лучше прежняго сталъ... Право, дядя!.. А что въ томъ: трудишься, трудишься, все нѣтъ ничего... ну, и согрѣшишь! Самъ потомъ не радъ; ходишь, какъ словно сомнѣваешься въ чемъ... а согрѣшишь, не утерпишь; потому часъ не ровенъ, дядя, вотъ что:.. Да я бы, кажется, что хошь давай, трехъ бы денъ не выжилъ на твоемъ озерѣ — ей Богу, право!.. По мнѣ, пискари эти да колюшки, мелкота эта, хошь бы ее вовсе не было! Самое пустое, нестоющее дѣло!.. И добро бы вволю-то было ихъ; а то, самъ говоришь: день-ото-дня плоше да плоше, нѣтъ ловли никакой... изъ чего-жъ бьешься-то?.. Не говорю о барышахъ — какіе барыши!.. Давай Богъ оброкъ комарникамъ за наемъ озера выплатить!.. Десять цѣлковыхъ въ годъ деньги невелики, а все взять откуда-нибудь надо!.. Ну, положимъ, сведешь концы съ концами, надо также и о своихъ нуждахъ подумать...

— Мои нужды небольшія, Глѣбъ Савинычъ: хлѣбушка кусочекъ, да свѣчку къ образу было бы изъ чего поставить — вотъ и всѣ мои нужды!

— Мало-мало, а все же надо! А ну, какъ рыба-то, пискари эти да колюшки... ну ихъ совсѣмъ... какъ совсѣмъ перестанутъ ловиться?

— Что-жъ?.. Его на то святая воля!.. Богъ далъ, Богъ и взялъ; никто окромя Него въ этомъ не властенъ.

— А ну, какъ плевокъ на нее нападетъ, на рыбу-то, тогда что?

— Заслужилъ, значитъ, тяжкими грѣхами своими; не должонъ и тогда роптать!

— Да вѣдь кормиться-то надо же. Знамо, человѣкъ безъ хлѣба не живетъ!..

— Самую что ни на-есть мелкую пташку, и ту не оставляетъ Господь безъ призрѣнія, Глѣбъ Савинычъ, и объ той заботится Творецъ милосердый! Много разсыпалъ Онъ по землѣ всякаго жита, много зеренъ на поляхъ и дорогахъ! Немало также и добрыхъ людей посылаетъ Господь на помощь ближнему-неимущему!.. Тогда... тогда къ тебѣ приду, Глѣбъ Савинычъ!

— Чѣмъ тогда кланяться, ступай лучше теперь: самъ зову!

— Нѣтъ, кланяться и тогда не стану: земля землѣ не кланяется!.. А такъ, зная твою добрую душу, приду, скажу: „не подъ силу, молъ, не смогу достать хлѣбецъ своими трудами; дай уголокъ помереть покойно“... только и скажу.

— Нѣтъ, тебя видно не уломаешь! Эхъ, дядя! дядя! право, какой!.. норовишь только, какъ бы вотъ меня къ осени безъ рукъ оставить,—ей Богу, такъ! заключилъ Глѣбъ, не то шутливо, не то задумчиво, потряхивая сѣдыми кудрями.

Такого рода объясненія происходили довольно часто между двумя стариками; съ приближеніемъ осени Глѣбъ сталъ еще убѣдительнѣе упрашивать дѣдушку Кондратія. Нельзя сказать, чтобы цѣль, управлявшая въ этомъ случаѣ Глѣбомъ, основывалась исключительно на одномъ разсчетѣ; нельзя сказать опять-таки, что разсчетъ не входилъ въ составъ убѣжденій Глѣба. Трудолюбивая, дѣятельная природа стараго рыбака возмущалась при видѣ бездѣйствія; почти въ равной степени возмущали ее труды и старанія, направленные безъ цѣли, не приносившіе ровно никакой пользы. Въ немъ невольно пробуждалось тогда какое-то досадливое сожалѣніе, что-то похожее на чувство, съ какимъ смотритъ добросовѣстный труженикъ на золото, выброшенное за окно рукою богача. Въ самомъ честномъ сердцѣ является невольное желаніе завладѣть этимъ брошеннымъ золотомъ. Глѣбу хотѣлось точно также воспользоваться руками сосѣда. „Что это, прости Господи!—ни себѣ, ни людямъ!“ думалъ Глѣбъ, который никакъ не могъ взять въ толкъ причины отказовъ старика; онъ не понималъ ея точно такъ же, какъ не понималъ, чтобы смерть жены могла заставить дѣдушку Кондратія наложить на себя обѣщаніе вѣчнаго поста. „Живи онъ у меня, по крайности хошь намъ выйдетъ черезъ него польза: мнѣ подсоблять станетъ!.. Да и ему лучше: округъ все свои, не чужіе; при дочери будетъ, при внучкѣ... вѣдь ластится же къ нему, не наглядится;

тогда хоть весь день возись съ нимъ! Такъ вотъ нѣтъ же, поди: уперся на своемъ, не уломаешь никакъ!.. Мыташится такъ, попусту, воду толчетъ на своемъ озерѣ... провались оно, пересохни совсѣмъ!" Такъ думалъ и говорилъ Глѣбъ; но убѣжденія его не подвигали впередъ дѣла: дѣдушка Кондратій оставался при своемъ. А между тѣмъ подошла осень. Батраки изъ Комарева не думали являться; впрочемъ, давно уже прошло время наймовъ. Въ году всего два срока: отъ вешняго Николы до Петровокъ; отъ Петровокъ до заговѣнья. Петровки были давно за горами, что-жъ касается до второго срока, надо было думать раньше: всѣ работники, какіе только были, находились уже по мѣстамъ. Глѣбъ самъ видѣлъ, какого далъ маху, самъ сознавался въ этомъ, и потому, чтобы какъ-нибудь извернуться, принялся за промыселъ съ какимъ-то пугливымъ усердіемъ. Старикъ не давалъ себѣ отдыха ни днемъ, ни ночью. Онъ трудился со всею горячностью, какую сохранила его кровь, его стариковскія жилы,—трудился съ тою неумѣренностью, какую прикладываетъ всякій простолюдинъ къ дѣйствіямъ, приносящимъ личную, существенную выгоду.

Не знаю, въ какой степени дѣйствуетъ на французскаго мужика или на англійскаго, перспектива барыша: надо полагать, одушевляетъ она и тѣхъ и другихъ въ равной степени, которая ничѣмъ не уступаетъ степени одушевленія русскаго мужика. Но разница есть, однакожъ, въ цѣли и послѣдствіяхъ пріобрѣтенія. Прибыль на волосъ не измѣнитъ матеріальнаго быта русскаго мужика: съ умноженіемъ средствъ охотно остается онъ въ той же курной избѣ, въ томъ же полушубкѣ; дѣти бѣгаютъ по прежнему босикомъ, жена по прежнему не моетъ горшковъ. Какъ бы ни были велики барыши русскаго простолюдина, единственное измѣненіе въ его домашнемъ быту будетъ заключаться въ двухъ-трехъ лубочныхъ картинкахъ, прибитыхъ вкривь и вкось, и на живую нитку, стѣнныхъ часахъ съ росписнымъ неизмѣримымъ циферблатомъ и кукушкой, и мѣдномъ, разъ въ вѣкъ луженомъ, никогда нечищенномъ самоварѣ. Былъ у меня одинъ знакомый старичокъ—увы! его уже нѣтъ на свѣтѣ!—который, имѣя тысячъ двѣсти капиталу въ Московскомъ опекунскомъ совѣтѣ, ходилъ въ поддевкѣ, въ заплатанныхъ сапогахъ. Это, положимъ, куда бы еще ни шло: надо быть снисходительнымъ къ старости. Но горе въ томъ, что онъ постоянно отказывался учить грамотѣ дѣтей своихъ: „не на что", говорилъ онъ, „нанять учителя!" Дѣтей своихъ онъ любилъ, однакожъ: ла-

скалъ ихъ и няньчилъ съ утра до вечера. Его усовѣщевали почти каждый день; каждый день ему говорили: „полноте гнѣвить Бога, перестаньте жаловаться на недостатокъ: всякій знаетъ, что у васъ есть деньги въ ломбардѣ.“ При этомъ старикъ выходилъ изъ себя и возражалъ съ горячностью: „Такъ развѣ то, что лежитъ въ ломбардѣ, деньги? развѣ можно ихъ тратить?.. это не деньги, это „капиталъ!“ Онъ умеръ съ искреннимъ убѣжденіемъ, что капиталъ— не деньги! Точка воззрѣнія нашего простолюдина на барыши, въ сущности, не измѣняется. Въ самомъ дѣлѣ такъ: посмотрите на житье-бытье нашихъ мѣщанъ, купцовъ средняго сословія, разбогатѣвшихъ мужиковъ, содержателей постоялыхъ дворовъ: въ ихъ домашнемъ быту не найдете вы ровно никакой перемѣны противъ того, какъ жили они безъ барышей, бѣдняками. А между тѣмъ хлопочутъ они съ утра до вечера, и рѣдко увидите вы ихъ руки праздными: въ дѣйствіяхъ видны даже какая-то суета и торопливость, какъ будто запоздали они съ какимъ-нибудь важнымъ дѣломъ и спѣшатъ нагнать потерянное время; замѣтно желаніе сдѣлать скоро, живьемъ, на живую нитку; мѣра на глазъ, вѣсъ на угадъ! какъ словно гонитъ кто, какъ словно нужда крайняя постигла, какъ словно не получить сегодня барыша, такъ завтра пропадать навѣрное! Въ виду барыша, они не щадятъ себя, рады уничтожиться, забываютъ, что руки ихъ и кости не желѣзныя. Изъ чего же вся эта ненасытная жажда къ пріобрѣтенію? изъ чего хлопочутъ, торопятся, мытащатся? какъ говоритъ Глѣбъ. Изъ чего, наконецъ, самъ Глѣбъ бьется какъ рыба объ ледъ? И добро бы управляла имъ на этотъ разъ его неугомонная, дѣятельная природа; но на этотъ разъ и того даже не было. Глѣбъ трудился противъ силъ; всегда крѣпкій и здоровый какъ дубъ, онъ не переставалъ жаловаться на поясницу, на ломоту въ плечахъ и ребрахъ, не переставалъ даже жаловаться на усталость, чего за нимъ отъ роду не водилось. Но обстоятельство это, вмѣсто того, чтобы ослабить въ немъ духъ, казалось, усиливало только ту принужденную пугливую дѣятельность, о которой мы говорили выше; не мало также способствовало къ тому время, которое, какъ на зло, сильнѣйшимъ образомъ благопріятствовало промыслу: рыба ловилась отлично. Взглянувъ на него, можно было думать, что отъ успѣха промысла настоящей осени зависѣла судьба всей его жизни, всего его семейства. Онъ рѣшительно выбивался изъ силъ.

— Полно тебѣ, Глѣбъ Савинычъ, утруждать себя такъ-то: вздохни маленько! не тѣ уже лѣта твои! частенько говорилъ дѣ-

душка Кондратій, видя, какъ сосѣдъ надрывался:—самъ говоришь, одышка добре пуще одолѣла; жалуешься, поясница болитъ. Какъ не болѣть, какой трудъ на себя принимаешь! Лѣта, знать, твои сказываются; сколько ни обманывай ихъ, сколько ни крѣпись, они свое возьмутъ... Смотри, какой трудъ на себя принимаешь: молодой, и тотъ умается. Полно, послушай меня, Господь благословилъ тебя достаткомъ: изъ чего хлопочешь?.. Въ твои года пересилишь, надорвешься, ввѣкъ потомъ не поправишь: наша стариковская кость хрупкая... Полно тебѣ надсажаться, вздохни, говорю!..

— Эхъ толкуешь ты, дядя! восклицалъ обыкновенно Глѣбъ, посмѣиваясь (удачливый промыселъ невольно веселилъ душу стараго рыбака);—что-жъ, по твоему, развѣсить сѣти, разложить верши по берегу, самому сѣсть, поджамши ноги, да смотрѣть, какъ щука хвостомъ бьетъ?.. Какъ у тебя на твоемъ на озерѣ пискари одни да колюшки, мелкота эта настоящая, такъ ты толкуешь!.. Вишь какое у насъ раздолье! вишь она, наша кормилица, рыбка-то, какъ разыгралась... радуется, значитъ, веселится!.. Хорошо говорить такъ-то передъ озеромъ сидючи, передъ лужей! а нутка-сь, усиди-ка здѣсь поди! наскучитъ глазами-то хлопать; самого небось разберетъ охота!.. вишь, какъ играетъ... вишь эвна! любо дорого смотрѣть-то! примолвилъ Глѣбъ, указывая рукою на круги, которые мѣстами появлялись на гладкой поверхности Оки, расширялись, разбѣгались серебряными обручами и наконецъ исчезали, уступая мѣсто другимъ кругамъ, которые такъ же быстро уносило теченіемъ.—А это мнѣ, что жалуюсь вотъ, одышка одолѣла да поясница болитъ,—это намъ ни по чемъ; наша кость не пареная, не нѣженая; слушать ее—вовсе на печку лечь!.. Придетъ зима, лежать-то и то наскучитъ... Не то время, дядя, отдыхать да проклажаться: вишь, какое сотворилъ Господь рожденье! Супротивъ такого времени и не запамятую!.. нечего, стало, тормозить руки. Усталъ! упыхался!.. знамо, упыхался!.. Дастъ Богъ, окончимъ благополучно промыселъ, пройдетъ осень, вздохну за всѣ дни!.. Самъ же говоришь: нашъ вѣкъ не дологъ, лѣта наши сосчитаны; дней, такъ и тѣхъ, я чай, немного начтешь!.. Поэтому надо тормошиться, нече упускать время!.. Можетъ-статься, не дожить ужь намъ съ тобою до такого рожденья, до такой осени; можетъ-статься, и до первой-то, до той осени не дотащимся... такъ что ужь тутъ жалѣть себя!.. По крайности хотя на послѣдяхъ-то натѣшусь, наловлю рыбки!.. А что, дядя Кондратій, безъ меня, какъ не буду—я чай, соскучится рыб-

ка-то? а? Почитай пятьдесять годковъ, безъ малаго, вмѣстѣ пожили... верши, и тѣ, я чай, востоскуютъ! какъ есть сиротами тогда останутся... ась? заключилъ Глѣбъ, посмѣиваясь, хотя въ сѣрыхъ глазахъ его, поочередно переходившихъ отъ лодокъ къ площадкѣ, отъ площадки къ Окѣ, не было замѣтно особенной веселости.

И, какъ бы испугавшись, что онъ долго заболтался съ сосѣдомъ, какъ бы опасаясь въ самомъ дѣлѣ не дожить до другого удачнаго лова, Глѣбъ принимался еще дѣятельнѣе за промыселъ.

Старикъ не могъ жаловаться на своего помощника. Гришка работалъ исправно. По крайней мѣрѣ онъ находился постоянно при Глѣбѣ, подсоблялъ ему во всѣхъ дѣлахъ и, что всего замѣчательнѣе, не обнаруживалъ уже прежняго своего неудовольствія. Онъ проводилъ, однакожъ, теперь всѣ свои ночи въ Комаревѣ. Зная Глѣба, трудно предположить, чтобы онъ добровольно закрылъ глаза на продѣлки своего питомца; кумовство Гришки съ Захаромъ и послѣдствія этого кумовства возбуждали, напротивъ того, сильнѣйшимъ образомъ подозрѣнія старика; онъ смотрѣлъ за нимъ во всѣ глаза. Но Гришка сдѣлался уже, въ свой чередъ, слишкомъ ловокъ и опытенъ, чтобы попасться въ просакъ, или въ „кошель“,—слово, заимствованное имъ у Захара. Глаза старика находили его всегда за работой; въ продолженіе цѣлаго дня молодой парень не давалъ хозяину своему повода быть недовольнымъ. Этимъ способомъ—самымъ вѣрнымъ способомъ, какимъ только можно было подѣйствовать на Глѣба—пріемышъ не замедлилъ освободиться отъ лишняго присмотра; онъ безпрестанно находилъ случай обманывать прозорливость стараго рыбака—прозорливость, которая, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, и безъ того становилась съ каждымъ днемъ менѣе опасною. Впрочемъ, всѣ эти хитрости доказывали только, что молодой парень, несмотря на свою опытность, шибко все-таки боялся старика, хотя предосторожности были напрасны: онъ могъ теперь безбоязненно, безгрозно исчезать по ночамъ. Съ наступленіемъ ночи, Глѣбу было ужь не до пріемыша: онъ радовался, что привелъ Господь дотащиться до саней, служившихъ ему ложемъ, или до печки. Что жъ касается до жены и до тетки Анны, Гришка принялъ также свои мѣры: онъ объявилъ женѣ, что если ночныя продѣлки его сдѣлаются извѣстными, онъ дня не останется въ домѣ: возьметъ жену, ребенка, отправится въ Комарево и наймется на миткалевой фабрикѣ. Дуня передала обо всемъ старушкѣ. Сноха и теща, нимало не сомнѣваясь, что Гриша приведетъ въ дѣйствіе

свое обѣщаніе, не только рѣшилась молчать, не только не показывали виду, но всячески даже старались, чтобы продѣлки его оставались тайною для старика. Обѣ дѣйствовали въ этомъ случаѣ весьма основательно. Подъ руководствомъ Захара и еще другихъ такихъ же негодяевъ изъ комаревскихъ фабрикъ, которые одинъ за другимъ пристали къ Захару и вскорѣ составили одну компанію, Гришка такъ развертывался, что въ самомъ дѣлѣ могъ потерять остатокъ страха и совѣсти, въ самомъ дѣлѣ могъ оставить домъ и увести жену, въ случаѣ, еслибъ Глѣбу вздумалось поднять руку или голосъ. Не приводилъ онъ въ исполненіе своихъ угрозъ потому лишь, что не видѣлъ въ этомъ пока надобности — жилось такъ, какъ хотѣлось: въ кабакъ Герасима являлся онъ однимъ изъ первыхъ, уходилъ чуть ли не послѣднимъ; такъ не могли располагать собою многіе фабричные ребята, у которыхъ хозяева были построже. Однимъ словомъ, въ ночное время Гриша былъ чуть ли еще не свободнѣе своихъ товарищей. Съ другой стороны, не видѣлъ онъ также никакой надобности бросать до поры до времени работу; онъ привыкъ къ рыбацкому ремеслу, оно казалось ему легче фабричнаго, къ которому надо было пріучаться да приловчаться. Къ тому же надо было какъ нибудь пробавляться; Захаръ и другіе товарищи также вѣдь работали,—не сидѣли же сложа руки! Соображая все это, пріемышъ началъ понемногу примиряться съ настоящимъ своимъ положеніемъ. Опытъ показалъ ему, что фабричная жизнь имѣла также свои невыгоды, житье у Глѣба, при существующихъ обстоятельствахъ, было чуть ли не лучше. Мрачное, озлобленное настроеніе молодого парня исчезало съ каждымъ днемъ; расположеніе его духа замѣтно улучшалось. Гришка, какъ мы видѣли, охотно даже подсоблялъ старику.

Совсѣмъ тѣмъ работа подвигалась все-таки не такъ успѣшно, какъ бы хотѣлось Глѣбу. Мудренаго нѣтъ: количество рыбы, попавшейся въ неводъ и верши разжигало старика; тутъ нужны были не четыре руки, а десять по крайней мѣрѣ. Вмѣсто четырехъ тоней, съ которыми старый рыбакъ и Гришка едва-едва успѣвали справиться въ продолженіе дня, можно было бы тогда управиться съ цѣлою дюжиной. Глѣбъ не переставалъ сокрушаться, что пропустилъ Петровки и не запасся своевременно работниками. Въ досадѣ своей, нерѣдко обращался онъ съ укоромъ къ дѣдушкѣ Кондратію.

— Эхъ, дядя, дядя! все ты причиною,—ей Богу, такъ!.. оста-

вилъ меня какъ есть безъ рукъ! говорилъ онъ всякій разъ, когда старикъ являлся на площадкѣ: — что головой-то мотаешь?... вѣстимо, такъ; самъ видишь: бьемся, бьемся съ Гришуткой, а толку все мало: ничего не сдѣлаешь!.. аль подсобить пришелъ?

— Коли помощь моя нужна, изволь! отвѣчалъ обыкновенно старикъ.

— Ой-ли?

Дѣдушка Кондратій, безъ малѣйшихъ разговоровъ, снималъ лапти, полушубокъ и присоединялся къ работающимъ. Помощь была, конечно, слабая; но какъ бы тамъ ни было, въ капиталѣ рукъ и силъ, необходимыхъ для приведенія въ дѣйствіе лишней тони, оказывалась все-таки маленькая прибыль. Это обстоятельство видимо поощряло усердіе Глѣба; онъ радовался точно такъ же, какъ радуется скупой, которому удалось поднять мелкую монету — бездѣлица, а все лучше, чѣмъ ничего. Принимая въ соображеніе воодушевленіе, съ какимъ старый рыбакъ принимался за промыселъ, можно было думать, что пособіе дѣдушки Кондратія превосходило даже его ожиданія. — „Ай да дядя! спасибо!“ не переставалъ восклицать онъ: „нѣтъ, какъ погляжу, клевъ нонѣ сталъ молодой-то народъ! Стары мы съ тобою, а все толкъ есть; борозды не портимъ! другому молодяку противъ насъ того-гляди не вытянуть, — ей Богу, право! То-то вотъ: коли хорошій жерновъ, такъ и старъ, а все свое дѣло сдѣлаетъ!“ Стариковская похвала оправдывалась, впрочемъ, какъ нельзя лучше на самомъ дѣлѣ: подобно старому воину, который, въ пылу жаркаго рукопашнаго боя, не замѣчаетъ нанесенныхъ ему ранъ, Глѣбъ забывалъ тогда, казалось, и ломоту въ ребрахъ и боль въ поясницѣ, забывалъ усталость, поперхоту и преклонные годы свои.

XXIII.

Потеря.

Но какъ бы тамъ ни было, тяжкіе трудовые дни, въ продолженіи которыхъ старый Глѣбъ, подстрекаемый присутствіемъ дѣдушки Кондратія, надрывался и работалъ безъ устали, или, какъ

самъ онъ говорилъ: „не берегъ себя, соблюдая промыселъ“,—такіе дни не проходили ему даромъ. Когда потухала вечерняя заря и старикъ возвращался домой, слабость и одышка овладѣвали имъ пуще прежняго; онъ съ трудомъ взбирался на крылечко, едва-едва могъ разогнуть спину. Нерѣдко текушка Анна и сноха ея принуждены были соединиться силами, чтобы подсобить ему подняться на печку. При всемъ томъ, оборони, помилуй Богъ, сказать ему, что причина всѣхъ его немощей происходитъ отъ излишняго труда и усилій: смерть не любилъ этого Глѣбъ. Онъ съ упорствомъ, съ досадою опровергалъ такіе доводы; старикъ ни за что не хотѣлъ этому вѣрить; онъ какъ будто старался даже обмануть самого себя.

— Что за напасть такая! точно право, крыша солгала — на спину обвалилась,—не разогнешь никакъ; инда духъ захватило... Съ чего бы такъ-то? Кажись, не пуще, чтобы отощалъ; въ хлѣбѣ недостачи не вижу; ѣмъ, примѣрно, вволю... выходитъ, нечего... говорилъ Глѣбъ, покрякивая на своей печкѣ, между тѣмъ какъ тетушка Анна подкладывала ему подъ голову свернутый полушубокъ.

— Батюшка, отецъ ты нашъ, послушай-ка, что я скажу тебѣ, подхватывала старушка, отодвигаясь, однакожъ, въ сторону и опуская руку на закраину печи, чтобы, въ случаѣ надобности, успѣшнѣе скрыться съ глазъ мужа:—послушай насъ... добро затрудилъ себя!.. шуточно дѣло, съ утра до вечера маешься; что мудренаго... не я одна говорю...

— Вѣстимо, батюшка, ласково подтверждала Дуня, отрываясь отъ люльки и подходя къ печкѣ;—отдохни день-другой; мы и то— я да матушка — хотѣли намедни сѣть поднять сухую-то, и то съ мѣста не сдвинули; а ты, видѣла я ноньче, одинъ съ нею управлялся...

— Врете вы обѣ! Послушай поди, что мелютъ-то! Сѣть вишь всему причиной!.. Эхъ ты, глупая, глупая! Мнѣ нешто съ ней, съ сѣтью-то, впервой возиться?.. Слава те Господи, пятьдесятъ лѣтъ таскаю — лиха не чаялъ; и тутъ бы вотъ потащилъ нонѣ, да съ ногъ смотался!

— Ну, не отъ сѣти, отъ другого чего, смиренно возражала жена: — ты бы, батюшка — вотъ ноньче печь истопили — ты бы попарился: все бы отлегло маленько...

— Ничаво; полежу, проваляюсь ночь-то: авось къ утру и такъ пройдетъ...

— Хорошо, кабы такъ-то...

— Надо полагать, все это пуще оттого, кровь добре привалила, продолжалъ Глѣбъ, морщась и охая: — кровища-то во мнѣ во всемъ ходитъ, добре въ жилахъ запечаталась... оттого, выходитъ, надо было мнѣ по веснѣ метнуть; а то три года почитай не пущалъ кровь-то...

— Вотъ то-то, отецъ родной, говорила я тебѣ объ этомъ... все: нѣтъ, да нѣтъ... Что ждать-то, право ну!.. сходи-ка-сь завтра въ Сосновку, отвори кровь-то; право слово, отпуститъ... А то ждешь, ждешь; ноньче нѣтъ, завтра нѣтъ... ну, что хорошаго? Вѣстимо, нѣтъ тебѣ отъ нея спокою... Полно кормилецъ... право ну, сходи!..

— Нѣтъ, теперь недосугъ, отвѣчалъ Глѣбъ, съ трудомъ приподнимаясь на локоть и переваливаясь на другой бокъ: — схожу опосля: работу порѣшить надо. И не то, чтобы ужъ очень прихватило... авось и такъ сойдетъ. Встану завтра, промнусь, легче будетъ...

Проминаніе Глѣба заключалась въ томъ, что онъ проводилъ часа три-четыре въ водѣ по поясъ, прогуливаясь съ неводомъ по мелководнымъ мѣстамъ Оки, дно которой было ему такъ же хорошо извѣстно, какъ его собственная ладонь. Разъ, однакожъ, послѣ такого „проминанья“, онъ вернулся домой задолго передъ закатомъ солнца: никогда прежде съ нимъ этого не случалось.

Несмотря на заманчивое плесканіе рыбы, которая съ приближеніемъ вечера начинала играть, покрывая зеркальную поверхность Оки разбѣгающимися кругами, старый рыбакъ ни разу не обернулся поглядѣть на рѣку. Молча приплелся онъ въ избу, молча легъ на печку. Въ отвѣтъ на замѣчаніе тетушки Анны, которая присовѣтовала было ему подкрѣпить себя лапшею, Глѣбъ произнесъ нетерпѣливо:

— Проваливай! и перевалился на другой бокъ.

Всю ночь сонъ старика былъ тревоженъ. Дуня и тетушка Анна нѣсколько разъ были пробуждены тихими охами и стонами. Совсѣмъ тѣмъ, на слѣдующее утро Глѣбъ всталъ еще раньше обыкновеннаго. День былъ сѣрый, ненастный, — настоящій осенній день: мелкій дождь, перемѣшанный съ крупою, косвенно ниспадалъ съ неба, затканнаго отъ края до края хребтами сизыхъ тучъ. Сѣверный вѣтеръ покрывалъ чешуйчатою рябью Оку, которая мрачно синѣла въ почернѣвшихъ, мокрыхъ берегахъ своихъ. Любо было бы пролежать такой день на печкѣ въ теплой избѣ. Особенно слѣ-

довало бы поступить такимъ образомъ старому Глѣбу, у котораго, благодаря, вѣроятно, наступившей сырости, всю ночь ломило кости; но Глѣбъ разсудилъ иначе. Онъ, не медля ни минуты, отправился къ лодкамъ. Онъ, очевидно, однакожъ, пересиливалъ свою немочь; шагъ его и движенія отличались въ это утро какою-то медленностію; онъ часто останавливался, потягивалъ руки, усиленно выгибалъ спину; каждое изъ этихъ движеній сопровождалось глухимъ стономъ и нетерпѣливымъ, досадливымъ потряхиваніемъ головы. Видно было, что онъ сильно негодовалъ на свою немощь. Онъ добрался, однакожъ, до конца площадки и началъ собирать неводъ. Косвенное направленіе дождя и крѣпкій восточный вѣтеръ плохо способствовали удачливой ловлѣ; но Глѣбъ забралъ въ голову ѣхать на промыселъ, и уже ничто въ мірѣ не въ силахъ было заставить его измѣнить такому намѣренію.—Отчаливай! сурово крикнулъ онъ Гришкѣ, который, сидя на носу съ веслами, не переставалъ слѣдить лукавыми глазами своими за движеніями старика. Лодка выѣхала въ рѣку. Забросили неводъ. Сверхъ всякаго ожиданія, въ неводѣ оказалось довольно много рыбы. При всемъ томъ, сѣдыя брови Глѣба оставались по прежнему нахмуренными. Мало этого: онъ прекратилъ ловлю и молча принялся убирать въ лодку неводъ. Кой-какъ справились, однакожъ, и Глѣбъ приказалъ грести къ берегу. Во все продолженіе переѣзда, онъ сидѣлъ склонивъ голову на грудь и задумчиво глядѣлъ на воду. „Что взялъ? небось, и тебя проняло?“ подумалъ пріемышъ, искоса посматривая на старика. Одежда Глѣба была мокра до послѣдней ниточки: дождь лилъ теперь какъ изъ ведра. Но Глѣбъ, какъ бы въ опроверженіе догадкамъ пріемыша, долго еще оставался на площадкѣ послѣ того, какъ сошелъ на берегъ. Онъ въ самомъ дѣлѣ чувствовалъ нестерпимый ознобъ во всѣхъ членахъ, — чувствовалъ, что холодъ прохватилъ его до самаго мозга. Руки его тряслись, ноги онѣмѣли; но онъ все еще крѣпился. Нахмуренное выраженіе его лица, досадливыя движенія ясно показывали, что онъ съ трудомъ рѣшался признать себя побѣжденнымъ старостію и погодою. Онъ упрямился и крѣпился до послѣдней минуты, наконецъ покинулъ берегъ: ему уже не въ мочь было стоять на ногахъ,—но и тутъ-таки, разъ или два, пересилилъ себя и вернулся къ лодкамъ; его точно притягивало къ рѣкѣ и лодкамъ какою-то непонятною силой. Онъ точно предчувствовалъ, что послѣдній разъ видится съ Окою и лодками. Мрачно, грустно, задумчиво было лицо старика, когда, взгля-

нувъ въ послѣдній разъ на рѣку, сталъ онъ подыматься по площадкѣ; онъ точно несъ на плечахъ своихъ гробъ ближайшаго родственника, котораго много любилъ при жизни. Войдя въ избу. Глѣбъ, противъ обыкновенія своего, не подошелъ даже къ люлькѣ, даромъ что ребенокъ кричалъ и протягивалъ къ нему свои розовыя голенькія ручонки. Ничто уже, повидимому, не радовало теперь старика,—не радовалъ даже запахъ горячихъ щей, которыя дымились на столѣ; онъ отказался отъ обѣда и молча улегся на печку. Тетушка Анна и Дуня заключили изъ всего этого, что лучше ужъ не приступать къ нему нынѣче.

Вечеромъ, въ тотъ же день, приплелся дѣдушка Кондратій.

— Вотъ, дядя, говорилъ ты мнѣ въ тѣ поры, какъ звалъ тебя въ домъ къ себѣ, говорилъ: „ты передо мной, что дубъ стогодовалый!“ молвилъ ты, стало-быть, не въ добрый часъ. Вотъ тебѣ и дубъ стогодовалый! всего разломило, руки не смогу поднять... Ты десятью годами меня старѣе... никакъ больше... а переживешь этотъ дубъ-атъ!.. проговорилъ Глѣбъ съ какою-то грустію и горечью, какъ будто упрекалъ въ чемъ-нибудь дѣдушку Кондратія.

— Полно, сосѣдъ... что ты загадываешь! Одинъ Создатель вѣдаетъ, что будетъ впереди... Богъ милостивъ!.. Авось еще поживешь съ нами..

— Нѣтъ, ужъ я не встану! отрывисто сказалъ Глѣбъ.

— Чѣмъ такъ-то говорить, помолись-ка лучше Богу: попроси у Него облегченія, продлилъ бы дни твои! Теплыя наши молитвы, по милосердію Божію, дойдутъ до Господа...

— Болѣзнь во всемъ во мнѣ ходитъ: гдѣ ужъ тутъ встать! проговорилъ Глѣбъ тѣмъ же отрывистымъ тономъ:—надо просить Бога грѣхи отпустить!.. Нѣтъ, ужъ мнѣ не встать! Подрубленнаго дерева къ корню не приставишь. Коли разъ подрубили, свалилось, тутъ, стало, и лежать ему—сохнуть... Весь разнемогся. Какъ есть, всего меня разломило.

— Усталому-то послѣдняя верста тяжелѣе пяти первыхъ кажется... вздохнешь маленько, Богъ дастъ, поправишься...

— Пятьдесятъ лѣтъ уставалъ каждый день, лиха не чаялъ... не отъ того совсѣмъ! перебилъ Глѣбъ.

— Мало ли что, Глѣбъ Савинычъ! года твои не тѣ были. Много на нихъ понадѣялся... Я говорилъ тебѣ не однова: полно, говорилъ, утруждать себя, вздохни; ты не слушалъ тогда...

— Слушать-то нечего! нетерпѣливо перебилъ Глѣбъ:—по твоему, брось работу, самъ на печку ложись!

— Оборони, помилуй Богъ! не говорилъ я этого; говоришь: всякъ долженъ трудиться, какіе бы ни были года его. Только надо дѣлать дѣло съ разсудкомъ... потому время неровно... вотъ хоть бы теперь: время студеное, несносное... самая что ни-на-есть кислота теперь... а ты все въ водѣ мочишься... знамо, долго ли до грѣха,—долго ли застудиться...

— Наша вода мягкая: съ нея ничего не сдѣлается... не отъ того совсѣмъ! упрямо заключилъ Глѣбъ и повернулся спиною къ собесѣднику, какъ бы желая показать ему, что не стоитъ продолжать разговора.

Съ этого дня онъ не вставалъ уже съ печки. Трудно опредѣлить, въ чемъ именно состояла болѣзнь Глѣба. Отвергая съ такимъ упрямствомъ догадки домашнихъ, которые единодушно утверждали, будто немощь его происходила отъ простуды, онъ былъ, можетъ-статься, болѣе правъ, чѣмъ казалось. И въ самомъ дѣлѣ, еслибъ пребываніе въ студеной водѣ могло сокрушить Глѣба,—еслибъ ненастье, лютый вѣтеръ, мокрая одежда, просыхавшая не иначе, какъ на тѣлѣ, въ состояніи были производить на него какое-нибудь дѣйствіе, Глѣбу давнымъ-давно слѣдовало умереть. Его не стало бы съ двадцати-лѣтняго возраста. Тогда еще началъ онъ заниматься промысломъ. Каждый годъ, послѣ этого, въ глухую осень, когда Ока начинала стынуть и покрывалась тонкою корою ледяныхъ иглъ, онъ проводилъ цѣлые дни въ водѣ по поясъ, и все таки ничего ему не дѣлалось. Оттого, и доживъ до семидесяти лѣтъ, онъ не хотѣлъ вѣрить простудѣ. Самый ледъ могъ уже казаться ему „мягкою водою“. Вообще говоря, въ простонародьи такъ же рѣдко умираютъ отъ простуды въ зрѣлыхъ годахъ, какъ часто умираютъ отъ той же причины въ молодости. Оно понятно: выдержавъ все то, что выдерживаютъ крестьянскіе работники, человѣкъ смѣло считаетъ себя невредимымъ, какъ бы застрахованнымъ отъ вліянія всевозможныхъ непогодъ и невзгодъ. Слова: „здоровякъ, крѣпышъ, усилокъ“, которыми величаютъ въ простонародьи крѣпкаго человѣка, по моему, еще слабо выразительны. Это просто богатыри со сталью вмѣсто кожи, каменными мышцами и желѣзными костями. Простолюдинъ зрѣлыхъ лѣтъ дѣлается по большей части жертвою удара, ушиба, порванныхъ жилъ, старости и, наконецъ, истощенія физическихъ силъ — необходимое слѣдствіе того неумѣреннаго, принуж-

денно-усиленнаго труда, о которомъ говорили мы въ предшествовавшей главѣ. По всей вѣроятности, это послѣднее обстоятельство свалило Глѣба. Онъ уже не чувствовалъ теперь никакой боли,— чувствовалъ только, какъ силы оставляли его и какъ постоянно слабли его члены. Послушался бы Глѣбъ дѣдушку Кондратія, поберегъ бы силы свои, ихъ стало бы, можетъ статься, на долго. Силы Глѣба были исчерпаны до послѣдней капельки. Едва-едва доставало на то, чтобы поднять руку для крестнаго знаменія. При всемъ томъ, Глѣбъ слышать не хотѣлъ о сосновскихъ ворожеяхъ и знахаряхъ, которыхъ предлагала ему жена. Такое же невниманіе встрѣчала тетушка Анна, когда, теряясь въ скорбныхъ догадкахъ, совѣтовала ему „порубить“ спину, попариться въ печкѣ и пустить кровь. Онъ съ упрямствомъ отказывался отъ всякаго пособія. „Такъ ужъ знать Господомъ Богомъ положено. Коли жить написано, такъ проживу и безъ этого; коли помереть суждено, такъ ужъ тутъ нечего хлопотать. Человѣкъ надъ смертью не властенъ!“ Это былъ единственный отвѣтъ Глѣба на всѣ совѣты и замѣчанія домашнихъ. Въ критическую минуту, слѣпо отдаваясь на волю провидѣнія, Глѣбъ не унывалъ духомъ. Вѣра подкрѣпляла его. Онъ не терялъ надежды и, повидимому, ждалъ выздоровленія. А между тѣмъ жизнь замѣтно оставляла стараго Глѣба. Тѣло его уже только поддерживалось душою, которая до послѣдней минуты сохраняла всю свою энергію. Казалось даже, дѣятельность, оживлявшая когда-то старика, перешла теперь вся въ его душу. Онъ не переставалъ говорить о промыслѣ, не переставалъ заботиться о хозяйственныхъ дѣлахъ своихъ, входилъ въ мельчайшія подробности касательно домашняго управленія, не переставалъ сокрушаться о томъ, какія произойдутъ упущенія. Тѣло Глѣба безжизненно почти лежало на печкѣ, но душа его присутствовала всюду. Двадцать разъ на дню призывалъ онъ жену или Дуню, посылалъ ихъ въ такое-то мѣсто двора и приказывалъ исправить такой-то предметъ. Иногда все дѣло состояло въ томъ, что надо было переложить вѣрши изъ одного угла въ другой, или вынуть такой-то шестъ и поставить на его мѣсто другой. Гришка не выходилъ у него изъ головы. Онъ поминутно посылалъ за нимъ, заставлялъ его разсказывать о томъ, какъ идетъ промыселъ, входилъ во всѣ мелочи, давалъ ему наставленія. Первый вопросъ, съ какимъ онъ обращался къ дѣдушкѣ Кондратію, когда тотъ приходилъ навѣстить его, былъ всегда слѣдующій: „Ну, что, дядя, какъ ловится рыбка?“ Нерѣдко духъ Глѣба проникался

тревогою и сомнѣніемъ. Ему казалось, что домашніе исполняютъ наперекоръ всѣ его приказанія, что все идетъ не такъ, какъ бы слѣдовало, что домъ и все хозяйство гибнутъ отъ ихъ нерадѣнія. Слова старика показывали, что память не измѣнила ему. Онъ помнилъ мельчайшія подробности изъ жизни своихъ домашнихъ, но выбиралъ тѣ именно случаи, которые могли подтвердить его подозрѣнія. Онъ осыпалъ ихъ упреками, грозилъ лишить ихъ благословенія. Голосъ старика, прерывавшійся почти на каждомъ словѣ, звучалъ тогда негодованіемъ. Страшно было смотрѣть на Глѣба. Одно только появленіе дѣдушки Кондратія въ силахъ было унять его. Душеспасительныя слова кроткаго, набожнаго старца мгновенно возвращали спокойствіе встревоженной душѣ Глѣба. Дѣдушка началъ ходить каждый день и просиживалъ въ избѣ рыбака съ утра до вечера.

Разъ Глѣбъ не встрѣтилъ уже его обычнымъ вопросомъ своимъ о томъ, какъ ловится рыбка.

Глаза стараго рыбака были закрыты; онъ не спалъ, однакожъ; морщинки, которыя то набѣгали, то сглаживались на высокомъ лбу его, движеніе губъ и бровей, ускоренное дыханіе ясно свидѣтельствовали присутствіе мысли; въ душѣ его должна была происходить сильная борьба. Мало-по-малу лицо его успокоилось; дыханіе сдѣлалось ровнѣе; онъ точно заснулъ. По прошествіи нѣкотораго времени, съ печки снова послышался его голосъ. Глѣбъ подозвалъ жену и сказалъ, чтобы его перенесли на лавку къ окну.

Тетушка Анна, Дуня, дѣдушка Кондратій и пріемышъ поспѣшили исполнить его волю.

Пять минутъ спустя, Глѣбъ лежалъ на лавкѣ, устланной соломой.

Голова Глѣба, приподнятая свернутыми полушубками, была обращена, по его просьбѣ, къ окну.

Взглянувъ на исхудалое, изнеможенное лицо своего мужа, на его руки — когда-то мощныя и крѣпкія руки, похожія на вѣтвь стараго вяза, но высохшія какъ щепки и безжизненно сложенныя на груди, тетушка Анна вдругъ зарыдала.

Старушка не могла дать себѣ отчета въ своихъ чувствахъ: она не объяснила бы, почему рыданіе вырвалось у нея теперь, а не прежде; тутъ только поняла она почему-то, что уже не оставалось малѣйшей надежды; тутъ только, въ виду смерти, осмыслила она

всю силу пятидесятилѣтней привязанности своей, всю важность потери.

— Полно, старуха, сказалъ Глѣбъ, находившійся, вѣроятно, подъ вліяніемъ однихъ мыслей съ женою: — перестань убиваться; надо же когда-нибудь умереть... всѣ мы смертны! Пожили пятьдесятъ годковъ вмѣстѣ... ну, пора и разставаться. Всѣ мы здѣсь проходимцы!.. разстаемся не надолго... скоро всѣ свидимся... полно!..

Голосъ Глѣба былъ спокоенъ и вполнѣ отвѣчалъ спокойному выраженію лица его. Послѣдняя искра надежды на выздоровленіе погасла уже въ душѣ его: онъ сознавалъ теперь близкую свою кончину. Въ послѣдніе два дня старикъ помышлялъ только о спасеніи души своей; онъ приготовлялся къ смерти; въ эти два дня ни одно житейское помышленіе не входило въ составъ его мыслей; вмѣстѣ съ этимъ, какая-то отрадная, невѣдомая до того тишина воцарялась постепенно въ душѣ его; онъ говорилъ теперь о смерти такъ же спокойно, какъ о вѣрномъ и вѣчномъ выздоровленіи.

— Полно вамъ убиваться!.. что обо мнѣ плакать-то! Мое дѣло рѣшенное. Лучше о себѣ подумайте, продолжалъ Глѣбъ (жена его, Дуня, пріемышъ и дѣдушка Кондратій окружили лавку): —о себѣ, говорю, подумайте: оставляю вамъ немного... Ты, жена, не больно изъянься на мои похороны: мертвому немного надо; похорони, какъ хоронили, примѣрно, свата Акима, —такъ и меня похорони... Положи только тѣло мое въ Сосновку: хочу лежать подлѣ покойныхъ малыхъ дѣтокъ своихъ и сродственниковъ... тамъ меня положи. Образъ отпусти со мной тотъ, въ серебряной ризочкѣ, что Ваню-то благословляли... это послѣдняя моя воля... окромя этого образа все вамъ оставляю. Живите, какъ при мнѣ жили; жилъ я, какъ жили отцы мои и дѣды, и вы тому слѣдуйте... Не оставлялъ меня Господь, и васъ тогда не оставитъ!.. Проживете съ мое, и васъ сподобитъ умереть спокойно. Въ одномъ только отказалъ мнѣ Творецъ милосердый, подхватилъ со вздохомъ старикъ: —не привелъ... не далъ въ послѣдній разъ наглядѣться... на... Ваню... Не забывай его, смотри, жена!.. не забывайте и всѣ его!.. милъ былъ онъ моему сердцу, любилъ я его... супротивъ всѣхъ другихъ любилъ... Приведетъ вамъ Господь увидѣть его... передайте ему мое родительское благословеніе, на вѣки нерушимое. Умиралъ старикъ, скажите, — умиралъ, его, милаго дѣтища, поминаючи... такъ и скажите ему!..

Тутъ голосъ Глѣба, до той минуты ровный и спокойный, какъ словно оборвался; онъ закрылъ глаза и замолкъ.

Тетка Анна и Дуня плакали навзрыдъ. Дѣдушка Кондратій давно уже не плакалъ: всѣ слезы давно уже были выплаканы; но тоска, изображавшаяся на кроткомъ лицѣ его, достаточно свидѣтельствовала о скорбныхъ его чувствахъ. Одинъ пріемышъ казался спокойнымъ. Онъ стоялъ склонивъ голову; ни одна черта его не дрогнула во все продолженіе предшествовавшей рѣчи.

— Гриша, сказалъ неожиданно Глѣбъ: —ты, Гриша, заступишь теперь мое мѣсто, будешь жить все одно какъ сынъ родной въ дому... Исполни послѣднюю мою родительскую волю: не оставляй старуху ,береги ее, все одно, что мать родную... Мы берегли тебя смолоду, ростили, поили, кормили, какъ роднаго дѣтища — должонъ это помнить. Коли оставишь ты ее, не будетъ тебѣ моего благословенія!.. Не будетъ также моего благословенія, коли не станешь соблюдать жену свою, не станешь почитать тестя... какъ меня слушалъ, такъ и его слушайся; почитай его, все одно, какъ отца роднаго... А это, что вотъ пріятели смущать будутъ, этого ты не слушай!.. это значитъ, врагъ путаетъ! Пріятели на одинъ часъ, родные—на всю жизнь... ихъ почитай и слушай!.. Ты ужъ не малолѣтній: самъ должонъ видѣть, что хорошо, что худо. Не послушаешь меня, отыму благословеніе!.. Востоскуетъ душа моя, что оставилъ злодѣя въ семьѣ своей. Господь отъ тебя откажется, и не будетъ тебѣ тогда никакой радости въ жизни!.. Смотри же, Гриша, веди себя крѣпко, живи по закону... Смотри же, не обмани меня! Ты вся моя надежда теперь... окромя тебя и Вани, нѣтъ у меня... окромя васъ, нѣтъ другихъ дѣтей! заключилъ Глѣбъ, причемъ на лицѣ его изобразилась вдругъ тоска.

Онъ, очевидно, хотѣлъ еще что-то прибавить, но дѣдушка Кондратій, догадавшись, вѣроятно, о чемъ пойдетъ рѣчь, поспѣшилъ предупредить его.

— Полно Глѣбъ Савинычъ, сказалъ онъ:—полно, слободи ты свою душу... Христосъ велѣлъ прощать лютымъ врагамъ своимъ... уйми свое сердце!.. вспомяни и другихъ дѣтей своихъ... вспомяни и благослови Петра и Василія.

Лицо Глѣба мгновенно приняло строгое выраженіе; лобъ покрылся морщинками, сѣдыя брови нахмурились.

— Помилуй ихъ, Глѣбъ Савинычъ, продолжалъ дѣдушка Кондратій.

— Батюшка, помилуй! рыдая, воскликнула Анна.

— Глѣбъ Савинычъ! подхватилъ отецъ Дуни:—единъ Богъ

властенъ въ нашей жизни! сегодня живы — завтра нѣтъ насъ... нашъ путь къ землѣ близокъ; скоро, можетъ, покинешь ты насъ... ослободи душу свою отъ тяжкаго помышленія! Наказалъ ты ихъ довольно при жизни... Спаситель прощалъ въ смертный часъ врагамъ своимъ... благослови ты ихъ!..

— Прощаю всѣмъ врагамъ моимъ, какіе у меня были... имъ прощаю... прощаю наровнѣ съ другими, сказалъ Глѣбъ.

— Этого мало, Глѣбъ Савинычъ! они дѣти твои: должонъ благословить ихъ!..

— Нѣтъ, они мнѣ не дѣти! никогда ими не были! надорваннымъ голосомъ возразилъ Глѣбъ. —На что имъ мое благословеніе? сами они отъ него отказались. Вѣкъ жили они ослушниками! отреклись — была на то добрая воля — отреклись отъ отца родного, отъ матери, убѣжали изъ дому моего... посрамили мою голову, посрамили всю семью мою, весь домъ мой... оторвались они отъ моего родительскаго сердца!...

— Все же они дѣти твои, убѣдительно произнесъ дѣдушка Кондратій: —какая ихъ жизнь будетъ безъ твоего благословенія? И теперь, можетъ-статься, изныла вся душа ихъ... не смѣютъ предстать на глаза твои... Не дай имъ умереть безъ родительскаго твоего благословенія... Ты видѣлъ ихъ согрѣшающихъ,—не видишь кающихся... Глѣбъ Савинычъ!..

Строгость, изображавшаяся въ чертахъ Глѣба, постепенно смягчалась; но онъ не произнесъ, однакожъ, слова.

Грустно было выраженіе лица его. Жена, Дуня, пріемышъ, Кондратій не были его родныя дѣти; родныя дѣти не окружали его изголовья. Онъ думалъ умереть на рукахъ дѣтей своихъ — умиралъ почти круглымъ, бездѣтнымъ сиротою. Онъ долго, почти все утро, оставался погруженнымъ въ молчаливое, тягостное раздумье; глаза его были закрыты; время отъ времени изъ широкой, но впалой груди вырывался тяжелый, продолжительный вздохъ.

Около полудня онъ снова раскрылъ глаза.

— Подымите меня... сказалъ онъ ослабѣвшимъ голосомъ.

Дуня и тетушка Анна посадили старика на лавку; обѣ держали его подъ руки.

Глаза Глѣба медленно обратились тогда къ окну, изъ котораго виднѣлись: часть площадки, лодки, опрокинутыя на берегу и Ока.

Дальній берегъ и луга застилались мелкимъ, частымъ дождемъ. Былъ сѣрый, ненастный день; вѣтеръ уныло гудѣлъ вокругъ дома;

капли дождя обливали и безъ того уже тусклыя стекла маленькаго окошка. Мрачно синѣла Ока, мрачно глядѣлъ темный берегъ и почернѣвшія, вымоченныя лодки. Печальный видъ осенняго дня соотвѣтствовалъ, впрочемъ, какъ нельзя лучше тому, что происходило въ самой избѣ.

— Прощай, матушка Ока!.. сказалъ Глѣбъ, безсильно опуская на грудь голову, но не отнимая тусклыхъ глазъ своихъ отъ окна:— прощай, кормилица... Пятьдесятъ лѣтъ кормила ты меня и семью мою... Благословенна вода твоя! благословенны берега твои!.. намъ ужъ больше не видаться съ тобою!.. Прощай и вы!.. проговорилъ онъ, обращаясь къ присутствующимъ:—прощай, жена!..

Старушка зарыдала такъ сильно, что дѣдушка Кондратій поспѣшилъ занять ея мѣсто и взялъ подъ руку Глѣба.

— Полно печалиться, продолжалъ Глѣбъ:—не молода ты: скоро свидимся!.. Смотри же, поминай меня... не красна была твоя жизнь... ну, что дѣлать!.. а ты все добромъ поминяи меня!.. Смотри же, Гриша, береги ее: недолго ей пожить съ вами... не красна ея была жизнь! береги ее. И ты, сноха, не оставляй старуху, почитай ее, какъ мать родную... и тебя подъ старость не оставятъ дѣти твои... Дядя!..

Дѣдушка Кондратій наклонилъ бѣлую свою голову.

— Прощай, дядя!.. продли Господи дни твои! Утѣшалъ ты меня добрыми словами своими... утѣшай и ихъ... не оставляй совѣтомъ. Худому не научишь... Господь вразумилъ тебя.

Глѣбъ долго еще прощался съ домашними; онъ хотѣлъ видѣть каждаго передъ глазами своими, поочередно поцѣловалъ ихъ и перекрестилъ слабою, едва движущеюся рукою. Наконецъ онъ потребовалъ священника.

Гришка тотчасъ же отправился въ Сосновку.

Вплоть до самаго вечера Глѣбъ находился въ какомъ-то безпокойствѣ: онъ метался на лавкѣ и поминутно спрашивалъ: „скоро ли пріѣдетъ священникъ?“ душа его боролась уже со смертію; онъ чувствовалъ уже прикосновеніе ея и боялся умереть безъ покаянія. Жизнь дѣйствительно замѣтно оставляла его; онъ угасалъ, какъ угасаетъ лампада, когда масло, оживлявшее ее, убѣгаетъ въ невидимое отверстіе.

Поздно вечеромъ пріѣхалъ священникъ. Дѣдушка Кондратій и старуха встрѣтили его въ воротахъ и замолвили ему о старшихъ сыновьяхъ—Петрѣ и Васильѣ.

Дуня, ея отецъ, теща и мужъ оставались на крылечкѣ.

По прошествіи нѣкотораго времени, духовникъ уѣхалъ, объявивъ напередъ, что старикъ исполнилъ ихъ желаніе и велѣлъ имъ передать Петру и Василію родительское свое благословеніе.

Когда они вернулись въ избу, Глѣбъ лежалъ безъ языка.

Трепетный блескъ свѣчи подъ образами освѣщалъ безжизненное лицо его съ черными впадинами вмѣсто глазъ, съ заостренною, холодною профилью, которая рѣзко отдѣлялась на совершенно почти темной стѣнѣ. Онъ казался мертвымъ, и только легкое, едва примѣтное движеніе рубашки на груди показывало, что духъ его не покинулъ еще земли. Тетка Анна и за ней поочередно всѣ присутствующіе прикладывали поминутно уши свои къ губамъ его, въ надеждѣ услышать послѣднее слово, послѣднюю волю умирающаго. Въ простонародьи послѣднее слово покойника свято сохраняется домашними: оно переживаетъ другія воспоминанія, часто упоминается въ семейныхъ бесѣдахъ, часто даже переходитъ къ внукамъ.

Но Глѣбъ ничего ужъ не сказалъ.

Дѣдушка Кондратій, который во всю ночь не покидалъ его изголовья, принялъ на зарѣ послѣдній вздохъ Глѣба и закрылъ ему глаза.

— Полно, сказалъ онъ, обратясь къ старухѣ, которая рыдала и причитала, обнимая ноги покойника:—не печалься о томъ, кто отъ грѣха свободенъ!.. не тревожь его своими слезами... Душа его еще между нами... дай ей отлетѣть съ миромъ, безъ печали... Была, знать, на то воля Господня... Богу хорошіе люди угодны...

Въ то время, какъ обмывали покойника, дѣдушка Кондратій съѣздилъ на озеро за псалтыремъ. И вскорѣ въ избѣ, посреди глухихъ, затаенныхъ стоновъ, послышалось мѣрное, колеблящееся чтеніе, при свѣтѣ желтой восковой свѣчки, которая освѣщала почтенную, убѣленную честными сѣдинами голову дѣдушки Кондратія.

Дня черезъ три, въ воскресенье, у воротъ рыбакова дома и на самомъ дворѣ снова стояли подводы; снова раздавались въ избѣ говоръ и восклицанія. Можно было подумать, что тутъ снова происходило какое-нибудь веселье.

Но желтая гробовая крышка, прислоненная къ воротамъ, краснорѣчиво опровергала неумѣстное предположеніе; длинные шесты, перевязанные веревками, ясно уже показывали, къ чему съѣхались на этотъ разъ сосновскіе родственники и родственницы.

Немного погодя, со двора послышалось протяжное пѣніе и, минуту спустя, сѣрый осенній день освѣтилъ погребальное шествіе.

Позади гроба, передъ толпою, шли дѣдушка Кондратій и Дуня, немного поодаль виднѣлся Гришка. За толпою ѣхала телѣжка, въ которой лежала рыдавшая, осиротѣвшая теперь старушка.

Шествіе обогнуло избу и медленно стало подниматься въ гору. Вскорѣ все исчезло; одинъ только гробъ долго еще виднѣлся подъ темною линіею высокаго берегового хребта и, мѣрно покачиваясь на плечахъ родственниковъ, какъ словно посылалъ прощальные поклоны Окѣ и площадкѣ...

XXIV.

Первою мыслію Гришки послѣ похоронъ Глѣба было отправиться какъ можно скорѣе въ Комарево. Болѣзнь стараго рыбака— если считать съ того дня, когда онъ въ послѣдній разъ занимался промысломъ, до той минуты, когда испустилъ послѣдній вздохъ— продолжалась три недѣли. Во все это время Гришка рѣдко, украдкою, видѣлся съ Захаромъ и другими комаревскими товарищами. Не мѣшаетъ замѣтить, онъ терпѣливо сносилъ, однакожъ, свое положеніе, онъ не показывалъ даже особеннаго неудовольствія, когда старикъ, въ припадкѣ тревожной подозрительности, заставлялъ его вставать по ночамъ и посылалъ посмотрѣть, все ли обстоитъ благополучно на дворѣ и подлѣ лодокъ.

По всей вѣроятности, Гришка обнадеживалъ уже себя тѣмъ, что недолго остается терпѣть такимъ образомъ, что скоро, можетъ-статься, заживетъ онъ по своей волѣ, и что, слѣдовательно, не стоитъ заводить шума. Быть можетъ, и это всего вѣроятнѣе, остатокъ совѣсти—чувство, которое, благодаря молодымъ лѣтамъ, не успѣло совсѣмъ еще погаснуть въ сердцѣ пріемыша — держало его въ повиновеніи у изголовья умирающаго благодѣтеля.

Въ послѣдніе пять дней Гришкѣ ни разу не удалось урваться въ Комарево; на него пали всѣ хлопоты и распоряженія касательно похоронъ; чуть ли не по два раза въ день принужденъ онъ былъ бѣгать въ Сосновку. Онъ не могъ располагать свободной минутой. Захаръ и товарищи ничего, слѣдовательно, не знали еще о

*

кончинѣ Глѣба. Извѣстіе это имѣло, впрочемъ, значеніе для одного Захара. Послѣ смерти рыбака онъ долженъ былъ бросить миткальную фабрику и перебраться на жительство къ пріемышу, который дѣлался полнымъ хозяиномъ въ домѣ усопшаго. Пріятели заранѣе въ этомъ условились; условіе было даже скрѣплено, въ свое время, штофомъ вина.

При всемъ томъ, въ настоящую минуту, Гришка мало помышлялъ о Захарѣ. Онъ спѣшилъ въ Комарево, имѣя въ виду одну цѣль: показаться товарищамъ въ новомъ свѣтѣ, хвастнуть передъ ними завидною своей долей. Онъ не зналъ еще хорошенько, какое сдѣлаетъ употребленіе изъ сегодняшняго дня, не зналъ также, къ какому способу прибѣгнетъ, чтобы вѣрнѣе удивить товарищей. Новое положеніе, о которомъ онъ мечталъ столько времени, наконецъ осуществилось. При этой мысли, голова его шла кругомъ, въ ушахъ шумѣло, сердце прыгало отъ нетерпѣнія. Онъ чувствовалъ непобѣдимую, непреклонную потребность расходиться, разгуляться, закрутиться сутокъ на пять по крайней мѣрѣ.

Къ сожалѣнію, Гришка не могъ поспѣть въ Комарево раньше вечера; помѣшали сосновскіе родственники, которые, по заведенному обычаю, пріѣхали прямо съ погоста поминать покойника. Поминки, начавшіеся далеко за полдень, продолжались вплоть до заката. Волей-неволей, надо было ждать.

Было уже совершенно темно, когда Гришка очутился у комаревской околицы.

Въ такую позднюю пору, особенно осенью, пахатныя деревушки давнымъ-давно уже спятъ. Земледѣлецъ, обнадеженный скирдою ржи, которою наградилъ его Господь за труды, ложится теперь рано. Въ сумерки вы не увидите огонька, не услышите звука въ пахатной деревушкѣ. Но Комарево, подобно всѣмъ промышленнымъ фабричнымъ селамъ, не утихало раньше полуночи. По вечерамъ, благодаря окрестной тишинѣ и темнотѣ ночи, которая позволяла любоваться сотнями ярко освѣщенныхъ оконъ, дѣятельность Комарева становилась еще замѣтнѣе. Длинныя, багровыя полосы, пересѣкавшія главную улицу — центръ фабрикъ и дѣятельности, — огни, повторявшіеся въ лужахъ, дикія взвизгиванія и пѣсни, глухо раздававшіяся внутри домовъ, страшная трескотня, производимая тысячью миткалевыхъ становъ на всемъ ходу, — все это придавало Комареву какой-то фантастическій видъ, вовсе несвойственный обыкновеннымъ деревнямъ. На главной улицѣ не было окна,

въ которомъ бы не горѣли огни и не двигались человѣческія фигуры, сгорбленныя въ три погибели и качавшіяся взадъ и впередъ какъ маятники. Въ эту пору въ Комаревѣ спали однѣ только тучныя, расплывшіяся жены хозяевъ фабрикъ и не менѣе тучныя дѣти ихъ. Остальное народонаселеніе, начиная съ семилѣтнихъ мальчиковъ и дѣвочекъ и кончая шестидесяти-лѣтними стариками, неутомимо работало: сидѣло перегнувшись надъ станомъ или разматывало шпули. Разсчетъ и нужда управляли здѣсь большимъ и малымъ. Самое время имѣло здѣсь свое особенное разсчисленіе. Трудовой день не обусловливался восходомъ и закатомъ солнца, какъ въ пахатной деревнѣ; онъ опредѣлялся числомъ аршинъ сотканнаго ситцалю. Часы мѣряли аршинами: часъ приносилъ работнику семь копеекъ; размотанная шпуля приносила копейку. Барышъ или убытокъ каждаго ткача, каждаго размотчика зависѣли отъ нихъ самихъ. Всѣ бились изъ-за барышей и работали, слѣдовательно, безъ устали.

По этому самому, комаревскія улицы были совершенно почти пусты. Во все время, какъ Гришка пробирался къ фабрикѣ, гдѣ работалъ Захаръ, онъ не встрѣтилъ души. Изрѣдка до слуха его доходили торопливое шлепанье по лужамъ, затаенный возгласъ или шушуканье. Разъ, впрочемъ, наткнулся онъ и сшибъ съ ногъ мальчишку, перелетавшаго стрѣлою улицу и посланнаго съ пустымъ штофомъ къ Герасиму.

Отвѣсивъ мальчику подзатыльникъ за оплошность, пріемышъ молодцовато поправилъ шапку и направился къ двухъ-этажному зданію, стѣны и кровля котораго сливались съ мракомъ, между тѣмъ какъ верхній и нижній рядъ оконъ горѣли какъ отдушины огромной плавильной печи. Онъ не вошелъ, однакожъ, на крыльцо: проникнуть во внутренность фабрики, переговорить съ Захаромъ при свидѣтеляхъ и вызвать его на улицу— значило накликать со стороны хозяина или приказчика градъ упрековъ и брань на голову товарища. Для избѣжанія всего этого, фабричными ребятами придуманъ былъ слѣдующій порядокъ: постороннее лицо, нуждавшееся въ комъ-нибудь изъ нихъ, должно было прежде всего обойти весь нижній рядъ оконъ, высмотрѣть какое-нибудь знакомое лицо, ближайшее къ окну, и затѣмъ слегка постучать пальцемъ въ стекло. Знакомое лицо дѣлало видъ, какъ будто ничего не замѣчаетъ, но, минуту спустя, оставляло работу, ловко шмыгало въ дверь и выбѣгало на улицу. Ему-то поручали вызвать такого-то или такую-то и за хлопоты приглашали обык-

новенно послѣ окончанія работы въ „Разставанье“ или къ „Ивану Елкину“ — названія, подъ которыми равно извѣстно было заведеніе флегматическаго Герасима. Въ послѣдніе два мѣсяца Гришка ознакомился уже въ совершенствѣ съ обычаями фабрикъ. Онъ поспѣшно обогнулъ крыльцо и подошелъ къ первому окну.

Тутъ сидѣлъ одинъ изъ ближайшихъ пріятелей Захара. Лишнее говорить, что онъ пользовался точно также дружбою пріемыша. То былъ рыжій и косой парень, но лихой и разбитной гуляка, по прозванію Семіонъ или Сѣвка-глазунъ. Этотъ Семіонъ, или Сѣвка держался обычая пропивать въ воскресенье все то, что заработывалъ въ продолженіе недѣли, если только не успѣвалъ заблаговременно проигрывать заработки въ три листка. Въ компаніи, гдѣ Захаръ игралъ роль коновода, Сѣвка былъ чѣмъ-то въ родѣ эсаула.

Но прежде, чѣмъ подать условный знакъ Сѣвкѣ, необходимо было убѣдиться, точно ли сидитъ онъ на своемъ мѣстѣ. Съ этою цѣлью, Гришка приложилъ лицо свое къ стеклу. Въ первую минуту онъ ничего не могъ разглядѣть: свѣтъ ослѣпилъ его совершенно.

Мало-по-малу передъ нимъ открылась нескончаемая перспектива брусьевъ, балокъ, столбовъ и жердей, скрещенныхъ на всѣ возможные лады, точно деревянная паутина. Весь нижній этажъ, состоявшій изъ четырехъ сквозныхъ срубовъ, былъ занятъ фабрикою. Во всѣхъ промежуткахъ этой деревянной паутины виднѣлись быстро вращавшіяся колеса, которыми управляли мальчики и дѣвочки, покрытыя струями пота. Они должны были задыхаться. Мудренаго нѣтъ: самый дюжій работникъ, проживщій годъ въ этой духотѣ, начиналъ хилѣть и сохнуть. Дерево сохло и трескалось; потолокъ и стѣны потѣли и лоснились какъ въ банѣ. Пламя сальныхъ свѣчей горѣло неподвижно, окруженное желтыми, тусклыми кругами; оно съ трудомъ проникало сгущенную атмосферу. Со всѣмъ тѣмъ въ нижнемъ этажѣ фабрики никогда не находилось свободнаго уголка. Опустѣвшее мѣсто тотчасъ же замѣщалось. Народъ тѣснился какъ огурцы въ бочкѣ; рѣшительно не было возможности ткнуть пальцемъ безъ того, чтобы не встрѣтить бруса, протянутой основы или человѣческаго затылка. Головы бабъ, дѣвокъ и ткачей всѣхъ возможныхъ возрастовъ высовывались отовсюду: красные и синіе платки, черные, рыжіе затылки и бороды, блѣдныя лица, розовыя и бѣлыя рубашки пестрѣли въ глазахъ, какъ стекла калейдоскопа, который стали бы вертѣть противъ свѣчки. Все это двигалось при свѣтѣ нѣсколькихъ десятковъ сальныхъ огарковъ, вставленныхъ въ

жестяные подсвѣчники; подсвѣчники держались на воздухѣ, помощью проволокъ, перпендикулярно висѣвшихъ съ потолка. Оглушительная трескотня челноковъ, удары ботановъ, шипѣніе колесъ, говоръ, хохотъ, пѣсни наполняли все зданіе. Въ настоящую минуту, за неимѣніемъ другого, болѣе точнаго сравненія, этотъ нижній этажъ могъ казаться чѣмъ-то въ родѣ исполинскаго желудка, въ которомъ происходило сильное воспаленіе.

Сѣвка сидѣлъ на обычномъ своемъ мѣстѣ. Пріемышъ постучалъ въ окно. Минуту спустя, на темномъ крыльцѣ застучали босыя ноги.

— Кто? произнесъ сиплый голосъ, весьма похожій на звукъ тупой пилы въ мягкомъ, гниломъ деревѣ.

— Я, Гришка... съ того берега...

— А, „Жукъ!“ воскликнулъ Сѣвка, поспѣшно сбѣгая ступеньки крылечка.

Между комаревскими гуляками заведенъ былъ обычай давать другъ другу прозвища: такъ, Сѣвку, благодаря, вѣроятно, огромнымъ глазамъ на выкатѣ, величали „Глазуномъ“; черные какъ смоль волосы пріемыша, смуглый цвѣтъ лица, нахмуренный видъ заслужили ему названіе „Жука“..

— Гдѣ ты пропадалъ? недѣлю не видали? спросилъ Сѣвка.

— Нельзя, братъ: хлопотали... Вѣдь у меня старикъ-атъ померъ...

— Что ты?..

— Да такъ...

— Стало, ты теперь хозяинъ! воскликнулъ Сѣвка, имѣвшій свои причины радоваться перемѣнѣ въ судьбѣ своего товарища.— Что-жъ, Жукъ, а? примолвилъ онъ полу-шутовскимъ, полу-серьезнымъ тономъ:—вѣдь, я чай, спрыснуть надо... какъ же такъ-то!.. ей-Богу надо спрыснуть!..

— Приходи опосля, какъ фабрику запрутъ, и другихъ нашихъ робятъ зови.

— Вотъ такъ-такъ! ладно, будемъ!

— Зови къ Герасиму, подтвердилъ пріемышъ:—дойди только теперь къ Захару, скажи: Гришка, молъ, дожидаетъ, оченно, скажи, безпремѣнно надо видѣть.

— Эвна! да рази ты не знаешь?

— А что?

— Стало, онъ у тебя вечоръ не былъ?

— Нѣтъ.

— Третій ужь день не живетъ у насъ.

— Полно...

— Право; разсчелся.

— Гдѣ-жъ онъ? стало, у Герасима?

— Знамо, тамъ; гдѣ-жъ больше и быть! Ступай туда: найдешь.

— Ладно; такъ приходите же, вымолвилъ Гришка, поспѣшно удаляясь.

— Духомъ будемъ! отозвался Сѣвка, исчезая въ непроницаемой темнотѣ фабричныхъ сѣней.

Кабакъ находился, какъ уже извѣстно, у околицы. Гришкѣ пришлось, слѣдовательно, повторить свое путешествіе по Комареву. Конецъ былъ порядочный, и прогулка, сама по себѣ, не представляла большого удовольствія, особенно въ ночное время. Грязь и лужи покрывали улицы. Хворостъ, брошенный такъ только, для проформы, въ глубокія ямы, наполненныя грязною жижей, обманывалъ ногу, Нужно было имѣть кошачьи глаза и кошачью легкость, чтобы выйти невредимымъ изъ этой топи.

Несмотря, однакожъ, на всѣ неудобства дороги, Гришка подвигался впередъ быстро и весело. Свистъ его былъ даже причиною пробужденія нѣсколькихъ собакъ, которыя до того времени спокойно спали подъ телѣгами и воротами. Онъ находился въ счастливѣйшемъ расположеніи духа и былъ похожъ на лѣниваго школяра, котораго только-что выпроводили изъ школы, и которому сказали: „ступай на всѣ четыре стороны!“

По мѣрѣ того, какъ пріемышъ приближался къ цѣли своего путешествія, освѣщенныя окна становились рѣже. Шумъ внутри фабрикъ отдалялся съ каждою минутой. Мало-по-малу онъ пропалъ совершенно. Въ ушахъ пріемыша раздавался только хлясскъ, производимый его ногами, и шуршуканье вѣтра, который время отъ времени пробѣгалъ по соломеннымъ кровлямъ.

Теперь уже тянулись по большей части низенькія лачужки и полуобвалившіеся плетни, принадлежавшіе бѣднымъ обывателямъ. Густой, непроницаемый мракъ потоплялъ эту часть Комарева. Кровли, плетни и зданія сливались въ какія-то черныя массы, мало чѣмъ отличавшіяся отъ темнаго неба и еще болѣе темной улицы. Тутъ уже не встрѣчалось ни одного освѣщеннаго окна. Здѣсь жили одни старики, старухи и больные. Остальные всѣ, отъ мала до велика, работали на фабрикахъ.

Хриплый, удушливый лай и звяканье желѣзной цѣпи возвѣстили наконецъ близость „Разставанья“. Безъ этихъ признаковъ, трудно было догадаться, что подходишь къ обитаемому жилищу. Кабакъ казался еще мрачнѣе, еще темнѣе лачужекъ, потому, вѣроятно, что занималъ больше пространства въ темномъ небѣ. Отдѣленный отъ домовъ огородами, онъ оканчивалъ собою жилье съ этой стороны Комарева. Большая часть навѣсовъ заведенія и заднія ворота выходили уже въ луга—обстоятельство большой важности, если принять въ соображеніе торговыя операціи Герасима, которыя были такого рода, что должны были производиться, по возможности, тихомолкомъ. Мертвое молчаніе окружало зданіе, одиноко возвышавшееся посреди пустыря. Лаяли только собаки, да шумѣлъ вѣтеръ, гулявшій теперь на просторѣ. Но тюремная наружность „Разставанья“ не произвела, однакожъ, на Гришку непріятнаго дѣйствія. Напротивъ того, онъ ускорилъ шагъ, какъ человѣкъ, достигнувшій наконецъ своей цѣли послѣ долгаго странствованія. Онъ проворно вбѣжалъ на крыльцо и смѣлою, увѣренною рукою отворилъ дверь, обвѣшенную лохмотьями рогожи.

Герасимъ только-что легъ на скамью, скрывавшуюся за прилавокъ, когда Гришка вошелъ въ кабакъ. Сальный огарокъ, воткнутый въ желѣзный искалѣченный подсвѣчникъ, слабо освѣщалъ избу. Желтое пламя, придавленное шапкою нагара, выставляло напоказъ дюжины двѣ мелкихъ, но неуклюже-толстенькихъ стакановъ, съ зеленымъ и фіолетовымъ отливомъ, которые тѣснились на сосновой доскѣ прилавка, такой же жирной, какъ огарокъ, и черной, какъ полъ. Свѣтъ съ трудомъ уже досягалъ за предѣлы прилавка. Кой-гдѣ, впрочемъ, мелькали края полокъ, штофы и стклянки, украшавшіе заднюю стѣну. Бочка, стоявшая въ дальнемъ углу, едва-едва обозначалась красноватымъ кругомъ. Мѣдный кранъ бочки и жестяныя воронки, прицѣпленныя къ ея боку и тронутыя кой-гдѣ блескомъ свѣчи, казались висящими въ воздухѣ. Бревенчатый потолокъ и стѣны передней части избы, предназначавшейся для посѣтителей, оставались въ совершенной темнотѣ (прилавокъ раздѣлялъ избу пополамъ). Справа только не доходилъ онъ до стѣны, открывая посѣтителямъ сообщеніе съ задней дверью.

Кромѣ сверчка, который жалобно трещалъ подъ какимъ-то косякомъ, тутъ не было, казалось, живой души. Но едва только успѣлъ Гришка перекинуть ногу за порогъ, надъ краемъ прилавка показалось продолговатое, мертвенное лицо цѣловальника. Казалось,

подъ поломъ кабака скрывался механизмъ, имѣвшій непосредственное сообщеніе между петлями дверей и туловищемъ Герасима. Дверь отворялась—туловище приподымалось съ лавки; дверь запиралась—туловище опускалось. Замѣчательнѣе всего, что туловище находилось въ совершенномъ повиновеніи у двери и подымалось быстро или медленно, смотря по тому, быстро ли, или медленно, отворяли дверь.

— Здорово, дядюшка Герасимъ! молодцовато воскликнулъ пріемышъ, приподымая шапку и приближаясь къ прилавку.

Цѣловальникъ лѣниво протеръ красные больные глаза свои и еще лѣнивѣе подперся локтемъ. Увидѣвъ молодого парня, лицо и денежныя обстоятельства котораго были ему довольно знакомы, онъ не удостоилъ даже опустить наземь длинныхъ ногъ своихъ.

— Косушку, что ли? произнесъ онъ сонливымъ, неохотливымъ голосомъ.

— Возьмемъ и четверть! мало четверти, все ведро возьмемъ,—дай срокъ! сказалъ пріемышъ, очевидно старавшійся произвести выгодное впечатлѣніе на цѣловальника, передъ которымъ игралъ до сихъ поръ самую ничтожную роль.—Сами теперь хозяева, дядюшка Герасимъ! подхватилъ онъ подбоченясь и потряхивая волосами:—живемъ, какъ хотимъ!.. Слышь, дядюшка Герасимъ!.. Сами стали хозяева!

— Твое счастье, промямлилъ цѣловальникъ, зѣвая и потягиваясь.

Онъ ничего не зналъ еще о смерти Глѣба. Въ противномъ случаѣ, Герасимъ обошелся бы съ парнемъ ласковѣе и словоохотливѣе. Ему не разъ уже приводилось имѣть дѣло съ молодыми наслѣдниками. Онъ зналъ, какъ сговорчивы они на первыхъ порахъ, умѣлъ пользоваться случаемъ и обдиралъ ихъ обыкновенно до-чиста. Денегъ онъ никогда не спрашивалъ, пока въ рукахъ наслѣдника находился хоть какой-нибудь цѣнный предметъ изъ крестьянскаго хозяйства. Этимъ способомъ онъ навѣрняка пріобрѣталъ каждую вещь за половину цѣны. О деньгахъ заботиться было нечего: деньги наслѣдника, само собою разумѣется, не минуютъ перейти въ его руки. Но цѣловальникъ находился въ неизвѣстности о кончинѣ зажиточнаго рыбака и не видѣлъ пока надобности терять лишнія слова съ пріемышемъ. Приписывая удаль и веселость парня какому-нибудь полтиннику, случайно попавшему въ карманъ, Герасимъ нетерпѣливо спросилъ, что ему надо.

— Погоди, дай срокъ: будетъ время покуражиться; теперь до Захара есть надобность, торопливо отвѣчалъ Гришка.

— Такъ бы и сказалъ... Ступай въ харчевню, проворчалъ Герасимъ и снова повалился на лавку.

Гришка между тѣмъ прошелъ между стѣною и прилавкомъ и направлялся къ задней двери.

Дверь открывалась въ сѣни, служившія цѣловальнику складочнымъ мѣстомъ. Чего только не было въ этихъ стѣнахъ! Каждый могъ вдоволь любоваться кадками, корчагами, горшками и котлами, которые громоздились въ свободныхъ углахъ и даже, за неимѣніемъ мѣста, валялись на полу. Когда дверь, выходившая на дворъ, была затворена, въ сѣняхъ царствовалъ полу-мракъ, даже среди бѣлаго дня. Потолка не было, и свѣтъ проходилъ сквозь щели соломенной кровли; но ночью, и особенно теперь, когда небо заслонялось тучами, тутъ легко было сломить себѣ шею. При всемъ томъ, Гришкѣ достаточно было нѣсколько секундъ, чтобы выбраться изъ этого лабиринта и нащупать рукоятку внутренней двери. Онъ не замедлилъ очутиться подъ длиннымъ досчатымъ навѣсомъ, — родъ крытой галлереи, которая лѣпилась вдоль стѣны кабака и выходила открытою своею стороною на дворъ, окруженный сплошною стѣною сараевъ и навѣсовъ. Кромѣ кабака и харчевни, Герасимъ содержалъ также постоялый дворъ. Двѣ дороги: одна — изъ Зарайска, другая — изъ внутренней части уѣзда, въ Коломну, проходили подлѣ Комарева. Герасимъ не могъ, слѣдовательно, терпѣть убытка. Въ базарные дни, осенью и зимою, въ обозное время, въ посѣтителяхъ не было недостатка. Лошади и подводы наполняли дворъ. Часто даже, за тѣснотою, приходилось помѣщаться у воротъ. Галлерея примыкала правымъ концомъ своимъ къ большой избѣ, гдѣ жили цѣловальникъ и жена его, гдѣ ужинали и спали обозники и прохожіе. Лѣвый конецъ ея упирался въ другую избу, составлявшую съ заднею стѣною кабака прямой вогнутый уголъ. Постройки „Разставанья“ представляли, слѣдовательно, со стороны двора подобіе изломанной буквы П. Въ этой послѣдней избѣ находилась собственно харчевня. Окна смотрѣли на дворъ или навѣсы, такъ что съ галлереи не было возможности разсмотрѣть, что происходило въ харчевнѣ; но на этотъ разъ огонь, отражавшійся въ лужѣ, достаточно показывалъ присутствіе гостей. Гришка легко даже могъ бы разслышать голосъ и пѣсню Захара, еслибъ не помѣшали звуки желѣзной цѣпи и лай собаки, которая, заслышавъ шаги на галлереѣ, металась и лаяла сильнѣе прежняго.

XXV.

Отворивъ дверь харчевни, пріемышъ вступилъ въ крошечную темную коморку, стѣны которой, живьемъ сколоченныя изъ досокъ, не доходили до потолка. На полу шипѣлъ самоваръ, распространявшій вокругъ себя огненную, вычурную звѣзду. Труба самовара, наполненная пылающими угольями, освѣщала раздутое лицо батрака Герасима.

Гришка не обратилъ на него ни малѣйшаго вниманія и поспѣшно вошелъ въ просторную избу, уставленную множествомъ столовъ и лавокъ.

Два-три стола заняты были посѣтителями, принадлежавшими по большей части къ сословію комаревскихъ фабричныхъ; между ними виднѣлись и женщины.

Неподалеку, за особымъ столомъ, возсѣдалъ Захаръ. Передъ нимъ возвышался штофъ, зеленѣлъ стаканъ и красовалась гармонія, неизмѣнная его спутница.

— Гришка! онъ самый! воскликнулъ Захаръ, какъ только пріемышъ показался въ дверяхъ: — ахъ ты шутъ ты этакой! а я только тебя вспоминалъ! подхватилъ онъ, стремительно подымаясь и подходя къ товарищу:—ну, садись, братъ, присосѣживайся, вотъ тебѣ стаканчикъ „жизни“... Качай! заключилъ Захаръ, наливая вино.

Гришка оглянулъ присутствующихъ, молодцовато тряхнулъ волосами, выпилъ вино и стукнулъ даже стаканомъ объ столъ.

Пріемышъ, какъ вообще всѣ молодые люди, начинающіе разгульное поприще, стремился покуда къ тому только, чтобы прослыть въ кругу товарищей лихимъ, удалымъ малымъ. Самый вѣрный способъ сдѣлаться лихимъ и выиграть во мнѣніи такихъ товарищей заключается въ томъ, чтобы выпивать съ ними одинаковое число стакановъ. Новичокъ, перепившій самаго отчаяннаго пьяницу своей компаніи, занимаетъ уже видное мѣсто. Гришкѣ ни разу еще не удавалось перепить Сѣвку, хотя онъ мало уже въ чемъ уступалъ другимъ комаревскимъ гулякамъ; но самолюбіе его не удовлетворялось такимъ успѣхомъ. Многаго еще недоставало ему, чтобы сравняться съ товарищами. Такъ, напримѣръ, Гришка, шумѣвшій и кричавшій громче всѣхъ на попойкахъ, терялъ всю свою лихость

въ присутствіи прекраснаго пола. Имъ овладѣвала тогда страшная неловкость: у него отымался языкъ. Несмотря на стаканы вина, которые выпивалъ онъ залпомъ, чтобы сдѣлаться замѣтнымъ, никто не обращалъ на него вниманія. Въ этомъ отношеніи послѣдній мальчишка въ Комаревѣ былъ ловчѣе его. Быть можетъ, сознаніе своей зависимости, безденежье, непереставшее грызть ему сердце, сильнѣе еще возбуждали въ немъ робость: и радъ бы показать себя передъ людьми, да нечѣмъ! Наконецъ, ему попросту недоставало привычки къ женскому обществу. При жизни Глѣба, онъ имѣлъ случай исчезать не иначе, какъ ночью, а въ эту пору комаревскія красавицы рѣдко рѣшались посѣщать „Разставанье“. Однимъ словомъ, Гришка не зналъ „приличнаго обращенья“, какъ говорилъ Захаръ.

Но теперь обстоятельства перемѣнились. Гришка могъ отправляться въ Комарево, когда заблагоразсудится, пребывать тамъ, сколько душѣ угодно, пожалуй хоть вовсе туда переселиться. Можно, слѣдовательно, надѣяться, что онъ употребитъ съ пользою свою свободу. Подъ руководствомъ такого наставника, какъ Захаръ, онъ, безъ сомнѣнія, пойдетъ быстрыми шагами къ просвѣщенію и не замедлитъ постигнуть тайну „приличнаго обращенья“.

— Гдѣ-жъ ты пропадалъ? началъ Захаръ.

— Чего, братецъ! рази ты не слыхалъ?

— А что?

— Да вѣдь у меня... старикъ-атъ... вѣдь померъ!

— Какъ? можетъ ли быть? воскликнулъ Захаръ, откидываясь назадъ и выказывая на мгновенно вспыхнувшемъ лицѣ своемъ всѣ признаки удивленья, но вмѣстѣ съ тѣмъ и полнѣйшаго восторга.

— Право, отвѣчалъ Гришка, вниманіе котораго съ самаго начала бесѣды исключительно почти принадлежало постороннимъ лицамъ, находившимся въ харчевнѣ:—померъ,—третьяго дня померъ.

— Скажи ты на милость! а? Съ чего жъ такъ? Хворалъ, что ли? да нѣтъ, когда было хворать! Должно-быть сила, силища задавила его! Я и въ тѣ поры говорилъ, оченно былъ силенъ, безпремѣнно, какъ есть, задавитъ его сила! убѣждалъ Захаръ, окончательно уже захмѣлѣвшій отъ радости.—То есть вотъ какъ, повѣрите ли, братцы, подхватилъ онъ, оборачиваясь къ сидѣвшимъ за другими столами и съ живостію размахивая руками:—то есть отродясь не видалъ такого старика: плечи—вотъ!.. ростъ... то есть четверыхъ, выходитъ, молодцовъ, заткнетъ за поясъ... страшилище

былъ... то есть ни вообразить нельзя никакимъ манеромъ! Я и тогда говорилъ: тѣмъ и помретъ—сила его задавитъ.

— Ноньче утромъ хоронили, перебилъ Гришка, который, очевидно, тяготился долгимъ молчаніемъ.

— Скажи на милость! а? Вотъ она жисть-то, подумаешь! произнесъ Захаръ тономъ меланхоліи, между тѣмъ какъ ястребиные глаза его такъ и прыгали:—вотъ-те и Глѣбъ Савинычъ! жилъ-жилъ да и фю... фю...

Тутъ Захаръ приподнялъ брови, сжалъ губы и, наклонивъ голову, издалъ протяжный, дребезжащій свистъ, но это продолжалось всего одну секунду. Онъ быстро обратился къ пріемышу и произнесъ отрывисто.

— Стало ты, Гриша, хозяинъ теперича?

— Какъ же... все мнѣ предоставилъ! отвѣчалъ пріемышъ:—„тебѣ, говоритъ, предоставляю весь домъ, все мое добро, говоритъ; сыновьямъ, говоритъ, Петру и Василію, ничего не давай; все твое, говоритъ...“

— Ахъ, Глѣбъ Савинычъ, милый ты человѣкъ! воскликнулъ Захаръ съ неподдѣльнымъ, но потому-то самому комически-отвратительнымъ умиленіемъ.—То-то вотъ, напрасно мы тогда на него пеняли! и то, и сё,—а онъ вонъ какую добродѣтель сдѣлалъ... ужь подлинно наградилъ, можно сказать! отецъ родной, все единственно! Скажи на милость! Такимъ манеромъ, выходитъ, сталъ ты, Гриша, богачомъ теперича? Вотъ и знайте вы его, каковъ онъ есть! все единственно первый нашъ фабрикантъ; а можетъ, тотъ еще семь верстъ не доѣхалъ до его капитала! подхватилъ Захаръ:—да, такъ вотъ каковъ онъ есть такой человѣкъ теперича,—старикъ-атъ жилъ въ акуратѣ, лучше быть нельзя: можетъ статься, двадцать лѣтъ копилъ, рубъ на рубъ складывалъ! такимъ манеромъ оставилъ по себѣ не одну сотню... можетъ-статься, выкинемъ какъ есть и всю тысячку! Теперича парни наши—все это, выходитъ, шишь-голь передъ нимъ—вотъ что! Ай да Григорій Акимычъ! знай теперь нашихъ! Да нѣтъ, я его довольно знаю: не зазнается—парень бравый, говорилъ Захаръ, дружески хлопая по плечу пріемыша, который старался принять значительный видъ и бодрился.—Слушай, Гриша, заключилъ Захаръ, перемѣняя вдругъ интонацію:—не о себѣ, братъ, говорю: что мнѣ! ничего мнѣ отъ тебя не надо! А только, воля твоя, надо бы, на радостяхъ-то, повеселить товарищей,—ей Богу! такъ ужъ, братъ, водится. Да вотъ и себя не мѣшаетъ маленечко,

того, знаешь, этакъ покуражить: вѣдь это, какъ есть, братецъ ты мой, по правилу слѣдуетъ... а?

— Только бы шли; за нами дѣло не станетъ, самодовольно вымолвилъ Гришка: —я и то заходилъ на фабрику.

— Когда?

— Да вотъ передъ тѣмъ, какъ сюда иттить; видѣлъ Глазуна, велѣлъ ему всѣхъ звать, какъ порѣшатъ за работой... Отъ него и провѣдалъ, что ты здѣсь... Сказывалъ, тебя хозяинъ разсчелъ...

Захаръ толкнулъ его ногою и прищурилъ лѣвый глазъ, давая этимъ знать, чтобъ онъ молчалъ. Ему не хотѣлось, видно, чтобы причина размолвки съ фабрикантомъ сдѣлалась извѣстна посторонннмъ лицамъ; а можетъ быть, знаки эти имѣли цѣлію показать Гришкѣ довѣріе и дружбу Захара.

— Да, какже! держи карманъ! нѣтъ братъ, не онъ меня разсчелъ—самъ отошелъ, ловко подхватилъ онъ:—станемъ, какже. угождать всякой шушерѣ, то не такъ, это не такъ... Ахъ ты, въ стекляночной-те разбей! чуфара ты этакая купеческая, самоварная! разжился—поди ты, какой форсъ взялъ... не угодишь никакъ! Ну, значитъ, и отваливай!

Но, по мѣрѣ того, однакожъ, какъ вино въ штофѣ исчезало, наглая наружность Захара замѣтно теряла свою веселость. Онъ не умолкалъ, впрочемъ, ни на минуту, разсказывалъ потѣшные анекдоты, игралъ на гармоніи и даже пѣлъ пѣсни: но во всемъ этомъ проглядывало какое-то принужденіе. Видно было, что Захаръ о чемъ-то заботился; онъ не переставалъ потирать лобъ, хмурилъ брови, чесалъ переносицу своего орлинаго носа,—словомъ, былъ, какъ говорится, не въ своей тарелкѣ. Наконецъ онъ всталъ изъ-за стола, вышелъ изъ избы, выслалъ за чѣмъ-то батрака Герасима, который спалъ на полу подлѣ самовара, приложилъ глаза къ скважинѣ перегородки и кликнулъ пріемыша.

— Гриша, сказалъ онъ озабоченнымъ голосомъ: —подь-ка, братъ, сюды... на два слова.

Секунду спустя, Гришка очутился подлѣ товарища.

— Слушай, есть у те деньги? торопливо шепнулъ Захаръ.

— Нѣтъ, нѣту.

— Эхъ, плохо дѣло! произнесъ Захаръ.—Какъ же это, братецъ мой, а? подхватилъ онъ, досадливо тряхнувъ головою.

— Потому больше, думалъ, у тебя найдутся...

— Было точно цѣлковыхъ два, какъ разсчелся съ хозяиномъ;

всѣ вышли: то да се. Слушай Гриша, ты знаешь каковъ я есть такой! подхватилъ вдругъ Захаръ рѣшительнымъ тономъ: — ужъ сослужу службу,—одно говорю, слышь, заслужу! Теперь возьми ты: звалъ ребятъ, придутъ—угостить надо: какъ же безъ денегъ-то? никакимъ манеромъ нельзя. Вѣдь Герасимъ въ долгъ не повѣритъ,— право, жидъ, не повѣритъ; надо какъ нибудь перевернуться, а ужъ насчетъ себя одно скажу: заслужу тебѣ!

— Съ тѣмъ и шелъ—думалъ, у тебя будутъ...

— То-то и есть, нѣту. Тогда бы и разговору не было: бери, да и все тутъ; что мое, то твое: это все единственно... Воля твоя, Гриша, надо добыть: придутъ ребята—какъ же? негодится, братъ, осмѣютъ, осрамишься... Да что тебѣ! не искать стать! взялъ да и баста! свое берешь, не чужое! Самъ говоришь, тебѣ все предоставилъ: такимъ манеромъ это все одинственно.

— Да гдѣ взять-то? Поди-жъ ты, въ голову не пришло, какъ былъ дома! произнесъ Гришка, проклиная свою опрометчивость:— кабы наперед знать... Куда за ними идти! время позднее... ночь...

— Вотъ, три-то версты! живо подхватилъ Захаръ.

— Знамо, недалече, да, я чай, дома-то спятъ всѣ; придемъ— всѣхъ только переполошимъ.

— Тихо можно обдѣлать, никто даже ни... ни... не ворохнется. И то сказать: рази воры какіе пришли? чего имъ полошиться-то?.. Пришелъ, взялъ, да и баста; свое добро взялъ, не чужое... ты не воровать пришелъ... Смотри, братъ, тебя бы не обворовали.

— Небось.

— А гдѣ деньги-то.

— Въ сундучкѣ, въ коморѣ; куда хоронилъ старикъ, тамъ и лежатъ...

— Эхъ ты, Ѳалалей! ахъ! воскликнулъ Захаръ чуть не во все горло:—что-жъ это ты надѣлалъ? Сыми мою голову, не будь я Захаръ, коли найдемъ теперь хоша одну копейку! рублемъ простъ буду, коли старуха, тѣмъ временемъ, какъ сюда шелъ, не забрала деньги!

— Небось, не возьметъ! съ увѣренностію возразилъ Гришка:— вѣдь ключъ-то отъ коморы—я его взялъ... передъ тѣмъ, какъ идти, взялъ...

— Ой-ли?

— Вотъ онъ.

— Такъ о чемъ же мы толкуемъ? что-жъ мы стоимъ? пойдемъ!

восторженно прошепталъ Захаръ, схватывая руку товарища. — Чего ждать-то? Толкомъ говорятъ: рази мы воровать идемъ? Твое добро, тебѣ предоставлено: значитъ, все единственно, властенъ взять, когда хочешь. Теперь даже взять податнѣе, черезъ ту, выходитъ, причину: возьмешь днемъ — всѣ увидятъ, содомъ подымутъ, шумъ, крикъ, упрекать станутъ; теперь никто не увидитъ — взялъ, да и баста! дѣло выйдетъ въ закрывъ, самое любезное: подумаютъ еще, ничего послѣ себя не оставилъ; тѣмъ и обойдется... Пойдемъ, Гришуха: того и смотри, придутъ ребята.

Пріятели вернулись за перегородку, взяли шапки, раскланялись съ пирующими и вышли изъ харчевни.

— Вотъ что, дружище, сказалъ Захаръ, когда они очутились въ крытой галлереѣ: — ты меня обожди минутку на улицѣ. Признаться, малость задолжалъ ноньче вечеромъ Гараськѣ: думалъ, Сѣвка выручитъ. Надо слова два перемолвить съ Герасимомъ; безъ того, жидъ, не выпуститъ... Духомъ выйду къ тебѣ...

Гришка утвердительно кивнулъ головою, вступилъ въ сѣни, потомъ въ кабакъ. Голова цѣловальника тотчасъ же показалась надъ прилавкомъ; но Гришка не обратилъ на него вниманія и, оставивъ въ кабакѣ Захара, вышелъ на улицу.

Пріемышъ недолго дожидался. Минуту спустя, Захаръ явился къ нему, но уже безъ полушубка и шапки. Оба эти предмета остались на время „въ ученьи“ у Герасима, — такъ выразился по крайней мѣрѣ Захаръ.

Несмотря на грязь и лужи, которыя замедляли шагъ, пріятели скоро миновали луга и не замедлили очутиться въ кустахъ ивняка, гдѣ скрывался челнокъ пріемыша. Немного погодя, они переѣхали Оку и вышли на площадку.

Тьма кромешная окутывала избушки. Не было никакой возможности различить ихъ очертаніе посреди темнаго углубленія высокаго берегового хребта, который подымался черною, мрачною стѣною. Жалобное журчаніе ручья да изрѣдка шумъ вѣтра, который качалъ воротами, возмущали тишину площадки.

Шагахъ въ двадцати отъ дому, Гришка неожиданно остановился и поспѣшно удержалъ рукою Захара.

— Шт... никакъ... какъ словно кто-то на заваленкѣ? прошепталъ онъ измѣнившимся голосомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, сквозь темноту можно было различить на заваленкѣ что-то бѣлѣвшееся: казалось, сидѣлъ кто-то. Смолкнувшій

на минуту вѣтеръ позволилъ даже разслышать тяжкій вздохъ и затаенное рыданіе.

— Должно-быть, старуха все убивается, шепнулъ Захаръ:— придется идти къ огороду.

Оба затаили дыханіе, припали къ землѣ и бережно стали огибать избы. За угломъ они снова поднялись на ноги и поспѣшили войти въ проулокъ, куда отворялись заднія ворота.

— Все одно, и здѣсь услышатъ; ворота добре пуще скрипятъ какъ разъ услышатъ, произнесъ нерѣшительно пріемышъ, потерявшій вдругъ почему-то всю свою смѣлость.

— Не годится, когда такъ... потому услышатъ... можетъ статься, тамъ еще тесть твой? шепнулъ Захаръ, торопливо оглядываясь назадъ.

— Не знаю... можетъ, и тамъ.

— Какъ же быть-то? придется вѣдь лѣзть черезъ крышу, когда такъ... потому хуже, коли услышатъ... не драться же съ ними. Все дѣло спортимъ. Надо какъ-нибудь такъ, чтобы не догадались... Подумаютъ, не оставилъ старикъ денегъ,—да и все тутъ. Ну, пойдемъ: начали — кончать, значитъ, надо! проговорилъ Захаръ, ободряя товарища.

Они миновали проулокъ и выбрались къ ручью.

Съ этой стороны тянулся сплошной навѣсъ, соединявшійся съ избою посредствомъ небольшой бревенчатой постройки. Одна стѣна постройки выходила въ сѣни избы, другая примыкала къ навѣсу: это была комора; соломенная кровля ея шла въ уровень съ кровлею избы, но значительно возвышалась надъ кровлею навѣса, такъ что, взобравшись на навѣсъ, легко было проникнуть на чердакъ; съ чердака вела лѣстница въ сѣни, куда выходили дверь коморы, дверь избы и дверь на крылечко.

— Ну, что думать-то? полѣзай! шепнулъ Захаръ:—сыми напередъ сапоги-то — лучше: неравно застучатъ.

Онъ долженъ былъ, однакожъ, два раза повторить совѣтъ пріемышу. Въ ушахъ Гришки шумѣло; сердце его сильно билось въ эту минуту, несмотря на то, что онъ всячески ободрялъ себя мыслями, что беретъ свое добро, что можетъ взять его, когда заблагоразсудится. При всемъ томъ страхъ невольно прохватывалъ его до самаго сердца; онъ чувствовалъ, что дрожали его колѣни и пересыхало въ горлѣ. Онъ, можетъ быть, отказался бы даже отъ предпріятія, еслибъ не боялся прослыть трусомъ въ глазахъ Захара,

еслибъ не боялся насмѣшекъ товарищей, которымъ, безъ сомнѣнія, обо всемъ разскажетъ Захаръ... Послѣднее соображеніе мгновенно возвратило ему бодрость; онъ снялъ сапоги, поставилъ ногу въ ладонь Захара, махнулъ на кровлю и черезъ минуту исчезъ въ отверстіи, которое оставалось между кровлями коморы и навѣса.

Нѣсколько минутъ тягостнаго ожиданія прошли для Захара; повидимому, онъ также не владѣлъ всею своею смѣлостію. Прижавшись къ стѣнѣ, Захаръ не переставалъ оглядываться то въ одну сторону, то въ другую.

Наконецъ доска, закрывавшая изнутри маленькое окошко коморы, тихо отошла въ сторону, и лицо Гришки выглянуло наружу.

— Всѣ спятъ... Ступай, проговорилъ онъ едва слышно.

Захаръ проворно ухватился руками за верхній вѣнецъ, нащупалъ правой ногою мѣсто въ какой-то щели и съ помощью локтей живо вскарабкался на кровлю. Попасть на чердакъ не стоило ни малѣйшаго труда, стоило только лечь грудью на край навѣса, спустить ноги въ отверстіе кровли — и дѣлу конецъ: несравненно труднѣе было найти въ темнотѣ сходъ въ сѣни. Но Захару слишкомъ хорошо извѣстно было жилище Глѣба, чтобы могъ онъ сбиться съ пути или оступиться; онъ благополучно добрался до лѣстницы и еще благополучнѣе сошелъ внизъ. Прислушавшись минуту и убѣдясь хорошенько, что точно никто не пробуждался, онъ вступилъ въ комору, бережно заперевъ за собою дверь.

— Ну, братъ, зѣвать нечего... живо! Гдѣ сундукъ? произнесъ Захаръ, ощупывая въ потемкахъ товарища.

— Подъ нарой... завсегда тамъ былъ, отвѣчалъ Гришка, опускаясь наземь.

— Долженъ, значитъ, быть и теперича... Тащи... смотри только, не загреми... Что-жъ ты? промолвилъ Захаръ послѣ минутнаго напраснаго ожиданія.

— Что глотку-то деретъ! дай прежде сыскать: не найду никакъ, прошепталъ Гришка, ползая подъ нарою.

— Погоди... у меня никакъ вотъ тутъ спички были, торопливо промолвилъ Захаръ, роясь въ карманѣ шароваръ: — такъ и есть, тутъ.

Захаръ пригнулся къ полу; секунду спустя синій огонекъ сверкнулъ между его пальцами, разгорѣлся и освѣтилъ узенькія бревенчатыя стѣны, кое-гдѣ завѣшенныя одеждою, прицѣпленной къ деревяннымъ гвоздямъ; кой-гдѣ сверкнули хозяйственныя орудія, пила, рубанокъ, топоръ, державшіеся на стѣнѣ также помощію де-

ревянныхъ колышковъ; во всю длину стѣны, гдѣ прорублено было окошко, лѣпились досчатыя нары, намощенныя на козла— осеннее ложе покойнаго Глѣба; изъ подъ нары выглядывали голыя ноги пріемыша.

— Смотри въ оба, не зѣвай, вымолвилъ Захаръ, просовывая руку съ огнемъ подъ нару.

— Вижу... здѣсь, вотъ онъ! шепнулъ Гриша.

— Шт... тащи... Эхъ, погасла, варварка! Ну, да ништо: и безъ огня теперича справимся.

Хриплый шорохъ по земляному полу возвѣстилъ, что сундукъ тронулся съ мѣста.

— Какъ же быть-то? вѣдь у сундука замокъ, а ключа-то нѣтъ, сказалъ Гришка, окончательно выдвигая сундукъ изъ-подъ нары.

— Ничего: былъ бы топоръ... Заднюю доску у сундука отымемъ: это все единственно, какъ есть все на виду окажется; оно и лучше... Ключъ, вѣрно, у старухи... Заложимъ опосля доску-то, на мѣсто поставимъ—ова и не догадается. Кажись, тутъ былъ гдѣ-то топоръ.

— У двери на гвоздѣ... нашелъ?

— Тута; на, бери его, а я пока засвѣчу спичку, сказалъ Захаръ, подавая Гришкѣ топоръ.

Спичка вспыхнула, и Гришка принялся за дѣло. Старый, извѣтшалый задокъ сундука отошелъ безъ большихъ усилій, но въ ту самую минуту, какъ пріемышъ наклонялъ голову къ отверстію сундука, Захаръ, успѣвшій уже разглядѣть кое-что на днѣ, уронилъ спичку.

— Эхъ, измѣнила, окаянная! прошепталъ Захаръ, посгѣшно прислоняясь плечомъ къ плечу товарища и стараясь показать, что шаритъ у себя въ карманѣ.

Въ этомъ положеніи Захаръ могъ чувствовать малѣйшее движеніе своего пріятеля; суетливыя движенія Захара, который продолжалъ дѣлать видъ, какъ будто отыскиваетъ спичку, не могли возбудить подозрѣній Гришки.

— Шутъ ихъ знаетъ! не найдешь, да и полно! повторялъ Захаръ, обшаривая между тѣмъ свободною рукою сундукъ:—должно быть, всѣ... Нѣтъ, погоди, подхватилъ онъ, торопливо вынимая два цѣлковыхъ и запрятывая ихъ съ необычайнымъ проворствомъ, одинъ въ карманъ шароваръ, другой за пазуху, изъ предосторожности, вѣроятно, чтобы они не звякнули.

Захаръ, безъ сомнѣнія, повторилъ бы свою продѣлку; но движеніе Гришки дало знать, что рука его также протягивалась къ сундуку.

Спичка мгновенно отыскалась.

— Кошель! сказалъ Гришка.

Соколиные глаза Захара жадно устремились на руки товарища, и горящая спичка задрожала между его пальцами при видѣ раскрытаго кожанаго кошеля, въ которомъ находилось мелочью и цѣлковыми рублей сто ассигнаціями.

— Должно-быть, еще есть, глухо прошепталъ Захаръ, сдавливая пальцемъ огонь.

Но на этотъ разъ хитрость ни къ чему не послужила: рука пріемыша была уже въ сундукѣ, прежде чѣмъ Захаръ успѣлъ протянуть свою собственную.

— Тряпица съ деньгами! вымолвилъ Гришка голосомъ, задыхающимся отъ волненія.

Въ тряпицѣ, завязанной въ нѣсколько узловъ, нашлись, къ сожалѣнію, однѣ только заржавленныя, старыя скобки, задвижки, пуговицы, петли и гвозди, перемѣшанные, впрочемъ, съ нѣсколькими пятаками. Несмотря на тщательный розыскъ, въ сундукѣ не нашлось больше ни одного гроша; всѣ сокровища Глѣба заключались въ кожаномъ кошелѣ; то былъ капиталъ, скопленный трудолюбивымъ старикомъ въ продолженіе цѣлаго десятка лѣтъ!

— Ну, ничего! сказалъ Захаръ: —маленько обманулъ насъ старикъ, а все хошь не даромъ сходили: будетъ чѣмъ покуражиться!.. Пойдемъ: пора; я чай, ребята ждутъ! заключилъ онъ и, безъ дальнихъ разговоровъ, быстро вышелъ въ сѣни.

— Погоди: дай управиться; куда ты? вмѣстѣ пойдемъ, торопливо шепталъ Гришка.

— Одинъ не уйду... Ужь и струхнулъ... эхъ ты! грубо отозвался Захаръ.

Скрипъ лѣстницы возвѣстилъ, однакожъ, Гришкѣ, что товарищъ его спѣшилъ пробраться на чердакъ коморы.

Торопливость окончательно овладѣла тогда Гришкой. Забывъ всѣ предосторожности, онъ кой-какъ приложилъ оторванную доску къ сундуку, пихнулъ его подъ нару, оставилъ топоръ на полу и, не захлопнувъ даже подвижной доски, которою запиралось окошко, выбѣжалъ въ сѣни. Онъ сообразилъ, однакожъ, всю необходимость запереть дверь коморы; сундукъ, топоръ, окно—все это можно было

привести въ порядокъ завтра, но, во что бы то ни стало, надо запереть комору; а ключъ и замокъ никакъ между тѣмъ не отыскивались. Шаги Захара совсѣмъ умолкли. Гришка былъ одинъ въ сѣняхъ: ну, что, если жена, старуха или дѣдушка Кондратій, пробужденные шумомъ, выбѣгутъ вдругъ изъ избы?.. Ему послышалось даже, какъ словно кто-то ходилъ по избѣ. Гришка бросился со всѣхъ ногъ на лѣстницу, ведшую на чердакъ. Но едва только закинулъ онъ ногу на послѣднюю ступеньку, дверь въ самомъ дѣлѣ отворилась.

— Дунюшка? ты, родная? ась? проговорила тетушка Анна.

Затаивъ дыханіе, Гришка висѣлъ неподвижно на верхней ступенькѣ лѣстницы.

Къ счастію, вѣтеръ, зашумѣвшій въ эту минуту передними воротами, привлекъ вниманіе старушки: она прошла сѣни, загремѣла засовомъ, который замыкалъ дверь крыльца, и спустилась на дворъ.

Миновавъ чердакъ и выбравшись затѣмъ на кровлю навѣса, Гришка дохнулъ свободнѣе. Скатываясь на земь, онъ чуть не сѣлъ на шею Захара, который ожидалъ его, притаясь за плетнемъ.

— Что-жъ ты меня оставилъ? досадливо сказалъ пріемышъ:— я чуть было не влопался: старуха изъ избы выходила...

— Кто-жъ на заваленкѣ-то сидѣлъ? отрывисто возразилъ Захаръ:—стало, жена... Смотри, Жукъ, она за тобой присматриваетъ.

Но Гришка думалъ о томъ только, что дверь коморы настежь отворена. Онъ готовъ былъ въ эту минуту отдать половину своихъ денегъ, чтобы дверь эта была на-глухо забита, заколочена, чтобъ вовсе даже не существовала она въ сѣняхъ.

— Захаръ, сказалъ онъ:—вѣдь комора-то не заперта... какъ быть?.. а?.. вѣдь ключъ-то я обронилъ...

— Такъ что-жъ?.. Ужь ты, братъ, и оробѣлъ?.. Ахъ, ты, соломенная твоя душа!.. Такъ что-жъ, что отворена? пущай узнаютъ! Рази ты воровать ходилъ? Твое добро, тебѣ предоставлено, и не можетъ тебѣ запретить въ этомъ никто: захотѣлъ, взялъ, вотъ те все!.. Эхъ ты, Ѳалалей, пра, Ѳалалей!.. Ну, качай! чего сталъ!..

Ободренный такимъ доводомъ, Гришка надѣлъ сапоги и пустился догонять Захара. Онъ часто останавливался, однакожъ, припадалъ къ землѣ и шикалъ Захару, который почему-то выступалъ теперь, не принимая никакихъ предосторожностей, разъ или два принимался даже посвистывать.

Шагахъ въ тридцати отъ дома Гришка оглянулся назадъ.

Онъ явственно разслышалъ голосъ жены и старухи; но сколько ни напрягалъ слухъ, думая услышать крики, звавшіе на помощь, ничего не могъ разобрать. Вѣтеръ дулъ съ Оки и относилъ слова двухъ женщинъ.

Смѣлость возвратилась къ Гришкѣ не прежде, какъ когда очутился онъ въ челнокѣ вмѣстѣ съ Захаромъ. Онъ началъ даже храбриться. На луговомъ берегу Гришка пересталъ уже думать о растворенной двери коморы. Приближаясь къ комаревской околицѣ, онъ думалъ о томъ только, какъ бы получше выказать себя передъ товарищами.

И дѣйствительно, не было возможности выказать себя лучше того, какъ сдѣлалъ это Гришка. Даже Сѣвка-Глазунъ и самъ Захаръ не-отрѣзъ объявили, что не ждали такой удали отъ Гришки-Жука, давно даже не видали такого разливаннаго моря. Мудренаго нѣтъ: пирушка обошлась чуть ли не въ пятьдесятъ рублей. Гришка, „рѣшилъ“ въ одну ночь половину тѣхъ денегъ, которыя находились въ кошелѣ и которыя стоили Глѣбу десяти лѣтъ неусыпныхъ, тяжкихъ трудовъ!

XXVI.

Вѣсточка.

Само собою разумѣется, что Гришка, истративъ бо́льшую половину своего наслѣдства на угощеніе пріятелей, щедро, черезчуръ даже щедро,—отблагодарилъ ихъ за рѣдкіе стаканы вина, которыми угощали они его отъ времени до времени.

Но пріятели—въ томъ числѣ, конечно, Захаръ и Сѣвка—были другого мнѣнія. Убѣдить пріемыша ничего не стоило: онъ тотчасъ же подался. Видное мѣсто, которое занималъ онъ между ними, въ качествѣ главнаго распорядителя и виновника празднества, чрезвычайно льстило его самолюбію.

Роль амфитріона, особенно, когда играешь ее въ первый разъ, способна увлечь и не такихъ легкомысленныхъ малыхъ, какимъ

былъ пріемышъ; скряги, и тѣ въ подобныхъ случаяхъ забываютъ часто разсчетъ. Самолюбіе, какъ извѣстно, отуманиваетъ голову крѣпче всякаго хмѣля. Все это доставило пріемышу такое удовольствіе, было такъ ново для него, что онъ готовъ былъ на всевозможныя жертвы, только бы продлить свое торжество.

Съ того самаго вечера, какъ началась пирушка, Гришка не показывался уже дома. Дуня и тетушка Анна имѣли, однакожъ, возможность видѣть его каждый день. Вотъ какъ это было: избы покойнаго Глѣба находились, если только помнитъ читатель, на значительной высотѣ надъ поверхностію воды. Съ заваленки легко было обозрѣвать Оку на нѣсколько верстъ въ обѣ стороны. Дуня и старушка могли, слѣдовательно, видѣть какъ Гришка и удалая его компанія катались по рѣкѣ въ большой лодкѣ. Дикія, разгульныя пѣсни, крики и хохотъ пьяной толпы явственно доносились по вѣтру до избушекъ; иной разъ лодка подъѣзжала такъ близко, что старушка и сноха ея ясно различали безъ труда лица гулякъ; Гришка сидѣлъ обыкновенно рядышкомъ, рука въ руку, или обнявшись, съ Захаромъ; остальные члены веселой компаніи работали вкривь и вкось веслами, пѣли пѣсни, раскачивали лодку или распивали вино. Разъ даже, въ ненастный, дождливый день, они причалили къ площадкѣ; лодка была до того полна народу, что погружалась въ воду до борта; немало также воды находилось въ самой лодкѣ. Тѣ изъ присутствующихъ, которые были не такъ хмѣльны, вышли на берегъ и бросились къ челнокамъ, смиренно лежавшимъ на пескѣ. Во все время, какъ спускали челноки въ воду, Гришка ни разу не обернулся, не взглянулъ на домъ; ему не до того было: поддерживая рукою штофъ, онъ распѣвалъ во все горло нескладную пѣсню, между тѣмъ какъ голова его безсильно свѣшивалась то на одно плечо, то на другое...

Дуня и старушка наблюдали всю эту сцену изъ окошка. У нихъ никогда не доставало духу оставаться на заваленкѣ, и стоило показаться на Окѣ большой лодкѣ, какъ обѣ спѣшили уйти въ избу. На другой же день послѣ похоронъ Глѣба узнали онѣ продѣлку съ сундукомъ. Первый предметъ, остановившій вниманіе тетки Анны, когда, вставъ на зарѣ, вышла она въ сѣни, была отворенная дверь коморы. Въ продолженіе цѣлыхъ сорока лѣтъ глаза старушки привыкли видѣть эту дверь на запорѣ. Отсутствіе огромнаго желѣзнаго замка, служившаго единственнымъ ея украшеніемъ, ошеломило старушку. Ноги ея подкосились, грудь наполнилась тяжкимъ предчув-

ствіемъ. Съ ужаснымъ крикомъ бросилась она въ избу и позвала Дуню.

Отпечатки грязныхъ ногъ явственно обозначались на полу сѣней и коморы. Комки мокрой грязи висѣли еще на перекладинахъ лѣстницы, ведшей на чердакъ. Спинка сундука, кой-какъ прислоненная, обвалилась сама собою во время ночи. Подлѣ лежали топоръ и замокъ. Окно было отворено!.. Но кто жъ были воры? Старушка и Дуня долго не рѣшались произнести окончательнаго приговора. Отсутствіе Гришки, прогулки въ лодкѣ, бражничество, возобновленная дружба съ Захаромъ обличили пріемыша. Надо было достать откуда-нибудь денегъ.

— Словно сердце мое чуяло! сказала тетушка Анна, тоскливо качая головою (это были почти первыя слова ея послѣ смерти мужа): — тому ли училъ его старикъ-ать!.. давно ли, касатка... о-охъ!.. я и тогда говорила: на погибель на свою связался онъ съ этимъ Захаромъ!.. Добре вотъ кого жаль, заключила она, устремляя тусклые, распухшіе глаза свои на ребенка, который лежалъ на рукахъ Дуни.

Дуня не плакала, не отчаявалась; но сердце ея замирало отъ страха, и дрожали колѣни при мысли, что не сегодня — завтра придется встрѣтиться съ мужемъ. Ей страшно стало почему-то оставаться съ нимъ теперь съ глазу на глазъ. Она не чувствовава къ нему ненависти, не желая ему зла, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, не желала его возвращенія. Надежда окончательно угасла въ душѣ ея; она знала, что кромѣ зла и горя ничего нельзя было ожидать отъ Гришки.

То, чего она такъ боялась, произошло скорѣе, чѣмъ можно было ожидать. На пятыя сутки Гришка пришелъ домой, въ сопровожденіи Захара. Оба были шибко навеселѣ.

Увидѣвъ пріемыша, тетка Анна забыла на минуту свое горе. Сердце ея задрожало отъ негодованія.

— Разбойникъ! вскричала она, всплеснувъ руками: — то ли сулилъ ты покойнику, а? Гдѣ-жъ твоя совѣсть, потерянная душа твоя? гдѣ?

— Полно орать-то... проговорилъ Гришка, съ трудомъ ворочая языкъ.

— Разбойникъ! воръ! подхватила старушка, все болѣе и болѣе разгорячаясь.

— Тише, тетенька, слышимъ, не оглохли! промолвилъ Захаръ,

нагло посматривая на Дуню, которая стояла въ дальнемъ углу, блѣднѣе полотна.

— Ты, окаянный, зачѣмъ здѣсь? ты зачѣмъ пришелъ? Твое это все дѣло! ты погубитель нашъ! ты подучилъ его воровать! отчаянно кричала старушка.

— Да что ты въ самомъ дѣдѣ тетка, размахалась? проговорилъ наконецъ Захаръ, мало до сихъ поръ обращавшій на нее вниманія: — кто здѣсь кого обокралъ? смотри, не ты ли?.. Ему красть нечего... Хоша бы точно, заподлинно взялъ онъ деньги, выходитъ, красть ему нечего... свое взялъ — да и шабашъ!.. Пойдемъ, Гришка... что ее слушать, загуменную каргу...

— Знамо... свое... все мое... все мнѣ пре...доставлено!.. несвязно проговорилъ пріемышъ, слѣдуя за Захаромъ и напутствуемый бранью тетушки Анны.

Причина появленія двухъ пріятелей обнаружилась вскорѣ послѣ ихъ ухода. На дворѣ, подъ навѣсомъ, недалеко отъ заднихъ воротъ, находилась клѣть, или „лѣтникъ“. Въ этой клѣти сохранялись обыкновенно до перваго снѣгу полушубки и вообще вся зимняя одежда. Заглянувъ туда случайно, тетушка Анна не нашла ни одного полушубка, даже своего собственнаго: клѣть была пустехонька.

Во весь этотъ день Дуня не сказала единаго слова. Она какъ словно избѣгала даже встрѣчи съ Анной. Горе дѣлаетъ недовѣрчивымъ: она боялась упрековъ разсерженной старухи. Но какъ только старушка заснула и мрачная ночь окутала избы и площадку, Дуня взяла на руки дочку, украдкою вышла изъ избы, пробралась въ огородъ и тамъ уже дала полную волю своему отчаянію. Въ эту ночь на голову и лицо младенца, который спокойно почивалъ на рукахъ ея, упала не одна горькая слеза...

Слезамъ этимъ суждено было не пересыхать многіе и многіе дни и ночи. Съ того самаго дня горе какъ червь основалось въ сердцѣ молодой женщины.

Одно изъ самыхъ тяжкихъ испытаній ея было раззореніе старика-отца. Это произошло почти въ то же время, какъ Гришка кутилъ въ Комаревѣ. Дѣдушкѣ Кондратію не трудно было раззориться; стоило только напасть „плевку“ на пискарей и колюшекъ, на всю эту мелкоту, которую такъ глубоко презиралъ покойный Глѣбъ; такъ и случилось. Волей-неволей, дѣдушка Кондратій долженъ былъ покинуть маленькое озеро и искать новаго средства къ пропитанію.

Тяжко было семидесяти-восьмилѣтнему старику добывать насущный хлѣбъ другимъ, болѣе труднымъ промысломъ. Онъ перенесъ, однакожъ, перевороть судьбы съ тою кротостію и смиреніемъ, какія отличали его во всѣхъ случаяхъ жизни. Старикъ казался такъ же спокоенъ, какъ когда, бывало, удилъ рыбу на берегу своего озера. Онъ всячески старался уговорить и успокоить дочь, которая не переставала убиваться о томъ, что не можетъ подать ему руку помощи. И въ самомъ дѣлѣ, при существовавшихъ обстоятельствахъ, она ровно ничѣмъ не могла пособить преклонному родителю. Сама она съ своимъ младенцемъ и тетушка Анна ждали уже минуты, когда останутся безъ куска хлѣба. Обѣ, однакожъ, приступили къ старику и стали просить его перебраться въ домъ, хотя на первое время; но дѣдушка Кондратій напрямикъ отказался.

— Ничего изъ этого не будетъ, только обременю васъ, сказалъ онъ: — надо самому хлопотать какъ-нибудь. Пока глаза мои видятъ, пока терпитъ Господь грѣхамъ — силъ не отымаетъ, буду трудиться. Старѣе меня есть на свѣтѣ, и тѣ трудятся, достаютъ себѣ хлѣбецъ. Долженъ и я самъ собою пробавляться... Можетъ-статься, приведетъ Господь, люди добрые не оставятъ, вамъ еще пригожусь на что-нибудь... Полно, дочка, сокрушаться обо мнѣ, старику: самую что ни-на-есть мелкую пташку не оставляетъ Господь безъ призрѣнія — и меня не оставитъ!..

И точно, Господь не оставилъ дѣдушку Кондратія. Около этого времени въ Сосновкѣ оказалась надобность въ пастухѣ. Прежній пастухъ, по обстоятельствамъ своимъ, принужденъ былъ оставить стадо. Дѣдушка Кондратій тотчасъ же занялъ его мѣсто и нанялся достеречь стадо до перваго снѣгу. Онъ, можетъ статься, не принялъ бы на себя такой хлопотливой, тяжкой обязанности, пріискалъ бы другое мѣсто, болѣе сродное его привычкамъ: нанялся бы плести сѣти, вязать вёрши или ковырять лаптишки; но дѣло въ томъ, что денегъ, вырученныхъ за челнокъ и лачужку, проданные на дрова комаревскому фабриканту, едва-едва достало на уплату за наемъ озера. Срокъ платежа подоспѣлъ, какъ на зло, къ этому самому времени. И то еще: въ Комаревѣ (маленькое озеро, равно какъ другія озера лугового берега, принадлежали Комареву), — и то многіе въ Комаревѣ положительно утверждали, что дѣдушка Кондратій дешево отдѣлался!

Послѣ того, какъ старика не стало на озерѣ, дни потянулись еще печальнѣе, еще грустнѣе для его дочери.

Дни сами уже по себѣ не были веселы: мрачная, суровая осень стояла на дворѣ. Рѣдко проглядывалъ блѣдный лучъ солнца. Чаще небо заслонялось хребтами сизыхъ, зловѣщихъ тучъ; лились дожди и дули свирѣпые вѣтры. Дни эти служили какъ бы продолженіемъ тому печально-пасмурному вечеру, когда Глѣбъ разстался съ жизнію. Они соотвѣтствовали, впрочемъ, какъ нельзя лучше душевному состоянію двухъ женщинъ, единственныхъ обитательницъ площадки. И Дуня, и тетушка Анна имѣли одинаковыя причины скорбѣть душею. Горе въ часъ времени изглаживаетъ изъ памяти цѣлые годы счастія! Обѣ онѣ жили нѣсколько сутокъ однимъ горемъ; горе сдѣлало ихъ ровнями. Старуха, казалось, была только слабѣе духомъ. Она не переставала жаловаться и сѣтовать на горькую судьбу свою. Имя покойнаго не сходило съ языка ея; утѣшеніе, которое могла она встрѣтить въ Дунѣ и ея ребенкѣ, отравлялось или воспоминаніями, или огорченіями, которыя доставлялъ ей пріемышъ — этотъ второй сынъ, какъ говорила она когда-то.

— Онъ погубитель, лютый злодѣй нашъ! того и норовитъ, какъ загубить насъ... Наказалъ насъ Господь! Прогнѣвали, знать, Творца, повторяла она.

Остановить Гришку не было никакой возможности. Попросить объ этомъ сосновскихъ родственниковъ—не поможетъ. Пожалуй хуже еще: на зло задуритъ, какъ провѣдаетъ! Прибѣгнуть къ сосновскимъ властямъ, къ сотскому, напримѣръ... Но у сотскаго и безъ того много своего дѣла. Впрочемъ, мысль о сотскомъ не приходила даже въ слабую голову старушки.

Въ одинъ изъ тѣхъ сумрачныхъ, ненастныхъ дней, когда душа тоскуетъ безъ печали, и когда Дуня и тетушка Анна, подавленныя горестію, переставали уже вѣрить въ возможность земныхъ радостей, судьба нежданно, негаданно, послала имъ утѣшеніе. Одинъ изъ самыхъ дальнихъ сосновскихъ родственниковъ привезъ старушкѣ письмо отъ Вани. То была первая о немъ вѣсточка. Ваня позаботился, однакожъ послать письмо болѣе полугода назадъ; но оно лежало на почтѣ и, безъ сомнѣнія, долго еще не достигло бы своего назначенія, еслибъ не помогъ случай, этотъ безсмѣнный, но не всегда вѣрный почтальонъ простонародья; отцу родственника встрѣтилась надобность съѣздить на почту для отправки паспорта. Письмо Вани, адресованное въ Сосновку, случайно подвернулось подъ руку почтмейстеру. Податель паспорта былъ изъ Сосновки. Письмо поступило къ нему за пазуху; но это ничего еще не значило: письмо могло-бы проле-

жать цѣлые годы въ Сосновкѣ, еслибъ сыну родственника не встрѣтилась необходимость побывать въ Комаревѣ и еслибъ домъ Анны не былъ на пути.

Не берусь передать движеніе, съ какимъ старушка ухватилась за вѣсточку отъ возлюбленнаго сына. Лицо ея приняло выраженіе какъ будто стояла она у воротъ и глядѣла на Ваню, который подымался по площадкѣ послѣ двухлѣтней разлуки. Но первая мысль ея, когда она пришла въ себя, первое воспоминаніе все-таки принадлежало мужу.

— Маленечко только и не засталъ-то! всего одну недѣльку! все бы порадовался, хоть бы въ рукахъ-то подержалъ, касатикъ! проговорила она, глядя на письмо и обливаясь слезами: — Ваня! сынокъ ты мой любезный... утѣха ты моя... Ванюшка! съ горячностію подхватила она, прижимая грамотку къ тощей, ввалившейся груди своей.

— Полно, матушка! Вишь, какую радость послалъ тебѣ Господь! Чѣмъ плакать-то, ступай-ка лучше скорѣе къ батюшкѣ, въ Сосновку: онъ грамотку-то тебѣ прочитаетъ... Ступай; я пособлю одѣться, говорила Дуня, слѣдуя за старушкой, которая суетилась какъ угорѣлая и отыскивала платокъ, между тѣмъ какъ платокъ находился на головѣ ея.

Дуня проводила старушку до самой вершины берегового хребта и вернулась домой не прежде, какъ когда тетушка Анна исчезла изъ виду.

Въ обыкновенное время, если считать отдыхи, старухѣ потребовалось бы безъ малаго часъ времени, чтобы дойти до Сосновки; но на этотъ разъ она не думала даже отдыхать, а между тѣмъ пришла вдвое скорѣе. Ноги ея помолодѣли и двигались сами собою. Она не успѣла, кажется, покинуть берегъ, какъ уже очутилась на верстѣ отъ Сосновки и увидѣла стадо, лежавшее подлѣ темной, безлиственной опушки рощи.

Минуту спустя, старуха и дѣдушка Кондратій, который поспѣшилъ опустить наземь кочедыкъ и лапти, сидѣли рядышкомъ.

— То-то вотъ горе-то наше: глазами ноньче уже плохъ сталъ, матушка, произнесъ старикъ, развертывая письмо съ замѣтнымъ удовольствіемъ: — святцы, ништо, пока еще разбираю, вижу, а вотъ ужъ писанную-то грамотку и не знаю какъ... разберу-ли. Э-э! да никакъ самъ грамотку-то писалъ! подхватилъ онъ, потряхивая головою — почтенною головою, окруженною прядями бѣлыхъ какъ снѣгъ

и мягкихъ какъ ленъ волосъ:—точно, его, его рука! ужъ мнѣ ли не знать! самъ, вѣдь, матушка, училъ его! Вишь ты, и пригодилось теперь. То-то, вотъ, доброе никогда не пропадаетъ: рано ли, поздно ли, завсегда окажется... Ну-тка! ну-тка! заключилъ онъ, прищуривая глаза и прикладывая къ нимъ, въ видѣ зонтика, дрожащую ладонь свою.

Письмо начиналось, какъ начинаются обыкновенно всѣ письма такого рода—изъявленіемъ сыновней любви и покорности и нижайшею просьбою передать заочный поклонъ всѣмъ родственникамъ, „а именно, во первыхъ“ (тутъ съ точностію обозначены были имена и отечества дражайшей родительницы-матушки, дѣдушки Кондратія, Дуни, братьевъ, пріемыша, всѣхъ сосновскихъ тетокъ, двоюродныхъ братьевъ съ ихъ дѣтками и сожительницами, упомянутъ даже былъ какой-то Софронъ Дроновъ, крестникъ тетушки Анны).

— И никого-то онъ не забылъ, соколикъ мой, Ванюшка, и всѣхъ-то онъ, батюшка, помнитъ! Ужъ на что вотъ Софрона крестника, и о немъ помянулъ, золотой! проговорила старушка, всхлипывая.

— Что говорить! добрая, ласковая душа его: все оттого, матушка! памятенъ оттого ему всякъ человѣкъ, всякъ уголокъ родного мѣста... Да, добрый у тебя сынокъ; наградилъ тебя Господь милосердый: послалъ на старости лѣтъ утѣшеніе!.. Полно, матушка, Анна Савельевна, о чемъ тужить... послушай-ка лучше... вотъ онъ тутъ еще пишетъ:

„Что же касается до меня (писалъ дальше Ваня), то я, по милости ко мнѣ всемогущаго Создателя, хранимый всеблагимъ Его провидѣніемъ, и по настоящее время нахожусь живъ и здоровъ, весьма благополученъ, чего стократно и вамъ, батюшка и матушка, желаю, какъ-то: мирныхъ, благодѣтельныхъ и счастливыхъ дней, хорошихъ успѣховъ во всѣхъ вашихъ хозяйственныхъ дѣлахъ и намѣреніяхъ. Продолжая дальше сіе письмо, прошу васъ, батюшка, вскорѣ по полученіи онаго, увѣдомить меня, живы ли вы и въ какомъ положеніи находитесь...“

На этомъ мѣстѣ всхлипываніе старушки превратилось вдругъ въ громкое рыданіе, и дѣдушка Кондратій прервалъ чтеніе, потому что глаза его вдругъ плохо что-то, совсѣмъ плохо стали разбирать послѣднія строки; почеркъ оставался, однакожъ, все такъ же четокъ и крупенъ. Но „затменіе“ дѣдушки Кондратія, какъ называлъ онъ

временное свое ослѣпленіе, продолжалось не долго. Старикъ протеръ ладонью глаза свои и снова сталъ читать:

„... Въ какомъ положеніи находитесь... да,—и хотя я не могу никакой помощи на дѣлѣ вамъ оказать, но усугублю хоть свои усердныя ко Господу Богу молитвы, которыя я не перестаю Ему возсылать утромъ и вечеромъ о вашемъ здравіи и благоденствіи: усугублю и удвою свои молитвы, да сдѣлаетъ васъ долголѣтно счастливыми, а мнѣ сподобитъ, что я въ счастливѣйшія времена поживу съ вами еще сколько-нибудь на землѣ, побесѣдую съ престарѣлымъ моимъ родителемъ и похороню во время благопріятное ваши старыя косточки...“

— Перестань, матушка Анна Савельевна! Послушай-ка лучше, что я скажу тебѣ, произнесъ старичокъ, перевертывая послѣднюю страничку письма, на которой находились только подпись да названіе полка и губерніи, куда слѣдовало адресовать отвѣтъ:—мы пока, слышь, ничего, не скажемъ ему... о нашемъ объ горѣ... Христосъ съ нимъ! Ему, сердечному, и безъ того скучно жить въ одиночествѣ. Провѣдаетъ, и того, матушка, тошнѣе будетъ, востоскуетъ оттого добрая душа его, ослабнетъ духомъ... въ служебномъ дѣйствіи человѣку это не годится! Пущай до поры до времени ничего не вѣдаетъ: легче будетъ оттого на сердцѣ и легче жизнь ему покажется... А написать—напишемъ. Надо порадовать его вѣсточкою о сродственникахъ... все какъ слѣдуетъ... Полно, матушка Анна Савельевна! Божья на то была воля... Богъ ровняетъ, матушка, наши скорби и радости... вишь, какую сотворилъ тебѣ милость: какого далъ сынка въ утѣху твоей печали и старости... Дастъ Господь, доживешь до радостнаго дня, увидишься: какіе еще твои года! доживешь, сынка встрѣнешь... Призритъ онъ тебя, успокоитъ... вмѣстѣ поживете...

— Гдѣ ужъ дожить, отецъ! гдѣ дожить! произнесла старушка, зажмуривая глаза и покачивая головою:—какая наша жисть то, поглядѣлъ бы ты! горе одно, горе-горькое, только, батюшка, и видишь! Не токма, что мнѣ, кормилецъ: Дуня помоложе меня, и той сотвори Господь пережить жисть-то нашу!.. О-охъ, Ванюшка, Ванюшка! батюшка ты мой! охъ, нѣтъ, не видать ужъ мнѣ, соколикъ, свѣтлыхъ глазъ твоихъ! Можетъ-статься, и пожили бы, касатикъ, подхватила она, утирая слезы и принимаясь махать руками:—и пожили, може статься, кабы не онъ, злодѣй-то нашъ! Поглядѣлъ бы ты теперь... и ее-то всее, дочь-то твою, безъ солнца злодѣй высушилъ!

— Слышалъ, матушка, знаю, тягостно проговорилъ старикъ.

Но тетушка Анна не могла уже остановиться. Стоило только произнести ей имена Гришки и Захара, она мгновенно забывала свое горе и вся превращалась въ негодованіе. Въ эту минуту она забыла даже письмо Вани. Слезы высохли на глазахъ ея, и только мокрые слѣды на впалыхъ, сморщенныхъ щекахъ показывали, что она за секунду передъ тѣмъ разливалась-плакала. Каждое движеніе доброй старушки преисполнилось необычайною живостію. Произнося имя Гришки, она размахивала руками и сжимала даже костлявые, безкровные кулаки свои. Задумчивое молчаніе собесѣдника какъ словно сильнѣе еще поощряло старушку, которая, можетъ-быть, во всю жизнь не имѣла еще такого удобнаго случая и вмѣстѣ съ тѣмъ такихъ побудительныхъ причинъ изливать всѣ свои несчастія и жаловаться — слабость свойственная вообще всѣмъ старухамъ, жизнь которыхъ была стѣснена долгое время.

Но нѣтъ никакой возможности передать всѣхъ жалобъ тетушки Анны; еще труднѣе было бы слѣдить за прихотливыми изгибами ея крайне непослѣдовательной рѣчи. Рѣчь ея можно только сравнить съ ручьемъ, который бѣжитъ по неровной мѣстности: то журчитъ между камнями и дѣлится на безчисленное множество тоненькихъ струекъ, то вдругъ разливается по лужайкѣ, то низвергается съ высоты и неожиданно пропадаетъ, чтобы немного дальше снова зашумѣть между прутьями лозняка... Голосъ старушки, выраженіе всей фигуры измѣнялись съ непостижимою быстротою; все существо ея мгновенно отдавалось подъ вліяніе словъ и воспоминаній, которыя возникали вереницами въ слабой головѣ ея: они переходили отъ украденныхъ полушубковъ къ Дунѣ, отъ Дуни къ замку у двери коморы, отъ замка къ покойному мужу, отъ мужа къ внучкѣ, отъ внучки къ Захару, отъ Захара къ дѣдушкѣ Кондратію, котораго всеслезно просила она вступиться за сиротъ и сократить словами безпутнаго, потеряннаго парня, — отъ Кондратія переходили они къ Ванѣ и только-что полученному письму, и, вмѣстѣ съ этими скачками, голосъ ея слабѣлъ или повышался, слезы лились обильными потоками или вдругъ пересыхали, лицо изображало отчаяніе или уныніе, руки безсильно опускались или дѣлали угрожающіе жесты.

Наружность дѣдушки Кондратія представляла между тѣмъ во все это время самую рѣзкую противоположность съ наружностію собесѣдницы. По мѣрѣ того, какъ она оживлялась, лицо его скло-

нялось на грудь; время отъ времени онъ глубоко вздыхалъ, подымалъ шапку и крестился. Несмотря на глубокую грусть, изобразившуюся въ чертахъ старика съ самаго начала этого объясненія, онъ не произнесъ ни одной жалобы, ни одного укорительнаго слова. Слушая разсказъ о дѣйствіяхъ зятя и горькой судьбѣ, которая, безъ сомнѣнія, ожидала дочь и внучка, онъ скорѣе молился за нихъ, чѣмъ негодовалъ на виновника ихъ несчастія.

— То-то же вотъ и есть, самъ суди, кормилецъ, какая жизнь-то наша: гдѣ ужъ тутъ дожить, родной! День-деньской ходишь вотъ такъ-то,—ходишь-убиваешься, слезъ-то однихъ выплачешь больше теперь, чѣмъ во всю жисть-то, заключила старушка, неожиданно прекращая свою живую мимику и снова принимаясь всхлипывать:—ее-то добре жаль, дочку-то твою, да и ребенка-то жаль пуще всего... Безъ солнца злодѣй высушилъ! Тоскуетъ-убивается, касатка, какъ горька-кукушечка... Утопилъ ее, злодѣй, въ слезахъ горькіихъ. Что и будетъ съ нею, не вѣдаю... Хошь бы ты, право, батюшка, вступился за нихъ; хошь бы разочекъ поговорилъ ему... А ужь намъ-то—и не знаемъ, какъ и быть-то! знамо, бабье дѣло. Инда страхъ напалъ, родной! сокрушилъ, злодѣй, совсѣмъ!.. Поначѣдайся, родной, поговори ему: авось онъ тебя послушаетъ, посовѣстится...

— Гдѣ ужь тутъ, матушка!.. Я и тогда говорилъ тебѣ: слова мои не помогутъ,—только грѣха примешь! произнесъ наконецъ старикъ тихимъ, но глубоко огорченнымъ голосомъ.—Ужь когда твоего старика не послушалъ—онъ ли его не усовѣщевалъ! онъ ли не говорилъ ему!—меня не послушаетъ!.. что ужь тутъ!.. Я, признаться, и прежде не видѣлъ въ немъ степенства; только и надежда была вся на покойника! имъ только все держалось... Надо Бога просить, матушка—такъ и дочкѣ скажи: Бога просить надобно. Единъ Онъ властенъ надъ каменнымъ сердцемъ!..

Этими словами окончилась бесѣда, потому что наступило время, когда старикъ долженъ былъ возвратиться съ своимъ стадомъ въ Сосновку. Тетушка Анна, бережно уложивъ за пазуху письмо Вани, пошла провожать его до околицы. Но видъ деревни, въ которой старушка родилась и провела свою молодость вплоть до замужества, соблазнилъ ее: она вошла на улицу. Первый человѣкъ, попавшійся ей навстрѣчу, былъ какой-то родственникъ; мудренаго нѣтъ: всѣ почти сосновскіе жители приводились сродни тетушкѣ Аннѣ. Нельзя же было не подойти и не поздороваться; къ тому же, она вспом-

нила, что имя родственника находилось въ письмѣ Вани. Но Ваня крѣпко наказывалъ передать поклонъ всѣмъ сосновскимъ родственникамъ и родственницамъ. Совѣсть взяла старушку: передать поклонъ одному и ничего не сказать другимъ, значило нанести послѣднимъ горькую, вовсе незаслуженную обиду. Основываясь на этомъ, тетушка Анна поспѣшила завернуть въ первую избу. Отъ поклоновъ перешло къ тому, другому, третьему, десятому, и наконецъ къ настоящему житью-бытью старушки. Предметъ этотъ, какъ уже извѣстно, производилъ на нее дѣйствіе раскаленныхъ угольевъ, подложенныхъ подъ кострюлю съ нагрѣтою уже водою: она вскипѣла мгновенно; то же самое повторилось во всѣхъ почти сосновскихъ избахъ, не исключая избы крестника Софрона Дронова. Однимъ словомъ, тетушка Анна, какъ говорится, закалякалась, и хватилась, что пора домой, тогда уже, когда на дворѣ было темнѣе, чѣмъ въ погребѣ. Дѣлать нечего: пришлось позаночевать у крестника.

На другое утро она поднялась, однакожъ, прежде чѣмъ дѣдушка Кондратій выгналъ свое стадо и, несмотря на убѣжденія родственниковъ, приглашавшихъ ее погостить еще денекъ въ Сосновкѣ, суетливо поплелась домой.

Тетушка Анна приближалась уже къ краю углубленія берегового хребта, гдѣ начиналась тропинка, ведшая къ избамъ, когда взглянувъ на Оку, увидѣла челнокъ, который быстро удалялся отъ площадки. Въ челнокѣ, сколько могла разсмотрѣть она, сидѣли двѣ фигуры: нетрудно догадаться, что то были Захаръ и Гришка. Ей показалось даже, что въ ту минуту, какъ она стала спускаться къ избамъ, одинъ изъ нихъ началъ махать шапкой, какъ словно прощался съ нею или здоровался. Старушка плюнула и поспѣшила домой: предчувствіе чего-то недобраго мгновенно овладѣло ея душою. Она застала Дуню въ страшныхъ слезахъ и отчаяніи. Изъ словъ молодой женщины оказалось, что Захаръ и Гришка забрали неводъ и сѣти и отправились продавать ихъ въ Комарево. Чувство радости, пробужденное въ сердцѣ старушки вѣсточкою любимаго сына, мгновенно исчезло. Такъ глухою, позднею осенью, блѣдный лучъ солнца, продравшись неожиданно сквозь мрачно нависнувшія тучи, оживляетъ на минуту безлиственную чащу маленькой рощи, которая давнымъ-давно между тѣмъ ждетъ отдыха подъ мягкимъ покровомъ снѣга.

Но Гришка былъ уже на слишкомъ скользкой дорогѣ, чтобы

остановиться. Вскорѣ поразилъ онъ тетушку Анну чуть ли не въ самую чувствительную часть ея сердца. Въ одинъ прекрасный день онъ явился домой и завладѣлъ, съ помощію неизмѣннаго друга своего Захара, всѣми горшками, корчагами, самыми любимыми лагунчиками старушки,—словомъ, унесъ всю посуду. Въ отвѣтъ на отчаянные крики и вопли старушки, пріятели увѣряли, что съ наступленіемъ весны, когда начнется промыселъ, возвратятъ ей всѣ горшки и накупятъ еще много новыхъ, нарочно съѣздятъ за ними въ Коломну, а не то и въ самую Москву.

Въ ожиданіи этого благополучнаго времени, они постепенно уносили изъ дому все, что ни попадалось подъ руку. За горшками послѣдовалъ остатокъ муки, купленный Глѣбомъ въ дешевую пору, за мукою—кадки, въ которыхъ солили рыбу, и наконецъ не стало уже видно на берегу площадки большой лодки и вершей.

Всѣ эти предметы перешли, какъ и слѣдовало ожидать, подъ широкіе, помѣстительные навѣсы Герасима, или въ извѣстныя уже сѣни „Разставанья“.

Тетушка Анна бѣгала неоднократно къ дѣдушкѣ Кондратію, но безъ малѣйшаго успѣха. И что въ самомъ дѣлѣ могъ сдѣлать дѣдушка Кондратій?

Такъ въ самое непродолжительное время, всего въ мѣсяцъ какой-нибудь, раззорился и опустѣлъ домъ, полный когда-то какъ чаша и возбуждавшій зависть самыхъ зажиточныхъ, хозяйственныхъ мужиковъ околодка! такъ пошло прахомъ и разсѣялось хозяйство, сооруженное, въ продолженіе многихъ десятковъ лѣтъ, неусыпными трудами заботливаго, честнаго рыбака Глѣба Савинова!

Наконецъ, когда во всемъ домѣ не нашлось вещи, которую можно было бы промѣнять на стаканъ вина, Захаръ и Гришка окончательно основались на площадкѣ.

Въ первые дни пребываніе ихъ не ознаменовалось ничѣмъ особенно замѣчательнымъ. Не произнося ни съ кѣмъ ни слова, лежали они на лавкѣ или бродили врозь по двору или окрестностямъ площадки. Оба, казалось, избѣгали даже разговора между собою и мрачно, недовѣрчиво поглядывали другъ на друга. Взглянувъ на нихъ, посторонній человѣкъ, не знающій прошлаго Захара и Гришки, легко могъ подумать, что то были два человѣка, которые только-что совершили какое-нибудь недоброе дѣло, совѣстились глядѣть другъ другу въ глаза и каялись въ своемъ проступкѣ, особенно

тотъ, который былъ помоложе. Но Дуня и тетушка Анна думали иначе. Руководимыя женскимъ инстинктомъ, который въ иныхъ случаяхъ открываетъ истину вѣрнѣе, чѣмъ могли бы сдѣлать это опытъ и разсудокъ, онѣ думали, что мрачное спокойствіе, временно овладѣвшее Захаромъ и Гришкою, не поведетъ къ добру. Душа ихъ невольно наполнилась страхомъ и предчувствіемъ.

Тишина въ жизни буйнаго, необузданнаго человѣка не предвѣщаетъ ничего добраго. То же самое бываетъ, говорятъ, на морѣ.

Читатель узнаетъ изъ слѣдующей главы, насколько вѣрно оправдались предчувствія Дуни и старушки.

XXVII.

Ночь на Окѣ.

Страшная буря свирѣпствовала на Окѣ, въ Комаревѣ, въ Сосновкѣ и, вѣроятно, далеко-далеко во всей окрестности. Она началась съ разсвѣтомъ. Уже съ самаго утра юго-западный вѣтеръ перемѣнилъ вдругъ направленіе — превратился въ „низовой“, то есть началъ дуть прямо противъ теченія. Поверхность Оки, на которой во всю ночь отражался, словно въ зеркалѣ, полный мѣсяцъ и небо съ бѣгающими по немъ облаками, покрылась на зарѣ мелкою, чешуйчатою рябью; каждая изъ этихъ маленькихъ волнъ, бѣжавшихъ въ упоръ вѣтру, почти видимо выростала. Вскорѣ рѣка, смятая назадъ волнами и вѣтромъ, задержанная въ своемъ теченіи, начала вздуваться и заливать низменные берега. Тучи, собиравшіяся нѣсколько сутокъ на горизонтѣ, заволновались заодно съ рѣкою. Разорванныя въ нѣсколькихъ мѣстахъ порывами вѣтра, онѣ точно обрушились, но остановленныя посреди паденія, мигомъ превратились въ груды фантастическихъ развалинъ, которыя продолжали двигаться, мѣняя съ каждою секундой свой цвѣтъ, величину и очертаніе: то падали онѣ другъ на дружку, смѣщивались, растягивались тяжелыми закругленными массами и принимали видъ исполинскихъ темно-синихъ чудовищъ, плавающихъ по разъяренному морю; то росли, вздымались, какъ горные хребты, и медленно потомъ расходились, открывая глубокія долины и пропасти, на днѣ

которыхъ проносились клочки другихъ облаковъ; то снова все это смѣшивалось въ одинъ неопредѣленный хаосъ, полный страшнаго движенія...

Вѣтеръ крѣпчалъ съ каждымъ часомъ.

Къ полудню, по широкому раздолью Оки, которая сдѣлалась уже какого-то желтовато-бураго цвѣта, шумно гулялъ „бѣлоголовецъ“. За версту теперь слышался глухой гулъ, производимый плескомъ разъяренныхъ волнъ о камни и края берега. Голосъ бури заглушалъ человѣческій голосъ. Стоя на берегу, рыбаки кричали и надрывались безъ всякой пользы. Тѣ, къ кому обращались они, слышали только смѣшанный ревъ воды, или „хлоповень“—слово, которое употребляютъ рыболовы, когда хотятъ выразить шумъ валовъ.

„Хлоповень пошла!“ говорятъ они.

Часамъ къ двумъ по полудни сверкнула молнія и прокатился громъ. Почти въ ту же секунду ударилъ ливень. Каждое облако, каждая тучка превратились, казалось, въ источники огромныхъ рѣкъ и водопадовъ. Все это произошло такъ неожиданно, что рыбаки, стоявшіе на берегу, не успѣли сдѣлать крестнаго знаменія, какъ уже потоки мутной, желтой воды, увлекавшіе въ быстринѣ своей пучки поблеклыхъ травъ, корни и булыжникъ, съ ревомъ покатились по уступистымъ скатамъ нагорнаго берега. Земля замѣсилась и не держала ноги. Буря страшно грохотала по окрестности...

Рыболовамъ невольно пришли тогда въ голову бѣдные путешественники, одиноко шествующіе посреди безлюдной, пустынной дороги; они вспомнили также своего брата, рыбака, и помянули морехода, застигнутаго на морѣ. Море было далеко—верстъ за восемьсотъ, или, даже за цѣлую тысячу отстояло море,—но буря ревѣла съ такою силой, что не было никакой возможности представить себѣ, чтобы находилось на землѣ хотя одно мѣсто, гдѣ бы свѣтило солнце и раскидывалось голубое, ясное небо. Къ тому же, простолюдинъ и особенно коренной рыбакъ, который живетъ по большей части отдѣленный отъ общества и остается по тому самому при застарѣлыхъ своихъ понятіяхъ, твердо увѣренъ, что если дождь обмываетъ его челнокъ, то всѣ челноки, существующіе на землѣ, терпятъ ту же участь, что если буря свирѣпствуетъ надъ его домомъ, буря свирѣпствуетъ съ одинаковой яростью по всей „землѣ-планидѣ“. Но это въ сущности ничего не значитъ: застарѣлыя понятія не мѣшаютъ рыбаку молиться въ такое время и просить

Бога послать утѣшеніе и помощь мореходамъ, плавающимъ въ морѣ, и пѣшеходамъ-странникамъ, идущимъ по дорогамъ.

Ливень и мрачное небо ускорили сумерки; въ октябрѣ и безъ того уже скоро окутываютъ они землю. Наступила ночь. Буря ожесточалась между тѣмъ съ каждымъ часомъ и выла все яростнѣе и грознѣе. Такъ утверждали по крайней мѣрѣ жители селъ и деревень, лежащихъ на откосѣ берегового хребта, почти надъ самою Окою. Впрочемъ, ночью все кажется какъ-то страшнѣе. Самая тишина пробуждаетъ уже страхъ. Буря ночью во сто разъ ужаснѣе бури днемъ. Каждый звукъ, причину котораго легко объясняешь себѣ при дневномъ свѣтѣ, приводитъ тогда въ содроганіе. Сердце невольно стѣсняется и бьется ускореннымъ тактомъ. Разсудокъ, не успокоенный, не поддержанный зрѣніемъ, мгновенно наполняется ужасомъ, блуждаетъ въ смущеніи и потемкахъ, какъ нищій слѣпецъ, брошенный на дорогѣ вожакомъ своимъ.

Октябрь былъ въ половинѣ. Полный мѣсяцъ ярко свѣтилъ теперь въ звѣздномъ небѣ. А между тѣмъ надъ поверхностію земли висѣли слои тяжелыхъ, зловѣщихъ тучъ, шелъ ливень, грохотала буря и немолчно раздавались удары грома, повторявшіеся въ ущельяхъ и долинахъ высокаго берега.

Изрѣдка, посреди страшнаго смѣшенія крутившихся тучъ, появлялись какъ словно блѣдно-молочныя пятна: изрѣдка хребты тучъ, разорванные вѣтромъ, пропускали край серебрившагося облака, и вслѣдъ затѣмъ, въ неизмѣримой глубинѣ воздушныхъ пропастей, показывался мѣсяцъ, глядѣвшій испуганными какими-то глазами. Порывъ вѣтра мгновенно задувалъ его, но, минуту спустя, серебрянный лучъ снова продирался въ другомъ мѣстѣ и нежданно озарялъ нагорный берегъ, который попеременно то выставлялся во всемъ дикомъ величіи своемъ, то вдругъ пропадалъ посреди ночи. Ока также освѣщалась этими переходящими лучами и выказывала на мгновеніе свои пѣнистые буруны, разбивающіеся въ дребезги: новый порывъ вѣтра, и снова все застилалось мракомъ. Слухъ наполнялся дико-ревущими голосами, шумомъ ливня, раскатами грома, который долго еще послѣ того, какъ потухала молнія, рокоталъ въ отдаленныхъ лощинахъ; слышалось завываніе вѣтра, свиставшаго въ кустахъ и оврагахъ, и тысячи другихъ неопредѣленныхъ звуковъ, въ которыхъ суевѣріе находитъ всегда такую обильную пищу для того душевнаго волненія и ужаса, которыхъ такъ боится, но которые, однакожъ, любитъ.

При всемъ томъ, подлежитъ сильному сомнѣнію, чтобы кто-нибудь изъ окрестныхъ рыбарей, начинай отъ Серпухова и кончая Коломной, оставался на берегу. Привыкшіе къ бурямъ и невзгодамъ всякаго рода, они, вѣрно, предпочитали теперь отдыхъ на лавкахъ, или сидѣли, вмѣстѣ съ женами, дѣтьми и батраками, вокругъ стола, передъ чашкой съ горячей ушицей. Нужны были самыя крайнія побудите ьныя причины: лодка, оторванная отъ причала и унесенная въ рѣку, верши, сброшенныя въ воду вѣтромъ, чтобы заставить кого-нибудь выйти изъ дому.

Надо полагать, что такія причины встрѣтились у Захара и Гришки, потому что, часовъ около восьми вечера, въ то время, какъ буря была во всей своей силѣ, оба они вышли на площадку. Имъ нечего было, однакожъ, безпокоиться о большой лодкѣ, она, сколько извѣстно, давнымъ-давно красовалась на заднемъ дворѣ „Разставанья“; верши также спокойно лежали въ защитѣ отъ непогоды подъ всевмѣщающими навѣсами комаревскаго цѣловальника. При всемъ томъ, Захаръ и Гришка спѣшили къ рѣкѣ.

Захаръ, опережавшій нѣсколькими шагами пріемыша, часто останавливался, выжидалъ товарища и принимался дѣлать живые, пояснительные знаки, причемъ правая рука его каждый разъ протягивалась къ луговому берегу. Сквозь частую сѣтку ливня и темноту, въ той сторонѣ мелькалъ время отъ времени огонь; пламя, заливаемое поперемѣнно дождемъ или подживляемое сучьями, то потухало совершенно, то вспыхивало. Въ послѣднемъ случаѣ легко было замѣтить, что костеръ располагался неподалеку отъ Оки. Причина, побудившая Гришку и Захара выйти изъ дому, очевидно, имѣла прямое, непосредственное отношеніе къ этому огню. Глаза двухъ пріятелей, не отрывавшіеся отъ костра, достаточно подтверждали такое предположеніе: оба, какъ видно, дома еще переговорили о своемъ предпріятіи. Во всю дорогу Захаръ ограничивался одними жестами.

Достигнувъ берега, они тотчасъ же спустили на воду челнокъ, лежавшій опрокинутымъ на пескѣ.

Принимая въ соображеніе нетерпѣливыя движенія Захара и не совсѣмъ ласковыя наименованія, какими снабжалъ онъ Гришку, легко было догадаться, что расторопность послѣдняго не удовлетворяла требованіямъ перваго, или не исполнялъ онъ, какъ слѣдовало, условій, въ которыхъ оба согласились заблаговременно. Гришка, точно, неохотно какъ будто бы рѣшался подвергать дождю и вѣтру

свою голову и спину, едва прикрытую лохмотьями рубашки. Не обращая ни малѣйшаго вниманія на брань товарища, онъ вяло взвалилъ на плечи багоръ и весла, и медленно, словно по принужденію, вошелъ въ челнокъ. Одной секунды достаточно было Захару, чтобы прыгнуть на корму, ударить рулевой лопатой въ берегъ и отпихнуть челнокъ, который, подобно шелухѣ, тотчасъ же запрыгалъ по разъяреннымъ бурунамъ.

Благодаря силѣ, сноровкѣ молодцовъ, а также хорошему устройству посудинки, имъ не предстояло большой опасности; но все-таки не мѣшало держать ухо востро. Брызги воды и пѣны ослѣпляли ихъ поминутно и часто мѣшали дѣйствовать веслами. Но, несмотря на темноту, несмотря на суровые порывы вѣтра, которые кидали челнокъ изъ стороны въ сторону, они не могли сбиться съ пути. Костеръ служилъ имъ надежнымъ маякомъ. Захаръ, сидѣвшій на рулѣ и управлявшій посудиной, не отрывалъ глазъ отъ огня, который замѣтно уже приближался.

— Клади весла — берегъ близко! крикнулъ во всю мочь Захаръ, принимаясь сильнѣе грести рулевой лопатой и силясь повернуть носъ челнока противъ вѣтра и гребня волнъ:—багоръ, живо багоръ!.. вечоръ гнали плоты... за погодой, должно быть, остановились... они тутъ гдѣ-нибудь!.. Наткнемся какъ разъ... щупай багромъ!..

Опасность мгновенно возвратила Гришкѣ его проворство. Онъ бросилъ весла и, повернувшись лицомъ къ носу челнока, вооружился багромъ. Минуту спустя, раздался сухой ударъ — конецъ багра вонзился въ дерево, и челнокъ ударился о край довольно большой лодки, свободно прыгавшей по волнамъ, но привязанной къ берегу длинной веревкой. Захаръ не ошибся: плоты, которые прогонялись наканунѣ, дѣйствительно были въ нѣсколькихъ шагахъ, и не будь багра въ рукахъ Гришки, челнокъ непремѣнно бы налетѣлъ на нихъ; лодка принадлежала прогонщикамъ лѣса. Привязавъ челнокъ къ лодкѣ, Захаръ и Гришка ловко перебрались въ нее; изъ лодки перешли они на плоты и стали пробираться къ берегу, придерживаясь руками за бревна и связи, чтобы не скатиться въ воду, которая съ дикимъ ревомъ набѣгала на плоты, страшно сшибала ихъ другъ о дружку и накренивала ихъ такъ сильно, что часто одна половина бревенъ подымалась на значительную высоту, тогда какъ другая глубоко уходила въ волны.

Грохотъ бури, казалось, усиливался еще оглушительнѣе по мѣрѣ

приближеніи къ луговому берегу. Вѣтеръ завывалъ и рвался какъ бѣшеный въ кустахъ ивняка, которые преграждали ему дорогу. Къ этому примѣшивался плескъ волнъ, которыя разбивались о плоты и берегъ, забѣгали въ кусты, быстро скатывались назадъ, подтачивая древесные корни, увлекая за собою глыбы земли, дерну и цѣлыя ветлы; въ заливахъ и углубленіяхъ, защищенныхъ отъ вѣтра, вода, вспѣненная прибоемъ или наволокомъ, обломками камыша, прутьевъ, древесной коры, присоединяла ропотъ къ яростному плесканью волнъ. Здѣсь вода и воздухъ рвались и метались, смѣшиваясь въ одинъ общій грохотъ, далеко слышный по всей луговой окрестности.

Наши молодцы продолжали карабкаться на четверенькахъ, переходя съ одного плота на другой. Достигнувъ наконецъ берега съ бо̀льшими усиліями, чѣмъ употреблено было, чтобы переѣхать Оку, они остановились и перевели духъ.

Мѣсяцъ, украдкою глянувшій въ эту минуту, освѣтилъ блѣдное лицо пріемыша. Въ чертахъ его обозначались явные слѣды внутренней тревоги и безпокойства. Не въ первый разъ, однакожъ, приводилось Гришкѣ переѣзжать Оку въ такую бурю; онъ давно уже успѣлъ свыкнуться съ опасностями жизни рыбака. Надо полагать, что смущеніе, овладѣвшее имъ, происходило совершенно отъ другихъ причинъ. Захарь догадывался, вѣроятно, въ чемъ дѣло, Взглянувъ еще разъ по направленію къ костру, который заслонился кустами, какъ только ступили они на берегъ, онъ поспѣшно обратился къ пріемышу и, какъ бы желая ободрить его, весело воскликнулъ:

— Чего тутъ?.. Вишь, половину ужъ дѣла отмахнули!.. Рази намъ въ первака: говорю, какъ жилъ этта я въ Серпуховѣ, у Григорья Лукьянова — бывало, это у насъ въ частую такъ-то пошаливали... одно слово: обдѣлаемъ — лучше быть нельзя!.. Смотри, только ты не зѣвай, дѣлай, какъ, примѣрно, я говорилъ; а ужъ насчетъ то-есть меня не сумнѣвайся: одно слово—Захаръ! Смотри же, жди гдѣ сказано: духомъ буду... Ну, что-жъ, на дождѣ-то стоять?.. Качай! заключилъ Захаръ, оправляя мокрые волосы, которые хлестали его по лицу.

Отклонивъ руками вѣтви ивняка, онъ снова пустился въ путь. Гришка молча послѣдовалъ за товарищемъ. Нѣсколько времени пробирались они кустами; миновавъ ихъ, они снова остановились. Захаръ повторилъ Гришкѣ свои наставленія, и оба опять разста-

лись. Гришка пошелъ вправо, Захаръ прямехонько направился къ костру, который показался, какъ только пріятели выбрались на опушку ивняка.

Немного погодя, ноги Захара ступали уже въ тѣни, которую бросали головы и спины двухъ человѣкъ, сидѣвшихъ противъ огня. Огромное стадо воловъ окружало костеръ со всѣхъ сторонъ на далекое разстояніе. Захаръ явственно различалъ, при свѣтѣ огня, раздуваемаго вѣтромъ, рогатыя, склоненныя къ землѣ головы животныхъ, которыя то ярко выставлялись изъ мрака, то совсѣмъ какъ будто пропадали. Со всѣхъ сторонъ раздавалось глухое чавканье и фырканье, которыхъ не могъ даже заглушить шумъ ливня и вѣтра. Тряхнувъ мокрыми волосами, Захаръ подошелъ увѣренною поступью къ костру.

Заслышавъ шаги, гуртовщики проворно обернулись.

— Степка, ты? спросилъ одинъ изъ нихъ.

— Нѣтъ, братцы, я... Здравствуйте, братцы! Богъ помочь!... Увидѣлъ огонекъ—завернулъ погрѣться; скороговоркою возразилъ Захаръ, приводя въ дѣйствіе слова свои.

Гуртовщики оглядывали его съ головы до ногъ.

Захаръ, потирая руки передъ огнемъ, дѣлалъ также свои наблюденія; но свѣтъ и тѣнь перебѣгали съ такою быстротою на лицахъ гуртовщиковъ, что не было рѣшительно возможности составить себѣ вѣрнаго понятія о ихъ наружности.

Захаръ приступилъ тотчасъ же къ объясненіямъ.

— Ну, ужъ, братцы, погодка! сказалъ онъ, покрякивая и топая ногами.

— Нешто! равнодушно отвѣчали гуртовщики, снова усаживаясь на корточки передъ костромъ.

Дождь яростно, однакожъ, хлесталъ ихъ по спинѣ; но они мало объ этомъ заботились, утѣшаясь, вѣроятно, тѣмъ, что грудь, руки и ноги оставались въ теплѣ. Мокрая ихъ одежда, подогрѣваемая спереди огнемъ, испускала отъ себя паръ, подобный тому, какой подымается вечеромъ надъ водою.

— Одолжите, братцы, мѣстечко: смерть прозябъ... Сѣсть некуда: вишь, кака мокреть!.. А что можно примѣрно, согнать вола? спросилъ Захаръ.

— Згони, пожалуй, флегматически сказалъ одинъ изъ гуртовщиковъ.

— Эй, ты, цопъ! цопъ! ге! крикнулъ Захаръ, толкая ногою

ближайшаго быка, который лѣниво поднялся на переднія ноги, потомъ на заднія, и неохотно отошелъ въ сторону.

Намѣреніе занять мѣсто, гдѣ лежало прежде животное, показывало, что Захаръ дѣйствительно уже не въ первый разъ имѣлъ дѣло съ гуртовщиками, какъ говорилъ онъ объ этомъ Гришкѣ. Гуртовщики, приготовляющіеся къ ночлегу посреди пустыря, устраиваютъ себѣ ложе слѣдующимъ образомъ: оня дадутъ сначала быку належаться на избранномъ мѣстѣ, потомъ отгоняютъ его прочь и поспѣшно занимаютъ его мѣсто; ложе оказывается всегда сухимъ и теплымъ, и сохраняетъ свои качества на всю ночь. Злхаръ усѣлся такъ, однакожъ, что спина его была обращена къ Окѣ, а лицо — къ Комареву. Ему слѣдовало, во что бы ни стало, отвлечь на время вниманіе собесѣдниковъ отъ той части стада, которая располагалась къ сторонѣ Комарева.

— Отколь вы, братцы? словоохотливо началъ Захаръ.

— Зъ Воронежа.

— Те-е-къ, понимаю: сдалече, стало-быть. Самъ бывать не бывалъ, а слыхать слыхалъ... А я такъ вотъ изъ Серпухова иду въ эту сторону... Не знаете ли, братцы, какое здѣсь такое есть Комарево село. Перевозилъ меня рыбакъ съ той стороны, говорилъ: „пройдешь, гов ритъ, луга, тутъ тебѣ и будетъ“. А гдѣ его искать-то? лѣшій его найдетъ теперь!.. Забѣжишь, пожалуй, въ такое мѣсто, гдѣ самъ сатана рѣдьки не строгалъ: потому, выходитъ, зги не видать; ночь, все единственно; и вѣтеръ къ тому пуще силенъ: собаки не услышишь... Вотъ даже шапку сорвалъ, какъ рѣку переѣзжали, что ты станешь дѣлать!.. Вы, я чай, проходили черезъ село-то, потому знать должны. Иду туда на счетъ, то есть примѣрно, портняжескаго дѣла: мы этимъ занимаемся... Комарево, слышь, Комарево? должно быть, недалече?..

— Ко-марево? Эй, Лександръ! слышь, Комарево? проговорилъ одинъ изъ гуртовщиковъ, вопросительно взглядывая на другого.

— Комарево? нѣтъ, не знаемъ, братъ... гe! Микитка!

— А?

— Не туда ли пошли Стёпка и другіе товарищи. Комарево... кажись, слыхалъ такое.

— А рази вы здѣсь не одни, братцы? товарищи есть? спросилъ Захаръ.

— Насъ пять чіловікъ.

„Эхъ, плохо дѣло!“ подумалъ Захаръ: „того и смотри, въ ка-

бакѣ теперь... кабы только фалалей Гришка на нихъ не натянулся".

— Что жъ они васъ оставили? громко промолвилъ Захаръ, озираясь на стороны и напрягая слухъ, не слышно ли чего со стороны села.

Шумъ вѣтра и ливня одинъ раздавался въ лугахъ; раскаты грома становились, однакожъ, рѣже; буря какъ словно стала утихать.

— Такъ какъ же это они ушли, а васъ оставили? повторилъ Захаръ.

— Придутъ! равнодушно отвѣчали гуртовщики.

— Надобность есть, стало, какая въ Комаревѣ?

— Въ шинокъ пошли.

— Ге-ге! началъ было Захаръ.

— Го-го! подхватили гуртовщики въ одинъ голосъ.

— Вотъ какъ! стало, они до винца-то охотники?

— Дюже пьютъ.

— Ну, а вы-то какъ же, братцы?

— Вси любятъ горілку.

— Небось принести посулили?

— Завтра объ утро придутъ—принесутъ!

— Ночуютъ, стало, въ Комаревѣ?

— Ночуютъ.

Полагая, что пустопорожнее каляканье его съ гуртовщиками продолжалось довольно долго, что Гришка, вѣрно, успѣлъ уже въ это время спроворить дѣло и ждалъ его въ условномъ мѣстѣ, Захаръ медленно поднялся на ноги.

— Нѣтъ, братцы, какъ здѣсь ни тепло, въ избѣ, надо полагать, теплѣе, сказалъ онъ, безъ всякой торопливости, зѣвнулъ, даже нѣсколько разъ и потянулся:—ей-Богу, право, о-о. Пойду-ка и я тяпну чарочку: вѣрнѣе будетъ—скорѣе согрѣешься... Къ тому и пора: надо къ селу подбираться... О-хе, хе. Авось найду какъ-нибудь село-то—не соломинка. Скажите только, въ какую сторону пошли ваши ребята?

— Туда все шли, отвѣчали гуртовщики, неопредѣленно кивая головою въ луга.

— Должно быть, недалече. Найду какъ нибудь! Прощайте, братцы! спасибо за хлѣбъ-соль, за угощенье!.. Эхъ, шапки-то нѣтъ:

поклониться нечѣмъ! подхватилъ Захаръ, посмѣиваясь. — Не взыщите, ребята; человѣкъ дорожный; прощайте и такъ.

— Съ Богомъ! флегматически отвѣчали гуртовщики.

По мѣрѣ удаленія отъ костра, Захаръ прибавлялъ шагу; отдалившись отъ него на значительное разстоянье, онъ пустился въ бѣжки. Время отъ времени онъ останавливался, столько же, чтобы перевести духъ, столько же, чтобы прислушаться, и снова продолжалъ путь, стараясь по возможности, держаться направленія Комарева. Вѣтеръ дулъ съ Оки, подталкивалъ Захара въ спину и облегчалъ ему ходьбу. Сообразивъ, вѣроятно, что жилье уже недалеко, Захаръ остановился, оглянулся направо и налѣво и, приложивъ сложенные пальцы къ губамъ, пронзительно свистнулъ.

Минуту спустя, гдѣ-то въ отдаленіи, ему отвѣчали такимъ же свистомъ.

Захаръ поспѣшно пошелъ въ ту сторону и, немного погодя, сквозь темноту и частую сѣтку дождя, смѣнившаго ливень, различилъ навѣсы. Тутъ онъ убавилъ шагу, подобрался къ плетню и снова свистнулъ, но уже несравненно тише прежняго.

— Здѣсь! сказалъ кто-то нетерпѣливымъ голосомъ.

— Ай да Гриня! произнесъ Захаръ, быстро подходя къ пріемышу:—ну, что? гдѣ товаръ?

— Тутъ, глухо отозвался пріемышъ.

— Ой-ли! Вотъ люблю! восторженно воскликнулъ Захаръ, приближаясь къ быку, который, стоя подъ навѣсомъ, въ защитѣ отъ дождя и вѣтра, спокойно помахивалъ хвостомъ:—молодца; ей-Богу, молодца! ай да Жукъ!.. А ужь я, братецъ ты мой, послушалъ бы только, какіе турусы разводилъ этимъ дурнямъ... то-то потѣха!.. Ну, вотъ, братъ, вишь и сладили! чего кобенился! говорю: намъ не впервые:—обработаемъ важнѣющимъ манеромъ. Наши теперь деньги, все единственно; гуляемъ тепереча, только держись!..

Захаръ не счелъ нужнымъ сообщить Гришкѣ о томъ, что товарищи гуртовщиковъ находились, быть можетъ шагахъ въ двадцати: дрожащій голосъ ясно обличалъ, что пріемышъ и безъ того уже струхнулъ порядкомъ. Не обращая вниманія на непріязненныя слова пріемыша и дѣлая видъ, какъ будто не замѣчаетъ его робости, Захаръ подхватилъ дружескимъ, но торопливо-озабоченнымъ голосомъ:

— Ну, дружище, теперича подожди меня здѣсь: требуется на-

передъ перемолвить съ Герасимомъ. Выходитъ, дѣло по настоящему въ дорогѣ покедова... Безъ него нельзя: поговорить требуется... то, да сё... Товаръ смотри только не выпусти; это всему дѣлу голова — заглавіе!..

И Захаръ, не дожидаясь отвѣта, мигомъ исчезъ за угломъ навѣса.

Гришка пробормоталъ глухимъ голосомъ проклятіе и яростно топнулъ ногою. Секунду спустя, онъ снова вернулся на прежнее свое мѣсто и, затаивъ дыханіе, снова припалъ къ плетню. Не зачѣмъ было, однакожъ, принимать излишнихъ предосторожностей; одинъ страхъ развѣ внушалъ ихъ. Гришка могъ пѣть, кричать, свистать, сколько было душѣ угодно, не опасаясь привлечь на себя вниманіе: буря утихала, но ревъ ея все еще заглушалъ человѣческій голосъ. Благодаря темнотѣ, въ трехъ шагахъ не было даже возможности различить быка, который, какъ бы сговорившись заодно съ Гришкой, смиренно, не трогая ни однимъ членомъ, изрѣдка лишь помахивая хвостомъ, стоялъ подлѣ навѣса.

XXVIII.

Отсутствіе Захара продолжалось долѣе, чѣмъ онъ предполагалъ. Такъ по крайней мѣрѣ показалось Гришкѣ, который дрожалъ столько же отъ страха, сколько отъ стужи. Въ каждомъ звукѣ: въ шорохѣ соломы, приподымаемой порывами вѣтра, въ шумѣ воды, которая, скатываясь съ кровель, падала въ ближайшія лужи, поминутно слышались ему погоня и крики, звавшіе на помощь. Онъ скорчивался тогда въ-три-погибели, плотнѣе припадалъ къ плетню и мысленно проклиналъ Захара,—проклиналъ часъ, въ который вышелъ изъ дома. Нѣсколько разъ намѣревался онъ пуститься въ бѣгство; но каждый разъ чувство ложнаго стыда и ложной совѣстливости удерживало его на мѣстѣ. Къ этому примѣшивалось также другое чувство; онъ боялся этимъ поступкомъ вооружить противъ себя Захара. Разрывъ съ Захаромъ казался ему теперь страшнѣе всего на свѣтѣ. Онъ столько же боялся послѣдствій такого разрыва, сколько одиночества.

Голосъ Захара, раздавшійся гдѣ-то неподалеку, мгновенно возвратилъ пріемышу часть его смѣлости. Онъ выбрался изъ-подъ плетня и сталъ на ноги. Шаги приближались въ его сторону; секунду спустя, тихо скользнулъ деревянный засовъ, запиравшій изнутри заднія ворота „Разставанья“, подлѣ котораго находился пріемышъ.

— Что̀ тутъ много разговаривать! надо сперва поглядѣть, послышался сонливый, гнусливый голосъ, по которому Гришка тотчасъ же узналъ Герасима.

— Экой ты, братецъ мой, чудной какой, право! чего глядѣть-то? веди, говорю, на дворъ: тамъ пожалуй хошь съ фонаремъ смотри. Какъ есть, говорю, первый сортъ: Глѣбъ Савинычъ худого не любилъ, у него, чтобъ было самое настоящее. И то сказать, много ли здѣсь увидишь, веди на дворъ! пересыпалъ Захаръ, точно выбивалъ дробь языкомъ.

— Что вести-то! можетъ, еще не по цѣнѣ, промямлилъ цѣловальникъ и, не обращая вниманія на дальнѣйшія замѣчанія Захара, подошелъ къ Гришкѣ.

— Твоя животина? спросилъ онъ, принимаясь ощупывать бока вола, который очень охотно поддался такому осмотру.

— Онъ хозяинъ, живо подхватилъ Захаръ: —я такъ, примѣрно, для компанства.

— Какая же цѣна твоя? спросилъ Герасимъ, обращаясь къ пріемышу.

— Да какая... я что... началъ было Гришка.

Но Захаръ тотчасъ же перебилъ его.

— Десять цѣлковыхъ, одно слово, сказалъ онъ рѣшительнымъ голосомъ.

— Нѣтъ, что тутъ! пожалуй съ вами еще бѣду наживешь, флегма̀тически произнесъ Герасимъ.

— Какую такую бѣду?

— Никакъ Глѣбъ не держалъ скотины. Кто васъ знаетъ, гдѣ вы ее взяли! добавилъ цѣловальникъ, отворачиваясь и дѣлая видъ, какъ будто хочетъ уйти.

— Ну, вотъ, поди-жъ ты, толкуй поди съ нимъ! Эхъ дядя, дядя! воскликнулъ Захаръ, удерживая его: —вѣдь я жъ говорю тебѣ, — слышишь, я говорю, передъ тѣмъ, какъ помереть ему, купилъ въ Сосновкѣ у родственника: хотѣлъ бить на солонину.

Тутъ Захаръ украдкою толкнулъ Гришку въ спину.

— Точно... на солонину... это точно... повторилъ Гришка, которымъ овладѣла вдругъ, ни съ того, ни съ сего, поперхота.

— Все одно, цѣна несходная, флегматически возразилъ Герасимъ.

— Сколько жъ по твоему?

— Пять цѣлковыхъ.

— Нѣтъ, милушка, тридцать лѣтъ поживешь, такой цѣны не найдешь! Когда такъ, мы лучше погодимъ до ярмарки: въ томъ же Комаревѣ двадцать цѣлковыхъ дадутъ.

— Ваше счастье. Ступайте.

— Мы насчетъ, то есть, примѣрно, тебѣ хотѣли сдѣлать въ уваженье.

— Мнѣ не надо.

— Да ты скажи настоящую цѣну?

— Не надо, проговорилъ цѣловальникъ, снова поворачиваясь къ воротамъ.

— Погоди, постой!

Захаръ подбѣжалъ къ Герасиму, пригнулся къ его уху и шепнулъ скороговоркою:

— Ну, чего ты ломаешься? вѣдь деньги-то опять къ тебѣ придутъ!

— Ты-то изъ чего хлопочешь? громко возразилъ цѣловальникъ:— сбыть скорѣй съ рукъ хочется. Видно, взаправду, замореная какая скотина-то.

— Ахъ! э! поди вотъ толкуй съ нимъ! эхъ ты! воскликнулъ Захаръ, отчаянно ударяя себя ладонями по поламъ рубахи, съ которой вода текла какъ изъ жолоба.

— Вотъ тутъ у меня гуртовщики стоятъ: ихъ, что ли, поразспросить, сказалъ Герасимъ, умышленно растягивая каждое слово:—я въ этомъ товарѣ толку не знаю. Ихъ нешто привести— поглядѣть.

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо! подхватилъ Гришка, поспѣшно подходя къ Герасиму:—пожалуй, бери за пять цѣлковыхъ... бери...

— Что ты станешь дѣлать! э! была не была! снова воскликнулъ Захаръ:—хозяинъ поддался, стало, мнѣ тутъ нечего: веди на дворъ!.. Гришка, гони быка на дворъ! заключилъ онъ, бросаясь отворять ворота.

Минуту спустя, животное стояло подъ навѣсами въ одномъ изъ заднихъ угловъ, неподалеку отъ большой лодки.

— Ну, давай деньги! сказалъ Захаръ, какъ только Герасимъ заперъ ворота.

— Экой прыткій! а подписку-то? флегматически замѣтилъ цѣловальникъ.

— Какую тебѣ еще подписку?

— Безъ того не возьму; подписку надо отъ хозяина; можетъ, быкъ-атъ у васъ краденый... я почемъ знаю...

— Экой... ахъ, братецъ ты мой, чудной какой, право! говорятъ, купилъ въ Сосновкѣ, на солонину... чего-жъ тебѣ еще?

— Я этого не знаю.

— Фу, ты!.. эхъ!.. Гришка, никакъ ты грамотѣ обучался; развяжись, братецъ мой, подпиши подп.

— Зналъ, да забылъ... какъ есть забылъ... торопливо отозвался пріемышъ, который во все это время находился позади Захара и цѣловальника.

— Можно и безъ него, лѣниво промолвилъ Герасимъ: —никакъ въ кабакѣ сидѣлъ Ермилъ-конторщикъ: пожалуй онъ подпишетъ... Безъ того не возьму... ведите куда хотите.

— Такъ, стало, пять цѣлковыхъ? по рукамъ, что ли? пять цѣлковыхъ и могарычи!

— Не мое дѣло: кто продавалъ, съ того и могарычи, какъ словно нехотя проговорилъ Герасимъ, подымаясь на крылечко, служившее сообщеніемъ между дворомъ и извѣстною уже галлереею.

Тутъ цѣловальникъ сказалъ, чтобы спутники его шли въ харчевню, а самъ, повернувшись лицомъ къ избѣ, противоположной этому зданію, закричалъ протяжнымъ голосомъ:

— Матрена... а... Матрена... а... а!

Немного погодя, босыя ноги хозяйки Герасима торопливо застучали по деревянному помосту галлереи, и она вся въ попыхахъ остановилась передъ мужемъ.

— Сбѣгай въ кабакъ, Ермила-конторщика позови; скажи, хозяинъ, молъ, требуетъ; въ харчевнѣ, скажи... да принеси бумажки лоскутокъ, чернильницу захвати... ступай!..

И, какъ бы утомленный такою длинной рѣчью, Герасимъ медленно, едва передвигая ноги, подошелъ къ двери харчевни. Онъ провелъ тутъ нѣсколько минутъ, но сколько ни напрягалъ слуха, ничего не могъ разслышать изъ разговора пріятелей, кромѣ того

развѣ, что Захаръ называлъ товарища соломенной душой, фалалѣемъ, смѣялся и хлопалъ его по плечу, между тѣмъ какъ Гришка ругалъ его на всѣ корки.

Герасимъ, шмыгнувъ раза два по полу котами, вошелъ въ харчевню.

Почти вслѣдъ за нимъ явилась жена со свѣчою, клочкомъ бумаги и пузырькомъ съ чернилами, изъ котораго выглядывалъ обглодокъ пера; за нею вошелъ Ермилъ-конторщикъ. То былъ низенькій, оборванный человѣкъ, въ синеватомъ сюртукѣ, пережившемъ нѣсколькихъ владѣльцевъ, съ такимъ крутымъ и высокимъ воротникомъ, что лысая голова Ермила выглядывала изъ него какъ изъ кузова кибитки; крупный, рдѣющій носъ опредѣлялъ пьянчужку съ перваго взгляда.

Герасимъ передалъ ему въ короткихъ словахъ сущность дѣла.

— Что-жъ, можно, съ нашимъ великимъ удовольствіемъ, только бы вотъ молодцы-то, промолвилъ Ермилъ, прищуривая стеклянные глаза на Гришку и Захара: — было бы, значитъ, изъ чего хлопотать... станете „обмывать копыта *)“, меня, позовите...

— Ладно, катай! сказалъ Захаръ.

— Извольте, извольте, съ нашимъ удовольствіемъ, шутливо вымолвилъ Ермилъ.

Затѣмъ немедленно онъ сѣлъ за столъ и, вынувъ изъ пузырька обглодокъ пера и пригнувъ лысину къ лѣвому плечу, принялся выводить каракули.

Присутствующіе пододвинулись, кромѣ Гришки, который стоялъ на прежнемъ своемъ мѣстѣ и время отъ времени поглядывалъ съ явнымъ безпокойствомъ на дверь.

По мѣрѣ того, какъ слова являлись на бумагѣ, Ермилъ произносилъ ихъ во всеуслышаніе.

„Я нижеподписавшійся симъ свидѣтельствую“, читалъ Ермилъ, владѣвшій, повидимому, большимъ навыкомъ въ такого рода дѣлахъ — „свидѣтельствую, что продалъ комаревскому цѣловальнику, Герасиму Павлову быка; быкъ же сей получилъ я по наслѣдію отъ покойнаго родителя моего, рыбака Глѣба Савинова...“

— Купилъ, слышь, на солонину, неожиданно перебилъ Захаръ.

— Это не наше дѣло, вымолвилъ цѣловальникъ.

---

*) Всевозможныя торговыя сдѣлки скрѣпляются въ простонародьи виномъ или чаемъ,—чаще, однакожъ, виномъ. Когда дѣло идетъ о продажѣ скота, слово „могарычъ“ замѣняется выраженіемъ: „обмывать копыта“.

— Это онъ точно, замѣтилъ Ермилъ: — это здѣсь несоотвѣтственно. „Деньги же съ него, цѣловальника Герасима Павлова...“ Сколько денегъ то?

— Пять цѣлковыхъ, сказалъ Герасимъ.

„Деньги сполна полу...“

— Нѣтъ, погоди, стой! крикнулъ Захаръ: — давай напередъ деньги.

— Что ты орешь-то! отдамъ, промолвилъ Герасимъ.

— Ну, и отдавай, когда такъ: намъ не вѣрилъ, и мы те не вѣримъ! промолвилъ Захаръ.

Цѣловальникъ медленно повернулся и вышелъ изъ харчевни. Захаръ остановилъ его на порогѣ и велѣлъ захватить въ счетъ два штофа.

Минутъ пять спустя, вернулся цѣловальникъ, въ сопровожденіи жены, которая держала два штофа и стаканы. Захаръ поспѣшно завладѣлъ деньгами: сосчитавъ ихъ на ладони, онъ кивнулъ головою Герасиму и подмигнулъ Гришкѣ, который не обратилъ на него вниманія; глаза и слухъ пріемыша казались прикованными къ выходной двери харчевни.

— Теперь пиши, сколько хошь! сказалъ Захаръ, обращаясь къ Ермилу и запрятывая въ карманъ деньги.

Ермилъ снова помакнулъ перо и продолжалъ:

„Деньги же пять рублей серебромъ сполна получилъ, въ чемъ и подписуюсь. За незнаніемъ грамоты руку приложилъ отставной приказный Ермилъ Акишевъ“.

— Погоди, сказалъ цѣловальникъ: — подпиши ужъ ты и за свидѣтеля.

— А какъ, примѣрно, насчетъ, то есть, водочка будетъ, Герасимъ Павлычъ? спросилъ Акишевъ, лукаво прищуривая лѣвый глазъ.

— Будетъ.

— Самое, выходитъ, любезное дѣло, когда такъ, подхватилъ Ермилъ.

И тотчасъ же подмахнулъ.

„При сей продажѣ свидѣтелемъ былъ отставной приказный Ермилъ Акишевъ, въ чемъ и руку приложилъ...“

— Ну, давайте, братцы, обмывать копыта, я свое дѣло исполнилъ, за вами дѣло, проговорилъ Ермилъ, придвигаясь къ штофамъ, которые привлекательно искрились передъ огаркомъ. — Что

это товарищъ твой не веселъ? парень молодой—съ чего бы такъ? присовокупилъ онъ, посматривая на Гришку, между тѣмъ какъ Захаръ наливалъ стаканы.

— Скучаетъ все по покойникѣ, братецъ ты мой; извѣстно, жаль! подхватилъ Захаръ.

Онъ подошелъ къ Гришкѣ и торопливо шепнулъ ему что-то на ухо; тотъ тряхнулъ волосами, приблизился къ столу, взялъ стаканъ, залпомъ выпилъ вино, сѣлъ на лавку и положилъ голову въ ладонь.

— Ну... ну, бывайте здоровы! произнесъ Ермилъ, принимая стаканъ изъ рукъ Захара и медленно, какъ бы боясь пролить каплю, поднесъ вино къ синимъ губамъ своимъ.

— Полно, Гришуха! не воротишь, одно слово—не воротишь! У меня вотъ отца и матери нѣтъ; кабы не величали Силанчемъ, не зналъ бы какъ и отца-то звали: сирота круглый, значитъ, все единственно,—а вишь, не тужу! говорилъ Захаръ, успѣвшій уже опорожнить шкальчикъ и пододвигая Гришкѣ штофъ.—Ну-ка-сь, тяпнемъ-ка по чарочкѣ, съ горя! тяпнемъ за всѣ хвосты!.. Ну, а вы-то что-жъ... Дядя Герасимъ? хоша ты подвелъ насъ, обмишулилъ, надулъ, все единственно,—намъ это наплевать! мы зла не помнимъ, Ермилъ, пейте же, чего стали!.. Эхъ, нѣтъ у меня гармоніи! подхватилъ Захаръ, воодушевляясь и ударяя кулакомъ по столу:—то-то бы повеселилъ честную компанію... эхъ-ма!..

Захаръ закинулъ при этомъ назадъ голову, кашлянулъ и затянулъ тоненькимъ, пронзительнымъ дискантомъ своимъ:

Попила-то моя головушка,
Попила-то, погуляла-а а!..
И, эхъ, хотятъ то меня, добра молодца.
Поймати у прилуки у моей сударышки,
У милушки у Аннушки... и! и!..

— Чтожъ вы, ребята, подтягивай!

— Ты потише, братъ, равнодушно сказалъ Герасимъ, готовившійся уже выйти изъ харчевни.

— А что?

— Да то же, что тише; приходи завтра: ноньче нельзя, возразилъ Герасимъ, которымъ снова овладѣли вялость и сонливость, какъ только окончилась сдѣлка.

— Это еще по какому случаю? спросилъ удивленный Захаръ.

— Нельзя, да и только, вотъ-те и все тутъ; ступайте вонъ! вымолвилъ цѣловальникъ, направляясь къ двери.

Захаръ разразился было бранью, но Ермилъ Акишевъ поспѣшилъ удержать его.

— Малый, удалая голова, не шуми! сказалъ онъ: — не годится,—по той причинѣ, не годится, слышь: съ утра судъ ждутъ; того и смотри, наѣдетъ. Михайла Иванычъ давно здѣсь.

— Какой Михайло Иванычъ?

— А становой!

При этомъ извѣстіи Гришка поднялъ голову, и лицо его поблѣднѣло, какъ полотно.

Захаръ опустилъ стаканъ.

— Судъ... зачѣмъ? спросилъ онъ, значительно понижая голосъ, но стараясь сохранить спокойный видъ.

— Покража случилась: фабриканта Никанора обокрали, отвѣчалъ Ермилъ, приподымаясь съ мѣста.

Захаръ не разспрашивалъ дальше: на этотъ разъ смущеніе овладѣло имъ столько же, сколько и самимъ Гришкой. Онъ торопливо забралъ штофы и послѣдовалъ за Ермиломъ, пріемышемъ и цѣловальникомъ, которые выходили изъ харчевни.

Заднія ворота „Разставанья“ открывались только въ экстренныхъ случаяхъ. Гришкѣ и Захару предстояло выйти изъ заведенія не иначе, какъ черезъ кабакъ.

Въ кабакѣ было немного народу, но, тѣмъ не менѣе, шелъ довольно живой разговоръ. Обкраденный фабрикантъ служилъ предметомъ бесѣды.

— Такъ какъ же, Кузьма Демьянычъ, какъ, по твоему, что съ ними теперь будетъ! спрашивалъ одинъ изъ присутствующихъ, обращаясь къ старику, занимавшему середину кружка.

— А что будетъ—извѣстно что: за некошное дѣло будетъ поученьице тошное... знамо, спасиба не скажутъ.

— И будь безъ хвоста, не кажись кургузъ, умѣй концы хоронить! произнесъ кто-то.

— Вотъ такъ ужъ сказалъ! Ты думаешь, концы схоронилъ, такъ и правъ вышелъ? Нѣтъ, братъ, нонече не такъ: ночью слутовалъ—день скажетъ; на днѣ морскомъ, и тамъ не утаишь концовъ-то. Въ неправдѣ-то самъ Богъ запинаетъ... вездѣ сыщутъ.

— И слава те Господи!

— Ненаказанный не уйдетъ!

— По дѣломъ: не воруй! сказалъ высокій, черноволосый человѣкъ въ синей мѣщанской чуйкѣ.

— Что больно сердитъ?

— Видно, самого обокрали: онъ и серчаетъ.

— Было всего, началъ высокій человѣкъ: — гналъ это я — вотъ все одно, какъ теперь — гналъ гурты: мы больше по этой части; сами изъ Москвы, скупаемъ товаръ въ Воронежѣ. Такъ вотъ разъ увели у меня вола:

— Какъ такъ?

— Да такъ, взяли да и увели: дѣло было ночью.

— Эки мошенники!

— Ну, такъ что-жъ?

— Вѣстимо, не сидѣлъ сложивши руки. Стоялъ это я подлѣ села, подъ Рязанью: я къ становому. Ну, спасибо ему, заступился; сейчасъ кинулись это въ кабакъ — тутъ и взяли.

— Ну, то-то вотъ и есть! какъ не найти! вездѣ найдутъ. На днѣ окіяна-моря, и тамъ сыщутъ.

Морозъ пробѣжалъ по всѣмъ суставчикамъ пріемыша, и хмѣль, начинавшій уже шумѣть въ головѣ его, мгновенно пропалъ. Онъ круто повернулъ къ двери и шмыгнулъ на улицу. Захаръ, больше владѣвшій собою, подошелъ къ Герасиму, успѣвшему уже смѣнить батрака за прилавкомъ, потомъ прошелся раза два по кабаку, какъ бы ни въ чемъ не бывало и, подобравъ штофы подъ мышки, тихо отворилъ дверь кабака. Очутившись на крыльцѣ, онъ пустился со всѣхъ ногъ догонять товарища.

Буря какъ словно пріутихла. Дождь по крайней мѣрѣ лилъ уже не съ такою силою, и громовыхъ ударовъ не было слышно. Одинъ только вѣтеръ все еще не унимался. Унылый ревъ его, смѣшиваясь съ отдаленнымъ гуломъ волнующейся рѣки, не заглушаемый теперь раскатами грома и шумомъ ливня, наполнялъ окрестность.

Гришка дохнулъ вольнѣе не прежде, какъ когда вышелъ изъ Комарева и очутился въ лугахъ. Онъ не убавлялъ, однакожъ, шагу: забывъ, казалось, о существованіи Захара, онъ продолжалъ подвигаться къ рѣкѣ, то бѣгомъ, то медленно, то снова пускаясь бѣжать. Въ головѣ его была одна только мысль: онъ думалъ, какъ бы поскорѣе добраться домой. Время отъ времени въ смущенной душѣ его какъ будто просвѣтлялось, и тогда онъ внутренно давалъ себѣ крѣпкую

клятву — никогда, до скончанія вѣка, не бывать въ Комаревѣ, не выходить даже за предѣлы площадки, жить тихо-тихо, такъ чтобъ о немъ и не вспоминалъ никто. Но какъ быть съ Захаромъ? куда дѣть его? Онъ все дѣло погубитъ!.. При этомъ Гришка мысленно возвращался къ Комареву, „Разставанью“, прежней безпорядочной жизни и наконецъ къ происшествію настоящей ночи. Встревоженное воображеніе пріемыша рисовало тѣ же полныя ужаса картины, которыя преслѣдуютъ людей, имѣющихъ причины бояться правосудія. Холодъ проникалъ его насквозь. Ноющая тоска, тяжкое предчувствіе, овладѣвшее имъ въ то время еще, какъ онъ выходилъ изъ избы, давили ему грудь и стѣсняли дыханіе: точно камень привѣшивался къ сердцу и задерживалъ его движеніе. Онъ не былъ въ состояніи разъяснить себѣ своихъ мыслей. Смутно, безсознательно проносилось тогда въ душѣ его что-то похожее на раскаянье; но раскаянье, внушенное въ минуты страха, ненадежно. Въ душѣ парня снова дѣлалось темно, какъ ночью послѣ зарницы. Услышавъ за собою голосъ Захара, онъ остановился, столько же изъ опасенія, чтобы кто-нибудь не услышалъ товарища и не пустился слѣдить за нимъ, столько же и потому, что чувство одиночества казалось невыносимымъ. Онъ обрадовался бы теперь обществу маленькаго ребенка. При всемъ томъ, во все продолженіе пути, онъ слова не сказалъ Захару. Онъ ограничился тѣмъ только, что шелъ подлѣ. Обогнувъ на значительное разстояніе костеръ, который все еще пылалъ у опушки, они достигли наконецъ кустовъ ивняка.

Встревоженныя чувства пріемыша замѣтно успокоились, когда онъ продрался вмѣстѣ съ Захаромъ въ кусты. Кусты эти могли служить даже среди бѣлаго дня надежнымъ убѣжищемъ отъ преслѣдованій. Забравшись въ самую середину чащи, пріятели остановились, какъ бы по условному знаку. Захаръ предложилъ выпить для смѣлости. Гришка молча взялъ штофъ и поспѣшилъ привести въ дѣйствіе совѣтъ; въ горлѣ его и груди было сухо: послѣ первыхъ глотковъ онъ почувствовалъ уже облегченіе,—даже душа его какъ будто окрѣпла. Захаръ пилъ между тѣмъ изъ другого штофа, и такимъ образомъ оба значительно поубавили вина.

Переѣздъ черезъ Оку совершился благополучно: и люди и штофы вышли на берегъ невредимы. Подымаясь по площадкѣ, Захаръ насвистывалъ уже пѣсню. Гришка, между тѣмъ, опередившій своего товарища, стучалъ кулаками въ ворота.

— Что безъ толку шумишь-то? ай кулаки-то наемные? сказалъ

Захаръ, на котораго хмѣль дѣйствовалъ, но привычкѣ, вѣроятно, не такъ сильно, какъ на пріемыша.

Онъ приблизился къ воротамъ, нащупалъ веревочку, перекинутую черезъ перекладину, потянулъ ее книзу и приперъ плечомъ ворота, которыя тотчасъ же отворились.

— Вотъ тутъ стучи, пожалуй, коли есть охота: заперлись изнутри! промолвилъ Захаръ, когда онъ и Гришка поднялись на крылечко.—Экъ ихъ заспались какъ! все съ горя, должно быть!.. гей! гей! отворяй!..

Но Захаръ ошибся. потому что съ первыми словами его въ сѣняхъ раздались торопливые шаги и дверь отворилась.

— А-а-а! Авдотья Кондратьевна! маленько какъ будто потревожили васъ... прости, милая! какъ быть! съ дѣлами не справились! воскликнулъ Захаръ.

— Что те не докличешься?.. лучину! сурово сказалъ Гришка, входя въ сѣни.

— О-о-о! густымъ басомъ подхватилъ Захаръ, передразнивая пріемыша:—сейчасъ видно, хозяинъ пришелъ. Эхъ ты! жонка-милушка встрѣчаетъ, дверь отворяетъ—чѣмъ бы приласкать: спасибо, молъ, любушка жонушка, а онъ... эхъ ты, лапотникъ!.. Ну, пойдемъ, пойдемъ, смѣясь, примолвилъ онъ, пробираясь съ Гришкой въ избу.

— Кто тамъ? раздался голосъ съ печки, какъ только переступили они порогъ.

— Хозяинъ пришелъ, касатушка-бабушка! шутливо отозвался Захаръ.

— Мать наша, пречистая пресвятая Богородица, спаси и помилуй насъ грѣшныхъ! простонала со вздохомъ старушка.

— Ну, скоро, што-ль? огня давай! нетерпѣливо крикнулъ Гришка, топнувъ ногою.

— Полно тебѣ! Ну, что ты вправду: о! да о! что орешь-то! дай срокъ. Авдотья Кондратьевна, може статься, не найдетъ... съ просонья-то... Постой, милая, я подсоблю, заключилъ Захаръ, ощупывая стѣны и пробираясь къ Дунѣ.

Но въ ту же минуту подлѣ печки сверкнулъ синій огонекъ. Блѣдное исхудалое лицо Дуни показалось изъ мрака, и вслѣдъ затѣмъ выставилась вся ея фигура, освѣщенная трепетнымъ блескомъ разгорѣвшейся лучины, которая дрожала въ рукѣ ея. Защемивъ лу-

чину въ свѣтецъ и придвинувъ его на середину избы, она тихо отошла къ люлькѣ, висѣвшей на шестѣ въ дальнемъ углу.

Не обративъ на нее вниманія, а также и на тетушку Анну, которая слѣзала съ печи, Гришка подошелъ къ столу, сѣлъ на скамьѣ, подлѣ окна и, уперевъ на столъ локти, опустилъ голову въ ладони.

— Э-эхъ! воскликнулъ, съ притворнымъ вздохомъ и жестомъ, Захаръ, который не переставалъ до сихъ поръ щурить соколиные глаза свои на Дуню.

Онъ приблизился къ столу, поставилъ штофы, подсѣлъ къ пріемышу и дружески ударилъ его по спинѣ.

Увидѣвъ штофы, тетка Анна сдѣлала нѣсколько шаговъ впередъ, всплеснула руками и мгновенно разразилась градомъ упрековъ и жалобъ.

Въ отвѣтъ на это, Захаръ оглянулъ старушку съ головы до ногъ и залился тоненькимъ смѣхомъ.

Выходка эта окончательно взорвала старуху. Но Захаръ и Гришка продолжали дѣлать видъ, какъ будто не замѣчаютъ ея. Каждый попивалъ изъ своего штофа, но съ тою разницею, однакожъ, что пріемышъ, по мѣрѣ того, какъ исчезало вино, дѣлался болѣе и болѣе сумрачнымъ, тогда какъ Захаръ веселѣлъ съ каждой минутой. Подъ конецъ онъ вступилъ даже въ объясненія съ тетушкой Анной. Отвѣчая на каждое ея слово скоморошной какой-нибудь выходкой, онъ нерѣдко въ то же время обращался къ Дунѣ, которая изрѣдка выглядывала изъ-за люльки и подымала кроткій, дрожащій голосъ, стараясь уговорить старушку.

— Слышь, тетка, Авдотья Кондратьевна настоящее тебѣ говорятъ: полно надсажаться... Эхъ, пустая какая!.. Ну, за что ты ругаешься? за что?.. Ой ли? да рази мы пьянствуемъ! такъ ли пьянствуютъ-то?.. Охота горло драть... къ тому и года твои старые, слышь: покой требуется... говорилъ, посмѣиваясь, захмѣлѣвшій уже Захаръ, между тѣмъ какъ старуха надрывалась, осыпая его бранью и всевозможными проклятіями:—ой, перестань, право-ну, перестань! Лучше бы вотъ къ намъ подсѣла: знамо, горлышко промочить; оно же у тебя звонкое такое!.. Авдотья Кондратьевна! Эхъ, памятна ты, милая! полно серчать-то. Ну, что! садись, право, садись... А ужъ какую бы я вамъ пѣсенку спѣлъ! и-ихъ! одно слово: расшотѣшу!.. заключилъ Захаръ.

И, уперши кулаками въ бока, тряхнувъ молодцовато волосами, Захаръ запѣлъ, подмигивая Дунѣ:

Что ты, Дуня, приуны-ы-ла?
Воздохнула тяжело?
Раздушенька вспомянула
Любезнаго своего...

Дуня вынула изъ люльки спавшаго ребенка, подошла къ старухѣ и, взявъ ее за руку, принялась увѣщевать ее.

— Уйдемъ, матушка, перестань... оставь ихъ... пойдемъ лучше посидимъ гдѣ нибудь... что кричать то... брось... они лучше безъ насъ уймутся... шептала она, силясь увести старушку, которая хотя и подавалась, но съ каждымъ шагомъ, приближавшимъ ее къ двери, оборачивалась назадъ, подымала безкровные кулаки свои и посылала новыя проклятія на головы двухъ пріятелей.

— Куда вы? крикнулъ было Захаръ, неожиданно прерывая свою пѣсню.

Но Дуня захлопнула дверь за собою и старухой.

— А ну васъ, когда такъ! подхватилъ Захаръ, махнувъ рукою и опуская ее потомъ на плечо Гришки, который казался совершенно безучастнымъ ко всему, что происходило вокругъ:— ней, душа! али боишься, нечѣмъ будетъ завтра опохмѣлиться?.. небось, деньги еще есть! не горюй!.. что было, то давно сплыло! думай, не думай—не воротишь... да и думать-то не о чемъ... стало, все единственно... веселись, значитъ!.. пей!.. ну!.. заключилъ Захаръ, придвигая штофъ къ пріятелю.

Но рѣчь Захара не произвела никакого дѣйствія на товарища. Онъ сидѣлъ по прежнему подпершись локтемъ и опустивъ голову. Онъ не замѣтилъ даже, повидимому, отсутствія жены и старухи.

Захаръ веселѣлъ съ каждымъ новымъ глоткомъ. Прошелъ какой нибудь полу-часъ съ тѣхъ поръ какъ ушли женщины, но времени этого было достаточно ему, чтобы спѣть нѣсколько дюжинъ самыхъ разнобразнѣйшихъ пѣсенъ. Пѣсни эти, правда, рѣдко кончались и становились нескладнѣе; но зато голосъ пѣвца раздавался все звончѣе и размашистѣе. Изрѣдка прерывался онъ, когда нужно было вставить въ свѣтецъ новую лучину. Онъ совсѣмъ уже какъ будто запамятовалъ происшествіе ночи; самыя пріятныя картины рисовались въ его воображеніи...

Пріемышъ не принималъ ни малѣйшаго участія въ весельи товарища. Раскинувъ теперь руки по столу и положивъ на нихъ голову

свою, съ разсыпавшимися въ безпорядкѣ черными кудрями, онъ казался погруженнымъ въ глубокій сонъ. Разъ, однакожъ, неизвѣстно отчего, вѣтеръ ли сильнѣе застучалъ воротами, или въ памяти его, отягченной сномъ и хмѣлемъ, неожиданно возникъ одинъ изъ тѣхъ страшныхъ образовъ, которые преслѣдовали его дорогой, только онъ поднялъ вдругъ голову и вскочилъ на ноги.

— Гдѣ онѣ? гдѣ? проговорилъ онъ, оглядывая избу шальными, блуждающими глазами.

— Ушли, братъ! смѣясь, отвѣчалъ Захаръ.—Ну ихъ совсѣмъ! ломаются—не таковскія!

— Куда? гдѣ? куда ушли? крикнулъ Гришка, сурово отталкивая Захара и выходя изъ-за стола.

Хмѣль совсѣмъ уже успѣлъ омрачить разсудокъ пріемыша. Происшествіе ночи живо еще представлялось его памяти. Мысль, что жена и тетка Анна побѣжали въ Сосновку, смутно промелькнула въ разгоряченной головѣ его. Ступая нетвердою ногою по полу, онъ подошелъ къ двери и отворилъ ее однимъ ударомъ. Онъ хотѣлъ уже броситься въ сѣни, но голосъ старухи остановилъ его на порогѣ и разсѣялъ подозрѣнія. Тѣмъ неменѣе онъ топнулъ ногою и закричалъ во все горло:

— Сюда ступайте! сюда!

— Не ходи, родная, не ходи, ни за что не ходи! воскликнула старушка, удерживая, вѣроятно, Дуню.

— Сюда ступай, коли хочешь быть цѣла! сюда, говорю! бѣшено закричалъ Гришка.

— Не ходи, Дунюшка! не бойся, родная: онъ ничего не посмѣетъ тебѣ сдѣлать... останься со мною... онъ те не тронетъ... чего дрожишь! полно, касатка .. плюнь ты на него, раздавался голось старушки уже въ сѣняхъ.

Но такъ какъ увѣщеванія эти ни къ чему, видно, не служили, тетушка Анна бросилась вслѣдъ за Дуней, опередила ее, и не успѣла та войти въ двери, какъ уже старуха влетѣла въ избу и остановилась передъ Гришкой.

— Чего тебѣ, разбойникъ, отъ нея надыть? воскликнула она, заслоняя Дуню, которая тщетно старалась войти въ двери. — Зачѣмъ она тебѣ? Погибели ея хочешь, что-ли, злодѣй ты такой!

— Молчи! сурово произнесъ Гришка, отталкивая ея руку.

Голосъ старухи вдругъ оборвался, и она зарыдала; но это продолжалось одну секунду. Она снова заслонила Дуню, стоявшую въ

дверяхъ, со спавшимъ на груди ея младенцемъ, и подхватила съ возраставшимъ негодованіемъ:

— На кого руку-то поднялъ, вспомни! вспомни, кому грозишь-то! Злодѣй ты, злодѣй этакой! вѣдь я тебя, злодѣя на рукахъ на своихъ выносила! вспомни ты это! Думаешь, боюсь я тебя? не дамъ я ее, не дамъ тебѣ! чего тебѣ отъ нея надо? чего? аль мало тебѣ, утопилъ насъ въ слезахъ горькихъ; погибели нашей хочешь, злодѣй ты этакой! Постойте, я найду еще судъ на васъ обоихъ, нехристей окаянныхъ. Свѣтъ не безъ добрыхъ людей! подхватила она, отчаянно махая руками и обращаясь то къ пріемышу, то къ Захару, который покачивался нодлѣ печки.—Вы думаете, я ничего про васъ не вѣдаю? Погодите, васъ спросятъ еще, гдѣ вы вино-то взяли: вѣдь денегъ то у васъ давно нѣту... Сама довѣдаюсь, сама спрошу пойду, душегубцы вы, нехристи! Завтра же схожу въ Комарево... у всѣхъ стану спрашивать...

При этомъ Гришка, сдѣлавшій уже нѣсколько шаговъ къ столу, бросился со всѣхъ ногъ къ старухѣ и бѣшено замахнулся.

Въ ту же самую минуту на дворѣ раздались голоса.

— Здѣсь! не зѣвай, ребята, здѣсь! закричалъ кто-то въ сѣняхъ.

Гришка не успѣлъ придти въ себя, какъ уже въ дверяхъ показалось нѣсколько человѣкъ. Первое движеніе Захара было броситься къ лучинѣ и затушить огонь. Гришка рванулся къ окну, вышибъ раму и выскочилъ на площадку. Захаръ пустился вслѣдъ за нимъ, но едва просунулъ онъ голову, какъ почувствовалъ, что въ ноги ему вцѣпилось нѣсколько дюжихъ рукъ.

— Гришка! крикнулъ онъ отчаянно.

Но отвѣта не было.

— Ребята, кричалъ одинъ изъ молодцевъ, державшихъ Захара. — Одинъ далъ тягу въ окно, выскочилъ, бѣги за нимъ! живѣй! ребята! другого ужъ сцапали... тащи его, ребята!

Два человѣка стремглавъ пустились изъ избы. Остальные вцѣпились еще крѣпче въ Захара и, несмотря на то, что онъ бился, какъ бѣлуга, попавшаяся въ неводъ, втащили его въ избу.

— Батюшки! караулъ! рабойники! вопила тетушка Анна.

— Засвѣти огня, огня! подхватило нѣсколько голосовъ.

— Слышь, огня давай! добрымъ словомъ говорятъ! произнесъ кто-то надъ самымъ ухомъ старухи.—Какихъ еще нашла тутъ разбойниковъ? не разбойники—пришли за разбойниками—вотъ что! Ну, живо поворачивайся... огня, говорятъ!

— Да кто-жъ вы, батюшка... о-охъ! какіе такіе? охъ! Съ нами крестная сила! Дайте хоть ребенка-то положить, заговорила Анна, перебѣгая отъ люльки къ печкѣ.

— Ну, живо! живо! вздуешь огня, сама увидишь, какіе такіе... Крѣпче держи его, ребята: извернется — уйдетъ; давай кушакъ... вяжи его.

Послышалась свалка, сопровождаемая ударами и бранью. Но сила Захара ничего не могла значить передъ силою пятерыхъ дюжихъ молодцовъ. Когда старушка подошла съ лучиной, онъ стоялъ уже окрученный по рукамъ.

— Такъ вотъ вы зачѣмъ! Вяжите его, отцы! вяжите его, разбойника: онъ самый и есть злодѣй! завопила Анна, послѣ того, какъ одинъ изъ присутствующихъ взялъ изъ рукъ ея лучину и защемилъ ее въ свѣтецъ. — Всѣхъ насъ погубилъ, отцы вы мои! Слава те Господи! давно бы надыть! всему онъ причиной; и парня-то погубилъ...

Старушка ударилась въ слезы.

— Не вѣрьте ей, братцы, не вѣрьте! она такъ... запужалась... вретъ... ей-Богу, вретъ! его лэвите... обозналисъ... безвязно кричалъ между тѣмъ Захаръ, обращая попеременно то къ тому, то къ другому лицо свое, обезображенное страхомъ: — вретъ, не вѣрьте... кабы не я... парень-то, что она говоритъ... давно бы въ острогѣ сидѣлъ... я... онъ, всему голова... Богъ тебя покараетъ, Анна Савельевна, за... за напраслину!

— Отцы вы мои! Отсохни у меня руки, пущай умру безъ покаянія, коли не онъ погубилъ парня-то! отчаянно перебила старушка. — Спросите, отцы родные, всякъ знаетъ его, какой онъ злодѣй такой! Покойникъ мой со двора согналъ его, къ порогу не велѣлъ подступаться, — знамо, за недобрыя дѣла!.. Какъ померъ, онъ, разбойникъ, того и ждалъ — опять къ намъ съ домъ вступилъ.

— Что же это въ самомъ дѣлѣ, братцы! вѣдь это разбой, все единственно! кричалъ Захаръ, ободрясь. — За что связали? должны напередъ спросить... Ѳедотъ Кузьмичъ! вступись! подхватилъ онъ ласковѣе. — Вступись, знакомый человѣкъ! ты меня знаешь... встрѣчались... помнишь? Ѳедотъ Кузьмичъ!

— Ладно, братъ, тамъ разберутъ; вишь нашелъ какого знакомаго? Ѳедотъ Кузьмичъ! слышь! смѣясь, отвѣчалъ Ѳедотъ Кузьмичъ. — Крѣпче держи его, ребята! Тамъ разсказывай, какъ придемъ; тамъ васъ разберутъ, кто куда принадлежитъ.

— Отцы вы мои... охъ! да что-жъ такое это они надѣлали? что прилучилось-то? спросила тетушка Анна, неожиданно прерывая рыданія.

— Быка увели, обокрали вотъ этого молодца, возразилъ Ѳедотъ Кузьмичъ, указывая головою на высокаго, плечистаго мужика въ синей чуйкѣ, державшаго Захара за воротъ.

— Царица небесная! то-то вотъ! я какъ вино-то увидѣла... охъ, словно сердце мое чуяло... не добромъ достали вино-то!... Да какъ же это, родной?.. охъ, батюшки!

— А такъ же, что этотъ вотъ мошенникъ калякалъ съ работниками на лугу, а тотъ быка уводилъ: „я, говоритъ, портной; портной, говоритъ, иду изъ Сергухова!“ смѣясь, отвѣчалъ Ѳедотъ Кузьмичъ:—и то портной; должно быть, изъ тѣхъ, что ходятъ вотъ по ночамъ съ деревянными иглами да людей грабятъ.

— Отсохни руки и ноги, коли не по наговору! меня тамъ вовсе и не было; спроси хоть въ Комаревѣ, быстро заговорилъ Захаръ.

— Ладно, тамъ скажешь...

— Ну, пойдемте, братцы! перебилъ гуртовщикъ.

— Нѣтъ, погоди, надо другого дождаться; далеко не убѣжитъ: парни ловкіе— догонятъ!.. Слышь, еще и росписку цѣловальнику дали! подхватилъ словоохотливый Ѳедотъ Кузьмичъ.—„Такъ и такъ, говорятъ, быкъ достался, вишь, по наслѣдію отъ отца покойника...“

— Батюшка! да у насъ и въ заводѣ скотины-то не было! отродясь и не держали! воскликнула Анна.

— Мы ихъ и въ кабакѣ-то нонче видѣли.

— Когда ты меня видѣлъ? въ кое время? меня тамъ и не было! произнесъ Захаръ.

Не обращая на него вниманія, словоохотливый Ѳедотъ Кузьмичъ разсказалъ старухѣ, какъ гуртовщикъ, отправляясь съ другими работниками на ночлегъ въ избу цѣловальника, услышалъ, подъ навѣсомъ ревъ быка, какъ, движимый подозрѣніемъ, спустился на дворъ съ работниками, отыскалъ животное, убѣдился, что быкъ точно принадлежалъ ему, и какъ затѣмъ побѣжалъ къ становому, который къ счастію, находился въ Комаревѣ, по случаю покражи у фабриканта. Далѣе Ѳедотъ Кузьмичъ сообщилъ о томъ, какъ становой, собравъ понятыхъ, вошелъ въ кабакъ, допросилъ цѣловальника, и какъ цѣловальникъ тотчасъ же выдалъ воровъ, показалъ росписку, пояснилъ, откуда были воры, и разсказалъ даже, гдѣ найти ихъ.

— Добро еще, лодка попалась у берега; спасибо прогонщикамъ, припасли! а то бы пришлось, пожалуй, бѣжать на паромъ въ Болотово, заключилъ разсказчикъ.

Во все время этого объясненія Захаръ не давалъ отдыха языку своему. Онъ опровергалъ съ неописанною наглостью всѣ обвиненія, требовалъ очной ставки съ Герасимомъ, называлъ его мошенникомъ, призывалъ въ доказательство своей невинности росписку, въ которой не былъ даже поименованъ, складывалъ всю вину на Гришку, говорилъ, что пріемышъ всему дѣлу голова—заглавіе, поминутно обращался къ дружбѣ Ѳедота Кузьмича, и проч. Но Ѳедотъ Кузьмичъ только подтруниваль, а гуртовщикъ, державшій Захара за воротъ рубахи, не переставалъ его потряхивать.

— А вотъ никакъ и другого ведутъ! произнесъ одинъ изъ понятыхъ, прислушиваясь къ шагамъ, раздавшимся на дворѣ.

При этомъ Дуня сдѣлала движеніе, какъ будто хотѣла броситься къ двери; но въ дверяхъ показались только два человѣка, и она опустилась на лавку.

— Убѣжалъ! сказали въ одинъ голосъ вошедшіе.

Не было, однакожъ, сомнѣнія, что они употребили всевозможныя старанія, чтобы поймать бѣглеца: ноги ихъ до колѣнъ были покрыты грязью, оба дышали какъ опоенныя клячи, проскакавшія десять верстъ безъ отдыху.

— Нѣтъ, не поймали! подхватилъ одинъ изъ нихъ, съ трудомъ переводя дыханіе.—Совсѣмъ было схватили... да въ рѣку кинулся... не подоспѣли...

— Ладно, далеко не убѣжитъ! сказалъ Ѳедотъ Кузьмичъ.— Пачпорта не успѣлъ захватить. Искать надо въ Комаревѣ, либо въ Болотовѣ: дальше не пойдетъ, а можетъ-статься, и весь въ рѣкѣ-Окѣ остался... завтра все объявится, на виду будетъ!.. Добро, хошь этого-то молодца скрутили: придемъ не съ пустыми руками... Веди его, ребята!

И понятые потащили изъ избы Захара, который не переставалъ увѣрять, что идетъ своею охотой, что будетъ жаловаться за безчестіе, что становой ему человѣкъ знакомый, что все Комарево за него вступится, потому всякій знаетъ, какой онъ есть такой человѣкъ,—увѣрялъ, что онъ не лапотникъ какой-нибудь, а мѣщанскій сынъ, что вязать мѣщанина—это все единственно, что вязать купца—никто не смѣетъ,—что Гришка всему дѣлу голова—заглавіе, что обвинять его, Захара, въ покражѣ быка—значитъ, все един-

ственно, обвинять въ этомъ дѣлѣ Ѳедота Кузьмича, и проч. Но его не слушали и продолжали тащить по двору, причемъ раздосадованный гуртовщикъ, не выпускавшій изъ желѣзной пятерни своей ворота рубахи, не переставалъ долбить кулакомъ другой руки мѣщанскую шею Захара.

XXIX.

Наслѣдники.

Буря утихла, хотя тяжеловѣсныя, свинцовыя тучи все еще бродили по небу, но онѣ не посылали уже дождя. Вѣтеръ упалъ, перемѣнилъ направленіе. Тучи быстро неслись теперь къ западу, укладывались темносизыми слоями и медленно потомъ опускались къ горизонту, который замыкался косыми полосами ливней. Тамъ все еще сверкали молніи и время отъ времени грохоталъ громъ; но удары удалялись и постепенно ослабѣвали. Часто послѣ молніи ихъ вовсе не было слышно. На востокѣ свѣтлѣло между тѣмъ съ каждымъ часомъ. Мѣстами начинало уже открываться прозрачное, зелено-блѣдное дно осенняго неба. Но лучи солнца, продирающіеся сквозь рѣдѣющія облака, не веселили окрестности: при солнечномъ блескѣ рѣзче еще выказывалось опустошительное дѣйствіе бури и поздняго времени года. Повсюду, куда ни обращался взоръ, разстилались черныя, безжизненныя поля, изрѣзанныя бороздами, наполненными водою. Нагія деревья, съ вѣтвями, поломанными бурей, печально высились на окраинѣ дороги. Самыя лужи, засоренныя мелкими вѣтками и желтыми листьями, тускло отражали лучи солнца. Темными полосами тянулись въ отдаленіи пустынные лѣса. Ни одинъ звукъ не веселилъ слуха. Вся природа ждала, казалось, отдыха подъ мягкимъ покровомъ снѣга. Недолго дожидаться: октябрь на половинѣ. Не сегодня, завтра, того и-смотри, посыпятся пушистыя хлопья снѣгу и покроютъ собою продрогнувшую землю...

Этого ждалъ также, заодно съ природой, и дѣдушка Кондратій. Онъ давно уже съ ногъ смотался, слѣдуя за своимъ стадомъ по топкимъ полямъ и обнаженнымъ рощамъ, которыя не защищали его отъ дождя и вѣтра. Съ первымъ снѣгомъ оканчивалась тяжкая

пастуховская должность. Старикъ позаботился уже пріискать къ тому времени новое мѣсто: онъ нанялся плести сѣти у одного богатаго сосновскаго мужика, торговавшаго рыболовными снастями. Кромѣ того, что занятіе это соотвѣтствовало лѣтамъ и склонностямъ дѣдушки Кондратія, оно обезпечивало его вѣрнымъ кускомъ хлѣба на всю зиму. Этимъ способомъ не будетъ онъ никому въ тягость. Быть можетъ, даже, дастъ Богъ, пригодится еще дочери и внучку.

Занятый такими мыслями, старикъ торопливо слѣдовалъ за стадомъ, которое, на находя корма, бродило ускореннымъ шагомъ по полямъ и оглашало ихъ унылымъ ревомъ. Переходя съ одной нивы на другую, дѣдушка Кондратій незамѣтно дотянулъ до полудня. Пора было подумать объ обѣдѣ и отдыхѣ. Старикъ направился въ небольшую лощину, лежавшую верстахъ въ двухъ отъ Сосновки и служившую съ незапамятныхъ временъ всѣмъ пастухамъ мѣстомъ отдохновенія. Осенью бока лощины, покрытые частымъ орѣшникомъ, защищали пастуха и животныхъ отъ вѣтра; въ жаркіе лѣтніе дни они служили надежнымъ убѣжищемъ отъ зноя. Лощина представляла еще то удобство, что на днѣ ея, мѣстами заросшемъ кустами лозняка и сочной травою, мѣстами усѣянномъ плитнякомъ, бѣжалъ ручей. Стаду привольно было лежать на отдыхѣ подлѣ берега.

Въ ожиданіи обѣда, который приносили пастуху изъ Сосновки, дѣдушка Кондратій расположился на камняхъ подлѣ ручья. Но дѣльный старикъ никогда не сидѣлъ безъ дѣла. Отцѣпивъ отъ кушака связку лыкъ, положивъ на колѣни колодку и взявъ въ руки кочадыкъ, онъ принялся оканчивать начатый лапоть.

Надо полагать, что старикъ обознался временемъ и было уже больше полудня. Едва успѣлъ онъ раза два ковырнуть кочадыкомъ, какъ на днѣ лощины показался сынъ мужика, у котораго дѣдушка Кондратій нанималъ уголъ. Парень несъ обѣдъ.

То былъ малый лѣтъ шестнадцати, съ широкимъ, румянымъ, добродушнымъ лицомъ и толстыми губами. Нельзя было не замѣтить, однакожъ, что губы его на этотъ разъ измѣняли своему назначенію: онѣ не смѣялись. И вообще во всей наружности парня проглядывало выраженіе какой-то озабоченности, вовсе ему несвойственной; онъ не отрывалъ глазъ отъ старика, какъ словно ждалъ отъ него чего то особеннаго.

— Дѣдушка Кондратій,—слышь! а дѣдушка Кондратій! крикнулъ онъ шаговъ еще за тридцать.—Слышь! что ты вечоръ-то говорилъ! слышь, все по твоему вышло!

— Что я говорилъ? не помню, родной... о чемъ бишь? промолвилъ старикъ, прерывая работу.

— А какъ же, помнишь, говорилъ, дома-то у васъ, гдѣ дочка-то живетъ... слышь! все какъ есть по твоему вышло: вѣдь старшіе-то сыновья Глѣба Савиныча пришли!

— Такъ ли? ты, паренекъ, толкомъ говори,—такъ ли? правда ли? произнесъ старикъ, задумчивое лицо котораго вдругъ оживилось.

Въ послѣднее время онъ только и помышлялъ о возвращеніи Петра и Василія: они, безъ сомнѣнія, не замедлятъ оставить рыбацкія слободы и вернуться домой, какъ только провѣдаютъ о смерти отца. На нихъ основывались всѣ надежды дѣдушки Кондратія: присутствіе Петра и Василія должно было положить конецъ безпутству Гришки, должно было возвратить дому прежній порядокъ и спасти дочь, внучка и старуху отъ вѣрной погибели. Старикъ не зналъ еще, до какой степени разстройства и раззоренія доведенъ былъ въ послѣднее время домъ Глѣба Савиныча.

— Взаправду пришли, дѣдушка, подхватилъ парень: — пришли нонѣ утромъ.

— Да кто жъ тебѣ сказалъ? небось, Анна Савельевна у васъ въ Сосновкѣ?.. она сказала?

— Нѣтъ, вишь ты, пришли это они съ нашими ребятами... тѣ остались дома, а эти въ Сосновку пришли; они все разсказали...

— Ну, слава те Господи! вымолвилъ, перекрестившись, старикъ.—Пришли-таки въ домъ свой! все пойдетъ, стало, порядкомъ! люди немалые, степенные... слава те Господи!

— Да ты, дѣдушка, послушай,—дѣло-то какое! живо подхватилъ парень.—Они, наши, сосновскіе-то ребята, сказывали, твой зять-то... Григорьемъ, что ли звать?.. слышь, убѣжалъ, сказываютъ, нонче ночью... убѣжалъ и не знать куда!.. всѣ, говорятъ, понятые изъ Комарево искали его — не нашли... А того, слышь, пріятеля-то, работника, Захара, такъ того захватили, сказываютъ. Нонче, вишь, ночью обокрали этто они гуртовщика какого-то, вотъ что волы-то прогоняютъ... А въ Комаревѣ судъ, говорятъ, понаѣхалъ—сейчасъ и дослѣдились...

При этомъ дѣдушка Кондратій снова перекрестился, но уже голова его была опущена и дрожала вмѣстѣ съ рукою, творившею крестное знаменіе.

— Ты, дѣдушка, не пуще тужи: може-статься, уйдетъ еще твой-то—не поймаютъ! добродушно подхватилъ парень.—А ужъ какъ,

говорятъ, старшій-то сынъ Глѣба Савиновича на его, на Гришку-то, серчаетъ... то-то бы ты послушалъ, какъ наши ребята сказывали: какъ увидалъ, говорятъ, какъ раззорено въ домѣ-то—сказываютъ, все, вишь, пустехонько,—такъ, говорятъ, и взлютовался! „Попадись, говоритъ, онъ мнѣ въ руки, живымъ не оставлю!“ Такъ взлютовался, слышь, инда на жену его, на дочь твою, накинулся. Оба, и старшій, и младшій, хотятъ, вишь, въ судъ жаловаться, и ей, слышь, дочери-то твоей, грозятъ... Ужъ какъ же, говорятъ, она, дочь-то твоя, убивается...

Во все это время старикъ не переставалъ креститъ впалую грудь свою, которая тяжело подымалась.

— Яша, батюшка, голубчикъ, не оставь старика: услужи ты мнѣ! воскликнулъ онъ наконецъ, приподнимаясь на ноги, съ быстротою, которой нельзя было ожидать отъ его лѣтъ:—услужи мнѣ! Поколь Господь продлитъ вѣкъ мой, не забуду тебя!.. А я... я было на нихъ понадѣялся! заключилъ онъ, обращая тоскливо безпокойное лицо свое къ сторонѣ Оки и проводя ладонью по глазамъ, въ которыхъ показались двѣ тощія, едва примѣтныя слезинки.

— Что-жъ, дѣдушка, я, пожалуй, туда сбѣгаю: погляжу, что у нихъ; пожалуй, и дочкѣ твоей скажу, коли что велишь.

— Нѣтъ, батюшка, не о томъ прошу: гдѣ ужъ тутъ! самому идти надобность... Кабы ты, родной, на то время приглядѣлъ за стадомъ, я... что хошь тебѣ за это...

— Вотъ! да я и безо всего останусь! только бы... батюшка, смотри, только забранится!.. и то велѣлъ скорѣй домой идти. Сбѣгать развѣ попросить?

— Сбѣгай, родимый, сбѣгай!.. Сотвори тебѣ Господь многія радости!.. Сбѣгай, баюшка, скажи отцу: Кондратій, молъ, проситъ. Надобность, скажи, великая, безпремѣнная... онъ вѣрно не откажетъ... сбѣгай, родной, я здѣсь погожу...

— Ладно, дѣдушка, ладно! только бы отпустилъ, духомъ вернусь! сказалъ Яша.

И, поставивъ котомку съ обѣдомъ наземь, пустился онъ изъ лощины, сопровождаемый благословеніями старика.

Лишнее говорить, что дѣдушка Кондратій не прикасался къ обѣду, даромъ что давно прошелъ полдень: онъ забылъ о голодѣ.

Какъ только молодой парень исчезъ за откосомъ лощины, старикъ снялъ шапку, опустился съ помощью дрожащихъ рукъ своихъ на колѣни и, склонивъ на грудь бѣлую свою голову, весь отдался молитвѣ.

*

— Знаю, матушка, знаю... не слушая ее, проговорилъ старикъ, стараясь приподнять дочь, которая продолжала обнимать его ноги и рыдала, произнося несвязныя причитанья.

Тетушка Анна мгновенно оставила свои объясненія, посадила внучка на заваленку, проворно утерла слезы и бросилась подсоблять старику. Оба приподняли Дуню и повели ее къ заваленкѣ; но едва успѣли они усадить ее, въ воротахъ показался Петръ.

Еслибъ дѣдушка Кондратій не былъ предувѣдомленъ, что Петръ и Василій точно возвратились домой, онъ, конечно, не узналъ бы въ вошедшемъ старшаго сына покойнаго Глѣба. Петръ состарился цѣлыми десятью годами, хотя всего-на-все четыре года, какъ покинулъ кровъ родительскій; въ кудрявыхъ волосахъ его, когда-то черныхъ какъ крыло ворона, серебрилась сѣдина; нахмуренныя брови сходившіяся дугою надъ орлинымъ его носомъ, свѣшивались на глаза, которые глядѣли такъ же изподлобья, но значительно углубились и казалось теперь потухшими. Цыганское лицо его, дышавшее когда-то энергіей и напоминавшее лицо отца въ минуты гнѣва, теперь осунулось, опустилось; впалыя щеки, покрытыя морщинками, и синеватыя губы почти пропадали въ кудрявой, вскосмаченной бородѣ; высокій станъ его сгорбился; могучая шея походила на древесную кору. Но не время и заботы состарили Петра.

Увидѣвъ Кондратія, Петръ подошелъ къ нему такъ быстро и такъ близко, что тетка Анна поспѣшила стать между ними.

— Петруша, касатикъ... выслушай меня! воскликнула она, между тѣмъ какъ старикъ стоялъ подлѣ дочери съ поникшею головою и старался придти въ себя: — я ужъ сказывала тебѣ, — слышь, я сказывала, мать родная, — не кто другой. Неужто злодѣйка я вамъ досталась! подхватила Анна: — поклепали тебѣ на него, родной, — злые люди поклепали: онъ, батюшка, ни въ чемъ непричастенъ — и дочка его.

— Ни къ чему непричастны! это мы видимъ!... возразилъ Петръ. — Свелъ свою дочь безпутную съ отцовымъ пріемышемъ, такимъ же мошенникомъ, подольстились къ отцу, примазались къ нашему дому, а послѣ покойника обокрали насъ.

— Батюшка! закричала Дуня, которая до того времени слушала Петра, вздрагивая всѣмъ тѣломъ: — батюшка! подхватила она снова бросаясь отцу въ ноги: — помилуй меня! не отступись... До какого горя довела я тебя... посрамила я тебя, родной мой!.. всему я одна виновница... сокрушила я твою старость...

— Дитятко... Дунюшка... встань, дитятко, не убивай себя попустому, говорилъ старикъ разбитымъ, надорваннымъ голосомъ:— въ чемъ-же вина твоя? въ чемъ?.. Очнись ты, утѣха моя, мое дитятко! оставь его, не слушай... Господь видитъ дѣла наши... Полно, не круши меня слезами своими... встань, Дунюшка!...

— Петруша, полно! Господь тебя покараетъ за напраслину! твердила Анна, между тѣмъ, какъ сынъ ея мрачно глядѣлъ въ другую сторону:—полно, не осуждай ихъ! Не прикасались они—волоскомъ не прикасались къ нашему добру. Помретъ инѣ безъ покаянія, коли терпѣли мы отъ нихъ лихость какую; окромя добраго слова да совѣта, ничего не видали... Вы одни, ты да Вася, виновники всему горю нашему; кабы отца тогда послушали, остались бы дома, при васъ, знамо, не то бы и было. Не посмѣлъ бы онъ, Гришка-то, волоска тронуть. Не то бы и было, кабы отца-то послушали!.. А его, старика, не осуждай, батюшка; отецъ твой почиталъ его, Петя: грѣхъ будетъ на душѣ твоей!.. Кабы не онъ, не было бы тебѣ родительскаго благословенія: онъ вымолилъ вамъ у отца благословеніе!..

— Дай Богъ давать, не давай Богъ просить, матушка Анна Савельевна! оставь его! сказалъ дѣдушка Кондратій, обращаясь къ старухѣ, которая заплакала:—пускай его! объ чемъ ты его просишь?.. Господь съ нимъ! я на него не серчаю! и нѣтъ на него сердца моего... За что, только вотъ, за что онъ ее обидѣлъ! заключилъ онъ, снова наклоняя голову, снова принимаясь увѣщевать и уговаривать дочь, которая рыдала на груди его.

Лицо Петра оставалось по прежнему безчувственнымъ.

— Меня не разжалобишь! видали мы это! промолвилъ онъ:— только бы вотъ Васька поймалъ этого разбойника; тамъ разсудятъ, спросятъ, кто велѣлъ ему чужіе дома обирать, спросятъ, подъ чьимъ былъ началомъ, и все такое... Добро самъ пришелъ, не надо бѣгать въ Сосновку, тамъ разсудятъ, на комъ вина... Да вотъ никакъ и онъ! присовокупилъ Петръ, кивая головою къ Окѣ, на поверхности которой показался челнокъ.

Дуня вырвалась изъ объятій отца, отерла слезы и устремила глаза въ ту сторону; дыханіе сперлось въ груди ея, когда увидѣла она въ приближающемся челнокѣ одного Василія. Она не посмѣла, однакожъ, послѣдовать за Петромъ, который пошелъ на встрѣчу брату. Старикъ и Анна остались подлѣ нея, хотя глаза ихъ слѣдили съ замѣтнымъ безпокойствомъ за челнокомъ.

Василій присталъ наконецъ къ площадкѣ. Съ того мѣста, гдѣ находилась Дуня, ея отецъ и Анна, нельзя было разслышать, что говорили братья. Надо думать, однакожъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ мимика выразительна не меньше словъ: съ первымъ же движеніемъ Василія, Дуня испустила раздирающій крикъ и какъ помѣшанная бросилась къ тому мѣсту, гдѣ стояли братья. Старикъ и Анна, у которыхъ при этомъ сердце стѣснилось тягостнымъ предчувствіемъ, поспѣшили за нею. На этотъ разъ стариковскія ноги измѣнили; не успѣли сдѣлать они и двадцати шаговъ, какъ уже Дуня была подлѣ братьевъ. Страшный крикъ снова огласилъ площадку: онъ надрѣзалъ какъ ножомъ сердце старика. Дѣдушка Кондратій не остановился, однакожъ, хотя колѣни его подгибались и дрожали заодно съ сердцемъ. Что-то похожее на младенческое, но неизобразимо-горькое вырвалось изъ груди его, когда увидѣлъ онъ, какъ Дуня отчаянно заломила руки и ударилась о-земь. Силы измѣняли ему, но онъ все бѣжалъ, все бѣжалъ, всхлипывая и не переставая креститься. Тетка Анна слѣдовала за нимъ и также крестилась и шептала молитву.

Подбѣжавъ къ тому мѣсту, гдѣ лежала дочь, старикъ опустился на колѣни и, приложивъ лицо свое къ ея блѣдно-мертвенному лицу, сталъ призывать ее по имени.

— Нехристи! что вы надѣлали! Бога въ васъ нѣтъ!... вѣдь вы бабу-то убили! отчаянно вскричала Анна.

— Ничаво: очнется! отрывисто возразилъ Петръ, отходя въ сторону и мрачно оглядываясь кругомъ.

— Полно матушка! братъ настоящее говоритъ: не о чемъ ей убиваться! сказалъ Василій, представлявшій все тотъ же образецъ веселаго, но пустого, взбалмошнаго мужика:—взаправду не о чемъ ей убиваться, сама же ты говорила, топилъ онъ ее въ слезахъ,— теперь ужъ не станетъ.

— Какъ... развѣ?..

— Да, потонулъ,—вотъ и все тутъ,—мокрою бѣдою погибъ: выходитъ рыбакъ былъ...

Старуха ухватилась руками за голову, сѣла наземь и завопила, какъ воютъ обыкновенно о покойникѣ.

— Полно тебѣ серчать, Петруха! что ужъ тутъ! говорилъ между тѣмъ Василій:—покойника худымъ словомъ не поминаютъ. На томъ свѣтѣ его лучше насъ осудятъ.

Тутъ Василій тряхнулъ волосами съ самымъ безпечнымъ видомъ, подошелъ къ матери и началъ увѣщевать ее.

— О-охъ! произнесла она наконецъ, отнимая руки отъ лица:— какъ же, батюшка... о-охъ! гдѣ жъ ты провѣдалъ о немъ? али гдѣ видѣлъ?

— Самъ не видалъ, а сказываютъ, болотовскіе рыбаки вытащили его нонче на зарѣ. Весь судъ, сказываютъ, туда поѣхалъ: слѣдствіе, что ли, какое вишь требуется...

Тетка Анна снова опустилась было наземь, но глаза ея случайно встрѣтили Дуню и дѣдушку Кондратія. Причитаніе, готовое уже вырваться изъ груди ея, мгновенно замерло; она какъ словно забыла вдругъ свое собственное горе; поспѣшно отерла слезы и бросилась подсоблять старику, который, повидимому, не терялъ надежды возвратить дочь къ жизни. Анна побѣжала къ рѣкѣ, зачерпнула въ ладонь воды и принялась кропить ею лицо Дуни. Глаза старика не отрывались отъ лица дочери. Надежда мало-по-малу возвращалась къ нему: лицо Дуни покрывалось по прежнему мертвенною блѣдностью, глаза были закрыты, губы сжаты, но грудь начинала подыматься и ноздри дрожали.

Старикъ прошепталъ молитву, трижды перекрестился и снова устремилъ неподвижный, пристальный взоръ на дочь.

Немного погодя, она открыла глаза и, какъ бы очнувшись послѣ долгаго сна, стала оглядывать присутствующихъ; руки и ноги ея дрожали. Наконецъ она остановила мутный взоръ на какомъ-то предметѣ, который находился совершенно въ другой сторонѣ противъ той, гдѣ стояли люди ,ее окружавшіе.

— Должно быть, ребенка ищетъ, сердечная, въ полголоса сказала Анна.

Дуня сдѣлала движеніе, какъ будто хотѣла приподняться и кинуться въ ту сторону, куда глядѣли глаза ея.

— Не сокрушайся о немъ, родная, ласково подхватила старушка:—я уложила его на заваленкѣ, передъ тѣмъ, какъ пошли мы за тобою. Спитъ, болѣзная; не крушись...

— Полно взаправду убиваться, молодка!.. э! мало ль приняла ты изъ-за него горя-то! сказалъ Василій, которому, въ свою очередь, хотѣлось утѣшить молодую женщину:—стало, такъ ужъ Богу было угодно!.. Кабы не это, можетъ-статься, еще бы хуже было,— знамо такъ!... Вѣдь вотъ теперь товарища его—слыхалъ я нонѣ: въ Комаревѣ говорили—въ Сибирь, сказываютъ, ушлютъ... Тамъ

у нихъ въ Комаревѣ какого то вишь фабриканта обокрали, такъ всю вину на эвтого слагаютъ; онъ, сказываютъ, подучилъ, а тотъ во всемъ ссылается на твоего на мужа: онъ, говоритъ, всему голова— затѣйщикъ... То то же и есть! лучше было помереть ему,—право, такъ.

Обвивъ руками шею старика, приложивъ лицо къ груди его, Дуня рыдала какъ безумная.

— Дуня, дитятко, полно! Не гнѣви Господа; Его святая воля! говорилъ старикъ, поддерживая ее:—тебѣ Создатель милосердый оставилъ дитятко, береги себя въ подпору ему... Вотъ и я, я стану оберегать тебя... Дунюшка, дитятко мое!.. Пока глаза мои смотрятъ, пока руки владѣютъ, не покину тебя, стану беречь тебя и ходить за тобою, стану просить Господа... Онъ насъ не оставитъ .. Полно!..

И долго еще говорилъ дѣдушка Кондратій, выбиваясь изъ силъ и призывая остатокъ ослабѣвающаго духа своего, чтобы утѣшить дочь.

Наконецъ, когда рыданія ея утихли, онъ передалъ ее на руки Анны, поднялся на ноги и, отозвавъ поодаль Василія, разспросилъ его обстоятельно о томъ, какъ отыскали Григорія и гдѣ находилось теперь его тѣло. Старикъ думалъ отправиться туда немедленно и отдать покойнику послѣдній христіанскій долгъ.

Во время объясненія его съ Василіемъ, тетушка Анна подсобила Дунѣ встать на ноги; поддерживая ее подъ руку, старушка повела ее къ дому. Петръ послѣдовалъ за ними. Онъ оставилъ однакожъ, обѣихъ женщинъ у завалинки и, не сказавъ имъ слова, вошелъ въ ворота.

Получивъ отъ Василія кой-какія свѣдѣнія касательно покойнаго зятя, дѣдушка Кондратій поднялся по площадкѣ и подошелъ къ дочери и старухѣ. Тутъ старикъ, призвавъ на помощь все свое благоразуміе и опытъ, началъ бережно уговаривать дочь послѣдовать за собою въ Болотово. Рѣчь его, проникнутая благочестіемъ, укрѣпила упавшій духъ молодой женщины, и хотя слезы ея лились теперь сильнѣе, можетъ быть, прежняго, но она не произносила уже безсвязныхъ словъ, не предавалась безумному отчаянію. Тетушка Анна вызвалась на время ихъ отсутствія смотрѣть за ребенкомъ.

— И то, касатушка, я то... горе, горе, подумаешь... о охо-хо; а раздумаешь: будь воля Божія!.. заключила старушка, которая такъ же скоро утѣшалась, какъ скоро приходила въ отчаяніе.

Одинъ Глѣбъ постоянно только жилъ въ ея памяти—Глѣбъ, да еще Ваня.

Василій взялся перевезти Дуню и дѣдушку Кондратія на другую сторону.

— А я, я на васъ не серчаю, ей-Богу, не серчаю! сказалъ онъ, когда всѣ трое очутились въ челнокѣ:—братъ серчаетъ, а мнѣ что? я и то говорилъ ему, да поди не столкуешь никакъ! уперся, на одномъ сталъ!.. Вы ни въ какихъ эвтихъ худыхъ дѣлахъ его, покойника-то, непричастны: за что серчать-то?.. Коли отецъ—дай Богъ ему царствіе небесное—коли отецъ почиталъ тебя—человѣкъ также былъ съ разсудкомъ, худыхъ дѣловъ также не любилъ—стало, обсудилъ тебя, каковъ ты есть человѣкъ такой,—ну, намъ, стало, и не приходится осуждать тебя: отецъ зналъ лучше... Я на тебя не серчаю!..

— Спасибо тебѣ за ласковое, доброе твое слово. Пошли тебѣ Создатель благословеніе въ дѣткахъ твоихъ! промолвилъ дѣдушка Кондратій, подымая глаза на Василія, но тотчасъ же переводя ихъ на дочь, которая сидѣла прислонясь локтями въ бортъ челнока и, склонивъ лицо къ водѣ, старалась подавить рыданія. Рыданія измѣняли ей, однакожъ, во все продолженіе пути.

Дорога въ село Болотово проходила черезъ Комарево; послѣднее отстояло отъ перваго верстахъ въ четырехъ. Но дѣдушка Кондратій пошелъ лугами. Этимъ способомъ избѣгалъ онъ встрѣчъ съ знакомыми и избавлялся отъ разспросовъ, которыми, конечно, не замедлили бы осадить его, еслибъ только направился онъ черезъ Комарево.

Когда они пришли въ Болотово, начинало уже смеркаться. Но сумерки замедлялись огненною, багровою зарею, которая медленно потухала на западѣ. Надо было ждать холодной, ясной ночи. Небо очистилось уже отъ облаковъ: кое гдѣ начинали мигать звѣзды. На востокѣ, въ туманномъ горизонтѣ, чуть-чуть разгоралось другое зарево: то былъ мѣсяцъ, свѣтлый ликъ котораго не суждено уже было видѣть Григорію... Но мѣсяцъ еще не показывался.

У дѣдушки Кондратія находился въ Болотовѣ одинъ давнишній знакомый—также рыбакъ по ремеслу. Нельзя было миновать разспросить его о томъ, гдѣ находилось тѣло Григорія, потому что Василій ничего не сказалъ объ этомъ предметѣ; онъ зналъ только, что тѣло утопленника найдено рыбаками и находится въ Болотовѣ. Съ этой цѣлью старикъ отправился къ знакомому рыбаку. Разспросивъ его обо всемъ, Кондратій вернулся къ дочери и вышелъ съ нею изъ Болотова,—но уже въ другую околицу.

Пройдя около четверти версты, они почувствовали подъ ногами песокъ и увидали свѣтлую полосу Оки, которая описывала огромную дугу. Мѣсто было уединенное и глядѣло совершеннымъ пустыремъ. Шумъ шаговъ пропадалъ въ сыпучемъ пескѣ, кой гдѣ покрытомъ широкими листьями лопуха. Кой-гдѣ чернѣли головастые стволы ветелъ. У самаго берега одиноко подымалась лачужка рыбака, отыскавшаго утопленника. Свѣтъ мелькалъ въ окнѣ. Полный мѣсяцъ, подымавшійся надъ горизонтомъ, бросалъ длинныя, черныя тѣни. При свѣтѣ его, старикъ и его дочь различили неподалеку отъ лачуги, подлѣ самаго края берега, двѣ человѣческія фигуры, которыя стояли подпершись палками. То были караульщики, приставленные къ тѣлу утопленника; производилось еще слѣдствіе, и трупъ не велѣно было трогать. Дѣдушка Кондратій и Дуня подошли ближе.

Григорій лежалъ въ томъ положеніи, въ какомъ вытащили его изъ воды: руки его были закинуты за голову, лицо обращено къ лугу; но мокрыя пряди черныхъ кудрявыхъ волосъ совсѣмъ почти заслоняли черты его.

Кондратія и Дуню не подпустили близко. Они опустились поодалъ на колѣни и стали молиться...

Изъ всѣхъ скорбныхъ сценъ, которыя когда либо совершались на этомъ дикомъ пустырѣ, это была, конечно, самая печальная и трогательная; изъ всѣхъ рыданій, которыя когда либо вырывались изъ груди молодой женщины, оплакивающей своего мужа, рыданія Дуни были самыя отчаянныя и искреннія. Ни одинъ еще тесть не прощалъ такъ охотно зла своему зятю и не молился такъ усердно за упокой души его, какъ молился старикъ Кондратій...

Ему вновь потребовалось призвать на помощь весь остатокъ ослабѣвающаго духа, чтобъ оторвать дочь отъ рокового мѣста и возвратить ее къ знакомому рыбаку. Старикъ думалъ оставить у него на время дочь; самъ онъ положилъ воспользоваться ночью и сходить въ Сосновку. Ему хотѣлось отдать послѣдній долгъ покойнику и предать какъ можно скорѣе тѣло его землѣ. Для этого ему необходимо было повидаться съ отцомъ Яши, взять у него денегъ и уговориться съ кѣмъ-нибудь занять мѣсто пастуха во время его отсутствія. Сообщивъ дочери свои намѣренія, старикъ не медля ни минуты, разстался съ нею и пошелъ къ парому, который содержало болотовское общество.

На той сторонѣ онъ встрѣтилъ нѣсколько подводъ, которыя направлялись къ Сосновкѣ; мужики охотно согласились посадить

старика. На зарѣ онъ прибылъ въ Сосновку. Все устроилось согласно его желанію. Добродушный Яша вызвался стеречь стадо, отецъ его ссудилъ Кондратія деньгами и даже подвезъ его къ тому мѣсту Оки, противъ котораго располагалось Болотово.

Дѣдушка Кондратій не нашелъ, однакожъ, Дуни у рыбака. Онъ узналъ, что слѣдствіе кончилось и тѣло велѣно было немедленно предать погребенію. Старикъ отправился на погостъ, нимало не сомнѣваясь, что тамъ найдетъ свою дочку. Онъ дѣйствительно нашелъ ее распростертою надъ свѣжимъ бугоркомъ, который возносился немного поодаль отъ другихъ могилъ.

Вечеромъ того же дня, отслуживъ панихиду, они покинули Болотово. Возвращались они тѣмъ же путемъ, какимъ ѣхалъ ночью старикъ. Очутившись противъ Комарева, которое съ высокаго берега виднѣлось какъ на ладони, отецъ и дочь свернули влѣво. Имъ слѣдовало зайти къ тетушкѣ Аннѣ и взять ребенка, послѣ чего Дуня должна была уйти съ отцомъ въ Сосновку и поселиться у его хозяина.

Издали еще увидѣли они старуху, сидѣвшую съ внучкомъ на завалёнкѣ. Петра и Василія не было дома: изъ словъ Анны оказалось, что они отправились — одинъ въ Озеро, другой—въ Горы; оба пошли попытать счастія, не найдутъ ли рыбака, который откупилъ бы ихъ мѣсто и взялъ за себя избы. Далѣе сообщала она, что Петръ и Василій, послѣ продажи дома и сдачи мѣста, отправятся на жительство въ „рыбацкія слободы“, къ которымъ оба уже привыкли, и гдѣ, по словамъ ихъ жизнь привольнѣе здѣшней. Старушка слѣдовала за ними.

— Эхъ, матушка Анна Савельевна, сказалъ Кондратій: — ужъ лучше пожила бы ты съ нами! Не тѣ ужъ годы твои, чтобы слоняться по свѣту по бѣлому, привыкать къ новымъ, чужимъ мѣстамъ... Останься съ нами. Много ли намъ надыть? хлѣбца ломоть до кашки ребенку — вотъ и все; пожили бы еще вмѣстѣ: немного годковъ намъ съ тобою жить остается.

— О-охъ, касатикъ, болѣзный ты мой! твердила старушка, понуривъ голову и прикладывая сморщенныя ладони къ тощей груди своей: — мнѣ и то думалось, думалось такъ-то, отецъ; да вотъ съ ними то жаль, касатикъ, разстаться... съ Васей-то; да и Петрушу жаль, отецъ!.. Какъ увидала ихъ, родной, такъ вотъ теперь и разстаться-то тошнехонько... И внучать поглядѣть хоцца; давно ужъ не видала... сказываютъ, меня переросли!.. Нѣтъ, родной, ужъ

я пойду,—пойду, батюшка! подхватила она вдругъ съ необыкновенною живостью:—авось еще, приведетъ Богъ, приду, васъ провѣдаю: всего-то, сказываютъ, двѣсти верстъ оттолѣва—доплетусь какъ-нибудь... Пойду на богомолье въ Коломну—къ вамъ зайду: поживемъ, може-статься, вмѣстѣ.

Старуха передала ребенка Дунѣ, обѣщала придти въ Сосновку проститься,—и они разстались, потому что было довольно уже поздно, а къ свѣту дѣдушкѣ Кондратію слѣдовало возвратиться домой.

Старику и его дочери привелось прощаться съ Анной скорѣй, чѣмъ они предполагали. Не прошло трехъ дней, какъ старушка явилась въ Сосновку. Избы были проданы. Петръ, Василій и Анна отправлялись на слѣдующее утро въ „рыбацкія слободы". Вечеромъ, Кондратій, Дуня и еще нѣсколько родственниковъ проводили старушку за околицу.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ.

Тетушка Анна, всегда точная, вѣрная своему слову, не сдержала, однакожъ, своего обѣщанія. Не было о ней ни слуху, ни духу. Уже дѣдушка Кондратій выплелъ всѣ свои сѣти и давно бродилъ вмѣстѣ съ сосновскимъ стадомъ по полямъ, которыя теперь зеленѣли; уже Дуня начинала меньше тосковать и часто даже съ улыбкою поглядывала на своего сынишку, который теперь бѣгалъ; но тетушка Анна все еще не выполняла своего обѣщанія и не приходила навѣстить ихъ.

Наконецъ, Софронъ, крестникъ старушки—тотъ самый Софронъ Дроновъ, у котораго разъ какъ-то заболталась она и осталась ночевать—привезъ извѣстіе, что тетушка Анна приказала долго жить...

Въ маленькомъ хозяйствѣ Дуни и отца ея было въ ту пору очень мало денегъ; но деньги эти, до послѣдней копейки, пошли, однакожъ, на панихиду за упокой души рабы Божіей Анны,—и каждый годъ потомъ, въ тотъ самый день, сосновскіе прихожане могли видѣть, какъ дѣдушка Кондратій и его дочка, ставили передъ образомъ тонкую восковую свѣчу, крестились и произносили молитву, въ которой часто поминалось имя доброй тетушки Анны.

XXX.

Заключеніе.

Я былъ на Волгѣ въ первые годы моего дѣтства. Въ памяти моей успѣли изгладиться живописные холмы, лѣса и села, которые, на протяженіи многихъ и многихъ сотенъ верстъ, смотрятся въ свѣтлыя, благодатныя волжскія воды. Судьба забросила меня въ другую сторону, перенесла на другую рѣку; съ тѣхъ поръ я не разлучался съ Окою. Не знаю, обдѣлила меня судьба, или наградила, знаю только, что, проживъ двадцать-пять лѣтъ сряду на Окѣ, я ни разу не жаловался. Я скоро сроднился съ нею и теперь люблю ее, какъ вторую отчизну. Не вините же меня въ пристрастіи — въ нѣкоторыхъ случаяхъ пристрастіе извинительно — не вините-же, если берега Оки, ея окрестности и маленькія рѣчки, въ нее впадающія, кажутся мнѣ краше и живописнѣе другихъ береговъ, мѣстностей и рѣчекъ Россіи. Не стану распространяться о преимуществахъ одной рѣки передъ другою, не скажу, напримѣръ, что Ока пространнѣе Волги и тому подобное... Тутъ же сознаюсь, что необъятное, обаяющее раздолье, жизнь и кипучая, одушевленная дѣятельность принадлежитъ Волгѣ. Ока уже, молчаливѣе, мельче и безрыбнѣе, — по крайней мѣрѣ въ нашихъ мѣстахъ. Она вполнѣ оживляется только въ половодье. Въ остальное время года, и особенно лѣтомъ, рѣдко увидите вы на ней нескончаемые караваны расшивъ; не промелькнутъ передъ очами вашими вереницы громадныхъ судовъ и барокъ, нагруженныхъ богатствомъ цѣлаго края; рѣдко услышите вы тѣ звонкіе клики и удалыя, веселящія сердце пѣсни бурлаковъ, которыя немолчно, говорятъ, раздаются на Волгѣ. Не тревожатъ также Оку колеса пароходовъ: невозмутимо гладкою скатертью стелятся ея мирныя воды. Барка цѣликомъ повторяется на ровной ея поверхности, — повторяется вмѣстѣ съ высокимъ, бородастымъ рулевымъ въ круглой бараньей шапкѣ, — повторяется съ соломеннымъ шалашомъ, служащимъ работникамъ защитою отъ дождя и зноя, съ бѣлою костлявою бичевною клячей, которая, смиренно стоя на носу и пережовывая тощее сѣно, терпѣливо ждетъ своей участи. Огонекъ, зажженный ночью на баркѣ, отражается въ водѣ, какъ въ зеркалѣ. Въ знойную лѣтнюю пору Ока оживляется по

большей части одними бѣлыми чайками или рыболовами, снующими какъ угорѣлые по всѣмъ возможнымъ направленіямъ. На песчаныхъ отмеляхъ, выдающихся иногда изъ средины рѣки,—отмеляхъ, усѣянныхъ мелкими, бѣлыми какъ сахаръ раковинами, покрытыхъ кое-гдѣ широкими, пахучими листьями лопуха, трещатъ цѣлыя полчища коростелей, чибезовъ, куликовъ; кое-гдѣ надъ ними, стоя на одной ногѣ и живописно изогнувъ шею, высится сѣрая цапля. Къ вечеру воцаряется совершеннѣйшая тишина; какъ словно пріостанавливается даже тогда самое теченіе; поверхность рѣки не дрогнетъ. Съ такою отчетливостью повторяется въ водѣ высокій хребетъ нагорнаго берега, что нѣтъ никакой возможности опредѣлить границы между водою и землею; берегъ кажется продолженіемъ рѣки. Въ этомъ, часто темномъ отраженіи начинаютъ сверкать, какъ искры, играющія рыбки, появляются круги и долго потомъ дрожатъ серебряныя, разбѣгающіяся нити. Тихо, безъ шума, безъ погрома, отрываются тогда отъ берега легкіе челноки рыбаковъ, которые спѣшатъ забросить свои верши.

Не знаю, какъ вамъ, мой читатель, но что до меня касается, люблю я эту торжественную тишину посреди широкаго простора водъ, замкнутаго высокимъ, величественно живописнымъ берегомъ! Въ виду природы, на душу впечатлительную нисходятъ иногда минуты невообразимо благодатныя и свѣтлыя. Душа превращается какъ будто тогда въ глубокое, неэзмутимо-тихое, прозрачное озеро, отчетливо отражающее въ себѣ голубое небо, надъ нимъ раскинувшееся, и весь міръ, его окружающій. Достаточно уже ничтожнаго звука, чтобы докучливо потревожить сладкую задумчивость. Малѣйшій шумъ въ эти созерцательныя минуты возмущаетъ душу такъ же точно, какъ возмущается заснувшая поверхность озера отъ слабаго прикосновенія: все давнымъ-давно уже смолкло; а между тѣмъ водяной кругъ все еще дрожитъ на его ровномъ зеркалѣ... Къ тому же, тишина никогда не бываетъ безмолвна. Чуткій, счастливый слухъ всегда съумѣетъ передать душѣ таинственно робкіе, но гармоническіе напѣвы...

И такъ, тишина, въ которую большую часть года погружены берега Оки, придаетъ имъ въ глазахъ монхъ еще новую прелесть. Особенно пріятно любоваться высокимъ берегомъ, спускаясь въ лодкѣ внизъ по теченію отъ Серпухова до Коломны.

То покрытый плотною, кудрявою чащей орѣшника или молодого дубняка, то спускаясь къ водѣ ярко-зелеными, закругленными какъ

куполъ холмами, то исполосованный пашнями на подобіе шахматной доски, берегъ этотъ перерѣзывается иногда пропастями, глубина которыхъ даетъ еще сильнѣе чувствовать подъемъ хребта надъ поверхностью рѣки. Виды измѣняются безпрерывно; точно стоите вы на мѣстѣ и развертываютъ передъ вами громадную панораму. Кое-гдѣ, по зеленымъ косогорамъ, то плавнымъ, то крутымъ, лѣпятся села, вьются тропинки, кажущіяся издали нѣжными полосками, нарисованными тонкою, прихотливою кистью. Тамъ и сямъ бѣлѣютъ монастыри и скромныя деревенскія церкви, съ зеленѣющими кровлями и блистающими на солнцѣ крестами. Нерѣдко между кремнистыми, отвѣсными обрывами, открываются, какъ бы для контраста, свѣтлыя, улыбающіяся долины. Рѣзвые ручьи и маленькія рѣчки въ родѣ Смедвы, мѣстами заслоненныя ветлами, живописно извиваются посреди яркозеленыхъ лощинъ, покрытыхъ мелкимъ березнякомъ. Иногда весь берегъ представляетъ одну сплошную, синеватую стѣну сосноваго бора, который не прерывается цѣлыя версты. На песчаныхъ прибрежныхъ отмеляхъ мелькаютъ кое-гдѣ лачужки рыбаковъ, съ прислоненными къ нимъ баграми и саками, съ раскинутымъ бреднемъ, лежащими неподалеку вершами и черными, опрокинутыми кверху, насквозь просмолеными челноками. Мѣстами берегъ, подмытый водою, осыпался весь сверху до низу и отвѣсною стѣною стоитъ надъ водою, показывая свои мѣловые, глиняные и песчаные слои, пробуравленные норками стрижей, водяныхъ ласточекъ. Въ такихъ мѣстахъ этихъ птичекъ появляется обыкновенно несмѣтное множество. Надъ ними, въ неизмѣримой вышинѣ неба, вы ужъ непремѣнно увидите беркута, родъ орла: распластавъ дымчатыя крылья свои, зазубренныя по краямъ, распушивъ хвостъ и издавая слабый крикъ, похожій на писк младенца, онъ стоитъ неподвижно въ воздухѣ или водитъ плавные круги, постепенно понижаясь къ добычѣ. Мѣстами берегъ удаляется, расходится амфитеатромъ и даетъ мѣсто злачнымъ лугамъ, оживленнымъ одинокими столѣтними дубами, подъ тѣнью которыхъ отдыхаетъ стадо ближней деревни... Но всего не опишешь! Однимъ словомъ—великолѣпная, непрерывная, блестящая панорама, которая ждетъ еще своего поэта и живописца. Но поэты и живописцы... впрочемъ, намъ нѣтъ до этого дѣла.

Не думайте, однакожъ, чтобы луговой берегъ не имѣлъ также своей прелести. Есть время въ году, когда онъ кажется еще красивѣе, еще разнообразнѣе нагорнаго берега. Время это—Петровки.

Не мѣшаетъ вамъ сказать мимоходомъ, что луга эти въ общей сложности могутъ составить добрый десятокъ маленькихъ германскихъ герцогствъ; они проходятъ непрерывною лентою черезъ нѣсколько губерній,—однимъ словомъ, длина ихъ равняется длинѣ Оки. Въ ширину простираются они среднимъ числомъ верстъ на восемь и оканчиваются тамъ, гдѣ начинаются лѣса и села. Ближе не селятся къ рѣкѣ за водопольемъ. Къ іюлю пространство это представляетъ сплошное море травъ, въ которыхъ крестьянскія ребятишки могутъ свободно прятаться, какъ въ лѣсу. Миріады душистыхъ цвѣтовъ и растеній разливаютъ въ вечернемъ воздухѣ свое благоуханіе. Въ знойный полдень, пестрое цвѣтное море какъ слѣпо зыблется и переливается изъ края въ край, хотя вѣтеръ не трогаетъ ни однимъ стебелькомъ. Сюда-то въ Петровки стекается народъ окрестныхъ деревень и толпы косарей, которыхъ заблаговременно нанимаютъ къ этому времени жители Комарева, Горъ, Болотова, Озёръ и другихъ. Въ нашемъ простонародьи покосъ считается праздникомъ. Все является сюда въ полной воскресной пестротѣ своей. Еслибы собрать весь кумачъ, всѣ платки, понявы, пестрыя рубашки и позументъ, которые пестрѣютъ здѣсь во время покоса, можно бы, кажется, покрыть ими пространство въ пятьдесятъ верстъ окружности. Народъ располагается кучками, артелями или даже цѣлыми вотчинами, каждая семья подлѣ своей подводы, подлѣ котелка. Три недѣли сряду проживаютъ здѣсь нѣсколько тысячъ человѣкъ. Подымитесь на нагорный берегъ,—подымитесь ночью и взгляните тогда на луга: костры замелькаютъ передъ вами какъ звѣзды, имъ конца нѣтъ въ обѣ стороны, они пропадаютъ за горизонтомъ... Съ восходомъ солнца весь этотъ луговой берегъ представляетъ картину самаго полнаго, веселаго оживленія. Косари выстраиваются въ одну линію и, дружно звеня косами, начинаютъ подвигаться къ рѣкѣ, укладывая направо и налѣво тучные ряды травы, перемѣшанной съ клеверомъ, душистою голкой, кашкой, медуникой и сотнями другихъ цвѣтовъ. Такъ подвигаются они, однакожъ, цѣлыя двѣ недѣли, между тѣмъ какъ бабы и дѣвки, слѣдуя за ними съ граблями, ворочаютъ сѣно или навиваютъ его островерхими стогами. Вотъ тогда-то полюбуйтесь этими лугами,—полюбуйтесь въ праздникъ, когда по всему ихъ протяженію несется одинъ общій говоръ тысячи голосовъ и одна общая пѣсня: точно весь русскій людъ собрался сюда на какое-то семейное празднество! Давно уже наступила [illegible] давно зажглись костры. Уже заря брежжетъ на востокѣ,

уже серебрянный серпъ мѣсяца клонится къ горизонту и блѣднѣетъ, а пѣсня, между тѣмъ, все еще не умолкаетъ... и нѣтъ, кажется, конца этой пѣсни, какъ нѣтъ конца этимъ раздольнымъ лугамъ. Пѣсню эту затянули еще, быть можетъ, въ далекой губерніи, и вотъ понеслась она—понеслась дружнымъ, неумолкаемымъ хоромъ и, постепенно разливаясь мягкими волнами все дальше и дальше, до самой Нижегородской губерніи, а тамъ, подхваченная волжскими косарями, пойдетъ до самой Астрахани, до самаго Каспійскаго моря!.. И если пѣсня эта, если видъ этихъ луговъ не порадуютъ тогда вашего сердца, если душа ваша не дрогнетъ, но останется равнодушною, совѣтую вамъ пощупать тогда вашу душу, не каменная ли она... а если не каменная, то ужъ вѣрно способна только оживляться за преферансомъ, волноваться при словахъ: „пасъ“, „ремизъ“, „куплю“, и прочей дряни...

Но простите мнѣ, мой читатель, если я такъ далеко отвлекъ васъ отъ главнаго предмета. Мнѣ слѣдуетъ еще досказать вамъ мою простонародную повѣсть. Къ общему нашему удовольствію, я на этотъ разъ не займу васъ слишкомъ долго.

Лѣтъ десять послѣ происшествій, описанныхъ мною въ послѣдней главѣ, около Петровокъ и, кажется, даже въ самый Петровъ день, на дорогѣ изъ Сосновки къ площадкѣ, служившей сценою нашему разсказу, можно было встрѣтить одинокаго пѣшехода. Съ перваго взгляда дѣлалось очевиднымъ, что пѣшеходъ былъ безсрочный солдатъ, возвращавшійся на родину. Легко было также догадаться, что родина его была Ока, потому что, не обращая вниманія на знойное солнце, обливавшее его потомъ, онъ быстро подвигался впередъ, взбѣгалъ на всѣ возвышенности и поминутно щурилъ глаза по направленію къ Окѣ, которая заслонялась еще холмами.

Пѣшеходъ этотъ былъ Ваня, младшій сынъ покойнаго рыбака Глѣба Савинова. Солдатская шинель и пятнадцать лѣтъ, проведенныя внѣ дома, конечно, много измѣнили его наружность; но при всемъ томъ трудно было обознаться: возмужалое, загорѣвшее лицо его отражало, какъ и прежде, простоту души, прямизну нрава и какое-то внутреннее достоинство,—словомъ, онъ представлялъ все тотъ же благородный, откровенный, чистый типъ славянскаго племени, который, какъ мы уже сказали, такъ часто встрѣчается въ нашемъ простонародьи. Свѣтлые, умные, хотя нѣсколько задумчивые глаза Вани смотрѣли по прежнему откровенно и привѣтливо.

Ваня пришелъ наканунѣ въ Сосновку. О смерти отца, матери

и пріемыша зналъ онъ уже давно. Ему извѣстно также было о продажѣ родныхъ избъ и разъединеніи старшихъ братьевъ, которые, послѣ ссоры, неизвѣстно гдѣ проживали. Ему оставалось только провѣдать о томъ, живы ли Дуня и дѣдушка Кондратій. Послѣ отца и матери они были для него самыми близкими по сердцу людьми. Дѣдушка Кондратій все еще живъ. Мало того: несмотря на свои восемьдесятъ-девять лѣтъ, старикъ все еще не хотѣлъ даромъ ѣсть хлѣбъ, все еще трудился. Онъ нанялся въ это лѣто караулить комаревскій садъ заодно съ дочкой. Ваня спѣшилъ слѣдовательно въ Комарево.

По мѣрѣ приближенія къ цѣли, сердце его все сильнѣй и сильнѣй сдавливалось тѣмъ невыразимо тягостнымъ волненіемъ, какое приводится испытывать каждому въ минуты, предшествующія свиданію послѣ долгой разлуки. Въ поспѣшности человѣка, который бѣжитъ на свиданіе самое радостное, заключается, кажется, столько же желанія скорѣе освободиться отъ этого тягостнаго волненія, сколько нетерпѣнія обнять близкихъ сердцу.

Вскорѣ передъ нимъ сверкнуло маленькое озеро, окаймленное какъ бахрамою купами ольхи, орѣшника и ветелъ. Еще минута, и показалась Ока во всемъ своемъ величіи; еще шагъ, и онъ очутился на тропинкѣ у берегового углубленія, увидѣлъ площадку,— эту площадку, замѣнявшую ему цѣлую родину. Каждый предметъ, попадавшій на глаза, вызывалъ въ душѣ его дорогія воспоминанія. Ваня перешелъ ручей—свидѣтель дѣтскихъ игръ...

Ручей, вырываясь по прежнему изъ подъ камней и узловатыхъ корней ветелъ, огибалъ свѣтлою, журчащею струею огородъ, избы и, прошумѣвъ между булыжникомъ, вливался въ Оку подлѣ того мѣста, гдѣ когда-то тетушка Анна постукивала валькомъ. Время не оставило на немъ ни малѣйшаго слѣда, не измѣнило его на волосъ, между тѣмъ какъ все измѣнилось вокругъ. Отецъ покойнаго Глѣба плескался еще въ томъ ручьѣ, въ ребяческомъ возрастѣ; Глѣбъ родился на этомъ ручьѣ; Глѣбъ умеръ сѣдымъ старикомъ, умерла жена его—ручей все еще бѣжитъ тою же свѣтлою, говорливою струею; и нѣтъ сомнѣнія, долго еще переживетъ онъ дѣтей тѣхъ маленькихъ ребятишекъ, звонкіе голоса которыхъ раздавались теперь на площадкѣ...

Миновавъ огородъ, миновавъ проулокъ, Ваня повернулъ за уголъ. Онъ не долго оставался передъ избами. Каждая лишняя минута, проведенная на площадкѣ, отравляла радостное чувство, съ какимъ

онъ спѣшилъ на родину. Мы уже объяснили въ другомъ мѣстѣ нашего разсказа, почему родина дороже простолюдину, чѣмъ людямъ, принадлежащимъ высшимъ сословіямъ.

Отеревъ мокрые пальцы свои о засученныя полы сѣрой шинели, Ваня прошелъ мимо дѣтей, которыя перестали играть и оглядывали его удивленными глазами. Ребятишки проводили его до самаго берега. Два рыбака, стоя по колѣни въ водѣ, укладывали неводъ въ лодку. То были, вѣроятно, сыновья сѣдого, сгорбленнаго старика, котораго увидѣлъ Ваня въ отдаленіи, съ сакомъ на плечѣ.

Ваня подошелъ къ рыбакамъ и попросилъ, чтобы который нибудь изъ нихъ перевезъ его на ту сторону.

Переѣхавъ рѣку, Ваня пробирался между кустами ивняка, шелъ тою же самой песчаной дорожкой, усѣянной мелкими раковинами, на которой, бѣгая когда-то съ пріемышемъ, встрѣтилъ въ первый разъ Дуню. Немного погодя очутился онъ у опушки, и чуть ли не на томъ мѣстѣ, гдѣ сидѣлъ тогда дѣдушка Кондратій.

Ваня прибавилъ шагу. Спустя нѣсколько времени, увидѣлъ онъ Комарево.

Ваня совсѣмъ почти не былъ знакомъ съ Комаревымъ, и потому, вступивъ въ околицу, не обратилъ рѣшительно никакого вниманія на то, что на крыльцѣ „Раставанья“ вмѣсто Герасима стоялъ жирный, коренастый мужикъ въ красной рубахѣ, плисовыхъ шароварахъ и высокихъ сапогахъ. Послѣ уже узналъ онъ, что прежній цѣловальникъ Герасимъ попался въ какомъ-то темномъ дѣлѣ и отправленъ былъ на поселеніе.

Какъ мы уже сказали, былъ Петровъ день. Благодаря этому обстоятельству, комаревскія улицы были полны народа; отовсюду слышались пѣсни и писклявые звуки гармоніи. Но Ваня ни на минуту не остановился, чтобы поглазѣть на румяныхъ, разряженыхъ въ пухъ и прахъ дѣвокъ, которыя ласково провожали его глазами.

Онъ продолжалъ также ходко подвигаться къ двумъ церквямъ, которыя занимали середину села. Къ задней части церквей примыкало кладбище; за кладбищемъ начинался садъ. Тамъ гдѣ оканчивалось кладбище, плетень сада дѣлалъ крутой поворотъ влѣво, образуя съ задворками сосѣдней улицы узенькій, извилистый переулокъ. Съ одной стороны тянулся непрерывный рядъ навѣсовъ, съ другой—плетень, обросшій ежевичникомъ и крапивой; надъ плетнемъ круглились сплошною, темнозеленою массою фруктовыя деревья, покрытыя дозрѣвающимъ плодомъ. Вѣтви старыхъ рябинъ, клена и

черемухи, разсаженныхъ кое-гдѣ за плетнемъ, досягали иногда до кровель навѣсовъ и мѣстами бросали въ переулокъ синюю тѣнь, испещренную мелкими солнечными пятнами. Въ переулкѣ было такъ же тихо, какъ было шумно на улицѣ.

Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ по этому переулку, Ваня услышалъ какъ словно знакомый голосъ. Онъ поспѣшно приложилъ глаза къ щелямъ плетня; но въ этомъ мѣстѣ зелень совершенно заслонила внутренность сада. Онъ прошелъ еще нѣсколько шаговъ—и вдругъ остановился. Сердце его сильно забилось; краска заиграла на загорѣвшихъ щекахъ его.

Неподалеку, подъ густою тѣнью развѣсистой яблони, увидѣлъ онъ соломенный шалашъ, у входа въ которомъ сидѣлъ дряхлый, сгорбленный, бѣловатый старикъ. Несмотря на подслѣповатость и сильное дрожаніе въ рукахъ, дѣдушка Кондратій все еще работалъ; на колѣняхъ его лежали длинныя тесмы лыкъ и начатый лапоть, въ который, однакожъ, не всегда удачно попадалъ онъ кочадыкомъ своимъ. На травѣ подлѣ него сидѣла его дочь; противъ нея возвышался кленовый гребень съ тучнымъ пучкомъ льну, изъ котораго тянула она лѣвою рукою тонкую, дрожащую нитку, между тѣмъ какъ въ правой рукѣ ея гудѣло и подпрыгивало веретено.

Жаркій лучъ солнца, скользнувъ между листами яблони и захвативъ на пути своемъ верхушку шалаша, падалъ на руки Дуни, разливая прозрачный, желтоватый полу-свѣтъ на свѣжее, еще прекрасное лицо ея. Въ двухъ шагахъ отъ Дуни и дѣдушки Кондратія рѣзвился мальчикъ лѣтъ одиннадцати, съ бѣлокурыми вьющимися волосами, свѣжими глазами и лицомъ такимъ же кругленькимъ и румянымъ, какъ яблоки, которыя надъ ними висѣли.

Наружность ребенка, его движенія и голосъ такъ живо напоминали мать, что Ванѣ представилось, будто онъ снова видитъ передъ собою Дуню, собирающую валежникъ въ кустахъ ивняка; картина счастливаго, беззаботнаго дѣтства промелькнула передъ нимъ, и сердце его забилось еще сильнѣе, краска еще ярче заиграла на загорѣлыхъ щекахъ.

Онъ бросился къ калиткѣ сада и побѣжалъ къ шалашу...

Не стану утруждать читателя описаніемъ этой сцены. И безъ того уже, увидите вы, найдется много людей, которые обвинятъ меня въ излишней сентиментальности, излишнихъ, ни къ чему не ведущихъ, „изліяніяхъ“,—обвинятъ въ неестественности и стремленіи къ идеаламъ, изъ которыхъ всегда „невѣсть что такое выходитъ“...

CALIF

и проч. и проч. А критики? Но у „критиковъ“, какъ вы знаете, не по хорошему милъ бываешь, а по милу хорошъ; нельзя же быть другомъ всѣхъ критиковъ!

Впрочемъ, ихъ въ сторону.

Доскажу вамъ въ нѣсколькихъ словахъ исторію моихъ серіяжныхъ героевъ.

Сосновское общество отрѣзало безсрочному узаконенный участокъ земли. Но Ваня не захотѣлъ оставаться въ Сосновкѣ. Видъ Оки пробудилъ въ немъ желаніе возвратиться къ прежнему, отцовскому промыслу. Землю свою отдалъ онъ подъ пашню сосѣду, а самъ снялъ въ наймы маленькое озеро, на гладкой поверхности котораго, съ послѣднимъ половодьемъ, не переставала играть рыба. Онъ обстроился и тотчасъ же перевелъ къ себѣ въ домъ дѣдушку Кондратія, его дочь и внучка.

И снова, сквозь темную листву орѣшника, ольхи и ветелъ, стала просвѣчивать соломенная, облитая солнцемъ кровля; снова между блѣдными вѣтвями ивы показалась раскрытая дверь. Подъ вечеръ, на порогѣ усаживался дѣдушка Кондратій, строгавшій дряхлою рукою удочку, между тѣмъ какъ дочь сидѣла подлѣ съ веретеномъ, внукъ рѣзвился, а Ваня возвращался домой съ вершами подъ мышкой или неся на плечѣ длинный сакъ, наполненный рыбой, которая блистала на солнцѣ, медленно опускавшемся къ посинѣвшему уже хребту высокаго нагорнаго берега.

Такъ проходила ихъ жизнь. Ваня ходилъ за старикомъ какъ нѣжный родной сынъ, берегъ его внучка, ласково, какъ братъ, обходился съ Дуней, и никогда ни единымъ словомъ не поминалъ ей о прежнихъ, прожитыхъ горестяхъ...

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Дм. Вас. Григоровича.

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1889.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ.

РОМАНЪ

ИЗЪ НАРОДНАГО БЫТА.

ВЪ ПЯТИ ЧАСТЯХЪ.

Д. В. Григоровича.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ КНИЖНАГО МАГАЗИНА Н. Г. МАРТЫНОВА.
1889.

Въ типографіи В. Безобразова и Комп.
(Вас. Остр., 8 л., № 45).

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ЧАСТЬ I.

		Стран.
I.	Заѣзжій торгашъ	1
II.	Лапша и его семейство	14
III.	Ребятишки	23
IV.	Бесѣда	29
V.	Притонъ	36
VI.		48
VII.	Тѣсныя обстоятельства	59
VIII.	Барскій домъ. Управитель. Пѣснь Лазаря	71
IX.	Сдѣлка	84
X.	Открытіе.—Пóиски	97

ЧАСТЬ II.

I.	Пріѣздъ	111
II.	Дѣловое утро	124
III.	Планъ осуществляется	141
IV.	Препятствіе	153
V.	Дѣло опять пошло на ладъ	161
VI.	Разставанье	167
VII.	Нищіе	176

ЧАСТЬ III.

Стран.

I. Не выдержали 193
II. Парóмъ. — Тяжелый путь 208
III. Предчувствіе 221
IV. Извѣстіе. — Спѣшная дорога 231
V. Новый край. — Новыя лица 244
VI. Продолженіе 253
VII. Встрѣча. 265
VIII. Знакомство 280
IX. Сказка. — Освобожденіе 290

ЧАСТЬ IV.

I. Бродяга 299
II. Новый хозяинъ 314
III. Радость и горе 326
IV. Встрѣча въ лугахъ 339
V. Хмѣль. — Старый знакомый 346
VI. Выходка Ивана и выдумка Егора. 355
VII. Филиппъ и Стёпка 368

ЧАСТЬ V.

I. Неудавшееся преступленіе 374
II. Дружелюбныя объясненія 385
III. Одинъ лучше, другимъ хуже 396
IV. Петя отыскался 408
V. Въ дорогѣ 418
VI. Степная мазанка 422
VII. Заключеніе 430

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ.

1855—56.

Часть первая.

I.

Завзятый торгашъ.

Только-что наступили первые майскіе дни.

Было воскресенье. Благодаря отличной погодѣ и, особенно, праздничному дню, улица сельца Мàрьинскаго снова оживилась, какъ только прошелъ послѣобѣденный часъ. До-сихъ-поръ, то-есть между полуднемъ и четырьмя, пятью часами вечера, большинство марьинскихъ жителей отдыхало; на улицѣ слышались только возгласы мальчишекъ, игравшихъ въ бабки на недавно-просохнувшихъ, но гладко уже утоптанныхъ лужайкахъ; къ этимъ крикамъ присоединялся теперь мало-по-малу скрипъ воротъ, которыя пѣли на всевозможные лады; на завалинкахъ показывались старики съ заспанными глазами и всклоченными волосами, въ которыхъ виднѣлись соломенные стебли — знакъ, что народъ перебрался уже на лѣтнія квартиры: въ сараи и риги; къ старикамъ выходили сосѣди. Группы вскорѣ увеличились присутствіемъ старухъ съ внучатами на рукахъ и бабъ въ пестрыхъ праздничныхъ передникахъ и писаныхъ яркихъ головныхъ платкахъ. Старухи и бабы недолго, впрочемъ, останавливались у завалинокъ: онѣ большею частью выходили на середину улицы и становились отдѣльными кучками, въ которыхъ тотчасъ же обнаруживался характеръ суеты и безпокойства; пока-

жется ли баба въ отдаленіи, ее уже никакъ не пропустятъ мимо: „Тётка Авдотья, а, тётка Авдотья... куда ты... ась?... подь къ намъ, касатка!—а?...“ Минуту спустя, голосъ тётки Авдотьи дребезжитъ заодно съ голосами ея товарокъ. На улицѣ, освѣщенной лучами вешняго солнца, замѣтно уже склонившагося къ западу, чаще стали появляться молодыя дѣвки, сопровождаемыя неизмѣнными ихъ спутницами, маленькими дѣвчонками; посмѣиваясь въ ладони и шушукая при встрѣчѣ съ парнями, дѣвки направлялись къ хлѣбному магазину, расположенному на одной линіи съ избами и отдѣлявшемуся отъ послѣднихъ вѣтлами. Тамъ, подъ навѣсомъ, бросавшимъ желтоватую тѣнь, которая дѣлалась все сквознѣе и золотистѣе по мѣрѣ того, какъ солнце опускалось къ горизонту, собралась уже порядочная ватага молодежи; кто стоялъ перешептываясь съ сосѣдкой, кто сидѣлъ, закрывъ ладонью нижнюю часть лица и украдкой поглядывая на парней. Парни, въ свою очередь, переминались съ ноги на ногу и также молчали. Казалось, вся молодежь Мàрьинскаго собралась уже подъ навѣсомъ, но никто еще не подавалъ голоса; до-сихъ-поръ по разговорной части отличалась одна лишь молоденькая бабёнка съ вздернутымъ, раздвоеннымъ на концѣ носомъ и быстрыми карими глазами.

— Что жъ вы дѣвки? а?... Ну что сидите руки-то сложивши? а? полно вамъ въ заправду!... надсаживалась она, перебѣгая отъ одной группы къ другой: —становись въ хороводъ, хватайся за руки—ну!...—и—и—эхъ!

На горѣ-то макъ, макъ,
Подъ горою такъ, такъ!...

— Что жъ вы, красныя? становитесь!—„За-а-инька, бѣленькій!...“ подхватывала она, снова принимаясь пѣть, причемъ всякій разъ зажмуривала глаза и выставляла на-показъ рядъ мелкихъ бѣлыхъ зубовъ:—что жъ вы не подтягиваете? а? да ну же, ну! Полно вамъ спѣсивиться-то!

Но старанія ея не подвигали дѣла; слышно было покуда, какъ щелкали орѣхи, какъ шушукали и втихомолку посмѣивались; вообще, подъ навѣсомъ царствовала та нерѣшительность, выражающаяся подталкиваньемъ локтемъ и вопросительными взглядами, которая предшествуетъ дѣвичьему веселью. Улица между тѣмъ все болѣе и болѣе оживлялась, говоръ усиливался; кой-гдѣ слышался

хохотъ, кой-гдѣ раздавались нетерпѣливые спорные возгласы; кой-гдѣ, и преимущественно изъ бабьихъ кружковъ, раздавалось дребезжанье, весьма похожее на звукъ битой посуды, которую положили бы въ кастрюлю и начали бы трясти изо всей мочи; въ одномъ изъ такихъ кружковъ сильное размахиванье руками и слишкомъ уже часто повторяемыя имена Домны и Дарьи служили несомнѣннымъ доказательствомъ, что тамъ успѣли уже повздорить.

Наконецъ, въ дальнемъ углу амбарнаго навѣса, робко, вполголоса затянули пѣсню; повидимому этого только и ждали: къ голосамъ этимъ тотчасъ же присоединились другіе. Подстрекаемые востроглазой запѣвалкой, парни и дѣвки выступали изъ-подъ навѣса, схватывались за руки и становились въ кругъ; хороводъ устанавливался. Еще минута, и нѣтъ сомнѣнія, звонкая пѣсня заглушила бы уличный говоръ... но надо же было случиться, чтобъ въ эту самую минуту въ околицу Мар'инскаго въѣхалъ возъ съ краснымъ товаромъ.

Въѣздъ сопровождался такимъ неистовымъ, единодушнымъ лаемъ собакъ, что всѣ стоявшіе спиною къ околицѣ невольно обернулись. Хозяинъ воза или в а р я г ъ — такъ называютъ въ нашихъ деревняхъ этихъ торгашей — не успѣлъ подобрать ногъ отъ собакъ, которыя, какъ ядра, летѣли къ нему на встрѣчу, какъ ужъ вся деревня замѣтила его появленье. Началось съ того, что бабы, хлопотавшія болѣе другихъ о примиреніи Домны и Дарьи, немедленно направились къ возу.

Достойно замѣчанія, что Домна и Дарья, предоставленныя на собственный произволъ, тотчасъ же успокоились; въ головѣ Дарьи мгновенно возникла мысль о ситцевомъ передникѣ, который посулилъ купить мужъ, какъ-только пріѣдетъ торгашъ; Домнѣ пришла вдругъ крайняя надобность прикупить тесемки; одна побѣжала отыскивать мужа; другая, поправляя головной платокъ, устремилась къ торгашу. Примѣру ея послѣдовали многіе дѣвки и парни. Изъ хоровода то-и-дѣло убывало, къ великому неудовольствію запѣвалки, которая давно ужъ била въ ладоши и щелкала пальцами надъ головою; впрочемъ, она вскорѣ утѣшилась и побѣжала, куда бѣжали другіе.

Спустя самое короткое время, возъ такъ облѣпили и такая густая толпа окружила его, что старикамъ, сидѣвшимъ на завалинкахъ, стали только видны шапка торгаша и верхній конецъ дуги надъ ушами его клячи. Все разомъ говорило, тискалось и

осыпало разспросами торгаша, который рѣшительно не зналъ, куда повернуть голову.

„Кумачъ есть?...“ — „Покажи тесемку...“ — „Почемъ иголки?...“ — „Эй, слышь, на яйца мѣняешь?...“ — „Дѣвушки, касатушки, глянь-ка-сь, серьги-то, серьги!...“ — „Ой, батюшки, задавили!...“ — „Куда лѣзешь?... чего не видали?“ — „А тебѣ, небось, одной глядѣть-то хоцца!... ишь ее прётъ... Ну!—ну!...“ — „Ты, слышь, братъ, отколѣва?...“ спрашивали невпопадъ съ другой стороны.

Покупали, однакожъ, очень мало; до-сихъ-поръ торгашъ отмѣрилъ только два аршина тесемки, сбылъ мотокъ нитокъ да муравленую глиняную дудку—и тѣ, впрочемъ, промѣнены были на яйца. Тѣмъ не менѣе всѣ продолжали тискаться, спрашивали о цѣнѣ каждой вещи, лѣзли другъ на дружку, не щадя боковъ. Нѣкоторыя бабы, побойчѣе, взмостились даже на облучекъ воза. Хозяина окончательно затормошили. Бабы, сидѣвшія на облучкѣ, видя, что толку не доберешься, принялись сами распоряжаться: кто примѣрялъ наперстокъ, кто щелкалъ ножницами, кто накидывалъ на голову платокъ, кто прикладывалъ кусокъ ситца къ переднику. Но и тутъ-таки болѣе другихъ показала себя востроглазая бабёнька, такъ много хлопотавшая подъ амбарнымъ навѣсомъ: повязавшись желтымъ платкомъ, перекинувъ черезъ голову полновѣсное ожерелье изъ цвѣтныхъ бусъ, она подпрыгивала на облучкѣ и, показывая присутствующимъ раскраснѣвшееся, смѣющееся лицо, поминутно вскрикивала: „И-ихъ-на!“

— Что жъ это вы въ самомъ дѣлѣ, бабы?... Экъ ихъ! заговорилъ наконецъ торгашъ, потряхивая шапкой, устроенной въ родѣ кучерскихъ шапокъ, съ тяжестью на макушкѣ, но тяжесть, вѣроятно отъ долгаго употребленія, съѣхала на сторону и образовала какой-то неуклюжій, тяжелый комъ, находившійся въ страшномъ противорѣчіи съ движеніемъ головы своего владѣльца; комъ этотъ то сползалъ на затылокъ, то свѣшивался на глаза, то переваливался справа налѣво, но всякій разъ въ сторону противоположную той, куда наклонялась голова — обстоятельство, не очень, повидимому, безпокоившее хозяина; однакожъ, не смотря на сильныя эволюціи верхней своей части, шапка все-таки плотно держалась на лысой головѣ.

— Ну, чего, чего лѣзете?... Совѣсти въ васъ нѣтъ, никакого постоянства нѣтъ! подхватилъ старый торгашъ, голосомъ не столько сердитымъ, сколько поддразнивающимъ.

— Что ты на насъ, косатикъ? развѣ мы? бойко возразили

двѣ бабы, торопливо сбрасывая платки: — вишь вонъ энта-то... глянь-ка-сь, вишь что навертѣла! Ей небось не скажешь, прибавила одна изъ нихъ, кивая головою на запѣвалку, которая никакъ не могла освободиться отъ ожерелья, украшавшаго ея шею.

— Вотъ оборви нитку-то, разсыпь, разсыпь бусы-то! сказалъ старикъ, протягивая руку: — давай сюда... эка баба... давай!

— На, на, на, ѣшь! возразила запѣвалка, освобождаясь наконецъ отъ ожерелья и отталкивая его съ видомъ величайшаго пренебреженія: — разсыпишь! подхватила она, передразнивая старика и вспыхивая: — не видали дряни какой!... Ты за другими-то лучше поглядывай! заключила она, бросая недоброжелательные взгляды двумъ бабамъ, сидѣвшимъ насупротивъ.

— Ладно, ладно! слѣзай лучше до грѣха! перебилъ старикъ.— Повернуться не дадутъ, облѣпили какъ!... Покупать такъ покупать, а то что такъ-то языкомъ болтать?... Никакого въ васъ постоянства нѣтъ, бабы! право нѣтъ! Слѣзай, говорю...

— А ну его взаправду, бабы! плюньте! вишь невидаль какая! проговорила востроглазая бабёнка, соскакивая съ воза.

— Ладно, ладно!... Эка заноза какая! право, заноза! Коли покупать не хотите, стало стоять здѣсь нечего... одни пустые разговоры...

— И то, промолвилъ какой-то мужикъ, до той поры стоявшій совершенно смирно: — вонъ! чего лѣзете? вонъ! неожиданно добавилъ онъ, принимаясь работать локтями.

Послышались хохотъ, писк, брань; толпа стала рѣдѣть. Немного погодя, подъ амбарнымъ навѣсомъ раздалась пѣсня, возвѣстившая, что хороводъ снова устроился. Это обстоятельство еще замѣтнѣе очистило толпу вокругъ воза. Вскорѣ осталось нѣсколько мужиковъ и бабъ, которые не отошли прочь потому только, что въ праздничный день дѣлать нечего и надо же стоять гдѣ-нибудь.

— Поди жъ ты, что надѣлали! не сообразишь никакъ!... Взяли на два гроша всего, а разрыли мало-что на пять рублевъ, сказалъ старый торгашъ, оглядывая присутствующихъ, которые засмѣялись. Торгашу было ужъ лѣтъ шестьдесятъ, но онъ представлялъ изъ себя еще свѣжаго здороваго старика; лицо его, шея и руки сохраняли постоянно такую красноту, какъ будто старикъ никогда не сходилъ съ баннаго полка, гдѣ его парили самымъ жгучимъ вѣникомъ; краснота эта была отличительнымъ и самымъ рѣзкимъ свойствомъ его наружности, нелишенной веселости и прямодушія.

— Что станешь съ ними дѣлать, съ бабами-то? подхватилъ онъ, потряхивая головою надъ грудами взбудораженнаго товара и приводя въ движеніе макушку шапки:—не соберешь никакъ... та: „дѣдушка, подай!“ другая: „дѣдушка, покажь!“ никакъ не сообразишь... совсѣмъ затормошили!

— Ничаво не сдѣлаешь! отозвался кто-то.

— Извѣстно, бабы—кто имъ радъ? проговорилъ разсудительнымъ тономъ мужикъ, исполнявшій за минуту предъ тѣмъ должность полицейскаго.

— Такой ужъ видно ихній родъ! смѣясь, замѣтилъ другой.

— И диковинное это, право, дѣло... началъ-было снова старикъ; но третій мужикъ, малый лѣтъ тридцати, косой, какъ заяцъ, и рябой, какъ кукушка, который во все время предыдущаго разговора ощупывалъ лошадь торгаша, разсматривалъ съ величайшимъ любопытствомъ его сбрую и подводу, перебилъ его:

— Отколѣва Богъ несетъ? спросилъ онъ.

— Ѣду, то-есть, откуда?

— Нѣтъ, какихъ, примѣрно, губерній? подхватилъ рябой мужичокъ, укладывая локоть правой руки на облучокъ, а пальцами правой руки притрогиваясь къ оловяннымъ зеркальцамъ, сверкавшимъ изъ бумажнаго свертка.

— Губерніи Ярославской, словоохотливо возразилъ старикъ:— а вы, братцы, здѣшніе?

— Здѣшніе, отозвались мужики, причемъ тотъ, который лежалъ на локтѣ, приподнялъ уголъ бумаги, скрывавшей мотки съ шелкомъ.

— Ваша деревня какъ, братцы, прозывается... Мàрьинское?... такъ, что ли?

— Мàрьинское...

— Такъ и есть; стало, здѣсь... такъ и сказывали: на третьей верстѣ, сказывали, отъ большой дороги, проговорилъ старикъ, озираясь на стороны.—Скажите, братцы, нѣтъ ли у васъ такого мужичка... Тимоѳеемъ звать?... не припомню только: Ѳедосѣевъ ли, Демьяновъ ли...

— Есть... Ѳедосѣева нѣтъ, а Демьяновъ есть.

— Какой-такой Демьяновъ? У насъ трое Демьяновыхъ. Вонъ насупротивъ одинъ... вонъ...

— Эй, братцы! ужъ не Лапша ли? ухмыляясь, спросилъ весельчакъ.

— Какой Лапша?

— А такъ прозвали у насъ одного мужичка Лапшою... Лапша да Лапша — такъ и стали звать.

— Тебѣ, дядя, какъ сказывали?

— Сказывали: какъ въѣдешь, говоритъ, въ околицу, на лѣвой рукѣ, тутъ и живетъ... никакъ пятая изба, никакъ шестая съ краю... не помню...

— Ну такъ и есть, Лапша! воскликнулъ рябой мужичокъ, отличавшійся любознательностью.

— Стало, есть какая надобность?

— Нѣтъ, братъ его наказывалъ кланяться, возразилъ старикъ, принимаясь за укладку товара.

При этомъ извѣстіи, мужики переглянулись между собою, послѣ чего глаза ихъ съ замѣтнымъ любопытствомъ обратились къ старику, и всѣ разомъ заговорили:

— Гдѣ ты его встрѣлъ?... гдѣ?... въ коемъ мѣстѣ?...

— Ноньче зимою встрѣлъ, ѣхамши изъ Алексина.

— Ахъ онъ разбойникъ! закричали мужики въ одинъ голосъ.

Восклицаніе было такъ неожиданно и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ единодушно, что торгашъ невольно поднялъ голову и взглянулъ на нихъ пристальнѣе.

— Что вы, братцы? спросилъ онъ.

— Да вѣдь этотъ-то, что съ тобой встрѣлся, первый что ни есть мошенникъ! заговорили опять разомъ всѣ присутствующіе.— Вотъ ужъ никакъ пятый годъ въ бѣгахъ. Тѣмъ только и спасся— бѣжалъ! Ему давно бы въ Сибири быть...

— Какъ такъ?

— Да такъ! Такихъ дѣловъ надѣлалъ... и — и — и!...

— Онъ мнѣ сказывалъ, какъ я съ нимъ встрѣлся, сказывалъ, сапожнымъ, вишь, мастерствомъ занимается.

— Ахъ онъ разбойникъ! подхватили опять присутствующіе.

— Гдѣ ты съ нимъ встрѣлся? спросилъ одинъ изъ толпы.

— Точно, теперь какъ припомню... точно, чудно какъ словно, началъ старикъ:—ѣхалъ я нонѣ зимою, пробирался къ Алексину городу; недалече ужъ было до ночлега—можетъ, этакъ, верстъ пятокъ оставалось; ужъ примеркать стало... знамо, дѣло зимнее, день-то короткій, къ тому и время такое было: мятель, погода такая посыпала... Слѣзъ этто я съ воза-то, рукавицами похлопываю, самъ иду подлѣ лошаденки. Иду такъ-то, смотрю, вижу—

идетъ впереди человѣкъ; съ нимъ паренекъ... такъ мальчоночекъ лѣтъ, этакъ, восьми, а можетъ и всѣхъ десять годковъ будетъ... Ну, поровнялись, нагналъ ихъ, поздоровались. Куда? примѣрно, откуда? Разговорились... Сталъ этто онъ у меня просить паренку посадить — посадилъ. Такъ-и-такъ, говоритъ, сапожникъ, говоритъ, мастерствомъ пробавляюсь. „Это, говорю, сынъ у тебя?“ — „Нѣтъ, говоритъ, чужой, въ ученье взятъ...“ А самъ такой-то обдерганный: ни на немъ, ни на парнишкѣ полушубка нѣтути. Я и давай спрашивать: „гдѣ жъ, говорю, поклажа-то у тебя? чай струментъ есть?“ — „Жительство, говоритъ, имѣю поблизости, въ деревнѣ; тамъ, говоритъ, струментъ оставилъ...“ Такой-то словоохотный, спрашиваетъ, куда ѣду. „Вы, говоритъ, вездѣ слоняетесь; вѣровно, говоритъ, доведется въ Каширѣ побывать, въ нашей сторонкѣ; тамъ есть, говоритъ, сельцо такое, Мàрьинское прозывается... коли приведетъ Богъ побывать, говоритъ, спроси мужичка Тимоѳея“ — сказалъ, какъ примѣрно найтить — „клаияйся ему; скажи, молъ, братъ поклонъ посылаетъ...“

— Ну такъ, такъ! онъ и есть, онъ! Вишь, разбойникъ!... заговорили опять въ толпѣ.

— Поди жъ ты, что выдумалъ — а? сапожникъ! Ахъ онъ проклятый!... И парнишка съ нимъ... по отцу пойдетъ; ужъ это какъ есть что по отцу. То-то давно слуховъ-то небыло... Поди жъ ты! сказался!

— Такъ, стало, паренёкъ-то ему не чужакъ? спросилъ удивленный старикъ.

— Какой чужакъ! Говорятъ тебѣ: сынъ, родной сынъ, подхватили мужики, перебивая другъ друга. — Въ тѣ поры, какъ бѣжалъ отъ насъ, въ тѣ поры и парнишку своево увелъ. Вотъ ужъ пятый годъ въ бѣгахъ...

— О чемъ вы тутъ? неожиданно спросилъ новый мужикъ, подходя къ возу.

— Слышь, вотъ старикъ съ Филиппомъ встрѣлся!... Филиппъ, слышь, Лапши нашего братъ, бѣглый-то.

Вѣсть эта произвела, казалось, на новоприбывшаго такое же точно впечатлѣніе, какъ и на его товарищей.

— Поди жъ ты, какое дѣло! проговорилъ торгашъ: — а мнѣ и не въ догадку; думалъ, взаправду мастеровой.

— Вотъ нашелъ! Плутъ первый сортъ, темный плутъ! Чудно, какъ онъ съ тобою чего не спроворилъ. Знамо, такими дѣлами животъ кормитъ. Спроси, здѣсь всякій скажетъ... его по всей

округѣ-то и то знаютъ... Эй, Пантелей! подь сюда! заключилъ вдругъ рябой мужичокъ, принимаясь махать руками по направленію къ околицѣ:—слышь, эй! Филиппа видѣли, Лапши нашего брата... вотъ старикъ встрѣлъ...

— Гдѣ? въ коемъ мѣстѣ? спросилъ, ускоряя шагъ, Пантелей, человѣкъ мрачнаго и суроваго вида, въ которомъ, по чернымъ и обгорѣлымъ рукамъ и носу, выпачканному сажей, не трудно было узнать кузнеца.

— Далеко, братъ! не поймаешь! А ты ужъ обрадовался, думалъ возьмешь, началъ-было весельчакъ, но другіе мужики перебили его и заговорили вмѣстѣ:

— Не нонъче встрѣлъ, зимою, у Алексина... далеко, братъ, не догнать...

— Вотъ, дядя, спроси у него, у него спроси: онъ-ти скажетъ, какой-такой Филиппъ человѣкъ есть, перебилъ, въ свою очередь, рябой мужичокъ, стараясь обратить на себя вниманіе торгаша:—совсѣмъ-было по міру пустилъ, совсѣмъ рѣшилъ! прибавилъ онъ, выразительно моргая на кузнеца.—Эй, ребята! Эй, слышишь? довершилъ онъ, снова начиная махать руками и поворачиваясь то въ одну сторону улицы, то въ другую:—Эй, сватъ Нефедъ! ступай сюда: Филиппа видѣли, Лапши нашего брата... эй...

Даже безъ этого извѣстія многіе изъ пожилыхъ мужиковъ и бабъ, непринимавшихъ участія въ хороводѣ, направлялись къ возу. Достаточно, вѣдь, увидѣть издалека двухъ-трехъ человѣкъ, собравшихся около одного мѣста, чтобъ привлечь толпу; но, при имени Филиппа, брата Лапши, каждый изъ подходившихъ ускорялъ шагъ. Вскорѣ вокругъ воза снова составился порядочный кружокъ. Рябой мужичокъ пересталъ, между-тѣмъ, кричать: онъ торопливо передавалъ новость, переходя отъ одного къ другому — никто, однакожъ, не хотѣлъ слушать: послѣ первыхъ двухъ словъ, каждый махалъ только рукою, отходилъ прочь и обращался съ разспросами къ торгашу.

— Надо полагать, братцы, этотъ Филиппъ далъ себя знать... вишь какъ вы о немъ хлопочете! сказалъ старикъ, котораго начинало забирать любопытство.

Осажденный новыми разспросами, онъ очень-охотно повторилъ встрѣчу свою съ Филиппомъ. Во время разсказа, прерывавшагося бранью, какъ только произносилось имя Филиппа, рябой мужичокъ ни на секунду не оставался въ покоѣ; его точно укусила ядови-

тая муха: каждый членъ его, каждая черта лица его, особенно глаза и брови, находились въ страшной подвижности; онъ то подмигивалъ, то дергалъ за рукавъ сосѣда, приглашая его быть внимательнѣе, то обращался съ пояснительными жестами, наконецъ, не выдержалъ и неожиданно крикнулъ:

— Экой разбойникъ!

Выходка эта встрѣтила на этотъ разъ живое сочувствіе въ окружающихъ; крупная брань, какъ картечь, посыпалась отовсюду.

— Слышь, дядя! у этого, вонъ у этого двѣ лошади увелъ! вмѣшался рябой мужичокъ снова, указывая на кузнеца: — двѣ лошади увелъ, самъ тебѣ скажетъ... Скажи, Пантелей, какъ дѣло-то было...

Глаза присутствующихъ мгновенно перешли отъ торгаша къ Пантелею; но Пантелей обманулъ всеобщія ожиданія: онъ упорно молчалъ и только выраженіе его грубаго лица, да нахмуренныя брови высказали чувства, пробуждавшіяся въ немъ при воспоминаніи о Филиппѣ.

— Кому онъ здѣсь только не врагъ? сказалъ сѣдой старикъ: — о-сю-пору всѣ поминаютъ. Даромъ пятый годъ слуховъ нѣтъ, всѣмъ на шею сѣлъ.

— Воръ воруетъ — міръ горюетъ. Кто ему, вору-то, радъ!

— И паринишку-то своево погубилъ, окаянный! прокричала не кстати какая-то старуха.

— То-то, я чай, нашъ Лапша-то подивится, какъ провѣдаетъ. Онъ думаетъ, брата давно ужъ въ живыхъ нѣту; самъ намѣдни сказывалъ...

— А ты и повѣрилъ! сурово перебилъ кузнецъ Пантелей.

— На такихъ людей погибели нѣтъ; ничего имъ не дѣлается, замѣтилъ кто-то.

— Ну, а что, братцы, каковъ у васъ этотъ-то братъ? спросилъ торгашъ.

— Лапша-то?

— Да.

— Все единственно... такой же разбойникъ! проговорилъ кузнецъ.

Выходка кузнеца не заключала въ себѣ, казалось, ничего особенно-забавнаго, тѣмъ не менѣе въ толпѣ многіе разразились хохотомъ; надо полагать, сближеніе, которое сдѣлалъ кузнецъ между Лапшою и его братомъ, показалось присутствующимъ черезчуръ уже несбыточнымъ, невѣроятнымъ.

— Стало,. такой ужъ видно весь ихній родъ: всѣ однимъ путемъ-дорогой пошли! произнесъ торгашъ, покачивая головою, причемъ макушка его шапки обнаружила нѣсколько разъ намѣреніе сорвать съ плечь голову своего владѣльца.

— Вся семья таковская! одинъ въ одного! упрямо подтвердилъ кузнецъ.

Снова нѣкоторые засмѣялись.

— Полно, братъ Пантелей, полно! не грѣши! съ укоромъ произнесъ степеннаго вида мужикъ, молчавшій до того времени: — станешь такъ-то про другихъ худо говорить, узнаешь и про своихъ. Коли говорить, такъ говори настоящее...

— Я и то настоящее говорю: мошенникъ — да и все тутъ!

Степенный мужикъ досадливо махнулъ рукою и отвернулся.

— Извѣстно, одинъ братъ грабитъ, другой концы хоронитъ, сурово подхватилъ кузнецъ: — слышь, не знаетъ Лапша, живъ ли братъ — какъ же! Думаешь, какъ лѣтось пастухъ нашъ встрѣлъ Филиппа у рощи, думаешь, этотъ не зналъ? Они заодно дѣйствуютъ. Ты вѣрь ему, что онъ дурачкомъ-то прикидывается, вѣрь...

— Полно, говорю, началъ опять степенный мужикъ: — не чужимъ разсказываешь. Тотъ ограбилъ тебя — точно; ты на него и серчай: говори кому хошь, всякой скажетъ: „грабитель“. А этого позорить тебѣ не за что. Братъ за брата не отвѣтчикъ! Лежачаго, братъ, не бьютъ — не приходится!

— Ужъ это какъ есть...

Многіе изъ присутствующихъ, въ томъ числѣ и бабы, вступились за Лапшу.

— Ну васъ совсѣмъ! съ досадливымъ нетерпѣніемъ крикнулъ Пантелей и, толкнувъ плечомъ двухъ-трехъ сосѣдей, пошелъ своей дорогой.

— Какъ распрогнѣвался! не по скусу, стало, пришло! смѣясь, замѣтили въ толпѣ.

— Не нуще силенъ, не страшно! сказалъ съ пренебреженьемъ степенный мужикъ, вступившійся за Лапшу. — Знамо: ну, за что онъ его позоритъ? И безъ того обиженный человѣкъ кругомъ какъ есть. Черезъ брата свого всего рѣшился, да за его же худыя дѣла отвѣчать долженъ.

— Это точно, настоящее говоритъ. Человѣкъ точно смирный,

отозвалось нѣсколько голосовъ, въ числѣ которыхъ особенно произвенѣлъ голосъ рябаго мужика.

— Такой-то смирный, касатикъ, и... и... телята свои лижутъ! опять некстати крикнула старуха.

— Кабы, какъ вотъ онъ говоритъ, заодно дѣйствовали, этотъ не сидѣлъ бы безъ хлѣба. Отъ міра не утаишься: все на виду! подхватилъ степенный мужикъ, оставшійся, повидимому, совершенно-равнодушнымъ къ поощрительнымъ возгласамъ окружавшихъ: — а то вѣдь мы видимъ: бѣднѣе ихней семьи не сыскать по всей округѣ...

— Ужъ очевидно добрѣ отощали, родимый, послѣ брата-то, какъ братъ-то убѣгъ, отощали добрѣ, снова вмѣшалась старуха.

— Ребятъ много: они пуще всего одолѣли! замѣтила другая.

— Экъ сказала! рази у него одного ребята-то? не бось у всѣхъ есть! проговорилъ полунебрежно, полунасмѣшливо высокій мужикъ съ желтыми, какъ лимонъ, волосами.

Мужикъ этотъ, котораго звали Мореемъ, одинъ изъ всей толпы не вмѣшивался до-сихъ-поръ въ разговоръ; онъ только слушалъ, щурилъ глаза и почесывалъ затылокъ съ такимъ видомъ, что никакъ нельзя было опредѣлить, сердится онъ или радуется.

— Что жъ? онъ правду говоритъ: у кого достатки, и тѣмъ ребята въ тягость; а вотъ какъ у Лапши ихъ шестеро, знамо, сокрушаютъ! сказалъ степенный мужикъ: — только совсѣмъ не черезъ это Лапша разстроился; главная причина: самъ, чрезъ себя, а тутъ еще пришелъ да братъ доконалъ.

— Такъ что жъ? ему теперь поправляться надыть; радоваться надыть, что отъ худаго человѣка ослобонился, сказалъ торгашъ.

— Вотъ поди жъ ты! а онъ еще хуже сталъ жить.

— На него, касатикъ, напущено; лихой человѣкъ напустилъ! неожиданно перебила все та же старуха.

Морей сомнительно покачалъ головою и недовѣрчиво усмѣхнулся; послѣ этого лицо его сдѣлалось вдругъ, въ одно мгновеніе ока, серьезнымъ и даже гнѣвнымъ; онъ пригнулся къ старухѣ и быстро, какъ словно выстрѣливая изъ пушки, прокричалъ ей въ самое ухо:

— Напущено! кто напустилъ? самъ напустилъ!

Послѣ этого Морей снова впалъ въ молчаніе и только улыбками выражалъ свое неудовольствіе, когда вступались за Лапшу, что, скажемъ мимоходомъ, случалось довольно рѣдко.

— Еще Господа Бога благодарить должонъ, что такая жена ему напалась, сказалъ степенный мужикъ: — кабы не она, кажись, не было бы у него съ ребятенками-то ни хлѣба прокормиться, ни рубашонки покрыться; такъ ходили бы, нагишомъ, голодные!... Не ему бы только ею владѣть, потому, надо правду молвить, мужикъ пустяшный; только женой одной все и держится — голова всему дому!...

Во время этихъ объясненій, старый торгашъ не переставалъ заниматься укладкою своихъ товаровъ. Прикрывая возъ кожею, онъ попросилъ, чтобъ ему указали избу Лапши.

— Вонъ, седьмая съ краю, отъ околицы; вонъ, что крышато обвалилась, ворота обдерганыя! заговорилъ, махая руками и двигая бровями, рябой мужичокъ: — то-то, я чай, подивится Лапшато, какъ про брата провѣдаетъ... особливо коли въ заправду думалъ, брата давно въ живыхъ нѣтъ...

— Ахъ-э! крикнулъ неожиданно Морей и схватилъ себя за голову.

— Что ты?

— Зачѣмъ я ему далъ крупу-то! крикнулъ Морей съ видомъ отчаянья.

— Кому далъ?

— Лапшѣ! сталъ это просить, присталъ: „дай, да дай“ — я ему и далъ.

— Ну такъ что жъ?

— Отдать, говоритъ, нечѣмъ, пропало, значитъ, добро! Ахъ-э! заключилъ Морей, снова схватывая себя за голову.

— Ну что! есть о чемъ горевать! сказалъ торгашъ: — коли бѣдный человѣкъ, Господь воздастъ тебѣ за него. А я заѣду къ нему, погляжу, промолвилъ онъ, какъ-бы раздумывая самъ съ собою: — заѣхать все надобно, поклонъ отвезти: каковъ ни есть, все братъ; одна полоса мяса — не оторвешь.

— Что говорить! сказалъ степенный мужикъ: — только врядъ порадуется, какъ провѣдуетъ. Добрѣ ужъ оченно тотъ-то худую по себѣ память оставилъ.

Старикъ приладился на облучкѣ, раскланялся съ толпою и поѣхалъ къ избѣ Лапши, сопровождаемый, съ одной стороны, рядомъ, безпокойнымъ мужичкомъ, который началъ его убѣждать перемѣнить чеку, оказавшуюся, по его мнѣнію, ненадежною, съ другой стороны, хороводной пѣсней, которая то звенѣла въ ушахъ,

какъ сотня колокольчиковъ, то гудѣла, какъ шмель, смотря по тому, подхватывали ли бабы и дѣвки, подстрекаемыя востроглазой запѣвалкой, или подтягивали одни парни.

II.

Лапша и его семейство.

Подъѣхавъ къ Тимоѳеевой избѣ, старый торгашъ соскочилъ на-земь, внимательно осмотрѣлъ, плотно ли увязана кожа, прикрывавшая товаръ, и пошелъ къ воротамъ.

Напрасно искалъ онъ веревочки, которая обыкновенно приводитъ въ движеніе деревянный засовъ — засова не существовало, да и не къ чему было: цѣлыхъ двухъ тесинъ недоставало въ воротахъ, и будь они даже крѣпко замкнуты изнутри — все-равно: каждый могъ бы свободно проникнуть во дворъ. Старикъ покачалъ головою, отперъ ворота и вступилъ на тѣсный тонкій дворикъ; темные, кривые столбы, изъѣденные снизу сыростью, сверху червоточиной, ели-ели поддерживали сѣрый, полусгнившій соломенный навѣсъ, выказывавшій голыя стропилы; плетень огибалъ дворъ съ трехъ сторонъ и составлялъ заднюю стѣну навѣсовъ; онъ сваливался фестонами то на одинъ бокъ, то на другой, такъ что мѣстами можно было бы разсматривать, что дѣлалось у сосѣдей, если бъ сосѣдскіе плетни не отличались крѣпостью. Въ задней и самой темной части навѣса находились еще ворота; въ настоящую минуту они были настежь отворены и представляли, посреди темноты, ихъ окружавшей, яркое солнечное пятно, въ которомъ рисовались, какъ на картинкѣ, узенькая тропинка, протоптанная въ кранивѣ, гряды огорода, изрытыя копытами, и въ отдаленьи — рига, грозившая разрушеніемъ. Косые лучи заходящаго солнца, обдавая яркимъ блескомъ всю эту заднюю часть владѣній Лапши, значительно еще скрашивали ихъ пустоту и бѣдность.

Живые глазки стараго торгаша снова перенеслись во внутренность двора; но смотрѣть было рѣшительно не на что: если и выглядывало кой-гдѣ хозяйственное орудіе, то все до такой степени было ветхо и запущено, что доброму мужику оставалось только плюнуть или пожать плечами. Солнечные лучи, проходя сквозь щели плетней и дыры навѣсовъ, дѣлали изъ двора Лапши какое-то по-

добіе стараго, брошеннаго рѣшета. Дерево врядъ ли даже годилось на дрова. Осмотрѣвшись еще разъ вокругъ, и видя, что никто нейдетъ, старикъ направился къ дверямъ сѣней (сѣни, примыкавшая къ нимъ клѣтушка и задняя часть избы занимали почти половину двора); въ это самое время на порогѣ сѣнныхъ дверей показалась высокая, худощавая женщина, съ лицомъ смуглымъ и энергическимъ; на рукахъ ея покоился грудной ребенокъ.

— Кого тебѣ, батюшка? несовсѣмъ-ласково спросила она, останонясь и раскрывая удивленные глаза.

— Здравствуй, касатка.

— Кого надо? перебила она ужъ съ явнымъ нетерпѣніемъ.

— Здѣсь живетъ мужичокъ... Тимоѳеемъ звать?...

— Здѣсь, какъ-будто нерѣшительно выговорила она; на лицѣ ея пробѣжала тѣнь неудовольствія; она не старалась даже скрыть его и промолвила сурово:

— Ты бы, батюшка, коли надобность есть, постучалъ съ улицы, а то прямо на дворъ влѣзъ.

— Я, матушка, не за худымъ дѣломъ...

— Все одно: такъ лѣзть безъ спросу не годится, — спросилъ бы прежде...

— Ты, видно, хозяйка?

— Хозяйка.

— Дома мужъ?

— Дома.

Съ этими словами ворота заскрипѣли, и на дворъ вбѣжали сломя голову двѣ чихающія овцы; съ улицы послышался ревъ, блеянье и топотъ бѣжавшаго стада, которое только-что, вѣроятно, вогнали въ околицу. Слѣдомъ за овцами показалась молоденькая, круглолицая дѣвушка съ хворостинкой въ рукѣ. Увидя чужаго человѣка, она остановилась, поправила ветхій платокъ на головѣ и вопросительно взглянула на смуглую женщину.

— Маша, сходи за отцомъ, сказала та: — онъ никакъ въ ригу пошелъ: скажи, спрашиваютъ, молъ.

Дѣвушка съ замѣтною торопливостью направилась къ заднимъ воротамъ. Профиль ея фигуры рѣзко обозначался въ свѣтломъ отверстіи воротъ; ступивъ на тропинку, гдѣ снова освѣтило ее заходящимъ солнцемъ, она безъ оглядки бросилась бѣжать по направленію къ ригѣ. Видно было, что гости очень давно не заглядывали къ Тимоѳею: появленіе новаго незнакомаго лица приводило хо-

зяйку въ замѣтное недоумѣніе; черныя ея брови словно подергивало отъ внутренняго безпокойства; она глядѣла на старика такими глазами, какъ-будто старалась дознаться, что могло привести его къ нимъ. Чувство недовѣрчивости и подозрительности вообще свойственно простому народу, но бѣдные люди этого сословія присоединяютъ еще къ этимъ двумъ свойствамъ пугливость, иногда вовсе даже ни на чемъ неосновательную, но выходящую, вѣроятно, изъ сознанія собственнаго безсилія и ничтожества.

— Надобность, что ли, есть до мужа-то? спросила она съ тою рѣзкостью, которую обнаруживаютъ обыкновенно недовольные раздраженные люди, поставленные въ необходимость скрывать свои чувства.

— Надобности никакой нѣтъ, возразилъ старикъ: — только что вотъ повстрѣчался я ноньѣ зимою съ братомъ мужа, наказывалъ кланяться.

Трудно выразить, какое дѣйствіе произвели послѣднія эти слова на хозяйку. Недовольное лицо ея мгновенно выразило испугъ и замѣшательство; смуглыя, энергическія черты ея вдругъ вытянулись, задрожали и покрылись желтоватою блѣдностью: но это продолжалось всего секунду; ужасъ ея мгновенно уступилъ мѣсто выраженію злобы и ненависти.

— Такъ вотъ ты зачѣмъ! крикнула она, быстро перенося ребенка въ лѣвую руку и принимаясь правой махать по воздуху: — ступай, ступай по-добру, по-здорову... не надыть намъ ни чьихъ поклоновъ, не нуждаемся! Брата нѣту у насъ никакого... Коли кланяться велѣлъ, стало, на-смѣхъ... Ступай, ступай! Отколѣва пришелъ, туда и ступай! Мы не нуждаемся...

— Я этихъ дѣловъ вашихъ не знаю, перебилъ старикъ, ошеломленный этимъ потокомъ непривѣтливыхъ словъ. — По мнѣ, пожалуй, пойду... Сказала бы: не надо — и дѣлу конецъ; безъ крику эвтаго ушелъ бы... Я ни въ чемъ этомъ непричастенъ... потрудилъ только себя, къ вамъ зашелъ, васъ же жалѣючи...

— Всѣхъ не пережалѣешь, батюшка! мы и въ этомъ не пуще чтобы нуждались, возразила она какъ-бы тономъ оскорбленія, но съ меньшею, однакожъ, запальчивостью. Кроткій почтенный видъ старика очевидно обезоружилъ ее; кромѣ-того, и ребенокъ на рукахъ ея, отъ сильнаго движенія и крика матери, проснулся и заплакалъ.

— Все это ваше дѣло, на томъ стало и быть; но только сер-

чать такъ-то не надо бы... Вамъ же хотѣлъ послужить, а выходитъ, чуть въ зашеи не вытолкали. Ну, спасибо, касатушка, спасибо...

Сказавъ это, старикъ, красное лицо котораго превратилось въ багровое, поправилъ шапку и готовился уже повернуть къ воротамъ, когда глаза его встрѣтили Тимоѳея (такъ, по-крайней-мѣрѣ, подумалъ старикъ). Тимоѳей торопливо ковылялъ по тропинкѣ, сопровождаемый круглолицей дѣвушкой.

Одинъ видъ приближавшагося мужика невольно уже какъ-то приводилъ на память данное ему прозвище. Нельзя сказать, чтобъ онъ былъ чрезмѣрно тощъ, бѣлокуръ и длиненъ; но все существо его, казалось, насквозь проникнуто переминаньемъ и мяленьемъ. Ногами передвигалъ онъ довольно-скоро, но онѣ выступали нерѣшительно, путались и бились другъ о дружку; туловище его, съ узенькою, глубоко впалою грудью, и руки словно повиновались движенію ногъ и колыхались безъ всякой видимой цѣли; лицомъ онъ былъ, какъ говорится, б ѣ д е н ъ, то-есть худощавъ и невзраченъ; оно сохранило желтоватый, болѣзненный видъ, къ чему примѣшивалось еще выраженіе какого-то безпокойнаго ожиданія и пугливости. Онъ выступалъ впередъ нѣсколько наискось, бочкомъ, на манеръ того, какъ ходятъ раки, тяжело кашлялъ и часто выпрямлялся, чтобъ перевести одышку; даже зрѣніе его казалось слабымъ: онъ щурилъ глаза, словно глядѣлъ на солнце. Ему было лѣтъ сорокъ-пять съ небольшимъ, но волосы его замѣтно уже начали вытираться на макушкѣ; мягкіе какъ пухъ, но плоскіе, какъ трава, они свѣшивались длинными жиденькими прядями до бороды, которая была такъ рѣдка, что позволяла различать очертаніе рта и остраго, выдавшагося впередъ подбородка. Словомъ, это былъ совершеннѣйшій типъ безсилія и слабости. Физическое безсиліе, казалось, соотвѣтствовало въ немъ и нравственному. При взглядѣ на Тимоѳея, приходила невольно слѣдующая мысль: какъ это могло статься, чтобъ у такого человѣка было такое множество дѣтей?... Достойно замѣчанія, что большею частію люди этого рода, которые готовы, кажется, сейчасъ распасться на куски и еле-еле живы, производятъ почти всегда многочисленное поколѣніе. Одна черта рѣзко только и обозначалась во всей наружности Тимоѳея: то были брови; онѣ отличались густотою и чернотою; но эта самая особенность служила, казалось, къ тому лишь, чтобъ окончательно досказать характеръ внѣшняго и внутренняго безсилія, проникшаго все существо этого человѣка. Вступая въ разговоръ или даже слушая

кого-нибудь, онъ усиленно какъ-то приподымалъ то одну бровь, то другую, иногда даже обѣ вмѣстѣ: онъ точно призывалъ на помощь какую-то небывалую силу и внутренно старался ободрить себя.

Разварная наружность Тимоѳея, вѣроятно, заслужившая ему прозвище Лапши, поражала своимъ контрастомъ съ наружностью его дочери, шедшей рядомъ; она не была хороша собою, но вся фигура ея дышала необыкновенною подвижностью и оживленіемъ; въ смуглыхъ чертахъ дѣвушки отражались энергія и умъ, которые такъ рѣзко отличали черты ея матери; черные выразительные глаза, окруженные длинными рѣсницами, и свѣжесть румянца, который игралъ на щекахъ вопреки стѣсненному воздуху избы, дыму и худой нищѣ, составляли, вмѣстѣ съ молодостью, всю красоту Маши.

По-мѣрѣ-того, однакожъ, какъ приближался Тимоѳей, лицо торгаша принимало выраженіе обычной веселости.

— Э! знакомый человѣкъ! воскликнулъ онъ, какъ только Тимоѳей показался подъ навѣсомъ: — вотъ не чаялъ, не гадалъ! Такъ, стало, ты самый и есть Тимоѳей? подхватилъ онъ, выступая впередъ, между тѣмъ, какъ дочь пошла къ матери.

Встрѣча эта, по неожиданности своей, поразила удивленьемъ и дочь и мать.

— Здорово, братъ Тимоѳей, здорово! Вотъ Господь привелъ свидѣться... не думалъ, не гадалъ, что къ тебѣ на дворъ зашелъ... аль не признаешь? . . . . . .

— Какъ не признать! началъ Лапша протяжнымъ, грудным голосомъ, но вдругъ закашлялся, схватился обѣими руками за грудь и замоталъ головою. Вѣсть о приходѣ незнакомаго человѣка, видно, еще сильнѣе взволновала его и потревожила, чѣмъ жену. Руки и ноги его дрожали.

— Какъ же! я тебя знаю, продолжалъ онъ тѣмъ же нерѣшительнымъ, робкимъ, грудным голосомъ: — не помню вотъ только, какъ звать...

— Не-ужъ-то забылъ? простодушно воскликнулъ старикъ, откидывая голову назадъ, причемъ макушка его шапки съѣхала ему на глаза: — дядю-то Василья забылъ! И то сказать, много время прошло... Ахъ, Тимоѳеюшка, Тимоѳеюшка!... А я, признаться, совсѣмъ ужъ было идти хотѣлъ... Хозяйка твоя добре на меня взъѣлась, такъ вотъ и рветъ, со двора гонитъ... Мы, слышь, тётка, съ мужемъ-то старые знакомые, подхватилъ онъ, обращаясь къ женѣ, которая съ выраженіемъ удивленія переносила глаза отъ гостя къ мужу: — два года будетъ, зимою... кабы не онъ, добрый

человѣкъ напался, я бы совсѣмъ и съ возомъ-то доселѣва въ Окѣ сидѣлъ: онъ, спасибо ему, подсобилъ... только насъ двое тогда и было... Съ обозомъ никакъ ѣхалъ тогда!...

— Съ обозомъ, возразилъ, едва-оживляясь, Тимоѳей:—отъ своихъ поотсталъ тогда... подъ Каширой; точно, сошлись на рѣкѣ... ты мнѣ еще тогда цѣлковый рубль далъ... за хлопоты...

— Что поминать объ этомъ! Я вѣкъ должонъ тебя помнить: кабы не ты...

— Да ты спроси у него, зачѣмъ пришелъ, нетерпѣливо перебила жена, выразительно указывая мужу на гостя.

Тимоѳей замигалъ глазами.

— Кабы зналъ я, примѣрно, обо всѣхъ этихъ вашихъ дѣлахъ, лучше бы и говорить не сталъ; какъ передъ Богомъ, не сталъ бы! началъ старикъ:—вотъ что, братъ Тимоѳей, слышь: нонѣ зимою, ѣхамши подъ Алексинымъ, повстрѣчалъ я твово брата; больше ничего; велѣлъ только кланяться...

Вѣсть о братѣ произвела на Тимоѳея совершенно-другое дѣйствіе, чѣмъ на жену его: онъ не пришелъ въ негодованіе, а, напротивъ, окончательно уже раскисъ; руки его опустились, голова свѣсилась—онъ весь опустился, какъ будто держался прежде помощью костылей и костыли эти вдругъ отняли.

— Что за диковина, право! Я, признаться, ума не приложу, о чемъ ужъ вы больно такъ сокрушаетесь, сказалъ старикъ, разводя руками:—знамо, худой человѣкъ, ну... ну, и Богъ съ нимъ! Что слава-то худая, ну такъ что жъ? Худыя дѣла съ нимъ и останутся... Братъ за брата не отвѣтчикъ ни передъ кѣмъ...

— Главная причина, робко проговорилъ Тимоѳей: на деревнѣ провѣдаютъ...

— Это о чемъ?

— О томъ вотъ, что живъ-то онъ и кланяться мнѣ велѣлъ...

— Ну, братъ Тимоѳей, въ эвтомъ, признаться, виноватъ, погрѣшилъ. Главная причина, не зналъ я ничего объ этихъ вашихъ дѣлахъ, произнесъ торгашъ:—какъ быть-то! Началъ спрашивать, гдѣ, молъ, такой Тимоѳей живетъ, такъ-и-такъ, отъ брата, говорю, поклонъ привезъ... стали разспрашивать: тары-бары... ну, признаться, маненько, того... объ этомъ потолковали... Ты не взыщи на мнѣ, потому не зналъ я ничего этого...

— Проходу теперь не дадутъ! проговорилъ Лапша, ударяя объ полы руками, съ видомъ крайняго замѣшательства.

Все это, очевидно, столько же непріятно было женѣ, сколько и мужу. Неудовольствіе ея особенно высказывалось взглядами, которые не переставала она бросать къ той сторонѣ двора, гдѣ располагались уличныя ворота; она передала наконецъ ребенка дочери и нетерпѣливо пошла къ воротамъ: увидя нѣсколькихъ бабъ, съ любопытствомъ смотрѣвшихъ къ ней на дворъ, она вымѣстила на нихъ всю свою досаду.

— Ну что стали?... народъ только тѣшить! съ сердцемъ сказала она, возвращаясь на дворъ, обращаясь къ гостю и мужу: — коли есть о чемъ толковать, ступайте въ избу!

— Зайди, добрый человѣкъ, проговорилъ Лапша, переминаясь.

— Я бы ништо, пожалуй; время къ вечеру, ужъ солнце садится... ѣхать погодить надо до завтра, простодушно вымолвилъ старикъ: — опасаюсь вотъ только насчетъ воза, какъ-будто на улицѣ оставить не годится... не тронули бы...

— Пожалуй, дочка ноглядитъ, сказалъ Лапша.

— Погляди, касатка, пока съ отцомъ посижу, подхватилъ старикъ: — оченно ужъ, вижу, убивается... надо, примѣрно, поговорить съ нимъ... Хоша я и не причиненъ, а все какъ словно черезъ меня дѣло-то вышло...

Дѣвушка укутала ребенка въ ободранную отцовскую овчину, висѣвшую на плечахъ ея, и, обмѣнявшись взглядомъ съ матерью, пошла къ воротамъ. Катерина (такъ звали Тимофееву хозяйку) послѣдовала за мужемъ и гостемъ. Войдя въ избу, маленькую, тѣсную и курную, съ почернѣвшей печью въ лѣвомъ углу, старикъ набожно перекрестился передъ иконами.

Въ настоящую минуту въ избѣ было очень свѣтло; кромѣ того, что низенькія окна, обращенныя къ западу, пропускали красноватый блескъ огненнаго заката, послѣдніе солнечные лучи, скользнувъ изъ-подъ длинныхъ багровыхъ тучъ, играли на правой стѣнѣ; эти солнечныя пятна, принимавшія видъ пылающихъ угольевъ, разливали по всей избѣ золотисто-желтоватый полусвѣтъ, такъ-что легко было различить предметы въ самыхъ дальнихъ углахъ. Въ одномъ изъ нихъ старикъ увидѣлъ женскую фигуру, сидѣвшую на лавочкѣ. Принявъ ее за редственницу хозяевъ, онъ поздоровался.

— Не взыщи, касатикъ, она ничего не смыслитъ, умомъ повредилась, сказалъ Лапша.

— Съ чего жъ такъ?

— Такъ ужъ, видно, Господу угодно, подхватила Катерина, съ явнымъ намѣреніемъ прекратить дальнѣйшіе разспросы.

Гость сдѣлалъ видъ, будто остался доволенъ объясненіемъ, но воспользовался первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы снова глянуть въ уголъ. Безумная, которой всего было лѣтъ тридцать, сидѣла, поджавъ ноги и положивъ подбородокъ на колѣни; въ рукахъ у нея было полѣно (истертое и почернѣвшее полѣно отъ долгаго пребыванія въ рукахъ); оно было обернуто въ тряпьё; прижавъ полѣно крѣпко къ груди и укачивая какъ ребенка, она не переставала бормотать что-то скороговоркою подъ-носъ. Старикъ невольно покачалъ головою, но, встрѣтивъ взглядъ хозяйки, поспѣшилъ сѣсть на лавку подлѣ Тимоѳея, который, казалось, все еще не успѣлъ оправиться отъ смущенія; складки худенькой рубахи сильно измѣняли дрожавшимъ рукамъ и колѣнямъ; усиленно приподымая то одну бровь, то другую, онъ видимо старался ободрить себя; наконецъ, послѣ долгаго переминанья на одномъ мѣстѣ, послѣ взглядовъ, направленныхъ къ женѣ, которая прибирала что-то у печки, онъ кашлянулъ нѣсколько разъ и какъ бы собрался съ духомъ.

— Гдѣ жъ это ты... говорилъ, гдѣ... хм! хм! вишь одолѣлъ, проклятый... почитай... гм! почитай съ самой вотъ осени... Гдѣ это ты... съ нимъ встрѣлся?... добавилъ онъ, сопровождая каждое слово пугливымъ взглядомъ, обращавшимся то къ женѣ, то къ гостю.

Катерина мгновенно отошла отъ печи и, судорожно скрестивъ на груди руки, нахмуривъ брови, остановилась послѣ разговаривавшихъ. Гость очень охотно приступилъ къ разсказу.

Съ первыхъ же словъ безумная перестала бормотать и подняла голову, едва-прикрытую платкомъ, изъ-подъ котораго вырывались въ безпорядкѣ пряди бѣлокурыхъ волосъ; сначала она исключительно какъ-бы занималась разсматриваніемъ незнакомца; мало-помалу блуждающіе, голубоватые глаза ея остановились на одной точкѣ, и лицо осмыслилось выраженіемъ страха; ноги ея свѣсились, шея вытянулась; съ каждой секундой дѣлалась она внимательнѣе; съ именемъ Филиппа она задрожала всѣми своими суставами и съ выраженіемъ неописаннаго страха скрыла полѣно подъ лохмотья одежды.

Присутствующіе такъ были заняты своими собственными мыслями и соображеніями (старикъ не отрывалъ живыхъ глазъ своихъ отъ Катерины и ея мужа), что не замѣчали происходившаго въ углу, гдѣ сидѣла сумасшедшая. Разсказчикъ дошелъ такимъ-образомъ

до Стёпки, сына Филиппа. При этомъ въ избѣ раздался вдругъ такой крикъ, что старикъ, Лапша и его жена нѣсколько секундъ стояли, какъ громомъ пораженные. Когда они опомнились, безумная лежала уже на полу, рвала на себѣ волосы, страшно колотилась головою о-земь; посреди рыданій ея, отъ которыхъ должна бы разорваться на части грудь ея, слышалось имя Стёпки, сопровождаемое всякій разъ болѣзненно-мучительнымъ стономъ, какъ-будто она умирала. Катерина бросилась къ ней со всѣхъ ногъ.

— Дунюшка! Дуня! заговорила она, придерживая ее одною рукою за голову, тогда-какъ другая рука осѣняла безумную крестнымъ знаменіемъ:—Дуня! полно, касатка!.. Христосъ съ тобою!.. Послушай только меня... подхватила она съ особенною торопливостью: — слышь: Стёпку привели! тамъ, въ огородѣ стоитъ, сердечный... тебя дожидаетъ... подь къ нему, болѣзная, подь... Вотъ поглядика-сь, вотъ этотъ самый дѣдушка привезъ его, на дорогѣ нашелъ... большой такой сталъ... погляди-тка... подь къ нему, родная, подь!... продолжала она, стараясь приподнять больную и время отъ времени высвобождая руку, чтобъ привести въ порядокъ разсыпавшіеся ея волосы.

Дикое отчаянье Дуни, которую Катерина продолжала крестить и всячески успокоивать, перешло мало-по-малу въ притупленное вниманіе; вытянувъ шею съ раздувшимися жилами и какъ бы прислушиваясь къ отдаленнымъ звукамъ, она не отрывала глазъ отъ двери. Немного погодя, она неожиданно встала на ноги и быстро побѣжала изъ избы, такъ что хозяйка едва успѣвала за нею слѣдовать.

— Что за причина такая? спросилъ старикъ, все еще находившійся подъ впечатлѣніемъ удивленія.

— Да вотъ съ того самаго дня, какъ братъ увелъ парнишку, съ того дня и повредилась... И прежде-то была какъ словно не въ своемъ разумѣ... житье добре горькое было ей отъ мужа-то, а какъ увелъ парнишку, ну и совсѣмъ повихнулась, проговорилъ Тимоѳей разслабленнымъ тономъ.

— Эка горькая, подумаешь! Стало, она у васъ и живетъ?

— У насъ; хозяйка пожалѣла, взяла... ничего вѣдь не сдѣлаешь! добавилъ Лапша.

— Что жъ? доброе дѣло! васъ за это Господь не оставитъ. А я, признаться, Тимоѳей, маленечко, того... погрѣшилъ противъ жены твоей, не зналъ я въ ней такой добродѣтели... Ужъ очень

съ начатія-то она на меня взъѣлась, такъ вотъ и рветъ!... Теперь все у меня на виду, какъ есть, примѣтно... баба, значитъ, точно, душа въ ней есть... хорошая, должно быть, баба...

Вмѣсто отвѣта, Тимоѳей приподнялъ только брови и свѣсилъ голову. Дядя Василій съ минуту поглядѣлъ на него молча, всталъ и подошелъ къ окну, въ которомъ все еще горѣло зарево заката.

— Я, братъ Тимоѳей, все насчетъ, то-есть, воза сумнѣваюсь, молвилъ онъ, прикладывая красное, добродушное лицо свое къ стеклу и наклоняя на бокъ голову, чтобъ удобнѣе взглянуть на возъ: — не напроказили бы тамъ; время праздничное, народу много добре на улицѣ-то.

— Ты бы его къ намъ на дворъ свезъ, сказалъ Тимоѳей, котораго болѣе еще, чѣмъ старика, безпокоила мысль, что возъ стоитъ у воротъ. Обращая на себя вниманіе стоявшихъ на улицѣ, возъ невольно приводилъ на память причину посѣщенія стараго торгаша; о Филиппѣ начали уже забывать — и вотъ снова подымутся толки о немъ. Этого весьма основательно опасался Лапша.

— Ничего, можно, пожалуй, и на дворъ свезти, сказалъ старикъ: — я ужъ заодно бы у васъ и ночевать остался. Куда теперь поѣдешь?.. Все одно, надо же гдѣ нибудь... ты человѣкъ знакомый... сѣнцо у меня свое есть; а коли потребуется насчетъ, то-есть, себя, я не то, чтобы... я заплачу какъ слѣдуетъ.

Съ этими словами вошла Катерина. Проводивъ Дуню, она, видно, зашла взглянуть на дочь, потому что ребенокъ снова находился на рукахъ ея. Старикъ тотчасъ же передалъ ей свое намѣреніе и, принявъ минутное молчаніе хозяйки за согласіе, суетливо вышелъ на улицу, которая изъ конца въ конецъ оглашалась веселыми кликами игравшихъ дѣтей и пѣснею хороводницъ.

III.

Ребятишки.

Спустя нѣкоторое время, на дворѣ заскрипѣлъ возъ и послышался голосъ старика. Когда, немного погодя, Тимоѳей и жена его явились на дворъ, лошадка дяди Василья была уже выпряжена, а самъ онъ суетливо развязывалъ кожу, прикрывавшую товары; онъ не переставалъ болтать съ Машей, которая стояла подлѣ.

Солнце уже сѣло, но надъ самымъ дворомъ висѣло круглое, румяное облако, которое дѣлало предметы яснѣе и давало всему двору больше свѣта, чѣмъ въ иной полдень. Съ первыхъ же словъ старика, Катерина и ея мужъ узнали, что онъ непремѣнно настаивалъ на томъ, чтобъ дѣвушка взяла отъ него платочекъ, на память.

— Что ты, батюшка, что ты! Господь съ тобою! торопливо сказала мать: — она къ этому непривычна, не надоть намъ ничего... мы не изъ того тебя пустили.

— Нѣтъ, ужъ ты, матушка, не замай, брось, оставь ты это дѣло... ужъ это моя, примѣрно, забота... Какъ же, слышь, подхватилъ онъ, принимая шутливо-озабоченный тонъ: — слышь, дѣвки поютъ на улицѣ, играютъ, потѣшаются... ну, знамо, и ей хочется — человѣкъ молодой! все любезнѣе будетъ, какъ повенькій-то платочекъ повяжетъ... Ну, вотъ тебѣ, красавица, не побрезгай, возьми, заключилъ старикъ, тряхнувъ пестрымъ бумажнымъ платкомъ и подавая его дѣвушкѣ, которая не трогалась съ мѣста.

— Мнѣ... не надо, проговорила она нерѣшительно, взглядывая на мать.

— Бери, бери; что ужъ тутъ! Бери, коли даютъ, сказалъ старикъ, добродушно посмѣиваясь.

— Ну, что жъ! возьми, когда такъ... когда по душѣ даетъ, сказала мать, обращаясь къ дочери, которая взяла наконецъ платокъ, причемъ щеки ея вспыхнули, а лицо изобразило такую радость, какъ-будто это былъ первый подарокъ со дня ея рожденія.

— Ну, спасибо тебѣ, касатикъ, подхватила мать, стараясь сохранить какое-то внутреннее достоинство: — намъ хоша чужаго и не надобно, а коли охота твоя такая, по душѣ далъ, намъ обижать тебя не приходится; спасибо, кормилецъ!

Тимоѳей умильно поглядывалъ на присутствующихъ и моргалъ глазами.

— Какъ ужъ и благодарить намъ тебя! Не заслужили мы этого, касатикъ... Платокъ-то, вѣдь, можетъ, рубля два стоитъ! промолвилъ онъ наконецъ голосомъ, словно не ему дали, а онъ вынужденъ былъ дать подарокъ.

— Есть о чемъ разговаривать! И весь-то всего гривенникъ стоитъ! перебилъ старикъ. — Ты какъ изъ Оки-то меня тащилъ, не на гривенникъ мнѣ добра сохранилъ. Вотъ случай привелъ хошь дочку твою потѣшить. Ну, что жъ ты стоишь, красавица?

Ступай, покажься на улицѣ-то... вишь пѣсни какъ знатно играютъ— и ты поди! промолвилъ онъ, обращаясь къ Машѣ.

— Что жъ? сходи, поди, сказала мать.

Маша какъ-будто не рѣшалась, совѣстилась, наконецъ вошла въ избу; минуту спустя, она явилась на дворѣ, повязанная новымъ платочкомъ, и быстро юркнула въ ворота.

— Много у васъ дѣтей-то? спросилъ старикъ, провожая ее глазами.

— Въ чемъ другомъ, батюшка, въ этомъ, кажись, нѣтъ недостатка: семья большая, возразила Катерина, и первый разъ на губахъ ея появилась улыбка.

— О-охъ! тоскливо простоналъ Тимоѳей.

— Ну что охаешь-то? охъ да охъ! смѣясь, сказалъ старикъ, дѣлавшійся веселѣе по мѣрѣ того, какъ ознакомливался съ хозяевами: — о чемъ? что дѣтей-то много? Это значитъ благословеніе Божіе.

— Шестеро человѣкъ! произнесъ Тимоѳей съ такимъ сокрушеннымъ видомъ, какъ-будто самъ произвелъ ихъ всѣхъ на свѣтъ и вторично предстояло ему родить ихъ.

— Ты бы вотъ, Тимоѳей, на жену-то поглядѣлъ лучше... вишь: развѣ она ими скучаетъ? а чай, больше твоего объ нихъ сердце-то болитъ; право такъ! добавилъ старикъ, указывая на Катерину, которая въ это время высоко подымала обѣими руками младенца и заставляла его смѣяться.

Дядя Василій хотѣлъ-было что-то еще сказать, но прерванъ былъ звонкимъ лаемъ, раздавшимся у самыхъ ногъ его. Обернувшись назадъ, онъ увидѣлъ маленькую, шершавую, черную собаченку, съ стоячими ушами, вострой мордочкой, украшенной двумя желтыми крапинами надъ глазами и коротенькими кривыми передними ногами, расположенными какъ у танцмейстера; лай ея звенѣлъ, какъ тоненькій колокольчикъ; шерсть на спинѣ стояла торчмя, а хвостъ закручивался, вѣроятно, отъ злобы, такимъ тугимъ кренделемъ, что, казалось, не было силы, которая могла бы его выпрямить. Застигнувъ въ-расплохъ чужаго человѣка на своемъ дворѣ, она, безъ-сомнѣнія, вцѣпилась бы въ икру его, если бъ, вслѣдъ за ея появленіемъ, въ воротахъ не раздались четыре тоненькіе голоска, которые разомъ закричали: „Волчокъ! Волчокъ!“

Волчокъ тотчасъ же задвигалъ своимъ кренделемъ и полетѣлъ на встрѣчу четыремъ мальчуганамъ, входившимъ во дворъ. Трое

изъ нихъ были еще очень малы—лѣтъ пяти, шести и семи; ручонками, вынутыми изъ рукавовъ, болтали они за пазухой, которая до того была набита всякой всячиной, что животы ихъ казались втрое толще обыкновеннаго; одежда ихъ, ноги съ засученными выше колѣнъ штанишками и самыя лица до того были выпачканы свѣжею грязью, что мать раскрыла только глаза и отступила. Четвертый мальчикъ былъ лѣтъ девяти, съ продолговатымъ, оживленнымъ лицомъ и черными умными глазами—вылитый портретъ матери; но энергическія, нѣсколько рѣзкія черты Катерины, нерейдя къ сыну, какъ-бы смягчились и во многомъ напоминали отца. Одежда его, состоявшая изъ рубашонки и штанишекъ, также засученныхъ выше колѣнъ, была, однакожъ, чище и показывала въ немъ бережливость и даже вниманіе къ самому себѣ; но пазуха была такъ же туго набита, какъ и у братьевъ.

Увидя незнакомаго человѣка, первые три мальчика остановились сначала, какъ вкопанные, потомъ бочкомъ стали подбираться къ матери и вдругъ разомъ обхватили ея юбку; старшій, между тѣмъ, поглядывая на старика и желая, вѣроятно, показать себя передъ нимъ, топалъ ногою и посвистывалъ съ самымъ серьезнымъ видомъ, призывая Волчка, который снова заливался на гостя. Пронзительный лай Волчка мгновенно превратился въ ворчливое визжанье, потомъ Волчокъ подбѣжалъ къ мальчику, прыгнулъ ему на грудь передними ногами и, развернувъ свой крендель, принялся мотать имъ во всѣ стороны самымъ дружелюбнымъ образомъ.

— Подишь-ты—а! вишь какъ его слушаетъ! Сейчасъ отошла; а поди злющая какая! вымолвилъ, посмѣиваясь, старикъ.

— Нельзя же, возразила повеселѣвшая мать:—она знаетъ своего хозяина... Щенкомъ взялъ; ноне зимою замерзлаго почитай въ домъ принесъ, подъ плетнемъ гдѣ-то нашелъ... Ужъ такая-то о немъ забота: хлѣбца дашь, и тотъ пополамъ дѣлитъ; ну она и слушаетъ.

— Это значитъ своево благодѣтеля почитаетъ, добро его помнитъ... Эки вы, право, ласковые, добродушные какіе! собакъ, и тѣхъ жалѣете...

— Ахъ, отцы вы мои! да гдѣ жъ это вы были-то? заговорила вдругъ Катерина, оглядывая парнишекъ, жавшихся у ея юбки: — смотри какъ выпачкались!... чумазые какіе! Гдѣ вы были-то? Не отмоешь никакъ... такъ, смотри, теперь и останетесь.

— Ничего не сдѣлаетъ! проговорилъ Тимоѳей голосомъ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ нечего уже было дѣлать, и дѣти его весь вѣкъ останутся облѣпленными грязью съ головы до ногъ.

— Гдѣ жъ вы были-то? въ лѣсу, чай?

— Въ лѣсу были, да очень-добрѣ вязко, не обсохло, сказалъ старшій мальчикъ, щелкая пальцами надъ головою Волчка.

— Отцы вы мои! глянь-кась, чего только не нанесли! подхватила мать, отрывая поочередно отъ юбки то одного, то другаго и начиная вытряхивать пазухи, изъ которыхъ посыпались на земь каменки, трава, мохъ, прошлогодніе жолуди и кусочки цвѣтной глины, которую въ изобиліи находятъ въ ручьяхъ окрестныхъ мѣстъ.

По окончаніи этой операціи, мальчуганы, дико смотрѣвшіе на гостя, снова припали головами къ подолу матери.

— Эки молодцы какіе! смѣясь, воскликнулъ старикъ: — право, молодцы! вотъ хошь бы этотъ пузанъ какой! добавилъ онъ шутливо, тыкая пальцемъ въ животъ одного изъ нихъ; но ребенокъ затрясся всѣмъ тѣломъ, открылъ ротъ, закричалъ благимъ матомъ и затопалъ ногами.

— Полно, Костюшка! чего запужался, глупый? не бойся...

— Постой, постой! у меня вотъ тутъ есть штука такая... сейчасъ обзнакомимся, вымолвилъ старикъ, направляясь къ возу: — Костюшка, глядь-кась, что у меня? ась? заключилъ онъ, подавая глиняный свистокъ, устроенный въ видѣ какой-то фантастической утки.

Заслышавъ голосъ старика, обращенный уже къ нему собственно, Костюшка еще глубже нырнулъ головою въ юбку, и не прежде, какъ когда раздались восклицанія его братьевъ, рѣшился выглянуть однимъ глазкомъ изъ своей засады.

— Ну, ужъ нечего, видно, дѣлать, надо и другихъ потѣшить, чтобъ завидки не брали, промолвилъ дядя Василій, снова направляясь къ возу, между-тѣмъ, какъ Костюшка пялилъ глаза свои на выкатъ, разсматривая дудку, а мать разсыпалась въ благодарностяхъ.

Получивъ каждый по дудкѣ, мальчуганы, одинъ за другимъ, выпустили изъ рукъ подолъ матери, сбились въ кучку, съ минуту заглядывали другъ другу въ руки, потомъ приставили дудки ко рту и вдругъ наполнили дворъ неистово-дикими трелями, такъ что двѣ курицы, совсѣмъ уже было заснувшія подъ навѣсомъ, стремительно

ринулись на зем и, растопырив крылья, забѣгали, какъ угорѣлыя, по всѣмъ угламъ.

— Ну, а ты, глазунъ, что на меня смотришь? подхватилъ дядя Василій, потряхивая головою передъ старшимъ мальчикомъ, ласкавшимъ Волчка, который присмирѣлъ, хотя все еще взвизгивалъ, когда старикъ подходилъ къ дѣтямъ: — вотъ тебѣ, глазунъ, на, возьми, добавилъ торгашъ, подавая ему маленькій писанный образокъ: — ты постарше тѣхъ, тебѣ и вещь такая соотвѣтственная — возьми.

Подарокъ привелъ мальчика въ бо́льшій еще восторгъ, чѣмъ подарки, данные братьямъ; онъ бросился показывать его матери. Она, повидимому, совсѣмъ уже примирилась съ гостемъ; извѣстіе, привезенное старикомъ и такъ сильно встревожившее ее и мужа ея, было ею, повидимому, забыто. Тимоѳей кланялся, двигалъ бровями, кашлялъ и моргалъ глазами.

— Эки чудные! за что благодарите... рази я даромъ?... вотъ вы меня за это покормите ужиномъ...

— Душою рады, родной, не взыщи только... у насъ вѣдь хлѣбъ одинъ.

Тимоѳей, съ видомъ безсилія, замоталъ головою.

— А то чего жъ ещe? Вотъ! я не привередливъ; быть бы только сыту... А эти молодцы забыли никакъ объ ужинѣ-то съ своими дудками? добавилъ старикъ, указывая на мальчугановъ, прыгавшихъ и наполнявшихъ дворъ визжаньемъ.

Слово „ужинъ“ напоминало имъ, однакожъ, голодъ, который привелъ ихъ домой, и они приступили къ матери. Катерина пошла въ избу и, минуту спустя, вынесла нѣсколько кусковъ хлѣба, словно отломанныхъ отъ разныхъ хлѣбовъ и собранныхъ въ разное время. Получивъ по куску, ребятёнки бросились къ воротамъ, то кусая хлѣбъ, то дуя въ свои дудки.

— А ты что жъ, Петя? и ты бы пошелъ къ нимъ, батюшка! сказала мать старшему, все еще неотрывавшему глазъ отъ образочка.

— Нѣтъ, не хочется, сказалъ мальчикъ: — я въ избу пойду...

— Ну, подь, родной, подь, съ нами поужинаешь, сказала мать и, выждавъ минуту, когда мужъ и гость вошли въ сѣни, погладила мальчика по головкѣ и оглянула его съ выраженьемъ особеннаго какого-то самодовольства и нѣжности.

VI.

Бесѣда.

Ужинъ, точно, не превзошелъ обѣщаній хозяйки: онъ состоялъ изъ обломковъ хлѣба, накрошенныхъ въ чашку и приправленныхъ кисленькимъ квасконъ.

— Гдѣ жъ та-то... какъ бишь звать-то ее?... ну вотъ братнина-то жена? что жъ она нейдетъ ужинать? спросилъ старикъ.

— Бродитъ, я чай, поблизкости гдѣ-нибудь, а не то въ поле ушла; она теперь ни за что не придетъ, отвѣчала Катерина, дѣлавшаяся все довѣрчивѣе и словоохотливѣе:—она и все такъ-то, какъ прійдетъ случай вспомянуть ей мальчика, словно въ разумъ войдетъ; день, иной разъ два дня домой не показывается: уйдетъ въ лѣсъ, либо въ поле, ляжетъ на-земь въ укромное какое мѣсто, голову платкомъ закроетъ.... Слушать тяжко, какія словеса говоритъ; насилу домой приведешь.... Петя, ты бы, батюшка, поглядѣлъ сходилъ, нѣтъ ли ея гдѣ поблизкости, заключила Катерина, ласково обратившись къ мальчику, который усѣлся-было подлѣ старика и не спускалъ съ него глазъ:—коли тутъ она, снеси-ка ей, поди, хлѣбушка. А тамъ пошелъ бы къ ребятамъ на улицу. Ну что тебѣ съ нами-то? Подь, родной; право-ну!

— Эки, подумаешь, горькія есть какія! промолвилъ старикъ послѣ того, какъ мальчикъ вышелъ изъ избы:—вотъ и не старъ человѣкъ, а сколько горя-то принялъ! Ну ужъ, точно, должно быть, злодѣй былъ мужъ-то — правду люди сказывали. Шутка, сколько зла сотворилъ! Знамо, ужъ коли лихой человѣкъ навернется, и уйдетъ онъ, а все о себѣ вѣсть подаетъ, все сказывается! Однако я, тётка, въ толкъ не возьму: онъ врозь жилъ съ вами, въ раздѣлѣ, али вы вмѣстѣ жили?

— Отъ того вся бѣда наша, что вмѣстѣ! сказала Катерина, лицо которой вмигъ утратило свою веселость.

— Какъ же это такъ? Видя черезъ него себѣ такую погибель, вамъ бы надыть въ тотъ самый часъ отъ него отрѣшиться. Вѣдь это, выходитъ, по охотѣ по своей въ дому злодѣя держать — право, такъ!

— Охоты нашей держать его не было, проговорила Катерина, скрещивая на груди руки и потупляя голову.

Тимоѳей, между-тѣмъ, притупленно глядѣлъ въ землю, тяжко покрякивалъ и кашлялъ.

— Кабы зналъ ты, что это за человѣкъ былъ! Ни стыда въ немъ, ни совѣсти! проговорила наконецъ Катерина, съ выраженіемъ ненависти, которая закипала въ ея сердцѣ всякій разъ, когда рѣчь касалась Филиппа:—мало-ли билась я, мало-ли колотилась, чего-чего не дѣлала: „не хочу, молъ, да не хочу дѣлиться!“ только и отвѣтъ его былъ. Каменный былъ человѣкъ. Какъ отецъ съ матерью жили, все кой-какъ держался, опаску имѣлъ; а какъ померли они—и пошелъ, и пошелъ, словно того только и ждалъ: такъ закурилъ, безъ удержу безъ всякаго; а ужъ женатъ былъ и дѣтей двое было; только одинъ-то померъ, остался въ живности большенькій—вотъ съ кѣмъ ты на дорогѣ-то встрѣлся. Вовсе не сталъ тогда ничего опасаться: тащитъ, бывало, изъ дому что подъ руку попадетъ!...

Тимоѳей тоскливо замоталъ головою.

— Мнѣ самой въ эвти дѣла съ начатія-то какъ словно не приходилось вступаться, продолжала жена:—взята была я къ нимъ въ домъ сиротою; приданаго ничего этого за мной не было; знамо, совѣсть беретъ, сумлѣнье. Къ тому, и помоложе была въ ту пору; скажешь только: „Филиппъ, Бога-то хоть побойся!“ а сама иной разъ поглядишь такъ-то на своихъ на ребятъ (Машѣ десятый годокъ былъ, Петя въ зыбкѣ лежалъ), погляжу такъ-то, да такъ вотъ сама и зальюсь. Иной день уйдешь отъ грѣха въ лѣсъ съ ребятёнками, да тамъ и проплачешь. Потомъ ужъ и терпѣнья моего не стало: вижу совсѣмъ пришло дѣло къ разоренью. Были у насъ въ ту пору двѣ лошадки: онъ возьми да одну и уведи, и увелъ-то самую хорошую. Какъ провѣдала я, такъ инда кровь во всей во мнѣ запечаталась! Пристала я къ нему тогда, крѣпко пристала: „давай, говорю, дѣлиться!“ Хошь бы онъ что, дѣдушка; въ глаза только посмѣялся!...

— Чего жъ ты-то глядѣлъ? и-ихъ! досадливо перебилъ дядя Василій, обращаясь къ Тимоѳею, который продолжалъ кряхтѣть да пропускалъ между зубами какіе-то неопредѣленные звуки:—ты старшій братъ, тебѣ надо было сокращать его. Мало ли что можно сдѣлать, подхватилъ онъ, перенося глаза къ хозяйкѣ:—сходили бы къ господамъ, а господъ нѣтъ, свели бы его къ управителю...

— Ходила, батюшка, ходила я къ управителю, возразила она съ такою живостью, какъ-будто спѣшила оправдать мужа въ

глазахъ старика: — увелъ этто онъ у нашего кузнеца двухъ коней (своихъ-то ужъ не было—извелъ, разбойникъ), возьми да и продай ихъ; знамо, и люди-то недобрые, что купили. Приходитъ опосля; мы ничего не знаемъ; приходитъ, да съ пьяну-то и разскажи обо всемъ. Ну, думаю, провѣдаютъ—всѣхъ насъ запуталъ, злодѣй! Пошла къ управителю; думаю: авось послѣ такого дѣла увидитъ человѣка, раздѣлитъ насъ— этого пуще всего хотѣлось...

— Что жъ управитель то?

— Да что, добре ужъ очень-то онъ у насъ смиренъ, простъ добрѣ, къ нашему крестьянскому дѣлу непривыченъ, отъ господъ поступилъ къ намъ. Знамо, потачки не далъ: наказать наказалъ; а только зачѣмъ ходила, этого не взялъ въ разсужденье, не велѣлъ дѣлиться: „Хуже, говоритъ, тогда разоритесь; семья ослабнетъ, рабочихъ рукъ меньше будетъ“. И добро бы, кормилецъ, было бы ужъ что и разорять-то; разорять-то ужъ было нечего: все рѣшилъ!

— Эки дѣла, подумаешь, эки дѣла!... вымолвилъ старикъ, между-тѣмъ, какъ Лапша, приподымая то одну бровь, то другую, продолжалъ стонать и охать.

— Ужъ это точно, и нѣтъ того хуже, какъ отъ домашнихъ прійдетъ бѣда, продолжала Катерина:—ближняя собака, знамо, та завсегда скорѣе укуситъ. Чужой человѣкъ прійдетъ, украдетъ—и нѣтъ его: и украдетъ-то, что подъ-руку попадетъ; а какъ свой такой заведется, все одно, что пожаръ въ дому загорѣлся: ничего не утаишь, все пожжетъ. Цѣлый годъ жили мы, такъ-то мучились. Отъ одного сумлѣнья, бывало, ночи не спишь, только и слышишь отъ бабъ: „добрѣ, говорятъ, на тебя очень серчаетъ. Она, говоритъ, показала на меня управителю; я ей, говоритъ, дамъ себя знать! будетъ помнить!“ все такъ-то передъ людьми похваляется... А самъ хоть бы мнѣ видъ какой показалъ—весь въ себѣ затаился. Знамо, оттого еще пуще сумлѣнье беретъ... Кто его знаетъ, что у него тамъ на разумѣ-то! Только, бывало, и покажетъ себя, какъ за жену за его вступишься... Шибко билъ онъ ее въ ту пору, и билъ-то такъ, низачто, словно намъ на зло—сердце такое имѣлъ каменное. Опосля ужъ и вступаться не стала: вижу хуже, серчаетъ только. Слышимъ мы, на сторонѣ говорятъ опять сталъ безобразничать: въ дому-то взять нечего—раза два у сосѣдей поймали...

— Что жъ управитель-то? опять въ вотчинѣ оставилъ? спросилъ старикъ полусердито-полунасмѣшливо.

— Можетъ статься, и услалъ бы куда-нибудь, да ужъ послѣднихъ этихъ его дѣловъ не зналъ управитель: стали таить отъ него; всякій вѣстимо за себя опасался. „То, говоритъ, надѣлаю“, грозитъ такъ-то по деревнѣ: „вамъ, говоритъ, и во снѣ того не вкинется!“ Бояться стали, не поджогъ бы какъ: знамо, отъ такого человѣка все станется. Пуще всего я за ребятъ за своихъ боялась; неоднова, сказывали бабы, неоднова стращалъ ими... Такой страхъ напалъ на меня! Работу, бывало, возьмешь, такъ вотъ изъ рукъ и валится, особливо когда ребятъ дома нѣтъ; все думается: не сотворилъ бы худобы какой; ни днемъ, ни ночью спокою не было. Стращалъ, стращалъ, а подъ-конецъ самъ, злодѣй, загубилъ себя, присовокупила она послѣ минуты молчанія.—Остановился разъ у насъ купецъ: ѣхалъ въ Тулу, сказываютъ; мятель захватила его; онъ къ намъ и заѣхалъ, у старосты ночевать остался. Въ эту самую ночь у него деньги-то и пропади; и денегъ-то вишь много было. Хвать-похвать... за становымъ послали, начали спрашивать; тутъ міромъ на Филиппа и показали. Вѣстимо, ужъ всѣ были о немъ извѣстны! Взяли этто его, повезли, въ судъ представили... Ужъ чего, кажется? онъ взялъ, его было дѣло: окромя некому; такъ нѣтъ же, поди, всѣхъ началъ путать: на того покажетъ, на другаго покажетъ, всю, почитай, деревню такъ-то запуталъ, всѣхъ въ судъ таскали. Подъ-конецъ самъ же вѣдь во всемъ повинился: „мое, говоритъ, дѣло!“ Сами, признаться, обрадовались, какъ въ острогъ его засадили. „Братъ, братъ, да и Богъ съ нимъ!“ думаемъ: „никто не понуждалъ, самъ того захотѣлъ!“ Маненечко безъ него вздохнули. Одними скучали: черезъ него народъ-то оченно нами обижался; всѣмъ горекъ былъ—всѣ на насъ и напали. Первое время и на улицу-то выйти не смѣй: такъ всякій тебя въ глаза и позоритъ; за водой пойдешь—у воротъ-то топчишься, топчишься бывало... А все радуешься: слава ти, Боже, думаешь, ослобонилъ Господь!.. Что-жъ бы ты думалъ, дѣдушка? Вѣдь этимъ злодѣй не кончилъ: и осудили его, и въ острогъ засадили—нѣтъ, опять показалъ себя! Къ веснѣ время было; разъ вдругъ пропалъ у насъ паренекъ, его-то сынишка. Туда-сюда искать кинулись—нигдѣ нѣтъ. До смерти перепужались! Тѣмъ временемъ и слухи пришли: слышимъ мы, бѣжалъ Филиппъ изъ острога! Тутъ и догадались: его было дѣло! Должно-быть, ночью какъ-нибудь забрался къ намъ, да и увелъ его. Вотъ и ты сказывалъ, видѣлъ его съ парнишкой...

— Рыженькій такой?

— Ну, да; онъ и есть! Вотъ съ той самой поры, она, сердечная, Дарья-та, она въ умѣ и повредилась. Надо сказать, злодѣй былъ: и себя погубилъ, и своихъ-то всѣхъ, да и насъ-то, почитай, къ тому подвелъ! Сказать нельзя, сколько мы отъ однихъ людей-то черезъ него натерпѣлись, батюшка; ужъ на что ребятёнки наши, и тѣмъ проходу не давали: всякій коритъ да хаетъ! Мы за это не серчаемъ, Богъ съ ними! Знамо, обидно: потому мы ни въ чемъ ни словомъ, ни худыми дѣлами, никакимъ этимъ дѣламъ его, ни въ чемъ, дѣдушка, не причастны.

— Вижу, матушка, вижу! возразилъ торгашъ: — очи ушей вѣрнѣе; на правду немного словъ надобно!

— Проходу теперь опять не дадутъ! неожиданно заговорилъ Тимоѳей, опуская ладони на колѣни:—начали какъ словно забывать его... и насъ, какъ словно, не трогали... теперь, какъ провѣдали, живъ онъ, опять житья намъ не будетъ!...

— А пусчай ихъ! Слышь, что жена-то говоритъ? Пусчай! сказалъ старикъ: совѣсть своя чиста: стало, и сокрушаться не о чемъ! Живите-себѣ смирно, никого не трогайте; Богъ молъ съ вами, когда такъ — да! А главная причина, самому, братъ Тимоѳей, не слѣдъ тебѣ такъ, чтобъ ужъ очеино опускаться, прибавилъ онъ увѣщевательнымъ тономъ:— надо по мѣрѣ силы возможности хозяйкѣ подсоблять — вотъ что! трудиться, хлопотать надыть... А то что хорошаго?...

— О-охъ! простоналъ Лапша, котораго снова началъ давить кашель:— ничего не сдѣлаешь... Всѣмъ добрѣ много очень задолжали, никакъ не осилишь... такъ задолжали, сами того не стоимъ. Вотъ теперь и то ужъ стращать зачали, какъ провѣдали, господа ѣдутъ... жаловаться хотятъ!...

— Можетъ-статься, это такъ только народъ болтаетъ; можетъ, господа-то не пріѣдутъ...

— Нѣтъ, точно, касатикъ, ѣдутъ. На прошлой недѣлѣ къ управителю писали: безпремѣнно, сказывали, будемъ! замѣтила Катерина.

Тимоѳей зналъ не хуже жены обо всѣхъ подробностяхъ касательно несомнѣннаго пріѣзда господъ, а между-тѣмъ слова ея подѣйствовали на него почти такъ же, какъ еслибъ услышалъ онъ величайшую новость. Робкіе, пугливые люди нетерпѣливо всегда ожидаютъ, чтобъ имъ противорѣчили, или ихъ обманывали въ

томъ, въ чемъ они сами увѣрены, и даже что очевидно. Съ послѣдними словами Катерины, Тимоѳей окончательно упалъ духомъ. Онъ ударилъ ладонями о колѣни, замоталъ головою и выразилъ желаніе умереть какъ-можно-скорѣе.

— О томъ только и прошу Господа! заключилъ онъ, свѣшивая на грудь голову.

— Полно, полно! ну куда тебѣ умирать! зачѣмъ? перебила жена увѣщевательно, тогда-какъ лицо ея ясно говорило, что мысли и чувства ея, встревоженныя воспоминаніями о Филиппѣ и вообще предшествовавшимъ разговоромъ, далеко не были мирнаго свойства. — Ну что-жъ, что хотятъ жаловаться? пусчай ихъ! Я сама къ господамъ пойду: „взять, скажу, намъ нѣоткуда“, сама просить стану: пускай пошлютъ въ другую вотчину, къ должности какой приставятъ... Лучше въ чужомъ мѣстѣ жить, лишь бы покой былъ. Здѣшняя-то жизнь у насъ вотъ гдѣ сидитъ... Всѣ сказываютъ: у насъ господа-то добрые; они въ толкъ возьмутъ. Надыть радоваться, стало-быть, что ѣдутъ, а не то, чтобы... Слышь, дѣдушка, умирать сбирается!... Ну, ты помрешь; а мы-то какъ безъ тебя останемся? Куды я тогда съ сиротами-то дѣнусь?... Ахъ, ты разумная твоя головушка! заключила она почти-весело и очевидно съ тѣмъ лишь намѣреніемъ, чтобъ ободрить мужа и польстить ему.

Слова эти точно подѣйствовали какъ-будто ободрительно, но не столько на самого Лапшу, сколько на его брови, которыя тотчасъ же пришли въ движеніе и начали приподыматься на узенькомъ лбу; но это слабое выраженіе бодрости прошло мгновенно; тогда старикъ спросилъ, являлся ли къ нимъ Филиппъ съ-тѣхъ-поръ, какъ увелъ мальчика. Робкій, пугливый взглядъ, брошенный Тимоѳеемъ на жену, и смущеніе послѣдней не были, однакожъ, замѣчены торгашомъ: онъ сидѣлъ потупясь и задумчиво потиралъ лобъ и лысину. Перекинувшись новымъ взглядомъ, мужъ и жена поспѣшили сказать, что съ той поры о Филиппѣ не было ни слуху, ни духу. Послѣ этого отвѣта, бесѣда тотчасъ же почти прекратилась. Ее прервалъ шумъ въ дверяхъ и приходъ дѣтей.

— Пойдти поглядѣть на лошадь, подбираетъ ли кормъ, произнесъ старикъ, приподымаясь съ мѣста.

— Пойдемъ, подхватилъ Тимоѳей, слѣдуя его примѣру.

— И я съ вами пойду! сказалъ Петя, старшій изъ мальчиковъ.

— Ну, пойдемъ, ласковый, пойдемъ, вымолвилъ повеселѣвшій старикъ, гладя его по головѣ:—пора ужъ, я чай, и на боковую. Завтра рано надо подыматься. Спасибо тебѣ, хозяюшка, за хлѣбъ, за соль, за угощенье .. а пуще того, за ласку за твою.

— Нѣ на чемъ, батюшка...

Старикъ, Тимоѳей и мальчикъ выбрались на дворъ, гдѣ немедленно присоединился къ нимъ и Волчо́къ.

Синяя звѣздная ночь давно ужъ обняла небо. Полный мѣсяцъ стоялъ высоко, и черная тѣнь отъ навѣсовъ, изгибаясь по столбамъ, перерѣзывала дворъ пополамъ. Въ непроницаемой тѣни одного изъ угловъ слышалось мѣрное чваканье лошади. Извнѣ, съ улицы, все еще неслась пѣсня и по-временамъ долетали хохотъ и говоръ; хороводъ, очевидно, однакожъ, убавился на-половину; самые голоса тянули какъ-то слабѣе, сонливѣе. Время-отъ-времени, пѣсня словно обрывалась, переходила въ одинъ трепетный, замирающій звукъ, и тогда съ разныхъ концовъ деревни, изъ стараго барскаго сада, изъ рощи, изъ болота раздавались совершенно-неожиданно звонкіе соловьиные перекаты.

Осмотрѣвъ лошадь и ощупавъ возъ, торгашъ, сопровождаемый Лапшою, мальчикомъ и Волчко́мъ, направился къ ригѣ, мѣсту ночлега. Войдя въ ригу и отыскавъ себѣ уголъ, старикъ оставилъ товарищей, а самъ вышелъ въ загородь и, повернувшись къ востоку, долго крестился. Когда онъ возвратился назадъ, Тимоѳей и его сынишка ужъ спали; одинъ только Волчо́къ бодрствовалъ, но и онъ, впрочемъ, успокоился, какъ только увидѣлъ, что старикъ улегся на солому, покрывшись полушубкомъ. Дядя Василій долго не могъ сомкнуть глазъ; все слышанное и видѣнное имъ въ этотъ день поневолѣ занимало его мысли. Переваливаясь съ боку на бокъ, онъ то прислушивался къ пѣснѣ, все еще неумолкавшей въ отдаленьи, то къ раскатамъ соловья, раздававшимся поблизости, то устремлялъ глаза къ звѣздному небу, которое глядѣло на него сквозь многочисленныя щели навѣса.

Мало-по-малу всѣ эти звуки стали какъ-будто слабѣть и отдаляться... тише, тише, и наконецъ по всей окрестности воцарилось мертвое молчаніе.

V.

Притонъ.

Для дальнѣйшаго развитія предполагаемой повѣсти, намъ необходимо теперь перенестись верстъ за восемь отъ Мàрьинскаго, въ деревню Чѐрнево.

Чѐрнево расположено по обѣимъ сторонамъ большой дороги, уже теперь совершенно почти-заброшенной, благодаря шоссе, которое проходитъ верстахъ въ восемнадцати. Тутъ прогоняютъ только гурты и проѣзжаютъ обозы изъ окрестныхъ деревень. Середина деревни прерывается небольшой лощиной, такъ-что, миновавъ одну половину деревни, вы никакъ не попадете на другую, не засѣвъ сначала на днѣ лощины; грунтъ до-того рухлъ и вязокъ, что не въ силахъ держать въ границахъ ручья, который расползается во всѣ стороны и превращаетъ все это мѣсто въ густой кисель, мѣстами покрытый ржавчиной. Здѣсь съ поконъ вѣку вязнутъ возы, и колеса уходятъ по ступицу. Черезъ мостъ, возвышающійся влѣво на столбахъ, очевидно еще опаснѣе ѣздить: это одинъ изъ тѣхъ мостовъ, который, какъ говорится, не маратъ, да ноги ломаетъ. Глухою осенью, когда проходитъ дождливая пора и морозъ скуётъ грязь, изрытую копытами и колесами, путь черезъ Чѐрнево дѣлается окончательно невозможнымъ. Нѣтъ деревни, которая такъ хорошо оправдывала бы свое прозвище: ее обступаютъ темныя черноземныя поля, неоживленныя ни одной рощей. Избы по обѣимъ сторонамъ дороги тѣсно лѣпятся другъ къ дружкѣ и представляютъ однообразно-скучные ряды сѣрыхъ брёвенъ, вороховъ бурой соломы и кривыхъ плетней. Съ того времени, какъ заброшена дорога, самые домы кажутся какими-то заброшенными; въ косой дождь, когда стѣны избушекъ намокнутъ, ихъ трудно даже отличать отъ грунта. Сѣрое безъ просвѣту небо, дождь, глухая осенняя пора идутъ, впрочемъ, какъ-то къ Чѐрневу; вообще говоря, Чѐрнево незавидное мѣсто.

Влѣво отъ дороги дно лощины замыкается грубой земляной плотиной, изъ которой вкривь и вкось торчатъ пучки хвороста; двѣ старыя вѣтлы, обезображенныя галочьими гнѣздами, похожими издали на наросты, предохраняютъ плотину отъ вѣрнаго разрушенія въ наводки. Съ правой стороны лощина нѣсколько живописнѣе: грязь постепенно заростаетъ травою и, немного-далѣе, виднѣется

ужъ лужайка—любимое убѣжище чѣрневскихъ гусей и утокъ. Ручей собирается въ одно русло и на пространствѣ трехъ саженъ дѣлаетъ нѣсколько изворотовъ; лѣниво, чуть-видно течетъ онъ въ мягкихъ берегахъ своихъ, кажущихся по-мѣстамъ совершенно голубыми отъ множества незабудокъ; листъ, брошенный въ воду, почти не трогается съ мѣста, и вы десять разъ сядете отъ усталости, прежде-чѣмъ онъ отплыветъ на аршинъ; гнилые корни, принимающіе въ водѣ подобіе волнующихся косматыхъ волосъ, а также и желѣзная руда, обращики которой находятъ въ лощинѣ, сообщаютъ ручью какой-то буро-золотистый цвѣтъ. Шаговъ двѣсти далѣе, ручей уже пропадаетъ въ осокѣ и тинѣ, которая такъ плотна и зелена, что часто обманываетъ пѣшехода: думая ступить на траву, онъ прямёхонько бултыхается въ воду по поясъ.

Недалеко отъ этого мѣста, которое называется „благимъ“ (тутъ когда-то въ глухую осеннюю ночь утонулъ мужикъ—совсѣмъ утонулъ, съ возомъ и лошадью), находится крошечная, одинокая избёнка. Далѣе нѣтъ ужъ жилья; далѣе идутъ, то расширяясь, то съуживаясь, обнаженныя щеки лощины, которая огибаетъ, вмѣстѣ съ ручьемъ, большое пространство; въ этомъ ручьѣ, верстъ восемь дальше, марьинскія бабы полощатъ бѣлье. Избушка, о которой мы упомянули, бросается въ глаза своею ветхостью; она, кажется, минуты бы не удержалась на своемъ основаніи, еслибъ не прислонилась однимъ бокомъ къ обрыву. Передняя стѣна ея на половину закрыта завалинкой; единственное волоковое окно смотритъ словно изъ земли; со стороны входа устроенъ родъ сѣней изъ плетня, на которомъ видны еще слѣды глиняной штукатурки; солому на кровлѣ лѣтъ десять ужъ не смѣняли; мѣстами она совсѣмъ истлѣла и выказывала жерди и хворостъ, мѣстами сползала книзу и свѣшивалась волнистыми буграми, подъ которыми такъ любятъ прятаться воробьи во время осеннихъ ливней и зимнихъ мятелей.

Лачуга, построенная давнымъ-давно отставнымъ солдатомъ, переходила нѣсколько разъ отъ одного хозяина къ другому, пока, наконецъ, лѣтъ десять назадъ, не сдѣлалась собственностью одной старухи, чѣрневской уроженки; она занималась знахарствомъ и жила совершенно-одиноко.

Грачиха (такъ звали ее) пользовалась большою извѣстностью по всему околотку; ее знали верстъ на двадцать въ окружности. Не могу вамъ сказать, съ котораго времени Грачиха начала пользоваться такою популярностью и съ чего именно началась ея

извѣстность; знаю только, что трудно было найти въ сосѣднихъ деревняхъ мужика и бабу, которыя хоть разъ въ жизни не имѣли бы въ ней надобности. Кромѣ знахарскаго дѣла, которымъ занималась она успѣшно—потому что никто лучше ее не могъ заговорить отъ пострѣла, никто такъ скоро не возвращалъ здоровье коровѣ, переставшей доиться, ничье спрыскиванье не исцѣляло такъ вѣрно отъ тоски наносной, потрясйхи, ушибйхи и другихъ недуговъ — кромѣ всего этого, Грачйха чуть ли еще не успѣшнѣе занималась ворожбой и колдовствомъ. Не было почти случая, чтобъ обокраденный человѣкъ не находилъ пропавшей вещи, если только прибѣгалъ во́-время къ Грачйхѣ.

Разъ у мàрьинскаго мужика увели лошадь. Мужикъ метался, какъ угорѣлый, двои сутокъ по всѣмъ дорогамъ безъ малѣйшаго толку; въ одной изъ деревень ему сказали, что видѣли наканунѣ какого-то оборваннаго человѣка, проскакавшаго во весь духъ на лошади, во всемъ схожей примѣтами съ пропавшей — гдѣ ужъ тутъ искáть? Мужикъ махнулъ рукою и поплелся домой. Дома жена и родственники приступили къ нему: сходи да сходи къ Грачйхѣ; мужикъ взялъ посу́лы: штофъ вина, полтинникъ, полотенце и отправился въ Чѣрнево. Въ первый приходъ Грачйха ничего не открыла, сказала только, что воръ близко и велѣла зайти на другой день. На слѣдующій день она несравненно долѣе противъ перваго раза ходила вокругъ чаши съ водою, поставленной посреди избы, чаще нагибалась, смотрѣла въ воду, шептала, и объявила наконецъ, что воръ человѣкъ дальній, что искать его нѣтъ ужъ надобности, что силою своего заклинанья она отняла у него лошадь, которая стойтъ теперь въ осиновой рощѣ. Мужикъ кинулся на показанное мѣсто—и точно нашелъ лошадь... Но не перечесть всѣхъ чудесъ чѣрневской колдуньи; достаточно, кажется, приведеннаго случая, чтобъ убѣдиться, что Грачйха точно находилась въ таинственныхъ сношеніяхъ съ „лихимъ человѣкомъ“.

Встрѣчались, однакожъ, люди, которые не давали вѣры ея связи съ нечистымъ; носились слухи, будто Грачйха давала пріютъ ворамъ и мошенникамъ всякаго рода; но слухи ничѣмъ не оправдывались, и наконецъ, тѣ самые, которые распускали ихъ, напрямикъ отклёпывались отъ своихъ словъ, когда дѣло доходило до положительныхъ объясненій. Изъ этого видно, что даже смѣлыя головы околотка хорохорились на словахъ; на самомъ же дѣлѣ внутренно раздѣляли страхъ, который повсемѣстно внушала Грачйха.

Съ виду она не представляла ничего особеннаго. То была низенькая, сгорбленная старуха; ея походка и голосъ показывали, впрочемъ, крѣпость и здоровье. Изъ-подъ дыряваго платка, прикрывавшаго ея голову и мѣстами пропускавшаго клочки сѣрыхъ волосъ, выглядывало худощавое лицо земляного цвѣта, сморщенное, какъ черносливъ; тонкій, нѣсколько кривой носъ состоялъ, казалось, изъ одного хряща, заостреннаго, какъ у хищной птицы; ротъ, лишенный зубовъ, провалился и дѣлался весьма похожимъ на петлю, крѣпко стянутую ниткой. Старуха поминутно надвигала на лобъ головной платокъ, чтобы защитить отъ свѣта больные глаза, страдавшіе отъ золотухи; но въ этомъ народъ находилъ новый поводъ къ разсказамъ: говорили, что у Грачи́хи красные глаза.

Что жъ касается до внутренняго вида лачуги, она ни въ какомъ уже случаѣ не могла дать повода къ суевѣрнымъ вымысламъ. Въ жилищахъ нашихъ ворожеекъ и знахарокъ вообще рѣдко встрѣчаешь внѣшній признакъ, имѣющій какое нибудь отношеніе къ ихъ ремеслу: ремесло само-по-себѣ такъ сильно дѣйствуетъ на воображеніе простолюдина и такую приноситъ выгоду знахаркѣ, что нѣтъ надобности прибѣгать къ вспомогательнымъ средствамъ. Войдя въ лачугу Грачи́хи, вы подумали бы сначала, что тутъ никто не живетъ. Свѣтъ, проходившій въ волоковое окно, вырубленное въ одномъ бревнѣ, смутно освѣщалъ уголъ печи и часть грубой дощатой перегородки, которая шла отъ угла печи и упиралась въ стѣну, гдѣ было окно. Земляной полъ, вырытый въ вязкой почвѣ лощины, распространялъ кислый запахъ, хватавшій за горло; при свѣтѣ лучины, въ углахъ и на потолкѣ выказывались бѣловатыя селитряныя пятна; сырость покрывала липкимъ слоемъ дерево и сверкала каплями въ шершавыхъ полосахъ мха, которыя чернѣли между бревнами. Въ этой половинѣ своей лачуги хозяйка принимала посѣтителей и совершала свои заклинанья. Грачи́ха жила собственно или на печкѣ, или за перегородкой. Тамъ нашли бы вы и кадушки, и ухватъ, и горшки—словомъ, всякую домашнюю рухлядь. Волоковое окно, такой же величины, какъ и въ первой половинѣ, позволяло различать столъ и лавки, расположенные прямо противъ жерла печки. Одиночество старухи не было совершенно-исключительно: его раздѣляла во всякое время дня и ночи тощая желтая кошка съ зелеными глазами, свѣтлыми и блестящими, какъ стекло.

Въ тотъ самый вечеръ, какъ началась наша повѣсть, часами двумя-тремя послѣ появленія торгаша въ Мàрьинскомъ, за перегородкой горѣла лучина. Грачíха была не одна. На скамьѣ, за столомъ сидѣли человѣкъ среднихъ лѣтъ и мальчикъ; передъ ними лежали обломки хлѣба, возвышалась солоница и чашка съ кашей. Жадность, съ какою оба припадали къ ѣдѣ, ясно показывала, что они недавно вошли и первымъ ихъ дѣломъ было позаботиться объ удовлетвореніи голода. Ворчливое лицо старухи не оставляло сомнѣнія, что она была не рада гостямъ; она даже и не скрывала своего неудовольствія: роясь подлѣ печки безъ всякой видимой цѣли, она не переставала ворчать и съ сердцемъ отталкивала каждый предметъ, попадавшійся ей подъ руки.

Но человѣкъ, сидѣвшій за столомъ, мало, повидимому, объ этомъ заботился: онъ продолжалъ уписывать кашу такъ же усердно, какъ-будто пришелъ домой послѣ тяжкой полевой работы.

Ему было лѣтъ за сорокъ, и ни одна еще сѣдина не серебрилась въ его черствыхъ, черныхъ, какъ смоль, волосахъ, разсыпавшихся нечесанными кудрями по всей головѣ; лицо его, оканчивавшееся коротенькой, но густой бородкой, было бы красиво, еслибъ не портилъ его тотъ отвратительный, болѣзненно-бурый цвѣтъ кожи, мѣстами покрытый свинцовыми оттѣнками, цвѣтъ, исключительно почти свойственный бродягамъ, арестантамъ, или людямъ, ведущимъ самую безпорядочную, неправильную жизнь. Небольшіе сѣрые глаза, оттѣненные жосткими бровями со множествомъ маленькихъ вихровъ (знакъ строптиваго, безпокойнаго нрава), отличались подвижностью, и если останавливались на одномъ предметѣ, то смотрѣли невыразимо-плутовато и бойко. Бойкость взгляда несовсѣмъ, однакожъ, отвѣчала общему выраженію физіономіи: не было черты, которая обозначала бы рѣшимость, энергію; все въ ней было какъ-то мелко, хоть правильно, и выказывало природу въ высшей степени порочную, хитрую, но лишенную настоящей отваги и смѣлости. Голова его, приплюснутая съ боковъ, отвѣсно почти срѣзанная на затылкѣ, была рѣзко заострена на макушкѣ. Есть лица, которыхъ нѣтъ возможности забыть, хоть встрѣчаешь ихъ разъ, да и то мелькомъ; большею частью васъ поражаетъ въ нихъ не столько рѣзкая особенность, сколько самое выраженіе, или мелкая черта: родимое пятно, рябинка и проч. Такъ въ человѣкѣ, представленномъ вниманію читателя, трудно было забыть его тонкій носъ съ горбикомъ посерединѣ и подвижными, приподнятыми ноздрями, которыя открывали

съ обѣихъ сторонъ часть носовой перегородки; носъ этотъ никогда ужъ не изглаживался изъ памяти, и стоило только припомнить эти открытыя ноздри, какъ ужъ все лицо тотчасъ же ясно обрисовывалось. Однимъ словомъ, это была фигура, которая поразитъ несовсѣмъ пріятно при встрѣчѣ въ лѣсу... Одежда незнакомца состояла изъ бараньяго полушубка, покрытаго заторами и прорѣзами; правое плечо и локоть выглядывали наружу; вмѣсто петель и пуговицъ, чернѣли только ямки; на груди выставлялась разодраная стеганая на ватѣ манишка, какую носятъ подгородные мѣщане, фабричные и солдаты; изъ-подъ зеленоватыхъ сермяжныхъ панталонъ, протертыхъ на колѣняхъ и зазубренныхъ внизу, выступали ветхіе лапти, переложенные соломой. Дороги теперь, особенно бойныя, совсѣмъ ужъ пересохли; грязь, покрывавшая лапти незнакомца, невольно заставила подозрѣвать о случайной ходьбѣ, то есть такой, которая вынуждала его оставлять бойныя, всѣми посѣщаемыя дороги и пробираться полями.

Тѣ же слѣды грязи были и на лаптишкахъ мальчика-карапузика, лѣтъ десяти, съ отчаянно-плутоватой, насмѣшливой рожицей. Круто-вздернутый носъ, оканчивающійся востречкомъ, принималъ видъ толстой, коротенькой запятой, обращенной вострымъ концомъ къ верху; верхняя губа его, разсѣченная пополамъ, и острые зубы, расположенные угломъ, какъ у грызуновъ, дѣлали его похожимъ на зайца; щурившіеся каріе глазки далеко, однакожъ, не отличались заячьими свойствами: въ нихъ свѣтилось почти столько же хитрости и лукавства, сколько въ глазахъ его товарища; этимъ, впрочемъ, и ограничивалось сходство; волосы мальчугана, жесткіе и почти-красные, торчали востряками во всѣ стороны, что дѣлало голову его весьма схожею съ встрепаннымъ артишокомъ; лохмотья еще безобразнѣе, еще обношеннѣе, чѣмъ у товарища, покрывали члены ребенка, отличавшіеся здоровьемъ и силой.

— Тётка Лукерья, слышь! что ужъ тутъ? угощать, такъ угощай! началъ незнакомецъ, отодвигая чашку съ кашей къ мальчику, который казался ненасытнымъ:—полно скупиться... Ну, для стараго то дружка угости, касатка! прибавилъ онъ тономъ принужденной веселости, какъ-бы заранѣе сомнѣваясь въ успѣхѣ своей просьбы.

И точно, вмѣсто отвѣта, старуха толкнула только заслонку печи. Мальчикъ, смекнувшій, видно, причину ея неудовольствія, звонко засмѣялся.

— Ты что, пострѣлъ, зубы-то скалишь?... туда же! Ѣлъ бы, когда некупленнымъ кормятъ! проговорила Грачиха.

— Слышь, тётка, одинъ стаканчикъ всего: заслужу! подхватилъ незнакомецъ.

— Спасибо скажи, что пустили-то—вотъ что! сердито проворчала колдунья.—Много васъ здѣсь шляется! А ты чему обрадовался? давай! неожиданно заключила она, подходя къ столу и протягивая руку къ чашкѣ съ кашей.

Мальчикъ однимъ быстрымъ движеніемъ скрылъ чашку подъ столъ. Выходка эта окончательно разсердила старуху; она разразилась бранью и протянула руки, чтобъ ухватить мальчишку за волосы; ребенокъ быстро откинулъ назадъ голову, запряталъ чашку еще дальше подъ столъ, смѣялся и смотрѣлъ на нее своими плутовскими глазами. Грачиха, безъ сомнѣнія, не совладала бы съ пострѣломъ, если бъ не вмѣшался незнакомецъ.

— Отдай! сурово крикнулъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу. Мальчикъ нимало, повидимому, не смутился и отдалъ чашку.

— Эхъ, Лукерьюшка! заговорилъ тогда незнакомецъ:—забыла, знать, стараго дружка, не нуженъ сталъ теперича! То-то вотъ и есть, не по-нашему значитъ; по-нашему: зналъ дружка въ радости, не оставляй въ горести.

Онъ покосился на мальчика, и замѣтивъ, что тотъ исподтишка толкалъ ногою ухватъ, чтобъ уронить его на-земь, далъ ему подзатыльника и послѣ того продолжалъ какъ-бы ни въ чемъ не бывало:

Признаться, на тебя на одну только надѣялся, право такъ. Вотъ, думалъ, прійду въ свои мѣста, тётка Лукерья выручитъ. Помнючи, примѣрно, прежнюю твою добродѣтель, какъ въ тѣ поры выручила, такъ все одно, примѣрно, и теперь въ надеждѣ былъ... Э-эхъ-ма!...

Онъ пріостановился, провелъ ладонью по волосамъ, пожалъ губами, крякнулъ и, пристально устремивъ глаза на старуху, продолжалъ выпытывающимъ голосомъ:

— Какъ еще шелъ-то къ тебѣ, словно къ сродственницѣ шелъ!... Думалъ еще деньжонками у тебя позаняться—вотъ какъ...

Старуха, стоявшая лицомъ къ печкѣ и обнаруживавшая самое полное равнодушіе къ словамъ гостя, вдругъ обернулась.

— Ступай, ступай, отколѣва пришелъ! крикнула она, выка-

зывая такую досаду, какъ-будто въ словахъ гостя заключалась горькая обида: — дали тебѣ ѣсть: чего еще? ну и ступай!

— Да ты выслушай... полно серчать-то... выслушай...

— Коли шелъ затѣмъ, подхватила она, разгорячаясь:— шелъ бы не ко мнѣ, шелъ бы лучше...

— Куда? съ суровой усмѣшкой перебилъ гость.

— Туда... знаешь... начала-было старуха и вдругъ замялась и остановилась, повинуясь взгляду, которымъ гость указалъ ей на мальчика.

— Стёпка! отрывисто сказалъ незнакомецъ: — сыть теперича? Ну и ладно. Пошелъ въ сѣни, либо выйдь къ ручью... походи тамъ маленько; далеко не ходи, смотри — слышь?

— Мнѣ не хоцца, я здѣсь посижу, бойко возразилъ мальчикъ.

— Ступай! запальчиво крикнулъ незнакомецъ, дѣлая движеніе, чтобъ привстать съ мѣста и замахиваясь.

Но и въ этотъ разъ угроза, казалось, слабо подѣйствовала на мальчика; онъ только откинулся въ сторону; на губахъ его появилась лукаво-насмѣшливая улыбка, которая ясно показывала, что онъ очень-хорошо понималъ, зачѣмъ хотятъ его выпроводить. Улыбка эта не сходила съ лица его; и во все время, какъ пятился онъ къ двери, щурившіеся глаза его переходили отъ старухи къ ея товарищу.

— Добре́ смышлёнъ! сказалъ незнакомецъ, когда мальчикъ вышелъ изъ лачуги: — главная причина шустёръ оченно, плутоватъ, окаянный; слово скажешь, глазомъ мигнешь — смекаетъ. Неравно что и сболтнетъ... Шибко связалъ онъ меня!

— Точно приневоливали; самъ взялъ! неохотно проворчала Грачи́ха.

— Жену поучить хотѣлъ, потому больше, сурово возразилъ гость; — вижу, стала держать ихъ руку, я его и увелъ. Выходитъ, только себя наказалъ. Пожалуй, опять бы теперича отдалъ — лишняя только тягота — да первое дѣло мать умомъ повихнулась; второе дѣло, опасливо: болтать станетъ; все смыслитъ, даромъ на видъ неказистъ; вездѣ таскалъ съ собою, мало ли что́ видѣлъ; гдѣ примѣрно бывалъ — обо всемъ этомъ повѣдаетъ... И то кажинный разъ какъ туда иду, не беру съ собою — опасливо. боюсь, мать признаетъ, люди увидятъ.

— Что жъ ты его, разбойникъ, ко мнѣ-то привелъ? крикнула Грачи́ха.

— Эка вздорная какая! Дай сказать! съ досадою перебилъ гость:—рàзи кто насъ видѣлъ, какъ сюда шли? И то въ лощинѣ сидѣли, ночи дожидались...

— Ступай, ступай! ну васъ совсѣмъ! Я чай, рыщетъ теперь пострѣлъ... уйдетъ еще на деревню, наткнется на кого: всѣ тебя знаютъ по всему околотку. Ступай; ну васъ! Ступай, говорю!

— Полно, тётка, перестань! началъ упрашивать гость: — коли только изъ этого, духомъ сбѣгаю, приведу его; ночь темная — никто не увидитъ. Дай, слышь, дай хоть ночь-то переночевать! Лѣто прійдетъ, въ лѣсу тепло будетъ, не стану тревожить. Сдѣлай милость, не сумлѣвайся... Эка, право, какая!... Сейчасъ кликну, здѣсь будетъ.

И, не дожидаясь возраженія, онъ кинулся вонъ изъ лачуги. Нѣсколько минутъ спустя, въ сѣняхъ послышался голосъ его и голосъ мальчика; онъ снова вернулся за перегородку.

— Чего опасалась? Онъ тутъ подлѣ избы сидѣлъ; ничего, говорю; изъ сѣней теперь не выступитъ, проговорилъ бродяга, междутѣмъ, какъ старуха вставляла новую личуну. — Эхъ-эхъ! пришло, знать, и мое времечко! добавилъ онъ, выразительно тряхнувъ кудрявою своею головою.

Онъ прошелся раза два отъ печки къ столу, сѣлъ, провелъ ладонью по волосамъ, потомъ снова всталъ.

— Тётка, слушай, сказалъ онъ тономъ упрека, который худо скрывалъ досаду, отражавшуюся въ каждой чертѣ лица его:—слушай: не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь!... Полно, тётка! подхватилъ онъ, смягчая рѣчь и голосъ, потому что первыя слова его не произвели ни малѣйшаго дѣйствія на старуху—ну за что́ серчаешь, за что́? Провалиться, не вѣдаю!... Хлѣба, и того стало жаль. Полно, говорю; не Богъ знаетъ чего прошу... Прошу: не оставь!... Нужда шибко взяла, потому прошу... Вишь, какъ обносился, вишь, смотри... примолвилъ онъ, поворачиваясь къ ней то однимъ бокомъ, то другимъ и выставляя на-показъ прорѣхи и заплаты: — тоже вишь и лаптей нѣтъ... Право, пособи... А ужъ насчетъ, то-есть... за себя постоимъ! Скажешь: Филиппъ, сдѣлай то—тутъ и есть! Укажи только, укажи на какое хошь дѣло... намъ рàзи впервые съ тобой вѣдаться?... Шепни, примѣрно, у кого какая лошадь—завтра же къ тебѣ прійдутъ за нею, въ упросъ просить станутъ...

— Не надыть, не проси... ничего не дамъ! упрямо сказала старуха.

— Ты думаешь насчетъ парнишка, то-есть, связалъ меня? онъ помѣшаетъ?

— Хоть бы такъ...

— На то время можно здѣсь у тебя оставить...

— Нужда мнѣ съ нимъ возиться! Кто за нимъ усмотритъ? Вишъ онъ, окаянный, шу́стрый какой!...

— Слышь: выручи только, объ одномъ прошу; выручи; каяться не станешь; выручи только... хоть на время выручи...

— Стало ужъ т а м ъ взять-то не́чего? т у д а бы шелъ! перебила Грачи́ха.

— Былъ и т а м ъ, вечо́ръ еще былъ, торопливо подхватилъ Филиппъ:—коли тебя пришелъ просить—безъ толку, стало-быть, ходилъ: не токма́ денегъ, хлѣба, и того нѣтъ. Я ужъ и такъ и сякъ стращалъ—ничего не́ возьмешь; ужъ это значить вѣрно, что нѣтъ ничего; а то бы дай, мое было бы; постращай только его—братъ ничего не утаитъ... Мы это дѣло-то знаемъ, какъ съ нимъ справляться; не вперво́й!... Потому больше къ тебѣ и пришелъ: нужда заставила. Сдѣлай милость, Лукерьюшка, пособи! снова присталъ Филиппъ:—такъ, малость самую... тревожить больше не стану, уйду; и то сказать, опасливо теперь здѣсь оставаться. Въ другое время—ништо́, пожилъ бы; теперь убираться надо. Узналъ я вечоръ, какъ къ брату ходилъ, сказывали: господъ ждутъ; не но́нѣ, завтра ждутъ; при нихъ какъ разъ сца́паютъ... надо убраться во́время, потому больше и прошу: пособи, тётка, сама знаешь, безъ лаптей не далеко уйдешь.

На этомъ самомъ мѣстѣ, въ сѣничкахъ, гдѣ находился мальчикъ, послышался вдругъ такой дикій крикъ, что Филиппъ и старуха дрогнули всѣмъ тѣломъ. Не успѣли они сдѣлать шагу, какъ новый крикъ еще диче, пронзительнѣе раздался въ сѣняхъ. Филиппъ кинулся-было къ лучинѣ съ намѣреніемъ потушить ее, но Грачи́ха остановила его, сказавъ: „погоди“, и, ковыляя, побѣжала къ двери.

— Кто тутъ? спросила она.

Въ отвѣтъ на это, надъ самою ея головою повторился новый крикъ еще звонче, еще отчаяннѣе первыхъ двухъ.

— Ахъ, ты разбойникъ! закричала старуха, тотчасъ же, вѣроятно, смекнувъ, въ чемъ дѣло:—постой! я-жъ тебя, окаяннаго!... Эй, Филиппъ! подхватила она, торопливо возвращаясь въ избу:

это твой пострѣлъ съ кошкой... кошку куда нибудь, розбойникъ, запряталъ... Я жъ ти, погоди!

Грачи́ха взяла лучину и побѣжала въ сѣни; Филиппъ послѣдовалъ за нею. Крики становились все жалобнѣе и протяжнѣе. При свѣтѣ лучины, старуха точно увидѣла желтую свою кошку, которая болталась на перекладинѣ, привязанная къ хвосту. Мальчикъ, свернувшись клубкомъ въ углу сѣней, спалъ крѣпкимъ сномъ; но храпѣнье, которое издавалъ онъ для вящшаго эффекта, измѣнило ему: старуха налетѣла на него, какъ разъяренная насѣдка, проворно перенесла лучину въ лѣвую руку и правою рукою схватила его за волосы; мальчилъ тряхнулъ головою — и, не подоспѣй во́-время отецъ, онъ укусилъ бы старухѣ руку.

— Оставь его, тётка! я его самъ лучше проучу; твои руки старыя; дай только сперва кошку отцѣпить.

Сказавъ это, онъ приставилъ къ перекладинѣ лѣсенку, которая вела на чердакъ и которую мальчикъ ухитрился поставить на прежнее мѣсто. Секунду спустя, бѣдная кошка рухнулась наземь, вскарабкалась на стѣну и, фыркая, исчезла на чердакѣ.

— Теперь я до тебя доберусь! сказалъ Филиппъ, подходя къ ребёнку.

Тотъ, по обыкновенію своему, не обнаружилъ ни малѣйшаго испуга; онъ безъ сопротивленія дался отцу.

— Хорошенько его, хорошенько! закричала колдунья, становясь на порогѣ и подымая лучину надъ головою.

— Вотъ тебѣ! помни! вотъ тебѣ! приговаривалъ, между тѣмъ, отецъ, дѣлая видъ, что деретъ его за волосы, но на самомъ дѣлѣ тормоша ему только голову, что̀ заставило, однакожъ, сына биться по полу и кричать такъ пронзительно, какъ-будто съ него сдирали кожу.

Старуха, испуганная крикомъ, который легко могъ дойти до Чѣрнева, велѣла отцу оставить и поплелась въ избу.

— Сюда! крикнулъ Филиппъ, слѣдуя за нею и обращаясь къ Стёпкѣ.

Стёпка вошелъ въ избу, продолжая хныкать и тереть лицо кулакомъ, изъ-подъ котораго выпрыгивали попеременно то одинъ плутовской взглядъ, то другой, сопровождаемые не менѣе плутоватой усмѣшкой. Отецъ украдкой подалъ ему знакъ и подмигнулъ на старуху, которая суетилась ворчливо у лучины; Стёпка кивнулъ головой и тотчасъ же пересталъ хныкать.

Но едва только воцарилась тишина, какъ въ наружную дверь избушки кто-то сильно застучалъ. Филиппъ, старуха и мальчикъ переглянулись съ удивленьемъ. Два-три громкіе удара снова потрясли наружную дверь избы. Однимъ прыжкомъ Филиппъ очутился у лучины, пригнулъ испуганное лицо къ огню и задулъ его.

— Отопри! прокричалъ въ то же время за дверью басистый, хриплый голосъ.

— Тсс-молчи! шепнулъ Филиппъ.

— Можетъ... ко мнѣ... за дѣломъ, проговорила Грачи́ха.

— Такъ бы громко не стучался, возразилъ Филиппъ.

Голосъ сильно, однакожъ, измѣнялъ ему. Какъ всѣ люди, имѣющіе основательную причину бояться преслѣдованія, онъ думалъ одно только: ужъ не узнали ли случайно о его возвращеніи? Не встрѣтился ли онъ вчера на дорогѣ въ Мàрьинское съ кѣмъ-нибудь, кого самъ не замѣтилъ? Не выдалъ ли братъ, или, вѣрнѣе, братнина жена?... Мысли эти съ быстротою молніи мелькнули въ головѣ его, и съ каждымъ новымъ ударомъ въ дверь сердце его билось ускореннымъ тактомъ, дыханіе спиралось въ груди и пересыхало въ горлѣ.

— Отпирай! эй! раздался снова басистый голосъ, но ужъ теперь съ другой стороны лачуги, и кулакъ застучалъ подъ окномъ.

— Пусти, матушка, Христа-а-ра-а-ди!... неожиданно подхватилъ другой, старческій, жалобный голосъ.

Не успѣлъ онъ замолкнуть, какъ ужъ раздался третій, звонкій, дребезжащій, какъ у козла:

— Эй, тётенька, спишь, что̀ ли? Вставай, глазки протирай, слышь: сваты пріѣхали!...

При первыхъ звукахъ послѣдняго голоса, Грачи́ха покинула свое мѣсто.

— Слѣпые, проворчала она.

— Съ коихъ мѣстъ? торопливо спросилъ Филиппъ.

— Чужіе! возразила какъ бы изъ милости Грачи́ха.

Она подошла къ окну, отняла палку, которая придерживала старый скомканный зипунъ, закрывавшій окно, и спросила, какъ водится, обыкновенно, для виду: кто тутъ?

— Мы, мы, касатка, разомъ отозвались три голоса.

— Полно вамъ горло-то драть: слышу. Богъ подастъ! проворчала старуха.

— Осердчалая какая! видно, съ просонья, замѣтилъ козлячій голосъ.

— Пусти переночевать! подхватили другіе.

— Вотъ нашли постоялый дворъ... ну васъ совсѣмъ!... тѣсно и безъ васъ...

— „Щадни“ *), что̀ ли? спросили за окномъ.

— Ступайте на деревню; мало ли дворовъ... тамъ и ночуете, сказала Грачи́ха.

— Были, косатка, да „лунёкъ“ (собакъ) много добре́, лютыя такія, къ „ры́му“ (дому) не подпущаютъ, замѣтилъ, посмѣиваясь, козлячій голосъ. — Пусти, тётка; „сушакъ“ (хлѣбъ) свой; „мерко̀шъ“, „не зѣть ничего“ (ночь, ничего не видно); „отцѣпи“, „масья“ (отопри, хозяйка-мать); пошли бы дальше, да лошади стали, добавилъ онъ, принимаясь турукать и посвистывать, какъ-будто и въ самомъ дѣлѣ подлѣ него стояли лошади.

— Не впервые у тебя ночуемъ; пусти! буркну̀лъ басъ: — дѣло есть до тебя...

— „Перебу̀шки растерялъ, вершать нѣчѣмъ, безъ котю́ра сталъ!“ **) пояснилъ козлячій голосъ.

— Съ вами еще кто есть? спросили Грачи́ха.

— Нѣтъ, мальчикъ только, „котю́ръ“, отвѣчали нищіе.

Грачи́ха поправила платокъ на головѣ, нѣсколько секундъ стояла, какъ-бы въ нерѣшимости, и наконецъ сказала:

— Ну, ступайте; дайте только лучину вздуть.

И, не обращая вниманія на Филиппа, который упрашивалъ ее не пускать гостей, Грачи́ха вздула лучину и поплелась въ сѣни.

VI.

Немного погодя, въ избу, одинъ за другимъ, вошли три человѣка. Грачи́ха неправильно назвала ихъ слѣпыми: изъ трехъ

---

*) «Щадни»,—гости, на условномъ языкѣ тульскихъ и рязанскихъ нищихъ, которые какъ бы составляютъ одну семью. Здѣсь, разумѣется, исключительно говорится о нищихъ по ремеслу. Мы не долго будемъ пользоваться терпѣніемъ читателя и приведемъ только нѣсколько образчиковъ этого языка, Богъ-вѣсть откуда взявшагося и кѣмъ созданнаго!

**) Глаза растерялъ, глядѣть нѣчѣмъ, лишился вожака-мальчика, который водитъ слѣпыхъ.

одинъ только оказался въ самомъ дѣлѣ слѣпымъ, а именно тотъ, который былъ веселѣе другихъ, говорилъ и смѣялся козлинымъ голосомъ.

Странное противорѣчіе представляли ухмыляющіяся, можно сказать, прыгающія отъ веселости черты его съ бѣловатыми, неподвижно-мертвыми зрачками. Но такимъ полнымъ довольствомъ сіяло толстое, красное лицо его, такъ забавно вздергивался маленькій, какъ пуговица, носъ, такъ насмѣшливо передвигались губы, едва-закрытыя рѣдкими волосами, что невольно исчзало непріятное впечатлѣніе, производимое зрачками. Въ самой фигурѣ его, неуклюжей, коротенькой, напоминавшей медвѣжонка, даже въ его пріемахъ было что-то скоморошное, комическое. Онъ возбуждалъ смѣхъ, несмотря на его лѣта и на безчисленныя прорѣхи и заплаты, которыя покрывали его съ головы до ногъ, такъ-что съ которой бы стороны ни смотрѣть, всюду представлялся какой-то пѣгій человѣкъ.

Другой его товарищъ казался постарше: это былъ человѣкъ около пятидесяти-пяти лѣтъ, исполинскаго роста, атлетическаго сложенія, съ чернымъ лицомъ, какъ у цыгана, мрачно-нахмуреннымъ и грубымъ; совершенно-открытое темя, исполосанное глубокими морщинами и покрытое загаромъ, несмотря на только-что начинавшуюся весну и длинный промежутокъ зимы, дѣлалось еще смуглѣе въ сосѣдствѣ съ сѣровато-желтыми клочками волосъ, которые закрывали ему уши; его короткія мускулистыя руки, пальцы съ пучками волосъ между суставами и могучая шея показывали страшную силу; не только не чувствовалъ онъ тяжести полновѣсной сумы, висѣвшей у него за спиною, но ничего, казалось, не значило бы ему взвалить на плечи любой мельничный валъ. Говорилъ онъ отрывисто, и голосъ его звучалъ, какъ изъ бочки.

Третій товарищъ былъ тщедушный, низенькій старичокъ, согбенный годами; ему безошибочно можно было дать восемьдесять лѣтъ; на сморщенномъ лицѣ его всѣ черты какъ-будто прищурились; оно сохраняло самое жалкое, униженное, полазчивое выраженіе. Глаза его видѣли еще ясно; но, вѣроятно, повинуясь жалкой роли своей, старикъ закрылъ ихъ, какъ-только вошелъ въ избу и увидѣлъ, при свѣтѣ лучины, посторонняго человѣка.

Весельчакъ, между-тѣмъ, суетливо выступалъ впередъ, держась одной рукой за конецъ палки, которая находилась въ рукахъ худенькаго, блѣднаго мальчика лѣтъ восьми, обутаго въ такіе лапти,

что они пришлись бы впору великану; другою рукою весельчакъ водилъ по воздуху; ладонь его случайно встрѣтила лицо старичка, и онъ закричалъ во все горло:

— Ослѣпъ! ослѣпъ! Братцы-кормильцы, ослѣпъ! Слышь, Верстàнъ (это было прозвище великана), смотри-тка: старикъ-то нашъ ослѣпъ! а вѣдь сейчасъ еще видѣлъ; недавно ослѣпъ и ничего ужъ не видитъ, сердечный!...

— Молчи, чужой... шепнулъ Верстàнъ.

— Свой, шепнула въ свою очередь Грачиха, шедшая, чтобъ запереть дверь.

— Что жъ ты намъ, „масья“ (мать), ничего не сказала? крикнулъ весельчакъ: — э-эхъ! купилъ, значитъ, корову, привелъ домой, сталъ-было доить, а тутъ ужъ былъ быкъ! добавилъ онъ, упершись руки въ бока и ставъ козыремъ.

— Мальчикъ его? спросилъ Верстàнъ, указывая старухѣ на Стёпку.

— Мой! отозвался Филиппъ, къ которому, послѣ перваго бѣглаго взгляда, возвратилась увѣренность.

Весельчакъ остановился, внимательно прислушался къ голосу незнакомца. Услышь онъ его хоть десять лѣтъ назадъ, онъ и тогда не ошибся бы; но голосъ былъ ему незнакомъ; принявъ Филиппа за своего брата слѣпца (предположеніе, которое вызвано было присутствіемъ мальчика), онъ повернулся къ нему и спросилъ:

— Откуда, небоже?

— Прохожій...

— Вотъ это ладно, похвалить можно, произнесъ слѣпой тономъ недовѣрчивымъ и насмѣшливымъ: — отколева ни шелъ, насъ не миновалъ, къ кумѣ въ гости зашелъ — это ладно!...

Но, вѣроятно, не довольствуясь неопредѣленнымъ отвѣтомъ Филиппа и побуждаемый подозрительнымъ любопытствомъ, свойственнымъ слѣпымъ, весельчакъ обратился къ вожаку своему и сказалъ ему на своемъ нарѣчіи, чтобъ онъ подвелъ его къ чужому мальчику; поровнявшись со Стёпкой, слѣпой неожиданно опустилъ ему на голову свободную руку свою и такъ быстро ощупалъ ему лицо, что тотъ не успѣлъ отвернуться.

— Э-е! курносый какой!... да и зубы-то заячьи — ѣдовàтъ, должно-быть, паренёкъ-то... Мотри, Мишка, близко не подходи: укуситъ!... произнесъ слѣпой. — Эвна... э! ахъ ты! поди какой, драться еще вздумалъ! подхватилъ онъ, почувствовавъ на рукѣ

кулакъ Стёпки: — ну, давай, давай, когда такъ... только, чуръ, мотри, подножки не ставь... давай, берись; кто кого...

— Полно тебѣ, бѣшеный... какъ-те звать-то?...

— Фуфаевъ, касатка... Фуфаевъ!... Зовутъ Евдокимъ, величаютъ Фуфаевъ...

— Полно, когда такъ; чего развозился? продолжала Грачиха, появляясь въ маленькой дверцѣ между печью и перегородкой.

Тамъ, за перегородкой, успѣли ужъ расположиться мрачный Верстанъ, старикъ, Филиппъ, и слышались разспросы: откуда? куда?—разспросы, на которые Филиппъ отвѣчалъ самымъ сбивчивымъ образомъ.

— Мишка, сказалъ слѣпой, пробираясь ощупью по палкѣ къ своему вожаку, получившему отъ Стёпки на свой пай нѣсколько ударовъ, предназначавшихся слѣпому: — Мишка, прибавилъ онъ, сбрасывая на земь суму:—садись-ка, поужинай... Вишь у насъ съ тобой сколько корокъ-то!... живой человѣкъ—проглотишь!... да и товарища угости. Выбирайте что ни-на-есть самую сладенькую изъ всѣхъ — гуляемъ, значитъ!... А жостко покажется, хозяйка молочка дастъ для праздничка... Гдѣ нищій не бывалъ, тамъ, слышь, по двѣ милостыни даютъ — такъ ли „масья“, а?...

— Полно, полно балясничать-то! ворчала Грачиха: — спать ложись; не время съ вами возиться.

Оставивъ вожака своего, который сѣлъ, пригорюнясь, на лавку въ первой половинѣ избы, слѣпой ощупью направился къ хозяйкѣ.

Войдя за перегородку, онъ ощупалъ ладонью каждаго изъ присутствующихъ, расположился подлѣ Филиппа и, приподнявъ руку, провелъ, какъ-бы нечаянно, ладонью по лицу его.

— Дальше, братъ; я этого не люблю, проговорилъ онъ грубо, отталкивая руку.

— Экой ты, какой!... какъ же такъ?... Вѣдь вотъ товарищи тебя видятъ... а мнѣ такъ ужъ стало-быть и нельзя... и мнѣ хочется!... Даромъ у меня глаза-то глядятъ, какъ собаки ѣдятъ, и ничего не вижу!... „Перебухи-то у меня въ пучки сбѣжали“... (глаза у меня въ пальцы ушли), тамъ и остались, удержалъ насилу... Ты этимъ не обижайся... какъ-те звать-то?

— Евдокимомъ, наобумъ отвѣчалъ Филиппъ.

— Э! ну вотъ еще и тёзка!.. Эка знатная у тебя компанія собралась, „масья“! Ты не чаяла, небось, дорогихъ гостей... оно и все такъ-то: около проруби и все слетаются бѣлые голуби!... под-

хватилъ Фуфа̀евъ:—чѣмъ-то насъ только угощать станешь?... Не брезгливый народъ! давай хошь „крёса“ (мясца), и то съѣдимъ... мы люди заѣзжіе, у тебя добро-то завозное — жалѣть, стало, нечего.

— Хлѣбъ ѣшь, коли голоденъ ..

— Да что хлѣбъ! „Сушакъ“ (хлѣбъ) у насъ и свой есть! въ своихъ амбарахъ много, вишь! сказалъ онъ, похлопывая по сумѣ старика, который жадно ухватился за нее обѣими руками: — чего испугался, дядя Мизги́рь? ужъ полно, нѣтъ ли у тебя тутъ денегъ, въ сумѣ-то? подхватилъ Фуфа̀евъ.

Онъ остановился, поднялъ брови, выразительно кивнулъ головою на старика и продолжалъ:

— Ты, тётка, можетъ, еще не знаешь... и ты, Евдокимъ, не знаешь... Вѣдь дядя-то этотъ у насъ богачъ! Не смотрите, онъ такимъ общипаннымъ кажетъ: онъ это такъ, для виду... у него денегъ-то и-и! то̀лько накопилъ, самъ счетъ забылъ... Намъ бы самимъ невдогадъ, подхватилъ Фуфа̀евъ, видимо забавляясь проклятіями, которыя посылалъ ему старикъ:—сами не вѣдали, гдѣ у него деньги-то спрятаны, да намедни проговорился... во снѣ видалъ: все про какую-то кубышку бормочетъ... мы давай приставать; что жъ? дознались, вѣдь, сказалъ: у него, слышь, кубышка, съ деньгами-то въ Журавлинской Рощѣ зарыта... Не сойдти мнѣ съ этого мѣста, коли не такъ!

— И не сойдешь когда такъ! не сойдешь, окаянный! злобно проговорилъ Мизги́рь: — ну чего присталъ? чего привязался?... Оставь! добавилъ онъ, огрызаясь, какъ старый беззубый волкъ, настигнутый собаками.

— Диковинное дѣло: кому онъ только деньги-то копитъ? продолжалъ еще усерднѣе приставать Фуфа̀евъ, для котораго не было лучшаго увеселенія, какъ дразнить старика:—самъ вѣдь въ гробъ глядитъ, а „ю̀сы“ (деньги) копитъ. Умрешь, ничего вѣдь съ собой не возьмешь... И не умираетъ-то онъ, братцы, потому больше, боится: дорого возьмутъ за похороны... Скупые всѣ въ одново; они что́ „марку́ши“ (овцы): спроси овцу, кому шерсть ростѝтъ — ра̀зи для себя? другимъ же достанется... Скажи лучше, дядя Мизги́рь, право скажи, въ кое мѣсто кубышку зарылъ?... Ой, скажи!

— Экой шутъ какой! смѣясь, замѣтилъ Филиппъ:—и все-то онъ у васъ такой веселый?

— О чемъ скучать-то? что глазъ-то нѣту? эвна! да ты мнѣ

назадъ ихъ отдай—не возьму, право не возьму! зачѣмъ они мнѣ? Глаза человѣку непріятели.

— Ну, нѣтъ, братъ, съ глазами-то все повеселѣе! сказалъ Филиппъ, посмѣиваясь.

— Тебѣ, може статься, такъ; ты, можетъ, богачъ, вотъ какъ нашъ дядя Мизги́рь, все одно; живешь, можетъ, въ каменныхъ палатахъ, ходишь по садамъ съ цвѣтами всякими... есть и жена красавица, есть, стало, на что и смотрѣть... А у меня какъ нѣтъ этого ничего, смотрѣть не́ на что, такъ и глазъ ненадыть... безъ нихъ лучше. Вотъ хоть бы теперь: всѣ вы для меня въ сапогахъ, всѣ въ пестрыхъ рубахахъ... Баба какая подвернется, та и красавица... всѣ въ обновкахъ на глаза мои, словно кажинный день праздникъ...

— Ну, а самъ-то о себѣ ничего, не тужишь? Всѣ въ обновкахъ, а у самого заплаты однѣ, сказалъ Филиппъ.

— Что жъ, что заплаты? Бѣдный—что горбатый: что̀ на спину попало, то̀ и носитъ; намъ это ничего... была бы мошна, чтобъ краюха вошла, былъ бы животъ, чтобъ въ него перешло!

— Что жъ вы?... Говорили, за дѣломъ пришли; коли за дѣломъ, сказывайте, а не то спать ложись... проворчала Грачи́ха.

— Стой, тётка, стой, твоя рѣчь впереди! перебилъ Фуфа̀евъ:— вотъ ты говоришь: спать пора; твоя рѣчь разумная... только слышь: у насъ теперь дѣло пойдетъ, о чемъ, примѣрно, говорили... такъ надо, примѣрно, сперва-на̀перва винца выпить, умъ подкрѣпить, словеса подобрать такія, примѣрно, къ дѣлу пригодныя... какъ хошь, а безъ винца ужъ этого нельзя никакимъ манеромъ.

— Нѣтъ, не уймешь его! что̀ жерновъ мелетъ безъ устали!... Вишь его неугомонный какой... проговорили Филиппъ и Верста̀нъ, первый съ усмѣшкой, второй съ досадой.

— Дай сказать... Чего взаправду лѣзешь?... дѣло есть! забасилъ Верста̀нъ.

— Ну, говори! произнесъ Фуфа̀евъ, наклоняя голову, чтобъ слушать.

— Вотъ... началъ Верста̀нъ.

— Ну что: вотъ!... Вотъ, да и нѣтъ ничего! перебилъ Фуфа̀евъ. Тебѣ, братъ, не дождаться... дай я разскажу. Слышь, тётка: былъ у него, у Верста̀на, мальчикъ — вожа̀къ по нашему; былъ да сплылъ; пришелъ срокъ, отецъ назадъ взялъ... Сталъ онъ теперь

одинъ; скучаетъ, сирота какъ есть; такъ вотъ спросить пришелъ, не знаешь ли, гдѣ бы, примѣрно, вожака достать...

— Я бы и денегъ не пожалѣлъ, сказалъ Верстанъ: — есть теперь рублевъ съ десятокъ, всѣ бы отдалъ, кабы потрафилось найти малаго...

— Да на что тебѣ? спросилъ Филиппъ: — глаза худо видятъ, что ли?...

— Экой ты, братецъ! воскликнулъ Фуфаевъ: — видитъ-то онъ лучше быть нельзя! брось полушку въ траву—его будетъ, ужъ это безпремѣнно!... А все безъ вожака все, нельзя никакъ. Ну, кто будетъ его по деревнямъ-то водить?... вѣдь ужъ такая напасть на него: покажись только околица — сейчасъ ослѣпнетъ! Ей Богу такъ!... Вотъ дядя Мизгирь, такъ тотъ еще за версту отъ околицы ничего ужъ не видитъ; сердечный, совсѣмъ слѣпой сдѣлается.

— Эка ягоза, право ягоза! такъ и шипитъ, ягоза проклятая! злобно проворчалъ старикъ.

— Теперь вотъ что, продолжалъ Фуфаевъ: — пришли мы въ деревню—ладно; какъ нѣтъ у Верстана малаго, волей-неволей съ нами идти должонъ, потому слѣпъ, сердечный, самъ идти не можетъ, спотыкается... Вотъ стали мы у двора—ладно; поемъ Лазаря... знамо, наше дѣло такое: горломъ хлѣбъ достаемъ... Ладно; всякъ примѣрно и судитъ: видитъ, трое: „на-те, молъ, вамъ, касатики, ломтикъ, а больше не просите, нѣтути“; ну и дѣлишь ломоть-то на-трое... А какъ малый-то есть у Верстана, идетъ онъ съ нимъ по одной сторонѣ деревни, я да Мизгирь по другой — этакъ больше наберешь...

Тутъ Верстанъ толкнулъ локтемъ разскащика, давая ему знать, вѣроятно, чтобъ онъ не слишкомъ давалъ волю языку при постороннемъ.

— Ты всѣхъ, тётка, по округѣ-то знаешь, сказалъ онъ: — нѣтъ ли малаго на примѣтѣ? Право, десять рублевъ есть, не пожалѣю, всѣ отдамъ.

Грачиха отвѣчала, что никого не знаетъ.

— Я знаю! воскликнулъ вдругъ Филиппъ, ожидавшій съ явнымъ нетерпѣніемъ отвѣта старухи.

— Говори, когда такъ! сказалъ Верстанъ.

— Вѣрны ли деньги?

— Вотъ онѣ. Малаго въ руки — и деньги въ руки...

— Слушай, коли такъ, произнесъ Филиппъ, оживляясь вдругъ до послѣдняго суставчика: — вечоръ проходилъ я... тутъ недалече есть такая деревня, Мàрьинское прозывается, началъ онъ, переглянувшись предварительно съ Грачи́хой и обративъ потомъ быстрые, сверкающіе глаза къ Верстàну: — остановился обѣдать у мужика... не помню, кàкъ его звать (мы не здѣшніе, проходимцы, въ Москву идемъ, знать нѐ для чего). Такъ вотъ, видѣлъ я у него парнишку, во всемъ тебѣ съ-руки́, какой надобенъ... У отца ихъ никакъ цѣлая дюжина... Кабы переговорить съ нимъ, отдалъ бы... потому бѣдность шибко взяла, ѣсть нѐчего, да и должишками спутался, сказывалъ. Ужъ это вѣрно, что отпуститъ... а паренечекъ такой... тебѣ въ самый разъ... годковъ десятокъ; отпуститъ, говорю — были бы деньги.

— Мы въ этомъ не постоимъ, сказалъ Верстàнъ: — вотъ и за того, что былъ у меня, десять рублевъ въ годъ отцу давалъ. Гдѣ эта деревня-то? въ кое сторону?

Филиппъ, лицо котораго все болѣе и болѣе оживлялось, разсказалъ во всѣхъ подробностяхъ дорогу въ Мàрьинское; онъ сообщилъ, кàкъ сыскать домъ, гдѣ находился мальчикъ.

— Дѣло немудрое, заключилъ онъ: — седьмая изба съ краю... войдете въ околицу: съ лѣвой стороны. Только вотъ что̀, братъ, какъ станешь, примѣрно, разговоръ вести, не говори, смотри, обо мнѣ, что, дескать, я посылалъ; отъ себя, примѣрно, дѣло веди, какъ словно прежде не зналъ ничего, пришло къ случаю.

— Зачѣмъ говорить!

— То-то; вѣрно говорю, никакого толку не будетъ, подтвердилъ Филиппъ, перекидываясь новымъ взглядомъ съ Грачи́хой, которая во все это время посматривала на него съ любопытствомъ, но какъ-бы не совсѣмъ хорошо понимая, къ чему клонится разговоръ.

— Ну, „масья“! воскликнулъ Фуфàевъ, поворачивая смѣющееся лицо къ хозяйкѣ; — одно дѣло справили, теперь другое... Слышь: дай винца! Вотъ и Верстàнъ скажетъ...

— Что жъ! можно... произнесъ Верстàнъ.

— И я бы ужъ, такъ и быть, выпилъ, сказалъ расходившійся Филиппъ.

— Много у васъ прислужниковъ-то въ кабакъ ходить! Ничаво, и такъ уснете, возразила Грачи́ха съ меньшею, однакожъ, суровостью, чѣмъ когда отказала въ той же просьбѣ Филиппу.

— Зачѣмъ въ кабакъ? Э, полно! Поищи-ка, тётка; авось у тебя найдется...

Присутствующимъ очень хорошо было извѣстно, что въ подвалѣ знахарки находится запасъ штофовъ, которые достались ей за трудъ, то есть даромъ, и она радовалась всегда случаю сбывать провизію за деньги; эта продажа достававшихся ей запасовъ составляла одну изъ главныхъ отраслей ея доходовъ. Нельзя было, однакожъ, высказать прямо свою готовность: необходимо было прежде поломаться; основываясь на этомъ, она повернулась къ нимъ спиною и принялась бормотать что-то сквозь зубы.

— Ну, полно же, тётка, полно! пошевеливайся!... на чистыя вѣдь деньги беремъ... али не вѣришь? смотри...

Фуфаевъ торопливо вынулъ изъ-за пазухи небольшой кошелекъ изъ холстины, болтавшійся на веревкѣ; развязавъ его зубами, онъ высыпалъ на ладонь мѣдные гроши, въ числѣ которыхъ сверкнули серебряныя мелкія монеты, и принялся считать ихъ съ невообразимою быстротою и ловкостью.

— Давай складчину, ребята... по гривеннику съ брата!... Давай, Верстанъ!...

Верстанъ вынулъ изъ-за пазухи такой же точно мѣшочекъ и отсчиталъ нѣсколько мѣдныхъ пятиковъ. Ощупавъ ихъ и убѣдившись, что счетъ вѣренъ, Фуфаевъ обратился къ старику, который сначала дѣлалъ видъ, будто ничего не слышитъ, потомъ началъ жалобно увѣрять, что у него всего два гроша, и наконецъ рѣшительно объявилъ, что пить не станетъ. Филиппъ, между-тѣмъ, привсталъ съ мѣста, отвелъ старуху въ уголъ и началъ съ нею шептаться.

— Лучше не проси; не дамъ безъ денегъ. Коли они угостятъ — пей... я безъ денегъ не дамъ, сказала она.

— Я жъ тебѣ говорю, вѣдь это все одно, возразилъ Филиппъ, понижая голосъ: — ужъ эти деньги, что брату попадутъ за мальчика, ужъ это мои — все одно; къ тому, примѣрно, все дѣло подвелъ; отдамъ, значитъ. Завтра же вечеромъ схожу... всѣ отдастъ до копѣйки... не въ первой мнѣ, сама вѣдаешь... ну...

Тутъ голосъ его совсѣмъ понизился. Надо полагать, онъ нашелъ, однакожъ, способъ окончательно убѣдить старуху; черты ея смягчились, и она утвердительно кивнула головою. Тѣмъ не менѣе она украдкою погрозила ему кулакомъ и снова замотала головою, когда Филиппъ, вернувшись къ столу, выразительно мигнулъ ей

на деньги, лежавшія въ ладони слѣпаго. Пересчитавъ деньги, старуха зажгла лучину и вышла въ сѣни.

Во время всѣхъ этихъ объясненій, никто не обратилъ вниманія на шумъ, раздававшійся въ передней половинѣ избы, гдѣ сидѣли мальчики. Голоса ихъ, прерванные вдругъ жалобнымъ воплемъ, заставили присутствовавшихъ приподнять голову.

— Эй вы, молодцы! али кто кого обидѣлъ? крикнулъ Фуфаевъ. Жалобный вопль, превратившійся въ рыданіе, остановилъ его.

— Ну ихъ совсѣмъ, сказалъ Филиппъ.

— Пусчай обзнакомятся! подхватилъ Верстанъ съ глупымъ смѣхомъ.

— Нѣтъ, погоди, никакъ мой Мишутка хлюпаетъ, вымолвилъ Фуфаевъ, прислушиваясь: — точно онъ!... Мишка, подъ сюда... подь, глупый, не бойся.

Съ этими словами, въ маленькой двери, между печью и перегородкой, показался худенькій мальчикъ, обутый въ исполинскіе лапти; блѣдное, изнуренное лицо его, казавшееся еще худощавѣе, блѣднѣе между длинными прядями черныхъ, давно нестриженныхъ волосъ, искажалось теперь отъ усилій сдержать рыданія; но усилія были напрасны: длинныя рѣсницы, окружавшія его темные глаза, пропускали потоки слезъ; прижимая изо всей мочи маленькій, костлявый кулакъ къ узенькой, впалой груди своей, онъ все-таки силился подавить наружные признаки горя; но горе было видно слишкомъ сильно, и рыданія, прерываемыя кашлемъ, вырывались одно за другимъ.

— Вишь нюни-то распустилъ! сказалъ Филиппъ съ суровымъ презрѣньемъ.

— Эка зюзя! промолвилъ Верстанъ: — такой-то ужъ мокрый: обо всемъ реветъ! Былъ бы ты у меня, я бы тебя проучилъ...

— Вотъ что, Верстанъ, перебилъ Фуфаевъ: — добудешь малаго, вотъ про котораго онъ тебѣ сказывалъ, того и учи; а объ моемъ не сумлѣвайся. Мишка, подь ко мнѣ... о чемъ? спросилъ онъ, ощупывая ладонью лицо ребенка.

— Я... я... началъ, всхлипывая, мальчикъ: — я... я его не трогалъ...

— Стало, онъ?

— Онъ все меня бьетъ... продолжалъ мальчикъ, заливаясь слезами: — я его не трогалъ ничѣмъ... онъ давно дерется... Я все ничего не сказывалъ... да больно ужъ дерется...

— Что жъ это ты, братъ, не уйметь его? Я уйму, когда такъ! проговорилъ Фуфаевъ, и на лицѣ его въ первый разъ исчезла улыбка. Филиппъ только разсмѣялся.

— Эхъ ужъ эти курносые! погоди! подвернешься ко мнѣ въ сильныя руки, я те отжучу!... сказалъ Фуфаевъ, обращая рѣчь къ Стёпкѣ, скрывавшемуся за перегородкой; и, погладивъ по головѣ Мишку, прибавилъ весело: — полно, Мишутка, придетъ и его черёдъ: онъ тебя побилъ, и его побьютъ; наскочитъ!... Надо, братъ, привыкать: малъ бывалъ, корки ѣдалъ; вырастешь — кашу ѣсть станешь, да еще масляную.

Рѣчь его была прервана появленіемъ старухи, которая несла штофъ.

— Ай да тётка! молодца! Ей-Богу, женюсь на тебѣ! православно, женюсь! закричалъ окончательно-повеселѣвшій Фуфаевъ: — давай я разолью! присовокупилъ онъ, быстро протягивая руки и завладѣвая штофомъ: — ты, Верстанъ, у тебя руки невѣрны, какъ-разъ солгутъ, особливо коли себѣ наливать станешь... Тебя, братъ, мы не знаемъ; каковъ твой обычай, не вѣдаемъ, подхватилъ онъ, повертываясь къ Филиппу: — ты, можетъ-статься, другимъ только подливаешь — себя обижаешь... и это неладно... Мизгирь свидѣтель невѣрный: полушкой подкупить можно... Тётка невѣсть чью руку держитъ... Я разолью! У васъ глаза и мѣра на глазъ, у меня мѣрка настоящая, вѣрная — вотъ! заключилъ онъ, поднимая кверху указательный палецъ.

Взявъ стаканъ изъ рукъ старухи, онъ опустилъ въ него палецъ и, наливъ вино по самый край, подалъ его Верстану. Такимъ же порядкомъ налилъ онъ и Филиппу.

— Братцы! сказалъ онъ, принимая стаканъ отъ Филиппа: — у васъ глаза глядятъ, какъ собаки ѣдятъ; погляди-ка на старика: что какъ онъ, примѣрно, съ виду-то... хочетъ винца? Ну, такъ ужъ и быть! нальемъ ему!... На, Мизгирь, бери!... заключилъ Фуфаевъ, подавая ему стаканъ.

Старикъ прикоснулся уже было пальцами къ стакану, но Фуфаевъ этого только, видно, и ждалъ: онъ ловко отнялъ руку, отпилъ вина, приподнялъ стаканъ надъ головою и прокричалъ неистово-восторженнымъ голосомъ:

— Эхъ, запили заплатки, загуляли лоскутки! Веселись, значитъ, нищая братія!...

Послѣ этого онъ залпомъ допилъ вино, стукнулъ стакáномъ по столу, повернулся лицомъ ка старику и, принявъ молодецкую позу, залился во все горло...

VII.

Тѣсныя овстоятельства.

Облачный, багровый закатъ, въ которомъ наканунѣ сѣло солнце, оправдалъ, какъ нельзя лучше, предсказаніе мáрьинскихъ стариковъ; въ ночь поднялся вѣтеръ, и къ утру небо обложилось изъ края въ край зловѣщими облаками, которыя постепенно съуживалось и сгущались, приближаясь къ горизонту; дальняя линія горизонта казалась берегомъ бушующаго моря. Заря едва замѣтно пробивалась блѣдно-лиловыми полосами. Обманутый позднею темнотою утра, старый торгашъ поднялся на ноги позже, чѣмъ думалъ. Онъ разбудилъ Тимоѳея, и оба, оставивъ въ ригѣ спавшаго мальчика, направились къ избѣ. На дворѣ они встрѣтили Катерину и ея дочь, съ коромыслами на плечахъ и вальками; подлѣ прыгали три мальчугана съ дудкою въ одной рукѣ, съ коркою въ другой; тутъ же красовался Волчокъ, который дружелюбно моталъ своимъ кренделемъ и время отъ времени подхватывалъ на лету брошенный ему обломокъ хлѣба.

— Ну, прощай, хозяюшка! сказалъ старикъ, подходя ближе:— можетъ-статься, ужъ не увидимся; ссйчасъ запрягать стану. Спасибо зá хлѣбъ, зá соль...

— И-и, полно, родимый, словно ни вѣсть чѣмъ угощали! Я, чай, и легъ-то голодный... одного хлѣбушка поѣлъ!

— Значитъ, слышь, пуще благодарить надо... Въ такой тѣснотѣ живете и не пожалѣли; ужъ это значитъ добрая ваша дýша! ласково возразилъ старикъ, нахлобучивая шапку, макушка которой тотчасъ же съѣхала на сторону и приняла направленіе совершенно противоположное тому, куда наклонилась голова:—ну и я, того... не безстыжій какой, подхватилъ онъ:—пришелъ, примѣрно, поѣлъ, взялъ шапку и прочь пошелъ! тáкъ не приходится... особливо вашу тѣсноту видючи,. какъ вы, примѣрно, во всемъ нуждаетесь...

— Это ты о чемъ, родимый?

— Надо, примѣрно, чтобъ вамъ сошлось что-нибудь за хлопоты; а то какъ же? У васъ у самихъ ничего нѣтъ!...

— Что̀ ты, Христосъ съ тобою, дѣдушка! Намъ этого, что̀

ты говоришь, не надо... мы сами денегъ не давали, такъ, значитъ, и съ тебя брать не станемъ; ты объ этомъ не помышляй...

— Знаю... что жъ?... этого не надо, машинально проговорилъ Тимоѳей.

— Какъ же такъ, матушка?

— А такъ же, вѣстимо, какъ у добрыхъ у людей водится: охотой пустили тебя, да съ тебя же потомъ деньги брать — что́ ты!

— Всякому свое добро дорого.

— Коли такъ считаться, то мы у тебя въ долгу, дѣдушка!

— Какимъ манеромъ?

— Какъ есть въ долгу, подтвердилъ Тимоѳей, подымая брови.

— Ка́къ же такъ? спросилъ старикъ, обращаясь на этотъ разъ въ Лапшѣ.

Но Лапша сильно, казалось, затруднился отвѣтомъ; онъ опустилъ брови и вопросительно поглядѣлъ на жену.

— Одинъ платокъ, что́ вотъ ей далъ, сто́итъ втрое противъ того, что́ съѣлъ ты у насъ хлѣба-то! сказала Катерина, указывая на дочь: — да и другихъ моихъ ребятишекъ обдѣлилъ, всякаго чѣмъ-нибудь порадовалъ...

— Ну, ка́къ знаешь, хозяюшка! вымолвилъ старикъ. — А, слышь, промолвилъ онъ послѣ молчанія: — я, слышь, съ начатія-то, какъ вечоръ пришелъ къ вамъ, шибко въ тебѣ обознался, тётка... ей-Богу, право!... Теперича вижу только, какой ты есть, примѣрно, человѣкъ... Дай тебѣ Господь всякаго благополучія — и тебѣ, и дѣткамъ твоимъ!...

— Спасибо, кормилецъ; пошли и тебѣ Господь! Опять будешь въ нашихъ мѣстахъ, опять заѣзжай: мы завсегда тебѣ рады... Ну, прости, дѣдушка; намъ пора!...

Сказавъ это, Катерина подняла на плечо коромысло съ тряпьемъ, висѣвшимъ на обоихъ концахъ, дочь ея взяла вальки, и обѣ пошли къ воротамъ, напутствуемыя привѣтствіями дѣдушки Василья. Старикъ, не откладывая минуты, началъ готовиться въ путь. Тимоѳей, покашливая и покрякивая, принялся пособлять ему. Почти въ то же время въ заднихъ воротахъ показался старшій мальчикъ, оставленный въ ригѣ.

— А, ла́сковый! воскликнулъ старикъ, между-тѣмъ, какъ Волчокъ, окончательно уже развернувъ свой крендель, производилъ неистовые прыжки вокругъ мальчика: — ну, ла́сковый, ступай и ты подсоблять!

Вызовъ старика, очевидно, польстилъ ребенку, и, обрадованный случаю показать свою силу, онъ такъ дѣятельно принялся за дѣло, что оказался даже полезнѣе отца.

— Ты, дѣдушка, лошадку-то напоилъ? спросилъ онъ съ озабоченнымъ видомъ.

— Нѣтъ еще, касатикъ; у васъ колодезь-то недалеко отъ дому: напою, какъ выѣду. Что это у тебя, Тимоѳей, паренёкъ-то знатный какой! промолвилъ старикъ, добродушно посмѣиваясь и поглядывая на мальчика, суетившагося подлѣ лошади:—вишь бравый какой! намъ безъ него что бы тутъ дѣлать? какъ есть провозились бы до обѣда... молодецъ! право молодецъ!

Мальчикъ тряхнулъ волосами и съ самой озабоченной, серьезной миной побѣжалъ отворять ворота.

— Ну, а вы-то, молодцы, чего зѣваете? заговорилъ старикъ, поворачиваясь къ остальнымъ тремъ мальчуганамъ, смотрѣвшимъ во всѣ глаза на эти приготовленія:—садись на возъ! надо и вамъ подсоблять; безъ васъ дѣло не сладится! Садись, говорю, садись; полно зѣвать! заключилъ онъ, подсаживая кого на облучокъ, кого попросту сажая на кожу.

Тутъ между братьями началось-было маленькое несогласіе: каждый хотѣлъ завладѣть возжами и править лошадью; старикъ поспѣшилъ примирить ихъ: плотно обмотавъ возжи вокругъ облучка, онъ отдалъ концы двумъ мальчикамъ, а третьему поручилъ кнутъ; всѣ остались очень довольны.

— Дѣдушка, дай мнѣ, дай я проведу! закричалъ старшій мальчикъ, видя, что старикъ бралъ лошадь подъ уздцы:—дай, дѣдушка!

— Возьми, ласковый, возьми. Смотри только, въ воротахъ не зацѣпи...

— Нѣтъ, дѣдушка, не бойся, не зацѣплю! подхватилъ мальчикъ, отгоняя рукою Волчка, который подпрыгивалъ къ самому лицу его: — ужъ я, дѣдушка, знаю, проведу, небось; мнѣ не впервинку!...

Онъ подобралъ уздечку въ лѣвую руку, принялъ озабоченный видъ и, размахивая правою рукою, повелъ лошадь, преслѣдуемый лаемъ Волчка и возгласами братьевъ, которые разразились крикомъ и затрубили въ дудки, какъ-только возъ показался на улицѣ. При этомъ Тимоѳей, шедшій подлѣ, торопливо принялся дергать и тыкать пальцемъ ребятишекъ.

— Полно вамъ... цыцъ! д.... дряни этакія... Ну что кричите-

то?... перестань!... заговорилъ онъ, понижая голосъ и бросая въ то же время робкіе, боязливые взгляды во всѣ стороны улицы, гдѣ только находился народъ... .

Но Тимоѳей напрасно опасался. Хотя точно народа на улицѣ было довольно, но никто о немъ не думалъ; всеобщая забота состояла въ томъ, чтобъ скорѣе припречь лошадь въ соху и борону и отправиться въ поле. Тучи, замѣтно сгущавшіяся и затемнявшія небо, сырость, приносимая порывами вѣтра, ласточки, летавшія такъ низко, что задѣвали почти землю — все предвѣщало скорый дождикъ. Пахата недавно началась, и каждый спѣшилъ, слѣдовательно, кончить работу до ненастья; и безъ дождя поля не успѣли еще просохнуть; земля еще „мазалась“, какъ говорится. Приближеніе дождя побуждало къ дѣятельности почти всѣхъ безъ исключенія; мальчишки заранѣе засучивали штанишки выше колѣнъ и прыгали по травѣ, въ ожиданіи удовольствія прыгать въ лужахъ; бабы раскидывали холсты, предназначавшіеся для бѣленья; предусмотрительныя хозяйки спѣшили запасаться водою, которая могла замутиться послѣ дождя; другія шли съ тряпьёмъ и коромыслами къ пруду, сверкавшему вправо отъ деревни, между послѣдними избами и угломъ стараго барскаго сада; звонкая стукотня вальковъ возвѣщала, что бабы, въ числѣ которыхъ находились Катерина и ея дочь, усердствовали, не разгибая спины.

Появленіе Тимоѳея, сопровождавшееся скрипомъ воза, лаемъ Волчка, возгласами ребятишекъ и пискотнею дудокъ, едва удостоилось нѣсколькихъ взглядовъ. Но Тимоѳею довольно уже было того, что онъ вынужденъ былъ показаться на улицѣ; мысль, что вчера всѣ узнали о существованіи Филиппа, что Филиппъ послалъ ему поклонъ, что всѣ, имѣвшіе причины жаловаться на брата, снова припомнили теперь нанесенное имъ когда-то зло, и снова начнутъ приставать къ нему и вымещать на немъ свое неудовольствіе — мысль эта, не покидавшая бѣднаго Лапшу со вчерашняго вечера, приводила его въ крайнее замѣшательство. Во все время, какъ старикъ поилъ у колодца лошадь, онъ не посмѣлъ поднять головы, не посмѣлъ кашлянуть, самыя брови его оставались недвижны; какъ видно, онъ не старался даже ободрять себя. Когда старшій его мальчикъ снова взялъ лошадь подъ уздцы и повернулъ на дорогу возъ съ ребятишками, Тимоѳей поспѣшилъ стать между торгашомъ и возомъ; но сколько онъ ни корчился, сколько ни уничтожался, голова его все-таки приходилась выше воза и выше

головы торгаша. До сихъ поръ все шло, однакожъ, благополучно: никто не окликнулъ его; каждый, встрѣчаясь съ торгашомъ, который приподнималъ шапку, отвѣчалъ тѣмъ же и молча принимался за работу. Тѣмъ не менѣе, глаза Тимоѳея щурились и лицо его принимало разслабленное, жалкое выраженье каждый разъ, когда лаялъ Волчокъ, или когда который-нибудь изъ ребятъ, сидѣвшихъ на возу, дулъ въ дудку, или же когда старшій сынъ, въ припадкѣ усердія и дѣтской гордости, кричалъ уличнымъ ребятамъ, чтобъ они давали дорогу. Одинъ только обычай, требующій, чтобъ хозяинъ провожалъ своего гостя до околицы, или покрайней мѣрѣ до средины улицы, могъ вынудить Лапшу подвергнуть себя такой пыткѣ.

Дядя Василій, между-тѣмъ, разсѣянно глазѣлъ направо и налѣво, похваливалъ строеніе, лошадей, встрѣчавшихся по дорогѣ, и не переставалъ подымать тяжеловѣсную свою шапку.

— Тимоѳей! а Тимоѳей! глянь-кась, братъ, сказалъ онъ, толкая локтемъ сосѣда:—посмотри, кто это?... не управитель ли вашъ ѣдетъ? присовокупилъ онъ, кивая головою на всадника въ дубленомъ полушубкѣ, который неожидано повернулъ изъ-за угла крайней избы и показался у околицы.

Тимоѳей бросилъ робкій взглядъ въ ту сторону и тотчасъ же опустилъ голову.

— Нѣтъ, сказалъ онъ, двигая бровями и пожимая губами при каждомъ словѣ:—это изъ дворовыхъ... вечоръ въ городъ посылали... на почту: стало оттѣдова...

Всадникъ припустилъ рысью и проѣхалъ мимо; но почти въ ту же минуту подлѣ старика и Лапши послышался стукъ копытъ, и въ ушахъ того и другаго прозвучалъ знакомый голосъ:

— Здорово, дядя!... Лапша, куда ты?... ай гостя провожать вышелъ?... А я... я въ поле... Надыть попахаться до дождичка...

То былъ рябой мужичокъ, отличавшійся наканунѣ безпокойнымъ любопытствомъ и суетою; онъ сидѣлъ верхомъ на лошади и такъ немилосердно болталъ босыми ногами, что каждый разъ, какъ пятка его прикасалась къ рёбрамъ клячи, слышался глухой звукъ, и кляча фыркала и вздергивала голову; позади, дребезжа, подпрыгивая и подымая клубъ пыли, тащилась соха, обращенная сошникомъ кверху.

Старикъ поздоровался.

— Слышь, эй, Лапша! а вѣдь Филиппъ-то живъ! воскликнулъ неожиданно рябой мужичокъ.

Тимоѳей страшно замигалъ глазами и покосился на стороны, желая узнать, не было ли кого-нибудь по близости, кто бы могъ слышать неумѣстное восклицаніе; но онъ успокоился, увидѣвъ, что они приближались уже въ околицѣ.

— То-то, я чай, подивился ты, какъ узналъ о немъ! началъ снова рябой мужикъ:—мы всѣ думали, его давно ужъ и въ живыхъ нѣту... одинъ вѣдь только Пантелѣй кузнецъ... Эй, дядя! дядя! подхватилъ онъ вдругъ, принимаясь неистово болтать ногами и махать руками:—эй, пррр... мотри, за околицу зацѣпишь... Эй, Петрушка, держи лѣвѣй... ворочай налѣво лошадь-то... дергай ее лѣвѣй... такъ!

Онъ осадилъ назадъ и далъ имъ проѣхать околицу, послѣ чего выровнялся съ возомъ, который остановился.

— Ты, дядя, куда?

— Въ Чѣрнево; сказывали, есть такая деревня отъ васъ недалеко.

— Тебѣ, стало, надо прямо ѣхать въ гору. Тамъ перекрестокъ, часовню увидишь... ступай все прямо, а тамъ забирай все влѣво... а мнѣ сюда! довершилъ онъ, кивая головою направо:—прощай, дядя!

— Прощай, братъ!... сказалъ старикъ, провожая глазами рябаго мужика, который пустилъ рысью, разставивъ ноги, какъ птичьи крылья.—Ну, братъ, Тимоѳей, пора и намъ проститься! заключилъ дядя Василій, обратившись къ Лапшѣ, стоявшему съ опущенною головою и руками.

— Прости, касатикъ... вымолвилъ Тимоѳей со вздохомъ.

— Ты, я вижу, все объ томъ же... о чемъ вечоръ сокрушался, объ этомъ и ноньче! сказалъ старикъ:—полно, братъ, не хорошо! Ну, право же, не годится такъ-то... плюнь-ка ты, право, на пустыя ихнія словеса... этимъ нѣчего обижаться, а особливо, коли вины твоей нѣтъ никакой. Главная причина себя призирать надо да трудиться, вотъ что! А тамъ Богъ милостивъ! Обтерпись, говорю... право, обтерпись!

— Нѣтъ, ужъ силушки моей нѣтути, дядя. Терпѣли, терпѣли и конца этому не видимъ, возразилъ Тимоѳей, уныло поглядывая на деревню.

— Ему говори, а онъ все свое! произнесъ старикъ съ замѣтнымъ нетерпѣніемъ. — Эхъ, Тимоѳей, Тимоѳей! не видалъ, зна-

чить, ты настоящаго-то горя. Въ такой ли тяготѣ люди живутъ, да вѣдь терпятъ же! Значитъ, баловство одно, право-такъ. По душѣ говорю; потому, вижу, какой ты есь человѣкъ примѣрно, добрый и все такое... Ты бы хошь на жену на свою поглядѣлъ: что ты, что она—все единственно, горе-то у васъ одно, а все держится бодрѣе тебя, ей-Богу, бодрѣе, а еще баба! Человѣку дана, примѣрно, сила такая—да; надо собою владать, а не то, чтобы такъ, отъ всякой бездѣлицы опускаться... Ну, что хорошаго?... По душѣ говорю, потому, какъ я, примѣрно, человѣкъ старый, преклонный, видалъ много на-вѣку. Такъ не слѣдъ; право, не годится!... Ну, прощай, братъ; авось Господь приведетъ, свидимся, поправившись ты во всѣхъ дѣлахъ своихъ... а мнѣ пора... Слѣзай, ребятишки! Надыть до дождя поспѣть въ Чѣрнево... вишь какъ заволокло!

И точно, небо часъ-отъ-часу все сильнѣе нахмуривалось; утро давно уже началось, но окрестность и самая деревня окутывались какимъ-то полусумрачнымъ, синеватымъ свѣтомъ, напоминавшимъ осеннія сумерки. Не будь вѣтра, который разгонялъ облака, дождь, вѣроятно, давно бы полилъ ливмя.

— Ну, прощай, ласковый! сказалъ старикъ, обращаясь къ старшему мальчику, который особенно полюбился ему. Онъ обращался къ нему съ тою ласкою и привѣтливостью, съ какими обращался къ его матери, особенно послѣ того, какъ съ нею ознакомился.—Прощай, паренёкъ! Опять пріѣду, опять привезу гостинецъ... ну и Костюшкѣ привезу... и всѣмъ! заключилъ старикъ, вторично наклоняясь къ старшему, чтобъ погладить его по головѣ, и давая этимъ движеніемъ шапкѣ своей случай съѣхать на самый затылокъ.

Распрощавшись вторично съ Тимоѳеемъ, старикъ взмостился на облучокъ, тронулъ возжами и началъ подниматься въ гору. Время-отъ-времени онъ оборачивался къ околицѣ, и всякій разъ движеніе это сопровождалось возгласами мальчиковъ, которые слѣдили за нимъ глазами. Что жъ касается до Лапши, онъ сохранялъ то же самое положеніе, съ какимъ выслушивалъ наставленіе старика; свѣсивъ руки, опустивъ голову, онъ не трогался съ мѣста и смотрѣлъ на землю съ выраженіемъ человѣка, котораго ни за что, ни про что обидѣли.

И въ самомъ дѣлѣ, не грѣхъ ли было дядѣ Василью намекать ему о трудѣ, о необходимости подкрѣплять себя духомъ? не грѣшно ли было совѣтовать взяться за дѣло и пренебречь пустыми

толками, тогда какъ Лапша ждалъ только заступничества и оправданія въ настоящемъ своемъ положеніи?... Но, съ другой стороны, какъ могъ знать дядя Василій, что лучшими радостями Лапши было то, когда о немъ громко жалѣли или начинали съ нимъ заодно вздыхать и охать?... Оправдать разстройство его безпутнымъ поведеніемъ брата, мірскими гоненіями, людскою злобой и несправедливостью — значило навѣрное осчастливить Лапшу на нѣсколько дней; онъ ходилъ тогда съ высоко-приподнятыми бровями, выказывалъ даже меньше покорности и снисхожденія въ обращеніи съ женою и всѣхъ винилъ и бранилъ, выставляя собственную правоту свою. Онъ очевидно обманулся въ старикѣ. Мысли его устремлялись также къ предстоящему возвращенію на улицу. Съ нѣкоторыхъ поръ, шурившіеся глаза его чаще обращались къ деревнѣ и переходили отъ одной группы мужиковъ къ другой; изба Тимоѳея приходилась почти посрединѣ правой стороны улицы; не было никакой возможности обогнуть задами: вправо отъ околицы шли огороды, примыкавшіе къ оврагу; слѣва шла полевая дорога, куда выходили гумны крайнихъ къ околицѣ избъ; за ними тянулся скотный дворъ, службы, а потомъ садъ, непосредственно примыкавшій къ пруду.

— Бàтя, пойдемъ! дѣдушка уѣхалъ; вонъ ужъ и не видать совсѣмъ, сказалъ Петя, когда, наконецъ, макушка шапки на головѣ дяди Василья болтнулась еще разъ надъ горизонтомъ и скрылась.

Тимоѳей повернулся къ деревнѣ и, боязливо посматривая впередъ, направился къ околицѣ, куда успѣли уже вбѣжать ребятишки. Отецъ крикнулъ-было, чтобъ они шли за нимъ, но, какъ нарочно, въ эту самую минуту пучеглазый Костюшка приставилъ дудку къ губамъ; братья мгновенно послѣдовали его примѣру, и всѣ трое огласили улицу звонкою трелью. Вторичное появленіе Лапши совершилось такимъ образомъ еще торжественнѣе, чѣмъ въ первый разъ. Онъ началъ браниться и звать ребятъ, но сдѣлалъ еще хуже: услышавъ его голосъ, ребятишки побѣжали къ нему на встрѣчу и задудили еще звонче.

— Прочь пошли, окаянные! крикнулъ онъ, отгоняя ихъ, кромѣ Петруши, впрочемъ, который смирно шелъ подлѣ:—прочь пошли!... Вотъ я васъ! домой, пострѣлы! заключилъ онъ, бросая вокругъ себя растерянные взгляды.

На этотъ разъ было точно чего опасаться: пронзительные звуки дудокъ заставили приподнять голову плѣшиваго старика, изъѣденнаго оспой и покрытаго веснушками; до того времени, онъ сми-

ренно стоялъ спиною къ улицѣ и чинилъ бо́рону. Пробираясь къ избѣ, Лапша издали еще съ особенною неловкостью косилъ на него глазами.

— Лапша, по̀дь-ка, братъ, сюда! прохрипѣлъ старикъ, прикладывая ладонь ко лбу.

Смущеніе Тимоѳея смѣнилось истиннымъ страхомъ, когда, поднявъ глаза, увидѣлъ онъ кузнеца Пантелѣя, который приближался въ ихъ сторону. Въ минуты, подобныя той, какую испытывалъ Лапша, когда нѣтъ ужъ возможности пуститься въ бѣгство, люди, смотря по характеру своему, поступаютъ обыкновенно слѣдующимъ образомъ: они или стряхиваютъ съ себя робость и идутъ смѣло, напроломъ, или принимаютъ видъ крайней озабоченности, или же, наконецъ, стараются придать своей физіономіи, по возможности, жалкій видъ съ цѣлью возбудить состраданіе противника и смягчить его сердце. Тимоѳей прибѣгнулъ къ послѣднему способу и, вѣроятно, самому неудачному: рябое лицо плѣшиваго старика хотя и не было злобно, но изобразило скорѣе досаду, чѣмъ умиленіе.

— Тимоѳей, что̀ жъ ты? Вѣдь ужъ святая прошла: долголи намъ ждать-то? а? сказалъ онъ, пристально устремляя зрачки на Лапшу, который топтался, какъ гусь, и робко поглядывалъ то на собесѣдника, то на приближавшагося къ нему кузнеца: — да ты полно, братъ, кашлять-то; только заминаешь... говори, когда деньги отдашь?

— Не справились... обожди, Карпъ Иванычъ, проговорилъ Тимоѳей, раскисляясь.

— Какъ же не справились? Вѣдь ты клялся, божился, говорилъ, на Святой отдашь...

— Не справились, Карпъ Иванычъ! могъ только произнести Лапша.

— Такъ что̀ жъ это ты, безстыжая твоя голова, долго ль станешь такъ-то водить? промолвилъ старикъ: — та̀къ развѣ дѣлаютъ? а?... Была надобность — пришелъ, говорилъ, черезъ недѣлю отдамъ, а теперь каждый разъ только и слышишь: не справился!... Вотъ, братецъ ты мой, Пантелѣй, вотъ суди ты: люди-то какіе! подхватилъ онъ, обращаясь къ подошедшему кузнецу: два года назадъ, денегъ забралъ, а теперь отнѣкивается...

— Я ра̀зи отнѣкиваюсь? сказалъ Тимоѳей, забывшій, повидимому, совершенно о своемъ мальчикѣ, который внимательно, между-

тѣмъ, прислушивался къ каждому слову и переносилъ любопытные, живые глаза отъ Карпа къ отцу, отъ отца къ кузнецу.

— Все одно, не отдаешь, на то же выходитъ!

— Они и все такъ-то! перебилъ кузнецъ, сурово нахмуривая брови: — какъ братъ его мошенничалъ, такъ и этотъ, все единственно... такой ужъ родъ ихній! къ тому же, видно, и щенка своего пріучаетъ...

— Анъ нѣтъ, не щенокъ! возразилъ мальчикъ, наклоняя на бокъ голову.

Лапша хотѣлъ что-то сказать, но Пантелѣй не далъ ему произнести слова:

— Что съ нимъ разговаривать, дядя Карпъ! сказалъ онъ, презрительно кивая головою: — вотъ теперича я съ барскаго двора; сказывали, господа ѣдутъ: обожди, пока пріѣдутъ, сходи-ка, пожалуйся... одинъ конецъ, а то что съ нимъ разговаривать....

Вѣсть о пріѣздѣ господъ нѣсколько отвлекла старика отъ Тимоѳея, и онъ спросилъ:

— Вѣрно ли ѣдутъ?

— Точно; сейчасъ Алексѣй съ почты вернулся: письмо, сказываютъ, прислали... А то разговаривать еще сталъ! подхватилъ кузнецъ, взглядывая съ ненавистливымъ презрѣніемъ на Лапшу: — стоитъ ли онъ, чтобъ съ нимъ еще разговаривать? Разскажи обо всемъ господамъ: они сократятъ ихъ. Да у него, Карпъ Иванычъ, ты не вѣрь ему, у него и деньги есть! продолжалъ Пантелѣй: — онъ нищенкой только прикидывается, глаза отводитъ... Они заодно вѣдь съ братомъ воровали... и теперь промежь себя знаются...

— Пантелѣй! Богу ты отвѣчать станешь! воскликнулъ Лапша: — али я тебѣ какое зло сдѣлалъ? али супротивное слово сказалъ? Братъ лошадей увелъ у тебя — точно, опять я этому не причиненъ...

— Толкуй, разсказывай сивой кобылѣ, она развѣ повѣритъ? съ грубымъ смѣхомъ возразилъ кузнецъ: — вишь какимъ смирнячкомъ прикидывается — поди ты!... Знамо, вы заодно съ братомъ дѣйствуете, злобно подхватилъ онъ... Вечоръ еще поклонъ послалъ — такъ какъ же, коли не заодно?... Постойте, дайте пріѣхать господамъ: обо всемъ имъ скажутъ, обо всѣхъ дѣлахъ вашихъ; все на виду окажется, васъ разберутъ тогда, кто къ чему принадлежитъ. Може-статься, и того еще потащутъ, кто поклонъ-то возилъ; далеко не уѣдетъ... изъ вашей же, можетъ, шайки, такой же мошенникъ этотъ старикъ-отъ!...

— Анъ нѣтъ, не мошенникъ! не мошенникъ! подхватилъ мальчикъ, выставляя впередъ кудрявую свою голову.

— Ты что, щенокъ?

— Анъ нѣтъ, не щенокъ! Сами ребята твои щенки... а дядя Василій не мошенникъ! сказалъ мальчикъ.

— Молчи! пришибу!

— Не смѣешь! сказалъ мальчикъ съ такимъ смѣлымъ видомъ, какого отецъ во всю жизнь не посмѣлъ выказать.

Пантелѣй сдѣлалъ шагъ впередъ; мальчикъ прижался плечомъ къ отцу, но принялъ оборонительную позу; личико его разгорѣлось, брови выгнулись, глаза сверкали; въ эту минуту мягкія черты лица его, дѣлавшія его нѣсколько похожимъ на Тимоѳея, какъ-бы исчезли и смѣнились одушевленными, энергическими чертами матери. Пантелѣя, конечно, не остановили бы ни смѣлость мальчика, ни робкое заступничество Лапши, если бъ не удержалъ его заблаговременно Карпъ Ивановичъ. Во все время предыдущаго разговора Карпъ гладилъ свою лысину и о чемъ-то раздумывалъ.

— Полно, Пантелѣй, не замай! сказалъ онъ, приближаясь къ Лапшѣ:—такъ какъ же, Тимоѳей? а? надо рѣшить чѣмъ-нибудь... Есть деньги—отдай лучше до грѣха; право, отдай. Нѣтъ—я господамъ стану жаловаться. Коли до завтра не принесешь шесть съ гривной—сколько взялъ, ей-Богу, не сойти съ этого мѣста, къ господамъ пойду. Это послѣднее мое слово; стало, и дѣлу всему конецъ! заключилъ Карпъ, поворачиваясь къ Пантелѣю, глядѣвшему торжествующими глазами на сокрушеннаго Лапшу.

Тимоѳей, котораго давно уже тащилъ мальчикъ, медленно повернулся къ нимъ спиною и, тяжко покашливая, поплелся къ избѣ своей. Но едва сдѣлалъ онъ нѣсколько шаговъ, какъ снова услышалъ свое имя:

— Лапша!

Голосъ выходилъ на этотъ разъ изъ-подъ воротъ, расположенныхъ на одной линіи съ воротами Тимоѳея.

— Лапша! повторилъ голосъ, и вслѣдъ затѣмъ изъ-подъ воротъ выставилась долговязая фигура желтоватаго Морея, принимавшаго вчера участіе въ бесѣдѣ съ торгашомъ.

— Что жъ ты мнѣ крупу-то когда отдашь? началъ Морей довольно снисходительно, и вдругъ, совершенно нежданно, какъ-будто съ этою мыслью о крупѣ ему понали въ грудь раскаленные уголья, онъ замахалъ длинными руками, затопалъ ногами и раз-

разился крупной бранью. Тимоѳей стоялъ понуря голову и слушалъ; жалкое, болѣзненное лицо его сохраняло выраженіе, какъ будто къ нему въ ухо нечаянно залетѣлъ комаръ и онъ внимательно прислушивался къ его жужжанью.

— Да, взялъ, такъ отдавай! А то что жъ хорошаго: взялъ— не отдаешь! Ничего хорошаго нѣтъ. Мы сами крупой-то скучаемъ, самимъ надобно, подхватилъ Морей, переходя также неожиданно на снисходительный тонъ.

— Пойдемъ, батя, пойдемъ! сказалъ мальчикъ, цѣпляясь за рукавъ отца и притягивая его къ дому.

— Пойдемъ? Нѣтъ, стой, погоди! скажи прежде, когда крупу отдашь? Стой! когда крупу? воскликнулъ Морей и снова, какъ помѣшанный, замахалъ кулаками, затопалъ ногами и такъ сильно затрясъ головой, что желтые его волосы совершенно закрыли ему лицо.

Этимъ бы, безъ сомнѣнія, ни кончилось объясненіе, если бъ Морей не былъ вдругъ развлеченъ суматохою, поднявшеюся на противоположномъ концѣ улицы. Причиной суматохи былъ, казалось, староста, который говорилъ о чемъ-то съ одушевленіемъ. Гнѣвъ Морея какъ рукой сняло; онъ выпрямился, откинулъ волосы, устремилъ глаза въ ту сторону, гдѣ былъ староста, и забылъ повидимому о должникѣ. Тимоѳей воспользовался случаемъ и торопливо заковылялъ къ дому. Почти противъ воротъ своихъ онъ встрѣтился со старостой.

— Ступай, шевелись, метлу бери—на барскій дворъ... бабъ гони со скребками... ребятъ посылай... дорожки въ саду прочищать... дворъ мести! произнесъ староста, спѣшно бросая слова направо и налѣво:—гони, посылай, скорѣй... Господа послѣзавтра ѣдутъ. Скорѣй всѣ на красный дворъ—живо! пошевеливайся!

Но скорость и быстрота движеній не даны были, какъ уже извѣстно, въ удѣлъ Лапшѣ. Пока доплелся онъ до воротъ, староста успѣлъ уже достигнуть конца деревни, бросая попрежнему направо и налѣво: „метлу бери... гони ребятъ... бабъ высылай... скреби... на красный дворъ... господа ѣдутъ...“

Спустя, однакожъ, минутъ десять, на улицѣ снова показался Тимоѳей, и появленіе его совершилось чуть ли еще не торжественнѣе, чѣмъ въ первые два раза: впереди скакалъ пучеглазый Котошка съ дудкою въ зубахъ; за нимъ бѣжали два маленькіе брата; за ними бодро выступали Катерина, ея дочь и Петя со скребками

на плечахъ. Позади всѣхъ, припадая съ ноги на ногу и покашливая, тащился Лапша, влача за собою тоненькую, жиденькую метлу, на которой, казалось, меньше еще было прутьевъ, чѣмъ волосъ на плѣшивой головѣ Карпа Ивановича.

VIII.

Барскій домъ. Управитель. Пѣснь Лазаря.

Старинный барскій садъ не примыкалъ къ деревнѣ, какъ это казалось издали; между нимъ и послѣдними избами лѣвой стороны находилось порядочное пространство, но его скрадывала перспектива. Мѣсто было такъ велико, что даже вмѣщало въ себѣ многочисленныя постройки. Сначала тянулся валъ, обсаженный крестъ-на-крестъ вѣтлами; потомъ шло длинное зданіе скотнаго двора, которое можно было принять за худо-оштукатуренную и еще хуже выбѣленную стѣну, если бъ не попадались мѣстами узенькія полукруглыя окна, съ выбитыми, впрочемъ, стеклами. Потомъ должно было пройти мимо небольшаго участка земли, отданнаго дворовымъ людямъ. Тутъ, на пространствѣ десяти саженъ, возникала маленькая, но чудовищно-безобразная колонія, состоящая изъ кривыхъ, слѣпыхъ и косыхъ клѣтушекъ, сдѣланныхъ изъ тёса, драни, плетня, рогожи, которыя лѣзли другъ на дружку, цѣплялись крышками и углами... Въ общей сложности, все это представлялось фантастическимъ лабиринтомъ, въ которомъ ноги вязли въ грязи, голова стукалась о выступающіе углы или путалась въ развѣшенномъ на шестахъ тряпьѣ; дыханіе стѣснялось отъ духоты, носъ чихалъ, а слухъ наполнялся квактаньемъ курицъ, блеяньемъ овецъ и тёлокъ. Клѣтушки прерывались кирпичнымъ флигелемъ, гдѣ помѣщалась контора и гдѣ жилъ управитель; здѣсь уже начиналась ограда изъ каменныхъ столбовъ; приближаясь къ саду, она превращалась постепенно въ частоколъ, потомъ въ плетень, который огибалъ всю часть сада, виднѣвшуюся изъ деревни.

Попасть на барскій, или красный дворъ, какъ преимущественно называли его крестьяне, можно было не иначе, какъ черезъ большія ворота, расположенныя по срединѣ ограды, между флигелемъ и садомъ. Два каменные столба съ карнизами и выступами, частью обвалившимися, обозначали въѣздъ: на верхушкѣ одного изъ нихъ виднѣлся еще остовъ исполинскаго желѣзнаго фонаря; макушка

другаго украшалась только желѣзнымъ шпилемъ и пучками бѣлесоватой травы, изъ которой дѣлаютъ метёлки для чищенья платья. Зданія, окружающія дворъ, носили также признаки запустѣнія; нѣкоторыя были каменныя и даже съ колоннами; но крыши были большею частью соломенныя. Это послѣднее обстоятельство всегда сильно сокрушало управителя, добродушнѣйшаго и добрѣйшаго старика. Въ письмахъ своихъ къ барину онъ всякій разъ упоминалъ о необходимости употребить сумму на ремонтъ, но всякій разъ получалъ только изъявленіе благодарности за усердіе, и вслѣдъ затѣмъ требованіе о наивозможно скорѣйшей высылкѣ денегъ. Ремонтъ откладывался съ году на годъ.

Самая тѣнистая часть сада занимала, вмѣстѣ съ барскимъ домомъ, всю правую сторону двора. Домъ поражалъ своею огромностью; онъ былъ деревянный, въ три этажа съ длинными флигелями по бокамъ, соединявшимися съ главнымъ корпусомъ крытыми галлереями, которыя подпирались колоннами. Внутренній видъ комнатъ невольно заставлялъ думать, какъ, откуда, какимъ способомъ дѣды и прадѣды старыхъ фамилій доставали столько денегъ, и какъ все, что ни строили они, превосходитъ размѣрами, прочностью и даже изяществомъ все, что теперь строится въ томъ же родѣ... Марьинскій домъ построенъ былъ дѣдомъ настоящаго владѣльца, и построенъ съ тѣмъ только, чтобы проживать въ немъ два-три лѣтніе мѣсяца; а между-тѣмъ вы бы нашли тутъ массивную дубовую лѣстницу съ вычурными точеными балясами, которая одна могла стоить инаго современнаго помѣщичьяго дома; нашли бы дорогіе обои, съ изображеніемъ миѳологическихъ богинь, гирляндъ и храмовъ, огромныя изразцовыя печи, покрытыя голубыми разводами и украшенныя колонками, галереями, впадинами и переходами. Комнаты оставались почти тѣми же, какими были въ то время, когда ихъ отдѣлали: вдоль стѣнъ возвышались полновѣсные золоченые стулья съ овальными спинками, обтянутыми штофомъ; въ углахъ стояли брюхастые комоды, выложенные бронзой, костью и цвѣтнымъ деревомъ; рѣзное дерево почти всюду замѣняло дешевую лѣпную работу; въ гостиной, устроенной въ родѣ ротонды, окруженной низкими диванами и украшенной высокимъ каминомъ, до-сихъ-поръ еще висѣла люстра съ плоскими граненными стеклышками, съ большимъ хрустальнымъ шаромъ внизу и голубымъ фарфоровымъ столбикомъ посрединѣ. Зала, оштукатуренная подъ розовый мраморъ, съ голубыми колоннами и

хорами, проходила черезъ весь домъ и занимала его средину; одна дверь отворялась на парадную лѣстницу, другая въ садъ. Съ этой стороны шли вправо и влѣво маленькія комнаты; тутъ находились: диванная, образная, боскетная. Густая зелень липъ и акацій, заслонившая теперь окна сверху до низу, сообщала всей этой половинѣ мрачный полусвѣтъ; иконы, которыми увѣшаны были стѣны образной, едва-едва выступали изъ мрака; кой-гдѣ развѣ, случайно продравшись между листьями, тонкій лучъ свѣта задѣвалъ ризу или дробился въ серебряныхъ жолобкахъ богато-чеканеннаго оклада. Сквозь маленькія четыреугольныя стекла дубоваго шкапа съ трудомъ можно было различать остатки богатаго сервиза, чашки съ медальонами, блюда, исполинскіе кубки богемскаго стекла съ вензелями и крышками. Кое-гдѣ на стѣнахъ попадались картины, писанныя красками и пастелью; послѣднія имѣли большею частью овальную форму, но всѣ безъ исключенія изображали прадѣдовъ въ бородахъ и безъ бородъ, въ панцыряхъ и шитыхъ кафтанахъ, или бабушекъ въ шубейкахъ и бисерныхъ глазетовыхъ кокошникахъ, въ фижмахъ, или опутанныхъ кисеею, съ полумѣсяцемъ надъ головою и колчаномъ за плечами. Всѣмъ этимъ предметамъ, покрытымъ пылью и паутиной, стоявшимъ, висѣвшимъ и лежавшимъ лѣтъ семьдесятъ безъ употребленія, суждено было наконецъ увидѣть свѣтъ Божій. Это случилось въ то самое утро, когда Лапша, провожая за околицу дѣдушку Василья, встрѣтилъ посланнаго изъ города.

Въ настоящую минуту окна и двери во всемъ домѣ были настежь отворены. По всѣмъ комнатамъ бродили бабы съ тряпьёмъ и ушатами; дворовыя женщины и мужчины бѣгали въ запуски съ мочалками и длинными, круглыми щетками, весьма похожими на головы, у которыхъ волосы стали вдругъ дыбомъ. Въ верхнихъ этажахъ слышались говоръ и топотъ; на внутреннихъ лѣстницахъ раздавались торопливые шаги, потрясавшіе ступени. Къ этому примѣшивался шумъ нѣсколькихъ десятковъ метелъ и скребковъ, скоблившихъ давно-заросшія садовыя дорожки. На дворѣ происходила такая же точно суета, если еще не больше.

Съ лицевой стороны дома, почти въ каждомъ окнѣ нижняго этажа, сидя или стоя на подоконникѣ, торчала баба, вооруженная чашкой и мочалкой; человѣкъ въ жилетѣ, надѣтомъ сверхъ ситцевой рубашки, стоялъ на высокой лѣстницѣ, приставленной къ стѣнѣ, и, мокая длинную кисть въ ведро, висѣвшее на веревкѣ,

спѣшно замазывалъ тѣ части, гдѣ проглядывалъ кирпичъ; на противоположномъ концѣ два мужика страшно стучали молоткомъ, приколачивая ставень. По всѣмъ направленіямъ краснаго двора бродили растрепаннымъ строемъ бабы, мужики и ребята съ граблями, лопатами и метлами; телѣга, наполненная соромъ и щепками, показывала, что она не уступала въ дѣятельности лицамъ, наполнявшимъ садъ и внутренность дома. Словомъ, какъ дворъ, такъ и „хоромы“ представляли самую оживленную картину, все двигалось и суетилось; работа кипѣла даже на самыхъ границахъ двора: чинили плетни, подмазывали фундаментъ, красили ограду. Послѣдняя работа подвигалась, надо сказать, несравненно-медленнѣе другихъ: сверхъ-того, что ею занимался одинъ только человѣкъ, но и этотъ человѣкъ работалъ съ очевиднымъ неудовольствіемъ. Наружность маляра, одѣтаго въ истасканный халатъ и такіе же башмаки, сохраняла во все время самый нахмуренный, несообщительный видъ; онъ не столько дѣйствовалъ кистью, сколько ворчалъ, и не столько красилъ, сколько сердито тыкалъ кистью въ мѣста, требующія поправки. Это особенно случалось всякій разъ, какъ поблизости раздавался голосъ управителя, или самъ онъ показывался на дворѣ. Тыканье маляра принимало тогда осиплый характеръ, какъ-будто онъ хотѣлъ сказать: „на же тебѣ! на, на, когда такъ!“

Нельзя сказать, однако, чтобъ наружность управителя могла внушать враждебное чувство или даже опасеніе. Это былъ маленькій, сухопарый старичокъ хлопотливаго, озабоченнаго вида, съ маленькимъ, краснымъ лицомъ, выражавшимъ самую безвредную суетливость. Волосы его, обстриженные подъ гребенку, были бѣлы, какъ снѣгъ; голову держалъ онъ нѣсколько на-бокъ и носилъ серёжку въ лѣвомъ ухѣ. Несмотря на глухую деревенскую жизнь, располагающую къ распущенности, никто никогда не видалъ его иначе, какъ въ синемъ чистомъ сюртукѣ, такомъ же жилетѣ и галстукѣ, который онъ преимущественно носилъ всегда бѣлаго цвѣта. Никто не слыхалъ также, чтобъ Герасимъ Аѳанасьевичъ (такъ звали его) употреблялъ худыя слова или вообще велъ себя непристойно. Сейчасъ видно было, что онъ принадлежалъ къ числу слугъ истинно-барскаго дома и былъ даже однимъ изъ самыхъ приближенныхъ. Испытывая на себѣ постоянно учтивое, ласковое обращеніе (истинные господа всегда учтивы и ласковы съ людьми), такого рода слуги сами невольно дѣлаются учтивыми и приличными. Герасимъ Аѳанасьевичъ переживалъ уже второе по-

колѣніе въ семействѣ господъ своихъ. Онъ представлялъ совершеннѣйшій типъ тѣхъ вѣрныхъ, преданныхъ слугъ, которые подъ старость дѣлаются какъ-бы членами барскаго семейства, добровольно превращаются въ нянекъ, страшно балуютъ дѣтей и пользуются, по всей справедливости, неограниченнымъ довѣріемъ. Если Герасимъ Аѳанасьевичъ не остался въ домѣ, это произошло единственно потому, что старый баринъ, отецъ нынѣшняго, уговорилъ его уѣхать на родину покоить старыя свои кости.

Управленіе Мàрьинскимъ не было сопряжено съ большими хлопотами. Мàрьинское было на оброкѣ; слѣдовательно, дѣла управителя ограничивались собираніемъ оброка и отправкою денегъ въ Петербургъ; съ хлѣбопашеннымъ хозяйствомъ онъ бы и не справился. Въ полевыхъ работахъ Герасимъ Аѳанасьевичъ ни до чего „не доходилъ“, какъ выражались сами крестьяне. Вся работа его сосредоточивалась на домѣ; старанія его устремлялись къ тому только, чтобъ домъ сохранилъ по возможности барскій видъ: „по крайней мѣрѣ, если спроситъ проѣзжій, чей домъ, чтобъ безъ стыда можно было сказать; пускай думаетъ: вотъ, дескать, какъ настоящіе-то господа живутъ!“ Легко представить себѣ, въ какое смущеніе приводили старика развалившіяся колонны и соломенныя крыши; но хлопоты его о поправкѣ всего этого оставались, какъ уже сказано, безполезными. Нечего, конечно, и говорить, что старикъ не помышлялъ даже о какихъ-нибудь доходахъ для себя собственно; онъ не проживалъ даже получаемаго жалованья — нѣкуда было. Единственными расходами его были: свѣчка въ церковь да сѣмя на чижей и всякихъ птицъ, до которыхъ онъ былъ страстный охотникъ. Нельзя же старому холостяку, да еще деревенскому жителю, существовать безъ какой-нибудь привязанности! Вы непремѣнно нашли бы въ его комнатѣ во всякое время года до десяти клѣтокъ. Въ настоящую минуту все, однакожъ, было забыто — и пташки, и клѣтки. Съ тѣхъ поръ, какъ Герасимъ Аѳанасьевичъ находился въ Мàрьинскомъ—этому скоро девять лѣтъ—никто изъ помѣщиковъ ни разу туда не являлся. Теперь вдругъ разомъ всѣ собрались: и баринъ, и барыня, и дѣти. Изъ письма, полученнаго утромъ, значилось, что всѣ ѣхали въ деревню провести весну, лѣто и даже часть осени.

Въ это утро Герасимъ Аѳанасьевичъ сдѣлалъ, конечно, болѣе десяти верстъ, бѣгая по одному только двору. Сѣдая голова его появлялась почти въ одно время во всѣхъ окнахъ огромнаго дома, и

голосъ его, ободрявшій рабочихъ, неумолкаемо раздавался въ саду, въ комнатахъ и во всѣхъ концахъ двора. До пріѣзда оставалось еще два дня, но старикъ торопился, боясь дождя, который грозилъ съ минуты на минуту оборваться съ неба. Появляясь на дорогѣ дома, управитель всякій разъ съ безпокойствомъ поглядывалъ на сизыя облака, и всякій разъ, дѣлая видъ, будто не замѣчаетъ крупныхъ капель, которыя падали ему на носъ, съ удвоенною суетливостью обращался къ работникамъ:

— Ну-ка, братцы, не зѣвай, не зѣвай! половину ужъ дѣла сдѣлали—молодцы!... Софронъ, вонъ тамъ щепку забылъ, подбери поди—нехорошо. Дружнѣй, ребята, дружнѣй! надо убраться до дождя; время и безъ того мало: дождикъ пойдетъ—не успѣемъ.

— И безъ того ужъ давно каплетъ, Герасимъ Аѳанасьичъ, замѣтилъ, осклабляясь, молодой парень.

— Гдѣ?... развѣ идетъ? Это такъ! подхватилъ управитель, торопливо снимая пальцемъ каплю съ кончика носа: — а что за бѣда, если и идетъ? пускай его! Не сахарные, не растаемъ. Ну-ка-сь, братцы, полно, полно! Надо такъ сдѣлать, чтобъ заслужить отъ господъ благодарность. Видите, какую они намъ честь дѣлаютъ, что къ намъ ѣдутъ! Мало ли у нихъ вотчинъ-то, а небось въ Мàрьинское собрались: это значитъ насъ любятъ! Ну, живо! живо!

И Герасимъ Аѳанасьевичъ, чтобъ не получить замѣчанія о дождѣ, который не на шутку начиналъ падать, поспѣшно удалился въ другую сторону; шелъ къ скотному двору, обходилъ службу, появлялся въ домѣ или направлялся къ старому маляру, который тотчасъ же принималъ мрачный видъ и начиналъ тыкать своимъ помазкомъ въ рѣшетку. Наконецъ дождь такъ усилился, что самъ Герасимъ Аѳанасьевичъ убѣдился въ невозможности продолжать работу.

— Ну, братцы, дѣлать нечего; такъ, знать, Богу угодно! сказалъ онъ, снова появляясь на серединѣ двора. — Вотъ что, ребята, погодите-ка на минуту: бабы пускай идутъ по домамъ, а вы постойте; надо намъ кой-о-чемъ переговорить. Эй, сходи кто нибудь за тѣми, которые въ саду работаютъ, зови сюда, скорѣе! заключилъ старикъ, принимаясь почесывать переносицу и расхаживая съ озабоченнымъ видомъ мимо собравшихся въ кучу мужиковъ.

Немного погодя, изъ саду показалась другая толпа также съ граблями и скребками; всѣ обступили полукругомъ управителя.

— Вотъ, братцы, началъ онъ, весело оглядывая присутствовавшихъ:—господа дѣлаютъ намъ великую честь, къ намъ ѣдутъ. Смотрите же, братцы, держать себя какъ можно въ аккуратѣ: ни пьянства чтобъ этого не было, ни шума, ни шалостей никакихъ: господа этого не любятъ, оборони помилуй! Вотъ еще о чемъ я вамъ хотѣлъ сказать: вотъ вы теперь молчите, а пріѣдутъ господа, полѣзете къ нимъ со всякимъ вздоромъ—ужъ это безпремѣнно... это нехорошо, и господамъ будетъ не въ удовольствіе. Такъ вотъ что́, братцы: если у кого есть теперь просьбы какія, недостатки или жалобы, лучше теперь говорите, потому, главная причина, не надо этимъ господъ безпокоить... Если въ чемъ самъ не смогу помочь, не въ моей будетъ власти, скажите только, все-равно, я господамъ передамъ. Вы меня знаете: значитъ, вѣру можете дать; ужъ я этого никакъ не сдѣлаю, чтобъ, примѣрно, прійдетъ кто изъ васъ да скажетъ: то-то и то-то, а я пошелъ бы, примѣрно, къ господамъ, да сказалъ другое... это ужъ на что́ хуже! Главная причина, не надо самимъ вамъ ходить, не надо господъ безпокоить—вотъ что́!

— Знамо негодится, на что жъ ходить? Мы сами знаемъ! послышалось съ разныхъ концовъ толпы.

— Ну то-то же! объ томъ и я говорю, братцы, что нехорошо, подхватилъ Герасимъ Аѳанасьевичъ, поглаживая ладонью мокрую голову (дождикъ усиливался съ каждой минутой):—такъ если у кого надобность есть, говорите теперь, добавилъ онъ, отступая шагъ и закидывая руки за спину.

Съ самаго начала этой рѣчи нѣсколько мужиковъ протискались впередъ; въ числѣ ихъ особенно бросался въ глаза долговязый, желтоголовый Морей. Съ послѣдними словами управителя, онъ неожиданно замахалъ руками и заговорилъ скороговоркою:

— Вели крупу отдать, Герасимъ Аѳанасьичъ! Тимоѳей Лапша взялъ—не отдастъ! Я и то господамъ хотѣлъ жаловаться. Спроси у любаго — сами нуждаемся; вели отдать.

— Да ты толкомъ говори, не разберешь никакъ. Какая крупа?

— Лапша, то есть такъ прозывается, Лапша взялъ... самимъ надобно, подхватилъ-было Морей, снова одушевляясь, но Герасимъ Аѳанасьевичъ не дослушалъ его и обратился къ лысому Карпу Ивановичу, который, въ свою очередь, выступилъ впередъ:

— Тебѣ что́?...

— Да вотъ тоже насчетъ денегъ, Герасимъ Аѳанасьичъ: взялъ—не отдаетъ! говоритъ: „нѣтути!“ о Святой еще взялъ...

— Кто?

— Все тотъ же Лапша.

— Братъ того, который бѣжалъ, тотъ самый! Они всѣ съ однова, весь ихній родъ такой! вмѣшался вдругъ кузнецъ Пантелѣй.

— Эхъ! вѣдь вотъ вы какіе! сами дадите зря, безъ толку, потомъ жалуетесь! произнесъ управитель, не обративъ вниманія на замѣчаніе кузнеца.—Эй, Лапша! поди-ка, братъ, сюда! промолвилъ онъ, отыскивая его глазами.

Изъ толпы послышался удушливый кашель и вслѣдъ затѣмъ выставилась чахлая фигура Тимоѳея; подъ дождемъ она казалась еще плачевнѣе; съ каждымъ шагомъ Лапша подгибалъ колѣни и съ безпокойнымъ ожиданіемъ оглядывался назадъ; но такъ-какъ жены его нигдѣ не было и не было даже надежды, чтобъ она явилась на выручку, потому-что давно ушла домой съ бабами, смущеніе видимо одолѣвало его все болѣе и болѣе; длинныя, костлявыя руки его такъ сильно дрожали, что онъ два раза выронилъ метлу, прежде чѣмъ подошелъ къ управителю. Увидя должника, Морей мгновенно пришелъ въ неописанное раздраженіе и снова-было замахалъ руками, но Герасимъ Аѳанасьевичъ остановилъ его.

— Какъ же это ты такъ, Тимоѳей? снисходительно сказалъ старикъ:—дожилъ до того, что всѣ на тебя жалуются? У этого крупу взялъ — не отдаешь, у этого деньги...

Лапша прищурился и усиленно приподнялъ правую бровь.

— Власть ваша... пробормоталъ онъ.

— Какая тутъ моя власть? Моя власть вотъ какая: коли взялъ, отдать надо—вотъ что! а не то, чтобъ доводить до такихъ непріятностей. Бралъ ты у нихъ крупу и деньги?

— Бралъ, произнесъ, Лапша, роняя метлу въ третій разъ.

— Ну, такъ чтобъ завтра же было отдано—слышь? Чтобъ господа и не слыхали объ этомъ дѣлѣ — слышь?

— Рады бы... не осилимъ, Герасимъ Аѳанасьичъ! взять нѣоткуда! сказалъ Лапша, совсѣмъ растерявшись.

— Ну, какъ знаешь, а чтобъ долгъ отданъ былъ до пріѣзда господъ! вымолвилъ съ нѣкоторою досадой старикъ.—Отчего же другіе ведутъ дѣла свои исправно, какъ слѣдуетъ? Отчего же ты одинъ разорился? Оттого, что на печкѣ любишь обжигаться—вотъ что! Плохой ты мужикъ, какъ погляжу я. Эхъ! хуже тебя нѣтъ

во всей вотчинѣ—срамъ, просто срамъ—да... лѣнь, да! Въ тебѣ все такое-этакое (Герасимъ Аѳанасьевичъ подогнулъ колѣни и скорчилъ жалкую физіономію)—да, такое-этакое... Ничего нѣтъ такого-этакого! (Онъ выпрямился молодцомъ и закинулъ назадъ голову.) Дрянной ты мужичокъ—вотъ что! А долги чтобъ были отданы до господъ—это безпремѣнно!... Ну, братцы, дождикъ-то видно зарядилъ не на шутку, подхватилъ управитель, обратившись къ мужикамъ, обступившимъ его съ просьбами:—если кому что нужно, приходите завтра утромъ въ контору; теперь сами видите: такъ и льетъ. Ступайте домой! А вы куда, голубушки? вы куда собрались? крикнулъ онъ поспѣшно, направляясь къ бабамъ, которыя повалили изъ дому, какъ только увидѣли, что мужики пошли къ воротамъ.

— Мы думали, ты насъ отпустилъ по домамъ, бойко сказала востроглазая бабёнка, та самая, что такъ много хлопотала объ устройствѣ хоровода.

— Это ты съ чево взяла, голубушка? возразилъ Герасимъ Аѳанасьевичъ:—мужики пошли потому, что дождь; а вамъ развѣ въ домѣ дождь-то мѣшаетъ? Ступай-ка, ступай назадъ!

— Что жъ это такое, бабы? Мужиковъ отпустили, насъ нѣтъ: чѣмъ мы хуже?... Знамо, дождя нѣтъ, а все одно: работа, чай, та же!... занальчиво крикнула бабёнка, размахивая руками.

— Ступай, ступай безъ разговоровъ, когда велятъ! закричалъ, въ свою очередь, Герасимъ Аѳанасьевичъ, спѣша къ подъѣзду.—Экая эта скверная бабёнка! Я вотъ тебя до завтра заставлю полы мыть, когда такъ. Всего первая затѣйница! Эка заноза, право! И для господъ-то, и то потрудить себя не хочетъ!

Сказавъ это, старикъ приподнялъ воротникъ синяго сюртука и поспѣшилъ войдти съ бабами въ домъ. Дождь полилъ какъ изъ ведра.

Первымъ дѣломъ Лапши, когда онъ вернулся въ избу, было, конечно, разсказать женѣ обо всемъ случившемся. Катерина ничего еще не знала о новыхъ жалобахъ и рѣшеніи управителя. Безпечность Лапши, который наполнилъ избу охами и стонами, началъ жаловаться на ломъ въ поясницѣ и кончилъ тѣмъ, что завалился на печку—окончательно раздражила ее. Никогда не случалось, чтобъ она жаловалась на мужа при постороннихъ; ее удерживало, вѣроятно, самолюбіе, чувство, которое такъ же сильно у женъ крестьянскихъ, какъ и у всякихъ другихъ, и заставляетъ ихъ иногда, наперекоръ внутреннему убѣжденію, вступаться и го-

рячо стоять за мужей, вовсе этого нестоющихъ. Но теперь ничто ее не стѣсняло: въ избѣ, кромѣ дѣтей и сумасшедшей Дуни, никого не было; она принялась осыпать его упреками:

— Всякій добрый человѣкъ то же скажетъ! говорила она, дѣлая очевидныя усилія, чтобы не дать волю вскипѣвшей досадѣ: — чѣмъ охать да жаловаться безъ толку, шелъ бы лучше да дѣло дѣлалъ! Кто просилъ денегъ у Карпа Иваныча? кто ходилъ за крупою? Развѣ мы тебя посылали? Самъ хотѣлъ; самъ просилъ! Лѣнь было у нихъ работы просить! Вотъ теперь хоть бы у Карпа братъ пролежалъ всю пахоту: что жъ ты не сходилъ къ нему, не нанялся?... Вѣрно не сталъ бы онъ тогда на тебя жаловаться! Всякій человѣкъ, въ комъ совѣсть есть, заботу о себѣ имѣетъ, о своей семьѣ; видали ль мы черезъ тебя пользу какую? Вотъ навяжется этакой, прости Господи! весь вѣкъ съ нимъ бейся да мучься! Точно сердце мое чуяло, когда неволей шла за тебя, точно сердце чуяло, какая моя жизнь будетъ... Двадцать лѣтъ колочусь какъ окаянная какая-нибудь, а за что? Отъ одного брата твово вся высохла... Шелъ бы ужъ лучше, когда такъ, оставилъ бы меня однуё съ ребятами... Наказалъ меня Господь, наказалъ за тяжкія мои прегрѣшенія!..

На все это Тимоѳей не отвѣчалъ ни слова; онъ недвижно лежалъ на печкѣ и только жалобами на усиливающуюся боль въ поясницѣ давалъ иногда знать о своемъ присутствіи. Ребятишки также были очень-смирны, зная по опыту, какъ опасно шутить съ матерью, когда она въ-сердцахъ. Они тихонько играли у двери и исчезали въ сѣни всякій разъ, какъ требовалось рѣшить споръ или начать ссору. Маша, старшая дочь, молча подсобляла матери въ работѣ и казалась скорѣе задумчивою, чѣмъ веселою; даже безумная Дуня какъ-будто понимала всеобщее разстройство: она просидѣла въ углу и, закрывъ голову платкомъ, уткнувъ подбородокъ въ колѣни, ни раза не подала голоса.

Къ вечеру только, тогда Маша зажгла лучину, а Катерина собрала ужинъ, изба немножко оживилась. Но и это произошло скорѣе случайно и притомъ благодаря совершенно посторонней причинѣ. Ужинъ приближался ужъ къ концу (что, мимоходомъ сказать, было очень близко къ его началу), когда со стороны околицы неожиданно раздался пронзительный лай собаки. Въ одно мгновеніе ока лай подхваченъ былъ всѣми собаками Марьинскаго. Несмотря на шумъ дождя и глухое завыванье вѣтра, который усилился къ ве-

черу, слышалось, какъ вся эта разношерстная стая стремительно бросилась къ околицѣ. Улица, погруженная до того времени въ тишину невозмутимую, наполнилась вдругъ изъ конца въ конецъ неистовымъ, освирѣпѣлымъ визгомъ и воемъ. Казалось, собаки разрывали кого-то на части.

— Чего онѣ такъ?... ужъ не волка ли почуяли?... сказалъ, покашливая, Лапша.

При такомъ неожиданномъ предположеніи, сдѣланномъ Лапшею съ тѣмъ лишь, чтобъ сказать что-нибудь (онъ не разъ ужъ покушался вызвать жену на разговоръ), одинъ изъ маленькихъ сыновей его и за нимъ пучеглазый Костюшка быстро ухватились за поняву матери, которая готовилась поставить на столъ чашку съ квасомъ; третій мальчикъ, самый младшій, сидѣвшій поодаль отъ братьевъ, выпустилъ изъ рукъ ложку, зажмурилъ глаза, раскрылъ ротъ, затрясся всѣмъ тѣломъ и вдругъ залился воплемъ.

— Полно, Вася! не плачь! батя такъ только постращалъ... это не волкъ... волки ходятъ только зимою, сказалъ Петя, старшій сынъ, придвигаясь къ маленькому брату, чтобъ взять его на руки.

— Умникъ, батюшка, умникъ! Какіе тутъ волки! Слышь, что Петя-то говоритъ... Ну, пусти же, пусти! заговорила Катерина, стараясь высвободить свою юбку, но вмѣстѣ съ тѣмъ боясь пошевелить руками, изъ опасенія опрокинуть чашку на столъ:—пусти, говорю, оставь! никакого нѣтъ волка... Маша, отыми ты ихъ отъ меня.... того и смотри, тюрю всю расплескаешь... Прійдетъ же вѣдь этакое въ голову! заключила она, не взглянувъ даже на мужа.

— Должно-быть, воръ... на мельницу пробирается... произнесъ Лапша, думая этимъ поправить свою ошибку.

Но и это предположеніе оказалось невѣрнымъ. Посреди визга и лая собакъ, послышалась вдругъ глухая, заунывная пѣсня, которую тянули нѣсколько голосовъ.

— Это нищенки! побирушки! воскликнулъ Петя, смѣясь и оглядывая братьевъ своихъ, которые тотчасъ же умолкли.

Угрюмый, мѣрный напѣвъ дѣлался слышнѣе и слышнѣе; вскорѣ можно даже было различать отрывистыя слова пѣсни. Нищіе приближались; вмѣстѣ съ ними приближалась и собачья стая. Иногда хоръ какъ-будто ослабѣвалъ и обрывался. Разъяренный визгъ собакъ показывалъ, что пѣвцы принуждены были переносить вниманіе отъ голоса къ собственнымъ ногамъ, которыя слѣдовало защищать отъ

— Ну, хорошо, хорошо! съ досадою перебила Катерина, поворачиваясь къ нему спиной.

— Да, теперь хорошо; то-то же вотъ и есть! произнесъ Лапша съ выраженіемъ полнаго сознанія собственной правоты своей.

Но въ эту самую минуту въ воротахъ раздался страшный стукъ, и Лапша торопливо заковылялъ къ двери. Минуты три спустя, въ сѣняхъ послышались голоса, шумъ шаговъ, и нищіе, предводительствуемые хозяиномъ, вошли въ избу.

IX.

Сдѣлка.

Съ появленіемъ нищихъ, которые посреди окружавшаго ихъ сумрака принимали видъ какихъ-то пугалъ, мальчуганы Катерины побросались съ лавокъ и побѣжали къ матери. Только Петя и старшая сестра его, Маша, остались на мѣстахъ своихъ; они оглядывали гостей любопытными глазами.

— Здорово, хозяйка! пробасилъ Верстанъ, отряхая мокрую свою шапку.

Вмѣсто отвѣта, Катерина принялась съ сердцемъ кричать на дѣтей, жавшихся у ея понявы. Фуфаевъ, между-тѣмъ, велѣлъ своему мальчику вести его къ хозяйкѣ. Положивъ руку на плечо ребенка, онъ пошелъ впередъ, оставляя на полу слѣды воды, которой пропитаны были его лохмотья.

— Чего лѣзешь? крикнула Катерина, бросая ухватъ въ уголъ печки: — чего надо? подхватила она еще нетерпѣливѣе и сдѣлала движеніе, чтобъ оттолкнуть мальчика; но жалкій, изнеможенный видъ Мишки (вожака Фуфаева) обезоружилъ ее.

— Здравствуй, хозяюшка! трещалъ между-тѣмъ Фуфаевъ, моргая бѣлыми глазами: — здравствуй со хозяиномъ своимъ, малыми цецеревятками, со всѣмъ домомъ на многія лѣта! Дай Богъ коровкамъ твоимъ каженный день доиться, овцамъ каженный день стричься, одеждѣ не изнашиваться, стѣнамъ не...

— Ладно; ступай только назадъ, въ сѣни: тамъ и отряхивайся! перебила Катерина, сердито оглядывая слѣпаго.

— Это ты насчетъ воды, касатка, что водой полъ вымочилъ?

подхватилъ Фуфàевъ: — ты на это не серчай: вода, слышь, благополучіе — право такъ! Вотъ я тебѣ скажу...

— Оставь; хозяйкѣ не до насъ; полно врать-то! проворчалъ Верстàнъ, дергая его за рукавъ: — вралъ, вралъ, да и къ ужину оставилъ...

— А то какъ же безъ ужина-то? неожиданно воскликнулъ Фуфàевъ. Онъ отстранилъ рукою Мишку, который служилъ предметомъ особеннаго любопытства для Пети; потомъ ухватился ладонями за колѣни и принялся отвѣшивать хозяйкѣ низкіе поклоны.

— Хозяюшка, матушка, голубушка! взмилуйся, касатка, дай поужинать! Многаго не спросимъ: что̀ хошь давай — не бросимъ! присовокупилъ онъ вдругъ шутовскимъ тономъ, который рѣдко покидалъ его: — намъ хоть щи, больше не ищи! Не о себѣ хлопочу, матушка: мнѣ что? А вотъ съ нами сидитъ богачъ одинъ, капиталы свои имѣетъ... знамо, богачи уже всѣ набалованные, безъ ужина никогда не ложатся... Дядя Мизгирь, гдѣ ты?...

— Чего тебѣ, бѣшеный? чего надо?... злобно проворчалъ старикъ сквозь беззубыя свои десны.

— О немъ, примѣрно, хлопочу, подхватилъ Фуфàевъ: — сама суди, касатушка, кàкъ ему безъ ужина-то быть — а?... Никакимъ манеромъ нельзя!... Ослободи горшки изъ невòли — за тѣмъ пришли... Знамо, касатка, живой человѣкъ живое и думаетъ!... Эхъ, щами-то какъ знатно попахиваетъ! насмѣшливо заключилъ онъ громко, обнюхивая воздухъ.

Но Катерина обманула ожиданія слѣпого: шутовскія выходки Фуфàева, вмѣсто того, чтобъ смягчить ее, казалось, еще больше ее раздражали.

— Ступай, ступай! Нѣчего здѣсь баласничать: не за тѣмъ шли совсѣмъ, сурово сказала она: — вѣдь они ночевать просились, такъ что жъ ты сюда, въ избу-то ввелъ? промолвила она, обратившись къ мужу, который, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ ввелъ нищихъ въ избу, сохранялъ видъ, какъ-будто самъ не зналъ, что̀ дѣлать съ гостями: — намъ и безъ чужихъ тѣсно! Денегъ вашихъ, что̀ сулили, ненадобно, только ослободите избу... Ступай съ ними въ ригу, тамъ и ночуйте... Дай ему, батюшка, палку-то, веди его! заключила она, повертываясь къ вожаку̀ слѣпого, между-тѣмъ, какъ Лапша подмигивалъ Верстàну то однимъ глазомъ, то другимъ, давая знать, что жена не въ духѣ, и не лучше ли въ са-

момъ дѣлѣ уйдти въ ригу: вѣдь все равно—отъ нея теперь ничего не добьешься!

Верстанъ былъ съ этимъ совершенно согласенъ. Нетрудно было смекнуть, что приступить теперь къ дѣлу, которое привело его къ Лапшѣ, значило бы испортить его навѣрное; онъ рѣшился отложить до утра. Нѣсколько словъ, сказанныхъ имъ на своемъ нарѣчіи, подѣйствовали на Фуфаева лучше всякихъ убѣжденій; слѣпой тотчасъ же замолкъ и велѣлъ Мишкѣ вести его къ двери; за нимъ послѣдовали Верстанъ, Мизгирь и Лапша. Послѣдній отсталъ-было отъ нихъ съ очевиднымъ намѣреніемъ сказать что-то женѣ, но яростный лай Волчка, раздавшійся въ сѣняхъ, и крики нищихъ заставили его поспѣшно возвратиться къ гостямъ.

Дурное расположеніе духа не оставляло Катерины во весь остатокъ вечера. Вернувшись въ избу, Лапша слова отъ нея не добился; онъ и самъ, впрочемъ, неохотно пускался въ объясненія и какъ-будто хотѣлъ показать женѣ, что сердится не на нее; но такъ-какъ неудовольствіе его выражалось подниианіемъ бровей и кашлемъ, то она мало обращала на него вниманія, молча уложила дѣтей, помолилась передъ образами и пошла спать вмѣстѣ съ дочерью въ клѣть, которая отдѣлялась отъ избы сѣнями и выходила на дворъ. Происшествія этого дня были такого рода, что, думая о нихъ, Катерина долго не могла сомкнуть глазъ. Этому, надо также сказать, не мало способствовалъ Волчокъ. Съ той самой минуты, какъ нищіе ушли въ ригу, онъ не переставалъ волноваться; ему не сидѣлось на мѣстѣ: онъ—то выбѣгалъ къ заднимъ воротамъ, то снова возвращался на свое обычное мѣсто, свертывался кренделемъ подъ телѣгой и снова, безъ всякой причины, летѣлъ на задній дворъ, наполняя стихнувшую окрестность мелкимъ, дребезжащимъ лаемъ. Онъ не угомонился во всю ночь. На зарѣ лай его разбудилъ Катерину.

Первою мыслью ея, когда она раскрыла глаза, были нищіе. Неистовый вой собаки, которая металась какъ бѣшеная, подлѣ риги, далъ ей понять, что гости проснулись и, вѣрно, готовятся отправиться въ путь. Катерина поспѣшила предупредить ихъ; она боялась за рубашки, вывѣшенныя наканунѣ на плетнѣ, мимо котораго должны были проходить гости. „Кто ихъ знаетъ, какіе они! Пройдетъ, хвать, сунулъ въ мѣшокъ—а тамъ ищи поди!“ подумала она, торопливо выходя на задній дворъ. Она тотчасъ же успокоилась, однакожъ, увидя бѣлье на своемъ мѣстѣ; сомнѣ-

нія ея окончательно разсѣялись, когда, подойдя ближе къ ригѣ, услышала тамъ голосъ мужа.

— Я бы ништо́! говорилъ Лапша своимъ вялымъ, лѣнивымъ, грудным голосомъ: — вотъ только съ ней, съ женой-то развѣ не сговоришь никакъ: коли упрется — ну, ничего и не сдѣлаешь!... А я бы ништо́; у насъ вѣдь ихъ пятеро, совсѣмъ одолѣли!... Какъ одинъ-то уйдетъ, все меньше тѣсноты будетъ... Съ ней вотъ только, боюсь, не сговоришь никакъ... Ничего этого въ толкъ не возьметъ... Шутка ихъ поить, ростить да кормить! довершилъ Тимоѳей такимъ озабоченнымъ голосомъ, какъ-будто на немъ одномъ лежали всѣ эти обязанности.

Катерина торопливо перешла на траву, чтобъ не такъ были слышны шаги ея; она приблизилась къ ригѣ и притаилась за воротами подлѣ плетня.

— Съ чего жъ ей такъ-то артачиться? подхватилъ Верстàнъ: — мы парнишку-то не съѣдимъ, цѣлъ будетъ! Походитъ съ нами, опять къ вамъ вернется...

Катерина вошла въ ригу.

— О чемъ это вы тутъ? спросила она, стараясь скрыть свое негодованіе.

— Вотъ... все о Петрушкѣ старикъ толкуетъ, сказалъ, переминаясь, Лапша.

— Ну такъ что жъ? сказала она, стискивая губы, начинавшія дрожать отъ сдавленной досады.

— Полюбился добрѐ нашему товарищу твой паренёкъ! воскликнулъ Фуфàевъ: — самъ я не видалъ, хорошъ, сказываютъ... весь въ тебя, касатка...

— Да, мальчикъ знатный! проговорилъ Верстàнъ, одобрительно кивая головою.

— Тебѣ-то что жъ? Хорошъ! Стало, намъ лучше; при насъ и останется, быстро возразила Катерина.

— Такъ-то, такъ; да что́ тебѣ въ немъ? Покудова малъ еще, ни въ дѣло, ни въ работу, только хлѣбъ ѣстъ! началъ нищій.— Слышь, касатка, отпусти-ка ты его съ нами. Право-ну!... всего на годъ на одинъ... Вишь, вѣдь другіе же отпущаютъ! прибавилъ онъ, указывая на блѣднаго, изнуреннаго Мишку, который стоялъ, какъ живой укоръ родителямъ, которые отдали его нищимъ: — годъ походитъ съ нами, не понравится — опять къ себѣ возьмешь...

Наша жизнь, сама видишь, тяготы большой не имѣетъ... Отдашь на фабрику — хуже измается...

— Жизнь веселая, тётка! перебилъ Фуфаевъ: — слышь, Лазаря пѣть выучимъ! беззаботное житье: вѣтромъ покачиваетъ, дождемъ помачиваетъ, тепломъ попариваетъ, какъ въ банѣ, право-слово!

— Не даромъ прошу, касатка, подхватилъ Верстанъ, сказавъ на своемъ нарѣчіи нѣсколько словъ Фуфаеву, который тотчасъ же замолкъ: — знамо, не даромъ: сколько вотъ товарищъ за своего вожака далъ, столько примѣрно и я дамъ. По-крайности вамъ хошь польза черезъ него будетъ; одно — деньги возьмете; другое — хлѣба ѣсть не станетъ...

— Слушай же, что скажу тебѣ, воскликнула Катерина, изгибая брови и подходя къ нищему съ стиснутыми кулаками: — коли ты затѣмъ пришелъ — вонъ ступай отселева, вонъ! чтобы духомъ твоимъ здѣсь не пахло, нехристь ты этакой!... Проваливай! заключила она, выпрямляясь и нетерпѣливо указывая на ворота.

— Да ты послушай прежде, что онъ скажетъ-то... вотъ ты всегда такъ! началъ плачевно Лапша: — выслушай прежде... тринадцать рублевъ сулитъ...

— А хошь бы тысячу, по мнѣ все одно! А ты и обрадовался! подхватила она, обратившись къ мужу съ негодующимъ, блестящимъ взглядомъ: — тринадцать-то рублевъ дороже, стало, роднаго дѣтища?... Долги, говоришь, платить надо, хлѣба нѣту?... Коли такая ужъ бѣдность одолѣла, что жъ ты самъ нейдешь наниматься? а? Ступай съ ними, иди!... Я пока не жалуюсь: ребята мои не въ тяготу мнѣ, не скучаю ими! Мнѣ этого, что онъ говоритъ, ничего этого не надо! Плюю я на его деньги! Пока сила есть во мнѣ, пока руками владаю, будетъ у насъ и хлѣбъ и одежа, какая ни-на-есть — все будетъ!... Да я за срамъ-то за одинъ, что ты говоришь мнѣ объ этакомъ дѣлѣ, не возьму съ тебя денегъ! Ахъ ты нехристь, что выдумалъ! а?... Словно, право, сердце мое вечоръ чуяло: недобрые люди пришли... Вонъ же, когда такъ! вонъ, окаянные! чтобъ ноги вашей поганой здѣсь не было!...

— О чемъ шумишь-то?... проговорилъ-было Верстанъ; но Катерина разразилась такимъ негодованіемъ, что онъ счелъ уже лишнимъ продолжать переговоры.

Онъ снова сказалъ нѣсколько словъ на своемъ нарѣчіи; товарищи его перекинули мѣшки за спину и приготовились оста-

вить ригу. Но каждый разъ, однакожъ, когда Катерина обращалась къ мужу, Верстàнъ пользовался случаемъ и подавалъ ему нѣсколько знаковъ; онъ кивалъ Лапшѣ головою за ригу.

— Съ чего это ты такъ, матушка... Господь съ тобою! Кажись, ничѣмъ тебя не обидѣли... сказалъ онъ, выходя изъ воротъ, между-тѣмъ, какъ товарищи его, повинуясь его знаку, направились къ лугу, куда выходили сараи. — Я такъ, примѣрно, сказалъ о мальчикѣ, къ слову пришлось... Никто тебя не понуждаетъ... Знамо, твое дѣтище; не отдашь — силой никто не возьметъ...

— Ступай, ступай! одно слово: ступай! крикнула Катерина, нетерпѣливо махнувъ рукою:

Въ ту самую минуту, какъ она обернулась назадъ, Верстàнъ подалъ Лапшѣ новый знакъ и указалъ ему на лугъ; тотъ кивнулъ головою и медленно поплелся за женою.

Ступивъ на тропинку, ведущую къ заднимъ воротамъ, Катерина раза два взглянула на лугъ и покосилась на мужа; но всякій разъ Лапша принимался кашлять; лицо его дѣлалось такимъ плаксивымъ и жалкимъ, что у нея всякій разъ расходилось сердце, и остатокъ гнѣва, готовый пасть на его голову, ослабѣвалъ самъ собою. Кашель продолжалъ душить Лапшу до той минуты, пока жена не исчезла за воротами; онъ весь тогда какъ-будто даже оживился. Постоявъ минутъ пять подлѣ воротъ и время-отъ-времени посматривая въ щели, онъ вдругъ приподнялъ брови и пустился отхватывать задами по направленію къ лугу. У самаго послѣдняго сарая, которымъ оканчивалась деревня, онъ встрѣтился съ нищими; они стояли подпершись палками и, какъ видно, ждали его, потому что лица ихъ были обращены въ его сторону.

— Ну ужъ, братъ, баба у тебя! вотъ такъ ужъ баба! сказалъ, посмѣиваясь, Фуфàевъ, который узналъ Лапшу по его шагу: — настоящимъ вѣникомъ выпарила! А я еще жениться сбирался, невѣсту пріискивалъ; нѣтъ, спасибо; закажу другу-недругу!...

— Я вѣдь вамъ сказывалъ, началъ Лапша: — ничего съ ней не сдѣлаешь...

— А ты и поддался ей! грубо перебилъ Верстàнъ: — ужъ не говорилъ бы лучше, не срамился!... Слышь, добрый человѣкъ, полно ты ее слушать-то; отдай парня; отдай, говорю; ты отецъ — стало, и сынъ твой; дочь у матери, сынъ у отца подъ началомъ — ужъ это по закону такъ водится... Что ты ее слушаешь! знамо, баба

пустоголовая, съ вѣтру врётъ, сама своей пользы не вѣдаетъ. И то сказать: съѣдимъ мы, что ли, парня-то?... цѣлъ останется... Главная причина, деньги возьмешь, долги отдашь... Потакай ей, она пуще тебя запутаетъ; ужъ мы видимъ, какая баба: заноза!... Можетъ статься, и пропалъ-то все черезъ нее... Видано ль дѣло, чтобы баба такое распоряженье имѣла?... Плюнь ты на нее, не слушай! Спасибо скажешь, добрый человѣкъ попался, къ добру наставилъ... Деньги возьмешь, долги отдашь... Самъ, вѣдь, сказывалъ: нѣтъ тебѣ спокою ни днемъ, ни ночью.

Въ короткій промежутокъ свиданія съ нищими сегодня утромъ и наканунѣ Лапша дѣйствительно успѣлъ уже передать имъ почти всѣ свои горести. Онъ, какъ уже сказано, никогда не пропускалъ случая жаловаться на горькую судьбу свою; минуты эти были для него лучшими во всей его жалкой жизни; онъ какъ-будто оправдывалъ тогда самъ передъ собою свои слабости и, полный чувства собственной правоты, начиналъ тотчасъ же бодриться. Обвиняя Катерину, будто она во зло употребляла свою власть, Верстанъ сильно польстилъ ему; Лапша не подтверждалъ обвиненій, не бранилъ жены, но зато каждый разъ, какъ заходила рѣчь о ней, опускалъ брови, пожималъ плечами, подгибалъ колѣни и очень охотно принималъ видъ жертвы.

Но все, что ни говорилъ Тимоѳей о горькомъ своемъ положеніи, уже было извѣстно нищимъ, особенно Верстану. Ясно видно было, что Филиппъ распоясался наканунѣ за попойкой и, передавъ имъ кой-какія подробности о братѣ, указалъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ вѣрнѣе на него дѣйствовать. Старый нищій, надо отдать ему справедливость, ловко пользовался урокомъ: онъ то возбуждалъ въ немъ бодрость, говорилъ ему, что онъ, глава семьи, можетъ распоряжаться сыномъ какъ хочетъ, совѣтовалъ забрать жену въ руки; то начиналъ пугать его, принимался высчитывать долги его, напоминалъ ему о пріѣздѣ господъ, сожалѣлъ о немъ, говорилъ, что господа, наскучившись жалобами на него, вѣрно сошлютъ его на поселеніе. Тринадцать рублей, конечно, деньги небольшія, но онѣ составляли почти половину долга; отдавъ ихъ, Лапша, безъ сомнѣнія, спасалъ себя отъ половины жалобъ — судьба его тогда значительно облегчалась... Такъ говорилъ Верстанъ. Не было сомнѣнія, что старшій нищій хлопоталъ такъ много совсѣмъ не потому, что мальчикъ полюбился ему или пришелся по вкусу: онъ о немъ мало даже думалъ; ему было все равно этотъ ли, третій, десятый;

въ нахмуренныхъ, плутоватыхъ глазахъ его очевидно проглядывало какое-то намѣреніе. Мальчикъ самъ-по-себѣ: но онъ смекнулъ, видно, съ кѣмъ имѣлъ дѣло, и убѣждалъ такъ сильно Тимоѳея, имѣя, вѣроятно, въ мысляхъ воспользоваться его простотою.

Въ началѣ разговора Фуфаѣвъ часто ввертывалъ прибаутки, которыя для всякаго другаго, кромѣ Лапши, служили бы предостереженіемъ; но подъ-конецъ, движимый чувствомъ товарищества и, вѣроятнѣе, опасенія (несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, Верстанъ владѣлъ страшною силой; величина кулаковъ его была соразмѣрна его исполинскому росту), Фуфаѣвъ перешелъ на сторону нищаго и сталъ ему поддакивать. Подъ вліяніемъ того же чувства, къ нему раза два присоединялся и дядя Мизгирь.

— Ну, такъ какъ же, добрый человѣкъ, по рукамъ, стало быть? сказалъ Верстанъ, когда убѣдился, что дѣло почти сдѣлано.

— По мнѣ хоть сейчасъ... возразилъ Тимоѳей, молодцовато потряхивая головой и приподнимая брови чуть не до корня волосъ.

— Ладно. Стало, и разговаривать нечего...

— Такъ-то, такъ... началъ Лапша и вдругъ снова сплюснулся, какъ пузырь, въ которомъ прокололи дырку.

— Что жъ еще?...

— Сумнѣваюсь... насчетъ, примѣрно... какъ я его теперь выведу, мальчишку-то... Увидитъ она, ни за что не дастъ... ничего съ ней не сдѣлаешь... Кабы вечеромъ...

— Знамо, не теперь! знамо, вечеромъ, какъ стемнѣетъ... къ ночи дѣло будетъ...

— Ночь матка—все гладко! подсказалъ Фуфаѣвъ, сдѣлавъ выразительный жестъ.

Онъ ничего не зналъ о намѣреніяхъ товарища касательно Лапши; онъ понялъ только, что Верстанъ назначилъ ночь съ тою цѣлью, чтобъ приведенному мальчику труднѣе было найти дорогу, въ случаѣ, еслибъ онъ захотѣлъ вернуться назадъ, что, по всѣмъ вѣроятностямъ, и случится.

— Теперь, продолжалъ нищій:—теперь ступай прямо къ вашему управителю; возьми видъ мальчику, примѣрно, отпускъ такой. Скажи, отдаешь, молъ, на жительство, либо въ работу какую..... онъ дастъ. Скажи только, къ примѣру этакъ: деньги даютъ за парня, долги хочу уплатить... Онъ и то, сказывалъ ты, стращалъ тебя... Отказу, стало, не будетъ... Возьмешь видъ (намъ безъ этого опасливо: мало ли какого народу на дорогѣ попадается!),

дома мотри ни гу-гу!... А вечеръ придетъ, смеркнется, возьми его, скажи: „въ поле иду...“ Мы тебя станемъ дожидаться. Знаешь лѣсъ... какъ, чай, не знать? ну, вонъ, что̀ мимо-то старая черневская дорога проходитъ? Туда и ступай; тамъ и ждать будемъ... Аукни только — тутъ и есть! сейчасъ откликнемся..

— Вотъ такъ ужъ расписалъ! Ай-да Верстанъ! Словно языкъ-то масломъ смазали! замѣтилъ Фуфаевъ.

Верстанъ, для большей вѣрности, снова привелъ на память Лапшѣ долги его, постращалъ его пріѣздомъ господъ, выставилъ ему на видъ ссылку на поселеніе, кинулся съ насмѣшкою Катерины и такъ ловко съумѣлъ возвысить Лапшу въ особенномъ его мнѣніи, что тотъ, подъ-конецъ, снова началъ молодечествовать. Послѣ этого, нищій заставилъ его побожиться, что не обманетъ, и ударился съ нимъ по рукамъ.

— Ну, Мишка, радуйся, товарища нашли! провозгласилъ Фуфаевъ, направляя бѣлые зрачки свои къ вожаку, который стоялъ во все это время подпершись палкой и робко поглядывалъ на говорившихъ: — веселись, Мишка, пляши! наша, значитъ, взяла! подхватилъ Фуфаевъ и принялся выдѣлывать какія-то колѣнца, но Верстанъ толкнулъ его, сказавъ, что время отправляться.

Всѣ трое простились съ Лапшою, повторили ему, что станутъ ждать его въ лѣсу послѣ заката, и поплелись къ дорогѣ, которая вилась по лугу и пропадала за рощей. Вскорѣ и сами они пропали изъ виду.

Какъ ни былъ бодръ Лапша, онъ не пошелъ, однакожъ, домой по улицѣ. Ему нѣчего было теперь бояться встрѣчи съ Мореемъ и дядей Карпомъ: онъ не сегодня, такъ завтра могъ отдать одному крупу, другому — деньги; но Лапша очень основательно разсудилъ, что встрѣча съ ними будетъ заключать въ себѣ нѣчто даже пріятное, когда въ рукахъ его будутъ вѣрныя средства зажать имъ ротъ; возможность зажать имъ ротъ, восторжествовать надъ ними въ ту минуту, какъ они набросятся на него съ новыми угрозами, представлялась воображенію Тимоѳея блистательной побѣдой, торжествомъ надъ Мореемъ и Карпомъ. Настроившись подъ такой ладъ, онъ твердою поступью выступалъ по задамъ Марьинскаго. Въ болѣзненныхъ, вялыхъ чертахъ его проглядывало что-то настойчивое, упрямое, что̀ даже легко было принять за твердую рѣшимость; но у людей слабыхъ упрямство часто съ успѣхомъ за-

мѣняетъ твердость духа; вооруженные имъ, они дѣлаютъ иногда чудеса, достойныя энергическихъ характеровъ.

Какъ бы ни сильна была степень упрямства Лапши, трудно предположить, чтобъ оно не разлетѣлось въ дребезги отъ соприкосновенія истинно-твердаго, энергическаго духа Катерины. Встрѣться теперь жена – рѣшительность его вѣрно бы поколебалась; но Катерина не встрѣтилась. Узнавъ, что она ушла на прудъ, Тимоѳей сдѣлался еще молодцоватѣе, еще выше приподнялъ брови. Опасаясь толковъ, пересудовъ и подозрѣній, которые могли возникнуть въ случаѣ, еслибъ увидѣли его, входящаго въ контору, онъ разсудилъ, что лучше будетъ попасть туда, обогнувъ барскій садъ и гумно. Такъ онъ и сдѣлалъ: онъ вошелъ въ контору не прежде, какъ внимательно осмотрѣвшись на всѣ стороны.

Нищій угадалъ вѣрно: Герасимъ Аѳанасьевичъ не сдѣлалъ ни малѣйшихъ затрудненій касательно отпуска мальчика. Онъ не освѣдомился даже, куда отдаютъ его, полагая, что отецъ, вѣрно, сыскалъ ему хорошее мѣсто: стараго управителя уже радовало, что деньги, вырученныя за Петю, избавятъ господъ отъ жалобъ, которыми грозили Морей и Карпъ. Впрочемъ, Герасиму Аѳанасьевичу въ настоящую минуту было не до разбирательствъ онъ готовился ѣхать въ городъ для разныхъ хозяйственныхъ, закупокъ, и потому находился въ страшной суетѣ.

Пять минутъ спустя послѣ появленія Лапши въ контору, онъ вышелъ оттуда, снабженный запиской, въ которой значилось, что „такого-то уѣзда, такой-то вотчины отпускается мальчикъ Петръ Тимоѳеевъ на заработки, срокомъ на годъ отъ нижеписаннаго числа...“ Внизу была конторская печать и подпись управителя.

Но осторожность, соблюдаемая Лапшою при выходѣ изъ конторы, оказалась лишнею: едва подошелъ онъ къ лабиринту клѣтушекъ, гдѣ помѣщались дворовые, какъ его окликнули по имени; онъ успѣлъ только засунуть отпускъ за пазуху. Обернувшись въ ту сторону, откуда раздался голосъ, онъ почти насунулся на молодаго, бѣлокураго парня, который тотчасъ же полѣзъ съ нимъ цѣловаться. Суконный жилетъ съ синими, стеклянными пуговицами, синій кафтанъ, сапоги и волосы, зачесанные въ скобку, обличали въ немъ мастероваго; но въ лицѣ его не было видно ни бойкости, ни самоувѣренности, свойственной этому классу народа: круглыя, какъ бы немножко-припухшія черты его, полны были кроткаго, добродушнаго выраженія. На толстыхъ губахъ его сіяла такая

полная, такая добрая улыбка, что, взглянувъ разъ на лицо парня, никакъ нельзя было вообразить его безъ этой улыбки; она бросалась въ глаза прежде носа, глазъ, и рѣшительно поглощала остальныя черты.

— Здравствуй, дядя Тимофей, здравствуй! радостно заговорилъ онъ, снова принимаясь чмокать Лапшу: — а я, признаться, ждалъ тебя... я вѣдь видѣлъ, какъ ты въ контору шелъ... Дай, думаю, погожу.

— Здравствуй, Ваня, произнесъ тотъ, плачевно прищуриваясь.— Слышь, не сказывай только объ этомъ. . не говори, примѣрно, что видѣлъ меня въ конторѣ; особливо нашимъ не сказывай, сдѣлай милость такую!... Ходилъ, просилъ управителя, насчетъ, то есть, нельзя ли должишки обождать... боюсь, народъ болтать начнетъ... не говори, касатикъ!

— Зачѣмъ говорить! сказано: не надо — ну, и нѣчего, сталобыть...

— То-то, братецъ! А то народъ-то нашъ оченно ужъ сталъ завистливъ... и то поѣдомъ съѣли. Такъ обнищали! такъ-то ужъ нуждаемся... и — и — и!...

— Слышалъ, слышалъ! сказалъ Ваня, тоскливо качая головой. но не покидая, однакожъ, своей улыбки.— Я какъ только пришелъ, дядя Тимофей, сейчасъ о васъ спросилъ: какъ, примѣрно, живете, всѣ ли живы-здоровы...

— Ты что жъ это изъ города-то, съ оброкомъ, что ли? разсѣянно освѣдомился Лапша.

— Да; одна статья — оброкъ; другая статья—хочу просить, чтобы здѣсь оставили: больно по деревнѣ соскучился... Хоша и нѣтъ никого сродственниковъ, а все на своихъ поглядѣть хотѣлъ. Ужъ кажется, какъ хорошо было жить! Хозяинъ добрый, работой не отягощаетъ; мы вѣдь больше по обойной части — дѣло небольшой тягости и жалованье также хорошее получаемъ, а все сюда такъ тебя и тянетъ. Можетъ-статься, господа пріѣдутъ; попрошусь — здѣсь оставятъ, здѣсь поживу...

— Ну, ну, прощай, Ваня; мнѣ недосугъ... есть дѣло одно... Смотри же не сказывай... особливо коли нашихъ увидишь. Къ намъ потомъ заходи, добавилъ принужденно Лапша.

— Какже! ужъ это безпремѣнно! радостно возразилъ Иванъ, причемъ улыбка его засіяла еще пуще прежняго.

Во весь остатокъ этого утра Тимофей тщательно избѣгалъ встрѣчи съ женою. Когда время обѣда соединило ихъ вмѣстѣ,

усадило за одинъ узенькій столъ другъ противъ дружки, Тимофей и тогда старался не смотрѣть на жену; онъ не переставалъ кашлять, всячески норовилъ показать, что ему сильно нездоровится. Безпокойный, встревоженный видъ его точно легко было принять за нездоровье. Катерину все это мало трогало; она также, казалось, избѣгала взглядовъ его и разговоровъ. Но сколько мрачны и молчаливы были отецъ съ матерью, столько веселы и говорливы были дѣти; особенно отличалась на этотъ разъ Маша, старшая дочь Катерины. Всегда спокойная и тихая, она теперь на себя была непохожа: съ той самой минуты, какъ отецъ, возвращаясь домой, сказалъ ей о приходѣ Ивана въ Марьинское, она вдругъ повеселѣла. Откуда что взялось у нея: она неумолкаемо смѣялась съ маленькими братьями, ходила по всему дому, дѣятельно пособляла матери въ хозяйственныхъ хлопотахъ, причесала и повязала платкомъ голову безумной Дуни, которая въ эти два дня совсѣмъ почти не была дома; даже теперь, во время обѣда, Маша говорила и смѣялась больше другихъ; но отецъ и мать, занятые каждый своими мыслями, не замѣтили этой внезапной перемѣны.

Тимофей поднялся съ лавки прежде всѣхъ; онъ вышелъ въ огородъ, прошелся раза два-три взадъ и впередъ по тропинкѣ, вошелъ потомъ въ ригу и легъ на солому. Но ему что-то не спалось: сколько ни ворочался онъ съ боку на бокъ, сколько ни лежалъ съ закрытыми глазами—сонъ не являлся. Онъ снова вернулся въ избу и взлѣзъ на печку; но и тамъ ему было какъ-то неловко; то же самое повторилось и на полатяхъ и на лавкѣ; словомъ, куда ни переходилъ онъ, куда ни укладывался—нигдѣ не лежалось. Соскучившись, видно, перекладываться съ мѣста на мѣсто, взялъ онъ шапку и вышелъ на дворъ; но ему не стоялось точно такъ же, видно, какъ и не лежалось; со двора перешелъ онъ въ огородъ, изъ огорода снова перешелъ на дворъ; подойдетъ къ лугу, поглядитъ, поглядитъ, потрясетъ головою и снова идетъ къ дому. Въ одну изъ этихъ прогулокъ онъ встрѣтился съ Петей.

— Куда ты, батя? спросилъ мальчикъ, взглянувъ на шапку отца.

При этомъ вопросѣ, Лапша поперхнулся и кашель одолѣлъ его до того, что онъ долго потомъ держался обѣими руками за грудь.

— Хотѣлъ вотъ пройдти въ лѣсъ... сказалъ онъ, болѣзненно

поглядывая на сторóны: — я чай, теперь послѣ дождя-то грибовъ много...

— Возьми меня съ собою! весело крикнулъ мальчикъ, какъ-бы зная впередъ, что отказа не будетъ.

— Ладно... пойдемъ... возразилъ Лапша, сопровождая каждое слово тяжелымъ покрякиваньемъ и безпокойными взглядами. — Въ избѣ есть кто-нибудь? промолвилъ онъ.

— Нѣтъ, ушли всѣ. Мама и Маша пошли къ пруду; братья на улицѣ съ ребятами.

— Пойдемъ-ка въ избу, сказалъ отецъ, оглядывая мальчика щурившимися глазами: — я чай, одѣться надо... шапку возьми... лапти надѣнь...

— Э! мнѣ ничего!... вѣдь теперь лѣто; я и такъ пойду... Тепло! крикнулъ мальчикъ, засучивая свои штанишки.

Но Лапша, въ которомъ все болѣе и болѣе замѣтно было смущеніе, сказалъ, что они пойдутъ далеко, что ночь можетъ захватить ихъ на дорогѣ, что рòсы велики, такія теперь рòсы, хуже дождя вымочитъ! Они вошли въ избу. Тимоѳей сталъ пособлять ребёнку надѣвать лапти.

— Э-э! крякнулъ онъ неожиданно, опустилъ вдругъ руки и тоскливо замоталъ головою.

— Что̀ ты, бàтя?

— Такъ... что-то все нездоровится... что-то... произнесъ Лапша, но снова какъ-будто ободрился и сказалъ: — пойдемъ, бери шапку.

— То-то мàмка-то подивится, какъ мы ей грибовъ-то принесемъ! воскликнулъ Петръ, радостно выходя на крылечко: — вòтъ какой ворохъ ей навалимъ грибовъ-то! подхватилъ онъ, подымая худенькую руку на аршинъ отъ земли: — слышь, не взять ли намъ кузова?

— Нѣтъ... мы такъ... лучше въ шапку, либо за пазуху...

— Ну, ладно! И мальчикъ запрыгалъ впередъ по тропинкѣ, сопровождаемый отцомъ, который спѣшилъ миновать огородъ и съ каждымъ шагомъ оглядывался назадъ.

— Мы, Петя, лучше нашимъ оврагомъ пойдемъ къ лѣсу-то... Тутъ, знамо, ближе.

— Ну, что жъ! пойдемъ!... Я, бàтя, съ тобой до смерти люблю ходить! воскликнулъ Петя, лицо котораго сіяло радостью и краснорѣчиво подтверждало слова его. — Ну, что̀ съ ребятами-то

пойдешь? кричатъ только, балуются, дерутся... Да и далеко-то въ лѣсъ не ходятъ: все говорятъ: „волкъ! волкъ!“ Я чай, только стращаютъ — а?...

— Знамо, стращаютъ, разсѣянно проговорилъ отецъ. — Ты, Петя, если увидишь кого... по дорогѣ идетъ, ты, мотри, скажи... прибавилъ онъ, ускоряя шаги.

Съ этой минуты, веселые, ласковые глаза мальчика начали съ дѣтской заботливостью устремляться во всѣ части широкаго луга, который развертывался все шире и шире, по мѣрѣ того, какъ оба они удалялись отъ деревни; но никого не замѣтилъ мальчикъ.

— А что, батя, гдѣ-то теперь нашъ дѣдушка Василій? Я чай, далеко теперь?... неожиданно спросилъ Петя, когда оба очутились на днѣ глубокаго оврага.

— Кто его знаетъ?... Надо быть далеко...

— То-то добрый старичокъ какой! ужъ такой-то добрый! такой добрый!... простодушно сказалъ ребенокъ: — вишь какой образокъ подарилъ! ни у кого нѣтъ такова... Вечоръ мамка обшила его холстинкой, на шнурокъ привѣсила, „вѣкъ, говоритъ, носи! намять, говоритъ, отъ добраго человѣка!“ Я и то буду носить... самодовольно довершилъ онъ, запрятывая образокъ за пазуху.

Долго шли они оврагомъ и еще дольше шли полями. Съ каждымъ шагомъ впередъ, Лапша дѣлался безпокойнѣе и молчаливѣе; ребенокъ, напротивъ, не переставалъ скакать и болтать безъ умолку.

— Гдѣ жъ, батя, лѣсъ-то? спрашивалъ онъ время отъ времени.

— Не видать еще; скоро будетъ видно...

Они перешли старую черневскую дорогу; мѣстность пошла скатомъ, и передъ ними открылся лѣсъ. Косые лучи солнца, которое клонилось къ горизонту, обливая золотымъ блескомъ безкрайныя поля, слившіяся во всѣ стороны; одинъ только лѣсъ, изгибавшійся острыми углами и глубокими впадинами, представлялся темнымъ, мрачнымъ пятномъ посреди сіявшей окрестности. Типовой и маленькій сынъ его не замедлили достигнуть опушки и вскорѣ совершенно скрылись изъ виду.

X.

Открытіе. — Поиски.

Свѣтлая майская ночь сѣнила уже сумерки; небо усѣяно было звѣздами, и окрестность постепенно освѣщалась серебристымъ блес-

комъ мѣсяца, который всплывалъ надъ темнымъ горизонтомъ, когда Лапша снова очутился на лугу. Первый человѣкъ, который увидѣлъ его, была та самая востроглазая, торотòрливая бабёнка, слывшая въ Màрьинскомъ первой запѣвалкой и хороводницей. Она выбѣжала на лугъ выкликàть тёлку, которая нигдѣ не отыскивалась, и прямёхонько налетѣла на Тимоѳея.

— Охъ! пронзительно вскрикнула она, откидываясь въ сторону; но испугъ ея прошелъ мгновенно, какъ-только всмотрѣлась она въ черты мужика.

— Фу, какъ ты меня испугалъ! Я думала, и Богъ знаетъ кто! заговорила она, поглядывая на Тимоѳея, котораго мѣсяцъ цѣликомъ освѣщалъ съ головы до ногъ: — батюшки! да ты никакъ хмѣленъ? И то хмѣленъ!... Гдѣ это тебя угораздило? примолвила она со смѣхомъ.

Тимоѳей дѣйствительно качался изъ стороны въ сторону; онъ безсмысленно водилъ шальными глазами; волосы его торчали въ безпорядкѣ; рубашка и ноги были выпачканы грязью; онъ держался обѣими руками за грудь, изъ которой вырывалось глухое хрипѣнье.

— Гдѣ жъ ты это былъ-то? а?... подхватила она: — словно лѣшій какой выпачкался, право!... Что ты? промолвила она, пристальнѣе вглядываясь въ Тимоѳея, который вдругъ страшно застоналъ: — что́ съ тобой дѣлается? ась?...

— Расшибся... охъ!... въ вертепъ упалъ, расшибся... добрѐ... слабымъ, сдавленнымъ голосомъ произнесъ Лапша, продолжая водить глазами и покачиваться съ ноги на ногу. Онъ очевидно былъ хмѣленъ.

Востроглазая бабёнка, надо полагать, совершенно удовольствовалась этимъ объясненіемъ. Она оглянула его еще разъ и пустилась по лугу, покрикивая пискливымъ голоскомъ: „пусень! пусень...“

Лапша простоялъ минуты двѣ на одномъ мѣстѣ, страшно распяливая глаза и какъ бы желая припомнить, гдѣ онъ. Наконецъ, сознаніе будто возвратилось къ нему; онъ продолжалъ путь; но не столько, казалось, управляла имъ мысль, сколько тяжесть туловища, головы и рукъ, которыя сами собою наклонялись къ землѣ и влекли его впередъ. Онъ машинально добрелъ до своей риги; ворота были заперты; онъ пытался нѣсколько разъ отворить ихъ, но не осилилъ и повалился у входа лицомъ къ землѣ.

А между-тѣмъ въ домѣ у него еще бодрствовали; спали только маленькія дѣти. Катерина и Маша стояли подъ уличными воротами; онѣ очевидно ждали чего-то.

— Диковинное дѣло, право! нейдетъ, да и полно! сказала Катерина, въ сотый разъ выглядывая на улицу.

— Должно быть, съ ребятишками убѣгъ куда-нибудь... Далеко, можетъ, зашли, заиѣтила Маша.

— Куда имъ зайдти? Ночь давно... Давно бы прійдти пора. Этого никогда не бывало, чтобъ малые ребятёнки по ночамъ шлялись, — нетерпѣливо возразила мать.

Услыша дѣтскіе голоса недалеко отъ околицы, она вышла изъподъ воротъ и, сопровождаемая дочерью, пошла по улицѣ.

— Петруша! крикнула она: — Петя!

— Я здѣсь, отозвался голосъ.

Катерина ускорила шагъ.

— Петя, ты? спросила она, приближаясь къ группѣ мальчишекъ.

Это точно былъ Петя, но только не ея сынъ, а бѣлокурый, курносый мальчуганъ.

— Ума не приложу! сказала она, обнаруживая на этотъ разъ очевидное безпокойство.

Она медленно возвратилась къ избѣ своей и сѣла на завалёнку. Дѣтскіе голоса стали умолкать; на улицѣ становилось все тише и тише; кое-гдѣ слышался говоръ мужиковъ и бабъ, которые сидѣли подлѣ воротъ своихъ. Мѣсяцъ поднялся уже выше крышъ, и дальная часть улицы, которая находилась до сихъ поръ въ тѣни, начала озаряться голубоватымъ свѣтомъ. Но Петя все еще не являлся.

— Вотъ такъ-то: сидишь-сидишь, ждешь-ждешь, и нивѣсть, право, что въ голову приходитъ! проговорила Катерина съ грустнымъ оттѣнкомъ въ головѣ. — Ужъ не пошелъ ли онъ на мельницу?... въ воду не упалъ ли?... Да нѣтъ, пришли бы, сказали... Главная причина потому больше беретъ сумнѣнье: больно мальчикъто смиренъ; нѣтъ этого у него, чтобъ онъ баловать сталъ, либо сунулся зря куда ни попало.

— Слышь, матушка, да вонъ онъ гдѣ! радостно воскликнула Маша: — не пошелъ ли онъ съ ребятами въ ночную, лошадь стеречь?... Пойдемъ, спросимъ-ка, пока не ушли еще...

Онѣ встали и проворно пошли къ околицѣ. Не дойдя еще до

конца улицы, онѣ встрѣтили двухъ мальчиковъ, которыхъ звала бабушка, сидѣвшая у избы.

— Ребята, не видали вы, не пошелъ мой Петрушка съ ребятами въ ночную?

— Нѣтъ.

— Кто же въ нóчную-то поѣхалъ?

— Двое: Костюшка Дороѳѣевъ, да Васька Кузнецовъ, только одни и поѣхали...

— Чай, дядя Степанъ съ ними, съ живостью подхватилъ одинъ изъ мальчиковъ.

— Знамо, съ ними; да вѣдь она про ребятъ спрашиваетъ...

— Ахъ ты Господи, Творецъ небесный! да гдѣ жъ онъ? произнесла Катерина взволнованнымъ голосомъ.

— Ты это о чемъ, касатка? спросила, подходя къ ней, старуха, сидѣвшая на заваленкѣ и призывавшая мальчиковъ.

— Да вотъ, тётушка, парнишка пропалъ у меня, начала Катерина, оглядываясь вокругъ и прислушиваясь къ каждому крику, срывавшемуся время отъ времени съ отдаленныхъ полей:—боюсь, не приключилось бы чего, нивѣсть куда дѣлся...

— И-и, касатка, чему случиться! Вѣдь онъ съ отцомъ ушелъ, спокойно возразила старуха.

— Какъ, съ отцомъ? Когда?

— Да нóнѣ, вечеромъ... Тётка Арина въ рощу ходила; идетъ оттуда, а они идутъ... Прошли, говоритъ, лугомъ-то, да въ оврагъ и схоронились...

— Вишь, матушка, а ты сумнѣвалась! сказала Маша:—я говорила: ничего!

— Да развѣ отецъ-то не привелъ его? спросила старуха.

— Онъ самъ не приходилъ, самого дома нѣтъ, сказала Маша.

— Что́ ты, касатка? онъ давно дома; его давно видѣли! возразила старуха.—Эй, невѣстка, а невѣстка! крикнула она, обернувшись къ избѣ.

— Ась? отозвался дребезжащій голосъ, по которому присутствующія узнали востроглазую запѣвалку.

— Ты, никакъ, говорила, Тимоѳея, катеринина мужа, встрѣла?...

— А что́?

— Да вотъ, говорятъ, дома его нѣтути... Съ нимъ парнишката его былъ?...

— Нѣтъ, одинъ шелъ... да добрѐ очень ужъ хмѣленъ, бормочетъ невѣсть что̀... не разберешь ничего... расшибся, говоритъ, въ вертепъ упалъ... Какой, я чай, должно быть, по дорогамъ валялся. Нѣтъ, парнишки съ нимъ не было...

Съ послѣдними словами Катерина, волненіе которой возрастало съ каждой секундой, повернулась къ дому и пошла быстрѣе прежняго. Маша, слѣдовавшая за нею, нѣсколько разъ забѣгала впередъ и съ удивленіемъ поглядывала на мать: дыханіе Катерины было такъ тяжело и порывисто, что слышалось въ десяти шагахъ. Она не могла дать себѣ отчета въ томъ, что̀ чувствовала; ей хотѣлось только, болѣе чѣмъ когда-нибудь, увидѣть своего Петю. Вопреки одобрительнымъ мыслямъ, которыми старалась она подкрѣплять себя, смутное, но тягостное предчувствіе чего-то недобраго тѣснило ея сердце и волновало кровь. Шагъ ея постепенно ускорялся, и наконецъ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ избы, она бросилась бѣжать. Минута — и она была въ избѣ; еще минуты довольно было ей, чтобъ убѣдиться, что мужа тамъ не было. Она выбѣжала на дворъ и безъ оглядки пустилась къ ригѣ.

Тимоѳей лежалъ у воротъ въ томъ же положеніи, какъ мы его оставили. Надо думать, въ первую минуту своего паденія въ вертепъ, онъ не почувствовалъ, ка̀къ сильно расшибся; этому способствовалъ отчасти, можетъ-быть, и хмѣль; и наконецъ, въ первую минуту ушиба часто не такъ страдаешь, какъ послѣ. Боль въ груди его, вѣроятно, только теперь начинала сказываться; онъ стоналъ, какъ умирающій. Подбѣжавъ къ нему, Катерина оглянулась вокругъ; этотъ взглядъ убѣдилъ ее, что Петруши здѣсь не было. При этомъ, она совершенно какъ-будто растерялась, бѣшено бросилась на мужа и съ силою, которая дается въ минуты отчаянья, подняла его какъ тряпку.

— Гдѣ Петя?... крикнула она, прислоняя его къ воротамъ:— гдѣ Петя?... повторила она, вцѣпляясь ему въ рубашку, которая заходила изъ стороны въ сторону вмѣстѣ съ Ланшою;—гдѣ... Говори, говори!...

— Матушка... простоналъ Тимоѳей, подгибая колѣни.

— Гдѣ сынъ? гдѣ Петя?... снова закричала она, бѣшено встряхивая его.

Маша бросилась-было къ матери, думая удержать ее, но та оттолкнула ее и снова приступила къ мужу, требуя отъ него отвѣта.

— Не знаю... ничего не...

— Врешь, разбойникъ! тебя видѣли съ нимъ!... Говори... говори! задушу!... кричала Катерина въ какомъ-то бѣшеномъ изступленіи.

Рыданія заглушили вдругъ голосъ Тимоѳея, и онъ произнесъ едва внятно:

— Они денегъ... денегъ посулили.

— Кто? вымолвила Катерина, у которой пробѣжалъ холодъ въ волосахъ.

— Нищіе...

— Гдѣ жъ Петя?... пробормотала она, опуская руки, которыя какъ-будто вдругъ отнялись у нея.

— Они увели... силой отняли...

Страшный, раздирающій душу вопль вырвался изъ груди Катерины; она схватила себя за волосы и вдругъ бросилась бѣжать, какъ сумасшедшая, къ улицѣ, не переставая кричать на всю деревню:

— Батюшки! парнишку украли! Спасите, родные! помогите! Парнишку увели... силой отняли!... спасите! увели!... Крики эти, раздавшіеся еще звонче посреди ночнаго затишья, мгновенно всполошили бабъ и мужиковъ, остававшихся на заваленкахъ; на улицѣ послышались голоса и торопливый шумъ шаговъ.

Выбѣжавъ на улицу, Катерина вторично вырвалась изъ рукъ дочери, которая старалась удержать ее, и прямо кинулась въ контору. Ея вопли и крики переполошили точно такъ же маленькое народонаселеніе, наполнявшее клѣтушки дворовыхъ; въ одинъ мигъ всѣ показались въ дверяхъ; минуту спустя, густая толпа, которую увеличивали прибѣгавшіе съ улицы, обступила плачущую навзрыдъ Машу. Одинъ изъ первыхъ, который подбѣжалъ къ ней, былъ Иванъ обойщикъ. Узнавъ, въ чемъ дѣло, онъ тотчасъ же бросился въ контору.

Онъ засталъ тамъ двухъ писарей и еще старика, которые всячески старались втолковать Катеринѣ, что Герасимъ Аѳанасьевичъ въ городѣ и пріѣдетъ не ранѣе завтрашняго дня; но она продолжала рыдать и биться; она говорила, что надо послать въ погоню за нищими, послать сейчасъ же: иначе разбойники уведутъ мальчика на край свѣта; наконецъ, съ помощью Ивана, который болѣе другихъ хлопоталъ около нея, Катерину кое-какъ уговорили и вывели на свѣжій воздухъ. Она казалась теперь совершенно уже обезсилѣвшею. Въ одинъ этотъ часъ истратила она, повидимому,

всю энергію и силу, которыя поддерживали ее цѣлую жизнь. Если бъ не Иванъ и Маша, она врядъ ли даже могла бы держаться на ногахъ; голова ея, съ разбросанными въ безпорядкѣ волосами, безжизненно свѣшивалась на бокъ; рыданія разрывали грудь, и потоки слезъ струились по щекамъ ея.

Такъ привели они ее къ избѣ. Во все это время толпа, прибывавшая какъ изъ клѣтушекъ дворовыхъ, такъ и съ улицы, сопровождала ихъ; отовсюду слышались слова удивленья и соболѣзнованія. У порога избы, гдѣ все напоминало сына, горе окончательно какъ бы сломило Катерину, отняло у нея послѣднія силы. Это было такъ неожиданно, что Иванъ и Маша не успѣли подхватить ее; она упала на-земь и голосомъ, полнымъ страшнаго отчаянья, стала призывать Петю. Иванъ, Маша и нѣсколько бабъ снова принялись уговаривать ее—все было напрасно: она колотилась головою о-земь и кричала, чтобъ ей отдали Петю. Иванъ шепнулъ тогда нѣсколько словъ Машѣ и пустился стремглавъ къ ригѣ. Немного погодя онъ вернулся назадъ, протискался сквозь толпу и припалъ лицомъ къ лицу Катерины.

— Тётушка, заговорилъ онъ, силясь приподнять ее:—полно! встань, очнись! Чѣмъ время-то терять попусту, пойдемъ-ка лучше искать его... Я знаю, гдѣ его оставили... Богъ милостивъ, найдемъ! Встань, говорю... право, найдемъ!... слезами ничего не возьмешь... Пойдемъ лучше, пока время!...

Она медленно приподняла голову и такъ же медленно начала въ него всматриваться, какъ бы нехорошо еще понимая слова его. Иванъ повторилъ ей свою просьбу; Маша, между-тѣмъ, приводила въ порядокъ ея волосы и также старалась уговорить ее. Въ толпѣ всѣ разомъ говорили и махали руками; общій смыслъ всего этого былъ тотъ, что точно времени терять нѣчего, что если пойдти теперь, то можно еще легко напасть на слѣдъ нищихъ.

Мало-по-малу Катерина очнулась.

— Господи! сказала она, оглядываясь вокругъ и осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ: —Господи, что это такое?... Господи! Творецъ милосердый! подхватила она, становясь на колѣни, подымая глаза къ ясному, усѣянному звѣздами небу, и съ горячностью начиная снова креститься:—Господи! спаси его, дѣтище мое ненаглядное! Сотвори, Отецъ небесный, милость мнѣ грѣшной! Не дай, Господи, пропасть ему у злыхъ людей!... Отыми, Господи, силы

мои, отыми хлѣбъ мой, дай только взглянуть на него, моего дитятку!...

Говоря все это, она горько плакала, но ужъ плакала какъ-то тихо, какъ-бы боясь оскорбить излишнимъ горемъ и недовѣрчивостью Всевышняго, котораго молила о возвращеніи сына.

— Ну, пойдемъ же, тётушка Катерина! сказалъ Иванъ, утирая глаза, что́ дѣлали и многіе другіе, находившіеся поблизости: — время терять нѣчего — пойдемъ!

Катерина перекрестилась еще разъ, покрылась овчинкой, которую принесла Маша, и сказавъ: „Господи благослови!“, быстрыми шагами пошла по улицѣ, преслѣдуемая шумной толпою. Приближаясь къ околицѣ, она пошла такъ скоро, что за нею могли поспѣвать только Иванъ да Маша, единственныя лица изо всей многочисленной толпы, которыхъ оживляло въ этомъ случаѣ истинное, сердечное участіе. Народъ, провожавшій ихъ, началъ мало-по-малу отставать. Каждый, прощаясь съ ними, считалъ, однакожъ, непремѣнно своею обязанностью высказать имъ свое мнѣніе и снабдить ихъ совѣтомъ. Они давно уже миновали лугъ и, слѣдовательно, ничего не могли слышать, кромѣ звука собственныхъ шаговъ; но совѣты, толки, пересуды и предположенія все еще раздавались на улицѣ; наконецъ, всѣ стали расходиться по домамъ; немного спустя, на улицѣ воцарилась такая же тишина, какъ и въ поляхъ, которыя серебрилъ мѣсяцъ, свѣтившій теперь прямо надъ деревней.

Но стоило, впрочемъ, пройдти къ огороду Тимоѳея, чтобъ убѣдиться, что въ Мàрьинскомъ не все еще успокоилось. Ненужно даже было тонкаго слуха, чтобъ услышать съ этого мѣста охи и глухіе, затаенные вопли. Они выходили изъ риги; ворота на этотъ разъ были настежь отворены; лунный свѣтъ, проходя сквозь многочисленныя щели кровли, позволялъ различать тощую фигуру Лапши, лежащую въ дальнемъ углу. Лицо его было уткнуто въ солому, руки раскинуты врозь; иногда онъ подымалъ одну изъ нихъ, сжималъ кулакъ и начиналъ колотить себя въ голову; иногда только глухіе стоны выказывали его отчаяніе. Время отъ времени онъ замолкалъ вовсе и какъ-бы погружался въ горячую думу.

Въ одну изъ этихъ минутъ, когда становилось опять такъ тихо, что раздавалось даже ржанье жеребенка съ дальнихъ полей, съ наружной стороны риги, въ густыхъ кустахъ травы послы-

шался какъ-будто шорохъ. Немного погодя, выставилось что-то черное; тѣнь головы неожиданно мелькнула на плетнѣ и скрылась въ ригѣ. Нѣсколько времени ничего не было ни видно, ни слышно; наконецъ, мало-по-малу подлѣ Тимоѳея явственно обозначился человѣкъ въ мохнатой шапкѣ. Секунды три стоялъ онъ какъ-бы въ нерѣшительности, осматривался, прислушивался и вдругъ пригнулся къ Лапшѣ и началъ толкать его, нашептывая ему что-то скороговоркою. При первыхъ звукахъ этого голоса, Лапша дрогнулъ, приподнялъ голову и прижался спиною къ плетню.

— Филиппъ... братъ?... пробормоталъ онъ, цѣпенѣя отъ страха.

— Я! Никого здѣсь нѣтъ? прошепталъ Филиппъ, озираясь на стороны.

— Бога ты не боишься! говорилъ: — не прійдешь никогда... денегъ взялъ... началъ Лапша жалобнымъ, дрожащимъ голосомъ, между-тѣмъ, какъ братъ обшаривалъ углы риги и прислушивался въ воротахъ: — погубилъ ты насъ совсѣмъ... мало тебѣ этого!... Чего еще хочешь?

— Тсс... молчи! грубо возразилъ Филиппъ, возвращаясь къ брату.

Онъ наклонился къ лицу его, ухватилъ его за плечи и произнесъ отрывисто:

— Давай деньги!

— Нѣтъ у меня ничего.

— А вотъ поговори у меня! прошепталъ сквозь зубы Филиппъ: — давай деньги, тринадцать рублёвъ, что нищіе дали...

При словѣ „нищіе“, которое напомнило Лапшѣ все, что произошло въ этотъ вечеръ, онъ горько заплакалъ.

— Молчи! пришибу! сказалъ Филиппъ, быстро озираясь назадъ: — говорятъ, деньги давай!

— Да нѣтъ же у меня ничего! началъ Лапша, всхлипывая:— они меня обманули... напоили... охмѣлѣлъ... они парнишку увели... только полтинникъ дали, да три копейки...

— Давай! произнесъ Филиппъ.

— И тѣхъ нѣту, продолжалъ Лапша: — и тѣ обронилъ, какъ въ вертепъ свалился... На, ищи пожалуй... Я дома еще не былъ.

Одной секунды достаточно было разбойнику, чтобъ обшарить

брата и удостовѣриться въ справедливости словъ его. Онъ разразился въ страшныхъ проклятіяхъ и угрозахъ.

— Ладно же! шепнулъ онъ:—я все узнаю; коли обманулъ, я ти припомню... Только, значитъ, и жилъ — помни это!...

— Провалиться мнѣ на этомъ мѣстѣ! отсохни у меня руки, коли не такъ... началъ-было Лапша.

— Ладно, перебилъ Филиппъ: — обо всемъ развѣдаю: коли не такъ, такого „краснаго пѣтуха“ *) пущу, долго будешь помнить! заключилъ онъ, бросаясь къ воротамъ. Тѣнь его снова мелькнула мимо плетня, трава зашуршукала, и снова стало все такъ же тихо, какъ было прежде.

Катерина и молодые ея спутники не теряли между-тѣмъ времени. Къ нимъ присоединился теперь, впрочемъ, еще четвертый товарищъ—Волчокъ. Онъ догналъ ихъ на первой полуверстѣ—обстоятельство, которое несказанно обрадовало Ивана. Отъ самаго Мàрьинскаго Иванъ не умолкалъ ни на минуту, стараясь всячески успокоить тётку Катерину; и хотя широкая улыбка сіяла теперь на губахъ его точно такъ же, какъ и всегда, но ясно уже видно было по его глазамъ, пожиманью плечь и переминанью, что онъ исчерпалъ до дна весь свой запасъ утѣшеній и приходилъ въ сильное затрудненіе. Волчокъ явился какъ-будто затѣмъ, чтобъ его выручить.

— Вотъ вѣдь, тётушка, а я только-что о немъ думалъ! сказалъ Иванъ, указывая на собаку, которая прыгала и лизала руку Катерины: — въ этакомъ дѣлѣ собака лучше всякаго товарища. Разъ, мнѣ сказывали, мужикъ на базаръ поѣхалъ, и захвати его мятель; бился-бился, сердечный, никакъ изъ оврага не вылѣзетъ; въ оврагъ попалъ; совсѣмъ ужъ заметать стало... Что жъ ты думаешь? собака спасла! право, собака! Оставила этто она его въ оврагѣ-то; туда-сюда рыскать, на деревню и напала; лаетъ, говорятъ, зоветъ, не то, чтобъ кусаетъ, а только, знаешь, тащитъ, примѣрно, къ околицѣ. Смекнули дѣло: сѣли на лошадей, поѣхали... Что жъ ты думаешь? Вѣдь привела! право, привела!

Но Катерину мало, повидимому, утѣшалъ разсказъ Ивана, точно такъ же какъ все, что̀ ни придумывалъ онъ для облегченія ея горя. Всѣ чувства ея души, даже слухъ и зрѣніе, принадлежали, казалось, одной мысли, которая давила и уничтожала всѣ остальныя. Выступая все тѣмъ же твердымъ, торопливымъ шагомъ, она

*) «Пустить краснаго пѣтуха», на языкѣ разбойниковъ, значитъ поджечь.

не отрывала безпокойныхъ глазъ отъ туманной, низменной дали, которая казалась еще глубже при серебристомъ мерцаніи луннаго свѣта.

Иванъ не разъ пытался примѣнить къ дѣлу Волчка; онъ пускался бѣжать впередъ по дорогѣ, указывалъ ему пальцемъ на землю, говорилъ: „Ищи, тю-тю-тю, ищи!“ но все это безъ малѣйшей пользы — потому ли, что слѣдовъ не было, потому ли, что природа обидѣла Волчка, отнявъ у него чутье, потому ли, наконецъ, что Волчокъ былъ голоденъ, но только онъ предпочиталъ рыскать по полямъ и откапывать мышей, чѣмъ обнюхивать дорогу. Вѣрнѣе всего, что слѣдовъ не было. Если бъ Иванъ имѣлъ время долѣе поговорить съ Лапшою, онъ узналъ бы, что слѣдовъ и быть не могло. Лапша и Петруша шли совсѣмъ не по этой дорогѣ: они пробирались къ лѣсу краткимъ путемъ, шли цѣликомъ, полями. Это обстоятельство было причиною, что наши спутники стали приближаться къ цѣли своего путешествія уже къ исходу ночи. Заря занималась на востокѣ, когда они увидѣли лѣсъ.

Думала ли Катерина, проходя мимо этого лѣса столько разъ въ своей жизни, думала ли она, что видъ его пробудитъ въ ея душѣ столько скорби и терзаній? Нужно было все усердіе Ивана, вся любовь Маши, чтобы удержать ее отъ порывовъ страшнаго отчаянья. Она побѣжала такъ скоро, что спутники ея, хотя и были вдвое ея моложе, едва поспѣвали за нею.

Достигнувъ опушки, она вдругъ остановилась; ее точно пугало обширное пространство лѣса: она боялась крикнуть и не получить отзыва. Иванъ и Маша обмѣнялись взглядами, которые говорили, чтобъ не оставлять ея одной. Не отпуская ея изъ виду, всѣ трое вошли въ чащу, которая тотчасъ же огласилась криками и ауканьемъ. Но все безмолвствовало. Только лѣсъ уныло гудѣлъ, какъ бы негодуя на раннихъ посѣтителей, которые пришли тревожить его отъ сладкаго усыпленья.

Они подвигались все дальше и дальше. Вскорѣ не стало дерева, которое не слыхало бы нѣсколько разъ повтореннаго имени Петруши. Катерина заглядывала во всѣ кусты, забиралась въ самыя глухія, непроходимыя чащи. Иванъ и Маша подсобляли ей усердно; даже Волчокъ помогалъ имъ. Разъ даже онъ чуть-было не возвратилъ имъ надежды, которая начала уже оставлять ихъ. Онъ вдругъ залаялъ, завилъ хвостомъ и поскакалъ впередъ, обнюхивая траву; у Катерины замерло сердце; она бросилась по

слѣдамъ Волчка, не переставая креститься. Проскакавъ шаговъ тридцать, собака остановилась, подняла голову, долго обнюхивая воздухъ, и возвратилась къ Машѣ: она, очевидно, потеряла слѣдъ; сколько потомъ ни бились подлѣ этого мѣста, сколько ни подстрекали ее искать, собака лизала только руки и махала хвостомъ.

— Матушка, полно! Христосъ съ тобою! Вѣдь этимъ не поможешь, хуже только ослабнешь, лучше искать давай, сказала Маша, наклонясь къ матери, которая, рыдая, бросилась на траву.

— Подумай только, тётушка Катерина, подхватилъ Иванъ съ неизмѣнной своей улыбкой, хотя ему, конечно, было не до смѣху:— подумай, вѣдь этакъ сколько у насъ время-то проходитъ! Чѣмъ раньше за дѣло возьмешься, тѣмъ вѣрнѣе... Далеко уйдти не могли... найдемъ еще, можетъ-статься... Богъ милостивъ!...

Одна только эта мысль способна была снова подкрѣпить ея силы. Она перекрестилась, и они пошли далѣе.

Лѣсъ давнымъ-давно ожилъ; давно изъ конца въ конецъ раздавались птичьи хоры; мѣстами, въ самой глубинѣ его, встрѣчались лужайки, которыхъ ярко уже обливало солнце... Они все еще ходили взадъ и впередъ, не переставая кричать и аукать. Все было напрасно! Тогда Маша посовѣтовала обойдти окрестныя деревни и особенно тѣ, которыя выходили на черневскую старую дорогу. Хотя дорога заброшена, но все еще по ней проходило довольно народу и можно было, разспрашивая встрѣчныхъ, добиться толку. Иванъ подтвердилъ эту мысль, и всѣ трое вышли изъ лѣсу.

Было уже около полудня, когда они очутились на черневской дорогѣ. Они не пропустили ни одного человѣка безъ того, чтобъ не разспросить его о нищихъ—никто не встрѣчалъ ихъ. Въ Черневѣ результатъ ихъ разспросовъ былъ почти тотъ же: проходилъ какой-то старикъ съ сумою, стучался подъ окнами, но только онъ былъ безъ мальчика. Такъ переходили они изъ одной деревни въ другую, останавливаясь для того лишь, чтобъ развѣдать что-нибудь о мальчикѣ, но не получали даже намека, который могъ бы служить имъ путеводной ниткой. Едва передвигая ноги, измученные, усталые и, болѣе того, сокрушенные горемъ, пришли они къ ночи въ большое село, находившееся верстахъ въ десяти отъ Мариинскаго. На-силу могли убѣдить Катерину, что было бы теперь напрасно продолжать поиски: ночь была темная; густой наволокъ покрывалъ небо; едва можно было отличать дорогу отъ полей. Весь слѣдующій день былъ проведенъ точно такъ же, какъ и первый:

Петя все-таки не отыскивался; онъ точно въ воду канулъ! Слезы, отчаянье такъ истомили бѣдную Катерину, что она не могла ужъ идти далѣе. Они вторично остановились ночевать въ одной деревнѣ, лежавшей въ совершенно-противуположной сторонѣ той, въ которой ночевали наканунѣ. Переговоривъ съ Машей, Иванъ рѣшился нанять телѣгу, чтобъ доѣхать до Мàрьинскаго. Чтобъ удостовѣрить мужика, который взялся везти ихъ, что ему заплатятъ, Иванъ снялъ съ себя сапоги и кафтанъ и вручилъ ихъ въ видѣ задатка. Ихъ смущало одно только: они боялись сопротивленія Катерины, которая, вѣрно, потребуетъ продолженія поисковъ. Они ясно ужъ видѣли, что поиски напрасны; но думали, что Катерина разсудитъ иначе. Все обошлось, однакожъ, гораздо спокойнѣе, чѣмъ они ожидали. Къ утру, Катерина впала въ какое-то безчувствіе, по-крайней-мѣрѣ ко всему, что̀ совершалось вокругъ нея. Она не замѣтила, казалось, кàкъ усадили ее въ телѣгу. Во всю дорогу она не сказала слова и только тихо вздрагивала и крестилась. Разъ только овладѣлъ ею страшный припадокъ отчаянья. Это случилось въ полуверстѣ отъ Мàрьинскаго.

Подъѣзжая къ маленькой березовой рощицѣ, за поворотомъ которой открывалась деревня, ѣхавшіе въ телѣжкѣ услышали голосъ безумной Дуни. Она лежала, видно, гдѣ нибудь у опушки и, по обыкновенію своему, причитала о пропавшемъ сынѣ, какъ о покойникѣ. Катерина, которая, повидимому, совсѣмъ уже лишилась твердости духа, принялась ей вторить и начала биться, такъ-что Иванъ и Маша едва могли удержать ее въ телѣжкѣ.

Въѣздъ въ Мàрьинское окончательно испортилъ дѣло. Было послѣобѣденное время, именно то самое время, когда на улицѣ бываетъ довольно много народу. Какъ-только увидѣли Ивана и Машу, ихъ тотчасъ же обступили. Одинъ вопросъ былъ на всѣхъ языкахъ:

— Нашли ли Петрушку?...

Напрасно Иванъ и Маша подавали имъ знаки, напрасно указывали на Катерину, метавшуюся въ безпамятствѣ, всѣ лѣзли и разспрашивали о мальчикѣ. Такая же толпа, какъ два дня назадъ, обступила теперь избу Лапши, когда остановилась передъ нею телѣга и начали высаживать Катерину. Двадцать рукъ протянулось, чтобы подсобить Ивану и Машѣ внести бѣдную бабу въ клѣтушку.

Наконецъ, помощію соединенныхъ усилій, изъ которыхъ больше половины были безполезны и даже мѣшали дѣлу, потому-

что такъ много народа натискалось въ сѣни, что трудно было двигаться, Катерину внесли въ клѣть и уложили на постель. Въ самую эту минуту на улицѣ кто-то крикнулъ:

— Господа ѣдутъ!

Крикъ этотъ подхватили тотчасъ же тридцать голосовъ.

— Господа ѣдутъ! ѣдутъ! ѣдутъ! заговорили всѣ разомъ, и толпа повалила со всѣхъ ногъ изъ сѣней на улицу.

Въ клѣти остались только Иванъ, Маша и Катерина, которая ничего не слышала, ничего не чувствовала, ничего не понимала и, ломая руки, рыдала какъ безумная...

Часть вторая.

I.

Пріѣздъ.

Крики: „господа ѣдутъ!“, раздавшіеся подлѣ избы Лапши, пробѣжали съ быстротою батальнаго огня по всему Марьинскому.

„Господа ѣдутъ! ѣдутъ! ѣдутъ!“ заговорили разомъ въ каждой избѣ, на каждомъ дворѣ. Въ ту же секунду, по обѣимъ сторонамъ деревни, на огородахъ, отдѣлявшихъ избы отъ сараевъ, ригъ и амбаровъ, показались бабы, ребята, дѣвчонки; онѣ летѣли со всѣхъ ногъ, опережая другъ дружку, перескакивая черезъ гряды, черезъ маленькихъ зазѣвавшихся дѣтей, теряя, впопыхахъ, головные платки и оставляя на пути коты; все это стремительно неслось въ переулки, выходившіе на улицу. Иной старичокъ и старушка, смиренно-работавшіе гдѣ-нибудь на задвóркѣ, видя, что всѣ бѣгутъ и кричатъ, оставляли работу и направлялись къ избамъ; узнавъ, въ чемъ дѣло, они оживлялись не хуже молодыхъ, и спѣшили пробраться къ воротамъ.

Такая же суматоха, если не больше, происходила въ тѣсномъ лабиринтѣ, гдѣ помѣщалась дворня. Мужики и бабы — люди отдаленные отъ господъ; въ какой одеждѣ ни явись они передъ ними—все равно: съ нихъ не взыщется. Дворня—дѣло совсѣмъ другаго рода: это сословіе, ужъ нѣкоторымъ образомъ посвященное въ тайны приличія и галантерейности. Какой-нибудь Агапъ Акíшевъ, назначенный управителемъ для исправленія должности лакея и въ свободное время занимающійся портняжнымъ ремесломъ, понималъ очень хорошо, что невозможно ему выбѣжать встрѣчать господъ въ прорванной на локтяхъ рубашкѣ, съ моткомъ нитокъ въ рукѣ и сапогахъ, изъ которыхъ выглядывали пальцы. И такъ-

какъ мàрьинскіе дворовые, подобно вообще всѣмъ дворовымъ, были большею-частью люди мастеровые, ремесленные, и такъ-какъ въ настоящее утро каждый сидѣлъ за своимъ дѣломъ, предоставляю вамъ судить, какъ завозились они, когда раздался крикъ: „господа ѣдутъ!“ Старухи страшно застучали сундучками, хранившими чистые головные платки; мужчины забѣгали, какъ угорѣлые, съ жилетомъ въ одной рукѣ, съ галстухомъ въ другой, въ каждой клѣтушкѣ сильно сшибались въ дверяхъ и стукались головами.

Посреди всей этой суматохи нашелся, однакожъ, молодой человѣкъ, который вспомнилъ объ управителѣ. Воодушленный блистательнымъ случаемъ прислужиться начальнику, онъ полетѣлъ въ контору съ быстротою стрѣлы, пущенной изъ лука, и на пути онъ сшибъ съ ногъ какую-то старуху Макрину Дементьевну... Дѣло извѣстное: предпріимчивые люди, стремящіеся къ вѣрной цѣли, всегда идутъ напроломъ и ни передъ чѣмъ не останавливаются: онъ перескочилъ только черезъ старуху, и не успѣла она крикнуть, какъ онъ былъ уже въ конторѣ.

Герасимъ Аѳанасьевичъ, заключенный въ своей комнатѣ, глядѣвшей окнами на красный дворъ, ничего не подозрѣвалъ изъ того, что совершалось въ Мàрьинскомъ. Онъ только-что разложилъ кулечки съ гвоздями и свѣчами, привезенными изъ города. Въ числѣ этихъ покупокъ, свертокъ съ коноплянымъ сѣменемъ, предназначавшимся для чижиковъ, которые громко распѣвали въ комнатѣ, особенно привлекъ вниманіе старика. Отвернувъ уголъ свертка, Герасимъ Аѳанасьевичъ готовился уже засыпать корму въ первую клѣтку, когда вбѣжалъ услужливый молодой человѣкъ.

— Герасимъ Аѳанасьичъ, господа ѣдутъ! господа ѣдутъ! крикнулъ онъ, какъ бы выстрѣливая изъ ружья.

При этомъ извѣстіи старикъ засуетился какъ шутиха, къ которой приложили огонь.

— Сюртукъ! сюртукъ!... могъ только проговорить онъ, метаясь по комнатѣ и, впопыхахъ, не отличая оконъ отъ дверей: — сюртукъ! сюртукъ! подхватилъ онъ, продолжая бѣгать и не замѣчая, что держалъ верхъ ногами свертокъ съ сѣменемъ, которое било каскадомъ на его сапоги и панталоны.

Молодой человѣкъ отцѣпилъ между-тѣмъ сюртукъ и ходилъ за начальникомъ, стараясь стать къ нему лицомъ, чтобы врѣзать черты свои въ его памяти; но Герасимъ Аѳанасьевичъ упорно поворачивался къ нему спиною, совалъ безъ толку руки вправо и влѣво

и твердилъ только: сюртукъ!... сюртукъ!... Наконецъ сюртукъ очутился на плечахъ его; въ то же мгновеніе, не разобравъ даже, кто говорилъ съ нимъ, старикъ прыснулъ изъ конторы въ переулокъ, оттуда на дворъ, оттуда къ воротамъ. Тутъ только замѣтилъ онъ, что свертокъ, заключавшій въ себѣ сѣмя, все еще находился въ рукахъ его; онъ проворно затопталъ его ногами, оглянулъ дворъ, обдернулъ сюртукъ и выбѣжалъ за ворота.

Обѣ стороны улицы, какъ пестрымъ ковромъ, убраны были народомъ. Можно было головою ручаться, что изъ тысячи глазъ, здѣсь находившихся, не было ни одного, который бы не устремлялся на дорогу, спускавшуюся къ околицѣ. Два экипажа быстро подвигались въ облакѣ пыли. Первый экипажъ былъ обширный дормёзъ, запряженный шестернею съ форрейторомъ.

Подъѣхавъ къ околицѣ, форрейторъ, рослый дѣтина изъ ямщиковъ уѣзднаго города, надвинулъ на бокъ шапку, пріосанился, какъ бы ввинтился въ сѣдло и замахалъ кнутомъ; но напрасно молодцовалъ онъ: никто даже не взглянулъ на него — всѣ смотрѣли на экипажъ, заключавшій въ себѣ господъ. Верхъ дормёза былъ откинутъ. На почетномъ мѣстѣ сидѣла молоденькая, красивая дама въ соломенной шляпѣ и темномъ шелковомъ капотѣ, на которомъ четко обрисовывалось шитье воротничка и манжетокъ; въ рукахъ ея, обтянутыхъ свѣжими цвѣтными перчатками, находилась легонькая амбрелька, открывавшая, впрочемъ, совершенно лицо барыни, которая очевидно хотѣла, чтобъ ее видѣли. Подлѣ нея помѣщался ея мужъ, господинъ лѣтъ тридцати-пяти, съ бѣлокурымъ, круглымъ, добродушнымъ лицомъ; костюмъ его, за исключеніемъ пастушеской сѣрой шляпы, мало чѣмъ отличался отъ туалета людей порядочнаго круга, ведущихъ дачную петербургскую жизнь. Противъ него вертѣлась, какъ бы сидя на иголкахъ, гувернантка-француженка съ орлинымъ носомъ, похожимъ на флюгеръ, съ черными синеватыми волосами, причесанными такъ круто, что розовая шляпка ея поминутно съѣзжала назадъ; затянутая въ струнку, она сохраняла такой видъ, какъ-будто готовилась играть на фортепіано передъ многочисленнымъ собраніемъ. Подлѣ гувернантки и противъ дамы стояла, держась за дверцы экипажа, хорошенькая бѣлокурая дѣвочка, одѣтая съ необыкновеннымъ вкусомъ; но болѣе всего, казалось, занимала крестьянъ ея огромная широкополая соломенная шляпа, украшенная яркими лентами, концы которыхъ развѣвались по воздуху.

Миновавъ первыя двѣ-три избы, форрейторъ гикнулъ и пустилъ вскачь; но баринъ тотчасъ же приказалъ остановить и ѣхать шагомъ. Онъ находился повидимому въ отличнѣйшимъ расположеніи духа; въ каждой чертѣ его добраго, круглаго лица проглядывала наивная, простодушная радость, которая показывала въ немъ человѣка впечатлительнаго и, сверхъ-того, неслишкомъ-озабоченнаго тягостною стороною жизни. Выставившись немножко впередъ, онъ кланялся направо и налѣво; но глаза его преимущественно, кажется, останавливались на сѣдыхъ головахъ, и онъ не переставалъ покрикивать: „здорово, старикъ! здорово, старикъ!“ Жена его посылала также привѣтливые знаки народу и улыбалась; она поминутно говорила дочери: Mais saluez donc, Mery, mais saluez donc! хотя шляпа дѣвочки и безъ того наклонялась во всѣ стороны. Гувернантка, которая, при въѣздѣ въ околицу, сбросила съ себя мантилью для того, вѣроятно, чтобъ поразить русскій народъ гибкостью и тонкостью своего стана, ласково щурила глаза, кивала головою и произносила съ необычайной быстротою: „Здрасти! здрасти, батушка!“ Во всемъ этомъ поѣздѣ, одинъ лишь ящикъ-форрейторъ да еще камердинеръ, сидѣвшій на кóзлахъ, и горничная, сидѣвшая на запяткахъ, сохраняли свое равнодушіе; послѣдніе проникнуты даже были какимъ-то надменнымъ внутреннимъ достоинствомъ, которое рѣшительно ничѣмъ не оправдывалось. Что жъ касается до повара, другаго лакея и другой горничной, сидѣвшихъ во второмъ экипажѣ, они только шептались, посмѣивались и вовсе даже не смотрѣли на народъ, который валилъ по обѣимъ сторонамъ дорнёза.

— Вотъ и домъ наконецъ! Voici le château! сказалъ помѣщикъ, указывая глазами на старинное зданіе, которое начинало показываться изъ-за флигеля.

— Oh! mais c'est charmant! Я въ совершенномъ восхищеніи!... Я не знаю, можетъ-быть, это потому, что я первый разъ въ деревнѣ, но все это мнѣ чрезвычайно нравится, возразила жена его по-французски: — я понимаю теперь, что можно въ самомъ дѣлѣ находить большое удовольствіе въ сельской жизни, далеко отъ шумнаго, душнаго города... L'air qu'on y respire... mais saluez donc, Mery, saluez donc...

— Здравствуй, старикъ! здорово, старикъ! говорилъ мужъ, продолжая кланяться: — очень радъ, другъ мой, что ты повѣрила наконецъ прелестямъ этой простой жизни... Пожалуйста, братцы,

не подходите такъ близко, особенно дѣтей не подпускайте: какъ-разъ подъ колесо попадутъ, подхватилъ онъ, заботливо обратившись къ поселянамъ, жавшимся подлѣ экипажа.—А! вотъ посмотри, Alexandrine, посмотри... заговорилъ онъ опять по-французски и указалъ женѣ на стараго управителя, который дожидался поддѣ воротъ: — вотъ нашъ старый, добрый нашъ Герасимъ...

— Tiens, quel drôle de nom: Karassin! Karassin!... произнесла француженка, раскрывая удивленные глаза.

Помѣщикъ, его жена и даже дочка засмѣялись; но мысль, что смѣхъ можетъ быть растолкованъ окружающими въ обидную сторону, возвратила тотчасъ же на лица супруговъ спокойное выраженіе. Сдѣлавъ полукругъ, дормёзъ съ грохотомъ въѣхалъ въ ворота.

— Здравствуй, Герасимъ. Все ли благополучно? крикнулъ помѣщикъ.

— Все, сударь, слава Богу! Съ пріѣздомъ честь имѣю поздравить! возразилъ Герасимъ Аѳанасьевичъ, пускаясь вдогонку за экипажемъ, но въ ту же секунду откинулся назадъ и устремился къ воротамъ, чтобъ удержать народъ, ломившійся на дворъ. Ворота были тотчасъ же заперты, но въ тотъ же мигъ вся задняя часть рѣшетки усѣялась головами и руками; послышался даже мѣстами легкій трескъ, болѣзненно отозвавшійся въ сердцѣ управителя; но ему было не до разбирательствъ: онъ спѣшилъ предупредить дворню, которая бѣжала къ парадному крыльцу и тѣснилась вокругъ экипажей.

Выйдя изъ дормёза, помѣщикъ, его жена, дочь и гувернантка шагу не могли ступить—такъ дружно осадила ихъ дворня; особенно мѣшалъ имъ двигаться впередъ какой-то мальчикъ въ бѣлой рубашонкѣ, съ бѣлыми, какъ снѣгъ, волосами, торчавшими щеткой, и краснымъ, какъ макъ, лицомъ, усѣяннымъ веснушками; онъ совался имъ подъ ноги, неожиданно выросталъ то съ одного бока, то съ другаго, яростно порывался впередъ каждый разъ, какъ затирали его въ толпѣ, и съ какимъ-то свирѣпымъ азартомъ бросался въ двадцатый разъ цѣловать руки господамъ своимъ. Помѣщики рѣшительно уже не знали, куда дѣваться отъ тѣсноты, жары и болѣе всего отъ преслѣдованій краснолицаго мальчика; имъ совѣстно было обидѣть дворню, и они продолжали привѣтливо улыбаться, но дѣлали это уже противъ воли, особенно помѣщица, на которую съ особеннымъ усердіемъ нападалъ краснолицый маль-

чикъ: къ счастью, скоро подоспѣлъ на выручку Герасимъ Аѳанасьевичъ.

— Здравствуй, мой милый... здравствуй, Герасимъ. Все ли у насъ благополучно?... Здравствуйте... хорошо... хорошо... повторялъ помѣщикъ, цѣлуясь съ дворовыми, напиравшими все сильнѣе и сильнѣе.

— J'étouffe! крикнула гувернантка.

— Здравствуйте, сударь... Съ пріѣздомъ честь имѣю... поздравить... подхватилъ управитель, не переставая укорительно кивать головою людямъ, которые лѣзли впередъ: — наконецъ-то, сударыня, Александра Константиновна, дождались мы васъ... Пожалуйте ручку, сударыня... довершилъ онъ, протискиваясь впередъ и подхватывая руку помѣщицы. Но въ ту самую секунду, какъ онъ готовился приложить губы къ перчаткѣ, откуда ни возьмись, снова вынырнулъ мальчикъ, схватилъ руку барыни и припалъ къ ней.

— Что это за ребенокъ? спросила Александра Константиновна, обращаясь къ управителю, который украдкою толкнулъ мальчика ногою.

— А это, сударыня, внучекъ мой... внучекъ, сударыня, умиленно повторила Макрина Дементьевна, та самая, которую сшибъ съ ногъ молодой человѣкъ, бѣжавшій въ контору: — радуется, сударыня, пріѣзду вашему... цѣлые три дня все объ этомъ... Цѣлуй ручку, глупый; скажи: пожалуйте, молъ, сударыня, ручку.

— Ну, друзья мои! воскликнулъ неожиданно помѣщикъ, появляясь подлѣ жены и простирая руки: — я, къ сожалѣнію, не могу перецѣловаться со всѣми вами, но все равно, я за всѣхъ васъ поцѣлую Герасима Аѳанасьевича: это все равно... Здравствуй, старикъ! заключилъ онъ съ нѣкоторою торжественностью и обнялъ управителя, который горячо припалъ къ плечу его.

Послѣ этого помѣщикъ подалъ руку женѣ и поднялся на парадное крыльцо, сопровождаемый дочкой, которую несъ камердинеръ, и гувернанткой, которая обдергивала платье и поправляла свою розовую шляпку. За ними, кромѣ двухъ горничныхъ и лакея, вошелъ въ домъ одинъ только Герасимъ Аѳанасьевичъ.

Первыя минуты были исключительно посвящены осмотру комнатъ стариннаго дома. По мѣрѣ того, какъ Сергѣй Васильевичъ Вѣлицынъ (такъ звали владѣтеля Мàрьинскаго) подвигался впередъ, пріятное расположеніе духа замѣтно овладѣвало имъ сильнѣе.

Нельзя сказать, чтобъ онъ слишкомъ былъ занятъ своимъ происхожденіемъ, тѣмъ не менѣе, однакожъ, прогуливаясь по комнатамъ родоваго дома, онъ чувствовалъ себя какъ-то веселѣе, чѣмъ въ своей петербургской квартирѣ, очень, впрочемъ, хорошей квартирѣ, помѣщавшейся въ бельэтажѣ аристократическаго дома. Сергѣй Васильевичъ, все еще ведя жену подъ-руку, преимущественно останавливался передъ портретами предковъ.

— Вотъ это бабушка Анисья Тимоѳеевна, говорилъ онъ съ улыбкой, которая достаточно свидѣтельствовала о пріятномъ настроеніи души его:—а это... это дѣдъ Нилъ Васильевичъ Бѣлицынъ, знаменитый умомъ своимъ, проницательностью и вмѣстѣ съ тѣмъ эксцентрическими своими выходками... словомъ, это тотъ самый, который, помнишь, я говорилъ тебѣ, подписывалъ всегда свои письма: „слабый во всѣхъ частяхъ старикъ“; но почему слабый — этого до сихъ поръ никто понять не можетъ. А! вотъ и прабабушка Лизавета Ниловна, дочь Нила Васильевича, жена Степана Степаныча, которая всякій разъ, какъ уѣзжала куда-нибудь, запирала бѣднаго своего мужа въ спальню... А вотъ и воевода Бѣлицынъ... Mery, viens voir ton grand-grand oncle le voyevode!...

— Oh Dieu, quelle barbe! воскликнула гувернантка, становясь съ Мери передъ портретомъ воеводы и содрогаясь, какъ должна была содрогаться Андромеда при видѣ чудовища.

Сергѣй Васильевичъ и Александра Константиновна добродушно засмѣялись и продолжали переходить отъ одного знаменитаго предка къ другому; причемъ всякій разъ въ голубыхъ глазахъ Бѣлицына засвѣчивался какой-то ласковый пламень, нижняя губа слегка выставлялась впередъ и станъ выпрямлялся. Александра Константиновна была также очень весела и довольна; но радость ея не столько, казалось, возбуждали изображенія предковъ, сколько видъ старинной мебели, о которой мы упоминали выше.

— Mais c'est superbe! говорила она, останавливаясь передъ какимъ нибудь брюхатымъ комодомъ en marquetterie съ бронзовыми вычурными ручками, во вкусѣ Помпадуръ: — c'est magnifique!... Какъ же ты, Serge, никогда ничего не говорилъ мнѣ объ этомъ?...

— Я самъ ничего этого не подозрѣвалъ... зналъ, что есть что-то такое, но все это носилось передо мною въ какомъ-то туманѣ; я думалъ такъ-себѣ, старый домъ, и больше ничего... Такъ, стало-быть, тебѣ все это нравится?...

— Еще бы! Mais c'est du meilleur gout! Это оправдывается

тѣмъ, что теперь снова возвращаются къ этому вкусу.. Помнишь, прошлаго года мы заказали Ту́ру такой же точно комодъ-Помпадуръ для гостиной? Что́, если бъ мы знали, что въ Мàрьинскомъ хранятся такія сокровища?... Стоило только послать привези... Надо будетъ, однакожъ, непремѣнно это сдѣлать. Жаль видѣть здѣсь такія вещи; c'est un sacrilège! онѣ стоютъ, чтобъ ими любоваться. Мы непремѣнно сдѣлаемъ выборъ и увеземъ все это въ Петербургъ: notre salon sera vraiment magnifique!

— Да, наши дѣды умѣли жить! возразилъ Сергѣй Васильевичъ: — это были настоящіе grands-seigneurs. Не забудь, Aléxandrine, что весь этотъ домъ, со всѣмъ, что́ ты здѣсь видишь, выражаетъ только капризъ дѣдушки Нила Васильевича. Когда онъ объѣзжалъ какъ-то имѣнья свои, ему понравилось Мàрьинское; онъ велѣлъ построить домъ, и послѣ этого въ какіе-нибудь два-три года онъ пріѣзжалъ сюда провести много-много одинъ лѣтній мѣсяцъ... Впрочемъ, надо тебѣ сказать: у Нила Васильича было тогда девять тысячъ душъ, что́, по тогдашнему образу жизни, значило то же, если бъ имѣть теперь двадцать тысячъ душъ!...

Александра Константиновна приказывала управителю снимать чахлы съ каждаго дивана, съ каждаго стула. Фарфоръ, хранившійся въ старинномъ шкапу, былъ также подверженъ внимательному осмотру. Она мысленно какъ-будто переносила все это въ петербургскую гостиную, придумывала каждой вещи соотвѣтственное мѣсто и заранѣе любовалась общимъ эффектомъ. Гостиная ея и безъ того была очень хороша и стоила много денегъ, больше даже, чѣмъ бы слѣдовало. Но свѣтъ ужъ такъ устроенъ, что въ домахъ, гдѣ находится парадная лѣстница съ ковромъ, каминами, съ boiseries и швейцаромъ, парадныя комнаты, и особенно гостиная, никогда не могутъ быть достаточно великолѣпны. Дѣло въ томъ, что какъ ни великолѣпна ваша гостиная, всегда найдется другая въ Петербургѣ, которая еще великолѣпнѣе; никакъ не угоняешься! Въ этой скачкѣ съ препятствіями къ цѣли, которой никогда не достигаешь, заключается, можетъ-быть, тайна исчезновенія многихъ семействъ изъ Петербурга въ деревню. Не поручусь, что появленіе въ Мàрьинское... Но, впрочемъ, какое намъ до этого дѣло? мы радуемся пріѣзду Бѣлицыныхъ ничуть не меньше Герасима Аѳанасьевича.

Бѣлицыны распорядились какъ-нельзя-лучше касательно помѣщенія. Принимая въ соображеніе лѣтнее время и наступающіе жары, они выбрали комнаты, выходившія въ садъ и защищенныя круглый

день деревьями отъ лучей солнца. Полукруглая спальня, раздѣленная пополамъ рѣшетчатымъ альковомъ, боскетная и диванная поступили во владѣніе Александры Константиновны; туда тотчасъ же перенесены были чемоданы, ящики и картонки; комнатка подлѣ спальни, служившая въ старые годы будуаромъ, назначена была Мери; гувернанткѣ дали двѣ комнаты наверху.

— Ну, mesdames, теперь, прощайте! весело сказалъ Сергѣй Васильевичъ: — что до меня касается, я помѣщаюсь въ комнатахъ, которыя занималъ дѣдушка Нилъ Васильичъ; его кабинетъ будетъ моимъ кабинетомъ. Дѣло въ томъ, что сколько дѣдъ ни былъ grand-seigneur, онъ очень исправно занимался дѣлами: я хочу послѣдовать его примѣру... Кромѣ этого, тебѣ, Alexandrine, предстоитъ еще та выгода, что весь этотъ народъ, который будетъ ходить по комнатѣ, вся эта возня — потому-что я рѣшительно самъ лично хочу заняться дѣлами — все это не будетъ тебя безпокоить.

— Вотъ это мнѣ нравится! смѣясь, перебила Бѣлицына: — неужели ты думаешь, что я пріѣхала въ деревню для того только, чтобъ рвать незабудки и нюхать ландыши? Извините-съ, я также намѣрена заниматься дѣлами...

— Bravo! съ комическою восторженностью воскликнулъ супругъ: — ну, и прекрасно! посмотримъ...

— Увидимъ: riga mieux, qui riga le dernier!...

Войдя въ кабинетъ — довольно мрачную комнату, гдѣ камердинеръ успѣлъ уже разложить несессеръ и все необходимое для перемѣны туалета, Сергѣй Васильевичъ позаботился прежде всего, чтобъ поставили на столъ чернильницу, бумагу, щеты — словомъ, все нужное для письма и дѣловыхъ занятій. Если вѣрить Лафатеру, въ наружности Сергѣя Васильевича рѣшительно не было знака, который бы могъ обличить натуру, особенно воспріимчивую и дѣятельную; но, надо полагать, онъ былъ одаренъ необыкновенно живымъ воображеніемъ. Принявъ намѣреніе лично заняться своими дѣлами, онъ такъ сильно порывался къ дѣятельности, что ему не сидѣлось на мѣстѣ; десятки проектовъ, одинъ другаго новѣе, одинъ другаго сложнѣе, касательно преобразованій въ Марьинскомъ по части хозяйства, возникали въ головѣ его. Такъ-какъ въ настоящую минуту не было никакой возможности приступить къ дѣлу, то онъ началъ прогуливаться по большой залѣ. Герасимъ Аѳанасьевичъ слѣдовалъ за нимъ въ почтительномъ разстоя-

ніи съ руками, заложенными за спину. Замѣчательно было въ этой прогулкѣ, что большіе пальцы на рукахъ управителя вертѣлись одинъ вокругъ другаго съ неуловимою быстротою.

— Спасибо, спасибо, мой милый! говорилъ Бѣлицынъ: — я очень доволенъ порядкомъ, который нашелъ въ домѣ.... Спасибо также, что ты сохранилъ мнѣ старую эту мебель: она очень понравилась Александрѣ Константиновнѣ. Я, признаться, думалъ найдти эти стѣны гораздо старѣе, чѣмъ онѣ есть. Шутка! вотъ скоро восемьдесятъ лѣтъ, какъ онѣ воздвигнуты! Скажи, пожалуйста, Герасимъ, а эти службы... неужто онѣ одного времени съ домомъ? быть не можетъ! промолвилъ онъ, останавливаясь у окна и указывая на амбары, крытые соломой.

— Все единственно, сударь, въ одно время съ домомъ...

— Отчего жъ онѣ смотрятъ такими развалинами?... Это, братецъ, никакъ нельзя такъ оставить, это нехорошо...

— Что жъ хорошаго, сударь? совсѣмъ нехорошо! Я вотъ объ этихъ самыхъ строеніяхъ имѣлъ честь вамъ письменно докладывать: ремонтъ требуется...

— Хорошо, ты завтра напомни мнѣ объ этомъ... Впрочемъ, я думаю совсѣмъ снести ихъ отсюда; имъ здѣсь вовсе не мѣсто: онѣ только дворъ стѣсняютъ, который и безъ того очень малъ... Мнѣ это тотчасъ же бросилось въ глаза. Что тамъ находится, за этими скверными амбарами?

— Тамъ, сударь, помѣщаются дворовые...

— Ихъ точно также надо будетъ переселить въ другое мѣсто... Я, главное, хочу, чтобъ дворъ... дворъ былъ какъ можно шире, просторнѣе. Мнѣ хочется разбить все это мѣсто въ видѣ англійскаго сада: вездѣ клумбы, дорожки, проговорилъ Сергѣй Васильевичъ, простирая кисть правой руки и какъ бы мысленно усыпая дворъ дорожками и клумбами: — ну, а тамъ что, за помѣщеніемъ дворовыхъ?

— Тамъ, сударь, фруктовый садъ, больше все яблони...

— Жаль, о-очень жаль!... Впрочемъ, что жъ! можно и его перевести... Все зависитъ отъ того, приноситъ ли онъ какую-нибудь пользу, доходъ?

— Какже, сударь, мы всякій годъ продаемъ его.... цѣна не всегда вѣрная: иной годъ ходитъ за восемьсотъ, другой больше; бываютъ годы, продаемъ за тысячу...

— Серебромъ?

— Нѣтъ-съ, на ассигнаціи.

— Что жъ такъ дешево?

— Также и въ этой статьѣ, сударь, ремонтъ требуется... Съ тѣхъ-поръ, какъ помереть изволили покойный вашъ папенька, ни одной яблони не было подсажено... я ужъ имѣлъ честь письменно докладывать вамъ объ этомъ...

— Да... помню, помню.... Ну, что жъ дѣлать? Въ такомъ случаѣ садъ надо будетъ оставить. Вообще все, что приноситъ пользу, доходъ — все останется на своемъ мѣстѣ неприкосновеннымъ. Восемьсотъ рублей, конечно, небольшія деньги, но въ общемъ оборотѣ, въ общемъ доходѣ по хозяйству, это весьма важная статья... Дворъ упрется, слѣдовательно, въ садъ, который можно будетъ съ этой стороны оградить какой-нибудь красивой рѣшеткой; снесутся, слѣдовательно, только амбары и жилья дворовыхъ.

Герасимъ освѣдомился о томъ, куда Сергѣй Васильевичъ намѣренъ снести амбары; но Сергѣй Васильевичъ самъ пока не зналъ ничего объ этомъ. Амбары, по мнѣнію молодаго помѣщика, могли занять мѣсто гумна, потому-что гумно было слишкомъ близко къ дому, или вообще могли перенестись куда-нибудь въ другое мѣсто. Гумно можно было расположить тамъ, гдѣ находились теперь огороды дворовыхъ, или вообще куда-нибудь въ другое мѣсто. Огороды можно было раскинуть подлѣ крестьянскихъ огородовъ; а если тамъ не позволяло пространство, то все-равно, перенести ихъ куда-нибудь въ другое мѣсто.

— Я вообще намѣренъ здѣсь сдѣлать много перемѣнъ, много преобразованій, сказалъ Сергѣй Васильевичъ. — Женѣ очень понравилось Мàрьинское; мнѣ также. Мы, вѣроятно, будемъ каждый годъ проводить здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ, и потому мнѣ хочется придать всему этому нѣкоторый видъ... Пожалуйста, приготовь мнѣ всѣ бумаги: списки, счеты, разсчеты; приведи все это въ порядокъ и завтра же утромъ принеси мнѣ: мы съ завтрашняго же утра займемся съ тобою всѣмъ этимъ.

Сказавъ это, Бѣлицынъ пошелъ одѣваться къ обѣду.

Намѣреніе Сергѣя Васильевича — заняться дѣлами, было похвально въ высшей степени. Онъ совершенно довѣрялъ Герасиму, этому старому слугѣ, который тридцать-пять лѣтъ пользовался довѣріемъ покойнаго отца его. Но ему хотѣлось лично вникнуть въ дѣла, частью потому, что этого требовало его положеніе, какъ помѣщика, частью, чтобъ выяснить себѣ, какъ могло случиться, что,

при порядочномъ числѣ душъ, онъ вѣчно сидѣлъ безъ денегъ. Сергѣй Васильевичъ могъ бы несравненно легче объяснить себѣ тайну этого дѣйствительно страннаго обстоятельства въ Петербургѣ, чѣмъ въ деревнѣ; но человѣкъ такъ ужъ видно сотворенъ, что любопытство его жадно стремится къ отдаленнымъ вопросамъ и сохраняетъ полное равнодушіе къ тому, что совершается у него подъ носомъ. Впрочемъ, это все равно: вникая въ дѣла Мàрьинскаго, онъ могъ съ успѣхомъ удовлетворить своему любопытству: счеты, списки, приходы и расходы должны были убѣдить Сергѣя Васильевича, что онъ проживалъ больше, чѣмъ получалъ доходовъ.

Въ пятомъ часу всѣ члены семейства и гувернантка явились въ большую залу, гдѣ былъ накрытъ столъ. Лѣтнее платье изъ свѣтло-розовой тафты необычайно шло къ легкому стану Александры Константиновны; маленькій чепчикъ на головѣ ея былъ просто заглядѣнье! Мери казалась еще миловиднѣе безъ шляпки, въ клѣтчатой юбкѣ съ голенькими икрами; ростъ mademoiselle Louise значительно выигрывалъ отъ ботинокъ съ каблуками, и смуглый цвѣтъ ея кожи казался бѣлѣе, благодаря черному атласному платью. Сергѣй Васильевичъ только выбрился и перемѣнилъ бѣлье; жокетка на немъ была та же, что̀ и въ дорогѣ, но за-то камердинеръ и другой привезенный лакей были во фракахъ, бѣлыхъ жилетахъ и перчаткахъ.

Обѣдъ прошелъ какъ-нельзя-веселѣе. Приключенія дороги, благополучное окончаніе путешествія, новыя мѣста, новыя впечатлѣнія — все служило пищею для оживленія бесѣды. Очень много также смѣялись надъ именемъ Karassin, которое дала гувернантка управителю; тутъ же рѣшено было звать его не иначе, какъ этимъ именемъ. Не малымъ поводомъ къ веселости служили также Аганъ Акúшевъ и еще другой лакей, назначенные управителемъ къ службѣ за столомъ. Два раза, въ поспѣшности своей, они стукнулись лбами въ дверяхъ, стремительно бросались впередъ при каждомъ звукѣ голоса господъ и, становясь за стульями, такъ страшно выкатывали глаза, что можно было думать, оба питали злостное намѣреніе истребить блюда, появлявшіяся на столѣ.

Обѣдъ приближался уже къ концу, какъ вдругъ изъ прихожей раздались дикіе и пронзительные крики. Это было такъ неожиданно, что присутствующіе дрогнули; гувернантка схватилась за спинку стула; Мери бросилась къ матери; Александра Константиновна слегка поблѣднѣла; Сергѣй Васильевичъ обратился ужъ

къ людямъ, но новые, неистовые крики оглушили его совершенно. Въ эту же минуту вошелъ Герасимъ Аѳанасьевичъ и возвѣстилъ, что мужики желаютъ поздравить господъ съ пріѣздомъ и пришли съ поклономъ.

Обѣдъ былъ конченъ, и всѣ тотчасъ же отправились въ прихожую. Они нашли тамъ почти всѣхъ стариковъ Марьинскаго; въ рукахъ каждаго было какое-нибудь приношеніе: у одного чашка съ яицами, у другаго — хлѣбъ, третій держалъ подъ мышкою гуся; знакомый намъ Карпъ Ивановичъ стоялъ съ поросенкомъ, запрятаннымъ въ мѣшкѣ. Выслушавъ поздравленія, что было довольно трудно по причинѣ хрюканья и криковъ куръ и гусей, Сергѣй Васильевичъ поцѣловалъ каждаго старика, а потомъ поцѣловалъ и управителя. Жена его въ это время благодарила крестьянъ; француженка сочла своею обязанностью погладить и пожалѣть животныхъ, съ нѣжностью, свойственною ея націи; одна Мери не рѣшалась отойти отъ двери и съ ужасомъ во всѣхъ чертахъ смотрѣла на приношенія, на этихъ страшныхъ звѣрей, какъ потомъ она выразилась. Отблагодаривъ крестьянъ виномъ и деньгами, бѣлицыны отправились на террасу пить кофе. Когда жаръ немножко упалъ, дамы взяли омбрельки, Сергѣй Васильевичъ пастушескую свою шляпу — и всѣ пошли въ садъ.

Густолиственныя липовыя аллеи, массы сирени, которыя раскидывались тѣмъ роскошнѣе, что были брошены на произволъ судьбы, столѣтніе величественные дубы, одиноко-возвышающіеся посреди пространныхъ газоновъ — все это сильно подѣйствовало на воображеніе Сергѣя Васильевича; этому способствовалъ отчасти характеръ запустѣнія сада; въ одинъ мигъ въ головѣ помѣщика возникли новые проекты преобразованія. Александра Константиновна подавала также свои мысли. Одно изъ первыхъ предположеній состояло въ томъ, чтобъ сдѣлать прудъ вдвое, втрое длиннѣе и шире, сдѣлать просѣку черезъ весь садъ, такъ чтобъ видъ съ террасы замыкался водою. Бесѣдка, воздвигнутая на той сторонѣ пруда, нисколько не могла повредить виду — таково было мнѣніе жены.

— Напротивъ, она придастъ виду еще больше эффекта, съ одушевленіемъ сказалъ мужъ.

Тотчасъ же послано было за Karassin. Начались толки о землекопахъ, справки о родникахъ, питающихъ прудъ, вычисленія и соображенія. Увлекаемый все болѣе и болѣе дѣятельностью воображенія, Сергѣй Васильевичъ касался также мимоходомъ другихъ

вопросовъ, и наконецъ такъ втянулся въ дѣло, что оставилъ дамъ въ саду, а самъ пошелъ съ управителемъ осматривать многосложныя части своего хозяйства. Домъ, дворъ, амбары, службы, гумно, фруктовый садъ, огороды дворовыхъ — все было мелкомъ осмотрѣно. Сергѣй Васильевичъ говорилъ безъ умолку; бо́льшая часть рѣчей его состояла изъ вопросовъ, и Герасимъ вторилъ ему усердно; бесѣда, питаемая разнообразными предметами, которые подвергались осмотру, должна была также отличаться разнообразіемъ. Герасимъ говорилъ о починкѣ кровель, Сергѣй Васильевичъ говорилъ о бесѣдкѣ на той сторонѣ пруда; Герасимъ говорилъ о посадкѣ новыхъ яблонь, Сергѣй Васильевичъ говорилъ о просѣкѣ; Герасимъ пріискивалъ мѣсто для амбаровъ, Сергѣй Васильевичъ пріискивалъ мѣсто посреди двора для огромной липы, которая дала бы двору англійскій характеръ; Герасимъ переходилъ къ огородамъ, Сергѣй Васильевичъ переходилъ къ пруду; мысли Герасима стремились къ гумну, воображеніе Сергѣя Васильевича влекло его къ садовой рѣшеткѣ. Все это ничѣмъ не кончилось, потому-что дѣла собственно отложены были до слѣдующаго утра. Сергѣй Васильевичъ возвратился домой, когда уже сѣло солнце. Дамы его пили чай на террасѣ.

— Уфъ, сказалъ онъ, бросаясь въ кресло между женою и Мери. Садъ между тѣмъ покрывался тѣнью. Кусты и деревья начали отдѣляться черными массами на газонахъ, которые серебрила роса, запахъ сирени сдѣлался ощутительнѣе и наполнялъ террасу; кругомъ воцарилась торжественная тишина; время отъ времени прерывали ее раскаты соловьевъ, которые какъ бы перекликались изъ конца въ конецъ стариннаго сада. Наконецъ, когда изъ-за горизонта показался полный, красный мѣсяцъ и цѣликомъ отразился въ прудѣ, Сергѣй Васильевичъ, его жена, Мери и mademoiselle Louise не могли удержаться отъ восторженнаго восклицанія. Всѣ рѣшительно были въ восхищеніи, что пріѣхали въ деревню.

II.

Дѣловое утро.

Десять часовъ утра; но полукруглая спальня, раздѣленная рѣшетчатымъ окномъ, уже убрана; старинныя, тяжелыя занавѣсы съ крупными разводами подняты; окно въ садъ отворено. Противъ

алькова, между двумя окнами, находится столъ, покрытый ковромъ; посреди его возвышается овальное зеркало въ серебряной рамкѣ; направо и налѣво разложено множество туалетныхъ принадлежностей, которыя совершенно невѣрно называютъ бездѣлушками, потому-что онѣ стоютъ очень дорого, несравненно дороже барановъ, дровъ, съѣстныхъ припасовъ — словомъ, всего того, что именуется дѣльнымъ. Свѣтъ, наполняющій спальню, дробится въ граненыхъ цвѣтныхъ флаконахъ, скользитъ по рѣзной слоновой кости и черепахѣ и выставляетъ блестящую полировку серебряныхъ крышечекъ на хрустальныхъ коробкахъ, напоенныхъ порошками, помадой и духами, которые успѣли уже распространить тонкій ароматъ свой по всей комнатѣ. Противъ зеркала, въ большихъ старинныхъ золоченыхъ креслахъ съ овальною спинкой, обтянутой голубымъ штофомъ, сидитъ Александра Константиновна. Бѣлый батистовый пеньюаръ, сквозь который просвѣчиваютъ ея круглыя розовыя плечи, и внизу широкое англійское шитье юбки обнимаютъ ее своими мягкими воздушными складками; ножки ея, обтянутыя чулками à jour, кажутся также розовыми; черныя туфли, съ свѣжимъ голубымъ choux, придаютъ имъ такой апетитный видъ, что, кажется, не оторвался бы и глядѣлъ на нихъ съ солнечнаго восхода до заката. Роскошные, бѣлокурые и слегка-вьющіеся волосы Александры Константиновны распущены: они, безъ сомнѣнія, коснулись бы ковра на полу, если бъ не поддерживала ихъ горничная, которая убирала голову барыни.

Направо отъ креселъ стоитъ небольшой кругленькій столикъ, закрытый тяжелымъ металлическимъ подносомъ; на немъ виднѣется нѣжно-голубая чашка, украшенная медальонами съ пастушками; крышечка съ такими же медальонами, и прозрачность чашки, въ которую бьетъ свѣтъ изъ окна, не позволяетъ сомнѣваться въ ея аристократическомъ, кровномъ саксонскомъ происхожденіи; тутъ же сверкаютъ ложки, щипчики для сахару, фарфоровая корзина для хлѣба и старинная овальная серебряная сахарница, устроенная въ видѣ баульчика, съ лапками вмѣсто ножекъ, съ фантастическимъ чеканенымъ звѣрькомъ на макушкѣ. По другую сторону креселъ находится еще столикъ; но, Боже, какой контрастъ! на немъ лежатъ нѣсколько тетрадей изъ грубой бумаги; листы покрыты каракулями, чернильными пятнами и мѣстами сильно захватаны пальцами. Къ довершенію контраста, въ глаза такъ и мечутся слѣдующія надписи: „Коровы дойныя...“, „Пухъ съ сорока-трехъ

индюковъ", „Восьмнадцать шкуръ", „Зарѣзано девять барановъ...", „Продано сала...." и т. д.

Надо полагать, горничная Александры Константиновны грамотная: она безпрестанно заглядываетъ черезъ голову госпожи своей и устремляетъ глаза на тетради, но всякій разъ щуритъ глаза съ видимымъ отвращеніемъ: мысль о коровахъ, индюкахъ и салѣ, повидимому, непріятно дѣйствуетъ на ея тонкій, изящный вкусъ. Этотъ изящный вкусъ горничной проглядываетъ въ каждомъ ея движеніи и даже въ манерѣ держать гребень, которымъ расчесываетъ она волосы барыни. Бѣлицыны, говоря о ней между собою, называютъ ее обыкновенно: lady Furie; но трудно предположить, чтобъ вострый, какъ шило, носъ горничной, ея выщипанныя ноздри и узенькія губы могли имѣть что-нибудь общее съ такимъ названіемъ. Несомнѣнно лишь то, что горничная проникнута въ высшей степени чувствомъ собственнаго достоинства; вѣроятно, чтобъ придать больше значенія гордой головѣ своей, она причесываетъ ее à la Margot и помадитъ ее помадой Александры Константиновны: но Александра Константиновна ничего не замѣчаетъ; нагнувшись къ столику налѣво, нахмуривъ сперва брови, она не отрываетъ глазъ отъ дѣловыхъ списковъ.

— Позвольте, сударыня; мнѣ этакъ никакъ невозможно, говоритъ горничная съ оттѣнкомъ нетерпѣнія, которое можетъ выказать лучше всякихъ словъ безконечную доброту ея госпожи.

— Ахъ, какъ это скучно!... ну! возражаетъ Александра Константиновна, выпрямляясь въ креслѣ. Взглядъ, брошенный ею въ зеркало, показываетъ ей нахмуренное лицо горничной.

— Ты, Даша, кажется, очень недовольна, что пріѣхала въ деревню?...

— Наше дѣло такое, сударыня: куда прикажутъ, туда и ѣдемъ.

Слова эти, проникнутыя покорностью, сдѣлали бы величайшую честь Дашѣ, если бъ лицо ея не противорѣчило словамъ.

— Тебѣ, стало-быть, деревня не нравится?

— Ужъ, конечно, сударыня, ничего нѣтъ хорошаго, подхватываетъ горничная, очевидно смягченная ласковымъ голосомъ барыни:—удивляюсь только, сударыня, какъ она вамъ можетъ нравиться... То ли дѣло, какъ изволили жить на Каменномъ Острову: съ утра до вечера ѣзда... оживленіе такое, въ одинъ часъ проѣдетъ и пройдетъ больше публики, чѣмъ здѣсь во сто лѣтъ... Да здѣсь и публики-то нѣтъ: глушь! мужики!... взглянуть такъ даже гадко....

— Что жъ? развѣ они не такіе же люди? закусывая губки, спрашиваетъ барыня.

— Извѣстно, такіе же, только нѣтъ никакого обхожденія, приличія нѣтъ... одни эти ихніе лапти — такъ это ужасти!... Нечесаные, небритые, неуклюжіе... ручищи-то даже описать невозможно, какія страсти!... Да вотъ теперь даже дворовые, вотъ хоть эти, что въ комнату взять изволили, просто чучелы какія-то; никакой рѣшительно образованности!... Кромѣ этого, сударыня, самая жизнь какая-то скучная. Ходишь-ходишь—слова сказать не съ кѣмъ! Никто не проѣдетъ, никто не пройдетъ, даже взглянуть не на что: поля, луга, лѣса... Если бъ по крайней мѣрѣ жили ны хоть на большой дорогѣ.

— Но такъ-какъ мы не живемъ на ней, то тебѣ прійдется долго еще скучать...

— Неужели, сударыня, вы здѣсь долго останетесь?

— Разумѣется, и даже очень-очень долго; я думаю, до осени... Ну, готово? произнесла Александра Константиновна, поворачивая голову вправо и влѣво, чтобъ разсмотрѣть свою прическу:—хорошо. Теперь прибери, пожалуйста, все это, подхватила она, указывая на чайный приборъ:—потомъ ты скажешь женщинамъ, которымъ я велѣла прійдти и которыя, вѣроятно, дожидаются, скажешь имъ, что онѣ могутъ войдти...

Александра Константиновна снова пригнулась къ дѣловымъ тстрадямъ. Она внутренно начинала уже сознаваться, что все это страхъ скучно и, въ добавокъ, перепутано, дико, непонятно; но она твердо рѣшилась побѣдить скуку и надѣялась, что современемъ будетъ читать эти тетради, если не съ тою пріятностью, то такъ же свободно, какъ любой романъ графини Дашъ и Поля Феваля. Кашель, раздавшійся у двери, прервалъ ее. Она увидѣла среднихъ лѣтъ бабу въ котахъ, клѣтчатой понявѣ, коротайкѣ и темномъ платкѣ на головѣ. Если смотрѣть безпристрастно, лицо бабы было далеко непривлекательно: круглый носъ, толстыя губы, калмыцкія скулы; но каріе, узенькіе глаза выкупали за-то одутловость лица—такъ много написано было въ нихъ лукавства, пронырства и хитрости. Была еще одна особенность, которая возбуждала вниманіе: глаза и виски бабы были окружены множествомъ полукруглыхъ морщинъ; когда морщины эти собирались, лицо бабы казалось плачущимъ, несчастнымъ и робкимъ; когда же, повинуясь какому-то внутреннему механизму, которымъ произвольно распола-

гала баба, морщины расходились, лицо мгновенно принимало выраженіе юркости и бойкости неописанной. Въ настоящую минуту всѣ несчастія, какія ходятъ только по бѣлу свѣту, выбрали, казалось, бѣдную бабу своею жертвой.

— Подойди сюда, милая! сказала барыня, призывая на помощь самый мягкій и ласковый голосъ, чтобъ одобрить несчастную жертву:—ты что такое... то есть какая твоя должность, моя милая?

— Скотница, сударыня, со вздохомъ произнесла баба, робко подвигаясь впередъ.

— Какъ твое имя?

— Василиса, сударыня.

Новый глубокій вздохъ.

— Подойди ближе, моя милая. Я позвала тебя потому... Мнѣ, вотъ видишь ли, хотѣлось узнать, какъ все это идетъ у насъ на скотномъ дворѣ — понимаешь? сколько расхода, прихода и проч. Скажи мнѣ прежде всего: сколько у насъ коровъ, всего-на-все?...

— Дойныхъ, сударыня, которыя для вашей милости оставляются? спросила скотница, начинавшая мало-по-малу расправлять свои морщины.

— Да, да, дойныхъ; сколько дойныхъ?

— Восьмнадцать, сударыня.

— Это, кажется, мало?

— Очень мало, сударыня. Оно, то-есть, по положенію, больше бы держать надобно... въ прежнее время... сказываютъ, по сорока коровъ держали... Да только это не наше дѣло... знамо, сударыня, дѣло управительское, подхватила Василиса съ таинственностью.— Я имъ докладывала, сударыня. „Ничего, говоритъ, довольно и этихъ.“ Извѣстно, почему-то не входятъ они въ эту должность: ужъ и лѣта его такія, сударыня... больше все въ комнатѣ своей и находится... А я не то, чтобъ, доложу я вашей милости, душой всей хлопочу, сударыня, ночи не сплю. сумнѣваешься.... Если, паче чаянія, вашей милости что и сказали, такъ это все, сударыня...

— Нѣтъ, нѣтъ, я совсѣмъ не объ этомъ, милая, перебила Александра Константиновна:—мнѣ просто хотѣлось узнать, сколько вы получаете масла?

— Да разное, сударыня. годъ на годъ никакъ не приголишь: иной разъ Господь травку дастъ — ну то года, ништо, даются; другое время въ полѣто взять нечего, только тѣмъ и живы, сердечныя, что вотъ листокъ подбираютъ... знамо, какое ужъ тутъ

молоко!... Сѣна намъ, сударыня, брать не велѣно... только что вотъ на тёлокъ отпускается, продолжала Василиса голосомъ угнетенной невинности:— разумѣется, молчишь, сударыня, наше дѣло подвластное.

— Да; но много ли, мало ли, вы все-таки сколько-нибудь да получите масла?

— Какъ же, сударыня...

— Куда жъ оно дѣвается?

— Продаемъ, сударыня... только что бездѣлицу самую...

— Все равно... Ну, а деньги-то куда идутъ?

— Что̀ съ масла-то получаемъ?

— Да̀.

— На соль идутъ, сударыня, соль покупаемъ.

— Соль? Неужели идетъ такъ много соли?

— А то какъ же, сударыня! Оченно много соли требуется... Коли не посолить хорошенько, масло, сударыня, совсѣмъ пропадетъ.

— Да вѣдь вы его продаете, это масло?

— Продаемъ...

— Я спрашиваю тебя, моя милая: куда же деньги идутъ, деньги, которыя вы получаете за масло?

— Я докладывала вашей милости: соль покупаемъ.

— Но вѣдь соль идетъ на масло?...

— На масло, сударыня...

— Такъ какъ же это?... Я тутъ рѣшительно ничего не понимаю! проговорила Александра Константиновна, проводя ладонью по лбу.

Въ эту минуту кто-то постучался въ дверь.

— Кто тутъ?

— Это я, maman! отозвался тоненькій голосокъ Мери.

— C'est nous; peut on entrer, madame Bélissine? прозвучалъ въ свою очередь голосъ гувернантки.

— Entrez...

Въ спальню, подпрыгивая на тоненькихъ своихъ ножкахъ, вбѣжала Мери; увидавъ бабу, она торопливо обогнула кресло и, не спуская глазъ съ Василисы, принялась цѣловать мать.

— Bonjour, madame Bélissine! сказала гувернантка, граціозно присѣдая.

На Мери была надѣта ея широкополая соломенная шляпа; въ рукахъ m-elle Louise находилась амбрелька.

— Куда это вы собрались? спросила Александра Константиновна.

— Мы, maman, въ лѣсъ идемъ...

— Nous allons au bois, chercher des griboui! перебила гувернантка.

— Des griboui! смѣясь, подхватила Мери: — des griboui!... dites; des griby...

— Eh bien: des griby... Cette bonne femme nous dira où il faut aller... comment est ce qu'on la nomme?

— Vasilissa.

— Скажи́тъ, Сисилисà... начала-было француженка, къ величайшему удовольствію Мери, но Бѣлицына перебила ее и обратилась къ скотницѣ.

— Скажи, пожалуйста, гдѣ здѣсь больше всего грибовъ? спросила она.

— Въ Глинницѣ, сударыня; также вотъ и на Забро́дномъ.

— Нѣтъ, ты просто разскажи, кàкъ пройти туда.

— Она тутъ и есть, за околицей, какъ лугъ пройти изволите, сударыня, это и прозывается у насъ Забро̀днымъ. Только теперь, доложу вашей милости, грибовъ нѣтути...

— Какъ же такъ?

— Да вѣдь они только осенью бываютъ, и то, когда дожди пойдутъ...

Мери быстро перевела все это m-elle Louise.

— Comme c'est désagréable!... хи, хи, хи!... j'ai envie de pleurer... съ дѣтскимъ простодушіемъ проговорила гувернантка:— eh bien, nous irons faire un tour au jardin! примолвила она, мгновенно оживляясь.

Во время этого разговора лицо скотницы постепенно умилялось и принимало притворное, униженное выраженіе. Подъ конецъ она ужъ какъ-будто не могла бороться долѣе съ чувствами своими, сдѣлала шагъ впередъ и проговорила, обратившись къ Мери:

— Барышня, пожалуйте ручку, сударыня.

— Donnez donc votre main à cette femme! сказала Бѣлицына дочери, которая недовѣрчиво глядѣла на бабу.

— Красавица вы наша ненаглядная! воскликнула скотница, присѣдая на корточки и страстно припадая къ рукѣ ребенка: — ужъ кàкъ мы вамъ, сударыня, рады!... кàкъ рады-то! Думали: кабы Господь привелъ намъ хоть поглядѣть-то на нашу барышню... хоть только глазкомъ-то однимъ взглянуть!...

— Laissez-moi, сказала Бѣлицына гувернанткѣ: — j'ai à faire!

— Un baiser à maman et partons! произнесла m-lle Louise.

Какъ только ребенокъ и гувернантка вышли, глаза и виски Василисы мгновенно покрылись складками; она отошла къ стѣнѣ, свѣсила голову и опустила руки. Александра Константиновна думала снова приступить къ разспросамъ, но лицо бабы показалось ей до-того несчастнымъ, что она не рѣшилась.

— Вы, можетъ, думаете, сударыня... я насчетъ, то есть, пользуюсь чѣмъ-нибудь отъ добра вашего, начала совершенно неожиданно Василиса, прикладывая руку къ груди: — можетъ, матушка, вамъ обо мнѣ наговорили: все это, какъ есть, одна напраслина... Отсохни у меня руки, лопни мои глаза, коли я отъ господскаго добра хошь на синюю порошинку пользовалась!...

— Нѣтъ, нѣтъ! кто это тебѣ сказалъ? Я совсѣмъ этого не думаю, торопливо проговорила Александра Константиновна.

— Матушка! воскликнула Василиса и вдругъ упала въ ноги и залилась горькими слезами: — матушка! подхватила она, мотая головою съ видомъ изнеможенія: — заступись за горькихъ сиротъ своихъ!... Осталась я одна послѣ мужа съ четырьмя малыми дѣтками... Вступись, милосердая мать, за горькихъ червей моихъ!... Прошу не глупыми рѣчами моими, прошу несносными своими сиротскими слезами, заступись за насъ горькихъ...

— Полно, полно... встань, пожалуйста, встань! какъ тебѣ не стыдно? проговорила барыня, стараясь приподнять бабу: — я все тебѣ сдѣлаю, только встань пожалуйста... Скажи, что тебѣ нужно?

— О-охъ! простонала Василиса, приподымаясь и стараясь оправиться, хотя лицо ея все еще не переставало обливаться несносными сиротскими слезами: — осталась я, матушка, послѣ мужа съ четырьмя малыми дѣтками, подхватила она, всхлипывая: — получала я на нихъ тогда мѣсячную... отняли, сударыня!

— Какъ же это такъ? произнесла барыня, очевидно взволнованная всей этой сценой.

— То есть мнѣ-то, сударыня, оставили мѣсячную; получаю три пуда... А только что вотъ, что ребятёнкамъ принадлежало, то все отняли, матушка... Объ томъ и прошу васъ: заступись за горькихъ сиротъ своихъ...

— Непремѣнно, непремѣнно. Гдѣ же твои дѣти, съ тобой живутъ, на скотномъ дворѣ? съ участіемъ приговорила барыня.

— Одинъ только со мной, матушка, одинъ всего...

— А другіе-то гдѣ жъ?

При этомъ Василиса приложила ладонь къ щекѣ и залилась еще горьче прежняго.

— Гдѣ жъ другіе-то? повторила Александра Константиновна.

— Померли, матушка, померли... О-охъ, троихъ схоронила: осталась одна горькая... какъ нива безъ огорода осталась... сирота одинокая...

— „Pauvre femme!“ подумала Александра Константиновна, поспѣшно протягивая руку къ какой-то коробочкѣ.—На, возьми, моя милая, подхватила она, подавая цѣлковый Василисѣ, которая одной рукой схватила цѣлковый, другой рукой руку барыни: —это тебѣ такъ, покуда. Я поговорю барину, и мы постараемся какъ-нибудь поправить твое дѣло... Пожалуйста, только не плачь и успокойся... Теперь ты можешь идти... Постой! постой! Если ты увидишь старостиху, пошли ее ко мнѣ.

Но мы оставимъ Александру Константиновну заниматься дѣлами и перейдемъ въ кабинетъ Сергѣя Васильевича.

Трудно, я полагаю, даже невозможно представить себѣ помѣщика, который провелъ бы короткій промежутокъ какого-нибудь часа съ такою пользой, какъ Сергѣй Васильевичъ. Предоставляю вамъ судить о справедливости этого замѣчанія: въ одинъ этотъ часъ Сергѣй Васильевичъ узналъ о числѣ полей въ Мàрьинскомъ, узналъ о числѣ десятинъ въ каждомъ полѣ и о свойствахъ земли каждаго участка; въ одинъ этотъ часъ вполнѣ усвоилъ онъ значеніе словъ: „яровое“, „озимое“, „паръ“, „въ клину“, „кулйга“, „въ два потому-жъ“ и множество другихъ многозначащихъ техническихъ терминовъ; въ одинъ этотъ часъ узналъ онъ, сколько было у него луговъ, и какихъ именно, сколько было болота и гдѣ именно. Нѣтъ, рѣшительно нѣтъ возможности найти помѣщика, который въ такое короткое время обогатился бы столькими свѣдѣніями по части своего хозяйства! Но Сергѣй Васильевичъ не довольствовался этимъ; напротивъ, по мѣрѣ того, какъ обогащался онъ свѣдѣніями, любознательность его дѣлалась ненасытнѣе: онъ не переставалъ осаждать вопросами Герасима Аѳанасьевича, который стоялъ за его стуломъ съ сложенными за спиною руками и быстро вертѣлъ большими своими пальцами. Помѣщикъ освѣдомлялся о способахъ усиленія производительности почвы, о средствахъ умноженія числа копенъ на десятинахъ и числа стоговъ на лугахъ; съ жаромъ, свойственнымъ однимъ лишь фанатическимъ

агрономамъ, предлагалъ онъ разныя баварскія и саксонскія методы обработки земли и вмѣстѣ съ тѣмъ разспрашивалъ о пользѣ, которую можно извлечь изъ запольныхъ земель. Сергѣй Васильевичъ не допускалъ существованія запольной земли, и въ этомъ случаѣ не только Герасимъ, но даже никто въ мірѣ не могъ бы его переспорить. „Начать съ того, что въ основаніи самаго дѣла лежитъ уже очевидная нелѣпость“, говорилъ онъ: „никакая земля не можетъ быть безплодна; доказательствомъ этому служитъ то, что она покрывается травою, какъ только перестаютъ пахать ее; земля слѣдовательно не хочетъ отдыхать; и не виновата она нисколько, если человѣкъ, не ознакомившись съ ея свойствами, сѣетъ на ней овесъ тогда, когда слѣдуетъ сѣять, можетъ-быть, горохъ или чечевицу.“ Сергѣй Васильевичъ сильно заботился объ увеличеніи доходовъ; онъ обращалъ мысленный взоръ свой на каждый пустырь Мàрьинскаго; но такъ-какъ у него, кромѣ Мàрьинскаго, были еще двѣ другія деревни, находившіяся подъ вѣдѣніемъ мàрьинской конторы, то онъ съ каждой минутой открывалъ новые источники богатства. Такъ, напримѣръ, узналъ онъ, что въ глубинѣ Саратовской губерніи находилось у него около семисотъ десятинъ луга, о которомъ не имѣлъ онъ прежде ни малѣйшаго понятія.

— Какъ же это могло случиться, что посреди отдаленной губерніи очутился вдругъ у насъ одинокій лугъ? воскликнулъ Сергѣй Васильевичъ.—Помню, у батюшки была въ Саратовской губерніи деревня; лугъ принадлежалъ ей, вѣроятно; но деревня продана, какъ же могъ лугъ остаться?

Герасимъ Аѳанасьевичъ переставалъ вертѣть большими пальцами и откашлянулся въ ладонь.

— Надо полагать, сказалъ онъ:—въ то время, какъ у покойнаго папеньки была деревня, они изволили имѣть надобность въ лугѣ и купили его у сосѣда; купивши его, они, надо полагать, изволили забыть приписать его къ деревнѣ; какъ продали деревню, лугъ такъ и остался ни при чемъ...

— Прекрасно! остался ни при чемъ, и остается ни при чемъ десять лѣтъ съ ряду! иронически замѣтилъ Сергѣй Васильевичъ.— Надо думать, однакожъ, не всѣ такъ беззаботны въ отношеніи къ добру своему, какъ мàрьинскіе помѣщики. Тамъ, безъ сомнѣнія, давно кто-нибудь пользуется этимъ лугомъ...

— Онъ примыкаетъ, сударь, къ маленькой деревушкѣ, никакъ

двадцать душъ, либо тридцать... помѣщица Иванова какая-то.. надо полагать, они лугомъ пользуются...

— Очень хорошо! очень, о-о-очень хорошо! перебилъ Сергѣй Васильевичъ: — если бъ всѣми нашими имѣньями пользовались такимъ образомъ, было бы еще лучше!

— Да вѣдь это, сударь, Сергѣй Васильевичъ, осмѣлюсь вамъ доложить, если судить по здѣшнимъ мѣстамъ, такъ, конечно, лугъ этотъ большой важности значитъ, произнесъ управитель, думая успокоить барина: — я вѣдь, сударь, былъ въ Саратовской губерніи: тамъ луга ни по чемъ. Иной верстъ на сто тянется, какъ есть степь. Въ другихъ мѣстахъ даже такъ оставляютъ, совсѣмъ даже не косятъ...

— Что жъ это доказываетъ? съ живостью проговорилъ Сергѣй Васильевичъ, поворачиваясь на своемъ стулѣ: — это доказываетъ только, что мы живемъ спустя рукава и ничѣмъ не умѣемъ настоящимъ образомъ пользоваться — да! Я никогда не былъ въ Саратовской губерніи, но очень хорошо знаю положеніе края: тамъ. напротивъ, слѣдуетъ дорожить каждымъ стебелькомъ травы — да; тамъ круглый годъ проходятъ гурты скота, который идетъ во всю Россію. Я знаю, тамъ отдаютъ эти луга на арендное содержаніе гуртовщикамъ, наконецъ, просто отдаютъ ихъ въ наймы на одинъ разъ...

— Да вѣдь это, сударь, осмѣливаюсь доложить, на дорогахъ только... замѣтилъ Герасимъ: — и при томъ, по множеству луговъ, плата должна быть очень незначительная...

— Во-первыхъ, въ хозяйственномъ дѣлѣ все значительно. Въ общемъ оборотѣ каждый пятакъ, каждая копѣйка что-нибудь да значатъ! воскликнулъ Сергѣй Васильевичъ съ горячимъ убѣжденіемъ (что, если бъ это убѣжденіе о значеніи, не говорю уже пятаковъ, но сотенъ рублей, не покидало его тотчасъ же, какъ только въѣзжалъ онъ въ Петербургъ!); — а во-вторыхъ, подхватилъ Сергѣй Васильевичъ съ возрастающимъ жаромъ: — все зависитъ отъ распорядительности и умѣнья взяться за дѣло... Надо сейчасъ же сдѣлать распоряженіе касательно этого луга... Семьсотъ десятинъ! Семьсотъ десятинъ луга — бездѣлица! Я докажу, какая это бездѣлица! когда выстронтся тамъ мазанка, когда выроется колодезь, когда устроются водопои для скота, когда за каждую голову быка, кромѣ кормёжныхъ денегъ, будутъ брать за водопой, когда гуртовщики найдутъ пріютъ отъ дождя, отъ непогоды, и

слѣдовательно, зная это, пріѣдутъ на мой лугъ въ сто разъ охотнѣе, чѣмъ на всякій другой! продолжалъ Сергѣй Васильевичъ, все болѣе и болѣе увлекаясь своимъ проектомъ.—Надѣюсь, у насъ сохраняются въ конторѣ всѣ акты касательно этого луга, то есть я разумѣю, купчая, изъ которой видно, что я настоящій владѣлецъ?... заключилъ Бѣлицынъ, превращаясь весь въ одно нетерпѣливое ожиданіе.

— Все, сударь, въ исправности, сказалъ старый управитель.

Получивъ такое извѣстіе, Сергѣй Васильевичъ такъ оживился, какъ-будто объявили ему, что лугъ скрываетъ въ себѣ золотые пріиски. Онъ сказалъ, что надо будетъ немедленно, если не сегодня, такъ завтра, приступить къ осуществленію проекта. Такая поспѣшность очевидно ошеломила Герасима Аѳанасьевича.

— Осмѣлюсь доложить, Сергѣй Васильевичъ, такъ скоро никакъ невозможно...

— Отчего невозможно? У васъ все невозможно!...

— Это значитъ, сударь, надобно вѣдь будетъ кого-нибудь туда выселить...

— Ну что жъ? ну, выселить, такъ выселить! Въ чемъ же затрудненье?... Неужто у насъ въ Мàрьинскомъ нѣтъ человѣка, способнаго охранять лугъ и вести разсчеты съ гуртовщиками? Дѣло, кажется, не большой сложности. Въ чемъ же затрудненье? Я спрашиваю, въ чемъ затрудненье?...

Осажденный съ такою настойчивостью, Герасимъ Аѳанасьевичъ прищурилъ глаза и мысленно пробѣжалъ по всѣмъ крестьянскимъ дворамъ Мàрьинскаго: ему хотѣлось какъ можно скорѣе удовлетворить барина отвѣтомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣлось такъ сдѣлать, чтобъ не лишить мàрьинскую барщину дѣльнаго, полезнаго человѣка. Другой на его мѣстѣ брякнулъ бы первое встрѣтившееся имя, или, всего вѣрнѣе, назвалъ бы семью, съ которой находился во враждѣ; но у Герасима враговъ не было. Онъ не торопился потому, во-первыхъ, что боялся повредить интересамъ барщины, слѣдовательно интересамъ барина, къ которому привязанъ былъ въ самомъ дѣлѣ; во-вторыхъ, нетерпѣніе Сергѣя Васильевича могло только затруднить старика, но нимало его не пугало. Чего ему бояться? Онъ носилъ еще на рукахъ Сергѣя Васильевича, а теперь считалъ его добрѣйшимъ помѣщикомъ во всемъ свѣтѣ; притомъ старикъ ничего не домогался: онъ былъ какъ нельзя болѣе доволенъ своимъ положеніемъ; единственная слабость его—чижики,

скворцы и другія пташки—удовлетворялась въ изобиліи; чего же ему еще? На такой вопросъ онъ самъ не придумалъ бы отвѣта. Но сколько мысли Герасима ни метались по дворамъ Мàрьинскаго, вездѣ встрѣчали онѣ, какъ нарочно, свѣжій, здоровый и полезный народъ. Моргая глазами, повертывая пальцами, старикъ закинулъ уже руки за спину и снова завертѣлъ съ непостижимою быстротою пальцами, что̀ выражало всегда затруднительное положеніе, какъ вдругъ вспомнилъ онъ о Лашѣ. Тутъ онъ даже подивился, какъ̀ подобная мысль не пришла ему прежде въ голову.

— Скоро ли, мой милый? Нашелъ ли, наконецъ? нетерпѣливо спросилъ Сергѣй Васильевичъ, замѣтивъ оживленіе въ птичьей физіономіи управителя.

— Нашелъ, сударь, нашелъ! отвѣчалъ, ухмыляясь, Герасимъ:—такой именно человѣкъ, сударь, какой нуженъ для этой должности; и онъ черезъ это ничего не потеряетъ, и барщина, надо тоже сказать, ничего не потеряетъ...

— Что жъ это за человѣкъ?

— Зовутъ, сударь, Тимоѳеемъ. Я думаю, онъ и самъ радъ будетъ, какъ его выселятъ отсюда, потому что живетъ здѣсь ни при чемъ, все единственно, ни лошади, ни коровёнки... совсѣмъ, какъ есть, сударь, человѣкъ разоренный...

— Какъ такъ? этого быть не можетъ! въ Мàрьинскомъ не можетъ быть такого разоренья!...

— Этотъ одинъ только такой и есть, Сергѣй Васильевичъ...

— Все равно; я не угнетаю своихъ крестьянъ: не могутъ они быть безъ коровъ и лошадей! перебилъ Сергѣй Васильевичъ, и первый разъ съ пріѣзда его въ Мàрьинское добродушное лицо его выразило неудовольствіе.

— Помилуйте, сударь, какое же это угнетенье! Ваши крестьяне должны вѣкъ Бога благодарить за ваши милости. Извольте сами обойти дворы, посмотрѣть, какъ̀ живутъ: у многихъ до сихъ поръ еще прошлогодній хлѣбъ найдете. Ничѣмъ, слава Богу, не отягощены; не только, Сергѣй Васильевичъ, въ нашихъ мѣстахъ, поближности, но даже во всемъ уѣздѣ идетъ слава о вашихъ мужичкахъ: никто лучше ихняго не живетъ...

— Все это прекрасно! возразилъ нѣсколько успокоенный помѣщикъ:—но отчего же этотъ могъ дойти до такого разоренья?

— Да разныя, сударь, причины; частью, разумѣется, черезъ себя—самъ виноватъ; и то надо также сказать: человѣкъ боль-

ной, слабый; даже духомъ какой-то этакой... совсѣмъ даже въ немъ духа этого нѣтъ; а впрочемъ въ остальномъ человѣкъ смирный, кроткій; нѣтъ въ немъ никакой этакой худобы: пьянства или другого чего... Ну, вотъ также, сударь, семья очень велика... все одно къ одному; а главная причина его разоренья, это, разумѣется, братъ... Ужъ такой-то плутъ, разбойникъ, я такого еще и не видывалъ...

— Гдѣ же онъ?

— Я вамъ докладывалъ о немъ. Помните, лѣтъ пять или шесть, писалъ я вамъ, что случилась у насъ покража... купца обокрали?

— Помню что-то такое. Ну?... произнесъ Сергѣй Васильевичъ, на котораго вообще непріятно дѣйствовало всякое извѣстіе, не приносившее особенной чести Мàрьинскому.

— Ну, такъ вотъ этотъ самый и есть его братъ, который обокралъ купца, подхватилъ Герасимъ Аѳанасьевичъ, закидывая руки за спину и склоняясь нѣсколько нà бокъ: — еще до этого случая, сударь, сколько разъ отличался! Кромѣ того, что брата разорилъ, обокралъ совершенно, пойманъ былъ неоднократно у сосѣдей; у трехъ нашихъ мужиковъ лошадей увелъ, такъ-что потомъ даже не нашли никакъ... Но этого, сударь мало: посадили его въ острогъ, онъ оттуда бѣжалъ; пришелъ разъ ночью сюда... кàкъ ужъ онъ это ухитрился — понять нельзя, потому-что у насъ всю ночь караульные ходятъ, — подобрался къ избѣ брата, возьми да и уведи своего сына; одинъ только и былъ у матери... Тò, сударь, было, что даже разсказать невозможно! Черезъ это даже баба въ умѣ повредилась; такъ даже теперь безумная и ходитъ...

— Это ужъ чтó такое! Это просто какой-то разбойникъ!... воскликнулъ помѣщикъ, который представить себѣ не могъ, чтобъ посреди мирныхъ полей, окружавшихъ Мàрьинское, могло происходить что-нибудь подобное. — Но гдѣ же теперь эта бѣдная женщина, жена этого мерзавца?

— Проживаетъ у Тимоѳея; сжалилась надъ ней жена его, къ себѣ взяла; такъ теперь у нихъ и проживаетъ.

— Ну, слава Богу! есть одинъ утѣшительный фактъ! Изъ этого все-таки видно, что по-крайней-мѣрѣ родственники этого негодяя добрые люди.

— Я вамъ докладывалъ, Сергѣй Васильевичъ! люди смирные, кроткіе: противъ этого грѣхъ сказать; не будь нездоровья да бѣд-

ности, были бы не хуже другихъ... Вы только извольте сказать имъ насчетъ того, что выселить ихъ хотите, они, я думаю, даже этому обрадуются, потому, сударь, сами видятъ свое положеніе, особливо жена Тимоѳея; одно то, что недостатки, разоренье... противъ людей даже совѣстно; другое дѣло, вотъ также народомъ обижены.

— Это еще что такое? перебилъ Сергѣй Васильевичъ.

— Да все, сударь, черезъ этого плута, черезъ брата, одни въ злобѣ за то, что лошадей увелъ, другихъ запуталъ во всѣ эти дѣла свои, когда къ допросу водили... Ну, разумѣется, на этихъ всѣ и напали. Я даже сколько разъ ихъ усовѣщевалъ! Особливо въ первое время послѣ того, какъ братъ убѣжалъ, проходу даже имъ не давали; просто даже жалости было подобно...

— Это возмутительно!... c'est une horreur! воскликнулъ Сергѣй Васильевичъ въ порывѣ истиннаго негодованія:—я никакъ не ожидалъ этого отъ моихъ марьинскихъ крестьянъ... совсѣмъ не ожидалъ! Это просто какая-то корсиканская vendetta, и я никакъ не думалъ... фу, Боже мой, да вѣдь могутъ же они понять, наконецъ, что если тотъ братъ надѣлалъ имъ вреда, такъ этотъ по-крайней-мѣрѣ ничего имъ не сдѣлалъ, ни въ чемъ не виноватъ?

— Простой народъ, сударь, вездѣ одинъ: онъ этого не разбираетъ...

— Такъ я же докажу имъ, что я разбираю! произнесъ Сергѣй Васильевичъ съ такимъ одушевленіемъ, что даже полныя его щеки вспыхнули.

Онъ торопливо взглянулъ на часы и снова обратился къ управителю:

— Теперь, къ сожалѣнью, очень ужъ поздно, сказалъ онъ болѣе спокойнымъ голосомъ:—но тотчасъ же послѣ обѣда приведи мнѣ этого Тимоѳея, приведи также жену его; скажи имъ, чтобъ они взяли съ собою всѣхъ дѣтей своихъ, всѣхъ непремѣнно: я всѣхъ ихъ хочу видѣть... Очень тебѣ благодаренъ, старикъ, что ты сообщилъ мнѣ объ этомъ; спасибо тебѣ!... Я лично хочу переговорить съ ними и надѣюсь, что они поймутъ, что я желаю имъ добра; надѣюсь, они поймутъ это... Ахъ, бѣдные, бѣдные!... Меня одно, впрочемъ, затрудняетъ, присовокупилъ онъ, вставая со стула и принимаясь расхаживать по кабинету, между-тѣмъ какъ управитель отступилъ нѣсколько шаговъ, чтобъ дать ему больше простора, закинулъ руки за спину и опять завертѣлъ пальцами:—одно

меня затрудняетъ: если, какъ ты говоришь, этотъ Тимоѳей такой больной и слабый, можетъ ли онъ взять на себя должность, для которой я его предназначаю? Не лучше ли будетъ придумать для него и его семейства что-нибудь другое, а на его мѣсто послать другаго кого-нибудь?...

— На этотъ счетъ, сударь, не извольте безпокоиться, возразилъ Герасимъ, выставляя впередъ правую ногу и съ видомъ увѣренности наклоняя голову: — онъ хотя человѣкъ, конечно, болѣзненный, слабый, но тамъ вѣдь не потребуется отъ него никакой тяжкой работы; тамъ, сударь, будетъ для него гораздо свободнѣе здѣшняго: ни пахоты, ничего этого, что здѣсь требуется, ничего не будетъ; потребуется только присматривать за порядкомъ и вести разсчеты съ гуртовщиками — дѣло небольшой важности; и наконецъ, осмѣлюсь доложить вамъ, Сергѣй Васильичъ, у него жена, можно сказать, женщина настоящая, постоянная; она даже теперь одна, можно сказать, всю семью поддерживаетъ; женщина трудолюбивая, разсудительная; ей только поручить извольте; на нее можно, то есть, совершенно можно положиться: женщина очень хорошая...

— Ну, и прекрасно! очень радъ, очень радъ! сказалъ Вѣлицынъ, принимаясь снова расхаживать: — такъ, стало-быть, послѣ обѣда ты тотчасъ приведешь ихъ, Герасимъ. Не забудь только, пожалуйста, сказать, чтобъ они взяли съ собою всѣхъ дѣтей своихъ, всѣхъ рѣшительно: я всѣхъ ихъ хочу видѣть.

Камердинеръ давно уже ждалъ барина въ сосѣдней комнатѣ; онъ даже три раза перемѣнилъ воду для бритья, которая успѣла остыть. Посылая къ нечистому стараго управителя, такъ долго державшаго барина, камердинеръ въ сотый разъ уже прикладывалъ пышные свои бакенбарды къ двери кабинета, когда появился вдругъ Сергѣй Васильевичъ. Но улыбка на губахъ камердина, какъ называлъ его Агапъ Акишевъ, была непродолжительна: съ той секунды, какъ Сергѣй Васильевичъ опустился въ кресло и подставилъ ему свой подбородокъ, до той секунды, какъ, совсѣмъ одѣтый, вышелъ снова въ кабинетъ, онъ не переставалъ торопить камердинера, два раза назвалъ его неловкимъ и суетилъ безпощадно. Съ такимъ же суетливымъ видомъ Сергѣй Васильевичъ прошелъ всѣ нижнія комнаты родоваго дома и вездѣ спрашивалъ: гдѣ барыня? Узнавъ, что барыня на террасѣ, онъ тотчасъ же направилъ туда шаги свои. Появленіе его было такъ неожиданно

и вмѣстѣ съ тѣмъ лицо его дышало такимъ непривычнымъ оживленіемъ, что Александра Константиновна быстро опустила работу и спросила:

— Qu'as tu, mon ami?...

— J'ai tout un roman à vous raconter — цѣлый романъ! произнесъ Сергѣй Васильевичъ.

Онъ пожалъ руку женѣ, поздоровался съ гувернанткой, которая тотчасъ же запрыгала на своемъ стулѣ отъ нетерпѣнія, опустился на сосѣднее кресло и повторилъ:

— Да, цѣлый романъ!...

Сергѣй Васильевичъ всегда имѣлъ въ своемъ кругу репутацію интереснаго, пріятнаго разскащика. Можете представить себѣ послѣ этого, какъ сильно должна была подѣйствовать на слушательницъ исторія о несчастіяхъ и гоненіяхъ бѣднаго крестьянскаго семейства! Александрѣ Константиновнѣ никогда еще не приводилось слышать что-нибудь въ этомъ родѣ; ей до-сихъ-поръ казалось, что въ однихъ только повѣстяхъ и романахъ встрѣчается совокупленіе такихъ злосчастныхъ обстоятельствъ. Картина дѣйствительности такъ поражала ее, что она нѣсколько разъ складывала руки, какъ-бы умоляя о пощадѣ, и неоднократно подымала прекрасные глаза свои къ небу, какъ бы умоляя его о защитѣ. У Александры Константиновны также былъ въ запасѣ маленькій романъ, который намѣревалась она передать мужу; но романъ, въ которомъ роль героини разыгрывала Василиса, умолявшая о прибавкѣ муки, показался Вѣлицыной до того ничтожнымъ и блѣднымъ сравнительно съ горестями крестьянскаго семейства, о которомъ говорилъ мужъ, что она не рѣшилась даже упоминать о немъ. Ея вниманіе и симпатія принадлежали теперь исключительно Тимоѳею, le pauvre Timothée, какъ восклицала дѣвица Луиза: бордосскую уроженку болѣе всего поразилъ повидимому эпизодъ съ сумасшедшей Дуней.

— Oh! cette pauvre Dounia! Cette malheureuse Dounia! не переставала твердить она, отрываясь затѣмъ только, чтобъ взглянуть на Мери, которая въ десяти шагахъ занималась издѣліемъ пирожковъ и булокъ изъ сыраго песку.

Но тягостное впечатлѣніе, испытанное слушательницами, мигомъ однакожъ разсѣялось и превратилось даже въ состояніе близкое къ восхищенію, когда Сергѣй Васильевичъ сообщилъ имъ свой планъ касательно Тимоѳея.

— Я сказалъ Karassin, чтобъ онъ всѣхъ ихъ, всѣхъ, не

выключая даже и маленькихъ дѣтей, привелъ къ намъ тотчасъ же послѣ обѣда, заключилъ Сергѣй Васильевичъ.

— Bravo, M. Bélissine! c'est ainsi qu'il faut faire les bonnes actions! восторженно произнесла гувернантка.

— Я очень рада буду ихъ видѣть, очень, очень! сказала, въ свою очередь, Александра Константиновна съ чувствомъ искренней, сердечной радости:— случай этотъ окончательно примиряетъ меня съ сельской жизнью. Если, съ одной стороны, деревня нѣсколько разрушаетъ поэзію, которою привыкли мы окружать ее, за то, можетъ быть, нигдѣ не представляется столько случая дѣлать истинное, положительное добро, сколько въ деревнѣ. Если бъ вообще всѣ мы жили больше въ своихъ имѣньяхъ, я увѣрена, тогда было бы несравненно меньше несчастныхъ... Я очень рада, Serge, очень рада, что мы пріѣхали въ Мáрьинское!...

III.

Планъ осуществляется.

Александра Константиновна, Сергѣй Васильевичъ, гувернантка и Мери сидѣли послѣ обѣда въ гостиной, когда камердинеръ возвѣстилъ, что привели крестьянское семейство. Всѣ тотчасъ же встали и пошли въ переднюю.

Первое впечатлѣніе, сдѣланное на господъ Лапшою и его семействомъ, было какъ нельзя выгоднѣе для послѣдняго. Какъ ни были господа симпатично настроены, какъ ни воображали они дѣйствующихъ лицъ романа, разсказаннаго Сергѣемъ Васильевичемъ, но дѣйствительность превзошла ожиданія. Въ настоящую минуту Лапша, его жена и дѣти могли въ самомъ дѣлѣ возбудить участіе даже въ такомъ человѣкѣ, который не зналъ бы ихъ исторіи. Лапша, надо полагать, не шутя расшибся, упавъ тогда въ вертепъ; страданія отъ боли ясно отпечатывались въ его опущенныхъ, но изогнутыхъ бровяхъ, виднѣлись въ его потухшемъ, напряженномъ взорѣ, въ его позѣ и лицѣ, покрытомъ известковою, зеленоватою блѣдностью; къ этому примѣшивалось также сильное волненіе: онъ страшно оробѣлъ, когда сказали ему, что господа требуютъ; рубашка на груди его колебалась, какъ-будто раздували ее мѣхомъ, хрипѣвшимъ и шипѣвшимъ отъ усиленнаго надавливанія;

руки и ноги тряслись какъ въ лихорадкѣ. Но даже подлѣ Лапши Катерина останавливала на себѣ особенное вниманіе: она замѣтно похудѣла въ эти послѣдніе два дня; выразительныя, энергическія черты ея сдѣлались какъ-бы еще рѣзче, но онѣ служили теперь выраженіемъ такой глубокой скорби, такъ много написано было въ нихъ тоски и душевной, затаенной пытки, что, взглянувъ на нее, Александра Константиновна почувствовала слезы на глазахъ своихъ; слезы ея вызваны также были жалкимъ видомъ младенца на рукахъ женщины; она не могла глядѣть безъ сердечнаго замиранья на грубое, дырявое тряпьё, прикрывавшее его нѣжные худенькіе члены. Бѣлицына никогда даже не воображала возможности существованія такой бѣдности. Съ глазами, полными истиннаго, сердечнаго состраданія, смотрѣла она на лохмотья Катерины и ея лицо, казавшееся еще несчастнѣе въ сосѣдствѣ съ круглымъ, молоденькимъ и свѣжимъ лицомъ Маши. Что же касается до трехъ мальчугановъ Катерины, ихъ не было возможности разсмотрѣть: ихъ головы и туловища исчезали совершенно: Бѣлицыны, гувернантка, Мери и Герасимъ, стоявшій подлѣ печки съ сложенными за спину руками, могли только видѣть нѣсколько ручонокъ, которыя крѣпко держались за складки понявы и такъ ихъ натягивали, что превращали въ совершенно прямыя линіи.

Сергѣй Васильевичъ, тронутый почти столько же, сколько жена и гувернантка, приступилъ къ объясненію съ тою лихорадочною торопливостью, которая овладѣваетъ всѣми добрыми людьми, приступающими къ исполненію давно задуманнаго благодѣянія.

— Пожалуйста, прошу васъ, успокойтесь, успокойтесь! проговорилъ онъ тотчасъ же, какъ только поздоровался, и для того, вѣроятно, чтобъ ободрить ихъ, потрепалъ по плечу сначала Лапшу, потомъ Катерину и наконецъ Машу: — я призвалъ васъ совсѣмъ не для того, чтобъ вы меня боялись и были печальны, подхватилъ онъ: — напротивъ, вамъ надо теперь повеселѣть... Я узналъ, сколько вы терпѣли, узналъ обо всѣхъ вашихъ несчастіяхъ, и теперь все это кончится: я и жена, мы постараемся исправить ваши обстоятельства...

— Да, непремѣнно, непремѣнно! сказала Бѣлицына, приближаясь къ Катеринѣ: — я очень обрадовалась, когда услышала, что ты такая добрая женщина: твой поступокъ съ женою брата твоего мужа достаточно это показываетъ... Повѣрь, моя милая, я и мужъ,

мы этого не забудемъ... мы сдѣлаемъ для тебя все, все, что только возможно.

Но изъ всего того, что могла сдѣлать барыня, Катеринѣ нужно было одно только. Въ головѣ ея была одна мысль; она не покидала ее ни днемъ, ни ночью; съ этой мыслью шла она къ барскому дому, съ этой мыслью стояла она передъ господами. Робость и еще болѣе неувѣренность въ участіи господъ — чувство, свойственное всѣмъ бѣднякамъ, поставленнымъ лицомъ къ лицу съ людьми сильными — принуждали Катерину къ молчанію. Услыша ласковый голосъ барыни, она въ первый разъ подняла черные, печальные глаза свои; лицо Александры Константиновны окончательно, казалось, ободрило бѣдную бабу; быстро передала она младенца дочери и упала въ ноги барынѣ.

Движеніе это, неожиданное для Александры Константиновны, было еще неожиданнѣе для трехъ мальчугановъ, державшихся за юбку матери: увлеченные ея паденіемъ, но откинутые въ стороны разбѣжавшимися складками понявы, одинъ изъ нихъ покатился подъ ноги гувернанткѣ, другой подъ ноги Сергѣю Васильевичу. Одинъ пучеглазый Костюшка успѣлъ во-время выпустить изъ рукъ поняву, но положеніе его отъ этого ни мало не выиграло; напротивъ, увидя себя передъ господами, онъ побагровѣлъ какъ клюква, секунды двѣ стоялъ въ какомъ-то оцѣпенѣніи и скрылся за сестрою тогда уже, когда младшіе его братья находились въ защитѣ за отцовской спиною.

— Матушка! заступись! заступись! вели сыскать!... говорила между-тѣмъ Катерина, рыдавшая теперь на-взрыдъ: — заступись!... мальчика увели у меня... увели, отняли родное дѣтище... нищіе украли!... Вели сыскать... три дня увели всего... три дня!... Одна и была у меня утѣха, одна радость, и ту отняли!... Матушка! пока жизнь во мнѣ будетъ, стану и день, и ночь молить за тебя Бога... не оставь меня своею милостью, вели сыскать его...

— О какомъ мальчикѣ она говоритъ? Это еще что такое? спросилъ Сергѣй Васильевичъ, суетливо обращаясь къ Герасиму, тогда-какъ Александра Константиновна всячески успокоивала бабу и старалась приподнять ее: — ты ничего не сказалъ мнѣ объ этомъ? примолвилъ онъ вспыльчиво.

— Я самъ, сударь, въ первый разъ слышу; я ничего... рѣшительно ничего не знаю, проговорилъ управитель, разводя руками и повидимому удивляясь не менѣе барина.

Герасимъ точно ничего еще не слыхалъ о пропажѣ мальчика. Ошеломленный этимъ извѣстіемъ, онъ вспомнилъ, что, дней пять назадъ, далъ второпяхъ видъ сыну Лапши, но въ первую секунду никакъ не могъ сообразить, почему могъ пропасть мальчикъ и почему баба упоминала о нищихъ. Съ той минуты, какъ пріѣхали Бѣлицыны, что̀ случилось четверть часа спустя послѣ возвращенія управителя изъ города, мàрьинское населеніе такъ было занято пріѣздомъ господъ, что происшествіе съ Катериной совершенно изгладилось изъ памяти каждаго; никому даже въ голову не пришло сообщить о немъ управителю, и наконецъ во все это время Герасимъ суетился до такой степени, что всякій, кто обращался къ нему за собственнымъ дѣломъ, долженъ былъ караулить его часа по три, и то безъ малѣйшаго успѣха.

— Въ первый разъ слышу, Сергѣй Васильевичъ, подтвердилъ старикъ:— пять дней назадъ, пришелъ вотъ онъ ко мнѣ видъ просить для сына; я ему далъ... а что вотъ она говоритъ насчетъ, то есть, пропажи... объ нищихъ — впервые слышу... довершилъ онъ, поглядывая съ недоумѣніемъ на Катерину, которая продолжала рыдать у ногъ барыни.

— Что жъ это значитъ? произнесъ Сергѣй Васильевичъ, обращаясь къ Лапшѣ. Съ той минуты, какъ Катерина бросилась барынѣ въ ноги и заговорила о мальчикѣ, Лапша закрылъ глаза, какъ человѣкъ, обрывающійся въ пропасть. Прохваченный до костей холоднымъ пóтомъ, онъ чувствовалъ только, что все заходило кругомъ въ головѣ его; вопросъ барина произвелъ на него дѣйствіе сильнаго толчка и кинулъ его въ жаръ. — Что жъ это значитъ, братецъ, я тебя спрашиваю? повторилъ нетерпѣливо Сергѣй Васильевичъ.

Лапша моргнулъ только бровями, и какъ бы истративъ на это движеніе остатокъ силъ, онъ такъ вдругъ раскисъ и закачался, что если бъ не ребятишки, державшіе его сзади за рубашку, онъ, можетъ-быть, не удержался бы на ногахъ.

— Ничего не понимаю! сказалъ Сергѣй Васильевичъ, пожимая плечами. — Полно, моя милая, не плачь, пожалуйста, успокойся! подхватилъ онъ ласково, обратившись къ Катеринѣ и принимаясь вмѣстѣ съ женою упрашивать ее, чтобъ она встала:— мы обѣщаемъ тебѣ сдѣлать все, все, что возможно; только разскажи обстоятельно, о чемъ ты просишь... Слезами тутъ не поможешь; мы только время теряемъ. Какъ это было?

Катерина поспѣшно провела ладонью по глазамъ; но такъ-какъ сердце ея слишкомъ уже переполнилось слезами, чтобъ можно было удержать ихъ, она дала имъ полную свободу.

— Вотъ, сударь, какъ дѣло было, сказала она прерывающимся голосомъ: — передъ тѣмъ, какъ вашу милость ждали, пришли къ намъ нищіе, увидали они у меня мальчика и стали просить его... хотѣли съ собой взять... они и все такъ-то съ малолѣтними ходятъ!... Знамо, сударыня, кабы были они люди путные или мастеровые, я бы, ни́што, послушала ихъ; какъ ни жаль свое дѣтище, отдала бы имъ: по-крайности научился бы отъ нихъ доброму дѣлу, человѣкомъ бы сталъ... Съ нищими отпустить — все одно погубить, значитъ, малаго: окромѣ худобы, ничему ни научатъ... Какъ сказали мнѣ они объ этомъ, я возьми да и прогони ихъ изъ дому...

— И прекрасно сдѣлала, моя милая, прекрасно! Продолжай пожалуйста! сказали въ одинъ голосъ Бѣлицыны.

— Какъ прогнала ихъ, они потомъ гдѣ-то съ мужемъ и встрѣлись; меня въ ту пору дома-то не было... ничего я этого не знала, продолжала Катерина, горько всхлипывая: — стали этто они его уговаривать... денегъ сколько-то посулили... На этомъ мѣстѣ рыданія заглушили голосъ Катерины; минуту спустя, она продолжала: Въ ту пору, сударыня, насъ долгами оченно стращали... вашей милости жаловаться хотѣли... побоялся онъ этого, сударыня... ну... ну... и польстился на такія ихнія рѣчи... взялъ да и отдалъ имъ мальчика...

— Если бъ я зналъ, сударь, что онъ мальчика нищимъ хо́четъ предоставить, я бы, конечно, не далъ ему вида, вмѣшался Герасимъ, досадливо поглядывая на Лапшу, который казался въ эту минуту изнемогающимъ отъ боли и страха: — онъ мнѣ тогда ничего не сказалъ объ этомъ...

— Какъ же ты могъ на это рѣшиться! воскликнулъ Сергѣй Васильевичъ съ горячностью:—какія бы ни были твои обстоятельства, какъ могъ ты отпустить сына съ нищими, съ бродягами?...

Лапша поднялъ голову, раскрылъ дрожащія губы и вдругъ заплакалъ, но такъ горько, что Александра Константиновна и, за ней, гувернантка отвернулись къ двери и начали сморкаться, чтобъ скрыть собственныя свои слезы.

— Долги, сударь... могъ только проговорить Лапша: — долги... оченно стращали... совсѣмъ замучили...

— Laissez le, mon ami... tu vois qu'il est déjà assez malheureux... c'est le malheur qui l'a conduit!... сказала Бѣлицына, желая смягчить мужа, что было совершенно лишнее, потому что онъ былъ уже давно смягченъ несчастнымъ видомъ Лапши и его слезами.

— Онъ и самъ не радъ этому, сударыня, самъ день и ночь убивается! проговорила Катерина, опять давая полную волю рыданіямъ.—Матушка! сжалься надъ нами, вели сыскать мальчика! Все сердце о немъ высохло! Помилуй! подхватила она, снова бросаясь господамъ въ ноги.

Въ этомъ движеніи Катерины не было ничего униженнаго и подобострастнаго; она не выпрашивала у барыни муки или другой какой-нибудь милости въ томъ же родѣ; если падала она въ ноги, такъ это потому, что, въ отчаяніи своемъ, не находила болѣе убѣдительнаго способа вымолить у нея погоню за сыномъ. Оправившись нѣсколько послѣ этого вторичнаго порыва отчаянья, она передала господамъ о томъ, какъ нищіе зазвали мужа и мальчика въ лѣсъ, какъ воспользовались они его слабостью и одиночествомъ, какъ обманули его и силою увели ребенка; разсказъ о ея двухдневныхъ безполезныхъ поискахъ такъ сильно подѣйствовалъ на Александру Константиновну, что она два раза прикладывала платокъ къ глазамъ своимъ.

— Будь увѣрена, моя милая: все, что только можно сдѣлать, будетъ сдѣлано, заговорилъ Сергѣй Васильевичъ съ необычайнымъ оживленіемъ.—Герасимъ, надо будетъ сейчасъ же распорядиться, сейчасъ же послать верховыхъ по всѣмъ дорогамъ: надѣюсь, у насъ найдутся для этого и люди и лошади?...

— Да, сейчасъ послать, послать какъ можно скорѣе, подтвердила Александра Константиновна, ободряя Катерину движеніемъ прекрасной руки своей:

— Все это можно-съ... произнесъ Герасимъ съ видомъ покорности, хотя вертѣвшіеся пальцы за спиною ясно показывали, какъ затруднялся онъ въ исполненіи этого намѣренія: — осмѣлюсь только доложить вамъ: мы теперь ничего не отыщемъ... прошло ужъ пять дней; нищіе вѣрно поспѣшили уйдти куда-нибудь подальше...

— Близко ли, далеко ли, надо, однакожъ, поймать ихъ, поймать непремѣнно! произнесъ, разгорячаясь, Сергѣй Васильевичъ.

— Лучше всего, сударь, послать, чѣмъ-свѣтъ, извѣстить

исправника; также вотъ становымъ приставамъ надо дать знать: это всего вѣрнѣе.

— Хорошо; такъ завтра же чѣмъ-свѣтъ, чтобъ это было сдѣлано!... Ну полноте же плакать, полноте! подхватилъ Сергѣй Васильевичъ, принимаясь вмѣстѣ съ женою успокоивать Катерину: — слышите: завтра все будетъ сдѣлано; я самъ напишу исправнику, самъ попрошу его объ этомъ; онъ вѣрно для меня постарается... Утрите же ваши слезы...

— Батюшка! Сергѣй Васильевичъ! отецъ ты нашъ! воскликнула Катерина, приводя въ дѣйствіе приказаніе барина: — какъ благодарить тебя за твои милости?... Мои словеса глупыя, не взыщи на нихъ... не знаю, какъ сказать тебѣ... Пускай Богъ воздастъ тебѣ за всѣ ваши милости, что насъ, бѣдныхъ, не оставляете!...

— Пока, моя милая, нѣ за что еще благодарить... Входя въ ваши дѣла, я исполняю свои обязанности, перебилъ Сергѣй Васильевичъ съ легкимъ колебаніемъ въ голосѣ, которое показывало, что онъ говорилъ отъ всего сердца: — я принимаю въ васъ участіе потому, что это мой долгъ, долгъ христіанина и помѣщика. Для того и помѣщикъ, чтобъ вникать въ ваши нужды, печись о вашемъ благосостояніи, поддерживать васъ добрымъ совѣтомъ... Поэтому-то собственно я и призвалъ васъ къ себѣ; я узналъ о вашемъ тяжкомъ положеніи, и мнѣ хотѣлось помочь вамъ... Я вижу, вы дѣйствительно добрые, хорошіе люди и заслуживаете этого...

При этомъ Александра Константиновна, слушавшая мужа съ восхищеннымъ вниманіемъ, оживилась необыкновенно; слова мужа внушили ей, казалось, мысль, которая приводила ее въ восторгъ; она подошла къ француженкѣ, шепнула ей что-то на ухо, потомъ пошептала Мери, и когда эти послѣднія побѣжали въ залу, подпрыгивая и хлопая въ ладоши, она съ видомъ внутренняго самодовольствія снова возвратилась на прежнее мѣсто.

— Вотъ въ чемъ дѣло, продолжалъ Сергѣй Васильевичъ: — я узналъ, къ сожалѣнію, узналъ слишкомъ поздно, но, слава Богу, поправить еще можно, узналъ, какое вамъ было худое житье, какъ вы бѣдствовали, какъ преслѣдовали васъ нѣкоторые изъ вашихъ сосѣдей...

— Совсѣмъ, сударь, заѣли... какъ есть заѣли!... неожиданно произнесъ Лапша, медленно приподымая правую бровь, тогда-какъ лѣвая оставалась на прежнемъ своемъ мѣстѣ и совсѣмъ почти за-

крывала глазъ, но, все равно, это показывало, что онъ начиналъ уже ободряться.

Сергѣй Васильевичъ взглянулъ на него, улыбнулся и продолжалъ:

— Знаю, знаю... Но мнѣ извѣстно также, Тимоѳей, подхватилъ онъ наставительно: — что ты вошелъ въ долги. Я начну съ того, разумѣется, что заплачу ихъ; но прежде скажу тебѣ, скажу все-равно, какъ бы сказалъ это отецъ своимъ дѣтямъ, что надо впередъ быть осторожнѣе: долги никогда не доводятъ до добра... Сколько у тебя всего-на-все долговъ?...

— Всего-то... сударь... да рублевъ двадцать! проговорилъ Лапша съ сокрушеннымъ видомъ, хотя правая его бровь ни на волосъ не опустилась; замѣтно даже было, что лѣвая начала приходить въ движеніе.

— Двадцать! воскликнули въ одинъ голосъ Сергѣй Васильевичъ и жена его: — какъ, подхватилъ Сергѣй Васильевичъ: — и за двадцать рублей тебѣ не давали покоя? за двадцать рублей васъ преслѣдовали?... Признаюсь, Герасимъ, я никакъ не думалъ, чтобъ марьинскіе мужики мои были такъ жадны...

— Всякіе есть, сударь; есть и хорошіе, есть и худые, промолвилъ Герасимъ, который впалъ съ нѣкоторыхъ поръ въ задумчивость, не отличавшуюся, впрочемъ, спокойнымъ свойствомъ, потому-что всякій, кто заглянулъ бы за его спину, увидѣлъ бы, что большіе пальцы его вращались съ непостижимою быстротою.

— Итакъ я заплачу ваши долги и вообще поправлю васъ совершенно; но только это съ однимъ условіемъ, съ однимъ условіемъ — слышите ли? проговорилъ Бѣлицынъ, поочередно взглядывая на Катерину и ея мужа: — у меня въ Саратовской губерніи есть лугъ... Отсюда всего верстъ четыреста, много пятьсотъ; я хочу васъ туда переселить... Ну что вы на это скажете — а?

— Ужъ оченно бы это хорошо!... Чѣмъ здѣсь такъ-то... Вѣкъ стали бы за тебя Бога молить! произнесъ Лапша, приподнимая лѣвую бровь, такъ-что она стала теперь въ-уровень съ правой.

Катерина ничего не сказала; по лицу ея, наклоненному къ землѣ, видно было, что предложеніе Сергѣя Васильевича не нашло въ ней большаго сочувствія: ей хотѣлось прежде всего, чтобъ отыскали Петю; покинуть Марьинское въ настоящую минуту, значило отдалиться еще больше отъ мальчика. Будь у ней теперь Пети, она обрадовалась бы столько же, можетъ-быть, сколько и Лапша.

Замѣтивъ грустное выраженіе ея лица, Александра Константиновна обратила на него вниманіе мужа.

— Я вамъ повторяю: этотъ лугъ всего какихъ-нибудь четыреста, пятьсотъ верстъ отъ Марьинскаго, подхватилъ убѣдительнымъ тономъ Сергѣй Васильевичъ:—и наконецъ, чего вамъ здѣсь? Вы видите, васъ здѣсь не любятъ. Положимъ, вы не отвѣчаете за поступки вашего брата, вы нисколько не виноваты, но все-таки къ вамъ питаютъ непріязнь, а вѣдь это тяжело; главное, я тутъ никакъ ужъ не могу пособить вамъ. То ли дѣло, если переселитесь... я не говорю: навсегда, но на время... тамъ посмотримъ... Вы заведетесь тамъ своимъ домкомъ, хозяйствомъ, будете жить мирно, тихо; никто не знаетъ тамъ ни васъ, ни вашего брата; слѣдовательно, никто и попрекать не станетъ... Къ тому же вамъ обоимъ будетъ тамъ несравненно легче; ваше дѣло будетъ состоять въ томъ только, чтобъ чужіе люди не травили лугъ, чтобъ всегда въ исправности содержался колодезь, чтобъ гуртовщики исправно платили деньги... Это несравненно легче, чѣмъ пахать, особенно для тебя, Тимоѳей: ты такой больной, слабый...

Лапша закашлялся и крякнулъ съ такимъ видомъ, какъ-будто силился приподнять съ пола огромную тяжесть.

— Однимъ словомъ, вамъ лучше будетъ тамъ во всѣхъ отношеніяхъ; край тамъ привольный: всего много—не то, что здѣсь! продолжалъ Сергѣй Васильевичъ, невольно увлекаясь при мысли о саратовскомъ лугѣ, который рѣшительно сдѣлался его конькомъ:—вотъ какъ я вамъ скажу: тамъ даже арбузы сѣются, какъ у насъ картофель; просто въ полѣ растутъ...

— Ужъ это на што ужъ лучше, Сергѣй Васильичъ?.. У насъ ничего этого нѣтути, замѣтилъ Лапша, стараясь принять толковый, дѣловой видъ:—оченно бы, сударь, хорошо это было...

— Я говорю вамъ, что тамъ вамъ будетъ гораздо лучше, перебилъ Сергѣй Васильевичъ съ чувствомъ сильнаго убѣжденія:—избу вашу мы продадимъ, и вырученныя деньги будутъ вамъ отданы; кромѣ этого, я вамъ еще дамъ, потому что тамъ надо будетъ выстроить избу или мазанку, вырыть колодезь и вообще обзавестись. Ужъ если я взялся за что, такъ, конечно, буду наблюдать, чтобъ вамъ было хорошо... Но ты, моя милая, кажется, какъ-будто не совсѣмъ довольна? Скажи мнѣ прямо, скажи, въ чемъ заключается твое неудовольствіе? прибавилъ онъ, обращаясь къ Катеринѣ.

— Помилуйте, сударь Сергѣй Васильичъ, могу ли я быть недовольна! съ чувствомъ сказала Катерина: — должна я понимать, какія вы милости для насъ дѣлаете! Отцы родные такой заботы не имѣютъ о своихъ дѣтяхъ, какъ вы о насъ сокрушаетесь.... Оченно я довольна вашими милостями и Бога должна благодарить... Одна у меня только забота... прибавала она, опуская глаза и вздыхая: — все о немъ, объ мальчикѣ о своемъ думаю... Безъ него какъ словно горько мнѣ уйдти отсюда...

— Еще бы! Но ты, пожалуйста, объ этомъ не безпокойся: завтра же чѣмъ-свѣтъ будутъ посланы письма къ исправнику и становымъ: мальчикъ твой найдется, непремѣнно найдется, только молись хорошенько Богу! заговорили вмѣстѣ баринъ и барыня: — такъ ты, стало-быть, также съ охотой переселишься отсюда? присовокупилъ Сергѣй Васильевичъ.

— Коли такая ваша воля, я, сударь, на все согласна... вы намъ худа не желаете... спокойно возразила Катерина.

— Mais arrivez donc! arrivez donc! on vous attends!... весело воскликнула Александра Константиновна, обращаясь къ двери залы, въ которой показались гувернантка и Мери, сопровождаемыя горничной Дашей, или lady Furie, какъ называли ее Бѣлицыны.

При первомъ взглядѣ на вошедшихъ, мысль, оживлявшая Бѣлицыну, тотчасъ же объяснилась. Руки гувернантки заняты были лентами и ботинками; Мери, милое личико которой сіяло такимъ же восхищеніемъ, какъ лицо матери, несла хорошенькій портмоне и большую бѣлую бонбоньерку съ вычурными золотыми разводами; горничная, выступавшая позади и преисполненная, болѣе чѣмъ когда-нибудь, чувствомъ собственнаго достоинства, держала къ рукахъ маленькій кружевной чепецъ, платокъ, стеганую кофту и еще кое-что изъ бѣлья; хотя всѣ эти предметы въ сотый разъ находились въ рукахъ Даши, но, судя по ея взглядамъ, они возбуждали въ ней въ эту минуту чувство непобѣдимаго презрѣнія, такого презрѣнія, что она поспѣшила даже перенести гордый, негодующій взглядъ свой на крестьянъ, стоявшихъ передъ господами. Мысль Александры Константиновны необыкновенно понравилась Сергѣю Васильевичу.

— Ты меня предупредила; я только-что думалъ объ этомъ, шепнулъ онъ, наклонясь къ женѣ, которая разбирала ленты.

До-сихъ-поръ Катерина, Лаша и Маша не понимали, казалось, хорошенько намѣренія господъ; по-крайней-мѣрѣ на ли-

цахъ ихъ не произошло никакого измѣненія; яркіе цвѣта лентъ и ослѣпительный блескъ бонбоньерки произвелъ, повидимому, только дѣйствіе на трехъ мальчугановъ, начавшихъ-было выглядывать изъ-за понявы сестры и матери: всѣ трое поспѣшно скрылись, какъ скрываются зайцы при видѣ сверканія огнестрѣльнаго оружія.

— Ну, это не по моей части... жена хочетъ кое-что подарить вамъ, я въ это не вмѣшиваюсь, съ добродушною веселостью произнесъ Сергѣй Васильевичъ.

Онъ далъ мѣсто женѣ, которая подходила съ чепцомъ и кофтой къ Катеринѣ, взявшей у дочери своего младенца.

— Вотъ это тебѣ, моя милая... для твоего ребенка... принодними его, я сама на него надѣну, произнесла Александра Константиновна, накидывая чепецъ на голову младенца, который разразился вдругъ неистовымъ воплемъ: — по-крайней-мѣрѣ головка его будетъ теперь закрыта отъ солнца, продолжала Александра Константиновна: — а вотъ тебѣ еще кофточка, чтобъ закутывать его...

— Напрасно, матушка, изволите себя безпокоить... Много довольны мы и безъ того вашими милостями, не знаемъ, какъ и благодарить васъ... Только намъ этого ничего не надобно... простодушно сказала Катерина, между-тѣмъ, какъ Лапша не переставалъ кланяться на-отмахъ, что приводило всякій разъ въ сильное замѣшательство трехъ мальчугановъ, избравшихъ теперь мѣстомъ засады пространство между выходной дверью и спиною отца.

Но Александра Константиновна не хотѣла слушать Катерину; она заставила ее взять платокъ, бѣлье и дала ей, сверхъ-того, нѣсколько денегъ, взятыхъ изъ портмоне — обстоятельство, которое, неизвѣстно почему, особенно-сильно подѣйствовало на аристократическія чувства Даши; губы ея до-того съузились, что совсѣмъ почти исчезли; носъ до-того заострился, что если бъ приставить къ нему листъ бумаги, онъ непремѣнно проткнулъ бы его; гордый взглядъ ея, сдѣлавшійся ядовито-насмѣшливымъ, быстро обратился къ Герасиму; но взглядъ пропалъ даромъ, потому что старикъ бесѣдовалъ въ эту минуту съ барономъ. Александра Константиновна перешла между-тѣмъ къ Машѣ.

— А это тебѣ, моя красавица, сказала она, подавая ей ленты: — у тебя же такая славная, черная коса!

Горничная Даша машинально провела ладонью по собственному затылку, и это было очень-кстати, потому-что коса ея, отъ чрезмѣрнаго потрясенія гордой головы ея, грозила съѣхать на спину,

что было бы очень нехорошо, потому-что затылокъ ея оказался бы тогда голымъ, какъ ладонь; коса у lady Furie была фальшивая.

— Madame Bélissine, comment est ce qu'il faut dire?... заговорила въ свою очередь гувернантка — ботинъ! приполвила она, подавая старыя свои ботинки Машѣ: — ботинъ! пожалиста... ботинъ... нужна ботинъ!...

— Mais elles ne portent point cela... замѣтила, улыбаясь, Александра Константиновна.

— Oh! воскликнула съ такимъ комически-плачевнымъ видомъ гувернантка, что Бѣлицына, Мери и Сергѣй Васильевичъ засмѣялись.

Тотъ только, кто вынужденъ былъ сдерживать злобно-желчный смѣхъ, поймете, сколько власти надъ собою должна была имѣть Даша, чтобъ сохранить свое спокойствіе.

— Катерина, покажи намъ своихъ мальчиковъ. Что это они все прячутся? сказала барыня.

— Ничего съ ними не сдѣлаешь! вымолвилъ Лапша, совсѣмъ теперь ободрившійся. — Я васъ! пусти руки, говорятъ!... эки шустрые! добавилъ онъ и выставилъ впередъ пучеглазаго Костюшку, который сильно упирался ногами.

Мери, повинуясь движенію матери, раскрыла бонбоньерку и поднесла ее мальчику.

— Ай! ай! ай! закричалъ во все горло Костюшка, кидаясь головою впередъ въ поняву матери, которая выставляла впередъ двухъ другихъ.

Мери снова поднесла бонбоньерку.

— Ай! ай! ай! закричали еще звонче братья Костюшки и, вырвавшись изъ рукъ матери, стремительно побросались за отцовскую спину.

— Этакіе глупенькіе! смѣясь, сказала Александра Константиновна и, взявъ нѣсколько конфектъ, отдала ихъ Машѣ: — все равно, отдай ихъ потомъ; скажи имъ, что это даетъ имъ барышня.

Лапша переглянулся съ женою и дочерью, обнаруживая намѣреніе броситься въ ноги господамъ; но господа остановили его вовремя. Дѣло о переселеніи было уже рѣшено, и потому Сергѣй Васильевичъ не нашелъ нужнымъ говорить о немъ Лаппѣ и женѣ его; онъ сказалъ только, чтобъ они съ возможной поспѣшностью приготовились къ сборамъ и повторилъ Катеринѣ, что съ завтрашняго же утра начнутся дѣйствія касательно возвращенія ея сына.

Когда крестьянское семейство, обласканное, обнадеженное объ-

щаніями и снабженное подарками, покинуло прихожую, Александра Константиновна, гувернантка и Мери обнаружили желаніе взглянуть, какъ пойдетъ оно по двору. По этому случаю, въ залѣ открыто было окно. Группа, образовавшаяся такимъ-образомъ въ окнѣ, была достойна замѣчанія по своей полнотѣ и разнообразію; ее составляли на первомъ планѣ: Александра Константиновна, гувернантка и Сергѣй Васильевичъ, державшій Мери на рукахъ; на второмъ планѣ: Герасимъ съ птичьей, задумчивой физіономіей и заложенными за спину руками; на третьемъ планѣ Даша съ гордоприподнятою головою, причесанною à la Margot, съ ядовитой улыбкой на тонкихъ губахъ и длиннымъ носомъ, который какъ-будто видимо и притомъ самъ собою заострялся.

IV.

Препятствіе.

Лица (въ настоящемъ случаѣ было бы неучтиво сказать люди), лица, привыкшія вести въ столицахъ свѣтскую, разсѣянную жизнь, вообще говоря, рѣдко бываютъ постоянны въ своихъ вкусахъ и стремленіяхъ. Предметъ, вызывающій искренній вздохъ, возбуждающій живѣйшее участіе или располагающій къ порыву веселости, встрѣчаетъ иногда, по прошествіи самаго короткаго срока, полнѣйшее равнодушіе. Это происходитъ оттого, кажется, что свѣтская столичная жизнь представляетъ слишкомъ-много впечатлѣній. Упрекать свѣтскаго человѣка въ непостоянствѣ вкусовъ и перемѣнчивости — то же самое, что упрекать бабочку, которая потому только и перепархиваетъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, что цвѣтовъ разсыпано передъ ней мильоны. Посадите бабочку въ клѣтку и дайте ей одинъ цвѣтокъ: она, безъ сомнѣнія, просидитъ на немъ очень долго, пока не высосетъ изъ него всего соку. Свѣтскій человѣкъ ѣдетъ въ театръ, нетерпѣливо устремляетъ глаза на сцену и черезъ полчаса зѣваетъ или разсматриваетъ хорошенькихъ сосѣдокъ. Повезите провинціала въ звѣринецъ Зама: онъ будетъ говорить объ этомъ пять недѣль сряду. Все это въ порядкѣ вещей.

Но хотя Вѣлицыны жили постоянно въ столицѣ и вели свѣтскую разсѣянную жизнь, однако все сказанное нами нимало къ нимъ не относится — ни на волосъ не относится; нѣтъ, не таковы были Вѣлицыны!

Послѣ того, какъ ушло крестьянское семейство, Сергѣй Васильевичъ и Александра Константиновна такъ же горячо говорили о немъ, какъ если бъ оно находилось передъ ними; но этого мало: участіе ихъ не ограничивалось словами. Тотчасъ же послѣ чая Сергѣй Васильевичъ отправился писать письмо исправнику; Александра Константиновна приказала принести себѣ холста, нитокъ, иголокъ и, съ помощью гувернантки, принялась кроить кофты, чепчики и рубашонки дѣтямъ Катерины. Даже маленькая Мери съ такимъ усердіемъ сѣла обметывать рубецъ, что невольно хотѣлось подѣловать ее въ хорошенькую, бѣлокурую головку.

Планъ переселенія Лапши въ саратовской лугъ и устройства тамъ колодца и мазанки не мало также занималъ Сергѣя Васильевича. Написавъ письмо исправнику, онъ сдѣлалъ маленькую смѣту „о вѣроятныхъ доходахъ“, которые принесетъ лугъ: смѣта оказалась въ высшей степени удовлетворительною. Все подтверждало мысль Сергѣя Васильевича, что переселеніе должно быть совершено со всевозможною поспѣшностью. Такъ онъ и думалъ сдѣлать, но, къ сожалѣнію, не такъ сдѣлалось.

Проектъ о переселеніи смѣнился совершенно неожиданно, и даже совершенно независимо отъ Сергѣя Васильевича, проектомъ объ устройствѣ сельской больницы. Это произошло вотъ по какому случаю: на другое утро, когда письмо къ исправнику было отослано, Сергѣй Васильевичъ отправилъ къ Лапшѣ Агапа Акйшева; ему хотѣлось узнать, дѣлаются ли тамъ какія-нибудь приготовленія къ отъѣзду. Черезъ пять минутъ посланный вернулся съ отрицательнымъ отвѣтомъ.

— Самъ я не видѣлъ, сударь, подхватилъ Акйшевъ: — а только сказываютъ: очень, то-есть, разнемогся.

— Кто разнемогся?

— Тимоѳей, сударь; всю ночь, то-есть, жаловался, а теперь такъ даже встать никакъ, то-есть, не можетъ...

Доброе лицо Сергѣя Васильевича изобразило въ одно и то же время сожалѣніе и досаду; онъ взялъ свою пастушескую шляпу и, сопровождаемый Герасимомъ, направился къ избѣ Тимоѳея. Катерина повела ихъ въ клѣть, гдѣ лежалъ ея мужъ.

— Въ ночь, сударь, схватило; думали, ужъ совсѣмъ помретъ, сказала она: — сначала на грудь жаловался: „духъ, говоритъ, не переведу“, потомъ и весь разнемогся, отнялись руки и ноги; даже владать ими не можетъ...

— Ну, а теперь какъ? заботливо спросилъ помѣщикъ...

— Теперь какъ словно полегчило маленечко; заснулъ.

— Тсс... ну такъ оставь его, пускай спитъ! шепнулъ Сергѣй Васильевичъ, останавливаясь у дверей клѣтушки. — Странно, что это такъ вдругъ случилось... Впрочемъ, я вчера еще замѣтилъ: онъ былъ несовсѣмъ здоровъ.

— Онъ ужъ давно, сударь, на грудь жалуется, возразила Катерина: — пять дней тому, какъ мальчика-то моего... вотъ что я вамъ, батюшка, сказывала... онъ въ оврагъ упалъ, расшибся добре... должно быть, не черезъ это ли теперь мучится...

Сергѣй Васильевичъ приказалъ дать знать, когда Лаптя проснется, и вышелъ на улицу.

— Надо будетъ тотчасъ послать въ уѣздный городъ за докторомъ, сказалъ онъ, оборачиваясь къ управителю.

— Слушаю-съ... Осмѣлюсь только доложить, Сергѣй Васильичъ, напрасно, сударь, изволите себя безпокоить: докторъ ничего здѣсь не сдѣлаетъ... напрасно деньги отдать изволите...

— Прекрасно! пре-е-красно! вскрикнулъ съ горячностью Вѣлицынъ: — надо, слѣдовательно, предоставить этого человѣка на произволъ судьбы: пускай онъ страдаетъ, пусть умретъ даже — не такъ ли? а?... Это удивительно, что за народъ! удивительно, удивительно! подхватилъ онъ, досадливо надвигая на глаза наступленскую шляпу.

Герасимъ Аѳанасьевичъ замялся.

— Я, то-есть, въ томъ разсужденіи, Сергѣй Васильичъ, что они дохтора не послушаютъ, сказалъ онъ: — ужъ это, сударь, народъ такой; никакимъ манеромъ не сообразишь съ нимъ... Эти случаи ужъ бывали: докторъ скажетъ то-и-то надо исполнить — они ничего этого не сдѣлаютъ; ужъ это, сударь, вѣрно! Они пойдутъ къ какой-нибудь ворожеѣ, своей же бабѣ, ей повѣрятъ, а дохтора ни за что, сударь, не послушаютъ.

— Но вѣдь должны же они понимать, что докторъ человѣкъ ученый, что онъ всю свою жизнь занимается леченіемъ, тогда какъ баба какая-нибудь ничего не смыслитъ и только плутуетъ...

— Они этого, Сергѣй Васильичъ, не берутъ въ разсужденье. Иной втрое передастъ противъ того, что взялъ бы докторъ... да дѣло не въ счетѣ; положимъ хошь бы черезъ эфто какую пользу себѣ получилъ, а то, вѣдь, другой разъ на всю жизнь несчастнымъ остается... и все-таки, сударь, пойдетъ скорѣе къ ворожеѣ,

чѣмъ къ доктору. Вотъ, я вамъ доложу, прошлую осень какой былъ случай: вижу я, захромалъ кузнецъ; поглядѣлъ — такъ, рана маленькая отъ обжоги; приложилъ я ему сала; черезъ три дня совсѣмъ заживать стала; прошла недѣля — не видно кузнеца; спрашиваю, говорятъ: ноги лишился. Я къ нему; точно: ногу какъ бревно разнесло, смотрѣть, такъ даже ужасно... Что жъ? вѣдь признался: у ворожеи былъ; „думалъ, говоритъ, скорѣе заживетъ!“ Она возьми да и намажь ему рану-то скипидаромъ — просто всю ногу разъѣло! Насилу, сударь, вылѣчили... То ли еще дѣлаютъ! купоросъ къ ранамъ прикладываютъ, мышьякомъ присыпаютъ...

— Это ужасно! сказалъ Сергѣй Васильевичъ, раскланиваясь очень-сухо съ проходившими мимо него бабами и мужиками и какъ-бы желая дать почувствовать, что несовсѣмъ-то ими доволенъ. — Такъ, однакожъ, никакъ нельзя оставить, примолвилъ онъ: — этакъ вся деревня превратится въ калѣкъ.

— Выздоравливаютъ, сударь! спокойно возразилъ Герасимъ: — русскій человѣкъ крѣпокъ! Благодаря Бога, у насъ въ Мàрьинскомъ всѣ теперь здоровы, кромѣ, вотъ, Тимоѳея, и между-тѣмъ, всѣ, сударь, съ поконъ вѣку у ворожеекъ лечатся...

— Это не резонъ! Если до-сихъ-поръ не произошло несчастія, то можно ожидать его. Надо будетъ непремѣнно принять мѣры, примолвилъ Сергѣй Васильевичъ тономъ, который показывалъ, что онъ сильно углубился въ самого себя.

Вернувшись домой, онъ прошелъ прямо въ кабинетъ, взялъ листъ бумаги и надписалъ сверху: „Проэктъ мàрьинской больницы“ и принялся выставлять цифру подлѣ цифры. Предположено было сначала устроить десять постелей. Но заключительный счетъ, въ который вошли расходы постройки, наемъ фельдшера, покупка медикаментовъ и содержаніе больныхъ, былъ такъ великъ, что число постелей убавлено было тотчасъ же наполовину. Цифра все-таки превышала ожиданія Сергѣя Васильевича; но это его не остановило: набросавъ карандашомъ легкій планъ постройки, онъ понесъ его къ женѣ. Съ первыхъ словъ мужа, Александра Константиновна протянула ему обѣ руки свои.

— У тебя всегда такія славныя идеи, Сержъ! сказала она радостно, глядя ему въ глаза. — Я сидѣла здѣсь и думала именно: что́, если бъ всѣ мы жили больше въ своихъ деревняхъ, ближе бы знакомились съ сельскимъ бытомъ... сколько добра можно сдѣлать! сколько пользы! И какъ все это легко: сто́ить только чуть-чуть

себя принудить. Принужденье даже совсѣмъ нетрудное: сельская жизнь имѣетъ также свою пріятную сторону, свою поэзію... Вотъ хоть бы теперь эти бездѣлицы! присовокупила она, приподымая пеструю ситцевую шапочку, предназначавшуюся для младшаго ребенка Катерины:—ты представить себѣ не можешь, сколько мнѣ это доставляетъ удовольствія!... Одна мысль, что бѣдные эти люди будутъ счастливы, радуетъ мое сердце. Ахъ, да, кстати: что подѣлываютъ наши protégés?...

— У нашихъ protégés несовсѣмъ-ладно...

— Ахъ, Боже мой! что жъ такое?

— Тимоѳей очень боленъ...

— Qu'arrive-t'il à Timothée? съ оживленіемъ спросила гувернантка.

Сергѣй Васильевичъ разсказалъ о прогулкѣ своей и передалъ все слышанное отъ Катерины. Участіе, выказанное при этомъ гувернанткой, сдѣлало бы величайшую честь ея доброму сердцу, если бъ не было черезчуръ уже сильно. Она слушала Сергѣя Васильевича съ такимъ же почти выраженіемъ, какъ долженъ былъ слушать Тезей разсказъ о несчастіяхъ сына своего Ипполита. Она предложила сдѣлать тотчасъ же для больнаго de la tisane, а въ ожиданьи этого снадобья, послать ему чашку бульона; но Сергѣй Васильевичъ сказалъ, что все это лишнее, что онъ сдѣлалъ уже самое необходимое распоряженіе, а именно, послалъ за уѣзднымъ лекаремъ.

Слово „лекарь“, по тѣсной связи своей съ больницей, направило мысли Александры Константиновны къ новому проекту мужа. Планъ и система были тотчасъ же представлены на ея разсмотрѣніе. Все это привело ее въ восхищеніе, хотя она и замѣтила, что Сергѣй Васильевичъ поступилъ въ этомъ случаѣ нѣсколько эгоистически.

— Ты, Serge, думалъ только о своихъ мужикахъ и совершенно забылъ моихъ добрыхъ бабъ, сказала она:—ты какъ-будто удалилъ меня отъ добраго дѣла; но я также хочу принять въ немъ участіе; я хочу, чтобъ и моимъ бабамъ было мѣсто въ больницѣ; необходимо также, чтобъ были двѣ-три постели для больныхъ дѣтей.

— Все это прекрасно; но тогда нужно устроить двѣнадцать постелей.

— Ну да, конечно; если ужъ дѣлать, такъ дѣлать.

Сергѣй Васильевичъ показалъ счетъ; сумма была очень значительна, но все-таки не слѣдовало изъ этого, чтобъ строить больницу для одного мужескаго пола: это было бы крайне несправедливо. Рѣшено было посовѣтоваться съ уѣзднымъ лекаремъ.

Лекарь пріѣхалъ вечеромъ. Бѣлицыны не ожидали его такъ рано; вообще говоря, пріѣздъ лекаря былъ для нихъ во многихъ отношеніяхъ пріятнымъ сюрпризомъ: лекарь оказался очень милымъ и образованнымъ человѣкомъ; онъ успокоилъ ихъ совершенно насчетъ Лапши. Болѣзнь мужика была слѣдствіемъ паденія и ушиба; онѣмѣніе въ членахъ происходило оттого, что ему не пустили кровь въ свое время; теперь все уже сдѣлано, и лекарь надѣялся, что въ скоромъ времени послѣдуетъ выздоровленіе. Что жъ касается до проекта о постройкѣ больницы, уѣздный эскулапъ одобрилъ его какъ нельзя больше.

— Это было бы истинное благодѣяніе, сказалъ онъ: — но о размѣрахъ вашего плана ничего не могу сказать: размѣры находятся въ полной зависимости отъ средствъ помѣщика. Впрочемъ, богатымъ людямъ все возможно, заключилъ онъ, сопровождая слова свои наклоненіемъ головы и взглядомъ, который окончательно расположилъ къ нему Бѣлицыныхъ.

Съ этого вечера больница сдѣлалась любимымъ предметомъ бесѣды Сергѣя Васильевича; зданіе выростало съ каждымъ часомъ въ воображеніи предпріимчиваго помѣщика, но съ каждымъ часомъ все болѣе-и-болѣе заслоняло, повидимому, саратовскій лугъ: Сергѣй Васильевичъ замѣтно охладѣлъ къ послѣднему; семейство Лапши было передано на руки Александры Константиновны. „Что могутъ значить отдѣльныя личности, когда имѣется въ виду общественная польза?“ Такова, если не ошибаюсь, была настоящая мысль Сергѣя Васильевича. Но Александра Константиновна не имѣла ни малѣйшаго понятія о политической экономіи: она продолжала заниматься своими protégés съ истинно-материнскою заботливостью. Агапу Акишеву вмѣнено было въ обязанность узнавать каждый день о томъ, какъ идетъ выздоровленіе Лапши; каждый разъ, когда вставали изъ-за стола, Александра Константиновна посылала больному супу; гувернантка присоединяла къ этому ломоть бѣлаго хлѣба; когда Лапша сталъ поправляться, супъ замѣнился котлеткой, хлѣбъ — стаканомъ краснаго вина, необходимаго, какъ говорила бордосская уроженка, для подкрѣпленія силъ больнаго. Все это опять-таки поручалось Агапу

Акйшеву, что, мимоходомъ сказать, начинало дѣлаться для него невыносимымъ.

Дворовые не давали ему проходу съ Лапшою; особенно сильно смѣялись тѣ, которые, считая себя во всѣхъ отношеніяхъ достойными служить господамъ, были, однакожъ, удалены въ пользу Агапа. — „Что взялъ!“ говорили ему: „хвасталъ, хвасталъ — что, какой авантажъ получилъ? Вотъ-те и барскій лакей, къ какой должности приставили: служишь по винной части земледѣромъ!“ Отправляясь къ Лапшѣ съ супомъ, Агапъ испытывалъ невыносимыя пытки: едва ступалъ онъ на улицу, какъ ужъ изъ лабиринта, гдѣ жили дворовые, раздавались хохотъ, фырканье, ядовитыя восклицанія: „Иди скорѣй!“ кричали ему: „супъ простынетъ: Лапша любитъ горячій; онъ тебѣ хохолъ-то наднетъ!“ — Эй, слышь, Агапъ! кланяйся госпожѣ Катеринѣ, цѣлуй у ней ручки; о здоровьи спроси!“ Или тоненькій голосокъ запѣвалъ вдругъ изъ-за угла:

У дороднаго, добра молодца,
Много было на службѣ послужено:
Съ кнутомъ за свиньями похожено.

Каждое изъ этихъ словъ вонзалось, какъ нило, въ оскорбленное сердце Агапа. Извѣстно, противъ жара и камень треснетъ Агапъ былъ далеко не каменный; онъ такъ возненавидѣлъ все что хоть сколько-нибудь прикасалось къ Лапшѣ, что, встрѣтивъ разъ на дорогѣ пучеглазаго Костюшку, надавалъ ему тузовъ безъ всякой видимой причины. Ненависть, разжигаемая насмѣшками товарищей, усиливалась въ немъ съ каждымъ часомъ; онъ не смѣлъ, однакожъ, выказывать ее слишкомъ явно, опасаясь жалобъ Катерины. Прійдетъ въ избу, швырнетъ хлѣбъ, пихнетъ супъ — и только; но, поощренный смиреніемъ и молчаніемъ враговъ своихъ, онъ обнаружилъ вскорѣ настоящія свои чувства. Недѣлю спустя послѣ того, какъ захворалъ Лапша, посѣщенія съ супомъ не столько уже тяготили Агапа, сколько Катерину; она ни на волосъ не отступала, однакожъ, отъ своего обычая: молчаніемъ отвѣчала на выходки раздраженнаго Акйшева. Точно такъ же поступала она въ отношеніи къ другимъ жителямъ Мàрьинскаго, которые и прежде ей недоброжелательствовали, а теперь рѣшительно ее преслѣдовали. Появленіе Катерины на улицѣ пробуждало бранныя слова и ропотъ. „Вотъ оно что: изъ послѣднихъ стали первыми!“ говорили мужики и бабы: „вотъ что подольщаться-то значитъ! Ишь какъ

подъѣхали? Прежде христарадничали, у собакъ хлѣбъ отнимали, теперь съ барскаго стола ѣдятъ... Кругомъ оплели господъ-то!..“— „А вы думаете какъ? рази спроста? знамо, что оплели!“ подхватывалъ всегда кузнецъ Пантелей, главный зачинщикъ всѣхъ этихъ толковъ: „они только для виду мальчика своего нищимъ отдали; тѣмъ временемъ, какъ два-то дни пропадала—къ ворожеямъ ходила: тѣ, знамо, и научили приманкамъ всякимъ. Кабы не это, господа первымъ дѣломъ сослали бы ихъ отселева, потому-что имъ извѣстны всѣ ихнія мошенничества, что одну руку, примѣрно, съ братомъ-разбойникомъ держатъ... А нашто того, ихъ же благодѣтельствуютъ... Знамо, не спроста, все черезъ колдовство; дай имъ срокъ, они не то еще сдѣлаютъ!...“ Толки эти приняли чудовищные размѣры, когда барыня, ея дочь и гувернантка, возвращаясь съ прогулки, два раза сряду лично навѣстили Катерину. Въ то время, какъ господа находились въ избѣ, на задворкахъ Мàрьинскаго происходила такая же почти бѣготня, какъ когда помѣщики въѣзжали въ околицу. Разговаривая съ Катериной, Александра Константиновна не могла не замѣтить грусти и смущенія на лицѣ бабы; но сколько она ни разспрашивала, Катерина молчала.

— Тебѣ, можетъ-быть, не хочется разставаться съ Мàрьинскимъ—я это понимаю, моя милая, сказала, наконецъ, барыня:—грустить въ такомъ случаѣ нѣ о чемъ; ты только прямо скажи мнѣ: я поговорю съ Сергѣемъ Васильевичемъ, и онъ—я въ этомъ увѣрена—не захочетъ переселять васъ противъ воли.

— Нѣтъ, сударыня, возразила Катерина съ пугливымъ какимъ-то оживленьемъ:—нѣтъ, ужъ если такая ваша милость, вы ужъ лучше переселите насъ. Мы, сударыня, этимъ не обижаемся; мы всей душой рады этому. Мы еще прежде, матушка, хотѣли васъ трудить этимъ... завсегда этого желали; вопрайности, мы тамъ вашей милости пользу принесемъ, трудиться станемъ, да и самимъ лучше будетъ. Здѣсь, коли такъ насъ оставите, станутъ намъ только завидывать... попрекать станутъ вашими милостями...

— Какъ это можно! Неужели здѣсь такіе злые?

— Не по злобѣ, матушка, а такъ, по глупости по своей, по зависти! со вздохомъ проговорила Катерина.—Всякій, знамо, себѣ добра желаетъ; обошли его, другому досталось—ну, онъ и досадуетъ... Нѣтъ ужъ, сударыня, сдѣлайте такую божескую милость, ослобоните насъ! убѣдительно подхватила она: — вѣкъ, матушка, станемъ за васъ Бога молить...

Обманутая въ своихъ ожиданіяхъ, но радуясь въ душѣ своей ошибкѣ, потому-что боялась огорчить мужа, который ни за что бы не рѣшился переселить крестьянъ противъ воли, Александра Константиновна старалась успокоить Катерину насчетъ Пети. Къ сожалѣнію, она не могла сообщить много утѣшительнаго. О мальчикѣ не было до-сихъ-поръ ни слуху, ни духу. Впрочемъ, надежды терять никакъ не слѣдовало: исправникъ въ отвѣтѣ своемъ ясно высказалъ, что сдѣлаетъ все возможное, чтобъ только угодить Сергѣю Васильевичу. Но потому ли, что несчастіе дѣлаетъ недовѣрчивымъ, или по другимъ причинамъ, которыхъ Катерина не хотѣла открыть барынѣ, она оставалась неутѣшною, и выразительное лицо ея продолжало сохранять всѣ признаки глубокой, внутренней скорби.

V.

Дѣло опять пошло на ладъ.

Александру Константиновну нешутя начинало огорчать, что Петя такъ долго не отыскивался. Ей такъ пріятно было бы сообщить Катеринѣ пріятную вѣсть! Не проходило часа, чтобъ маленькая Мери не спрашивала: „нашли ли мальчика?“ Дѣло въ томъ, что ей собственно предоставлено было удовольствіе передать бѣдной матери радостное извѣстіе.

Нетерпѣніе Александры Константиновны объяснялось еще другой причиной: она не сомнѣвалась, что возвращеніе Пети развлечетъ, разсѣетъ Сергѣя Васильевича, который вотъ ужъ пятый день ходилъ съ задумчивымъ видомъ и былъ, очевидно, не въ духѣ. Александра Константиновна не ошиблась: Сергѣй Васильевичъ точно нуждался въ разсѣяніи. Онъ находился въ положеніи человѣка, который долго питаетъ въ душѣ какую-нибудь мысль и вдругъ видитъ необходимость съ ней разстаться. Послѣ первой бесѣды съ Герасимомъ касательно устройства больницы, онъ убѣдился, что планъ его осуществиться никакъ не можетъ. Старикъ словно ждалъ этого случая, чтобъ раскрыть передъ бариномъ настоящее положеніе марьинскаго хозяйства. Едва Сергѣй Васильевичъ заговорилъ о больницѣ, Герасимъ выставилъ ему на видъ кровлю овина, которая грозила упасть на голову работникамъ. Сергѣй Васильевичъ сказалъ, что одно не мѣшаетъ другому: можно выстроить больницу и починить кровлю. Герасимъ ловко перешелъ

тогда къ скотному двору, требующему поспѣшной поправки; Сергѣй Васильевичъ замѣтилъ, что для него здоровье крестьянъ всего дороже. Герасимъ совершенно согласился, но тутъ же началъ распространяться о хлѣбныхъ амбарахъ и закромахъ, которые, благодаря ветхости, пропускали со всѣхъ сторонъ сырость, такъ-что мука, пролежавъ тамъ мѣсяцъ, превращалась въ камень. Переходя такимъ образомъ отъ одной развалины къ другой (а такихъ нашлось въ Марьинскомъ великое множество), старикъ имѣлъ очевидное намѣреніе нанести рѣшительный ударъ не только больницѣ, но даже всѣмъ остальнымъ проектамъ: увеличенію пруда, постройкѣ бесѣдки, перемѣщенію службъ, превращенію краснаго двора въ англійскій скверъ, и проч.

Не знаю, въ какой степени старый управитель достигъ своей цѣли, но только съ этого дня Сергѣй Васильевичъ впалъ въ задумчивость и пересталъ говорить о своихъ проектахъ. Проекты эти были главными возбудителями дѣятельности, выказанной имъ до этого времени; лишившись ихъ, онъ сдѣлался вдругъ страшно-равнодушнымъ въ отношеніи ко всему Марьинскому. Существованіе помѣщика-хозяина, представлявшееся Сергѣю Васильевичу въ такомъ поэтическомъ свѣтѣ, явилось передъ нимъ во всей прозаической наготѣ своей. „Дѣйствительно, прежде чѣмъ строить новыя зданія, надо поправить старыя“, думалъ онъ: „въ деревнѣ неуклюжій какой-нибудь хлѣбный амбаръ дѣйствительно полезнѣе бесѣдки, потому-что хлѣбъ... словомъ, Герасимъ правъ... Все это, однакожъ, страхъ скучно... надо признаться!...“ заключалъ онъ, бросая разочарованные взгляды на дворъ и окружающія его постройки, крытыя соломой. Дни начинали казаться ему невыносимо-длинными; имъ овладѣла скука и апатія, которую напрасно старалась разогнать Александра Константиновна. Катанье въ лодкѣ, прогулки въ длинныхъ дрогахъ, чай въ лѣсу и другія сельскія увеселенія, придуманныя ею для развлеченія мужа, развлекали только гувернантку и Мери. Сергѣй Васильевичъ раза два былъ на скотномъ дворѣ, гдѣ ставили стропилы и выстилали кровлю; но все это показалось ему такъ незанимательнымъ, что онъ туда ужъ не возвращался.

Скука между-тѣмъ усиливалась, и Богъ знаетъ, чѣмъ бы все это кончилось, если бъ не одно обстоятельство, которое снова воскресило заснувшую дѣятельность помѣщика. Ланца выздоровѣлъ. Сначала извѣстіе это принято было Сергѣемъ Васильевичемъ очень равнодушно, но, казалось, ему стоило даже нѣкотораго усилія, чтобъ

уступить женѣ, которая явилась въ кабинетъ съ веселымъ лицомъ и звала его взглянуть на Лапшу.

Выздоровленіе Тимоѳея не произвело большой перемѣны въ его наружности: онъ, казалось, укрѣпился скорѣе духомъ, чѣмъ тѣломъ; по-крайней-мѣрѣ брови его такъ высоко теперь поднимались, что между ними и корнями волосъ оставалась только тоненькая морщинистая полоса мяса.

— Очень радъ, очень радъ, мои милые, разсѣянно проговорилъ Сергѣй Васильевичъ, кивая головою Катеринѣ и ея мужу: — очень радъ... Вотъ я слышалъ, вы лечиться не хотите, ходите къ какимъ-то ворожеямъ, которыя васъ только обираютъ, примолвилъ онъ холоднымъ тономъ упрека: — вотъ что значитъ, однакожъ, леченье, что значитъ докторъ: видишь, ты теперь на ногахъ! Если бъ была у насъ больница въ Мар'инскомъ и тебя положили бъ туда, какъ только ты занемогъ (брови Лапши задвигались безпокойно), ти тогда поправился бы еще скорѣе...

Катерина и ея мужъ, успѣвшій снова ободриться, начали благодарить Сергѣя Васильевича за попеченіе.

— Меня не за что, рѣшительно не за что; благодарите барыню: она о васъ заботилась, произнесъ помѣщикъ, поглядывая въ окно.

Поклонившись Александрѣ Константиновнѣ, Катерина остановила на ней нерѣшительные глаза и наконецъ сказала:

— Когда жъ, сударыня... когда прикажете собираться?

— Ахъ, да! поребилъ Сергѣй Васильевичъ: — ну что?... какъ?... подумали ли вы, о чемъ я тогда говорилъ вамъ?

Катерина упала ему въ ноги; Лапша какъ-будто этого и ждалъ: онъ послѣдовалъ примѣру жены съ особенною торопливостью. Изъ словъ ихъ дѣлалось яснымъ, что они крѣпко обдумали предложеніе барина и рады отправиться хоть сію минуту.

— Хорошо, очень радъ. Я переговорю объ этомъ съ Герасимомъ. Во всякомъ случаѣ, приготовляйтесь къ отъѣзду... приготовляйтесь...

Сказавъ это, Сергѣй Васильевичъ отпустилъ крестьянъ и направился въ кабинетъ. Оставалось еще два часа до обѣда; онъ отыскалъ записку о саратовскомъ лугѣ и отъ-нечего-дѣлать сталъ повѣрять сдѣланныя прежде вычисленія. Какъ ужъ сказано, „вѣроятные доходы“, которые могъ приносить лугъ, превышали ожиданія помѣщика; въ занятіи этомъ онъ не нашелъ, слѣдовательно, ничего скучнаго; напротивъ, все подтверждало, что мысль о пере-

селенія была практическая мысль и сдѣлала бы честь любому хозяину. „Надо, однакожъ, заняться и кончить это дѣло“, подумалъ Сергѣй Васильевичъ, когда его позвали обѣдать. Во время обѣда онъ былъ разговорчивъ и вообще казался веселѣе, чѣмъ въ послѣдніе пять дней. Бесѣда сдѣлалась еще оживленнѣе, когда всѣ расположились на террасѣ. Александра Константиновна точно угадала причину, которая подѣйствовала на мужа: она съ особеннымъ жаромъ и увлеченіемъ говорила о саратовскомъ лугѣ.

— Да, сказалъ Сергѣй Васильевичъ, откидываясь на спинку стула:—я очень радъ, что мнѣ пришла эта мысль; я рѣшительно не вижу причины жертвовать этимъ лугомъ въ пользу госпожи Ивановой... Karassin (Александра Константиновна, Мери и гувернантка засмѣялись) очень добрый, почтенный и честный человѣкъ, mais c'est une poule mouillée—мокрая курица! и притомъ имъ, какъ, впрочемъ, вообще всѣми ими, управляетъ рутина. Онъ ничего не говорилъ мнѣ объ этомъ, но, я увѣренъ, онъ не одобряетъ моей мысли; а отчего, спроси: оттого, что боится истратить какихъ-нибудь двѣсти рублей, необходимыхъ для переселенія, а между-тѣмъ лугъ, надо тебѣ сказать, приноситъ восемьсотъ рублей! Но они всѣ таковы: держатся за гривенникъ и пропускаютъ цѣлковые. Рутина! рутина!... А между-тѣмъ кричатъ: хозяйство! хозяйство!... Хозяйство заключается въ общихъ соображеніяхъ доходовъ, а не въ мелочахъ какихъ-нибудь. Нѣтъ, нешутя, я очень радъ этой мысли.

— Я, Serge, вдвойнѣ ей рада, весело подхватила Александра Константиновна: — деньги сами по себѣ; но мысль эта дала еще тебѣ способъ сдѣлать истинно доброе дѣло: эти бѣдные люди будутъ тамъ такъ счастливы!...

— Oh, mon Dieu, oui! воскликнула гувернантка, складывая съ умиленіемъ руки и подымая восторженные глаза къ небу.

Коснуться при mademoiselle Louise предмета, который сильно занималъ ея воображеніе—значило почти то же, что̀ приложить огонь къ фейерверку. Она заговорила вдругъ съ такою увѣренностью о счастіи, ожидавшемъ семейство Лапши, какъ-будто ее неожиданно намагнитизировали и она говорила въ восторженномъ экстазѣ сомнамбулизма. Свѣжій воздухъ луговъ, запахъ цвѣтовъ должны были, по словамъ ея, тотчасъ же расширить грудь Лапши, укрѣпить его лёгкія и разлить румянецъ на блѣдныхъ щекахъ всѣхъ членовъ его семейства. Зрѣніе Лапши (онъ, какъ ужъ ска-

зано, слабо видѣлъ, и во время его болѣзни гувернантка неоднократно посылала ему смѣсь изъ чая, рома и розовой воды для примочки), зрѣніе Лапши, постоянно устремленное къ безкрайнему горизонту степи, должно было получить силу. Она завидовала пучеглазому Костюшкѣ, который, подобно степному орлёнку, будетъ расти и развиваться посреди дикой свободы. Самый духъ Катерины, ея дѣтей и мужа долженъ былъ воскреснуть и возвыситься въ виду широкаго, величаваго простора луговъ. Она привела въ примѣръ Патфайндера и напомнила Бѣлицынымъ поэтическія американскія степи Купера. Самая обыкновенная мысль, попавъ въ воображеніе бордосской уроженки, мгновенно вспыхивала, расширялась, какъ пороховой газъ, производила дѣйствіе взрыва и, смотря по содержанію своему, повергла ее въ восторгъ, въ отчаяніе или въ неистовую дѣтскую радость; она ни о чемъ вообще не могла говорить, ничего не могла дѣлать безъ увлеченія и сильныхъ порывовъ. Она прикладывала страсть даже тогда, когда дѣлала вмѣстѣ съ Мери песочные пирожки и выводила на нихъ самые замысловатые узоры. Случалось ей бѣжать съ дикимъ крикомъ черезъ всѣ комнаты, держа въ рукахъ муху, которой хотѣла дать свободу (въ домѣ было множество пауковъ); освободивъ la malheureuse, она долго слѣдила за ея полетомъ и радостно била въ ладоши. Утёнокъ, унесенный коршуномъ, повергалъ ее въ такой ужасъ, что можно было думать, что съ Мери произошло несчастіе.

Бѣлицыны знали очень хорошо восторженныя свойства гувернантки; но тѣмъ не менѣе она увлекла ихъ яркостью своихъ описаній: картина поэтическихъ луговъ Купера произвела на нихъ особенно сильное впечатлѣніе.

— Луга! луга!... Въ луга, когда такъ! поѣдемте же въ луга! воскликнули въ одинъ голосъ Сергѣй Васильевичъ, его жена и дочь. —Вели закладывать длинныя дроги: мы ѣдемъ въ луга! подхватилъ Сергѣй Васильевичъ, когда на звонъ его явился лакей.

Въ одинъ мигъ дамы поднялись и пошли одѣваться. Сергѣй Васильевичъ послѣдовалъ ихъ примѣру съ живостью, которой давно ужъ не выказывалъ.

Полчаса спустя, всѣ сидѣли въ длинныхъ дрогахъ и ѣхали по направленію къ мельницѣ, за которой начинались превосходные заливные луга Мàрьинскаго. Принимая въ соображеніе восторженное настроеніе духа и нетерпѣніе, съ какимъ ждали всѣ появленія лу̀га, надо было думать, Бѣлицыны пробудутъ тамъ по-край-

ней-мѣрѣ до солнечнаго заката. Оно бы, вѣроятно, такъ и было, если бъ не Сергѣй Васильевичъ. Едва Александра Константиновна, гувернантка и Мери успѣли составить себѣ по букету, какъ ужъ лицо его выразило озабоченность; онъ обнаружилъ желаніе вернуться скорѣй домой; ему жаль было разстроить прогулку, но вмѣстѣ съ тѣмъ видно было, что его побуждала къ этому очень важная причина.

— Все это прекрасно, c'est charmant, я совершенно раздѣляю вашъ восторгъ, сказалъ онъ, бросая быстрые, но очевидно разсѣянные взгляды по окрестности: — но все это напоминаетъ другой лугъ, о которомъ мы совершенно забыли. Ты знаешь мое правило: никогда не откладывать дѣло въ долгій ящикъ, и наконецъ, дѣло прежде всего. Я совершенно выпустилъ изъ виду одно обстоятельство и теперь только вспомнилъ: приближаются петровки; надо какъ можно скорѣе отправить это семейство; въ противномъ случаѣ, госпожа Иванова надѣлаетъ тамъ дѣла...

— Что такое петровки? спросила Александра Константиновна, поглядывая на суетливо-озабоченное лицо мужа, который махалъ кучеру, чтобъ онъ подъѣзжалъ.

— Петровки — это время покоса, торопливо возразилъ Сергѣй Васильевичъ. — Если мы замѣшкаемъ съ нашими переселенцами, лугъ будетъ скошенъ, добавилъ онъ, кидая нетерпѣливые взгляды по направленію къ Мàрьинскому.

— Какъ ты все это знаешь? проговорила жена.

— Il le faut bien, ma chère! Это азбука нашего брата, хозяина, проговорилъ Сергѣй Васильевичъ, краснѣя отъ внутренняго удовольствія.

Дѣятельность его, охлажденная доводами Герасима, пробудилась тѣмъ сильнѣе, чѣмъ долѣе находилась въ усыпленіи. Въѣзжая во дворъ, Сергѣй Васильевичъ крикнулъ, чтобъ ему тотчасъ же, не медля ни минуты, позвали управителя. Дѣло о саратовскомъ лугѣ изложено было такъ быстро, и такъ много видно было со стороны Сергѣя Васильевича желанія, чтобъ переселеніе совершилось скоро, что старику Герасиму оставалось только вертѣть пальцами за спиною. Но духъ прямоты и противорѣчія, отличавшій старика, и тутъ-таки взялъ свое: онъ выразилъ сомнѣніе, чтобъ можно было на другой день найдти покупщика на избу Лапши, которую Сергѣй Васильевичъ хотѣлъ продать съ тѣмъ, чтобъ на эти деньги отправить переселенцевъ.

— Вѣчныя затрудненія! воскликнулъ помѣщикъ. — По-твоему, надо, стало-быть, ждать покупщика, а между-тѣмъ Иванова скосить лугъ. О-о, очень хорошо! славное распоряженіе!... Оцѣнить избу, выдать имъ деньги изъ конторы, а тамъ, когда продадутъ ее (тутъ Сергѣй Васильевичъ обратился къ входившему лакею и велѣлъ какъ можно скорѣе позвать Тимофея и его жену), а тамъ, подхватилъ онъ, обратившись къ Герасиму: — продадутъ избу, деньги опять вернутся въ контору — не все ли это равно?

Черезъ десять минутъ объявлено было Лапшѣ и Катеринѣ, чтобъ они какъ можно скорѣе приготовлялись въ путь. Узнавъ о времени, которое потребуется имъ для сборовъ, Сергѣй Васильевичъ спросилъ у Герасима, сколько дней, приблизительно, нужно, чтобъ доѣхать до саратовскаго луга. Оставшись повидимому очень доволенъ отвѣтами, онъ отпустилъ крестьянъ и управителя и принялся писать объяснительное письмо госпожѣ Ивановой.

VI.

Разставанье.

На другой день, какъ только Сергѣй Васильевичъ проснулся, первымъ дѣломъ его было послать къ Лапшѣ Агапа Акишева: ему хотѣлось узнать, какъ идутъ сборы.

— Приготовляются, сударь, сказалъ Акишевъ, на глупомъ лицѣ котораго нельзя было не прочесть радости; но радость была преждевременная: въ этотъ день Сергѣй Васильевичъ посылалъ его по-крайней-мѣрѣ разъ двадцать къ Тимофею.

Сборы продолжались всего два дня, благодаря тому, вѣроятно, что собирать почти было нечего. Наступилъ день, предшествовавшій отъѣзду. Семейство Лапши собралось въ прихожую, чтобъ проститься съ господами.

Слѣдуя совѣту Герасима и также собственнымъ соображеніямъ, Сергѣй Васильевичъ поручилъ всѣ бумаги касательно луга, письмо помѣщицѣ Ивановой и всѣ деньги Катеринѣ. При этомъ Лапша, протянувшій уже руку съ самымъ дѣловымъ видомъ, меланхолически опустилъ брови; но онъ снова поднялъ ихъ, когда баринъ обратился къ нему и сказалъ, что собственно *ему* поручаетъ надзоръ за лугомъ и полагается на него въ этомъ дѣлѣ, какъ на самого

себя. Это очевидно польстило Лапшѣ, и во все время, когда баринъ объяснялъ ему его обязанности, онъ гладѣлъ совершеннымъ молодцомъ. Барыня, ея дочь и француженка надѣляли между-тѣмъ Катерину и ея дѣтей подарками. Наконецъ, господа поцѣловали каждаго изъ присутствующихъ (все это не обошлось, разумѣется, безъ крика со стороны Костюшки и другихъ ребятишекъ), простились съ крестьянами и, нѣсколько растроганные, вышли на террасу.

Въ тотъ же день, послѣ солнечнаго заката, Александра Константиновна, сопровождаемая гувернанткой и Мери, гуляла по саду. На поворотѣ аллеи онѣ встрѣтили Катерину; встрѣча была такъ неожиданна, что всѣ три вскрикнули; Катерина упала въ ноги барынѣ, и смущеніе ея на этотъ разъ было такъ велико, что долго не могли добиться отъ нея толку. Наконецъ, она сказала, что пришла сказать о пропавшемъ сынѣ; она цѣловала руки и ноги барыни и всячески заклинала ее не оставить Петю въ Мàрьинскомъ въ случаѣ, если онъ отыщется; она умоляла отправить его къ нимъ, въ степь. Александра Константиновна дала слово исполнить просьбу; она хотѣла вести бабу къ мужу, полагая, что слово Сергѣя Васильевича окончательно ее успокоитъ; но Катеринѣ достаточно было слова барыни. Прежде чѣмъ Александра Константиновна успѣла повторить ей свое обѣщаніе, она уже скрылась.

Было совершенно темно, и на улицѣ мало уже встрѣчалось народа, когда Катерина подошла къ избѣ своей. Она готовилась уже отворить ворота, но въ самую эту минуту услышала голосъ мужа и, вслѣдъ затѣмъ, голосъ сосѣдки. Это ее озадачило: сосѣдка давно находилась съ ними въ разладицѣ. Катерина обогнула избу и вошла въ переулокъ. Близость мѣста и окрестная тишина позволили ей слышать каждое слово.

— Да, тётка Матрёна, даже изъ собственныхъ рукъ цѣловалъ меня... вотъ въ эвто сàмо мѣсто, повѣствовалъ Лапша. — „Я, говоритъ, располагаюсь, говоритъ, на тебя, Тимоѳей, братецъ ты мой, все одно, что на себя, говоритъ, распоряжайся какъ знаешь...“ Какъ управителя, значитъ, туда посылаетъ — все едино.

— Счастье вамъ, счастье! поддакнула шепелявымъ голосомъ сосѣдка.

— Ну также вотъ хлопотъ оченно много, оченно хлопотливо! продолжалъ Лапша озабоченнымъ тономъ: — имѣнье большущее: однихъ арбузовъ четыреста десятинъ сѣютъ...

— Ахти, касатики!... Ну, счастье вамъ!... Значитъ, чѣмъ-нибудь угодили передъ господами?...

— Главная причина, тётка, почему, что самъ до всего доходитъ. „Я, говоритъ, не вѣрю про кого худо говорятъ; для людей худъ, для меня хорошъ, говоритъ... Вижу, примѣрно, какой ты есть такой человѣкъ, потому и даю тебѣ распоряженье... за то, говоритъ, что терпѣлъ отъ людей напраслину, значитъ, за твою добродѣтель...“

— Нѣтъ, не за то! крикнула Катерина, неожиданно появляясь въ огородѣ:—за то насъ высылаютъ, что хуже мы всѣхъ—вотъ за что! за худобу нашу, а не за добродѣтели. Хорошіе люди, кто трудится, работаетъ, тѣ всѣ здѣсь остаются: они господамъ надобны. Худые, лежебоки вонъ отсылаются: лугъ стеречь, а не вотчинами править.

— Такъ-то вѣрнѣе, Ланша! смѣясь, воскликнула сосѣдка и удалилась. Ланша крахтѣлъ, корчился и щурился.

— Господи! отъими ты лучше мою жизнь, чѣмъ мнѣ такъ-то мучиться! сказала Катерина, досада которой перешла вдругъ въ тоску.—Двадцать лѣтъ терплю, двадцать лѣтъ нѣтъ мнѣ спокою... Ни разума, стало-быть, нѣтъ въ тебѣ, ни совѣсти! подхватила она, обращаясь къ мужу.—Ну что ты здѣсь разсказываешь—а? Мало, значитъ, было мнѣ черезъ тебя горести? Хошь бы о ребятахъ-то о своихъ подумалъ, хошь бы для нихъ помолчалъ! Нѣтъ, нѣтъ въ тебѣ ни совѣсти, ни разума!

— Ну что шумишь-то? что шумишь? пробормоталъ Ланша; но видя, что жена не унимается, махнулъ рукою и медленно поплелся къ ригѣ; онъ потряхивалъ головою съ такимъ видомъ, какъ-будто говорилъ себѣ: „не стóитъ связываться: самая, что ни есть, пустяшная баба!“

Сердце бѣдной женщины такъ было переполнено горестями всякаго рода, что въ немъ не оставалось мѣста для другаго чувства. Досада противъ мужа исчезла, какъ только онъ скрылся изъ виду. Она вошла черезъ заднія ворота во дворъ; но тутъ слухъ ея былъ встревоженъ затаеннымъ всхлипываніемъ. Подойдя къ крыльцу, она увидѣла дочь. Маша сидѣла на послѣдней ступенькѣ и, закрывъ лицо руками, въ три ручья разливалась.

— О чемъ это ты, дитятко? вымолвила Катерина ласковымъ, но твердымъ голосомъ.

Маша заплакала еще горче.

— Полно, дитятко, сказала мать, притрогиваясь къ рукѣ дочери.—Ну, о чемъ?... Вотъ у меня годовъ-то втрое больше твоихъ: стало, втрое больше привыкла я къ здѣшнимъ мѣстамъ, а видишь, я ничего... я не плачу... замѣтила она, плотно сжимая свои губы, между-тѣмъ, какъ судорожно-дрожавшія ноздри ясно показывали, какихъ усилій ей стоило, чтобы не примѣшать къ слезамъ дочери своихъ собственныхъ.—Полно, дитятко; надо еще намъ переговорить съ тобою о Дунѣ... слышь...

— Слышу, матушка, вымолвила Маша, приподымаясь и не давая себѣ труда утереть глаза; она чувствовала, что будетъ напрасно: слезы не изъ глазъ текли, изъ сердца—пальцами не удержишь.

— Слышь, какъ намъ теперь съ Дуней-то управиться? Хлопотливо будетъ, продолжала Катерина:—надо какъ-нибудь придумать уговорить ее, потому-что здѣсь оставить, значитъ, только грѣхъ принять на душу на свою. Господа хоша и сулили оберегать—слово ихъ крѣпко, да вѣдь они не вѣкъ жить будутъ въ Мàрьинскомъ; безъ нихъ да безъ насъ заѣдятъ сердечную, потому что злоба противъ насъ большая, противъ всего нашего рода. Вишь она простая какая, словно дитя малое; ребятишки, и тѣ грязью закидаютъ. Боюсь, не пойдетъ она съ нами, коли такъ, спроста сказать... Развѣ вотъ что̀ сказать: „за Стёпкой, молъ, господа посылаютъ“; ты такъ-то поговори съ ней, а я потомъ скажу, какъ надать будетъ ѣхать...

Во всю эту ночь Катерина и Маша не смыкали глазъ; хотя весь домашній скарбъ, всѣ цѣлые горшки (ихъ было мало) уложены были на подводу, которая стояла подъ навѣсомъ вмѣстѣ съ лошадью, купленною наканунѣ барином̀ъ, однако хозяйки бродили по всей избѣ, ощупывали всѣ углы и старались припомнить: уложена ли такая-то тряпка, такой-то горшокъ. Нѣсколько разъ, безъ всякой видимой цѣли, обѣ выходили на улицу или въ огородъ: постоятъ, постоятъ въ огородѣ, подперевъ ладонью мокрую щеку, вздохнутъ и перейдутъ опять на улицу, и тамъ молча поплачутъ. Какъ только забѣлѣло на востокѣ, Катерина сказала Машѣ, чтобъ она будила ребятъ, а сама пошла въ ригу.

— Вставай! промолвила она, толкая мужа, который храпѣлъ во всю ивановскую.

— А что? пора?... лѣниво пробормоталъ Лапша.

— Вставай! повторила Катерина:—надо сходить... на поля поглядѣть...

— Ну, пойдемъ... сказалъ Лапша, приподнимаясь и протирая глаза кулаками, такъ-что локти его сдѣлались выше головы.

Когда они вернулись во дворъ, ребятишки были уже на ногахъ; Маша умывала послѣдняго, Костюшку, который кричалъ благимъ матомъ и болталъ въ воздухѣ ногами. Дуня сидѣла на крыльцѣ и укачивала младенца Катерины; Волчокъ сидѣлъ насупротивъ и безпокойно двигалъ своимъ кренделемъ.

— Ну, пойдемте всѣ въ поле, проговорила Катерина, взявъ ребенка изъ рукъ Дуни:—пойдемте поглядѣть... можетъ въ послѣдній...

Она не договорила и быстрыми шагами вышла на улицу. Всѣ, не выключая Дуни и Волчка, послѣдовали за нею. На улицѣ ни души не было; ни одна собака не залаяла. Впрочемъ, и рано было; даже на востокѣ, который свѣтлѣлъ и постепенно дѣлался алымъ, кой-гдѣ еще вздрагивали звѣзды.

Поле Лапши неприкосновенно переходило въ его родѣ отъ отца къ сыну: такъ вообще бываетъ у крестьянъ наслѣдственныхъ имѣній, принадлежащихъ помѣщикамъ, которые уважаютъ порядокъ, установленный ихъ отцами. Поле это, покрывавшееся когда-то изъ года въ годъ золотымъ моремъ колосьевъ, или тяжелыми гроздами овса, перейдя въ руки Лапши, постепенно скуднѣло и сдѣлалось самымъ плохимъ полемъ Мàрьинскаго. Вотъ уже седьмой годъ, какъ оно не удобрялось. Съ тѣхъ поръ, какъ въ домѣ не стало лошади, имъ исключительно занималась Катерина: весною займетъ зерна, найметъ лошадь у сосѣда и потомъ во весь годъ одна надъ нимъ сокрушается; дѣло Лапши состояло въ томъ, чтобъ вспахать ниву; но большею частью допахивала Катерина: послѣ первыхъ двухъ дней у Лапши такъ всегда разбаливалась поясница, что онъ оставлялъ работу и пластомъ ложился. Поле занимало вершину одного изъ холмовъ, которые окружали деревню. Выйдя за околицу, Катерина прибавила шагу; ей хотѣлось вернуться домой до восхода. Къ сожалѣнію, это сдѣлалось невозможнымъ: на половинѣ пути ихъ слишкомъ долго задержала Дуня; она совершенно неожиданно отбѣжала въ сторону, бросилась на земь и начала свои плачевныя причитанія; оставить ее не было возможности: она могла уйти Богъ знаетъ куда и замедлить такимъ образомъ отъѣздъ. Наконецъ кой-какъ ее уговорили. Но когда семья при-

близилась къ полю, яркое зарево обнимало уже востокъ и жаворонки весело распѣвали въ воздухѣ. Ступивъ на межу, раздѣлявшую поле на двѣ половины, Катерина быстро отошла въ сторону саженъ на двадцать. Лапша остался съ дѣтьми на межѣ; онъ повидимому рѣшительно не зналъ, зачѣмъ привела его жена: онъ глазѣлъ по сторонамъ, дѣлалъ время отъ времени неодобрительныя замѣчанія касательно худой обработки того или другаго поля (свое собственное считалъ онъ всегда безплоднымъ, невознаграждающимъ тяжкіе труды его), или съ особеннымъ вниманіемъ слѣдилъ за жаворонками. Маша слушала отца разсѣянно, словно нѐ-хотя; она не отрывала глазъ отъ матери, высокая фигура которой рисовалась въ отдаленіи на огненномъ заревѣ восхода. Наконецъ, она подмигнула отцу на Дуню и пошла къ матери. Катерина не замѣтила приближенія дочери; она стояла къ ней спиною и обернулась тогда лишь, какъ Маша тронула ее за руку.

— Что ты, матушка? спросила Маша, останавливая удивленные глаза на лицѣ ея, исполосованномъ слезами.

— Ничего... дитятко... такъ... сгрустнулось что-то... сказала Катерина. Она передала младенца Машѣ, опустилась на колѣни, разложила платокъ и принялась накладывать въ него комки земли.

— Это ты зачѣмъ, матушка?...

— А то какъ же, дитятко, какъ же?... Съ собой возьмемъ, въ дальную, чужую сторону... всякому изъ васъ по кусочку зашью въ ладонку, чтобъ помнили... Память по родной сторонѣ останется...

— Эй, Катерина! ступай!... эй! время! крикнулъ въ эту минуту Лапша.

Катерина обратила глаза въ ту сторону; но первый солнечный лучъ, брызнувшій вдругъ изъ-за горизонта, заставилъ ее отвернуться. Она торопливо свернула платокъ съ землею и поднялась на ноги.

— Вотъ, сказала она, снова обративъ заплаканное лицо къ солнцу, которое величественно восходило въ ясномъ небѣ: — вотъ, дитятко, ужъ не видать намъ съ этого мѣста яснаго солнышка!...

— Катерина! что жъ ты стала? ступай! крикнулъ снова Лапша, махая издали руками.

Катерина сдѣлала нетерпѣливое движеніе; но лицо ея снова приняло выраженіе тоски, и она снова заплакала, когда въ послѣдній разъ взглянула на поле.

— Прощай, мать сыра земля, кормилица наша! сказала она, не

переставая креститься: — прощай!... Воскормила ты, возрастила меня самоё и дѣтей всѣхъ моихъ... Не привелъ Господь святымъ хлѣбомъ твоимъ питаться до скончанія вѣка нашего... Прости, кормилица!...

Маша также теперь плакала; но слезы ея выходили видно изъ другаго источника, чѣмъ у матери: тогда-какъ Катерина смотрѣла на поле, глаза дочери устремлялись на Мàрьинское, которое разстилалось темнымъ пятномъ на днѣ долины.

Заплаканныя лица жены и дочери возбудили удивленіе Лапши; нѣсколько разъ пытался онъ заговорить, но такъ-какъ рѣчь его заключалась большею-частью въ похвалахъ жаворонкамъ, Маша и Катерина не отвѣчали. Видя, что толку не доберешься, Лапша присоединился къ ребятишкамъ, Дунѣ и Волчку, которые шли впереди; но такъ-какъ и съ этой стороны не отдали словамъ его должнаго вниманія, онъ забросилъ руки за спину, высоко приподнялъ брови и пошелъ особнякомъ. О чемъ онъ думалъ — рѣшить трудно; мысли его, надо полагать, стремились больше къ саратовскимъ арбузамъ, о которыхъ говорилъ онъ съ утра до вечера и которыми часто даже бредилъ во время болѣзни.

Полчаса спустя послѣ всего описаннаго, передъ избою Лапши стояла порядочная толпа: ее составляли больше бабы; тутъ были также и дворовыя; между ними особенно звонко тараторила скотница Василиса, одна изъ главныхъ поджигательницъ ненависти противъ Катерины (Александрѣ Константиновнѣ она не понравилась съ перваго же дня, и она забыла о ней точно такъ же, какъ забыла о ея просьбѣ). Въ толпѣ виднѣлось также нѣсколько мужиковъ; въ числѣ послѣднихъ знакомъ намъ только кузнецъ Пантелей. Между толпою и воротами перебѣгали поминутно дѣвчонки и мальчишки; одинъ изъ самыхъ суетливыхъ былъ мальчикъ съ бѣлой головой и краснымъ лицомъ, который съ такою свирѣпостью припадалъ къ рукамъ господъ во время ихъ пріѣзда; мальчикъ этотъ отличался вообще необыкновеннымъ любопытствомъ: гдѣ бы ни собралась толпа, онъ уже былъ тутъ-какъ-тутъ. Огромныя щели воротъ были рѣшительно замуровлены головами ребятъ; къ нимъ вскорѣ присоединилась востроглазая бабенка, мàрьинская запѣвалка и хороводница, та самая, что встрѣтила Лапшу, когда онъ возвращался домой послѣ паденія въ вертепъ.

— Лошадь ужъ запрягли, сейчасъ выѣдутъ! сказала она, поглядѣвъ въ щель.

Дѣйствительно, лошадь уже была запряжена, и всѣ члены переселяемаго семейства стояли подлѣ подводы. Они только-что вышли изъ избы, куда заходили съ тѣмъ, чтобъ въ послѣдній разъ проститься съ жилищемъ. Прощанье, надо думать, было очень тяжело: глядя на дочь и на жену, даже Лапша словно раскисъ немного. Имъ оставалось теперь только отворить ворота и ѣхать; но стеченіе народа передъ избою смущало Катерину. Она сожалѣла, что ходила въ поле и не уѣхала до свѣта; отъѣздъ ихъ совершился бы тогда никѣмъ незамѣченный. Куда какъ тяжко было ей въ настоящую минуту! Къ счастью, совершенно неожиданно явилось облегченье.

За воротами послышался голосъ Герасима Аѳанасьевича. Толпа мигомъ разсѣялась. Герасимъ вошелъ на дворъ.

— Ну, готово? Хорошо. Я съ вами пришелъ проститься, сказалъ онъ, оглядывая добродушно присутствующихъ, которые поклонились.

Катерина подошла къ старику и шопотомъ передала ему объ уловкѣ, придуманной ею для заманки Дуни (Дуня стояла въ десяти шагахъ, угрюмо опершись на палку). Герасимъ громко повторилъ слова Катерины, послѣ чего передалъ всѣмъ барскій поклонъ и приступилъ къ подробному изложенію ихъ обязанностей, какъ въ отношеніи къ самимъ себѣ, такъ и въ отношеніи къ исполненію службы.

— Ну, съ Богомъ теперь, съ Богомъ! заключилъ онъ, отходя въ сторону.

Ворота заскрипѣла, заскрипѣла подвода, и раздались глухія, сдержанныя рыданія.

Герасимъ Аѳанасьевичъ шелъ между Катериной и ея дочерью, и не переставалъ ихъ уговаривать; особенно часто обращался онъ къ послѣдней, которая не могла такъ владѣть собою, какъ мать, и громко плакала. Хотя управителя не больно боялись, но, зная его близость къ господамъ, никто изъ ненавистниковъ переселяемаго семейства не посмѣлъ выразить своего прощальнаго привѣта. Пантелей, скотница Василиса и другіе враги Катерины уходили въ глубину воротъ по мѣрѣ того, какъ подвода проѣзжала мимо. Герасимъ Аѳанасьевичъ проводилъ ее вплоть до конца улицы. Сергѣй Васильевичъ поручилъ ему лично присутствовать при отправленіи и потомъ сообщить ему о томъ во всей подробности.

Простившись съ управителемъ, Катерина, Маша и Лапша пошли

догонять подводу, которою правилъ Костюшка, сидѣвшій на облучкѣ съ братьями. Волчокъ скакалъ впереди по дорогѣ. Дорога шла черезъ лугъ. Вскорѣ гумна стали закрывать улицу Мàрьинскаго. Катерина остановилась и въ послѣдній разъ взглянула на деревню; сердце ея какъ-будто оборвалось въ эту минуту. Долго стояла она на одномъ мѣстѣ, сама не сознавая, что творилось въ душѣ ея: чувствовала только, что тамъ больно-горько. Хотя разумъ и говорилъ ей, что ждетъ ее лучшая судьба, чѣмъ въ Мàрьинскомъ, но вѣдь родина то же, что мать родная: иногда и бьетъ она, больно бьетъ, а все-таки крѣпко ее любишь!

Лапша и дѣти были уже на горѣ, у опушки рощи, когда Катерина нагнала ихъ. Приближаясь къ нимъ, она услышала чей-то посторонній голосъ, но рыданія Маши мѣшали ей разобрать, чей именно; Волчокъ не лаялъ, слѣдовательно нельзя было думать о чужомъ человѣкѣ. Высвободившись изъ кустовъ, которые заслоняли поворотъ дороги, Катерина увидѣла столяра Ивана, единственнаго человѣка, который съ самаго своего дѣтства былъ съ ними неизмѣнно ласковъ и друженъ.

Онъ кинулся ей навстрѣчу.

— Вотъ, тётушка Катерина, пришелъ сюда нарочно... ждалъ, хотѣлъ съ вами проститься, сказалъ онъ, глядя на нее заплаканными глазами, хотя улыбка его раздвигалась шире обыкновеннаго: — вы были мнѣ какъ родные, лучше родныхъ всякихъ... какъ же вы такъ это теперь?... что же это будетъ такое? подхватилъ онъ, поглядывая на Машу, которая прислонилась къ телѣгѣ обѣими руками и, положивъ на нихъ голову, разливалась, плакала: — да нѣтъ же!... нѣтъ... я, слышь, тётушка... мы, можетъ, еще свидимся... приведетъ Господь... Вотъ я и дядѣ Тимоѳею то же говорю; господамъ я не нуженъ... стану на оброкъ опять проситься... Въ Москвѣ ужъ наскучило, прійду въ вашу сторону... Ну, право же слово, прійду, тётушка Катерина! заключилъ онъ съ улыбкой, которая не покидала его даже въ тѣ минуты, когда лицо изображало всѣ признаки горести.

Иванъ началъ обниматься и цѣловаться поочередно со всѣми. Маша во все это время не покидала своего положенія и горько рыдала. Иванъ подошелъ наконецъ и къ ней.

— Ну... ну... прощай, Маша! сказалъ онъ.

Улыбка его въ эту минуту переходила предѣлы возможнаго, а слезы такъ вотъ и капали одна за другой.

— Прощай, Маша...

Маша подняла голову, хотѣла что-то сказать и вдругъ припала къ матери. Иванъ замоталъ волосами и бросился въ кусты. Онъ бѣжалъ безъ оглядки подъ гору вплоть до самаго луга. Тутъ онъ остановился, снова тряхнулъ волосами и сталъ прислушиваться. Отдаленный, чуть-внятный скрипъ телѣги раздался разъ-другой, и потомъ все смолкло.

„Эхъ!“ произнесъ Иванъ, махнулъ обѣими руками и, улыбаясь отъ праваго уха до лѣваго, что̀ не мѣшало ему утирать кулакомъ глаза, пошелъ частымъ шагомъ къ Мàрьинскому.

VII.

Нищіе.

Между-тѣмъ, какъ исправникъ дѣлалъ „все возможное, чтобъ угодить Сергѣю Васильевичу“ (такъ было сказано въ краснорѣчивомъ письмѣ его), знакомые намъ нищіе шли-себѣ да шли, никакого лиха не чая. Достойно замѣчанія, что въ тотъ самый день, какъ исправникъ далъ знать становымъ о пропажѣ мальчика, слѣпой Фуфàевъ, Верстàнъ и даже Мизги́рь благополучно достигали границъ сосѣдняго уѣзда. Они даже вовсе не торопились и только избѣгàли большихъ почтовыхъ трактовъ; но, кромѣ безопасности, проселки представляли еще ту выгоду, что народъ, населяющій ихъ, гораздо проще, снисходительнѣе и гостепріимнѣе народа, живущаго на большихъ, бойныхъ дорогахъ: нищіе не пропускали ни одной деревни, слѣпли у каждой околицы, стучали подъ каждымъ окномъ, ночевали въ саралхъ и ригахъ, прозрѣвали снова, когда являлась въ этомъ надобность — словомъ, совершали свой путь со всевозможнымъ комфортомъ.

Петруша и другой вожакъ, худенькій мальчикъ жалкаго, болѣзненнаго вида, не отставали ни на шагъ отъ своихъ хозяевъ. Первый начиналъ уже повидимому привыкать къ новому образу жизни; по-крайней-мѣрѣ онъ не бросался теперь въ ноги Верстàну, не просился къ отцу, къ матери, не выражалъ наружныхъ знаковъ отчаянія, не впадалъ въ упорное молчаніе, какъ это было въ первые дни пребываніе его у нищихъ; являлись минуты, когда Петя дѣлался разговорчивымъ; иной разъ даже улыбка какъ-будто оживляла лицо его, значительно, однакожъ, похудѣвшее. Къ такой перемѣнѣ не столько способствовало время, умаляющее рано или

поздно всякія скорби и горести, не столько страхъ, внушаемый Верстàномъ, его побои и угрозы, сколько присутствіе маленькаго вожака, который раздѣлялъ его участь. Кромѣ того, горе его находило облегченіе въ томъ, что было раздѣлено (утѣшеніе, основанное на эгоизмѣ, свойственное всѣмъ людямъ и особенно дѣтямъ), Петя нашелъ въ мальчикѣ добраго товарища. Они сошлись съ перваго же дня знакомства.

Если помнитъ читатель, Верстàнъ назначилъ Лапшѣ свиданіе ночью въ глухой части лѣса; планъ былъ основательно обдуманъ: онъ показывалъ въ старомъ нищемъ человѣка опытнаго въ такого рода продѣлкахъ. Въ случаѣ, если бъ Лапша вздумалъ кричать и сопротивляться, никто въ такую пору не могъ его услышать и подать ему помощь. Верстàнъ имѣлъ также въ виду мальчика. Предполагая, что горе ребенка, при разставаніи съ отцомъ, не помѣшаетъ ему дѣлать наблюденія надъ дорогой, по которой поведутъ его, темнота ночи и лѣсная чаща должны были сбить его съ толку. Въ первомъ предположеніи Верстàнъ, однакожъ, ошибся; увидя себя въ рукахъ его, Петя поднялъ такой крикъ, что Верстàнъ вынужденъ былъ прибѣгнуть къ строгимъ мѣрамъ.

— Молчать! сказалъ онъ, схватывая его за воротъ рубашки и притягивая къ себѣ: — молчи, говорю, не то пришибу на мѣстѣ. Чего орешь? никто не услышитъ... Видишь никого нѣтъ....

Но слова эти усилили только отчаянье ребенка; они показали ему всю безвыходность его положенія; горе его было такъ велико, что вытѣсняло, казалось, ужасъ, внушаемый нищимъ; онъ рвался въ ту сторону, куда скрылся отецъ, и не переставалъ звать на помощь.

— Ахъ, ты каторжный! Погоди жъ, я ти уйму, когда такъ... произнесъ Верстàнъ, обхватывая шею мальчика и приподымая надъ нимъ свой посохъ.

Петя сдѣлалъ отчаянное движеніе и вывернулся изъ рукъ его, но ноги его подогнулись сами собою; онъ упалъ на траву и закрылъ лицо руками.

— Слышь, волчья снѣдь ты этакая, добромъ говорю: уймись лучше! проговорилъ Верстàнъ, стуча дубиной по стволу дерева: — вставай! заключилъ онъ грозно, потряхивая своей огромной кудрявой головою.

— Дѣдушка! добрый дѣдушка! воскликнулъ мальчикъ, крѣпко ударяя себя кулакомъ въ грудь и бросаясь потомъ обнимать ноги

будущаго своего властителя: — дѣдушка, пусти меня, буду за тебя Бога молить... вѣкъ молить буду... отпусти къ матери! Она всего тебѣ дастъ... отпусти только къ матери!...

— Что ей съ тобой дѣлать? Вишь, она тебя сама отдала, сказалъ нищій..

— Нѣтъ, нѣтъ, она не отдавала! вскрикнулъ Петя, снова ударяя себя кулакомъ въ грудь и горько всхлипывая: — она ничего этого не знаетъ, дѣдушка. Взмилуйся, отпусти Христа ради...

— Ладно; потомъ поговоримъ; теперь недосугъ; вставай!... Да ну же, ну, вставай, говорятъ, вставай! промолвилъ Верстàнъ, приподымая мальчика на ноги и схватывая его за руку.

Видя, что нѣтъ уже никакой надежды умолить нищаго, Петя сталъ защищаться; онъ неожиданно припалъ зубами къ рукѣ, которая его держала; но въ ту же секунду нищій схватилъ его за волосы и, высвободивъ руку, нанесъ ему нѣсколько ударовъ.

— Это такъ только тебѣ, для перваго разу, сказалъ Верстàнъ, схватывая его опять за руку: — со мной расправа короткая: пикни только—не такъ отдѣлаю! Я ти покажу, какой я такой дѣдушка! Ну-тка-сь, укуси-ка теперь, попробуй... Ахъ ты, волчья снѣдь ты этакая! Да ну, пошевеливай ногами-то, пошевеливай, полно валандаться!...

Петя понялъ, что сопротивленіе напрасно; онъ пересталъ упираться ногами и пошелъ за нищимъ, заслоняя лѣвою рукою лицо, въ которое били вѣтки кустарниковъ. Грудь его разрывалась на части отъ усилій подавить рыданія; онъ ничего не зналъ о томъ, куда его ведетъ нищій и для какой цѣли — неизвѣстность наполняла страхомъ встревоженную душу мальчика. Каждый разъ, какъ Верстàнъ останавливался, чтобъ сообразиться съ дорогой, сердце Пети билось такъ сильно, что захватывало ему дыханіе; ему тотчасъ же представлялось, что нищій хочетъ убить его и высматриваетъ удобное мѣсто. Но Верстàнъ продолжалъ путь; ужасъ ребенка разсѣявался и снова уступалъ мѣсто отчаянью; онъ старался понять, что могло заставить отца и мать отдать его нищимъ? что онъ сдѣлалъ такое? чѣмъ провинился? — и ничего не могъ придумать. Настоящая цѣль и будущее его назначеніе не приходили ему въ голову; а если и представлялась мысль жить съ нищими, то она казалась ему хуже самой смерти. Вздрагивая всѣмъ тѣломъ и не переставая горько, но тихо плакать, Петя почти бѣ-

жалъ за нищимъ, который ускорялъ шаги, какъ только выбрался изъ лѣса.

Отъ лѣса до Чѣрнева, куда направились они, было версты четыре, не больше; но Верстáну хотѣлось видно сократить путь: онъ вскорѣ бросилъ проселокъ и пошелъ цѣликóмъ, полями. Онъ не боялся сбиться съ пути, хотя шелъ этими полями всего во второй разъ; сорокъ лѣтъ бродячей жизни изощрили его зрѣніе и сдѣлали его наблюдательнымъ; болѣе или менѣе возвышающаяся линія мѣстности надъ горизонтомъ, кустъ, чернѣющій въ сторонѣ, межа — все это было замѣчено имъ, когда онъ шелъ въ лѣсъ, и служило теперь вѣрнымъ маякомъ. Такъ достигъ онъ большой черневской дороги; влѣво, всего въ ста саженяхъ, начинались избы Чѣрнева, окутанныя какой-то мрачной, угрюмой темнотою. Было такъ тихо, что можно было думать, деревня необитаема. Съ этой стороны Верстáну не предстояло опасности; онъ не пошелъ, однакóжъ, улицей, а пересѣкъ дорогу и продолжалъ путь, придерживаясь прямаго направленія. Немного погодя, онъ и спутникъ его очутились на краю обрыва. Звѣзды, покрывшія небо, мигали кое-гдѣ на днѣ обрыва и давали знать, что тамъ вода.

— Дѣдушка, куда ты ведешь меня?... Дѣдушка! касатикъ! я все сдѣлаю... все сдѣлаю! только ты не топи меня! замирающимъ голосомъ произнесъ мальчикъ, припадая къ нищему, который все еще держалъ его коренастою своею рукою.

— Кабы топить тебя была надобность, такъ бы далеко не велъ, возразилъ Верстáнъ успокоительно.

Сказавъ это, онъ началъ спускаться, ощупывая землю концомъ палки; другая рука его продолжала держать мальчика. По прошествіи нѣсколькихъ минутъ, онъ уже стучалъ въ низенькую дверь знакомой намъ мазанки. Надо полагать, Грачѝха была предупреждена касательно такого поздняго посѣщенія. Она застучала деревяннымъ засовомъ и отворила дверь, какъ только услышала голосъ нищаго. Ей, повидимому, извѣстна также была цѣль ночной его прогулки: увидя мальчика, она не выказала ни малѣйшаго удивленія.

— Слышь, тётка... что, тотъ, ну, знаешь? здѣсь онъ?

— Нѣтути, спровадила! отвѣчала Грачѝха.

— Ну и ладно, не пущай его... ну его совсѣмъ! сказалъ Верстáнъ, толкая мальчика въ избу.

Грачѝха выглянула за дверь, съ минуту постояла на порогѣ, какъ бы прислушиваясь къ чему-то извнѣ, потомъ вернулась въ

сѣни и плотно задвинула деревянный засóвъ. Изъ избы слышался уже козлячій голосъ и дребезжащій хохотъ слѣпаго Фуфàева. Онъ поспѣшилъ выйдти на встрѣчу товарищу. Кромѣ него, въ первой половинѣ избы находились также дядя Мизгúрь и Миша; послѣдній сидѣлъ въ темномъ углу и съ любопытствомъ смотрѣлъ на приведеннаго мальчика, который стоялъ ни живъ, ни мертвъ.

— Ну, парнёкъ-то не то, чтобъ оченно... малый-то невелúчекъ, сказалъ Фуфàевъ, быстро ощупывая ладонью заплаканное лицо Пети.

— Ничего, годится! грубо вымолвилъ Верстàнъ.

— Знамо годится, подростетъ!... проговорилъ Мизгúрь, осклабляя свои беззубыя дёсны.

— Вѣстимо подростетъ, подхватилъ, смѣясь, Фуфàевъ, —особливо коли Верстàнъ станетъ его вытягивать... я чай ужъ небось вытянулъ?

— Такой-то пропастный, кричать-было зачалъ...

— Это съ радости, что тебя увидалъ! Слышь, малый: „на то, скажи молъ, дѣдушка, и голосъ данъ человѣку, чтобъ кричать на радостяхъ!“ А то какъ же? Ничего, точно: невелúчекъ паренёкъ; и то надо сказать: цѣна ему невелúчка; будь онъ съ мизинецъ, и то своей цѣны стóитъ. Ну, паренёкъ, ступай! примолвилъ, посмѣиваясь, Фуфàевъ: —нѣчего тебя много ощупывать: даровому коню въ зубы не смотрятъ.

— Только у меня, смотри ты, смирёнъ будь! перебилъ Верстàнъ, пропустивъ мимо ушей замѣчанія товарища и обращаясь къ Петѣ, который, казалось, замеръ на своемъ мѣстѣ: —я шутить не люблю...

— Вретъ, вретъ, паренёкъ, не вѣрь ты ему, воскликнулъ Фуфàевъ: —дѣдушка у насъ добрый; добрѣе его въ цѣломъ свѣтѣ нѣтути... Что хошь дѣлай, за все угощать тебя станетъ; угощенье-то знатное какое: нонъче угоститъ изъ двухъ полѣнцевъ яичницей, завтра дастъ отвѣдать дубовыхъ пирожковъ съ жимолостнымъ масломъ...

— А бѣжать вздумаешь, продолжалъ Верстàнъ, не обращая вниманія на Фуфàева: —бѣжать вздумаешь... вотъ вишь тётка эта: у ней есть, примѣрно, ступка такая, сядетъ на нее, ударитъ пестомъ — хошь на край свѣта бѣги, догонитъ... Этого ты и не думай!... Ну, пошелъ, лягъ вонъ поди на скамью! да смирно у меня!

заключилъ онъ, бросая въ уголъ палку и направляясь за перегородку къ Грачйхѣ, которая возилась подлѣ печки.

Примѣру его немедленно послѣдовали дядя Мизгирь и Фуфаевъ. Оставшись одинъ, Петя боязливо оглянулся вокругъ, но глаза его до-того полны были слезъ и притомъ такъ темно было въ избѣ (лучина, вынесенная за перегородку, сообщала слабый полусвѣтъ въ первую половину мазанки), что онъ сначала не замѣтилъ маленькаго товарища, все еще сидѣвшаго въ углу своемъ. Петя робко подошелъ къ лавкѣ, прижался къ стѣнкѣ и крѣпко зажалъ ладонью ротъ, чтобъ не слышно было его рыданій. Онъ ни о чемъ не думалъ; въ минуты, какія переживалъ онъ, мысли являются въ неопредѣленномъ, непослѣдовательномъ видѣ, быть-можетъ, потому именно, что ихъ тогда слишкомъ-много.

Уже нѣсколько времени находился онъ въ этомъ положеніи, когда почувствовалъ прикосновеніе чьей-то руки на плечѣ своемъ. Онъ быстро привсталъ, не сомнѣваясь, что то былъ его хозяинъ, и устремилъ кверху испуганные глаза. Передъ нимъ никого однакожъ не было; грубый голосъ Верстана раздавался за перегородкой; на задней стѣнѣ, ярко освѣщенной лучиною, мелькала тѣнь исполинской головы его. Петя оглянулся направо — и тамъ никого не было.

— Это я, шепнулъ слѣва подъ самымъ его ухомъ чей-то слабый голосокъ.

Петя обернулся и почти носъ-къ-носу встрѣтился съ блѣднымъ лицомъ Миши.

— Ты меня не бойся, сказалъ послѣдній, видя, что Петя откинулся въ сторону: — я тебѣ худа не сдѣлаю.

Такія слова и еще болѣе тщедушный видъ собесѣдника нѣсколько успокоили Петю; но когда онъ осмотрѣлся въ лицо и узналъ въ немъ того самаго мальчика, который наканунѣ приходилъ къ нимъ въ избу; когда, вмѣстѣ съ этимъ открытіемъ, воображенію Пети, и безъ того уже устремленному къ родному дому, представился вчерашній вечеръ со всею его счастливою обстановкой; когда онъ вспомнилъ, что было съ нимъ вчера и что теперь — сердце его снова наполнилось тоскою и отчаяньемъ; онъ хотѣлъ превозмочь себя, но напрасно: и закрылъ обѣими руками лицо и такъ горько заплакалъ, что слезы въ одинъ мигъ показались между его пальцами. Миша между-тѣмъ подсаживался къ нему то съ одного боку, то съ другаго; задумчивые глаза мальчика не поки-

дали товарища. Наконецъ онъ подсѣлъ ближе и тихо взялъ его за обѣ руки, стараясь отвести ихъ отъ лица.

— Полно, ты лучше не плачь, право не плачь, шепнулъ онъ, снова наклоняясь къ уху товарища, слышь? какъ тебя звать-то — ась?

Петя проговорилъ свое имя.

— Слышь, Петя, не плачь: услышитъ твой-то, хуже вѣдь будетъ! добрѣ сердитъ, не любитъ онъ этого; хуже его нѣтъ у насъ... ужъ такой-то злющій!... Мой смирнѣе, да и то другой разъ за вихоръ таскаетъ, коли заплачешь... Право, перестань, услышатъ... Али тебѣ жаль кого?

— Мать жаль, жаль ее. Она ничего не знаетъ, что меня увели, проговорилъ Петя, тяжело вздыхая и прерываясь на каждомъ словѣ.

— Стало силой тебя отнялъ? спросилъ Миша, кивая головою на тѣнь Верстàна.

— Силой...

— А меня-такъ отдали, проговорилъ Миша съ дѣтскимъ простодушіемъ:—мачиха отдала; отца уговорила—онъ послушалъ да и отдалъ... То-то житье-то было худое! хуже, кажись, здѣшняго! подхватилъ онъ, потряхивая головою: — мой, покрайности, вотъ слѣпой-то, видѣлъ?... этотъ хоть не дерется, смиренъ; а мачиха-то, бывало, нѣтъ такого дня, чтобъ не прибила. Разъ такъ кулакомъ вотъ сюда, въ грудь, ударила... до сихъ поръ больно...

И, какъ бы въ подтвержденіе сказаннаго, мальчикъ закашлялся какимъ-то глухимъ, хриплымъ кашлемъ, похожимъ на шелестъ сухихъ осеннихъ листьевъ.

Петя началъ уже дѣлаться внимательнѣе, какъ вдругъ въ сѣняхъ раздался шумъ; точно кто-то прыгнулъ съ вышины на полъ. Звукъ этотъ дошелъ даже за перегородку, потому что Грачиха тотчасъ же показалась въ дверяхъ. Она промелькнула мимо ребятишекъ, прижавшихся другъ къ дружкѣ, и быстро прошла въ сѣни.

— Кого надо? окликнула сердито колдунья.

Но въ эту самую секунду что-то прошмыгнуло у ея ногъ, и не успѣла она очнуться, какъ деревянный засовъ щелкнулъ, и въ сѣняхъ показался Филиппъ; изъ-за-дверей, которыя захлопнулись, вышелъ Стёпка. Старуха разразилась проклятіемъ; но прежде, чѣмъ броситься къ разбойнику и удержать его, она окинула глазами стропила; клочокъ синяго звѣзднаго неба, свѣтившійся въ

крышѣ, объяснилъ ей появленіе Стёпки и потомъ отца его. Она вцѣпилась въ тулупъ разбойника и загородила ему дорогу.

— Эй, пусти лучше, до грѣха! проговорилъ Филиппъ задыхающимся голосомъ, между-тѣмъ, какъ Стёпка, изъ опасенія, вѣрно, чтобъ гнѣвъ старухи не зацѣпилъ и его, поспѣшно спрятался за отцовской спиною:—пусти, говорю; неровёнъ часъ! бѣшено подхватилъ Филиппъ.

Но такъ-какъ колдунья продолжала держать его, то онъ схватилъ ее за руки и такъ сильно отпихнулъ, что она стукнулась спиною объ стѣну. Бѣшенство душило Грачйху; но не посмѣла она, однакожъ, повторить нападеніе и ограничилась ругательствами и проклятіями. Дѣйствительно, въ настоящую минуту несовсѣмъ было бы безопасно подступать къ Филиппу; Грачйха убѣдилась въ этомъ окончательно, когда свѣтъ изъ-за дверей перегородки освѣтилъ лицо разбойника. Черные волосы его, торчавшіе въ безпорядкѣ, тряслись заодно съ головою; свинцовая блѣдность лица еще рѣзче выдавала шершавыя, судорожно согнувшіяся брови; каждая черта его какъ-будто заострялась; тонкій погибъ носа побѣлѣлъ; губы съузились; ноздри раздувались такъ сильно, что перегородка, раздѣлявшая ихъ, выглядывала наружу.

Видъ Филиппа пробудилъ въ Вёрстанѣ мысль объ осторожности; онъ сохранилъ, повидимому, свое положеніе, но поспѣшно выдвинулъ изъ-подъ стола ноги, какъ-бы готовясь подняться при первой надобности; онъ отодвинулъ немного столъ и, какъ бы для пробы, разъ два пожалъ исполинскими своими кулаками. Появленіе Филиппа весело подѣйствовало на одного лишъ Фуфаева; это потому, можетъ быть, что онъ не могъ его видѣть.

— А! здорово, тёзка! какъ васъ Богъ милуетъ? по добру ли, но здорову? Соскучились мы по васъ совсѣмъ!... крикнулъ онъ, какъ только услышалъ его голосъ.

— Слушай ты! сказалъ Филиппъ, обращаясь къ Верстàну и дѣлая усилія, чтобъ подавить на-время бѣшенство, которое коробило черты его: — рàзи такъ дѣлаютъ?... ась? Помнишь, ты на самомъ этомъ мѣстѣ сказывалъ: отдашь за мальчика тринадцать рублевъ... а вмѣсто того что сдѣлалъ?

— Чего надо? грубо возразилъ Верстàнъ.

— А то надо, что деньги подай! вотъ что надо!

— А рази мальчикъ-то твой? промолвилъ Верстàнъ, ставя оба кулака свои на столъ.

Филиппъ отступилъ два шага и отдавилъ ноги Стёпкѣ;

Стёпка крикнулъ; отецъ далъ ему треуха и снова обратился къ нищему, но ужъ безъ прежней запальчивости.

— Нѣтъ, мальчикъ не мой; онъ мнѣ племянникъ, отецъ его братъ родной: стало, все единственно, сказалъ онъ: — потому больше и послалъ васъ туда, деньги были нужны... Коли такъ, на обманъ хотѣлъ взять — должонъ былъ сказать объ этомъ...

— Эхъ, тёзка, тёзка! Кто жъ, слышь, такъ дѣлаетъ: пошелъ на базаръ, всему міру сказалъ! перебилъ, посмѣиваясь, слѣпой: — такъ николи не водится! Эхъ, тёзка, жаль мнѣ тебя: маху, братъ, далъ; бражку пить пошелъ — воду нашелъ!...

— Чего пристадъ? отваливай! сказалъ Верстанъ, поворачиваясь къ Филиппу и нахмуривая сѣдыя брови.

— Деньги подай, подай деньги, что посулилъ! крикнулъ Филиппъ, къ которому снова возвратилось бѣшенство.

— Отстань, говорю; отдалъ я ему — чего еще?

— Врешь, лѣшій, не отдавалъ! заголосилъ Филиппъ, дѣлая шагъ впередъ и плотно становясь на лѣвую ногу.

— Усь-усь-усь! произнесъ Фуфаевъ, надрываясь отъ смѣха: — усь, усь... ну-кась, ребятушки! Слово за словомъ, тукманка въ голову да плевокъ въ бороду, тычокъ за тычкомъ, оплеуха за тузомъ — валяй, ребята! качай во здравіе!

— Ты, смотри, не пуще стращай! пробасилъ Верстанъ, неожиданно поднимаясь изъ-за стола: — у меня у самого кулаки-то крѣпки. На, смотри, коли хошь! добавилъ онъ, выставляя на видъ сложенные свои пальцы.

— Хорошенько его, дядя! хорошенько его, разбойника! неожиданно крикнула Грачиха, становясь подлѣ нищаго, который съ рѣшительнымъ видомъ засучивалъ рукава: — бей его, окаяннаго!

— Ты что, вѣдьма? проговорилъ Филиппъ, дико озираясь, какъ волкъ, настигнутый стаей собакъ: — такъ-то ты за добро платишь? Ладно!...

— Ничего, не робѣй, тёзка! смѣялся, между-тѣмъ, Фуфаевъ: — вотъ тутъ-то и стой, гдѣ кисель густой...

— Вонъ ступай! Одно слово: вонъ! Чтобъ духа твоего здѣсь не было! трещала Грачиха, ободряемая исполинскимъ ростомъ своего защитника: — гоните его, братцы! въ шеи его, проклятаго!

Неувѣренность въ своей силѣ, страхъ, злоба и бѣшенство боролись въ душѣ разбойника; онъ не столько, можетъ-быть, боялся кулаковъ Верстана, сколько старой колдуньи: ей стоило только

добѣжать до Чѣрнева, чтобъ погубить его; онъ зналъ ее и зналъ, что она давно замышляла предать его.

— Хорошо же, когда такъ! произнесъ онъ, яростно грозя кулаками и отступая къ двери: — съ тобой мы еще встрѣнемся, такъ посмотримъ, чья возьметъ, который котораго одолѣетъ...

— Эй, не хвались лапти сшить, не надравши лыкъ! замѣтилъ Фуфаѣвъ.

— А тебѣ, касатушка, подхватилъ Филиппъ, бросая свирѣпый взглядъ на старуху: — тебѣ я это припомню! все за одинъ разъ вспомяну, всѣ твои дѣла со мною...

— Не мнѣ тебя бояться, разбойникъ! завопила старуха, подталкивая Верстана: — ты бойся! До Мариинскаго всего восемь верстъ; пошлю вотъ только къ кузнецу Пантелею — онъ тебя больно любитъ... Ступай лучше вонъ, окаянный, отселева!

— Ну, смотри же, заруби ты этотъ день себѣ на носу!... воскликнулъ Филиппъ съ какимъ-то растеряннымъ видомъ: я попадусь — не радуйся, вѣдьма: самоё потащутъ, самоё выдамъ; самъ пропаду, да ужъ и тебѣ не миновать плети!... Сюда! заключилъ онъ, выходя въ первую половину избы. Послѣднее слово обращалось къ Стёпкѣ.

Стёпка прильнулъ къ отцовскому полушубку; но, проходя мимо Пети и Миши, которые оставили скамью и стояли недалеко отъ двери, чтобъ удобнѣе разсматривать все происходившее, Стёпка далъ каждому изъ нихъ тумака. Грачиха, слѣдившая, какъ коршунъ, за каждымъ движеніемъ рыженькаго мальчика, воспользовалась этой минутой; она налетѣла на него съ кочергою и, нѣтъ сомнѣнія, плохо пришлось бы головѣ Стёпки, если бъ отецъ не обернулся. Грачиха отступила. Филиппъ ринулся-было на нее, но ее заслонилъ Верстанъ. Филиппъ схватилъ Стёпку за руку и, послав нѣсколько страшныхъ проклятій колдуньѣ и гостямъ ея, исчезъ въ сѣняхъ. Ужъ давно не слышны были шаги Филиппа, но Грачиха все еще стояла у наружной двери мазанки и прислушивалась: ей хотѣлось узнать, въ какую сторону направлялся бродяга. Знаніе это, все равно, ни къ чему бы не послужило колдуньѣ: Филиппъ очень хорошо зналъ, съ кѣмъ имѣлъ дѣло; отойдя шаговъ триста, онъ вдругъ перемѣнилъ направленіе и пошелъ совсѣмъ въ противоположную сторону.

Если вѣрить, что у человѣка горитъ лѣвое ухо, когда его заглазно ругаютъ, лѣвое ухо Филиппа должно было сильно досаж-

дать ему въ эту ночь: его ругали всѣ безъ исключенія въ избѣ Грачи́хи; даже Петя и Миша дѣлали о немъ несовсѣмъ лестныя заключенія. Наконецъ розсказнямъ пора было смолкнуть. Грачи́ха отправилась на печь; нищіе расположились кто куда могъ; маленькіе вожаки́ легли рядомъ на лавку; немного погодя, въ мазанкѣ все стихло. Не могъ хорошенько заснуть одинъ только Петя: онъ безпрестанно пробуждался, вздрагивалъ и каждый разъ тогда ближе прижимался къ маленькому товарищу: онъ ужъ чувствовалъ, что Миша служилъ ему единственною подпорою въ его горькомъ одиночествѣ.

Весь слѣдующій день нищіе безвыходно пробыли у Грачи́хи; она не изъявила ни малѣйшаго сопротивленія: надо полагать, они заранѣе съ нею условились. Петя и Миша, предоставленные во весь этотъ день на собственный произволъ во второй половинѣ избы, сошлись окончательно; хотя Петя часто принимался плакать, но товарищъ такъ хорошо умѣлъ приласкать его, что горе казалось ему не такъ ужъ великимъ, какъ наканунѣ. Съ наступленіемъ ночи нищіе простились съ колдуньей и отправились въ дорогу. Мы ужъ сказали, что они не считали нужнымъ торопиться и совершали свой путь со всевозможнымъ комфортомъ. Тѣмъ неменѣе, съ того дня, какъ покинули они мазанку, до настоящей минуты пройдено было большое пространство. Никто теперь не могъ бы сказать даже приблизительно, съ какой именно стороны горизонта находится Мàрьинское и сколько до него верстъ; вѣрно было то́ лишь, что верстъ очень много: заснешь прежде, чѣмъ сосчитаешь.

Мы застаёмъ теперь нищихъ у входа или у выхода небольшой деревушки; они расположились отдохнуть за ригой, которая выходитъ угломъ на дорогу; никто помѣшать имъ не можетъ: кругомъ тишина мертвая; полдень; солнце такъ и жжетъ. Верстàнъ, дядя Мизги́рь и слѣпой Фуфàевъ выбрали это мѣсто ради тѣни, которую бросалъ выступъ кровли; подмостивъ подъ голову мѣшки свои, они сладко раскинулись и такъ же сладко заснули. Надо полагать, они лежали ужъ нѣкоторое время. Чтобъ разоспаться до такой степени одеревенѣнія, требовалась, вѣрно, не одна минута; тѣнь кровли падала ужъ теперь косякомъ по другую сторону риги; солнце плашмя падала на ихъ раздувшіяся, загорѣлыя лица; но это повидимому не безпокоило ихъ; не безпокоили также и мухи, которыя роями кружились надъ ихъ головами и садились имъ на носъ, на щеки—словомъ, всюду, гдѣ сквозь прорѣхи и бородастыя за-

платы проглядывало тѣло; казалось, напротивъ, не столько мухи тревожили Верстàна, сколько Верстàнъ тревожилъ мухъ: онъ время отъ времени подымалъ такой густой храпъ, что всѣ мухи разомъ подымались и, какъ испуганныя, метались по воздуху. Всякій разъ, какъ раздавался этотъ храпъ, изъ-за угла показывалось личико Пети; онъ и маленькій товарищъ его расположились лицомъ къ дорогѣ; оба сидѣли рядышкомъ, прислонившись спиною къ плетневой стѣнѣ риги.

— Нѣтъ, ничего, Миша; это онъ такъ... спитъ! говорилъ Петя:— ты бы, право, Миша, легъ лучше... усни маленько... Вотъ ложись на меня... вотъ на ноги..

— Нѣтъ, вѣдь ужъ пробовалъ, не спится что-то, возразилъ тотъ:—добрé ужъ оченно я усталъ, добрé пуще грудь болитъ у меня; мнѣ такъ-то лучше; лягу — кашель больно одолѣваетъ.

— Вѣдь вонъ, вонъ! ты и то кашляешь, даромъ что сидишь! подхватилъ Петя, поглядывая на товарища, который обхватилъ худенькими ручонками грудь и едва переводилъ духъ отъ кашля.

Несмотря на напряженія, которыя онъ дѣлалъ, чтобъ откашляться, лицо его оставалось блѣднымъ; на немъ не было слѣда загара. Благодаря страшной худобѣ лица, черные, задумчивые глаза мальчика казались теперь вдвое больше; темная кайма окружала его рѣсницы.

— Далеко очень шли, усталъ очень; оттого больше... сказалъ онъ, переводя духъ и поглядывая на ладонь, которая прижимала губы: на ней были слѣды крови.

— Попросимъ ихъ, чтобъ маленечко повременили; ишь какъ жарко — смерть! сказалъ Петя.

— Нѣшто они послушаютъ! Они знаютъ свое: имъ бы только поспѣть къ ярманкѣ... они рàзи насъ жалѣютъ?

— Знамо, мы имъ не родные, а все бы въ толкъ надо взять... Мнѣ ничего—я здоровъ, хоша и добрѣ тяжко такъ-то по жарѣ идти; а вотъ о тебѣ нѣтъ имъ нуждышки... Ты, Миша, какъ пойдемъ, дай мнѣ свой мѣшокъ, я понесу его...

— Не осилишь; и съ своимъ-то насилу управляешься... Вотъ кàкъ, Петя, подхватилъ вожàкъ Фуфàевъ:—какъ шли мы это сюда, такъ, кажись, еще бы одну версту—тутъ бы и смерть моя; тàкъ грудь заломило, тàкъ заломило... ужъ оченно добрѣ замучился...

— Ты, Миша, потерпи еще маленько, перебилъ Петя, взглянувъ за уголъ и понижая голосъ:—вотъ, маленечко еще подростемъ...

вотъ теперь лѣто... а тамъ зима, а тамъ опять лѣто, тогда мы ужъ большіе выростемъ, подхватилъ онъ съ оживленіемъ:—помнишь, о чемъ мы съ тобой говорили... то и сдѣлаемъ; они насъ тогда не догонятъ. Станемъ вездѣ спрашивать: я вѣдь деревню-то свою помню—Мàрьинское прозывается... Прійдемъ домой... у меня мать—то-то добрая!... Ну и станемъ жить вмѣстѣ... Потерпи только до другаго лѣта.

Миша тоскливо опустилъ голову и провелъ нѣсколько разъ ладонью по лбу, покрытому крупными каплями пота.

— Можетъ, ты ужъ тогда одинъ... безъ меня пойдешь, сказалъ онъ, задумчиво глядя на пыльную, обожженную солнцемъ дорогу.

— А ты-то что жъ? Нѣтъ, я одинъ безъ тебя ни за что не пойду; идтить, такъ ужъ вмѣстѣ! возразилъ Петя.

— Ну, а какъ я умру? вымолвилъ Миша.

Петя посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Мнѣ и такъ все думается, продолжалъ Миша протяжнымъ, слабымъ голосомъ:—иду такъ-то съ вами и думаю: „ну, какъ они меня бросятъ... ну, какъ умру я одинъ на дорогѣ?“... Другой разъ насилу ноги волочу, а какъ вспомню объ этомъ, такъ даже душа вся затрясется... А можетъ, и лучше помереть-то, право: вѣдь ужъ хуже теперешняго не будетъ; стало, все-одно... Я чай, ты, Петя, обо мнѣ тогда пожалѣешь?...

Петя схватилъ его за руку, но въ самую эту минуту ему послышался шорохъ за угломъ, и онъ поспѣшилъ заглянуть туда.

— Миша, сказалъ онъ, дергая товарища за руку: — глянька-сь, глянь... Вѣдь Верстàна-то нѣту, и дядя Мúзгирь также всталъ; оба ушли.

Миша приподнялся и посмотрѣлъ за уголъ. На томъ мѣстѣ, гдѣ лежали Верстàнъ и Мизгúрь, виднѣлась только стоптанная трава и мѣшки, служившіе подушкой старымъ нищимъ. Шорохъ, слышанный Петей, произведенъ былъ, вѣроятно, головою Фуфàева, которая скатилась съ мѣшка; раскрытый ротъ и выраженіе сладостнаго самозабвенія на багровомъ лицѣ его, усѣянномъ мухами, показывали, что онъ не думалъ даже пробуждаться.

— Куда жъ тѣ-то ушли?... чудно что-то! прошепталъ Миша.

Петя подмигнулъ ему и погрозилъ пальцемъ, давая знать, чтобъ онъ молчалъ. И оба, припавъ къ плётневой стѣнѣ, стали пробираться на другую сторону риги, но не съ того бока, гдѣ ле-

жалъ Фуфàевъ, а съ противоположнаго. Такъ достигли они угла, который отвѣчалъ углу, за которымъ они сидѣли; притаивъ дыханіе и крѣпко прижимаясь другъ къ дружкѣ, оба мальчика выглянули за уголъ. Тѣнь, падавшая съ кровли, разсѣкала пополамъ сморщенную, сгорбленную фигуру дяди Мизги́ря, такъ что одна половина фигуры оставалась въ тѣни, другую ярко охватывало солнце; онъ сидѣлъ, разставивъ ноги; передъ нимъ лежала тряпка; на ней сверкали пригоршни двѣ мѣдныхъ и серебряныхъ монетъ, которыя старикъ разложилъ маленькими столбиками: гривенники съ гривенниками, пятаки съ пятаками и т. д.; двѣ старыя, замасляныя пятирублевыя ассигнаціи покоились на лѣвомъ колѣнѣ нищаго; онѣ, казалось, особенно его занимали; выставивъ впередъ дрожащіе, скорченные пальцы лѣвой руки, онъ не переставалъ загибать ихъ указательнымъ пальцемъ правой руки, поминутно сбивался, начиналъ снова, пожималъ губами и заботливо потряхивалъ головою, не обращая вниманія на солнце, которое било ему въ самое темя.

Миша и Петя никогда не видали столько денегъ; то, что̀ находилось въ платкѣ и на колѣнѣ старика, казалось имъ неисчислимымъ сокровищемъ. Они считали до-сихъ-поръ дядю Мизги́ря самымъ бѣднымъ изъ трехъ нищихъ; онъ казался такимъ жалкимъ и несчастнымъ, безропотно сносилъ всегда насмѣшки Фуфàева, терпѣлъ съ покорностью грубое обращеніе Верстàна, онъ вѣчно молчалъ, и если говорилъ когда, такъ для того развѣ, чтобъ жаловаться на бѣдность. Кàкъ ни были удивлены мальчики, любопытство ихъ не столько было, однакожъ, возбуждено старикомъ и его сокровищемъ, сколько присутствіемъ Верстàна за спиною дяди Мизги́ря.

Верстàнъ оставался, повидимому, въ томъ самомъ положеніи, въ которомъ подползъ къ товарищу. Упершись ладонями въ траву, выставивъ надъ плечомъ старика огромную свою голову, покрытую сѣрыми, взбудораженными кудрями, онъ съ такою жадностью выкатывалъ глаза на деньги, что надъ зрачками его виднѣлись даже окраины бѣлковъ. Лицо его было такъ страшно въ эту минуту, что Петя почувствовалъ холодъ въ спинѣ. Невольный ужасъ, въ которомъ не могли они дать себѣ яснаго отчета, овладѣлъ обоими мальчиками; они поспѣшно припали къ плетню, такъ же поспѣшно возвратились на прежнее свое мѣсто и несказанно обрадовались своей поспѣшности: не успѣли они сѣсть, какъ за угломъ раздался

голосъ Верстàна; минуту спустя, онъ вышелъ къ нимъ и велѣлъ имъ надѣвать мѣшки и брать палки. Когда оба мальчика явились на мѣсто, выбранное нищими для отдыха, дядя Мизгирь еще не показывался.

— Ну, вставай, отряхивайся, полно нѣжиться-то, время идти! говорилъ Верстàнъ, толкая Фуфàева.

Фуфàевъ раскрылъ глаза, обвелъ направо и налѣво бѣлыми зрачками своими, снова закрылъ глаза и, сладко улыбнувшись, перевалился на другой бокъ.

— Ишь его, собака, какъ разоспался! не растолкаешь никакъ! Да ну же, ну! забасилъ Верстàнъ, перекатывая Фуфàева съ боку на бокъ, какъ кубышку.

— У-у-у-а! промычалъ Фуфàевъ, закинулъ руки за спину, потянулся, раскрылъ глаза, чихнулъ, сказалъ: „бывайте здоровы!“ и усѣлся на траву.

Въ это самое время изъ-за угла выступилъ дядя Мизгирь, сохранявшій теперь болѣе, чѣмъ когда-нибудь, жалкій, несчастный, униженный видъ.

— Гдѣ былъ? По деревнѣ, что ли, бродилъ? спросилъ Верстàнъ, сопровождая слова эти взглядомъ, который заставилъ Петю и Мишу переглянуться.

— Да, такъ ходилъ; думалъ, не подадутъ ли хлѣбушка... ничего не дали! промямлилъ старикашка, тоскливо качая лысою головою.

— Вретъ, вретъ; а ты и повѣрилъ? воскликнулъ, смѣясь, Фуфàевъ; — чай, за угломъ сидѣлъ, деньги считалъ... Я, примѣрно, сонъ такой видѣлъ...

— Полно ты, окаянный! Ну, что̀ пристàлъ? какія деньги?... злобно пробормоталъ дядя Мизгирь, скорчиваясь и пожимаясь, словно жарили его на сковородѣ.

— Ладно, дядя, знаемъ! подхватилъ Фуфàевъ: — чуръ смотри только, коли помрешь — а помирать тебѣ скоро надыть, не миновать — смотри, мнѣ кладо-тъ оставь!

При этомъ слѣпой ударилъ въ ладоши, вскочилъ на ноги, направился по голосу къ старику и, ударивъ его по плечу, разразился отчаянно веселымъ смѣхомъ.

— Ну, полно балясничать-то, полно! промолвилъ Верстàнъ, надѣвая суму: — надо къ завтраму вечеру поспѣть на ярманку. Ну, братцы, пойдемъ!

Немного спустя, нищіе вышли на дорогу и начала удаляться отъ деревушки. Дорога шла гладкими, какъ ладонь, полями; вправо только, на дальнемъ горизонтѣ, мѣстность оживлялась синеватою лѣсистою каймою, которая тянулась и пропадала въ неоглядномъ просторѣ. Хотя солнце нѣсколько уже склонилось, но все еще пекло невыносимо; ни одна тучка, ни одно дуновеніе не освѣжали воздуха; пыль, подымаемая ногами нищихъ, вытягивалась длинными полосами и почти недвижно висѣла надъ дорогой. Зной и духота не дѣйствовали только на Фуфаева. Хохотъ, послѣдовавшій за его пробужденіемъ, служилъ какъ будто выраженіемъ его расположенія духа на весь остальной день; неугомонная, задорливая веселость его не прерывалась ни на минуту. Главнымъ возбудителемъ неумолкаемой болтовни его былъ, по обыкновенію, дядя Мизгирь. Наглумившись надъ нимъ до-сыта и истощивъ съ этой стороны весь запасъ своего остроумія, онъ перешелъ къ двумъ вожакамъ, прося ихъ убѣдительно идти какъ можно шибче, увѣряя, что это лучшій способъ для освобожденія отъ стужи, которая, по словамъ его, была невыносима. Но такъ-какъ Миша сталъ жаловаться на жаръ и усталость, то Фуфаевъ поспѣшилъ обратиться къ Верстану.

Верстанъ шелъ позади всѣхъ; онъ до-сихъ-поръ хранилъ упорное молчаніе и только изрѣдка косился на старика Мизгиря. Хотя Верстанъ никогда не отличался разговорчивостью, однакожъ Фуфаевъ нашелъ, что молчаніе товарища не предвѣщало ничего добраго: оно служило несомнѣннымъ знакомъ нравственнаго разстройства. Всему была виною зазнобушка, которую оставила въ сердцѣ Верстана Грачиха. Фуфаевъ совѣтовалъ не томить себя, совѣтовалъ засылать скорѣй сватовъ: онъ не сомнѣвался въ успѣхѣ. Сватомъ поѣдетъ дядя Мизгирь на тройкѣ пѣгихъ, которую дадутъ въ первой деревнѣ; самъ Фуфаевъ вызывался быть дружкой. Но такъ-какъ предложеніе это заслужило ему только тычекъ отъ будущаго жениха, то онъ отложилъ свадьбу на неопредѣленное время и принялся разсказывать сказку:

— Шли три мужика, три Прокопа мужика, три Прокопьевича; говорили они про мужика, про Прокопа мужика, про Прокопьевича...

— Отойди! досадливо крикнулъ Верстанъ и толкнулъ его такъ сильно, что чуть-было съ ногъ не сшибъ.

Фуфаевъ остановился какъ-будто въ недоумѣніи, почесалъ затылокъ, минуты пять шелъ молча, какъ-бы раздумывая о чемъ-то

веселомъ; потомъ тряхнулъ мѣшкомъ и, не обращая уже теперь никакого вниманія, затянулъ козлинымъ своимъ голосомъ:

У славнаго, добраго молодца
Много цвѣтнаго платья поношено,
Подъ оконью лаптей старыхъ попрошено...
И сахарнаго куса поѣдено,
У собакъ корокъ отнимано;
На добрыхъ коняхъ поѣзжено,
На чужія дровни присѣдаючи,
Ко чужимъ дворамъ приставаючи...
Голиками глаза выбиты...
Дубиной плеча поранены...

— Что жъ ты, Мишутка, не подтягиваешь? закричалъ вдругъ Фуфаевъ, выкидывая колѣнцо.

Но бѣдному Мишѣ было не до пѣсенъ. Блѣдный, покрытый потомъ, онъ едва передвигалъ усталыми ногами по пыльной, обожженой солнцемъ дорогѣ; спасибо еще Петѣ, который шелъ подлѣ: онъ время до времени придерживалъ суму на спинѣ товарища и такимъ-образомъ, хоть сколько-нибудь, облегчалъ ему невыносимо тяжкій путь, путь, который очевидно долженъ былъ скоро привести Мишу къ преждевременной, одинокой могилѣ.

Часть третья.

I.

Не выдержали.

Александра Константиновна только-что откушала утренній чай и расположилась въ мягкое кресло подлѣ окна. Почти въ ту же минуту въ спальню вбѣжала Мери, сопровождаемая гувернанткой. Мери бросилась на шею матери; француженка откинула назадъ лѣвую ногу, сдѣлала книксенъ и пожелала Бѣлицыной добраго утра.

— Пожалуйста не смѣйтесь, chère m-elle Louise: не только нельзя ждать хорошаго, но врядъ ли даже можно надѣяться на сносное утро, воскликнула по-французски Бѣлицына. — Voyez!... примолвила она дѣтски-плаченнымъ тономъ и указала на окно.

Погода была точно скверная; тяжелою сѣрою пеленою окутывалось небо; шелъ мелкій, но частый дождь, одинъ изъ тѣхъ дождей, который насквозь пропитываетъ землю, которому такъ радуется простолюдинъ, но который приводитъ всегда въ отчаяніе дачниковъ и помѣщицъ, пріѣзжающихъ въ деревню съ исключительною цѣлью наслаждаться природой; такимъ дождямъ обыкновенно конца нѣтъ. Вѣтеръ уныло гудѣлъ въ старыхъ деревьяхъ сада; гибкія вѣтви акацій, растущихъ за окномъ, били по рамамъ и мокрые листья прилипали къ мокрымъ стекламъ.

— Oh! c'est une horreur! произнесла француженка съ такимъ видомъ, какъ-будто за окномъ нежданно появилось привидѣніе.

— Именно: une horreur! подхватила Александра Константиновна. — Бѣдная моя Меринька, тебѣ даже побѣгать нельзя; вотъ уже четвертыя сутки, какъ льетъ этотъ гадкій дождикъ.

— Les beaux jours viendront, madame Bélisky, elle ratrappera le temps perdu!...

— Да, намъ съ вами хорошо говорить, но каково ей, бѣдному ребенку! Я нарочно привезла ее сюда, чтобъ она пользова-

лась моціономъ и свѣжимъ воздухомъ. Въ ея возрастѣ это главныя условія... Кстати, скажите мнѣ, что вы сегодня дѣлаете?

— Мы читаемъ Sandfort et Merton, maman, весело сказала дѣвочка.

— C'est de Berquin, madame, l'ami des enfants! подсказала гувернантка.

— Успѣете, еще, посидите немножко со мною. Эта погода... все это мнѣ ужасно скучно! произнесла Александра Константиновна, опускаясь на спинку креселъ и гладя по головѣ Мери:— если бъ я знала, что изъ десяти дней, проводимыхъ здѣсь, прійдется пять дней сидѣть безвыходно въ комнатѣ, я взяла бы по крайней мѣрѣ съ собою побольше книгъ... je n'ai que ça! примолвила она, указывая на два жиденькіе романа, изъ которыхъ одинъ былъ Гондрекура, другой Ксавье де-Монтепена: — но кто зналъ, что прійдется жить какъ въ тюрьмѣ? Теперь, разумѣется, этого не случится: будущее же лѣто я привезу съ собою цѣлую маленькую библіотеку.

— Comment, madame Bélissky, vous pensez encore revenir ici l'été prochain?

— Hélas, il le faut bien! возразила Бѣлицына, взглядывая въ окно и слегка пожимая плечами.

Черные глаза бордоской уроженки изобразили удивленіе. Она постичь не могла такого принужденія. Къ чему: il le faut?... зачѣмъ: il le faut?... Décidément, les seigneurs d'ici, ne savent, ne veulent pas jouir de leur position! Она ставила себя на мѣсто Бѣлицыной. Стала бы она, какъ же! ѣздить въ деревню, когда тамъ скука невыносимая! Получай она доходы Бѣлицыныхъ, будь у нея вѣрный прикащикъ, каковъ Karassin, она порхала бы, какъ свободная птичка изъ Петербурга въ Парижъ, изъ Парижа на Рейнъ и т. д. Нѣтъ, она рѣшительно не постигала Александру Константиновну: — быть богатой, car vous l'êtes enfin! страшно скучать въ деревнѣ и ѣхать опять въ эту деревню — зачѣмъ? кчему?...

— Que voulez-vous! сказала Бѣлицына, улыбнувшись горячей вспышкѣ собесѣдницы: — впрочемъ, вамъ легко такъ думать, прибавила она, возвращая милому, доброму лицу своему серьезное и даже нѣсколько озабоченное выраженіе.— Вы говорите, мы не умѣемъ пользоваться нашимъ положеніемъ; говорите, что если бъ были на моемъ мѣстѣ, то ни за что не стали бы жить въ деревнѣ, когда

вамъ тамъ скучно; но знаете ли, это самое положеніе, la position du seigneur, налагаетъ своего рода обязанности... да, великія обязанности, можно даже сказать, священныя обязанности! Земли, доходы—все это само по себѣ; управитель такой, какъ Karassin, которому я и мужъ вполнѣ довѣряемъ, также само по себѣ... Но у насъ есть также крестьяне, которые для насъ трудятся, работаютъ; мы должны, слѣдовательно, лично наблюдать за ихъ благосостояніемъ; l'oeil du seigneur... vous savez!... Хотя я знаю, имъ и безъ насъ нѣтъ никакихъ отягощеній, но при насъ все-таки имъ какъ-будто веселѣе; они насъ такъ любятъ! наше присутствіе ихъ ободряетъ... et puis, comme de raison, cela flatte leur amour propre—за что же лишать ихъ этого удовольствія? Ils le méritent bien!... Нѣтъ, нѣтъ, мы не можемъ располагать собою, какъ бы хотѣли... il faut se soumettre à certaines conditions—это необходимо! Повѣрьте, chère m-elle Louise, и въ нашемъ положеніи tout n'est pas couleur de rose, повѣрьте!...

На этомъ мѣстѣ Александра Константиновна была прервана стукомъ въ дверь.

— Это ты, Serge?

— Я. Можно войти?

— Войди, войди! весело сказала жена:—но что съ тобою? подхватила она, пристально всматриваясь въ полное лицо Сергѣя Васильевича, которое хотя и не теряло своего обычнаго добродушія, но казалось, однакожъ, сильно недовольнымъ и нахмуреннымъ.

Сергѣй Васильевичъ молча поцѣловалъ жену въ лобъ, поцѣловалъ Мери, поклонился гувернанткѣ и, закинувъ руки за спину, принялся ходить по комнатѣ.

— Что съ тобою, мой другъ? повторила Вѣлицына.

— Ахъ! это ужасно! это невыносимо! это... это просто—я уже самъ не знаю, что дѣлать, у меня рѣшительно руки отнимаются! произнесъ Сергѣй Васильевичъ, какъ-бы разговаривая самъ съ собою и еще значительнѣе ускоряя шаги.

— Но что же такое? спросила жена, тревожно слѣдя за движеніями мужа.

— Не безпокойся; мой другъ, ничего не произошло особеннаго... я такъ, меня возмущаетъ... Представь себѣ, подхватилъ Сергѣй Васильевичъ:—представь: опять этотъ мужикъ! опять онъ!.. это ужъ наконецъ дѣйствительно хоть кого возмутитъ!... Опять

онъ, опять этотъ мужикъ! заключилъ Сергѣй Васильевичъ, бросаясь на диванъ и досадливо подпирая голову ладонью.

— Но что же такое случилось? снова спросила Александра Константиновна.

— Oh, je suis horriblement ennuyé, ennuyé et découragé, въ одно и то же время! воскликнулъ помѣщикъ, мотая головой:— это въ самомъ дѣлѣ ужасно: опять онъ! опять тотъ же мужикъ!...

— О комъ ты говоришь? Я, право, не понимаю, какой мужикъ?

— Да все тотъ же! тотъ! Неужели ты не помнишь? Это, кажется, не такъ, однакожъ, давно случилось... Однимъ словомъ, помнишь, недѣли полторы назадъ, когда мы ходили гулять въ любимую мою рощу...

— Ну, да, да!

— Помнишь, мы поймали мужика, нашего мàрьинскаго мужика, который рубилъ огромную березу...

— Ахъ, да, да! онъ еще такъ испугался...

— При тебѣ, кажется, дѣло было, съ жаромъ подхватилъ Сергѣй Васильевичъ:—помнишь, кáкъ бросался мнѣ въ ноги, кáкъ просилъ, кàкъ умолялъ, чтобъ я простилъ его, кàкъ клялся и распинался, что никогда, во вѣки вѣковъ съ нимъ этого не случится... Я простилъ его! Помнишь, какъ даже я мягко, ласково, можно сказать, съ нимъ обошелся... я даже не бранилъ его; напротивъ, я всячески старался внушить ему... Я даже сжалился надъ нимъ, когда онъ сказалъ мнѣ, что рѣшился рубить это дерево потому, что не было у него денегъ на лучины, я далъ ему цѣлковый... Кажется, довольно — а? Что жъ, ты думаешь, онъ сдѣлалъ — а? ну какъ, какъ ты думаешь?

— Право, не знаю...

— Je vous le donne en cent, je vous le donne en mille!

— Что же онъ такое сдѣлалъ?

— А вотъ что сдѣлалъ: сегодня, не далѣе, какъ часъ назадъ, онъ снова попался—и въ чемъ? гдѣ? какъ ты думаешь? онъ снова рубилъ дерево! подхватилъ съ возрастающею горячностью помѣщикъ:—рубилъ березу, и что всего ужаснѣе, рубилъ подлѣ самаго того дерева, у котораго мы поймали его!

Александра Константиновна сложила руки и подняла прекрасные глаза свои къ небу, Француженка всплеснула руками.

— Quelle ingrrrratitude! сказала она.

Даже маленькая Мери, слушавшая отца съ любопытствомъ, свойственнымъ ея возрасту, и та даже получила, казалось, самое невыгодное мнѣніе о душевныхъ свойствахъ марьинскаго крестьянина.

— Comme il est vilain cet homme! сказала она, надувая губки.

— Не правда ли! воскликнулъ Сергѣй Васильевичъ:—это въ самомъ дѣлѣ ужасно! это значитъ: нѣтъ въ человѣкѣ ни стыда, ни совѣсти! Поступокъ этотъ возмутилъ меня до-нельзя...

— Полно, Serge; ты все это принимаешь слишкомъ къ сердцу... cela t'échauffe, ласково сказала жена:—по-моему, сердиться рѣшительно не стóитъ. Я бы, на твоемъ мѣстѣ, распорядилась вотъ какъ: приказала бы старостѣ и еще другимъ старшимъ взять этого мужика, отвести его въ рощу и, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ срубилъ дерево, заставить его своими руками — да, своими руками посадить три березы—вотъ и все. Что съ ними церемониться! онъ этого не стóитъ!... Да и береза не стóитъ, чтобы ты сердился.

— Вотъ всѣ вы, женщины, таковы! всѣ вы поверхностно такъ судите! произнесъ Сергѣй Васильевичъ.—Неужто, ты думаешь, въ этомъ дѣлѣ меня сердитъ то, что срублена какая-нибудь береза? Дѣло вовсе не въ березѣ; дѣло въ моральной сторонѣ вопроса. Насажай теперь этотъ мужикъ хоть сто, тысячу березъ—фактъ, фактъ его безстыдства и недобросовѣстности все-таки будетъ существовать! И, главное, знаешь ли что? больно, что такіе факты не исключенье! подхватилъ онъ тономъ разсудительнымъ, хотя огорченнымъ:—да, не исключенье! На каждомъ шагу почти встрѣчаешь поводъ къ разочарованью! Я совсѣмъ почти разочаровался! Не странно ли, въ самомъ дѣлѣ, что чѣмъ больше выказываешь снисхожденія, тѣмъ ласковѣе, внимательнѣе обходишься, тѣмъ хуже: все это обращается тебѣ же во зло... Горько сознаться, а это такъ! Особенно больно встрѣчать эту неблагодарность... потомъ это ханжество. Посмотри, напримѣръ: мужикъ работаетъ на барщинѣ, работаетъ онъ вяло, неохотно, точно по принужденью какому-то... ты показался, онъ сейчасъ принимаетъ другой видъ, хлопочетъ, суетится—словомъ, желаетъ показать, что радъ для тебя работать—и все такъ! вездѣ это притворство, это явное равнодушіе къ пользѣ барина, который, между-тѣмъ, только и думаетъ, чтобъ сказать имъ что-нибудь ласковое. Я не требую отъ нихъ невозможнаго, не

требую, напримѣръ, деликатности: деликатность есть уже слѣдствіе утонченнаго образованія, и смѣшно даже было бы ее требовать! Но не въ правѣ ли я ждать благодарности? Это чувство такъ натурально: оно уже, такъ сказать, въ самой природѣ человѣка; но даже этого чувства, именно, благодарности, я нигдѣ не встрѣчаю! А, кажется, послѣ того, что я для нихъ дѣлаю... Но впрочемъ, что говорить! Дѣло въ томъ, что это ужасно! Я совершенно разочаровался! Я, право, начинаю даже падать духомъ, заключилъ Сергѣй Васильевичъ, приподымаясь съ дивана и снова принимаясь расхаживать по комнатѣ.

Александра Константиновна не возражала; къ великому сожалѣнію, она не находила ни одного факта, который, по силѣ своей, могъ бы смягчить мрачное воззрѣніе Сергѣя Васильевича и примирить его нѣсколько съ сельской жизнью; ей хотѣлось, однакожъ, его разсѣять; но какъ и чѣмъ разсѣять? Она сама хандрила, сама скучала; благодаря несносной дождливой погодѣ, сельская жизнь, о которой она такъ горячо мечтала въ Петербургѣ, начинала ей самой казаться невыносимою; она только скрывала это отъ мужа и всячески даже старалась ободрять его. Воспользовавшись минутой, когда Сергѣй Васильевичъ, продолжавшій ходить по комнатѣ, сталъ къ ней спиною, она мигнула Мери и указала ей на отца; дѣвочка тотчасъ же соскочила со стула, подбѣжала къ отцу и начала къ нему ласкаться. Сергѣй Васильевичъ остановился, но только на минуту; онъ разсѣянно провелъ рукою по головѣ ребенка, потрепалъ его за подбородокъ, раза два вздохнулъ, подошелъ къ окну и задумчиво сталъ глядѣть на дворъ.

— Serge, ты, кажется, посылалъ вчера на почту? торопливо спросила Александра Константиновна. Цѣль этого вопроса заключалась въ томъ, чтобъ какъ можно скорѣе оторвать мужа отъ мрачной картины двора, обмываемаго дождемъ.

— Да, я посылалъ на почту, сказалъ Сергѣй Васильевичъ, продолжая смотрѣть въ окно: — человѣку давно бы даже слѣдовало вернуться изъ города, но, вѣроятно, его задержала погода, можетъ быть даже, благодаря милому нашему климату, самая почта запоздала: эти проселки, это ужасно!...

— Oh, j'en sais quelque chose! неожиданно воскликнула гувернантка. Она замѣтила, что во Франціи проселки вовсе не существуютъ; по словамъ ея, тамъ, гдѣ не было шоссе, или желѣз-

ной дороги, всѣ дороги обсажены тополями, величественными кленами или виноградниками; ѣдешь какъ словно въ раю!

— Э!... произнесъ Сергѣй Васильевичъ.

Восклицаніе было очевидно вызвано печальнымъ видомъ двора и мыслью объ окрестныхъ проселкахъ, которые еще рѣзче выставили прелесть французскихъ дорогъ, по которымъ онъ когда-то ѣздилъ. Онъ махнулъ рукою, нетерпѣливо повернулся спиною къ окну и встрѣтился съ горничной Дашей, иначе Lady Furie, которая держала въ рукахъ нѣсколько конвертовъ.

— Ба! письма! вымолвилъ внезапно-оживившійся Сергѣй Васильевичъ.

— Письма! письма! des lettres! воскликнули въ одинъ голосъ остальные и радостно окружили Бѣлицына.

— Y-a-t'il quelque chose pour moi? спросила гувернантка.

— Non... Но вотъ тебѣ два письма, а вотъ мнѣ также два.

— Allons, Méry, ne dérangeons pas papa et maman...

Француженка подала руку Мери и обѣ отправились читать Sandford et Merton. Сергѣй Васильевичъ и Александра Константиновна расположились на разныхъ диванахъ, поспѣшно сломили печати и приступили къ чтенію.

— Представь себѣ, Serge, Нина Лушковская живетъ на той самой дачѣ, которую мы занимали прошлое лѣто! сказала Бѣлицына, взглядывая на мужа.

— Неужто?... Помнится мнѣ, Лушковскіе собирались жить на Каменномъ острову. Впрочемъ, они отлично сдѣлали, что перемѣнили намѣреніе. Я былъ всегда того мнѣнія, что для лѣта трудно найти что-нибудь лучше Петергофа...

— Еще бы! Я рѣшительно завидую Нинѣ: что за прелесть! Одно это море чего стоитъ! Надо согласиться, однакожъ, что если можно гдѣ-нибудь жить пріятно — все равно, какое бы ни было время года — такъ это въ Петергофѣ!... Помнишь нашу петергофскую дачу? утромъ жили мы какъ въ деревнѣ: купались, гуляли; вечеромъ ѣздили въ Верхній садъ на музыку... всегда кого-нибудь встрѣтишь. Я никогда не забуду прошлаго лѣта! довершила Александра Константиновна, задумчиво поглядывая на окно, за которымъ шумѣлъ дождь и свистѣлъ вѣтеръ.

— Да, лѣто было прекрасное, замѣтилъ Сергѣй Васильевичъ: — можно даже сказать, замѣчательное было лѣто! Помнится,

всего разъ только шелъ дождь, заключилъ онъ, углубляясь въ чтеніе письма.

— Кто это тебѣ пишетъ? спросила, послѣ минуты молчанія, Александра Константиновна.

— Сергѣй Сергѣичъ.

— Какой?

— Завàдскій.

— Ахъ, да! ну что̀ онъ дѣлаетъ? гдѣ онъ?

— Что̀ ему дѣлается! Живетъ-себѣ припѣваючи, веселится. Переѣхалъ въ Павловскъ...

— Что, кàкъ Павловскъ нынѣшнее лѣто?

— Оживленнѣе, чѣмъ когда-нибудь! пишетъ Завàдскій. Княгиня Карнòвичъ давала, говоритъ, удивительный балъ, toute la société y a été... въ восторгѣ отъ Китти Курбской! Пишетъ, что завтра ѣдетъ на балъ къ Шестòвымъ. Никогда, говоритъ, такъ весело не проводилъ лѣта... Впрочемъ, что̀ же ему и дѣлать, если не веселиться? Вообще говоря, это одинъ изъ самыхъ положительно-счастливыхъ людей: молодъ, богатъ, а главное то, что онъ не помѣщикъ. Это, по-моему, одно изъ самыхъ первыхъ условій, чтобъ быть счастливымъ — право, такъ! подхватилъ Сергѣй Васильевичъ какимъ-то апатическимъ тономъ, который даже безъ всего предыдущаго ясно могъ показать, что ему сильно прискучило Мàрьинское: — да, всѣ эти заботы помѣщика, зависимость его отъ какихъ-нибудь дождей и неурожаевъ, всѣ эти хозяйственныя, скучныя дрязги, наконецъ самый моральный вопросъ: отвѣтственность касательно благосостоянія крестьянъ... заботы, попеченія... заботы никогда почти не вознаграждаемыя, потому-что вездѣ почти встрѣчаешь одну неблагодарность, грубость... да, все это не существуетъ для Завàдскаго!... Вотъ еще новость: Пѣтуховъ сдѣланъ камеръ-юнкеромъ! заключилъ Сергѣй Васильевичъ глухимъ голосомъ и снова углубился въ чтеніе письма.

Александра Константиновна не сдѣлала ни малѣйшаго замѣчанія касательно послѣдней новости; она была очень ею недовольна: письмо Завàдскаго уже само-по-себѣ должно было усилить хандру Сергѣя Васильевича: онъ такъ привыкъ къ Петербургу, такъ любилъ его! (Александра Константиновна судила по собственнымъ своимъ чувствамъ); очень-нужно еще было писать объ успѣхахъ Пѣтухова! Впрочемъ, добродушное, бѣлокурое лицо Сергѣя Васильевича, склоненное надъ письмомъ, достаточно выражало со-

стояніе его мыслей; оно ясно говорило о положеніи человѣка, вынужденнаго закабалить себя въ глуши и терять драгоцѣнной время. Опечаленная своими наблюденіями, Александра Константиновна рѣшилась ни слова не говорить мужу о второмъ письмѣ. Оно также было отъ молоденькой свѣтской дамы, пріятельницы Бѣлицыныхъ; свѣтская дама называла Бѣлицыныхъ пустынниками, отшельниками, описывала въ самыхъ соблазнительныхъ краскахъ дачную петербургскую жизнь, говорила, что общій голосъ ихъ кружка тотъ, что для полнаго удовольствія недостаетъ только Бѣлицыныхъ; очень-мило смѣялась надъ морковью, горохомъ и капустой, которыя, по словамъ ея, должны были сѣять съ утра до вечера Бѣлицыны; убѣдительно упрашивала ихъ бросить всю эту дрянь и ѣхать въ Петербургъ, чтобъ полюбоваться блескомъ мѣсяца въ Финскомъ заливѣ. Жизнь свѣтской дамы не проходила, однакожъ, въ однихъ удовольствіяхъ (такъ значилось въ концѣ ея письма); она занималась также дѣломъ: разъ въ недѣлю покидаетъ она берега Невы, отправляется въ душную столицу и лично наблюдаетъ за передѣлкою парадныхъ комнатъ въ своемъ домѣ; особенно-много хлопотъ стоитъ ей ея гостиная, во вкусѣ Лудовика XV; архитекторъ отличился — это правда; но, благодаря именно строгому выполненію стиля гостиной, слѣдуетъ украсить ее саксонскими куклами, которыя такъ рѣдки теперь. Свѣтская дама совершенно измучилась, разъѣзжая по магазинамъ. „Представьте себѣ, chère Alexandrine (этимъ заключалось письмо ея), хлопочу съ утра до вечера, когда бываю въ городѣ, и результатомъ этихъ хлопотъ бываетъ иногда всего одна какая-нибудь куколка, а ихъ надо не менѣе сорока! jugez de mon désappointement...“

Послѣднія строчки окончательно убѣдили Александру Константиновну не сообщать мужу о письмѣ пріятельницы; это значило бы положить палецъ на больную рану Сергѣя Васильевича, который вотъ уже третій годъ обѣщаетъ женѣ отдѣлать гостиную именно во вкусѣ Лудовика XV, и каждый разъ откладываетъ это намѣреніе. Къ счастію, Сергѣй Васильевичъ не полюбопытствовалъ даже спросить объ этомъ второмъ письмѣ; у него также было свое второе письмо и, какъ казалось, ему также не хотѣлось, чтобъ жена знала о его содержаніи; желаніе это такъ было сильно, что онъ не далъ ей опомниться и торопливо вышелъ изъ комнаты. Все это было совершенно въ порядкѣ вещей: ему писалъ пріятель, общій знакомый его и жены; пріятель извѣщалъ Сергѣя Василье-

вича, что только-что получилъ паспортъ и ѣдетъ вмѣстѣ съ женою, дѣтьми и гувернанткой за границу. Принимая въ соображеніе собственныя чувства и стремленія, Сергѣй Васильевичъ не сомнѣвался, что жена сильно скучаетъ въ Мàрьинскомъ; скука ея нѣкоторымъ образомъ лежала на его совѣсти; имъ, по-настоящему, точно такъ же слѣдовало бы ѣхать нынѣшнее лѣто за границу; дѣло совсѣмъ даже было рѣшено, но—увы! карточныя увлеченія помѣшало поѣздкѣ, точно также, какъ помѣшали они исполнить это намѣреніе прошлое лѣто и даже лѣто третьяго года; послѣдняя зима заставила даже Сергѣя Васильевича посѣтить Мàрьинское и прожить тамъ лѣто... Проникнутый всѣми этими соображеніями, онъ рѣшился солгать о содержаніи письма, въ случаѣ, если спроситъ о немъ Александра Константиновна. Весьма натурально, письма эти и мысли, ими возбужденныя, способствовали только къ тому, чтобъ усилить хандру марьинскаго помѣщика.

— Monsieur a quelque chose... замѣтила въ тотъ же вечеръ француженка.

— Il est très préocupé, возразила Александра Константиновна, но подумала въ то же время: „Боже мой! что бы такое сдѣлать, чтобъ его разсѣять? Бѣдный мой Serge скучаетъ, умираетъ отъ скуки!“ Съ той же минуты она являлась передъ нимъ не иначе, какъ съ веселымъ, улыбающимся лицомъ и всячески старалась развлекать его. Побѣда Александры Константиновны надъ собою не ускользнула отъ Сергѣя Васильевича; скука поневолѣ дѣлала его наблюдательнымъ; онъ оцѣнилъ поступокъ жены, но эта самая оцѣнка, вмѣсто того, чтобъ его порадовать, отозвалась въ душѣ его мучительнымъ раскаяньемъ и внутренно, еще сильнѣе, расположила къ хандрѣ: ему не переставали приходить въ голову кой-какіе промахи и карточныя увлеченія, которыя заставили его закабалить жену въ скучную деревню, вмѣсто того, чтобъ везти ее за границу. Мàрьинское становилось день отъ дня невыносимѣе Сергѣю Васильевичу; вмѣстѣ съ этимъ помѣщичья жизнь являлась передъ нимъ въ самомъ невыгодномъ свѣтѣ; онъ почти не выходилъ изъ кабинета своего прадѣда, хотя погода давно разгулялась и стояли ясные, прекрасные дни; катанье въ лодкѣ, уженье, прогулки въ рощѣ, чай въ лѣсу—словомъ, всѣ увеселенія, какія только придумывала Александра Константиновна, нимало не плѣняли Сергѣя Васильевича; онъ всегда отказывался, говоря, что обремененъ занятіями. Чтобъ оправдать слова свои, онъ, дѣйствительно, разъ

двадцать въ день посылалъ за старикомъ Герасимомъ. Но, Боже, какая была разница между теперешними бесѣдами Сергѣя Васильевича съ управителемъ и прежними! Въ прежнихъ бесѣдахъ вездѣ выставлялся кипучій хозяинъ, который такъ вотъ и порывался къ дѣятельности и не зналъ ей предѣла; теперешнія бесѣды имѣли характеръ апатическій и вмѣстѣ съ тѣмъ раздражительный. Ничто не дѣлалось такъ, какъ бы хотѣлось Сергѣю Васильевичу; духъ недовѣрія и противорѣчія проглядывалъ въ каждомъ его словѣ. Объявлялъ ли Герасимъ о томъ, что сегодня скошено десять десятинъ луга, Сергѣй Васильевичъ находилъ, что это очень мало, что мужики, вмѣсто того, чтобъ косить, играли вѣрно въ свайку или въ бабки.

— Помилуйте, сударь, возможно ли это дѣло? говорилъ Герасимъ, быстро вращая за спиною большими пальцами руки, что, какъ извѣстно, дѣлалъ онъ, когда находился въ недоумѣніи.

— Очень возможно! возражалъ Сергѣй Васильевичъ: — мужики всегда такъ, когда на барской работѣ; это, разумѣется, не своя работа—барская, довершалъ онъ иронически, и все въ томъ же родѣ, такъ что Герасимъ Аѳанасьевичъ, возвращаясь къ своимъ дроздамъ и чижикамъ, разводилъ только руками и заботливо потряхивалъ сѣдою гладко-обстриженною головою.

„Нѣтъ, папенька не таковъ былъ!“ разсуждалъ всегда самъ съ собою старикъ: „не таковъ былъ папенька!... Также вельможа былъ, а между-тѣмъ, насчетъ, то есть и въ хозяйствѣ толкъ зналъ!... былъ, примѣрно, настоящимъ хозяиномъ... Впрочемъ, этотъ еще молодъ! По молодости, выходитъ; къ тому же и не привыкъ... а главное, выходитъ, больше по молодости!“ заключалъ старикъ, носившій когда-то Сергѣя Васильевича на рукахъ и потому считавшій его очень молодымъ даже въ тридцать-семь лѣтъ.

Порѣшивъ такимъ образомъ съ дѣлами, Сергѣй Васильевичъ являлся въ гостиную, или на террасу, куда обыкновенно собирались вечеромъ.

— Ты, кажется, усталъ Serge, говорила Александра Константиновна, съ нѣжнымъ участіемъ глядя на мужа, который тяжело опускался въ кресло, утирая лобъ платкомъ и уныло вращалъ глазами. — Tu devrais te reposer, mon ami! продолжала она: — право слѣдовало бы отдохнуть! Всѣ эти хлопоты, заботы— все это тебя утомило... ты даже похудѣлъ.

— Нельзя же, душа моя, возражалъ Сергѣй Васильевичъ,

подпирая голову ладонью и вздыхая: — никакъ нельзя. Безъ хлопотъ ничего на свѣтѣ не бываетъ, и наконецъ, мое положеніе этого требуетъ... c'est pour ainsi dire, mon devoir!...

— Милый! нѣжно подхватывала Александра Константиновна, протягивая мужу руку и пожимая ее: — но всетаки я нахожу, ты слишкомъ себя безпокоишь, слишкомъ принимаешь все это къ сердцу. Послѣ того, что ты сдѣлалъ для имѣнья, ты, кажется, въ правѣ отдохнуть; тебѣ необходимы развлеченья, c'est plus sérieux que tu ne le penses—такая жизнь дѣйствуетъ даже на расположеніе твоего духа. Знаешь, Serge, мнѣ даже приходитъ въ голову иногда, что ты себя пересиливаешь... tu n'est pas apprécié—ты самъ это чувствуешь; тебѣ, кажется, самая эта деревня какъ-будто надоѣла...

— Мнѣ? вотъ новости! напротивъ, съ принужденнымъ удивленіемъ перебивалъ Сергѣй Васильевичъ: — я и не думаю скучать; мнѣ даже скучать здѣсь нѣкогда... И наконецъ, мало ли что я тебѣ говорю: le devoir avant tout! Если есть обстоятельство, которымъ я недоволенъ, которое меня безпокоитъ, такъ это то, что я тебя завезъ въ эту глушь. Вотъ ты такъ скучаешь — это несомнѣнно, и я не понимаю только...

— Чего ты не понимаешь? перебивала жена съ замѣтнымъ волненіемъ и краснѣя.

— Не понимаю, зачѣмъ ты не говоришь мнѣ объ этомъ.

— Нѣтъ, ты рѣшительно хандришь! восклицала Александра Константиновна, дѣлая надъ собою усиліе и смѣясь. — Да знаешь ли ты, что я въ совершенномъ восхищеніи отъ деревни? Нельзя же, согласись самъ, нельзя быть всегда веселой; но въ душѣ я совершенно счастлива и наслаждаюсь. Если есть у меня забота, такъ это одно только: мнѣ именно кажется, что *ты* здѣсь скучаешь, заключила она, между-тѣмъ, какъ гувернантка суетливо отходила къ окну или спускалась въ садъ и, дѣлая видъ, что разсматриваетъ гвоздику, посмѣивалась въ платокъ.

Такого рода объясненія повторялись почти каждый день между супругами. Сергѣй Васильевичъ всячески старался убѣдить жену, что *она* скучаетъ; Александра Константиновна убѣждала мужа, что сельская жизнь *ему* въ тягость; и неизвѣстно когда бы открылась истина, можетъ-быть даже Бѣлицыны продолжали бы страшно скучать тайно другъ отъ друга до глубокой осени, если бъ одно обстоятельство не развязало этой маленькой комедіи, которую разыгрывали мужъ и жена. Какъ-то утромъ (это было въ послѣд-

нихъ числахъ іюля) пришла баба съ больнымъ ребенкомъ. Доложили Александрѣ Константиновнѣ. Бѣлицына, съ свойственною ей добротою, на которую нимало не дѣйствовала неблагодарность крестьянъ, поспѣшила выйдти въ переднюю; она заботливо освѣдомилась о болѣзни ребенка: ребенокъ вотъ уже пятый день какъ не ѣстъ, не пьетъ, жалуется на боль въ глазахъ, чешется и кричитъ благимъ матомъ. Александра Константиновна приказала раскрыть его: ребенокъ былъ красенъ какъ ракъ, только-что вынутый изъ кастрюли. Въ эту самую минуту, Сергѣй Васильевичъ, гулявшій съ сигарою по залѣ, вошелъ въ переднюю. Онъ въ это утро, казалось, особенно хандрилъ. Взглянувъ на ребенка, Сергѣй Васильевичъ испустилъ восклицаніе, схватилъ жену за руку и быстро отодвинулъ ее назадъ.

— Помилуй, что ты дѣлаешь! проговорилъ онъ торопливо:— Бога ради!... у этого ребенка, кажется, скарлатинъ! Вспомни о Мери: болѣзнь эта страшно прилипчива... Ахъ, Боже мой! Бога ради, моя милая, уходи скорѣе! примолвилъ онъ, выглядывая изъ дверей залы, гдѣ, вся въ страхѣ, стояла жена его.— Не бойся, моя милая, это ничего, ребенокъ твой выздоровѣетъ... я только боюсь, чтобъ болѣзнь его не пристала къ барышнѣ. Бога ради уходи только и успокойся; я сію же минуту пошлю за докторомъ. Quelle imprudence! заключилъ онъ, возвращаясь къ женѣ, которая рѣшительно не знала, что̀ съ собою дѣлать. Онъ успокоилъ ее, сказалъ, чтобъ Мери тотчасъ же увели наверхъ и не пускали на воздухъ, позвонилъ и велѣлъ, чтобъ немедленно верховой скакалъ за докторомъ.

— Надо убѣдиться, точно ли это скарлатинъ, говорилъ Сергѣй Васильевичъ озабоченнымъ тономъ и суетливо расхаживая по всѣмъ комнатамъ:— Quelle imprudence! Quelle imprudence!... повторялъ онъ черезъ каждыя пять минутъ.

Предоставляю вамъ судить о безпокойствѣ, которое овладѣло Бѣлицыными, когда докторъ, осмотрѣвъ больнаго ребенка, объявилъ, что у него точно скарлатинъ.

— Болѣзнь дѣйствительно очень прилипчива и несовсѣмъ безопасна, сказалъ докторъ. — Нѣтъ теперь сомнѣнія, всѣ дѣти вашей деревни переболѣютъ; впрочемъ, теперь лѣто и болѣзнь легче перенести.

— Ахъ, докторъ, что вы!... что вы!... это ужасно меня безпокоитъ, перебилъ Сергѣй Васильевичъ.

Онъ позвонилъ и сказалъ, чтобъ тотчасъ же попросили къ нимъ Луизу Карловну.

— Je viens seule, Mery à un peu male à la tête, сказала гувернантка, весело подпрыгивая передъ докторомъ.

Александра Константиновна упала на стулъ. Сергѣй Васильевичъ всплеснулъ руками. Минуту спустя, Бѣлицыны, докторъ и гувернантка были уже наверху и стояли передъ постелью Мери.

— О, это ничего, успокойтесь, сударыня, сказалъ докторъ:— рѣшительно ничего... нѣтъ даже признаковъ никакихъ, такъ, маленькій приливъ крови къ головѣ, примолвилъ онъ, обращаясь къ Бѣлицыной, которая сидѣла какъ растерянная.

Внезапно пухлое, добродушное лицо Сергѣя Васильевича просіяло, просіяло какъ словно потолокъ раскрылся, и черты его озарились лучомъ солнца.

— Докторъ, сказалъ онъ:—докторъ, можетъ ли она выдержать дальнюю дорогу? (тутъ онъ указалъ на Мери.) Ручаетесь ли вы, что она выдержитъ путешествіе...

— Безъ сомнѣнія! сказалъ докторъ.

— Alexandrine, мы ѣдемъ, ѣдемъ мгновенно! воскликнулъ Сергѣй Васильевичъ и, не дожидаясь возраженія, побѣжалъ внизъ отдавать приказанія.

Вмигъ все засуетилось въ домѣ; изъ дома суета перешла въ лабиринтъ, гдѣ жили дворовые, оттуда суета перелетѣла въ деревню. Только и слышно было кругомъ: „Господа уѣзжаютъ... ѣдутъ господа... бары въ Питеръ ѣдутъ!“

Къ вечеру, маленькая Мери весело уже прыгала подлѣ гувернантки, которая водила ее по саду прощаться съ любимыми мѣстами; это обстоятельство тотчасъ же возвратило спокойствіе Александрѣ Константиновнѣ и она дѣятельно принялась наблюдать за укладкою. Сергѣй Васильевичъ, между-тѣмъ, заперся въ кабинетѣ и бесѣдовалъ съ Герасимомъ. Сначала старикъ, ошеломленный поспѣшностью отъѣзда, заикнулся было о томъ, что не лучше ли Сергѣю Васильевичу подождать посѣва; онъ намекнулъ о необходимости привести къ окончанію кой-какія хозяйственныя постройки; но Сергѣй Васильевичъ ужасно разсердился. Онъ сказалъ, что здоровье дочери для него дороже всего на свѣтѣ и проч. Впрочемъ, сердце помѣщика такъ же быстро угомонилось, какъ и закипѣло. Онъ обнялъ старика, благодарилъ его за хлопоты, трепалъ по плечу, называлъ воркуномъ и дядей, и тутъ же сообщилъ ему нѣ-

сколько проектовъ касательно устройства Мàрьинскаго, проектовъ, которые онъ намѣренъ привести въ исполненіе будущее же лѣто; теперь и деньги ему нужны, да и времени у него нѣтъ этимъ заняться.

Убѣдившись окончательно въ здоровьи дочери, не сомнѣваясь теперь, что она безъ всякой опасности можетъ пуститься въ путь, Сергѣй Васильевичъ повеселѣлъ уже въ такой степени, что каждый, казалось, кто подходилъ къ нему, дѣлался тотчасъ же веселъ. Благодаря этой веселости, самый образъ мыслей помѣщика, самое воззрѣніе на предметы, стали яснѣе, радушнѣе и мягче. Онъ поручилъ Герасиму благодарить крестьянъ; сказалъ, что очень доволенъ своими мàрьинскими мужичками; каждый изъ мужиковъ, который подходилъ къ нему въ этотъ вечеръ, оставался въ полномъ удовольствіи: одному Сергѣй Васильевичъ приказывалъ дать ржи на посѣвъ, другаго снабжалъ овсомъ — словомъ, выказалъ себя истинно-благодѣтельнымъ помѣщикомъ.

На другое утро, когда къ парадному крыльцу поданы были дормёзъ и сопровождавшій его тарантасъ для повара и другихъ людей, на красномъ дворѣ повторилась опять прощальная сцена между дворовыми и господами. Какъ тогда, такъ и теперь, одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ этой сцены былъ опять-таки вертлявый дворовый мальчикъ съ бѣлыми, какъ ленъ, волосами и веснушками по красному, какъ огонь, лицу; какъ ни оттирали его въ толпѣ, окружавшей помѣщиковъ, сколько ни получалъ онъ толчковъ и треуховъ, онъ всетаки протискивался впередъ, и не могла Александра Константиновна протянуть руки безъ того, чтобъ этотъ мальчикъ не припалъ къ ней съ какимъ-то остервенѣлымъ азартомъ. Наконецъ Бѣлицыны усѣлись въ экипажъ. Сергѣй Васильевичъ послалъ привѣтный знакъ Герасиму, сказалъ: „прощай, старикъ!“ — и лошади тронули.

Снова передъ каждой избой Мàрьинскаго показался народъ (кромѣ, разумѣется, избы Лапши; она до сихъ поръ была не продана и стояла пустая); снова мелькнула на солнцѣ омбрелька Александры Константиновны и соломенная шляпка Мери, которой француженка не переставала говорить: „mais saluez donc! Mery, mais saluez donc!...“ и снова Сергѣй Васильевичъ и жена его не переставали посылать поклоны, одинъ на правую сторону улицы, другая на лѣвую. Когда экипажи выѣхали за околицу и стали подниматься въ гору, Сергѣй Васильевичъ и Александра Констан-

тиновна обернулись назадъ и бросили прощальный взглядъ на домъ и на марьинскій народъ, толпившійся у околицы. Веселость, сіявшая въ чертахъ ихъ наканунѣ и впродолженіе всего нынѣшняго утра, какъ-будто на минуту пропала; они казались растроганными.

— Ces braves gens! произнесла Александра Константиновна, торопливо вынимая батистовый платокъ изъ бокового кармана.

— Да, подхватилъ, прищуриваясь, Сергѣй Васильевичъ: — грѣхъ сказать, въ нашемъ положеніи... la position du seigneur... есть много утѣшительнаго.

Послѣ этого оба выразительно пожали другъ другу руку и уже веселая бесѣда о Петербургѣ, объ островахъ, дачахъ и ожидавшихъ ихъ тамъ удовольствіяхъ, не прерывалась во всю дорогу.

II.

Паромъ. — Тяжелый путь.

Полдень. Солнце жжетъ невыносимо. На небѣ, раскаленномъ и сверкающемъ, такъ-что смотрѣть больно, ни облачка. Отблескъ отвѣсныхъ солнечныхъ лучей на глинистой пашнѣ невольно заставляетъ щуриться и отворачиваться; но всюду, куда ни устремляются утомленные глаза, всюду стелется сыпучая раскаленная почва. Воздухъ недвиженъ. Хотя пора теперь самая рабочая и весь народъ, отъ мала до велика, въ полѣ, однакожъ окрестность погружена въ мертвое, тяжелое молчаніе; сколько ни прислушивайся — живаго звука почти не услышишь. Все живущее какъ словно плашмя пропало куда-то, забилось, завалилось и боится поднять голову, чтобъ не спалить волосъ и не обжечь носа. Слышно только время отъ времени, какъ въ ближайшихъ межахъ и по окраинѣ дороги лопаются назрѣвшіе стручья и пострѣливаютъ своими сухими, какъ дробь, зернами. Въ настоящее время житье однимъ лишь оводамъ да мухамъ; зной такъ силенъ, что даже лошадиные хвосты движутся вяло; оводъ безнаказанно можетъ припадать къ шкурѣ своей зеленой стеклянистой головкой и вонзать свое жало въ ребро, спину и ноздри животнаго; бѣдная кляча стоитъ недвижно: растопыривъ ноги, свѣсивъ костлявую голову къ пыльной, поблекшей

травѣ, она ко всему безчувственна и ни о-чемъ не думаетъ; равнодушіе ея не нарушается даже присутствіемъ двухъ-трехъ грачей, которые, какъ словно почуявъ скорую добычу, Богъ-вѣсть откуда вдругъ явились, плавно расхаживаютъ и такъ лоснятся на солнцѣ, что кажутся вспотѣвшими до послѣдняго перышка. Но если такъ злы мухи и оводы, то, наоборотъ, самыя свирѣпыя собаки (кромѣ бѣшеныхъ, разумѣется) смирны теперь какъ тёлки; забившись куда-нибудь подъ навѣсъ, да тамъ еще подъ телѣгу, онѣ безотрадно вращаютъ вокругъ глазами и переносятъ изъ стороны въ сторону длинный языкъ, съ котораго каплетъ слюна. Но не только тяжко дышать подъ навѣсами и въ клѣтушкахъ, не только сохнетъ языкъ и липнетъ рубашка въ самой глухой чащѣ лѣса, жаръ донимаетъ даже подлѣ воды, у береговъ рѣкъ и даже на самой рѣкѣ. Примѣромъ этого можетъ служить паромщикъ Власъ: онъ снялъ съ себя кафтанъ, снялъ сапоги, снялъ рубашку и сѣлъ, думая, авось легче будетъ, сѣлъ, свѣсивъ ноги за-бортъ; пробовалъ онъ также соснуть, авось часа черезъ два жаръ сбудетъ—нѣтъ, не спится, добрѣ ужò оченно пàритъ! Отъ нечего дѣлать, вынулъ онъ изъ боковаго кармана шароваръ трубочку, длиною въ палецъ и величиною въ наперстокъ, насыпалъ туда свѣжей махорки, похожей на пылъ, и запалилъ; но первый глотокъ дыма обжегъ его какъ огонь; онъ плюнулъ, выколотилъ пепелъ въ воду и обратился къ товарищу, который лежалъ въ полушубкѣ на днѣ парòма, не то спалъ, не то нѣтъ, и представлялся какимъ-то совершенно разваренныимъ человѣкомъ.

— Сѣвка, сыми, говорятъ, полушубокъ-то... лѣшій! сказалъ Власъ.

Сѣвка сдвинулъ только брови и оттопырилъ нижнюю губу, чтобъ отогнать муху, которая сѣла ему на носъ.

— Чортъ! сыми полушубокъ-то... вишь, такъ легче! повторилъ Власъ, шлепая себя ладонями по обнаженнымъ ребрамъ.

— А чево его сымать-то? выиолвилъ наконецъ Сѣвка: — все одново потѣть-то.

Не только воздухъ, но самая вода, казалось, сильно нагрѣта. Неподалеку отъ того мѣста, гдѣ стоитъ парòмъ, изъ-за кустовъ выбѣжала какая-то баба, боязливо оглянулась направо и налѣво и вошла въ рѣку; пригнушись раза два грудью къ водѣ, она снова глянула направо и налѣво, вернулась въ кусты и, одѣвшись, пошла къ ближайшему полю ржи, которую насквозь, до самаго корня, прони-

зывало солнечными лучами. Тамъ жужжали одни кузнечики, скакавшіе съ травки на травку и падавшіе обыкновенно каждый разъ на спинку. Что жъ касается до людей, они всѣ лежали пластомъ, подкатившись къ самому краю сжатаго хлѣба, не трогали ни однимъ членомъ и приводили на память листья хрустальнаго деревца, покрытые сверху до низу сверкающими каплями.

Къ ручьямъ отдаленныхъ лощинъ пригнали стада; но и тамъ донимаютъ ихъ солнце и ядовитыя желтыя мухи; въ затишьи, подъ кустами лозняка, тамъ, гдѣ впадаютъ ручьи въ рѣчку и гдѣ рои носятся синія и изумрудныя „коромысла“ съ кисейными крыльями, тѣсно жмется рыба; по сосѣдству, залѣзли въ воду по самое брюхо лошади и стоятъ какъ окаменѣлыя; злачная, сочная трава заливныхъ луговъ, которую скосили часа два назадъ, хруститъ уже подъ ногами, подымается вòрохомъ, пу́чится и торчмя становится; воздухъ, напитанный земляными и растительными испареніями, которыя усиленно тянетъ солнце, такъ тяжелъ, что пыль, задѣтая подошвой, сыплется какъ песокъ; она лежитъ увѣсистой периной и подняться не можетъ; а если и подымутъ ее телѣжныя колёса, она стоитъ недвижнымъ золотымъ облакомъ, въ которомъ захватываетъ дыханье, помрачаются мысли и ослабѣваютъ члены, и безъ того уже обезсиленные тяжкой духотою и зноемъ. Словомъ, такая жара — дѣваться некуда; залѣзъ бы, кажется, на дно колодца, обложилъ бы себя льдомъ и сидѣлъ бы тамъ до солнечнаго заката!

Ясно, что въ этотъ знойный полдень, одна горькая неволя или крайняя нужда могли заставить человѣка идти или ѣхать. Не знаю, та или другая причина понуждала знакомыхъ намъ нищихъ, но только именно въ эту пору можно было ихъ встрѣтить на дорогѣ къ большой рѣкѣ и пàрому, о которомъ мы вскользь упомянули. Они, впрочемъ, медленно подвигались; всѣ молчали; изрѣдка развѣ тотъ или другой перекидывался словомъ. Даже самъ весельчакъ, слѣпой Фуфàевъ, пріунылъ казалось; но не усталость, и еще менѣе, жаръ дѣйствовали на неутомимую веселость Фуфàева. Жаръ внутренній, который почти всегда поддерживалъ въ себѣ слѣпой съ помощью крѣпкихъ напитковъ (добываніе ихъ было, можно сказать, единственною цѣлью его существованія), жаръ этотъ былъ всегда такъ силенъ, что Фуфàевъ оставался уже нечувствителенъ къ наружному. Меланхолія Фуфàева (если только можно назвать этимъ словомъ настроеніе духа, возбуждавшее въ слѣпомъ неодолимое желаніе расплюснуть кулакомъ носъ Верстàна), меланхолія его истекала изъ дру-

гихъ причинъ. Ему нешутя становилось жаль вожака своего Мишку, который изнемогалъ положительно. Бѣдный мальчикъ едва-едва передвигалъ ногами, а между-тѣмъ, слѣпой съ утра еще освободилъ его отъ сумы и полушубка; Фуфаевъ несъ все это на плечахъ своихъ; нѣсколько разъ принужденъ онъ былъ брать въ охапку самого ребенка и нести его заодно съ мѣшками. Фуфаевъ съ самаго утра нещадно ругалъ Верстана, неоднократно убѣждалъ его обождать хоть одинъ день и принять въ разсужденіе ослабѣвшаго, хвораго мальчика — все было напрасно.

— Оставайся пожалуй, говорилъ Верстанъ: — а мы пойдемъ: намъ недосугъ...

Фуфаевъ никакъ не могъ оставаться одинъ; что сталъ бы онъ дѣлать безъ Верстана, да еще съ больнымъ вожакомъ? Не будь отъ слѣпъ, ну, тогда другое дѣло. Въ теперешнемъ положеніи его, это было невозможно, тѣмъ болѣе невозможно, что и дядя Мизгирь былъ на сторонѣ Верстана.

— Ну, Мишка, говорилъ Фуфаевъ каждый разъ, какъ съ мальчикомъ дѣлалось что-то въ родѣ дурноты и онъ вынужденъ былъ брать его на руки или взваливать на спину, причемъ пухлое лицо слѣпаго дѣлалось багровымъ и потъ лилъ рѵчьями: — ну, Мишутка, хошь тяжесть въ тебѣ не пуще велика, корка одна, въ чемъ только душа держитъ! и все одно, связалъ ты меня... шибко связалъ! будешь ли помнить мою родительскую заботу — а? будешь ли, пострѣлъ, поминать меня, какъ помру?

— Смотри, не тебѣ ли придется поминать его: это дѣло вѣрнѣе будетъ! примолвилъ Верстанъ, черты котораго, набитыя пылью, казались еще жестче и суровѣе. — Ну ты, полно тебѣ оборачиваться-то, аль самъ унасть собираешься? я, вѣдь, не понесу, какъ-разъ на дорогѣ брошу! заключалъ послѣ каждой рѣчи нищій, понукая Петю, который плелся впереди и время-отъ-времени останавливался, чтобъ обратить къ бѣдному, изнемогающему товарищу покрытое потомъ лицо (впрочемъ, трудно было разобрать, потъ или слезы — такъ обильно текли по щекамъ Пети).

Во всей этой компаніи всѣхъ покорнѣе и спокойнѣе былъ дядя Мизгирь. Жаръ на него какъ-будто не дѣйствовалъ; впрочемъ, и дѣйствовать было не на что: однѣ сухія кости, прикрытыя сухою кожей! Ходьба во всякое время года, во всякую пору — была ему въ привычку. И думать ему обо всемъ этомъ было даже нѣкогда; мысли его неотлучно прикованы были къ онучѣ лѣвой ноги, скры-

вавшей драгоцѣнныя ассигнаціи и деньги, которыя такъ плѣняли Верстàна и о которыхъ Верстàнъ думалъ даже въ настоящую минуту; но дядя Мизги́рь не подозрѣвалъ этого; онъ чувствовалъ только — и пріятно было ему это чувство — что серебряные рубли его сильно понагрѣло солнцемъ, даже сквозь онучи, и заключалъ изъ этого, что солнце, должно быть, припекло добрѐ дюжò.

— Дѣдушка! воскликнулъ неожиданно Петя, глядѣвшій нѣсколько минутъ въ бокъ по направленію къ Фуфàеву: — дѣдушка, Миша опять валится!...

— О, собаки васъ ѣшь! проворчалъ Верстàнъ, досадливо стуча дубиной въ землю.

— Эй, слышь, стой! погоди! крикнулъ въ то же время Фуфàевъ, подхватывая Мишу, который безъ чувствъ упалъ ему на руки: — эка напасть!... эй, слышь, Мишка... слышь, вставай!... вѣдь я те взаправду брошу...

— Дѣдушка, касатикъ! дѣдушка, не бросай! мы вмѣстѣ его понесемъ... онъ скоро очнется... опять пойдетъ! закричалъ Петя, забывая въ эту минуту весь страхъ, внушаемый Верстàномъ, и бросаясь къ Фуфàеву.

— Назадъ! сурово произнесъ Верстàнъ.

Петя остановился, какъ вкопаный; глаза его, полные слезъ, съ мольбою устремились къ Верстàну, но онъ ничего не посмѣлъ сказать ему; онъ не посмѣлъ даже громко заплакать и стоялъ, плотно сжавъ губы, которыя судорожно изгибались. Такъ-какъ угроза оставить мальчика на дорогѣ, угроза, вырвавшаяся у слѣпаго въ первую минуту досады, нисколько не подѣйствовала на то, чтобъ привести въ чувство Мишу, Фуфàевъ ощупалъ палкой окраину дороги и посадилъ на нее мальчика. Голова мальчика опрокинулась назадъ; онъ опустился на траву; мертвенная блѣдность покрывала лицо его, на которомъ не было признака жизни; однѣ тонкія ноздри слегка вздрагивали; зубы ребенка были плотно стиснуты; кой-гдѣ на губахъ виднѣлись слѣды запекшейся крови.

— Ну что, долго ли намъ такъ стоять-то? произнесъ Верстàнъ, выглядывая изъ-подъ шершавыхъ, мрачно нависшихъ бровей.

— Эхъ!... эхъ-ма!... слышь... какъ быть-то? вымолвилъ Фуфàевъ, который, быть можетъ, первый разъ въ жизни не чувствовалъ потребности выкинуть какую-нибудь скоморошную штуку.

— Говорилъ, не бери! говорилъ: не по насъ малый-то! не осилитъ — ничего, молъ, нестоющій! сказалъ Верстàнъ.

— Да кто жъ его зналъ! Эхъ, слышь, какъ быть-то? слышь, подхватилъ Фуфаевъ: — не бросить же его взаправду на дорогѣ... вѣдь христіанская душа-то!... Сколько, сказывалъ ты, до ярманки, куда идти-то надо?

— Тридцать верстъ, безъ малаго отъ перевоза...

— Мы, слышь, дядя, вотъ какъ сдѣлаемъ, быстро заговорилъ Фуфаевъ: — рѣку переѣдемъ, въ первой деревнѣ отдадимъ его. Можетъ, и такъ возьмутъ, а коли не возьмутъ, пожалуй десять копеекъ отдамъ — послѣднія! отдамъ его, примѣрно, на сохраненіе. А мы, слышь, тѣмъ временемъ по окружности похóдимъ. Тридцать верстъ, не конецъ свѣта, поспѣемъ! и ярманка, вѣдь, не завтра... тѣмъ временемъ ему авось полѣгчитъ... мы, какъ идти намъ на ярманку, опять его возьмемъ — ладно что ли?

— Нѣтъ, не ладно; ладно по-твоему, а по-моему нѣтъ, возразилъ старый нищій: — ты жди пожалуй, а намъ недосугъ...

— Намъ недосугъ, повторилъ съ крайне озабоченнымъ видомъ дядя Мизги́рь, которому точно также хотѣлось скорѣе попасть на ярмарку, чтобъ успѣть занять выгодное мѣсто на церковной паперти, куда обыкновенно стремятся нищіе и гдѣ жатва всего обильнѣе.

— Эхъ, лѣшій васъ ломай!... А ты, старый хрычъ, пропадешь какъ собака!... какъ собаку задавятъ за твои же деньги!... крикнулъ Фуфаевъ, двигая своими бѣлыми зрачками, между-тѣмъ какъ Петя, стоявшій на прежнемъ своемъ мѣстѣ, не отрывалъ глазъ отъ маленькаго товарища и рыдалъ теперь во весь голосъ.

— Чего ты?... вишь жалостливъ больно! чего нюни-то распустилъ? ступай! сказалъ Верстáнъ, толкая его впередъ.

Видя, что дѣлать было нѣчего, Верстáна не усовѣстишь, не уломаешь, Фуфаевъ поднялъ Мишу на руки, крякнулъ и поплелся за товарищами, не переставая посылать проклятія дорогѣ, жарѣ, мальчику, нищимъ и даже — совершенно неизвѣстно за что̀ — своей собственной особѣ. Такимъ образомъ, почти незамѣтно стали они приближаться къ рѣкѣ; близость ея сказывалась тѣмъ, что грунтъ дѣлался постепенно рыхлѣе, сыпучѣе и мѣстами превращался въ песокъ. Кое-гдѣ попадались исполинскія столѣтнія вѣтлы съ корнями, глядѣвшими изъ земли; эти корни и мелкія бѣлыя раковины, все чаще хрустѣвшія подъ ногами, говорили, что рѣка захватывала эти мѣста въ половодье; вмѣстѣ съ этимъ все выше и выше подымался отдаленный нагорный берегъ, казавшійся со-

вершенно синимъ, и только снизу, у подошвы, принимающій бѣловатый отблескъ рѣки, которую скрывала линія ближайшаго горизонта. Фуфàевъ, все еще державшій мальчика, ускорилъ вдругъ шагъ и выровнялся съ Верстàномъ.

— Постой! сказалъ слѣпой: — слышь, никакъ телѣги ѣдутъ! подхватилъ онъ, оборачивая назадъ голову: — повремени маленько, я попрошу, чтобъ посадили Мишку...

— Чего его сажать-то... вотъ ужъ рѣка, почитай, видна, и такъ дойдешь! вымолвилъ Верстàнъ.

— Песокъ, братъ... измаялся... инда не подъ-силу... сказалъ, покрякивая, Фуфàевъ.

Верстàнъ засмѣялся. Не дожидаясь другаго отвѣта, слѣпой торопливо, но бережно, опустилъ на землю Мишу, вѣки котораго начинали вздрагивать и слегка открываться. Шумъ колесъ по дорогѣ, заслышанный чуткимъ ухомъ Фуфàева, начиналъ приближаться.

— Да это не телѣги, сказалъ онъ:—бубенчики гремятъ, должно быть, бары...

При словѣ „бары“ Верстàнъ, а за нимъ дядя Мизгирь устремили глаза на дорогу. Сначала видно было только густое, тяжелое облако пыли; минуты черезъ двѣ, однакожъ, явственно обозначились въ немъ лошади, форрейторъ и два экипажа, слѣдовавшіе одинъ за другимъ.

— Шестерикъ! воскликнули на разные голоса и въ одно и то же время оба старика: — ну, ребятишки, становись, дружно смотри... А ты чего зѣваешь? примолвилъ Верстàнъ, толкая Петю, который жадно слѣдилъ за каждымъ движеніемъ Миши, начинавшаго приходить въ чувство.

Каждый разъ, какъ съ Мишей дѣлалась дурнота, Петѣ непутя представлялось, что онъ умираетъ; но за-то, какъ только мальчикъ открывалъ глаза, Петей овладѣвала такая радость, какъ-будто онъ получалъ увѣренность, что Миша окончательно уже выздоровѣлъ и теперь съ нимъ ничего больше не случится; увидя его сидящаго, съ открытыми глазами, Петя весело кивнулъ ему головою и поспѣшилъ ухватить конецъ палки, которую подавалъ Верстàнъ, смотрѣвшій на приближавшіеся экипажи прищуренными глазами, готовыми сію же секунду закрыться. Дядя Мизгирь стоялъ подлѣ; сѣдая голова его свѣсилась на бокъ, спина согнулась подъ бременемъ пустаго мѣшка, ноги перекосились; каждый, взгля-

нувшій на него, не усомнился бы, что онъ, ко всей своей дряхлости, еще слѣпъ отъ рожденія. Путешественники были уже въ десяти шагахъ; но о приближеніе можно было заключить по тону и фырканью лошадей, хлестанью кнута и крику людей; все остальное — и люди, и лошади, и экипажъ, исчезали въ непроницаемомъ облакѣ пыли, надъ которымъ однакожъ, какъ олимпійское божество совершенно новаго рода, подпрыгивалъ дюжій форрейторъ.

— Начинай! шепнулъ Верстанъ.

Отцы наши ми-и-лостивцы!...
Къ стопамъ ва-а-шимъ па-а-даемъ!
Съ убожествомъ, съ немочью...

хватили нищіе всѣ хоромъ, въ которомъ особенно отличались козлячій голосъ Фуфаева и тоненькій, какъ свирѣль, голосокъ Пети.

Почти въ ту же секунду открылась шестерка заморёныхъ, едва переводящихъ духъ лошадей, припряженныхъ въ дормёзъ, и, какъ тотчасъ же оказалось, въ дормёзъ Бѣлицыныхъ. Но напрасно надрывались нищіе, захватывая при каждой нотѣ глотокъ ѣдкой пыли; окна дормёза были подняты; даже зеленыя тафтяныя шторы за окнами были опущены. Сергѣй Васильевичъ, Александра Константиновна, гувернантка и Мери не могли видѣть нищихъ; они слышали только какое-то дикое пѣніе и вовсе не любопытствовали узнать, что это было такое: они задыхались отъ жара. Но болѣе всѣхъ очевидно страдала Даша, камеристка Александры Константиновны; она сидѣла въ наружномъ мѣстѣ, позади дормёза, и не переставала чихать и фыркать, причемъ слои пыли, лежавшіе на ея шляпкѣ и прическѣ à la margot, подымались клубами надъ ея аристократической головой. Видъ неряшливой одежды производилъ на нее непріятное дѣйствіе даже въ хорошемъ расположеніи духа; можете себѣ представить, какое впечатлѣніе производили на нее нищіе, когда она болѣе чѣмъ когда-нибудь оправдывала названіе lady furie; она отвернулась даже съ отвращеніемъ. Нищіе ничего также не получили изъ тарантаса, гдѣ находились поваръ и два лакея; всѣхъ трехъ страшно растрясло и они были сильно не въ духѣ.

— Ничего не подали? спросилъ Верстанъ, раскрывая глаза.

— Ничего! сказалъ Мизгирь, злобно слѣдя за проѣхавшимъ тарантасомъ.

— Бары? спросилъ Фуфаевъ.

— Бары.

— Ишь ихъ, въ какую пору поѣхали! Вотъ ужъ подлинно... замѣтилъ, потряхивая головою, Фуфаевъ.

— Вотъ что, братцы, заговорилъ вдругъ дядя Мизгирь:— пойдемте-ка скорѣе къ перевозу: можетъ, они тамъ подадутъ, можетъ вылѣзать станутъ на пароме-то...

— И то, пойдемте, подхватилъ Верстанъ: — неравно безъ насъ рѣку-то переѣдутъ, парома тогда не дождешься...

Сказавъ это, онъ сунулъ конецъ палки въ руку Пети и пошелъ ускореннымъ шагомъ, за нимъ поплелись и остальные, не выключая Миши, который немножко поправился силами. Когда они подошли къ берегу, гдѣ устроена была пристань, оба экипажа находились ужъ на паромѣ; дверца дормеза была открыта: на нижней подножкѣ стоялъ Сергѣй Васильевичъ и весело покуривалъ сигарку; знакомый намъ перевощикъ, Власъ, хлопоталъ около причала; онъ былъ, разумѣется, въ рубашкѣ и даже, совершенно неизвѣстно по какому поводу, надѣлъ наверхъ ея подобіе жилета, съ одной синей стеклянной пуговицей; товарищъ его, Савка, наоборотъ, стоялъ теперь безъ полушубка, въ одной рубашкѣ и шароварахъ; онъ держался за канатъ и готовился тянуть съ людьми Бѣлицыныхъ.

— Эй, братъ, погоди... Дай намъ стать-то! сказалъ Верстанъ, подходя къ самому плотику.

— Отваливай, отваливай! безъ васъ тѣсно... вишь, господа ѣдутъ, сказалъ Власъ.

— Пусти ихъ, пусти! они намъ не мѣшаютъ! ласково вымолвилъ Сергѣй Васильевичъ.

Такъ какъ нищіе снова ослѣпли, Петя привелъ каждаго поочередно на паромъ; поставивъ ихъ рядомъ на помостѣ, онъ отошелъ къ Мишѣ, который сильно закашлялся.

— Трогай, сказалъ Сергѣй Васильевичъ.

Паромъ оторвался отъ берега.

— Oh! les pauvres malheureux! воскликнули въ одинъ голосъ Александра Константиновна и гувернантка, выглядывая изъ кареты и устремляя глаза на нищихъ.

— Vois, maman, et ces petits garçons! сказала Мери, стоявшая между матерью и француженкой съ бомбоньеркою въ рукахъ.

Сергѣй Васильевичъ пустилъ на воздухъ клубъ дыма и посмотрѣлъ на нищихъ.

— Знаешь ли, Serge, нищіе эти невольно напоминаютъ мнѣ исторію съ этимъ мальчикомъ, котораго увели у насъ — помнишь? Мужика звали, кажется, Тимоѳеемъ, сказала Бѣлицына, наклонясь къ мужу.

— Oh, ce pauvre Timothée! où est-il? вздохнувъ и возведя глаза къ небу, спросила француженка.

— Timothée! mademoiselle, est plus heureux que nous à présent, весело отвѣтилъ Сергѣй Васильевичъ, пуская новый клубъ дыма. — Вотъ мы теперь печемся на солнцѣ, не знаемъ куда отъ жары дѣваться, а онъ il hume l'air pur et frais des plairies!...

— Поговори съ ними, Serge, сказала Бѣлицына, прикасаясь къ рукѣ мужа и указывая на нищихъ.

— Откуда вы? спросилъ Сергѣй Васильевичъ.

— Пристанища у насъ нѣтути, касатикъ, отвѣчалъ Верстанъ жалобнымъ голосомъ, который такъ же шелъ къ нему, какъ розы къ медвѣдю: — ничего у насъ нѣтъ... отецъ милостивый!... такъ ходимъ побираемся...

— Откуда у васъ эти мальчики? спросилъ Сергѣй Васильевичъ.

— Свои, кормилецъ, отвѣчалъ тѣмъ же тономъ Верстанъ: — одинъ, большенькій-то, внучекъ мнѣ, внучекъ, родимый!... другой племянникъ... товарища... старичка слѣпенькаго...

— Какой маленькій, этотъ черненькій мальчикъ! сказала Бѣлицына, указывая на Петю: — tout à fait la tête du petit mendiant de Murillo...

— Который тебѣ годъ? вымолвилъ Сергѣй Васильевичъ, подставивъ ладонь подъ подбородокъ Пети.

— Десятый, кормилецъ... десятый... простоналъ дядя Мизгирь, лѣзшій изъ кожи, чтобъ возбудить состраданіе.

— Et l'autre!... Ah mon Dieu, comme il a l'air souffrant, le pauvre!... вымолвила гувернантка, кивая головою на Мишу, который, по всей справедливости, долженъ былъ бы прежде другихъ обратить на себя вниманіе сострадательной особы; но онъ былъ такой маленькій, тщедушный и некрасивый, что его легко можно было вовсе не замѣтить; онъ сидѣлъ на помостѣ пароma, прислонивъ голову къ доскѣ; онъ собственно никуда не глядѣлъ, ни о чемъ не думалъ, хотя глаза его были полны блеска и мысли; болѣзненное, изнуренное лицо ребенка было серьёзно, какъ словно

онъ давно обдумалъ что-то и принялъ какую-то рѣшимость; закрой онъ глаза и перестань кашлять, его легко можно было принять за мертваго — такъ блѣдны были черты его и такъ сухи пальцы рукъ и босыя ноги.

— А этотъ мальчикъ у васъ, кажется, нездоровъ... что̀ съ нимъ? сказалъ Сергѣй Васильевичъ.

— А Господь вѣдаетъ, родимый... на грудь все жалуется... болитъ, стало-быть.

— Въ такомъ случаѣ не слѣдовало вамъ брать его, дома надо было оставить!... сказалъ Бѣлицынъ:—охъ, да впрочемъ, я забылъ, что у васъ нѣтъ дома... Ну, все равно, надо было отдать его въ больницу, лѣчить надо. Вотъ то-то, всѣ вы такъ, не хотите лѣчиться, а потомъ плачете, довершилъ онъ.

— Слышь, баринъ, ваше благородіе, кабы слова помогали, мы бы давно его вылѣчили! хотѣнья-то нашего мало; за лѣкарство-то деньги требуютъ, совершенно неожиданно и скороговоркою произнесъ Фуфаевъ; вообще въ этотъ день онъ былъ особенно не въ духѣ.

— Ты ошибаешься, мой милый, назидательно подхватилъ Сергѣй Васильевичъ: — не всегда требуютъ денегъ... Мало ли есть на свѣтѣ добрыхъ людей, которые всегда рады помочь бѣдному, нѣимущему.

— Знамо есть, баринъ, ваше благородіе, какъ не быть! не совсѣмъ-учтиво перебилъ Фуфаевъ: — да гдѣ ихъ искать-то?... Мы, вѣдь, слѣпые, проглядимъ, а сами не сказываются.

— Il m'a l'aire fort grossier cet homme, сказала француженка.

— Oui, il a une mauvaise figure, особенно сравнительно съ лицами двухъ другихъ стариковъ, замѣтила Бѣлицына, между-тѣмъ, какъ мужъ ея пощупывалъ деньги въ жилетномъ карманѣ.

— На-те вамъ, возьмите, вымолвилъ онъ, подходя къ троимъ нищимъ и давая каждому по полтинничку.

— Продли вѣки ваши...

— Продли вѣки ваши! и вашихъ дѣтокъ! быстро перебилъ дядя Мизгирь, какъ только ощупалъ полтинникъ:—создай вамъ Господь...

— Спасибо, спасибо! нѐ за что, мои милые... очень радъ, очень, проговорилъ Сергѣй Васильевичъ, стараясь, но тщетно, раскурить потухшую сигару.

Александра Константиновна замѣтила, что надо будетъ дать что-нибудь мальчикамъ; что деньги возьмутъ нищіе, а мальчикамъ отъ этого ровно ничего не прибудетъ. Мери торопливо предложила свои конфекты.

— Oh, cette chère enfant! умиленно проговорила бордоская уроженка.

— Что жъ, это очень хорошая мысль. Serge, дай имъ конфектъ... это пастильки à la Montpensier, cela leur rafraichira la bouche... теперь же такъ жарко, справедливо замѣтила Бѣлицына.

Сергѣй Васильевичъ далъ нѣсколько конфектъ мальчикамъ съ наставленіемъ не грызть ихъ, а держать во рту пока не растаетъ. Почти въ то же время пароѣъ коснулся нагорнаго берега. Сергѣй Васильевичъ подалъ руку женѣ, потомъ гувернанткѣ и поочередно высадилъ ихъ изъ экипажа; камердинеръ взялъ на руки Мери, всѣ трое стали пробираться по доскѣ, перекинутой вмѣсто моста между бортомъ парома и берегомъ.

— Maman, я пѣшкомъ побѣгу на эту гору, сказала Мери, какъ только поставили ее на землю.

— Помилуй, что ты! что ты! въ такую жару... il y a de quoi se rendre malade... rien que d'y penser!

— Не думаешь ли ты, что я тебя пущу пѣшкомъ! смѣясь, замѣтилъ Сергѣй Васильевичъ, обратясь къ женѣ: — нѣтъ, извольте-ка садиться. Ты взгляни только, что это такое... это ужасъ! Dieu quelle route! quell route! Садитесь, садитесь, все готово!

Сергѣй Васильевичъ усадилъ дочку, жену, гувернантку, самъ сѣлъ, дверцы захлопнулись, зеленыя шторки снова опустились и дормёзъ, подхваченный отдохнувшей немного шестерней, покатилъ въ гору въ сопровожденіи тарантаса.

Немного погодя онъ вовсе исчезъ за поворотомъ, оставивъ только послѣ себя клубъ пыли. Ступивъ на берегъ, нищіе ни минуты не останавливались для отдыха: довольно отдохнули на паромѣ. Они продолжали путь; къ тому же, не стоило останавливаться; по словамъ Власа, къ которому обратились они, до ближайшей деревушки была верста; какъ подымешься въ гору — тутъ тебѣ деревня и будетъ! Деревня была точно недалеко, хотя и не такъ близко, какъ говорилъ Власъ. Поднявшись на гору, нищіе (которые опять, разумѣется, прозрѣли, кромѣ Фуфаева) увидали вдалекѣ, на днѣ долины, соломенныя крышки избушекъ. Они ускорили шагъ. Пришли

они, однакожъ, къ цѣли своей не такъ скоро, какъ думали: ихъ снова задержалъ Миша. Тяжелое ли подыманье въ гору замучило мальчика, или ужъ такъ, крѣпко очень заѣла его болѣзнь, но только едва поднялись они на гору, онъ зашатался и упалъ на дорогу.

— Стой! стой! неистово закричалъ Фуфаевъ. — Эхъ! ахъ!... эка напасть!... да что жъ это, право?... эхъ, нелёгкая тебя побери, право!... вставай; не то брошу!

— Дѣдушка... слабымъ, едва внятнымъ голосомъ проговорилъ Миша, приподымая голову и возводя потускнѣвшіе, умоляющіе глаза на слѣпаго: — дѣ-ду-ш-ка!...

— Дѣдушка! закричалъ, что было мочи, Петя, бросаясь къ Фуфаеву и обхватывая его руками: — дѣдушка!... Онъ не могъ договорить и вдругъ громко, отчаянно зарыдалъ.

— Да что вы, проклятые, сговорились, что ли? сурово заголосилъ Верстанъ, подходя къ Фуфаеву: — что ты его слушаешь-то... возьми-ка, да хорошенько его.

— Оставь, незамай! вымолвилъ слѣпой, отталкивая нищаго.

Въ настоящую минуту Фуфаевъ никакъ бы не посмѣлъ поступить такимъ образомъ съ Верстаномъ, если бъ помнилъ, что дѣлалъ: онъ былъ страшно вспыльчивъ по природѣ и бѣшенство отуманивало его мысли. Отпихнувъ Верстана, онъ ударилъ себя съ такою силою обоими кулаками, что даже шапка его слетѣла; это обстоятельство доставило ему случай схватить себя за волосы. Этимъ и окончилась вспышка.

— Стой, дядя! вымолвилъ онъ, дѣлая шагъ къ нищему: — уговоръ лучше денегъ...

— Ну тебя совсѣмъ!...

— Да ты дай прежде сказать-то... слышь, полтинникъ, что мнѣ дали бары...

Верстанъ сдѣлался внимательнѣе. Дядя Мизгирь, равнодушный зритель всего происходившаго, насторожилъ слухъ.

— Полтинникъ, слышь, что бары дали, продолжалъ Фуфаевъ: — вамъ обоимъ отдамъ, пополамъ раздѣлите, по четвертаку, стало, на брата; пусть, значитъ, вамъ и ярманка вся, потому, больше не соберешь, и легче: ходить не надо... Мы лучше по округѣ походимъ денёкъ, другой, а тѣмъ временемъ я вотъ парнишку, примѣрно, въ избу какую опредѣлю; онъ тѣмъ временемъ воздохнетъ... дюже добрѣ хвороба-то его заѣла... ему, можетъ, завтра полег-

чтъ... Опять же, значитъ, ярманка отъ насъ не ушла, хошь и попозже, а все прійдемъ... ну, такъ, что ли?

— Ну, давай...

— Нѣтъ, погоди, экой прыткой какой!... ты прежде по-моему сдѣлай, какъ я, примѣрно, сказывалъ.

— Ну, а какъ ты да не отдашь потомъ?

— Ну, нѣтъ, братъ, мое слово крѣпко, испытанное! Двадцать лѣтъ со мной знаешься, обчелъ ли я тебя на копейку — ась? То-то же и есть! Ну такъ ладно стало?

— Ужъ что жъ, Верстàнъ, сдѣлаемъ ему въ уваженье, промямлилъ Мизги́рь голосомъ, который обсахаривался при мысли о добытомъ безъ труда четвертакѣ.

— Ну, ладно! произнесъ Верстàнъ, причемъ Петя, слушавшій все это съ мучительнымъ замираніемъ сердца, повернулся вдругъ спиной къ нищимъ и принялся скоро, скоро креститься мокрыми своими пальцами.

Минуту спустя, нищіе продолжали путь, подсобляя поочередно Фуфàеву нести больнаго, почти-умирающаго мальчика. Не знаю, какія слова произносилъ Петя, когда, ставъ спиною къ нищимъ, такъ сильно прижималъ онъ пальцы къ груди своей, такъ пристально смотрѣлъ въ безоблачное небо и такъ скоро, скоро крестился. Но какія бы ни были эти слова и какъ ни проста была мысль, ихъ внушавшая, мы не сомнѣваемся, что скорѣе многихъ другихъ мыслей дойдутъ они до престола Всевышняго... Мы твердо вѣримъ, что, тѣмъ или другимъ способомъ, но скоро, скоро должна облегчиться горькая участь ребенка, за котораго такъ горячо, такъ усердно просилъ Господа другой ребенокъ, маленькій товарищъ Миши...

III.

Предчувствіе.

Деревня, куда направлялись нищіе и которая, по словамъ паромщика Власа, отстояла отъ перевоза всего съ версту, находилась, во-первыхъ, въ четырехъ верстахъ, а во-вторыхъ, была весьма незначительна. Ее составляли десятокъ избъ, криво и косо лѣпившихся по обѣимъ сторонамъ пустынной улицы. Низменное

положеніе улицы на днѣ лощины должно было подвергать ее весною совершенному потопу: она превращалась въ одну огромную стоячую лужу, въ которой, почти до исхода мая, весело барахтались утки и ребятишки. Теперь не было слѣда воды или грязи, но за-то изъ конца въ конецъ лежалъ сплошной слой рыжеватой пыли.

Благодаря ли пыли, заглушавшей шаги, или тому, наконецъ, что народонаселеніе, отъ людей до животныхъ, находилось въ полѣ, нищіе не были встрѣчены лаемъ собакъ. Въ деревнѣ, которую, какъ оказалось потомъ по разспросамъ, прозывали „Пустой Кожу́хъ, Прокѝслово тожъ“, царствовало мертвое молчаніе; перелѣтали развѣ воробьи, чиликавшіе за плетнями, или дѣлавшіе видъ, что купаются въ пыли; иногда появлялся общипанный, безхвостый пѣтухъ весьма гордаго, самонадѣяннаго вида; но и тотъ оставался недолго: сдѣлавъ два-три величественные шага, онъ со всѣхъ ногъ бросался вдругъ подъ ворота, какъ-будто приходила ему неожиданно блестящая мысль, и онъ спѣшилъ сообщить ее курицамъ, глухо-кудахтавшимъ въ сосѣднемъ огородѣ.

— Ну, здѣсь плохая пожива! Собакъ, и тѣхъ нѣтъ: всѣ, стало-быть, въ полѣ, промолвилъ Верстàнъ, оглядываясь кругомъ, что̀ дѣлалъ и дядя Мизги́рь, остававшійся повидимому очень недовольнымъ Пустымъ Кожу́хомъ, Прокѝсловымъ тожъ.

— Ужъ все кто-нибудь да есть; старика какого, либо старуху, все докличемся, сказалъ Фуфàевъ, отирая ладонью багровое лицо свое. — Ну, вотъ, Мишутка, вотъ и пришли! отлегло маненько — ась? подхватилъ онъ, обращая бѣлые зрачки свои къ мальчику, который полчаса какъ очнулся.

Миша стоялъ, уперевъ конецъ палки въ землю; обхвативъ другой конецъ обѣими руками, опустивъ голову, подогнувъ худенькія ноги, онъ дошелъ, казалось, до крайней степени изнеможенія. Услышавъ голосъ хозяина, онъ медленно поднялъ голову съ висѣвшими книзу волосами, устремилъ на него тусклый взоръ и хотѣлъ сказать что-то, но, вмѣсто словъ, опять послышался хриплый кашель, похожій на шуршанье сухихъ листьевъ.

— Ну, ничего, вотъ теперь воздохнешь... оно, слышь, и пройдетъ. Теперь недалеко, пойдемъ! вымолвилъ Фуфàевъ, направляясь по голосу къ Верстàну.

Петя подвелъ Верстàна къ крайней избѣ и, по приказанію его, постучалъ палкой въ оконную раму. Никакого не было

отвѣта; стукъ повторился въ другой и третій разъ — и также безъ пользы: никто даже не шелохнулся. Верстанъ, конечно, не остановился бы на этомъ — онъ бы не прочь былъ заглянуть во дворъ, охотно проникъ бы въ клѣть, оттуда вошелъ бы въ избу и, нѣтъ сомнѣнія, не пропустилъ бы случая полюбопытствовать, не находится ли пригодной какой вещи въ сундучкѣ, подъ лавкой; но наобумъ, безъ толку, никакъ не хотѣлось соваться: легко могло быть, что въ которомъ-нибудь изъ противоположныхъ оконъ торчали чьи-нибудь глаза. Онъ велѣлъ Петѣ идти къ сосѣдней избѣ; но и здѣсь точно также не добились они толку.

— Что за дьяволъ! куда они всѣ попрятались? проговорилъ нищій, толкая Петю, чтобъ онъ шелъ дальше.

— Погоди, идутъ... слышу! сказалъ Фуфаевъ, который былъ дотого чутокъ, что слышалъ, какъ самъ онъ выражался, какъ пухъ о пухъ стукается.

Фуфаевъ не ошибался: за воротами, на крылечкѣ двора, дѣйствительно, послышались медленные шаги; немного погодя, зазвучало желѣзное колечко въ калиткѣ; калитка пронзительно взвизгнула и пропустила сѣдаго какъ лунь, сгорбленнаго старика; сначала можно было думать, онъ согнулся въ три погибели, чтобъ пройдти въ калитку, устроенную какъ бы для ребятишекъ, но старикъ такъ и остался: онъ былъ сведенъ какою-то болѣзнью и всегда сохранялъ видъ человѣка, съ трудомъ проходящаго въ низенькую калитку.

— Чего надо? проговорилъ онъ пискливымъ, заржавленнымъ голосомъ: — ступайте, ступайте, Богъ подастъ! подхватилъ онъ съ сердцемъ, какъ только различилъ, что это были нищіе: — у самихъ хлѣба-то нѣтути, сами побираемся.

— Мы, слышь, не затѣмъ, дядя... Вотъ, примѣрно, статья какая, вмѣшался Фуфаевъ: — у насъ мальчикъ одинъ занемогъ... больше отъ дороги, добрѣ уже пуще умаялся... хотѣли попросить, не возьмешь ли, примѣрно, денька на два: онъ бы тѣмъ временемъ воздохнулъ...

— Какой такой мальчикъ? спросилъ старикъ, какъ бы не понимая еще, о чемъ шла рѣчь.

— Вотъ, дядя, вотъ... Мишка! да гдѣ жъ ты? подхватилъ слѣпой, торопливо обводя вокругъ руками.

— Онъ, дѣдушка, сѣлъ... на-земь сѣлъ, подлѣ тебя, сказалъ Петя.

— Да вотъ онъ, вотъ паренёкъ-то... Такъ, слышь, возьми ты его денька на два; мы тѣмъ временемъ по окружности походимъ; назадъ пойдемъ—опять возьмемъ. Добрѐ ужъ очень изнялся сердечный! Слышь, возьми, дядя, пожалуйста.

— Ну васъ совсѣмъ! Говорятъ, самимъ ѣсть нечего.

— Хлѣба-то, пожалуй, и я дамъ; у тебя просить не станетъ; возьми только.

— Богъ съ нимъ и съ вами-то совсѣмъ! Куда мнѣ его?

— Мѣста, что ли, жаль? Не пролежитъ небось!

— Можетъ хвороба какая пристала... еще помретъ, пожалуй! Не надыть мнѣ его, не возьму! пискнулъ старикъ, повернулся и исчезъ въ калиткѣ.

— Ну, пёсъ съ нимъ! Не беретъ, такъ и не надо, пробасилъ Верстанъ, приказывая Петѣ идти далѣе.

— Эка напасть какая! съ досадою произнесъ Фуфаевъ, обшаривая вокругъ, чтобъ найдти Мишку и помочь ему встать. Правая ладонь слѣпаго случайно прильнула къ лицу мальчика и тотчасъ же была вымочена слезами; но ладонь была такъ груба, что ничего не почувствовала. Фуфаевъ приподнялъ Мишу и пошелъ за Верстаномъ, который стучалъ въ окно сосѣдней избы.

Въ трехъ-четырехъ избахъ они опять не добились толку: никто не вышелъ. Наконецъ Петя, начинавшій терять надежду, остановился вдругъ передъ какими-то воротами и торопливо сталъ звать нищихъ. Ворота были настежь отворены; въ заднемъ концѣ двора, потопленномъ въ огненномъ блескѣ солнца, клонившагося къ западу, въ синеватой тѣни навѣса, сидѣла старушка; передъ ней торчалъ гребень съ насаженной въ него мычкой; она суетливо дергала нитку и такъ проворно управляла веретеномъ, что гудѣнье его, благодаря окрестной тишинѣ, дѣлалось слышнымъ даже на улицѣ. Шаги и голоса передъ воротами заставили ее приподнять голову.

— Богъ подастъ, касатики, Богъ подастъ! сказала она, не оставляя работы, но нѣсколько разъ торопливо кивая головою.

— Мы не затѣмъ совсѣмъ. Тётка, ей! подь-ка сюда! произнесъ Верстанъ.

— Чего вамъ?

— Подь-ка сюда, тётушка, дѣло есть такое, поговорить надо, подхватилъ Фуфаевъ.

— Охъ ужъ недосугъ, касатики! недосугъ, отцы родные, право

недосугъ! проговорила старушка, заботливо потряхивая головою, но тѣмъ не менѣе поспѣшно бросила работу и суетливо заковыляла къ воротамъ.

— Не отставай только; эта пуститъ, шепнулъ Верстанъ, поворачиваясь къ слѣпому.

Фуфаевъ поспѣшилъ передать старухѣ свою просьбу; на этотъ разъ онъ умолчалъ о томъ, что мальчикъ боленъ; по словамъ его, малый только усталъ, усталъ потому, что не успѣлъ еще хорошенько оправиться послѣ болѣзни; онъ просилъ подержать его всего два дня; хлѣбъ у нихъ свой, и посулилъ, если она согласится, дать ей десять копеекъ.

— О-охъ, касатикъ! Можетъ, ты это такъ только... можетъ, вы недобрые какіе... недовѣрчиво проговорила старушка.

— Эвна! что жъ мы нехристи, что ли?...

— Полно, тётушка! подхватилъ Фуфаевъ: — взмилуйся Христа ради! пусти! Чего сумлѣваешься? Намъ твоего ничего не надыть... вишь, сами даемъ. Пожалѣй хошь мальчёночка-то! Тебѣ Богъ воздастъ... Мы, слышь, пожалуй, сами у тебя останемся, переночуемъ. Ничего намъ не надо, пусти только... Смерть устали, касатушка... вишь жара какая... Право, пусти...

Недовѣріе старушки превратилось теперь въ нерѣшительность; покачивая головой, вышла она за ворота и принялась посматривать направо и налѣво, какъ-бы желая съ кѣмъ-нибудь посовѣтоваться. Но совѣтовать было некому: пыльная улица Прокйслова, освѣщенная теперь яркими косыми лучами, оживлялась только безхвостымъ, общипаннымъ пѣтухомъ, который, сообщивъ, видно, курицамъ мысль свою, снова явился изъ-подъ воротъ и расхаживалъ величественнымъ, самонадѣяннымъ шагомъ.

— Мы бы, тётушка, утруждать тебя не стали, началъ Фуфаевъ, смягчая по возможности козлячій свой голосъ: — да какъ быть-то? Стучали, почитай, по всей по деревнѣ — никого дома нѣтъ...

— И то никого нѣтъ, рожоной; я да еще два старичка старенькихъ — только и есть! словоохотливо заговорила старуха: — всѣ на покосѣ, касатикъ, на покосѣ всѣ У насъ луга-то дальные; на три дня уѣхали всѣ... завсегды такъ!

При этомъ извѣстіи Фуфаевъ еще настойчивѣе приступилъ къ старухѣ; къ нему присоединились два другіе товарища, которые хотя и не были въ его обстоятельствахъ, но также устали

и рады были отдохнуть. Старуха все еще колебалась; она ничѣмъ, впрочемъ, не оправдывала своихъ опасеній.

— О-охъ, рожòные! Можетъ, у васъ что́ на разумѣ... не переставала повторять она: — дѣло мое бабье... одна, касатики, все думается: худо какое сотворите...

Чтобъ убѣдить старуху, Фуфàевъ сказалъ, что всѣ трое оставятъ, пожалуй, мѣшки свои въ ея избѣ, въ видѣ заклада; пускай запретъ она мѣшки на запоръ до завтрашняго утра: имъ требуется только какой-нибудь сараишка для ночлега. Но послѣднее это предложеніе окончательно, казалось, напугало старушку. Видя, что разговорами тутъ не поможешь, Верстàнъ рѣшился взять на-проло́мъ; онъ тряхнулъ сумою, сунулъ конецъ палки въ руку Пети и вошелъ на дворъ.

— Что жъ это ты, касатикъ? куда жъ ты? проговорила старуха, потряхивая головою съ видомъ упрека, но нимало не препятствуя нищему подвигаться къ заднимъ воротамъ навѣса, глядѣвшимъ на огородъ и гумно.

Верстàнъ ускорилъ только шагъ къ сараямъ.

— Ну, всѣ повалили! воскликнула старуха, провожая глазами двухъ другихъ нищихъ и Мишу, которые тотчасъ же послѣдовали за Верстàномъ.

— Ничего, тётка, не сумлѣвайся; перемелется, все мука будетъ! сказалъ повеселѣвшій Фуфàевъ, проходя мимо. — Намъ, слышь, твоего ничего не надо; не реночуемъ — и только, а десять копеекъ, что́ посулилъ, отдамъ, ей-Богу отдамъ!...

Нищіе, одинъ за другимъ, вошли въ старенькій, ветхій сарай съ провалившейся кровлей. Верстàнъ снялъ тотчасъ же суму, сѣлъ на земь и сталъ разуваться; дядя Мизги́рь и Фуфàевъ сдѣлали то же самое.

— О-охъ, касатики! да что жъ это такое будетъ-то? произнесла старуха, остановившаяся въ воротахъ и перенося недоумѣвающіе глаза отъ одного къ другому.

— А вотъ погоди, тётка, сказалъ Верстàнъ: — вотъ теперь разуемся; тамъ мѣшки подъ голову положимъ; тамъ заснемъ... Завтра утромъ всѣ встанемъ, тебѣ спасибо скажемъ, да и опять въ путь-дорогу...

— Только и будетъ?

— А ты думала что́? присовокупилъ Фуфàевъ.

— Да вы издалече ли, родимые? неожиданно и совершенно кстати спросила старуха.

— А верстъ не считали, родная, отвѣтилъ Верстáнъ: — сдается неблизко; вишь лапти-то какъ поизмялись...

— Эй, слышь, тётка! деревню Дýрову знаешь? спросилъ вдругъ Фуфáевъ.

— Нѣтъ, рожóный, не слыхала, касатикъ.

— Ну, мы оттѣдова. Идемъ теперь въ Простоволóсово— тáкъ, значитъ, село прозывается.

— И этого не слыхала, рожóный; не слыхала, кормилецъ, добродушно возразила старуха.

Фуфáевъ, къ которому снова начала возвращаться веселость, безъ сомнѣнія, пошелъ бы далѣе въ объясненіяхъ своихъ со старухой, если бъ со стороны улицы не послышались блеянье овецъ и топотъ возвращающагося стада. Старуха мгновенно бросила гостей и суетливо побѣжала къ избѣ. Первымъ ея дѣломъ, однакожъ, какъ только подоила она корову и заперла овецъ, было снова вернуться къ сараю; нищіе только-что поужинали и готовились спать.

— Что ты, тётка? спросилъ Верстáнъ.

— Ничего, кормилецъ; я такъ. Все словно думается, касатикъ...

— Эка у тея голова-то думчивая какая! смѣясь, произнесъ Фуфаевъ, опуская собственную свою голову на мѣшокъ и потягиваясь.

Старуха постояла-постояла, поглядѣла-поглядѣла и пошла въ избу. Она сама не могла дать себѣ отчета въ своихъ переминаньяхъ, касательно пребыванія гостей, а между тѣмъ ее такъ вотъ и подмывало идти къ сараю. Полежитъ немножко въ клѣтушкѣ, ужъ засыпать начнетъ — прійдутъ въ голову нищіе; смотришь, опять плетется къ нимъ по огороду. Разъ направилась она туда даже среди ночи. Черная, непроницаемая темь потопляла окрестность; земляныя испаренія, поднятыя во время дня, такъ сгустились, что скрывали звѣзды; зги не было видно; подойдя къ сараю, старуха могла только услышать густое храпѣнье, повторявшееся на три разные тона; это, повидимому, нѣсколько успокоило ее, и она снова вернулась въ клѣтушку.

Какъ только смолкли шаги ея, Петя приподнялъ голову и вытянулъ шею въ ту сторону, гдѣ лежалъ его маленькій товарищъ (нищіе раздѣляли двухъ мальчиковъ). Петя сильно усталъ, но онъ до-сихъ-поръ всѣми силами старался превозмочь дремоту и выжидалъ удобнаго случая, чтобъ присоединиться къ Мишѣ; храпѣнье стариковъ наполняло сарай, но ему казалось почему-то, что Миша

не спалъ. Минуту спустя, Петя былъ подлѣ него и прислушивался къ его дыханію.

— Миша... спишь? шепнулъ онъ.

— Нѣтъ... нѣтъ... произнесъ едва-внятно мальчикъ.

Голосъ его прерывался сдавленными рыданіями. Петя пригнулся къ нему еще ближе; нѣсколько капель упали ему тотчасъ же на лицо.

— Полно, Миша, полно; о чемъ ты плачешь?... Вишь, вѣдь, они какіе... ничего, вѣдь, не сдѣлаешь. Вотъ теперь пришли; здѣсь побудемъ... тебѣ, може-статься, полѣгчитъ, проговорилъ Петя, напрягая всѣ силы ума, чтобы утѣшить товарища. Но утѣшенія слабо дѣйствовали; казалось, напротивъ, съ приходомъ Пети и по-мѣрѣ-того, какъ онъ говорилъ, горе Миши усилилось; онъ не могъ даже теперь владѣть собою и иногда такъ громко всхлипывалъ, что Петя того только и ждалъ, что кто-нибудь изъ нищихъ проснется.

— Ахъ, Миша, Миша!... Да ты перестань только... перестань... о чемъ ты?... болитъ у тебя что-нибудь, а?... шепнулъ Петя, снова пригибаясь къ товарищу.

Прошла минута молчанія, которую, съ одной стороны, прерывало храпѣнье трехъ нищихъ, съ другой — горькія, тщетно подавляемыя рыданія ребенка.

— Меня... меня они оставить хотятъ... одного здѣсь! проговорилъ наконецъ Миша: — я слышалъ, они говорили... оставить хотятъ...

— Экой ты какой! А пускай оставляютъ — тебѣ же легче, вишь, вѣдь ты насилу дошелъ: ты отдохнешь тѣмъ временемъ...

— Нѣтъ... нѣтъ, они ужъ за мною не пріѣдутъ... совсѣмъ здѣсь оставятъ... Я слышалъ, знаю... я умру, Петя... умру одинъ...

— Да рàзи ты добрѐ ужъ оченно боленъ?... простодушно спросилъ Петя.

— Идти не могу... возразилъ тотъ едва внятно: — ноги трясутся... а пуще тутъ добрѐ ломитъ...

Темнота была такъ непроницаема, что Петя проворно ощупалъ товарища, чтобъ понять, куда тотъ указывалъ: худощавые пальцы мальчика прижимались къ впалой груди его. Петя снова почувствовалъ, какъ нѣсколько слезъ капнуло ему на руки; онъ откинулся назадъ, присѣлъ на корточки и нѣсколько секундъ молчалъ, какъ бы соображая что-то. Внезапно онъ подсѣлъ къ Мишѣ съ

такою живостью, что, надо было думать, онъ нашелъ вѣрное средство къ его облегченію.

— Вотъ что, Миша... началъ онъ скороговоркою, по возможности понижая голосъ: — слышь, пускай здѣсь оставляютъ — не плачь. Мы вотъ что̀ сдѣлаемъ, подхватилъ онъ, очевидно увлекаясь своею мыслью и, для бо́льшаго поясненія, принимаясь размахивать руками, что̀ было совершенно напрасно, во-первыхъ, потому, что Миша ничего не могъ видѣть, а во-вторыхъ, онъ почти даже не слушалъ и продолжалъ плакать; но темнота не дала Петѣ замѣтить этого и онъ продолжалъ съ прежнимъ воодушевленіемъ: — слышь, ты здѣсь останешься, смотри только, не уходи никуда! Вотъ мы и пойдемъ отселева; куда ни пойдемъ, слышь, а я всю дорогу стану примѣчать, ни одного перекрестка не прогляну, ни одной деревни... всякая деревня, ка̀къ она прозывается, все это я буду помнить... Ну, какъ отойдемъ мы такъ-то подалѣе, ночь переночуемъ, другую, третью; увижу, а они назадъ не ворочаются за тобою: зна̀мо тогда, оставить хотятъ; я ночью извернусь, да и убѣгу отъ нихъ; да все по дорогѣ-то, все по дорогѣ, отъ деревни къ деревнѣ... къ тебѣ и прійду. Смотри только, ты не трогайся отселева, а ужъ я прійду...

— Нѣтъ, ужъ врядъ мнѣ быть здѣсь, проговорилъ Миша какимъ-то разслабленнымъ голосомъ, котораго Петя не слыхалъ прежде.

— А что?

Миша замолкъ. Казалось, ему трудно было удовлетворить товарища отвѣтомъ; наконецъ онъ сказалъ:

— Я умру, Петя... умру... подхватилъ онъ и снова заплакалъ, но такъ тихо на этотъ разъ, что Петя даже не услышалъ.

— Тебѣ что̀ ни говори, ты все свое!

— Право, умру, продолжалъ Миша:—я ра́зи не вижу? Вотъ и Верста̀нъ сказалъ хозяину... и тотъ старикъ, который не пустилъ насъ ноньче, сказалъ... А какъ, Петя, умирать-то не хочется... Петя!... Охъ, тяжко!...

— Знамо, кому хочется? Да ты не умрешь, не умрешь! съ увѣренностью подхватилъ Петя: — не умрешь ты!... Съ чего тебѣ умереть-то? Ты добрѣ усталъ, оттого больше... Вотъ полежишь день-другой, опять встанешь... Я какъ прійду сюда, то-то мы съ тобой тогда закатимся—прямо домой пойдемъ... Я знаю, какъ и деревню-то мою зовутъ: Ма̀рьинское прозывается...

Но Миша опять не слушалъ товарища; онъ какъ-будто навѣрное зналъ, что мечты эти были для него неисполнимы. Давъ Петѣ наговориться до́-сыта, онъ сказалъ, какъ-бы раздумывая самъ съ собою:

— Была у меня, Петя, сестра... Махонькой я былъ, а помню... тогда еще у насъ мачихи не было... мать жила тогда... Вотъ также ей, сестрѣ-то, передъ смертью все чудилось...

— Что жъ ей чу́дилось-то?...

— Чу́дилось: по полямъ да по лугамъ все ходитъ... такіе сады все чу́дились ей... и пташки, говоритъ, поютъ...

— Ну такъ что жъ? нетерпѣливо перебилъ Петя.

— Вотъ и мнѣ стало все чу́диться, проговорилъ Миша тономъ раздумья: — какъ только закрою глаза, особливо коли одинъ сижу. закрою глаза, вижу: заря занимается... солнце встаетъ... а самого меня точно подхватитъ кто... точно крылья у меня... и я лечу къ солнцу... да скоро такъ, скоро... инда духъ захватываетъ...

— Эка чудно какъ! Что жъ это я ничего не вижу? Вотъ и закрою глаза, вотъ... нѣтъ, ничего не видать, темнота одна, вымолвилъ Петя, между тѣмъ, какъ Миша вдругъ закашлялся: кашлю этому конца не было. Когда ему отлегло немного, онъ опять хотѣлъ заговорить, но, вмѣсто словъ, изъ груди его выходило глухое какое-то клокотанье; онъ неожиданно ухватился обѣими руками за руку Пети, безсильно опустился на́-земь и снова горько заплакалъ. Петя прильнулъ къ нему и съ удвоеннымъ стараніемъ сталъ утѣшать его; онъ говорилъ, что черезъ три-четыре дня они опять увидятся, что нищихъ уже тогда не будетъ; говорилъ о томъ, какъ будутъ они идти вдвоемъ въ Ма́рьинское; говорилъ, ка̀къ прі́йдутъ, ка̀къ мать имъ обрадуется, ка̀къ сестра Маша обрадуется, ка̀къ всѣ обрадуются (Петя не забылъ даже упомянуть о маленькомъ братѣ, пучеглазомъ Костюшкѣ); мало-по-малу однакожъ рѣчь Пети стала замедляться и путаться; онъ словно пріискивалъ слова и не находилъ ихъ; промежутки эти повторялись все чаще и чаще; лицо Пети все ближе и ближе склонялось къ лицу Миши; наконецъ онъ вдругъ замолкъ. Петя не поднялъ ужъ головы и не чувствовалъ даже на щекахъ своихъ слезъ, которыя не переставали между-тѣмъ обильно капать изъ глазъ маленькаго товарища...

IV.

Извѣстіе. — Спѣшная дорога.

Заря только-что занималась, когда Петя внезапно былъ пробужденъ голосомъ, который, показалось ему, прозвучалъ въ самыхъ ушахъ его. Онъ быстро поднялъ голову, но въ первую минуту, которая потребовалась, чтобъ очнуться и совершенно прійдти въ себя, онъ ничего не могъ сообразить: передъ нимъ смутно и какъ бы передвигаясь мелькнули дальній темный уголъ сарая и ворота, пропускавшія дневной свѣтъ; потомъ увидѣлъ онъ трехъ нищихъ, лежавшихъ рядомъ, а между тѣмъ голосъ, пробудившій его, продолжалъ какъ-будто раздаваться подлѣ, хотя слабѣе прежняго. Первымъ движеніемъ Пети, какъ только пришелъ онъ въ полное сознаніе, было обернуться и взглянуть на Мишу; но видъ товарища поразилъ его такимъ ужасомъ, что онъ такъ же быстро откинулся назадъ, какъ, за минуту передъ тѣмъ, быстро поднялъ голову. Миша сидѣлъ на землѣ, опершись спиною въ плетень; лицо его съ разсыпавшимися по сторонамъ длинными черными волосами было блѣдно, какъ известь, и усиленно какъ-то вытягивалось впередъ; худощавые пальцы рукъ, на которыхъ можно было пересчиталъ всѣ суставчики, судорожно ловили воздухъ; глаза неподвижно смотрѣли на одну точку; все существо его, до послѣдней жилки, находилось въ напряженномъ состояніи и тянулось куда-то; безцвѣтныя губы бормотали слова безъ смысла и порядка.

„Солнце, солнце!“ повторялъ онъ, вытягиваясь все болѣе и болѣе впередъ: „облака ходятъ... ближе... держите меня... Петя!... Охъ, такъ тяжко!... держи... заря... заря!...“

Но страхъ Пети продолжался всего секунду; онъ подумалъ: Мишу давитъ тяжелый сонъ, поспѣшилъ взять его за руку и нѣсколько разъ назвалъ его по имени. Мальчикъ закрылъ глаза и дрогнулъ, словно неожиданно оборвался въ пропасть; но вмѣстѣ съ этимъ силы, напрягавшія его жилы, разомъ исчезли; костлявыя руки упали, туловище опустилось, голова свѣсилась на бокъ. Петя обхватилъ его и бережно положилъ на-земь. Лицо мальчика въ одну эту ночь такъ измѣнилось, такъ оснулось и даже постарѣло, что, казалось, со вчерашняго вечера до сегодняшняго утра онъ пережилъ тяжкую, изнурительную болѣзнь, продолжавшуюся цѣлый годъ; онъ лежалъ какъ мертвый, и только губы его продолжали дви-

гаться; но ужъ такъ тихъ былъ звукъ его голоса, что Петя съ трудомъ могъ разслышать слова: „солнце... Петя... заря...“

— Миша, очнись! заговорилъ Петя, снова прикасаясь къ рукѣ его: — какое солнце?... тебѣ такъ чудится; солнца нѣтъ; погляди-ка, открой глаза-то... заря только занимается...

На этомъ мѣстѣ Петя остановился и робко припалъ къ товарищу: онъ увидѣлъ, какъ пошевелился Верстанъ.

— Гдѣ солнце? рази ужъ встаетъ? забасилъ вдругъ старый нищій, озираясь на стороны мутными глазами. — И то, ужъ заря! Экъ проспали! Вставай, ребята! Дядя Мизгирь, вставай!... Ну, ты, слѣпой чортъ, полно тебѣ прохлаждаться-то, пора: вишь, на дворѣ забѣлѣло! Вставай! подхватилъ онъ, толкая Фуфаева.

Дядя Мизгирь не заставилъ себѣ повторять два раза: онъ точно наканунѣ условился съ Верстаномъ встать до зари и не мѣшкать. Оба принялись обуваться съ замѣтною поспѣшностью. Дѣло не касалось, повидимому, одного Фуфаева: онъ хотя и сидѣлъ, но глаза его были закрыты, вздернутый носъ храпѣлъ немилосердно, и туловище раскачивалось изъ стороны въ сторону, какъ бы изловчаясь повалиться на-земь. Верстанъ принужденъ былъ снова толкнуть его въ бокъ. Толчекъ этотъ, способный продавить лубочный кузовъ, подѣйствовалъ только, казалось, на носовое храпѣнье Фуфаева, которое изъ басистаго перешло въ тоненькое и жалобное.

— Да ну, лѣшій! долго ли съ тобой возиться-то? подхватилъ Верстанъ, встряхивая его за плечи: — вишь свѣтло! Хочешь, небось, старухи дождаться... Коли прійдетъ, самъ поди возись съ нею: она ни за что мальчишку-то не оставитъ. А намъ куды съ нимъ! насилу ноги волочитъ... самъ знаешь...

Послѣднія слова эти подѣйствовали на Фуфаева сильнѣе толчковъ и потряхиванья: онъ раскрылъ глаза, потянулся и такъ громко зѣвнулъ, что двѣ ласточки, существованія которыхъ никто и не подозрѣвалъ, выскочили вдругъ откуда-то и, сдѣлавъ нѣсколько зигзаговъ подъ стропилами сарая, порхнули въ ворота.

— Петрушка, гдѣ ты? живо на ноги... одѣвайся! Вотъ я тя протру глаза-то! сказалъ Верстанъ, поворачиваясь спиною къ слѣпому, который такъ вдругъ заторопился, что подалъ надежду быть готовымъ прежде другихъ.

Петя возвратился на прежнее свое мѣсто, гдѣ осталась его сума и лаптишки; минуту спустя, онъ былъ на ногахъ.

— Пошелъ, стань у воротъ, сказалъ ему Верстàнъ: — коли увидишь идетъ кто, скажи. Смотри въ оба глаза, не прозѣвай!

Почти въ то же время Миша раскрылъ глаза. Тоска, испугъ, отчаяніе изобразились въ каждой чертѣ лица его, когда увидѣлъ онъ, что нищіе совсѣмъ готовы въ путь; онъ хотѣлъ встать, но могъ только, и то съ трудомъ, приподняться на локоть.

— Дѣдушка!... крикнулъ онъ.

Никто не обернулся. Онъ понялъ, что его не слышали, собралъ всѣ свои силы и прокричалъ отчаянно:

— Дѣдушка, не уходите!... возьмите Христа ради! я съ вами пойду!...

— Молчать! чего ты визжишь? сурово сказалъ Верстàнъ, подымаясь на ноги и поворачиваясь къ нему: — чего орешь? Вотъ ходить не твое дѣло — сейчасъ раскисъ и ноги подкосились, а голосить куда шустёръ...

— Дѣдушка Верстàнъ! голубчикъ, Христа ради, примолвилъ Миша голосомъ, въ которомъ слышны были слезы, отчаянная мольба, нѣжность (онъ не обращался къ Фуфàеву и дядѣ Мизгирю: онъ зналъ, что всѣхъ суровѣе и безжалостнѣе былъ старый нищій, что̀ стоитъ только ему согласиться — и всѣ согласятся): — дѣдушка Верстàнъ, я буду идти, я скоро пойду... я совсѣмъ отдохнулъ.

— Какъ же! есть время съ тобою возиться! Было ужъ! Идти хочетъ, идти! а самъ встать не можетъ — рази не вижу?

— Дѣдушка, я встану... не уходи только, погоди, сейчасъ встану, дѣдушка!

Но отчаянье, съ какимъ боролся бѣдный мальчикъ противъ страшной боли въ груди и собственнаго безсилія, ни къ чему не повело: ноги не держали его и онъ снова опустился на-земь. Закрывъ лицо руками, онъ такъ горько вдругъ заплакалъ, что даже Верстàнъ, казалось, сдѣлался снисходительнѣе.

— Ну, о чемъ плачешь-то? Э, глупый! право глупый! сказалъ онъ, очевидно смягчаясь: — черезъ два дня опять прійдемъ... опять возьмемъ съ собою...

— Погоди; что вы тамъ? Не плачь, Мишутка, сейчасъ! проговорилъ неожиданно Фуфàевъ, который только-что прикрѣпилъ лапоть и накинулъ мѣшокъ: — погоди, иду! подхватилъ онъ, про-

бираясь по плетню. Онъ ощупалъ Верстàна, отслонилъ его рукою и нагнулся къ Мишѣ.

Лицо мальчика какъ-будто озарилось надеждой и просвѣтлѣло, хотя слезы ручьями текли по исхудалымъ щекамъ его.

— Вотъ что́, Миша, вымолвилъ слѣпой: — побудь, слышь, здѣсь день-другой. Ты воздохнешь тѣмъ временемъ... ничего... какъ быть-то! Вотъ я тебѣ, вишь, сколько хлѣба-то оставлю; вишь не жалѣю! присовокупилъ онъ, высыпая изъ мѣшка почти всѣ свои корки.

Верстàнъ между-тѣмъ кинулъ мѣшокъ за спину, потомъ подозвалъ дядю Мизги́ря и Петю.

— Ну, слышь, случится, пить захочешь, продолжалъ Фуфàевъ: — попроси хозяйку... вотъ что́ насъ пустила сюда: она тебѣ дастъ.

Верстàнъ дернулъ его за руку, давая знать, что время идти. Движеніе это не ускользнуло отъ Миши.

— Нѣтъ, нѣтъ! вы меня бросить хотите. Я здѣсь умру. одинъ. Дѣдушка... миленькій... родной... Христа ради, погоди, я тебѣ что́ скажу! кричалъ Миша, дѣлая тщетныя усилія, чтобъ обхватить ноги Фуфàева, который покрякивалъ и, безъ сомнѣнія, дался бы въ руки мальчику, если бъ видѣлъ, чего ему хотѣлось.

— Да нѣтъ же; экой какой!... Ну, вѣри́шь ты въ Бога? ну, ей-Богу прійду! Будь я анаѳема, коли не прійду! разрази меня на мѣстѣ...

Верстàнъ не далъ ему договорить, схватилъ его за руку и повелъ къ воротамъ. Въ сараѣ послышался не то крикъ, не то рыданіе, звукъ котораго болѣзненно защемилъ сердце Пети, и слезы брызнули изъ глазъ его; онъ бросился-было въ ту сторону, но Верстàнъ какъ-будто ждалъ этого и остановилъ его за воротъ.

— Куда? Я ти дамъ рыскать!... я ти порыскаю! сказалъ онъ, толкая его впередъ и быстро поворачивая за уголъ вмѣстѣ съ товарищами: — вотъ твоя дорога: впередъ, а не назадъ.

Онъ заключилъ эти слова новымъ толчкомъ, и, оглянувшись на стороны, удвоилъ шагъ, чтобъ скорѣе скрыться изъ виду. За сараемъ тотчасъ же начинался лугъ, который составлялъ дно долины, гдѣ расположена была деревушка. Пройдя шаговъ двѣсти, Петя улучилъ минуту и посмотрѣлъ назадъ; но сарай, гдѣ провели они ночь, успѣлъ исчезнуть за откосомъ; отъ Прокѝслова оставались верхушки ветелъ да макушки двухъ-трехъ соломенныхъ

кровель. Петя пересталъ уже плакать; къ толчкамъ Верстàна, какъ они ни были жостки, онъ успѣлъ привыкнуть; что же касается до Миши, ему, конечно, было жаль его, больно жаль было, но онъ утѣшался тѣмъ, что черезъ два-три дня, если нищіе не вернутся къ мальчику, онъ убѣжитъ, убѣжитъ непремѣнно и соединится съ маленькимъ товарищемъ; мысль эта осушала его слезы: онъ бодро подвигался впередъ, какъ-будто ни въ чемъ не бывало.

Немного погодя, нищіе миновали лугъ; дорога пошла берегомъ маленькой рѣчки, заключенной въ глубокихъ, почти отвѣсныхъ берегахъ; мѣстами, тамъ, гдѣ земля осыпалась, берега пробуравлены были безчисленнымъ множествомъ дырокъ; шаги путниковъ, глухо отдаваясь въ рыхлой почвѣ, будили стрижей, которые, какъ пули, вылетали изъ дырокъ и какъ угорѣлые сновали надъ рѣкою, подернутой бѣловатымъ, клубящимся пàромъ. Другихъ птицъ не было еще видно; въ лѣсахъ и на пашняхъ, спускавшихся къ рѣкѣ по скатамъ долины, все пока безмолвствовало. Хотя сѣдой паръ, наполнявшій долину и принимавшій издали видъ глубокихъ озеръ, замѣтно разсѣвался, не подымаясь кверху, такъ что можно было ясно различать предметы, но день, по настоящему, только-что занимался; горизонтъ со стороны востока чуть-чуть окрашивался зарею.

— Намъ, слышь, братцы, далеко ходить нèзачѣмъ, сказалъ Фуфàевъ, который до-сихъ-поръ не вымолвилъ слова, не выкинулъ ни одной шутки (вообще въ промежутокъ послѣднихъ дней онъ казался болѣе озабоченнымъ, чѣмъ веселымъ), далеко ходить нé къ чему, подхватилъ онъ:—лучше здѣсь по окрýгѣ побродить... поближности.

— Вѣстимо, коли сходно будетъ, далеко не пойдемъ... Ну, а коли не подадутъ ничего? Здѣсь деревни-то бѣдныя! промолвилъ дядя Мизгирь.

— Охъ, ужъ ты, жидовина! досадливо перебилъ Фуфàевъ:— только у тебя и на разумѣ-то гроши одни... Смерть не люблю! Ужъ помяни ты меня: будетъ тебѣ за твои деньги! задавятъ гдѣнибудь въ лѣсу, какъ собаку ледащую!...

Верстàнъ нахмурилъ брови, кашлянулъ и перебилъ нетерпѣливо:

— У насъ не было этого въ уговорѣ, чтобъ куда идти. Ужъ и такъ черезъ тебя одну ярманку проглядѣли! Коли идти лѣнь, ты бы съ мальчишкой со своимъ остался... Куда намъ повóлится, туда и пойдемъ, тебя не спросимъ, коротко и сухо заключилъ

Верста́нъ, дѣлая намёкъ Фуфа́еву на его слѣпоту и давая ему косвенно чувствовать, что онъ болѣе или менѣе находится теперь въ его зависимости.

— Я нѣшто о себѣ? по мнѣ пожалуй! возразилъ слѣпой, замѣтно сдерживая порывъ неудовольствія: — я ходьбы не боюсь; пройду побольше вашего! Только, чуръ, братцы, примолвилъ онъ, окончательно смягчая голосъ: — чуръ, уговоръ лучше денегъ: два дня походимъ, пожалуй, что и всѣ трои сутки, тамъ назадъ: надо, примѣрно, мальчишку взять; при немъ я хошь однимъ глазомъ да вижу — безъ него рта не найду, куды корку сунуть...

На это ни Верста́нъ, ни дядя Мизги́рь слова не сказали; Фуфа́евъ также замолкъ; каждому какъ-будто запала крѣпкая дума въ голову, и каждый отдался ей одной. Съ этой минуты одни лишь шаги нарушали тишину спавшей окрестности. Такимъ образомъ незамѣтно сдѣлали они нѣсколько поворотовъ по долинѣ, которая имѣла характеръ извилистый, какъ вообще всѣ долины, на днѣ которыхъ протекаетъ рѣка. Пройдя версты двѣ отъ деревни, а можетъ, и болѣе, нищіе услышали шумъ падающей воды. Спустя нѣсколько времени, изъ-за купы старыхъ, головастыхъ ветелъ, высунулась высокая, остроконечная кровля, а тамъ выступила и вся мельница, темная профиль которой съ одной стороны цѣликомъ перекидывалась въ рѣку, съ другой четко обрисовывалась на красноватомъ, разгоравшемся небѣ.

Но и здѣсь такъ же было тихо, какъ въ полѣ; шумѣла только вода, бившая фонтанами сквозь дыры плохо сколоченныхъ тва́рней. Ступивъ уже на плотину, куда поворачивала дорога, нищіе увидѣли молодаго, рыжеватаго парня — надо полагать, батрака-мельника; онъ хотя и стоялъ на ногахъ, но, казалось, не совсѣмъ еще пробудился: закинувъ обѣ руки за голову, закрывъ глаза, онъ такъ зѣвалъ, что еще немножко, и онъ непремѣнно вывихнулъ бы себѣ челюсть. Тѣмъ не менѣе нищіе добились отъ него толку касательно расположенія сосѣднихъ деревень. Верстахъ въ семи отъ мельницы, находилось село Бабу́рино, большое село; народъ достаточный, все больше горшечники; другихъ деревень по дорогѣ нѣтъ; дорога одна, битая: по ней бабу́ринскіе мужики ѣздятъ молоть на мельницу. Свѣдѣній этихъ пока было довольно, и нищіе пошли по указанному пути.

Спѣшить было нѣкуда, какъ справедливо замѣтилъ Фуфа́евъ. Къ

тому же, хотя солнце только-что показалось, въ воздухѣ начинала чувствоваться духота и тяжесть; солнце выплывало какъ изъ огня; багровый кругъ, словно изъ раскаленнаго желѣза, окаймлялъ его, и надъ горизонтомъ длиннѣе и длиннѣе вытягивались рыжія, тяжелыя полосы облаковъ. Все предвѣщало такой же знойный день, какъ и наканунѣ; самыя птицы пѣли какъ-то неохотно, но всетаки надъ обгорѣлыми полями, стлавшимися по обѣимъ сторонамъ дороги, неумолкаемо звенѣли жаворонки. Пѣніе жаворонковъ перенесло почему-то Петю къ оставленному товарищу; онъ не переставалъ думать о немъ; но теперь ему вдругъ какъ-то жалче стало Мишу. „Слышитъ ли Миша этихъ жаворонковъ?... Нѣтъ, этихъ ужъ онъ не слышитъ! далеко очень! Что онъ теперь дѣлаетъ: плачетъ ли, сердечный, или такъ сидитъ, думаетъ?...“ Отъ Миши мысль его незамѣтно перешла къ тому времени, когда онъ бѣгалъ, бывало, съ братишками по полямъ и такъ же прислушивался къ жаворонкамъ — то-то время-то было! Мигомъ обрисовалась передъ нимъ широкая улица Мàрьинскаго, избушка, внутренность этой избы; ему, неизвѣстно почему, пришли вдругъ на умъ черныя брови отца, которыя то обѣ вмѣстѣ подымались и опускались, то подымется сначала одна бровь, а тамъ и другая; онъ вспомнилъ потомъ сестру Машу, вспомнилъ полоумную тётку Дуню, вспомнилъ мать — и слезы сами собою закапали на его рубашонку; но, встрѣтивъ суровый взглядъ Верстàна, онъ поспѣшилъ ихъ высушить и показалъ даже видъ, что это былъ потъ, а вовсе не слезы.

Пока нищіе дошли до Бабýрина, наступилъ уже жаръ; они вошли въ деревню. Постучавъ, какъ водится, подъ каждымъ окномъ, что̀ заняло довольно времени, но принесло мало пользы, потому-что бабýринскіе мужики хотя и занимались горшечнымъ производствомъ, но нисколько не были отъ этого богаче другихъ, нищіе рѣшились отдохнуть. Отдо̀хнули; пообѣдали. Они уже раздумывали, куда бы теперь направить путь, когда случай вывелъ ихъ изъ затрудненія: хозяинъ, у котораго они остановились, сообщилъ имъ, что въ двѣнадцати верстахъ находится село „Новая-Отрада“... впрочемъ, такъ господа называютъ, замѣтилъ мужикъ; въ сущности село искони называлось „Старое Пронюхлово“; въ этомъ Пронюхловѣ завтра празднуется приходскій праздникъ. Такое извѣстіе подняло тотчасъ же на ноги Верстàна и его товарищей. Фуфàевъ предложилъ, впрочемъ, переждать зной и отправиться ночью; но Верстàнъ и дядя Мизги́рь настояли на своемъ. Не знаю, лучше

ли бы они сдѣлали, если бъ послушали слѣпаго, во всякомъ случаѣ можно было не торопиться.

Часъ спустя послѣ выхода нищихъ изъ Бабу́рина, тучи, скоплявшіяся на горизонтѣ, стали выше подыматься, сгущались и, постепенно темнѣя, разливались все шире и шире по небосклону. Духота между-тѣмъ дѣлалась нестерпимою. Время отъ времени пробѣгалъ порывъ вѣтра; онъ вырывался, казалось, изъ жерла раскаленной печки; наконецъ, вѣтеръ поднялся съ такою силой, что трудно стало впередъ двигаться. Глядя, какъ пробирались нищіе въ упоръ вѣтру, можно было думать, что они съ усиліемъ подымаются въ гору, или лѣзутъ на приступъ невидимой какой-нибудь крѣпости; сила воздуха сказывалась также въ полетѣ птицъ: онѣ съ трудомъ боролись противъ теченія вѣтра и, не смотря на пугливое маханье крыльями, почти не двигались въ помутившемся небѣ, но за-то какъ стрѣлы летѣли онѣ, лишь только поворачивались хвостомъ къ вѣтру. Въ какія-нибудь десять минутъ окрестность измѣнилась совершенно; лѣса приняли сумрачный цвѣтъ и зашумѣли вдалекѣ, какъ разъяренное море; макушки деревъ рвались, словно въ страхѣ какомъ-то, и силились какъ-будто убѣжать отъ вихрей, которые выростали вдругъ въ разныхъ мѣстахъ и, сверля землю, вертя воронкой придорожную пыль и листья, стремительно носились по полямъ. Уже съ утра раздавались по временамъ глухіе, отдаленные раскаты; они гремѣли теперь безъ умолку и приближались; вмѣстѣ съ ними надвигалась и туча, сдѣлавшаяся теперь зловѣщею, чернильнаго цвѣта; точно летѣла она на встрѣчу. Темнота на землѣ, а туча на небѣ съ каждой секундой захватывали все больше и больше пространства; слышно было, казалось, какъ посреди грохота бушевавшаго вѣтра шумѣла она, комкая нижніе слои облаковъ и сдавливая воздухъ. Не успѣли нищіе отойдти къ опушкѣ лѣса и стать подъ дерево, она обняла изъ края въ край все небо. На секунду вся природа, какъ бы пораженная страхомъ, упала ницъ и смолкла... Сверкнула молнія, раздался страшный ударъ грома, за нимъ послѣдовалъ другой, сильнѣе перваго... Опять все какъ-бы смолкло; крупныя, тяжелыя капли дождя зашлёпали по дорогѣ, вѣтеръ закрутилъ деревьями, ударилъ ливень, и гроза заревѣла какъ бѣшеная... Промокнувъ до костей въ первую же минуту, нищіе согласились продолжать путь: больше ужъ вѣдь не вымокнешь; къ тому же не ночи здѣсь дожидаться. Увязая на каждомъ шагу, скользя, оступаясь и падая (сколько разъ въ это время Фуфаевъ вспомянулъ

вожака своего Мишку—одному Богу извѣстно!), добрались они кое-какъ къ ночи въ деревушку, лежавшую на перепутьи изъ Бабу́рина въ Новую-Отраду. Не слыша ногъ подъ собою, изнуренные, усталые, ка̀къ пришли они, та̀къ и повалились кто куда попалъ.

Но неудача такого странствованія съ лихвою вознаградилась на другой день въ Новой-Отрадѣ, куда нищіе прибыли за часъ до обѣдни. Сборъ былъ отмѣнный: пришлось копеекъ по сорока на брата; но этимъ не окончилось: господа Новой-Отрады, въ ознаменованіе приходскаго праздника, давали обѣдъ своимъ крестьянамъ; нищая братія, какъ водится по обычаю, была приглашена раздѣлить трапезу. Верста̀нъ, дядя Мизги́рь и Фуфаевъ такъ усердно припали къ даровой баранинѣ, лапшѣ и кашѣ, что, вставъ изъ-за стола, почувствовали себя не въ силахъ идти далѣе. Такъ протянули они до вечера; вечеромъ не стоило пускаться въ дорогу: они остались ночевать въ Новой-Отрадѣ.

Въ продолженіи всего этого дня и даже ночью Петя не переставалъ думать о Мишѣ; ему стало казаться, не хотятъ ли нищіе въ самомъ-дѣлѣ бросить больнаго мальчика: о немъ не было и помину. Онъ рѣшился бѣжать въ слѣдующую же ночь, если завтрашній день старики не отправятся въ Прокѝслово. Но Петя ошибся въ своемъ предположеніи: на другое утро ни Верста̀нъ, ни дядя Мизги́рь не выразили малѣйшаго сопротивленія, сло́ва даже не сказали, когда Фуфаевъ намекнулъ имъ о четвертакѣ и объ уговорѣ вернуться къ мальчику. Они опять пошли тѣмъ же путемъ. День былъ чудесный: воздухъ, освѣженный вечернею грозою, пріятно щекоталъ ноздри, дороги провяли—все способствовало къ легкой, быстрой ходьбѣ. Часамъ къ двумъ пополудни достигли они Бабу́рина, соснули немножко, перекусили и пошли дальше.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что къ часамъ пяти были бы они въ Прокѝсловѣ, если бъ не встрѣтилось обстоятельство, которое разомъ изгнало ихъ намѣреніе. Верстахъ въ трехъ отъ знакомой намъ мельницы встрѣтили они бабу.

— Здравствуйте, родимые! сказала баба, повидимому не обративъ даже на нихъ большаго вниманія.

— Здорово, тётка, коли нѣчего дѣлать! отозвался Верста̀нъ. Нищіе прошли мимо, и баба прошла мимо. Пройдя, однакожъ, шаговъ двадцать, она неожиданно остановилась, повернулась къ нищимъ, которые продолжали подвигаться впередъ, съ минуту простояла въ раздумьи и вдругъ замахала руками.

— Эй, родимые! эй! крикнула она: — эй, дѣдушка! старичокъ, а старичокъ!...

Невниманіе „старичка“ привело ее, казалось, въ сильное волненіе; она крикнула еще громче.

— Чего тебѣ? спросилъ издали Верстàнъ.

Онъ остановился; остановились и другіе. При этомъ баба, суетливо поправивъ головной платокъ и продолжая размахивать руками, поспѣшила нагнать ихъ.

— Слышь, родимые, не вашъ ли тамъ мальчикъ? вымолвила она, указывая впередъ, въ ту сторону, гдѣ находилось Прокѝслово: — не вы ли оставили его тамъ, въ деревнѣ-то?...

— А что? уклончиво спросилъ Верстàнъ, предупреждая Фуфàева толчкомъ, а дядю Мизги́ря и Петю взглядомъ.

— Поди ты, касатики, что надѣлали-то! воскликнула баба: — я только оттедова; поди ты какихъ дѣловъ надѣлали!... ахти! ахти!...

— Ты толкомъ говори, тётка; тебя не разберешь никакъ. Какихъ дѣловъ надѣлали? кто? спросилъ Верстàнъ, выразительно покашливая и предупреждая товарищей, которые отъ перваго до послѣдняго насторожили слухъ.

— Кто надѣлалъ? Знамо, недобрые люди, касатикъ... нищіе, сказываютъ... Онъ, мальчикъ-то, добрѣ захворалъ у нихъ, они его и бросили... и было-то ихъ трое, родимый, вотъ сколько васъ, все одино. Бабу-то добрѣ жаль, касатикъ, старуху-то: поди ты какъ убивается... такъ и кричитъ, голосомъ кричитъ, касатикъ...

— Какая тамъ еще баба? нетерпѣливо спросилъ Верстàнъ.

— А какъ же! а старуха-то, у которой они мальчика-то оставили! съ живостью подхватила баба: — теперь я чай пропадетъ, сердечная!... То-то вѣдь грѣхъ какой!... Весь судъ собрался, становой Миколай Миколаичъ пріѣхалъ; сказывали, допросъ, вишь, какой-то учиняютъ...

— А что, развѣ мальчикъ-то померъ? спросилъ Верстàнъ, суетливо озираясь на стороны.

— Померъ, касатикъ, то-то и есть, что померъ! въ тотъ же день, какъ они его оставили у старухи-то, въ тотъ день и померъ...

Извѣстіе это произвело на каждаго изъ присутствующихъ различное дѣйствіе: Фуфàевъ, раскрывъ бѣлые зрачки, притупленно устремилъ ихъ въ землю и тяжко покрякивалъ, какъ-будто его били сзади палкой; сморщенное лицо дяди Мизги́ря скорчилось и выразило явное безпокойство; Верстàнъ съ суровой заботливостью поче-

салъ затылокъ. Что жъ касается до Пети, который до того времени впивался глазами въ лицо бабы и съ тяжкимъ замираніемъ сердца прислушивался къ каждому ея слову, онъ забылъ при этомъ извѣстіи весь страхъ, внушаемый Верстàномъ, выпустилъ палку, закрылъ лицо, бросился на межу и зарыдалъ во весь голосъ. Верстàнъ выхватилъ палку изъ рукъ остолбенѣлаго Фуфàева и быстро повернулся къ Петѣ; но благоразуміе удержало его.

— Ахти, родимый, что̀ это съ нимъ? жалостливо вымолвила баба, указывая на Петю.

— Должно-быть, мать вспомнилъ, возразилъ Верстàнъ:—недавно взятъ... все о ней сокрушается... Ну, тётка, прощай; намъ пора, добавилъ онъ, толкая Фуфàева.

— Такъ, стало, мальчикъ-то не вашъ... не вы его оставили? спросила баба.

— Вотъ! рàзи мы оттедова! Вишь идемъ отколѣ... издалече идемъ, родимая, издалече!... торопливо промолвилъ Верстàнъ, подходя къ Петѣ и приказывая ему встать тотчасъ же на ноги.

Но такъ-какъ Петя не разслышалъ приказанія и продолжалъ рыдать по прежнему, то Верстáнъ ухватилъ его за воротъ, поставилъ на дорогу и повелъ ускореннымъ шагомъ впередъ по направленію къ мельницѣ. Дядя Мизги́рь и Фуфàевъ, все еще словно ошеломленный извѣстіемъ, торопливо заковыляли по стопамъ его. Баба постояла минуты двѣ на мѣстѣ, раза два покачала головою, раза два поправила платокъ на головѣ, и пошла своею дорогой. Верстàнъ, должно-быть, слѣдилъ за нею глазами: едва успѣла она скрыться изъ виду, онъ тотчасъ же остановился. Онъ такъ былъ озабоченъ, что забылъ даже объ обѣщаніи выколотить изъ Пети послѣднія слёзы, лишь только уйдетъ баба: онъ не смотрѣлъ на него, хотя Петя продолжалъ такъ же горько плакать.

— Ну, ребята, дѣло плохо! проговорилъ Верстàнъ, не отрывая глазъ отъ горизонта и останавливая товарищей:—теперь думать нѣчего; долго думать—тому же быть... Того-и-смотри, рыскаютъ теперь понятые... на нихъ наткнешься; надо убираться. Смотри, ребята, не отставать! Что̀ скажу, то̀ и дѣлайте.

На томъ мѣстѣ, гдѣ они стояли, дорога окаймлялась съ обѣихъ сторонъ высокою рожью, которая колосилась; справа, въ полуверстѣ какой-нибудь, за полемъ, синѣла роща. Верстàнъ указалъ въ ту сторону; онъ велѣлъ только выбирать межи, а не ломиться прямо въ рожь.

— Какъ есть, значитъ, слѣдъ оставимъ... все единственно: написать, значитъ, куда, примѣрно, пошли, сказалъ онъ, пропуская поочередно товарищей въ поле и наблюдая, чтобъ рожь какъ можно была меньше смята въ этомъ мѣстѣ.

Полчаса спустя, они миновали рощу и снова пошли полями, которыя тянулись во всѣ стороны на неоглядное пространство. Такъ шли они нѣсколько верстъ безъ отдыха и очутились совершенно неожиданно на крутомъ пустынномъ берегу маленькой рѣчки.

— Смотри, не та ли это, гдѣ мельница, что̀ намедни проходили?... Не назадъ ли идемъ?... отрывисто промолвилъ Фуфаевъ, не сказавшій слова до настоящей минуты.

— Ужъ ты только иди; не прозѣваю, небось! грубо возразилъ Верстанъ, толкая Петю впередъ и подставляя палку слѣпому.

Край берега служилъ имъ теперь дорогой; Верстанъ увѣрялъ, что вода непремѣнно куда-нибудь да приведетъ. Само-собой разумѣется, каждый разъ, какъ показывалась деревня въ отдаленіи, или мельница, или виднѣлся человѣкъ, нищіе сворачивали въ сторону; они тщательно избѣгали встрѣчъ и вообще обходили всякое жилое мѣсто. Пройдя еще нѣсколько верстъ, Верстанъ замѣтилъ, что скаты долины, заключавшей въ себѣ рѣку, стали расходиться и вмѣстѣ съ тѣмъ подымались все выше и выше. Онъ предложилъ идти вѣрхомъ: ему удобнѣе было обозрѣвать мѣстность. Немного погодя, въ отдаленіи, между щеками долины, сверкнуло большое водное пространство, а за нимъ открылись плоскіе берега, уходившіе въ неизмѣримую глубину, потопленную послѣдними лучами солнца. Уже сумерки ложились на землю, когда нищіе достигли вершины нагорнаго берега, круто спускавшагося къ широкой рѣкѣ. Верстанъ сказалъ, что это была Ока. Весь этотъ скатъ покрытъ былъ на значительное пространство мелкимъ дубнякомъ и орѣшникомъ; забравшись въ эту чащу, нищіе могли считать себя внѣ всякой опасности: не только понятые, но самъ становой Миколай Миколаичъ не могъ бы теперь отыскать ихъ. Но Верстанъ все-таки не удовольствовался: ему крѣпко хотѣлось переѣхать рѣку и попасть скорѣе на луговой берегъ, принадлежавшій уже другому уѣзду.

Слѣва, немного подальше впаденія маленькой рѣчки въ Оку, раздавались голоса, привлекавшіе вниманіе Верстана и его товарищей, какъ взошли они на хребетъ берега: тò кричали паромщики, тянувшіе канатъ. Чего бы, кажется, лучше? Перевозъ былъ

подъ-рукою; но осторожность, внушенная многолѣтнимъ опытомъ, говорила Верстàну, что на парóмъ никакъ не слѣдовало соваться: прѝстань мѣсто притóчное, людное, бойкое; какого-какого народа тамъ не бываетъ! Легко могло статься, что становой Миколай Миколаичъ сдѣлалъ тамъ свои распоряженія касательно остановки всякаго, кто хоть сколько-нибудь похожъ на нищаго. Нѣтъ, о парóмѣ и думать нéчего. Не лучше ли направиться въ противоположную сторону, къ рыбацкимъ лодкамъ, которыя мелькали, какъ черныя крапины, на свѣтлой поверхности рѣки, отражавшей послѣднюю, блѣдную вспышку заката? Неблизко, конечно; къ тому жъ и дорога не совсѣмъ-ладная: вездѣ обрывы, да овраги, того и гляди повихнешь голову, ноги поломаешь; но вѣдь и то сказать: бѣда за плечами не малая! Нѣтъ, ужъ лучше въ дорогу! Всѣ согласились съ мнѣніемъ Верстàна; коноводъ былъ опытный, сказать нечего!

Небо ужъ вызвѣздѣло, а на землѣ было темно хоть глазъ выколи, когда нищіе приблизились къ челнокамъ, опрокинутымъ на песчаной отмели. Густое храпѣнье направило ихъ къ рыбаку, спавшему въ одномъ изъ челноковъ: они добудились его. Дѣло сладилось за два гроша; рыбакъ усадилъ ихъ всѣхъ въ одну лодку и повезъ черезъ рѣку. Дорогой не обошлось, разумѣется, безъ разспросовъ; но рыбакъ ничего не зналъ о происшествіи въ Прокѝсловѣ.

— А далеко ли Прокѝслово? сколько, примѣрно, верстъ отъ васъ считается? спросилъ Верстàнъ.

— Верстъ пятнадцать... а не то и всѣ двадцать—не знаю, заключилъ рыбакъ.

Ступивъ на луговой берегъ, нищіе словно пріободрились, кромѣ, впрочемъ, Пети и Фуфàева. Первый уже не плакалъ; но лицо его попрежнему оставалось печальнымъ и глаза не отрывались отъ той стороны, гдѣ темною, зубчатою стѣною подымался нагорный берегъ. Фуфáевъ не прерывалъ молчанія; время отъ времени онъ снималъ шапку, свирѣпо почесывалъ затылокъ и снова надвигалъ ее съ какимъ-то нахмуреннымъ, вовсе несвойственнымъ ему видомъ.

— Что̀ это, братъ, тамъ за деревня? спросилъ Верстáнъ, указывая къ лугу на огоньки, мелькавшіе въ отдаленіи.

— Село Болòтово, лаконически возразилъ рыбакъ, отпихиваясь отъ берега.

Отъѣхавъ саженъ десять, рыбакъ положилъ вёсла въ челнокъ и посмотрѣлъ машинально на лугъ; но нищіе успѣли исчезнуть въ

темнотѣ, потонлавшей весь берегъ; слышны были только шаги ихъ, постепенно слабѣвшіе и, наконецъ вовсе смолкшіе.

V.

Новый край. — Новыя лица.

А между-тѣмъ Сергѣй Васильевичъ Бѣлицынъ и его семейство, пробывъ дней пять въ Москвѣ, чтобъ повидаться съ родственниками (нѣтъ, кажется, такого человѣка въ Россіи, у котораго не было бы въ Москвѣ родственниковъ, особенно пожилыхъ и женскаго пола), Сергѣй Васильевичъ и его семейство подъѣзжали къ Петербургу. Но мы оставимъ ихъ на послѣдней станціи желѣзной дороги. Что жъ дѣлать! Повѣрьте, мы почти противъ воли лишаемъ себя удовольствія ввести читателя въ изящный кругъ свѣтскаго столичнаго общества. Какъ ни прискорбно, но на этотъ разъ намъ снова предстоитъ принести Петербургъ — эту Сѣверную Пальмиру, какъ до-сихъ-поръ называетъ его одна газета, — должны принести его въ жертву скучнымъ деревушкамъ, засыпаннымъ пылью или потопленнымъ въ грязи; необходимо намъ промѣнять общество столицы на общество неумытыхъ мужиковъ и необтесаныхъ мѣщанъ, изящные туалеты — на неуклюжіе зипуны и полушубки, покрытые заплатами, Невскій проспектъ — на пустынныя, глухія проселочныя дороги. Предлагаемый романъ такъ ужъ несчастливо сложился, что „порядочные люди“ стали въ немъ на второмъ и даже на третьемъ планѣ. Основываясь на этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ, было бы даже несправедливо говорить теперь о пріѣздѣ Сергѣя Васильевича и его семейства; дѣло подошло къ пріѣзду другаго семейства, а именно — семейства Лапши. Оно и безъ того ужъ ѣхало слишкомъ долго; но мы нимало не виноваты въ этомъ: намъ слишкомъ хорошо извѣстно, что на проѣздъ какихъ-нибудь четырехсотъ верстъ вовсе не требуется столько времени, хотя бы даже проѣздъ этотъ совершался въ телѣгѣ и въ одну лошадь, съ малыми ребятишками, съ горшками и всякою домашнею рухлядью. Въ такомъ промедленіи вся вина сполна падаетъ на Лапшу — ни на кого болѣе, какъ на Лапшу.

Первые два перевала отъ Мàрьинскаго онъ шелъ очень хорошо, былъ веселъ и даже бодрился, несомнѣннымъ доказательствомъ чего

служили его брови, которыя во все время рисовались черными, крутыми дугами на узенькомъ лбу его; на третьемъ перевалѣ лѣвая бровь какъ-будто зашевелилась и стала опускаться; на четвертомъ обѣ вдругъ разомъ ослабли и опустились; вмѣстѣ съ этимъ самъ онъ какъ-будто раскисъ и упалъ духомъ; слабость духа непосредственно, казалось, дѣйствовала у него на ноги — онъ объявилъ, что дальше никакъ не можетъ продолжать путь пѣшкомъ. Сколько ни усовѣщевала его Катерина, выставляя на видъ тяжесть подводы, плохой кормъ лошади и необходимость сажать на подводу малыхъ ребятъ, Лапша ничего не слушалъ: онъ легъ на возъ, и какъ ни безпокойно было ему лежать, потому-что, несмотря на всѣ его старанія устроиться удобнѣе, одно корыто всетаки совало ему уголъ въ спину, а чугунокъ долбилъ его въ бокъ, онъ не вставалъ ужъ съ воза и спалъ непробудно отъ станціи до станціи.

Въ первый день, какъ разстались они съ Мàрьинскимъ, Лапша не переставалъ говорить о лугѣ. Бесѣдуя съ мужиками, у которыхъ останавливался, онъ толковалъ съ ними о цѣли своего путешествія, говорилъ, что баринъ посылаетъ его въ луга, какъ главнаго надсмотрщика, какъ управителя, описывалъ имъ богатство края и при этомъ съ особеннымъ увлеченіемъ говорилъ объ арбузахъ, которые сѣялись тамъ все равно, что горохъ. Теперь ни о чемъ этомъ не было и помину; онъ, правда, охотно бесѣдовалъ съ мужиками и бабами, у которыхъ останавливался, но смыслъ рѣчей его былъ совсѣмъ другаго рода: слово арбузъ словно изгладилось изъ его памяти; онъ не переставалъ жаловаться и плакаться на горькую свою долю; другаго разговора не было, какъ тò, что отправляютъ-де его въ незнамую, дальную сторонушку. За чтò отправляютъ его? чѣмъ провинился онъ? Никакихъ, кажись, не было за нимъ ни художествъ, ни провинностей; жилъ онъ тихохонько въ родимой деревнѣ своей, Мàрьинскомъ, никого не трогалъ, никого не обижалъ, и было ему тамъ хорошее, привольное житье... Нажаловавшись такимъ образомъ дò-сыта, чтò, повидимому, располагало его всякій разъ къ успокоенію, онъ забирался къ мужику на печку, или заваливался на сѣновалъ и, прокрякавъ, проохавъ тамъ нѣсколько времени, засыпàлъ какъ мертвый. На другой день, или вообще, когда приходилъ часъ отправленія, Катерина не какъ не могла его добудиться. Потягóта, спанье, разговоры да разныя проминанья — все это, конечно, сильно замедляло путь.

Нужно было имѣть терпѣніе Катерины, чтобъ не колотить такого мужа, не сбросить его съ воза и не оставить его на дорогѣ. Въ другое время она, быть-можетъ, не дала бы ему такой потачки—не сталъ бы онъ у ней занимать на возу мѣсто, предназначенное дѣтямъ; но Катерина была замѣтно чѣмъ-то сильно озабочена. Горе дѣйствуетъ на иныхъ людей раздражительно; другіе дѣлаются кроткими, мягкими и снисходительными, когда тоска западаетъ на сердце. Она не переставала думать о Петѣ; сто разъ на дню поминала она Машѣ о немъ: „Гдѣ онъ теперь, сердечный? куда дѣлся, дитятко ненаглядное? живъ ли еще?“ Не такъ жалко было ей потерять другаго мальчика, хоть бы Костюшку: Петя былъ ея любимый; но такъ, вѣроятно, казалось ей, потому-что Костюшка находился на глазахъ ея, а Петя... Пети не было!

Другія думы немало также занимали ее: ей жаль было Мар'инскаго, жаль было родины, гдѣ прожила она вѣкъ свой, возрастила и вскормила дѣтей своихъ; но, съ другой стороны, не могла она не радоваться, что навсегда избавилась отъ злодѣя Филиппа, отъ нареканій и преслѣдованій міра, который вымѣщалъ на нихъ злобу, пробужденную дѣйствіями мужнина брата; она мысленно благодарила господъ, которые вникли въ ея положеніе и удалили ее отъ людской несправедливой ненависти. Она часто также думала о дочери Машѣ, и вмѣстѣ съ этою мыслью ей снова жаль было оставленной родины: вотъ дѣвка ужъ почитай-что на возрастѣ, замужъ давно бы пора, и женишокъ ужъ навязывался, славный такой, почитай свой совсѣмъ, знакомый человѣкъ издавна; мастерство также у него хорошее: столярное дѣло всегда грошъ дастъ; кромѣ-того, отъ дома, отъ семьи человѣка не отрываетъ. Ваня-столяръ обѣщалъ, впрочемъ, какъ прощался, навѣдаться въ степь; но вѣдь человѣкъ молодой, и рѣчи его, стало-быть, молодыя: долго-ль забыть ихъ? Въ этомъ послѣднемъ соображеніи Маша, казалось, раздѣляла мысли матери; во все продолженіе дороги она мало говорила, ни разу не улыбнулась, и часто мать заставала ее со слезами на глазахъ.

Одни только ребятишки да еще Волчокъ не унывали и были веселы. Послѣдній во всю дорогу шествовалъ впереди лошади; онъ такимъ крутымъ кренделемъ закручивалъ хвостъ, сохранялъ такой важный видъ, что можно было думать, что кто-нибудь объяснилъ ему значеніе и отвѣтственность авангарднаго пóста; онъ измѣнялъ роли въ тѣхъ только случаяхъ, когда путешественники подходили

къ деревнѣ; не хотѣлось ли ему заводить новыхъ знакомствъ по дорогѣ, или вообще руководилъ имъ опытъ, говорившій, что́ стоитъ показаться въ любой деревнѣ чужой собакѣ, чтобъ туземныя принялись трепать ее изо всей мочи—неизвѣстно; но Волчо́къ припускалъ тотчасъ же во всѣ лопатки и летѣлъ по задамъ. Миновавъ деревню, семейство Лапши находило его всегда сидящаго на дорогѣ съ круто завороченнымъ хвостомъ и висящимъ языкомъ.

Что жъ касается до безумной Дуни, несчастной жены Филиппа, она оставалась почти тою же, какою была въ Мàрьинскомъ. Такъ-какъ никто теперь не приставалъ къ ней, никто не дразнилъ ее, то она казалась спокойнѣе и вообще выказывала больше кротости и покорности: она шла, когда или другіе, ложилась спать, когда приходило къ тому время. Раза два только возвращался къ ней припадокъ: она падала нà-земь, начинала биться и отчаянно призывала Стёпку; но Катерина скоро уговаривала ее—и Дуня продолжала слѣдовать за подводой, снова убаюкивая свою палку или сбивая головки желтыхъ пупàвокъ, которыя росли въ изобиліи по межамъ.

Такимъ-образомъ, переѣзжая изъ деревни въ деревню, изъ одного уѣзднаго городка въ другой, Катерина и ея семейство приблизились наконецъ къ цѣли своего путешествія. На послѣднемъ перевалѣ имъ сказали, что до хутора помѣщицы Ивановой или Ивàнихи (она была больше извѣстна подъ этимъ именемъ) оставалось всего двѣнадцать верстъ. Извѣстіе это подѣйствовало особенно на Тимоѳея; силы его разомъ воскресли; онъ не хотѣлъ даже отдыхать, поминутно заглядывалъ, подбираетъ ли лошадь кормъ, и не давалъ покоя женѣ, торопя ее въ дорогу. По словамъ его, не слѣдовало бы даже здѣсь останавливаться: лошадь, конечно, устала, но двѣнадцать лишнихъ верстъ не уморятъ ее; слѣдовало прямо ѣхать на хуторъ и тамъ уже отдохнуть хорошенько за всю дорогу.

Было прекрасное іюньское утро, и солнце только-что взошло, когда семейство покинуло деревню. На протяженіи послѣднихъ этихъ двѣнадцати верстъ Лапша не разу не ложился на подводу: онъ шелъ впереди, вмѣстѣ съ Волчкòмъ, высоко приподымалъ брови и такъ бодро поглядывалъ на стороны, какъ-будто хотѣлъ сказать: „вотъ теперь лежать небось не стану, потому-что цѣль достигнута, дѣло въ рукахъ; а есть чѣмъ заняться, есть надъ чѣмъ хлопотать; лежать теперь не время, хлопотать надо—да...“

Катерина, къ которой, повидимому, обращались эти рѣчи, не

смотрѣла даже на мужа; но бодрившійся Лапша не обижался ея невниманіемъ: напротивъ, онъ снисходительно ухмылялся въ жиденькую свою бороду и потряхивалъ головою съ видомъ человѣка, который привыкъ, чтобъ ему противорѣчили и чтобъ его не понимали. Онъ не переставалъ выхвалять степныя мѣста съ такимъ жаромъ, какъ-будто неожиданно перескочилъ сюда прямо изъ Мàрьинскаго (оно отчасти такъ и было, потому-что онъ спалъ всю дорогу), хвалилъ рожь, которая стлалась по обѣимъ сторонамъ и только-что начинала колоситься, хвалилъ почву, хвалилъ траву; изъ словъ его дѣлалось очевиднымъ, что если бъ такую землю да въ Мàрьинское — ну, тогда другое было бы дѣло! было бы тогда изъ чего хлопотать и надъ чѣмъ трудиться. Онъ не только сталъ бы тогда обработывать свои двѣ нивы (что̀ такое двѣ нивы? — пустяшное, нестоющее дѣло!), но сталъ бы непремѣнно каждый годъ приманивать и примахивать цѣлыхъ десять, потому дѣло выходитъ такое, есть изъ чего хлопотать по-крайности. Катерина на все это опять-таки ни слова не возражала, но лицо ея, время отъ времени обращавшееся къ мужу, ясно говорило: „дѣловой человѣкъ, мой батюшка, дѣлецъ, нѣчего сказать!...“

Какъ ни забавны были восторженныя рѣчи Тимоѳея, въ нихъ заключалась однакожъ частичка правды. Рожь была дѣйствительно несравненно выше, чѣмъ въ Мàрьинскомъ; цвѣты чаще и пестрѣе просвѣчивали между желтѣющими стволами хлѣба; трàвы на межахъ казались и гуще, и разнообразнѣе; земля чернѣла какъ уголь и была словно насквозь пропитана желтоватымъ какимъ-то сокомъ; колёса телѣги оставляли по дорогѣ, омоченной утренней росою, глянцовитые, лоснящіеся слѣды. Производительная сила степнаго края еще замѣтнѣе выказывалась въ лѣсахъ: часто въ одной группѣ встрѣчались липа, вязъ и молодой клёнъ, который выставлялъ свои лапчатые, сквозные листья изъ-подъ темной зелени стараго дуба — старшины сосѣднихъ деревъ; иногда попадались цѣлыя липовыя рощи; вообще, весь край принималъ характеръ плоскій, но широкій, просторный и размашистый; небосклонъ уходилъ дальше, горизонтъ дѣлался синѣе, и ярче окрашивались луга при солнечномъ закатѣ.

Но всѣ эти особенности, составлявшія характеристику и красоту края, встрѣчали самое полное равнодушіе со стороны всѣхъ нашихъ путешественниковъ безъ исключенія. Простолюдинъ смотритъ на природу своимъ особеннымъ взглядомъ. Береза для него самое

лучшее дерево: и на верею хороша, и на лучину годится, и топливо самое жаркое; старая, раскидистая липа имѣетъ цѣны на столько, на сколько можно надрать съ нея лубковъ и выпилить колодъ для пчелъ; смотритъ ли простолюдинъ на рѣку, красиво изгибающуюся по долинѣ, онъ думаетъ о рыбѣ; встрѣчаетъ ли дубъ, покрывающій тѣнью цѣлое стадо, ему кажется: вотъ срубить бы пора; такъ стоитъ — гніетъ безъ пользы, простоитъ еще годъ, другой — всю сердцевину выѣстъ, ни одной доски тогда не выпилишь; устремляется ли случайно взоръ его къ широкому простору, убѣгающему въ синюю, туманную даль, онъ восклицаетъ: „экъ что̀ земли-то! земли-то что̀!...“ и такъ далѣе; онъ всюду ищетъ пользы, но вовсе не изъ жадности — нѣтъ. Не потому ли происходитъ все это, что въ-самомъ-дѣлѣ много, много нуждъ у простолюдина? Посади-ка любаго изъ насъ натощакъ въ темную и притомъ холодную избу: по прошествіи сутокъ насъ даже страшно бы раздражали поэтическіе восторги по поводу красоты изгибающейся рѣчки или живописности какой-нибудь березы: рѣчка гроша не стоила бы, если бъ нельзя въ ней тотчасъ же наловить налимовъ на уху; дрова и лучина сдѣлались бы прямымъ, единственнымъ назначеніемъ самаго живописнаго дерева. Поэтическое воззрѣніе на предметы истекаетъ, повѣрьте, не столько отъ болѣе или менѣе богатыхъ свойствъ души, сколько отъ матеріальнаго довольства вообще и сытаго желудка въ особенности...

Солнце высоко стояло въ безоблачномъ небѣ, когда переселенцы подъѣхали къ маленькой деревянной часовнѣ, поставленной на перекресткѣ нѣсколькихъ дорогъ; одна изъ нихъ прямо вела на хуторъ; оставалась теперь одна верста. Но хуторъ до-сихъ-поръ не показывался: онъ терялся въ складкѣ почвы; къ тому же рожь такъ высока была подлѣ дороги, что невозможно было даже обозрѣвать мѣстность. Первое живое существо, встрѣтившееся путешественникамъ, была сѣрая собачонка съ желтыми, какъ янтарь, глазами и вострыми, стоячими ушами; она неожиданно выскочила изъ ржи; увидавъ Волчка̀, она остановилась, гордо подняла голову, на которой ясно, однакожъ, изобразилось пріятное удивленіе, и вдругъ скоро-скоро замахала мохнатымъ хвостомъ, торчавшимъ высоко надъ спиною; при этомъ Волчо̀къ, начавшій-было пятиться, круче еще прежняго закрутилъ свой крендель и побѣжалъ къ незнакомцу дробнымъ, но бережнымъ шажкомъ. Ребятишки, а за ними Лапша, начали кричать, свистать и звать Волчка̀; никто не

сомнѣвался, что сейчасъ же произойдетъ потасовка — ничуть не бывало: собаки съ минуту постояли другъ противъ дружки, какъ-бы испытывая одна у другой самыя сокровенныя мысли, потомъ обѣ вдругъ подпрыгнули, потомъ замахали хвостомъ и, ставъ, наконецъ, рядомъ, дружелюбно побѣжали впередъ по дорогѣ.

Встрѣча эта послужила, казалось, хорошимъ предзнаменованіемъ: немного дальше, изъ ржи вышелъ мужичокъ средняго роста, среднихъ лѣтъ, но уже посѣдѣлый; загорѣвшее лицо его далеко не отличалось красотою, но ласковое, добродушное выраженіе съ лихвою выкупало правильность чертъ; самая улыбка, съ которой поглядѣлъ онъ вслѣдъ дружелюбно бѣжавшимъ собакамъ, сразу показала въ немъ незлобиваго, мягкаго человѣка. Улыбка быстро исчезла, однакожъ, когда увидѣлъ онъ приближавшихся людей и подводу; онъ точно съ перваго взгляда понялъ, что то́ были какіе-нибудь переселенцы. Сильная привязанность нашего народа къ родимой почвѣ всегда пробуждаетъ въ немъ состраданіе и сочувствіе къ переселенцу. Незнакомый мужичокъ первый приподнялъ шапку и поздоровался. Лапша, какъ уже сказано, выступалъ теперь бодрымъ шагомъ и высоко держалъ брови; послѣднее это обстоятельство и предшествующія слова его достаточно свидѣтельствовали, что переселеніе въ лугъ снова получало въ его мнѣніи высокое значеніе. Съ первыхъ же словъ, сказанныхъ имъ незнакомцу, проглянуло желаніе выставить себя чѣмъ-то въ родѣ надсмотрщика и управителя; но Катерина тотчасъ же перебила его и заговорила совсѣмъ въ другомъ духѣ: она вскользь, только мимоходомъ, упомянула о лугѣ. Привѣтливо обратившись къ мужичку, она принялась разспрашивать, не найдется ли уголка въ хуторѣ, гдѣ бы можно было пріютиться ея семейству.

— Намъ, родной мой, хоть бы сараишка какой-нибудь, сказала она: — теперь лѣто, вездѣ можно помѣститься; хошь бы клѣтушку, и то не надолго, недѣльки на три, либо на четыре всего. Мы, батюшка, не то́, чтобъ... не алаберные какіе: у насъ деньги есть; мы, какъ водится промежь добрыхъ людей, за все разсчитаемся, заплатимъ. А насчетъ, что ребятъ оченно много, семья великая, это для хозяина послѣдняя будетъ забота. Вотъ у меня дочь большая: она за ребятишками присмотритъ коли мнѣ недосугъ, а эта у меня, примолвила она, указывая на Дуню, которая водила концомъ палки по дорогѣ: — эта хоша разумомъ повреждена, а смирная... ее не услышишь. Намъ бы только на короткое время,

недѣльки на три; больше бы не обезпокоили... Голосъ ли Катерины звучалъ прямотою, или вообще лицо ея способно было быстро располагать въ ея пользу, но незнакомый мужичокъ слушалъ ее съ выраженіемъ полнаго довѣрія.

— Что жъ! пожалуй, у меня остановитесь, коли по нраву, промолвилъ онъ, поглядывая на Лапшу, который (такъ показалось мужику) былъ словно чѣмъ-то недоволенъ. Мужичокъ не зналъ еще, что когда Лапша бодрился и приподымалъ брови, женѣ никакъ не слѣдовало перебивать его; онъ нешутя тогда обижался, по нѣсколько часовъ слова не говорилъ и дулся. Замѣчено уже было выше, что, въ бодромъ настроеніи, Лапша считалъ Катерину вздорной, пустяшной бабой; если онъ молчалъ, то единственно потому, что проникался тогда сознаніемъ превосходства своего надъ нею.

— Можетъ, ты это такъ только, по своей по доброй душѣ говоришь, родной... можетъ въ тяготу тебѣ насъ пустить? продолжала Катерина.

— Никакой тяготы не будетъ, съ спокойнымъ добродушіемъ возразилъ мужикъ:—была бы ваша охота, а мнѣ что? Я да жена—насъ только двое и есть... да еще трое ребятишекъ махонькихъ, вотъ все равно, что ваши... поровёночки должно быть. Былъ большой сынъ, да померъ. Что жъ мы стоимъ? пойдемте; дорогой поговоримъ. Какъ те звать-то? добавилъ онъ ласково, обратившись къ Лапшѣ.

Тимоѳей неохотно какъ-то объявилъ свое имя.

— А тебя какъ?

— Меня зовутъ Андреемъ.

— Ну, пойдемте.

— Пойдемте.

По мѣрѣ того, какъ они шли да бесѣдовали (разговаривали, впрочемъ, только Андрей и Катерина; Лапша продолжалъ дуться), хуторъ, окруженный со всѣхъ сторонъ полями ржи, началъ выступать наружу. Онъ такъ былъ незначителенъ, что лѣтомъ, когда колосилась рожь и высокою стѣною становилась кругомъ, легко было пройдти мимо въ трехъ-стахъ шагахъ и вовсе не замѣтить его. Было всего-на-все двѣ избы да три низенькія плетневыя мазанки—хорошія, впрочемъ, мазанки, приземистыя, плотныя; избы стояли рядомъ, а мазанки лѣпились насупротивъ; пространство между ними носило гордое названіе п о р я д к а, или улицы. Въ концѣ улицы сверкалъ, какъ зеркало, прудъ, который такъ былъ малъ,

что одна старая дуплистая ветла наполовину покрывала его своею тѣнью; къ пруду однимъ бокомъ примыкалъ садъ, казавшійся густою, сплошною массою листьевъ, молодыхъ яблокъ, синихъ сливъ и грушъ; нѣкоторыя деревья повалили кое-гдѣ плетень, и вѣтви, отягченныя плодами, рвались впередъ, будто искали простора. Изъза сада робко выглядывали двѣ низенькія, какъ-бы приплюснутыя, соломенныя крыши; надъ ними выставлялась третья съ приглаженной соломой и бѣлой трубой. Галки и воробьи, лютѣйшіе враги помѣщицы, у которой садъ и ягоды составляли главный источникъ дохода, стаями перелетали съ кровли на кровлю; иногда съ той стороны раздавались вдругъ восклицанія въ родѣ слѣдующихъ: „Кѝшь-ки-и-шь, ки́-и-шь! Кѝшь, пострѣлы!“ и тогда птицы разомъ вскидывались всѣ на воздухъ, начинали водить торопливые круги надъ усадьбой, или стремительно, какъ градъ, сыпались на старую ветлу, осѣнявшую прудъ. За прудомъ шелъ небольшой, мокрый лужокъ, сходившійся косякомъ между полями ржи, которая, разливаясь мягкими волнами, убѣгала въ необозримую даль, подернутую легкимъ пàромъ, струившимся на солнцѣ. Во всѣ стороны хутора, куда ни кинешь взглядомъ, всюду бѣжали ровныя поля и желтѣла рожь, перехваченная лугами, которые сливались съ небосклономъ.

На хуторѣ считалось тридцать душъ по послѣдней ревизіи, и хуторъ назывался: Панфѝловка. Названіе свое получилъ онъ совершенно случайно; не купи его въ свое время покойный мужъ помѣщицы, котораго звали Панфиломъ, хуторъ могъ бы теперь называться Петро́вкой, Астафьевкой, Вафусьевкой, и т. д., смотря по имени владѣльца. Покойникъ служилъ въ ближайшемъ уѣздномъ городкѣ сначала протоколистомъ, потомъ канцелярскимъ служителемъ и, дослужившись черезъ тридцать лѣтъ до земскаго засѣдателя, пожелалъ отдохнуть и купилъ хуторокъ (въ то время можно еще было выслужившимся протоколистамъ покупать крестьянъ). Съ-тѣхъпоръ много утекло воды, многое перемѣнилось. Земскіе засѣдатели, надо думать, были тогда гораздо бѣднѣе теперешнихъ; по всему видно, они были также скромнѣе нынѣшнихъ засѣдателей. Покойный Панфилъ Ивановъ до послѣдней своей минуты не переставалъ восхищаться хуторомъ; по цѣлымъ днямъ сидѣлъ онъ на дворѣ и гонялъ голубей, или ложился подъ густыми яблонями сада. Онъ говорилъ, что ему теперь ничего не надо, что Богъ благословилъ его, что живетъ онъ словно въ раю какомъ. Представьте же себѣ,

я знаю теперь засѣдателя, который купилъ двѣ деревни и постоянно недоволенъ: бранитъ крестьянъ, бранитъ мѣстность—все бранитъ. Онъ, слышалъ я, недоволенъ даже прекрасной липовой рощицей, которая раскинулась передъ его домомъ; онъ хочетъ уничтожить ее и разбить на этомъ мѣстѣ паркъ въ англійскомъ вкусѣ... Но все это, естественнымъ образомъ, выходитъ, впрочемъ, изъ потребностей вѣка. Теперь все рвется къ просвѣщенію, и даже самые засѣдатели, какъ видите, разбиваютъ англійскіе парки въ своихъ помѣстьяхъ...

VI.

Продолженіе.

Мужичокъ Андрей, представлявшій нѣкоторымъ образомъ одну тринадцатую долю состоянія бывшей засѣдательши, помѣщался съ женою и дѣтьми въ мазанкѣ; но это рѣшительно ничего не доказывало: во-первыхъ, хорошая мазанка ничуть не хуже нашей обыкновенной избы, и наконецъ мазанка Андрея считалась чуть ли не лучшею въ околодкѣ. Между нею и ея хозяиномъ было даже что-то общее: она также не казиста была на видъ, но стоило взглянуть на нее, чтобъ понять сразу, что въ ней жилъ честный, трудолюбивый хозяинъ. Все лѣпилось неуклюже, если хотите, но было такъ хорошо, такъ плотно и чисто смазано; окна не отличались правильностью и пріятными размѣрами, но всѣ стёкла были цѣлы; стропила кровли и гнилу́шки въ углахъ нигдѣ не просвѣчивали. Дворъ Андрея могъ служить образцомъ крестьянскаго двора; сани и зимнія снасти укладывались рядкомъ на верхнихъ балкахъ подъ крышкою навѣса; въ старыхъ голубоватыхъ плетняхъ мелькали кой-гдѣ свѣжіе зеленые прутья жимолости, вплетенные для поддержки; солома, назначенная для печенія хлѣбовъ, громоздилась въ углу, связанная въ снопы; словомъ, куда ни глянешь, всюду хорошо.

Уже самая наружность мазанки пришлась Лапшѣ не по-сердцу. Войдя во дворъ, онъ окончательно нахмурился. „Нѣтъ, это не свой братъ...“ сказалъ самъ себѣ Лапша, и съ этой минуты лѣвая бровь его стала какъ-будто опять клониться книзу. Бодрость и разговорчивость, такъ внезапно овладѣвшія Тимоѳеемъ на послѣдней станціи, получили бы, безъ сомнѣнія, сильное подкрѣпленіе, если бъ вошелъ онъ во дворъ къ раззоренному крестьянину; но здѣсь

ему было неловко. „Нѣтъ, это не то... Это не свой братъ!...“ мысленно повторялъ онъ, уныло поглядывая на стороны.

На стукъ въѣхавшей подводы выбѣжали, одинъ за другимъ, ребятишки Андрея; за ними явилась жена его, женщина немолодая, почти однихъ лѣтъ съ мужемъ. Съ первыхъ словъ, которыми поменялись они, видно было, что жили они хорошо и согласно. Участіе, которое тотчасъ же приняла хозяйка въ Дунѣ, быстро сблизило ее съ Катериной; онѣ разговорились; ребятишки Катерины жались подлѣ матери; ребятишки Андрея стояли насупротивъ и глядѣли на гостей во всѣ глаза. Наконецъ ихъ оставили глазѣть другъ на дружду. Катерина и Прасковья (такъ звали хозяйку) присоединились къ Тимоѳею, Андрею и Машѣ; первые два, то есть, больше, впрочемъ, Андрей, распрягали лошадь; вторыя развязывали возъ, чтобы вынуть чистыя рубашонки, въ которыхъ сильно нуждались братья. Ребятишки, предоставленные собственному произволу, минуты двѣ стояли молча; у каждаго указательный палецъ находился во рту; потомъ начали они слегка подталкивать другъ друга локтемъ, и наконецъ всѣ шестеро побѣжали на улицу. Когда, по прошествіи часа, хозяева и гости сошлись къ обѣду, мальчуганы окончательно уже сдружились; оказалось даже, что Костюшка далъ тумака Васькѣ, а Гараська подставилъ ногу Авдюшкѣ.

За обѣдомъ хозяинъ и хозяйка приступили съ разспросамъ: имъ хотѣлось узнать подробнѣе, въ чемъ именно заключалась главная цѣль переселенія. Катерина передала имъ, какъ могла, объясненія и наставленія, полученныя ею въ Мàрьинскомъ. Какъ только заговорила она, Лапша замолкъ, но улыбка легкаго пренебреженья бродила на губахъ его; онъ во все время потряхивалъ головой, какъ-бы мысленно опровергая каждое ея слово.

— Воля твоя, тётка, а я все-таки въ толкъ не возьму, сказалъ Андрей, когда кончила Катерина: — не стòитъ, воля ваша, не стòитъ изъ-за этого строиться... не стòитъ переселять, да тратиться — воля ваша! Вѣдь лугу-то всего триста десятинъ какихънибудь, и тѣхъ, можетъ, не наберется; кто ихъ мѣрилъ!...

— Мы этого, родной, ничего не знаемъ.

— А коли не знаешь, такъ не говори, неожиданно перебилъ Лапша тономъ человѣка, вступающаго въ разговоръ такъ только, изъ снисхожденья: — и не говори лучше. Стало-быть, знаютъ, чего лугъ-то стоитъ, коли послали...

— Что жъ онъ сто́итъ-то по-твоему? спросилъ, посмѣиваясь, Андрей.

— А то сто́итъ, произнесъ Лапша, глубокомысленно насупливая брови: — у насъ десятину-то лу́га за четыре рубля въ наемъ отдаютъ... Ну и сосчитай, чего триста-то десятинъ стоютъ.

— Да то, вѣдь, говоришь ты, у васъ. У насъ поди-ка отдай по четыре-то рубля — тебѣ глаза высмѣютъ. Знамо дѣло, кабы да этотъ лугъ перенести въ ваши мѣста — ну, тогда было бы изъ чего хлопотать; а до васъ верстъ-то съ полтысячи: поди-тка перевези туда сѣно-то!... Дай намъ половину, хоть одну третью долю дай той цѣны, что̀ говоришь, у насъ тогда денегъ куры бы не клевали! А почему у насъ ни у кого денегъ нѣтъ? почему? потому что Господь посылаетъ намъ всего вволюшку, да сбыть-то некому! Вотъ хошь бы у меня теперь: весь домъ обыщи, копейки не найдешь, а глянь на гумно: позапрошлый хлѣбъ, и того много.

Лапша заикнулся-было о гуртовщикахъ и воловьихъ стадахъ, которыя прогоняли по лугамъ, но замѣчаніе его возбудило только смѣхъ Андрея. „Да̀, какъ же! гуртовщики такіе дураки, что станутъ гонять на авось скотину! У каждаго гуртовщика, гоняющаго скотъ большими партіями, луга сняты заранѣе по всей дорогѣ, сняты на многіе годы и по контракту.“ Андрей привелъ въ примѣръ богатаго мѣщанина, гуртовщика Каря̀кина, который жилъ отъ нихъ въ четырехъ верстахъ: у него было своихъ, коренныхъ, полторы тысячи десятинъ; онъ тутъ даже и поселился; кромѣ этого, Каря̀кинъ принанималъ еще луговъ у сосѣднихъ помѣщиковъ, въ томъ числѣ и у Ивановой. Андрей помнилъ хорошо, что Иванова отдавала лугъ Вѣлицыныхъ рублей за сто ассигна̀ціями Каря̀кину.

— А все же, слышь, сто рублей! перебилъ радостно Лапша.

— Ну такъ что жъ?

— А то же, что сто рублей! повторилъ Лапша, какъ-бы поддерживая Андрея.

— Ну, хорошо, сказалъ тотъ: — возьми-ка сосчитай теперь, что̀ будетъ стоить вамъ построиться на этомъ лугѣ — это разъ; потомъ, чего стоило перевезти васъ — выходитъ, когда жъ вы поверстаете прибыль-то на убытки, а? Ну, то-то же и есть!... Ну, да это дѣло господское; такая, значитъ, ихняя была воля. А вотъ теперь другое пойдетъ дѣло, примолвилъ Андрей, обращаясь къ женѣ: — то-то, я чай, расходится наша Анисья Петровна, какъ

провѣдаетъ обо всемъ этомъ... Шутка! почитай десять лѣтъ лугомъ-то ихнимъ владѣетъ!

— Я и то сижу такъ-то да думаю, сказала Прасковья: — думаю: шибко больно разобидится; пожалуй, что на насъ осерчаетъ: зачѣмъ, скажетъ, ихъ къ себѣ пустили!

— Вотъ!... Надо же гдѣ-нибудь имъ остановиться; не у насъ, такъ у другаго. Не въ полѣ же имъ жить, не цыгане — она сама, чай, знаетъ. И то сказать, сердце ея не долгое: покричитъ, покричитъ, да и уймется: у ней все такъ.

— А что, родные, какая она у васъ? спросила Катерина, которой хотѣлось вообще разузнать о нравѣ помѣщицы прежде, чѣмъ къ ней представиться.

— Нечего, живемъ, по милости Господней, отвѣчалъ Андрей: — ни въ чемъ пока не нуждаемся, всякаго жита есть у насъ, да и у всякаго, кто не любитъ лежать скламши руки. Ничего; помѣщица хорошая; одно развѣ: ужъ оченно хлопотлива, во всякую, самую нестоющую мелочь, до всего сама доходитъ; у ней нѣтъ этого: позвала крестьянина или бабу, сказала: „то, молъ, и то дѣлай“ — сама идетъ! Пахать рано выйдешь, съ солнцемъ выѣдешь — а поля наши не ближнія, смотришь — она тамъ тебя дожидаетъ! И женщина ужъ не молодая, да тучная, рàжая такая, а ничего нѣтъ этого въ ней, никакой, то-есть, устали не знаетъ! Особливо дивимся мы въ жнитво: такъ съ поля тогда почитай и не сходитъ; прійдетъ на зарѣ, вечеромъ уходитъ; да какъ, братецъ ты мой, добро бы сидѣла да поглядывала, какъ жнутъ — сама жнетъ! Возьметъ это серпъ: „эхъ, скажетъ, какія вы бабы слабыя да лѣнивыя! вотъ, говоритъ, какъ надо!“ станетъ впереди всѣхъ и почнетъ жать, и почнетъ... никто за ней не угонится! Въ полдень даже, и то воздохнуть не дастъ; тутъ же, у бабы у какой-нибудь, возьметъ хлѣбца, хлебнетъ кваску и опять пошла... Диковинное дѣло, какъ осиливаетъ! Такъ бабы-то за ней и валятся съ устали, а она ничегохонько! Оботретъ только потъ, и опять, и опять... Вотъ хозяйка моя теперь даже, и то спину-то почесываетъ. Подлинно сказать: жутко приходится въ жнитво бабамъ: опосля жнитва-то недѣли двѣ не разогнешь спины-то...

Хотя Лаша не принадлежалъ Анисьѣ Петровнѣ, однакожъ разсказъ о непосильной работѣ невольно перенесъ его мысли къ Мàрьинскому: онъ снова вспомнилъ о немъ съ сожалѣніемъ. Тамъ, правда, мужики были очень бѣдны — ни у кого еще зимою не на-

шлось бы лѣтошняго хлѣба, но за-то, благодаря старости и снисходительности Герасима Аѳанасьевича, каждый могъ лежать на печи сколько вздумается.

— Ну, а что? какъ она въ разговорѣ-то? сердита? кричитъ? спросилъ Лапша, стараясь улыбнуться, но въ сущности, не безъ смущенія помышляя о предстоящемъ свиданіи съ помѣщицей.

— Да ништо-таки: покричать любитъ, любитъ покричать... Знамо, дѣло женское: другимъ чѣмъ нельзя взять, онѣ голосомъ! философически замѣтилъ Андрей: — ужъ на что: воробьевъ, либо галокъ начнетъ гонять у себя по двору, у насъ даже и то слышно! А ужъ какъ осерчаетъ, не уймешь никакъ, такъ съ дуба и рветъ: добрѣ голосиста, такъ инда вся даже покраснѣетъ... Вотъ услышишь: она, чай, сильно на васъ нанустится... Знамо, вѣдь почитай лугъ-то своимъ считали, десять лѣтъ владали...

Лапша, у котораго обѣ брови начали приближаться къ носу, вдругъ тяжко закашлялся.

— Что ты, батюшка? спросила хозяйка.

— О-охъ! простоналъ Лапша, раскашлясь окончательно: — грудь добрѣ пуще схватило... о-охъ! Усталъ оченно съ дороги-то... о-охъ! шутка, сотъ пять верстъ прошли...

Катерина, изъ опасенія, вѣроятно, чтобъ хозяева не смекнули, въ чемъ дѣло, поспѣшила сказать, что мужъ давно жалуется грудью; причиною того было паденіе его въ оврагъ. Паденіе это мигомъ перенесло ее къ той несчастной ночи, когда она лишилась Пети. Грусть, изобразившаяся въ лицѣ ея, не ускользнула отъ Прасковьи; слово за словомъ, Катерина повѣдала ей свое горе. Въ разсказѣ этомъ Лапша находился почти въ сторонѣ, а если являлся дѣйствующимъ лицомъ, то, по словамъ Катерины, игралъ роль жертвы страшнаго обмана. Не знаю, что чувствовалъ въ это время Лапша, но онъ силился какъ-бы подтвердить слова жены и показывалъ присутствующимъ, на сколько способенъ вообще быть жертвой, если не обмана, то усталости. Когда пришло время идти къ помѣщицѣ съ письмомъ Сергѣя Васильевича, Лапша до-того закашлялся, что едва могъ перевести духъ; онъ пробовалъ было подняться на ноги и пойдти за женою, но никакъ не осилилъ.

— Нѣтъ, ужъ сходи-ка ты одна, промолвилъ онъ, садясь на лавку и тоскливо покачивая головою: — все одно, и ты письмо-то отдашь... О-охъ, такъ инда даже къ самому сердцу подкатило!...

Прасковья взялась проводить Катерину до господскихъ хоромъ.

Почти въ воротахъ встрѣтили онѣ маленькую, суетливую бабёнку; она сказала, что барыня прислала ее развѣдать поскорѣе, какіе-такіе пріѣзжіе остановились у Андрея. Бабёнка эта вся, казалось, состояла изъ суеты, болтливости и любопытства; имя ея было Пелагея; но барыня, а за нею и весь хуторъ, звали ее Пьяшка. „Пьяшка, поди-ка сюда! Эй, Пьяшка! Пьяшка!“ Пьяшка засыпала Катерину вопросами: откуда? зачѣмъ? какъ да почему? Хозяйка Андрея оставила съ ней Катерину и пошла домой. На протяженіи шестидесяти шаговъ, отдѣлявшихъ домъ Анисьи Петровны отъ крестьянскихъ жилищъ, Пьяшка такъ уже сблизились съ Катериной, что стала разсказывать ей всю подноготную изъ житья-бытья барыни.

Они вошли на маленькій, но чистенькій дворикъ, покрытый мелкою травою съ протоптанными въ разныя стороны дорожками; плотный плетень окружалъ его; надъ плетнемъ съ одного бока весело выглядывалъ садъ, съ другаго гумно, съ третьяго амбарчики, съ четвертаго флигелекъ и крылечко дома, который почти всѣми своими окнами смотрѣлъ въ садъ. Подлѣ амбара стояли хорошенькія бѣговыя дрожки, въ которыя впряжена была статная сѣрая лошадь, обратившая вниманіе Катерины. Пьяшка поспѣшила сообщить, что лошадь и дрожки принадлежали сыну богатаго гуртовщика Карякина; отецъ почитай-что круглый годъ живетъ въ Саратовѣ по своимъ дѣламъ; сына здѣсь опредѣлилъ. Вотъ онъ, сынъ-атъ, и ѣздитъ къ Анисьѣ Петровнѣ; знамо, не даромъ ѣздитъ: сватается, говорятъ, за племянницей; она тутъ же, у тётки живетъ. Изъ себя, надо, красива; оченно только нравомъ пронзительна; а онъ, Ѳедоръ-то Иванычъ, Карякинъ-то, женихъ-то, красавецъ; только врядъ женится; такъ только время провождаетъ; къ тому же не таковскій, чтобъ жениться ему: оченно охотникъ къ бабамъ подольщаться — и-и, такой-то, бѣда! сущій припертень!... Тутъ Пьяшка подвела Катерину къ крылечку и замолкла; но, въ замѣнъ ея голоса, изъ сада послышались гнусливыя, пронзительныя взвизгиванья: „Кишь, кишь, пострѣлы! кишь!...“

— Это барыня воробьевъ гоняетъ, пояснила Пьяшка.

— Поди, доложи обо мнѣ, сказала Катерина.

— Зачѣмъ? Этого у насъ не водится. Иди, ступай прямо, валяй! ничего небось! лихо проговорила Пьяшка и однимъ прыжкомъ скакнула на верхнюю ступеньку.

Обѣ вступили въ маленькій не то чуланчикъ, не то прихожую; у окна на конникѣ сидѣлъ, сгорбившись, босой старикашка, за-

нимавшійся плетеніемъ сѣтки для вишневыхъ деревъ. Пьяшка сообщила, что его зовутъ Дрѣномъ: Дронъ—имя такое. Катерина узнала, сверхъ-того, что Дронъ и Пьяшка составляютъ всю дворию Анисьи Петровны. Былъ еще одинъ мальчишка, лѣтъ семи, бѣгавшій вѣчно въ прорванной рубашкѣ, но Пьяшка почему-то умолчала о немъ. Одна половина дверей была открыта и позволяла обозрѣвать слѣдующую комнату.

Стѣны ея—за исключеніемъ портрета покойника, у котораго ротъ изображенъ былъ въ видѣ сердца и какъ бы собирающимся свистнуть—стѣны вплотную увѣшаны были мѣшечками съ сѣменами и надписями; на одномъ означено было: рошъ, на другомъ: чечевица, на третьемъ: семя отъ дыни, и т. д. Сѣмена и трàвы разложены были по всѣмъ окнамъ и сушились на столикѣ у печки. Но не это привлекало вниманіе Катерины: въ задней стѣнѣ была еще дверь, которая открывалась въ садъ, жарко освѣщенный солнцемъ; прямо противъ этой двери, спиною къ Катеринѣ, стояла, нагнувшись, Анисья Петровна; она перебирала какія-то сѣмена, разостланныя на рядѣ по дорожкѣ сада; занятіе такъ поглощало ее, что Пьяшка три раза принуждена была крикнуть: „Анисья Петровна!“ прежде чѣмъ та разогнула спину и оберилась.

— А? чтò? чего ты, дура? что лѣзешь, мать моя... а? баба! да! произнесла вдругъ Анисья Петровна.

Она такъ гнусила, что въ первую минуту Катеринѣ показалось, что это происходило отъ натуги или отъ слишкомъ долгаго наклоненія головы къ землѣ.

Увидѣвъ изъ сада чужую бабу, Анисья Петровна молодецки подбоченилась и стала взбираться на ступеньки садовыхъ дверей, которыя пискнули, какъ-будто въ одинъ голосъ запросили пощады. Владѣлицѣ Панфиловки было уже лѣтъ подъ-шестьдесятъ; но такъ много еще было у нея силы, жира, мяса и крови, что ей слѣдовало непремѣнно или умереть сегодня же вечеромъ, или прожить еще полсотни лѣтъ. Волосы ея почти посѣдѣли; они прикрывались бѣлымъ каленкоровымъ, давно нестираннымъ чепцомъ съ какими-то узенькими оборочками; издали, ни дать ни взять, сѣдая голова стараго, гладко остриженнаго солдата. Красное и какъ-бы дутое лицо ея, съ вздернутомъ носикомъ, украшалось маленькими, зелеными глазами, которые захлебывались въ жирѣ и дѣлали немыслимыя усилія, чтобъ выкарабкаться оттуда. Но болѣе всего обратили на себя вниманіе Катерины руки помѣщицы. Руки дѣй-

ствительно были замѣчательны: о нихъ многіе даже говорили за десять верстъ въ окружности; особенно хорошо были онѣ знакомы покойнику и хохлу его (въ то время носили еще хохлы; но портретъ снятъ былъ, вѣроятно, незадолго до его смерти, потому-что хохла не было, а шла во всю голову одна лысина); покойникъ считалъ даже лишнимъ защищаться; въ этихъ случаяхъ онъ прижимался только къ стѣнѣ и на всякое новое потряхиваніе супруги приговаривалъ: „Зачѣмъ за сердитаго шла? зачѣмъ шла за сердитаго?...“ Впрочемъ, Анисью Петровну боялся не только покойникъ, но боялись даже всѣ мелкопомѣстные ея сосѣди; она была бѣдовая баба-гроза, какъ называли ее нѣкоторые: мало-мало что, сейчасъ прошеніе да въ судъ, гдѣ, вѣроятно, по старой памяти къ засѣдателю, всѣ, начиная отъ протоколистовъ до судьи, были ей кумовья и строчили ей просьбы за самую сходную цѣну; словомъ, по наружности своей Анисья Петровна напоминала всѣмъ извѣстную греческую Бобелину, а по внутреннему устройству была настоящая русская мелкопомѣстная вдова.

— Здравствуй, мать моя, прогнусила она, пытливо поглядывая на Катерину и все еще стоя подбоченясь. — Ты что торчишь здѣсь, дура полоротая? аль дѣла нѣтъ? пошла хлѣбы мѣсить! подхватила она, обращаясь къ Пьяшкѣ, которая впивалась въ Катерину, какъ-будто хотѣла вскочить ей въ глаза и въ ротъ въ одно и то же время. — Откуда Богъ принесъ, мать моя — а? откуда?

Съ такими словами Анисья Петровна отнеслась къ незнакомкѣ. Катерина поклонилась, сказала, откуда пріѣхала и подала письмо.

— Это что такое?... отъ кого, мать моя — а? отъ кого?...

— Нашъ помѣщикъ, Сергѣй Васильевичъ, велѣлъ отдать...

— Да я его не знаю, мать моя... никого такого не знаю... Зачѣмъ мнѣ его письмо?... Ты мнѣ просто скажи, зачѣмъ пріѣхала?

— Тутъ, стало быть, сударыня, о лугѣ писано...

— О какомъ лугѣ? а? какой лугъ? съ горячностью проговорила помѣщица: — какой лугъ, мать моя?... что за лугъ за такой?... чего надобно?... Ты толкомъ говори, какой лугъ?

— Тамъ, сударыня, все сказано...

— Да что мнѣ, сказано! что? *Ты* говори! загнусила Анисья Петровна, раскидывая въ стороны полы ситцеваго капота, еще весною требовавшаго мытья. Катерина нимало не сробѣла и разсказала въ короткихъ словахъ, въ чемъ дѣло.

— Ахъ, батюшки! ахъ, они разбойники! воскликнула Анисья Петровна, всплескивая руками и багровѣя вся какъ зобъ у индѣйскаго пѣтуха: — ахъ, отцы вы мои! какой же этотъ лугъ? ужъ не Кудлашкинскій ли? Ахъ, они разбойники, грабители окаянные! ахъ, отцы мои! подхватила она, снова всплескивая могучими своими ладонями и тараща глаза во всѣ стороны. — Батюшка, Ѳедоръ Иванычъ, заговорила она вдругъ, поворачиваясь къ третьей двери, выходившей въ сосѣднюю комнату: — Ѳедоръ Иванычъ, полно тебѣ на гитарѣ-то царапать! тринь-тринь-тринь, а толку никакого; подь сюда, дѣло есть... Ахъ, батюшки!...

Съ самаго появленія помѣщицы изъ сосѣдней комнаты слышалось бряцанье гитары, сопровождавшееся шопотомъ. Раза два горловой теноръ пропѣлъ даже первыя слова цыганской пѣсни:

Скинь-ка шапку, скинь-ка шапку
Да пониже поклонись!

При первомъ восклицаніи Анисьи Петровны все смолкло. Изъ дверей выскочилъ, потряхивая волосами, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-восьми, въ синемъ красивомъ казакинѣ, застегнутомъ на крючки, и нанковыхъ, непомѣрно-широкихъ шароварахъ. Чорные, кудрявые волосы его ниспадали правильнымъ каскадомъ по обѣимъ сторонамъ тщательно-прохваченнаго пробора и закладывались за уши; лоскъ волосъ и правильныхъ коричневыхъ усиковъ обличалъ, что ихъ часто смазывали, можетъ даже быть, помадой изъ губернскаго города. Молодой Карякинъ, изъ уваженія къ красотѣ своей, старался всѣми силами ее поддерживать. Красота его была, впрочемъ, изъ тѣхъ, которыя служатъ образцомъ художникамъ, пишущимъ вывѣски для цирюльниковъ и портныхъ третьяго разбора; но лучше было бы, если бъ Ѳедоръ Ивановичъ, изъ уваженія къ красотѣ своей, велъ жизнь болѣе правильную. Бойкость сѣрыхъ глазъ, окруженныхъ коричневою тѣнью, быстрота и юркость въ выраженіи нѣсколько-осунувшагося лица сразу показывали одного изъ тѣхъ записныхъ уѣздныхъ кутилъ, которые всюду являются на ярмаркахъ, проводятъ сутки съ цыганами, выпиваютъ по нѣсколько дюжинъ цымлянскаго, а потомъ, возвратившись въ усадьбу, развлекаютъ скуку, гоняясь съ двумя борзыми за зайцами, или бѣгая за бабами. Выскочивъ изъ двери, онъ быстро взглянулъ на бабу, потомъ на помѣщицу, поставилъ въ уголъ гитару и сказалъ съ развязностью:

— Что случилось, Анисья Петровна? что такое?

— Охъ, батюшка! вѣдь зарѣзали меня, разбойники, зарѣзали! воскликнула Анисья Петровна, выразительно тыкая себя въ грудь указательнымъ пальцемъ: — ограбить хотятъ, мошенники!... На-ка, прочитай, что они пишутъ, подхватила она, подавая письмо: — я вѣдь безъ очковъ не вижу (Анисья Петровна даже въ очкахъ плохо разбирала грамоту).

Карякинъ снова быстрымъ взглядомъ окинулъ Катерину, сломилъ печать и два раза шлепнулъ по письму, чтобъ его расправить. Въ ту же минуту изъ сосѣдней комнаты вышла молоденькая дѣвушка съ бѣлокурыми, круто-гофрированными волосами и полными, румяными щеками. Вообще, вся она, отъ пухлаго, но добраго лица и до оконечности пальцевъ, представлялась, даже подъ ситцевымъ платьемъ, какимъ-то тугоналитымъ огурчикомъ; словомъ, это было то, что называется сдобная лепешка. Этотъ избытокъ здоровья былъ, можно сказать, одною изъ главныхъ причинъ, по которымъ тётка спѣшила выдать ее замужъ. „Вишь вѣдь она здоровенная какая!“ говорила всегда тётка: „кровищи-то одной хватитъ на пять дѣвокъ! Какъ взыграется кровь-то—кто за нее поручится! Богъ съ ней совсѣмъ! лучше ужъ замужъ поскорѣй!“ Анисья Петровна очень радовалась посѣщеніямъ Карякина: человѣкъ богатый; ей самой, какъ на племянницѣ женится, помогать станетъ. Не дворянинъ, конечно; да вѣдь и племянница не Богъ вѣсть княжна какая: мать однодворчиха, такая же, какъ была Анисья Петровна до замужества...

Войдя въ комнату, Наташа (такъ звали дѣвушку) остановилась у печки и уже съ этой минуты не отрывала томныхъ, голубоватыхъ глазъ отъ Карякина; даже Катерина смекнула, что дѣвку нешутя вѣрно приворожилъ парень. Ѳедоръ Ивановичъ читалъ между-тѣмъ письмо. Сергѣй Васильевичъ въ изысканныхъ, деликатныхъ и даже нѣжныхъ выраженіяхъ высказывалъ неотъемлемыя права свои на владѣніе лугомъ. Но едва только объяснилось, что переселяемое крестьянское семейство тотчасъ же должно поселиться и завладѣть лугомъ, Анисья Петровна вырвала письмо, плюнула въ него, скомкала и швырнула на полъ.

— А! такъ вотъ васъ зачѣмъ сюда прислали! вскрикнула она, напускаясь неожиданно на Катерину: —вонъ, негодяи! вонъ! Ахъ ты... вонъ пошла, говорю!...

Катерина не трогалась съ мѣста.

— Ахъ ты, дерзкая тварь ты этакая! взвизгнула Анисья Петровна, вспѣниваясь и плескаясь какъ квашня, взболтанная весломъ: — ахъ ты...

Карякинъ поспѣшилъ взять ее за одну руку, Наташа за другую...

— Полноте, успокойтесь... не извольте ничего себѣ тревожиться... Баба глупая, обращенья никакого не имѣетъ... сказалъ онъ, комически подмигивая Наташѣ.

— Успокойтесь, тётенька; вамъ это вредно, произнесла Наташа.

— Охъ, знаю, что вредно, мать моя... знаю... Я и то затмилась совсѣмъ... Охъ, батюшки!... простонала старуха, какъ-бы срѣзанная очевидностью факта.

Она опустилась на стулъ, но, секунду спустя, снова встала и снова заплескалась и запѣнилась.

— Нѣтъ, да что жъ это я дура глупая? чего испугалась?... Я въ судъ пойду, я имъ покажу, разбойникамъ! Я десять лѣтъ ужъ лугомъ-то владѣю!... Десять лѣтъ прошло: стало быть, онъ мой... что жъ это я?... Ахъ ты, мать моя!...

— Позвольте, Анисья Петровна, это вы напрасно изволите... проговорилъ Карякинъ, рисуясь:— въ письмѣ сказано: съ сорокъ восьмаго года; стало быть, вы не владѣете десять лѣтъ лугомъ; законъ на ихъ сторонѣ... Къ тому же возьмите въ разсужденіе: люди сильные! задарятъ больше вашего... лучше бросьте, право... А насчетъ, то-есть, выгодъ, какія они думаютъ получить черезъ это дѣло, я могу сдѣлать вамъ въ уваженье...

— Охъ... охъ, отцы мои... охъ!... простонала сряду Анисья Петровна, снова опускаясь на стулъ:— охъ!... Чѣмъ же ты меня обрадуешь, отецъ родной? присовокупила она, оправляясь:—вступись за вдову, батюшка!... Ограбили, разбойники!...

— А вотъ извольте видѣть, началъ Карякинъ, охорашиваясь:—мы теперь этотъ лугъ держимъ; мы откажемся отъ него... вотъ и будутъ имъ, значитъ, выгоды...

— Да мнѣ-то что отъ этого?

— А то же, что будете въ своемъ удовольствіи: и вамъ ничего, да ужъ и имъ за-то ничего... Чего же ты стоишь, матушка? Ступай себѣ... Отдала письмо и ступай! довершилъ Карякинъ, поворачиваясь къ Катеринѣ, умное лицо которой сохранило выраженіе грустной задумчивости.

Она подняла голову, смѣло посмотрѣла на барыню и сказала:

— Мы, сударыня, въ этомъ не виноваты: наше дѣло подначальное.

— Вонъ! вонъ гоните ее!... произнесла Анисья Петровна, нетерпѣливо потрясая головою.

— Осмѣлюсь васъ обезпокоить, сударыня, продолжала, нимало не робѣя, Катерина: — позвольте вашему мужичку, Андреемъ звать, позвольте, если милость ваша будетъ, подсобить намъ строиться... Мы мазанокъ никогда не дѣлали...

— Какъ? вскричала Анисья Петровна, порываясь изъ рукъ Карякина и племянницы, которые ее удерживали: — какъ? чтобъ я позволила вамъ строиться? Вы же меня разорять пришли, мошенники, да я же позволь крестьянину своему... ахъ ты!...

— Позвольте, Анисья Петровна, перебилъ Карякинъ, снова переглядываясь съ Наташей: — почему же бы и не позволить? Дѣло все-равно сдѣлается, такъ не лучше ли вашъ мужичокъ подсобитъ имъ?... Все какой-нибудь авантажъ получитъ онъ черезъ это — вамъ же лучше. — Ступай, голубушка; барыня пришлетъ отвѣтъ. ступай! заключилъ Карякинъ, махая рукою бабѣ.

Катерина прошла мимо стараго Дрона, который продолжалъ плести свои сѣти и повидимому оставался несокрушимо равнодушнымъ слушателемъ всего происходившаго. Минуту спустя, она была на улицѣ. Благодаря, видно, стараніямъ Пьяшки, которая успѣла и мѣсить хлѣбы, и подслушать весь разговоръ, все народонаселеніе хутора знало уже о причинѣ прибытія чужаго семейства. Бабы и мужики дожидались у воротъ, чтобъ взглянуть на Катерину. Всѣ зашептали, какъ только она показалась. Шагахъ въ десяти отъ мазанки, Катерина встрѣтила Андрея: онъ также словно дожидался ее; лицо его было озабочено.

— Послушай, тётка, сказалъ онъ, вводя Катерину къ себѣ во дворъ: — вишь ты вѣдь какая! Ты сказывала, прислали васъ лугъ стеречь, а намѣсто того...

— Что такое? спросила встревоженная баба.

— Тоже... воля твоя... Мы видимъ, ты человѣкъ хорошій, подхватилъ Андрей: — полюбилась ты намъ... и рады бы въ чемъ пособить тебѣ, да послѣ того очепно опасаемся... своей барыни...

— Да объ чемъ ты говоришь, родной? Я все въ толкъ не возьму...

— Да вѣдь вы всѣмъ вишь хуторомъ владѣть хотите... всѣ и луга, и земли, и насъ баринъ вашъ отнимаетъ у нашей помѣщицы...

— Кто тебѣ сказалъ?

— Мужъ твой обо всемъ этомъ повѣдалъ, какъ ты ушла... Краска стыда и негодованія покрыла загорѣвшія щеки Катерины.

— Гдѣ онъ? спросила она.

— Въ избѣ сейчасъ былъ...

Катерина, нахмуривъ брови, вошла въ мазанку. Прасковья сказала ей, что мужъ только-что вышелъ. Катерина обошла дворъ и, услышавъ шорохъ подъ навѣсомъ, глянула туда. Лапша только-что легъ; близость знакомыхъ шаговъ заставила его поспѣшно закрыть глаза и притвориться спящимъ. Первое движеніе Катерины не обѣщало Лапшѣ ничего хорошаго; но она въ ту же секунду остановилась, съ досадой отвернула голову, плюнула и пошла назадъ въ мазанку.

Черезъ минуту Андрей и жена его узнали дѣло въ настоящемъ его свѣтѣ. Враньё мужа она уже не оправдывала; два-три слова хозяевъ показали Катеринѣ, что они сразу поняли и раскусили Лапшу; но они поняли также и Катерину. Какъ Прасковья, такъ и Андрей не переставали выказывать ей знаки истинной пріязни и добродушнаго расположенія. И онъ, и она сожалѣли только, что барыня вѣрно не позволитъ имъ подсобить Катеринѣ строиться, можетъ даже быть, запретитъ имъ держать у себя переселенцевъ. Къ вечеру явилась, однакожъ, Пьяшка и разрѣшила всѣ сомнѣнія: Анисья Петровна позволила Андрею устроить мазанку для пріѣзжающихъ: „Велѣла только подороже съ нихъ взять!“ примолвила Пьяшка.

— Лишь бы только сама она не входила въ это дѣло, а то что тамъ о цѣнѣ толковать! Сойдемся какъ-нибудь, сказалъ Андрей.

Рѣшено было на другой же день отправиться въ Кудяшкинскій лугъ и высмотрѣть тамъ удобное мѣсто для колодца и мазанки.

VII.

Встрѣча.

Дневной свѣтъ давно разогналъ ночныя тѣни. Солнце поднялось въ огненномъ небосклонѣ, исполосованномъ золотистыми, багровыми полосами; но чѣмъ выше оно поднималось тѣмъ чаще и чаще оно заслонялось большими облаками, которыя медленно, лѣ-

ниво передвигались, сходились и расходились. Западъ синѣлъ какъ безбрежное море; тамъ, далеко-далеко мелькали кое-гдѣ косыя дождевыя полосы; быстро-перебѣгающія тѣни облаковъ приводили какъ-будто въ движеніе самую мѣстность: тутъ совершенно неожиданно загоралась вдругъ роща; она словно бѣжала навстрѣчу и вдругъ останавливалась и снова погружалась въ сизый сумракъ; тамъ яркимъ золотомъ охватывался клинъ поля, между-тѣмъ какъ примыкавшая къ нему вѣтряная мельница чернѣла краснымъ привидѣніемъ. Мѣстность можно было сравнить съ огромнымъ лицомъ, которое то радостно улыбалось, то собиралось въ морщины и нахмуривалось.

Въ это самое утро, часовъ около шести, Верстàнъ, дядя Мизги́рь, Фуфàевъ и Петя остановились у околицы довольно значительной деревни; у околицы сходились и расходились нѣсколько дорогъ. Верстàнъ и Мизги́рь тянули прямо противъ деревни; Фуфàевъ, держа за одну руку Верстàна, за другую Мизги́ря, тянулъ въ деревню.

— Полно, глупый, чего взаправду пристàлъ! Экъ его разбираетъ! говорилъ Верстàнъ: — я нарочно сказалъ: никакого кабака нѣтъ; ну право же нѣтъ.

— Анъ врёшь, оба вы врёте, не обманете; поздно оченно, дружки, спохватились! затрещалъ слѣпой своимъ козлячьимъ голосомъ и еще плотнѣе обхватилъ руками товарищей: — врёте: есть кабакъ! видать — не вижу, да носъ сказываетъ! довершилъ онъ, поворачивая лицо въ деревнѣ и обнюхивая воздухъ.

Дѣйствительно ли чуялъ Фуфàевъ запахъ вина, но только его не могли разувѣрить касательно отсутствія кабака, или Ивана-бѣлкина, какъ онъ выражался. Шагахъ въ сорока отъ околицы возвышалась грязная изба, съ прицѣпленною къ двери сухой, покраснѣвшей сосновой вѣткой.

— Да что́ ты, волкъ тебя ѣшь, деньгами, что́ ли, разбогатѣлъ? кладъ, что́ ли, нашелъ? съ грубымъ смѣхомъ произнесъ Верстàнъ: — али ужъ такой разстрой вдругъ сдѣлался, что обождать нельзя? Всего пять верстъ до села-то осталось: тамъ выпьешь!

— Да чего ждать-то! ждать нѣчего! почти умоляющимъ голосомъ проговорилъ слѣпой: — тамъ что́ еще будетъ! дѣло впереди, въ дорогѣ; здѣсь при спопутности, само въ руки просится!... Да о чемъ, братцы, ваша забота? Чего упёрлись? Твои, что́ ль, аль

ваши деньги пропиваю? Вашихъ не прошу, не надыть! Самъ угощаю, самъ всѣхъ пою, всѣхъ пою; такая, знать, моя охота!

— Было бы на что угощать-то! насмѣшливо перебилъ Верстàнъ: — угощать-то ужъ нѣ на что: весь, какъ есть, давно пропился; платьишко, какое было, и то даже все зарѣзалъ...

Въ самомъ дѣлѣ, съ того самаго села Болòтова, въ виду котораго оставили мы нищихъ послѣ переѣзда черезъ Оку, Фуфàевъ почти не отрезвился совершенно. Имъ точно одурь какая-то овладѣла. На памяти Верстàна, бродившаго вотъ уже скоро лѣтъ пять съ Фуфàевымъ, всего разъ пять прорывало такимъ образомъ слѣпаго. Сначала Фуфàевъ молчалъ три дня сряду, и какъ только приходилъ на отдыхъ, ложился и засыпалъ сномъ непробуднымъ. Случайно нищіе зашли какъ-то въ кабакъ; слѣпой выпилъ и уже съ этой минуты загулялъ безъ удержу безо всякаго. Онъ пропилъ всѣ деньги, пропилъ новую рубашку, купленную на базарѣ, пропилъ новые лапти и старые, пропилъ шапку, липовую чашку для подаяній, которая составляетъ необходимую принадлежность всѣхъ нищихъ, такъ-что у рѣдкаго не найдете вы ее въ сумѣ; наконецъ Фуфàевъ пропилъ полушубокъ, служившій столько лѣтъ и имѣвшій такой видъ, что превращалъ своего владѣльца въ какого-то нѣгаго человѣка. Теперь у Фуфàева оставались пустой мѣшокъ да еще бабій зипунъ, подаренный ему наканунѣ сострадательной помѣщицей. Верстàнъ нѣсколько разъ покушался удерживать порывы товарища, когда находилъ въ этомъ разсчетъ—все было напрасно. Фуфàевъ, какъ истинный философъ, говорилъ, что ему изъ одежды ничего теперь не надо, благо время теплое; о зимѣ загадывать нѣчего: зима за горами — можетъ еще и не доживешь: полушубокъ и все остальное такъ же напрасно тогда пропадутъ, лучше же теперь при живности употребить ихъ себѣ въ удовольствіе. Или же, когда товарищи слишкомъ ужъ сильно приставали, онъ говорилъ коротко и сухо: „Ну, да ладно! слова только теряете: чернаго кобеля не вымоешь до-бѣла; такимъ, стало, уродился!“

Отъ села Болòтова до настоящей минуты онъ не переставалъ пѣть пѣсни, плясалъ, выкидывалъ разныя скоморошныя штуки, разсказывалъ притчи и сказки, и вообще съ той минуты, какъ впервые попалъ ему хмѣль въ голову, находился въ неукротимомъ припадкѣ веселости; измѣнялъ же ему и даже приходилъ въ яростное раздраженіе тогда только, когда упоминали ему о вожакѣ Мишкѣ: онъ объявилъ наотрѣзъ, что не хочетъ, чтобъ говорили ему объ

этомъ. Не будь у Фуфàева зипуна, подареннаго помѣщицей, Верстàнъ, весьма вѣроятно, не послушалъ бы слѣпаго; но зипунъ склонилъ Верстàна на сторону товарища.

— Что̀ съ нимъ будешь дѣлать! сказалъ онъ, поворачиваясь къ дядѣ Мизги́рю: — такъ ужъ и быть, надо уважить; ну, пойдемъ!

— Вотъ люблю! вотъ молодцы! Слышь, дядя, какъ къ ручью либо къ рѣчкѣ прійдемъ, вынай руки да мнѣ скажи, я ихъ поцѣлую! право поцѣлую! воскликнулъ Фуфàевъ, выпустилъ изъ своихъ рукъ ру̀ки нищихъ, вскинулся на воздухъ и, хлопнувъ ладонями надъ кудрявою своею головою, сказалъ Петѣ, чтобъ онъ велъ его „къ аптекѣ, гдѣ вылѣчиваются всѣ болѣзни и даже выгоняются всѣ двѣнадцать сестеръ лихоманокъ“.

Улица деревни давно уже оживлялась народомъ; бабы шли за водою къ пруду или возвращались оттуда; старики, сидя на завалинкахъ или стоя въ воротахъ, протирали заспанные глаза; заботливые хозяева возились съ лошадьми. Фуфàевъ чуть не наткнулся на одного мужика, гнавшаго лошадей съ водопоя.

— Экъ тебя разбираетъ! Чуть свѣтъ, ужъ носъ насандалилъ! Да видно и этого мало: опять туда же, сказалъ мужикъ.

— А что? аль завидно тебѣ? крикнулъ Фуфàевъ и, подогнувъ колѣни, такъ скоро засеменилъ ногами, что Петя, который велъ его, чуть не выпустилъ палки изъ рукъ.

Почти въ то же время изъ дверей кабака вышла дюжая, плечистая баба, весьма похожая на штофъ, налитый краснымъ виномъ; къ довершенію сходства, голова ея повязана была желтоватымъ платкомъ: издали совершенная пробка. Въ каждой рукѣ, между пальцами держала она четыре пустые штофа, по три штофа находилось у ней подъ мышками. За нею выступилъ рыженькій, вскосмаченный мальчикъ съ ковшомъ воды въ одной рукѣ, каждый палецъ другой руки воткнутъ былъ въ горлышко пустаго штофа; изо рта мальчика торчала корка хлѣба, которую пережовывалъ онъ путемъ-дорогой. Цѣловальничиха принялась полоскать штофы, не обращая вниманія на приближавшихся нищихъ. Она, какъ тотчасъ же, впрочемъ, оказалось, была баба сговорчивая. Съ ея стороны не было ни малѣйшаго препятствія къ пріобрѣтенію зипуна, если только онъ годенъ; она молча взяла его, помяла въ рукахъ и разставила противъ свѣта, причемъ изъ прорѣхи по срединѣ спины зипуна лучъ солнца ударилъ примехонько въ лицо цѣловальничихи.

— Чего долго держишь насъ? не хапàный товаръ (не краденый), барыня вечоръ подарила: добро, стало-быть, хорошее, вымолвилъ Фуфàевъ.

— Это не наше дѣло разбирать... много оченно будетъ... много васъ здѣсь шатунòвъ ходитъ, проворчала баба, продолжая свой осмотръ.

— Довольно ужъ, довольно наглядѣлась, пробасилъ Верстàнъ:—говорятъ тебѣ, не слѣпой зипунъ-атъ! (не тайно продаваемый).

— Какой слѣпой, весь въ дырьяхъ! проговорила баба.

— Ничего, тётка, сойдетъ! воскликнулъ съ живостью Фуфаевъ:—вещь, примѣрно, такая ходовàя, всѣмъ нужная, Ну, говори, что даешь?...

— Десять копеекъ.

— Э! да ты крещеная ли?

— Больше не дамъ. Отваливай, значитъ; нѐкогда...

— Братцы! да вѣдь тутъ на косушку не будетъ... что жъ это она! заговорилъ Фуфàевъ съ сокрушеннымъ видомъ:—слышь, Верстàнъ, вотъ что: идетъ, али нейдетъ?...

— Ну говори...

— Слышь, тётка, началъ Фуфàевъ, обращаясь къ бабѣ, которая принялась за полосканье штофовъ, между-тѣмъ, какъ рыжій мальчикъ, сверля пальцемъ носъ, продолжалъ жевать корку:—есть въ пяти верстахъ отъ васъ село Андреевское?

— Есть...

— Есть тамъ ноне приходскій праздникъ?

— Есть...

— Мно тамъ народу собирается?

— Отстань! Ступай, ступай! проворчала баба, потерявъ терпѣніе.

— Вотъ что, Верстàнъ, подхватилъ Фуфàевъ:—всѣ деньги, которыя получу ноньче въ Андреевскомъ, всѣ твои; дай только полтину...

— Несходно, промолвилъ Верстàнъ:—тучи собираются... чай, народу будетъ немного; дождь пойдетъ, полтины не соберешь...

— Ну, два дня: ноньче что̀ подадутъ на мою долю, да завтра?

— Недѣлю, пожалуй, можно...

— Какъ? полтину за недѣлю!

— Меньше не хочу...

— За недѣлю-то... пожалуй, и я ему дамъ, промямлилъ дядя Мизги́рь, подходя ближе.

Петя далеко не былъ веселъ; онъ не могъ, однакожъ, удержаться отъ смѣха, взглянувъ на рожу, которую скорчилъ въ эту минуту дядя Мизги́рь.

— Эхъ вы, жиды окаянные! воскликнулъ Фуфаевъ:—ну да что съ вами дѣлать! Какіе вы ни на есть, врагъ-то, видно, сильнѣе васъ! Иду въ кабалу—пропадай моя голова! Давай! присовокупилъ онъ рѣшительно.

Цѣловальничиха взяла деньги, внимательно пересмотрѣла каждую копейку, подняла зипунъ, сказала „три косушки...“ и, пихнувъ рыжаго мальчика, зѣвавшаго на нищихъ, вошла въ кабакъ. Минуту спустя, она вынесла штофъ и толстый зеленоватый стаканчикъ. Фуфаевъ отлилъ немного въ стаканъ, попробовалъ: „знатно!“ Онъ налилъ Верстану, потомъ Мизги́рю, а остальное все залпомъ выпилъ, отплюнувъ послѣдній глотокъ. На минуту онъ ошалѣлъ какъ-будто; лицо его, окруженное мелкими, спутанными кудрями, какъ шерсть у киргизскаго барана, сдѣлалось багровымъ и склонилось на грудь; бѣлые, широко раскрывшіеся зрачки неподвижно смотрѣли въ землю; въ чертахъ его промелькнуло, какъ будто недовольное, тоскливое чувство, но это продолжалось нѣсколько секундъ. Онъ пощупалъ Петю, взялъ у него конецъ палки, сказалъ: „веди меня, наслѣдникъ!“ (онъ звалъ его съ нѣкоторыхъ поръ своимъ наслѣдникамъ) и велѣлъ скорѣе идти къ околицѣ.

— Ну, не удержишь теперь! Куда те несетъ, бѣшеный?... погоди насъ! смѣясь, вымолвилъ Верстанъ.

Но Фуфаевъ не убавилъ шагу, даже не обернулся: онъ точно ничего не слышалъ. Миновавъ околицу, онъ отряхнулся, отчаянно закинулъ назадъ голову и запѣлъ вдругъ такъ громко, какъ-будто хотѣлъ, чтобъ въ головѣ его звенѣло ещё громче:

Какъ на дру́жкѣ-то кафтанъ
Гармишѐлевый;
Какъ на дру́жкѣ-то штаны
Черны-бархатны;
Какъ на дру́жкѣ-то чулки
Бѣлы-шелковые;
Есть смазные сапоги,
Красна о́торочь;
Есть и шляпа со перомъ
И перчатки съ серебромъ...

— Эхъ, эхъ! воскликнулъ неожиданно Фуфаевъ, давъ себѣ сильнаго тумака въ затылокъ и по двѣ оплеухи на каждую щеку; послѣ этого онъ закинулъ голову еще выше и запѣлъ еще звонче и отчаяннѣе.

По-мѣрѣ-того, какъ нищіе подвигались къ Андреевскому, мѣстность, которая теперь почти не освѣщалась солнцемъ, стала замѣтно подыматься въ гору. Они отошли уже версты три отъ околицы, какъ въ воздухѣ неожиданно прозвучалъ колоколъ.

— Слышь, ужъ къ обѣднѣ звонятъ! произнесъ Верстанъ, подталкивая товарищей и ускоряя шагъ: — а все черезъ тебя. Говорилъ, не надо останавливаться...

Звуки колокола, то удалявшіеся, то приближавшіеся, смотря по тому, какъ подувалъ вѣтерокъ, стали раздаваться чаще и слышнѣе. Мало-по-малу надъ извилистой линіей ближайшаго откоса выглянули синеватые лѣса, тамъ выступили пашни, потомъ луга съ извилистой рѣчкой, отражавшей гладкое, сѣрое небо; тамъ, одна за другою, высунулись избы, показался крестъ, кровля колокольни и наконецъ, какъ только нищіе подошли къ откосу, открылось цѣликомъ село Андреевское, расположенное на берегу рѣчки. Колоколъ звучалъ теперь громко и безъ отдыха; но, несмотря на то, даже съ этой высоты можно было слышать глухой говоръ народа, обступавшаго черными пятномъ церковь и запружавшаго обѣ улицы села. Нищіе поспѣшили спуститься съ кручи и перейти мостъ. У схода съ моста, уткнувшись лицомъ въ траву, лежалъ раскинувшійся во всѣ стороны человѣкъ, какъ бы нарочно положенный сюда съ тѣмъ, чтобъ сдѣлать извѣстнымъ всякому прохожему, что сегодня въ Андреевскомъ храмовой праздникъ.

— Мотри, не раздави... своего брата раздавишь! сказалъ Верстанъ, толкая Фуфаева.

— Здорово, кумъ! крикнулъ наобумъ слѣпой.

Пьяный поднялъ голову, началъ было смѣяться глупымъ смѣхомъ, но голова его упала снова, и смѣхъ заглохъ въ травѣ.

Нищіе вступили въ улицу, одинъ конецъ которой спускался къ рѣчкѣ, другой, постепенно расширялся, обнималъ кладбище, къ которому примыкала церковь; улица вплотную была заставлена подводами, съ притянутыми кверху оглоблями; вездѣ жались бабы, лошади, мужики, ребятишки; все это тискалось, сновало взадъ и впередъ, безъ всякой видимой цѣли, и наполняло безтолковымъ говоромъ все Андреевское. Пробравшись съ трудомъ мимо первыхъ подводъ, нищіе натолкнулись на бѣлокураго человѣка съ желтымъ

лицомъ и туго-перевязанною щекою; выраженіе лица его ясно показывало страданія отъ сильной зубной боли; на немъ былъ поношенный сюртучишка, картузъ съ козырькомъ и черный галстухъ; правая рука его, съ изъѣденными до крови пальцами, повертывала хлыстикъ.

— Куда лѣзете, дьяволы? крикнулъ онъ, пихая Фуфаева: — экъ васъ поньче набралось сколько!...

— Тѣсно, что ли, тебѣ? возразилъ Фуфаевъ, сторонясь.

— Ахъ ты, бестія! воскликнулъ съ негодованіемъ подвязанный господинъ, который былъ не кто другой, какъ писарь станового: — ахъ ты, негодяй!... довершилъ онъ, вытягивая хлыстомъ по спинѣ Фуфаева.

Фуфаевъ только нагнулся и сказалъ: „разъ!“ Онъ бы, безъ сомнѣнія, сказалъ и два, и три, и четыре, если бъ не вступился Верстанъ.

— Слѣпой, ваше благородіе!... промолвилъ онъ униженно: — слѣпой, ничего не видитъ...

— Я ему дамъ слѣпой!... Много васъ здѣсь шляется... Надо бы съ васъ по пятаку за мѣсто — вотъ что!... добавила подвязанная щека и какъ-бы изъ милости пропустила нищихъ. Послѣ этого онъ запустилъ руку въ карманъ, въ которомъ было ровно столько же десятикопеечныхъ монетъ, сколько стояло возовъ въ Андреевскомъ. Зубную боль не столько проклиналъ самъ писарь, сколько мужики, собравшіеся къ торгу; писарь привязывался къ нимъ съ какимъ-то остервенѣніемъ: у того вѣсы были невѣрны: другаго гналъ съ мѣста ни за что, ни про что; третьяго грозилъ связать, если только осмѣлится продать хоть одинъ огурецъ; но десятикопеечная монета, попавъ въ карманъ его, дѣлала рѣшительно чудеса: вѣсы получали вѣрность, мѣсто очищалось, огурцы дѣлались до-того годными къ употребленію, что писарь тутъ же съѣдалъ дюжину и запрятывалъ другую въ неизмѣримые карманы панталонъ, о вмѣстимости которыхъ зналъ очень хорошо самъ становой.

Нищіе продолжали протискиваться въ шумный лабиринтъ телѣгъ, наполненныхъ картофелемъ, рѣпой, „падалью“ и орѣхами; падаль, то есть зеленыя, недозрѣвшія яблоки (писарь, зная запрещеніе, лежавшее на этой торговлѣ, съ особеннымъ остервенѣніемъ напалъ на торгашей; внушивъ имъ опасность, которой они подвергаются, онъ взялъ съ нихъ вдвое больше, чѣмъ съ другихъ, послѣ чего падаль пошла въ ходъ и стала даже продаваться лучше всего другаго); падаль эта и орѣхи попадались чаще всего; такая

шла щелкотня кругомъ, что, казалось, черезъ каждые три воза стояла пылавшая печь и орѣхи бросались туда цѣлыми пригоршнями.

Такъ-какъ на церковной паперти не оказалось свободнаго мѣстечка, то Верстàнъ и товарищи его поспѣшили занять мѣсто подлѣ дороги. Тутъ сидѣло ужъ до двадцати нищихъ; они расположились въ кружокъ, вытянувъ ноги къ центру и держа на колѣняхъ липовыя чашки для принятія подаяній. Всѣ дожидались окончанія обѣдни. Наконецъ зазвонили во всѣ колокола, и народъ повалилъ изъ церкви: нищіе приподняли чашки и, какъ-бы сговорившись, разомъ грохнули, такъ-что на минуту весь шумъ и гамъ Андреевскаго покрытъ былъ словами:

Жилъ себѣ сла-а-венъ богатъ человѣкъ...
Пилъ, ѣлъ сладко, кормилъ хорошо.
Ле-е-житъ Лазарь, лежитъ весь изра-а-ненъ,
Съ убожествомъ, съ немочью...

Въ чашки стали попадать яблоки, картофель, обглодки хлѣба, иногда мѣдныя деньги; въ послѣднемъ случаѣ большая часть нищихъ раскрывала глаза, которые жадно устремлялись на чашку съ деньгами, но глаза такъ же быстро опять закрывались. А между-тѣмъ въ толпѣ, валившей изъ церкви мимо нищихъ, показались господа: красная, среднихъ лѣтъ барыня, въ розовомъ тарлатановомъ платьѣ, мальчикъ, двѣ другія дамы и маленькій, красненькій, очень живой кавалеръ, прочищавшій дорогу: это были мелкопомѣстные дворяне, пріѣхавшіе къ обѣднѣ. Красная дама не столько, казалось, негодовала на давку, сколько на общество мужиковъ и дворовыхъ, посреди которыхъ поневолѣ должна была побираться. Желая, вѣроятно, показать разницу между собою и ими, она заговорила вдругъ на какомъ-то неизвѣстномъ нарѣчіи, понятномъ только двумъ другимъ дамамъ, кивавшимъ одобрительно головою; вмѣстѣ съ этимъ она не переставала звать сына; но имя мальчика, которое старалась она произнести по-французски, никакъ не выходило: Nicolas! Nicolas! кричала дама, а выходило всегда русское: „Никòля, Никòля!“

— Посторонись! долой, болванъ! чего лѣзешь, дура? кричалъ между-тѣмъ красненькій кавалеръ, прочищая дорогу. Но какъ ни пѣтушился онъ, сколько ни подскакивалъ кверху, усилія его не произвели никакого дѣйствія, сравнительно съ тѣмъ, что́ произошло, когда явился становой. Онъ выступалъ, однакожъ, ровнымъ,

спокойнымъ шагомъ и, кромѣ чувства внутренняго достоинства, ничего не было на благородномъ лицѣ его; онъ старался не замѣчать, что́ вокругъ дѣлалось; замѣтно даже отворачивался, когда попадался на глаза писарь. Успѣхъ становаго въ толпѣ, которая быстро раздавалась, укололъ, повидимому, красненькаго кавалера.

— Я сейчасъ встрѣтилъ вашего писаря, сказалъ онъ, подходя къ нему и рисуясь передъ дамами:—послушайте, остановите его; онъ просто со всѣхъ тащитъ взятки! Это... это ни на что́ не похоже!...

Становой обернулся къ дамамъ и, въ знакъ уваженія, выставилъ впередъ правую ногу; широкое, благородное лицо его переполнилось ангельскою добротою и кротостью.

— Помилуйте, сударыня! вымолвилъ онъ, обращаясь и къ красненькому кавалеру, и къ дамѣ: —нельзя ему и не взять; жалованья на писарей не полагается... человѣкъ бѣдный... шестеро дѣтей—посудите сами...

— Анна Васильевна! барышня! Нилъ Герасимычъ и Зосимъ Степанычъ! перебила неожиданно расфранченная попадья, выскакивая откуда то и разомъ обращаясь ко всѣмъ: —прошу дерзнуть, мы васъ ожидаемъ... чайку выкушать, пирожка закусить...

— Мы и такъ шли къ вамъ, тѣмъ болѣе, что, кажется, дождикъ собирается... тономъ высокаго покровительства, но не безъ колкости проговорила красная дама, въ душѣ ненавидѣвшая попадью за то, что она была богаче и ѣздила въ бричкѣ, тогда какъ у помѣщицы былъ старенькій, годный только въ ломъ, тарантасъ.

Помѣщики исчезли въ толпѣ, шумъ которой все еще заглушался пѣснею Лазаря; она гудѣла какъ исполинскій шмель, летавшій надъ деревней. Время выхода изъ церкви — самое выгодное для нищихъ, и потому они не щадили горла: одни, мрачно уткнувъ подбородокъ въ грудь, выводили густыя ноты; другіе кричали, какъ-будто снимали съ нихъ кожу; третьи такъ надсажались, что мальчишки, стоявшіе позади кружка, могли перечесть у нихъ во рту всѣ зубы, не выключая даже коренныхъ; но все-таки, посреди этого оглушающаго оранья, сильнѣе другихъ давалъ себя чувствовать козлячій, дребезжащій голосъ Фуфаева. Наконецъ пѣсня Лазаря смолкла. Капли дождя, падавшія время отъ времени, превратились въ мелкій, тоненькій дождикъ, который какъ бы потушилъ послѣднія вибраціи нищенской пѣсни.

— Куда бы теперь укрыться? сказалъ Верстанъ, забирая у

Фуфаева всю подань, на что тотъ не выказалъ малѣйшаго сопротивленія: — въ каждой избѣ теперь гулянка, никто не пуститъ.

— Есть такое мѣсто, можно; пойдемъ укажу, вымолвилъ нищій съ лицомъ, изрытымъ оспою, и соколиными глазами, плутовски глядѣвшими изъ-подъ высокой мѣховой шапки. Онъ сидѣлъ подлѣ Верстана и, повидимому, давно къ нему подбирался.

— Ну, веди, произнесъ Верстанъ.

Фуфаевъ, Мизгирь и Петя послѣдовали за Верстаномъ. Рябой нищій, прозвище котораго было Балдай (впрочемъ, онъ откликивался также на прозвище Цапля), повелъ ихъ мимо кладбища, мимо церкви, на другую половину Андреевскаго. Вторая улица, точно такъ же, какъ первая, шла по откосу къ рѣкѣ и соединялась съ тѣмъ берегомъ плотиной мельницы, шумѣвшей за ветлами. Здѣсь подводъ было меньше, но за-то столпилось столько же народу, если еще не больше, чѣмъ въ первой половинѣ. Толпа особенно сильно напирала къ промежутку между двумя избами, гдѣ слышался бой барабана, взвизгиванье скрипки и ревъ медвѣдя. Проходя мимо, Петя очень желалъ посмотрѣть на медвѣдя; но сколько ни поднимался онъ на цыпочки, могъ только видѣть лицо „козылятника“, который, припавъ щекою къ скрипкѣ, быстро подергивалъ смычконъ и еще быстрѣе передергивалъ бровями.

— Чего зѣваешь? пошелъ! я те позѣваю! вымолвилъ Верстанъ, толкая его концомъ палки въ плечо.

Какъ ни привыкъ Петя къ толчкамъ, но на этотъ разъ толчокъ былъ силенъ, и ему стало больно; онъ приподнялъ голову и вдругъ раскрылъ широкіе глаза, раскрылъ ротъ и обомлѣлъ совершенно; выраженіе боли на лицѣ его мигомъ смѣнилось выраженіемъ радости: на возу, шагахъ въ десяти, сидѣлъ дѣдушка Василій, тотъ самый старый торгашъ, который весною пріѣзжалъ въ Марьинское, подарилъ Петѣ образокъ и такъ много ласкалъ его. Весь тотъ вечеръ, вся семья Пети, все Марьинское и вмѣстѣ съ тѣмъ лучъ какой-то неясной надежды на возвращеніе этого прошлаго разомъ освѣтили душу мальчика; сердце его такъ вдругъ заколотило, что на секунду стѣснило дыханіе; забывъ Верстана, онъ рванулся впередъ и крикнулъ, что было мочи: „дѣдушка!“

— Чего?... кто тамъ еще?... ахъ ты!... вымолвилъ Верстанъ, и, мигомъ смекнувъ дѣло, пустился по слѣдамъ вожака и крѣпко схватилъ его за воротъ.

Но старый торгашъ узналъ уже мальчика; онъ суетливо со-

скочилъ съ воза и, поправляя шапку, которая, по прежнему, лѣзла на глаза, когда старикъ спихивалъ ее на затылокъ, подошелъ къ нищимъ.

— А! ласковый! ласковый!... какъ ты сюда попалъ? какимъ-такимъ манеромъ?

Петя вырвался изъ рукъ нищаго и, зарыдавъ вдругъ, самъ не зная отчего, бросился къ торгашу и крѣпко обхватилъ его шею.

— Дѣдушка!... могъ только вымолвить рыдавшій мальчикъ:— дѣдушка!...

— Здравствуй! ласковый! что ты?... что? какимъ-такимъ манеромъ?... Ахъ ты, сердечный...

— Оставь малаго-то, отваливай, отваливай! сурово сказалъ Верстàнъ, протягивая коренастую руку, чтобъ снова ухватить Петю, который началъ отчаянно кричать и отбиваться.

— Нѣтъ, погоди, братъ! постой! драться тебѣ не показано!... я драться-то вѣдь не дамъ! Не пуще мнѣ страшенъ! вымолвилъ старикъ, защищая одною рукою Петю, другою отталкивая руку нищаго.

— Дѣдушка... не давай... силой увели! хотѣлъ-было шепнуть Петя на-ухо старику, но голосъ измѣнилъ ему; онъ произнесъ эти слова такъ громко, что не только нищіе услышали, но даже народъ, начинавшій сбираться вокругъ.

— Силой увели? кàкъ такъ? воскликнулъ дядя Василій, впервые пристально оглядывая нищихъ: — да кáкъ же это такъ?...

— А не твое дѣло, вотъ какъ! перебилъ Верстáнъ, ноздри котораго раздувались.

— Знамо не его дѣло, промямлилъ дядя Мизгирь.

— Отдай малаго, говорю! крикнулъ Верстàнъ, бѣшено потряхивая сѣрыми кудрями.

— Да что ты, стращать меня, что ли, выдумалъ? крикнулъ въ свою очередь разгорячившійся старикъ и еще крѣпче ухватилъ мальчика: — не пуще силенъ, не боюсь! Мы еще посмотримъ, кто кого осилитъ, коли на то пошло — дà!... Здѣсь становой недалеко, мы еще къ нему сходимъ — дà!... Погоди орать-то — дà!... Мы спросимъ, какимъ-такимъ манеромъ мальчикъ-то у васъ — дà!... Братцы! подхватилъ старикъ, обращаясь къ окружавшимъ, которые какъ бараны лѣзли другъ на дружку: — братцы, заступитесь! вѣдь мальчика-то силой увели!... Онъ мнѣ знакомый... я весь родъ-то его знаю,

всю семью, и мать, и отца, и деревню знаю... насильно увели, братцы!

Въ толпѣ послышался глухой говоръ и восклицанія:

— Къ становому ихъ!

— Тащи знай! что̀ съ ними разговаривать-то!

— Веди ихъ!

— Они, знамо, всѣ такіе разбойники, только слѣпыми прикидываются!

— Тащи, старикъ... ничего не бось... мы ти дорогу укажемъ, веди знай!

Какъ только заговорили въ толпѣ, Верстàнъ бросилъ мѣшокъ нà земь и, ругаясь на всѣ бока, сталъ торопливо въ немъ рыться. Воззваніе стараго торгаша не успѣло произвести окончательнаго дѣйствія, какъ уже Верстàнъ вытащилъ отпускную мàрьинскаго управителя, данную Лапшѣ на имя сына.

— Кто здѣсь грамотный? произнесъ нищій, обводя глазами собраніе, начинавшее волноваться: — чего онъ присталъ? кто его уводилъ насильно? вотъ отпускная; читай, кто умѣетъ...

— Что̀ взялъ? крикнулъ рябой нищій, разражаясь смѣхомъ.

Десять рукъ протянулось впередъ; одна рука была длиннѣе другихъ и схватила грамоту. Выступилъ какой-то толстенькій человѣкъ въ нанковомъ изсѣченномъ дождемъ казакинѣ и довольно бѣгло прочелъ отпускную.

— Изъ чего жъ ты, старина, хлопочешь? Все кàкъ слѣдуетъ, въ аккуратѣ, сказалъ казакинъ, поглядывая на торгаша, который пожималъ губами и потряхивалъ шапкой съ видомъ недоумѣнія.

Присутствующіе такъ же быстро перешли на сторону нищаго, какъ за минуту передъ тѣмъ стояли за старика.

„Ну, что̀ жъ ты, ступай къ становому-то!“ — „Эй, плѣшàкъ, поправь шапку-то, на спину съѣхала свиней пасти!“ — „Чего жъ онъ вправду горло-то дралъ?“ — „Охота стало напала!“ — „Слышь, ужъ не ты ли уродилъ его, дядя, на себя глядя... вишь какъ вступился!“ — „Самъ не разчухалъ, да туда же становой!“ сыпалось со всѣхъ сторонъ, и особенно съ той, гдѣ стоялъ рябой нищій, начинавшій было отступать, но теперь голосившій громче другихъ. Самъ дядя Мизгирь раза два ругнулъ торгаша. Одинъ Фуфàевъ слова не вымолвилъ; онъ поглаживалъ курчавую свою голову, вымоченную дождемъ, и даже какъ-будто посмѣивался.

— Ну, довольно; теперь отваливай! Не отстанешь, посвойски раздѣлаюсь, сказалъ Верстàнъ, дѣлая шагъ впередъ.

Петя, дрожа отъ страха, отчаянно вцѣпился въ тулупчикъ торгаша. Онъ сталъ кричать и отбиваться ногами.

— Да что вы, въ самомъ дѣлѣ, какъ собаки напали! говорилъ, между-тѣмъ, дядя Василій, обращаясь то къ одному, то къ другому: — вы хошь въ разумъ-то возьмите... особливо ты, братъ, точно, право, некрещеный какой! Стало-быть, не хочется ему съ вами идти! стало-быть, хорошо ему съ вами! Пойми; онъ еще невеличекъ, махонькій... что тутъ! Погодите маленько, дайте хошь слово сказать... Я весь родъ знаю, и мать, и отца... Что вы, какъ собаки, право. Полно, ласковый, подхватилъ старикъ, стараясь уговорить Петю: — не плачь, потерпи маленько. Я вотъ и то въ вашу сторону сбирался... я обо всемъ этомъ дѣлѣ поразспрошу, какимъ-такимъ манеромъ... Ахъ, ты сердечный... право, жаль тебя до смерти!... Ахъ ты, поди дѣло-то какое!

— Ладно, тогда назадъ и возьмешь! сказалъ Верстàнъ, хватая за руку Петю.

— Экъ его, сердечный! воскликнула какая-то баба: — какъ паренёкъ-то убивается... погляди-тка... ишь, какъ убивается, горькій...

— Эй, старикъ! старикъ! неожиданно крикнулъ рябой нищій, забѣжавшій за спину Василья: — погляди-ка, весь товаръ твой дождемъ вымочило.

Старикъ обернулся; Петя снова припалъ-было къ нему, но пальцы Верстàна какъ клещи впились въ руку мальчика; онъ приподнялъ его и быстро потащилъ впередъ. Старикъ тотчасъ же нагналъ его.

— Бога ты не боишься, вымолвилъ онъ, загорожая дорогу.— Ну что ты такъ тиранствуешь-то — а? Грѣхъ какой на душу принимаешь... Бога хоть побойся! вѣдь грѣхъ! Вишь, какъ онъ убивается, бѣдненькій...

— Отваливай... а не то... проворчалъ Верстàнъ, замахиваясь свободною рукою.

Видя, что силой и убѣжденіями не возьмешь, хуже еще, можетъ статься, навлечешь грозу на мальчика, дядя Василій остановился.

— Я, пожалуй, слышь, пожалуй дамъ что-нибудь... Эй, слышь, скажи, гдѣ ночуете?... Вишь, дождь; чай, здѣсь остановитесь?...

Верстàнъ не обернулся даже и продолжалъ тащить Петю.

— Эй, слышь, дядя! крикнулъ рябой нищій, поворачиваясь

къ торгашу: — далече идемъ, село Завалье знаешь? И онъ засмѣялся во всю глотку.

— Эй, старикъ! эй, бусы! бусы! бусы почемъ? крикнула какая-то баба съ воза.

Дядя Василій глянулъ назадъ, потомъ глянулъ впередъ на нищихъ, которые быстро удалялись, ударилъ ладонями объ полы своего полушубка и пошелъ къ возу, поправляя шапку, которая окончательно выходила изъ повиновенія.

— Ну, ужъ погоди, пострѣлъ, окаянный ты этакой! теперь я съ тобой раздѣлаюсь! сказалъ Верстàнъ, когда послѣднія избы Андреевскаго остались назади: — я тебѣ покажу дѣдушку!

Фуфàевъ, державшій руку на плечѣ Верстàна, не пропускалъ ни одного его слова и движенія. Онъ ощупалъ голову Пети, перенесъ руки на плечо мальчика, слегка подтолкнулъ его впередъ и, дѣлая видъ, какъ-будто кашляетъ, скороговоркою шепнулъ ему: „не бойся, ничего... наслѣдникъ... выручу... не бойся“. Но заступничество Фуфàева мало утѣшило мальчика. Отчаянныя рыданія продолжали надрывать грудь его, на которую потоками текли слезы и сыпался мелкій встрѣчный дождикъ; бѣдный мальчикъ казался обезумѣвшимъ отъ горя. Сознаніе пришло къ нему не прежде, какъ когда ноги нищихъ застучали на мельничной плотинѣ; первою его мыслью было броситься въ воду, но Верстàнъ, вѣроятно, опытный въ продѣлкахъ, какія отчаяніе внушаетъ иногда маленькимъ вожакамъ, предупредилъ намѣреніе Пети: онъ снова крѣпко взялъ его зà воротъ.

— Эй, слышь, куда жъ ты насъ ведешь? спросилъ онъ, обратившись къ рябому Балдàю, который шелъ шагахъ въ десяти.

— А вотъ погоди, пройдемъ мельницу, сарай такой будетъ... Отселѣва не видать, за косогоромъ! Тамъ прежде кирпичи обжигали... Мѣсто знатное! Мы завсегда тамъ ночуемъ... Ступайте только, добавилъ онъ, сворачивая къ мельницѣ.

Пройдя мельницу и длинные мельничные навѣсы, Балдàй вдругъ остановился, схватился за бока и залился смѣхомъ. Нищіе поспѣшили нагнать его. Задняя часть навѣсовъ составляла глухой уголъ съ клѣтью и амбаромъ мельника; въ этомъ глухомъ углу, глядѣвшемъ на открытое, пустое поле, нищіе увидѣли старенькаго лысаго старичка, который быстро семенилъ ногами, откидывался въ сторону, билъ надъ головою въ ладоши и откалывалъ самаго отчаяннаго трепака. Онъ былъ совершенно одинъ; единственнымъ зрителемъ всего происходившаго, кромѣ нищихъ, была шапка

старика; онъ не отрывалъ отъ нея глазъ, кружился надъ нею, прищелкивалъ пальцами и приговаривалъ задыхавшимся отъ усталости голосомъ: „Ахъ, ахъ! что ты? что ты — ахъ!“ Узнавъ причину всеобщаго хохота, Фуфаевъ прыгнулъ впередъ, крикнувъ: „ходи знай, люблю!“ и засеменилъ въ свою очередь ногами, налетая поминутно на старика, который ничего какъ-будто не замѣчалъ и продолжалъ откалывать самыя удивительныя колѣнца передъ своей шапкой.

— Экой онъ у васъ весельчакъ, этотъ слѣпой! сказалъ Балдай, надрываясь со смѣху пуще прежняго.

— Веселъ, да некстати, сурово промолвилъ Верстанъ, котораго, повидимому, мало развлекало все это. — Ну, ступай, полно тебѣ бѣситься-то... дьяволъ! Вишь, дождь идетъ! добавилъ онъ, толкая Фуфаева.

Пройдя шаговъ триста, нищіе вошли въ оврагъ и увидѣли полуразрушенную кровлю заброшеннаго кирпичнаго сарая.

— Ну, вотъ и пришли! радостно кричалъ Балдай.

— Ладно... вижу... Ну, братъ, теперь я съ тобою раздѣлаюсь, присовокупилъ Верстанъ, поглядывая на Петю изъ-подъ нахмуренныхъ, шершавыхъ бровей своихъ.

Фуфаевъ украдкою дернулъ Петю за рукавъ. Нищіе вошли въ сарай, гдѣ тотчасъ же закрыла ихъ густая, непроницаемая тѣнь.

VIII.

Знакомство.

Дождикъ, который зарядилъ, какъ видно, на цѣлыя сутки (небо представляло теперь одинъ сѣрый сплошной куполъ), перенесъ мало-по-малу веселье съ улицъ Андреевскаго въ избы; гамъ, носившійся надъ селомъ, замѣтно стихалъ, и улицы пустѣли; народъ, явившійся поглазѣть на праздникъ и не имѣвшій въ Андреевскомъ сродственниковъ, кумовьевъ и сватовъ (такого народу было очень мало), поплелся домой. По всѣмъ дорогамъ, уходившимъ отъ Андреевскаго, мелькали сквозь сѣть дождя красные платки бабъ и дѣвчонокъ, и видно было даже издали, какъ скользили онѣ и увязали въ грязи. Кое-гдѣ раздавался скрипъ удалявшагося воза. Съ той стороны, гдѣ былъ мостъ, вотъ ужъ скоро пол-

часа, какъ какой-то голосъ отчаянно звалъ на помощь: то былъ торговецъ пàдалью; возъ его лежалъ вверхъ колесами подлѣ воды; весь товаръ уплылъ; на поверхности рѣки оставались всего два несчастныя гнилыя яблока, отъ которыхъ какъ-будто отказались остальные уплывшіе товарищи. Многіе въ Андреевскомъ слышали голосъ торгаша, но никто не тронулся. „Время праздничное“, разсуждалъ каждый: „всѣ шибко подгуляли; можетъ, онъ такъ кричитъ; можетъ, шальной какой-нибудь, съ пьяна легъ да и кричитъ!“

Несмотря на усиливающійся дождикъ, народъ не покидалъ одного только мѣста — именно, промежутка между двумя избами, тамъ, гдѣ плясалъ медвѣдь; оттуда все еще слышались бой барабана, бряцанье цѣпи и судорожное визжанье скрипки. Наконецъ, промокшій насквозь барабанъ отказался совершенно отъ употребленія: палочки били какъ по войлоку, струны скрипки растянулись, вмѣстѣ съ этимъ растянулось и самое лицо козылятника; оно оживало, надо полагать, не иначе, какъ когда припадало лѣвой щекой къ скрипкѣ; едва скрипка исчезла въ мѣшкѣ, желтое лицо козылятника приняло выраженіе ноющей тоски и глубокой меланхоліи; дождь, ливній съ его мѣховой шапки и капавшій съ длиннаго носа, окончательно придалъ козылятнику видъ человѣка, удрученнаго невыносимою внутреннею скорбію.

— Шабашъ! кончай! полно! произнесъ товарищъ его, дюжій, плечистый и очень веселаго вида нижегородецъ.

Онъ тряхнулъ въ послѣдній разъ цѣпью, сказалъ: „ну, Матрена Ивановна, поворачивайся!“ кинулъ за спину барабанъ и оглянулъ присутствующихъ, которые всѣ поспѣшили отброситься назадъ; многіе, стоявшіе въ заднихъ рядахъ, обратились даже въ бѣгство, какъ-будто тотчасъ же спустятъ на нихъ медвѣдя или ухватятъ зà воротъ и насильно потребуютъ денегъ за медвѣжью пляску. Изъ всей толпы одна баба подала вожаку два яйца. Нижегородецъ началъ разспрашивать ее, не найдется ли избы, куда бы пустили ихъ переждать дождь, а, можетъ, и переночевать, коли дождь не уймется до утра.

— Врядъ, касатикъ, возразила баба: — вишь праздникъ, вездѣ гости, не пустятъ. Вы бы на мельницу сходили, попытали; тамъ мѣста много... сараи-то большіе, не то, что крестьянскіе...

Сказано — сдѣлано; но прежде нижегородецъ предложилъ зайдти въ кабакъ и взять вина. На сборъ нынѣшняго дня, вообще говоря, грѣхъ было жаловаться: было что̀ приберечь, было изъ чего

повеселить душу. На дорогѣ къ кабаку, который находился при выходѣ изъ Андреевскаго со стороны мельницы, вожакъ и меланхолическій его товарищъ услышали за собою хлескъ копытъ и яростные, бѣшеные крики:

— Посторонись! прочь съ дороги, канальи! прочь! дави ихъ! дави!...

Медвѣжатники увидѣли маленькаго, но очень красненькаго господина, сидѣвшаго на козлахъ тарантаса рядомъ съ сѣдымъ, сгорбленнымъ кучеромъ; тарантасъ по словамъ нижегородца, который отошелъ въ сторону съ медвѣдемъ, едва ли могъ переѣхать десять верстъ: лошади были очевидно крестьянскія и давно некормленныя. Изъ тарантаса выглядывали розовыя шляпки двухъ дамъ и голубая шляпка Анны Васильевны, той самой дамы въ розовомъ тарлатановомъ платьѣ, у которой изъ французскаго имени: Nicolas выходило всегда русское: Никóля.

— Дави ихъ, негодяевъ! продолжалъ кричать между-тѣмъ красненькій господинъ, хотя давить ужъ было нѣкого, потому-что медвѣжатники давно стояли въ сторонѣ, но красненькій господинъ такъ разгорячился, что ничего, казалось, не видѣлъ и не соображалъ: онъ топалъ ногами и размахивалъ руками, какъ-будто тарантасъ скатывался въ бездонную пропасть и предстояла неминучая гибель сидѣвшимъ въ немъ дамамъ.

— Ахъ, Нилъ Герасимычъ! намъ, право, совѣстно... васъ дождь вымочитъ, притомъ вы такъ безпокоитесь... проговорила Анна Васильевна.

— Помилуйте, сударыня, это моя обязанность... на то мы мужчины! возразилъ красненькій господинъ, выламывая спину и съ живостью обращаясь къ дамѣ.

— Ахъ, какъ глупа эта попадья — не правда ли?... Боже, какъ глупа... Хи, хи, хи... Слышали, mesdames, какъ говорила она: „удостойте подойдти къ пирогу!...“ хи, хи, хи...

— Хи, хи, хи... засмѣялись въ одинъ голосъ розовыя шляпки.

Нилъ Герасимовичъ находился въ нерѣшимости, смѣяться ли ему или привстать на козлы и снова крикнуть на медвѣжатниковъ; но послѣдніе находились ужъ въ десяти шагахъ за тарантасомъ. Нилъ Герасимовичъ засмѣялся.

— Вишь про пироги какіе-то разговаривали! вымолвилъ нижегородецъ, кивая головою на отъѣзжающихъ:—и я бы ништо, поѣлъ бы теперь пирожка-то...

Впрочемъ, не надо думать, чтобъ Анна Васильевна и двѣ розовыя шляпки пренебрегли пирогомъ попадьи, надъ которой такъ язвительно посмѣивались: отъ пирога остался только кусочекъ нижней корки, да и то потому, что слишкомъ ужъ крѣпко прилипъ къ блюду; если бъ пошарить въ карманахъ Nicolas, который крѣпко спалъ на колѣняхъ матери, можно бы даже найдти тамъ десятка три мятныхъ пряничковъ, которыми, сверхъ пирога и чая, угощала гостей своихъ радушная попадья. Но мы рѣдко заглядываемъ въ карманы помѣщиковъ и еще рѣже въ рюдикюли помѣщицъ, и потому оставимъ этотъ предметъ.

Нижегородецъ остался въ кабакѣ ровно на столько, на сколько потребовалось, чтобъ продраться сквозь пьяную, кричащую толпу; онъ хотѣлъ сначала купить штофъ, но видъ окружающаго веселья разохотилъ его; онъ запрокинулъ назадъ шапку, крикнулъ: — „э! была не была!“, купилъ еще штофъ и, присоединившись къ меланхолическому козылятнику, продолжалъ путь. Еще на плотинѣ услышали они пѣсни, крикъ и пронзительный визгъ бабы, раздававшіеся въ избѣ мельницы; у воротъ сидѣлъ смуглый дѣтина съ бѣлыми, какъ кипень зубами; онъ сохранялъ невозмутимое равнодушіе ко всему, что происходило внутри мельницы, и, слегка посвистывая, наигрывалъ на гармоніи. Какъ только узналъ онъ, зачѣмъ пришли медвѣжатники, онъ наотрѣзъ объявилъ, что на это надѣяться нечего.

— Хозяинъ теперь загулялъ, сказалъ онъ: — какъ загуляетъ такъ-то, лучше не подходи.... Онъ вотъ жену бьетъ теперича, съ самаго утра все бьетъ ее...

— Да какъ же, братецъ ты мой, куда жъ намъ дѣваться-то? возразилъ нижегородецъ, придерживая локтемъ штофъ (другой штофъ выглядывалъ изъ-за пазухи): — вишь время какое... дождь! Совсѣмъ размокрогодилось...

Козылятникъ безотраднымъ взглядомъ обвелъ окрестность, дальніе планы которой исчезали за дождемъ, какъ за сѣрымъ густымъ крепомъ.

— Я вотъ здѣшній батракъ, а обѣдать и то нейду. Добрѣ ужъ оченно расходился нонѣче хозяинъ-то, добрѣ лютъ! спокойно сказалъ батракъ, продолжая наигрывать на гармоніи. Да что вамъ здѣсь останавливаться? подхватилъ онъ: — ступайте вотъ по этой дорогѣ, прійдете, такой сарай будетъ, кирпичи сперва обжигали... отсель не видать, за косорогомъ — тамъ и остановитесь... завсегда

стоятъ тамъ медвѣжатники, коли у насъ бываютъ. Это у тебя медвѣдь, дядя, или медвѣдица? заключилъ батракъ.

— Медвѣдица... не подходи, не любитъ! проговорилъ вожакъ:—да можетъ это далеко, гдѣ ты говоришь?

— Какой далеко! Вотъ тутъ сейчасъ за косогоромъ.

Цѣпь зазвенѣла, медвѣдица поднялась на ноги и пошла за своими хозяевами. Минутъ десять спустя, они увидѣли въ лощинкѣ крышу сарая.

— Э! да тамъ ужъ никакъ есть кто-то! сказалъ нижегородецъ:—слышь: голоса!

— А Богъ съ ними! мы ихъ не трогаемъ... Мѣста много, они обижаться нами не станутъ, съ невыразимою грустью произнесъ козылятникъ, тяжело вздохнулъ и снова повѣсилъ голову.

Постройка, къ которой они приблизились, была попросту длинный-предлинный полусгнившій навѣсъ, прислоненный верхнимъ краемъ къ обрыву, нижнимъ краемъ упиравшійся въ столбы, кое-гдѣ обнесенные ветхимъ плетнемъ; какъ ни ветхи были кровля и плетни, они давали, однакожъ, больше темноты, чѣмъ свѣта; нижегородцу и его товарищу нужно было съ минуту хорошенько осмотрѣться, чтобы разглядѣть лица находившихся тамъ людей.

На самомъ видномъ мѣстѣ сидѣлъ Верстанъ; онъ былъ ужъ разутъ и только принялся за ѣду: нѣсколько корокъ лежало на его толстыхъ колѣняхъ; подлѣ него, съ одной стороны, находился дядя Мизгирь, съ другой рябой Балдай; первый, по причинамъ, очень хорошо извѣстнымъ Верстану, никогда не разувался: дядя Мизгирь лежалъ въ растяжку и дремалъ; Балдай сидѣлъ, поджавъ подъ себя длинныя ноги; онъ не отрывалъ отъ Фуфаева соколиныхъ, быстрыхъ глазъ; стоило Фуфаеву повернуть голову, крякнуть, сдѣлать самое простое движеніе, или сказать самое незначащее слово, чтобъ возбудить въ длинномъ, рябомъ Балдаѣ припадокъ истерическаго смѣха. Кромѣ Фуфаева, расположившагося немного поодаль прямо противъ Пети, никто не обращалъ вниманія на мальчика. Петя сидѣлъ, прислонившись спиною къ глиняному обрыву; лицо его, закрытое обѣими ладонями, лежало на колѣняхъ, по которымъ разсыпались его волосы; онъ тихо плакалъ; подавляемыя рыданія переливались въ груди его и горлѣ; видно было по движеніямъ головы и худенькаго туловища, какихъ неимовѣрныхъ усилій стоило мальчику превозмочь свое горе. Нижегородецъ остался какъ-будто очень доволенъ и компаніей, и помѣ-

женіемъ. Онъ дернулъ цѣпью, поднялъ медвѣдицу на заднія ноги и провозгласилъ торжественно:

— А ну-ка, Матрена Ивановна, поклонись всей честной компаніи, да въ ноги, хорошенько!... Спроси: не потѣснимъ ли васъ, дескать?... а потѣснимъ, на томъ, скажи, и дѣлу конецъ!... дѣваться больше нѣкуда! заключилъ вожакъ и, безъ дальнѣйшей церемоніи, отправился въ дальній уголъ привязывать Матрену Ивановну; меланхолическій скрипачъ пошелъ туда же съ своей козой и скрипкой.

Балдàй осклабилъ зубы и съ какою-то хищною жадностью впился въ Фуфàева, какъ бы выжидая отъ него какой-нибудь выходки. Балдàй не ошибся: хотѣлось ли слѣпому разсмѣшить Петю, котораго до-сихъ-поръ тщетно утѣшалъ онъ словами, или попросту пришла ему охота скоморошничать, онъ сталъ на четвереньки, тяжело поднялся на ноги, дико заревѣлъ и началъ представлять медвѣдя, что было ему нетрудно: самъ онъ, всей своей фигурой, похожъ былъ на шершаваго медвѣжонка. Балдàй закатился нескончаемымъ смѣхомъ. Нижегородецъ, возвращающійся изъ дальняго угла съ своими штофами, остановился передъ Фуфàевымъ и также засмѣялся.

— Ништо, знатный медвѣдь! Маленечко вотъ только поломать бы надо! сказалъ онъ. — А что, хошь я тебя возьму? Годикъ округъ колеса у меня походишь, тамъ ноздри тебѣ прожженъ, цѣпь пропустимъ, да кажинный день разовъ по пяти палкой по спинѣ — всю науку произойдешь! Жалованье платить стану... А ну-ткась, ну: „а какъ малые ребятишки горохъ воровали?“... ну...

Фуфàевъ грохнулся на-земь и заревѣлъ во сколько хватило силы. Нижегородецъ съ удивленіемъ глянулъ на рябаго Балдàя, который чуть не лопался со смѣху. Онъ сѣлъ недалеко отъ Фуфàева. Къ нему присоединился меланхолическій товарищъ съ котомкой, гдѣ видны были яйца и ломти хлѣба.

— Глянька-сь, Зинзивѣй: въ лѣсъ не ходили, а звѣря нашли! сказалъ нижегородецъ, толкая локтемъ козылятника: — да звѣрь-то какой, совсѣмъ почитай обученый... Къ тому и ручной совсѣмъ; хлопотъ меньше: зубовъ пилить не надыть...

— Да и глазъ-то выжигать не стать! вишь: готово дѣло сдѣлано! воскликнулъ Фуфàевъ, поднимаясь на ноги, комически потряхивая головою и вращая бѣлыми своими зрачками.

— Зинзивѣй, смотри: слѣпой! право слѣпой!... Вотъ поди жъ ты, слѣпъ человѣкъ, а какъ потѣшается!

Зинзивѣй испустилъ вздохъ, какъ-бы соболѣзнуя о несчастномъ, послѣ чего разбилъ яйцо на угловатой головѣ своей и смиренно принялся лущить скорлупу.

— Ай да слѣпой! Ну, братъ, впервѝнку такого вижу! сказалъ вожакъ:— да ты, видно, шутникъ! Поди ты какія штуки выдѣлываетъ!...

— А ужъ такой-то любопытный! такой-то... Я самъ впервые вижу такого! воскликнулъ, смѣясь, Балдàй.

Онъ заговаривалъ теперь съ вожакомъ точно такъ же, какъ заговаривалъ въ Андреевскомъ во время обѣдни съ Верстàномъ. Одно изъ свойствъ егозливой, подленькой природы длиннаго Балдàя было подольщаться ко всякому; въ поспѣшности его сближаться проглядывало какъ-будто желаніе развѣдать чужія дѣла, обстоятельства, нравы и мысли; быстрые соколиные глаза рябаго нищаго подтверждали, что имъ въ этихъ случаяхъ управляло не одно пустое любопытство.

— О чемъ это у васъ мальчикъ-то плачетъ? спросилъ вдругъ нижегородецъ, оборачиваясь къ Петѣ.

— А въ два смычка на спинѣ поиграли, объ томъ видно! смѣясь, сказалъ Балдàй.

— За что жъ такъ?

— Стало-быть надо было, буркнулъ Верстàнъ, пережовывая свои корки.

— Вишь ты: призналъ этта онъ ноньче на праздникѣ какого-то вишь своего знакомца изъ своей деревни! словоохотливо заговорилъ Балдàй.

— Ну такъ что жъ, что призналъ?...

— А вотъ старикъ сказывалъ (Балдàй указалъ на Верстàна), такой вишь точно случай вышелъ съ однимъ нищимъ: пришелъ онъ лѣтось также вотъ на праздникъ, съ мальчикомъ приходилъ. Возьми мальчикъ-то да и признай мать либо тётку, что ли. Сталъ также плакаться, говоритъ: „житье, говоритъ, добрѐ нехорошо!“ Она возьми да къ становому... такъ и такъ, говоритъ... Что бы ты думалъ? вѣдь мальчика-то у нищаго отняли! А онъ, слышь, той же матери деньги отдалъ за парнишку, хлопоталъ надъ нимъ, возрастилъ его—взяли да и отняли; такъ нипричемъ и остался!...

— Черезъ то, значитъ, глупый человѣкъ былъ, черезъ то

больше и отняли! вмѣшался Верстàнъ.— Былъ, вотъ, сказывалъ я имъ, былъ у меня другой знакомый, также изъ нашей братіи: такъ у того, бывало, ребяты-то, небось, никого не признавали, безъ опаски вездѣ ходилъ... Какой ни подвернется ему парнишка... (тутъ Верстàнъ обратился къ Петѣ и умышленно возвысилъ голосъ) какой ни подвернется, онъ каждому возьметъ да глаза-то и выколетъ... Съ ними видно и все такъ-то надо дѣлать: дѣло тогда вѣрнѣе...

Съ-тѣхъ-поръ, какъ нищіе находились въ кирпичномъ сараѣ, Верстàнъ раза ужъ три намекнулъ на собрата, который держался обычая ослѣплять вожаковъ своихъ; каждый разъ при этомъ Верстàнъ пристально поглядывалъ на Петю и возвышалъ голосъ. Не смотря на заступничество Фуфàева, получившаго даже нѣсколько ударовъ, предназначавшихся Петѣ, Верстàнъ больно, очень больно побилъ мальчика, но Петя согласился бы претерпѣть втрое, вчетверо больше побоевъ, лишь бы Верстàнъ не грозилъ лишить его зрѣнія. При первомъ намекѣ, все замерло въ бѣдномъ мальчикѣ; онъ не сомнѣвался, что все теперь кончено, что пришелъ, видно, смертный часъ; послѣдній намёкъ стараго нищаго окончательно убѣдилъ его въ намѣреніи Верстàна. Какъ ни крѣпился онъ, но на этотъ разъ не могъ одолѣть отчаянья — бросился лицомъ на земь и громко зарыдалъ.

— Эхъ ты, плакуша! съ глупымъ смѣхомъ крикнулъ Балдàй.

— А нука-сь, дай-ка я тебѣ буркалы-то вырву! небось смѣяться станешь—а? дерзко возразилъ Фуфàевъ.—Полно, наслѣдникъ, не плачь! подхватилъ Фуфàевъ, не сомнѣвавшійся, что исторія съ нищимъ была разсказана только для острастки мальчику (онъ не могъ прямо разувѣрить Петю, боясь ссоры съ Верстàномъ):—не плачь! плакать негодится: дѣвки будутъ смѣяться!... Парню слѣдъ быть пригожему, весельливому, привѣтливому, покорливому, гульливому — вотъ какъ! „Я, скажи, буду и безъ глазъ живъ; было бы брюхо!“ На меня смотри: рази я сокрушаюсь? Эхъ-ма! подбавилъ Фуфàевъ, выкидывая колѣнцо, причемъ всѣ засмѣялись, кромѣ Верстàна и меланхолическаго ковылятника:—ты нарови всегда по-нашему: будь безъ хвоста да не кажись кургузъ—вотъ это значитъ человѣкъ есть! А то убивается, какъ горькая кукушечка... а о чемъ? Полно, наслѣдникъ, дѣвки смѣяться станутъ; полно, говорю...

Нижегородецъ, которому, замѣтно, столько же не нравился

Балдàй, сколько полюбился Фуфàевъ, подсѣлъ къ нему и расположился закусывать, предложивъ слѣпому два яйца и давъ ему еще одно для мальчика.

— Вотъ мы, братцы, здѣсь сидимъ, а дождичекъ-то все покапываетъ, сказалъ онъ, ломая хлѣбъ и поглядывая на стороны: — вишь кругомъ обложило, какъ есть! Нескоро, знать, перестанетъ. Ночевать нѣчего, хорошо; какова только завтра будетъ дорога! Вишь какъ наволакиваетъ; время не пуще много, а совсѣмъ ужъ сумерки.

— О-хо-хо! вздохнулъ Зинзивѣй.

Онъ съѣлъ уже послѣднее яйцо и съ выраженіемъ тоскливаго ожиданья глядѣлъ на штофы товарища.

— А что ты думаешь, братецъ, взаправду, можетъ, сумерки! сказалъ Фуфàевъ, который силою запихнулъ два яйца Петѣ за пазуху и возвратился на прежнее мѣсто: —на мои глаза все ночь; сужу, примѣрно, по времени; время такое подходитъ, къ жнитву, примѣрно; скоро первый Спасъ—дни убывать начали. Э! э, э... задребезжалъ вдругъ тоненькимъ козлячимъ голоскомъ Фуфàевъ: — да у тебя, землякъ, никакъ винцо?... Фу, фу, эхъ знатно, духовѝто, какъ попахиваетъ! Нѣтъ, землякъ, такъ въ честной компаніи не водится... Рѣжь да ѣшь, ломай да и мнѣ давай—слыхалъ ты это?

— Изволь, землякъ, посмѣиваясь, сказалъ нижегородецъ: — мы съ нашимъ удовольствіемъ; дай только напредки товарищу отпить: надо знать прежде, который которому принадлежитъ.

— Ладно, ладно... То-то, братъ, землячокъ, я бы ужъ давно поднесъ, да винца-то купить не на что; у меня въ карманѣ-то Иванъ-тощій .. право слово, Иванъ-тощій!...

— Разсорѝлъ, стало-быть?...

— Всѣ деньги, которыя были, всѣ рѣшилъ—фю! свистнулъ Фуфàевъ и махнулъ рукою.

Балдàй снова закатился. Нижегородецъ подалъ штофъ Зинзивѣю, который началъ такъ пить, какъ-будто поднесли ему самаго горькаго лѣкарства; тѣмъ не менѣе штофъ оказался наполовину пустымъ, когда возвратился къ товарищу; послѣ этого Зинзивѣй подмостилъ себѣ подъ голову тулупчикъ, испустилъ три глубокіе вздоха и завалился спать.

— Ну ужъ, братъ, и меня угости, произнесъ заигрывающимъ голосомъ Балдàй, когда штофъ перешелъ изъ рукъ вожака къ Фуфаеву.

— А за что̀ тебя угощать? что̀ зубы-то скалишь?...

— Нѣтъ, такъ, для компаніи, ухмыляясь, съ какою-то неловкостью сказалъ Балда̀й.

— Для компаніи мы будемъ пить вотъ съ кѣмъ! вымолвилъ вожакъ, похлопывая по плечу Фуфа̀ева.

— Ну, Богъ съ тобой... на̀, пей! отдуваясь, произнесъ слѣпой, подавая Балда̀ю штофъ, до того осушенный внутри, что, казалось, вино въ немъ было огнемъ выжжено.

Всѣ засмѣялись, не выключая даже дядя Мизги́ря. Вожакъ отказалъ Балда̀ю потому собственно, что ему хотѣлось срѣзать эту шитую рожу, какъ назвалъ онъ его потомъ. Чтобъ доказать, что онъ вина не жалѣетъ, онъ подалъ новый, полный штофъ Балда̀ю, но промолвилъ:

— Смотри, братъ, знай только честь!

Онъ передалъ штофъ, но ужъ безъ замѣчанія, Верста̀ну, дядѣ Мизги́рю, и наконецъ самъ сталъ потягивать. Дождь, между-тѣмъ, продолжалъ идти своимъ чередомъ; сгущавшіяся тучи замѣтно ускоряли сумерки; углы сарая давно наполнились мракомъ; теперь исчезъ даже Петя; вожакъ могъ только видѣть ноги Верста̀на и Мизги́ря, которые сидѣли противъ; туловища ихъ и головы опутывались сумракомъ; онъ едва уже начиналъ различать черты Балдая и лицо самого Фуфа̀ева, присѣвшаго противъ него на корточкахъ. Но для Фуфа̀ева была всегдашняя ночь или вѣчный день, какъ говорилъ онъ: солнце свѣтило тогда лишь, когда хмѣль попадалъ въ голову — онъ веселѣлъ съ каждымъ новымъ глоткомъ. Получивъ штофъ уже въ третій или четвертый разъ, онъ нѣжно прижалъ его къ груди и сталъ укачивать, какъ ребенка, приговаривая: „у кота-кота колыбель хороша! баю-баюшки, баю, красоу̀люшку люблю!“ потомъ онъ сказалъ, чтобъ глядѣли, ка́къ онъ перекинется оборотнемъ, превратится изъ матери въ ребенка, и принялся сосать вино.

— Вотъ вы, ребятушки, потѣшаетесь, сказалъ онъ, отнимая штофъ отъ рта и переводя духъ:—ладно; а знаете ли, отколь это винцо-то взялось, что̀ попиваемъ теперича—ась? Небось, не знаете...

— Нѣтъ, не знаемъ; разскажи...

— Ой-ли? Ладно; дай сперва́-на́перва горло промочить. Онъ хлебнулъ: — это присказка, а сказка впереди... Прозывается она, примѣрно, такой ужъ обычай, прозывается: горькоу́ха...

— Слыхали ужъ! произнесъ Верста̀нъ.

— Слыхали! повторилъ дядя Мизги́рь.

— Ну да мало ли что̀! я не слыхалъ! возразилъ вожакъ.— Разсказывай, братъ, разсказывай... примолвилъ онъ, подпираясь локтемъ и заранѣе расправляя бороду, чтобъ ничто не мѣшало смѣяться.

— И я послушаю... о-о! зѣвнулъ Балда̀й, который началъ съ нѣкоторыхъ поръ потягиваться и терять свою прыткость.

Верста̀нъ пробормоталъ что-то подъ носъ и улегся; Мизги́рь послѣдѣвалъ его примѣру; Балда̀й прислонился спиною къ плетню; нижегородецъ припалъ плечомъ къ столбу. Фуфа̀евъ хлебнулъ и началъ.

IX.

Сказка. — Освобожденіе.

— Жилъ, братцы вы мои (заговорилъ Фуфа̀евъ), жилъ-поживалъ на бѣломъ свѣтѣ сермя́жникъ одинъ, мужикъ по-нашему; звали его Тюря—такое прозвище было; имѣлъ онъ капиталъ не то чтобъ малый, капиталъ былъ дюжій: ребятишекъ дюжину да бабу-жену лихую! Мелочи вотъ только никогда у него не ва̀живалось: значитъ, то-есть, не было хлѣбушка, капустки, рѣпки и всякой тамъ другой потребы, что̀ этотъ вотъ кошель набиваютъ (присовокупилъ Фуфа̀евъ, хлопая себя по животу), ничего этого не было. Да ну ихъ, куда бы ни шло! нипочемъ было ему ходить съ пустымъ брюхомъ: привыкъ съизмаленьку! Главная причина, женой пуще обижался; онъ слово—она десять; онъ два слова — она его за волосы, за виски да о̀-земь!... Такъ колотила, братцы—ходитъ, бывало, Тюря весь синій, совсѣмъ синій человѣкъ ходитъ... въ одинъ синякъ всего избивала, проклятая!... Ну, хорошо... Вотъ приходитъ разъ такъ-то время весеннее, подулъ вѣтеръ утренній, запѣли пташки-малиновки... Взялъ Тюря послѣднюю корку хлѣба, которая была, взялъ, сунулъ за пазуху и пошелъ въ поле; время такое къ самой пахотѣ приспѣло. Ладно. Пашетъ онъ часъ, пашетъ другой, поѣсть захотѣлось. „Нѣтъ, говоритъ—такъ, примѣрно, самъ съ собой разговоръ ведетъ—нѣтъ, обожду, говоритъ; поѣмъ, какъ пуще проголодаюсь!“ Взялъ, положилъ корку на межу и пошелъ опять къ сохѣ ко своей; пошелъ къ сохѣ, а самъ и не

видитъ, что̀ на межѣ-то на той творится, гдѣ корку-то оставилъ; отколь ни возьмись, прыснулъ чортъ, облапилъ корку, взялъ да подъ кустъ и схоронился... Любо ему, анаѳемѣ, поглядѣть, ка̀къ человѣкъ голодать станетъ!... Ладно. Вотъ приходитъ Тюря къ межѣ, хвать-похвать, искать-поискать—нѣтъ корки! индо страхъ взялъ, за кожей подираетъ, въ глазахъ митýситъ, шапчонка какая была на ёмъ, и та на бекрень... Ну сталъ пооперяться. „Чтой-то за диво—самъ съ собой опять разговоръ повелъ—никого кажись не было, а корку стибрити!... А ну, говоритъ, на здоровье ему!“ Сотворилъ молитву, перекрестился и поѣхалъ домой. А чортъ тѣмъ временемъ въ адъ шаркнулъ разсказывать про всѣ дѣла свои; разсказалъ, гдѣ рыскалъ, примѣрно, что̀ видѣлъ, не забылъ упомянуть сатанѣ объ мужиковой коркѣ, а самъ, анаѳема, такъ вотъ и заливается, грохочетъ—оченно, значитъ, забавляется. Какъ крикнетъ набольшій сатана, даже стекла въ аду задрожали: „Чего ты, кричитъ, дьявольское отродье, потѣшаешься? молчать, говоритъ; разсказывай толкомъ: что̀, говоритъ, мужикъ сказалъ, какъ ты хлѣбъ-то у него отнялъ?“ Такъ-и-такъ, говоритъ, сказалъ: „а ну ему, говоритъ, на здоровье!“—„Ахъ вы пострѣлы! закричалъ опять набольшій чортъ (осерчалъ добрѐ): вотъ всѣ вы такъ, кричитъ, натворите дѣлъ безъ толку безо всякаго, а я за васъ потомъ отвѣчать должóнъ. Лети, кричитъ, лети на землю скорѣй къ мужику тому и сослужи ему чѣмъ нинаесть!“ Отправился малый чортъ на землю, согнулся въ три погибели, прикинулся смирячкомъ такимъ, пришелъ къ Тюрѣ и просится въ батраки. „Гдѣ мнѣ нанимать! говоритъ Тюря: вишь, самъ голодаю!“—„Ничего, молвилъ бѣсъ, будемъ голодать вмѣстѣ; платы, говоритъ, не полагается—не надо; служилъ я за плату, говоритъ, а самъ вишь въ заплатахъ; по-моему все одно: есть копейка, нѣтъ ее—все единственно“, говоритъ. Сталъ жить чортъ у Тюри; пашетъ онъ ниву, дивуется мужикъ: навозу на лопату взять нѣчего, а онъ унавозилъ все поле; хлѣбъ растетъ словно лѣсъ какой; колосъ пошелъ, почитай, съ самаго корня! Ну, сталъ это маненько словно оправляться Тюря; хлѣба стало вдосталь, и жена словно присмирѣла... знамо, съ сытаго-то брюха! Вотъ чортъ и говоритъ разъ Тюрѣ: „слышь, говоритъ, хлѣба у насъ съ залишкомъ; чѣмъ его такъ держать, давай, говоритъ, засѣемъ болото“. Тюря въ надеждѣ былъ, что такой батракъ нанялся, не сталъ перечить. Выѣхали на болото; пашетъ чортъ болото, а оно такъ и сохнетъ подъ

сохою; взборонилъ, засѣялъ, а жара не унимается—хлѣбъ растетъ словно на степной пашнѣ. Съ начатія-то больно смѣялись сосѣди: „и то, молъ, и сё“; а какъ видятъ, жара не унимается, хлѣбъ на болотѣ выросъ лѣсомъ, стали себя попрекать, зачѣмъ, дескать, не придумали прежде... на ту же статью наровили... Убралъ Тюря хлѣбъ, разбогатѣлъ пуще прежняго. Жена не токма̀ бить, стала къ нему ластиться; а онъ ей но́нѣ коты, завтра платокъ врозь-концы, послѣ-завтра калачъ: пуще задобриваетъ, чтобъ смирнѣй била. Приходитъ опять весна, мужики кинулись на болото, а чортъ тащитъ Тюрю на горы. „Не замай, оставь!“ говоритъ. Тюря опять перечить не сталъ. Погодили недѣльку-другую, подули вѣтры сиверные, полили дожди ливмя: на поляхъ лужи, на болотахъ потопъ; батракъ, сирѣчь чортъ, зачалъ пахать пески да горы; вспахалъ и засѣялъ. Дожди не перестаютъ, вѣтры не унимаются; на поляхъ всходы плохи, въ болотахъ пропало зерно—у Тюри хлѣбъ родился на диковинку, дѣвать нѣкуда! Вотъ и думаетъ чортъ, самъ про-себя такъ-то мекаетъ: „за корку, что стибрилъ тогда у Тюри, отслужилъ я ему на-порядкахъ; надо, говоритъ, ему всучить бы волчка̀ теперича! Служба службой, бѣсъ бѣсомъ“, говоритъ. Вотъ разъ сидятъ оба на завалинкѣ; чортъ и говоритъ: „придумалъ я, слышь, затѣю: хлѣба у тебя въ достаткѣ; сварим-ка, говоритъ, пивца!“—Ладно, говоритъ Тюря (простой такой былъ), служилъ ты вѣрно, перечить не хочу; дѣлай, какъ пово́лится!“ Принялся чортъ за новую работу: затиралъ брагу, подхмѣливалъ, гналъ, перегонялъ, умудрялся всякими бѣсовскими манерами; къ утру приноситъ Тюрѣ: „на̀, говоритъ, попробуй!“ а у самого рожа-то такъ на сторону и лѣзетъ, насмѣхается надъ мужикомъ: хлебнулъ Тюря: „у-ва! горько!...“

Тутъ Фуфа̀евъ поднесъ штофъ къ собственнымъ губамъ, щелкнулъ языкомъ, наклонилъ голову и сталъ прислушиваться къ звонкому храпѣнью Верста̀на и дяди Мизги́ря; ему показалось какъ-будто храпѣлъ и Балда̀й.

— Ребята! да вы никакъ всѣ заснули? вымолвилъ онъ.

— Они всѣ спятъ, а я ничего... Разсказывай знай, разсказывай! проговорилъ нижегородецъ, распяливая глаза, которые начали часто ужъ что-то прищуриваться; впрочемъ, въ сара̀ѣ было такъ темно, что, все-равно, можно было сидѣть съ закрытыми глазами.

— Никакъ и мальчикъ-то заснулъ, наслѣдникъ-то мой?... Эй, Балдѣй, спишь? крикнулъ Фуфаевъ, поворачиваясь въ ту сторону.

— А?... Нѣтъ... я... ничего... добрѣ ужъ оченно-любопытно... добрѣ... сонливо провертѣлъ языкомъ рябой Балдѣй.

— Разсказывай знай, разсказывай! повторилъ нижегородецъ.

— Ну, вотъ, братецъ ты мой (началъ снова Фуфаевъ, присѣдая на корточки), какъ попробовалъ Тюря этой горькухи-то, что чортъ сварилъ, больно она ему не понравилась, даже плевать началъ. „Ничего, говоритъ чортъ: и пиво горько, и соль солена; пей, ѣшь кисло да солоно, говоритъ, на томъ свѣтѣ не сгніешь! Чего ты опасаешься? Это такъ-только спервака не по скусу; тотъ же вѣдь хлѣбъ, только пожиже, говоритъ; качай, говоритъ, починъ дороже денегъ!“ Сталъ его такъ-то присударивать; знамо, чортъ на свое тянетъ, подольщается. Взялъ Тюря посудинку, опять хлебнулъ: „Ништо, говоритъ, горька-то горька, а ништо!“ — „А хвати-ка еще!“ присталъ опять чортъ. Хватили вмѣстѣ. „Словно какъ и негорька“, говоритъ Тюря. — „То-то негорька! Оно такъ тебѣ спервака показалось; знатное дѣло, братецъ ты мой, говоритъ чортъ: а нука-сь еще!“ Опять тяпнули по чаркѣ. „Нѣтъ, негорька, говоритъ Тюря, право-слово негорька!“ — „И по-моему негорька, молвилъ чортъ: такъ индо горло смазываетъ, по животику расходится да по косточкамъ!“ Тутъ ужъ Тюря самъ тяпнулъ не дожидаючи. „Слышь, хозяинъ, заговорилъ опять чортъ: что тебѣ задается? ничего не задается — ась?“ — „Сдается, говоритъ Тюря, еще бы хватить маненько!“ — „И то дѣло; качай во здравіе!“ Качай да качай, только и разговору было. „Стой, кричитъ опять чортъ: слышь, хозяинъ, что тебѣ задается? ничего не задается?“ — „Сдается, говоритъ Тюря, словно изба кругомъ пошла... стой, держи!“ закружитъ, завертитъ, проклятая... да еще уйдетъ пожалуй... пру... пру... безъ избы останемся на зиму!...“ — „Не замай, не уйдетъ, говоритъ чортъ, она отъ-роду никуда не хаживала; побоится идти по незнакомой дорогѣ!“ Лѣзло имъ обоимъ такимъ манеромъ то то, то другое; повалились оба и заснули. Проснулись; сталъ Тюря на голову жалиться; не подымешь никакъ; чортъ опять горькухи принесъ. „Нѣтъ, не по могутѣ“, говоритъ Тюря, а самъ даже стонетъ: „не могу“, говоритъ. „Да ты, братецъ, разомъ только; завсегда такъ водится: клинъ клиномъ выгонять надыть. Я ужъ выпилъ—отлегло!“ Послушалъ мужикъ, выпилъ бычкомъ— и то словно отлегло... „А ну-ка, говоритъ, принеси-ка еще!“ Еще

выпили — и пошла у нихъ лей-перелей гулянка! Варятъ горькýху, пьютъ, словно въ бочку наливаютъ! Жена вступилась-было — Тюря ее въ ухо; ребятёнки пристали — онъ кого о-земь, кого объ уголъ, а самъ кричитъ, горло деретъ: „вари, кричитъ, вари, батракъ, горькýху на весь міръ крещеный, на всю деревню; всѣхъ, кричитъ, угощать хочу!“ Позвали сосѣдей. Пришли всѣ. Сначатія никто не пьетъ, тамъ одинъ попробовалъ, тамъ другой, подъ-конецъ всѣ втравились, запили знатно — и пошелъ разгулъ, такой разгулъ, что не видано отъ-роду. Андрей пѣсенъ не пѣвалъ — запѣлъ во всю глотку, схватившись за оба уха; Власъ подтыкалъ полы за поясъ, засучилъ рукава: „выходи, кричитъ, выходи — только и жилъ!“ Никита голоситъ, плачется внуку: „нѣтъ-де у меня ни отца, ни матери!“ Селифанъ бьетъ кулакомъ въ печку: „дорогу, говоритъ, давай!“ Михѣшка ходитъ, у всѣхъ прощенья проситъ... То-то была потѣха! Плакали, плясали, пѣли, бились, а подъ-конецъ всѣ съ ногъ сгорѣли, повалились и заснули; кто гдѣ стоялъ, тутъ и повалился! Чортъ былъ при этомъ при всемъ. Вотъ и ждетъ онъ другаго утра. Стала у всѣхъ голова болѣть; стали всѣ жаловаться: „опоилъ ихъ Тюря бѣсовскимъ зельемъ!“ а чортъ и говоритъ: „ничего, говоритъ, ребята, не печалуйся! клинъ клиномъ выгоняй!“ Всѣмъ поднесъ горькýхи, и опять всѣ загуляли... Видитъ это чортъ, возьми да каждому на-ухо и разскажи, повѣдай всѣмъ, какъ ее дѣлаютъ, горькýху-то, и пошла она послѣ того, окаянная, гулять по свѣту по бѣлому...“

Фуфаевъ остановился.

— Эй, землякъ! крикнулъ онъ.

Отвѣта не было. Въ дальнемъ углу слышалось только побряниванье цѣпи, а кругомъ раздавалось храпѣнье, переливавшееся на пять разныхъ ладовъ.

— Эхва! а я-то тутъ стараюсь! языкомъ бью, плетни выплетаю! вымолвилъ слѣпой, потряхивая головою. Онъ допилъ остающееся вино и ощупью подобрался къ Петѣ, подлѣ котораго прежде еще выбралъ себѣ мѣсто.

— Ну, и этотъ захрапѣлъ! проворчалъ Фуфаевъ, нагибаясь къ мальчику, который въ-самомъ-дѣлѣ началъ храпѣть: — ну да этотъ пущай его спитъ; нонѣ день такой выпалъ сердягѣ, либо спать, либо плакать! заключилъ слѣпой, укладываясь на голую землю. Онъ крякнулъ и повернулся на другой бокъ, крякнулъ опять и снова перевалился, какъ кадушка, на другую сторону; послѣ

этого онъ крикнулъ еще разъ, но ужъ не перевертывался, а захрапѣлъ еще звончѣе товарищей.

Но Петя не спалъ—не до сна ему было: онъ только прикидывался спящимъ. Съ той минуты, какъ забыли о немъ нищіе, до настоящей, въ головѣ его созрѣла мысль, которую могли только породить одинъ безграничный страхъ, одно отчаянье. Онъ рѣшился бѣжать, бѣжать въ эту же ночь. Но куда бѣжать? къ кому? что съ нимъ будетъ, когда убѣжитъ? Ни о чемъ этомъ онъ не думалъ. У него была одна мысль: уйдти отъ Верстàна, который, вѣрно, не далѣе, какъ завтра, улучивъ минуту, приведетъ въ исполненіе свое страшное намѣреніе. Минутъ десять послѣ того, какъ захрапѣлъ Фуфàевъ, Петя продолжалъ, однакожъ, лежать пластомъ и не трогался съ мѣста—такъ великъ былъ его страхъ; сердце такъ въ немъ и замирало. Ночь была сырая, но потъ прохватывалъ его насквозь, выступалъ на лбу и на лицѣ, закрытомъ ладонями, прижатыми къ землѣ. Наконецъ, задерживая дыханіе, тихо-тихо поднялъ онъ голову. Нищіе и медвѣжатники, исчезавшіе въ непроницаемомъ мракѣ, храпѣли; кромѣ этихъ звуковъ было такъ тихо, что Петя могъ пересчитать число людей по храпѣнью и дыханью. Онъ снова сталъ прислушиваться. Время-отъ-времени, въ дальнемъ углу брякнетъ цѣпь—и только; извнѣ мѣшался мѣрный, однообразный шумъ дождя и хлёсканье капель, которыя, скатываясь съ кровли, падали въ лужи.

Петя бережно поднялся на руки и попробовалъ перевернуться на другой бокъ. Все храпѣло попрежнему; это ободрило его; онъ очень хорошо помнилъ гдѣ кто расположился: ему легко было пройдти къ выходу сарая и не задѣть никого. Но тутъ овладѣлъ имъ страхъ пуще прежняго; колѣни его стучали другъ о дружку; онъ долженъ былъ прижать грудь руками и открыть ротъ, чтобъ перевести дыханіе, которое спиралось въ пересыхавшемъ горлѣ. „Сейчасъ хватится Верстàнъ, сейчасъ хватится и крикнетъ!“ думалъ онъ. Петя вспомнилъ вдругъ, что прежде, въ Мàрьинскомъ, живучи дома, когда случалось ему вскидываться со сна, мать подбѣгала къ нему и начинала крестить его... Онъ торопливо, нѣсколько разъ сряду перекрестился и пустился бѣжать со всѣхъ ногъ. Онъ бѣжалъ почти безсознательно; въ первыя минуты имъ управлялъ одинъ инстинктъ, одно чувство самосохраненія, внушавшія ему удаляться отъ Андреевскаго. Самъ не замѣчая этого, выбрался онъ изъ лощины и очутился посреди пустынныхъ полей,

гдѣ шумѣлъ только дождь. Но страхъ, овладѣвавшій имъ, повидимому, все сильнѣе и сильнѣе, по мѣрѣ того, какъ онъ удалялся, привязывалъ крылья къ ногамъ его; онъ ни на минуту не останавливался. Не чувствуя тяжести платья, насквозь пропитаннаго дождемъ, не чувствуя усталости, онъ бѣжалъ впередъ и впередъ, самъ не зная, какъ перескакивалъ межи, дождевыя промоины, какъ перелѣзалъ овраги, перемежавшіе иногда путь. Усталось скоро, однакожъ, взяла свое; онъ остановился и поспѣшилъ припасть къ землѣ, хотя въ трехъ шагахъ можно было пройдти мимо и не замѣтить его. Сердце его билось такъ сильно, что, казалось, слышалось ему, какъ стучало оно; но, кромѣ этого звука и шума дождя, онъ ничего не слышалъ. Онъ подумалъ, что рано еще останавливаться: слишкомъ близки нищіе; превозмогъ усталость и снова пошелъ впередъ. Такъ шелъ онъ всю ночь, изрѣдка останавливаясь, чтобъ перевести духъ.

Утро застало его на возвышенномъ мѣстѣ, посреди неоглядныхъ полей, мѣстами покрытыхъ колосившеюся рожью, мѣстами голыхъ или усѣянныхъ кустарникомъ. Дождь пересталъ на минуту; кругомъ открылось неоглядное пространство; кой-гдѣ выглядывали деревушки, бѣлѣла церковь, или темно-синимъ пятномъ раскидывался лѣсъ. Петя не имѣлъ никакого опредѣленнаго плана, кромѣ того развѣ, чтобъ, въ случаѣ, если увидитъ бѣгущихъ за нимъ нищихъ, броситься тотчасъ же въ рѣку. Мысли бѣднаго мальчика были такъ встревожены, что онъ не задавалъ себѣ даже вопроса, что дѣлать ему, если въ такомъ случаѣ не найдется рѣчки подъ рукою. Рѣчка должна быть — вотъ и все тутъ! Онъ побоялся, однакожъ, войдти въ одну изъ деревень, попадавшихся кой-гдѣ на дорогѣ; по соображеніямъ его, Верстанъ былъ еще близко: легко можно было натолкнуться на него въ жиломъ мѣстѣ. Мысль, что въ настоящую минуту Верстанъ уже пробудился, можетъ даже ищетъ его, заставила его забыть усталость; онъ продолжалъ подвигаться впередъ, снялъ даже лапти для облегченія ходьбы, и самъ подивился, какъ не придумалъ этого прежде: они смерть его измучили. Пройдя шаговъ двадцать, Петя вернулся назадъ и поспѣшилъ закопать лапти въ землю, чтобъ не оставить слѣда за собою.

Къ полудню опять зарядилъ дождь; земля такъ запѣсилась послѣ суточнаго ненастья, что трудно стало двигаться. Послѣ каждаго шага приходилось вытаскивать ногу изъ вязкой, глинистой почвы. Петя усталъ страшно; ноги его подламывались сами собою,

грудь болѣла, и въ плечахъ ныло невыносимо; сверхъ всего этого, голодъ началъ томить его. Онъ вспомнилъ о двухъ яйцахъ, засунутыхъ ему за пазуху Фуфаевымъ, и, вмѣсто нихъ, вытащилъ какія-то двѣ безобразныя лепешки, перемѣшанныя съ скорлупою. Какъ ни скудно было такое подкрѣпленіе, однакожъ Петя мысленно поблагодарилъ Фуфаева и назвалъ его самымъ добрымъ изъ всѣхъ нищихъ, какихъ только встрѣчалъ во время своей бродячей жизни. Неподалеку отъ того мѣста, гдѣ находился теперь Петя, начиналось поле ржи; онъ рѣшился забраться туда поглубже и отдохнуть. Но едва успѣлъ онъ растянуться на сырой землѣ, какъ почувствовалъ сильный позывъ ко сну. Онъ старался превозмочь себя, но не могъ; пока призывалъ онъ на помощь всѣ соображенія, что безопаснѣе было бы дождаться ночи, сонъ овладѣлъ имъ совершенно.

Когда онъ проснулся, дождь снова пересталъ; но сумерки замѣтно начали покрывать дальнюю мѣстность. Изъ-за поля выглядывалъ уголъ лѣса; Петя рѣшился пройти лѣсъ и вступить въ первую деревню, которая попадется: можетъ, найдется тамъ какая-нибудь старушка, которая сжалится надъ нимъ, дастъ ему хлѣбца и позволитъ отдохнуть. Оживленный такой надеждой, Петя почти бодро вошелъ въ лѣсъ. Онъ шелъ ужъ довольно долго, а лѣсъ все не кончался; все выше и выше подымались деревья, гуще и гуще разростались кусты, глушившіе мшистые стволы деревъ; чаща листьевъ усиливала мракъ и безъ того ужъ позднихъ сумерекъ; вскорѣ въ лѣсу совершенно стемнѣло. Петя думалъ уже вернуться назадъ, но позади такъ же было все темно и глухо; кромѣ этого, онъ прошелъ много по лѣсу; легко теперь было заблудиться. Страхъ снова напалъ на него. Въ Мар'инскомъ сколько разъ приводилось ему ѣздить въ ночную и проводить ночь въ лѣсу; но онъ ѣздилъ тогда не одинъ: ихъ такъ много тогда ребятишекъ собиралось; теперь онъ былъ одинъ-одинёшенекъ, въ лѣсу, да еще въ лѣсу незнакомомъ! Ему пришли въ голову волки, но онъ сталъ тотчасъ же ободрять себя: онъ взлѣзетъ на дерево. Ну, а какъ медвѣдь?... Петя перекрестился и вдругъ заплакалъ. Снова послышалось ему, какъ стучало его сердце, но теперь къ этому звуку примѣшивался не шумъ дождя—нѣтъ, дождя не было, примѣшивался... (Петя явственно это слышалъ) примѣшивался трескъ вѣтокъ и шорохъ въ кустахъ... (вѣтра также не было). Петя началъ снова креститься и, дрожа отъ страха, замирая душою и сердцемъ, припалъ къ стволу стараго дерева. Все какъ-будто на минуту смолкло...

И вдругъ онъ еще явственнѣе услышалъ теперь: раздалось неподалеку медленное, какое-то шипѣнье, похожее на тяжелое дыханье приближавшагося человѣка или звѣря... Прошла еще минута, и вдругъ что-то страшно загудѣло въ вершинахъ деревъ; раздался страшный трескъ ломавшихся сотнями вѣтвей, и что-то тяжелое рухнуло вдругъ на землю. Петя не успѣлъ придти въ себя, какъ нѣсколько человѣкъ, шагахъ въ пяти отъ него, проскочили мимо.

— Держи, ребята! вотъ они, мошенники! Здѣсь, сюда... тутъ срубили дерево, тутъ повалилось. Хватай ихъ! кричали голоса, которые съ дикими перегудами загрохотали по лѣсу.

Петя не слыхалъ, что произошло дальше; какъ только люди пронеслись мимо; онъ бросился бѣжать въ другую сторону, и бѣжалъ до-тѣхъ-поръ, пока земля не оборвалась подъ ногами и онъ не покатился въ оврагъ. Земля была такъ рыхла и смочена дождемъ, что онъ нимало не ушибся, хотя оврагъ былъ очень глубокъ и самъ онъ долго катился. Оправившись отъ испуга, онъ всталъ на ноги и оглянулся вокругъ. Голоса совсѣмъ пропали; вверху небо было такъ же почти черно, какъ верхушки деревъ, обступавшихъ окраины пропасти. На днѣ оврага, въ вязкой глинѣ, кой-гдѣ усѣянной камнями, журчалъ ручей. Петя опустилъ руку въ ручей: въ какую сторону бѣжала вода? Вода все куда-нибудь да приведетъ, говорили ему; а онъ усталъ и проголодался, и ему очень хотѣлось придти куда нибудь поскорѣе. Петя присѣлъ, перевелъ духъ, перекрестился и снова отправился въ путь...

Часть четвертая.

I.

Бродяга.

Петя боялся провести ночь въ оврагѣ: страшно было ему находиться въ этой мрачной глубинѣ, окруженной глухимъ лѣсомъ. Спотыкаясь о камни, завязая въ тинѣ и поминутно перескакивая ручей, изгибавшійся по дну оврага, онъ спѣшилъ выбраться на просторъ. Тамъ, все-равно, была такая же ночь, но чувствовалось ему, что тамъ, на просторѣ, все-таки легче и какъ-то отраднѣе сердцу. Петя шелъ, шелъ, а оврагъ не кончался; онъ тянулся такъ же долго, какъ лѣсъ, куда наканунѣ забрался мальчикъ.

Начинало свѣтать, когда Петя замѣтилъ, что края пропасти стали понижаться; вмѣстѣ съ этимъ, рѣдѣлъ лѣсъ, ея обступавшій, и деревья дѣлались мельче. Ноги мальчика подламывались отъ усталости; онѣ были до крови изсѣчены камнями. Онъ ускорилъ, однакожъ, шагъ, думая теперь о томъ только, какъ-бы скорѣе добраться до какой-нибудь деревушки: голодъ томилъ его. Послѣ трехъ-четырехъ поворотовъ, неожиданно открылась передъ нимъ луговина, освѣщенная косымъ лучомъ восходящаго солнца. Мальчикъ очутился посреди лѣсистой, широкой долины; слѣва дѣлала она крутой поворотъ и заслонялась скатомъ, справа убѣгала мелкими извилинами въ неоглядную даль, наполненную утреннимъ туманомъ и сизыми тѣнями, которыя бросали облака. Въ небѣ мѣстами проглядывали свѣтлыя лазоревыя пятна; солнечные лучи весело озаряли тотъ или другой бокъ долины... Но это продолжалось мгновенье: набѣгала туча и начиналъ сѣяться мелкій дождь, между-тѣмъ, какъ въ другомъ концѣ долины, гдѣ за минуту стояла сизая тѣнь, все разомъ обнималось солнцемъ и оживлялось радугой; словомъ, была погода, о которой говорятъ въ простонародьѣ мать ссорится съ дочкой: то солнышко проглянетъ, то дождикъ засѣется.

Трава такъ была высока, а Петя такъ былъ малъ ростомъ, что онъ замѣтилъ рѣчку не прежде, какъ когда приблизился къ ея берегу. Онъ бросилъ въ воду сухую вѣтку и пошелъ по теченію. Рѣчка эта привела ему на память другую рѣчку, чрезъ которую проходилъ онъ съ нищими въ то утро, когда оставили они больнаго Мишу. Сколько прошло послѣ того времени! Гдѣ теперь Миша? онъ уже давно, давно лежитъ въ землѣ... „Коли умираютъ хорошія, смирныя дѣти, они превращаются въ ангеловъ и живутъ съ Богомъ, гдѣ имъ и хорошо жить и весело“, часто говорила Петѣ Катерина. „Мишѣ лучше, стало-быть, моего теперь; по крайности, онъ не голодаетъ, а мнѣ ѣсть хочется до самой до смерти!“ подумалъ Петя, утирая слезы, которыя поминутно заслоняли передъ нимъ дальнюю мѣстность, куда жадно устремлялись глаза его въ надеждѣ увидѣть деревушку. Петя зналъ, очень-хорошо зналъ, что не было при немъ куска хлѣба; при всемъ томъ, каждые десять шаговъ онъ останавливался и торопливо обшаривалъ себя кругомъ... нѣтъ, не отыскивалось ни малѣйшей крошечки!

Пѣтушій крикъ, раздавшійся за дальнимъ откосомъ, быстро осушилъ его слезы. Собравъ остатокъ силъ, рванулся онъ въ ту сторону и, безъ сомнѣнія, припустилъ бы даже въ бѣжки, если бы не мѣшала высокая трава, путавшаяся между ногами и обдававшая его съ пояса до пятокъ дождевыми каплями. Обогнувъ откосъ, Петя увидѣлъ деревню. Долина въ этомъ мѣстѣ широко расходилась; въ одномъ изъ ея углубленій располагалась деревня; она смотрѣла на долину задами. Прежде всего Петя прошелъ мимо огорода; за огородомъ шла дорога, которая вела на улицу мимо крестьянскихъ ригъ и сараевъ.

Миновавъ огородъ, Петя не посмѣлъ идти далѣе: посреди самой дороги сидѣли двѣ огромныя собаки съ красными, высунутыми языками. Икры бѣднаго мальчика слишкомъ-хорошо знали, какъ больно кусаются деревенскіе псы, которыхъ обыкновенно никогда не кормятъ, а такъ пускаютъ, на-авось: живетъ—хорошо, издохла съ голоду—и того лучше: шкуру можно продать кошатнику; къ тому же Петя былъ беззащитенъ... Онъ рѣшился подождать, пока не уйдутъ собаки; но собаки не уходили; онѣ точно приставлены были сторожить у входа въ деревню. Наконецъ одна изъ нихъ подняла голову, насторожила уши и тявкнула; другая тотчасъ же стрѣлою полетѣла къ огороду; первая, распустивъ хвостъ, пустилась за нею. Еще минута—и Петя получилъ бы новое и совершенно лишнее доказательство, какъ

злы и голодны деревенскія собаки; но этой минуты довольно было ему, чтобъ скакнуть черезъ дорогу, схватиться руками за плетневую стѣну ближайшаго сарая и проворно вскарабкаться на крышу. Но тутъ послѣдовало съ нимъ другое несчастіе: едва сталъ онъ на крышу, солома быстро ушла подъ его ногами; ухватиться было не за что; онъ провалился во внутренность сарая и чуть не упалъ на голову какому-то мужику, обметавшему токъ.

Лицо мужика, съ большими глазами навыкатѣ, какъ у рака, постоянно сохраняло выраженіе тупаго удивленія: можно судить, что изобразилось на немъ, когда чуть не на голову свалился ему мальчикъ! Въ первую минуту ему представилось, что это былъ чортъ. Петя дѣйствительно хоть кому могъ показаться теперь чертёнкомъ: лицо его исчезало подъ слоемъ глины и грязи; волосы торчали во всѣ стороны; одежда, руки и ноги были одного цвѣта съ лицомъ; ротъ, раскрывшійся отъ испуга, поднятыя руки и вся фигура его, въ высшей степени озадаченная и какъ бы потерянная, сильно напугала мужика, который, бросивъ метлу свою, жался въ уголъ и крестился. Яростный лай собакъ и царапанье лапами по плетню навели его, однакожъ, на истину. Онъ метнулся со всѣхъ ногъ и схватилъ метлу.

— Ахъ ты окаянный!... я ти дамъ баловать! Экъ ихъ, озорники, повадились! воскликнулъ онъ, подходя къ Петѣ.

— Я невзначай, дядюшка, ей-Богу невзначай! торопливо заговорилъ Петя:—шелъ мимо, собаки бросились... добрѣ ужъ очень испужался... Я, дядя... я починю крышу-то... ей-Богу починю!...

— Э! да это ненашъ! произнесъ мужикъ, останавливаясь и до-того выкатывая глаза, что Петѣ пришла теперь очередь испугаться.

— Нѣтъ, дядюшка, я не здѣшній... я издалече... второй день иду... проговорилъ мальчикъ.

— Да ты отколѣ?

Такой вопросъ поставилъ Петю въ сильное затрудненіе: откуда онъ— онъ самъ не зналъ этого.

— Я съ нищими ходилъ, спохватился онъ:—у нищихъ вожакомъ былъ... да ушелъ отъ нихъ... Они, дядюшка, хотѣли мнѣ глаза выжечь...

— О! э!... да ты бродяга?

— Нѣтъ, дядюшка, право нѣтъ! воскликнулъ мальчикъ, неоднократно слышавшій, что бродягъ ловятъ и сажаютъ въ ост-

рогъ: — они меня, дядюшка, силой у отца отняли... у меня и мать есть и братья...

— Такъ что жъ ты къ нимъ не шелъ?

— Радъ бы пойдти... да куда я пойду? я дороги не знаю...

— А къ намъ небось нашелъ дорогу-то—а? Ну нѣтъ, братъ, ты что-то бабушку-рѣпку путаешь! произнесъ мужикъ, какъ-бы удивляясь на этотъ разъ своей находчивости.

— Нѣтъ, дядюшка, ей-Богу всю правду сказалъ... вели какъ хочешь побожиться... дай только вздохнуть маленько... кусочекъ хлѣбца дай... я тебѣ все разскажу... все, дядюшка... взмилуйся только... всю ночь шелъ, не ѣлъ ничего... добрѣ... добрѣ...

Рыданія прервали голосъ его; онъ поднялъ умоляющіе глаза на хозяина риги и увидѣлъ еще другаго мужика, входившаго въ ворота. На сколько мужикъ съ выскакивающими глазами былъ преисполненъ тупаго удивленія и безтолковой суетливости, на столько вошедшій казался сонливымъ, вялымъ и апатичнымъ. Владѣтель риги мигомъ разсказалъ ему обо всемъ случившемся.

— Знамо, бродяга! произнесъ мужикъ, не взглянувъ даже на мальчика.

— Э! молодецъ! да ужь ты не воровать ли ко мнѣ залѣзъ?... произнесъ удивленный владѣлецъ риги.

— Дядюшка, какъ передъ Господомъ Богомъ... сейчасъ помереть!... Я тебѣ сказывалъ: собакъ испужался! отчаянно воскликнулъ Петя.

— Да что съ нимъ разговаривать-то? сонливо проговорилъ вновь вошедшій:—веди его къ старостѣ. Пожалуй еще прибьетъ, коли узнаетъ; скажетъ: зачѣмъ не словили! ихъ ловить велѣно...

— Ну, пойдемъ...

— Дѣдушка, Христа-ради... помилуй меня! Я уйду... право уйду... пусти меня; я ничего худаго не сдѣлалъ... я невзначай зашелъ... помилуй, дядюшка!... кричалъ Петя, бросаясь въ ноги то одному мужику, то другому.

— Ладно, ладно; пойдемъ-ка; тамъ все разскажешь... Вставай... Да чего ты? о чемъ плачешь-то? рази что худое сдѣлалъ? Тебѣ ничего не будетъ, только спросятъ. Сватъ Стегнѣй, хватай его, мотри крѣпче держи: извернется, уйдетъ!...

— Небось; вишь онъ махочкой какой... одинъ и то справишься, проколвилъ Стегнѣй, почесывая затылокъ.

Мольбы Пети ни къ чему не послужили. Если бъ мужикъ съ

удивленнымъ лицомъ и безтолковою суетливостью дѣйствовалъ изъ страха къ старостѣ, или изъ уваженія къ долгу, онъ, весьма вѣроятно, далъ бы мальчику подзатыльника и отпустилъ бы его; но онъ былъ любопытенъ: ему вдругъ захотѣлось узнать, что̀ станетъ говорить мальчикъ, когда староста постращаетъ его, и ка̀къ потомъ староста будетъ производить допросъ? Не взирая на просьбы ребенка, онъ крѣпко взялъ его за руку и повелъ изъ риги по узенькой тропинкѣ, протоптанной въ высокомъ конопляникѣ.

Они вошли въ проулокъ, а оттуда на небольшую, тѣсную улицу. По той сторонѣ улицы, прямо противъ переулка, красовалась рѣшетка съ выглядывавшими надъ нею акаціями и маленькимъ барскимъ домомъ; закрытыя ставни и безпорядокъ садика показывали, что хозяева не жили здѣсь, или находились въ отсутствіи. У воротъ, на скамейкѣ, сидѣлъ бѣлокурый человѣкъ; онъ былъ босикомъ и съ прорванными локтями; но бритая, недѣли двѣ назадъ, борода и нанковые шаровары сразу обличали въ немъ дворового; онъ, должно-быть, только-что поѣлъ рѣдьки и луку; на лицѣ его безпрестанно являлось выраженіе горькаго вкуса, и онъ каждый разъ прикладывалъ ладонь ко рту. Мужикъ, державшій Петю, прямо пошелъ къ нему и спросилъ, гдѣ староста. Онъ въ короткихъ словахъ разсказалъ дворому исторію мальчика и снова поспѣшилъ освѣдомиться о старостѣ. Въ отвѣтъ на это дворовый громко засмѣялся.

— Чего ты, Яковъ Васильичъ?... спросилъ мужикъ.

— Поди-ка, поди-ка къ старостѣ-то... онъ ти дастъ!...

— А что̀?

— А то же, шею накостыляетъ—вотъ что! И Яковъ Васильевичъ, воображеніе котораго мигомъ нарисовало сцену, ка̀къ староста костыляетъ мужичью шею, снова засмѣялся.

— Да за что̀ жъ? спросилъ мужикъ, распяливая глаза.

— Зачѣмъ привелъ мальчика-то—а? вымолвилъ Яковъ Васильевичъ, перемѣняя тонъ:—чѣмъ бы прогнать его скорѣй съ нашей земли, а ты обрадовался, взялъ да привелъ. Ахъ ты шушера, умная голова!

— Да какъ же? вѣдь велѣно...

— Что̀ велѣно-то—а? что̀ велѣно? Велѣно бродягъ ловить—та̀къ, проговорилъ Яковъ Васильевичъ, прикладывая ладонь къ губамъ, причемъ выраженіе горькаго вкуса снова скривило лицо его:—ну хорошо; поймалъ бродягу на своей землѣ, значитъ, вести

надо къ становому на фатеру; значитъ, разспросы пойдутъ, допросы; значитъ, расходоваться надо—вотъ что ты надѣлалъ теперича. Ну, ступай къ старостѣ, ступай... онъ ти спасибо скажетъ, ступай!...

Мужикъ быстро выпустилъ Петю, который ничего не понималъ изъ того, что говорилось. Несмотря на голодъ, онъ думалъ, какъ бы поскорѣе убѣжать изъ деревни.

— Ступай, ступай... скорѣй... вотъ я ти! у! у-у!... вскричалъ вдругъ мужикъ, напускаясь на мальчика; но Яковъ Васильевичъ остановилъ его. Онъ снова приложилъ руку къ губамъ, но, вмѣсто обычнаго выраженія горечи, лицо его оживилось вдругъ необыкновенною веселостью.

— Погоди, сказалъ онъ: постой! Знаешь, Ѳедулъ, пошлемъ его съ Лы́скову...

Не дожидаясь возраженія, Яковъ Васильевичъ подозвалъ Петю и, едва сдерживая смѣхъ, сказалъ ему:

— Слышь, мальчикъ, вишь вонъ крайнюю избу? Ступай туда; собакъ нѣтъ; небось, не укусятъ; повернешь за уголъ, увидишь направо барскій домъ... крыльцо такое будетъ. Баринъ тебѣ всего дастъ, знатно накормитъ. Смотри, не сказывай: мы-де послали, скажи: самъ, молъ, пришелъ; скажешь: мы послали—мы тогда оба, какъ ты пойдешь изъ деревни, то оба такъ-то тебя высѣчемъ, и-и... больно высѣчемъ!... Ну, пошелъ скорѣй... ступай!...

Тутъ ужъ Яковъ Васильевичъ не могъ долѣе владѣть собою и, не давъ Петѣ отойдти десяти шаговъ, залился веселымъ смѣхомъ.

— Смотри, Яковъ Васильичъ, сказалъ мужикъ, оправляясь отъ смущенія: — провѣдаетъ Лы́сковъ, добрѣ осерчаетъ.

— Вотъ! что за важность! пускай серчаетъ! возразилъ Яковъ Васильевичъ, и когда воображеніе нарисовало ему, какъ серчаетъ Лы́сковъ, онъ снова засмѣялся. — Подѣломъ ему, подхватилъ онъ: — помнишь, лѣтось, напалъ онъ на своей землѣ на пьянаго мужика; покажись ему мужикъ-то померъ; онъ возьми, да на нашу землю скорѣй и снесъ его. „На-те, молъ, вамъ, отдѣлывайтесь, какъ знаете!“ Ладно! А мы теперь ему бродягу всучили—пускай возится съ нимъ да везетъ къ становому!... Экъ, братъ, Ѳедулъ, что́ ты сдуру-то надѣлалъ!... А вѣдь надо бы, по-настоящему, съ тебя на табакъ... право, надо-бъ.

Во время этого разговора Петя успѣлъ повернуть за уголъ. Ему во всякомъ случаѣ нельзя было миновать этой второй улицы, чтобъ выбраться изъ деревни. Улица такая же была маленькая,

какъ первая; разница заключалась въ томъ, что посреди ея, ни къ селу, ни къ городу, возвышалось какое-то неуклюжее зданіе — ни то сарай, ни то кухня, ни то простая изба; передъ зданіемъ находился барскій домикъ, о которомъ говорили ему; позади зданія, саженяхъ въ двухъ, красовался другой очень чистенькій барскій домикъ. Деревушка принадлежала тремъ владѣльцамъ: помѣщику Бабакину, помѣщику Лыскову и дѣвицѣ Тютюевой. Бабакинъ никогда не жилъ въ деревнѣ; Лысковъ и дѣвица Тютюева проживали здѣсь безвыѣздно и считались въ околодкѣ непримиримѣйшими врагами. Дѣвица Тютюева отличалась сантиментальностью, свойственною ея полу въ извѣстномъ періодѣ жизни: она любила сидѣть вечеркомъ у окна и смотрѣть, какъ возвращаются барашки съ поля; этого было довольно, чтобъ Лысковъ, которому, какъ нарочно, принадлежала земля передъ окнами Тютюевой, поспѣшилъ заслонить ей улицу вышепомянутымъ зданіемъ... Но всего не перескажешь. Вниманіе Пети приковано было домикомъ, глядѣвшимъ на улицу. На крыльцѣ сидѣлъ среднихъ лѣтъ господинъ съ черноватой физіономіей, хотя безъ особеннаго выраженія. Онъ былъ въ халатѣ, пилъ чай и курилъ трубку. За спиною его стоялъ лакей съ прищуренными глазами и оплывшимъ, жестоко-скучающимъ лицомъ.

— Что это за мальчишка? Эй, мальчикъ! мальчикъ! крикнулъ господинъ въ халатѣ (который былъ не кто другой, какъ помѣщикъ Лысковъ): — эй, мальчикъ... Митька! (тутъ обратился онъ къ лакею, стоявшему за спиною): — Митька, что это за мальчикъ? — а? Поди сюда, мальчикъ!... Митька! (онъ снова обратился къ лакею) Митька! зови его...

— Эй ты! ступай сюда... неохотно заголосилъ Митька, высовываясь впередъ.

Петя взглянулъ на длинныя ноги лакея и понялъ, что бѣгство невозможно. Онъ робко подошелъ къ крыльцу. За исключеніемъ случая, когда онъ встрѣтилъ на парбмѣ Бѣлицыныхъ, ему никогда не приводилось разговаривать съ господами: онъ сильно оторопѣлъ.

— Ты чей? спросилъ Лысковъ, прихлебывая чай: — что на меня такъ глаза-то выпучилъ — а?... Митька, что онъ на меня глаза таращитъ — а? Ты, можетъ, на хлѣбъ смотришь — а? обратился онъ снова къ мальчику: — тебѣ бѣлаго хлѣбца захотѣлось?... Ну, на, на! заключилъ Лысковъ, бросая ломоть.

При этомъ Петя забылъ страхъ; онъ съ жадностью схватилъ ломоть и принялся ѣсть. Лы́сковъ, котораго, повидимому, забавляло обжорство мальчишки, бросилъ ему второй ломоть.

— Митька! сказалъ онъ: — трубку!

— Да полно вамъ, сударь, курить-то; вы и то все безпереча!... Только встали, а ужъ пятую, никакъ, выкуриваете...

— А что́, табакъ весь? съ безпокойствомъ спросилъ Лы́сковъ.

— Табаку много; я такъ говорю: много оченно курите — негодится! проговорилъ Митька.

— Не разговаривай, не терплю! ступай! крикнулъ Лы́сковъ.

Митька неохотно принялъ чубукъ съ наконечникомъ изъ краснаго сургуча и, бормоча что-то подъ носъ, удалился. Помѣщикъ, между-тѣмъ, видя, что Петя съѣлъ второй ломоть, подалъ ему третій, за который мальчикъ такъ же охотно принялся, какъ за первый. Полминуты спустя, явился Митька, сильно потягивая изъ чубука и безпечно пуская струи дыма во всѣ стороны.

— Вотъ, сударь, вы тутъ потѣшаетесь, вымолвивъ онъ, подавая Лы́скову почти выкуренную трубку: — хлѣбомъ еще кормите его... вы бы лучше спросили, откуда; можетъ, бродяга какой-нибудь...

— Какъ бродяга?...

— А какіе обыкновенно бываютъ, что безъ па̀чпорта шляются...

— Ты откуда?... откуда ты?... Митька, спроси его, откуда онъ, заговорилъ Лы́сковъ, обнаруживая вдругъ суетливость.

— Что жъ ты молчишь? Слышь, баринъ спрашиваетъ, откуда? крикнулъ Митька.

— Я не знаю... пролепеталъ испуганный мальчикъ.

— Куда ты идешь — а? куда? крикнулъ, въ свою очередь, Лы́сковъ.

— Не знаю, сказалъ Петя, думая уже броситься въ ноги и просить пощады.

— Вотъ то-то же и есть, сударь! произнесъ Митька съ замѣтнымъ самодовольствіемъ: — а еще хлѣбомъ кормить изволили!... Вотъ теперича извольте хлопотать, извольте вести его къ становому: ихъ вѣдь представлять велѣно...

— Ступай! пошелъ скорѣе, пошелъ! пошелъ!... заголосилъ сильно оторопѣвшій помѣщикъ: — скорѣй пошелъ!... Митька, гони его!... Или нѣтъ, стой! подхватилъ онъ, неожиданно оправляясь и даже проявляя на быстромъ лицѣ своемъ признаки непомѣрнаго удовольствія и веселости: — мальчикъ, поди сюда, скорѣй ступай ко мнѣ... сюда!

— Полноте, сударь; гоните его въ зашеи!

— Нѣтъ, нѣтъ... Мальчикъ, сюда!... Митька, знаешь что? выкинуть надо штуку Тютюевой... ха, ха, ха!... Она вчера еще напустила индѣекъ въ мой садъ; третьягодня поймали ея лошадей на моей ржи... подѣломъ ей, пускай напляшется...

— Что жъ? это можно! проговорилъ Митька, которому также, видно, улыбнулась мысль выкинуть штуку Тютюевой.

Въ радости своей Лысковъ не дождался, пока подойдетъ мальчикъ. Торопливо запахивая халатъ, онъ сбѣжалъ съ крыльца и, оглядываясь на стороны, проговорилъ скороговоркою:

— Ступай, мальчикъ, скорѣй вонъ туда, вишь (Лысковъ указалъ на домъ Тютюевой), обойди кругомъ вотъ эту избу—сейчасъ садъ будетъ, рѣшетка; прійдешь къ калиткѣ... живетъ тутъ помѣщица, добрая такая, она тебѣ всего дастъ... всего... Да вотъ что (тутъ лицо Лыскова приняло умышленно грозный видъ):—если скажешь, я прислалъ—бѣда будетъ!... Скажешь или нѣтъ—а?

— Нѣтъ, проговорилъ Петя, едва сдерживая слезы.

— Смотри же: бѣда будетъ! засѣку тебя! Ну, ступай... ступай! заключилъ Лысковъ, поворачивая мальчика на дорогу и быстро направясь къ крыльцу, гдѣ ожидалъ его Митька съ новой трубкой.

Петѣ смерть хотѣлось убѣжать скорѣй изъ деревни; онъ бы, можетъ, и сдѣлалъ это, но, обернувшись, увидѣлъ, что помѣщикъ и лакей наблюдали за нимъ: оба махали руками, давая знать, чтобъ онъ шелъ по указанному пути.

Какъ уже сказано, домикъ Тютюевой почти примыкалъ переднимъ своимъ фасомъ къ зданію, воздвигнутому Лысковымъ. Сътѣхъ-поръ, какъ Лысковъ загородилъ любимыя окна помѣщицы, она перенесла твое мѣстопребываніе на другой фасъ дома, глядѣвшій окнами въ садъ. Петя миновалъ зданіе Лыскова, миновалъ домъ и очутился противъ рѣшетки, за которой располагался садикъ, разбитый весь на маленькія клумбы; садъ замыкался маленькимъ, но очень чистенькимъ домикомъ; ставни и родъ галерейки со столбиками и тремя ступеньками для схода въ садъ были выкрашены краской. Все это, и домикъ, и галерея, и клумбы, и ставни, и столбики, отличалось такими малыми размѣрами, что, казалось, сооружено было для дѣтской потѣхи. Дѣло въ томъ, что сорокалѣтняя дѣвица, Ольга Ивановна Тютюева, любила, чтобъ у ней все было маленькое; она жила совершенно одинокою; сверхъ-того, сама она была такая маленькая, что по субботамъ мылась

въ корытѣ и свободно въ немъ умѣщалась. Немного погодя, она вышла на галерею съ крошечной зеленой лейкой въ рукѣ. Петя принялъ-было ее сначала за дѣвочку и только, когда взглянулъ на лицо ея, похожее на печеное яблоко, понялъ, что это была пожилая уже барыня. На этомъ печеномъ яблокѣ умѣщался, впрочемъ, такой избытокъ добродушія, котораго стало бы на десять лицъ, шириною въ арбузъ. Петя поклонился. Барыня не замѣтила его и принялась поливать цвѣты. Петя снова поклонился. Наконецъ она подняла голову.

— Что ты, мой миленькій—а? ласково сказала она, поглядывая маленькими своими глазками на мальчика:—опять видно за яблочкомъ—а?... Нѣтъ, яблочки теперь зелены; ѣсть негодится: брюшко заболитъ.

Говоря такимъ образомъ, Ольга Ивановна поставила лейку и подошла къ ребенку, который съ перваго взгляда понравился ей, потому, можетъ-быть, что самъ былъ малъ и миніатюренъ.

— А, да это не нашъ! произнесла она, оглядывая Петю съ ногъ до головы.—Экой ты, мальчикъ, чумазый какой, немытый... Ты развѣ не здѣшній?

Доброе лицо барыни, а пуще всего ея ласковое обращеніе и голосъ обнадежили Петю; но надежда эта, вмѣсто того, чтобъ сдѣлать его добрымъ, веселымъ и смѣлымъ, произвела совершенно другое дѣйствіе. Онъ вдругъ горько заплакалъ.

— Ахъ, Боже мой!... ахъ, что съ тобою? что это? о чемъ ты? заговорила Ольга Ивановна, поспѣшно отворяя калитку сада. Поди сюда, мальчикъ. Не бойся, батюшка, не бойся... что ты? Тебя, вѣрно, прибилъ кто-нибудь?... Откуда ты? добавила она, вводя мальчика въ садъ.

— Я не здѣшній... проговорилъ Петя, рыдая.

— Откуда же ты? спросила Ольга Ивановна, стараясь обласкать его.

— Я былъ у нищихъ, началъ Петя, горько всхлипывая:— силой у отца отняли... больно били меня... хотѣли глаза выколоть... Я убѣжалъ... убѣжалъ, да не знаю, куда идти къ матери... дороги не знаю!...

— Ахъ, Боже мой!... ахъ, бѣдняжечка! Какъ же это такъ?... Не плачь, батюшка... перестань; можетъ-быть, мы отыщемъ и мать, и отца. Ахъ, бѣдненькій!... Авдотьюшка! Авдотьюшка! закричала вдругъ помѣщица, обращаясь къ галереѣ.

Въ дверяхъ, подъ навѣсомъ галереи, показалась женщина, повязанная по-бабьему и сильно хромавшая на лѣвую ногу; это не помѣшало ей, однакожъ, скоро спуститься съ лѣсенки и подойдти къ барынѣ. Ольга Ивановна передала ей отъ слова до слово все, что говорилъ мальчикъ.

— Пожалуйста, Авдотьюшка, примолвила она, между-тѣмъ, какъ баба пожимала губами и качала головою: — пожалуйста, веди его скорѣй къ себѣ на кухню и прежде всего обмой хорошенько... Можешь даже взять корыто, въ которомъ я обыкновенно моюсь по субботамъ. Потомъ надо будетъ накормить его, одѣть... видишь, на немъ одни лохмотья... Впрочемъ, за этимъ я ужъ присмотрю; ты поди сначала обмой его... Ступай, голубчикъ, съ нею, не бойся, поди, довершила Ольга Ивановна, поспѣшно направляясь въ домъ, тогда-какъ Авдотья повела мальчика въ кухню.

Ольгѣ Ивановнѣ не трудно было найдти въ одномъ изъ сундуковъ своихъ свертокъ холста (она была вообще запаслива); еще легче было ей скроить для мальчика рубашонку и штанишки; она имѣла къ этому дѣлу большой навыкъ, потому-что держалась обыкновенія обшивать съ головы до ногъ своихъ деревенскихъ крестниковъ, которыхъ было великое множество, что доставляло Лыскову новый неисчерпаемый источникъ для насмѣшекъ; но дѣвица Тютюева не обращала на это вниманія. Отдавъ скроенные куски дѣвкѣ Палашкѣ и приказавъ приняться за шитье какъ можно скорѣе, Ольга Ивановна подошла къ кухонной двери; она не посмѣла отворить дверь, боясь увидѣть мальчика, стоящаго совершенно голымъ въ корытѣ. Спросивъ, скоро ли кончится маскарадъ и получивъ утвердительный отвѣтъ, она велѣла хорошенько накормить мальчика и привести его къ себѣ. Послѣ этого Ольга Ивановна замѣтно успокоилась, возвратилась въ садикъ и снова принялась за поливку цвѣтовъ. Такъ провела она четверть часа. Ольга Ивановна думала уже пойдти въ домъ и спросить о мальчикѣ; съ этимъ намѣреніемъ поставила она на-земь крошечную свою лейку, какъ вдругъ передъ калиткой явилась долговязая плѣшивая фигура съ крупными губами и сумрачнымъ носомъ, выпачканнымъ табакомъ.

— А! Никитушка!... чего тебѣ? спросила Ольга Ивановна, нѣсколько удивленная появленіемъ своего управителя въ такую пору.

На привѣтствіе госпожи Никитушка фыркнулъ носомъ и съ видомъ крайне-недовольнымъ и озабоченнымъ вошелъ въ садикъ.

— Помилуйте, Ольга Ивановна, что это вы, сударыня, дѣлать изволите? Это, выходитъ, сударыня, то-есть, никакъ невозможно... никакимъ, то-есть, манеромъ нельзя...

— Что ты, Никитушка? произнесла помѣщица, знавшая очень хорошо, что нахмуренныя брови и воркотня Никитича были такъ же безвредны для крестьянъ ея, какъ табакъ для его носа.

— А что же, сударыня, подхватилъ управитель, выставляя впередъ, для лучшаго поясненія, исполинскій большой палецъ лѣвой руки, на ноготь котораго сыпалъ онъ всегда табакъ прежде чѣмъ поднести его къ носу: — что же! Былъ я сейчасъ на кухнѣ... кого изволили вы къ себѣ принять?...

— Мальчикъ... начала-было Тютюева, но Никитичъ перебилъ ее.

— Мальчикъ ли, дѣвочка ли — все единственно, сударыня; главная статья: изволили пустить къ себѣ бродягу.

— Какъ, Никитушка?...

И Ольга Ивановна принялась разсказывать исторію мальчика; но управитель выставилъ опять палецъ и снова перебилъ ее:

— Бродяга, сударыня, больше ничего! Сейчасъ спрашивалъ его: путается во всѣхъ отвѣтахъ и ничего не сказываетъ. А вы изволили къ себѣ пустить! Что съ нимъ теперь дѣлать? Одно: къ становому везти надо. Шутка дѣло: двѣнадцать верстъ, сударыня; лошади всѣ въ полѣ; время самое рабочее... потомъ на поруки прійдется брать; своихъ ребятъ дѣвать нѣкуда... Хлопотъ-то какихъ надѣлали... Эхъ, сударыня!...

Во время этого монолога, доброе лицо помѣщицы, и безъ того уже похожее нѣсколько на печеное яблоко, какъ-будто перепеклось окончательно. Никитичъ не на шутку перепугалъ ее; она рѣшительно не знала, что дѣлать. Въ эту самую минуту на галереѣ показались Авдотья и Петя. Баба не только вымыла его, но даже и причесала. Миловидное личико мальчика сначала какъ-будто удивило помѣщицу, потомъ, замѣтно казалось, ее успокоило.

— Поди сюда, мой миленькій, сказала она съ обычнымъ своимъ добродушіемъ: — какъ же ты ничего не сказалъ мнѣ, откуда ты? Говоришь: есть у тебя отецъ, мать, а вмѣсто того ты... это не хорошо. Я тебя такъ обласкала... велѣла обмыть, хотѣла тебѣ подарить рубашку... Это очень нехорошо!...

Петя поднялъ глаза на помѣщицу, потомъ на управителя и снова потупилъ ихъ въ землю.

— Вотъ тоже и мнѣ, сударыня, ничего путнаго не сказываетъ, сумрачно вымолвилъ Никитичъ. — Начнешь дѣло спрашивать, посмотритъ, такъ-то потомъ упрётся въ землю и молчитъ... Напрасно, сударыня, изволили только пустить его. Ничего онъ не стоитъ, этихъ вашихъ милостей. Прогоните его, сударыня; право, прогоните поскорѣе.

— Нѣтъ... всю правду... скажу... вамъ я все скажу! вскричалъ вдругъ Петя, снова залившись слезами: — я оченно боялся... они сказывать не велѣли... высѣчь... высѣчь хотятъ!...

— Кто они? спросили въ одинъ голосъ барыня, Никитичъ и Авдотья.

— Тутъ вотъ баринъ такой... онъ послалъ меня сюда... сказывать не велѣлъ, подхватилъ Петя, указывая рукою по направленію къ дому Лѝскова.

— Такъ и есть, сударыня! ихъ дѣло: они его подослали! воскликнулъ Никитичъ. оживляясь при этомъ извѣстіи до послѣдняго суставчика. — Постой, братъ, гдѣ же они тебя нашли? подхватилъ онъ, выставляя свой палецъ, который раздѣлялъ, казалось, волненіе самого Никитича и двигался самъ собою, какъ огромная пружина: — откуда ты къ нимъ-то зашелъ — а? Надо, сударыня... тутъ онъ обратился къ помѣщицѣ: — надо повести дѣло мимо Лѝскова. Плюньте на нихъ, сударыня! Надо, примѣрно, обойти ихъ... лучше будетъ.

— Да, лучше если бъ не связываться!... проговорила взволнованная Ольга Ивановна. — Скажи мнѣ, мой милый, не бойся, тебя никто здѣсь не тронетъ — скажи, откуда ты къ нимъ пришелъ?

— А вотъ оттуда... сказалъ мальчикъ, указывая на конецъ деревни.

— Земля Бабѝкина! произнесъ Никитичъ съ нѣкоторою торжественностью.

— Бабѝкинская! подтвердила Авдотья.

— Что жъ? тамъ тебя и нашелъ этотъ баринъ-то — а? спросилъ Никитичъ.

— Нѣтъ, возразилъ нѣсколько успокоенный Петя: — я собакъ запужался, въ ригу попалъ къ мужику, вонъ тамъ... съ краю... у огорода первая... Онъ взялъ да привелъ меня въ деревню; къ старостѣ вести хотѣлъ... да другой не пустилъ... они меня къ барину-то послали... а баринъ сюда.

— Позвольте, сударыня, не извольте ничего... то есть, примѣрно, никакихъ, то есть, сумлѣній. Я сейчасъ все дѣло развѣдаю, суетливо говорилъ управитель и поспѣшно заковылялъ вонъ изъ сада.

Полчаса спустя — время, которое употреблено было Ольгой Ивановной, чтобъ окончательно обнадежить и успокоить мальчика — Авдотья доложила, что Никитичъ ждетъ въ саду съ бабакинскимъ старостой. Ольга Ивановна велѣла Петѣ слѣдовать за собою и поспѣшила выйдти. Никитичъ обо всемъ развѣдалъ. Прежде всего онъ бросился въ ригу, указанную мальчикомъ, и такъ напугалъ мужика, что тотъ тотчасъ же во всемъ признался; потомъ Никитичъ пустился къ старостѣ. Староста, узнавшій обо всемъ случившемся черезъ бабу, которая, въ свою очередь, провѣдала о бродягѣ отъ Якова Васильевича, принялъ сначала Никитича очень грубо и отъ всего отпирался. Никитичъ началъ съ того, что выставилъ на видъ сознаніе мужика, а потомъ сказалъ, что хуже будетъ, хуже затаскаютъ и старосту, и всѣхъ бабакинскихъ мужиковъ, когда барыня подастъ прошеніе въ судъ: бабакинскимъ мужикамъ тогда не отдѣлаться; барина нѣтъ; ихъ просто заѣдятъ тогда; Ольга Ивановна ужъ начала писать прошеніе; всѣ улики на лицо: и мальчикъ, и мужикъ, къ которому зашелъ онъ въ ригу. Бабакинскій староста подался на эти послѣдніе резоны; онъ позвалъ удивленнаго Ѳедула, позвалъ Якова Васильевича и сталъ ихъ допрашивать; сначала оба напрямикъ во всемъ отклепались: „и знать не знаемъ, и вѣдать не вѣдаемъ!“ потомъ тутъ же, въ одинъ голосъ, сознались во всемъ. Дѣлать было нѣчего. Бабакинскій староста пошелъ къ Ольгѣ Ивановнѣ, чтобы взять бродягу и вести его къ становому. При этомъ извѣстіи Петя отчаянно бросился въ ноги доброй барынѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, сказала Ольга Ивановна, обратившись къ бабакинскому старостѣ: — я его не отпущу съ тобою. Скажи человѣку, котораго пошлешь къ становому съ мальчикомъ, чтобъ онъ лучше за нимъ сюда заѣхалъ. Я вамъ обоимъ дамъ за это на калачи. Поди, староста, распорядись такъ, какъ я тебѣ сказала...

Староста сказалъ: „слушаюсь, сейчасъ велю запрягать“ и удалился. Но Петя продолжалъ обнимать ноги доброй барыни и рыдалъ еще громче прежняго. Онъ умолялъ ее совсѣмъ оставить его у себя, говорилъ, что баринъ непремѣнно его высѣчетъ, когда узнаетъ, что онъ разсказалъ обо всемъ; говорилъ, что становой но-

садитъ его въ острогъ. Ольга Ивановна придумала все, что могла, чтобъ только вразумить какъ-нибудь бѣднаго мальчика; онъ оставался неутѣшенъ. Наконецъ, она обратилась къ Никитичу, который стоялъ въ десяти шагахъ и не переставалъ обнюхивать свой большой палецъ, хотя на немъ давно не было ни зернышка табаку. Она спросила, нельзя ли что-нибудь сдѣлать, чтобъ спасти мальчика отъ судьбы, которая ожидаетъ всѣхъ пойманныхъ на дорогѣ безъ паспорта и непомнящихъ родства или прежняго мѣста жительства.

— Да что сдѣлать, сударыня? возразилъ, снова нахмуриваясь, Никитичъ:—одно развѣ: взять его на поруки... Куды намъ его, сударыня? У насъ и своихъ много...

— Ну это не твоё дѣло, Никитичъ! неперпѣливо проговорила помѣщица, выказывая первый разъ такую твердость передъ управителемъ.—Не плачь, мой милый, обратилась она къ Петѣ, который сдѣлался внимательнѣе, хотя продолжалъ плакать: — я возьму тебя на поруки; въ острогъ тебя не посадятъ, не бойся. Пойдемъ со мною, заключила она, уводя его въ домъ.

Она такъ съумѣла обнадежить его и обласкать, что, по прошествіи часа, когда пріѣхала телѣга, назначенная къ становому, Петя не обнаружилъ большаго смущенія. Лошадью правилъ знакомый намъ дворовый Яковъ Васильевичъ; ему поручено было везти мальчика. Веселое лицо Якова, а главное слова барыни, которая поручала сказать становому, что беретъ мальчика на поруки, если тотъ захочетъ сажать его въ острогъ, окончательно ободрили Петю. Онъ сѣлъ въ телѣгу, и тогда только, какъ въ послѣдній разъ простился съ доброй барыней, двѣ-три слезы капнули на его рубашонку.

— Ничего, малый, не плачь, лихо покатимъ! произнесъ Яковъ, заламывая назадъ картузъ безъ козырька.—Ну ты, Котёнокъ! фю-и-и! добавилъ онъ, стегнувъ лошадь, которая побѣжала крупною рысью.

Попасть на дорогу къ становому можно было не иначе, какъ проѣхавъ мимо дома помѣщика Лыскова. Но Лыскова не было уже на крылечкѣ: тутъ стоялъ одинъ Митька. Какъ только проѣхала телѣга (Яковъ Васильевичъ на этомъ мѣстѣ съ особеннымъ усердіемъ погналъ лошадь), Митька вошелъ въ прихожую, гдѣ Лысковъ ожидалъ его съ замѣтнымъ нетерпѣніемъ.

— Провезли! сказать Митька: — только повезъ зачѣмъ-то

бабакинскій Яшка; должно быть, наняла Тютюева-то: свои всѣ въ полѣ.

— Подѣломъ ей! воскликнулъ Лысковъ, быстрое лицо котораго прыгало отъ радости: — подѣломъ: вчера индюковъ въ садъ ко мнѣ напустила; третьяго дня ея лошадей на моемъ полѣ поймали — наша взяла!... Митька, трубку! заключилъ Лысковъ, запахнулъ халатъ, свистнулъ и закатился смѣхомъ, дребезжащимъ отъ радостнаго чувства, наполнявшаго грудь его.

II.

Новый хозяинъ.

Дворовый Яковъ Васильевъ не сдержалъ своего обѣщанья лихо прокатить Петю: онъ пересталъ стегать лошадь, какъ только миновалъ домъ помѣщика Лыскова; а проѣхавъ околицу, Яковъ забылъ даже повидимому о существованіи маленькаго спутника, прицѣпилъ возжи къ перекладинѣ телѣги, вынулъ изъ кармана цѣлковый и весь погрузился въ созерцаніе этой монеты, данной ему старостой съ наставленіемъ: „сунь имъ тамъ бѣлякъ-то: дѣло вѣрнѣе будетъ; авось ослобонятъ какъ-нибудь“. Наставленіе ли старосты, или видъ цѣлковаго (послѣднее вѣрнѣе) замѣтно пробуждали въ дворовомъ человѣкѣ пріятныя мысли и вмѣстѣ съ тѣмъ какое-то нетерпѣливое чувство; онъ безпрестанно ухмылялся и жадно устремлялъ глаза впередъ по дорогѣ. Наконецъ показалась кровля, а тамъ выступила одинокая изба съ елкой надъ дверью. Подъѣхавъ къ избѣ, Яковъ попросилъ близъ-стоявшаго мужика поглядѣть за лошадью и мальчикомъ и торопливо вошелъ въ дверь, осѣненную древесною вѣткой. Минуту погодя, онъ снова явился, держа въ ладони мелочь, которая не имѣла уже свойствъ внушать ему пріятныхъ мыслей: Яковъ поглядѣлъ на нее съ видомъ озабоченнымъ, и указательнымъ пальцемъ лѣвой руки сильно чесалъ переносицу.

— Ты, слышь, малый, коли назадъ пріѣдемъ, не сказывай, что я въ кабакъ ходилъ, произнесъ Яковъ, обратившись къ Петѣ:— заходилъ деньги размѣнять: цѣлковый тяжелъ оченно, того и гляди карманъ прорветъ... потому больше. Смотри же, не сказывай...

— Хорошо, возразилъ Петя, которому въ голову не пришло бы посѣщеніе кабака, если бъ Яковъ не надоумилъ его Петя, обласканный, обнадеженный доброй барыней, думалъ о томъ только,

какъ бы поскорѣе къ ней вернуться; онъ такъ ужъ много слышалъ о становыхъ, что перспектива лично увидѣть становаго нимало его не занимала.

Вино, выпитое Яковомъ, съ тою единственною цѣлью, чтобъ размѣнять цѣлковый, не вызывало на лицѣ его выраженія горькаго вкуса, какъ это было, когда завтракалъ онъ лукомъ и рѣдькой—нѣтъ, вино располагало его къ задумчивымъ улыбкамъ и замѣтно склоняло ко сну. Вскорѣ мальчикъ, порученный дворовому человѣку, могъ бы убѣжать, не встрѣтивъ малѣйшаго сопротивленія со стороны надсмотрщика: Яковъ заснулъ, какъ убитый, на днѣ телѣги; но Петя не убѣжалъ: онъ будилъ Якова всякій разъ, какъ попадалась деревня.

— Оставь... ну!... не то, бормоталъ Яковъ:—будутъ двѣ бѣлыя церкви—тамъ! заключилъ онъ, тыкаясь лицомъ въ сѣно.

Наконецъ, надъ горизонтомъ мелькнули двѣ бѣлыя церкви. Яковъ долго не вѣрилъ этому. Онъ поднялъ голову, раскрылъ глаза и взялъ возжи тогда уже, когда телѣга подъѣхала къ огромному селу, раскинутому между красивыми рощами и неоглядными пастбищами. Становой помѣщался по самой серединѣ села; онъ занималъ родъ флигеля, весьма похожаго на домы станціонныхъ смотрителей въ отдаленныхъ губерніяхъ; съ боку прилѣплено было крылечко, устланное соломой. Подлѣ крыльца стояла телѣга съ сидѣвшей въ ней молодой бабой, которая убивалась (плакала). иногда принималась даже кричать голосомъ. Ее всячески усовѣщевалъ и уговаривалъ высокій, молодой мужикъ съ подбитымъ глазомъ.

— Полно, дура, говорилъ онъ:—что ты ревешь?... Ничего, говорю, не будетъ—ужъ я знаю... Экъ ее... не уймешь никакъ! Слышь, говорятъ, ничего не будетъ! развѣ впервые... Ужъ я знаю!...

Дворовый Яковъ Васильевъ, привязавшій уже лошадь, но остановившійся, чтобъ послушать, какъ плачетъ баба, толкнулъ Петю и сказалъ:

— Должно быть, сѣчь хотятъ... Она и убивается! мужа жалѣетъ... То-то, братъ, ты здѣсь насмотришься! оченно любопытно. Ну пойдемъ!...

На нижней ступенькѣ крылечка сидѣлъ, пригорюнясь, сѣденькій старичокъ лѣтъ восьмидесяти; подъ ногами его лежалъ коробъ, въ которомъ суздальцы носятъ обыкновенно товаръ свой; на коробѣ пестрѣлъ свертокъ лубочныхъ картинъ, которыя на секунду обратили вниманіе Пети. Яковъ и мальчикъ вошли въ небольшую

бревенчатую комнату о двухъ запыленныхъ окнахъ. Тутъ находилось человѣкъ пять мужиковъ, пришедшихъ для прописки, а можетъ-быть, присланныхъ господами и для другихъ надобностей; всѣ они тѣснились передъ маленькой дверью, тщательно запертою изнутри. Почти въ одно время съ Яковомъ вошелъ и мужикъ съ подбитымъ глазомъ. Немного погодя, изъ двери выставился письмоводитель становаго, человѣкъ уже почтенныхъ лѣтъ, съ лысой головой, похожей на дыню, обращенную завиткомъ къ публикѣ; завитокъ этотъ былъ его носъ, имѣвшій даже какой-то зеленоватый оттѣнокъ.

— Антонъ Антонычъ... сдѣлайте милость, нельзя ли!... заговорили въ одинъ голосъ мужики, стоявшіе у двери.

— Ахъ, отстаньте пожалуйста! говорятъ, нѣкогда; обождать можно... вымолвилъ Антонъ Антоновичъ нетерпѣливо, но безъ всякой злобы.

На дынномъ лицѣ его изобразилось даже удовольствіе, когда онъ взглянулъ на мужика съ подбитымъ глазомъ; онъ подошелъ къ нему, какъ къ старому, доброму знакомому. Петя, глядѣвшій во всѣ глаза на мужика и думавшій, что его тотчасъ начнутъ сѣчь, увидѣлъ, что Антонъ Антоновичъ, подходя къ нему, сдѣлалъ изъ ладони правой руки своей какое-то подобіе чашечки, а подойдя еще ближе, принялся тыкать этой чашечкой мужика въ ногу; отъ вниманія мальчика не ускользнула большая монета, тотчасъ же упавшая въ чашечку, которая быстро закрылась, какъ листъ недотроньменя, когда въ него попадаетъ муха.

— Ужъ сдѣлайте милость, Антонъ Антонычъ, проговорилъ въ то же время мужикъ съ подбитымъ глазомъ, подавая письмоводителю красивенькую записочку, запечатанную голубой облаткой съ готическимъ вензелемъ: — ослобоните, пожалуйста; мы будемъ въ надеждѣ...

— Хорошо, хорошо; все это можно, произнесъ Антонъ Антоновичъ, мигая и чмокая губами: — подожди только... можно!...

Мужикъ съ подбитымъ глазомъ низко поклонился. Антонъ Антоновичъ подошелъ къ Якову.

— Откуда? спросилъ письмоводитель, мгновенно теряя всю свою пріятность.

— Помѣщика Бабакина... бродягу на землѣ на нашей поймали, приставить велѣно, сказалъ Яковъ.

Петя такъ смутился, что не замѣтилъ, какъ изъ ладони письмоводителя снова сдѣлалась чашечка, какъ затыкала она Якова въ

ногу, и какъ закрылась потомъ, когда попалъ въ нея двугривенный.

— Хорошо, братъ, сказала лысая дыня: — подожди; теперь нѣкогда. Твое дѣло не къ спѣху! заключилъ письмоводитель, направляясь къ двери.

— Антонъ Антонычъ... заговорили опять въ одинъ голосъ пять мужиковъ.

— Отстаньте, говорю, послѣ... Фу, ты! пристали! Слышь, зоветъ!...

— Изъ сосѣдней комнаты раздался свѣтлый голосъ, произносившій букву *р* — такимъ-образомъ, что, казалось, выбивали дробь на барабанѣ.

— Антонъ Антонычъ, куда вы запрррропастились?... Ступайте скорѣй; дѣлъ множество... не перрредѣлаешь.

— Иду-съ! проговорилъ письмоводитель, вырываясь изъ толпы мужиковъ, какъ изъ омута, и быстро исчезая въ дверяхъ комнаты, гдѣ становой чинилъ судъ и расправу. Становаго звали Саломонъ Степановичъ: онъ точно самой судьбою предназначенъ былъ къ своей должности.

— Читай, Антонъ Антонычъ, что тамъ еще?... Фу, какая прррропасть! пробарабанилъ Саломонъ Степановичъ.

Письмоводитель глухо кашлянулъ и приступилъ къ чтенію. Странное дѣло! Антонъ Антоновичъ говорилъ съ мужиками ясно, такъ-что легко было понять каждое его слово; но какъ только принялся онъ читать (правда, по множеству бумагъ, онъ торопился), изо рта его послышались звуки весьма похожіе на то, когда бутылку, налитую водою, опрокидываютъ горлышкомъ книзу; тѣмъ неменѣе, при большой привычкѣ, можно было разобрать слѣдующее:

„Его благородію, почтенному человѣку Саломону Степановичу Цыпкину отъ города Суздаля мѣщанина Григорія Носкова всеслезное прошеніе.

„Ваше благородіе, истинный благодѣтель человѣчества!

„Торгую я разнымъ собраніемъ промысловъ, „Судомъ страшнымъ“, „Долбилой и Гвоздилой“, „Мудростію Соломоновою“ разукрашенныхъ и золотомъ украшенныхъ, и разными такими, и въ листъ и менѣе листа, для славы и забавы православнаго народа, нужнаго для часа смертнаго. Пришелъ я въ село Малицы и взятъ былъ въ полицію бурмистромъ, который есть самый пропащій человѣкъ, за продажу оныхъ. А за что онъ взялъ и по какому

праву? Почему всеслезно прошу васъ, истинный благодѣтель человѣчества, оное достояніе мнѣ отдать и чтобъ я по малой цѣнѣ продавалъ его, и христіанамъ была отъ того польза. Все сіе писалъ города Суздаля мѣщанинъ Григорій Носковъ руку приложилъ...“

— Ну чорррть съ нимъ! отпусти его! послышался голосъ становаго: — да скажи ему, чтобъ деррржалъ ухо востро, то-есть не на счетъ прррродажи картинъ, а на счетъ писанія просьбъ... Навостррится, всѣмъ стррочить станетъ; пожалуй и къ губерррнатору напишетъ — я этого не люблю! Ну, что тамъ еще?...

— Письмо помѣщицы Хрюшкиной, Авдотьи Павловны, съ большою ясностью проговорилъ на этотъ разъ Антонъ Антоновичъ.

— Фу ты прррропасть, какъ пахнетъ! точно духами пишетъ, а не чернилами! И облатка голубая... Модница, нѣчего сказать... Читай, Антонъ Антонычъ...

Стоявшимъ въ прихожей снова показалось, какъ-будто бутылку съ водою опрокинули горлышкомъ книзу:

„Милостивый государь, Саломонъ Степанычъ (забормоталъ письмоводитель), посылаю къ вамъ крестьянина моего Акиѳія съ покорнѣйшею просьбою наказать его хорошенько. Не описываю вамъ причинъ моего неудовольствія, потому-что описаніе это еще больше взволновало бы меня и разстроило мое слабое здоровье. Надѣюсь, милостивый государь, вы, какъ всегда, уважите просьбу дамы, которая имѣетъ честь быть вашей слугою

Авдотья Хрюшкина“.

— Фу, чорррть возьми, да что же это она въ самомъ дѣлѣ? прозвучалъ голосъ Саломона Степаныча: — что жъ она думаетъ, намъ только и дѣла-то сѣчь ея мужиковъ! На недѣлѣ разъ пять посылаетъ...

— А пускай ее посылаетъ, Саломонъ Степанычъ, пускай посылаетъ; это ничего... съ какою-то мягкостью произнесъ письмоводитель и вдругъ, понизивъ голосъ, началъ шептать что-то.

Петя испуганными глазами посмотрѣлъ на мужика съ подбитымъ глазомъ; но, къ великому удивленію мальчика, лицо мужика оставалось такъ же весело и беззаботно, какъ и прежде; изрѣдка развѣ тѣнь неудовольствія пробѣгала по немъ, но это было въ тѣхъ случаяхъ, когда вой бабы у крыльца раздавался звонче обыкновеннаго. А между-тѣмъ шопотъ продолжался во второй комнатѣ, гдѣ засѣдалъ становой.

— Ну, хорошо, произнесъ наконецъ тономъ примирительнымъ Саломонъ Степановичъ:—пускай убирается къ чорррту, пусть его идетъ когда такъ... Хорошо!... Можетъ домой ѣхать, скажи ему! да чтобъ языкъ держалъ на привязи.

— Скажу-съ... Ему не впервой-съ, вымолвилъ Антонъ Антоновичъ, и съ этими словами снова явился въ прихожую.

— Антонъ Антонычъ, сдѣлайте милость, батюшка... заговорили опять, насовываясь другъ на дружку, мужики, стоявшіе у двери.

— Да что вы въ самомъ дѣлѣ? Сказалъ: погоди... Прочь! чуть не крикнулъ дыневидный письмоводитель, принимаясь толкать мужиковъ, изъ чего можно было заключить, что чашечка его тщетно тыкалась въ ихъ ноги.

Мужики повѣсили голову, а Антонъ Антоновичъ поднялъ свою нѣсколько раскраснѣвшую тыкву и прямо пошелъ къ подбитому глазу.

— Ступай съ Богомъ, Акиней, произнесъ онъ, понижая голосъ, который опять получилъ ясность и мягкость: — поѣзжай, братъ, домой. Смотри только... понимаешь? (тутъ онъ выразительно приложилъ указательный палецъ къ губамъ и быстро потомъ перенесъ его къ спинѣ).

— Помилуйте, Антонъ Антонычъ, нешто мы этого не знаемъ! намъ не впервой! возразилъ подбитый глазъ, какъ-бы гордившійся своими визитами въ становую квартиру.

— Ну то-то же! Ступай съ Богомъ... ступай! кротко сказалъ письмоводитель.

Акиней поблагодарилъ, поклонился и вышелъ.

Не прошло минуты, дверь на крыльцо снова отворилась и пропустила высокаго, статнаго и очень еще красиваго человѣка, несмотря на то, что ему было уже подъ пятьдесятъ. Въ правильныхъ чертахъ его и во всей осанкѣ проглядывало какое-то достоинство; уже по одному спокойствію, съ какимъ вошелъ онъ, можно было догадаться, что онъ явился по собственному дѣлу, и притомъ такому дѣлу, которое не имѣло большой важности. Столкнувшись почти носъ къ носу съ письмоводителемъ, онъ не клянялся униженно, а сказалъ попросту: „здравствуйте, батюшка!“ и принялся разглаживать окладистую бѣлокурую бороду.

— Зачѣмъ пожаловалъ? спросилъ Антонъ Антоновичъ, любезно выставляя впередъ свою дыню.

— А такъ, надобность своя есть; Саломона Степаныча надо

видѣть, возразилъ безцеремонно мужикъ, развилъ обѣими руками бороду на двѣ равныя половины и отвелъ свѣтлые глаза въ сторону. Взглядъ его упалъ случайно на Петю и, казалось, мужичка удивило присутствіе такого мальчугана въ квартирѣ становаго.

— Эй, Антонъ Антонычъ! что ты опять застрррялъ? Кто тамъ еще? крикнулъ становой.

— Никаноръ Иванычъ, подрядчикъ! отозвался письмоводитель, просовывая въ пріемную свою дыню.

— А, Никаноръ Иванычъ! добро пожаловать, братецъ... Ступай сюда, весело крикнулъ Саломонъ Степановичъ.

Подрядчикъ, нимало неторопясь, потеръ подошвами сапоговъ объ полъ и вошелъ во вторую комнату, гдѣ тотчасъ же раздались громкія восклицанія и быстрая барабанная дробь становаго. Антонъ Антоновичъ хотѣлъ-было войдти за подрядчикомъ, но Яковъ Васильевъ остановилъ его.

— Сдѣлайте милость, Антонъ Антонычъ! нельзя ли какъ... намъ долго ждать не велѣно... пожалуйста!... произнесъ онъ, отвѣшивая маховой поклонъ.

— Экой братецъ ты какой! вишь народъ! Сказалъ: обожди; чего жъ тебѣ еще?... Со всѣми вдругъ не справишься.

Приведя такой резонъ, Антонъ Антоновичъ прошелъ мимо пятерыхъ мужиковъ, которые-было забормотали; Антонъ Антоновичъ быстро повернулъ къ нимъ дынный завитокъ свой, мужики откинулись назадъ, стукаясь головами, и письмоводитель скрылся въ пріемной. Подрядчикъ Никаноръ заставилъ, казалось, становаго забыть объ остальныхъ посѣтителяхъ, дожидавшихся въ прихожей. По прошествіи десяти минутъ, языкъ Саломона Степановича усталъ, однакожъ, выбивать мелкую дробь, и онъ снова спросилъ:

— Что тамъ еще, Антонъ Антонычъ?

— Помѣщика Бабакина человѣкъ-съ; на ихней землѣ бѣглаго поймали-съ... привелъ-съ.

— Фу, какъ надоѣли!... Ну, веди его!...

Увидя входящаго Антона Антоновича, мужики, стоявшіе подлѣ дверей, не тронулись уже съ мѣста: они, какъ видно, потеряли теперь всякую надежду.

— Ступай, братъ, сказалъ письмоводитель, обратившись къ Якову Васильеву.

Яковъ Васильевъ взялъ Петю за руку и ввелъ его во вторую комнату.

— А! произнесъ Саломонъ Степановичъ.

Въ этомъ восклицаніи не было ничего особеннаго; тѣмъ не менѣе Петя задрожалъ всѣми своими худенькими членами; все помутилось и завертѣлось въ глазахъ его, которые тотчасъ же наполнились слезами; онъ не смѣлъ поднять ихъ, не смѣлъ пошевелить рѣсницами, боясь выдавить накопившіяся слезы и закапать полъ, что было бы дѣйствительно лишнее, потому-что въ этомъ мѣстѣ, противъ стола становаго, на полъ и безъ того уже падало слишкомъ много слезъ. Но страхъ мальчика происходилъ, надо думать, отъ врожденной трусости; онъ ни на чемъ не основывался: какъ въ голосѣ, такъ и въ наружности Саломона Степановича не было ничего страшнаго. Саломонъ Степановичъ представлялъ изъ себя человѣка лѣтъ тридцати-пяти, съ полнымъ, румянымъ лицомъ, которое могло даже нравиться женщинамъ; его бѣлые, сверкающіе зубы, чорные глаза и чорные густые волосы, прохваченные мастерскимъ проборомъ, возбуждали зависть уѣзднаго судьи, стряпчаго и другихъ значительныхъ лицъ уѣзда, у которыхъ, какъ нарочно, были плѣшивыя головы и весьма скверные зубы. Саломонъ Степановичъ съ замѣтнымъ удовольствіемъ запахивался новенькимъ халатомъ изъ термаламы (классическая матерія провинціяльныхъ халатовъ), подареннымъ ему, мѣсяцъ назадъ, тёщею.

Петѣ не только не слѣдовало дрожать и плакать, но слѣдовало бы радоваться и благодарить судьбу, что его привели къ становому въ настоящее время, а не прежде или послѣ. Весь этотъ мѣсяцъ Саломонъ Степановичъ находился въ веселомъ, снисходительномъ, самомъ мягкомъ и пѣвучемъ расположеніи духа, такъ-что весь подвѣдомственный станъ его не могъ достаточно имъ нахвалиться. Такая внезапная перемѣна объясняется сама собою. Видано ли было когда-нибудь, чтобъ человѣкъ, проживающій первый медовый мѣсяцъ супружества, не былъ веселъ и вообще не выказывалъ значительнаго расположенія къ снисхожденію и мягкости? Саломонъ Степановичъ только-что женился и былъ до-нѣльзя счастливъ. Одно то, что жена принесла ему въ приданое восемь душъ крестьянъ и дала ему такимъ образомъ возможность самому сдѣлаться помѣщикомъ, что было всегда любимѣйшею его мечтою; сверхъ-того, жена его была молоденькая, хорошенькая, и имѣла, какъ оказывалось (съ каждымъ днемъ онъ убѣждался въ этомъ), весьма кроткій, любящій и нѣжный нравъ. Не далѣе, какъ вчера, сидя на колѣняхъ мужа, она назвала его Пи́почкой; ласки жены

и нѣжныя имена такъ понравились Саломону Степановичу, что молодая дала себѣ слово звать мужа не иначе, какъ уменьшительнымъ именемъ; въ тотъ же вечеръ изъ Саломона сдѣлала она „Сàлиньку“... становой былъ въ восхищеніи. Но Петя не подозрѣвалъ всего этого, и потому продолжалъ замирать отъ страха и дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Самому Якову Васильевичу было какъ-будто неловко; онъ безпрестанно мигалъ Антону Антоновичу съ видомъ взаимнаго соучастія, и хотя тотъ не смотрѣлъ на него, но, все-равно, миганье съ письмоводителемъ ободряло Якова Васильева.

— Ладно, Никаноръ Иванычъ, мы еще поговоримъ, сказалъ становой, обратясь къ подрядчику.—Садись, брррратецъ.

— Покорно васъ благодарю; я постою, возразилъ подрядчикъ.

— Садись, садись...

— Помилуйте, зачѣмъ же это?... мое дѣло такое... я могу постоять. Не извольте безпокоиться, я постою.

— Ну, кàкъ знаешь, брррратецъ, какъ знаешь, весело произнесъ становой и обратился къ Якову.—Когда поймали? спросилъ онъ, кивая головою на Петю.

— Нынче утромъ-съ... въ ригу зашелъ къ крестьянину.

— А! ги! ррраненько, братъ, началъ! Что ты, какъ быкъ, въ землю-то смотришь? подыми голову!

Такъ-какъ Петя не повиновался, то Яковъ Васильевъ торопливо взялъ его одною рукою за подбородокъ, другою за макушку головы и показалъ становому блѣдное, потерянное лицо мальчика, исполосованное потоками слезъ.

— Гм! раненько, братъ, началъ, раненько! повторилъ становой.

— Малъ еще, сударь, по глупости, можетъ-статься, сказалъ подрядчикъ, съ замѣтнымъ состраданіемъ поглядывая на мальчика:—можетъ-быть, нарочно угналъ кто-нибудь... Гдѣ еще ему бродяжничать по своей охотѣ?

— Откуда ты? спросилъ становой, пристально взглядывая на бродягу.

— Не... не знаю... пролепеталъ мальчикъ, котораго Яковъ Васильевъ, повинуясь знакамъ письмоводителя, все еще держалъ за голову.

— Ты у меня, смотри, не ври, говори всю правду, а то я тебя заставлю говорить по-своéму... Говори, гдѣ былъ передъ тѣмъ, что пришелъ въ ригу? подхватилъ Саломонъ Степановичъ.

— Я у нищихъ... былъ... произнесъ, рыдая, мальчикъ: — они хотѣли мнѣ глаза выколоть... я убѣжалъ...

— Когда жъ ты ушелъ отъ нихъ — а?... да смотри не врать у меня! промолвилъ Соломонъ Степановичъ съ тѣмъ видомъ, какой былъ у него до женитьбы и до названія „Салинька“.

— Нѣтъ, всю... всю правду скажу...

— Ну!

— Я... я двѣ ночи бѣжалъ... да еще день бѣжалъ, проговорилъ Петя, который побоялся броситься въ ноги становому и просить у него пощады.

— Хорошо; ну а до нищихъ гдѣ ты находился? Гдѣ они тебя взяли?...

— Я жилъ у матери... съ отцомъ...

— Должно-быть, Саломонъ Степанычъ, вмѣшался опять подрядчикъ: — должно быть, родные нищимъ его отдали на срокъ... это бываетъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, перебилъ Петя, горько всхлипывая: — нѣтъ! они меня силой у отца отняли... въ лѣсу...

— Ну, это, братъ, что-то хитро! Смотри, не врешь ли ты? смотри! Тутъ что-то не такъ, Никаноръ, а? какъ ты думаешь — а?

— Все можетъ случиться, Саломонъ Степанычъ, спокойно-разсудительнымъ тономъ проговорилъ подрядчикъ: — можетъ, отецъ въ ту пору пьянъ былъ, мѣсто было глухое... Эти нищіе, доложу вамъ, сударь, часто такія бестіи бываютъ, что хуже иного разбойника... Обманывать васъ онъ побоится. Надо думать, такъ ему случилось, какъ онъ разсказываетъ.

— Я всю правду сказалъ, началъ Петя, прерываясь на каждомъ словѣ: — ничего не утаилъ... всю правду сказалъ...

Миловидное, кроткое лицо мальчика, его отчаянье, звукъ его голоса — все подтверждало искренность его показаній. Самъ Саломонъ Степановичъ, казалось, смягчился и превратился снова въ „Салиньку“.

— Ну а какой ты губерніи?... какого уѣзда? ты этого не помнишь? спросилъ онъ.

— Марьинское... Марьинское прозывается, вымолвилъ Петя, рѣшаясь поднять глаза.

— Гм! Марьинское... пробормоталъ становой, потирая лобъ и какъ бы отыскивая въ памяти своей такую губернію или уѣздъ: — да, можетъ-быть, такъ село прозывается, гдѣ жилъ отецъ твой?

— Да, Мàрьинское... деревня, гдѣ мать и отецъ; они оттуда увели меня, сказалъ Петя и снова заплакалъ.

— Что жъ мнѣ съ нимъ дѣлать, я, право, не знаю? Гдѣ ее отыскивать, эту деревню? Антонъ Антонычъ, помѣть деревню „Мàрьинское“ на всякій случай для отправки съ нимъ въ Земскій Судъ: можетъ, какъ-нибудь тамъ и отыщется, какъ пропечатаютъ объявленіе о поимкѣ; а до того времени, одно остается сдѣлать: записать его въ списокъ „непомнящихъ родства“.

— Жаль, Саломонъ Степанычъ; мальчикъ-то, кажется, смирный... Такъ пропадетъ, ни за что, произнесъ подрядчикъ.

— Да что жъ съ нимъ дѣлать-то, братецъ? дѣлать-то больше нѣчего...

— Можно на поруки отдать кому-нибудь; коли доброму человѣку попадется — не пропадетъ!

— Да кто жъ его возьметъ? кому онъ нуженъ? Вишь, слабый, маленькій, кому онъ нуженъ?

— Пожалуй, я возьму, сказалъ подрядчикъ, поглаживая бороду.

— Возьми, братецъ, возьми; я очень радъ; ты всѣхъ насъ избавишь отъ лишнихъ хлопотъ... Только, знаешь, Никаноръ, надо будетъ, какъ по закону слѣдуетъ, оставить росписку въ томъ, что такъ-и-такъ, обязуешься выучить его мастерству какому-нибудь, а не держать такъ, зря, какъ собаку...

— Помилуйте, сударь, мы вѣдь также въ церковь ходимъ и въ Бога вѣруемъ! съ достоинствомъ промолвилъ подрядчикъ:— какъ, примѣрно, сами по плотничной части занимается, такъ все равно и его тому же обучать станемъ. Пожалуй, я хоть сейчасъ распишусь въ чемъ сказать изволили...

Саломонъ Степановичъ, подумавъ, что подрядчикъ дѣлаетъ это, имѣя въ виду какія-нибудь выгоды, могъ бы привязаться къ случаю и не упустить собственныхъ выгодъ; но, какъ ужъ сказано, онъ въ этотъ мѣсяцъ былъ особенный человѣкъ; къ тому жъ, одною изъ отличительныхъ добродѣтелей становаго было чувство благодарности: онъ помнилъ, что, передъ свадьбой, Никаноръ поднесъ ему пару славныхъ гусей, а послѣ свадьбы, для поздравленія, подарилъ двухъ отличныхъ утокъ, изъ которыхъ селезень былъ заводскій хохлатый шипунъ. Саломонъ Степановичъ не сдѣлалъ, слѣдовательно, ни малѣйшихъ прижимокъ подрядчику касательно мальчика; онъ велѣлъ дать бумаги и самъ даже продиктовалъ Никанору обязательство, требуемое закономъ.

Во все это время Петя не отрывалъ глазъ отъ подрядчика. Лицо Никанора не пугало его, но онъ все продолжалъ еще плакать. Припоминалъ ли онъ добрую барыню, которая такъ обласкала его, хотѣлось ли ему къ ней возвратиться, или неизвѣстность того, что̀ ожидало его у новаго хозяина, стѣсняла его сердце, только слезы сами собою текли по щекамъ его и свободно теперь капали на полъ становой квартиры, что̀, какъ извѣстно, было ужъ совершенно лишнимъ.

— Ступай, братецъ, скажи, что хорошо; мальчика взяли на поруки, проговорилъ становой, обратясь къ Якову Васильеву.

Яковъ Васильевъ взглянулъ на дынное лицо Антона Антоновича; Антонъ Антоновичъ выразительно мигнулъ. Дворовый человѣкъ поклонился Саломону Степановичу, сдѣлалъ шагъ впередъ и положилъ на край стола полтинникъ.

— Что это? съ улыбкой удивленья спросилъ становой.

— Отдать велѣно...

— Нѣтъ, братецъ, нѣтъ, возьми назадъ, мнѣ не надо этого, съ благородствомъ во всѣхъ чертахъ проговорилъ Саломонъ Степановичъ: — а вотъ если они хотятъ отблагодарить меня за то, что избавилъ ихъ, скажи... скажи, чтобъ лучше прислали возочекъ муки; а это, подхватилъ онъ, отдавая назадъ полтинникъ: — это возьми назадъ...

Яковъ Васильевъ поклонился еще разъ и вышелъ, думая: „Экой, братъ, ловкій какой! вѣдь мука-то теперь девять съ полтиной... Ловокъ, нѣчего сказать... ловокъ!“

Дѣло, по которому Никаноръ явился къ становому, задержало его не надолго; спустя немного, онъ вышелъ съ мальчикомъ на улицу. Телѣги съ плачущей бабой ужъ не было; старичекъ, продающій лубочныя картинки, также исчезъ. Яковъ Васильевъ уѣхалъ. Послѣдній побоялся, видно, чтобъ полтинникъ не проткнулъ ему кармана въ шароварахъ, снова поспѣшилъ размѣнять его. Петя вспомнилъ добрую барыню, которой онъ даже не послалъ поклона, и опять заплакалъ. Никаноръ Ивановичъ обласкалъ его и помогъ ему усѣсться хорошенько на телѣгу. Послѣ этого онъ самъ сѣлъ подлѣ мальчика и слегка постегалъ сытую, сѣрую свою кобылку, которая скоро вывезла ихъ вонъ изъ села.

— Ты, паренёкъ, не плачь; зачѣмъ плакать? плакать не годится, сказалъ онъ, ласково поглядывая на Петю: — мы ничего худаго тебѣ не сдѣлаемъ: ты, я вижу, мальчикъ хорошій, добрый;

станешь слушаться, тебѣ хорошо будетъ. Обижать тебя никто не станетъ; а пуще, надо стараться не лѣниться, къ работѣ привыкать, кто съизмаленьку привыкаетъ, тому потомъ все легче да легче пойдетъ. Ты охотникъ ли работать-то—ась? шутливо присовокупилъ онъ.

— Да... буду... я, дядюшка, буду работать... со вздохомъ проговорилъ Петя, переставшій плакать.

— Ну, вотъ и хорошо! подхватилъ тѣмъ же добродушнымъ тономъ Никаноръ Ивановичъ.—Работать хорошо будешь—мы изъ тебя человѣка сдѣлаемъ, не то, что, примѣрно, шалопая какого—нѣтъ, настоящаго! А тамъ возростешь, самъ большой будешь... Тогда, статься-можетъ, какъ-нибудь, съ Божею милостью, и родныхъ найдешь... То-то имъ весело-то будетъ, какъ увидятъ тебя большаго такого, съ пилой за плечами, съ топоромъ за поясомъ. Самъ избу тогда имъ поставишь—вотъ какъ!...

Мало-по-малу Петя пересталъ вздыхать, а къ концу дороги довѣрчиво уже смотрѣлъ въ свѣтлые глаза Никанора Ивановича и внимательно слушалъ его добрыя, ласковыя рѣчи.

III.

Радость и горе.

Между-тѣмъ, какъ Петя переходилъ такимъ-образомъ изъ рукъ въ руки и велъ самую кочевую, неопредѣленную жизнь, семья его обзаводилась домкомъ и устроивалась на новомъ своемъ мѣстѣ. Нѣчего сказать, мужичокъ Андрей, изъ Панфиловки, мастеръ былъ строить мазанки. Онъ, правда, не гнался за красотою, не любилъ ни рѣзныхъ, узорчатыхъ подзоровъ, ни пѣтуховъ на макушкѣ кровли, ни ставней, расписанныхъ цвѣточными горшками: все это называлъ онъ пустяшнымъ дѣломъ, нестоящею мелкотою; но за-то постройки его отличались плотностью необыкновенной: солнцемъ не пропекало, вѣтромъ не продувало, зимой не промерзало. Образцомъ такой постройки могла служить мазанка Тимоѳея: плотно и прочно; одно слово сказать, что плотно. Однимъ немножко обижалась Катерина: подлѣ мазанки не только не находилось деревца, но даже хворостинки; кругомъ разбѣгалась неоглядная луговая степь, сливав-

шаяся съ небосклономъ. Съ той только стороны, гдѣ находился хуторокъ Анисьи Петровны (до него считалось версты четыре), жнивьё убранныхъ ужъ полей обозначалось блѣдно-желтою полосою, которая нѣсколько разнообразила зеленое море травы. Снятая рожь позволяла теперь вѣрно указать на то мѣсто, гдѣ располагался хуторъ; онъ отмѣчался темной, неопредѣленной точкой: то была макушка старой ветлы, осѣнявшей прудокъ Панфиловки. Нѣсколько лѣвѣе, въ двухъ-трехъ мѣстахъ, мелькали другіе маленькіе хутора; наконецъ, ближе къ мазанкѣ, тамъ, гдѣ кончилось ужъ жнивьё и начинались луга, выглядывала темнымъ пятномъ усадьба богатаго гуртовщика Карякина. До послѣдней, если идти все прямо, было не болѣе двухъ верстъ. Весь остальной кругозоръ обозначался волнистыми, постепенно-убѣгающими линіями луговой степи. Такому обилію травы особенно должна была радоваться рыжая корова, только-что купленная Катериной; корова стоила дорого; но безъ нея обойтись нельзя при множествѣ ребятишекъ: тѣмъ вѣдь только и живы, какъ въ накрошенный хлѣбъ, либо въ кашу, молочка подольешь. Шагахъ въ двадцати отъ мазанки находился водопой и колодезь. Андрей и два другіе мужика, два мастака въ дѣлѣ отыскиваній, по примѣтамъ, неглубокихъ подземныхъ источниковъ, бились надъ нимъ пять дней; они, вѣроятно, бились бы долѣе, если бъ не подстрекалъ ихъ и не ободрялъ Лапша. Самъ онъ, къ сожалѣнію, не могъ подсоблять лопатою: въ эти пять дней одышка, поперхота и ломъ въ груди не давали ему покоя.

Въ одномъ только случаѣ переселенцы отступили отъ плана, начертаннаго Сергѣемъ Васильевичемъ Бѣлицынымъ: они не построили огромныхъ навѣсовъ, долженствовавшихъ защищать отъ ненастья гурты воловъ, которые будутъ прогоняться черезъ лугъ: во-первыхъ, лѣсъ такъ былъ дорогъ, что недостало бы денегъ у Катерины; во-вторыхъ, изъ словъ мѣстныхъ жителей оказалось, что гурты ходятъ такими большими партіями, что не закроешь ихъ никакими навѣсами; какъ скотъ, такъ и гуртовщики, его сопровождающіе, привыкли ночевать въ лугахъ подъ открытымъ небомъ и не боятся никакой погоды передъ ярко-пылающимъ костромъ; ни одинъ изъ нихъ полушки не дастъ, чтобъ постоять подъ навѣсомъ: они предпочтутъ отнести деньги въ кабаки, которые разсыпаны въ изобиліи по всѣмъ степнымъ дорогамъ. Въ полуторѣ верстѣ отъ карякинской усадьбы, по дорогѣ къ Панфиловкѣ, находился также кабакъ. „Какъ же! пойдутъ къ вамъ гуртовщики!

Жди хоть годъ, ни одинъ не заглянетъ!“ утвердительно говорилъ Андрей изъ Панфиловки. Обо всемъ этомъ отписала Катерина въ Мàрьинское управителю Герасиму Аѳанасьевичу. Недалеко было ей ходить за грамотнымъ: у Карѣкина проживалъ какой-то хромой и горбатый человѣчекъ, по имени Егоръ, который за двугривенный приходилъ къ кому угодно съ листикомъ сѣрой бумаги, съ пузырькомъ, замѣнявшимъ чернильницу; онъ ловко строчилъ письма и просьбы; за послѣднія онъ бралъ, впрочемъ, дороже: „не велѣно“, говорилъ онъ въ свое оправданіе. Андрей предупредилъ Катерину, что этотъ Егорка великій негодяй, но Катеринѣ съ нимъ не дѣтей было крестить: написалъ письмо, деньги взялъ, и ступай подобру-по-здорову. Въ письмѣ своемъ Катерина спрашивала о Петѣ и снова просила Герасима Аѳанасьевича отослать мальчика въ степь по пересылкѣ, въ случаѣ, если онъ нашелся.

Десятидневное пребываніе въ стени, а еще болѣе бесѣды съ Андреемъ и его женою окончательно убѣдили Катерину, что трудно будетъ ей жить на новомъ мѣстѣ. Хлѣбъ, конечно, втрое дешевле здѣсь, чѣмъ въ Мàрьинскомъ, но все же надо покупать его, тогда какъ въ Мàрьинскомъ онъ добывался съ поля. Корова поглотила почти всѣ деньги, которыми могла располагать Катерина для себя собственно; о пріобрѣтеніи лошади, для обработки двухъ-трехъ десятинъ луга, нѣчего было и думать. Къ тому жъ, какъ только дѣло коснулось пахоты, Лапша объявилъ наотрѣзъ, что пахать не въ-силахъ. Неизвѣстно, что разслабляло Лапшу: переѣздъ ли съ мѣста на мѣсто, доставившій ему, впрочемъ, случай спать мѣсяцъ сряду, перемѣна ли воздуха, тоска ли по родинѣ, или, наконецъ, расшибенная грудь, которая, въ первое время послѣ паденія въ оврагъ, долго не сказывалась и не такъ сильно мучила Лапшу, какъ теперь, по прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ — дѣло въ томъ, что Лапша замѣтно хирѣлъ. Въ двадцать лѣтъ замужества Катерина такъ хорошо изучила мужа, что не могла ужъ поддаваться его óхамъ, вздохамъ и жалобамъ; но она сама теперь замѣтила въ немъ перемѣну; въ кашлѣ Лапши не было теперь ничего притворнаго: кашель начинался иногда ночью (въ прежнее время Лапша кашлялъ только днемъ; ночью спалъ какъ убитый, особенно когда хорошо ужиналъ); теперь кашлялъ онъ всю ночь напролетъ, вплоть до зари. Въ первый день, какъ ставили мàзанку, Лапша хлопоталъ и усердствовалъ больше всѣхъ, но, по прошествіи часа, такъ выбился изъ силъ, такъ умаялся, что

отказался отъ обѣда: послѣднее убѣдило Катерину, что силы дѣйствительно оставили мужа.

Хотя мужъ не былъ для Катерины надежнымъ помощникомъ, но хворость его все-таки прибавляла ей лишнюю заботу: у нея и безъ того ужъ было ихъ такъ много! Кромѣ хлѣба, приходилось еще прикупать конопель, пряжу, пшено, соль; мало ли нуждъ въ большой семьѣ, при малыхъ ребятахъ! Чтобъ удовлетворить частью всѣмъ этимъ требованіямъ, Катерина рѣшилась согласиться на просьбу Андрея: отпустить къ нимъ Машу въ видѣ работницы. Люди были хорошіе, честные, извѣданные: обижать не станутъ. Катерина надѣялась одна справиться съ домашними хлопотами; она нашла, что у нея останется еще много свободнаго времени и просила Андрея и жену его посылать къ ней окрестныхъ мужиковъ и бабъ, нуждавшихся въ шитьѣ; она мастерица кроить и шить рубахи, поддёвки, выдѣлывать всякіе узоры на кичкахъ и полотенцахъ; о заплатахъ и говорить нѣчего: Катерина такъ крѣпко ставила заплаты, что онѣ переживали долѣе, чѣмъ сосѣднее, повидимому, даже здоровое мѣсто. Три мальчугана Катерины (мы не упоминаемъ о четвертомъ, который только и дѣлалъ, что спалъ или сосалъ грудь), три мальчугана были такъ еще малы, что ни въ чемъ не могли пособить матери; они рыскали съ утра до вечера по лугамъ, всюду сопровождаемые вѣрнымъ Волчкомъ. Сумасшедшая Дуня также пропадала въ лугахъ по цѣлымъ днямъ; иной разъ она не являлась даже къ обѣду, что, съ одной стороны, пробуждало безпокойство Катерины, съ другой — невольное чувство радости: оставалось больше хлѣба на завтра.

Несмотря, однакожъ, на всѣ эти работы, хлопоты и стѣсненія, Катерина чувствовала, что ей здѣсь несравненно покойнѣе жить, чѣмъ въ Марьинскомъ. Ей недоставало только Пети: тогда она была бы совершенно даже счастлива и охотно провела бы здѣсь остатокъ дней своихъ. Житье было точно спокойное, тихое; въ недѣлю раза два-три заглядывали Андрей, его жена и дочь Маша. Кромѣ этихъ лицъ да еще хромаго и горбатаго Егорки, который явился всего два раза, чтобъ писать письмо, ни одно живое существо не показывалось въ лугахъ, окружавшихъ мазанку. Безмолвіе степи точно такъ же ничѣмъ не нарушалось; только вечеромъ, при солнечномъ закатѣ, когда весь этотъ просторъ охватывался огненнымъ заревомъ и, постепенно блѣднѣя, убѣгалъ лиловыми линіями въ неоглядную даль, тогда только все вокругъ

оживлялось криками дергачей, перепеловъ и шумомъ стрѣпетовъ, которые перелетали съ мѣста на мѣсто; но все это опять умолкало съ наступленіемъ ночи. Степь закутывалась въ темно-синій плащъ и сама какъ-будто засыпала. Послѣднія вспышки заката угасали; во всѣ стороны величественно раскидывалось небо съ миріадами сверкающихъ звѣздъ. Наступало мертвое, непробудное молчаніе самой глухой пустыни. Изрѣдка, далеко-далеко раздастся ревъ отставшаго быка. До-сихъ-поръ одни только эти звуки, весьма рѣдкіе, впрочемъ, напоминали жителямъ мазанки о существованіи гуртовъ: Катерина, по-крайней-мѣрѣ, не видала еще ни одного быка на своемъ лугу. Это происходило потому, вѣроятно, что Ѳедоръ Ивановичъ Карякинъ, согласно обѣщанію обрадовать чѣмъ-нибудь Анисью Петровну въ ея горѣ, отказался отъ луга Бѣлицыныхъ, какъ только поселились на немъ мужики ихъ; но такое обстоятельство не мѣшало, однакожъ, нашимъ переселенцамъ проводить благополучно дни и ночи.

Разъ (это случилось недѣли три послѣ окончательнаго переселенія въ степь) семья Лапши находилась у входа мазанки. Было часовъ шесть утра. Солнце давно уже поднялось въ ясномъ, безоблачномъ небѣ и начинало даже припекать. Семейство переселенцевъ расположилось у входа мазанки, потому-что съ этой стороны падала длинная прохладная тѣнь. Катерина сидѣла на травѣ; она спѣшила приставить дюжины полторы заплатъ въ коротайкѣ, которую, два дня назадъ, поручилъ ей одинъ изъ мужичковъ Панфиловки; лохмотья, предназначенныя для заплатъ, и лохмотья самой коротайки лежали на ея колѣняхъ; съ правой руки ея, на старомъ тулупчикѣ, валялся послѣдній ея ребенокъ; слѣва, между моткомъ нитокъ и ножницами, виднѣлся ломоть хлѣба, къ которому, время отъ времени, прибѣгала она. Подлѣ три мальчугана кричали и прыгали съ ломтемъ хлѣба въ рукахъ; Волчокъ переходилъ отъ одного къ другому, усаживался на свой крендель, устремлялъ на каждаго страстно-нетерпѣливые глаза и невообразимо-быстро двигалъ хвостомъ, когда который-нибудь изъ мальчугановъ подносилъ хлѣбъ къ губамъ. Лапша помѣстился позади всѣхъ, на порогѣ мазанки; онъ не принималъ участія ни въ завтракѣ, ни въ болтливой бесѣдѣ между матерью и ребятѣнками. Уперевъ угловатые локти въ костлявыя колѣни, положивъ голову между ладонями, онъ глядѣлъ съ видомъ тоски и изнеможенія въ степь, которая разстилалась передъ его глазами; узенькій, сухой лобъ его

какъ-будто не въ силахъ уже былъ поддерживать такихъ огромныхъ черныхъ бровей, брови лежали пластомъ, какъ двѣ мертвыя піявки. О чемъ думалъ Лапша — этого онъ вѣрно и самъ не могъ растолковать; но все равно, каковъ бы ни былъ ходъ его мыслей, онѣ поминутно прерывались тяжелымъ кашлемъ, который душилъ его. Катерина замѣтила, что кашель мужа не прерывался теперь даже съ варею. Для пополненія семейства не доставало Пети, Маши и безумной Дуни. О Петѣ мы знаемъ только, что онъ отправился съ подрядчикомъ Никаноромъ, который взялъ его на поруки; Маша жила въ работницахъ у Андрея. Что жъ касается Дуни, она ушла до солнечнаго восхода въ степь съ горбушкой чернаго хлѣба и палкой, которую не переставала убаюкивать, какъ младенца.

Какъ-только ломти хлѣба исчезли изъ рукъ мальчугановъ, Волчо́къ сдѣлался тотчасъ же спокойнѣе, но, наоборотъ, мальчики обнаружили больше подвижности и живости. Они сказали, что побѣгутъ въ степь за Дуней, и стали звать Волчка̀; но Волчо́къ слушать не хотѣлъ; усѣвшись на свой крендель, какъ на резиновый кружокъ, который подкладываютъ подъ себя нѣкоторые господа, онъ не переставалъ облизываться и задумчиво смотрѣлъ по направленію къ хутору.

— Волчо́къ! Волчо́къ! крикнули снова мальчики.

Волчо́къ не трогался съ мѣста: вниманіе его очевидно занято было какимъ-то предметомъ. Секунду спустя, онъ насторожилъ уши, вскочилъ на ноги, отбѣжалъ впередъ шаговъ на десять, вытянулъ шею и залаялъ.

— Ма̀ма, никакъ кто-то идетъ!... крикнулъ Костюшка, пускаясь за Волчко́мъ.

Братишки также побѣжали за нимъ.

— Кому идти? сказала Катерина, поднимая глаза и обращая ихъ къ хутору: — Машѣ не время: они нынче послѣдній овесъ подбираютъ. Погляди-ка, Тимоѳей, взаправду кто-то пробирается. — Но Тимоѳей не поднялъ даже головы, не обернулся.

Человѣкъ, котораго издали увидѣлъ Волчо́къ, замѣтно приближался; онъ шелъ, повидимому, очень скоро. Немного погодя, мальчики, бѣжавшіе за Волчко́мъ, могли даже разсмотрѣть черты его. Вдругъ всѣ трое припустили во весь духъ и закричали въ одинъ голосъ: „Ваня! Ваня!...“ Катерина бросила на̀-земь лохмотья, встала и, поправляя головной платокъ, пошла навстрѣчу. На

успѣла она сдѣлать десяти шаговъ, какъ ужъ человѣкъ сошелся съ мальчиками и началъ цѣловаться. Тогда Катерину встрѣтили прежде всего широкія губы, которыя улыбались отъ праваго уха до лѣваго. Минуту спустя, губы эти чмокали ужъ Катерину въ обѣ щеки.

— Ахъ, Ваня, Ваня! Вотъ не чаяла, не гадала! Какъ же это ты такъ, батюшка? Ну, здравствуй, родной, здравствуй! Когда ты пришелъ?

— Да ноньче, тётушка Катерина, ноньче, возразилъ Иванъ, раздвигая еще шире свою улыбку: — ноньче! Прошелъ на хуторъ, спрашиваю о васъ; говорятъ: четыре версты... Эвна, думаю, только-то! не пуще устанешь! что ждать-то? думаю. Ужъ оченно-добрѣ васъ повидать хотѣлось... Струментъ отдалъ мужику на хуторѣ, а самъ къ вамъ. Оченно ужъ обрадовался, тётушка Катерина!... Вѣдь вы мнѣ, какъ родные... знамо, обрадуешься!

Во время этого разговора, прерывавшагося радостными криками мальчиковъ и лаемъ Волчка, подскакивавшаго къ самому локтю гостя, Катерина и Иванъ успѣли подойдти къ мазанкѣ. Лапша не тронулся съ мѣста; онъ только приподнялъ голову и говорилъ разслабленнымъ голосомъ: „здравствуй, Ваня, здравствуй“. Но Ивану и этого было достаточно; онъ бросился обнимать и цѣловать Лапшу съ такимъ усердіемъ, что, казалось, губы его видимо припухали.

— Что съ тобой, дядюшка Тимоѳей? вымолвилъ Иванъ, замѣтивъ, наконецъ, съ какою холодностью Тимоѳей отвѣчалъ ему на его привѣтствія: — можетъ-статься, я въ чемъ помѣшалъ тебѣ?

Въ отвѣтъ Лапша замоталъ головою и закашлялся.

— Что-то опять на грудь сталъ все жаловаться, подхватила Катерина: — нездоровится все... Вотъ ужъ двѣ недѣли все такъ-то мается...

— О-охъ! простоналъ Лапша: — что ужъ тутъ!... Пришло, стало, время... умирать надыть, Ваня...

— Вишь, отмѣны никакой въ немъ нѣту-ти, перебила жена, стараясь улыбнуться: — все жалуется да пустое городитъ. Умирать! Рано собрался!... Съ чего умирать-то?... Съ нами еще поживешь...

— Нѣтъ... проговорилъ Лапша, опуская безсильно голову: — нѣтъ... чую смерть близко, помереть надо...

— Знамо, всѣмъ умирать надо; смерти-то никто не минуетъ, да только говорить-то о ней, впередъ-то загадывать негодится; все

это во власти Божіей. Подь, порадуйся лучше дорогому гостю, что пришелъ... Ахъ, Ваня! Ваня! заключила Катерина, похлопывая его по плечу.

Ваня, поощренный этою новой лаской тётушки Катерины, снова бросился обнимать ее и цѣловать до опухоли. Какъ только Катерина пришла въ себя, первый вопросъ ея былъ, разумѣется, о Петѣ. О мальчикѣ до-сихъ-поръ не было ни слуху, ни духу; но Иванъ просилъ Катерину не сомнѣваться: Герасимъ Аѳанасьевичъ лично сообщилъ ему, что объявленіе о пропажѣ мальчика давнымъ-давно послано куда слѣдуетъ—мальчикъ непремѣнно отыщется. Но такъ-какъ все это мало утѣшало Катерину, Иванъ поспѣшилъ развлечь ее другими новостями изъ Мàрьинскаго. Все обстоитъ пока благополучно: господа уѣхали; кузнецъ Пантелей приказалъ долго жить; сгорѣлъ—не отъ огня, сгорѣлъ, сказывали, вина много перепилъ; по воскреснымъ днямъ, какъ и прежде, передъ амбарнымъ навѣсомъ собирается хороводъ, въ которомъ больше всѣхъ отличаются востроглазая бабёнка да Матрёна; скотница Василиса живетъ ни на что́ не похоже, обворовываетъ господъ безъ милости; но управитель не смѣетъ смѣнить ее: сама барыня приставила ее къ должности и велѣла даже прибавить ей по два пуда мѣсчины.

Разсказывая обо всѣхъ этихъ новостяхъ, Иванъ точно черпалъ ихъ изъ дверей мàзанки, куда то̀-и-дѣло забѣгàли маленькіе глаза его. Катерина, подумавъ, что глаза Вани устремляются съ такою жадностью на коровай, лежавшій на столѣ, и который можно было видѣть въ раскрытую дверь, поспѣшила войдти въ мàзанку; немного погодя, она вынесла гостю добрый сукрой хлѣба и молока; все это принято было Иваномъ съ великою благодарностью: аппетитъ столяра вполнѣ соотвѣтствовалъ размѣру его рта; завтракъ исчезалъ съ неимовѣрною быстротою.

— Ну, Ваня, разскажи мнѣ, родной, какъ же ты жить-то станешь? промолвила Катерина, весело поглядывая на гостя и вмѣстѣ съ тѣмъ покачивая головою съ озабоченнымъ видомъ.— Вотъ мы здѣсь почитай ужь мѣсяцъ живемъ, а нѣтъ того, чтобъ слышали, надобность есть по рукомеслу по твоему... Надо все это обсудить; ты не алаберный человѣкъ, самъ разсудить можешь: надо жить чѣмъ-нибудь; надо также объ оброкѣ подумать...

Въ настоящую минуту Иванъ думалъ только, казалось, о двери мàзанки. Такъ-какъ онъ былъ столяръ, то въ этомъ ничего и не могло быть удивительнаго.

— Какъ же, какъ же, тётушка Катерина, я ужъ объ этомъ обо всемъ непремѣнно разсудилъ. Такъ, знамо, нельзя... Оброкъ и все такое... возразилъ Иванъ.—Вотъ маленько осмотрюсь, узнаю, какіе такіе здѣсь помѣщики, и всѣхъ обойду, тётушка Катерина... всѣмъ рамы тамъ, или столы, комоды—все это я могу... А здѣсь работы не будетъ, въ городъ пойду: городъ, сказывали мнѣ на хуторѣ, верстъ сорокъ...

— То-то же, родной, надо за дѣло приниматься, сказала Катерина:—побудь съ нами денёкъ-другой, отдохни, да съ Богомъ! Ты, я знаю, самъ проклажаться не любишь... Что на мазанку-то, на нашу смотришь — ась? аль понравилась? Вишь какъ устроились... хорошо, что ли?

— Да, хорошо, тётушка Катерина... хорошо; крѣпкія должны быть стѣны-то, и крыша того... да!... Слышь, тётушка, примолвилъ Иванъ съ меньшею разсѣянностью:—слышь, что жь это я не вижу... гдѣ жь у васъ... Дуня-то?...

— А въ лугъ ушла, родной... ушла до солнца... Все попрежнему, такая же смирная; а нѣтъ этого, чтобъ въ разумъ входила... нѣтъ... такая же...

— Ну, а гдѣ жь Маша-то? спросилъ Иванъ, сдерживая улыбку, которая, несмотря на старанія, разсѣкала пополамъ добродушное лицо его.

Катерина объяснила, гдѣ была Маша. По поводу дочери, она распространилась объ Андреѣ и женѣ его. Она съ первыхъ же словъ умѣла, видно, возбудить къ нимъ сочувствіе Ивана: онъ выразилъ желаніе познакомиться съ ними и увидаться какъ-можно скорѣе. Стоило взглянуть на лицо его, чтобъ убѣдиться, какъ сильно было въ-самомъ-дѣлѣ это желаніе и какъ хотѣлось ему отправиться на хуторъ: маленькіе глаза Ивана такъ же нетерпѣливо посматривали теперь въ ту сторону, какъ прежде устремлялись на дверь мазанки. Поговоривъ о томъ о сёмъ, онъ вдругъ всталъ и сказалъ, что пора отправляться.

— Куда жъ ты, Ваня? спросила Катерина: — я думала, ты здѣсь отдохнешь да пообѣдаешь...

— Нѣтъ, тётушка, вотъ что: я маленечко къ вамъ поторопился, взялъ да струментъ-то свой первому мужику отдалъ на хуторѣ; теперь сумлѣнье беретъ: ну какъ пропадетъ! Безъ струмента я совсѣмъ, какъ есть, пропащій человѣкъ.

Катерина побранила его за опрометчивость, но не удержалась

болѣе. Иванъ объявилъ, что нынѣче же вечеромъ или завтра утромъ снова заглянетъ, и простился съ переселенцами. Три мальчугана взялись провожать его до хутора. Сдѣлавъ шаговъ двадцать, Иванъ быстро, однакожъ, вернулся назадъ.

— Слышь, тётушка Катерина! дядя Тимоѳей, слышь! сказалъ онъ, становясь между мужемъ и женою: — я забылъ вамъ сказать, вѣдь я дорогой-то, какъ сюда шелъ, Филиппа встрѣлъ... право, встрѣлъ...

При этомъ извѣстіи, порогъ, на которомъ сидѣлъ Тимоѳей, точно подломился; Катерина опустила руки и поблѣднѣла.

— Какъ? гдѣ? когда? спросили въ одно время Катерина и Лапша, который поднялся вдругъ на ноги, хотя ноги слабѣе теперь поддерживали его, чѣмъ полчаса назадъ.

— Да какъ вамъ сказать? торопливо началъ Иванъ, не замѣчая сотой доли того вліянія, которое производили слова его; онъ больше поглядывалъ на хуторъ, чѣмъ на собесѣдниковъ: — какъ сказать?... верстъ пятьдесятъ отселѣва встрѣлъ. Онъ меня не видалъ, а я его призналъ... сейчасъ призналъ; съ нимъ и мальчикъ его былъ, Стёпка-то... на большой дорогѣ встрѣлись... Иду я по одной сторонѣ, они по другой идутъ... О чемъ это ты, дядя Тимоѳей? Ты не сумлѣвайся: они, можетъ, не сюда... примолвилъ Иванъ, видя, что Лапша повалился на траву, застоналъ и заохалъ.

Тутъ Иванъ принялся точно такъ же утѣшать и обнадеживать Катерину; но слова его еще менѣе дѣйствовали на нея, чѣмъ на мужа: вѣсть о Филиппѣ сразила ее совершенно; точно туча набѣжала вдругъ и бросила мрачную тѣнь свою на лицо бабы, за минуту еще передъ тѣмъ такой веселой. Судорожно скрестивъ руки на груди, склонивъ къ землѣ блѣдное лицо съ вздрагивающими ноздрями, она слова не слышала изъ того, что говорилъ теперь Иванъ, и только шептала:

— Знать, надоумили, опять наслали погубителя нашего!... Господи, Творецъ милостивый! подхватила Катерина, всплескивая руками: — ослобони ты насъ, Господи, отъ напасти такой, отъ человѣка лихаго! Знать, много мы провинились предъ тобою: за грѣхи за наши посылаешь...

Лапша твердилъ между-тѣмъ, что „умирать время“ — вотъ все, что можно было разобрать посреди его стоновъ и оховъ и вздоховъ. Иванъ и самъ ужъ каялся, что повѣдалъ имъ обо всемъ этомъ. Одно то, что тётушка Катерина заставила его повторить

со всѣми подробностями о встрѣчѣ съ Филиппомъ, что̀ сильно задерживало его, тогда-какъ все сильнѣй и сильнѣй влекло его убѣдиться въ цѣлости инструмента; съ другой стороны, ему жаль было видѣть, какъ убивались Лапша и Катерина. Удовлетворивъ желаніе послѣдней и снова присовокупивъ къ этому нѣсколько утѣшительныхъ догадокъ, Иванъ не замедлилъ направиться къ хутору. Мальчуганы снова ввязались провожать его. Напрасно Иванъ убѣждалъ ихъ остаться, увѣряя, что дѣло у него самое спѣшное и онъ пойдетъ очень скоро: они не хотѣли отстать. Пробѣжавъ въ припрыжку четверть версты, они сами увидѣли, наконецъ, что не осилятъ, и вернулись домой.

Если бъ сказали Ванѣ, что въ настоящую минуту къ его инструменту подходитъ воръ, онъ и тогда, кажется, не могъ бы идти съ бо̀льшею поспѣшностью. Чрезъ полчаса онъ входилъ къ мужику, у котораго остановился; но вмѣсто того, чтобъ освѣдомиться о цѣлости инструмента, онь освѣдомился, гдѣ находилась мазанка Андрея. Ворота мазанки были заперты; на стукъ его никто не откликнулся; онъ постучался въ окно, но и оттуда не послѣдовало отвѣта.

— Кого тебѣ, батюшка? спросила баба, вышедшая изъ сосѣднихъ воротъ.

Узнавъ, чего надо, она сказала, что Андрей и вся семья его ушли въ поле убирать послѣдній овесъ. Такъ-какъ незнакомцу была самая крайняя надобность видѣть Андрея, то баба разсказала, какъ пройдти въ поле.

Отъ зари до настоящей минуты Ваня прошелъ безъ-малаго верстъ тридцать; онъ такъ бодро пустился снова въ путь, что, можно было думать, его держали въ-заперти три мѣсяца сряду; улыбка на лицѣ его и веселые взгляды, устремленные во всѣ стороны, краснорѣчиво подтверждали такое предположеніе. Ваня находился уже въ пятистахъ шагахъ отъ хутора, когда услышалъ за собою дребезжанье экипажа и спѣшный топотъ лошадиныхъ копытъ; вмѣстѣ съ этимъ слухъ его пораженъ былъ щелканьемъ бича и пѣснею, которую тянули тоненькою, визгливою фистулою. Обернувшись, онъ увидѣлъ статную сѣрую лошадь, запряженную въ бѣговыя дрожки; лошадью правилъ красивый молодой человѣкъ въ картузѣ, щегольскомъ казакинѣ и широкихъ казацкихъ шароварахъ. „Должно быть, здѣшній помѣщикъ“, подумалъ Ваня, снялъ шапку и отошелъ немного въ сторону, хотя до лошади оставалось еще далеко.

Ваня не понялъ сначала, какъ баринъ, у котораго закрытъ ротъ, могъ пѣть такъ громко; секунду спустя, дѣло объяснилось: за спиною барина сидѣлъ человѣкъ, котораго Ваня принялъ сначала за мальчика. Онъ былъ горбатъ и спереди и сзади; бѣлокурые, рыжеватые волосы его закладывались за уши, какъ у барина, что̀ придавало угловатому лицу горбуна и большому носу его окончательное сходство съ тонко-заостреннымъ клиномъ; на заднемъ горбу красовалась гитара, державшаяся помощью шнурка, перекинутаго черезъ плечо, и качавшаяся изъ стороны въ сторону при каждомъ скачкѣ дрожекъ. Крѣпко ухватившись обѣими руками за нижнія перекладины экипажа, горбунъ выкрикивалъ пѣсню, слова которой ясно ужъ теперь разбиралъ Иванъ:

«...Внизъ спустяся къ ручеечку,
Близъ зеленаго лужка,
Вижу: баринъ ѣдетъ съ поля,
Двѣ собачки впереди.
Лишь онъ встрѣтился со мною,
Бросилъ взоромъ на меня.
Здравствуй, милая красотка!
Изъ котораго села?
Вашей милости крестьянка,
Отвѣчала ему я!.....»

Хотя Иванъ посторонился и лошадь ни въ какомъ случаѣ не могла зацѣпить его, но господинъ, сидѣвшій на дрожкахъ, счелъ необходимымъ прокричать во все горло:

— Посторонись! прочь съ дороги! раздавлю!...

— Ѳедоръ Иванычъ, Ѳедоръ Иванычъ! пискнулъ горбунъ, высовывая изъ-за плеча его свою заостренную мордочку: — по ногамъ его арапникомъ... по ногамъ хорошенько! Но Ѳедоръ Ивановичъ ограничился тѣмъ, что щелкнулъ арапникомъ по воздуху, засмѣялся и сказалъ:

— Ну, Егорка, пой... Пой, увеселяй меня — ну!

Егорка снова ухватился за рёбра дрожекъ и снова затянулъ фистулою:

«...Отвѣчала ему я!...
Хоть родилась ты крестьянкой,
Можешь быть и госпожей,
И во всемъ новомъ нарядѣ
Будешь вдвое хороша!....»

Дребезжанье быстро удалявшихся дрожекъ заглушило слова пѣсни. Впрочемъ, Ваня къ ней и не прислушивался: его такъ сильно занимала дорога, ведущая въ поле Андрея, что онъ забылъ, казалось, и Егорку, и самого Ѳедора Ивановича.

Вскорѣ показалась часовня, о которой говорила баба. Онъ свернулъ влѣво на поле и пошелъ межою. Немного погодя, увидѣлъ онъ вдалекѣ мужика и бабу, которые накладывали на телѣгу снопы овса. Иванъ догадался, что то были, вѣроятно, Андрей и жена его; трое ребятишекъ, скакавшихъ подлѣ телѣги, убѣждали его даже въ томъ, что онъ не ошибался; но онъ не пошелъ почему-то къ нимъ, а продолжалъ держаться межи. Шаговъ черезъ двадцать попались ему двѣ бабы, которыя вязали снопы и вѣрно наняты были Андреемъ; но онъ опять-таки не обратилъ на нихъ вниманія. Такъ-какъ вниманіе его исключительно принадлежало небольшой части поля, гдѣ овесъ не былъ еще сжатъ и длинными, неправильными клиньями возвышался надъ жнивьемъ, то онъ не замедлилъ увидѣть тамъ голову лошади, хватавшей справа и слѣва овсяные гроздья. Сдѣлавъ еще шаговъ десять, Ваня увидѣлъ Ѳедора Ивановича, а подлѣ него... Но такъ ли онъ видѣлъ? Не просмотрѣлъ ли какъ-нибудь? Нѣтъ: подлѣ Ѳедора Ивановича стояла Маша, дочь Катерины. Она не могла замѣтить Вани, потому-что стояла къ нему спиною. Около нея вертѣлся, прихрамывая, горбунъ. Не было никакой возможности разобрать, что говорилъ Ѳедоръ Ивановичъ и что отвѣчала Маша: оба говорили вполголоса; къ тому жъ Егорка не переставалъ бряцать на гитарѣ и, подвертываясь на хромой ногѣ то къ Ѳедору Ивановичу, то къ дѣвушкѣ, тянулъ во всю фистулу свою:

«Что ты, Маша, пріуныла,
Воздохнула тяжело?
Я въ любезнаго влюбилась,
На злодѣевъ не гляжу...
Взвейся, взвейся сизъ голубчикъ,
Прилети сюда, ко мнѣ...»

Ваня не успѣлъ еще хорошенько протереть глаза, какъ вдругъ Ѳедоръ Ивановичъ подскочилъ къ дѣвушкѣ, обнялъ ее и поцѣловалъ. При этомъ на лицѣ Вани появилась такая улыбка, какъ-будто онъ собрался разразиться неистовымъ хохотомъ. Онъ не засмѣялся, однакожъ...

— Помѣщикъ... помѣщикъ!... вотъ все, что могъ проговорить Ваня.

Онъ свѣсилъ руки, поболталъ ими съ такимъ видомъ, какъ будто самъ не зналъ, что дѣлалъ, потомъ опустилъ голову, потомъ повернулся и пошелъ къ хутору еще скорѣе, чѣмъ шелъ оттуда. Голоса двухъ бабъ, на которыхъ не обратилъ онъ прежде вниманія, остановили его на минуту.

— Каждый день такъ-то, касатка, говорила одна изъ нихъ: — она въ полѣ, и онъ въ полѣ... Стало-быть, полюбилась! Сказываютъ, вишь, сколько-то денегъ далъ...

— Куда ему деньги-то дѣвать? — мильонщикъ! Знаю, касатка, всю озолотитъ, и то останется, возразила другая баба.

Иванъ не дослушалъ дальше и продолжалъ отхватывать къ хутору еще скорѣе прежняго. Войдя къ мужику, у котораго осталея инструментъ, Ваня спросилъ только: „гдѣ сѣновалъ?“ и, получивъ отвѣтъ, тотчасъ же туда отправился. Часовъ пять или шесть спустя послѣ этого (время ужъ приближалось къ вечеру), мужикъ, принявшій къ себѣ столяра, видя, что тотъ не возвращается, пошелъ провѣдать его на сѣновалъ. Ваня крѣпко спалъ на сѣнѣ. Лицо его нѣсколько какъ-будто припухло, вѣки были красны, но улыбка попрежнему разсѣкала лицо его почти на двѣ равныя части.

„Экой, право, чудной какой!... право, чудной!“ произнесъ мужикъ, ухмыляясь: „и спитъ, кажется, крѣпко спитъ, а все смѣется!...“

IV.

Встрѣча въ лугахъ.

Но не въ послѣдній разъ привелось Ивану такъ крѣпко спать на сѣновалѣ. Дни проходили за днями — Иванъ все еще проживалъ на хуторѣ. Каждое утро отправлялся онъ въ луга провѣдать тётушку Катерину, и каждый разъ находилъ новое оправданіе въ томъ, что такъ долго заживался въ Панфиловкѣ: сегодня онъ точитъ инструментъ, завтра приходитъ ему благая мысль переждать до исхода сентября: дѣло вѣрнѣе будетъ — послѣ уборки всегда больше работы и у крестьянъ, и у помѣщиковъ; послѣ-завтра онъ рѣшительно идетъ въ городъ и явился прощаться съ тётушкой

Катериной. Но проходилъ назначенный день, Ваня снова навѣдывался къ жителямъ мàзанки, и снова готово было новое оправданіе. Онъ чувствовалъ, что тётушка Катерина догадывается, въ чемъ дѣло, но слова не говоритъ ей объ этомъ: и хотѣлось бы сказать, да какъ-то языкъ не ворочается: все ограничивалось, какъ всегда, однѣми улыбками.

Житьё Вани въ Панфиловкѣ было, однакожъ, слѣдствіемъ тайной рѣшимости. Рѣшимость явилась послѣ свиданія съ Машей, которое произошло вечеромъ того дня, какъ онъ впервые увидѣлъ ее на полѣ вмѣстѣ съ Карякинымъ и Егоромъ. Онъ теперь не сомнѣвался въ Машѣ: увѣренъ былъ въ ея расположеніи; но уйдти изъ Панфиловки все-таки не было возможности. Начать съ того, что, послѣ каждаго разговора съ Машей, возникала самая крайняя необходимость переговорить еще разъ. Кромѣ этого, преслѣдованія молодаго Карякина смущали, надоѣдали и безпокоили Машу. Все это: и надобность бесѣдовать съ дѣвушкой подъ-вечеръ, и ея безпокойство, и волокитство Карякина, ясно доказывали Ванѣ, какъ важно присутствіе его въ Панфиловкѣ.

Карякинъ сильно возмущалъ столяра. Иванъ все бы не такъ, кажется, смотрѣлъ на него, если бъ тотъ былъ дворянинъ, или помѣщикъ. „Вѣстимо, сталъ бы тогда больше оберегать себя—сталъ бы опасаться, крестьянъ своихъ совѣститься“, думалъ Иванъ: „а этотъ что? такъ, шушера! только въ казакинѣ ходитъ, да на сотенной лошади ѣздитъ!... Кого ему совѣститься? да и совѣсти-то откуда быть?... Того и гляди выкинетъ недобрую какую штуку... Отъ него все станется... Главная причина: денегъ оченно много; начнетъ ими сыпать... всѣхъ переманитъ на свою сторону. Эхъ!...“ заключалъ всегда Иванъ, нахмуривая лобъ и какъ-бы негодуя на улыбку, которая совершенно некстати являлась вдругъ на губахъ его. „Знамо, совѣсти нѣтъ!“ подхватывалъ онъ каждую минуту: „вотъ, вѣдь, ѣздитъ въ домъ къ помѣщицѣ: племянницу, сказываютъ, сватаетъ — чего еще надо? Нѣтъ, мало, стало-быть: къ дѣвкѣ деревенской подольщается, всякими манерами къ себѣ заманиваетъ. Какая послѣ этого совѣсть... Эхъ!...“

Ивана столько же, впрочемъ, если не больше, возмущалъ горбатый Егоръ, приспѣшникъ и помощникъ Карякина въ дѣлахъ волокитства. Узнавъ отъ Маши въ первый же вечеръ о продѣлкахъ Егора, онъ тогда еще выказалъ неодолимое желаніе пощупать ему оба горба. Егоръ не выходилъ у него изъ головы; даже ночью,

когда лежалъ Иванъ на сѣновалѣ, стоило вспомянуть горбуна — кулаки его страшно сжимались и такая улыбка раздвигала губы, какъ-будто лежалъ онъ не на сѣнѣ, а на Егорѣ и наколачивалъ ему третій горбъ. Егоръ въ-самомъ-дѣлѣ не давалъ прохода дѣвушкѣ: онъ заглядывалъ раза по два, по три въ день на хуторъ, ловилъ ее въ полѣ и на дорогѣ, задобривалъ ее всячески, говорилъ льстивыя рѣчи, приносилъ подарки — словомъ, ухищрялся всѣми способами, чтобъ склонить въ пользу Карякина. Преслѣдованія эти были такъ явны, что Андрей и жена его неоднократно усовѣщевали Егора.

Узнавъ о послѣднемъ, Иванъ тотчасъ же явился къ Андрею. Андрей, Прасковья и столяръ такъ много слышали другъ о другѣ отъ Маши и Катерины, что знакомство было дѣломъ минуты: они сошлись очень скоро. Къ концу бесѣды Иванъ предложилъ свои услуги и отправился съ ними въ поле. Онъ такъ усердно жалъ, косилъ и вязалъ снопы, что къ солнечному закату уборка овса приведена была къ окончанію. Иванъ трудился столько же для себя, впрочемъ, сколько для Андрея: онъ думалъ отрѣзать Карякину способъ видѣться съ Машей; Теперь Карякинъ могъ встрѣтиться съ нею не иначе, какъ на улицѣ хутора, а это далеко не такъ удобно, какъ въ полѣ.

Но Егору нѣкого было опасаться въ Панфиловкѣ: онъ ни на комъ не сватался. Егоръ приплелся на другой же день послѣ уборки на хуторъ и, улучивъ минуту, когда Маша вышла за водою, началъ къ ней подвертываться. Откуда ни возьмись, выскочилъ Иванъ и сталъ между ними. Такъ-какъ первыя слова столяра встрѣчены были насмѣшкой, то онъ прибѣгнулъ къ угрозамъ и, безъ сомнѣнія, привелъ бы въ дѣйствіе обѣщаніе свое пощупать горбъ Егора, если бъ не удержали его Маша и Прасковья, которая, къ-счастію, подоспѣла. Какъ ни хорохорился Егоръ, однакожъ послѣ этого онъ словно въ воду канулъ: о немъ не было ни слуху, ни духу. По прошествіи четырехъ дней, Маша созналась Ивану, что вчера встрѣтила Егора за околицей: онъ поджидалъ ее тамъ. Сначала онъ задобривалъ ее и такъ и этакъ, потомъ началъ грозить. Въ чемъ заключались эти угрозы — Егоръ не сказывалъ, но только страшно грозилъ — грозилъ подвести и дѣвушкѣ, и ея заступнику такую механику, что оба жизни не будутъ рады. Иванъ рѣшился сопровождать дѣвушку всюду, куда бы ни пошла она за предѣлы Панфиловки. Случай скоро предста-

вился. Прасковья попросила Машу снести въ сосѣдній хуторъ вязку льна, который брала взаймы. Узнавъ объ этомъ наканунѣ, столяръ выбрался ни-свѣтъ-ни-заря изъ сѣновала, миновалъ поле, обступавшее хуторъ, залегъ въ траву и сталъ дожидаться; но прошелъ часъ, другой, третій — Маша не показывалась. Наконецъ Иванъ, терявшійся уже въ догадкахъ, увидѣлъ дѣвушку: она была не одна; ей сопутствовалъ кто-то; Ивану не трудно было узнать Егорку.

„Опять!...“ пробормоталъ парень сквозь стиснутые зубы и сдѣлалъ уже нетерпѣливое движеніе, чтобъ вскочить на ноги; но тотчасъ же, однако, пришла ему мысль запасть снова въ траву и дать время горбуну отойти подальше отъ хутора. „Увидитъ меня — сейчасъ припуститъ назадъ; нагонишь только въ хуторѣ... а тамъ ничего не сдѣлаешь. И безъ того худо говорить стали о дѣвкѣ-то“, подумалъ Иванъ, съ досадой отслоняя траву, которая мѣшала ему смотрѣть на дорогу. Видно было, что дѣвушка съ жаромъ убѣждала въ чемъ-то горбатаго своего спутника; она замѣтно ускоряла шагъ, чтобъ пройдти какъ-можно поспѣшнѣе пространство, отдѣлявшее ее отъ хутора до хутора. Послѣднее обстоятельство смягчило нѣсколько досаду Ивана; въ улыбкѣ его проявилось даже что-то насмѣшливое при видѣ, какъ горбунъ, выбиваясь изъ силъ, чтобъ поспѣть за дѣвушкой, закидывая хромой ногой, подвертывался къ ней то съ одного бока, то съ другаго. Такъ было до-тѣхъ-поръ, пока Егоръ не вынулъ изъ кармана краснаго платка и не подалъ его дѣвушкѣ. При этомъ негодованіе овладѣло Иваномъ пуще прежняго. Какъ испуганный чибисъ, выскочилъ онъ изъ травы и пустился въ догонку за Егоромъ, который въ ту же секунду обратился въ бѣгство, крича во всю фистулу свою: „караулъ!“ и размахивая краснымъ платкомъ, который забылъ впопыхахъ спрятать въ карманъ. Маша кричала, между-тѣмъ, Ивану, прося его оставить это дѣло; она хотѣла даже удержать его, но Иванъ быстро вывернулся и, сказавъ: „ступай своей дорогой, ничего не бойся!“, полетѣлъ снова въ догонку. Фистула Егора и крики „караулъ!“ ни къ чему не послужили: ихъ нельзя было слышать изъ хутора. Какъ ни работала хромая нога его, какъ ни размахивали руки — все это мало также принесло пользы: въ ста шагахъ отъ Маши, которая быстро удалялась, Иванъ поймалъ Егора за воротъ и съ одного маха бросилъ на-земь. Упавъ на спину, Егоръ подставилъ тотчасъ же впередъ здоровую ногу; но нога послужила Ивану рычагомъ, чтобъ снова

повернуть Егора спиною кверху. Началась жестокая свалка. Какъ ни былъ малъ горбунъ, однакожъ съ нимъ не такъ легко было справиться: за слабостью рукъ онъ лихо защищался зубами; наконецъ столяръ все-таки скрутилъ врага и отбарабанилъ ему порядочную тревогу по горбу и по шеѣ.

— Теперь ступай, жалуйся! сказалъ Иванъ, поспѣшно приподымаясь, между-тѣмъ, какъ Егоръ продолжалъ лежать на спинѣ въ скорченномъ положеніи съ приподнятою ногою: — ты своему хозяину обо всемъ разскажешь, а я Анисьѣ Петровнѣ, барынѣ, обо всемъ разскажу... обо всѣхъ вашихъ дѣлахъ ей повѣдаю...

Видя, что дѣло пошло на разговоръ, горбунъ опустилъ ногу и всталъ; блѣдное лицо его покрыто было потомъ и пылью. Онъ началъ оправляться и чиститься съ такимъ видомъ, какъ-будто съ нимъ не произошло ничего особеннаго; взглянувъ на него, можно было думать, что онъ попросту споткнулся и упалъ, а Иванъ подбѣжалъ къ нему и помогъ ему подняться на ноги. Выраженіе поблѣднѣвшаго лица сильно, однакожъ, противорѣчило тому, что хотѣлъ показать Егоръ; онъ, кажется, такъ бы вотъ и прыгнулъ и вцѣпился въ столяра, если бъ хватило смѣлости. Злобу Ивана, наоборотъ, какъ рукой сняло.

— Вишь, братъ, произнесъ онъ увѣщевательно: — говорилъ: отстань! говорилъ: не приставай къ ней!... Вотъ теперича...

— Ну, да ладно, ладно... сквозь зубы проговорилъ Егоръ, у котораго руки, ноги и голова дрожали: — ладно... Погоди... мы еще съ тобою раздѣлаемся...

— Что жъ ты, опять стращать зачалъ?... крикнулъ Иванъ, мгновенно разгорячась.

— Нѣтъ... ничего... вымолвилъ Егоръ, понижая голосъ и бросая на противника ненавистные взгляды: — ничего... я говорю только: погоди!...

Съ этими словами Егоръ пріосанился, заложилъ за уши растрепавшіеся волосы, надѣлъ картузъ, принадлежавшій когда-то Карякину, и, припадая на хромую ногу, не безъ достоинства направился въ обратный путь. Иванъ, у котораго не совсѣмъ еще улеглось сердце, засмѣялся ему въ слѣдъ, какъ-бы желая дать знать, во что ставилъ его угрозы.

— Эй! крикнулъ онъ: — эй! забылъ платокъ-ать взять!... Поди подыми! подхватилъ столяръ, подбрасывая носкомъ сапога платокъ, предназначавшійся Машѣ и забытый Егоромъ на травѣ.

Егоръ далъ Ивану отойдти, медленно, какъ-бы прогуливаясь, вернулся назадъ, поднялъ платокъ, тряхнулъ имъ по воздуху и положилъ въ карманъ. Послѣ этого онъ продолжалъ путь къ дорогѣ, которая соединяла Панфилово съ усадьбой Карякина. Егоръ рѣшился почесать горбъ и шею не прежде, какъ когда Иванъ не могъ этого видѣть. Побои для него были послѣднимъ дѣломъ: въ веселыя минуты, особенно подъ пьяную руку, онъ сознавался, что ему случалось иногда по цѣлымъ часамъ проживать на кулакахъ; но кулаки кулакамъ розь. Кулаки, попавшіе на горбъ Егора, принадлежали большею частью лицамъ значительнымъ, богатымъ купцамъ или помѣщикамъ, къ которымъ переходилъ онъ изъ рукъ въ руки, въ качествѣ потѣшника, шута и скомороха. Въ огромномъ числѣ кулаковъ, сыпавшихся на Егора, находились, конечно, такіе, которые составляли неотъемлемую собственность мѣщанъ, лакеевъ и даже мужиковъ. Но потому ли, что онъ забылъ о нихъ, или потому, наконецъ, что эти лакеи, мѣщане и мужики, несмотря на низость званія, все-таки имѣли больше значенія въ глазахъ Егора, чѣмъ какой-нибудь двадцатилѣтній мальчишка, никогда еще не чувствовалъ онъ себя столь оскорбленнымъ, какъ въ настоящую минуту.

Мало-по-малу, однакожъ, угловатыя, отвратительныя черты его стали оживляться улыбками: онъ какъ-будто что-то придумалъ, и плутовское, радостное выраженіе лица ясно показывало, что онъ оставался доволенъ своей выдумкой. Какъ ни былъ Егоръ ничтоженъ и презрѣненъ, отъ него можно было ожидать весьма многаго: никто не подозрѣвалъ, и тѣмъ менѣе помѣщики, щелкавшіе его по носу, сколько пронырства, лукавства и злобы таилось въ маленькомъ горбунѣ. Первыя проявленія этой злобы дорого, впрочемъ, ему стоили. Еще въ младенческомъ возрастѣ онъ такъ больно укусилъ грудь матери, что та не удержала его и выронила на-земь— онъ сдѣлался горбатымъ; десяти лѣтъ, онъ сталъ въ упоръ какой-то лошади и началъ бить ее палкой по мордѣ; лошадь опрокинула его и провезла колесо черезъ его ногу. Благодаря, вѣроятно, фистулѣ своей, онъ выбранъ былъ бариномъ въ пѣвчіе. Съ первыхъ же дней товарищи возненавидѣли его; онъ не столько выкрикивалъ нотъ на новомъ своемъ поприщѣ, сколько испускалъ жалобъ подъ лозами и пиньками пѣвчихъ. Баринъ умеръ; пѣвчіе получили свободу. Егоръ сталъ переходить изъ одного хора въ другой, но нигдѣ не проживалъ болѣе мѣсяца: его выгоняли или

за пьянство, или за какую-нибудь мерзость. Наконецъ Егоръ бросилъ церковное пѣніе и занялся гражданскимъ: послѣднее больше отвѣчало его наклонностямъ. Вооружившись гитарой, онъ сталъ тогда, какъ мы уже замѣтили, переходить отъ купца къ купцу, отъ помѣщика къ помѣщику. У насъ до-сихъ-поръ еще много помѣщиковъ, которые жить не могутъ безъ шутовъ и приживальщиковъ. Егорка съ лихвою вознаграждалъ ихъ за хлѣбъ, за водку и за кровъ: онъ пѣлъ пѣсни, плясалъ, брался передавать платки и серьги молодымъ бабамъ; смотря по уговору, сдѣланному заранѣе съ помѣщикомъ, онъ выпивалъ три графина квасу, или пролѣзалъ подъ амфиладу изъ диванов и стульевъ, когда проигрывалъ въ дурачки; когда же помѣщикъ оставался въ дуракахъ, что происходило очень часто, Егоръ получалъ деньги или водку. Какъ ни забавлялись помѣщики, однакожъ они никогда не держали его болѣе недѣли. Егорка выкидывалъ какую-нибудь мерзость — и его выгоняли вонъ. Такъ попалъ онъ наконецъ къ Карякину. Молодой мѣщанинъ билъ его, можетъ-быть, и чаще и больнѣе многихъ другихъ, но Егоръ оставался имъ чрезвычайно доволенъ; онъ сразу смекнулъ, что Ѳедоръ Ивановичъ простоватъ, мотоватъ, любитъ пѣсни, любитъ завихриться, любитъ бабёнокъ — словомъ, такой малый, какого давно искалъ Егоръ. Благодаря склонности Ѳедора Ивановича къ гульбѣ, благодаря непомѣрной скукѣ, которую терпѣлъ онъ, благодаря его простотѣ и крайнему снисхожденію въ нравственномъ отношеніи, Егоръ думалъ вѣкъ свѣковать въ усадьбѣ гуртовщика. Одно не нравилось Егору: именно, намѣреніе Карякина жениться на племянницѣ Анисьи Петровны. Ни мало не сомнѣваясь, что тогда прости-прощай привольное житье, онъ не пропускалъ ни одной мало-мальски смазливой бабёнки, чтобъ не обратить на нее вниманіе Карякина и не отвлечь его этимъ способомъ, хотя временно, отъ племянницы помѣщицы.

Послѣ всего сказаннаго, яснымъ сдѣлается, что Егоркѣ не столько были чувствительны колотушки Ивана, сколько появленіе въ стенѣ столяра и вмѣшательство его въ дѣло, которое (такъ, по-крайней-мѣрѣ, казалось горбуну) начинало идти весьма успѣшно. Никто еще, изъ простыхъ, не нравился такъ Карякину, какъ Маша. Неужто всѣмъ хлопотамъ Егорки пропадать теперь даромъ? Нѣтъ; онъ придумалъ славную штуку! Какъ ни вертись, а ужъ Маша будетъ въ усадьбѣ гуртовщика! Сама Катерина пошлетъ ее

туда—вотъ какъ!... Чѣмъ больше думалъ горбунъ о придуманной имъ штукѣ, тѣмъ меньше сомнѣвался въ успѣхѣ.

V.

Хмѣль. — Старый знакомый.

Соображая свой планъ, Егоръ вышелъ къ мѣсту, гдѣ дорога изъ Панфиловки развѣтвлялась на два пути: одинъ путь велъ на усадьбу гуртовщика, другой къ кабаку; усадьба и кабакъ, находившіеся не въ дальнемъ разстояніи другъ отъ друга, располагались на большой дорогѣ, по которой гоняли гуртъ, или товаръ, какъ принято называть быковъ между гуртовщиками. Горбунъ пошелъ прямо къ кабаку; онъ не имѣлъ прежде такого намѣренія, но всему виною былъ платокъ, о которомъ онъ случайно вспомнилъ. Платокъ новенькій и шелковый; сколько стóитъ онъ Карáкину—неизвѣстно; цѣловальникъ, вѣрно, однакожъ, знаетъ цѣну; какъ человѣкъ знакомый, онъ, конечно, ужъ не обсчитаетъ.

Горбунъ заковылялъ съ такою поспѣшностью, что кабакъ видимо почти выросталъ передъ его глазами. То было длинное, бревенчатое зданіе, одиноко-торчавшее посреди степи. Въ одной половинѣ помѣщались цѣловальникъ и его семейство; другая предназначалась для гостей; между тѣмъ и другимъ отдѣленіями находились узенькія, темныя сѣни, загроможденныя пустыми бочками. Посѣтителей было мало: всего-на-все сидѣло четыре человѣка, если считать одного мальчика и не считать цѣловальника, представлявшаго изъ себя жирнаго мужичину, съ широкой черной бородою, разсыпавшейся вѣеромъ по красной рубахѣ. Два погонщика, пригнавшіе на зарѣ быковъ въ усадьбу Карáкина, сидѣли рядомъ за особымъ столомъ; далѣе, черезъ два стола, помѣщался черноволосый, кудрявый человѣкъ, лѣтъ сорока; онъ былъ оборванъ до крайней степени, хуже даже слѣпаго Фуфáева въ послѣднее время; подлѣ него, болтая босыми ногами, сидѣлъ мальчикъ, лѣтъ одиннадцати, съ рыжими, почти красными волосами и вздернутымъ кверху носомъ.

Мы уже сказали въ началѣ этого разсказа, что есть лица, въ которыхъ поражаетъ не столько самое выраженіе, сколько какая-нибудь черта или особенность: такія лица узнаются изъ тысячи.

Такъ и теперь: стоило взглянуть на черноволосаго, оборваннаго человѣка, стоило обратить вниманіе на его тонкій носъ съ горбинкой посерединѣ и подвижными, приподнятыми ноздрями, открывавшими съ обѣихъ сторонъ часть носовой перегородки, чтобъ сразу узнать въ немъ Филиппа, брата Лапши. Онъ сильно, однакожъ, измѣнился въ эти четыре-пять мѣсяцевъ: щеки осунулись; болѣзненный цвѣтъ кожи превратился въ свинцовый; глаза впали; въ нихъ замѣтно было больше энергіи и отваги, чѣмъ прежде. Перемѣна въ Стёпкѣ была еще значительнѣе: онъ такъ вытянулся въ этотъ короткій промежутокъ времени, что казался вдвое выше; если бъ не верхняя губа его, разсѣченная пополамъ, и не рыжіе волосы, торчащіе косяками и напоминавшіе артишокъ, нужно было долго всматриваться, чтобъ признать въ немъ мальчугана, досаждавшаго черневской знахаркѣ, Грачйхѣ.

Но Егоръ не обратилъ даже вниманія на Филиппа и мальчика: ему, главное, хотѣлось показать себя передъ погонщиками, которыхъ видѣлъ онъ утромъ на дворѣ Карякина.

— Здорово, Софронъ! пискнулъ Егоръ, бросая картузъ на сосѣднюю лавку и обѣими ладонями разглаживая волосы:—вишь, тебя не забываю, помню! Ну-ткась шкаликъ пѣннаго, самаго лучшаго, чтобъ первый сортъ былъ...

— Деньгами, что ли, разбогатѣлъ? посмѣиваясь, спросилъ цѣловальникъ.

Онъ стоялъ опершись локтемъ на огромную бочку съ пивомъ, которая лежала подлѣ двери; надъ бочкой висѣла на гвоздяхъ дюжина жестяныхъ заржавѣлыхъ кружекъ; подлѣ лежали еще двѣ бочки съ виномъ; въ углу торчали жестяныя трубки для вытягиванія вина.

— Деньгами разбогатѣлъ? вопросительно пискнулъ горбунъ:—мы всегда въ акуратѣ...

— У Карякина выманилъ—а?...

— Выманилъ? У насъ этого нѣтъ, чтобъ выманивать: бери сколько требуется...

— Не много ли? насмѣшливо проговорилъ Софронъ.

— Да вѣдь и денегъ-то у Ѳедора Иваныча много! поспѣшилъ перебить Егоръ, молодцуя передъ присутствующими: — мнѣ всѣ эти дѣла его... всѣ счеты... обо всемъ этомъ сказываетъ потому, какъ онъ есть мнѣ пріятель, все единственно, ни въ чемъ,

значитъ, не таится! заключилъ онъ, гордо поглядывая на погонщиковъ.

Но тѣ какъ-будто и не замѣчали его: они молча попивали вино, которое повидимому поглощало все ихъ вниманіе; слова горбуна нашли, однакожъ, усерднаго слушателя въ Филиппѣ: плутовскіе глаза его съ любопытствомъ остановились на горбунѣ.

— Теперича, который послѣдній гуртъ въ Москву гоняли, пятнадцать тысячъ получилъ Ѳедоръ Иванычъ! продолжалъ Егоръ:— пятнадцать тысячъ—вмѣстѣ считали...

— Не всѣ же его; чай отцу пошлетъ.

— Отцу? тамъ когда еще пошлетъ! пока у насъ! Вотъ намедни въ городъ ѣздилъ—то-то гуляли! фа—а! Погляди: вотъ платокъ мнѣ купилъ. Носи, говоритъ, братъ, Егоръ, носи отъ меня на память!... Такой душа-малый! каждый день даритъ: дѣвать некуда! Вотъ теперича хошь бы этотъ платокъ, куда мнѣ его, даромъ шелковый...

— Отдай мнѣ, коли лишній; намъ дѣло подходящее! сказалъ Софронъ.

— Возьми пожалуй! произнесъ Егоръ, становясь спиною къ посѣтителямъ и выразительно мигая цѣловальнику:— у насъ этого добра-то, тряпокъ-то, сундукъ полный... На, бери...

Софронъ взялъ платокъ и, усмѣхаясь, вышелъ въ сѣни. Егоръ высоко поднялъ голову и сталъ прохаживаться мимо посѣтителей, насвистывая удалую пѣсню. Немного погодя, Софронъ явился и поставилъ на пустой столъ штофъ вина и стаканъ. Егоръ поднесъ вино къ губамъ, хлебнулъ и поморщился, еще хлебнулъ и еще поморщился.

— Полно ломаться-то, пей! оченно ужъ разборчивъ! сказалъ Софронъ, снова прислоняясь локтемъ къ пивной бочкѣ.

— Будешь разборчивъ: я вотъ сейчасъ такую рябиновку пилъ, первый сортъ: помѣщица Ивановна потчивала...

— Ты развѣ оттуда?

— Да; посылала за мной лошадь, безъ запинки проговорилъ Егоръ, допивая стаканъ:—посовѣтываться насчетъ, то-есть, какъ просьбу писать.

— Это насчетъ чего?

— О лугѣ тягаться хочетъ... что лугъ отняли, которымъ десять лѣтъ владала.

— Ну, братъ, пиши не пиши, твоя просьба не поможетъ,

вымолвилъ Софронъ: — сказываютъ, господа, что́ крестьянъ-то на лугъ на этотъ поселили, добрѐ-богаты... Гдѣ ей съ ними тягаться! Только деньги разсоритъ. У нихъ, у тѣхъ господъ-то, сколько-то тысячъ душъ, сказываютъ.

— Ничего! Мы свое дѣло справимъ съ Ѳедоромъ Иванычемъ. Ѳедоръ Иванычъ держитъ ея руку... У тѣхъ господъ ду́ши, можетъ, еще ду́ши-то голыя: у Ѳедора Иваныча деньги...

— Ну, нѣтъ, братъ, у твово Карякина руки коротки съ ними мѣриться! Ему и въ дѣло входить не́ изъ чего... Станетъ онъ, какъ же, станетъ сорить деньгами для Ивановой!

— То-то и есть, что станетъ. У меня спроси: все знаю...

— Что̀ спрашивать! я и самъ не поньче пришелъ... А хошь и вступится, все ничего не возьметъ, подхватилъ Софронъ: — у тѣхъ господъ денегъ-то еще больше; ужъ это потому одному видно, какъ они наградили крестьянина, котораго сюда выселили; сказываютъ: четыре сотни дали...

Извѣстіе это, сверхъ всякаго ожиданія, не произвело ни малѣйшаго дѣйствія на Филиппа; онъ только-что успѣлъ побывать у Лапши, вывѣдалъ всѣ дѣла его и зналъ, что слова Софрона ни на чемъ не основывались. Егоръ подтвердилъ такое мнѣніе: услышавъ о четырехстахъ рубляхъ переселенцевъ, онъ допилъ второй стаканъ и залился звонкимъ смѣхомъ... Онъ объявилъ Софрону, что знаетъ дѣла переселенцевъ такъ же вѣрно, какъ карякинскія дѣла. У переселенцевъ не только четырехсотъ рублей, гроша нѣтъ.

— Вотъ какъ! подхватилъ онъ, подсмѣиваясь: — раза два письма имъ писалъ, просили очень, такъ даже гривенника не нашли... бились, бились, всего восемь копеекъ сколотили. Мнѣ, знамо, наплевать... я такъ съ нихъ, для смѣха требовалъ; не токма́ денегъ, хлѣбомъ и тѣмъ скучаютъ — вотъ ка̀къ господа наградили! Деньги, точно, были бы у нихъ, да только не черезъ господъ, а черезъ моего Ѳедора Иваныча, черезъ меня — все единственно...

— Ка̀къ такъ?

— А та̀къ! Меня послушаютъ, въ небольшомъ разстояніи капиталъ наживутъ... Есть, примѣрно, такая механика... подвести можно!... мигая, произнесъ Егоръ и налилъ третій стаканъ.

Филиппъ сдѣлался внимательнѣе.

— Вишь ты, братецъ ты мой, началъ Егоръ, у котораго языкъ развязывался съ каждымъ глоткомъ: — есть у этого мужика...

у той бабы, Катериной звать, есть у нихъ дочка, живетъ у Андрея въ Панфиловкѣ. Вотъ мы съ Ѳедоромъ Иванычемъ около ней теперь хлопочемъ: оченно, значитъ, ему полюбилась... Извѣстно, богачъ! всю можетъ озолотить, коли захочетъ; и мать и отца, всѣхъ озолотитъ... Да вотъ, поди жъ ты! то-то, значитъ, дура-то деревенская, счастья своего не видитъ...

— Что? не поддается?...

— Чего? крикнулъ Егоръ, прихлебывая: — нѣтъ, это, братъ, шутишь! не таковскихъ видали, да и тѣ не отвертывались... Отъ насъ не отвертишься! подхватилъ онъ, мигая и подбочениваясь: — не то, братецъ, не то. Дѣвка не прочь, да есть тутъ одинъ такой человѣчекъ... онъ причиной... дѣло все портитъ...

— Что жъ это за человѣкъ? спросилъ Софронъ, который потѣшался надъ горбуномъ.

— Такъ, сволочь самая, а туда же! куда мы, туда и онъ! Пришелъ, вишь ты, изъ ихнихъ мѣстъ, откуда дѣвка-то, парень такой, столяръ, сказываетъ... Провѣдай обо всѣхъ этихъ нашихъ дѣлахъ съ Ѳедоромъ Иванычемъ, возьми да и вступись: а та, дура, руку его держитъ... Да нѣтъ, это онъ вретъ, не удастся ему! Дай срокъ, дѣвка не отвертится, это само-собою... А онъ... подверни только, мы ему покажемъ, всѣ кости пересчитаемъ! подхватилъ горбунъ, разгорячаясь болѣе и болѣе: — мы ему покажемъ, какъ съ кулаками лазить!... Ужъ погоди! подсмолю такую механику, будешь, собака, помнить!...

Смѣхъ Софрона перебилъ его.

— Видно, братъ, ты не изъ-за дѣвки одной на него серчаешь?... сказалъ цѣловальникъ: — ужъ онъ не поколотилъ ли тебя — а?...

— Меня поколотилъ? меня? Нѣтъ, братъ, руки коротки; семь верстъ не доѣхалъ меня колотить-то!...

— Ужъ будто тебя никто и не бивалъ? А Карякинъ-то? Самъ намедни признался...

— Самъ признался... самъ признался! перебилъ горбунъ, передразнивая позу и голосъ Софрона, причемъ Стёпка закатился во все горло; за нимъ засмѣялись погонщики и Софронъ.

Егоръ оглянулъ всѣхъ ихъ шальными глазами, допилъ третій стаканъ и сѣлъ къ порожнему столу между погонщиками и Филиппомъ, лицо котораго, во все продолженіе послѣдняго разговора, то оживлялось, то дѣлалось мрачнымъ. Хмѣль сильно шумѣлъ въ

головѣ Егора; онъ помнилъ, однакожъ, все, что̀ сказано было цѣловальникомъ. Желая, вѣроятно, оправдаться въ мнѣніи присутствующихъ, онъ объявилъ, прежде всего, что Карякинъ бить его не можетъ, потому-что они пріятели; они часто борятся, такъ, въ шутку, силу пробуютъ: вотъ о чемъ говорилъ намедни Егоръ и что̀ дало поводъ Софрону думать, будто Карякинъ бьетъ его. Затѣмъ горбунъ, языкъ котораго начиналъ путаться, снова перешелъ къ дѣвушкѣ. По его мнѣнію, Маша ничего не стоила; на мѣстѣ Ѳедора Ивановича, онъ плюнулъ бы на нее послѣ первой неудачной попытки. Надо знать себѣ цѣну: Ѳедоръ Ивановичъ красавецъ, молодъ; нравомъ малый-душа, богатъ, какъ чортъ, всю семью ея озолотить можетъ; а онъ еще ломается! Она того не знаетъ, дура полоротая, не знаетъ она, каковъ есть такой человѣкъ Ѳедоръ Ивановичъ! Ужъ если кто понравится ему — надо быть первой въ свѣтѣ долбяжкой, чтобъ его не слушать. Недавно еще одной мѣщанкѣ, такъ изъ себя, даже не очень красивой, понравилась только — отсыпалъ цѣлую тысячу; прошлаго года цыганка полюбилась — въ три-четыре мѣсяца передавалъ ей тысячъ десять, да тысячъ на пять шалей платковъ, серегъ, колецъ...

Софронъ, неперестававшій сѣяться, выразилъ сомнѣніе въ цифрахъ, приводимыхъ горбуномъ; онъ зналъ, что все разсказанное Егоромъ, была отчасти правда, за исключеніемъ, впрочемъ, расходовъ, которые тотъ преувеличивалъ въ сорокъ разъ. Задѣтый за живое, Егоръ принялся по пальцамъ высчитывать доходы Ѳедора Ивановича. По словамъ его, Ѳедоръ Ивановичъ никогда не считаетъ денегъ: какъ только получитъ сумму, сейчасъ броситъ мѣшокъ, или бумажникъ, на столъ, позоветъ Егора и говоритъ: „считай, братъ; потомъ скажешь сколько.“ Щедрость Ѳедора Ивановича извѣстна цѣлому свѣту. Чтобъ окончательно убѣдить въ этомъ Софрона и присутствующихъ, Егоръ началъ разсказывать о гуляньяхъ и попойкахъ, которыя они задавали въ уѣздномъ городѣ: тамъ происходило разливанное море; нужна была Карякину дружба Егора, чтобъ не разориться въ пухъ и прахъ. Вотъ теперь Карякинъ получилъ за послѣдній гуртъ пятнадцать тысячъ; ихъ давно бы ужъ не было, всѣ бы разсорилъ, кабы не Егоръ: онъ удерживаетъ Ѳедора Ивановича, потому-что пятнадцать тысячъ деньги не малыя.

Софронъ, находившій удовольствіе раззодоривать охмѣлѣвшаго горбуна, выразилъ, снова сомнѣніе. Егоръ вызвался сосчитать

передъ нимъ деньги: коли копейкой выйдетъ меньше пятнадцати тысячъ, онъ позволялъ Софрону переломить ему здоровую ногу. Вслѣдствіе этого, Егоръ приглашалъ Софрона въ усадьбу, когда не будетъ Карякина, и обѣщался занять цѣловальника на столько, на сколько требуется времени, чтобъ сосчитать сотенными бумажками пятнадцать тысячъ. Войдти же во вторую комнату, гдѣ лежала шкатулка, взять ключъ, который находился въ ящикѣ письменнаго стола, отворить шкатулку — все это дѣло одной минуты...

— Ты этакъ, смотри, братъ, не очень разсказывай! перебилъ цѣловальникъ, смѣясь во все горло: — теперь всѣ, сколько насъ здѣсь ни есть, всѣ знаемъ, гдѣ деньги у Карякина: кому потребуется, пошелъ да и взялъ... дѣло подходящее! присовокупилъ онъ, какъ-бы нечаянно взглядывая на Филиппа, который поспѣшно отвелъ глаза къ окну.

Въ отвѣтъ на такое замѣчаніе Егоръ посмотрѣлъ на присутствующихъ, какъ-бы вызывая ихъ въ свидѣтели, что Софронъ былъ дуракъ неотесаный... Обокрасть Карякина! А развѣ Егора ни во что ставили? Онъ не отлучается изъ усадьбы. Развѣ ни во что ставили двухъ батраковъ, неотлучно находящихся при домѣ? А самъ Ѳедоръ Ивановичъ? а два пистолета, висящіе на стѣнѣ? а двѣ собаки, заплаченныя сто рублей каждая?... Сунься только — костей не соберешь! При этомъ Егоръ, ни съ того, ни съ сего, запѣлъ вдругъ пѣсню, потомъ заговорилъ о Машѣ, потомъ перешелъ къ столяру, разразился страшными проклятіями и угрозами, застучалъ кулаками по столу и вдругъ снова запѣлъ-было, но, не дотянувъ первой ноты, прислонился спиною къ стѣнѣ, сталъ жаловаться на головную боль, опустился на лавку и заснулъ, бормоча что-то подъ-носъ. Когда онъ проснулся, погонщики ужъ ушли; Филиппа и Стёпки не было; въ кабакѣ оставался одинъ Софронъ, который лежалъ на лавкѣ и хлопалъ сонными глазами. Онъ, какъ видно, потерялъ ужъ расположеніе смѣяться. На просьбу Егора, вынести стаканчикъ для похмѣлья, Софронъ промычалъ что-то и закрылъ глаза. Егоръ заикнулся о платкѣ, выставляя на видъ, что платокъ шелковый и, слѣдовательно, дороже стоитъ одного штофа вина; на это Софронъ сказалъ „ладно“ и погрозилъ свести счеты на спинѣ Егора въ случаѣ, если онъ не отстанетъ. Егоръ, сдѣлавшійся несравненно снисходительнѣе безъ посѣтителей, удалился.

Солнце стояло на самомъ полудни, когда онъ вышелъ изъ кабака. Платокъ, который, по мнѣнію его, попросту украденъ былъ

Софрономъ, мигомъ перенесъ его къ встрѣчѣ со столяромъ; при этомъ досада, чувствуемая противъ цѣловальника, выскочила изъ головы Егора, чтобъ уступить мѣсто соображеніямъ о механикѣ, которую придумалъ онъ утромъ послѣ того, какъ Иванъ поколотилъ его. Торопливое ковыляньe лѣвой ногой и улыбка ясно показывали, что горбунъ не сомнѣвался въ успѣхѣ своей выдумки. Пройдя шаговъ сто, онъ встрѣтился съ двумя погонщиками, которыхъ видѣлъ въ кабакѣ и которые гнали теперь воловъ, предназначенныхъ для отправки въ Москву. Егоръ подбоченился и гордо освѣдомился, дома ли Ѳедоръ Ивановичъ.

— Лошадь велѣлъ запрягать... ѣхать собирается, возразилъ одинъ изъ погонщиковъ, между-тѣмъ, какъ другой звонко посвистывалъ, подгоняя быковъ.

Егоръ пустился чуть не въ бѣжки. Десять минутъ спустя, онъ приближался уже къ усадьбѣ, которая находилась отъ кабака всего въ полуверстѣ. Она занимала десятину луга; все это мѣсто обнесено было небольшой канавой и валомъ; при входѣ въ усадьбу находился небольшой бревенчатый домъ, глядѣвшій переднимъ фасомъ на дорогу; немного далѣе, по одной линіи, помѣщались: экипажный сарай, конюшня и длинная мазанка, въ которой жили работники Карякина и останавливались погонщики, пригонявшіе скотъ; на противоположномъ концѣ усадьбы возвышалось долговязое бревенчатое зданіе, служившее складочнымъ мѣстомъ для кожъ, сала, воловьихъ роговъ и другихъ предметовъ въ этомъ же родѣ, которыми торговалъ отецъ Карякина. Собаки, о которыхъ упоминалъ Егоръ, помѣщались въ конурѣ, одна — при входѣ въ домъ, другая — подлѣ долговязаго амбара. Онѣ, надо думать, дѣйствительно были очень злы: не задерживай ихъ цѣпь, онѣ бросились бы даже на Егора, хотя онъ считался домашнимъ человѣкомъ. Егоръ прошелъ мимо лошади, которую запрягалъ батракъ въ бѣговыя дрожки, и вошелъ въ домъ заднимъ крыльцомъ. Ѳедоръ Ивановичъ совсѣмъ уже готовъ былъ, чтобъ ѣхать къ Анисьѣ Петровнѣ; онъ только-что напомадилъ волосы и вытиралъ жирные пальцы рукъ о старый халатъ, валявшійся на стулѣ.

— Что ты, каналья, такъ долго шлялся — а? спросилъ Карякинъ, не поворачиваясь къ горбуну и принимаясь расчесывать свои кудри передъ маленькимъ зеркальцемъ, стоявшимъ на столѣ.

Такое привѣтствіе со стороны пріятеля и „человѣка-души“, какъ называлъ его горбунъ, сильно ему не понравилось.

— Ну, Богъ съ вами! когда такъ, пускай все пропадаетъ! произнесъ онъ, махая рукою. — Для васъ хлопочу, какъ собака бѣгаю, языкъ высунувъ... Богъ съ вами!...

— Ну тебя! крикнулъ Карякинъ, топнувъ ногой, потому-что проборъ не удавался. — Гдѣ платокъ? Отдалъ? Что она сказала? примолвилъ онъ, ласково поглядывая въ зеркало.

— То-то платокъ... теперь: платокъ!... да вы послушайте...

— Ну? (Карякинъ обернулся.)

— Платокъ — фю! вотъ гдѣ платокъ! вымолвилъ Егоръ, дѣлая движеніе, какъ-будто разрываетъ что-то на тысячи кусковъ.

Онъ разсказалъ Карякину о встрѣчѣ своей съ Иваномъ, разсказалъ, кто былъ Иванъ, когда пришелъ въ Панфиловку, и какой имѣлъ интересъ вступиться за Машу.

— Какъ же онъ смѣлъ платокъ разорвать?...

— Такъ, взялъ да и разорвалъ! „Плевать, говоритъ, мнѣ на васъ!“

Ѳедоръ Ивановичъ разразился ругательствами; онъ поклялся измочалить арапникъ на плечахъ Ивана при первой съ нимъ встрѣчѣ.

— Ну, Ѳедоръ Иванычъ, теперь вотъ какая штука! вымолвилъ Егоръ, двигая бровями и подмигивая: — что вы скажете, коли да эта Маша будетъ здѣсь завтра же вечеромъ, а, можетъ, и утромъ — а?

— Ахъ ты, каналья! крикнулъ Карякинъ, думая, что Егоръ надъ нимъ потѣшается.

— Нѣтъ, вы позвольте, Ѳедоръ Иванычъ... позвольте: настоящее говорю... завтра будетъ! Такую ужъ механику подсмолилъ, Ѳедоръ Иванычъ! примолвилъ онъ съ комическимъ униженіемъ. — Ѳедоръ Иванычъ, прикажите дать опохмѣлиться...

— Ничего не дамъ! сказалъ Карякинъ, который былъ щедръ въ тѣхъ только случаяхъ, когда хмѣль шумѣлъ въ головѣ его; къ тому же онъ думалъ, что горбунъ хвастаетъ, вретъ по своему обыкновенію. Высказавъ ему свое мнѣніе, Ѳедоръ Иванычъ объявилъ, что водки давать не за что.

Егоръ клялся, между-тѣмъ, что сдержитъ свое обѣщаніе; онъ позволялъ бить себя три мѣсяца сряду, просилъ выгнать изъ усадьбы, если завтра Маша не пріѣдетъ къ Карякину. Онъ просилъ только предоставить ему это дѣло и не разспрашивать о средствахъ.

— Ну, хорошо! сказалъ Карякинъ:—будетъ по-твдему, каждый день по графину водки и десять цлковыхъ награжденья.

— Ладно! по рукамъ! крикнулъ Егоръ, протягивая руку, которую Карякинъ оттолкнулъ.

Онъ повторилъ свое общаніе; но такъ-какъ Егоръ снова присталъ съ водкой, Карякинъ шлёпнулъ его по лбу ладонью, надлъ картузъ, вышелъ, посвистывая, на крыльцо, слъ на дрожки и, хлопая арапникомъ, полетлъ къ Анисьё Петровнё на хуторъ.

— Погоди жъ ты, поганый купчишка! дай срокъ... мы съ тобою за все сквитаемся! проговорилъ горбунъ, прищуриваясь на облако пыли, которое оставляли за собою карякинскія дрожки.

Онъ заложилъ волосы за уши, плотно надлъ картузъ и направился въ луга, въ ту сторону, гдё находилась мазанка переселенцевъ.

VI.

Выходка Ивана и выдумка Егора.

Какъ только у Ивана отошло сердце (что произошло прежде еще, чмъ прибитый имъ горбунъ усплъ скрыться изъ вида), онъ понялъ, какъ поступилъ глупо и необдуманно, давъ волю кулакамъ своимъ. Не лучше ли было бы оставаться въ сторонё и вполнё довриться Машё? Онъ, конечно, проучилъ горбуна: горбунъ не станетъ теперь бгать за двушкой; но такъ-какъ Маша не потакала Егору, не слушала его рчей, не принимала подарковъ, онъ мало-по-малу самъ бы отсталъ; за нимъ отсталъ бы наконецъ и Карякинъ. Оба увидли бы, что здсь взятки гладки. Заступничествомъ своимъ Иванъ дастъ только огласку; о ней теперь пройдетъ худая слава по всему околодку — ужъ это врно; Егоръ сильно объ этомъ постарается. Пожалуй, еще слухи дойдутъ до Катерины... Этотъ Егорка плутъ первой руки, всё говорятъ: отъ него все станется... Онъ и безъ того наканунё грозилъ чмъ-то двушкё: что значили эти угрозы?

Иванъ легъ въ траву и положилъ голову въ ладони. Но чмъ больше соображалъ онъ обо всемъ случившемся, чмъ больше обдумывалъ послдствія, тмъ яснёе видлъ, какую сдлалъ оплош-

ность. „То-то вотъ, давно слѣдовало бы послушать Катерину, давно слѣдовало бы опредѣлиться къ работѣ, къ мѣсту: ничего бы этого не было. Одно изъ двухъ: или довѣрять Машѣ, или нѣтъ; если довѣряешь, такъ чего же еще тутъ вступаться?... Эхъ, худо дѣло! хуже всего то, не знаешь теперь, какъ исправить!“ повторялъ Иванъ, которымъ съ каждой минутой сильнѣй и сильнѣй овладѣвало смущеніе и безпокойство.

Онъ думалъ, думалъ, и наконецъ придумалъ открыться во всемъ племянницѣ Анисьи Петровны. Племянница разскажетъ тёткѣ о продѣлкахъ Карякина; тётка, вѣрно, разсердится на Машу и выгонитъ ее вонъ изъ хутора; Маша вернется къ матери... Иванъ отправится въ луга, повинится во всемъ предъ Катериной, уйдетъ въ тотъ же день въ городъ и начнетъ работать какъ лошадь. Иванъ не сомнѣвался, что помощь, которую можетъ получить черезъ него семейство Лапши, будетъ гораздо значительнѣе той, которую доставляла Маша, живя батрачкой; семейство не останется, слѣдовательно, въ накладѣ — за это онъ ручался; кромѣ того, сама Катерина скажетъ ему спасибо, когда узнаетъ причину, которая вынудила его прибѣгнуть къ племянницѣ Анисьи Петровны. Этимъ способомъ Карякину и Егору окончательно отрѣзаны будутъ всѣ пути къ заманиванію дѣвушки. Поди-ка попробуй, суньси въ мазанку Катерины! Рѣшившись на такой подвигъ, Иванъ, немедля ни минуты, отправился въ Панфиловку. Дорогой онъ принялся обсуживать, какъ бы удобнѣе привести въ дѣйствіе свое намѣреніе: для того необходимо было проникнуть на барскій дворъ, или въ садъ, выждать тамъ барышню и наединѣ переговорить съ нею... Все это тотчасъ же оказалось невозможнымъ: Пьяшка портила все дѣло.

— Ужъ отъ нея не уйдешь!... ничѣмъ не отдѣлаешься, подумалъ Иванъ.

Надо замѣтить, что въ послѣднее время Пьяшка преслѣдовала столяра съ бо̀льшею еще настойчивостью, чѣмъ Егоръ преслѣдовалъ Машу. Егоръ ловилъ Машу, Пьяшка ловила Ивана. Стоило Ивану показаться подлѣ дома помѣщицы, Пьяшка выростала предъ нимъ какъ изъ травы. Преслѣдованія Пьяшки, по всему видно, не были, однакожъ, внушаемы чувствомъ ненависти: черные, маслистые глазки ея ласково устремлялись на молодаго столяра; при встрѣчахъ съ нимъ, въ рукахъ ея всегда появлялись обломокъ лепёшки, кусокъ пирога, огурецъ, или яйцо; вступая въ разговоръ съ молодымъ парнемъ, она какъ-бы нечаянно совала

ему въ руку эти припасы. Предчувствіе не обмануло Ивана: едва поровнялся онъ съ маленькимъ флигелькомъ помѣщицы, Пьяшка показалась на порогѣ. Она держала обѣими руками суповую чашку; къ подолу ея цѣплялся семилѣтній оборванный мальчикъ, о которомъ она никогда не упоминала; мальчикъ поражалъ, однакожъ, сходствомъ съ Пьяшкой. Увидѣвъ Ивана, она тотчасъ же остановилась и принялась покручивать головой, украшенной на затылкѣ пучкомъ волосъ величиною съ грецкій орѣхъ. Отступить было поздно; Иванъ подошелъ къ ней и поздоровался.

— Здравствуй, Ваня, здравствуй... заговорила Пьяшка, толкая ногой мальчика, который такъ дергалъ ее за подолъ, что супъ въ мискѣ началъ плескаться: — куда это ты шелъ, Ваня? примолвила она, поглядывая на парня радостными, свѣтящимися глазками.

— Такъ... мимо шелъ.

— Что жъ это ты, Ваня, никогда не зайдешь покалякать? Обѣщалъ, а не зайдешь... Приходи нонъче вечеромъ, какъ скотину пригонятъ. У насъ никого нѣтъ, одинъ Дронъ... да тотъ ничего... почитай глухой совсѣмъ.

— Недосугъ... право недосугъ... Есть... есть одно такое дѣло... переминаясь, произнесъ Иванъ.

— А что такое? что такое? какое такое дѣло? проговорила Пьяшка съ такимъ оживленіемъ, что супъ снова расплескался.

— Пьяшка! Пьяшка!... раздался въ эту минуту изъ дома гнусливый голосъ Анисьи Петровны.

— Сейчасъ сѣли обѣдать... сказала Пьяшка. Ты, Ваня, погоди... голубчикъ, погоди!... постой здѣсь; я мигомъ прійду...

Пьяшка быстро перенесла миску въ лѣвую руку, правой рукой дала три проворные плеска мальчику и, освободившись отъ него такимъ образомъ, поспѣшила въ домъ. Черезъ минуту Пьяшка снова вернулась.

— О чемъ же это хотѣлъ ты сказать, Ваня?... Скорѣй говори, голубчикъ... Вишь требуютъ то-и-дѣло...

Ваня почувствовалъ въ то же время въ рукѣ прикосновеніе чего-то холоднаго; онъ посмотрѣлъ и увидѣлъ огурецъ, который, какъ-будто самъ собою попалъ ему въ ладонь.

— Куды мнѣ его? Мнѣ этого не надо, проговорилъ онъ.

— Ничего, Ваня, возьми, возьми; намъ это наплевать! Ну, такъ что жъ? говори скорѣй, голубчикъ...

— Да ты сдѣлаешь ли, о чемъ я попрошу?

— Скажи только, произнесла Пьяшка, быстро оглядываясь во всѣ стороны безъ всякой видимой причины: — скажи: для тебя я все, Ваня, сдѣлаю... Что́ скажешь, то́ и сдѣлаю, примолвила она съ такимъ взглядомъ, который не оставлялъ сомнѣнія въ ея готовности исполнить просьбу молодаго парня.

— Ты не скажешь, о чемъ я попрошу тебя? Побожись.

— Отсохни руки и ноги... провалиться мнѣ стамши... лопни мои глаза...

— Пьяшка! Пьяшка!... заголосила опять изъ дому Анисья Петровна.

— Ишь ее, неугомонная какая! Ты, Ваня, погоди... касатикъ, погоди! произнесла Пьяшка почти съ умоляющимъ видомъ:— я сейчасъ... И она стрѣлою понеслась въ домъ.

Ваня повертѣлъ огурцомъ и подалъ его оборванному мальчику, который тотчасъ же взялъ, откусилъ половину и, прикрикивая, побѣжалъ на улицу.

— Фу, батюшки, совсѣмъ затормошили! фу! проговорила Пьяшка, подскакивая къ столяру. — Ты, Ваня, не сумлѣвайся, сказала: сдѣлаю — стало, сдѣлаю... ну...

— Вотъ что́... Палагеюшка... проговорилъ Иванъ, запинаясь:— какъ бы такъ... сдѣлать?... надо бы мнѣ съ барышней повидаться...

Пьяшка, очевидно, не ожидала такой просьбы: маленькіе глазки ея расширились; лицо изобразило удивленіе.

— Барышню?... Зачѣмъ тебѣ барышню?

— Такъ... дѣло есть одно... до нея касающееся... дѣло такое.

— Что́ жъ? что́?

— Я тебѣ все разскажу потомъ... теперь, вишь, не время!... все разскажу... ты только вызови ее...

— А барыня-то?

— Знамо, одну барышню надобно. Вызови ее въ садъ... тамъ, подлѣ пруда, есть мѣсто такое... никто не увидитъ!...

— Зачѣмъ тебѣ?... зачѣмъ?...

— Случай такой вышелъ... все разскажу, только не теперь; вызови ее, Палагеюшка, сдѣлай милость!...

— Ну, хорошо, проговорила Пьяшка, подпрыгивая отъ нетерпѣнія. — Стой тамъ у пруда, я приведу, какъ пообѣдаютъ... Провалъ бы тебя взялъ, право! совсѣмъ замучили!.

Послѣднія слова относились, кажется, къ Анисьѣ Петровнѣ, голосъ которой снова раздался въ домѣ. На этотъ разъ Иванъ не дожидался уже возвращенія Пьяшки: онъ поспѣшилъ пройдти стороною мимо двора, миновалъ гумно и, придерживаясь къ плетню, обогнулъ дальнюю часть сада; подойдя къ пруду, оглянулся онъ на стороны, улучилъ минуту и перемахнулъ черезъ плетень. Садъ былъ такъ густъ, что, глядя въ него изъ дома, не было возможности видѣть, что происходило въ десяти шагахъ. Мѣсто, выбранное Иваномъ, приходилось уже къ концу сада: оно было совершенно безопасно. Иванъ притаился въ кусты малины и сталъ дожидаться.

Часъ спустя послѣ того, какъ Пьяшка разсталась съ Иваномъ, на крылечкѣ барскаго домика показалась Наташа. Полное, свѣжее лицо ея дышало оживленьемъ; грудь волновалась; свѣтлые глаза съ любопытствомъ устремлялись къ саду. При всемъ томъ, идя по двору, она замѣтно задерживала шагъ; глядя на нея изъ дома, могло казаться, что она такъ-себѣ ходитъ по двору и сама еще не знаетъ, идти ей въ садъ или на гумно. Но Пьяшка, сопровождавшая Наташу, сильно ее выдавала: Пьяшку съ ногъ до головы подергивало отъ нетерпѣнья; она то-и-дѣло подталкивала барышню подъ локоть и такъ выразительно кивала ей на калитку сада, что самъ полуслѣпой Дронъ (единственное мужское лицо въ дворнѣ Ивановой) могъ бы заподозрить и барышню, и Пьяшку въ какомъ-нибудь заговорѣ.

— Пьяшка, я, право, боюсь... проговорила Наташа.

— Вотъ! чего бояться? Идите знайте, идите...

— Да ты мнѣ скажи только, кто тамъ? кто дожидается?

— Ничего не скажу... идите только — сами увидите!... Поскорѣй завертывайте теперь въ калитку... скорѣй! теперь никто не смотритъ.

— Пьяшка! Пьяшка! неожиданно прокричала Анисья Петровна, высовываясь изъ окна. Въ эту минуту Пьяшкѣ легче бы, кажется, было получить ударъ палкой; скрыться, или показать видъ, что не слышитъ, не предстояло возможности: Анисья Петровна стояла въ окнѣ; Пьяшка сдѣлала отчаянный жестъ и поплелась къ крыльцу.

Наташа отворила калитку и вошла въ садъ. Она подвигалась еще медленнѣе, хотя тётка не могла теперь ее видѣть. Наташа далеко не была нѣжной, нервозной дѣвушкой, способной обмирать

отъ впечатлѣній, подобныхъ тому, котораго ожидала; но впечатлѣніе было для нея ново, и ею невольно овладѣвали робость и смущеніе. Она шла опустивъ глаза въ землю; въ походкѣ ея проглядывала умышленная вялость и сонливость: ей, очевидно, показать хотѣлось, что она ничего не подозрѣваетъ, а идетъ къ пруду, потому-что ей такъ вздумалось. Шорохъ въ кустахъ заставилъ ее приподнять голову. Увидавъ Ивана, она раскрыла удивленные глаза и отступила: видно было, она ожидала встрѣтить совсѣмъ не столяра; въ первую минуту она даже нѣсколько испугалась, но улыбка на лицѣ парня ободрила ее.

— Что ты? спросила она.

— Такъ-и-такъ... къ вашей милости, проговорилъ Иванъ, покашливая въ руку.

Онъ казался еще болѣе смущеннымъ и испуганнымъ, чѣмъ сама барышня.

— Такъ-и-такъ, сударыня... сдѣлайте вашу милость... заступитесь! повторилъ Иванъ, низко кланяясь и ободряя себя новымъ кашлемъ.

— Чего тебѣ? Если можно, я рада сдѣлать.

— Можете, сударыня! все это въ вашей власти! Затѣмъ собственно васъ и утруждаемъ...

— Ну, чего тебѣ? произнесла Наташа, выказывая нетерпѣніе обманутаго чувства.

— Вамъ извѣстно, сударыня, сюда, въ лугъ, крестьянъ недавно переселили.

— Да, знаю...

— Такъ вотъ у той бабы... Катериной звать... дочка находится... живетъ она въ батрачкахъ у вашего мужичка Андрея...

— Знаю... хорошенькая такая...

— То-есть... гм!... не то, чтобъ... гм! какъ вамъ, впрочемъ, будетъ угодно... Такъ-и-такъ, сударыня, сдѣлайте вашу милость, заступитесь...

— Да въ чемъ же заступиться? Я, право, не понимаю...

— Очень, то-есть, обижены... сродственники, то есть, дѣвушки этой... очень обижаются. Я изъ ихнихъ же мѣстъ, такъ они мнѣ все это, примѣрно, сказывали: очень, говорятъ, обижены Карáкинымъ...

— Ѳедоромъ Иванычемъ? съ живостью спросила Наташа.

— Ѳедоромъ Иванычемъ, сударыня... Сдѣлайте такую Боже-

скую милость, запретите... вамъ стóитъ сказать ему—онъ все это сейчасъ, то-есть, для васъ оставитъ.

— Да что жъ сказать-то?

— Да что, сударыня, проходу не даетъ дѣвкѣ! Обольщаетъ ее всякими манерами... подсылаетъ къ ней этого Егора горбатаго... то-есть такія дѣла...

— Лжешь! быть не можетъ! Ѳедоръ Иванычъ не сдѣлаетъ этого! воскликнула дѣвушка.

Она тщетно старалась скрыть свое волненіе; щеки ея пылали; въ мягкихъ, добрыхъ глазахъ блеснула искра негодованія; но глаза ея такъ же скоро потухли и помутились, когда Иванъ началъ клясться, что все сказанное имъ была совершенная правда.

— Помилуйте, сударыня! Осмѣлился ли бы я говорить вамъ, коли бы не такъ было? подхватилъ онъ, слѣдуя за барышней, быстрыми шагами направлявшейся къ забору, чрезъ который перелѣзъ Иванъ:—сдѣлайте такую Божескую милость, поговорите ему: онъ васъ послушаетъ...

— Хорошо, хорошо; ступай! глухимъ голосомъ проговорила Наташа, остановливаясь у плетня и не поворачивая головы.

Въ это самое время съ двора послышалось дребезжанье экипажа и топотъ лошади. Почти въ ту же минуту изъ дому раздался голосъ Анисьи Петровны:

— Наташа, гдѣ ты? Наташа! Ѳедоръ Иванычъ пріѣхалъ.

При этомъ извѣстіи Иванъ бросился въ кусты и побѣжалъ вонъ изъ сада. Наташа припала головою къ плетню и зарыдала. Такъ прошло минутъ десять. По прошествіи этого срока, неподалеку онъ мѣста, гдѣ стояла дѣвушка, показался Ѳедоръ Ивановичъ.

— Наталья Васильевна, гдѣ вы? Наталья Васильевна! покрикивалъ онъ, озираясь на стороны.

Наташа поспѣшила отереть слезы; она сдѣлала шагъ, чтобъ скрыться въ кустахъ, но Карякинъ замѣтилъ ее; она успѣла только отвернуться.

— Здравствуйте, Наталья Васильевна... вымолвилъ онъ, ускоряя шагъ и охорашиваясь: — но, что это съ вами? примолвилъ онъ, удивленный такимъ привѣтствіемъ.

Вмѣсто отвѣта, Наташа повернулась спиною и пошла впередъ.

— Позвольте узнать, какая такая причина? говорилъ онъ,

слѣдуя за нею:—мы прежде не такъ встрѣчались... Сдѣлайте ваше одолженье, скажите, Наталья Васильевна!

Наташа продолжала идти. Карякинъ оглянулся назадъ: подлѣ никого не было; онъ взялъ ее за руку—она съ сердцемъ отдернула локоть и остановилась.

— Оставьте меня! какъ вы смѣете? проговорила она, не поворачивая головы.

— Что жъ это все значитъ-съ?...

— Значитъ то: отстаньте! я васъ знать не хочу!

— Помилуйте, за что жъ? промолвилъ онъ, все еще какъ-бы пошучивая.

— Я съ вами говорить даже не хочу—понимаете? произнесла она, на секунду поворачиваясь къ нему и показывая раскраснѣвшееся, заплаканное лицо: — отстаньте, убирайтесь—вотъ и все!...

— Какъ я васъ долженъ понимать?

— Понимайте, какъ знаете — мнѣ все равно! возразила она и снова пошла впередъ ускореннымъ шагомъ.

— Какъ вамъ будетъ угодно-съ! произнесъ Ѳедоръ Ивановичъ обиженнымъ тономъ. Онъ пересталъ за нею слѣдовать, пощипалъ свои усики и направился къ дому.

— Когда такъ, такъ и не надо! Мы вѣдь очень гоняться-то не станемъ... Но что за причина? Умирала обо мнѣ, а теперь... что за причина? повторялъ Карякинъ вплоть до той минуты, какъ вошелъ въ домъ.

Онъ встрѣтился съ тёткой въ дверяхъ прихожей. Анисью Петровну начинала тревожить мысль, что Карякинъ и племянница находятся наединѣ въ саду. Хотя Наташа не подавала повода дѣлать о ней дурныхъ предположеній, хотя тётка увѣрена была въ ея нравственности, но Анисья Петровна, какъ ужъ сказано, смотрѣла на дѣвушекъ своимъ особеннымъ взглядомъ: ее до смерти пугала полнота и дородство Наташи... Она ужъ послала Пьяшку отыскивать молодыхъ людей и сама готовилась за нею слѣдовать, когда показался Карякинъ.

— Ну, а Наташа-то гдѣ? развѣ ты не нашелъ ее? спросила она.

— Какже-съ! нашелъ! Онѣ въ саду-съ прогуливаются... Я пришелъ проститься съ вами, Анисья Петровна, отвѣтилъ онъ съ особеннымъ удареніемъ.

— Какъ проститься? Что это ты, батюшка? только пріѣхалъ, да ужъ и прощаться!

— Я всегда съ моимъ великимъ удовольствіемъ, Анисья Петровна — вы сами знаете... но, воля ваша, оставаться теперь не могу-съ... никакимъ, то-есть, манеромъ.

— Это почему?

— Не знаю, что такое случилось съ вашей племянницей... она прогнала меня чуть не въ зашеи... обошлась самымъ дерзкимъ манеромъ-съ.

— Ахъ, она дура этакая! воскликнула старуха, мгновенно вспѣниваясь: — ахъ она... Нѣтъ, погоди, Ѳедоръ Иванычъ...

— Нѣтъ, воля ваша, мнѣ послѣ этого оставаться ужъ не приходится-съ...

— Да что жъ это она, съ ума, что ли, спятила? заплескалась Анисья Петровна и, поправивъ чепчикъ, дѣлавшій ее похожею на сѣдаго обстриженнаго солдата, подбѣжала къ окну и стала звать племянницу.

Карякинъ воспользовался этимъ случаемъ и быстро исчезъ. Чѣмъ больше кричала Анисья Петровна, тѣмъ больше, казалось, могучее горло ея прочищалось и голосъ получалъ силы; но такъ-какъ это не помогло, потому-что Наташа все-таки не являлась, тётка спустилась съ крылечка и направилась въ садъ, пыхтя и пѣнясь. На поворотѣ къ малиннику, увидѣла она племянницу: Наташа стояла у плетня и горько плакала. Но въ первую минуту горячности Анисья Петровна обыкновенно ничего не разбирала, ничего не видѣла: ей надобно было всегда хорошенько выплескаться прежде, чѣмъ прійдти въ себя.

— Ахъ, ты дурища ты этакая! съ ума, что ли, ты сошла? закричала она, накидываясь на дѣвушку: — кого это ты, мать моя, гонять-то вздумала, изъ чужаго-то дома — а? Да я сама тебя выгоню! Ахъ ты, осина ты этакая глупая... тварь неблагодарная! Я бьюсь, какъ окаянная какая-нибудь, за добраго человѣка, все для нея же, а она гонять его вздумала! Мало, что ли, стоитъ онъ мнѣ? Одного чаю да сахару что пошло! сѣна да овса лошади его сколько отпустила!... Ты, что ли, отдала мнѣ? Все для нея хлопочу! Отцы вы мои! Думала, вотъ человѣкъ пріискался, женихъ хорошій...

— Я за него не пойду, тётенька, хоть убейте, не пойду! рыдая, перебила Наташа.

Слова племянницы окончательно ошеломили старуху; она нѣсколько разъ раскрывала ротъ, какъ-бы задыхаясь, и не могла произнести слова.

— Какъ! замужъ не пойдешь?... Ахъ вы, отцы мои! Да она и то никакъ рехнулась! Сама съ нимъ амурилась, меня даже въ страхъ вводила, а теперь „не пойду“? Нѣтъ, мать моя, пойдешь! пойдешь! Не вѣкъ мнѣ съ тобой возиться... Какого тебѣ еще надо—а? Да сама-то ты что? Только въ платьѣ-то ходишь, а мать-то была однодворчиха... Ахъ ты, неразумная ты этакая!... Ахъ ты...

Анисья Петровна уставила кулаки въ бока и остановилась.

— О чемъ же ты ревешь, глупая? ревешь о чемъ? спросила она, какъ-бы внезапно смягчаясь.

Наташа слова не могла выговорить: рыданія заглушали ея голосъ.

— Да, можетъ, онъ что-нибудь сдѣлалъ? пристала Анисья Петровна: — ты говори мнѣ, все сказывай!

— Онъ, тётенька... онъ самый дурной человѣкъ... я ни за что не пойду, лучше въ монастырь запрусь... проговорила, всхлипывая, Наташа.

— Да что жъ онъ сдѣлалъ-то такое—а? что онъ сдѣлалъ? Я и ему потачки не дамъ! Ѣздилъ, ѣздилъ въ домъ, закружилъ дѣвкѣ голову, а теперь бы такъ взялъ да уѣхалъ? Нѣтъ, это онъ вретъ! Ужъ не думаетъ ли онъ на попятный? произнесла старуха, какъ-бы разсуждая сама съ собою. — Ахъ вы отцы мои! да попробуй онъ только! Ахъ, онъ мошенникъ! подхватила она, закипая снова, но ужъ теперь перенося негодованіе свое на Карякина.— Ахъ, онъ поганецъ! Нѣтъ, мы еще поглядимъ, какъ онъ ѣздить-то не станетъ!... Онъ самъ намекалъ, жениться, вишь, хочетъ!... Отцу даже, говоритъ, написалъ объ этомъ! Что жъ онъ думаетъ, суда на него нѣту? Ахъ, онъ разбойникъ! ахъ, онъ поганецъ!... Да я сейчасъ сама къ нему поѣду, сейчасъ... Ахъ, ты мать моя!...

Наташа бросилась умолять тётку, чтобъ она ничего не дѣлала, просила дать ей нѣсколько успокоиться и обѣщала ей обо всемъ разсказать. Тётка мало-по-малу простыла, взяла племянницу и повела въ домъ.

Въ то время, какъ садъ Анисьи Петровны, этотъ скромный уголъ, гдѣ, въ продолженіе тридцати лѣтъ, тишина нарушалась только пѣніемъ соловьевъ, криками иволги и пискомъ ссорившихся воробьевъ, дѣлался свидѣтелемъ таинственныхъ переговоровъ, слезъ

и волненій, въ ригѣ Андрея, другомъ, неменѣе мирномъ углу Панфиловки, раздавались крики, проклятія, лились горькія слезы и произносились рѣчи, которыя вчужѣ тяжко было слушать. Все это, какъ гроза, пронеслось надъ владѣніями Андрея. Когда, послѣ бѣгства изъ сада, Иванъ подошелъ къ ригѣ съ цѣлью выждать Машу и предупредить ее о бесѣдѣ своей съ барышней, тамъ слѣда уже не оставалось отъ всего случившагося. Ворота риги были настежь растворены; Иванъ увидѣлъ Андрея и Прасковью, которые раскладывали на токъ снопы овса и собирались молотить; Иванъ удивлялся, что Маши не было съ ними. Онъ вошелъ и поздоровался.

— Откуда ты, Иванушка? спросили въ одинъ голосъ мужъ и жена.

— Такъ... на лугъ ходилъ, возразилъ Иванъ, переминаясь.

— Въ какую сторону?

Иванъ неопредѣленно указалъ рукою, но въ тотъ край, однакожъ, гдѣ находилась мазанка.

— Не встрѣчалъ Катерины?

— Нѣтъ; а что?...

— Маленько только не засталъ ее, сказалъ Андрей: — оно, можетъ, и лучше, что не засталъ ее, примолвилъ онъ: — Катерина сюда приходила...

— — Зачѣмъ?...

— То здѣсь было... не знаешь ужъ, какъ и сказать! произнесъ Андрей, переглядываясь съ женою.

— Да что жъ такое, дядя Андрей? Скажи... Ты знаешь, я имъ не чужой.. какъ сродственникъ имъ—все одинаково; скажи пожалуйста, проговорилъ столяръ, которымъ овладѣло вдругъ сильное безпокойство.

— Знаю, знаю; да дѣло-то такое... не знаемъ, право, какъ въ толкъ взять, началъ Андрей.—Прибѣжала къ намъ Катерина, схватила дочь, давай ее бить, колотить... „до смерти убью!“ кричитъ.

— Погоди, Андрей, перебила Прасковья, подходя къ Ивану, который улыбался, но тѣмъ неменѣе чувствовалъ, что ноги его подламываются, а сердце вздрагивало отъ невыносимаго волненія:— стою я, батюшка, дома, у печки, ничего такого не чаю... вдругъ входитъ ко мнѣ Катерина... смотрю: растерянная такая... лица нѣтъ... „Гдѣ дочь?“ говоритъ... А сама, такъ инда дрожитъ вся... „Что ты, молъ, говорю, Христосъ съ тобою!“ а оно все одно: „Гдѣ дочь? говоритъ, дочь гдѣ?“ — „Въ ригѣ, говорю, снопы уби-

раетъ.“ Она туда какъ кинется... Что̀, думаю, такое?... пошла за нею; слышу крикъ такой, гляжу, такъ дочь-то и таскаетъ по ригѣ... Я давай скорѣй мужа звать... Прибѣжали, унимаемъ — ничего не слушаетъ! Таскаетъ ее, бьетъ... „Совсѣмъ убью!“ говоритъ... Никакъ даже не отымешь дочь-то... даже страхъ взялъ.

— Что̀ такое, думаемъ: баба смирная, добрая такая, къ дѣтямъ горячая... что̀ съ ней?... перебилъ Андрей. — Пуще всего рѣчамъ ея подивились: гонитъ ее, слышь, дочь-то, гонитъ къ Карякину! Сама бьетъ, проклинаетъ, а къ Карякину гонитъ!... Мы и такъ и сякъ къ ней приступаемъ — нѣтъ, ничего не сдѣлаешь! Она все свое: „ступай къ Карякину!“ кричитъ, „не то убью до смерти!“

— Что жъ такое?... Что жъ такое?... проговорилъ столяръ, кидая вокругъ растерянные взгляды.

— Что̀ ты будешь дѣлать? Не уймешь никакъ! продолжала Прасковья: — добрѣ ужъ оченно дѣвку-то жаль... такъ, сердечная, по земи-то и катается!... А мать, какъ бѣшеная, такъ и рветъ ее... такъ и рветъ: кричитъ свое: „пошла къ Карякину! ходила къ нему, кричитъ; была его полюбовницей, опозорила мать и семью свою — ступай къ нему теперича!“ Видимъ, ополоумѣла баба совсѣмъ; насказалъ кто-нибудь!... Слава Богу, дѣвка живетъ у насъ шесть недѣль: было время узнать ее... Ничего такого за ней худаго не примѣчали; скромница дѣвка, одно слово сказать, что скромница... Да и ходить-то ей когда къ Карякину? Весь день на глазахъ у насъ; пошлешь куда, сами дивимся, какъ скоро она все это сдѣлаетъ... Мы опять приступили къ Катеринѣ; давай ее усовѣщевать да уговаривать... насилу въ толкъ взяла.

— То-то вотъ и есть, произнесъ Андрей, пожимая губами и покачивая головой: — не надо было пускать къ себѣ этого мошенника Егора. Я и прежде говорилъ о немъ Катеринѣ; онъ ко мнѣ николи не ходитъ... Отъ него ужъ не жди хорошаго!... Не знаю только, съ чего онъ все это дѣло надѣлалъ?... Потому больше, должно-быть, Маша завсегда прочь его гоняла, не слушала его... онъ взялъ да и сдѣлалъ...

— Что жъ онъ сдѣлалъ такое? спросилъ Иванъ такимъ голосомъ, какъ-будто въ горлѣ его колъ засѣлъ.

— А то сдѣлалъ, пришелъ ноньче въ обѣдъ къ Катеринѣ, да и говоритъ ей... Сама намъ подъ конецъ обо всемъ этомъ разсказала: „Маша“, говоритъ... такъ, къ примѣру, зачалъ стращать Катерину: „Маша, слышь ты, была у Карякина, а теперь засѣсивилась, идти больше не хочетъ... Такъ вотъ, Карякинъ-то добрѣ

осерчалъ на дѣвку; послалъ, слышь ты—это все Егоръ разсказываетъ—послалъ, слышь, его, Егора, къ Катеринѣ съ такими словами; „такъ-и-такъ, говоритъ, дочь твоя приходила ко мнѣ; чего ѣъ она, говоритъ, теперь спѣсивится? Теперь ужъ дѣла, говоритъ, не поправишь; такъ пускай ужъ лучше ко мнѣ ходитъ... Ты, говоритъ, заставь ее; покрайности, дѣло тогда промежь нами останется, никто объ этомъ не узнаетъ... А коли не заставишь, говоритъ, хуже будетъ: я, говоритъ, разславлю, по всей округѣ разславлю, кто у тебя дочь-то была...“ Та, какъ услыхала, сюда бѣжать, да, не разобравши-то дѣла, и давай дочь таскать.

— Гдѣ ѣъ Маша?... спросилъ Иванъ.

— Увела съ собою.

— Совсѣмъ?

— Нѣтъ, возразила Прасковья: — на три дня увела... Дѣвка ужъ добрѣ убивается очень, потому и взяла къ себѣ.

— Что ѣъ это такое, родные вы мои? что ѣъ это?... Гдѣ ѣъ правда-то?... воскликнулъ Иванъ, отчаянно махая руками:—гдѣ ѣъ это онъ!... я убью его!...

— Кого убьешь?

— Егора.

Надо думать, лицо Ивана, несмотря на улыбку, которая раскраивала его пополамъ отъ праваго уха до лѣваго, показалась Андрею и женѣ его несовсѣмъ благонадежнымъ. Оба подскочили къ столяру и схватили его за руки.

— Что ты, глупый? перекрестись лучше... сказалъ Андрей:— оставить надо все это дѣло.

— Да тебѣ-то что? Братъ ты, что ли, али сродственникъ?... проговорила Прасковья.

— А хошь бы и братъ былъ — все одно; коли разумъ въ головѣ есть, надо оставить!... Найдется и безъ тебя, кто проучитъ за всѣ лихія дѣла... Что ты? что ты? очнись! Не твое дѣло совсѣмъ... лучше молчи, да виду не подавай никакого...

Андрей и жена его долго уговаривали Ивана. Дѣйствіемъ ли разумныхъ рѣчей ихъ, или благодаря собственнымъ размышленіямъ и мягкости нрава, Иванъ мало-по-малу угомонился; онъ подъ-конецъ далъ даже клятву слова не сказать Егору, если случай приведетъ съ нимъ встрѣтиться. При всемъ томъ Андрей и жена его не пускали Ивана отъ себя во весь вечеръ и пригласили даже остаться у нихъ на ночь.

VII.

Филиппъ и Стёпка.

Въ эту ночь, часамъ къ одиннадцати, долженъ былъ показаться полный мѣсяцъ; но тучи такъ сгустились къ этому времени, что не было возможности замѣтить, какъ взошелъ онъ и какъ, потомъ, закатился. Ночь была очень черна: нельзя было различать даже тѣхъ предметовъ, которые возвышались въ степи надъ линіею горизонта; небо и степь были одинаково черны. Изрѣдка, въ той или другой сторонѣ вспыхивали отдаленныя молніи, или, вѣрнѣе, зарницы, потому-что за ними не слѣдовало громовыхъ ударовъ. Воздухъ былъ недвижимъ и душенъ. Малѣйшій звукъ слышался на далекомъ разстояніи. Но такъ-какъ на десять верстъ кругомъ находились всего три-четыре хуторка и одно небольшое село, то все ограничивалось лаемъ собакъ и стукомъ въ деревянныя караульныя доски. Разъ, далеко за Панфиловкой, прозвучалъ колоколъ; въ той сторонѣ располагалось село, куда жители окрестныхъ хуторовъ ходили къ обѣднѣ; но звуки колокола скоро замерли, и степь снова погрузилась въ непробудное молчаніе. Не было возможности опредѣлить съ точностью часа; но, принимая въ соображеніе давность заката, можно было думать, что было близко уже къ полуночи.

Около этого времени Филиппъ и Стёпка подходили къ дорогѣ, которая пролегала отъ знакомаго намъ кабака къ усадьбѣ Карякина. Они шли, впрочемъ, не отъ кабака, а съ противоположной стороны. Имъ оставалось версты полторы отъ усадьбы; дорога представляла самый кратчайшій и вмѣстѣ съ тѣмъ самый вѣрный путь; но они или не торопились, или, по разсчетамъ Филиппа, слѣдовало имъ избѣгать дороги: они шли степью; изрѣдка Филиппъ посылалъ Стёпку къ дорогѣ, чтобъ увѣриться, точно ли идутъ они по одному направленію съ нею. Чѣмъ ближе придвигались они къ усадьбѣ, тѣмъ болѣе голосъ того и другаго понижался. Если Стёпкѣ случалось засмѣяться, или пугнуть ночную птицу, которая близко пролетала, Филиппъ осыпалъ его бранью, или давалъ тумака; послѣднее, впрочемъ, случалось рѣдко: отецъ убѣдился, что тумаки подстрекали только мальчика дѣйствовать наперекоръ его приказаніямъ. Такое расположеніе мальчика къ противорѣчію вынудило подъ-конецъ отца совсѣмъ прекратить тумаки; планъ, задуманный

инъ, требовалъ, казалось, большой осторожности; онъ часто останавливался и прислушивался къ малѣйшему звуку. Разъ они дали огромный кругъ въ цѣлую версту, чтобъ избѣжать встрѣчи съ гуртомъ, который лежалъ на отдыхѣ подлѣ дороги. Пройдя еще нѣсколько времени, Филиппъ остановился и сталъ прислушиваться долѣе обыкновеннаго, хотя на этотъ разъ ни одинъ звукъ не нарушалъ молчанія степи. Онъ тихо подозвалъ Стёпку.

— Э! отозвался мальчикъ.

— Тише... дьяволъ! прошепталъ отецъ, оглядываясь вокругъ: — теперь близко... Ты рàзи не видалъ, какія тамъ собаки-то?... Можетъ, на ночь-то спущены: какъ разъ сцàпаютъ!... Заверни штаны повыше колѣнъ, а я пока лапти сыну, заключилъ Филиппъ, садясь на траву.

— Аль жаль лаптей-то? спросилъ мальчикъ, стоявшій уже съ засученными выше колѣнъ штанишками.

— Здѣсь бросить надо — вотъ что̀, возразилъ отецъ: — безъ нихъ легче... ноги не такъ шумятъ.

Стёпка ощупалъ грудь, которая сильно выпучивалась отъ чего-то засунутаго ему за пазуху и что̀ громко хрустѣло; послѣ этого онъ бросился на траву, перевернулся на спину и поднялъ кверху обѣ ноги.

— Тише... сатана! прошепталъ сквозь стиснутые зубы Филиппъ: — говорятъ, собаки услышатъ...

Стёпка вскочилъ на ноги и подошелъ къ отцу.

— Бàтя... ну, а какъ я не пойду съ тобою? произнесъ онъ такимъ голосомъ, какъ-будто хотѣлъ поддразнить его.

— Э! глупый... право глупый! возразилъ отецъ задобривающимъ голосомъ, хотя въ сердцѣ его кипѣло негодованіе и онъ радъ бы былъ, кажется, тутъ же на мѣстѣ уходить своего спутника.

— Ну, а что̀ дашь, коли пойду, коли все по-твòему сдѣлаю? спросилъ Стёпка.

— Вѣдь сказалъ, сапоги куплю, рубаху новую — красную, шапку... опричь того, денегъ дамъ — покупай, что̀ полюбится!

— Да денегъ-то, можетъ, еще не найдемъ... можетъ, горбунъ-то прихвасталъ.

— Рàзи я на его слова полагаюсь? Ты, стало, не слыхалъ, что цѣловальникъ-то сказывалъ?... „О себѣ, говоритъ, много нахвасталъ. а у купца у этого, говоритъ, точно денегъ множество.

Недавно гуртъ продалъ — всѣ деньги дома... и лежатъ, говорилъ, точно, гдѣ горбунъ указывалъ...“ стало-быть такъ...

— Да вѣдь вотъ онъ сказывалъ также, и у дяди Лапши денегъ-то много... намъ бы лучше туда сходить: тамъ не такъ опасливо... Я вѣдь про нихъ не теперича знаю все... подхватилъ Стёпка, снова какъ-бы поддразнивая отца.

Безцеремонность и безстрашіе, которое замѣтно было въ обращеніи Стёпки съ Филиппомъ, объяснялось тѣмъ, что мальчикъ посвященъ ужъ былъ во всѣ тайны отца. Это произошло совершенно случайно. Вскорѣ послѣ переселенія семейства Лапши изъ Мàрьинскаго, самая отчаянная крайность застигла Филиппа: нужно было или лѣзть въ опасность и подвергнуться быть пойманнымъ, или подавить въ себѣ злобу противъ Грачи́хи и къ ней отправиться. Онъ избралъ послѣднее. Филиппъ явился очень кстати; ворожба чернѣвской колдуньи какъ-то пріостановилась на это время: Грачи́ха пустила Филиппа; ей извѣстно было, что никто ловче его не уведетъ лошади, которую потомъ прійдутъ къ ней же отыскивать. Начались переговоры. Стёпка, какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ, отправленъ былъ въ сѣни. Но Стёпка подросъ; подросло также и его любопытство. Онъ отворилъ дверь съ такимъ искусствомъ, что ни Филиппъ, ни Грачи́ха этого не замѣтили: прокравшись къ перегородкѣ, мальчикъ услышалъ весь разговоръ: онъ узналъ прежде всего, что у него былъ дядя Лапша и тётка Катерина, которыхъ отецъ обкрадывалъ, стращая ихъ поджогами; узналъ, что сродственники эти отправлены господами въ степь; услышалъ, какъ отецъ, узнавъ, что Лапшѣ даны были деньги на переселеніе, тотчасъ же высказалъ желаніе послѣдовать за ними. Впродолженіе этой бесѣды, Филиппъ и Грачи́ха часто не сходились, ссорились. Благодаря упрекамъ и угрозамъ, которыми чернѣвская колдунья осыпала тогда Филиппа, Стёпка узналъ о многихъ продѣлкахъ отца. Но любопытство дорого стоило Стёпкѣ: онъ зазѣвался, попался отцу и чуть не поплатился ребрами, а можетъ, и жизнью; но онъ вышелъ невредимъ изъ-подъ отцовскихъ кулаковъ и пиньковъ Грачи́хи...

Стёпка какъ-будто предвидѣлъ, какъ-будто предчувствовалъ, какую выгоду принесетъ ему это подслушиванье. Съ того же самаго дня отецъ сдѣлался къ нему гораздо снисходительнѣе. Филиппъ начиналъ даже побаиваться сынишку: одна мысль, что этотъ ребенокъ, который бродитъ съ нимъ всюду, все знаетъ, все видитъ,

и который однимъ словомъ, однимъ крикомъ, однимъ неосторожнымъ поступкомъ или дѣйствіемъ каприза можетъ выдать его съ руками и ногами, склонила Филиппа къ снисхожденію; онъ иногда даже льстилъ ему и подлаживался всячески: другаго способа не было управляться съ пострѣломъ. Филиппъ начиналъ грозить — и Стёпка начиналъ грозить. Только лаской да потачкой — какъ ни тяжело было Филиппу, какъ ни кипѣло его сердце — но этимъ только можно было купить себѣ безопасность. Мы видѣли изъ приведеннаго выше обращика, какъ ловко пользовался Стёпка новымъ своимъ положеніемъ.

Снявъ лапти, Филиппъ засучилъ точно такъ же, какъ Стёпка, штаны выше колѣнъ.

— Ну, Стёпка, пойдемъ! ласково вымолвилъ онъ, припадая губами къ уху мальчика: — время!... смотри... тихо подбирайся!...

Онъ пощупалъ карманъ, туго чѣмъ-то набитый, далъ мальчику руку, и оба вышли на дорогу. Шагахъ въ двадцати чернѣлъ ужъ домъ Карякина. Притаивъ дыханіе, едва касаясь земли, Филиппъ и мальчикъ прошлись нѣсколько разъ взадъ и впередъ мимо дома. Но все — и домъ, и дворъ, и принадлежавшія имъ зданія, хранили мертвое молчаніе; можно было подумать, что на пространствѣ десяти верстъ кругомъ не находилось живаго существа.

— Ложись... теперь ползкомъ; сейчасъ канава будетъ, едва внятно шепнулъ Филиппъ.

Стёпка растянулся подлѣ отца, и оба поползли черезъ дорогу; немного погодя, руки ихъ нащупали край канавы. Канава была не глубока, но Стёпка могъ въ ней укрыться съ головою. Какъ ни бережно спускались они, но трескъ сухихъ стеблей на скатахъ и днѣ канавы тотчасъ же разбудилъ собаку. Шагахъ въ пятнадцати за валомъ раздалось неистовое бряцанье цѣпи и яростный лай.

— Ничего, привязана! шепнулъ Филиппъ.

Онъ быстро вытащилъ изъ кармана ломоть хлѣба, содралъ мякишъ и, помѣсивъ его между ладонями, сунулъ Стёпкѣ; потомъ съ тою же быстротою вынулъ кусокъ трута и спичку.

— Держи шапку; присядь къ землѣ... Надо скорѣй, пока не проснулись.

Въ сгущенномъ воздухѣ пронесся запахъ горящаго трута. Филиппъ взялъ изъ рукъ Стёпки приготовленный имъ мякишъ, положилъ трутъ, сдѣлалъ изъ мякиша подобіе маленькой гранаты

съ отверстіемъ, чтобъ не погасалъ въ ней зажженный трутъ, и подалъ этотъ снарядъ Стёпкѣ.

— Смотри, ловчѣе, не промахнись! Съ этими словами Филиппъ подсадилъ малаго, такъ-что голова его и руки пришлись выше вала.

Собака рвалась какъ бѣшеная; другая собака, у отдаленнаго долговязаго амбара, вторила ей дружно. Въ сторонѣ, гдѣ-то подъ навѣсомъ, послышался сонливый голосъ:

— Чего развозились!... цыцъ... вотъ я васъ!...

Филиппъ дернулъ Стёпку за ногу. Мальчикъ укрѣпился колѣнями къ землѣ, размахнулся и бросилъ за валъ снарядъ.

— Взяла, шепнулъ онъ, быстро скатываясь внизъ.

Собака перестала вдругъ лаять; слышалось только бряцанье цѣпи; потомъ она раза два взвизгнула и замолкла. Подруга ея, не слыша больше лая, тотчасъ же угомонилась.

— Ладно... одно дѣло справили, шепнулъ Филиппъ, выходя изъ канавы и вытаскивая Стёпку.

Онъ ощупалъ грудь мальчика, и убѣдившись, что пазуха его была плотно набита, далъ ему руку; оба пустились впередъ, придерживаясь края канавы. Достигнувъ мѣста, гдѣ канава дѣлала поворотъ вправо, они поспѣшно свернули за уголъ. Тутъ они остановились. Опять явился мякишъ; опять Стёпка присѣлъ къ землѣ съ шапкой и опять пронесся запахъ горящаго тлѣющаго трута. Оба проворно прыгнули въ канаву и стали подбираться къ амбару, черная профиль котораго едва примѣтно отдѣлялась на темномъ небѣ. Шагахъ въ двадцати отъ него, услышали они, какъ собака рванулась изъ конуры и залаяла.

— Съ этой легче будетъ справиться; она ближе къ валу... произнесъ Филиппъ: — ну! И онъ снова подсадилъ мальчика.

— Что? спросилъ онъ, слыша, что собака не унимается.

— Добрѣ вертится... промахнешься! возразилъ Стёпка.

— Валяй... ничего ну?...

— Сцапала! радостно отозвался Стёпка.

Лай дѣйствительно прекратился; его смѣнили чваканье, потомъ фырканье, потомъ раздалось протяжное жалобное стенанье, сопровождаемое звукомъ цѣпи, которую какъ-будто судорожно встряхивали на землѣ; наконецъ все смолкло, и цѣпь и собака.

Минуты три Филиппъ и его спутникъ не трогались ни однимъ членомъ и прислушивались; но кругомъ царствовала теперь такая

же непробудная тишина, какъ въ то время, когда они подходили къ усадьбѣ. Филиппъ снова подсадилъ мальчика на валъ, потомъ тамъ туда вскарабкался, и оба бережно стали подползать къ задней части амбара.

— Помнишь ли, Стёпка, какъ я тебѣ сказывалъ?... шепнулъ Филиппъ.

— Ну!...

— Какъ только всѣ къ амбару къ этому кинутся, я въ домъ, а ты стой вотъ у этого угла, что̀ сюда ближе... тутъ и притаись... Да мотри, не зѣвай: мало-мальски что̀ — духомъ ко мнѣ, сейчасъ дай знать!... Ты ничего не бойся: имъ не до насъ будетъ... Пуще всего не робѣй!...

Но предостереженіе это было, казалось, лишнее; ободряя мальчика, Филиппъ какъ-будто себя ободрялъ. Стёпка вовсе не нуждался въ подкрѣпленіи смѣлости: онъ и въ усъ не дулъ; его, повидимому, сильно даже занимали всѣ эти продѣлки; объ одномъ лишь очень сожалѣлъ мальчикъ: темнота ночи не позволила ему наблюдать, какъ снарядъ отца дѣйствовалъ на собакъ, какъ онѣ корчились и издыхали.

— Теперь не время объ этомъ разговаривать, молчи только, произнесъ Филиппъ, заглядывая подъ амбаръ, который возвышался на коротенькихъ столбахъ: — полѣзай туда... примолвилъ онъ, наклоняя мальчика.

Въ мгновенье ока Стёпка очутился подъ амбаромъ.

— Смотри, солому-то крѣпче въ уголъ запихивай...

— Не бось не вывалится!...

— Тсс... пострѣлъ... На̀ спички, бери...

Спичка чѝкнула; на секунду подполье амбара освѣтилось и, минуту спустя, дымъ повалилъ оттуда клубами. Но Филиппъ и Стёпка были уже на другой сторонѣ вала и стремглавъ полетѣли въ обратный путь. Шагахъ въ тридцати отъ входа въ домъ оба они бросились въ канаву и, присѣвъ въ траву, стали дожидаться...

Часть пятая.

I.

Неудавшееся преступленіе.

Если только читатель помнитъ Пьяшку, представительницу панфиловской дворни, онъ вѣрно не забылъ, что Пьяшка, въ послѣднемъ объясненіи съ Иваномъ, приглашала его прійдти вечеромъ покалякать. Таинственный разговоръ его съ барышней, неожиданный, скорый отъѣздъ Карякина, слезы Наташи — все это, какъ каждый догадается, сильнѣйшимъ образомъ возбуждало любопытство Пьяшки; тѣмъ нетерпѣливѣе ждала она Ивана, что тотъ обѣщалъ разсказать ей обо всемъ. Иванъ слова, однакожъ, не промолвилъ о томъ, что прійдетъ вечеромъ, но Пьяшка все равно ожидала его; въ нетерпѣніи своемъ, она считала невозможнымъ, несбыточнымъ, чтобъ Иванъ не вникнулъ въ ея положеніе и не поспѣшилъ ее успокоить. Но вотъ давно ужъ пригнали стадо, давно сѣло солнце, давно Анисья Петровна поужинала и легла спать — Иванъ все не являлся. Пьяшка каждую минуту выбѣгала на улицу, устремляла глаза во всѣ стороны, прислушивалась — все было тщетно. Шорохъ приближавшихся шаговъ не радовалъ ея слуха. Панфиловка, окутанная непроницаемою темнотою ночи, хранила глубокое молчаніе; но Пьяшка не теряла надежды. Ужъ полночь наступила, Пьяшка все еще стояла у флигелёчка, поглядывала на улицу и прислушивалась...

Нѣтъ сомнѣнія, она прождала бы до зари, если бъ не произошло слѣдующее обстоятельство: поднявъ глаза къ небу (вѣроятно, съ тѣмъ, чтобъ призвать его въ свидѣтели жестокости Ивана), Пьяшка увидѣла красноватое зарево; не успѣла она присмотрѣться, когда, верстахъ въ двухъ за Панфиловкой, сверкнуло пламя. Пьяшка остолбенѣла; но это продолжалось секунду; каждый ея суставчикъ, каждая жилка получили вдругъ прыткость необыкновенную; она выскочила на улицу, потомъ метнулась къ барскому дому, снова вернулась на улицу, прокричала нѣсколько разъ

сряду: „пожаръ! батюшки, пожаръ! касатики, пожаръ!“ и снова стрѣлою понеслась къ барскому дому.

Крикъ Пьяшки прежде всего услышалъ Иванъ; многосложныя происшествія дня наполняли его тревогой и не давали заснуть. Съ первымъ возгласомъ о пожарѣ, Иванъ выскочилъ изъ сѣнника Андрея и выбѣжалъ за ворота. Пламя было едва замѣтно; но зарево, которое быстро разгоралось и трепетно вздрагивало, служило несомнѣннымъ знакомъ, что огонь получалъ съ каждою секундою больше силы; съ той стороны слышался уже глухой, безпокойно-волнующій сердце шумъ, которымъ сопровождается пожаръ даже въ тихую погоду; съ противоположнаго конца степи понеслись вдругъ зачащенные удары колокола: то били набатъ въ приходскомъ селѣ. Иванъ кинулся будить Андрея. Въ одну минуту вся Панфиловка была на ногахъ; крики „пожаръ!“ раздавались теперь изъ конца въ конецъ улицы и увеличивали суматоху; ворота скрипѣли, калитки хлопали, испуганныя дѣти плакали; какая-то баба ударилась даже выть голосомъ; всѣ бѣжали къ барскому флигелёчку, откуда виднѣе было и пламя, и зарево.

— Ахъ, батюшки! ахъ, отцы мои! ахъ! да вѣдь это Ѳедоръ Иванычъ горитъ! неожиданно прозвучалъ голосъ Анисьи Петровны. Голосъ Пьяшки, которая сопровождала барыню, не переставалъ отчаянно кричать и звать на помощь, какъ-будто горѣли ея собственный подолъ и рубашка.

— И то, матушка, Ѳедоръ Иванычъ горитъ! Онъ, онъ! его усадьба! отозвалось нѣсколько голосовъ изъ толпы, стоявшей у флигелёчка.

Въ эту самую минуту на улицѣ явилась Анисья Петровна. Она въ чемъ спала, въ томъ и прибѣжала — надѣла только башмаки; но ночь была черна, и никто не могъ видѣть ея костюма.

— Ахъ вы, мошенники! ахъ вы, разбойники! воскликнула она, накидываясь съ поднятыми кулаками на мужиковъ и бабъ, глазѣвшихъ на пожаръ: — что жъ вы здѣсь стоите-то — а? Ахъ вы, окаянные! Я васъ! Скорѣй садись всѣ на лошадей! всѣ туда... Я васъ! Ахъ вы!...

— Тётенька, проговорила взволнованнымъ голосомъ Наташа, явившаяся почти въ то же время: — велите взять вёдра, багры, топоры...

— Вёдра берите... топоры, разбойники!... багры, мошенники!

подхватила, плескаясь и пѣнясь, помѣщица, преслѣдовавшая мужиковъ и бабъ, которыя спѣшили исполнить ея приказаніе.

Достигнувъ средины улицы, она наткнулась на мужика, который зазѣвался. Анисья Петровна замахнулась; оторопѣвшій мужикъ вывернулся, отскочилъ, и Пьяшка, вертѣвшаяся подлѣ, получила полновѣсную оплеуху. Но не время было разбирать праваго и виноватаго; помѣщица, сопровождаемая Наташей (Пьяшка отстала теперь и замолкла), пошла далѣе. У какой-то избы она услышала торопливый говоръ и топотъ выводимыхъ изъ воротъ лошадей.

— Кто это? спросила Анисья Петровна, останавливаясь, чтобъ перевести духъ.

— Я, сударыня, Андрей. Со мной еще Иванъ, столяръ. Ну, Ваня, живо садись на лошадь, подхватилъ Андрей: — вёдра взялъ? топоръ взялъ?... все взялъ?...

— Взялъ, дядя Андрей. Держи лошадь-то, авось поспѣемъ! суетливо проговорилъ Иванъ, гремя вёдрами.

— Ахъ вы, отцы мои! ахъ батюшки! воскликнула Анисья Петровна, поглядывая на зарево и всплескивая могучими своими ладонями: — да что жъ это вы? скоро ли, пострѣлы? внезапно подхватила она, устремляясь къ другимъ избамъ:—я васъ поразомну!... Вотъ вѣдь Андрей поспѣлъ: стало, и вамъ можно!... Ахъ ты, мать моя!... Наташа, посмотри-ка, какъ разгорается-то! Ужъ не подожгли ли—помилуй Богъ?... Андрей, Андрей! разспроси, отчего загорѣлось... спроси, отчего все это... заголосила она, снова направляясь къ мазанкѣ.

Но Андрей не могъ слышать порученія барыни: онъ скакалъ во весь духъ съ Иваномъ по направленію къ усадьбѣ Карякина.

Не спуская глазъ съ огня, который вспыхивалъ иногда такъ ярко, что освѣщалъ имъ дорогу, они прямо подскакали къ долговязому амбару. Пламя сосредоточивалось пока во внутренности зданія и пожирало товаръ, въ немъ заключавшійся; оно начинало, однакожъ, сильно бить изъ оконъ и, бѣгая какъ пороховой стопинъ по конопаткѣ, пробиралось къ кровлѣ. Карякинъ, два работника и Егоръ кричали и суетились безъ толку; послѣдній особенно изъ себя выходилъ: фистула его не переставала выкрикивать ругательства, которыя относились къ работникамъ, таскавшимъ вёдра съ водою. Егоръ предоставилъ себѣ распорядительную часть;

онъ выхватывалъ вёдра изъ рукъ работниковъ, подавалъ воду Карякину или самъ плескалъ ею куда ни попало; изрыгая брань и проклятія на лѣнь и медленность помощниковъ, онъ очевидно выставлялъ свою собственную дѣятельность. Ясно можно было заключить изъ словъ и дѣйствій Егора, что если бъ вёдра съ водою являлись безостановочно, онъ затушилъ бы пожаръ въ десять минутъ. Подскакавъ къ амбару, Андрей велѣлъ Ивану вести лошадей на дворъ, а самъ перелѣзъ черезъ канаву и побѣжалъ къ Карякину.

— Сейчасъ еще будетъ народъ; Анисья Петровна послала! Эхъ, Ѳедоръ Иванычъ, совсѣмъ не то вы дѣлаете! воду только зря теряете! подхватилъ Андрей, вырывая вёдра съ водою у Егора и ставя ихъ на-земь: — тутъ водой ничего не сдѣлаешь: добрѣ ужъ сильно разгорѣлось! надо растащить амбаръ-то. Эй, рабята!... Егоръ! закричалъ онъ, обращаясь къ горбуну и работникамъ: — живѣй лѣстницу... да веревокъ... лѣстницу!...

Работники побѣжали; Егоръ пустился за ними; но, сдѣлавъ шаговъ двадцать, онъ остановился, крикнулъ, чтобъ несли скорѣе веревки и лѣстницу и вернулся назадъ. Встрѣтившись съ Иваномъ, который, привязавъ лошадей, направлялся бѣгомъ къ амбару, горбунъ откинулся въ сторону.

— Съ чего жъ это загорѣлось-то? спрашивалъ между-тѣмъ Андрей, осматривая зданіе и выискивая удобное мѣсто для постановки лѣстницы: — здѣсь, кажись, никто не живетъ; съ чего жъ такъ?

— Подожгли, возразилъ нетвердымъ голосомъ Карякинъ: — подожгли — это вѣрно; вотъ и собака отравлена.

— Что вы, батюшка? можетъ ли быть?

— Тамъ еще другая собака, никакъ и та отравлена! подхватилъ Иванъ, останавливаясь подлѣ Андрея: — сейчасъ мимо шелъ, лежитъ не ворохнется...

Въ эту минуту явились веревки и лѣстница. Андрей приставилъ ее къ углу пылавшаго зданія, сунулъ за поясъ веревки и быстро полѣзъ къ кровлѣ.

— Ваня! крикнулъ онъ: — возьми топоръ, полѣзай скорѣй за мною... прежде всего стропилы подрубить надо: легче будетъ брёвна растаскивать... А вы (тутъ онъ обратился къ остальнымъ): — какъ только кину веревку, тащите бревно въ какую сторону укажу...

Едва Иванъ очутился подлѣ Андрея, Егоръ подвернулся къ

Карякину и началъ ему что-то нашептывать; глаза горбуна не переставали кивать на Ивана, который, между-тѣмъ, работалъ за четверыхъ и то заслонялся дымомъ, то освѣщался пламенемъ. Вниманіе Карякина скоро, однакожъ, отвлекли новые мужики, прискакавшіе изъ Панфиловки; по степи кое-гдѣ слышался торопливый топотъ коней и приближавшіеся голоса; набатъ все еще звучалъ въ отдаленіи.

— Ребята! нѣтъ ли лома? прокричалъ Андрей.

Но дѣло обошлось безъ лома; стропила, подгорѣвшія въ однихъ углахъ, въ другомъ мѣстѣ подрубленныя Андреемъ и Иваномъ, рухнули съ ужаснымъ трескомъ во внутренность зданія, увлекая съ собою дрянь и доски. Черный дымъ и хлопья пепла повалили отовсюду; усадьба погрузилась въ темноту, которая казалась чернѣе самой ночи; но пламя, подживленное новымъ матеріаломъ и не встрѣчая теперь препятствія, вскорѣ поднялось высокимъ столбомъ надъ амбаромъ и снова ярко озарило усадьбу.

— Нѣтъ, моченьки нѣтъ, больно жарко! крикнулъ Андрей, тщетно старавшійся обвязать веревкой конецъ верхняго бревна: — очень ужъ донимаетъ... ничего не сдѣлаешь!... Иванъ даже всѣ волосы сжегъ... Надо будетъ ломать съ середины... народу теперь много... Шабашъ, Ваня!...

Съ этими словами Андрей, а за нимъ Иванъ, спустились наземь. Андрей размѣстилъ полдюжины панфиловскихъ молодцовъ по угламъ зданія и велѣлъ имъ рубить не жалѣя рукъ; остальныхъ послалъ за водою; самъ онъ и вмѣстѣ съ нимъ Иванъ присоединились къ первымъ и лихо застучали топорами.

— Вотъ что, Ѳедоръ Иванычъ, заговорилъ Андрей, когда нѣсколько пылавшихъ бревенъ сорвано было на-земь: — никакъ вѣтеръ поднимается... дуетъ отъ насъ къ дому... видите, куда дымъ-то повалилъ?... Возьмите-ка съ собой двухъ молодцовъ да проведите ихъ на крышу дома. Захватите только веревки, братцы! какъ станете на крышу, бросьте намъ веревки-то, мы вамъ подадимъ вёдра съ водою... Смотри не зѣвать: упадетъ галка, либо огонь швырнетъ, сейчасъ заливай!... А вы, братцы, чѣмъ глазѣть, полѣзай на другія крыши; даромъ далеко, а все вѣрнѣе, коли народъ будетъ стоять съ водою.

Такое распоряженіе было какъ нельзя основательнѣе; вѣтеръ дѣйствительно подувалъ отъ амбара къ жилому строенію; огненный столбъ, начинавшій уменьшаться, снова закручивался въ воздухѣ и острыми, длинными жилами рвался къ дому; нѣсколько горячихъ

головешекъ упали даже на середину двора. Ѳедоръ Ивановичъ, бѣгавшій изъ конца въ конецъ и очевидно незнавшій за что взяться, выбралъ трехъ человѣкъ и направился къ дому. Егоръ сопровождалъ его; горбунъ то-и-дѣло забѣгалъ впередъ и тушилъ ногами попадавшія головешки даже тогда, когда на нихъ не было огня. Андрей, Иванъ и оставшіеся мужики продолжали растаскивать брёвна и поливать ихъ водою.

Минутъ пять спустя послѣ того, какъ исчезъ Карякинъ, онъ снова явился. Онъ бѣжалъ теперь какъ потерянный; языкъ его не ворочался, но взамѣнъ руки и ноги его дрожали; вся фигура его, ярко освѣщенная пламенемъ, выказывала сильнѣйшее замѣшательство. Мужики, которыхъ онъ взялъ съ собою, также вернулись; они бросали испуганные взгляды во всѣ стороны. Егоръ, скрывавшійся за спиною Карякина, не переставалъ дергать его за рукавъ и торопливо что-то нашептывалъ, не обращая вниманія на толчки, которыми отвѣчалъ ему гуртовщикъ.

— Ребята! крикнулъ наконецъ Ѳедоръ Иванычъ, сильно размахивая руками: — ребята, меня обокрали!... подожгли и обокрали! Бросьте все это, чортъ съ нимъ, пускай горитъ!... Шкатулку съ деньгами вытащили! присовокупилъ онъ, бѣшено отталкивая локтемъ Егора, который снова началъ ему нашептывать, между-тѣмъ, какъ глаза его отыскивали кого-то въ толпѣ работающихъ.

При этомъ извѣстіи всѣ присутствующіе оставили дѣло и мигомъ окружили Карякина.

— Обокрали? когда?... Ахъ ты, Господи!... заговорили всѣ въ одинъ голосъ.

— Ѳедоръ Иванычъ, можетъ, тебѣ такъ... со страха-то... въ суетѣ почудилось. Кому обокрасть?... Вишь мы всѣ здѣсь на лицо... никто въ домѣ не былъ... вымолвилъ Андрей.

— Нѣтъ, въ домъ залѣзли, унесли шкатулку!... кричалъ Карякинъ, выказывая жалкое отчаянье: — пока мы сюда бросились, они въ домъ вошли... нарочно зажгли, чтобъ отвести насъ... и собакъ отравили... Ребята! подхватилъ онъ задыхающимся отъ волненія голосомъ: — что теперь дѣлать? какъ быть?... Много оченно унесли. Пособите, ребята! всѣмъ заплачу; пособите только!

— Намъ денегъ твоихъ не надобно... дѣло такое, можно и такъ сдѣлать! съ живостью перебилъ Андрей: — коли такъ, время терять нечего, Ѳедоръ Иванычъ, садись скорѣй на лошадь и мы всѣ, которые побойчѣе, всѣ сядемъ... Надо въ погоню гнаться.

Далеко не ушли; въ степи схорониться некуда... Слава тебѣ Господи, что рано хватились! Вы, ребята, человѣкъ пятокъ, останьтесь здѣсь съ Иваномъ, амбаръ разбирайте, а вы, молодцы, съ нами...

Сказавъ это, Андрей, а за нимъ шестеро мужиковъ бросились къ лошадямъ; Ѳедоръ Ивановичъ выводилъ уже своего сѣраго жеребца. Минуты черезъ двѣ вся эта кавалерія выѣхала изъ околицы, замыкавшей усадьбу, и полетѣла въ разсыпную по степи.

Въ этомъ преслѣдованіи Ѳедоръ Ивановичъ дѣйствовалъ сначала самымъ безразсуднымъ образомъ. Замѣшательство, въ которое ввергла его пропажа денегъ, отняло у него остатокъ разума; онъ скакалъ зря, самъ не зная куда; имъ овладѣлъ теперь какъ-будто какой-то дикій азартъ, какое-то бѣшенство, которое, за неимѣніемъ другой жертвы, вымѣщалъ онъ на лошади: онъ билъ ее кулакомъ и колотилъ каблуками безъ милосердія. Надо замѣтить, молодой Карякинъ вовсе не былъ такъ щедръ, какъ разсказывалъ Егорка. Если ему случалось иногда бросать деньги, онъ дѣлалъ это изъ хвастовства, изъ тщеславія. Оба эти качества, благодаря молодости лѣтъ, брали пока еще верхъ надъ скаредностью; но въ домашней и частной жизни молодой купчикъ начиналъ сильно напоминать отца, скупаго старика, дрожавшаго надъ копейкой. Прокутивъ сотню-другую, Ѳедоръ Ивановичъ возвращался въ усадьбу, и тамъ никто уже не выманилъ бы у него гривенника на водку; какъ-бы испугавшись, что такъ много истратилъ денегъ, онъ ѣлъ и пилъ не лучше своихъ батраковъ. То, что говорилъ онъ объ отцѣ, и то, что онъ чувствовалъ къ нему, отличалось почти такимъ же противорѣчіемъ, какъ его кутёжъ. Говоря объ отцѣ, онъ страшно хорохорился и выказывалъ въ отношеніи къ нему непомѣрную смѣлость; на самомъ же дѣлѣ онъ страшно его боялся: трехмѣсячная экономія послѣ суточнаго кутежа позволяла Ѳедору Ивановичу сводить концы съ концами въ отцовскихъ счетахъ; онъ рѣдко ему попадался; но кой-какія продѣлки все-таки дошли до старика, который не разъ грозилъ сыну лишить его наслѣдія и пустить по-міру, если онъ не остепенится. Не было сомнѣнія, что старикъ припишетъ пропажу денегъ безпутству и неусмотрѣнію сына. Уже довольно того, что сгорѣлъ амбаръ и сберегаемыя въ немъ кожи; конечно, все это случилось не виною сына, тѣмъ неменѣе Ѳедоръ Ивановичъ, думая обо всемъ случившемся и безпрестанно обращая мысли свои къ отцу, терялъ голову. Благодаря, можетъ-быть, этому самому страху, внушаемому отцомъ, мысли Карякина пришли, однакожъ, скоро въ порядокъ. Онъ обсудилъ, что ска-

кать безъ толку совершенно безполезно; прежде всего дѣло требовало вниманія и осмотрительности. Онъ пересталъ бить лошадь, поѣхалъ шагомъ, и черезъ каждыя пять минутъ останавливался и прислушивался.

Въ разныхъ концахъ степи слышался топотъ лошадиныхъ копытъ; звуки эти то удалялись, то приближались, къ нимъ примѣшивались иногда человѣческіе голоса. Карякинъ каждый разъ быстро обращалъ глаза въ ту сторону, откуда раздавался голосъ, но дальность разстоянія скрадывала слова; хотя небосклонъ, особенно со стороны востока, замѣтно уже дѣлался свѣтлѣе горизонта, но все не было еще возможности различать предметы далѣе двадцати саженъ. Карякинъ продолжалъ пробираться шагомъ и прислушиваться. Немного погодя, онъ снова услышалъ въ отдаленіи голосъ; голосъ показался ему на этотъ разъ особенно громкимъ; крикъ повторялся теперь безъ умолку. Ѳедоръ Ивановичъ повернулъ лошадь и поѣхалъ рысцою по тому направленію.

Вскорѣ сдѣлалось яснымъ, что кто-то звалъ на помощь.

— Сюда... сюда... эй... эй! кричалъ голосъ.

При этомъ прежній азартъ мгновенно овладѣлъ Ѳедоромъ Ивановичемъ; онъ припалъ къ шеѣ лошади, гикнулъ и, не переставая дѣйствовать кулаками и каблуками, полетѣлъ туда стрѣлою.

Огненный столбъ въ томъ краю, гдѣ находилась усадьба, видимо между-тѣмъ уменьшался; зарево также блѣднѣло въ свѣтлѣющемъ небѣ. Мужичокъ Андрей, изъ Панфиловки, ловко распоряжался въ началѣ пожара; но безъ него Иванъ также не тормозилъ рукъ; онъ теперь болѣе всѣхъ способствовалъ къ скорому прекращенію опасности; имъ точно такъ же, какъ Карякинымъ, овладѣлъ азартъ; но этотъ азартъ былъ совсѣмъ другаго рода: онъ не зажигалъ въ немъ бѣшеной, безтолковой злобы; азартъ Вани исключительно обращался къ пылающимъ бревнамъ; онъ помогъ ему забыть Карякина; Ваня видѣлъ одну только опасность, одну необходимость въ помощи, и лѣзъ въ огонь, такъ-что передъ присутствующими поминутно мелькали обгорѣлая голова столяра и его улыбка. Дѣятельность Ивана мѣшала ему также замѣтить Егора, который хотя и не показывался подлѣ амбара, но перебѣгалъ отъ одного угла дома къ другому, покрикивалъ на работниковъ, или, притаившись за собачьей конурой, выглядывалъ оттуда на столяра. Наконецъ опасность совсѣмъ миновала, послѣднее бревно стащено было на-земь и полито водою. Прійдя не-

много въ себя, Иванъ ни въ какомъ случаѣ не могъ ужъ замѣтить Егора, несмотря даже на то, что занимавшаяся заря начинала разсѣвать сумракъ. Егоръ пропалъ и нигдѣ теперь не показывался. Иванъ и остальные мужики сидѣли на обгорѣломъ бревнѣ и бесѣдовали обо всемъ случившемся, когда раздались глухіе, но постепенно продолжавшіеся говоръ и крики.

— Ужъ не поймали ли разбойника? Пойдемъ, братцы! сказалъ одинъ изъ мужиковъ, вскакивая на ноги.

Всѣ послѣдовали его примѣру и торопливо пошли къ дому. Поровнявшись съ нимъ, они увидѣли, какъ горбунъ шмыгнулъ въ околицу и, ковыляя, побѣжалъ по дорогѣ. Дневной свѣтъ быстро распространился надъ степью; тучи, скоплявшіяся наканунѣ, разсѣялись; небо было ясно. Выйдя за околицу, Иванъ и товарищи его увидѣли нѣсколькихъ человѣкъ, которые, сбившись плотною кучкой, приближались по дорогѣ; позади вели лошадей. Впереди всѣхъ выступалъ Андрей и еще мужикъ; они держали за руки какого-то человѣка, который упирался ногами и отчаянно отбивался. Карякинъ поминутно подскакивалъ къ нему, хваталъ его за воротъ рубахи и начиналъ бить, причемъ тотъ огрызался, какъ звѣрь, и произносилъ страшныя проклятія; подлѣ мужикъ велъ рыженькаго мальчика; шагахъ въ двухъ шелъ другой мужикъ, мазавшій слюною окровавленную руку. Крикъ и гамъ слышались непомѣрные.

Первымъ дѣломъ Егора, какъ-только встрѣтился онъ съ толпою, было броситься на разбойника; но такъ-какъ въ эту минуту въ рубаху разбойника снова вцѣпился Карякинъ, то Егоръ подбѣжалъ къ мальчику и, ловко подобравшись къ нему бочкомъ, схватилъ его за волосы.

— Полно вамъ, Ѳедоръ Иванычъ! деньги свои получили, чего вамъ еще? Въ судѣ лучше вашего разсудятъ! говорилъ Андрей, давая знакъ мужику, который держалъ мальчика, чтобъ онъ отогналъ горбуна.

— Въ судѣ, тамъ какъ знаютъ, а я по-своему съ нимъ расправлюсь! вскричалъ Карякинъ, въ которомъ одинъ видъ разбойника пробуждалъ неукротимую ярость. Онъ снова бросился-было на него съ поднятыми кулаками, но Андрей остановилъ его:

— Когда такъ, сами ведите его, сказалъ онъ съ досадою:— мнѣ ужъ не подъ-силу съ нимъ бороться; я и такъ измучился.

По мѣрѣ приближенія къ усадьбѣ, разбойникъ началъ выка-

зывать столько сопротивленія, что двумъ человѣкамъ дѣйствительно трудно было тащить его.

— Ваня, подь скорѣй сюда!... скорѣй! крикнулъ Андрей столяру, который, вмѣстѣ съ другими мужиками, стоялъ шагахъ въ десяти отъ околицы.

Иванъ побѣжалъ навстрѣчу къ Андрею и вдругъ остановился; улыбка пропала на губахъ его, которыя раскрывались отъ удивленья; лицо его вытянулось и поблѣднѣло. Толпа между-тѣмъ приблизилась.

— Ваня, что жъ ты? — а?... спросилъ Андрей, подходя совсѣмъ близко.

Иванъ какъ-будто онѣмѣлъ; онъ пялилъ глаза на разбойника, который силился отвернуть голову.

— Филиппъ!... какъ это ты? крикнулъ Иванъ, отступая съ ужасомъ. Всѣ остановились и обратили глаза на парня.

Не успѣлъ Иванъ произнести этихъ словъ, какъ Егоръ крѣпко обхватилъ его сзади руками.

— Ребята, вяжи его! раздалась въ то же время проницательная фистула горбуна:—Ѳедоръ Иванычъ! я вамъ сказывалъ, не хотѣли меня слушать! что? — а? А! попался, мошенникъ!... попался, разбойникъ! Они заодно дѣйствуютъ... заодно... Ѳедоръ Иванычъ!... сюда!

— Хватай его, ребята! крикнулъ въ свою очередь Карякинъ, бросаясь на столяра съ поднятыми кулаками, но въ самую эту минуту Ивану удалось высвободить руку; Карякинъ отступилъ; Иванъ воспользовался случаемъ и началъ бить на-отмахъ горбуна, который продолжалъ держать его въ обхватъ и колотилъ въ спину головою.

Все это произошло такъ быстро, что Андрей едва успѣлъ передать Филиппа въ другія руки.

— Стой, братцы! произнесъ онъ мужикамъ, которые, переминаясь, подходили къ столяру:—я все это дѣло знаю... Погоди, Ѳедоръ Иванычъ, ты спроси прежде! Ты что, собака? прочь! заключилъ Андрей, разнимая руки Егорки и посылая его кубаремъ за пять шаговъ.

— Ты что здѣсь распоряжаешься?... Какъ ты смѣешь!... Ахъ, ты!... вымолвилъ Карякинъ, подходя къ Андрею съ угрожающимъ жестомъ:—вяжи его, ребята! присовокупилъ онъ, указывая на Ивана.

— Никто не тронь! крикнулъ Андрей, становясь передъ Ваней и защищая его обѣими руками:—самъ ты, Ѳедоръ Иванычъ, много берешь на себя; тебѣ не показано вязать встрѣчнаго и

поперечнаго — да! Что ты этого подлеца-горбуна, собаку эту, слушаешь!... Ты спроси прежде, развѣдай... Нѣтъ, этакъ не приходится, какъ ти дѣлаешь — да!... Ты, стало-быть, забылъ, что этотъ паренъ, котораго вязать хочешь не спросивши, обгорѣлъ весь, добро твое спасаючи.

— Мало ли что! видали мы это!... Онъ, можетъ, дѣлалъ для виду... отвести хотѣлъ отъ себя... знаемъ мы!...

— Не слушайте ихъ, Ѳедоръ Иванычъ! пискнулъ Егоръ, высовываясь впередъ и снова скрываясь, какъ только повернулся къ нему Андрей: — они заодно, всѣ заодно! другъ дружкѣ рубу держатъ!...

— Ну, слушай же, Ѳедоръ Иванычъ, подхватилъ Андрей: — я хлопоталъ для тебя, я и разбойника-то поймалъ и деньги тебѣ твои выручилъ... Коли ты помнишь добро, выслушай, что скажу: все это дѣло мнѣ хорошо знакомо; Иванъ мнѣ обо всемъ сказывалъ: онъ и вотъ этотъ (Андрей указалъ на Филиппа), они изъ одной деревни; онъ у нихъ бѣглый, никакъ пятый, никакъ шестой годъ бѣгаетъ.

Андрей съ помощью столяра, который немного оправился, разсказалъ въ короткихъ словахъ исторію Филиппа. Разбойникъ между-тѣмъ отъ всего отпирался, клялся и божился, что въ первый разъ видитъ Ивана и въ первый разъ слышитъ о Марьинскомъ, о мужикѣ Тимоѳеѣ и о бабѣ Катеринѣ. Егоръ не переставалъ кричать, что всѣ умышленно путаютъ дѣло, съ цѣлью отвести подозрѣніе другъ отъ дружки, но его никто не слушалъ; присутствующіе были на сторонѣ Андрея и столяра. Самъ Ѳодоръ Иванычъ взялъ въ толкъ, наконецъ, что столяръ не могъ быть соучастникомъ Филиппа.

— А все-таки я его не пущу и свяжу, сказалъ онъ: — надо его въ судъ представить...

— Это ужъ само-собою... возразилъ Андрей: — онъ и самъ знаетъ, что суда теперь не минуетъ... такая, знать, доля его. А вязать его нѣ къ чему, онъ и такъ пойдетъ, примолвилъ Андрей, обращаясь къ Ванѣ и начиная его всячески успокоивать.

Первымъ распоряженіемъ Карякина, какъ только всѣ пришли въ усадьбу, было тотчасъ же послать верхового къ становому приставу, который, къ счастью, находился верстахъ въ восьми. Требовалось прежде всего на самомъ мѣстѣ преступленія снять всѣ показанія какъ отъ разбойника, такъ отъ свидѣтелей и лицъ, знавшихъ его прежде. Филиппа и Стёпку, связанныхъ по рукамъ и

по ногамъ, посадили врозь, одного въ домъ, другаго въ конюшню, подъ присмотромъ мужиковъ, которымъ Карякинъ обѣщалъ щедро заплатить за хлопоты. Во все это время Андрей не покидалъ Ивана; онъ ободрялъ его и обнадеживалъ, говоря, что за Катерину и семью ея также нѣчего опасаться; по словамъ Андрея, скорѣе слѣдовало радоваться, чѣмъ приходить въ отчаянье, плакать и падать духомъ: по-крайней-мѣрѣ, семья навсегда освободится теперь отъ разбойника, который отнималъ у нея покой столько лѣтъ. Что жъ касается Маши и ребятишекъ Лапши, которыхъ, безъ-сомнѣнья, въ судъ не потребуютъ, Андрей бралъ ихъ на свое попеченье на все время отсутствія родителей.

Переговоривъ такимъ образомъ съ Иваномъ, Андрей, частью дѣйствуя по собственному желанію, частью повинуясь просьбамъ столяра, направился къ Катеринѣ, чтобъ заблаговременно предупредить ее о томъ, что̀ ее ожидало.

Въ полдень пріѣхалъ становой приставъ, и начался допросъ. Истребованы были тотчасъ же Лапша, Дуня и Катерина. Но мы не станемъ описывать допроса становаго. Зная всѣхъ лицъ, исчисленныхъ нами выше, зная отношеніе ихъ другъ къ другу, читатель легко пойметъ, что̀ должно было происходить въ этотъ день въ домѣ гуртовщика Карякина. Къ вечеру всѣ показанія были отобраны, нанесены на бумагу и скрѣплены свидѣтелями. Въ ту же ночь всѣ лица, сопричастныя дѣлу, усажены были на подводы, нанятыя гуртовщикомъ, и отправлены въ уѣздный городъ; туда поѣхали также становой и Карякинъ.

II.

Дружелюбныя объясненія.

Три недѣли прошло послѣ пожара. Часа въ два пополудни, въ ясный сентябрьскій день, въ околицѣ Панфиловки показался сѣрый жеребецъ Карякина, показались бѣговые дрожки и самъ Ѳедоръ Ивановичъ въ своемъ новомъ казакинѣ. Онъ наканунѣ только вернулся изъ уѣзднаго города, куда ѣздилъ раза четыре во все время, какъ продолжалось слѣдствіе. Въ первую же поѣздку написалъ онъ отцу письмо, въ которомъ подробно объяснилъ обо всемъ случившемся. Ожиданіе отвѣта повергало Ѳедора Ивановича въ сильную

тревогу. Вообще, событія этихъ трехъ недѣль: пожаръ, покража денегъ, можетъ-быть даже, видъ судей и самый ходъ строгаго судопроизводства порастрясли, какъ говорится, мозги молодому Карякину. Имъ овладѣло что-то въ родѣ тоски, какое-то недовольство самимъ собою, чего прежде съ нимъ не бывало. Онъ не зналъ, за что взяться и что дѣлать. Проведя такимъ образомъ цѣлый день, Карякинъ рѣшился ѣхать въ Панфиловку. Къ такой рѣшимости содѣйствовала, быть-можетъ, привычка; нельзя, впрочемъ, поручиться, чтобъ не было также и другой причины. Волокитство за встрѣчными бабёнками и дѣвчонками ровно еще ничего не доказывало въ такомъ человѣкѣ, какъ Карякинъ; безнравственость могла быть плодомъ невоспитанія, дурнаго примѣра и наконецъ привычки; это не мѣшало гуртовщику имѣть далеко-незлобное сердце. Хотя Егоръ утверждалъ, что Ѳедору Ивановичу никто не нравился больше Маши, но Егору, какъ извѣстно, нельзя было вѣрить; что до меня касается, я готовъ прозакладывать что угодно, что до-сихъ-поръ Карякинъ никѣмъ такъ не прельщался, какъ полной, румяной Наташей. Лучшимъ доказательствомъ, какого былъ онъ о ней мнѣнія, могло служить письмо его къ отцу. Онъ говорилъ, между-прочимъ, что готовъ хоть сію минуту исполнить давнишнее желаніе старика, готовъ жениться и остепениться. Онъ не называлъ Наташи по имени, но ясно намекалъ на нее, говоря, что находится по сосѣдству такая дѣвица—и скромница, и нравомъ добрая, и хозяйка большая, и очень даже изъ себя красива. Трехнедѣльная разлука послѣ ежедневнаго почти свиданія, тоска, тяготившая Карякина въ это время, придали Наташѣ еще больше цѣны въ глазахъ и сердцѣ молодаго купчика.

Справедливость всего сказаннаго нами подтверждается радостнымъ чувствомъ, которое овладѣло молодымъ человѣкомъ, когда онъ придумалъ средство примириться съ Наташей и снова расположить къ себѣ тётку. Въѣзжая на дворикъ Анисьи Петровны, онъ возблагодарилъ судьбу, которая посылала ему такихъ славныхъ сосѣдей. Вдовствующая засѣдательша сидѣла одна въ комнатѣ, обвѣшенной мѣшечками съ сѣменами и украшенной портретомъ покойнаго. Она сначала сухо и какъ-то принужденно отвѣтила на поклонъ и привѣтствіе гостя.

— Вы меня извините, Анисья Петровна; я, можетъ, помѣшалъ вамъ? произнесъ Карякинъ, не зная еще, съ которой бы стороны подойти ловче, но на всякій случай спѣша задобрить старуху по-

чтительнымъ, любезнымъ, обхожденьемъ: — вы такъ изволили безпокоиться... людей своихъ послали ко мнѣ на помощь... сами заѣзжали два раза... я почелъ своимъ долгомъ благодарить васъ...

— Ты никакъ, батюшка, три раза пріѣзжалъ изъ города-то... можно было давно пріѣхать ко мнѣ... Спѣсивъ сталъ, отецъ родной, спѣсь-то одолѣла...

— Помилуйте, Анисья Петровна! это вы совершенно изволите напрасно... Не ѣхалъ я къ вамъ потому... никакимъ, то-есть, манеромъ нельзя было... дѣловъ собралось множество... а главное-съ: вся эта оказія причинила такое разстройство, что я думалъ, вы меня извините за мое, то-есть, невѣжество...

— Садись, мой батюшка... что жъ ты стоишь, какъ скворечница какая... садись...

— Съ моимъ великимъ удовольствіемъ, проговорилъ гость, располагаясь подлѣ старухи: — теперича, подхватилъ онъ: — теперича, благодаря Богу, все это дѣло благополучно окончено; но ужасти, что было такое, Анисья Петровна! Повѣрите ли, до-сихъ-поръ не могу даже очувствоваться...

— Да скажи же, отецъ мой, какъ же это такъ? Стало-быть, эти поганцы... ну вотъ, что на лугъ-то переселили, стало-быть, они ни въ чемъ этомъ не замѣшаны?... Мнѣ Андрей сказывалъ, ихъ опять на лугъ отослали... Какъ же такъ?... Вѣдь разбойникъ-то приводится имъ братъ родной...

— Точно такъ-съ; только найдено было, они ко всѣмъ дѣламъ его непричастны. Въ тотъ же день, какъ привезли ихъ, посланы были справки въ ихъ деревню; черезъ недѣлю отвѣтъ получили: дѣйствительно, говорятъ, такой-то шестой годъ въ бѣгахъ; всѣ примѣты его показаны, и мальчика также упоминаютъ... обо всѣхъ дѣлахъ его разсказываютъ, все точь-въ-точь, какъ показала Катерина, брата его жена... Ну, а родня его, говорятъ, ни въ чемъ такомъ не была замѣчена... самые, говорятъ, смирные, хорошіе люди... Все это можетъ быть, Анисья Петровна; только ужъ я вамъ доложу: за то братъ этотъ, что поджогъ-то меня, ужъ это, я вамъ скажу, такой плутъ, какого въ мірѣ подобнаго нѣтъ! Я какъ только увидалъ его, сейчасъ, съ первой точки увидѣлъ, какая это продувная бестія!... Позвольте спросить, какъ находится въ своемъ здоровьѣ Наталья Васильевна? неожиданно присовокупилъ Карякинъ, глаза котораго все чаще и чаще устремлялись на дверь сосѣдней комнаты.

— Что ей дѣлается! Къ осени-то еще никакъ поприпухла...

— Это очень пріятно слышать-съ...

— Наташа! Наташа!... загнусила Анисья Петровна:—что ты тамъ, мать моя, сидишь какъ макура какая-нибудь!... Поди сюда!...

Карякинъ всталъ, поправилъ волосы и, расшаркиваясь, пошелъ къ дѣвушкѣ, которая показалась въ дверяхъ.

— Какъ вы въ своемъ здоровьѣ?... давно не имѣлъ удовольствія васъ видѣть...

— Да-съ... очень давно, возразила Наташа, не поднимая глазъ. Что вамъ, тётенька, угодно?...

— Что ты, мать моя, затворницей-то сидишь? И здѣсь мѣсто есть... Поди посиди съ нами.

Черезъ минуту Наташа снова вошла въ комнату съ платкомъ, который начала обрубать, и расположилась подлѣ тётки.

— Да что это ты сидишь какъ заспанная какая? Встряхнись, мать моя, встряхнись! проговорила старуха, поглядывая своими маленькими, заплывшими глазками на племянницу и украдкою переводя ихъ на Карякина, который старался казаться развязнымъ.

Полныя щеки дѣвушки покрылись румянцемъ; но вмѣсто того, чтобъ встряхнуться, какъ говорила тётка, она еще ниже опустила глаза къ работѣ.

— Да-съ, я вамъ доложу, это ужаснѣйшій плутъ, братъ этого переселенца, вымолвилъ Карякинъ, думая разсказами занять дѣвушку и обратить на себя ея вниманіе.—Представьте себѣ, Анисья Петровна, ужъ на что вѣдь, кажется, на мѣстѣ поймали, даже деньги всѣ за пазухой нашли, всѣ улики на-лицо—такъ нѣтъ, повѣрите ли, отъ всего отпирается! „Знать, говоритъ, не знаю, вѣдать, говоритъ, не вѣдаю; шелъ, говоритъ, мимо, на меня напали, сунули, говоритъ, деньги за пазуху... все, говоритъ, запапраслину!“ Ну, тутъ, знаете, его маленечко, того... прикрутили... Онъ ничего этого не испугался — никакого, то-есть, дѣйствія!... Отпирается отъ своей деревни, также и отъ родныхъ: „Вчервой, говоритъ, вижу, не знаю, говоритъ, что за люди за такіе!“ А самъ, такъ самъ въ глаза имъ и смотритъ!... Они ему всю подноготную разсказываютъ о его жизни, а онъ свое разсказываетъ: „Такой-то губерніи, говоритъ (совсѣмъ другую губернію показываетъ), двѣнадцати лѣтъ, говоритъ, отданъ былъ въ ученье въ Москву, потомъ пошелъ съ богомолками въ Кіевъ. Въ Кіевѣ, говоритъ, поступилъ въ ученье къ бочару, прожилъ тамъ двадцать лѣтъ;

потомъ, говоритъ, случай такой вышелъ, отправился въ Одессу на привольное жительство...“ Вы послушали бы только, какъ все это онъ расписывалъ! даже судья, и тотъ подивился!... „Ну, говоритъ, жилъ я въ Одессѣ пока не сгрустнулось по родинѣ; отправился тогда, говоритъ, въ Воронежскую губернію... тутъ, говоритъ, дорогой, съ мальчикомъ повстрѣчался... взялъ его примѣрно, съ собою...“ Вотъ, знаете, судья-то его и спрашиваетъ: „Что жъ это, говоритъ, за городъ такой Одесса?“ — „Городъ, говоритъ, какъ всѣ города“. — „Что жъ тамъ, спрашиваетъ, рѣка что ли есть какая?“ — „Обыкновенно, говоритъ, города нѣтъ безъ воды“. — „Рѣка, что ли?“ присталъ опять судья. — „Гдѣ намъ, говоритъ, этимъ заниматься! Пробавлялся, говоритъ, рукомесломъ своимъ, добывалъ деньги, жилъ хорошо, а о званіи и паспортѣ меня никто не спрашивалъ...“ А самъ, я вамъ говорю, такъ всѣмъ въ глаза и смотритъ. Хорошее, должно-быть, ремесло, какимъ онъ занимался! Это, значитъ, какъ говорится: занимался практическимъ упражненіемъ! примолвилъ Карякинъ съ цѣлью разсмѣшить слушательницъ.

Наташа дѣйствительно улыбнулась. Одобренный этимъ, а также вниманіемъ Анисьи Петровны и ея восклицаніями, Карякинъ продолжалъ съ бо́льшею еще противъ прежняго развязностью:

— Да-съ, скажу вамъ: это человѣчекъ, ужъ можно сказать, что человѣчекъ! Случай только не тотъ былъ, а то бы онъ, пожалуй, на цѣлый годъ завелъ матерію; пожалуй, совсѣмъ бы отбился... да жаль, случай не тотъ былъ-съ! Съ одной стороны, знаете, мальчикъ-то выдавалъ его, потомъ сродственники, а тамъ письмо пришло съ ихнихъ мѣстъ .. Ну, видитъ, знаете, кругомъ обступили, ступить нѣкуда, началъ поддаваться... На прошлой недѣлѣ въ концѣ, во всемъ признался: „такъ-и-такъ, говоритъ, мое дѣло!“ И не то, чтобъ, этакъ, совѣстился — нѣтъ, просто разсказываетъ, какъ по писанному... Разсказалъ, какъ бѣжалъ, какъ укралъ у матери мальчика, какъ лошадей воровалъ по округѣ своей деревни, какъ купца ограбилъ; разсказалъ даже такія дѣла, о которыхъ никто не зналъ прежде. У нихъ, видите ли подлѣ деревни, по сосѣдству, жила какая-то старуха, ворожбой занимались, такъ она, говоритъ, пуще всего его подольщала... Все повѣдалъ, какъ жилъ у нея, какъ они вмѣстѣ воровали, и все-такое... Потомъ всѣхъ этихъ своихъ родныхъ призналъ, жену призналъ, мальчика...

— Какую же это, отецъ, жену-то? Это вотъ сумасшедшую-то, что́ къ намъ шлялась? спросила старуха.

— Точно такъ-съ, та самая! Я совсѣмъ забылъ разсказать вамъ о ней. Вотъ поглядѣли бы вы, Анисья Петровна, что̀ тамъ такое было-съ, какъ въ первый-то разъ привели ее! подхватилъ разскащикъ, обращаясь теперь къ дѣвушкѣ, которая время отъ время подымала глаза и вообще выказывала меньше невниманія:— какъ только, знаете, привели ее, какъ только увидѣла, это, она мужа и мальчика, та̀къ замертво и покатилась — страсти даже было глядѣть! насилу отлили ее водою, два раза кровь кидали... Сейчасъ, знаете, отнесли, это, ее въ больницу... да нѣтъ! третьягодня, какъ уѣзжалъ изъ города, сказывали мнѣ, горячка такая у нея сдѣлалась, что никакимъ манеромъ пережить невозможно... А ужъ ка̀къ только, ка̀къ, кабы вы только видѣли, ка̀къ ухаживала за ней эта Катерина, такъ даже, повѣрите ли, всѣхъ въ чувствіе привела... Тотъ, разбойникъ, мужъ-то, стоитъ себѣ, какъ словно не его дѣло, совсѣмъ не до него касающееся... а эта Катерина та̀къ вотъ и заливается... Мы даже всѣ подивились, ка̀къ простая этакая баба, мужичка, а какое чувствіе показала — право-съ! Надо думать, Анисья Петровна, они дѣйствительно, то есть вся эта семья, окромѣ разбойника-брата, всѣ дѣйствительно люди хорошіе...

— А мнѣ, батюшка, Богъ съ ними! Богъ съ ними! Богъ съ ними! снисходительно проговорила старуха:—только-бы какъ-нибудь отъ нихъ-то ослобониться... насчетъ луга-то. Лугъ-то кудлашкинскій заняли, собаки—вотъ что̀! Кабы не это, отецъ, мнѣ бы Богъ съ ними!... Посуди: вѣдь девять лѣтъ лугомъ-то владала! сто рублей въ годъ получала... Совсѣмъ, вѣдь, разорили, разбойники!...

— Вы на этотъ счетъ не извольте ничего себѣ безпокоиться; я могу сдѣлать вамъ въ уваженіе... уладить какъ-нибудь...

— Охъ, батюшка, по гробъ жизни стану благодарить тебя!... посуди, отецъ: вѣдь сто рублей!... сто рублей, батюшка! Какъ-же ты сдѣлаешь-то?

— Извольте видѣть: этотъ лугъ для насъ самые, выходитъ, пустяки, бездѣлица, малое дѣло-съ. Мы его у тѣхъ у помѣщиковъ купимъ-съ, Анисья Петровна; я въ той надеждѣ, батюшка согласится—это, можно сказать, безъ всякаго сомнѣнья... А тамъ, Анисья Петровна, по сосѣдству, какъ-нибудь съ вами сдѣлаемся...

Этимъ обѣщаніемъ Каря́кинъ окончательно примирилъ съ собою старуху; она позвала Пьяшку и велѣла принести свѣжень-

кихъ моченыхъ яблокъ. Карякину оставалось теперь смягчить сердце дѣвушки, оправдаться передъ нею, и снова возвратить ее къ прежнимъ отношеніямъ. Отозвавшись съ большою похвалою о моченыхъ яблокахъ, Ѳедоръ Ивановичъ кашлянулъ, украдкою взглянулъ на Наташу, но, не встрѣтивъ съ этой стороны поощренія, обратился опять къ старухѣ.

— Вотъ я вамъ разсказалъ теперича обо всемъ, что случилось, Анисья Петровна, то-есть, каковъ гусь этотъ разбойникъ, и что было въ этомъ городѣ; но знаете ли, ничего бы этого не было: ни пожара, ни покражи денегъ, ни суда, кабы не замѣшался тутъ еще одинъ человѣкъ — право такъ; его въ судъ не водили... я самъ разсудилъ его... Не случись онъ, ничего бы этого у меня не было — право такъ-съ!...

— Ахъ, батюшки!... воскликнула Анисья Петровна, потряхивая головою, обтянутою знаменитымъ чепцомъ.

Наташа подняла глаза, и на лицѣ ея точно такъ же выразилось удивленье.

— Да-съ, извольте-ка догадаться, кто бы это былъ такой? сказалъ Карякинъ, взглянувъ на тётку и улыбаясь племянницѣ, которая тотчасъ же потупила голову.

— Охъ, отецъ, ужъ не изъ моихъ ли? Не пугай, батюшка, скажи!

— Нѣтъ-съ, не извольте сомнѣваться: не изъ вашихъ! промолвилъ разскащикъ, радуясь успѣшному обороту рѣчи, которая возбуждала любопытство дѣвушки и заставила ее снова приподнять голову.

— Да кто же, батюшка? Ахъ онъ разбойникъ, окаянный!... Кто же это?

— А больше никто-съ, какъ Егорка...

— Вы знаете, тётенька, проговорила, краснѣя, Наташа: — горбатый такой... хромой...

— Ахъ, батюшки!

— Точно такъ, Наталья Васильевна, онъ самый-съ! подхватилъ Ѳедоръ Ивановичъ, оживляясь: — да-съ, онъ всему этому дѣлу заглавіе, всему, можно сказать, причиной... Я давно хотѣлъ его прогнать, потому, какъ онъ есть негодяй, мнѣ держать его не приходится... да знаете, все какъ-то жалѣлъ его — право-съ. А тѣмъ временемъ этотъ случай вышелъ... Пошелъ онъ, знаете, въ кабакъ — человѣкъ былъ пьющій; на него современемъ такая, знаете, линія находила, — напился, да и давай хвастать моими

деньгами, которыя получилъ я изъ Москвы, тысячи три..... Все съ-пьяну-то и разскажи въ кабакѣ: гдѣ лежатъ и все такое, а разбойникъ-то, что̀ поджогъ, тутъ сидѣлъ; ему, знаете, и пришло на мысль... Самъ говорилъ: „кабы не горбунъ этотъ“, говоритъ, „мнѣ бы въ голову не вкинулось; онъ надоумилъ“. Разумѣется, ему никакимъ манеромъ нельзя было знать, гдѣ деньги и какъ въ домъ пройдти... Этакой мошенникъ!

— Да какъ же, отецъ, ты его въ судъ-то не представилъ, разбойника? Ахъ, онъ!... воскликнула Анисья Петровна, начиная плескаться и пѣниться.

— Дѣло такъ обошлось, безъ суда-съ, посмѣиваясь, перебилъ Карѣкинъ:— я самъ съ нимъ расправился: поучилъ его хорошенько, а потомъ выгналъ въ ѕашеи-съ... Впрочемъ, я давно къ нему подбирался... Вы представить себѣ не можете, Анисья Петровна, что̀ это былъ за плутъ...

Тутъ Карѣкинъ остановился и кашлянулъ; съ минуту онъ какъ-будто переминался и соображалъ съ мыслями.

— Да-съ, жаль, я поздно узналъ обо всѣхъ его штукахъ, какія онъ со мною дѣлалъ: онъ бы не такъ еще дешево отбоярился! произнесъ Ѳедоръ Ивановичъ, стараясь принять нахмуренный видъ.— Знаете ли, Анисья Петровна, этотъ мерзавецъ чуть-было даже меня съ вами не поссорилъ — ей-Богу... Вотъ Наталья Васильевна такъ даже на меня разсердились... въ послѣдній разъ не хотѣли даже говорить... Всему этому неудовольствію онъ былъ причиной...

— Что̀ жъ это такое, отецъ мой? Наташа! о чемъ это онъ говоритъ? Я, батюшка, ничего не знаю, проговорила старуха, которая до-сихъ-поръ не могла развѣдать отъ племянницы о причинѣ ея слезъ и о скоромъ отъѣздѣ Карѣкина.

— Я ничего не знаю, тётенька, о чемъ они говорятъ... прошептала Наташа, вспыхивая какъ піонъ.

— Помилуйте, Наталья Васильевна, припомните, какъ вы на меня разсердились...

— Да ты полно, батюшка, ломаться-то, скажи, за что̀ жъ это она съ тобой говорить-то не хотѣла...

— Извольте, Анисья Петровна, готовъ вамъ сдѣлать всю откровенность, произнесъ Ѳедоръ Ивановичъ, возвращая лицу своему веселый, беззаботный видъ.— Надо вамъ сказать, этотъ Егорка, хотя и горбатъ, а большой былъ волокита, очень, то-есть, любилъ къ дѣвушкамъ подольщаться; только, знаете, всѣ эти свои шашни—потому-что, разумѣется, ему часто за нихъ доставалось—

все это онъ на меня сваливалъ... Случится, попался — такъ, чтобъ отвертѣться, знаете, сейчасъ и скажетъ: „Мое дѣло сторона, говоритъ, меня, говоритъ, Ѳедоръ Иванычъ послалъ!“ То-есть, я вамъ скажу, такую обо мнѣ молву пустилъ...

— Намъ-то что̀ до этого, батюшка? Ни мнѣ, ни Наташѣ серчать за это не за что̀... Мы тебѣ не укоръ; вольный казакъ, батюшка, человѣкъ ничѣмъ не обвязанный... Безобразничай, пожалуй... только ужъ извини, ко мнѣ не ходи послѣ этого...

— Ну, вотъ то-то же и есть! поспѣшилъ перебить Ѳедоръ Ивановичъ, слегка краснѣя: — сами говорите: въ домъ не ходи! Я къ тому и говорю вамъ, Анисья Петровна: кому же пріятна слава, которую онъ про меня пущалъ?... Какъ узналъ я объ этомъ, повѣрите ли, даже все сердце во мнѣ закипѣло... Случай вышелъ черезъ дѣвушку, что̀ у вашего Андрея живетъ въ работницахъ... вы ее знаете: она дочь той самой Катерины...

— Охъ, отцы мои! куда ни ткнись, все они да они, точно бѣльмо на глазу, а ты еще хвалишь!... Должно-быть, вся семья у нихъ одинъ въ одновà, вся семья-то разбойническая... Вотъ, право, наслалъ Господь!...

— Богъ дастъ, скоро избавитесь, Анисья Петровна; мы, какъ этотъ лугъ-то купимъ, ихъ ужъ тогда не будетъ-съ! промолвилъ Ѳедоръ Ивановичъ. — Позвольте я вамъ доскажу, какой случай вышелъ: этотъ бестія горбунъ давай ухаживать за этой дѣвкой, а къ тому времени пришелъ молодой парень изъ ихней деревни, откуда переселенцевъ-то выслали. Ужъ я не знаю, сродни ли онъ имъ, или женихъ, можетъ, даже такъ, изъ зависти одной, возьми онъ вступись за дѣвку, сталъ, вѣрно, стращать горбуна, а тотъ и скажи ему, какъ онъ прежде это дѣлалъ: „я, говоритъ, рази для себя, для Ѳедора Иваныча, говоритъ, онъ посылаетъ!“ Тотъ, знаете, малый-то, ничего не спросивши, не развѣдамши, бросился къ Натальѣ Васильевнѣ и насказалъ имъ про меня Богъ вѣсть что̀ такое... Наталья Васильевна всему этому повѣрили... и разсердились... промолвилъ онъ, дѣлая головою укорительные знаки дѣвушкѣ, которая не могла скрыть своей радости и смотрѣла на него такими глазами, въ которыхъ самый неопытный человѣкъ могъ прочитать прощенье:—да-съ, Наталья Васильевна всему этому повѣрили, взяли да и разсердились, присовокупилъ Карякинъ, къ которому тотчасъ же возвратилась вся его увѣренность: — потому, разумѣется, нельзя и не разсердиться, Анисья Петровна; вы сами

говорите: „коли безобразничать хочешь, такъ въ домъ не ходи“, никакой нѣтъ пріятности въ компаніи такого человѣка... это ужъ само собою-съ...

Но Анисья Петровна была не такъ довѣрчива, какъ племянница: голубиная невинность Карякина казалась ей очень сомнительною. Многія даже продѣлки его по части волокитства были ей извѣстны черезъ Пьяшку, которая не могла держать въ себѣ тайнъ, точно такъ же, какъ горшокъ съ пробитымъ дномъ не можетъ держать воды. Все, что узнавала Пьяшка, узнавалось тотчасъ же всей Панфиловкой, начиная отъ Анисьи Петровны и кончая послѣдней бабёнкой; единственный предметъ, до котораго не касалась Пьяшка, былъ семилѣтній оборванный мальчикъ, бѣгавшій по двору; но это потому, можетъ быть, что въ происхожденіи его ничего уже не было таинственнаго: всѣ знали о немъ очень хорошо. Если до-сихъ-поръ Анисья Петровна въ разговорахъ съ племянницей умалчивала о волокитствѣ Карякина; если она грозила Пьяшкѣ раздавить ее какъ муху въ случаѣ, когда она проболтается Наташѣ; если она выставляла всегда Карякина съ самой выгодной стороны, то дѣлала это, имѣя въ виду расположить къ нему племянницу и склонить ее выйдти за него замужъ. Какъ уже извѣстно, здоровье дѣвушки, ея полнокровіе служили главнымъ поводомъ такому желанію тётки: „Боюсь, мать моя, кровища-то въ ней взыграется“, повторяла она все чаще и чаще, „не совладаешь тогда, мать моя! Пожалуй еще изъ дому убѣжитъ... осрамитъ совсѣмъ!... Лучше ужъ съ рукъ долой... замужъ бы... все было бы тогда покойнѣе...“ Сохраняя все ту же безпокойную мысль и радуясь душевно прибытію гуртовщика, она, конечно, не думала обличать его передъ Наташей; но ей хотѣлось, однакожъ, дать ему почувствовать, что ее не такъ легко провести, какъ глупую восьмнадцатилѣтнюю дѣвку.

— Ужъ ты, отецъ, полно смирячкомъ-то прикидываться! шутливо проговорила она: — не такіе глаза у тебя. Можетъ, взаправду за той дѣвкой ухаживалъ — а? можетъ, такъ говоришь только, самъ, чай, заслалъ Егорку-то — а?... прибавила она, посмѣиваясь, но устремляя сѣрые, пытливые глазки на молодаго человѣка.

— Помилуйте, Анисья Петровна, что это вы!... перебилъ Карякинъ, пожимая плечами и покручивая головой, между-тѣмъ, какъ Наташа снова вспыхнула и вся превратилась въ безпокойное ожиданіе: — вы меня обижаете, Анисья Петровна... потому, я на

этотъ счетъ всегда содержалъ себя въ аккуратности... Возьмите теперь въ другую сторону: когда мнѣ заниматься этими пустяками?... Къ тому же, сдѣлаю вамъ всю откровенность... У меня мысли не къ тому совсѣмъ... Есть, примѣрно, такой... совсѣмъ другой предметъ, о которомъ я думать долженъ-съ... присовокупилъ Карякинъ, бросая томный, многозначительный взглядъ дѣвушкѣ, которая тотчасъ же начала улыбаться.

Но Анисья Петровна не удовольствовалась такимъ оправданіемъ; пожиманье и переминанье молодаго человѣка вызывали лукавую улыбку на толстыхъ губахъ ея; заплывшіе, но пытливые глазки не переставали щуриться на купчика; наконецъ они съ живостью обратились къ двери.

— Пьяшка! Пьяшка! загнусила вдругъ Анисья Петровна.

Пьяшка, стоявшая за дверьми (любимое мѣстопребываніе Пьяшки, когда въ комнатѣ шелъ о чемъ-нибудь разговоръ), Пьяшка не замедлила явиться.

— Пошла, глупая, позови-ка Андрея ко мнѣ, да скажи, чтобъ сейчасъ шелъ, а то я сама, скажи, пойду за нимъ.

— Это вы зачѣмъ-съ? промолвилъ Карякинъ не безъ внутренняго безпокойства.

— Велю сейчасъ же прогнать ему эту дѣвку, о которой ты говоришь-то, возразила старуха, подозрительность которой быстро, казалось, перешла къ племянницѣ.

Но лицо Карякина ясно говорило, что ему было совершенно все-равно, останется ли Маша въ хуторѣ, или и вовсе ее не будетъ. Онъ даже оправдалъ намѣреніе помѣщицы: онъ зналъ изъ вѣрныхъ источниковъ, что Андрей вовсе даже не нуждался въ работницѣ и держалъ у себя Машу единственно для того, чтобъ помогать ея семейству. Такъ-какъ переселенцы избавлены теперь отъ сумасшедшей Дуни, такъ-какъ стало у нихъ однимъ ртомъ меньше, то возвращеніе Маши къ роднымъ не будетъ для нихъ большимъ стѣсненіемъ. Лицо Ѳедора Ивановича оставалось точно такъ же веселымъ и безпечнымъ во все время, когда помѣщица передавала Андрею свою волю; Карякинъ раза два вмѣшался даже въ разговоръ, выставляя Андрею на видъ всю тягость держать безъ надобности работницу, съ чѣмъ, однакожъ, Андрей, повидимому, не соглашался.

По уходѣ мужика, сѣрые, пытливые глазки Анисья Петровны перемѣнили направленіе; они исключительно обращались теперь къ

саду и высматривали воробьевъ и галокъ, которые пугливо вскидывались каждый разъ, какъ Анисья Петровна вскрикивала: „Кíшь... пострѣлы!... кíшь! кíшь! окаянные!... Ахъ ты мать моя! кíшь, бестіи!...“ Карякинъ пользовался этими случаями, чтобъ томно поглядывать на дѣвушку, прижималъ руку къ груди, шепталъ клятвы—словомъ, выказывалъ знаки страстной любви и привязанности, чему Наташа, непереставшая краснѣть, но мягкосмотрѣвшая теперь своими добрыми глазами, охотно вѣрила, и что̀ несомнѣнно пробуждало въ ней сильную радость.

III.

Однимъ лучше, другимъ хуже.

Послѣ окончанія уборки, Андрей и Прасковья въ-самомъ-дѣлѣ могли очень хорошо обойдтись безъ работницы; правда, они платили ей недорого: платили хлѣбомъ, котораго было достаточно, но все же хлѣбъ этотъ чего-нибудь да стоитъ; при всемъ томъ, какъ Андрею, такъ и женѣ его крѣпко не хотѣлось разстаться съ Машей; но дѣлать нѣчего: Анисья Петровна приказала—надо было повиноваться.

Для Маши разлука эта была еще тягостнѣе; каждый членъ семейства прощался съ ней съ одною и жалѣлъ о ней одной; ей приходилось жалѣть каждаго изъ нихъ: ей приходилось прощаться съ нѣсколькими человѣками, къ которымъ она привыкла и привязалась. Проводы происходили въ тотъ же вечеръ, какъ Андрей выслушалъ волю помѣщицы. Прощаясь въ мàзанкѣ съ дѣтьми и хозяевами, Маша вполнѣ владѣла собою, но, подойдя къ воротамъ, куда вся семья вышла провожать ее, она не въ силахъ была побѣдить тоску и заплакала. Андрей, котораго доброе и честное лицо сохраняло во все время задумчивое выраженіе, поспѣшно отошелъ къ ближайшему навѣсу двора.

— Маша, подь-ка сюда... одна поди: надо переговорить, есть дѣло такое, произнесъ онъ, дѣлая знаки головою.

Маша передала узелокъ свой одному изъ ребятишекъ, отерла слезы и пошла къ навѣсу.

— Вотъ что̀, Маша, сказалъ Андрей, отводя дѣвушку почти къ заднимъ воротамъ и понижая голосъ:—слышь, ту муку, которую я впередъ далъ твоей матери, ты, слышь, ничего объ этомъ не

сомнѣвайся: мы теперь не нуждаемся, хлѣба въ достачу... вишь, какое сотворилъ Господь ражденье! промолвилъ онъ, кивая на двѣ огромныя скирды ржи, которыя заслоняли ригу:—такъ и матери скажи, ни въ чемъ этомъ чтобъ она не сомнѣвалась... Да вотъ что, коли случай такой выйдетъ... надобность у васъ встрѣнется... ну, тамъ мучицы ли, крупицы ли потребуется, скажи ей, мнѣ бы только словцо замолвила—мы этимъ, скажи, обижаться не станемъ.

— Благодарствуй, дядюшка Андрей... Господь...

— Ну что тамъ! Самое это выйдетъ для насъ пустяшное дѣло, перебилъ мужикъ, направляясь съ бывшей своей работницей къ женѣ и дѣтямъ.

Началось опять прощанье. Хотя слова Андрея по настоящему должны были бы обнадеживать дѣвушку и совершенно успокоить ее касательно стѣсненій ея семейства, но слезы ея продолжали литься и оставляли слѣды на щекахъ бывшихъ ея хозяевъ, съ которыми она цѣловалась. Они готовились уже выйти на улицу, какъ вдругъ Прасковья торопливо вернулась во дворъ; она точно забыла въ мазанкѣ какой-то предметъ, въ которомъ встрѣтилась теперь самая крайняя надобность. Секунду спустя, изъ низенькихъ дверей надворныхъ сѣней показалось лицо ея.

— Маша, Маша! крикнула она съ озабоченнымъ видомъ.

Маша, завладѣвшая узелкомъ своимъ, снова передала его мальчику и пошла къ хозяйкѣ.

— Ты, Маша, смотри, заходи къ намъ, почаще заходи, и матери скажи, чтобъ заходила, вымолвила Прасковья, увлекая дѣвушку въ дальній уголъ, какъ-будто все сказанное ею и то, что впереди предстояло, требовало величайшей тайны: — она какъ послѣдній разъ къ намъ приходила, Катерина-то, очень сокрушалась насчетъ пряжи, подхватила хозяйка Андреи:—такъ скажи ей, касатушка, льномъ, скажи, теперь раздобылись... Пусчай пріѣдетъ, возьметъ. Ну, вотъ также, коли потребуется донецъ и веретёна—у насъ все это есть; скажи, либо сама зайди; либо ее пришли, касатушка... дѣло наше такое сосѣдское, въ чемъ я ей послужу, въ чемъ она мнѣ.

— Спасибо, тётушка Прасковья, вѣкъ, кажись, должны мы тебя помнить, вымолвила Маша, стирая ладонью слезы.

— Такъ-то, родная! Ну, Господь съ тобою! Смотри же, скажи обо всемъ матери-то... Да сама-то, смотри, заходи къ намъ.

Прасковья и ребятишки проводили Машу за околицу; тутъ

они простились еще разъ, наказали дѣвушкѣ заглядывать къ нимъ почаще и оставили ее одну на дорогѣ къ степной мазанкѣ.

Вечеръ былъ чудесный, одинъ изъ тѣхъ ясныхъ, блестящихъ вечеровъ, которые являются въ исходѣ осени передъ порою дождей и ненастья. Куда ни обращаешь взоръ, всюду какъ-будто встрѣчаешь быстро удаляющійся образъ лѣта, которое, время отъ времени, оборачивается назадъ и бросаетъ прощальную, меланхолически-задумчивую улыбку. Воздухъ, освѣженный холодными утренниками и зорями, освобожденный отъ земныхъ испареній первыми легкими морозцами, получаетъ остроту и звонкость и живительно возбуждаетъ нервы; небо уходитъ какъ-будто выше въ глубину и не омрачается ни одной тучкой; поблѣднѣвшее солнце свѣтитъ какъ-то бокомъ, но косвенные, похолодѣвшіе лучи его сообщаютъ всѣмъ предметамъ необыкновенный блескъ и яркость, особенно по вечерамъ, когда лучи дѣлаются еще наклоннѣе; деревья, съ пожелтѣвшими листьями, стоятъ отъ маковки до корня, всѣ золотыя, какъ въ сказкахъ; блѣдно-желтое жнивьё принимаетъ янтарный отливъ: поля и степь охватываются пурпуромъ и темною, густою лазурью. Кровли отдаленныхъ избушекъ, черныя, сухія вѣтви дубовъ, опустѣлыя скворечницы и колодезные шесты — четкими линіями обозначаются теперь въ чистомъ небѣ, какъ-бы проникнутомъ зеленоватою сквозниною. Яркость красокъ замѣняетъ теперь звуки, замѣняетъ оживленіе и дѣятельность природы. Бо́льшая часть птицъ уже улетѣла; по дорогамъ между полями не раздается скрипа телѣгъ, тяжело навьюченныхъ снопами; къ нему не присоединяются ни ржаніе жеребенка, ни голоса и пѣсни возвращающихся жницъ и косарей. Земля какъ-будто кончила свое дѣло, отдала посильные дары свои человѣку и отдыхаетъ. Тишина на землѣ и въ небѣ ничѣмъ не нарушается; изрѣдка въ ясной глубинѣ небеснаго свода покажется линія чуть-видныхъ, двигающихся къ югу точекъ, журавлиный крикъ разнесется далеко въ звонкомъ воздухѣ, въ отвѣтъ ему изъ ближайшей деревушки раздадутся радостныя дѣтскія восклицанія, и снова оживленная на мигъ окрестность погружается въ сонливое, задумчивое молчаніе. Но Маша оставалась совершенно-равнодушною къ чудному вечеру, который обнималъ степь; она ни разу не взглянула на ясное небо, ни разу не обернулась, чтобъ полюбоваться солнечнымъ закатомъ: она охотно промѣняла бы теперь всю прелесть природы на мѣру картофеля, на куль муки, въ которыхъ такъ крѣпко нуждалось ея семейство.

Не спѣшите заключать, о мои читательницы, перелистывающія теперь страницы этой повѣсти вашими нѣжными пальчиками, не спѣшите заключать, что молоденькой мужичкѣ во всякомъ случаѣ свойственнѣе думать о мукѣ и картофелѣ, чѣмъ устремлять мысли къ предметамъ болѣе возвышеннымъ, къ такимъ предметамъ, которые васъ только однѣхъ занимать могутъ! Я не сомнѣваюсь въ поэтическихъ свойствахъ вашей души и вашего воображенія; но не сомнѣваюсь также и въ томъ, что поэзія эта не столько составляетъ принадлежность исключительно одаренной природы, сколько, попросту, находится въ зависимости отъ обстоятельствъ, или счастливой обстановки жизни. Если вы восхищаетесь солнечнымъ закатомъ, если устремляете къ небу прекрасные глаза и такъ мило произносите: Oh que c'est beau! повѣрьте, это доказываетъ только, что вамъ нѣчего думать о недостаткѣ муки и картофеля: ваши близкіе, или ваши дѣти здоровы и сыты, сердце ваше спокойно или радостно бьется, вамъ очень пріятно гулять по полю послѣ чая, или очень удобно сидѣть на балконѣ въ ожиданіи чая съ отличнымъ бѣлымъ хлѣбомъ и привлекательными картинками—право такъ! Не спѣшите, слѣдовательно, дѣлать заключенія о грубыхъ душевныхъ свойствахъ такого-то человѣка, или сословія; справьтесь прежде объ обстоятельствахъ человѣка или сословія: тогда ужъ и заключайте...

Маша не могла принести домой даже слова утѣшенія; она судила о матери по себѣ: готовность Андрея и жены его подсоблять ея семейству, конечно, могла обнадежить Катерину; но вмѣстѣ съ тѣмъ готовность эта не открывала ли бѣдной женщинѣ, какъ, въ самомъ-дѣлѣ, велики были ея нужды, какъ сильно застигли ее тяжкія обстоятельства! Нельзя поручиться, чтобъ мысли молоденькой дѣвушки исключительно принадлежали ея семейству: онѣ уносились, и даже очень часто, въ сторону совершенно противуположную той, гдѣ находилась мазанка. Она напрягала воображеніе, стараясь представить себѣ уѣздный городъ; дѣло было довольно трудное, потому-что она не бывала въ городѣ. Городъ самъ по себѣ нисколько не занималъ ее, но она мысленно бродила по улицамъ, заглядывала по дворамъ и въ домы, останавливалась передъ окнами. Сколько ни работало, однакожъ, воображеніе Маши, мысленный взоръ ея все-таки не отыскивалъ знакомаго лица, нигдѣ не встрѣчалъ широкой улыбки столяра Ивана. Онъ точно въ воду канулъ; Маша знала, что ему возвратили свободу послѣ перваго допроса.

онъ согласился даже вернуться изъ уѣзднаго города вмѣстѣ съ Лапшою и Катериной, но послѣдніе передъ отправленіемъ своимъ не нашли Ивана: онъ вдругъ пропалъ. Нужно было имѣть каменное сердце, чтобъ не тревожиться. Сердце же Маши отличалось мягкостью, и притомъ Иванъ былъ такой добрый парень, такой давнишній знакомый (они игрывали еще ребятишками на улицѣ Мàрьинскаго), что неизвѣстность о немъ, весьма естественно, усиливала грусть дѣвушки.

Она шла очень скоро; почти незамѣтно миновала она пространство, отдѣлявшее хуторъ отъ мàзанки. Подлѣ дома, который отъ макушки до основанія освѣщался заходящимъ солнцемъ, никого не было; гдѣ-то, въ отдаленіи, слышались возгласы трехъ мальчугановъ и лай Волчка; безъ этихъ криковъ и лая можно было думать, что версты на четыре кругомъ не было живаго существа — такъ тихо было въ степи и въ мàзанкѣ. Маша оставила у порога узелокъ и вошла въ домъ. Первый предметъ, попавшійся ей на глаза, былъ отецъ; онъ лежалъ въ углу на лавкѣ; лучъ солнца врывался въ окна мáзанки и, падая на печь, разливалъ такой свѣтъ въ уголъ, гдѣ лежалъ Лапша, что легко было разсмотрѣть лицо его. Оно сильно измѣнилось съ-тѣхъ-поръ, какъ мы его не видѣли: даже Маша, бывшая дома дней пять назадъ, нашла въ отцѣ перемѣну. Всѣ черты его усиленно тянулись теперь книзу; выступающіе углы щекъ, лба и подбородка заострились; на рукахъ оставалась только кожа; густыя брови безсильно свѣшивались надъ глазными впадинами, которыя казались совершенно-черными, и еще рѣзче выступала между ними бѣловатая, тонко заостренная переносица. Лапша не охалъ теперь, не стоналъ и не жаловался; быть-можетъ, онъ сознавалъ даже всю безполезность возбуждать къ себѣ состраданье; состраданье невольнымъ образомъ вырывалось у каждаго, кто видѣлъ Лапшу; успѣхи его болѣзни, его безсиліе и изнеможеніе были слишкомъ очевидны. Извѣстіе обо всемъ случившемся въ усадьбѣ Карякина, поимка Филиппа не такъ еще подѣйствовали на Лапшу, какъ то, что его самого потребовали къ допросу; все это вмѣстѣ такъ потрясло его, такъ напугало, что Катерина не чаяла уже привести его живаго домой. Съ-тѣхъ-поръ Лапша пересталъ охать и не вставалъ съ лавки. Онъ не повернулъ даже головы при входѣ дочери.

Увидя Машу, Катерина, сидѣвшая неподалеку отъ мужа и кормившая послѣдняго своего ребенка, раскрыла удивленные глаза.

Она съ перваго взгляда поняла, что съ дочерью случилось что-нибудь особенное, иначе ей нѣзачѣмъ было являться домой въ рабочій день и въ такую пору. Не давъ Машѣ выговорить слова, она кивнула головою на отца и выразительно указала глазами на дверь. Узелокъ, оставленный на порогѣ, убѣдилъ Катерину, что догадки не обманули ее. Лицо Катерины во все время, какъ слушала она объясненіе дочери, сохраняло выраженіе грустнаго раздумья и вмѣстѣ съ тѣмъ какого-то спокойствія и покорности. Она не произнесла слова негодованія или жалобы противъ судьбы, которая въ этотъ послѣдній годъ посылала ей, одинъ за другимъ, такіе жестокіе удары; еще менѣе думала она упрекать дочь. Еслибъ удаленіе изъ Панфиловки произошло даже по винѣ Маши, и тогда, кажется, Катерина выслушала бы ее снисходительно. Послѣ несправедливыхъ подозрѣній и побоевъ—словомъ, послѣ сцены съ дочерью въ ригѣ Андрея, Катерина обращалась съ ней ласковѣе. чѣмъ когда-нибудь: ей какъ-будто хотѣлось загладить жестокое обращеніе съ дочерью; это стараніе не ускользало отъ вниманія дѣвушки, но было совершенно излишне: дочь давнымъ-давно забыла материнскіе побои, несправедливыя проклятія и подозрѣнія. Вообще говоря, послѣднія происшествія съ Филиппомъ, болѣзнь мужа, мысль о Петѣ и сцѣпленіе тяжкихъ обстоятельствъ замѣтно надломили энергію, которою до-сихъ-поръ отличалась Катерина. Она казалась постарѣвшею десятью годами.

— Вотъ до чего дожили! вымолвила она, когда дочь передала ей слова Андрея и Прасковья: — кабы не люди добрые, не знать бы намъ, что и дѣлать...

Она не договорила. Подпершись ладонью голову, она съ минуту глядѣла на степь, потомъ провела пальцами по глазамъ и сказала, перемѣнивъ вдругъ голосъ:

— Не слыхала ли чего-нубудь о нашей Дунѣ?... Можетъ, кто изъ города приходилъ, сказывалъ...

— Нѣтъ, матушка, никто не былъ, возразила Маша, прикладывая ладонь ко лбу и поворачиваясь къ хутору.

Съ нѣкоторыхъ поръ, въ той сторонѣ немолчно раздавалась пѣсня.

— Ну, и о Ванѣ также ничего не сказывали? никакихъ нѣтъ слуховъ? спросила мать.

— Нѣтъ, матушка, проговорила Маша, не обращая теперь

вниманія на пѣсню, которая между-тѣмъ становилась звонче и замѣтно приближалась.

— Ужъ Богъ знаетъ какъ и думать! продолжала Катерина: — хоть бы слухъ о себѣ подалъ... Все думается: не случился ли грѣхъ какой, право; потому за нимъ нѣтъ этого, чтобъ онъ худыми дѣлами занимался; ни пьяница онъ, ни аладырный какой человѣкъ... Кабы работа нашлась, либо нанялся гдѣ, все бы пришелъ къ намъ, въ городъ-то, все бы сказался... А то нѣтъ: ждали, ждали — нейдетъ да и полно... Право, даже сумлѣнье беретъ...

Голосъ, напѣвавшій пѣсню, заливался все ближе и ближе; на этотъ разъ и мать, и дочь обратились къ хутору; обѣ рѣшили, что кто-то направился въ ихъ сторону; но сколько ни щурились онѣ, сколько ни старались разсмотрѣть впереди себя, лучи солнца, которое прямѣхонько спускалось передъ глазами, мѣшали имъ удовлетворить любопытству. Нѣсколько минутъ спустя, пѣсня вдругъ замолкла, но, вмѣсто нея, Катерина и Маша явственно услышали, какъ тотъ же голосъ назвалъ ихъ по имени. При этомъ обѣ сдѣлали нѣсколько шаговъ впередъ. Грустное лицо Катерины какъ-будто даже оживилось; щеки Маши вспыхнули: онѣ узнали голосъ. Вскорѣ всѣ сомнѣнья Маши и Катерины касательно столяра исчезли какъ дымъ: онъ стоялъ передъ ними.

Въ первую минуту Ваня не могъ слова выговорить; онъ едва переводилъ духъ отъ усталости. Ноги его, покрытыя пылью выше колѣнъ, свидѣтельствовали о дальнемъ пути и притомъ очень спѣшной ходьбѣ. Несмотря на свѣжесть воздуха, потъ струился по лицу его; волосы въ безпорядкѣ разсыпались изъ-подъ ветхаго картуза. Но безпорядокъ въ одеждѣ и суетливость въ чертахъ и движеньяхъ ни въ какомъ случаѣ не выражали теперь внутренней тревоги; совсѣмъ напротивъ, круглое лицо Ивана сіяло выраженьемъ самаго полнаго счастья и довольства; глаза его радостно блистали; улыбка расходилась въ обѣ стороны, дальше даже обыкновеннаго.

— Здравствуй, тётушка Катерина! здравствуй, Маша!... Охъ!... ухъ!... какъ запыхался!... все бѣжалъ!... воскликнулъ онъ, бросаясь то къ одной, то къ другой. Сейчасъ на хуторѣ былъ, подхватилъ онъ, дѣлая пояснительные жесты и самъ посмѣиваясь надъ усиліями, какія долженъ былъ дѣлать, чтобъ продолжать разговоръ: — пришелъ къ Андрею: онъ все разсказалъ о Машѣ... барыня велѣла... ничего! Все хорошо, тётушка Катерина, очень хорошо!... Сейчасъ изъ города... Сорокъ оконныхъ рамъ... три сдѣ-

лалъ; шесть цѣлковыхъ!... по два за раму!... Слава Богу... Ухъ! дайте духъ перевести...

Изъ всего этого Катерина и Маша поняли только, что онъ сейчасъ пришелъ изъ города и былъ въ Панфиловкѣ, гдѣ Андрей сообщилъ ему объ удаленіи Маши. Рамы, шесть цѣлковыхъ и болѣе всего радость Ивана, причину которой никакъ не могли онѣ истолковать себѣ, сбивали ихъ съ толку.

— Хотѣлось васъ провѣдать... порадовать хотѣлъ. Слышь: сорокъ рамъ!... За три ужъ деньги получилъ, шесть цѣлковыхъ! Ничего, тётушка Катерина, что она дома жить станетъ, это все ничего, ты объ этомъ не думай: авось, Богъ дастъ, теперь всѣ поправимся...

— Да что жъ такое? я все въ толкъ не возьму, чему радуешься-то? спросила Катерина.

— Погоди... сейчасъ... Ухъ! смерть упыхался... все въ бѣжкѝ да въ бѣжкѝ, отъ самаго, почитай, отъ хутора.

Катерина подвела его къ колодцу, заставила сѣсть и сама сѣла. Маша остановилась передъ ними, закрывъ ладонью глаза отъ солнца, которое освѣщало повеселѣвшее лицо ея.

— Что жъ ты до-сихъ-поръ въ городѣ-то дѣлалъ? Хотѣлъ съ нами идти оттуда, до самаго вечера ждали; куда жъ ты дѣлся-то? Ничего я не разберу, что говоришь-то, сказала Катерина.

— А вотъ вишь ты, началъ Иванъ, выказывая веселость, которая замѣтно переходила также къ Машѣ (даже на губахъ Катерины время отъ времени появлялась улыбка):—вышло дѣло такое, никакимъ манеромъ нельзя было упредить васъ... Какъ вышелъ изъ суда-то, какъ спрашивать-то меня кончили... знамо, очень ужъ обрадовался, вонъ скорѣй... а тутъ у самыхъ дверей городничій стоитъ.

— Ты, говоритъ, братецъ, столяръ?—онъ еще прежде въ судѣ меня видѣлъ, такой ласковый... Какъ сказалъ я ему: „столяръ, говорю, сударь“ — велѣлъ за собою идти. Пришли къ нему въ домъ; сталъ опять водить меня по всѣмъ комнатамъ... У него, значитъ, рамы худо запирались, такъ которую починить велѣлъ...

— Ужъ неужели тебѣ оторваться-то нельзя было?... На минуту отпросился бы, все бы тогда знали о тебѣ, сумнѣваться не стали бы...

— То-то и есть никакимъ манеромъ нельзя, тётушка Катерина, съ живостью перебилъ Иванъ. — Ты погоди только, все раз-

скажу. Ну, вотъ, тѣмъ временемъ, какъ я у городничаго-то, наѣзжаетъ къ нему помѣщикъ... Ты слушай только... Вотъ какъ увидѣлъ онъ меня — а я тутъ же въ комнатѣ стоялъ, задвижку въ раму врѣзывалъ — а онъ, слышь, затѣмъ и пріѣхалъ: оченно столяръ требовался... То-то поглядѣла бы ты, что было-то! Помѣщикъ себѣ желаетъ, городничій себѣ — чудные право такіе!... Спорили, спорили, помѣщикъ городничаго-то одолѣлъ, меня выпросилъ... Я и давай тогда проситься. „Такъ-и-такъ, говорю, ваше высокоблагородіе: у меня здѣсь сродственники, надо сказаться, дожидать станутъ, посулилъ вмѣстѣ въ деревню идти...“ Ничего этого не слушаетъ, я ему свое, онъ свое. „Ладно, говоритъ, уйдешь, гдѣ тебя искать!...“ Сейчасъ же велѣлъ сѣсть къ себѣ на козлы и повезъ въ деревню — торопыга такой! а впрочемъ, во всемъ остальномъ ласковый; сулитъ: „работы, говоритъ, пропасть; я, говоритъ, тебя не обижу, будешь доволенъ!“ Ну и точно: сейчасъ, это, какъ пріѣхали въ деревню, велѣлъ накормить меня, потомъ велѣлъ одну раму сдѣлать; какъ сдѣлалъ, онъ всѣ рамы со всего дома — а домъ у него новенькій, только-что выстроенъ — всѣ рамы мнѣ отдалъ: сорокъ рамъ! По два цѣлковыхъ за штуку подрядился! Окромѣ того, другая еще работа будетъ, насчетъ, то-есть, мебели... Нанялся я у него до самой до зимы, тётушка Катерина!...

— Ну, слава Богу, Иванушка! слава Богу!

— Слава Богу! И я тоже говорю: слава Богу, тётушка Катерина! перебилъ Иванъ, которому очень трудно было усидѣть на мѣстѣ: радость такъ и подмывала его. — Сначатія-то, какъ сталъ я у него проситься къ вамъ сходить, осерчалъ маненько, а потомъ обошлось; деньги за три рамы, которыя сдѣлалъ, шесть цѣлковыхъ, отдалъ; велѣлъ приходить черезъ три дня. Я потому больше, васъ добрѣ хотѣлось провѣдать... Вотъ, тётушка Катерина, всѣ эти дѣла, которыя у васъ теперича, все это ничего... Надо надѣяться, справимся какъ-нибудь... Слышь: сорокъ рамъ! восемьдесятъ цѣлковыхъ! да тамъ другой еще работы наберется...

— Дай тебѣ Богъ... хорошо все это... промолвила Катерина. — Ну, а идучи городомъ-то, не заходилъ ли къ Дунѣ? Что она, сердечная?...

— Какже, тётушка, заходилъ! Меня къ ней не допустили; сказывали только: оченно плоха... а жива еще, жива!... А насчетъ, то-есть, Филиппа, также сказывали: въ Москву отправили, и мальчика отправили; тамъ судить будутъ... Ну, а у васъ какъ?

все ли благополучно? Что дядя Тимофей? все нездоровится? Андрей сказывалъ: очень вишь разнемогся...

— Даже не встаетъ съ лавки... признать трудно, сказала Маша.

— Очень, очень плохъ, Ваня, примолвила Катерина: — сдается мнѣ, врядъ встать; совсѣмъ ужъ къ тому дѣло идетъ... право...

— Полно, тётушка Катерина, Богъ милостивъ! Будешь все такъ-то думать, хуже встоскуешься! Ты объ этомъ не думай, право; а пуще всего не думай объ этихъ обо всѣхъ дѣлахъ своихъ; теперь, авось, справимся.

— Ты, Иванушка, поужинай съ нами, перебила Катерина, приподымаясь съ мѣста и поглядывая на корову, возвращавшуюся домой сама собой: — угощать тебя не станемъ: нѣчѣмъ, касатикъ!... Хлѣбецъ одинъ да молочка похлебаешь съ моими ребятишками...

— Вотъ! рази я гость у васъ? Я вѣдь все это знаю, тётушка Катерина; ты, право, напрасно говоришь все такое, ей-Богу! произнесъ Иванъ, поглядывая на мать и на дочь и выказывая на лицѣ своемъ въ одно и то же время и робость, и какую-то неловкость.

Онъ хотѣлъ еще что-то прибавить, но Катерина опять его не дослушала; она обратилась къ дочери и велѣла ей сходить за ребятишками, голоса которыхъ продолжали раздаваться въ отдаленіи. Маша, совсѣмъ ужъ развеселѣвшая, тотчасъ же отправилась. Катерина, между-тѣмъ, подогнала корову къ колодцу и ушла въ мазанку.

Первымъ дѣломъ Ивана, когда онъ остался одинъ, было отряхнуть пыль, покрывавшую его ноги; потомъ, снявъ картузъ и пригладивъ волоса, онъ охорашивался съ такимъ видомъ, какъ-будто передъ нимъ находилось огромное зеркало, въ которомъ онъ могъ осматривать себя съ головы до ногъ. Приведя такимъ-образомъ въ порядокъ свою одежду и наружность, онъ вытащилъ изъ-за пазухи платокъ, развязалъ зубами крѣпко затянутый узелокъ и вынулъ, счетомъ, шесть цѣлковыхъ. Но деньги эти мгновенно исчезли съ его ладони, какъ-только Катерина показалась на порогѣ мазанки съ горшкомъ въ рукахъ. Неловкость, начинавшая примѣшиваться къ радости молодаго парня, еще замѣтнѣе овладѣла имъ, когда онъ подошелъ къ Катеринѣ: онъ очевидно затруднялся теперь не только въ томъ, какъ повести рѣчь, но даже какъ-бы удобнѣе подойти къ бабѣ: зайдетъ за ея спину — солнце бьетъ по

глазамъ; повернется спиною къ солнцу — прямёхонько подвертывается на глаза Катерина, а ему не хотѣлось, чтобъ она замѣтила его неловкость; наконецъ онъ прислонился къ двери, такъ-что Катерина, присѣвшая доить корову, могла видѣть одну половину его улыбки, другая же половина улыбалась степи и заходившему солнцу.

— Вотъ... я хотѣлъ попросить тебя, тётушка Катерина, началъ Иванъ, крѣпко сжимая деньги ладонью:—слышь, которыя я деньги получилъ, шесть цѣлковыхъ, побереги ихъ, пожалуйста: мнѣ они ненадобны, право-слово... теперича время такое... потому-что у меня все есть... примѣрно... У того барина ни въ чемъ, значитъ, не нуждаюсь; возьми это, пожалуйста... схорони...

— Что жъ, пожалуй. Вотъ это хорошо, что бережешь деньги-то; завсегда отдавай мнѣ: у меня, не бойсь, не пропадутъ.

— Знаю, тётушка, знаю; а пропадутъ, ну такъ что жъ? все это, значитъ, ничего... У меня скорѣй унесутъ... Ну, тамъ, коли тебѣ что потребуется... ты, тётушка Катерина, возьми да купи... это, значитъ, все единственно.

— Ну, нѣтъ, Иванушка, это негодится: деньги твои, подъ сохраненіе далъ, я беречь должна... Нѣтъ, ты это напрасно...

— Нѣтъ, *ты* напрасно, тётушка Катерина... напрасно говоришь такъ... Что за важность, коли ты истратишь—все это на дѣло пойдетъ... право, на дѣло самое настоящее... Къ тому, рази я вамъ чужой? Можетъ, еще... гм!... коли Господь создастъ... гм!... то-есть...

Тутъ Иванъ остановился и съ минуту вертѣлъ цѣлковыми.

— Мнѣ это ничего... право-слово, ничего, тётушка Катерина, началъ онъ, производя такія улыбки, какихъ вѣрно еще никто не видывалъ:—я, вѣдь, настоящее говорю: вѣдь иные-то родные хуже чужихъ; значитъ, кому какіе нападутся... Вотъ хошь бы вы теперича: неужлижъ я скотъ какой? я вѣкъ долженъ ваши добродѣтели помнить, потому съ самаго измалѣтства...

Говоря все это, Иванъ не переставалъ вертѣть и перевертывать свои цѣлковые; рѣчь его до-того стала путаться и голосъ такъ измѣнился, что Катерина подняла голову.

— Это ты, тётушка, сколько дала за корову-то? Хороша оченно! Ужъ такая-то животина, лучше быть нельзя! вымолвилъ неожиданно Ваня, разглядывая животное.

Катерина невольно усмѣхнулась.

— Развѣ ты впервòй ее видишь? сказала она, принимаясь снова за свое дѣло: — что́ это тебѣ вздумалось? она у насъ вотъ ужъ никакъ пятый мѣсяцъ.

— Нѣтъ, я такъ, тётушка Катерина, потому больше спросилъ, что въ городѣ, какъ шелъ къ вамъ, такую вотъ точно корову видѣлъ... точь-въ-точь... оченно ужъ дешево отдавали. Только мнѣ нѐ зачѣмъ! Я такъ говорю, къ случаю; потому, когда человѣкъ семейный, ну, ему тогда все это требуется. Безъ коровы, знамо, никакъ нельзя; а мнѣ зачѣмъ она? Другое дѣло, кабы... гм!... то-есть... гм!... Можетъ, Господь благословитъ... тогда я все это... Я такъ къ примѣру...

Иванъ снова сбился съ толку; чтобъ поправиться, онъ поспѣшилъ провести ладонью по лицу, на которомъ снова выступили капли пòта; но это не помогло; онъ началъ кашлять, прищуривалъ глаза, раскрывалъ ихъ, опять кашлялъ, и опять-таки ничего изъ этого не вышло. Едва только языкъ его произносилъ первое слово изъ разговора, который такъ хорошо обдумалъ онъ дорогой, едва приходила ему мысль объ этомъ разговорѣ, его кидало тотчасъ же въ потъ, онъ путался и сбивался съ толку. Наконецъ онъ рѣшился отложить до завтра объясненіе съ тётушкой Катериной. Вмѣстѣ съ этой рѣшимостью почувствовалъ онъ вдругъ необыкновенное облегченье: точно гиря свалилась съ плечъ; онъ заговорилъ съ прежней развязностью и непринужденіемъ; но бесѣда не могла долго продолжаться: голоса Маши и трехъ мальчугановъ, возвращавшихся домой, раздавались уже шагахъ во ста отъ мàзанки. Иванъ пошелъ къ нимъ навстрѣчу — и, по прошествіи десяти минутъ, всѣ стояли подлѣ колодца, не выключая Волчкà, который, желая, вѣроятно, выразить Ивану свою радость, подпрыгивалъ ему чуть не къ самому носу.

— Полно вамъ, полно! экіе шалагàны, прости Господи! вымолвила Катерина, слегка похлопывая ребятишекъ, которые облѣпили плечи и спину Ивана: — прочь пошли! Маша, хошь бы ты заступилась... Шутка, вѣдь сорокъ верстъ ноньче прошелъ... Прочь пошли, баловники!

— Ничего, тётушка Катерина, это мнѣ ничего, право-слово; значитъ, мнѣ обрадовались, твердилъ Иванъ, сильно, однакожъ, покрякивая подъ бременемъ трехъ озорниковъ, изъ которыхъ ужъ одинъ, пучеглазый Костюшка, вѣсилъ безъ малаго полтора пуда.

— Эхъ ты, добрая душа! добрая душа! сказала Катерина,

между-тѣмъ, какъ Маша, забывъ всѣ свои горести, смѣялась звонкимъ, веселымъ смѣхомъ.—Ну, однако, время, ребятушки, время; пойдемте-ка ужинать, Я, чай, и отецъ насъ дожидаетъ; мы совсѣмъ забыли его... Пойдемте ужинать, заключила она, подымая горшокъ съ молокомъ и направляясь къ двери мазанки.

Всѣ послѣдовали за нею. Солнце только-что скрылось за горизонтомъ; снопы золотыхъ лучей все шире и шире разбѣгались по чистому, слегка-зарумяненному небу; все обѣщало назавтра ясный хорошій день.

IV.

Петя отыскался.

Мы попросимъ теперь читателя переселиться въ огромное, великолѣпное село Сосновку. Переселеніе не можетъ быть сопряжено съ большими трудностями: село пользуется извѣстностью не только въ своемъ уѣздѣ, но даже въ бо́льшей части того края. Стоитъ прійдти въ любой городъ губерніи и спросить: какъ пройдти въ Сосновку?—вамъ тотчасъ же со всѣми подробностями разскажутъ дорогу. Такая извѣстность основывается на многихъ причинахъ: въ Сосновкѣ ежегодно происходитъ четыре ярмарки; по воскреснымъ днямъ и праздникамъ здѣсь бываютъ значительные базары; сюда стекаются за пятьдесятъ, за семьдесять верстъ, для покупки рабочихъ лошадей, для найма батраковъ, которые приходятъ изъ о́крестныхъ деревень. Но собственно торговлей занимаются весьма немногіе; бо́льшая часть народонаселенія (около двухъ тысячъ душъ) съ поконъ-вѣку занимается плотничнымъ ремесломъ; они собираются артелями, подъ предводительствомъ своего же сосновскаго подрядчика, и обходятъ почти всю Россію: бываютъ на Дону, въ Астрахани, по берегамъ Волги, заходятъ иногда даже въ отдаленную часть Сибири. Промышленность края рождается всегда изъ мѣстныхъ условій. Сосновскія земли плохи; ихъ даже мало, относительно народонаселенія; богатство села и вообще той части губерніи составляютъ лѣса; иногда верстъ тридцать, сорокъ, приходится ѣхать лѣсомъ, ничего не встрѣчая, кромѣ исполинскихъ елей, ничего не обоняя, кромѣ запаха смолы и дыма, который медленно тянется между стволами, когда въ сторонѣ гдѣ-нибудь гонятъ деготь.

Издали Сосновка представляется богато-заселеннымъ островомъ, кинутымъ посреди темно-синяго моря лѣса, которое, подобно настоящему морю, сливается съ горизонтомъ и точно такъ же шумитъ, даже въ тихую погоду. Большая почтовая дорога, пролегающая черезъ село, и Ока, омывающая одинъ бокъ его, значительно оживляютъ промышленность. Въ половодье вся поверхность рѣки покрывается плотами, которые гонятъ отсюда въ Москву; круглый годъ, на берегахъ строятся расшивы, катаются брёвна, пилится лѣсъ, громоздятся горы досокъ и правильными рядами лѣпятся по берегу длинныя-длинныя вёсла, служащія рулемъ, правилóмъ на баркахъ. Въ Сосновкѣ три каменныя церкви и дюжина каменныхъ домовъ, крытыхъ желѣзомъ. Въ церквахъ вы найдете нѣсколько большихъ ризъ и паникадилъ изъ чистаго серебра; въ одной церкви иконостасъ стоилъ девять тысячъ—все это усердныя приношенія зажиточныхъ сосновскихъ крестьянъ. Выѣзжая на улицу (ихъ всего пять; главная, по которой идетъ почтовая дорога и которая ведетъ къ мосту черезъ Оку, занимаетъ середину села), вы чувствуете какую-то необыкновенную легкость и радость на сердцѣ при видѣ здороваго, довольнаго, счастливаго человѣка. Прежде еще, чѣмъ узнаете вы источники богатства Сосновки, прежде, чѣмъ скажутъ вамъ, что село это находится подъ вѣдѣніемъ удѣловъ, вы невольно подумаете: „Нѣтъ, это не чета моей „Обсòсовкѣ“, или „Заложòнкѣ“—нѣтъ, не то, совсѣмъ не то!“ Здѣсь на сто крышъ не встрѣтите одной, которая провалилась бы не отъ тяжести навьюченной на нее соломы—нѣтъ, напротивъ, оттого, что стропила, за недостаткомъ соломы, подгнили и обрушились. У васъ, въ „Обсòсовкѣ“, или „Заложòнкѣ“ очень многіе побираются; здѣсь нѣтъ этого и въ номинѣ. Если попадается перекосившаяся избёнка, она, вѣрно, принадлежитъ пьяницѣ, или тунеядцу. Въ большой семьѣ не безъ криваго или косаго. Особенно поражаютъ сосновскія улицы въ воскресный день, когда весь сосновскій людъ пойдетъ въ церковь, или возвращается изъ церкви—просто гуляетъ! Синихъ кафтановъ не перечтешь; при солнечномъ освѣщеніи васъ непремѣнно ослѣпитъ яркая пестрота шелковыхъ платковъ, ситцевыхъ юбокъ, синихъ, красныхъ и желтыхъ передниковъ и коротàекъ, изъ которыхъ очень много плисовыхъ и даже штофныхъ. Въ воскресный день пирогъ съ кашей или капустой въ Сосновкѣ вещь самая обыкновенная; здѣсь никто не удивляется щамъ съ бараниной; остановившись у любаго сосновскаго мужика, попробовавъ его щей и по-

смотрѣвъ на его житьё-бытьё, вы никакъ не утерпите, чтобъ снова не сказать себѣ: „нѣтъ, это не чета моей „Обсо̀совкѣ“, или „Заложо̀нкѣ!“

Но мы удалились отъ главной цѣли разсказа. Хотя описаніе Сосновки непремѣнно входило въ составъ цѣлей предлагаемаго романа—цѣлей, очень плохо достигнутыхъ и, вѣроятно, такихъ же безполезныхъ, какъ и всѣ остальныя—но все-таки лучше обратиться скорѣе къ главной цѣли: она заключается въ томъ теперь, чтобъ по возможности поспѣшнѣе избавить читателя отъ этой, безъ сомнѣнія, давно уже наскучившей ему повѣсти.

Сосновка является теперь передъ нами въ самомъ выгодномъ видѣ: день воскресный; часъ шестой вечера; улицы полны народомъ. Октябрское солнце начинаетъ уже клониться къ горизонту; лучи его играютъ на куполахъ трехъ церквей, ярко окрашиваютъ макушки высокихъ сосновыхъ избъ и, врываясь кое-гдѣ между домами и проулками, проходятъ огненными полосами черезъ всю улицу, задѣвая на пути гдѣ лицо, гдѣ синюю спину, гдѣ красную шелковую шубейку, гдѣ цѣликомъ врѣзываются въ толпу и превращаютъ въ огонь всѣ лица и наряды. Въ Сосновкѣ теперь и людно, и шумно, и весело. У каждыхъ почти воротъ сидятъ старики и старухи съ ребятишками; въ разныхъ концахъ слышатся хороводныя пѣсни. Молодыя бабы стоятъ кучками то здѣсь, то тамъ, и звонко, немолчно тараторятъ. Подъ березами, лишенными уже листьевъ и возвышающимися подлѣ церковной ограды, нѣсколько бабъ, дѣвокъ и парней плотно обступили возъ съ краснымъ товаромъ; десятки вопросовъ и требованій осаждаютъ торгаша; надо удивляться, ка̀къ одинъ человѣкъ можетъ въ одно и то же время удовлетворять любопытныхъ, поспѣвать вынимать требуемыя запонки, ножницы, иголки, бусы, гребенки и считать деньги.

Такая точно мысль занимала, кажется, знакомаго намъ подрядчика Никанора Ивановича, того самаго, который взялъ Петю на поруки. Онъ сидѣлъ на лавочкѣ у воротъ своей избы, стоявшей прямо противъ церковной ограды, такъ-что ему легко было слышать всякое слово изъ того, что̀ говорилось въ толпѣ, окружавшей торгаша. Рядомъ съ Никаномъ сидѣла жена его, женщина лѣтъ сорока-пяти. На сколько мужъ былъ сановитъ и статенъ, несмотря на свои пятьдесятъ лѣтъ, на столько жена была мала и незамѣтна; но разница въ ростѣ не мѣшала имъ жить очень ладно. Однимъ обижался Никаноръ: дѣтей Богъ не давалъ; но и это

обстоятельство не нарушало согласія супруговъ. Оба дружелюбно теперь калякали и, наблюдая толпу и торгаша, посмѣивались надъ суетливостью послѣдняго. Иногда бесѣду нарушалъ сосѣдъ или другой, проходившій мимо, сосновскій житель; начинались разспросы о томъ, о сёмъ, при чемъ Никаноръ не пропускалъ случая дѣлать любимое свое движеніе: разсѣкалъ ладонью правой руки широкую свою бороду на двѣ равныя части, бралъ каждую часть порознь въ руку и какъ-будто выжималъ изъ нея воду. Сосѣди кланялись, расходились, и Никаноръ съ женою снова принимались поглядывать на толпу и продолжали посмѣиваться надъ суетою торгаша.

Но потому ли, что торгашъ, возившійся два часа, выбился изъ силъ, или потому, наконецъ, что товаръ значительно уменьшился и не было уже возможности удовлетворять требованіямъ, онъ объявилъ, что торгъ конченъ. Толпа стала рѣдѣть вокругъ воза. Двѣ молоденькія бабёнки настойчиво было-приступили, одна съ ножницами, другая съ тесемкой, но торгашъ наотрѣзъ сказалъ, что нѣтъ у него ни того, ни другаго и, безъ дальнихъ церемоній, принялся увязывать кожей подводу. Толпа окончательно расходилась; да и время приближалось къ ужину; солнце начинало садиться. Увязавъ возъ, торгашъ сѣлъ на облучокъ, поправилъ мѣховую свою шапку съ тяжеловѣсной макушкой, которая какъ-будто двигалась сама собою (лѣзла на глаза, когда шапку отодвигали на затылокъ, и сползала на затылокъ, когда шапка наѣзжала на глаза), торгашъ началъ осматриваться во всѣ стороны широкой улицы. Вездѣ былъ народъ, но никто теперь не обращалъ на него вниманія: кто шёлъ, кто бродилъ взадъ и впередъ, кто сидѣлъ передъ домомъ и разговаривалъ. Глаза торгаша встрѣтили наконецъ сановитую, важную фигуру Никанора и маленькое лицо жены его. Оба они также на него смотрѣли. Торгашъ дернулъ возжами и прямо къ нимъ поѣхалъ.

— А что, почтенный, вымолвилъ онъ, останавливаясь шагахъ въ трехъ отъ подрядчика и едва удерживая лошадь, которая лѣзла въ растворенныя ворота: — что, почтенный... гдѣ бы мнѣ постоять — а? Я чай, у васъ постоялые-то дворы есть?

— Какъ не быть! постоялыхъ дворовъ у насъ много, возразилъ Никаноръ.

— Далеко?... Тпру... пру... экъ ее! ворота увидала, такъ и прётъ. Пру... произнесъ торгашъ, удерживая лошадь. — Гдѣ жъ у васъ дворы-то?

— Больше все въ нижней слободѣ, у рѣки, сказалъ Никаноръ.

— Ну, а какъ, почтенный, у васъ, примѣрно, постоять можно? спросилъ торгашъ, лицо котораго вдругъ заслонилось макушкой шапки, которую сдвинулъ онъ на затылокъ.

Подрядчикъ и жена его вопросительно поглядѣли другъ на друга; глаза ихъ снова устремились къ торгашу, красное лицо котораго освободилось теперь отъ шапки; это былъ уже человѣкъ лѣтъ шестидесяти, сѣдой, какъ лунь, и, въ добавокъ, еще лысый; добродушная, ласковая наружность его внушала видно довѣріе, потому-что Никаноръ тотчасъ же сказалъ ему:

— Остановись, пожалуй, у насъ; это можно; у насъ не постоялый дворъ, но все-равно: есть гдѣ лошади постоять, есть гдѣ самому пріютиться.

— Ну, вотъ и ладно! сказалъ старикъ. — Вишь лошадь-то сама къ вамъ просится, не удержишь никакъ: ко двору, стало-быть...

— Ну, въѣзжай, когда такъ! въѣзжай! промолвилъ Никаноръ, вставая съ лавки.

Старикъ слѣзъ съ воза, взялъ лошадь подъ уздцы и повелъ ее въ ворота.

— Не бойсь, умаялся — а? вымолвилъ Никаноръ, слѣдуя подлѣ торгаша съ одной стороны, тогда-какъ жена шла съ другой. — Мы съ женою все время на тебя глядѣли; признаться, маленечко даже посмѣялись, какъ ты съ ними возился.

— Чего, братецъ ты мой! Вѣдь лѣзутъ, словно бѣшеныя, словно овцы какія, право! Ничего вѣдь не сдѣлаешь. Пуще всего эти бабы: одурь даже возьметъ; никакого въ нихъ постоянства нѣтъ, право, точно шальные!...

— Слышь, Авдотья, какъ старина-то вашего брата обдѣлываетъ — а?...

Жена подрядчика засмѣялась.

— Я не объ тебѣ, касатушка, не объ тебѣ... ты ко мнѣ и не подходила, заговорилъ старикъ: — пуще всего эти вотъ молодыя бабы да дѣвки надоѣли: та „дѣдушка, подай“, другая „дѣдушка, подай“; другая сама не знаетъ чего надо, а лѣзетъ... Иной разъ своей торговлѣ не радъ, право: совсѣмъ затормошатъ; больше перероютъ, чѣмъ купятъ... така-то зрятина, право... Куда лошадь-то ставить?

— Вотъ сюда, сюда веди... сказалъ Никаноръ, указывая подъ широкій навѣсъ, державшійся на толстыхъ столбахъ.

Навѣсъ этотъ замыкалъ глаголемъ дворъ съ двухъ сторонъ;

третья сторона занята была амшеникомъ, амбаромъ и клѣтью; изба и ворота, смотрѣвшія на улицу, составляли четвертую сторону двора. Изба была въ два этажа, подобно бо́льшей части сосновскихъ избъ; лѣстница, обшитая съ боковъ досками, вела на галерею съ тёсовымъ навѣсомъ, которая служила сѣнями второму этажу, гдѣ помѣщались хозяева.

— Ты, дѣдушка, откуда? спросила жена подрядчика, когда возъ въѣхалъ подъ навѣсъ.

— Теперича, то-есть?...

— Нѣтъ, спрашиваетъ, родомъ откуда? подхватилъ Никаноръ, подсобляя старику распрягать лошадь.

— Мы губерніи Ярославской, словоохотливо отвѣчалъ старикъ: — теперича пробираюсь въ теплыя мѣста; давно ужъ тамъ не былъ; побываю въ Тамбовской губерніи, въ Саратовской... а тамъ проѣду въ Воронежъ, угодника поклониться, по обѣщанію...

— Бывалъ и я въ тѣхъ мѣстахъ; мѣста хорошія, привольныя. Только какъ же ты съ телѣгой-то справишься? Недѣль черезъ пять зима застанетъ...

— Ну, такъ что жъ? Первый снѣгъ выпадетъ, промѣняю телѣгу на сани, переложу туда товаръ и поѣду; мы и все такъ-то.

— Да, ну это другое дѣло. Авдотья! примолвилъ Никаноръ, поворачиваясь къ женѣ: — ты, пока мы здѣсь управляемся, ти сходила бы мальчика-то провѣдала. Ему хотя теперь и полегчело, а все ступить на ногу-то не осилитъ... Можетъ, ему надобность есть до тебя, сходи-ка; да ужъ заодно ужинать собирай; время!...

Авдотья направилась къ лѣстницѣ и, минуту спустя, застучала котами по ступенькамъ.

— Мальчикъ-то у васъ боленъ, стало-быть? спросилъ старикъ.

— Нѣтъ, болѣзни, слава Богу, никакой нѣтъ, да ногу только зашибъ, ступить не можетъ, возразилъ Никаноръ.— Мальчикъ-то хорошъ, оченно жаль. Главная причина, мнѣ угодить старался; черезъ это и случай весь вышелъ. Ставилъ я избу по сосѣдству, подхватилъ подрядчикъ, помогая старику управиться съ лошадью: — ужъ онъ мнѣ усердствовалъ, усердствовалъ... ну, знамо, къ дѣлу еще непривыченъ, недавно къ нашему ремеслу приставленъ — не доглядѣлъ какъ-то: ему бревномъ по ногѣ и попало; да слава Богу, нога-то цѣла, ничѣмъ не повредилась, только повихнулъ маленько. А все жаль: мальчикъ-то добрѣ-занятный, усердный такой!

— Какъ не жалѣть! особливо коли одинъ у васъ. Сынъ онъ, али сродственникъ?

— Нѣтъ, совсѣмъ чужой. Взялъ я его на поруки; ходилъ онъ сперва съ нищими, да убѣжалъ отъ нихъ; потомъ поймали его, къ становому привели, въ бродяги записать хотѣли, а я тутъ случился; вижу, мальчикъ такой хорошенькій, ласковый, такъ и заливается, плачетъ, такъ и заливается... жаль стало. „Какой онъ, думаю, бродяга! такъ, чай, сирота брошенный...“ Я его на поруки и взялъ.

— Ахъ ты, Господи!... да ужъ не онъ ли это? Эхъ ты, скажи намилость... какъ его имя-то? спросилъ вдругъ старикъ, оживляясь.

— Петрушей зовутъ-то; а что?

— Онъ и есть! воскликнулъ старикъ, опуская оглоблю, которую началъ было притягивать, чтобъ свободнѣе умѣстить разпряженный возъ.

— Да тебя не Васильемъ ли зовутъ? спросилъ Никаноръ, оживляясь въ свою очередь:—онъ часто о тебѣ поминалъ, коли ты...

— Такъ, такъ; ну онъ и есть, онъ самый! подхватилъ дѣдушка Василій, суетливо потряхивая шапкой, макушка которой раза три обѣжала вокругъ лысой головы его.

Въ самую эту минуту на галереѣ втораго этажа показалась Авдотья.

— Никаноръ! Никаноръ! подь скорѣй сюда! закричала она, размахивая руками:— и ты, дѣдушка, ступай, скорѣй; оба ступайте...

Никаноръ и дядя Василій торопливо перешли дворъ и стали подниматься по лѣстницѣ, между-тѣмъ, какъ Авдотья снова скрылась въ избѣ. Дверь избы на галерею была отворена и позволяла обозрѣвать просторную десятиаршинную избу съ бѣлой, широкой печкой, съ сосновыми, широкими палатями; красный уголъ, обклеенный желтыми обоями, съ огромными красными разводами, украшался множествомъ образовъ и складней; кругомъ всей избы шли широкія лавки. На одной изъ нихъ, устланной войлокомъ, сидѣлъ Петя; онъ рвался встать на ноги, но Авдотья держала его крѣпко въ-обхватъ обѣими руками и не пускала.

— Ступайте скорѣй... не удержишь его никакъ! говорила она, поглядывая на дверь.— Погоди, говорятъ, сейчасъ придутъ... слышь, по лѣстницѣ ужъ стучатъ. Такъ это, стало, тотъ самый старичокъ, о которомъ ты поминалъ намъ?... Да нѣтъ же, не

пущу, неугомонь ты этакой! говорятъ, хуже нога заболитъ... ступайте скорѣй!...

Никаноръ и дядя Василій показались въ дверяхъ.

— Дѣдушка! дѣдушка!... закричалъ Петя, радостно протягивая руки.

— Ахъ, ласковый!... Ну, онъ и есть. Ахъ, ты ласковый, ласковый!... подхватилъ старикъ, спѣша къ мальчику и хлопая ладонями по поламъ своего тулупчика.

— По голосу узналъ тебя, дѣдушка; какъ услыхалъ голосъ твой, такъ весь даже затрясся. Онъ часто поминалъ намъ тебя, говорила Авдотья, между-тѣмъ, какъ старикъ обнималъ и ласкалъ мальчика.

— Вотъ случай-то, значитъ! Ну, думали ли мы объ этомъ, какъ на тебя съ женою глядѣли, какъ ты съ бабами-то возился? Вотъ ужъ подлинно не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь... твердилъ въ то же время Никаноръ.

Пошли тотчасъ же спросы-разспросы. Никаноръ и жена его, перебивая другъ дружку, разсказали старику все слышанное ими отъ Пети о его странствованіяхъ. Петя поминутно вмѣшивался въ разговоръ и поправлялъ ихъ; изъ этого дѣдушка Василій окончательно убѣдился, какъ добры были хозяева мальчика: они повидимому даже баловали его. Дѣдушка Василій поспѣшилъ, въ свою очередь, передать мальчику послѣднія извѣстія о его семействѣ; онъ былъ въ Мàрьинскомъ мѣсяца два назадъ. Узнавъ, что отца, матери, сестры и братьевъ не было въ Мàрьинскомъ, что ихъ выселили, Петя горько заплакалъ; онъ такъ много слышалъ во время бродячей жизни своей о ссылкахъ, о Сибири, о каторжныхъ; ему представилось уже, что семья его находилась теперь въ Сибири, и онъ никогда ее больше не увидитъ. Присутствующіе не замедлили, конечно, объяснить ему, въ чемъ состояло переселенье. Принимая въ соображеніе обстоятельства семьи Пети, дядя Василій не сомнѣвался, что всѣмъ имъ во сто разъ лучше въ степи, чѣмъ въ Мàрьинскомъ; онъ съ особенною заботливостью описалъ приволье степной жизни вообще и не пропускалъ случая намекать объ изобиліи арбузовъ, точь-въ-точь, какъ дѣлалъ это Сергѣй Васильевичъ Бѣлицынъ, когда склонялъ Лапшу къ переселенію.

— Мнѣ эти степныя губерніи хорошо извѣстны, сказалъ онъ, когда Петя утѣшился:—прежде, бывало, я часто туда ѣздилъ, живалъ тамъ по цѣлымъ лѣтамъ. Я даже и мѣсто-то знаю, гдѣ жи-

вутъ теперь твои родители. Какъ провѣдалъ я въ Мàрьинскомъ, куда ихъ выселили, я сейчасъ сказалъ: „ну, знаю!“ говорю; выходитъ это на самомъ рубежѣ къ Саратовской губерніи, будетъ Петровскъ городъ — такъ прозывается, — такъ, верстахъ въ тридцати будетъ онъ отъ того мѣста... Вотъ, поди жъ ты! Скажи намилость, случàй какой! подхватилъ онъ, обращаясь къ Никанору и женѣ его: — точно кто надоумилъ меня остановиться противъ вашего дома, право; сама лошадь, и та даже какъ-будто чуяла... тàкъ вотъ въ ворота къ вамъ и рвется. Совсѣмъ ужъ собрался вѣдь на постоялый дворъ ѣхать, право; вотъ и въ одной деревнѣ были бы, а все едино за тысячу верстъ... Ничегодки я этого не зналъ, что онъ, примѣрно, здѣсь у васъ находится.

— И я то же говорю, перебилъ Никаноръ: — не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь. Все это, значитъ, во власти Господней; Онъ всѣмъ этимъ управляетъ.

— Подлинно, Господь управляетъ, подлинно... Да вѣдь случай-то какой, братецъ ты мой: какъ-будто зналъ я обо всемъ этомъ, что въ тѣ-то мѣста собрался, гдѣ его родители находятся, хотѣлъ даже по пути ихъ провѣдать, потому, люди оченно, то-есть, хорошіе, особливо его мать, ужъ надо сказать, настоящая, выходитъ, женщина! Вотъ, чай, обрадуется теперича, какъ увидитъ-то! И-и-и! Одна бѣда, кàкъ намъ съ ногой быть теперича? Прійдется обождать, дѣлать нѣчего...

Никаноръ и Авдотья успѣли уже привыкнуть къ Петѣ. Такъ-какъ дѣтей у нихъ не было, они думали прикрѣпить его къ себѣ и усыновить современемъ, если въ немъ прокъ окажется. Имъ очень не хотѣлось разстаться къ мальчикомъ. Петя не плакалъ теперь, но и не смѣялся; сердце его и мысли сильно работали; онъ очень хорошо помнилъ житье у родителей; жизнь у подрядчика Никанора была во сто разъ лучше; подрядчикъ и жена его ласкали его и баловали больше даже, чѣмъ родители; при одной мысли разстаться съ ними, сердце Пети сжималось тоскою невыносимой; но это самое сердце сильно опять-таки рвалось къ матери, къ отцу, къ сестрѣ и братьямъ; онъ истолковать себѣ не могъ, кàкъ могло статься, что тамъ, у родителей, было и хуже, и лучше въ одно и то же время? Похвалы, которыя дядя Василій расточалъ Катеринѣ, разсказъ его о томъ, кàкъ она убивалась, когда нищіе увели Петю, кàкъ она его отыскивала, кàкъ писала управителю (обо всемъ этомъ старикъ слышалъ отъ жителей Мàрьинскаго)—

все это показало Никанору и Авдотьѣ, что грѣхъ даже не способствовать къ скорѣйшему возвращенію малаго въ родную семью. За ужиномъ рѣшили распорядиться такимъ образомъ: дядя Василій поѣздитъ съ своимъ возомъ недѣльку по окружности, чтобъ дать время Петѣ окончательно поправиться съ ногою; по прошествіи этого срока, старикъ вернется въ Сосновку. Никаноръ не могъ передать мальчика, не предупредивъ объ этомъ становаго. Онъ сказалъ, что свезетъ къ нему дядю Василья, и увѣрилъ, что дѣло обойдется какъ нельзя лучше.

Все это происходило, если помнитъ читатель, въ воскресенье. Въ субботу, то-есть ровно черезъ шесть дней, старый торгашъ стучалъ ужъ въ ворота подрядчика. Петя свободно становился теперь на ногу и слегка только прихрамывалъ. Подрядчикъ и жена его придрались-было къ этому обстоятельству, чтобъ задержать пріемыша еще на нѣсколько дней, но дядя Василій не далъ имъ договорить: во-первыхъ, не время было дожидаться; во-вторыхъ, онъ ни за что не дозволитъ мальчику съ больною ногою идти пѣшкомъ; Петя не посмѣетъ у него слѣзть съ воза. Мужъ и жена больше не настаивали. Никаноръ повезъ дядю Василья въ знакомую намъ становую квартиру.

Саломонъ Степанычъ, слѣдуя системѣ, обратившейся уже въ рутину — такъ она обыкновенна — началъ-было ломаться: требовалось списаться съ тѣмъ-то лицомъ, снестись съ такимъ-то мѣстомъ, и проч.; вообще Саломонъ Степанычъ былъ не такъ уже сговорчивъ, какъ два мѣсяца назадъ; умягчающее вліяніе медоваго мѣсяца замѣтно проходило: уменьшительное имя Салиньки, казалось, не трогало его; словомъ, онъ превратился въ прежняго Саломона Степаныча, какимъ знали его до женитьбы. Но дядя Василій былъ такъ старъ и опытенъ, что не могъ не знать обычая; къ тому-жъ, Никаноръ предупредилъ его. Выслушавъ Саломона Степаныча съ подобающимъ вниманіемъ, дѣдушка Василій поклонился ему отличными тульскими ножницами, которыя тотчасъ же какъ-будто принялись за дѣло и начали подрѣзывать препятствія; чтобъ окончательно дорѣзать препятствія, торгашъ присовокупилъ къ ножницамъ перочинный ножикъ и гребенку изъ композиціи, долженствующую украсить голову супруги Саломона Степаныча. Дѣло приняло тотчасъ же другой оборотъ: оказалось вовсе ненужнымъ списываться и сноситься; торгашъ могъ взять мальчика и везти его къ роднымъ, или даже куда захочетъ.

Возвратившись въ Сосновку, подрядчикъ сталъ просить старика переждать воскресенье; но дядя Василій, суетившійся болѣе чѣмъ когда-нибудь, напрямикъ отказалъ въ такой просьбѣ: онъ и безъ того много истратилъ времени; наконецъ, переждать воскресенье, значило выѣхать въ понедѣльникъ, въ тяжелый день, чего ему никакъ не хотѣлось. Онъ обѣщалъ, впрочемъ, увѣдомить ихъ о мальчикѣ: если мать, а за нею господа, согласятся отдать Петю обучаться плотничному ремеслу, онъ тотчасъ же отпишетъ имъ объ этомъ. Въ тотъ же вечеръ, послѣ ужина, Никаноръ и Авдотья простились съ Петей, который долго обнималъ ихъ и нѣсколько разъ принимался плакать. Въ воскресенье, къ солнечному восходу, и дядя Василій, и Петя, спавшій на возу, были далеко отъ Сосновки.

V.

Въ дорогѣ.

Во всю дорогу со старикомъ и съ Петей ничего не произошло особеннаго, кромѣ встрѣчи, о которой намъ необходимо сказать нѣсколько словъ. Они находились уже верстахъ во стѣ отъ Сосновки. Они ѣхали большой дорогой и недавно покинули деревню, гдѣ отдохнули и пообѣдали. Сытая лошадка везла очень бодро, несмотря на то, что, въ придачу къ товару, на возу сидѣли дѣдушка Василій и мальчикъ.

— Дѣдушка, погляди-ка, никакъ солдаты идутъ?... сказалъ Петя, правившій лошадью:— слышь: чѣмъ это они гремятъ такъ? Старикъ тряхнулъ шапкой и прищурился.

— Должно-быть, колодники... проговорилъ онъ.

Народъ, виднѣвшійся на дорогѣ, шелъ впередъ по одному направленію съ нашими путешественниками. Петя, движимый любопытствомъ, принялся легонько передвигать возжами. Старикъ не ошибся: это были точно колодники. Ужъ можно было отличать мундиры солдатъ отъ одежды людей, которыхъ они сопровождали; мѣрный, однообразный звукъ цѣпей позволялъ даже считать шаги преступниковъ. Возъ не замедлилъ догнать конвой. Человѣкъ пятнадцать колодниковъ, въ оборванныхъ кафтанахъ и полушубкахъ, съ мѣшками за спиною, съ цѣпями на ногахъ, и шапкахъ, лѣ-

нившихся криво и косо на бритыхъ головахъ, медленно подвигались между авангардомъ изъ трехъ и арьергардомъ изъ пяти солдатъ; въ числѣ послѣднихъ двое были верховые и держали пики. Въ обращеніи конвойныхъ и колодниковъ не было, казалось, ничего враждебнаго; они преспокойно разговаривали между собою; преступники разсказывали свои исторіи, солдаты —свои. Особенною разговорчивостью отличался одинъ изъ арьергардныхъ, произношеніе котораго обличало хохла; онъ шелъ рядомъ съ преступниками и велъ съ ними самую непринужденную бесѣду. Подъѣхавъ къ конвою, дѣдушка Василій и Петя, переставшій уже хромать, слѣзли съ воза; послѣдній побѣжалъ впередъ. Старикъ вынулъ изъ кармана нѣсколько копеекъ для раздачи преступникамъ, какъ вдругъ Петя пронзительно крикнулъ, бросился сломя голову къ торгашу и крѣпко обхватилъ его руками. Испугъ изображался въ каждой чертѣ поблѣднѣвшаго лица мальчика; въ первую секунду онъ слова не могъ выговорить.

— Дѣдушка!... вымолвилъ онъ наконецъ измѣнившимся голосомъ и крѣпче еще прижался въ старику:—Верстáнъ... Верстáнъ... тутъ...

— Ой ли?...

— Поѣдемъ, скорѣй... поѣдемъ, дѣдушка!... подхватилъ Петя, дрожа всѣмъ тѣломъ.

Все это происходило въ двухъ шагахъ отъ конвоя. Солдаты и колодники остановились и оглянулись.

— Ну, чого тамъ? що не выдалы? проговорилъ хохолъ, какъ бы удивляясь любопытству, овладѣвшему товарищами:—ступайте, братцы, упередъ... пошелъ, пошелъ!... чего стàлы?

— Дай, братецъ, вздохнуть маленько; у меня и то ноги припухли... цѣпью добрѣ перетерло... смерть! сказалъ одинъ изъ преступниковъ.

— Мало що; меня самого ноги-то упухли... ступай, говорятъ, начальство не приказываетъ останавливаться! возразилъ хохолъ.

Конвой тронулся, и цѣпи снова загремѣли.

— Полно, ласковый, чего бояться? онъ теперь не страшенъ, какъ цѣпью-то скрутили... Чего бояться? уговаривалъ между-тѣмъ дѣдушка Василій:—пойдемъ къ нимъ; вотъ я дамъ имъ копеечки... а тѣмъ временемъ спросимъ, что̀ за причина такая...

— Нѣтъ, дѣдушка, я лучше на возъ сяду... я не пойду... онъ убьетъ меня...

— Э, глупенькій! подхватилъ старикъ: — да какъ же ему убить-то?... Не бойсь, не тронетъ теперича; говорю: не страшенъ!... Пойдемъ-ка, пойдемъ...

Онъ взялъ лошадь подъ уздцы, другую руку далъ мальчику, и минуты черезъ три они снова догнали солдатъ. Хохолъ шелъ теперь позади всѣхъ; къ нему обратился дѣдушка Василій.

— Вотъ, служба, сказалъ онъ, ободряя Петю, который началъ пятиться: — раздай-ка имъ по копеечкѣ; на дорогу пригодится... Слышь, промолвилъ онъ, указывая солдату на широкій, выбритый затылокъ, который возвышался надъ остальными! — этотъ намъ знакомый... Какъ нищимъ былъ, вотъ этого мальчика съ собою водилъ... Скажи, братъ, намилость, за какія онъ провинности?...

— За душегубство... словоохотливо возразилъ солдатъ, принимая деньги и передавая ихъ ближайшему преступнику съ наставленіемъ: „обдѣлы усѣхъ“, что̀ тотъ сейчасъ же и сдѣлалъ. — „Съ нимъ такой старикъ ходивъ“, продолжалъ солдатъ: такой же нищій... Такъ у него грѐшей много было, онъ его и убывъ... съ товарищемъ его упечаталы... Вишь тутъ и товарищъ его идетъ... Може и его знасте?“... Эй, Балдàй! крикнулъ солдатъ: знакомые тебя спрашиваютъ...

Торгашъ и Петя тотчасъ же узнали рябаго Балдàя; вмѣстѣ съ Балдàемъ обернулся также и Верстàнъ; но какъ тотъ, такъ и другой не выразили даже удивленія при видѣ Пети и старика. Шершавыя, сѣдыя брови Верстàна съ мрачною неподвижностью насупились надъ глазами; бросивъ холодный, равнодушный взглядъ на мальчика, Верстàнъ и Балдàй отвернулись, не проговоривъ ни слова.

— Пойдемъ, дѣдушка, пойдемъ! твердилъ Петя, дергая за рукавъ старика.

— Погоди, вымолвилъ тотъ: — надо узнать о слѣпомъ, котораго ты хвалилъ-то... что добрый такой былъ... какъ бишь его звали?...

— Фуфàевъ, дѣдушка...

— Слышь, служба, съ ними еще слѣпой ходилъ: куда жъ дѣлся?... Спроси-ка; звали его Фуфàевъ...

— Какой що тамъ Хухаевъ?... Съ нами нѣтъ... Эй, Балдàй, присовокупилъ солдатъ: — спрашиваютъ Хухаева... съ вами ходывъ..

Но Болдàй и Верстàнъ не отвѣчали; они даже не обернулись.

— Не знаютъ, произнесъ словохотливый хохолъ: — Хухаева съ ними не было...

Какъ ни безопасны были убійцы стараго Мизгиря, Петя не переставалъ жаться къ старику, пятился назадъ и дергалъ его за руку. Дядя Василій уступилъ наконецъ мальчику; онъ отсталъ отъ конвоя, помогъ Петѣ взлѣзть на возъ, самъ сѣлъ, взялъ возжи и рысцою погналъ лошадь. Немного погодя они обогнали конвой и вскорѣ потеряли его изъ виду.

Во все продолженіе этого дня и даже весь слѣдующій день Петя ни о чемъ больше не думалъ, ни о чемъ не говорилъ, какъ о Веретянѣ, Балдаѣ и убитомъ дядѣ Мизгирѣ. На третій день, онъ только раза два о нихъ вспомнилъ; на четвертый, у мальчика только и рѣчи было, что о Никанорѣ, объ отцѣ, матери и степи, къ которой они приближались. Они ѣхали, однакожъ, очень долго. Дѣдушка Василій останавливался по пути почти въ каждой деревнѣ; раза два потребовалось прожить цѣлыя сутки въ уѣздныхъ городахъ, гдѣ старикъ забирался новымъ товаромъ. Къ замедленію пути не мало также способствовало время: стояла глухая осень; дожди лили безпрерывно, превращая дороги въ трясины и непроходимыя топи; потомъ дожди миновали и наступили морозы: дороги сдѣлались еще хуже, извилистыя колеи и глубокія котловины, скованныя холодомъ, превращались въ кремень — надо было ѣхать шагомъ. Дѣдушка Василій нетерпѣливо ждалъ перваго снѣга, чтобъ промѣнять телѣгу на сани; но зима никакъ не хотѣла установиться; снѣгъ выпадалъ нѣсколько разъ, но, какъ нарочно, всякій разъ наступала оттепель, и снова приходилось колесить на телѣгѣ.

Но худо ли, плохо ли, они все-таки, однакожъ, подвигались. Въ послѣднихъ числахъ октября, подъ-вечеръ, прибыли они въ сельцо Васильевку, приходъ Анисьи Петровны Ивановой. Распросивъ дорогу въ Панфиловку, они тотчасъ же туда отправились.

— Тамъ ужъ лучше переночуемъ, промолвилъ дѣдушка Василій: — дорога теперь хорошая, степью-то; къ тому и лошаденка не пуще, чтобъ устала, довезетъ... Ну, ласковый! прибавилъ онъ, обращаясь къ мальчику, который поминутно забѣгалъ впередъ и не отрывалъ глазъ отъ горизонта: — ну, завтра родителей увидишь. Радъ, что ли? а?...

Было уже совершенно темно, когда они въѣхали въ околицу маленькаго хутора. Торгашъ постучалъ въ первое окно; изъ него

выглянулъ старикъ. Но прежде, чѣмъ попросить о ночлегѣ, дядя Василій освѣдомился о переселенцахъ. Узнавъ, что до мазанки оставалось всего-на-все четыре версты, онъ тотчасъ же перемѣнилъ намѣреніе, сказалъ, что не стоило заночевать, и разспросилъ, какъ проѣхать къ переселенцамъ.

— Ну, котёнокъ, теперь недалеко; ну, понатужься маленько, ну, Богъ съ тобой! ну! вымолвилъ дядя Василій, снова поворачивая лошадь къ околицѣ.

Петя между-тѣмъ бѣжалъ по дорогѣ и кричалъ:

— Сюда, дѣдушка, сюда! Я дорогу-то вижу, сюда ступай: я укажу тебѣ!...

VI.

Степная мазанка.

Усталость не замедлила, однакожъ, угомонить рѣзвость мальчика; онъ и безъ того ужъ, въ радости своей, такъ много скакалъ и прыгалъ въ этотъ день, что дѣдушка Василій не разъ совѣтовалъ поберечь ноги, говоря, что дороги впереди осталось еще порядочно. Петя усаживался тотчасъ же на возъ; но не проходило двухъ минутъ, онъ снова бѣжалъ по дорогѣ и даже подскакивалъ, думая скорѣе увидѣть мазанку, что вызывало всегда улыбку на добродушно-суетливомъ лицѣ старичка. Такъ и теперь: узнавъ, что осталось четыре версты, онъ сказалъ, что это близёхонько, что онъ духомъ добѣжитъ, но на первой же верстѣ шагъ его замедлился; на второй онъ присоединился къ старику. Если ноги Пети отказывались производить скачки, языкъ его, наоборотъ, получалъ съ каждымъ шагомъ впередъ все больше и больше развязности; онъ болталъ безъ умолку. Впрочемъ, дѣдушка Василій, который также, казалось, былъ очень веселъ, немного чѣмъ отставалъ отъ маленькаго своего товарища. Разговоръ ихъ, разумѣется, вертѣлся на одномъ предметѣ: оба бесѣдовали о предстоящемъ свиданіи.

Ночь была чудная. Мѣсяцъ не показывался, но въ небѣ блистало столько звѣздъ, такою бѣлизною сіялъ млечный путь, что въ степи, слегка посеребренной морозомъ, легко было разбирать дорогу. Морозъ былъ порядочный: градусовъ шесть или семь; холодъ не чувствовался, однакожъ, благодаря совершенной неподвиж-

ности воздуха. Промерзлая земля и звонкій морозный воздухъ, казалось, прислушивались и ждали звука, чтобъ разнести его далеко по всей окрестности; но безмолвіе, царствовавшее по всему видимому, необъятному кругозору, нарушалось только нашими путешественниками: сухое постукиванье колесъ, хрустѣнье ледяныхъ иглъ, ломавшихся подъ ихъ ногами, голоса старика и мальчика одни раздавались въ опустѣлой степи. Миріады звѣздъ, которыя мигали и какъ бы пересыпались надъ степью, сообщали какъ-будто жизнь и движеніе синему небесному своду; часто въ той или другой сторонѣ одна звѣздочка зажигалась ярче, отрывалась отъ другихъ, и стремглавъ, какъ-бы скользя по серебряной ниткѣ, летѣла къ далекому горизонту. Дѣдушка Василій каждый разъ торопливо крестился.

— Дѣдушка, вòна, вòна еще одна падаетъ! воскликнулъ Петя:—нѣтъ, потухла, дѣдушка, потухла!

Дѣдушка торопливо, однакожъ, обернулся и снова осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ.

— Еще, дѣдушка! вишь, скоро, кàкъ скоро... Что̀ это онѣ падаютъ, дѣдушка? А ну, какъ на ригу другая упадетъ: вѣдь, чай, дѣдушка, загорится, небось, рига-то?... вѣдь звѣзды-то изъ огня?

— Это, касатикъ, не звѣзды падаютъ.

— Какъ же такъ, не звѣзды?

— Нѣтъ, касатикъ, возразилъ старикъ:—это, значитъ, ангелы Божіи со свѣчами летаютъ... Какъ въ небѣ покажется такой огонекъ, значитъ, гдѣ ни на есть человѣкъ добрый умираетъ: вотъ ангелъ и летитъ на землю за душою его христіанской; Господь его туда посылаетъ!... Петя, Петя! подхватилъ вдругъ старикъ, перемѣняя голосъ:—Петя, взглянь-ка! заключилъ онъ, повертывая мальчика за плечи и указывая на огонёкъ, который сверкнулъ вдругъ въ степи:—вѣдь это въ мàзанкѣ, у твоихъ огонёкъ-то!... Право, будто у твоихъ.

Петя началъ скакать, прыгать, вскрикивать и радостно бить въ ладоши; онъ тотчасъ же, однакожъ, угомонился, когда старикъ сказалъ, что надо подъѣхать потихоньку, чтобъ никто не догадался, и потомъ разомъ вдругъ показаться — веселѣе будетъ.

— И то, дѣдушка, и то! возразилъ Петя, съ трудомъ побѣждая нетерпѣніе.

— Ну, котёнокъ, ну, теперь близёхонько, понатужься еще

маленько, ну! произнесъ старикъ, подергивая возжами. Усталая лошадь, какъ-бы почуявъ скорый отдыхъ, ободрилась и пошла ходче.

Огонёкъ замѣтно приближался; на свѣтломъ небѣ стала обозначаться темная профиль кровли; Петя и старикъ подъѣхали наконецъ къ колодцу.

— Тише... шт... ишкни! прошепталъ дядя Василій, привязывая лошадь и поворачивая голову къ Петѣ, которымъ овладѣли вдругъ и страхъ какой-то, и радость: — надо подойти потихоньку, чтобъ не слыхали. Должно-быть, всѣ спятъ... диковинное только дѣло, зачѣмъ огонь горитъ.

Старикъ взялъ мальчика за руку и подошелъ къ двери; онъ готовился ужъ постучать, но дверь отворилась и пропустила человѣка, который, при видѣ постороннихъ, поспѣшилъ запереть дверь за собою. Старикъ пригнулся къ лицу человѣка, чтобъ разсмотрѣть его; но черты его были ему вовсе незнакомы. Незнакомецъ, съ своей стороны, пригибался и разсматривалъ прибывшихъ.

— Ваня! Ваня! закричалъ вдругъ мальчикъ, выпуская руку старика и бросаясь на шею незнакомца.

— Петя... Господи!... онъ!... Петя!... крикнулъ, въ свою очередь, столяръ.

Въ мазанкѣ, погруженной до-сихъ-поръ въ молчаніе, раздались торопливые шаги; дверь настежь вдругъ раскрылась и показалась Катерина; за ней бѣжала Маша. Первый же взглядъ объяснилъ Катаринѣ все дѣло; страшный, раздирающійся крикъ вырвался изъ груди ея; какъ безумная, рванулась она къ мальчику, котораго подставилъ ей Иванъ, подняла съ земли, бросила къ себѣ на грудь и крѣпко обхватила обѣими руками.

— Батюшка... батюшка мой... батюшка!... проговорила она, зарыдавъ вдругъ такъ громко и такимъ голосомъ, что всѣ присутствующіе заплакали — точно ножомъ подрѣзали ей сердце.

Иванъ, Маша и старикъ поспѣшили подхватить Катерину подъ руки и усадили ее на-земь; но она какъ-будто ничего не замѣчала, что съ ней дѣлали и что вокругъ происходило; крѣпко обхвативъ голову мальчика и прижимая его къ груди, она продолжала страшно рыдать и повторяла:

— Батюшка!... ненаглядный ты мой!... батюшка мой!...

— Полно, тётка, перестань! О чемъ теперь плакать? сказалъ старикъ, останавливаясь передъ нею и потряхивая головой: — Не

плакать, а радоваться надо, да Бога благодарить—вотъ что! Ну, о чемъ? о чемъ?... Эхъ, неразумная твоя головушка, право! эхъ!...

— Оставь ее, дѣдушка, перебилъ Ваня, смекнувшій ужъ, что старикъ былъ тотъ самый, о которомъ такъ много говорила ему Катерина: —ужъ это лучше теперь оставить ее, право; добрѣ ужъ оченно это вдругъ-то, знаешь, добрѣ обрадовалась. Пойдемъ въ избу, примолвилъ онъ, понижая голосъ: — тамъ у насъ неладно: дядя Тимоѳей почитай умираетъ, никакой даже надежды нѣтъ; вечоръ причащали... Пойдемъ; она тѣмъ временемъ съ дочерью здѣсь останется; дай ей выплакаться хорошенько; оно пройдетъ! заключилъ онъ, слѣдуя за старикомъ, который торопливо заковылялъ къ мазанкѣ.

Ваня отворилъ дверь, и они вошли. Свѣтильня, прислоненная къ краю черепка, наполненнаго жиромъ, трепетно освѣщала край печи, на которой крѣпкимъ сномъ спали ребятишки; свѣтъ едва досягалъ до угла, гдѣ лежалъ умирающій. Дядя Василій подошелъ къ нему, бережно сѣлъ къ ногамъ Лапши и назвалъ его по имени. Лапша не откликнулся, даже не пошевелился. Старикъ покачалъ головой и шепнулъ Ванѣ на-ухо; тотъ взялъ черепокъ съ свѣтильней и поставилъ его на лавку въ двухъ шагахъ отъ умирающаго. Дядя Василій откинулся даже назадъ—такъ сильно поразила его худоба Тимоѳея: онъ точно весь высохъ; самыя кости его какъ-будто засохли и съузились; впалая грудь, посреди которой изгибалась черная, глубокая тѣнь, едва примѣтно поднималась. Старика немало также удивили полураскрытые глаза Тимоѳея; они, повидимому, прямо на него устремлялись и между-тѣмъ ничего какъ-будто не видѣли. Старикъ опять пригнулся къ умирающему, опять окликнулъ его, и снова назвался; но Тимоѳей не подалъ знака сознанія или жизни: глаза его попрежнему остались безчувственны.

Дядя Василій всталъ, отвелъ Ваню въ противоположный уголъ и безнадежно какъ-то покачалъ головой. Ваня сообщилъ ему, что вотъ уже пятый день, какъ Тимоѳей находится въ такомъ положеніи; пятую ночь Катерина, Маша и самъ онъ проводитъ у его изголовья, боясь, чтобъ онъ не отошелъ, не имѣя подлѣ себя никого, кто бы закрылъ глаза ему: всѣ они страхъ измучились столько же отъ сомнѣнія, сколько отъ усталости. Разговоръ продолжался недолго, но все-таки настолько, что оба собесѣдника успѣли ознакомиться другъ съ другомъ. Иванъ направился распречь лошадь и задать ей корма; дядя Василій послѣдовалъ за

нимъ, частью, чтобъ помочь ему, частью, чтобъ провѣдать Катерину. Онъ уже готовился пройдти въ дверь за столяромъ, когда встрѣтился съ Катериной и ея дочерью.

Лицо Катерины дышало необыкновеннымъ одушевленіемъ; слезы текли по щекамъ ея, но она не рыдала. Войдя въ мазанку, она опустила на-земь Петю, котораго держала на рукахъ, какъ маленькаго ребенка, и, бросившись къ старику, стала обнимать его и осыпать благословеніями; потомъ она вдругъ остановилась; лицо ея сдѣлалось озабоченнымъ; она провела ладонью по мокрымъ щекамъ, взяла Петю за руку и повела къ отцу. Маша и дядя Василій послѣдовали за ними. Но мутные глаза Тимоѳея сохраняли все ту же напряженную неподвижность: они попрежнему ничего не различали. Слухъ его точно такъ же повидимому оставался безчувственнымъ къ словамъ жены, которая говорила о возвращеніи сына и просила мужа благословить мальчика: Тимоѳей не обнаружилъ признака сознанія. Все это, безъ сомнѣнія, возобновило бы слезы, которыя и безъ того уже много текли въ эти пятеро сутокъ надъ изголовьемъ умирающаго, еслибъ Иванъ, вернувшійся къ этому времени, не поспѣшилъ отвлечь вниманіе присутствующихъ: по словамъ его, дядя Василій и Петя умирали съ голоду, и надо было позаботиться накормить ихъ.

Нѣсколько минутъ спустя, старикъ и мальчикъ усажены были за столъ. Во время ужина Петя, по просьбѣ сестры и Вани, началъ-было разсказъ о своихъ похожденіяхъ, но мать ничего не хотѣла слушать; она говорила, что Петя здоровъ, живъ, возвратился и, слѣдовательно, не все ли равно, что̀ прежде съ нимъ было; теперь надо только благодарить Господа Бога, надо думать, какъ бы посытнѣе накормить мальчика и уложить его спать. „Мальчикъ ногъ подъ собой не слышитъ: какіе тутъ разговоры! Завтра, Богъ дастъ, живы будемъ, наговоримся!“ повторила она. Петя и старикъ увѣряли, что всю дорогу сидѣли почти на возу и нимало не устали; но Катерина опять-таки отказывалась слушать. Она сняла съ себя полушубокъ, велѣла Ванѣ принести скорѣе сѣна и принялась устроивать на лавкѣ двѣ постели. Сколько ни отнѣкивался Петя, сколько ни говорилъ, что спать еще не хочетъ, что хочется ему посидѣть со всѣми ими подлѣ отца, Катерина взяла его снова на руки, отнесла на лавку и, крѣпко обхвативъ руками, начала убаюкивать, какъ дѣлала это въ былое время.

Нежданно Катерина замолкла и подняла руку кверху: Петя

заснулъ. Осѣнивъ его крестнымъ знаменіемъ и сама перекрестившись нѣсколько разъ сряду, она возвратилась къ старику и стала также уговаривать его поправить старыя косточки. Но такъ-какъ дядя Василій напрямикъ отказался, и Катерина, съ своей стороны, не могла взять его на руки и уложить силой, то она больше не настаивала. Всѣ усѣлись опять къ столу: Катерина подлѣ дяди Василья, Маша подлѣ Ивана, и началась длинная, длинная бесѣда; но самой плохой слушательницей была Катерина: она поминутно отрывалась — то подходила къ мужу, то къ Петѣ, бережно садилась къ изголовью послѣдняго, засматривалась въ лицо его, цѣловала его въ голову, шептала непонятныя какія-то слова и крестилась.

Но Ваня поддерживалъ бесѣду съ такимъ усердіемъ, что вмѣшательство Катерины и даже лишнихъ трехъ разскащиковъ ничего бы не могло прибавить. Онъ передалъ старику все житьё-бытьё, всѣ стѣсненныя и жалкія обстоятельства, которыя претерпѣли Катерина и семья ея со времени ихъ переселенія; передалъ о смерти Дуни, той безумной, которую старый торгашъ долженъ былъ помнить: извѣстіе о ея смерти получено было три недѣли назадъ. Затѣмъ перешелъ онъ къ повѣствованію о пожарѣ и происшествію съ Филиппомъ. До послѣдняго онъ коснулся, однакожъ, мелькомъ; подробности, какъ видно, берегъ для объясненія старику своихъ собственныхъ обстоятельствъ.

Дядя Василій узналъ съ первыхъ же словъ, что столяръ считается уже въ семьѣ женихомъ Маши. Они ждали только дозволенія отъ управителя Герасима Аѳанасьевича, которому писано было по этому предмету въ Мàрьинское: дозволеніе не могло замедлить и не быть благопріятнымъ; письма этого ждали со дня на день: это собственно и заставило теперь Ивана понавѣдаться въ степь; самъ же онъ живетъ въ четырехъ верстахъ отъ уѣзднаго города (тутъ послѣдовала исторія о помѣщикѣ и о сорока оконныхъ рамахъ, изъ которыхъ тридцать уже сдѣлано и даже деньги за нихъ получены); изъ Мàрьинскаго ждали еще другаго письма, которое легко даже могло измѣнить всю жизнь переселенцевъ. Гуртовщикъ Карѣкинъ (дядя Василій зналъ уже о немъ изъ исторіи о пожарѣ) получилъ согласіе отъ родителя купить лугъ, на которомъ жили переселенцы. Карѣкинъ писалъ объ этомъ еще прошлый мѣсяцъ въ Мàрьинское и также ждалъ со дня на день отвѣта. Легко могло статься, что отвѣтъ также будетъ благопріятенъ, то-есть господа

согласятся на продажу луга, и тогда семья снова вернется на родину, въ Мàрьинское.

Послѣднее это извѣстіе дало поводъ къ разнымъ толкамъ и предположеніямъ: будетъ ли лучше тогда? будетъ ли хуже?... Иванъ и Маша начали-было утверждать, что непремѣнно лучше будетъ; но Катерина указала имъ на умирающаго — и оба замолкли. Разговоръ перешелъ тогда къ Лапшѣ и его болѣзни. Словомъ, бесѣда продолжалась далеко за полночь; она, вѣроятно, продлилась бы еще долѣе, еслибъ дѣдушка Василій не сознался, наконецъ, что сильно позываетъ его соснуть часокъ-другой. Старикъ поднялся съ мѣста, распоясался, снялъ съ себя полушубокъ и началъ молиться передъ образомъ, поставленнымъ надъ головою умирающаго. Всякій разъ, какъ дядя Василій подымалъ голову послѣ земнаго поклона, глаза его встрѣчали заостренную профиль Тимоѳея и его впалую грудь, которая едва-примѣтно теперь подымалась. Хотя старикъ утѣшалъ Катерину и семью ея, однакожъ онъ не сомнѣвался, что смерть близка и стучитъ даже въ дверь мàзанки. Онъ, кстати, положилъ нѣсколько лишнихъ земныхъ поклоновъ за упокой души раба Божія Тимоѳея.

Немного погодя, все стихло въ мàзанкѣ. Дядя Василій спалъ; Иванъ и Маша, оба прикурнули — одна въ головахъ отца, другой подлѣ, на сосѣдней лавкѣ; одна Катерина бодрствовала: скрестивъ на груди руки, опустивъ голову, она молча сидѣла у изголовья мужа...

Первые лучи восходящаго солнца били въ окно мàзанки, наполняя ее золотымъ свѣтомъ, когда дядя Василій внезапно былъ пробужденъ криками и воплемъ.

Вся семья, отъ мала до велика, тѣснилась въ углу, гдѣ лежалъ Тимоѳей. Рыданья, крики и голошенье наполнили мàзанку. Дядя Василій понялъ, что въ настоящую минуту утѣшенія ни къ чему не послужатъ. Онъ отозвалъ Ваню, велѣлъ ему запречь лошадь и ѣхать въ приходское село переговорить съ священникомъ насчетъ похоронъ; самъ онъ вызвался остаться въ мàзанкѣ и не покидать семьи во все это время. Дорогой къ приходу Иванъ заѣхалъ въ Панфиловку извѣстить Андрея о кончинѣ Тимоѳея; онъ сообщилъ также о возвращеніи Пети.

— Ну, слава тебѣ Господи! все, значитъ, не оставилъ Онъ ее своею милостью: одного отнялъ, другаго далъ; все не такъ тяжко ей будетъ, сказали въ одинъ голосъ Андрей и жена его.

— Вы пуще всего мальчика-то къ ней чаще на глаза пущайте, подхватила Прасковья: — мало ли она о немъ убивалась, горькая!... Поглядитъ на него — все сколько-нибудь легче будетъ.

— Что жъ дѣлать-то? Къ тому ужъ дѣло шло, сказалъ Андрей: — я, признаться, не говорилъ только, а послѣдній разъ, какъ былъ у васъ, какъ поглядѣлъ, не чаялъ ему живности... царствіе ему небесное! Когда же хоронить-то думаете?...

— Да послѣзавтра, возразилъ Иванъ.

— Врядъ можно, послѣзавтра священнику не время... рàзи ужъ рано утромъ.

— А чтò?

— Да рàзи ты не слыхалъ?

— Нѣтъ...

— Вѣдь послѣзавтра свадьба: вѣнчаютъ Ѳедора Иваныча съ нашей барышней. Отецъ Михаилъ не поспѣетъ управиться.

— Я къ нему теперь: онъ скажетъ, когда послободнѣе будетъ, произнесъ Ваня, дѣлая шагъ, чтобъ удалиться.

— Погоди, Ваня, сказалъ Андрей: — вечоръ нашъ мужичокъ въ городъ ѣздилъ, два письма привезъ, Катеринѣ велѣлъ отдать. Одно, должно быть, о лугѣ пишутъ. Вечоръ Пьяшка приходила, сказывала Ѳедоръ Иванычъ самъ, вишь, письмо получилъ съ вашихъ мѣстъ отъ управителя: вѣдь лугъ-то ему продали.

Прасковья принесла письма. Андрей сказалъ Ивану, чтобъ онъ, какъ поѣдетъ назадъ, завернулъ къ нимъ на минуту. Отецъ Михаилъ подтвердилъ все сказанное Андреемъ касательно свадьбы Карякина и племянницы Анисьи Петровны. Онъ просилъ распорядиться похоронами назавтра, или переждать еще день. Иванъ не могъ дать положительнаго отвѣта; онъ сказалъ, что посовѣтуется съ Катериной и привезетъ къ нему отвѣтъ. Въ ожиданіи этого, онъ подалъ священнику письма, которыя тотъ прочелъ очень охотно. Оба письма были отъ Герасима Аѳанасьевича. Въ одномъ находилось позволеніе на бракосочетаніе Ивана съ Машей, въ другомъ объявлялось о продажѣ луга. Герасимъ Аѳанасьевичъ объявлялъ вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобъ Катерина, по полученіи этого письма, приступила къ продажѣ мàзанки и на вырученныя деньги немедленно отправлялась со всею своею семьею въ Мàрьинское — такова была воля господъ, прибавлялъ старый управитель.

Иванъ поспѣшилъ вернуться назадъ, чтобъ передать обо всемъ этомъ Катеринѣ. По пути, согласно обѣщанію, заѣхалъ онъ въ

Панфиловку. Андрей и жена его переговорили, между-тѣмъ, и рѣшили навѣстить переселенцевъ, проститься съ покойникомъ, и утѣшить по возможности Катерину. Они сѣли вмѣстѣ съ Иваномъ, и всѣ трое поѣхали въ степной мазанкѣ.

V.

Заключеніе.

Въ тотъ годъ, какъ совершались происшествія, избранныя нами частью для развлеченія читателя, частью для назиданія (да простятъ намъ такую претензію!), зима въ Петербургѣ была особенно какъ-то богата увеселеніями. Итальянская опера была еще лучше, чѣмъ въ предъидущіе годы; двѣ-три европейскія знаменитости украсили сцену другихъ петербургскихъ театровъ; огромныя афиши безпрерывно возвѣщали о концертахъ и, что̀ достойно замѣчанія, въ этихъ концертахъ являлись иногда истинно замѣчательные таланты; никто не помнилъ, чтобъ когда-нибудь давалось такое множество блестящихъ праздниковъ и великолѣпныхъ вечеровъ, какъ въ эту счастливую зиму.

Въ числѣ вечеровъ не послѣднюю роль игралъ вечеръ, данный Бѣлицынами. О немъ говорили три дня въ томъ обществѣ, къ которому принадлежали Сергѣй Васильевичъ и Александра Константиновна. Впрочемъ, вечеръ Бѣлицыныхъ обязанъ былъ своей renommée, какъ справедливо замѣтилъ одинъ молодой человѣкъ, числящійся съ недавняго времени въ Иностранной Коллегіи (и потому, вѣроятно, говорящій не иначе, какъ по-французски), renommée своей вечеръ не столько былъ обязанъ особенному великолѣпію, сколько гостиной, во вкусѣ Лудовика XV-го, которую отдѣлалъ Сергѣй Васильевичъ, имѣвшій въ виду другіе петербургскіе вечера и другія гостиныя. Гостиная дѣйствительно очень удалась. Брюхастые комоды, зеркала въ старинныхъ рѣзныхъ рамахъ, стулья и кресла, привезенные по первому зимнему пути изъ Марьинскаго, явились очень-кстати; очень-кстати также присланы были Герасимомъ Аѳанасьевичемъ деньги, вырученныя за муку, овесъ, горохъ и другіе продукты Марьинскаго. Сергѣй Васильевичъ находился въ отличномъ расположеніи духа. Требовалось ему прикупить для бо́льшаго

эффекта гостиной множество фарфоровыхъ бездѣлушекъ, обтянуть штофомъ мебель, пріобрѣсти пастели Латура, которые, какъ нарочно, явились въ это время въ одной антикварской лавкѣ и сами собою напрашивались, такъ сказать, въ гостиную стиля Лудовика XV-го. Но что могутъ значить жертвы, даже большія, даже непосильныя жертвы, когда имѣется впереди вѣрный, несомнѣнный успѣхъ? Всѣ были въ восхищеніи отъ гостиной, кромѣ, впрочемъ, архитектора, который не переставалъ утверждать, что сильно, сильно ошибся въ разсчетѣ — не артистическомъ разсчетѣ, а финансовомъ. Но на всѣхъ угодить невозможно — это уже дѣло давно извѣстное. Мы можемъ даже по этому случаю привести въ примѣръ самого Сергѣя Васильевича. Чего ему не доставало? Гостиная его произвела эффектъ; вечеръ удался даже сверхъ ожиданія, а между тѣмъ, онъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, впалъ въ ужаснѣйшую хандру. Хорошее расположеніе духа продолжалось всего три дня, то-есть ровно столько времени, сколько говорили о его вечерѣ и гостиной. По прошествіи этого срока, добродушное лицо его потеряло всю свою веселость; имъ овладѣло даже чувство, похожее на то, когда человѣкъ горько ошибается въ людской благодарности и видитъ вокругъ себя одну страшную пустоту и мелкое тщеславіе. Онъ рѣже сталъ посѣщать итальянскую оперу, въ концерты совсѣмъ пересталъ ѣздить, въ Англійскомъ клубѣ показывался рѣже и рѣже, и если показывался, то не садился уже играть въ карты, хотя, какъ извѣстно, имѣлъ къ этому полезному препровожденію времени большую склонность. Необыкновенная терпимость и та легкая, пріятная безпечность, отличавшія всегда Сергѣя Васильевича, стали измѣнять ему; онъ раздражался изъ-за каждой мелочи: поваръ, подавая ему счетъ въ концѣ мѣсяца, встрѣчалъ всегда барина съ нахмуренными бровями; книжки зеленщика и мясника возбуждали въ немъ какую-то безпокойную подозрительность; счетъ модистки положительно дѣйствовалъ на его нервы; словомъ, самая ничтожная бумажка съ изображеніемъ цифры усиливала его хандру. Разумѣется, онъ тщательно скрывалъ все это отъ жены: каждый разъ, какъ являлась Александра Константиновна, онъ спѣшилъ протянуть ей руку и старался улыбнуться, хотя, при всемъ стараніи своемъ, не могъ скрыть выраженія грусти и меланхолической задумчивости, которая тотчасъ же проглядывала въ чертахъ его. Во всю длинную зиму добродушное лицо Сергѣя Васильевича изобразило, можно сказать, только двѣ искренно веселыя улыбки. Въ

первый разъ это случилось въ тотъ день, какъ получилъ онъ запросъ отъ Мàрьинскаго управителя касательно продажи саратовскаго луга. Прочитавъ письмо, Сергѣй Васильевичъ даже оживился и, подъ вліяніемъ этого оживленія, немедленно написалъ отвѣтъ, смыслъ котораго заключался весь въ этихъ простыхъ, но выразительныхъ словахъ: „Продать, продать какъ можно скорѣе!“... Онъ искренно повеселѣлъ еще въ тотъ день, когда Герасимъ прислалъ ему деньги, полученныя за лугъ отъ гуртовщика Карякина.

Хорошее расположеніе духа, овладѣвшее Бѣлицынымъ, было, однакожъ, очень непродолжительно, къ великому огорченію Александры Константиновны. Съѣздивъ два-три раза въ Англійскій клубъ и давъ въ своей новой гостиной маленькій thé dansant въ день рожденія Мери, Сергѣй Васильевичъ впалъ снова въ хандру. Александра Константиновна прибѣгала ко всѣмъ возможнымъ средствамъ и мѣрамъ, чтобъ разсѣять, развлечь мужа — все было напрасно. Бѣлицына была такъ умна, что не могла не замѣтить усилій, какія дѣлалъ мужъ, чтобъ скрыть отъ нея причины своего разстройства; она была такою честною и доброю женою, что не могла этимъ не огорчаться. Такъ-какъ Сергѣй Васильевичъ не переставалъ день ото дня все болѣе и болѣе ожесточаться противъ Петербурга, и такъ-какъ, съ другой стороны, Александра Константиновна начала уже проникать въ тайну хандры мужа, она предложила ему ѣхать въ Мàрьинское.

Сергѣй Васильевичъ давно думалъ объ этомъ; онъ молчалъ до-сихъ-поръ единственно изъ чувства деликатности: онъ зналъ, что жена его согласится исполнить его желаніе, но ему не хотѣлось этимъ пользоваться, не хотѣлось подвергать ее деревенской скукѣ, не хотѣлось разлучать съ Петербургомъ и столичными увеселеніями, которыя, по его мнѣнію, были также необходимы Александрѣ Константиновнѣ, какъ вода для рыбы, воздухъ для птицы. Сергѣй Васильевичъ, подобно многимъ супругамъ, имѣлъ слабость думать, что жены вообще несравненно легкомысленнѣе и тщеславнѣе мужей своихъ. Предложеніе Александры Константиновны, высказанное чрезвычайно просто, безъ натянутой радости или грусти, несказанно обрадовало мужа. Они согласились ѣхать какъ можно скорѣе. Наступленіе весны дѣлалось ощутительнымъ даже въ Петербургѣ. Три дня посвящены были на прощальные визиты, три другіе дня — на приготовленія и снаряженіе въ путь. Гостиная во вкусѣ Лудовика XV-го завѣшана наконецъ чехлами, и Бѣлицыны, сопровождаемые бордоской

гувернанткой, Мери, горничной Дашей, поваромъ и другими людьми, бывшими прошлый годъ въ деревнѣ, отправились въ путь.

Въ первыхъ числахъ мая на улицѣ Мàрьинскаго снова раздаются крики: „Господа ѣдутъ!...“ Народъ сломя голову бѣжитъ за ворота, кланяется господамъ и снова преслѣдуетъ знакомый намъ дормёзъ, между-тѣмъ, какъ барыня посылаетъ поклоны въ одну сторону, баринъ въ другую, а гувернантка снова повторяетъ: „Mais saluez donc, Mery, mais saluez donc!“... Управитель Герасимъ попрежнему стоитъ у главныхъ воротъ и торопливо обдергиваетъ сюртукъ; Сергѣй Васильевичъ издали еще кричитъ ему: „Здорово, старикъ!“ гувернантка восклицаетъ: „Voici Karassin!“, и дормёзъ торжественно подъѣзжаетъ къ крыльцу, куда снова стремится дворня.

Хотя Сергѣй Васильевичъ не знаетъ, кàкъ освободиться отъ тѣсноты и лобызаній дворовыхъ. но радостное чувство наполняетъ теперь его помѣщичью грудь: онъ никого не хочетъ оскорбить отказомъ и охотно подставляетъ свои руки и щеки дворовымъ. Француженка кричитъ: „J'étouffe!“, Александра Константиновна опять подвергается особенному вниманію бѣлоголоваго мальчика съ краснымъ лицомъ и веснушками; мальчикъ снова проходитъ сквозь батальный огонь щелчковъ, снова ныряетъ въ толпѣ и съ дикимъ азартомъ въ сотый разъ припадаетъ къ прекрасной рукѣ барыни; однимъ словомъ, все происходитъ точно такъ же, какъ прошлаго года. Бѣлицыны обошли комнаты прадѣдовскаго дома, размѣстились на прежнія половины, прошлись потомъ по саду и, нагулявшись до-сыта, вернулись на террасу, гдѣ пили чай, любовались солнечнымъ закатомъ и наслаждались свѣжимъ воздухомъ. Послѣ этого они предались отдыху и спали, какъ только спятъ послѣ долгаго пути.

Прошло нѣсколько недѣль послѣ пріѣзда Бѣлицыныхъ. Нельзя было не замѣтить, что образъ жизни Сергѣя Васильевича и даже самый взглядъ на вещи значительно измѣнились противъ того, какими были прошлаго года. Онъ такъ же добродушно и ласково разговаривалъ съ крестьянами, попрежнему разсуждалъ онъ, что помѣщику, который думаетъ только объ увеличеніи своихъ дохо-

довъ и не обращаетъ вниманія на средства и способы, какими достаются эти доходы, такому помѣщику не слѣдовало бы имѣть крестьянъ (какъ честный и благородный человѣкъ, Сергѣй Васильевичъ не могъ иначе разсуждать); попрежнему отправлялся онъ по утрамъ въ кабинетъ и запирался часа на два съ Герасимомъ Аѳанасьевичемъ.

При всемъ томъ, какъ мы уже сказали, въ самой жизни, характерѣ и мысляхъ Бѣлицына произошла рѣзкая перемѣна. Онъ уже не выказывалъ той безтолковой суетливости, которая заставляла его прежде разомъ предпринимать двадцать дѣлъ; онъ несравненно меньше говорилъ, но несравненно больше прислушивался къ толкамъ стараго управителя, старостъ, и очевидно старался серьезно вникать въ дѣло. Довольно сказать, что Сергѣй Васильевичъ до-сихъ-поръ не подалъ ни одного проекта. Говорилъ ли Герасимъ о починкѣ кровель — Сергѣй Васильевичъ внимательно слушалъ, одобрялъ намѣреніе и внутренно даже сознавался, что это будетъ полезнѣе, чѣмъ тратиться на сооруженіе готической бесѣдки и распространеніе пруда, которые должны были бы придать саду великолѣпный видъ. Толковалъ ли Герасимъ о посадкѣ новыхъ яблонь — Сергѣй Васильевичъ не переносился теперь къ огромной липѣ, которая должна была придать красному двору англійскій характеръ; заводилъ ли Герасимъ бесѣду о полевыхъ работахъ — Сергѣй Васильевичъ дѣлался еще внимательнѣе и не стремился воображеніемъ къ фигурной рѣшеткѣ, и т. д. Сергѣй Васильевичъ такъ удивлялъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, радовалъ стараго своего управителя, что Герасимъ, возвращаясь въ свою комнату, забывалъ даже своихъ птицъ, которыхъ, между-тѣмъ, развелось еще болѣе, чѣмъ въ прошлую весну.

Ясно, что такая перемѣна въ образѣ мыслей и дѣйствіяхъ Бѣлицына не могла произойти безъ причины. Вотъ что случилось. На другой день послѣ пріѣзда въ Марьинское, Сергѣй Васильевичъ, разговаривая о томъ-о-сёмъ съ Герасимомъ, случайно вспомнилъ о переселенцахъ и спросилъ о нихъ. Въ это самое время въ кабинетъ вошла Александра Константиновна. Она видѣла, какъ управитель пошелъ къ мужу, и явилась именно затѣмъ, чтобъ разспросить его о своихъ protégés. Узнавъ о смерти Лапши, она взглянула на мужа и задумалась. Герасимъ сообразилъ вѣрно, что продолженіе разсказа будетъ не совсѣмъ пріятно господамъ; онъ началъ заминаться и наконецъ совсѣмъ остановился; но Сер-

гѣй Васильевичъ и Александра Константиновна потребовали, чтобъ онъ передалъ имъ все, рѣшительно все и ничего не утаивалъ. Старикъ разсказалъ тогда всю правду, все, что̀ зналъ о житьѣ-бытьѣ переселеннаго семейства. Въ наивной, простодушной рѣчи его такъ ясно выступила нелѣпость проекта Сергѣя Васильевича касательно луга, въ такихъ яркихъ краскахъ обрисовались лишенія и тягости, которыя претерпѣли Катерина и семья ея, что Сергѣй Васильевичъ и жена его, оставшись наединѣ въ кабинетѣ, долго сидѣли въ раздумьи и слова не говорили.

— О чемъ ты думаешь? спросилъ наконецъ мужъ, прикасаясь ладонью къ рукѣ жены.

— Я думаю объ этой бѣдной женщинѣ и ея дѣтяхъ, думаю также о помѣщикахъ... такихъ, какъ мы... вымолвила Александра Константиновна.

Сергѣй Васильевичъ сильно потеръ лобъ ладонью и опустилъ голову.

— Надо сознаться, Serge, оба мы поступили непростительно опрометчиво, подхватила Александра Константиновна:—нѣтъ, мы живемъ совсѣмъ не такъ, какъ бы намъ слѣдовало!...

— Что ты хочешь этимъ сказать? краснѣя, проговорилъ мужъ.

— Я хочу сказать, кротко возразила Бѣлицына: — что если ужъ существуетъ наше положеніе — положеніе помѣщика, оно налагаетъ на насъ, помѣщиковъ, обязанности... строгія, святыя обязанности—право, такъ! Это не пустое слово, не фраза. Сколько разъ думала я: еслибъ владѣли мы только землями да лѣсомъ, наша безпечность была бы простительна, насъ можно было бы извинить за наше незнаніе; но вѣдь въ рукахъ нашихъ живые люди, мы имѣемъ сотни семействъ, судьба которыхъ въ нашемъ полномъ распоряженіи... съ горячностью подхватила она:—какъ христіане, какъ граждане, наконецъ просто какъ честные люди, можемъ ли мы быть безпечными? Имѣемъ ли мы право бросить этихъ людей на произволъ судьбы, не знать ихъ жизни, ихъ потребностей?... Наше равнодушіе, наше невѣжество въ отношеніи къ быту этого народа, который круглый годъ, всю свою жизнь для насъ трудится и проливаетъ потъ свой—наше равнодушіе и незнаніе постыдно и безчестно!... Мы наряжаемся, пляшемъ, безумно тратимъ деньги, уважаемъ и принимаемъ за серьёзное то̀, что̀ въ сущности вздоръ, и почти презираемъ то́, къ чему обязываетъ насъ совѣсть, религія и всѣ человѣческія чувства... Сердце возмущается и страшно дѣ-

лается, какъ подумаешь обо всемъ этомъ! Нѣтъ, мы живемъ не такъ, далеко не такъ, какъ бы слѣдовало!...

Но мы считаемъ лишнимъ досказывать то, что говорила Александра Константиновна. Мысль, которая одушевляла ее, и безъ того понятна—мысль, по нашему мнѣнію, въ милліонъ разъ дороже самаго пылкаго, блестящаго краснорѣчія.

Во все время, какъ говорила Бѣлицына, Сергѣй Васильевичъ не поднялъ головы. Когда она кончила, онъ продолжалъ сидѣть въ томъ же положеніи. Видно было, однакожъ, что слова Александры Константиновны произвели на него сильное впечатлѣніе. Доброе лицо его выражало столько грусти, что, взглянувъ на него, Бѣлицына быстро подошла къ мужу и взяла его за обѣ руки. Она подумала, не зашла ли ужъ слишкомъ далеко въ своемъ увлеченіи, не оскорбила ли какъ-нибудь нечаянно мужа, который, въ сущности, былъ главнымъ виновникомъ проекта о переселеніи и подалъ поводъ къ ея упрекамъ.

— О чемъ ты думаешь? спросила она съ ласковой улыбкой.

— О чемъ я думаю? вымолвилъ Сергѣй Васильевичъ, поднимая голову, причемъ жена увидѣла слезы на глазахъ его: — я думаю, что ты во сто-тысячъ разъ умнѣе и честнѣе меня — вотъ что я думаю. Начинай же то дѣло, о которомъ ты говорила! подхватилъ онъ съ воодушевленіемъ: — начинай это дѣло, съ Богомъ, и я твой вѣрный, неизмѣнный помощникъ!...

Такъ много слышали мы горячихъ рѣчей, вырывавшихся, казалось, изъ самой глубины сердца, но въ сущности зародившихся только на кончикѣ языка; такъ много видѣли мы благородныхъ порывовъ, которые ни къ чему не вели, что не дали бы мы ровно никакого значенія словамъ Бѣлицыной, еслибъ она точно не нашла въ себѣ довольно энергіи, чтобъ примѣнить къ дѣйствительной жизни свои слова и благородныя убѣжденія. Не можемъ мы то же сказать о Сергѣѣ Васильевичѣ. Мелкое тщеславіе и безграничная пустота пустили въ него такіе глубокіе корни, что онъ не могъ отъ нихъ освободиться. Но, какъ человѣкъ незлобный и легко увлекающійся, онъ невольно поддался въ первое время вліянію жены своей.

Первымъ дѣломъ ихъ было заняться судьбою Катерины и дѣтей ея. Александрѣ Константиновнѣ стоило разъ серьёзно вни-

кнуть въ отчеты скотницы, чтобъ понять ея плутни: Катерина заступила мѣсто Василисы. Въ первый же мѣсяцъ все пошло иначе на скотномъ дворѣ. Герасимъ Аѳанасьевичъ не могъ нахвалиться; онъ положительно утверждалъ, и даже съ нѣкоторою гордостью, что черезъ годъ во всемъ уѣздѣ не будетъ такого скотнаго двора, какъ въ Мàрьинскомъ. Въ первое время, милости, которыми господа осыпали семью Катерины, возбуждали сильную зависть дворни; но такъ-какъ Катерина ни на кого не наговаривала, никого не трогала, и такъ-какъ, съ другой стороны, господа входили теперь въ дѣла, дворовые разсудили, наконецъ, что несовсѣмъ безопасно давать волю страстямъ своимъ. Гибель Филиппа и смерть Лапши вскорѣ примирили съ Катериной самыхъ закоснѣлыхъ враговъ ея.

Маша оставлена была при матери, въ качествѣ ея помощницы. Мужъ Маши, столяръ Иванъ, освобожденъ былъ отъ оброка до полнаго возраста сыновей Катерины. Петю, котораго часто ласкала Александра Константиновна, оставили при Иванѣ съ цѣлью обучаться столярному ремеслу. Добрыя начала, посѣянныя въ немъ матерью, были такъ прочны, что въ душѣ его не осталось слѣда отъ бродячей жизни: онъ вынесъ изъ нея только разсказы, и въ досужее время стоило появиться гдѣ-нибудь Петѣ, чтобъ тотчасъ же составилась вокругъ него толпа жадныхъ слушателей. Иногда, работая подлѣ Ивана, или даже въ самомъ оживленномъ мѣстѣ разсказа, веселое, миловидное личико Пети какъ-будто омрачалось. Это бывало въ тѣхъ случаяхъ, когда, перебирая прошедшее, вспоминалъ онъ маленькаго своего товарища, вожака Мишу: воображеніе мигомъ переносило его въ отдаленную, глухую, никому невѣдомую деревушку, въ мрачный, обветшалый сарай; передъ нимъ, какъ на-яву, выступало вдругъ блѣдное, изнеможенное лицо Миши, который простиралъ впередъ руки и усиленно тянулся къ восходящему солнцу, какъ-бы предчувствуя, что видитъ солнце въ послѣдній разъ... Воображеніе Пети быстро влекло его тогда въ какой-то незнакомый, пустынный край. Онъ самъ не зналъ, почему именно представлялся ему этотъ край, когда думалъ онъ о могилѣ маленькаго товарища; но сколько ни напрягалъ онъ воображенія, могила Миши нигдѣ не отыскивалась; густая трава, усѣянная голубыми колокольчиками, застилала всѣ дороги, всѣ пути и, переливаясь изъ края въ край, какъ волны морскія, убѣгала въ необъятную даль отдаленнаго, невѣдомаго края...

Петя вообще мальчикъ славный; онъ обѣщаетъ сдѣлаться со-

временемъ отличнымъ столяромъ и. что̀ всего важнѣе, обѣщаетъ быть надежной подпорой матери въ ея преклонныя лѣта. Остальные ребятишки Катерины процвѣтаютъ попрежнему; съ утра и до вечера въ окрестностяхъ скотнаго двора раздаются веселые голоса ихъ и лай Волчка̀, который продолжаетъ быть неизмѣннымъ ихъ спутникомъ. Присутствіе ребятишекъ на скотномъ дворѣ дѣлается еще замѣтнѣе, когда, случается, заглянетъ туда дядя Василій и дастъ каждому изъ нихъ по муравленому глиняному свистку, изображающему утку.

Привлеченный, вѣроятно, трескотнею этихъ свистковъ, зашелъ однажды на скотный дворъ слѣпой, оборванный нищій. Къ великому удивленію Катерины и совершенному недоумѣнію Ивана, который, страшно улыбаясь, подкидывалъ кверху трехмѣсячную дочь свою, Петя радостно крикнулъ и побѣжалъ навстрѣчу нищему. Дѣло тотчасъ же объяснилось: нищій былъ никто другой, какъ Фуфа̀евъ. Александра Константиновна, проходившая мимо и знавшая Фуфа̀ева изъ разсказовъ Пети, предложила слѣпому уголъ въ Ма̀рьинскомъ и вѣрный кусокъ хлѣба. Но Фуфа̀евъ напрямикъ отказался:

— Мое дѣло такое, барыня, добрая христіанская душа твоя! сказалъ Фуфа̀евъ, весело отдувая свои щеки: — мое дѣло такое: подъ окошечкомъ выпрошу, подъ другимъ съѣмъ, подъ третьимъ высплюсь... Ко̀рочка-то сѣра̀, да волюшка-то своя — вотъ что!

Онъ часто, однакожъ, заходитъ въ Ма̀рьинское и всякій разъ уходитъ съ такою полною сумою, что считаетъ непремѣннымъ долгомъ зайдти въ ближайшій кабакъ, чтобъ оставить тамъ половину.

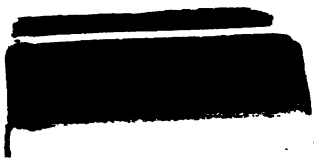
Бѣлицыны проводятъ теперь ежегодно мѣсяцевъ восемь въ Ма̀рьинскомъ. Александра Константиновна продолжаетъ до-сихъпоръ быть вѣрною благороднымъ своимъ убѣжденіямъ. Она занимается дѣлами, хозяйствомъ и судьбою ввѣренныхъ ей крестьянъ съ прежнею настойчивостью, съ прежнею твердостью. Она такъ умно распоряжается, что Сергѣй Васильевичъ не видитъ уже надобности подсоблять ей: онъ даетъ только совѣты, много гуляетъ, много ѣстъ, читаетъ романы и газеты (его сильно занимаетъ судьба африканскихъ племенъ и распоряженія Англичанъ въ Индіи), дѣлаетъ болѣе или менѣе замысловатые проекты, обдумываетъ сложные политико-экономическіе вопросы и кушанья къ обѣду, и не

пропускаетъ ни одного мужика, чтобъ ласково не поговорить съ нимъ.

Благодаря усиленному труду Александры Константиновны, дѣла Бѣлицыныхъ замѣтно улучшаются. Сергѣй Васильевичъ находится постоянно въ отличномъ расположеніи духа. Возвращаясь въ Петербургъ на зиму и являясь въ своемъ обществѣ, Александра Константиновна снова дѣлается одною изъ самыхъ милыхъ, образованныхъ женщинъ большого свѣта; она точно никогда даже и не живала въ деревнѣ.

Сергѣй Васильевичъ, наоборотъ, возвращаясь въ Петербургъ, превращается вдругъ въ самаго закоренѣлаго помѣщика, который никогда какъ-будто не покидалъ деревни. Онъ ни о чемъ больше не говоритъ, какъ о посѣвахъ, поляхъ, постройкахъ и разныхъ хозяйственныхъ улучшеніяхъ. Стоитъ только коснуться объ обязанностяхъ помѣщика, Сергѣй Васильевичъ разгорячается мгновенно. Такъ-какъ мысли его по этому предмету совершенно сходятся съ мыслями жены, и такъ-какъ Сергѣй Васильевичъ не надѣленъ большимъ краснорѣчіемъ, то онъ съ жаромъ и увлеченіемъ повторяетъ почти отъ слова до слова монологъ, произнесенный когда-то женою и который онъ надосугѣ изучилъ въ совершенствѣ. Въ обществѣ своемъ слыветъ онъ замѣчательнымъ агрономомъ, примѣрнымъ хозяиномъ и образцовымъ помѣщикомъ. Мнѣніе это доставляетъ неизъяснимое удовольствіе Сергѣю Васильевичу, но, повидимому, оно еще больше радуетъ Александру Константиновну, которая ласково слѣдитъ глазами за мужемъ и всегда весело ему улыбается. Она рѣдко вмѣшивается въ разговоръ и никогда слова не произноситъ о хозяйствѣ. Изъ этого свѣтъ заключаетъ, что Бѣлицына очень милая, добрая, но обыкновенная свѣтская женщина, которая ѣздитъ въ деревню для того только, чтобъ угождать агроному-мужу.

Мнѣніе свѣта всегда вѣрно, и мы поступили бы весьма неловко, еслибъ не воспользовались случаемъ выразить наше глубокое уваженіе къ мѣткости его приговоровъ.

КОНЕЦЪ.

U. C. BERKELEY LIBRARIES
C047801210